СЭМЮЕЛ ДИЛЭНИ



ДАЛЬГРЕН

18+

Дилэни — не просто один из лучших фантастов современности,
но и выдающийся литератор вообще говоря,
изобретатель собственного неповторимого стиля.

Умберто Эко

Дальгрен

Сэмюэл Р. Дилэни

Аннотация
Сэмюел Дилэни. Дальгрен
Уильям Гибсон. Рекомбинантный город. Предисловие
I. Призма, зеркало, линза
1
2
3
4
5
II. Руины утра
1
2
3
4
5
6
III. Дом топора
1
2
3
4

5
IV. Во время чумы
1
2
3
4
5
V. Порождения Света и Тьмы
1
2
3
4
5
VI. Палимпсест
1
2
3
4
5
6
7
VII. Анафемата: чумной дневник

Аннотация

«Дилэни – не просто один из лучших фантастов современности, но и выдающийся литератор вообще говоря, изобретатель собственного неповторимого стиля», – писал о нем Умберто Эко. «Дальгрен» же – одно из крупнейших достижений современной американской литературы, книга, продолжающая вызывать восторг и негодование и разошедшаяся тиражом свыше миллиона экземпляров. Итак, добро пожаловать в Беллону. В город, пораженный неведомой катастрофой. Здесь целый квартал может сгореть дотла, а через неделю стоять целехонький; здесь небо долгие месяцы затянуто дымом и тучами, а когда облака разойдутся, вы увидите две луны; для одного здесь проходит неделя, а для другого те же события укладываются в один день. Катастрофа затронула только Беллону, и большинство жителей бежали из города – но кого-то она тянет как магнит. Бунтарей и маргиналов, юных и обездоленных, тех, кто хочет странного…

«Город в прозе, лабиринт, исполинский конструкт… „Дальгрен“ – литературная сингулярность. Плод неустанной концептуальной отваги, созданный… поразительным стилистом…» (Уильям Гибсон).

Впервые на русском!

Содержит нецензурную брань.

Сэмюел Дилэни Дальгрен

Этой книге о многом пристало быть
для многих.
Среди них —
Джозеф Кокс, Билл Бродеки, Дэвид Хартуэлл, Лиз Лэндри, Джозеф Манфредини, Патрик Мьюр, Джон Херберт Макдауэлл, Джин Салливан, Дженис Шмидт, Чарльз Нейлор, Энн О'Нилл, Бэрд Сёрлз, Мартин Ласт, Боб & Джоан Тёрстон, Ричард Вриали & Сьюзен Швирс
и
Джуди Ратнер & Оливер Шенк,
а также
Томас М. Диш, Джудит Меррил, Майкл Перкинс, Джоанна Расс, Джудит Джонсон & Мэрилин Хэкер
Ты перепутал истинное и настоящее.
Джордж Стэнли / В разговоре

Samuel R. Delany
DHALGREN

Copyright © 1974 by Samuel R. Delany

© А. Б. Грызунова, перевод, 2020
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство ИНОСТРАНКА®

Уильям Гибсон
Рекомбинантный город
Предисловие

«Дальгрен» Сэмюела Дилэни — город в прозе, лабиринт, исполинский конструкт, и читатель входит туда, отыскав любую из множества дверей. Поселившись в памяти, «Дальгрен» становится климатом, временем года. Он вращается на горизонте сознания, он обладает собственной уникальной гравитацией, он — приливная сила, что подталкивает читателя войти вновь. «Дальгрен» — литературная сингулярность. Плод неустанной концептуальной отваги, созданный самым поразительным стилистом, что рождался в культуре американской фантастики.

Я эту книгу никогда не понимал. Порой мне чудилось, будто я понял отчасти или стою почти на грани понимания. Что ничуть не смущало меня и вовсе не мешало наслаждаться текстом. Наоборот, если уж на то пошло.

«Дальгрен» существует не для того, чтобы его наконец поняли. Я думаю, его «тайна» никогда и не подлежала «разгадке». И я думаю, дело не в

том, что автор или текст невнятны. По-моему, и тот и другой внятны на редкость. И автор, и текст бесповоротно самоосознанны — менее отважным исследователям и их повествованиям такая самоосознанность и не снилась. «Дальгрен» — в буквальном смысле экспериментальный роман, исследование культурной обертки художественной литературы. Вооружившись накопленным инструментарием литературного модернизма, Дилэни направляется прямиком к границам, граням, интуитивным конвенциям акта литературы. И что удивительнее всего — а по моему опыту, практически уникально, — он добирается до пункта назначения, и его текст преображается в *нечто иное*, нечто беспрецедентное.

Погружение в «Дальгрен» постепенно избавляет читателя от всевозможных данностей — зачастую и тех, что связаны с непроговоренными и нередко неосознанными аспектами культурного уговора с автором. В игру вступает трансгрессия — умышленный отказ дарить некие «награды», которые читатель, вероятно, полагает своими по праву. Если это квест, негодует читатель, сообщите мне хотя бы цель поисков. Если это детектив, пускай мне опишут хотя бы природу загадки. А «Дальгрен» не отвечает. Но что это за реком-

бинантный город, спрашивает читатель, что за метаморфический уличный пейзаж Среднего Запада, преображенный неведомо чем — то ли объектом, то ли процессом, — где переменам подвержено все и даже в небесах горят предвечные знамения Таро?

А «Дальгрен» не отвечает — но продолжается.

Вращается. Сигил из меди и хрусталя, бетона и плоти.

Я вписываю «Дальгрен» в такой исторический контекст:

Все, кто сейчас моложе тридцати пяти, не помнят сингулярности, что объяла Америку в шестидесятых годах двадцатого века, а поколение, которое испытало эту сингулярность на собственной шкуре, в основном, я так понимаю, предпочло амнезию и отрицание.

Но что-то все же случилось: в Америке возник город. (И пожалуй, Америка здесь — условное обозначение чего-то другого, возможно индустриальных государств Американского Века.) У этого города не было четкого местоположения, а его внутренняя география в основном оставалась текучей. Обитатели его, однако, в каждый конкретный миг понимали, в городе они или в Америке. Для Америки город оставался по боль-

шей части незрим. Если Америка — это «дом» и «работа», город — ни то ни другое, и потому Америке очень трудно было его разглядеть. Порой кто-нибудь, издалека и мельком заметив город, хотел туда попасть, но терялся, сбивался с пути и шел назад. Многие другие, включая меня, в один прекрасный день сворачивали за угол — и перед ними распахивался город: территория невыразимых возможностей, невиданная ни в каком сне. Мы узнавали, что и в городе есть правила, — но это были другие правила. Мы шагали одной полузнакомой улицей, затем другой, а затем, быть может, выходили к парку…

Как выяснилось, в городе можно умереть, и переписи мертвых никто никогда не вел. Многие выжили там, но не вернулись. (Бытовало мнение, будто те, кто вернулся, в городе, в общем-то, и не побывали.) Но с теми, кто остался, постепенно произошло еще кое-что: мембрану разъело, Америка и город просочились друг в друга, и сегодня нет Америки и нет города — есть лишь то, что родилось, когда они перемешались.

Я не говорю, что «Дальгрен» — карта этого города, составленная нарочно или нечаянно; я говорю, что их родство нельзя отрицать. (Те, кто предпочел бы забыть город, утверждают, будто

он не породил подлинной литературы, — но и это отрицание.)

В «Дальгрене» выжил непосредственный опыт сингулярности, не подточенный коррозией ностальгии.

Размышляя о «Дальгрене», я вспоминаю вот что:

Ночь на Дюпон-Сёркл в Вашингтоне, посреди закипающего гражданского бунта; когда приехала полиция с дубинками и пластиковыми щитами, кто-то швырнул коктейль Молотова в неглубокую каменную чашу мемориального адмиральского кубка[1]. Многие некрупные памятники в округе Колумбия ветшали, высокий фонтан на Сёркл годами, лето за летом, стоял сухим, и там, видимо, скопился мусор — в основном бумага, мятые стаканчики, заброшенные детьми, которые бумажными мячиками играли в воображаемый баскетбол.

Я не слышал, как разбилась бутылка, — лишь ахнул взрывом вспыхнувший бензин, и пламя

---

[1] Примечания: 1

На площади Дюпон-Сёркл в Вашингтоне, округ Колумбия, с 1921 г. стоит мраморный фонтан в виде кубка, мемориал работы Дэниэла Честера Френча по проекту Генри Бейкона в честь контр-адмирала Сэмюэла Фрэнсиса Дюпонта (1803–1865), героя Американо-мексиканской и Гражданской войны. — *Здесь и далее примеч. перев. Переводчик благодарит за поддержку Бориса Грызунова и Валерия Пономарева.*

забросало асфальт черными тенями; и наши тени побежали. Побежали мы все, и в глазах девчонки из виргинского пригорода, с подбородком как у Кеннеди, я увидел то, чего никогда не видал прежде: звериную дрожь, ясный и влажный осколок древнего света под названием Паника, в котором совершенно спаялись ужас и экстаз. А затем упали первые газовые шашки, потянуло газом, и девчонка ринулась прочь, и бежала она, точно олень, и была в этот миг столь же прекрасна. А я побежал за ней и потерял ее, и порой мне чудится, что она бежит по сей день.

Спустя несколько лет, когда дебютировал «Дальгрен», я, погружаясь в топь допанковских семидесятых, помнится, то и дело бывал бесхитростно благодарен Дилэни, ибо он так наглядно подтверждал, что некие состояния кем-то переживались взаправду.

Парк в отблесках пламени уже так далек.

Я считаю, попыткам объяснить литературу категорически не стоит доверять.

Вот вам книга. Заходите.

Теперь ваша очередь.

Круговая руина.

Зеркальный зал.

Кольцо плоти.

Тлеющие окраины перестраиваются с каждым шагом. Беллона.

Напомните им обо мне.

Ванкувер, Британская Колумбия
23 августа 1995 г.

I
Призма, зеркало, линза

1

собой ранить осенний город.

И взвыл, дабы мир дал ему имя.

Изпотьма ответило ветром.

Что знаешь ты, знаю я: астронавты пролетны, и банковские клерки перед обедом поглядывают на стенные часы; капюшонны актрисы в сияющих рамах зеркал, и грузовые лифтеры пальцем втирают жир в стальной рычаг; студенческие волнения; знаю, что на той неделе смуглые женщины в продуктовых трясли головами, потому что за полгода все подорожало возмутительно; каков на вкус кофе, если подержать его холодным во рту целую минуту.

Целую минуту он сидел на корточках, левой ступней (босой) сжимая камешки, слушая, как шум дыхания кувыркается вниз по уступам.

За лиственной шпалерой порхал отраженный лунный свет.

Он вытер ладони о джинсы. Где был, там и есть. А где-то заскулил ветер.

Подмигнула листва.

Ветер — не ветер, а движенье внизу среди кустов. Его рука нащупала скалу за спиной.

В двадцати футах внизу, в стороне, она встала, облаченная лишь в тени, что луна уронила с кудрявого клена; шевельнулась, и тени на ней шевельнулись.

Страх кольнул в бок, туда, где рубашка (двух средних пуговиц нет) раздулась на ветру. Мускул резиново окаймил челюсть. Когти черных волос поскребли то, что страх начертал на лбу.

Она что-то шепнула — сплошное дыхание, а ветер подхватил слова, увел значение:

— Аххххх, — от нее.

Он вытолкнул воздух из легких; почти закашлялся.

— …Хххххх… — снова она. И смех — многогранный веселый рык под луною. — хххХХххххх, — и звука больше; может, даже его имя. Но ветер, ветер…

Она сделала шаг.

Движение перекроило тени, обнажило одну грудь. Над глазом — ромбик света. Икра и лодыжка засияли против листвы.

Вдоль ее голени тянулась царапина.

Его волосы оттянуло назад со лба. Ее волосы плеснули вперед. Она шагнула следом за ними, по листве, растопырив пальцы на камне, замерла на цыпочках и выступила из темноты теней.

Скрючившись на скале, он провез ладонями вверх по ляжкам.

Руки у него были отвратительные.

Она миновала еще одно дерево, ближе. Луна швырнула ей в грудь златыми монетами. Крупные бурые ареолы, маленькие соски.

— Ты?..

Она сказала это тихо, в трех футах от него, глядя сверху вниз; и *все равно* в лиственной пестроте никак не разглядеть ее лица; но скулы высоки по-азиатски. Она и есть азиатка, сообразил он и подождал следующего слова, настроился на акцент. (Он умел отличать китайский от японского.)

— Ты пришел! — Мелодичный Средний Запад. — Я не знала, придешь ли! — Голос ее (чистое, шепотное сопрано…) подсказал: то, что он принял за рябь теней, отчасти было, пожалуй, страхом. — Ты здесь! — Она упала на колени в хохоте листвы. Бедра ее — спереди твердые, мягче (видно же) по бокам, и столб темноты между ними — против его обтрепанных коленей.

Она протянула руку, двумя пальцами раздвинула клетчатую ткань и коснулась его груди; пальцы проелозили вниз. Он расслышал шероховатость своей шерсти.

Смех запрокинул ее лицо к луне. Он подался вперед; безветренную брешь заполнил аромат лимона. Ее круглое лицо пленительно, брови — не по-восточному густы. Ей, наверно, за тридцать, но морщинки всего две — маленькие, возле рта.

Он потянулся к ее губам раскрытыми губами, руками — к ее вискам, и руки ему покрыли ее волосы. Хрящи ее ушей горячими извивами легли ему в ладони. Она поскользнулась коленями в листве, и сморгнула, и снова рассмеялась. Дыхание ее было точно полдень и пахло лимоном…

Он ее поцеловал; она сжала его запястья. Ожила слившаяся плоть их ртов. Силуэт ее груди, ее рука — и на груди у него, и на шерстяной рубашке — потерялась под тяжестью ее тела.

Их пальцы повстречались и перепутались на его ремне; ах, взбурливший в их поцелуе (сердце у него громко спотыкалось), сдуло прочь; затем на бедро ему дохнуло воздухом.

Они легли.

Кончиками пальцев она жестко сунула головку его хуя в жесткие волосы, и под его ногой задрожал мускул ее ноги. Он ухнул в ее жар. Когда она двигалась яростно, он крепко обнимал ее за плечи. Ее кулак камешком лежал у нее на груди. И не стихал рев, и все ревело: когда он кончал,

долго и внезапно, бок ему заплескала листва.

Позже, лежа на боку, они перемешанным дыханием нагрели между собой просвет. Она шепнула:

— Ты, я думаю, прекрасен.

Он засмеялся, не разжав губ. Она изблизи посмотрела ему в глаз, в другой (он моргнул), на подбородок (за сомкнутыми губами он сжал зубы, и челюсть шевельнулась), потом на лоб. (Ему нравился ее лимонный запах.)

— …прекрасен! — повторила она.

Он улыбнулся, гадая, правда ли.

Она спрятала в тепло руку с белыми ноготками, пальцем провела вдоль его носа, заворчала ему в щеку.

Он потянулся к ее запястью.

Она спросила:

— Твоя рука?..

И он убрал руку ей за плечо, хотел обнять.

Она вывернулась:

— У тебя что-то с?..

Он потряс головой, прижимаясь к ее волосам, влажным, прохладным, лизнул их.

За его спиной ветер тоже был прохладен. Кожа у нее под волосами горячее его языка. Он умостил руки в натопленную пещеру между их телами.

Она отодвинулась:

— Твои *руки*!..

Вены змеились в волосах дождевыми червями. Кожа цементно суха; костяшки раздуты мозольной коростой. Тупые большие пальцы жабами легли ей между грудей.

Она насупилась, придвинула кулачок к его костяшкам, замерла.

Она была морем подлунным; пальцы его — шишковатыми полуостровами. На оконечности каждого — ободранная, изгрызенная хитиновая развалина.

— Ты?.. — начал он.

Нет, они не искалечены. Но они… *уродливы*! Она подняла глаза. Заморгала, и они заблестели.

— …ты знаешь, как меня?.. — Он вдруг осип. — Кто… я?

В лице ее не было тонкости, но в улыбке, покаянной и уместившейся в основном между лбом и эпикантусом, — растерянность.

— У тебя, — сказала она, полногласно и церемонно (но кое-какие обертоны ветер все же стер), — есть отец. — Она тепло прижималась бедром к его животу. Воздух, до сей поры вроде мягкий, ножом разжимал ему ляжки. — У тебя есть *мам*!.. — Это он щекой прижался к ее губам.

Но она отвернула лицо. — Ты… — она бледной рукой накрыла его ручищу (такая маленькая обезьянка — а такие *громадные* руки, ласково сказал кто-то. Он запомнил) у себя на ребрах, — прекрасен. Откуда-то пришел. Куда-то идешь. — И вздохнула.

— Но… — Он сглотнул все, что застряло в горле (он был не *настолько* мал). — Я потерял… не знаю что.

— Ты стал нынешним из-за того, что было, — продекламировала она. — Ты станешь будущим из-за того, что есть.

— Я хочу что-то вернуть!

Она завела руку назад, прижала его к себе теснее. Холодный колодец между его животом и ее поясницей схлопнулся.

— А чего у тебя нет? — Она оглянулась через плечо. — Тебе лет-то сколько?

— Двадцать семь.

— А по лицу гораздо моложе. — Она хихикнула. — Я думала, тебе… шестнадцать! А по рукам гораздо старше…

— И мерзее?

— …бессердечнее, чем, пожалуй, на самом деле. Ты где родился?

— Нью-Йорк, север штата. Города ты не знаешь.

Я там пробыл недолго.

— Скорее всего, не знаю. Далеко ты забрался.

— Был в Японии. И Австралии.

— Образованный?

Он засмеялся. Его грудь сотрясла ей плечо.

— Год в Колумбии. Еще почти год в двухгодичном колледже в Делавэре. Диплома нет.

— Ты в каком году родился?

— В тысяча девятьсот сорок восьмом. В Центральной Америке тоже был. В Мексике. Только что из Мексики и…

— Что ты хочешь изменить в этом мире? — продолжила декламацию она, отведя взгляд. — Что сохранить? Чего ищешь? Чего бежишь?

— Ничего, — ответил он. — И ничего. И ничего. И… ничего — по крайней мере, я не в курсе.

— У тебя нет цели?

— Хочу добраться до Беллоны и… — Он усмехнулся. — Цель — как у всех… ну, во взаправдашнем мире: пережить еще секунду, не лишившись разума.

Еще секунда миновала.

— Правда? — по правде переспросила она, отчего правдиво было бы признать, что слова его были искусственны (а в мыслях: разум ежесекундно под угрозой). — Тогда радуйся, что ты не

просто персонаж, начирканный на полях чьей-то потерянной тетради: ты был бы скучен смертельно. Тебе что, *вообще* незачем туда идти?

— Добраться до Беллоны и…

На этом он умолк, и она сказала:

— Можешь не говорить. То есть ты не знаешь, кто ты? Выяснить *это* — слишком просто, необязательно переться сюда аж с севера штата Нью-Йорк через Японию. *Аххх*. — И она осеклась.

— Что?

— Ничего.

— Что?

— Ну, если ты родился в сорок восьмом, ты старше двадцати семи.

— То есть?

— Да блин, — сказала она. — Не важно.

Он медленно поколыхал ее локоть.

Она сказала:

— Я родилась в тысяча девятьсот сорок седьмом. И я *гораздо* старше двадцати восьми. — Она снова ему поморгала. — Но правда, это не важ…

Он откатился прочь по шумной листве.

— Ты знаешь, кто я? — (Ночь была эдакого цвета — облако пополам с ясным светом.) — Ты пришла сюда меня искать. Можешь сказать, как меня зовут?

Холод маслом растекся по его боку, где прежде была она.

Он повернул голову.

— Пошли! — Она села, и волосы ее зазмеились к нему. В лицо ему бросилась горсть листьев.

Он тоже сел.

Но она уже бежала — ноги мелькали в лунной пестроте.

Интересно, откуда у нее эта царапина.

Цапнув штаны, он сунул в них ногу и ногу, цапнув рубашку и одинокую сандалию, перекатился и встал…

Она сворачивала за скалу.

Он задержался — застегнуть ширинку и двойной шпенек на ремне. Ноги ему жевали прутики и гравий. Во она носится!

Он подбежал, а она обернулась; он положил ладонь на камень и вздрогнул: скала была влажна. Поглядел — на основании ладони и большого пальца земляное крошево.

— Вон там… — Она указала в пещеру. — Видишь?

Он потянулся было к ее плечу — но нет.

Она сказала:

— Иди. Заходи внутрь.

Он уронил сандалию — зашелестели кусты. Он

уронил рубашку, придушив шелест.

Она посмотрела на него выжидательно, посторонилась.

Он шагнул внутрь: мох под пяткой, под подушечкой стопы мокрый камень. Шаг другой стопой — мокрый камень.

Вокруг трепетало дыхание. В желейной темноте щеку погладило что-то сухое. Он пощупал: мертвая лоза с запекшейся листвой. Лоза качнулась — что-то затрещало ужасно высоко над головой. Пред внутренним взором замаячил гибельный обрыв; он скользом двинул ногу вперед. Пальцы нащупали: прутик с отошедшей корой… ком влажных листьев… водяную дрожь… Еще шаг — вода лизнула ногу. Он снова шагнул.

Только камень.

Слева вспышка.

Шагнул снова, и вспышка стала оранжева, чем-то заслонена — стенкой скальной ниши, тень вместо свода, — и еще шаг.

Сухая ветка, а за ней медное блюдо — широченное, с автомобильную покрышку: догорело чуть ли не до углей. В остатках огня что-то хрустнуло, брызнув искрами на влажный камень.

Впереди, где вспышка просочилась высоко в сужающийся пролом, что-то отразило и отшвыр-

нуло назад высветы.

Он вскарабкался, обогнув один валун, подождал; эхо дыхания и горения размечало размеры пещеры. Он примерился к расщелине, прыгнул согласно подсчетам и полез по дальнему склону. Из-под ног что-то сыпалось. Камешки в провале жалобно простучали по скалам, запнулись, зашептались — и тишина.

И всплеск!

Он свел плечи; а он-то думал, глубины всего ярд, не больше.

Лезть пришлось долго. На некоторое время его притормозила пятнадцатифутовая стена. Обошел ее сбоку, вскарабкался там, где порода выходила не так гладко. Нашел толстый гребень, подтянулся, всполз — оказалось, что это корень. Интересно чей, подумал он и выбрался на карниз.

В шести дюймах от его носа что-то тихонько взвизгнуло: «И-и-ик!» — и улепетнуло в лежалую листву.

Он сглотнул, и прилив колючих мурашек по плечам схлынул. Он в последний раз подтянулся и встал.

Они лежали в расщелине, косо уходившей в открытую небу тень.

Одним концом окаймив хохол папоротника.

Он протянул руку, заслонив свет жаровни, мерцавшей внизу; мерцание погасло.

Снова накатил страх — и не страх прежде виданного и нежданного или внезапно возникшего позади. Он пошарил в себе, поискал физических признаков, что придадут страху реальности: заторопившегося дыхания, замедлившегося пульса. Но страшное было неуловимо, как отъединение души. Он подобрал цепочку; один конец ее хихикнул и замигал, скользнув с камня. С цепочкой в руках он развернулся к оранжевому мерцанию.

Призмы.

Ну, местами.

А другие круглые.

Он пропустил цепочку сквозь пальцы. Некоторые кругляши прозрачны. Проползая через пустоты между пальцами, они преломляли свет. Он поднес цепочку к глазам и посмотрел сквозь линзу. Но линза была матовая. Наклонив ее, он различил тоннель, мутный и уходящий в глубину кругляша на несколько дюймов, и в трепещущем стекле затрепетал его собственный глаз.

Стояла тишина.

Он снова протащил цепочку по ладони. Случайный набор бусин, почти девять футов длиной. И у цепочки три хвоста. Все три конца заколь-

цованы. На самой большой петле — маленькая металлическая бирка.

Он нагнулся к свету.

Сантиметр меди (звенья, вделанные в оптические детали, были медные) гласил: «producto do Brazil»[2].

Это что вообще за португальский такой? — подумал он.

Еще посидел, взглядом скользя по блестящим хвостам.

Хотел было сгрести их, засунуть в карман джинсов, но три перепутанных ярда вытекли из ладоней. Он поднялся, отыскал самую крупную петлю, пригнул голову. Вершины и ребра куснули шею. Он собрал колечки под подбородком и ощупью (а в мыслях: руки-крюки, бля) замкнул застежку.

Посмотрел на цепочку, что петлями света свернулась под ногами. С ляжки снял самый короткий конец. Там петля поменьше.

Он подождал, даже затаил дыхание — а потом дважды обернул хвостом плечо, дважды предплечье и застегнул на запястье. Ладонью придавил звенья и бусины — твердые, пластмасса или

---

[2] Примечания: 2

Зд.: «Продукт из Брасилии» *(искаж. португ.).*

металл. Волосы на груди пощекотали складку между фалангами.

Самый длинный хвост он пропустил через спину: цепочка покрыла лопатки холодными поцелуями бусин. Потом через грудь; опять через спину; по животу. Одной рукой придерживая хвост (тот все еще свешивался на камни), другой расстегнул ремень.

Спустив штаны до лодыжек, последним хвостом обмотал бока; затем правое бедро; и еще один круг; и еще. Последнюю застежку замкнул на лодыжке. Натянув брюки, подошел к краю, застегнул ремень и развернулся задом, готовясь спускаться.

Оковы чувствовались. Но когда он грудью прильнул к скале, они лишь расчертили его, но не порезали.

На сей раз он пошел туда, где расщелина была всего в фут шириной, и ступил далеко от края. Зев пещеры — лямбда лунного марева, обшитая лиственным кружевом.

Камни лизали ему подошвы. Один раз внимание рассеялось, но его вновь сосредоточила холодная вода вокруг ступни; звенья цепочки согрелись на коже. Он остановился, подождал, не станет ли теплее; но цепочка была нейтральным

грузом.

Он шагнул в мох.

Его рубашка валялась на кусте; под ней кверху подошвой — сандалия.

Он сунул руки в шерстяные рукава; из манжеты мигнуло правое запястье. Он застегнул сандалию; земля увлажнила колено.

Он поднялся, повертел головой и сощурился, вглядываясь в сумрак:

— Эй?..

Обернулся влево, обернулся вправо, широким большим пальцем почесал ключицу:

— Эй, а куда?..

Вправо, влево; жаль, что он не умеет читать следы и сломанные веточки. Она бы не возвращалась той дорогой, которой они пришли…

Он выступил из пещеры в слоистую черноту. Она здесь пройти-то могла? — подумал он, сделав три шага. Но двинулся дальше.

Он принял дорогу за лунный свет в тот миг, когда нога в сандалии вонзилась в грязь. Босую он забросил на каменистую обочину. Выкарабкался на асфальт, одной ступней скользя по мокрой кожаной подошве, с шипением перевел дух и огляделся.

Слева дорога шла в горку меж деревьев. Он по-

вернул вправо. Дорога вниз приведет его в город.

По одну руку лес. По другую, сообразил он, скользко прорысив шагов десять, — только древесная изгородь. Еще шагов десять — и деревья отступили. За ними ему шелестела трава — велела потише.

Она стояла в самом центре луга.

Он сдвинул ноги — одна в сбруе и грязи, другая боса и в пыли; внезапно загрохотало сердце; он услышал, как удивленным вздохом огрызнулся на траву — сама, дескать, потише. Перешагнув канаву, ступил на плохо стриженную травяную щетину.

Она слишком высокая, подумал он, приближаясь.

Волосы вздыбились у нее над плечами; вновь зашелестела трава.

Ну *да*, она выше его, но все-таки не…

— Эй, я нашел!..

Она задрала руки над головой. На пенек, что ли, взобралась? На пьедестал?

— Эй?..

Она развернулась всем корпусом:

— А *ты* что тут делаешь?

Сначала ему почудилось, что она до бедер в грязи.

— Я думал, ты…

Но грязь бурая, как запекшаяся кровь.

Она взирала на него сверху вниз, хлопая ресницами.

Грязь? Кровь? Цветом ни то и ни это.

— Уходи!

Он гипнотически шагнул снова.

— Ты что тут *делаешь*? Уходи!

Пятна у нее под грудью — это что, струпья?

— Смотри, я нашел! А теперь ты скажешь, как меня?..

В пальцах она сжимала листья. И так высоко задрала руки! Листья посыпались ей на плечи. Длинные-длинные пальцы задрожали, и хрупкая тьма покрыла бок. Бледный живот вздрагивал вздохами.

— Нет!

Она отшатнулась, когда он потянулся к ней, — и застыла кособоко. Рука ее, ветвистая и ветвившаяся в десяти футах над ним, заволокла траву паутиной тени.

— Ты!.. — Вот что он попытался произнести; но изо рта вырвалось лишь дыхание.

Он посмотрел вверх, меж веточек ее ушей. С ее бровей посыпалась листва. Губы ее — толстая корявая культя, точно сук в фут толщиной

отсекло молнией. Глаза ее — он раскрыл рот, запрокидывая голову, вглядываясь, — исчезли в вышине, сначала один, высоко-высоко, потом другой; короста век плотно сомкнулась.

Он попятился по жесткой траве.

Листик обгорелым мотыльком врезался ему в висок.

Шершавыми пальцами колотя себя по губам, он споткнулся, развернулся, выскочил на дорогу, снова глянул туда, где корявый ствол тянул к луне пятипалые ветвистые грабли, и бежал вприпрыжку, пока не перешел поневоле на шаг, и шагал — задыхаясь, — пока не восстановилась способность думать. А потом еще немного пробежал.

2

Не сказать, что у меня нет прошлого. Просто оно бесконечно дробится об ужасную и отчетливую эфемерность настоящего. В долгой стране, иссеченной дождем, как-то не с чего и начать. На бегу и на ходу по выбитым колеям проще не думать о том, что она сделала (что сделано с ней, сделано с ней, сделано), лучше уразуметь издали. И не столь было бы ужасно, если б на икре не осталось (приглядись я, увидел бы цепочку крошечных ранок, а между ними мгновения плоти; так я делал и сам, задев розу в саду) этой царапины.

Асфальт выплеснул его на обочину шоссе. Ломаные асфальтовые кромки стесывали картинки с глаз. Рев, что мчался к нему, донесся, лишь когда миновал. Он глянул через плечо; красные задние глаза грузовика ввалились и слились. Он шагал еще час и больше машин не видел.

«Мэк» с двойным прицепом рыгнул в двадцати футах позади, обмяк до полной остановки в двадцати футах впереди. А он даже не стопил. Кинулся к открытой кабине, втащил себя наверх, хлопнул дверцей. Шофер, высокий, блондинистый и прыщавый, посмотрел без тени мысли,

отпустил сцепление.

Он хотел поблагодарить, но закашлялся. Может, шоферу охота с кем-нибудь потрепаться? Зачем еще подбирать человека, просто идущего по дороге?

Трепаться неохота. Но что-то сказать надо.

— Что везете?

— Артишоки.

Приближающиеся огни высветили шоферу лицо, оспину за оспиной.

Они дальше заколтыхались по шоссе.

Больше в голову ничего не приходило, вот разве что: я, понимаете, только что любил одну женщину, и вы ни за что не угадаете… Нет, история про Дафну не прокатит…

Поговорить хотелось ему! Шофера вполне устраивали фатические благодарности и болтовня. Западная независимость? Он немало помотался стопом по этим краям и считал, что тут сплошь маниакальный ужас.

Он запрокинул голову. Поговорить охота, а сказать нечего.

Страх унялся, и лукавство страха лепило архитектуру улыбки, с которой боролись губы.

Спустя двадцать минут он увидел вереницу шоссейных огней и подался вперед — посмотреть

на съезд. Глянул на шофера — тот как раз отводил взгляд. Захрипели тормоза, и кабина рывками замедлилась.

Машина остановилась. Шофер пососал рябые щеки, повернулся — во взгляде по-прежнему ничего.

Он кивнул, как бы улыбнулся, нащупал ручку, спрыгнул на дорогу; дверца стукнула, и грузовик тронулся, пока он еще готовил благодарность; пришлось уворачиваться от угла прицепа.

Грузовик с грохотом свернул с шоссе.

Мы произнесли всего по одной реплике.

Как странно, что этот ритуальный диалог исчерпал общение. (И это — ужас?) Что за удивительные и увлекательные ритуалы мы нынче практикуем? (Он стоял на обочине и смеялся.) Что за вращение и натяжение во рту побуждает смеяться в этой ветреной, ветреной, ветреной…

Здесь сплелись узлом эстакада и тоннель. Он шагал… гордо? Да, гордо, вдоль низкого парапета.

За водой замигал город.

Полумилей ниже огонь с набережной швырялся дымом в небеса и отражениями в реку. А здесь ни одна машина не съехала с моста. Ни одна не заехала на мост.

Вот будка контролера — как и вся шеренга будок, она темна. Он зашел: фасадное стекло разбито, табурет перевернут, в кассе нет ящика — треть клавиш заклинило, кое-какие погнуты. У некоторых недоставало головок. Разбиты булавой, молотком, кулаком? Он провел по клавишам пальцами, послушал щелчки, затем шагнул со сбрызнутого стеклом резинового коврика через порог и на мостовую.

На пешеходные мостки вела железная лесенка. Но машин не было, так что он пересек две пустые полосы — там, где черный асфальт отполировали покрышки, блестела армирующая сетка, — и захромал по прерывистой разделительной, нога в сандалии по одну сторону, босая — по другую. Мимо проплывали балки, слева и справа. Впереди над бледным перевернутым отражением своих пожаров скорчился горящий город.

Он глядел на взъерошенную ветром рубчатую ночную воду и принюхивался — пахнет ли гарью. Ветер раздвинул волосы на загривке; дым уползал с реки.

— Эй, ты!

Он поднял глаза на нежданный фонарик:

— Чего?..

С мостков темноту пронзил еще фонарик и

еще.

— В Беллону идешь?

— Ну да.

Щурясь, он выдавил улыбку. Один, потом другой огонек сдвинулись на несколько шагов, остановились. Он сказал:

— А вы… уходите?

— Ага. Там, знаешь ли, закрыто.

Он кивнул:

— Но я не видел ни солдат, ни полиции, ничего такого. Доехал стопом.

— И как улов?

— На последних двадцати милях попалось только два грузовика. Второй подвез.

— А отсюда?

Он пожал плечами:

— Я думаю, девчонкам-то несложно будет. Если кто проедет, наверняка вас подберет. Куда направляетесь?

— Мы вдвоем хотим в Нью-Йорк. Джуди хочет в Сан-Франциско.

— Мне бы *хоть куда-нибудь*, — слетело вниз нытье. — У меня температура! Мне в постели надо лежать. Я три дня и *лежала*.

— Путь неблизкий, — сказал он. — В оба конца.

— А Сан-Франциско цел?..

— …А Нью-Йорк?

— Да. — Он вгляделся во тьму позади фонариков. — О том, что тут творится, даже в газетах уже не пишут.

— Но как же! А телевизор? А радио?..

— Дура, это все тут не работает. Откуда им узнать?

— Но… ой, ну ни фига себе!..

— Чем ближе сюда, тем меньше народу, — сказал он. — И те, что попадаются… чуднее. А в городе как?

Одна рассмеялась.

Другая сказала:

— Довольно сурово.

Та, что заговорила первой, прибавила:

— Но ты прав, девчонкам полегче.

Рассмеялись все три.

И он тоже.

— Расскажете что-нибудь? В смысле — что-нибудь полезное? Раз уж я туда иду?

— Ага. Пришли какие-то мужики, расстреляли дом, где мы жили, разнесли все в щепу, выкурили нас.

— Она скульптуру варила, — пояснило нытье. — Большую такую. Льва. Из металлолома. Очень красивая! Но пришлось ее бросить.

— Ты подумай, — сказал он. — Вот так, значит, дела обстоят?

Одинокий, краткий, резкий смешок.

— Да уж. Нам очень легко.

— Расскажешь ему про Калкинза? И про скорпионов?

— Сам узнает. — Опять смешок. — Да и что тут скажешь?

— Оружие с собой хочешь?

Тут он опять испугался:

— А надо?

Но они говорили между собой:

— Ты ему отдашь?

— А чего нет? Я ее больше не хочу.

— Ну как угодно. Она ж твоя.

Проскрежетал металл по цепи, а одна между тем спросила:

— Ты откуда?

Фонарики отвернулись, переодев всех в призраков. На краткий миг одну, у перил, осветило, и стало видно, что она очень юна, очень черна и очень беременна.

— С юга.

— А говоришь не как на юге, — сказала та, что говорила ровно так.

— Сам-то не с юга. Но только что из Мексики.

— Ой, правда? — Это беременная. — А где был? Я знаю Мексику.

Обмен названиями полудюжины городов завершился разочарованным молчанием.

— Держи оружие.

Фонарики проследили за проблеском в воздухе, за лязгом на армированном асфальте.

Лучи тыкались в землю (а не ему в глаза), и теперь он разглядел на мостках полдюжины женщин.

— А это… — В устье моста загудел двигатель; но он посмотрел и не увидел фар. На каком-то съезде гул смолк. — Что?

— Как это называют?

— Орхидея.

— Да, точно. Вот это что.

Он подошел, в перекрестье трех лучей присел на корточки.

— Ее носят на запястье. Лезвиями вперед. Как браслет.

На регулируемом металлическом браслете резкими дугами изгибались семь ножей, от восьми до двенадцати дюймов. Все заточены. Внутри сбруя, цепочки и кожа, чтоб ножи прочно держались на пальцах.

Он все это подобрал.

— Надевай.

— Ты правша или левша?

— Амбидекстр… — Что в его случае означало «безрукий». Он повертел «цветок» в руках. — Но пишу левой. Обычно.

— А.

Он приладил браслет на запястье, защелкнул.

— А если такое в набитом автобусе надеть? Поранишь ведь кого-нибудь. — И уловил, что остро́ту не оценили. Сжал кулак в лепестках ножей, медленно разжал и в обрамлении гнутой стали ороговелыми кончиками двух пальцев потер подушечку большого.

— В Беллоне с автобусами не очень.

А в мыслях: грозные блестящие лепестки изогнулись вкруг узловатого полусгнившего корня.

— Уродина, — сказал он не этим на мостках, а прибамбасу. — Надеюсь, ты мне не пригодишься.

— Я тоже надеюсь, — сказала одна сверху. — Отдашь кому-нибудь, когда уйдешь.

— Ну да. — Он поднялся. — Так и сделаю.

– *Если* он уйдет, — сказала другая, вновь испустив смешок.

— Ну что, нам бы двинуть отсюда уже.

— Я слышала машину. И так ждать придется сто лет. Можно и двинуть.

Южная:

— Он же сказал, что вряд ли кто подвезет.

— Да ладно, пошли. Эй, пока!

— Пока. — Их лучи метнулись прочь. — И спасибо.

Артишоки? Но он не вспомнил, откуда взялось это слово — почему так ясно звенит.

На прощание он помахал им орхидеей.

Речное мерцание меж подкосов моста обрисовало силуэт корявой руки в клетке ножей. Глядя, как девушки уходят, он пережил смутнейший трепет желания. У них горел всего один фонарик. Потом кто-то его заслонил. Они остались шагами по металлическим плитам; донесшимися обрывками смеха; шорохами…

Он пошел дальше, держа руку на отлете.

Этот иссушенный вечер сдабривает ночь воспоминаниями о дожде. О существовании этого города подозревают очень немногие. Как будто не только СМИ, но сами законы перспективы перекроили знание и восприятие, дабы обходить город стороной. По слухам, здесь почти нет электричества. Ни телекамер, ни репортажей с места событий; здешняя катастрофа тускла, а посему, ты подумай, скучна электрической нации! Это город внутренних дисгармоний и зрительных

дисторсий.

3

За устьем моста асфальт осыпался.

Один живой уличный фонарь освещал пять мертвых — у двух разбиты плафоны. Карабкаясь по десятифутовому косому шмату асфальта, что разок дернулся под ногами и заворчал, точно живой, он видел, как за кромку катятся камешки, слышал, как они звякают по беглым трубам, а потом плещут где-то в темноте… Он вспомнил пещеру и перепрыгнул туда, где попрочнее, где трещины скрепляла колючая трава.

Во всех домах поблизости — ни огонька; но дальше по улицам у реки, за дымными пеленами — это что, огонь? Он уже привык к запаху, и пришлось втянуть воздух поглубже — лишь тогда заметил. Небо мглисто. Дома вонзались во мглу и исчезали.

Свет?

Перед четырехфутовым проулком он озирался десять минут — потому только, что там горел фонарь. Через дорогу разглядел бетонные ступени, грузовой подъезд под навесом, двери. На углу перевернулся грузовик. Чуть поближе три автомобиля — окна подведены битым стеклом —

грузно осели на перекошенных ступицах, будто чудесным образом ослепшие лягушки.

Босая нога вся в мозолях — ни гравий, ни стекло не страшны. Но пепел пробирался под ступню и на подошву сохранной сандалии, натирал, как мельчайший песок, вползал глубже и замешивал ил на поте. Пятка стерта почти до крови.

У калитки в конце проулка — груда пустых банок, кипа газет, еще перетянутая проволокой, кирпичи, составленные в очаг, а над очагом уложены трубы. Рядом армейская миска с запекшейся мертвой плесенью. Он двинул ногой, и что-то зашуршало.

Он наклонился. Лепесток орхидеи за что-то зацепился; он подобрал пакет с… хлебом? Зев обертки плотно закручен. Вернувшись под фонарь, балансируя пакетом на пальцах меж ножей, он развернул целлофан.

Идея поесть любопытна.

Идея поспать любопытна.

Но это любопытство парализовало.

В уголке первого ломтя — головка гвоздя с десятицентовик, поплывшая зеленью; и на втором ломте зелень, и на третьем. Гвоздь, подумал он, пробил буханку. Верхний ломоть с одной стороны зачерствел. А в остальном нормальный хлеб

— только прошитый зеленой прожилкой; и на ней всего-навсего пенициллин. Можно объесть по бокам.

Я не голоден.

Он сложил ломти обратно, свернул целлофан, отнес назад и засунул за кипу газет.

Возвращаясь к фонарю, сандалией отфутболил банку, и ее лязг обозначил тишину. Сквозь эту тишину он побрел дальше, высматривая в небе хоть намек на мутную луну…

Звон битого стекла оттянул взгляд к улице.

Он боялся, он был заинтригован; однако страх был неотступен — уже притупленная, ленивая эмоция; а вот интрига живая.

Он перебежал к ближайшей стене, двинулся вдоль нее, в голове прокручивая все возможные ужасы. Миновал подъезд, отметил, что туда можно нырнуть, и дошел до угла. Теперь голоса. И опять стекло.

Он выглянул.

Из разбитой витрины к двоим, которые ждали, выпрыгнули еще трое. Следом за ними на тротуар с лаем выскочила собака. Один захотел залезть назад; залез. Двое зашагали прочь.

Собака покружила, свернула к нему…

Он попятился, свободной рукой скребя по кир-

пичной стене.

Собака припала к земле, затанцевала в десяти футах от него — гав, гав, снова гав.

По собачьему языку и зубам размазался тусклый свет. Собачьи глаза (он с усилием сглотнул) мерцали красным — ни белков, ни зрачков, гладкие, как кровавое стекло.

Из витрины опять вылез человек. Еще кто-то обернулся и крикнул: «Мюриэл!» (Может быть, женщина.) Собака развернулась и кинулась на оклик.

Другой фонарь, через несколько кварталов, на миг очертил их силуэты.

Он шагнул прочь от стены, и его дыхание распустило тишину, потрясло, точно кто-то произнес его… имя? В раздумьях он перешел через дорогу к грузовому подъезду. На направляющей под навесом тихонько покачивались четырех– и шестифутовые мясницкие крюки — хотя не было ни ветерка. Вообще-то, рассудил он, мощный должен быть ветерок, чтоб их *раскачать*…

— Эй!

Руки, свободная и цветущая, рывком закрыли ему лицо. Он развернулся на полусогнутых.

— Эй, ты, там!

Ссутулившись, он задрал голову.

В вышине над восьмиэтажным домом клубился дым.

— Ты это чего, а?

Он опустил руки.

Голос скрежетал сипло, почти пьяно.

Он крикнул:

— Ничего, — и пожалел, что сердце никак не успокоится. — Гуляю просто.

За дымными шалями кто-то выступил к карнизу.

— Какие планы на вечер?

— Да никаких, говорю же. — Он перевел дух. — Я только что пришел, по мосту. С полчаса назад.

— Где орхидею взял?

— Чего? — Он снова поднял руку. Фонарь капнул светом на лезвие. — Эту?

— Ну.

— Какие-то женщины подарили. Когда мост переходил.

— Я видел, как ты из-за угла на шум выглядывал. Я отсюда не рассмотрел — это кто был? Скорпионы?

— Чего?

— Скорпионы были, говорю?

— По-моему, какие-то люди в магаз вломились. У них еще собака была.

Пауза — и заскрежетал смех.

— Ты и впрямь тут недавно, шкет?..

— Я… — и сообразил, что повторяется, — только пришел.

— Хочешь один осмотреться? Или составить тебе компанию?

Ничего себе глаза у мужика, подумал он.

— Составить компанию… наверно.

— Сейчас спущусь.

Как фигура исчезла, он не разглядел — слишком дымно. А несколько минут понаблюдав за несколькими подъездами, решил, что мужик передумал.

— Вот и я. — Из того, где он собирался прятаться. — Люфер меня зовут. Тэк Люфер. Знаешь, что это значит — «Люфер»? Рыжий Волк. Или Огненный.

— Или Железный. — Он сощурился. — Здрасте.

— Железный Волк? Ну-у, да… — Человек неясно нарисовался на верхней ступеньке. — Что-то я не знаю — мне, пожалуй, не нравится. Рыжий Волк. Это мое любимое. — Человек он был очень крупный.

Спустился еще на две ступени; рабочие сапоги стучали по дереву — точно кто-то мешки с песком ронял. Мятые черные джинсы наполовину за-

правлены в голенища. Потертая мотоциклетная куртка исчерчена шрамами молний. Золотистая щетина на подбородке и щеках цеплялась за уличный свет. Грудь и живот, голые меж распахнутых зубцов молнии, покрыты медными зарослями. Пальцы массивны, мохнаты…

— А тебя как зовут?

…но чисты и с аккуратным маникюром.

– *Э-э*… ну, скажем так: я не знаю. — Получилось смешно, и он рассмеялся. — Я не знаю.

Люфер остановился ступенькой выше тротуара и тоже засмеялся:

— Это как это?

Козырек кожаной кепки затенял ему пол-лица.

Он пожал плечами:

— Ну вот не знаю. Уже… довольно давно.

Люфер сошел на тротуар.

— Что ж, Тэку Люферу попадались тут люди с историями и почуднее. Ты псих, что ль, какой? Может, в дурдоме лежал?

— Да… — Видно было, что Люфер ожидал «нет».

Тэк склонил голову набок. Тень отползла, обнажив края негроширокоих ноздрей над крайне европеоидным ртом. Подбородок — точно камни в стерне.

— Всего год. Лет шесть или семь назад.

Люфер пожал плечами:

— Я три месяца отсидел в крытке… лет шесть или семь назад. Но это мой предел. А ты, шкет, значит, безымянный? Сколько тебе — семнадцать? Восемнадцать? Нет, тебе, небось, все…

— Двадцать семь.

Голова Тэка склонилась к другому плечу. Свет плеснул на скулы.

— Нервное истощение, оно всегда так. Люди, у которых серьезный депресняк, знаешь? Которые спят целыми днями? Ну, по больничкам. Всегда выглядят на десять лет моложе.

Он кивнул.

— Значит, буду звать тебя Шкет. Сойдет за имя. Будешь… Наш Шкет, а?

Три дара, подумал он: доспехи, оружие, титул (как призмы, линзы, зеркала на цепочке).

— Пусть… — И внезапно уверился, что третий дар обойдется всего дороже. Откажись, предостерегло что-то. — Только я не шкет. Мне по-честному двадцать семь. Все думают, что я моложе, чем по правде. А у меня просто лицо детское. Даже седые волосы есть, если интересно…

— Слышь, Шкет… — средними пальцами Тэк подпихнул козырек повыше, — мы с тобой ровес-

ники. — Глаза у него были большие, глубокие и голубые. Судя по волосам над ушами, не длиннее недельной бороды, под кепкой прятался жесткий ежик. — Хочешь тут чего конкретное поглядеть? Слыхал о чем-нибудь? Я люблю водить экскурсии. Что про нас снаружи-то слышно? Что люди говорят?

— Толком ничего.

— Предсказуемо. — Тэк отвел взгляд. — Ты ненароком сюда забрел или с целью?

— С целью.

— Молодец, Шкет! У человека должна быть цель. Пошли сюда. Эта улица, как свернет от реки, будет Бродвеем.

— А *что* тут смотреть?

Люфер заворчал, что сошло за смех.

— Зависит от того, какие зрелища на виду. — У него уже намечалось пузо, но рельеф под шерстью на животе был глубиной в мышцу. — Если нам *очень* повезет, может быть, — пепельная пола кожаной куртки покачнулась, когда Люфер обернулся, подмигнула над круглой медной пряжкой, скреплявшей двухдюймовый полицейский ремень, — мы вообще ни на что не наткнемся! Пошли.

И они пошли дальше.

— …шкет. Шкет…

— А? — переспросил Люфер.

— Имя примеряю.

— Сойдет?

— Не знаю.

Тэк рассмеялся:

— Я, Шкет, не настаиваю. Но оно, по-моему, твое.

В его собственной усмешке — опровержение пополам с дружелюбием.

Ответное ворчание Люфера эхом откликнулось на дружелюбие.

Они шагали под низкой завесой дыма.

Есть некая хрупкость в этом Железном Волке с лицом точно у курносой германской гориллы. Не речь и не манера — они не без грубости, — но то, как он их надевает: будто плоскость, где смыкаются речь с манерой, воспалена.

— Эй, Тэк?

— Ага?

— Ты давно здесь?

— Если скажешь, какой нынче день, я бы посчитал. Но я плюнул. Давненько. — После паузы Люфер спросил — голос странный, не такой задиристый: — Ты знаешь, какой сегодня день?

— Нет, я… — Эта странность напугала его. — Я

не знаю. — Он потряс головой, а разум спешно ринулся прочь, сменил тему: — Ты чем занимаешься? В смысле, где работал?

Тэк фыркнул:

— Промышленное строительство.

— И работал здесь? До… всего?

— Поблизости. Миль двенадцать, в Хелмсфорде. Там раньше был завод, где консервировали арахисовое масло. Мы его переоборудовали под производство витамина С. А ты чем занят?.. Не, по тебе не скажешь, что у тебя работы выше крыши. — Люфер ухмыльнулся. — Да?

Он кивнул. Суждения по внешности утешительны, когда судья проницателен и дружелюбен. Ну и вообще, отпустило.

— Жил-то я в Хелмсфорде, — продолжал Люфер. — Но часто катался в город. Прежде Беллона была ничего себе городок. — Тэк глянул на какую-то дверь — слишком темно и не видно, открыта или закрыта. — Пожалуй, и до сих пор. Но однажды приехал — а тут вон чего.

Пожарная лестница над уличным фонарем, что пульсировал медленно, точно больное сердце, походила на горелые спички — некоторые еще теплились.

— Прямо как сейчас?

Их отражение нефтяной рябью скользнуло по витрине.

— Чуть меньше мест, куда добрался огонь; чуть больше народу еще не уехало… не все новоприбывшие прибыли.

— То есть ты здесь с первых дней?

— Не, как началось, я не видел. Говорю же: я приехал — а тут почти как сейчас.

— А где твоя машина?

— Стоит на улице, ветровое стекло разбито, покрышек нет — и двигателя, считай, тоже. Я поначалу-то немало глупостей допустил. Но со временем выучился. — Тэк повел руками — и исчез, не завершив жеста: они ступили в кромешную черноту. — Вроде бы сейчас тут тысяча людей. А раньше было два миллиона.

— Откуда ты знаешь? Про население?

— В газете пишут.

— А почему ты остался?

— Почему остался? — Тон снова почти стал такой… нехороший. — Ну, я, собственно, много об этом думал. И я думаю, потому что — это у меня теперь такая теория — свобода. Понимаешь, здесь, — (впереди что-то шевельнулось), — ты свободен. Законов нет — нечего нарушать, нечего соблюдать. Делай что хочешь. Отчего с тобой

происходит много занятного. Очень быстро — на удивление быстро — становишься… — они подошли к очередному подслеповатому фонарю; шевелился, как выяснилось, дым — телепался на подоконнике в короне стеклянных зубов; похоже на погашенный тыквенный фонарь, — тем, кто ты есть. — И Тэка снова стало видно. — Вот так-то. Если ты к этому готов.

— Опасно, наверно. Мародеры, все такое.

Тэк кивнул:

— Еще бы не опасно.

— На улицах часто грабят?

— Бывает. — Люфер скривился. — Что ты знаешь про преступность, Шкет? Преступность — занятная штука. Вот, к примеру: в большинстве американских городов, в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе, преступления — я читал, девяносто пять процентов — совершаются между шестью вечера и полуночью. То есть безопаснее шататься по улицам в три часа ночи, нежели сходить в театр к третьему звонку в семь тридцать. Интересно, который час. Где-то третий, небось. Вряд ли Беллона сильно опаснее любого другого города. Она ж теперь совсем маленькая. Это отчасти спасает.

Забытый нож орхидеи поскреб ему по джин-

сам.

— Сам-то вооружен?

— Многомесячными тщательными исследованиями — где что творится, где какие движения и вариации. Я много смотрю по сторонам. Сюда.

На другой стороне улицы были не дома: сланцево-черные деревья высились над парковой оградой. Люфер направился к воротам.

— Там безопасно?

— На вид довольно страшно, — кивнул Тэк. — Небось, любой преступник, у кого хоть капля ума есть, лучше дома посидит. Если ты не грабитель, надо психом быть, чтоб туда пойти. — Он обернулся, улыбнулся: — А это, вероятно, означает, что все грабители давным-давно устали ждать и разошлись по домам баю-бай. Пошли.

Вход сторожили каменные львы.

— Занятно, — сказал Тэк, когда они проходили между львами. — Покажи мне место, куда женщинам не велят соваться ночью, потому как там, мол, шныряют ужасные злые мужики, норовят натворить ужасных злых дел; и знаешь, что ты там найдешь?

— Голубых.

Тэк глянул на него, опустил козырек кепки:

— Вот-вот.

Тьма объяла их и поволокла по тропе, как по воде.

Во тьме этого города, в вони его — никакой безопасности. Что ж, придя сюда, от всех надежд на безопасность я отрекся. Лучше прикинуться, будто я сделал выбор. Заслонить кошмарные декорации занавесом здравомыслия. Что его откроет?

— За что тебя посадили?

— Аморалка, — ответил Тэк.

Он теперь отставал от Тэка на несколько шагов. Тропинка, поначалу бетонная, стала грунтовой. Его хлестала листва. Босая нога трижды шагнула на шершавые корни; рука, покачнувшись, разок слегка задела древесную кору.

— Вообще-то, — бросил Тэк в разделявшую их черноту, — меня оправдали. Так сложилось, видимо. Мой адвокат решил, что лучше мне просидеть без залога девяносто дней, за мелочь, типа. Какие-то бумаги где-то потерялись. Потом он это все выволок в суде, и обвинение сменили на непристойное поведение на публике; а я уже все отсидел. — Звякнули молнии, — видимо, он пожал плечами. — Если так посмотреть, все сложилось неплохо. Гляди!

Угольная чернота листвы разодралась, впустив

обычные расцветки городской ночи.

— Куда?

Они остановились средь деревьев и высоких кустов.

— Тише! Вон…

Его шерстяная рубаха приструнила шумную Тэкову кожаную куртку. Он прошептал:

— Где ты?..

Из-за поворота на тропинку, нежданный, сияющий и искусственный, явился семифутовый дракон, а за ним такие же огромные богомол и грифон. И тряско поплыли — точно изощренный пластик, подсвеченный изнутри и туманный. Качнувшись друг к другу, богомол и дракон… перемешались!

Ему на ум пришли слегка размытые наложенные кинокадры.

— Скорпионы!.. — прошептал Тэк.

И плечом толкнул его в плечо.

Он рукой держался за ствол. Тени веточек паутиной оплели ему предплечье, тыл ладони, кору. Фигуры приближались; паутина заскользила. Фигуры миновали; паутина соскользнула. Они, сообразил он, раздражали глаз, как картинки на трехмерных открытках, — и такие же полосатые тела повисали прямо перед — или, может, прямо

за ними.

Грифон поодаль замерцал.

На середине осторожного кривоногого шага — тщедушный малолетка с прыщавыми плечами, затем снова грифон. (Память о встопорщенных желтых волосах; руки на отлете у веснушчатого таза.)

Богомол развернулся, поглядел назад, на миг погас.

На этом была хоть *какая-то* одежда — темнокожий юнец зверской наружности; цепи, которые он носил вместо ожерелий, заскрипели под ладонью, когда он рассеянно погладил левую грудь.

— Малыш, давай! Шевели поршнями! — Что произнес уже опять богомол.

— Ёпта, они, думаешь, на месте? — Это грифон.

— А то. Где им еще быть. — Голос дракона вполне сошел бы за мужской; и она, похоже, была черной.

В изумлении и смятении он оцепенело слушал беседу дивных зверей.

— Пусть только попробуют не быть на месте!

Цепи исчезли, но скрипели по-прежнему.

Грифон снова мигнул: под ослепительной чешуей исчезли рябые ягодицы и грязные пятки.

— Эй, Малыш, *а вдруг* их еще нет?

— Ой, ёпта! Адам?..

— Адам, ну кончай. Сам же понимаешь, что они там, — утешила дракон.

— Да? Это с чего это я понимаю? Эй, Леди Дракон! Леди Дракон, ну вы даете!

— Пошли. И помолчите оба, а?

Качко сталкиваясь и разъединяясь, они исчезли за поворотом.

Теперь он вовсе не видел своей руки и потому отпустил ствол.

— Что… что это *было*?

— Я же говорю: скорпионы. Такая банда, типа. Может, и не одна. Я особо не в курсе. Проникаешься к ним со временем, если умеешь не путаться у них под ногами. Если не умеешь… ну, тогда, видимо, или к ним, или получаешь по башке. Во всяком случае, я так понял.

— Да нет, эти… драконы всякие?

— Красиво, да?

— А это как?

— Знаешь голограммы? Это проекции интерференционных картин очень маленького, очень маломощного лазера. Там все несложно. Но эффектно. Они это называют «светощит».

— А. — Он глянул на свое плечо, куда Тэк уронил руку. — Про голограммы я слыхал.

Тэк вывел его из-под кустарного прикрытия кустов на бетон. Поодаль у тропы, там, откуда пришли скорпионы, горел фонарь. Они зашагали к нему.

— А есть другие?

— Могут быть. — Тэк снова замаскировал тенью пол-лица. — Светощиты на самом деле ни от чего не защищают — разве что наши любопытные глазки от тех, кто желает разгуливать с голой жопой. Когда я только приехал, тут повсюду были одни скорпионы. А недавно стали появляться грифоны и всякие другие. Но название жанра прижилось. — Тэк сунул руки в карманы джинсов. Куртка, внизу сцепленная замком молнии, вздулась спереди, изобразив несуществующие груди. Тэк разглядывал их на ходу. Подняв взгляд, улыбнулся безглазо: — Я уж и забыл, что люди не знают про скорпионов. Про Калкинза. Они тут знамениты. Беллона — большой город; в любом другом, если там заведутся такие звезды, — да в Лос-Анджелесе, Чикаго, Питтсбурге, Вашингтоне на шикарных коктейлях только о них бы и трынделили все, а? Но про нас забыли.

— Нет. Не забыли.

Он не видел глаз Тэка, но знал, что они сузились.

— И поэтому засылают к нам людей, которые не помнят, как их зовут? Тебя вот, например?

Он резко хохотнул; в горле получилось так, будто он гавкнул.

Тэк ответил сипеньем, которое служило ему смехом.

— Да уж! Ничего себе ты шкет. — Смех не стихал.

— А теперь мы куда?

Но Тэк, опустив подбородок, шагал вперед.

Удастся ли вылепить себе личность из этой игры сумрака, света и сыромяти? Как мне в осмысленной матрице воссоздать этот прожаренный парк? Вооружившись парадоксальными виденьями, уродливую руку заключив в клетку красивых железок, я созерцаю новую механику. Сам я — бешеный механик: прошлое уничтожено, восстанавливаем настоящее.

4

— Тэк! — окликнула она из-за костра, встала и тряхнула огненными волосами. — Кого привел?

Она обогнула шлакоблочный очаг и пошла навстречу — став силуэтом, перешагивая спальные мешки, скатки, целую поляну простертых тел. Двое глянули на нее и перевернулись на другой бок. Еще двое храпели на разных частотах.

Девушка на одеяле, без рубашки и с очень симпатичными грудями, перестала играть на губной гармошке, постучала ею по ладони, вытряхивая слюну, и снова дунула.

Рыжая обогнула гармонистку и схватила Тэка за манжету, вблизи снова обретя лицо.

— Ты сколько дней уже не приходил! Что с тобой случилось? Ты же раньше заглядывал к ужину чуть не каждый вечер. Джон за тебя волновался.

Лицо в полумраке было красивое.

— Я не волновался. — От стола со скамьями к ним подошел высокий длинноволосый человек в перуанском жилете. — Тэк приходит. Тэк уходит. Сама же знаешь Тэка. — Даже в свете миниатюрных костров, отраженных в очках, его

загар выдавал действие химикатов или солярия. Волосы бледные и жидкие, а день наверняка высветил бы в них выгоревшие пряди. — Сейчас ты скорее к завтраку пришел, чем к ужину. — И длинноволосый — Джон? — постучал по ляжке скатанной в трубку газетой.

— Ну давай, Тэк. Рассказывай. — Она улыбнулась; ее лицо раскололи густые тени. — Кого ты на сей раз нам с Джоном привел?

А Джон задрал голову (двойное пламя соскользнуло с линз), выглядывая проблески рассвета.

Тэк сказал:

— Это вот Шкет.

— Скейт? — переспросила она.

– *Шкет*.

— Ш, э, к, е, т?..

— Ш, к, е.

— …д, т, — прибавила она, неуверенно хмурясь. — А, *Шкедт*.

Если Тэк и скривился, этого никто не увидел.

Сам он, впрочем, решил, что это мило; но встревожило что-то другое.

Она расправила плечи, поморгала.

— Как дела, Шкедт? Ты новенький? Или месяцами в темноте прятался? — И Тэку: — Поразительно, да? Постоянно кто-нибудь вот так всплывает.

Казалось бы, знаешь в городе всех, кого можно. А потом вдруг кто-то высовывает нос из кустов — и оказывается, он там всю дорогу скрывался, наблюдал…

— Так мы познакомились с Тэком, — пояснил Джон. И Тэку: — Да, Тэк?

Тэк сказал:

— Он новенький.

— Ясно. Короче, — сказал Джон, — у нас тут такое дело. Объяснишь, Милдред?

— Ну, мы считаем… — Плечи Милдред сдвинулись по-официальному. — Мы считаем, надо как-то вместе выживать. Нельзя же глотки друг другу рвать, как звери. А такая вот история, — (он не усомнился, что взмах ее руки и «такая история» не подразумевали ничего за пределами света от костра), — легко может выродиться в какой-нибудь… ну, ужас! И мы тут устроили, можно сказать, коммуну. Прямо в парке. Люди добывают еду, вместе работают, знают, что как-то защищены. Мы стараемся жить как можно органичнее, но с этим становится сложнее. Когда в Беллону приходят новенькие, у них есть шанс посмотреть, как у нас тут все устроено. Мы не принимаем всех подряд. Но если принимаем, то с распростертыми.

Ощущалась какая-то судорога (в нем, в ней — он не понял и поэтому занервничал) — точно провод натянули через край и порвали изоляцию.

— Ты же *новенький*, да? Новеньким мы всегда рады.

Он кивнул, а мозг его меж тем разгонялся, взвешивал: в нем? В ней?

Тэк сказал:

— Покажи ему тут всё, Милли.

Джон сказал:

— Хорошая мысль, Милдред. Тэк, я хотел с тобой поговорить, — и опять постучал газетой. — А, кстати. Может, хочешь глянуть?

— Что? Ой… — *Нельзя* столько психовать из-за таких вещей. Но ему часто приходилось себе об этом напоминать. — Спасибо. — И он взял сложенную газету.

— Ладно, Тэк. — И Джон с Тэком отвернулись. — Ты когда к фундаментам приступаешь? Я могу дать…

— Послушай, Джон. — Оба побрели прочь, и Тэк положил руку Джону на плечо. — Чертежи есть? Больше ничего не надо, можно…

А потом их стало не слышно.

— Есть хочешь?

— Нет.

Она и впрямь была красивая.

— В общем, если захочешь… давай сюда пойдем… мы начинаем готовить завтрак, как рассветет. Это уже скоро.

— Вы всю ночь не спали? — спросил он.

— Да нет. Но если ложиться на закате, просыпаешься довольно рано.

— Я не спал.

— Мы тут много работаем… — она сунула руки в задние карманы; ее джинсы с оторванными штанинами высоко сбились на бедрах, — днем. Мы не просто сиднем сидим. У Джона десяток проектов. Довольно трудно спать, когда люди молотками стучат, и строят, и вообще. — Она улыбнулась.

— Я не спал; но я не устал. Когда устаю, меня из пушки не поднять. — И он перевел взгляд на ее ноги.

Она шагала, и свет на них смыкался и скрещивался.

— Нет, мы не против, хочешь спать — спи, пожалуйста. Мы никого не хотим заставлять. Но нам надо поддерживать какой-то режим, понимаешь.

— Да, это я понимаю.

Он и сам постукивал газетой по бедру. А теперь

поднес ее к лицу.

— А чего ты с орхидеей разгуливаешь? — спросила она. — Конечно, город в таком состоянии, что это, наверно, разумно. И мы правда очень терпимые — у нас кто только не живет. Но…

— Мне подарили. — Он повернул газетную трубку.

«СЕРЬЕЗНЫЙ ДЕФИЦИТ»

Таблоид раскрылся у него в руках.

«ВОДЫ УГРОЖАЕТ»

Дата — вторник, 12 февраля 1995 года.

— А *это* еще что?

Она помрачнела:

— Тут мало кто смыслит в техобслуживании. И мы все ждем, что со дня на день наступит серьезный дефицит воды. Ты не представляешь, сколько израсходовали, пока пытались тушить пожары.

— Да нет, девяносто пятый год.

— А. *Это* — Калкинз. — На деревянном столе стояла коробка с консервами. — По-моему, поразительно, что у нас вообще есть газета. — Она села на скамейку и посмотрела на него выжидательно. — А даты — это он просто шутит.

— А. — Он сел рядом. — А палатки у вас есть? Хоть какое-то укрытие? — Но все думал: «Тысяча

девятьсот девяносто пятый?»

— Мы в основном предпочитаем на воздухе. — Она огляделась, а он тем временем тщился почувствовать город за пределами этого лиственного грота в свете костра. — Конечно, Тэк… он обещал Джону простые чертежи. Для изб. Джон хочет, чтобы Тэк возглавил весь проект. Считает, Тэку это будет полезно. Тэк, знаешь, такой странный. Почему-то думает, что мы его не примем. Или мне кажется, что он так думает. У него в голове очень важная картинка: вот он такой весь из себя одиночка. Хочет отдать нам чертежи — он ведь инженер, знаешь, — и чтобы дальше мы сами. Но ценность ведь не просто в доме или там в лачуге, которые в результате построятся. Тут должен быть внутренний творческий порыв строителя. Согласен?

Чтоб хоть чем-то себя занять, он покрепче сцепил зубы.

— Точно не хочешь есть?

— А. Нет.

— И не устал? Можешь передохнуть пару часиков, если что. Работа начинается только после завтрака. Давай одеяло принесу, хочешь?

— Нет.

При свете костра в ее решительном ясном лице

он насчитал лет двадцать пять.

— Я не хочу есть. И спать. Я даже не знал, что Тэк ведет меня сюда.

— Тут очень славно. Правда. По крайней мере, очень теплое единение чувств.

Пожалуй, всего двадцать.

Гармонистка заиграла вновь.

За костром завозился кто-то в коконе защитного цвета.

Кроссовка Милдред очутилась в футе от ближайшего спящего, который накрыл голову холстиной.

— Лучше б ты это не носил, — засмеялась Милдред.

Он разжал массивные пальцы под металлом.

— Ну, если хочешь остаться. Может, тогда тебе и не надо будет это носить.

— Мне и не надо это носить. — И решил не снимать.

Гармоника вознегодовала.

Он поднял глаза.

Свет ярче огня и зелени забросал спальники и скатки лиственными тенями деревьев. Затем разбухшие лапы и иззубренный прозрачный хвост съежились.

— Эй, вы нам притаранили?

Шея у него была щедро увешана цепями. На округлости плеча — широкая ссадина (а ниже ссадины поменьше), будто он неудачно упал на бетон. Один сапог тоже оплетен цепями — на ходу он звякал.

— Давайте, не тормозите! Тащите сюда это говно!

Он остановился у очага. Пламя отполировало мощные руки, маленькое личико. Передний зуб сломан.

— Больше ничего? — Он резко указал на стол, смахнул с плеча спутанные, полузаплетенные черные волосы и подошел.

— Привет! — сказала Милдред, просияв сногсшибательной улыбкой. — Кошмар! Как дела?

Скорпион воззрился на нее сверху вниз, высоко задрав влажную губу над сломанным зубом, и с расстановкой произнес:

— Ёпта, — что поддавалось разнообразным трактовкам. Вклинился между ними двумя. — А ну… — заметил орхидею, — подвинься нахуй, а? — И подтащил коробку консервов с края стола к животу, на котором несвежие мятые джинсы висели так низко, что видно было, как шерсть густеет ближе к лобку. Через мощное плечо глянул на орхидею, закрыл рот, потряс

головой. — Ёпта, — опять, а затем: — А *ты*, бля, чего вылупился? — Между полами укороченного жилета под темной велосипедной цепью на блестящих звеньях из нержавейки и меди из скобяной лавки мерцали призмы, зеркала и линзы.

— Ничего.

Кошмар раздраженно цыкнул, развернулся и споткнулся о спальник.

– *Под ноги не лезь*, идиот!

Холстина затряслась, и появилась голова — пожилой мужик поскреб под очками, в которых, вероятно, уснул, и поглядел вслед скорпиону, затопавшему под деревья.

Он увидел, как под маской лица Милли что-то шевельнулось, и какой-то миг был уверен, что сейчас она окликнет, попрощается. Она провезла по земле кроссовкой.

На голени у нее была царапина.

Он нахмурился.

Она сказала:

— Это Кошмар. Про скорпионов уже знаешь?

— Тэк кое-что рассказал.

— Поразительно, как прекрасно можно ладить с людьми, если просто быть любезным. Правда, у них странноватые представления об ответной любезности. Раньше они вызывались кого-ни-

будь для нас избить. Всё хотели, чтоб Джон нашел, кого бы им поучить жизни — само собой, того, кто нам докучал. Но нам никто не докучал. — Она сгорбилась.

— Я так понимаю, — заключил он из дефектной конструкции ее улыбки, — вы не всегда с ними ладите?

— Не всегда. — Улыбка идеальна. — Просто жалко, что Джона не было. Джон с ними ладит отлично. По-моему, Кошмар его побаивается. Мы им часто помогаем. Продуктами делимся. Мне кажется, они многое у нас черпают. Но было бы гораздо проще им помогать, если б они признали, что им это нужно.

Гармошка молчала; гологрудой девушки на одеяле не было.

— Ты где так оцарапалась?

— Нечаянно. Джон. — Она пожала плечами. — Такой вот штукой, кстати. — Она кивнула на орхидею. — Ерунда.

Он наклонился потрогать, глянул на Милдред — та не шевельнулась. Поэтому он прижал указательный палец к ее коже, провел вниз. Короста под мозолью — как крохотный рашпиль.

Милдред нахмурилась:

— Ну правда, ерунда. — Получилась мягкая

гримаса в густо-рыжем обрамлении. — А это что? — Она ткнула пальцем. — На запястье у тебя?

Когда он наклонился, задралась манжета.

Он пожал плечами. Смятение — как попытка нащупать удобную позу внутри собственной шкуры.

— Нашел. — Интересно, расслышала ли она знак вопроса — крохотный, не больше точки.

Она шевельнула бровями — значит, услышала; и это его позабавило.

На его узловатом запястье полыхнуло оптическое стекло.

— Где ты это взял? Я у нескольких людей видела такую… цепь.

Он кивнул:

— Я нашел недавно.

— Где? — Нежная улыбка требовала ответа.

— А где ты оцарапалась?

По-прежнему улыбаясь, она ответила смущенным взглядом.

Этого он ожидал. И не поверил.

— Я… — и эта мысль разрешила некую внутреннюю каденцию, — хочу про тебя знать! — Он был внезапно и ошеломительно счастлив. — Ты здесь давно? Откуда ты? Милдред? Милдред — а

как фамилия? Почему ты сюда пришла? А сколько тут пробудешь? Любишь японскую кухню? А стихи? — Он засмеялся. — Тишину? Воду? Чтобы произносили твое имя?

– *Ну-у…* — Он видел, что она страшно довольна. — Милдред Фабиан, и *на самом деле* меня все называют Милли, как Тэк. Просто Джон считает, что, когда приходят новенькие, надо поофициальнее. Я здесь училась в университете штата. Вообще я из Огайо… из Эвклида?

Он кивнул.

— Но в местном универе прекрасный факультет политологии. Раньше был. Поэтому я приехала сюда. И… — Она опустила глаза (карие, сообразил он с задержкой памяти в полсекунды, глядя на опущенные пшеничные ресницы, — карие с медной подкладкой, медной, как ее волосы). — Я осталась.

— Когда все случилось, ты была *здесь?*

— …да.

Он расслышал вопросительный знак — крупней любого, что найдется в шрифт-кассе.

— А что… — и когда он произнес: — случилось? — ему уже не хотелось знать ответ.

Ее глаза расширились, снова опустились; плечи ссутулились; спина округлилась. Она потянулась

к его руке, что лежала между ними на скамье в своей клетке.

Двумя пальцами взяла блестящий кончик ножа, и он почувствовал, как его ладонь повисла на сбруе.

— А можно… я всегда… ну, можно ими… — Она оттянула кончик ножа вбок (на запястье надавило, и он напряг руку), отпустила: приглушенный *дммммм*. — Ой.

Он не понял.

— Я все думала, — пояснила она, — звенят ли они. Как музыкальный инструмент. Все ножи разной длины. Я думала, если они умеют делать ноты, на них, наверно, можно… играть.

— На ножевой стали? По-моему, она недостаточно хрупкая. Колокольчики и всякое такое — они из железа.

Она склонила голову набок.

— Звенит хрупкое. Стекло, например. Ножи прочные, это да; но слишком гибкие.

Спустя миг она подняла глаза:

— Я люблю музыку. Хотела основной специальностью взять. В универе. Но политология была *так* хороша. По-моему, я с тех пор, как поступила, не видела в Беллоне ни одного японского ресторана. Но было несколько хороших китай-

ских… — Что-то произошло с ее лицом — как будто узел развязался, изнеможение пополам с отчаянием. — Мы стараемся как можем, понимаешь?..

— Что?

— Мы стараемся как можем. Ну, здесь.

Он слегка кивнул.

— Когда все случилось, — тихо сказала она, — был ужас.

«Ужас» прозвучал абсолютно сухо; он вспомнил, как таким же тоном человек в коричневом костюме однажды произнес «лифт». Та же модуляция, вспомнил он, обнажала речи Тэка.

Она сказала:

— Мы остались. Я осталась. Видимо, считала, что должна. Не знаю, сколько… сколько тут пробуду. Но ведь надо что-то делать. Раз уж мы здесь, что-то делать надо. — Она перевела дух. На щеке подпрыгнул мускул. — Ты?..

— Что я?

— Что ты любишь, Шкедт? Чтобы произносили твое имя?

Он знал, что это невинный вопрос; и все равно рассердился. Губы уже начали складываться в «н-ну-у…» — но получился лишь выдох.

— Тишину?

Выдох обернулся шипением; шипение обернулось:

— …случается.

— Ты кто? Откуда *ты*?

Он замялся и посмотрел, как ее глаза что-то отыскали в его заминке.

— Ты боишься, потому что ты здесь новенький… мне кажется. Я боюсь, мне кажется, потому что я здесь… ужасно давно! — Она обвела взглядом лагерь.

У очага стояли два длинноволосых юнца. Один тянул руки к огню — то ли грел, то ли просто хотел почувствовать жар.

Утро выдалось теплое. В этом лиственном пузыре я вовсе не вижу защиты. Нет сочленения на стыке предмета и тени, нет жесткого угла между горючим и горением. Где им поставить свои убежища, утопив фундаменты в пепле; двери и окна — в шлаке? Нечему доверять — лишь тому, что греет.

Губы у Милдред раздвинулись, глаза сузились.

— Знаешь, что сделал Джон? И я считаю, это очень храбро. Мы только достроили очаг; нас здесь тогда было всего ничего. Кто-то хотел разжечь огонь зажигалкой. Но Джон сказал: погодите; а потом пошел аж на озеро Холстайн.

Тогда пожары были гораздо сильней. И он принес оттуда факел — старую, сухую горящую палку. Ему по пути назад пришлось даже несколько раз поджигать новую. И от этого огня, — она кивнула туда, где один юнец сломанной ручкой метлы тыкал дрова, — он зажег наш. — (Другой юнец стоял рядом в обнимку с поленом.) — По-моему, это очень храбро. Правда?

Полено упало. Искры гейзером брызнули сквозь решетку, выше нижних ветвей.

— Эй, Милли!

Искры закружились, и он озадачился: а почему все говорят так громко, когда столько народу спит?

— Милли! Смотри, что я нашла.

Она надела синюю рубаху, но не застегнула. В одной руке губная гармошка, в другой тетрадь на пружинке.

— Это что? — откликнулась Милли.

Проходя мимо очага, девушка махнула тетрадью в огненном фонтане; искры взвихрились шутихами и опали.

— Может, кто-нибудь тут потерял? Она обгорела. Обложка.

Девушка села между ними, сгорбилась, сосредоточенно насупилась.

— Это кто-то учился.

Картон в углу расслоился и почернел. Половину задней обложки испятнал жар.

— А что там? — спросила Милли.

Девушка пожала плечами. Плечом и бедром задела его. Он отодвинулся по скамье, чтоб дать ей место, подумал было придвинуться обратно, но вместо этого взял газету и открыл — сбоку порвав ножами — на второй полосе.

— А первые страницы кто выдрал? — спросила Милли.

— Она такая уже была.

— Но в пружине остались края.

— Почерк красивый.

— Разбираешь, что написано?

— Слишком темно. Я кое-что прочла в парке под фонарем. Пошли к огню.

Газетная полоса у него перед глазами мигала подсветкой сзади — видны буквы с обеих сторон. Разглядел он лишь готическую шапку:

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»

А ниже:

РОДЖЕР КАЛКИНЗ
Главный редактор и издатель

Он закрыл газету.

Девушки ушли к очагу.

Он встал, отложил газету на скамью, один за другим перешагнул три спальника и скатку.

— И что там?

В кулаке она по-прежнему сжимала гармошку.

Волосы коротки и густы. Глаза — она взглянула на него в упор — истошно-зеленые. Оперев тетрадь на сгиб локтя, свободной рукой отогнула картонную обложку и показала ему первую страницу. Ногти испещрены крапинами зеленого лака.

Верхнюю строчку занимала оборванная фраза каллиграфическим почерком:

собой ранить осенний город.
И взвыл, дабы мир дал ему имя.

По бокам у него побежали мурашки…

Изпотьма ответило ветром.

Что знаешь ты, знаю я: астронавты пролетны, и банковские клерки перед обедом поглядывают на стенные часы; капюшонны актрисы в сияющих рамах зеркал, и грузовые лифтеры пальцем втирают жир в стальной рычаг; студен-

ческие

Она опустила тетрадь и вгляделась в него; зеленые глаза поморгали. Пряди волос стряхнули занозы теней на щеку.

— Что с тобой такое?

Его лицо потянулось к улыбке.

— Это просто как-то… ну, очень странно!

— Что тут странного? — Она закрыла обложку. — У тебя очень непонятное лицо.

— Я не… но… — Улыбка получалась какая-то не такая. То, что ее сбивало, помещалось на третьей вершине треугольника, коего нижние вершины — узнавание и неразумение. — Просто это так… — (Нет, начни заново.) — Ну, это так… Я, понимаете, много знаю про астронавтов. Я раньше читал расписания пролета спутников и выходил ночью, смотрел на них. И я дружил с одним банковским клерком.

— У меня была одна знакомая, она работала в банке, — сказала Милли. И другой девушке: — А у тебя не было?

Он сказал:

— И я прежде работал в театре. На втором этаже, мы вечно возили что-нибудь на грузовом лифте… — *Эти* воспоминания так легко восстано-

вить… — Я про него как раз недавно думал — про грузового лифтера.

Они все равно смотрели озадаченно.

— Просто все это очень знакомо.

— Ну да-а… — Она большим пальцем провела по блестящей гармошке. — Я, наверно, бывала в грузовом лифте хотя бы однажды. Блин, да я в школе играла на сцене — в гримерной на раме зеркала были лампочки. И ничего странного.

— Но там дальше про студенческие волнения. И бодеги… Я только что из Мексики.

— Там нет никаких студенческих волнений.

— Нет, есть. Я однажды пережил студенческие волнения. Я покажу. — Он потянулся за тетрадью (девушка шарахнулась от орхидеи), свободную руку распластал по странице (девушка снова шагнула ближе, плечом погладив его руку. Под незастегнутой рубахой он увидел ее грудь. Ага-а), прочел вслух: — «…Пальцем втирают жир в стальной рычаг; студенческие хэппенинги с полными „фольксвагенами“ спагетти, рассвет в Сиэтле, автоматический вечер в Лос-Анджелесе». — И оторвался от страницы, опешив.

— Ты в Сиэтле и Лос-Анджелесе тоже бывал? Утром и ночью? — У огня замерцала ее зеленоглазая улыбка.

— Нет… — покачал головой он.

— А я бывала. И мне все равно не странно. — По-прежнему мерцая, она нахмурилась его хмурости. — Тут не про тебя. Если это не ты в парке потерял… *Ты* же этого не писал?

— Нет, — сказал он. — Нет. Я не писал. — Утраченное (силой и странностью не уступит никакому дежавю) чувство терзало его. — Но я поклялся бы, что *знаю*…

Горячее всего огонь обжигал сквозь дыру на колене; он хотел было почесаться; ножи зацепились за распустившиеся нитки. Он отдернул орхидею. Нитки лопнули. Ороговевшими пальцами другой руки он постучал по коленке.

Милли взяла тетрадь, перелистнула дальше.

Зеленоглазая склонилась ей через плечо.

— Прочти в конце, про молнию, и взрывы, и заваруху. Он писал про то, что было *здесь*, как думаешь? С Беллоной?

— Прочти в начале, про скорпионов и запертых детей. А *это*, по-твоему, про что?

Они придвинулись друг к другу в свете очага.

Ему стало неуютно, и он оглядел поляну.

Тэк перешагнул спальный мешок и сказал Джону:

— Вам, народ, лишь бы я побольше вкалывал.

Никак вы не поймете: ничего хорошего в работе ради работы я не вижу.

— Да ладно тебе, Тэк. — Джон рассеянно постучал по бедру, словно по-прежнему держал газету.

— Чертежи я вам дам. Делайте с ними что хотите. Эй, Шкет, как делишки? — Пламя помяло громоздкий Тэков подбородок, выманило светлые глаза к свету, замигало на кожаном козырьке. — Нормалек?

Он сглотнул, отчего стиснулись зубы, и кивок вышел чопорнее, чем он хотел.

— Тэк, но ты же возглавишь строительство?.. — сверкнул очками Джон.

— Ёпта, — сказал Тэк, напомнив о Кошмаре.

— Ой, Тэк… — покачала головой Милли.

— Я с ним всю ночь бодаюсь, — сказал Джон. — Эй. — Он глянул на стол. — Кошмар приходил за едой?

— Ага. — Бодро.

— И как он?

Она пожала плечами — уже не так бодро.

Он услышал музыку, обернулся.

Другая девушка, вернувшись к себе на одеяло, склонилась над губной гармошкой. Волосы шлемом бронзы в патине охватили опущенное лицо.

Рубашка соскользнула с острого плеча. Хмурясь, девушка снова ладонью постучала по отверстиям. Тетрадь она прислонила к колену.

— Мы с Тэком ходили смотреть, где я хочу поставить хижины. На скалах, знаешь?

— Ты *опять* поменял место? — спросила Милли.

— Ага, — сказал Тэк. — Он опять. Как тебе тут нравится, Шкет? Славно, да?

— Мы с радостью тебя примем, — сказал Джон. — Мы всегда рады новым людям. Работы вагон; любые руки пригодятся. — Ладонь бросила стучать, прилипла к бедру и там осталась.

Он заворчал, высвобождая то, что застряло в горле.

— Я, наверно, двину дальше.

— Ой… — высказалась Милли огорченно.

— Да ладно. Останься позавтракать. — А Джон — горячо. — Примерься к проекту какому-нибудь. Глянь, что понравится. Вдруг что найдешь.

— Спасибо, — сказал он. — Я пойду…

— Я провожу его до авеню, — сказал Тэк. — Ладно, ребятки, покедова.

— Если передумаешь, — окликнула Милли (Джон опять застучал по ноге), — возвращайся в любой момент. Может, тебе через пару дней

захочется. Ты приходи. Мы и тогда будем рады.

На бетонной тропе он сказал Тэку:

— Они очень хорошие люди, да? Просто я, видимо… — И пожал плечами.

— Да уж, — проворчал Тэк.

— Скорпионы — у них что, рэкет? Охраняют коммуну и за это с нее дерут?

— Типа того. Но коммуна под охраной.

— От чего-то еще? Помимо скорпионов?

Тэк снова хрипло заворчал.

Он распознал в ворчании смех.

— Я в такие дела вляпываться не хочу. Не на этой стороне, по крайней мере.

— Я тебя доведу до авеню, Шкет. Авеню идет в город. В окрестных магазинах почти всю еду растащили. Но никогда не знаешь, на что наткнешься. Мне-то, честно говоря, кажется, что тебе лучше в домах. Но есть риск: могут и с дробовиком встретить. Я же говорю, из двух миллионов в городе осталось с тысячу душ. Из сотни домов занят один — шансы неплохие. Однако пару раз я и сам чуть на дробовик не налетел. И о скорпионах нельзя забывать. Джонова тусовка? — Хриплый скрипучий смех вышел пьяным — в отличие от прочих Тэковых повадок. — Они ничего. Но и к ним я бы на твоем месте особо не

прикипал. Я вот воздерживаюсь. Но помогаю им. А для начала они, может, и ничего… просто оглядеться, на пару дней.

— Да. Пожалуй… — Но это было задумчивое «да».

Тэк кивнул, безмолвно согласившись.

Этот парк кишит мраками, тканями тишины. Тэк подметками сапог татуирует дорогу. Мне видится, будто за ним остается пунктир. И вдруг кто-нибудь подберет краешек ночи, разорвет ее по этой перфорации, сомнет и выбросит.

Горели только два из сорока с лишним парковых фонарей (он начал считать). Ночная хмарь камуфлировала все намеки на рассвет. У ближайшего горящего фонаря, откуда уже виднелись ворота со сторожевыми львами, Тэк вынул руки из карманов. Две булавки света проткнули темноту где-то над песочной верхней губой.

— Если хочешь… можно ко мне?..

5

— …Ладно.

Тэк выдохнул:

— Хорошо, — и развернулся. Лицо совершенно почернело. — Сюда.

Он нестойко заспешил следом за звоном молний. Черноту сучьев над тропинкой внезапно сдернуло с небес, серых в клине уходящих вдаль крыш.

Остановившись подле львов и оглядывая широкую улицу, Тэк растирал бока под курткой.

— Вот и утро, похоже.

— А где встает солнце?

Люфер усмехнулся:

— Ты мне, конечно, не поверишь, — они снова зашагали, — но когда я только приехал, поклясться бы мог, что свет всегда появляется там. — Они сошли с бордюра, и он кивнул влево. — Но, как видишь, сегодня светает, — он указал вперед, — там.

— Потому что время года сменилось?

— По-моему, оно особо-то не менялось. Но может быть. — Тэк опустил голову и улыбнулся. — Или, может, это я не присматривался.

— А где восток?

— Где светает. — Тэк указал подбородком. — Но что делать, если завтра рассветет не там?

— Да ладно. По звездам понятно.

— Ты же видел, какое тут небо. И каждую ночь так, а то и хуже. И днем. Я не видел звезд с тех пор, как приехал, — и лун тоже, и солнц.

— Да, но…

— Я вот думаю: может, это не времена года меняются. Может, это мы. Весь город смещается, вертится, перекраивается… — Он рассмеялся. — Эй, да это я гоню, Шкет. Не морочься. — Тэк снова потер живот. — Больно ты серьезный. — Опять взойдя на тротуар, Тэк сунул руки в кожаные карманы. — Но будь я проклят: вот точно утро начиналось там. — И снова кивнул, поджав губы. — Но это значит, я просто не присматривался, да? — На углу он спросил: — А почему ты лежал в дурдоме?

— Депрессия. Но это давно было.

— Да?

— Слышал голоса; боялся из дому выходить; все забывал; галлюцинации случались… полный набор. После первого курса. Мне было девятнадцать. И я пил как лошадь.

— А что говорили голоса?

Он пожал плечами:

— Ничего. Пели… много, но на каком-то другом языке. И окликали меня. Это же не настоящий голос…

— В голове?

— Иногда. Когда голос пел. Бывало, звуки настоящие — машина заводится или кто-то за стенкой дверь закрыл, а мерещится, что тебя окликнули по имени. Хотя никто не окликал. А порой окликают, а ты думаешь, что померещилось, и не отзываешься. Потом выясняется — выходит очень неловко.

— Ну еще бы.

— Мне тогда постоянно было неловко… Но с тех пор много лет прошло, ну правда.

— А как тебя называли голоса, когда окликали?

Посреди следующего квартала Тэк сказал:

— Я подумал, вдруг поможет. Если я исподтишка.

— Извини. — Он хихикнул над неуклюжестью и искренностью этой любительской терапии. — Так не прокатывает.

— А ты знаешь, почему так вышло? В смысле, почему была… депрессия и ты в больницу загремел?

— Конечно. Закончил школу, перед поступлением пришлось работать год. Денег у родителей не было. У меня мать чистокровная чероки… ребятам в парке сказать — сразу капец, с индейцами же теперь все как с писаной торбой носятся. Она умерла, когда мне было где-то четырнадцать. Я подал документы в Колумбию, в Нью-Йорк. Пришлось идти на отдельное собеседование — в школе оценки были хорошие, но не прекрасные. Приехал в город, пошел работать в лавку для художников — на собеседовании прямо ахали. Откопали мне особую стипендию. В конце первого семестра у меня были сплошь «очень хорошо» и одно «удовлетворительно» — по лингвистике. А к концу второго я уже не понимал, что будет в следующем году. В смысле, с деньгами. В Колумбии можно было только учиться — больше *ничего*. Куча факультативов, и все платные. Если б не «удовлетворительно», а «отлично», опять, наверно, дали бы стипендию. А у меня «удовлетворительно». И я пил — ну, это я уже сказал. Не верится даже, что в девятнадцать можно так хлестать. Тем более — так хлестать и еще что-то *делать*. Прямо перед экзаменами у меня случился нервный срыв. Не выходил на улицу. Боялся людей. Пару раз чуть не убился. Не суицид, нет.

По глупости. Ну там — спьяну вылез на карниз. Один раз уронил радио в раковину с водой. Такое. — Он перевел дух. — Давно было. Сейчас уже не колышет.

— Католик?

— Не. Папаша был методист из Джорджии — ну, плюс-минус. Коротышка, глаза голубые, не боялся ничего… — Живость этого воспоминания тоже ошеломила. — Но на юге мы не жили. Пока я был маленький, он почти все время служил в ВВС. Потом с год водил частные самолеты. А потом особо ничего не делал. Но это уже когда мама умерла…

— Занятно… — Тэк покачал головой, сам себя укоряя. — Что если человек некрупный и смуглый — думаешь, что непременно католик. Меня-то лютеранином растили. А после больницы что?

— На севере штата поработал. ОПР, Отдел профессиональной реабилитации, должен был помочь вернуться к учебе, как выпишусь из Хиллсайда. Но я не захотел. Поехал проветриться с друганом — в итоге почти год валил лес в Орегоне. В Окленде был рабочим сцены в театре. Я же тебе вроде?.. А, это не тебе, это девчонке в парке. Много ездил; по морям ходил. Пару раз брался учиться, сам, — в Канзасе год, когда работал управдомом в студенческой общаге. Потом в Делавэре.

— Сильно продвинулся?

— И там и там первый семестр — нормально. А второй коту под хвост. Срывов больше не было, ничего такого. Даже не пил. Просто все проебывал. На работе у меня порядок. Только с учебой пиздец. Работаю. Мотаюсь. Читаю много. Еще помотался. В Японию. В Австралию — хотя там не очень задалось. Поболтался на лодках вокруг Мексики и Центральной Америки. — Он рассмеялся. — Так что видишь — я не псих. Не настоящий. Давным-давно уже не настоящий псих.

— Ну, сюда-то ты приперся? — Германское лицо Тэка (с чудным негроидным носом) мягко его поддразнивало. — И не знаешь, кто ты таков.

— Да, но это я просто не помню, как меня…

— Снова дома, снова дома. — Тэк свернул к подъезду и взобрался на деревянное крыльцо; на предпоследней ступеньке обернулся: — Заходи.

Фонарных столбов по углам не было.

На углу — перевернутая машина в брызгах стекла. Ближе — два пикапа на ступицах без колес, «форд» и такси «дженерал моторс» с побитыми стеклами. Через дорогу над грузовым подъездом тихонько покачивались мясницкие крюки на направляющих под навесом.

— Мы зайдем, где ты выходил?..

Дым, объявший крыши, светился зарей.

— Ты не парься, — ухмыльнулся Тэк. — Привыкнешь.

— Я помню, ты был на *той* стороне… — Он опять посмотрел через дорогу на трехфутовую бетонную платформу.

— Пошли. — Тэк шагнул ступенькой выше. — А, еще. Оружие придется оставить. — И он ткнул пальцем примерно в орхидею. — Без обид. Правила дома.

— Ой, конечно. Ага. — Он тоже поднялся на крыльцо. — Погоди секунду.

— Вон туда засунь. — Тэк указал на две асбестовые трубы в подъезде. — Никуда не денется.

Он расстегнул браслет, выпутал пальцы из сбруи, наклонился и положил орхидею на пол за трубами.

Тэк уже отошел к сумрачному лестничному колодцу и теперь зашагал вниз.

Он выпрямился и поспешил следом.

— Пятнадцать ступенек. — Тэка внизу уже не разглядеть. — Тут довольно темно, лучше считай.

Перил не было, и он не отнимал руку от стены. Лишенное браслета запястье покалывало. Волоски сохли, тянули и щекотали кожу. На

каждом втором шаге босая нога опускалась на край ступени — пятка на шершавом мраморе, подушечка и пальцы в пустоте. Внизу грохотали сапоги Тэка… Тринадцать… четырнадцать… И все равно последняя ступень застигла врасплох.

— Сюда.

Он пошел сквозь тьму. Бетон сильно грел босую ногу.

У лестницы впереди другой тембр.

— Теперь наверх…

Он сбавил шаг.

— …не заблудись.

На сей раз он нашарил перила.

Площадки он предчувствовал по вариациям походки Люфера. С третьего марша бледные линии чуть выше головы стали обозначать двери.

Только ритм и безопасен. Восходя в этом мраке, я вспоминаю тихоокеанские звезды. Совершаю ритуальное восхождение в городе, что напрочь стер их и замазал солнце. У Железного Волка что-то есть. И я это хочу — определения по барабану. Опасное освещение, огонь во взрывном глазу — не для этого, другого города.

— Последний марш…

Они одолели девять площадок.

— …и мы пришли.

Металлическая дверь заскрежетала по косяку.

Тэк первым шагнул на рубероидную крышу, а он отвернулся от зари цвета облака. Даже такая заря после темноты слепит. От света морщась, он застыл на пороге — одна рука на косяке, другая придерживает рифленую клепаную дверь.

Дым лежал до пояса.

Он распустил лицо, отчаянно моргая.

Крыши за кирпичной балюстрадой уходили в марево шашечками. Вон та прореха — видимо, парк. За ним холм в чешуе домов.

— Господи. — Он посмотрел в другую сторону, сощурился. — Я не понял, что мы так далеко от моста. Я только с него сошел — и тут ты меня окликнул.

Тэк усмехнулся:

— Да нет, ты довольно далеко убрел.

— Я едва-едва вижу… — он встал на цыпочки, — реку. — И опустился на пятки. — Я думал, до нее квартала два. Ну, три.

Усмешка Тэка разрослась смехом.

— Слышь, а сандалию ты где посеял?

— Чего? — Он опустил глаза. — А… Убегал. От собак. — Тоже получилось смешно, и он рассмеялся. — Ну правда. — Поднял ногу, ребром ступни прижал к бедру, поглядел на грязную

мозолистую подошву. Ороговевший край с обеих сторон потрескался. Щиколотка, узловатая и впалая, грязно-сера. Пятка, подушечка, свод и запыленные пальцы черны, как ружейное дуло. Он пошевелил пальцами; заскрипел песок. — Кажется, — он поднял голову, сдвинул брови, — дня два назад, — и поставил ногу. — Часа в три. Ночи. Дождь. Ни одной машины. Прилег поспать на чьей-то веранде. А в пять, когда уже светало, пошел стопить. Но дождь не закончился. Я думаю: ну и хер с ним, пойду еще пару часов посплю, машин-то все равно нет. Вернулся — а там этот клятый пес, он под верандой дрых, пока я дрых сверху. А теперь проснулся. И давай лаять. И ломанулся за мной к дороге. Я побежал. Он побежал. Сандалия порвалась, осталась где-то в канаве — я толком и не заметил. Пока бежал, подъезжает синий драндулет — за рулем огромная старуха, плюс ее тощий муж, на заднем сиденье детей битком. Я такой из-под дождя к ним прыг — и мы доехали аж через границу в Луизиану! Они на день в гости к ее другому чаду какому-то намылились, на военную базу. — Он шагнул с порога. — Отличным завтраком меня накормили. — Дверь за ним со скрипом затворилась. — Но, по-моему, я тогда в первый раз *заметил*, что не помню, как меня

зовут. Она спросила, а я не смог ответить… Хотя, кажется, я уже давно не знаю. — И к свету он почти привык. — Не называешь ведь себя по имени с утра до ночи, да? Никто так не делает — разве что тебя окликнут или спросят, как зовут. Людей, которые меня знают, вокруг не было… некоторое время. Сам давно не вспоминал, и как-то оно так… Из головы вылетело. — Он снова посмотрел на ноги — обе грязные, одна перечеркнута ремешками, другая голая. — Да мне все равно. В смысле, могу и без сандалии. Я часто босиком хожу.

— Хиппи, что ль?

Он пожал плечами:

— Если в хипповом городе — тогда да. — И опять оглядел мглистый горизонт. — Ты здесь и ночуешь?

— Пошли. — Тэк отвернулся. Ветер сдвинул одну полу куртки с живота, другую прижал к телу от шеи до бедра. — Вот мой дом.

Прежде здесь, вероятно, была подсобка ремонтников. За недавно законопаченными окнами — бамбуковые занавески. Дверь — в одном месте надорванный толь обнажил посеревшую сосну — приоткрыта.

Они обогнули световой люк. Тэк резко толкнул дверь основанием ладони. (Думал застать кого-то

с поличным?..) Дверь откачнулась. Тэк вошел; щелк. Зажегся свет.

— Заходи, будь как дома.

Он тоже перешагнул порог.

— А неплохо тут у тебя!

Нагнувшись, Тэк уставился на потрескивающую керосинку.

— Уютно… вот я *точно знаю*, что выключил, когда уходил. Однажды приду домой — а тут только груда пепла… правда, в Беллоне для этого и керосинки не надо. — Он выпрямился, покачал головой. — По утрам прохладно. Ладно, пусть горит.

— Книг-то у тебя сколько!

Всю дальнюю стену от пола до потолка закрывал стеллаж, набитый книжками в мягких обложках.

И:

— Это что, КВ-приемник?

— Часть. Остальное за стенкой. Вызывай хоть кого прямо из постели — если б слышно было что-то, кроме статики. Помехи здесь — страх что такое. А может, приемник неисправный. Электричество у меня свое: в задней комнате пара дюжин кислотных аккумуляторов. И бензиновая зарядка.

Он отошел к столу в углу, скинул куртку по золотистому коврику спины и повесил на стенной крюк. (Кепку не снял.) На предплечье — размытый в блонде дракон, на бицепсе — какая-то морская эмблема. На плече вытатуирована, а затем не очень хорошо затерта свастика.

— Ты садись. — Тэк подтянул к себе крутящийся стул из-за стола, развернул, сел. Расставил колени, сунул руки под ремень и поправил там, где гениталии раздули джинсу. — Вон… на кровать.

На половицах — нелепый меховой коврик. Индийское узорчатое покрывало — вроде на тахте. Сев, он сообразил, что там очень тонкий матрас на каком-то шкафчике; короче, просто доска. И все равно жилище уютное.

— У тебя дела чуть получше, чем у ребят в парке.

Тэк ухмыльнулся, снял кепку и уронил на настольный бювар.

— Пожалуй. Правда, это не фокус.

Военная стрижка не вязалась с небритым подбородком.

Не считая кепки, стол был пуст.

На полке над столом — бинокль, логарифмические линейки, циркули и ручки, два карманных калькулятора, лекала и трафареты, цветные меха-

нические карандаши, несколько разрезанных и отполированных жеодов, шеренга декоративных кинжалов на подставках, штабель пластмассовых ящиков для мелочей, паяльный пистолет…

— Слышь… — Тэк хлопнул по колену. — Сварюка я кофе. И у меня консервированная ветчина есть. Отличная. И хлеб. — Он встал и пошел к двери, тоже занавешенной бежевой щепой. — Ты отдыхай. Не напрягайся. Разденься, приляг, если охота. — Булькающая керосинка у его сапога выманила остаточный блеск из потертой кожи. — Я скоро. Рад, что тебе тут нравится. Мне тоже. — И он нырнул сквозь бамбук.

На стене (он еще не вглядывался) — три полноцветных фотоплаката в ярд высотой.

На одном — какой-то молодой тяжелоатлет, тевтонец, как Тэк, и на нем лишь сапоги и джинсовый жилет; прислонился к мотоциклу, ноги голые, короткопалые руки по швам.

На другом — мускулистый черный: куртка, и кепка, и сапоги в точности как у Тэка — стоял, расставив ноги, на расплывчатом багряном фоне; один кулак на голом бедре, другой упирается в голый бок.

На третьем — смуглый юнец (мексиканец или, может, индеец?), босой и без рубашки, сидел на

валуне под синейшим небом, спустив джинсы до колен.

Обнаженные гениталии у всех троих громадны.

И фотографировали их на уровне промежности, отчего гениталии вышли еще больше.

За стенкой зазвенели кастрюли; открылся и закрылся шкафчик.

У изголовья кровати, на тумбочке под лампой на кронштейне, громоздились книги.

Всякое про Ангелов Ада — Томпсон и Рейнольдс с Макклюром[3]; четыре двухдолларовые книжки в хлипких обложках — «Ангелы на колесах» и «Выходные в Аду: правдивая история Ангелов в изложении Миллисент Брэш» (он прочел первый абзац нечеткого шрифта, потряс головой и отложил книжку). Труд под названием «Мочалка на мотоцикле» — по всей видимости, продолжение (обложка такая же / автор другой) «Мерзавца на мотоцикле». Под ними — «Стихи Рембо» с ан-

[3] Примечания: 3

Имеются в виду «Ангелы Ада» (*Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs*, 1966), документальный роман американского писателя и журналиста Хантера С. Томпсона (1937–2005), который сами Ангелы Ада высоко ценили, и *Freewheelin Frank, Secretary of the Angels; As Told to Michael McClure by Frank Reynolds* (1967) — документальный роман американского поэта-битника, писателя и драматурга Майкла Макклюра (1932–2020), написанный совместно с секретарем сан-францисского мотоклуба Ангелов Фрэнком Рейнольдсом.

глийским переводом по низу страницы; затем «Избранные письма Китса» в мягкой обложке, затем «Избавление» Дики[4]; логарифмы и тригонометрические функции в твердом зеленом переплете, вместо закладки — круглая логарифмическая линейка, покрытая белой эмалью. Разнообразная фантастика Расс (нечто под названием «Женский мужчина»[5]), Желязны и Диша. Последней он взял книжку с лилово-золотой репродукцией Леонор Фини на обложке: «Дурная компания»[6]. Эту он открыл на середине, прочел разворот от начала до конца, закрыл, нахмурился и отодвинул бамбуковую занавеску.

— Видал такое в домах? — Тэк локтем постучал по серому шкафчику. — Это микроволновая печь. Шикарная штука. Можно целый ростбиф

---

[4] Примечания: 4

«Избавление» (*Deliverance*, 1970) — бестселлер американского писателя Джеймса Дики, роман о временном одичании цивилизованных горожан, попавших в глушь, в 1972 г. экранизированный Джоном Бурменом.

[5] Примечания: 5

«Женский мужчина» (*The Female Man*, 1970) — сатирическая утопия американской писательницы-фантастки и радикальной феминистки Джоанны Расс (1937–2011).

[6] Примечания: 6

«Дурная компания» (*Evil Companions*, 1968) — эротический роман американского поэта Майкла Перкинса (р. 1942), к которому в 1992 г. Сэмюел Дилэни написал предисловие; на обложке первого издания была репродукция работы аргентино-французской художницы-сюр-

реалистки Леонор Фини (1907–1996) «Безусловная любовь» (*L'amour sans condition*, 1958) не в оригинальной гамме. Главный герой романа не имеет имени.

поджарить минут за десять или двадцать. Стоит шестьсот долларов. Ну, так было написано на ценнике в магазине, откуда я ее спер. Только я не люблю ее включать, она электричество жрет как не в себя. Но как-нибудь закачу ужин персон на тридцать-сорок. Прямо на крыше. Для всех моих городских друзей. Они как увидят, что эта фиговина умеет, — закачаются. — И он вернулся к стряпне.

На двух конфорках трехконфорочной походной плитки бледное пламя сухого спирта лизало эмалированный кофейник и железную сковороду. В глубине на столешнице выстроились галлоны вина, белого и красного, дюжина бутылок виски, ликеров и бренди.

— У меня тут как бы мастерская. — В мохнатой плоти спины шевельнулись мускулы. — Торчу здесь не меньше, пожалуй, чем в той комнате.

Здесь тоже книжный стеллаж; и тоже радиодетали; верстак, зашлакованный припоем, заваленный вермишелью проводов, обломками перфорированных плит, в которых торчали десятки крохотных разноцветных транзисторов, резисторов и конденсаторов; несколько разобранных аппаратных блоков. Кучу места занимает одинокое мягкое кресло — на подлокотниках

сквозь вытертую ткань торчит набивка. Над жестяной раковиной окно — бамбук разведен в стороны. (На подоконнике банка замазки, а в ней торчит кухонный нож; стекла без единого пятнышка, не считая замазочных отпечатков пальцев тут и там.) Снаружи на веревке — две пары джинсов и стая носков.

— Сортир ищешь, Шкет? Я на крышу хожу. Там перевернутая кофейная банка — под ней туалетная бумага. Водостока нет. Все просто течет с крыши.

— Не, мне не надо. — Он шагнул внутрь. Бамбук за спиной все щелкал и щелкал. — Я так понял, в Беллоне можно добыть что захочешь, да? Заходишь, берешь в магазинах — и все дела.

— Вот только, — Тэк бросил в сковородку горсть неведомо чего, — я мало чего хочу. — Пар зашипел, и комната запахла — и зазвучала — очень вкусно. — Я подумал, раз уж взялся, сварганю нам нормальный завтрак. Есть охота — умираю.

— М-да… — От едкости тимьяна и фенхеля под языком случился потоп. — А если б захотел, жил бы тут в роскоши. — И розмарина…

У плиты на разделочной доске лежала буханка хлеба цвета красного дерева в россыпи крошек.

— Свежие продукты поди достань. Особенно

мясо. Но консервов в городе хватит на… — Тэк насупился через косматое плечо. — Если честно, я понятия не имею на *сколько*. Мне повезло: отыскал пару богатых мест, которые больше никто, видимо, пока не нашел. Вообще, ты увидишь: люди здесь *не очень* прагматичны — иначе, небось, их бы здесь и не было. Но в Беллоне, если кто напорется на мою засекреченную и не для чужих глаз страшно тайную заначку, не скажешь ведь: «Уходите, не то полицию позову». Нет никакой полиции, звать некого. Возьми хлеба. Тоже повезло: наткнулся на одну тетку — каждую неделю печет горы этих буханок и раздает за так всем, кто заходит. Я не совсем понял, в чем там у нее дело, но ни сахара, ни соли она не кладет — на вид вкусно, но требует привычки. Зато сытно. Живет где-то в районе Нижнего Камберленд-Парка — а ты говоришь, психи. Очень славная, рад знакомству, но она навещает всяких людей, и многие давно поехали. — Тэк дорезал хлеб, повернулся, протянул кусок. — Маргарин вон там; замороженного масла давненько не попадалось. Зато сливовые консервы хороши. Кто-то в подвале у себя закатал прошлой осенью.

Он взял хлеб, подобрал кухонный нож и снял крышку с пластмассовой масленки.

— Продержишься до завтрака, а он… — Тэк повертел лопаткой в сковороде, — состоится через три минуты.

Странно пресный хлеб под желе и маргарином крошился на языке. Но аппетит разжег.

Жуя, он полистал газеты из кипы на краю захламленного верстака.

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»
Суббота, 1 апреля 1919 года

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»
Среда, 25 декабря 1933 года

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»
Четверг, 25 декабря 1940 года

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»
Понедельник, 25 декабря 1879 года

Здесь заголовок гласил:

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН ОТБЫВАЕТ ИЗ МОНТЕРЕЯ ВО ФРИСКО!

— У Калкинза слабость к Рождеству?

— Была на *прошлой* неделе, — ответил Тэк. — Пару недель назад каждый второй номер датиро-

вался тысяча девятьсот восемьдесят четвертым.

Следующие полдюжины номеров переносили читателя из 14 июля 2022 года в 7 июля 1837-го (заголовок: «ВСЕГО СТО ЛЕТ ДО СМЕРТИ ХАРЛОУ!»[7]).

— Когда у него два дня подряд даты идут друг за другом — это прямо событие. Два одинаковых года подряд никогда не бывает. Но иногда он сбивается, и после среды и впрямь идет вторник — или я все перепутал? Короче, удивительно, что люди не делают ставок; гадать, за какое число будет следующий номер «Вестей», — это в Беллоне могло бы стать вместо лотереи. А новости там настоящие — проблемы эвакуации, скорпионы терроризируют оставшееся население, что творится в бедных районах, мольбы о помощи извне, порой даже очерки о новоприбывших. — Тэк многозначительно кивнул. — Все читают; но других газет тут и нет. Я читаю здесь. Джон, Уолли, Милдред, Джомми — они читают в парке. Но знаешь, голод по настоящим газетам прямо обуревает. Просто глянуть, как там мир без нас.

Вроде бы Тэк опять вильнул к этому нехорошему тону? Самовнушение, сообразил он и еще

---

[7] Примечания: 7

Очевидно, имеется в виду американская кинозвезда Джин Харлоу (1911–1937), умершая, однако, не в июле, а 7 июня 1937 г.

кое-что сообразил: чем дольше ты здесь, тем реже этот тон слышишь. Любую просьбу о соучастии, из неведомого лабиринта отчаяния обращенную к слушателю, любую мольбу об исходе из обстоятельств, по определению безысходных, можно адресовать лишь тем, кому очень новы эти лабиринты, эти обстоятельства. А пока он тут жует пресный хлеб, время стирает этот его статус.

— Остальная страна в норме.

Тэк развернулся с ножом в руке.

Он вздрогнул, хотя и понимал, что Огненный Волк всего-навсего режет продукты.

— Вчера, кажется, меня подвез парень — у него в машине валялась лос-анджелесская газета. На Западном побережье нормально. А потом меня подобрали две женщины; у них была филадельфийская. Восточное побережье в полном порядке. — Он снова опустил глаза на кипу газет, посмотрел, как его толстые пальцы с обгрызенными ногтями пачкают их, оставляя крошки, следы маргарина, потеки желе. — Это только *здесь*... — Он пожал плечами, гадая, как принял новость Тэк: хорошо это, плохо, поверил ли вообще. — Видимо.

— Нальешь кофе? — предложил тот.

— Ага. — Он обогнул кресло, снял эмалирован-

ный кофейник с конфорки; пока наливал, ручка жгла костяшку.

В чашках разрослись блестящие диски — один, затем другой, черные, без намека на прозрачность.

— Поедим там.

На подносе, над тарелками с яичницей, ветчиной и хлебом, между большими пальцами Тэка выросли два янтарных стакана. Тэк развернулся к бамбуковой занавеси, и бренди прошило светом.

В комнате, снова сев на кровать, он держал тарелку на сведенных коленях, пока не начало жечь. Приподнимая ее за один краешек, потом за другой, он гарпунил куски ветчины в подливе или грузил их на вилку пальцем.

— Удивительно, что делает вустерский соус с яичным порошком, — с набитым ртом заметил Тэк. — По счастью.

Он укусил крохотный кубик чеснока; в горящем рту расцвела мешанина вкусов; эта путаница напоминала много хорошего, но не выдавала основы букета (тарелка уже наполовину опустела), за которую мог бы зацепиться язык.

— Раз у нас не только завтрак, но и ужин, — сидя за письменным столом, Тэк налил себе еще стакан, — я считаю, бренди уместен.

Он кивнул; янтарная колбочка потерялась в его крупных пальцах.

— Очень вкусно. — Он глянул на тарелку и пожалел, что нет овощей; хоть бы даже и латука.

— Уже придумал, куда двинешься? — Тэк допил второй стакан, налил еще и протянул бутылку.

Бутылке он покачал головой, а на вопрос пожал плечами.

— Можешь поспать здесь.

Он флегматично подумал: артишоки. Потом глянул на плакаты.

— Любишь ты С и М, а? — И понадеялся, что пища во рту заглушит этот комментарий.

— Мм? — Тэк глотнул кофе, и кофе заклокотал. — Зависит от того, с кем я. — Он поставил чашку на стол, открыл боковой ящик, сунул руку. — Видал такое?

Орхидея.

Медные лезвия вдвое длиннее, чем у него, сильнее изогнуты. Основания узорчатых ножей вправлены в листья, и раковины, и когти на прихотливом браслете.

Тэк приставил острия к груди вокруг левого соска, нажал, поморщился — и уронил орхидею на колени.

— Тебя не вставляет, да? — Кольцом на груди в

желтой шерсти вспыхнули точки уколов. — Красивая вещь. — Он улыбнулся, потряс головой и убрал орхидею обратно в ящик.

— Можно я вылью бренди в кофе?

— Можно всё.

— А, ну да. — Он опрокинул стакан в дымящуюся черноту. — Э… спасибо. — И поднял чашку. В лицо дохнуло коньячными пара́ми. От глубокого вздоха язык споткнулся в горле. — Очень вкусный завтрак. — Поверх донышка чашки ему в глаза поглядели другие глаза, сощуренные.

Он допил, отставил чашку на пол, пальцем подтолкнул на вилку последний кусок ветчины; еще жуя, поставил тарелку к чашке.

— Еще бренди?

— Нет, спасибо.

— Да ладно. — Тэк налил себе третий стакан. — Расслабься. Рубаху снимай.

Он знал, что грядет, еще когда принимал приглашение в парке. В иное время он бы что-нибудь почувствовал. Но чувства притупились; все дрейфовало к этой минуте, а он даже и не вникал. Он пораздумал, что бы такого сказать, не придумал, поэтому расстегнул три пуговицы, выдернул полы из штанов.

Тэк, увидев оптическую цепь, задрал брови:

— Где взял?

— По пути сюда.

— За городом?

— Тут написано: «Сделано в Бразилии»… кажется.

Тэк качнул головой:

— Беллона стала пристанищем *стра-анных*… — это слово он окарикатурил оттяжечкой, — мастеров. Ах, какие здесь родятся идеи! Светощиты, орхидеи, эта твоя цепь… наши местные народные промыслы.

— Я ее снимать не буду!

Убежденность удивила его; ее изречение ошарашило.

Тэк засмеялся:

— Я бы и не попросил. — Он опустил взгляд на свою грудь, указательным пальцем провел в шерсти по розовым точкам — еще видно, где уколол зубцами орхидеи. — И ты считаешь, ты на свете самый психованный псих? Ну ты нахал.

Его рубашка лежала рядом на постели. Он сложил руки на коленях, переплел пальцы, суставы, большим пальцем почесал складки темного живота.

— Слушай, насчет… психов. — Его одолевали праведное негодование и застенчивость,

он смотрел на двойной кулак из плоти, волос, ороговелостей и мозолей, вжавшийся в лобок; кулак вдруг словно отяжелел костями. — Ты не псих и никогда психом не был. То, что ты видишь, и слышишь, и чувствуешь, и думаешь… ты считаешь, это *и есть* твой разум. Но на самом деле разум невидим; когда мыслишь, сознаешь его не больше, чем глаз, когда смотришь… пока он не ломается. *Вот тогда* ты его сознаешь — где выпали детали, где гремит на ходу, — как замечаешь глаз, когда в глаз попала соринка. Потому что больно… Да, он искажает картину. Но самое странное — и это никому не объяснить, только другому психу или, если повезет, врачу, у которого ума необычайная палата, — страннее галлюцинаций, и голосов, и страхов то, что ощущаешь границы *самого разума*… другие люди так просто не умеют. — Он спихнул рубаху к изножью, сколупнул сандалию пальцами уже босой ноги. — Понимаешь, нет? — Фактура половиц гораздо острее ощущалась ногой, которая и раньше не была обута.

— Ладно. — Тэк говорил мягко, примирительно. — Снимай-ка ты все остальное.

— Я ужасно грязный, слышь… — Он поднял взгляд. — Воняю, наверно, убойно. Если не хо-

чешь…

— Я *точно* знаю, как ты воняешь, — ответил Тэк. — Валяй.

Он вздохнул, вдруг решил, что это смешно, лег на жесткую койку, расстегнул ремень и закрыл глаза.

Услышал, как Тэк заворчал. Один, затем второй сапог стукнули по полу и опрокинулись.

Спустя миг к его боку прижался теплый бок. Ладони и пальцы вдавились ему в живот; пальцы растопырились. Тэк спустил руки к поясу джинсов, потянул.

Пятками и плечами упершись в твердое, он приподнял ягодицы.

Тэк потащил с него джинсы и…

— Господи боже, эй! Что с тобой — у тебя весь хуй в каком-то говне!

— А… чего? — Он открыл глаза, приподнялся на локтях, посмотрел на себя. — Ты про что?.. — И ухмыльнулся: — Все нормально. С тобой-то что?

— У тебя лобковая перхоть?

— Это не перхоть. Я был с женщиной. Прямо перед тем, как мы с тобой встретились. А помыться было негде.

— Это *она*, что ли, болела?

— Не. Ты что, женщину никогда не ёб?

Тэк посмотрел как-то странно:

— Не буду врать: пересчитать попытки хватит пальцев одной руки. — И поджал и без того тонкие губы.

— Блин, если тебя мои, сука, *пятки* не обламывают, из-за этого тебя точно не убудет! — Он рукой отряхнул жесткие волосы на лобке. — Это засохшая типа… молофья такая. — В волосах блеснула цепочка. — У женщин иногда бывает, когда они очень мокрые. Совершенно нормально. — Он бросил чиститься, на локтях опустился назад. — Тебя это, небось, заводит.

Тэк потряс головой, потом рассмеялся.

— Давай, — сказал он.

Тэк опустил голову, разок блеснул ему голубыми глазами:

— Это *тебя* заводит, да?

Он нащупал шерстистое плечо, нажал:

— Давай.

Мощные руки сцепились у него под талией. Разок Тэк, зажав вдвое раздутый кулак между лобками, щетинистым подбородком потерся о его шею. Он оттолкнул Тэка прочь; громадная голова прокатилась вниз по его груди и животу. Губы горячим кольцом съехали по его хую; хуй набух; кольцо взобралось выше; и съехало вновь. Тэк

лбом бодал его в низ живота. Пришлось скрестить лодыжки и напружиниться — рот открыт, глаза закрыты, цепочка натянулась поперек груди. Думай о ней, так будет проще. (Лицо Тэка вдавливало стеклянную крошку ему в лобок.) Испод век лунно засеребрился, побежал трещинами, точно зарос ветвями. В памяти листва на ветру внезапно обернулась волосами, скользящими с ее лица, — глаза зажмурены, рот глотает воздух по чуть-чуть. От поднявшегося жара он ахнул и кончил. Спустя миг Тэк поднял голову, проворчал:

— Да уж… — и своротил набок его мокрые чувствительные гениталии.

Он сцепил зубы.

Тэк на локтях подполз к нему и лег на спину.

Его лоб прижимался к плечу Тэка. В левом глазу перекатывался луг заросшей груди. (Правый закрылся, уткнувшись в плоть.)

— Сделать что-нибудь, хочешь?

Делать ничего не хотелось. Он устал.

Тэк сгреб его голову и притянул к себе.

Меж его пальцев пробилась грудная поросль.

— Укуси меня за сиську, — сказал Тэк. — За правую. Посильнее.

— Ладно. А где?.. А. — И он стиснул узелок зубами.

Тэк пропихнул его руку к раздувшейся мошонке, его пальцами обхватил налитую морщинистую плоть.

— Давай. Как можно сильнее.

Кулак Тэка все толкал и толкал основание его ладони. Длилось это долго.

Он терзал Тэков сосок зубами, подбородком и носом терся о шерсть. Несколько раз сжал Тэку яйца, стиснул пальцы изо всех сил; Тэк увеличил темп. Во рту было солоно; не хотелось видеть, кровь ли это.

Что-то горячее брызнуло ему в бок и потекло между ними. Он разжал и зубы, и пальцы, закрыл глаза и скатился. Поперек его груди легла тяжелая рука. Подбородок Тэка несколько раз стукнулся ему в плечо, пытаясь устроиться на тонкой подушке; он разок пожал Тэку предплечье, сонно и уютно умостился в колыбели Тэкова тела.

И уснул.

Временами он чувствовал, как Тэк снова и снова ворочается на узкой кровати. Один раз совершенно проснулся оттого, что рука гладила его по плечу; но уснул, не успел этот жест замереть. Один раз заметил, что Тэка в постели нет; потом — что Тэк вновь туда заползает. Сам он не шевелился — лежал лицом к стене, сомкнув

веки, головой на руке, подтянув к животу колено, другую ногу свесив туда, где кончался матрас, ныряя в сон и выныривая.

Потом проснулся от жара в паху. Пока промаргивался, сексуальный позыв разрешился желанием отлить. Он перекатился на спину, приподнялся на локтях.

Люфер — видимо, так и не найдя удобства вдвоем в тесноте, — сидел, вдвинувшись поглубже в крутящееся кресло, расставив ноги, уронив голову на шерстистое плечо, свернув руки на мохнатых ляжках.

На письменном столе тарелка, по столу в кухне разбросаны книги; на полу тарелка и кофейная чашка, а также сапоги Тэка, сандалия и две пары штанов — в комнате, прежде довольно опрятной, воцарился бардак.

Садясь, он ногой сдернул цветастое покрывало на пол. Простыни на матрасе не было. Чехол покрыт пятнами внахлест. От покрывала он отбрыкался, посмотрел на цепочку — застегнута на щиколотке, спиралью всползает по икре, бедру, в пах, по животу… Коснулся застежки в ямке над ключицей, где замкнул кольцо на шее. Вытянул руку, повертел туда-сюда: свет проскакал по стеклышкам на петлях, обвивших запястье. Потом

сгорбился и вгляделся в зеркальце на животе; посеребрено с обеих сторон. Когда согнулся на постели, в мочевом пузыре стало жечь.

Он встал, вышел за дверь.

Тепло.

Серо.

Он шагал к балюстраде, телом разрывая дымные завесы. Двумя ороговелыми пальцами зарылся в уголки глаз, выскреб сон. Перила пихнули его в ляжку. Он отлил, не глядя вниз. Жидкость полетела по дуге, в полнейшем беззвучии, а он тем временем гадал, не идет ли кто по улице…

На доме через квартал ошеломительные дымные клубы возвели косую башенку.

Закончив, он перегнулся через забрызганный камень.

Переулок — поток серости, дна не видать. Облизывая обложенные зубы, он прошагал назад к хижине, боком вошел в толевую дверь:

— Эй, можешь лечь на кровать; я уже…

В сумрачной комнате грудь Тэка поднималась мерно, с еле слышным ворчанием.

— Я уже пойду… — но сказал это тише; подошел ближе к спящему в кресле голому инженеру.

Длинные пальцы Тэковых ног раздвинулись на половицах. Кургузый обрезанный член меж

его кулаков почти совсем исчез в зарослях над длинной тяжелой мошонкой, под стать тем, что на плакатах. Единственная складка на животе, прямо над пупком, с каждым вздохом разглаживалась.

Он поискал запекшуюся кровь на соске; крови не было.

— Эй, я пошел…

Ящик стола приоткрыт; внутри, в тени, поблескивала медь.

Он наклонился, посмотрел на вялые губы Тэка, на широкие ноздри, что распахивались при вдохе…

И клацнул зубами. Отступил на шаг, хотел приблизиться, снова отступил; пяткой задел чашку — ногу залило холодным кофе. И он все равно не отвел взгляда.

Глаза Тэка на уроненном лице были широко распахнуты.

Ни белков, ни зрачков — абсолютно кровавые яблоки.

Он услышал, как сам глухо рычит, не открывая рта.

Левый бок замерцал мурашками.

И он все же *посмотрел* снова — резко подался вперед, чуть не ударив Тэка по колену.

Алоглазый Люфер по-прежнему тихонько дышал.

Он попятился, наступил на влажный мех, постарался расслабить горло. Мурашки все ползали — по лицу, по боку, по ягодицам.

Наружу он вышел в штанах. Остановился, привалился к стене, ощупью застегнул сандалию. Огибая световой люк, просунул одну руку в шерстяной рукав; оттянул металлическую дверь и ступил в темный колодец, в другой рукав впихивая кулак.

В сгустившейся тьме красное воспоминание было страшнее открытия.

На третьей площадке он поскользнулся и, хватаясь за перила, падал целый марш. И все равно не сбавил шагу. Кинестетическая память провела по коридорам внизу (теплый бетон под босой ногой). Он взлетал по бесперильной лестнице, шлепая ладонью по стене, пока впереди не увидел дверь, ринулся вперед; выскочил под навес на всем ходу и чуть сам себя не насадил на болтающийся крюк.

Отворотив лицо, отмахнулся — два крюка столкнулись, поехали по направляющим. И тут же босая нога соскользнула с бетона.

Падая, на один ослепительный миг он решил,

что сейчас животом плюхнется на асфальт тремя футами ниже. Но умудрился приземлиться на корточки, оцарапав одну руку и оба колена (другой рукой взмахнув для равновесия), а затем оттолкнулся и шатко ступил с бордюра.

Задыхаясь, оглянулся на грузовой подъезд.

На направляющих раскачивались четырех– и шестифутовые мясницкие крюки.

Вдалеке лаяла собака — гав, гав, снова гав.

Еще задыхаясь, он отвернулся и зашагал, ногой в сандалии иногда ступая на бордюр, но в основном обеими в водосток.

Почти добравшись до угла, остановился, поднял руку, поглядел на стальные лезвия, изогнувшиеся на простом браслете, заключившие в клетку подрагивающие пальцы. Посмотрел на подъезд, нахмурился; посмотрел на орхидею; изнутри себя почувствовал гримасу — неподвластный ему изгиб плоти лица.

Он помнил, как схватил штаны. И рубаху. И сандалию. Помнил, как спускался по темной лестнице. Помнил, как поднялся и выбежал на крыльцо, наткнулся на крюки и упал…

Но не припоминал ни единого мгновения в прошлом, когда совал руку за две асбестовые трубы, продевал пальцы в сбрую, застегивал браслет

на запястье…

Еще раз: штаны, рубаха, сандалия, темная лестница — вниз, коридорами, вверх. Свет из двери; гремящие крюки; ободранная ладонь.

Посмотрел на свободную руку; ссаженная кожа исполосована серым. Посмотрел вдоль квартала. На улице — ни одной машины…

Стоп. Отмотай назад.

Теплый бетон под ногой. Щелкает сандалия. Шлепки по стене; подъем. Увидел дверь. Увидел трубы!.. Они *слева* от двери. Шелушащаяся изоляция обтянута металлическими кольцами! На той трубе, что толще, под потолком вроде был какой-то вентиль? И вылетел мимо, на бетон, чуть сам себя не выпотрошил; ударился локтем — локоть еще ноет. Падал…

Он вертелся на месте; промахнулся мимо бордюра, покачнулся, тряхнул головой, задрал голову.

Вывеска на угловом фонаре сообщала: «Бродвей».

«…Идет в город и…» Кто-то это сказал. Тэк?

Однако стоп…

…увидев свет. Выбежал за дверь. Крюки…

Мышцы на подбородке и скулах стянуло узлом. Глаза вдруг налились слезами. Он потряс голо-

вой. Слезы стекли на щеки. Он зашагал дальше, поглядывая то на одну руку, то на другую. Когда наконец уронил руки, ножи просвистели по джинсовой ляжке…

— Стоп…

Он сказал это вслух.

И не сбавил шагу.

Цапнул одежду с пола, вогнал ноги в штанины; остановился прямо за дверью (привалился к толевой стене), застегнул сандалию. Вокруг светового люка; один рукав. Во тьму; другой. Бегом вниз по лестнице — и один раз упал. Потом нижний марш; теплый коридор; подъем; шлепки; увидел свет, еще не добравшись до вершины лестницы, свернул и увидел дневной свет из двери подъезда (сбоку большая труба и маленькая труба), ринулся туда и на крыльцо, подрался с крючьями; два уехали прочь, а его босая нога оступилась. Один ослепительный миг он падал…

Он смотрел на свои руки — одна свободна, другая в клетке; смотрел на обломки вокруг; шел дальше; смотрел на свои руки.

Вдох с ревом истек сквозь стиснутые зубы. Он вдохнул еще.

Бродя мутными кварталами, он снова услышал собаку — на сей раз вой, что взвился, вознесся,

дрогнул и смолк.

II
Руины утра

1

Вот он я и я вот нет. Этот круг во всем, переменная перемена в беззимье, круг зари с отпечатком, осени перемена с переменой мглистого дыма. Две картины перепутай, эту и ту. Нет. Лишь в сезоны краткодневья, лишь безжизненными предвечерьями. Я больше не заболею. Не заболею. Вот ты где.

Кипя, он удалялся в чертоги памяти.

К финальному и банальному своему утешенью отыскал… мать?

Вспомнил, как впервые заметил, что она двумя дюймами выше отца и что это, по мнению кое-кого, было странно. Волосы в косах, мать — это терпимая строгость, это легче с нею играть, чем с отцом, это в Олбани поездом, это смех (это смерть?), когда с нею в парке, это кожа темна, как старая деревяшка. Чаще мать — наставленья: в город один не ходи, под деревья один не ходи.

Отец? Коротышка, ну да; часто в кителе; ну, не очень-то и коротышка — опять подался в войска; его вечно нет дома. А сейчас папа где? Город раз, город два, город три, штат тот или этот — в общем, где-то. Папа — это молчания, папа — это шумы,

папа — это когда его нет, а потом подарки.

— Ну хватит, мы с тобой поиграем попозже. А пока ты иди, хорошо?

Мама и папа — слова, что гарцевали, болтались под солнцем на дворике. Он слушал, и он не слушал. Мама и папа — ритм.

Он запел:

— Ыннннннннннннннннннн… — и был в этом отчасти словопад. — Ыннннннн…

— Вот ты *зачем* так делаешь?

— Не видел твою мать две недели. Будь умничкой, сходи куда-нибудь?

И, не замолкая, он унес свое «Ыннннннннн» по тропинке вдоль дома, где листва изгороди захлопала его по губам, и стало щекотно, и он перевел дух, и его звук запнулся о смех.

ВРРРР и ВРРРР, ВРРРР: он задрал голову. Самолеты понарисовали ребер в небе. Солнце запиналось о серебристые бусы. Оконная стена дома ослепила его, поэтому:

— Ынннннннн… — сделал он свой шум и придавал ему звук самолетов по улице вверх и вниз, в своих кедах ходил и бегал с ним, и спустился по лесенке сбоку, и перешел. Звук его спиливал маску его лица.

По нему заскользили тени; он сменил звук.

Тени ускользнули; он вернул звук обратно. Солнце грело косточки над глазами, поэтому звук поменялся опять; и опять — когда птицы (он уже забрел в лес, что огромным языком лакал пять городских кварталов; вот уже он в лесу четверть часа) сшиблись в листве; затем всех этих нот стало не надо. Одна нота почти угадалась; он уловил ее голосом, и она пихнула его к другой. Солнце и холод (едва-едва началась весна) лупили и тузили его, и он пел, загребая сосновые иглы холщовыми кедами (без носков), а когда налетал ветер, волосы щекотали ему загривок.

Он взобрался на скалы; дыхание ветреными паузами перебивало звук, и это было интересно, так что, взобравшись на самый верх, он оттолкнул листву и каждую ноту выпевал тихо-тихо, зеленым шепотом…

Трое из пятерых были голые.

Что его заткнуло.

А у одной девчонки был только крестик на шее. Серебро косо легло на внутренний склон одной груди. Она вздохнула.

Он заморгал и прошептал еще ноту.

Серебро раздробило солнечный свет.

Мужчина, еще в штанах, забросил за голову одну руку, пихнул кулак в листву (штаны рас-

стегнуты, ремень уполз из половины шлевок, прочь от бедра), другую опустил, почесался, крутя бедрами, и все тянулся в зелени…

Девчонка, смуглее даже его матери, перекатилась на бок; со спины ее упали веером чьи-то еще желтые волосы. А ее руки на лице мужчины внезапно исчезли под его руками (в груде одежды он разглядел тоже китель, только сине-черный, а у отца зеленый), и она задвигалась, прижимаясь к мужчине, и травинка тыкалась ей в икру, гнулась туда и сюда.

Он затаил дыхание, забыв, что не дышит; потом все вышло из него удивленным разом, почти даже и не нотой. Поэтому он набрал в легкие еще воздуха и завел следующую.

— Ой, смотрите! — Другая голая, опирается на локти и смеется: — А мы не одни! — и тычет пальцем.

И его звук, начавшись меж песней и вздохом, закончился смехом; он побежал назад сквозь подлесок, вытягивая музыку из их смеха, пока его музыка вновь не стала песней. Он поскакал по тропинке галопом.

Навстречу шли какие-то мальчишки (в этой части леса гуляли, как просто в парке) — большие пальцы в карманах джинсов, волосы — сплошь

шипы, и штрихи, и зализы. Двое ссорились (и вдобавок, когда приблизились, он увидел, что один мальчишка — девчонка), а один, с морковными волосами и крохотными глазками, пробуравил его взглядом.

Он сосредоточенно сгорбился, хотел на них оглянуться, однако не стал. Плохие ребята, решил он. Папа велел с плохими ребятами не водиться.

Вдруг обернулся и запел им вслед, постарался, чтоб музыка вышла украдчивой и угловатой, пока вновь не стала смехом. Он вышел к игровой площадке на границе леса и города.

Свою музыку он смешал с криками за оградой. Пальцами семенил по сетке, и шел, и смотрел сквозь ограду: дети сгрудились возле горки. Но их возня разразилась криками.

А фоном — уличные звуки. Он вышел к ним, и его песня их впитывала. Машины, и две женщины болтали про деньги, и что-то бумбумкало в большом доме с рифлеными стенами; из бум-бума рождался ритм шагов. (На него посмотрели люди в строительных касках.) Отчего он запел громче.

Он взобрался на холм, где дома стали больше, а между ними много камней. В конце концов (он вел пальцами по железной решетке ворот) остановился и взаправду поглядел внутрь (теперь он

пел: хыммммм и хмммммм, хмммм и хмммммм) на траву в квадратах плитки и на дом, очень большой, почти весь стеклянный и кирпичный. Меж двух дубов сидела женщина. Увидела его, с любопытством склонила голову набок, улыбнулась — тогда он спел ей Аххххххххх — и нахмурилась. Он побежал по улице, вниз по склону, и все пел.

Здесь дома стали поменьше.

Ребра дня растрескались в небе. Но сейчас он не смотрел на самолеты. И людей было гораздо больше.

Окна; а над окнами вывески; а над вывесками штуки, что крутятся на ветру; а над ними синее, где гуляет невидимый ветер…

— Эй, смотри куда идешь…

Он шарахнулся от мужика с самыми грязными на свете запястьями. Мужик повторил:

— Смотри, куда идешь, ч-черт… — ни к кому не обращаясь, и заковылял прочь. А он хотел свернуть и побежать по соседней улице…

Кирпичи растрескались. От окна отошла доска.

У двери груда мусора.

Ветра нет, и тепло; на улице громко от голосов и механизмов, так громко, что он почти не слышал ритма своей песни.

Его звуки — теперь они долго скатывались с

языка — были тихие, раздавались в глубинах шума, не поверх.

— Эй, берегись…

— Эт чё…

— Эй, видал…

Он не видал.

— А ты что…

Люди оборачивались. Кто-то пробежал мимо, близко, хлопая мокасинами по камню.

— Эти сволочи из резервации!

— А этот вон тоже оттуда.

А он не оттуда; и его мать не оттуда — она из?.. Короче, это он тоже попытался пропеть, но уже забоялся. Свернул в переулок, в толпу любителей понежиться на солнышке.

В дверях подъезда стояли две женщины, костлявые и довольные.

Одна:

– Видала?

Другая расхохоталась.

Он улыбнулся; от этого его звук переменился вновь.

Из соседнего подъезда, жирная и оборванная, с лицом грязным, как запястья у пьяницы, она выносила тканый мешок в кулаке, а другой рукой уминала мусор. Обернулась к нему, топчась в

мусорной куче, поморгала.

Его музыка споткнулась, но вобрала и это. Он выскочил на авеню, обогнул семь монашек, побежал, но обернулся на них посмотреть.

Они шли медленно, а говорили быстро, тихо и пронзительно. Складки белого ломались на груди и коленях; потертые черные носы туфель морщили белые подолы.

Люди монашек обходили.

— Доброе утро, сестры.

Сестры кивали и улыбались — вероятно, потому, что дело близилось к вечеру. Шагали по прямой, ш-шух-х да ш-шух-х.

Он постарался вписать ритм их походки в свою музыку. Оглядел улицу, поскакал дальше, все сильнее растягивая свои звуки; он скакал, пока не побежал, каждая нота — на полквартала.

Вылетел за угол.

И весь воздух шипением вышел сквозь зубы.

Ладонь у человека приподнялась, а пальцы остались чертить мокрое на тротуаре, а потом он перекатился и показал почти всю свою рану. Тот, что стоял, покачивался и потел. Когда женщина на другом углу заголосила:

— Ойбожечки! Ойбожечки, помоги-и-ите! — тот, что стоял, дал деру.

Он посмотрел, как тот бежит, и дважды немножко вскрикнул.

Человек на улице кряхтел.

Кто-то пробежал, толкнув его, и он попятился с другим звуком; а потом тоже побежал, и то, что родилось музыкой, стало воплем. Он бежал, пока не пришлось перейти на шаг. Он шагал, пока не пришлось бросить петь. Потом побежал снова; в горле саднило, он снова завопил.

Пробежал группку небритых мужчин; один ткнул в него пальцем, но другой сунул бутылку в руку, подернутую лиловым.

Он бежал.

Он плакал.

Он срезал путь по лесу. Еще пробежал.

Он бежал широкой улицей под лентой вечера. Фонари зажглись ожерельями-близнецами, что вдруг развернулись по авеню, а между ними — движение и хвостовые огни. Он завизжал. И кинулся прочь с улицы, потому что люди смотрели.

Эта улица была знакомее. От шума болело горло. В глазах вспышки; изгороди измазаны темнотой. А он уже ревел…

— Да господи боже!..

Он с размаху влетел ей в ладони! Мать — и он хотел ее обнять, но она его не подпустила.

— Ты где был? Да *что* с тобой — чего ты орешь?

Он щелкнул челюстями. За зубами нарастало оглушительное.

— Мы тебя чуть не *полдня* искали!

Ничуточки не вырвалось наружу. Он задыхался. Она взяла его за плечо и повела.

— Твой отец, — (который как раз выворачивал из-за угла), — дома впервые за две недели, а *ты* решил сбежать!

— Вот же он! Где ты его нашла? — И отец рассмеялся, и это был хоть какой-то звук. Но не его.

Его встретили нежным нагоняем. Но нежданный импульс, что никак не выпустить, обжигал сильнее. Хотелось плакать, и он молчал, кусал костяшки, и основания ладоней, и заусенцы, и огрызки ногтей.

Эти нетронутые воспоминания проясняли не больше тех, что зияли лакунами. Однако из них он вынырнул, утешившись.

Поворошил их в поисках своего имени. Может, мать разок окликнула через дорогу…

Нет.

И память отринута.

С чего я взял, что *это* — драгоценнейшее мое достояние? (Они не блекнут, ни те дома, ни эти.)

Скорее то, что мы держим за настоящее, сгорает дотла в незримом жаре. То, что тревожит нас, — иллюзорнее. Я не знаю. Вот так просто. В сотый раз: я не знаю и не помню. Не хочу заболеть снова. Не хочу заболеть.

Эта петрологическая ухмылка?..

Ее не было у львов, которых он миновал ночью с Тэком.

Ему смутно представлялось, будто он бредет к реке. Но случай или моторная память вновь привели его в парк.

За воротами — пепельная трава; гребень венчали неясные деревья.

Он повертел пальцем в ноздре, сунул в рот — хотел, чтоб стало солоно, — засмеялся и ладонью накрыл каменную челюсть; сдвинул руку. Между пальцами проползло пятно. Небо — он засмеялся, запрокинул голову — вроде бы не бесконечно далеко; скорее мягкий потолок в обманчивых двадцати, ста двадцати футах. О да, смех — это приятно. Глаза наполнились размытым небом и слезами; он снова сдвинул руку на рябой челюсти. Когда отнял ладонь от густого брайля, уже задыхался.

Над этой травой не пронесется ветерок. Дыхание трудное, хриплое — отдает мокротой, и

помехами, и жилами. И все равно он смеялся.

Скульптор так глубоко пробил дыры глаз, что дна не разглядеть.

Он снова сунул палец в нос, пососал, погрыз; отрывистый смешок — и он свернул в львиные врата. Несложно, подумал он, соотнести звуки с белым (скажем, чистым тоном звукогенератора; и с другим, его противоположностью под названием белый шум), черным (большие гонги, большущие колокола) или основными цветами (разнообразие оркестра). Бледно-серый — это тишина.

Добрый ветер пробудил бы этот город. Он забредал глубже, и дома отступали за парковую ограду. (Интересно, какой злодей этот город усыпил.) Деревья ждали.

Этот парк растянули на дыбах тишины.

В сознании его — дюжина картин города. Он тряско трусил среди них. Тело словно отяжелело боками. Язык лежал во рту червяком. Дыхание в пазухах изображало ветер; он слушал воздух в носу, поскольку больше нечего было слушать.

Кулак в клетке увял, обмяк тяжелым цветком.

Обычно утром после секса — будто опять лотоса поел, весь такой мягкий и ветер в голове, как похмелье наизнанку, вся боль — в мире снаружи,

все тело блаженно звенит. Отложенная реакция? А вот. В коммуну? Раздумывая, отыскать их или обойти, он наткнулся на питьевой фонтанчик.

Он сплевывал подернутые кровью янтарные сгустки. Вода уволакивала их из галечной чаши. Затем вышли зеленоватые и по-прежнему клейко-кровавые. Он сквозь зубы пенил воду, горчившую тем, что скопилось под языком, и сплевывал, сплевывал, пока слюна не очистилась. Губы покалывало. Да, и стало получше.

Он ушел от фонтанчика, озирая серость; в животе прохладнее, ножи шелестят о джинсы. Поперек дамаска сомнений и колебаний — серебро внезапной радости.

Что-то… Он пережил.

Он скакал по холму, в восторге не замечая ни сердца, ни кишок, ни прочей своей беспокойной механики. Мягкая исступленная серость, и он двигался сквозь, в зыбко-зигзагах цепочки, и дым на языке был сладок, и он летел над пыльной травой.

Долгая металлическая нота согнулась, обломилась в следующую. Кто-то играл на гармошке — серебро? Артишоки? Любопытство искривило, изогнуло вниз уголки губ.

Цветом за пределами серого спектра музыка за-

ливала деревья. Он сбавил темп и, дивясь, ступил под них. Травяные лужи глушили шаг. Он хмурился налево и направо и был очень счастлив. Ноты свивались с ветвями в вышине.

На дереве? Нет… на холме. Он обогнул валуны — они взбирались в гору. Музыка доносилась сверху. Он вгляделся в лиственно-серое и веточно-серое. Вообрази картину: гармошка отрывается от губ, а дыхание (оторвавшись от губ) становится смехом.

— Привет, — смеясь, окликнула она.

— Привет, — ответил он, но ее не увидел.

— Всю ночь гулял?

Он пожал плечами:

— Ну как бы.

— Я тоже.

Пока он сообразил, что не знает, далеко ли до нее, она снова засмеялась, а смех вновь превратился в музыку. Играла она чудно́, но хорошо. Он сошел с тропы.

Карабкался, размахивая правой рукой (пленённой), цепляясь за деревца левой (свободной).

— Эй!.. — потому что он поскользнулся, и она умолкла.

Он выпрямился и полез дальше.

Она снова заиграла.

Он остановился, когда ее открыли первые листья.

Она подняла яблочные глаза — яблочно-зеленые. Склонив голову, не отрывала губ от металлической гармоники.

Землю вокруг охватывали корни толщиной с ее руки. Спиной она прислонялась к большому стволу. С одной стороны листва скрывала ее целиком.

Она надела рубашку. Груди по-прежнему хороши.

Горло у него перехватило. Теперь он чувствовал и кишки, и сердце; и прочие мелкие боли, что обозначали его шкуру. Это глупо — бояться… деревьев. И все равно лучше бы он повстречался с нею в скалах. Он сделал еще шаг по склону, широко раскинув руки, и она высвободилась из листвы — лишь один бурый листик прижимался к ее кроссовке.

— Привет…

Подле нее лежало одеяло. Отвороты ее джинсов истрепались. На рубашке, сообразил он, пуговиц и *нету* (серебристые люверсы на ткани). Но сейчас она наполовину зашнурована. Он посмотрел в просвет между шнурами. Да, очень хороши.

— Ребята тебе вчера не понравились? — Она

подбородком указала куда-то там в парк.

Он снова пожал плечами:

— Они же станут меня будить и к работе приставят.

— Они не станут, если притвориться, что спишь. У них не очень-то кипит работа.

— Ешкин кот. — Он засмеялся и шагнул выше. — Вот и мне показалось.

Она свесила руки с колен.

— Но они славные.

Он глядел на ее щеку, ухо, волосы.

— В Беллоне так сразу и не освоишься. А они тут давно. Если не принимать их всерьез и держать ухо востро, они многому научат.

— Давно ты с ними? — А в мыслях: я над ней нависаю, но она смотрит так, будто я слишком мал.

— Да нет, я-то живу здесь. Просто захожу к ним раз в пару дней… как Тэк. Но в последнее время далеко не ухожу. Беспокойные выдались недели. — Она посмотрела сквозь листву. Улыбнулась, когда он сел на бревно. — Ты вечером пришел?

Он кивнул:

— Беспокойная выдалась ночь.

Что-то в ее лице боролось с улыбкой.

— Как… тебя зовут?

— Ланья Колсон. А тебя Шкедт, да?

— Да не зовут меня Шкедт! Я не знаю, *как* меня зовут. Не могу вспомнить с тех пор, как… Не знаю. — Он насупился. — Бред, да?

Она задрала брови, свела ладони (он вспомнил остатки лака; значит, покрасила нынче утром — ногти зелены, как ее глаза), повертела гармошку.

— Шкет — это меня Железный Волк хотел так назвать. А девчонка в коммуне еще добавила «д». Но меня зовут не так. Я ни хера не помню, как меня зовут.

Верчение остановилось.

— Как будто крыша едет. Кучу всего забываю. Другого. Есть идеи на этот счет? — И тоже не знал, как трактовать свой упавший голос.

Она ответила:

— Я даже не знаю.

После беззвучного проигрыша он сказал:

— Ну, какие-то идеи у тебя же *должны* быть!

Она порылась в сбившемся одеяле и достала… тетрадь? Он узнал обугленную обложку.

Прикусив губу, пошелестела страницами. Остановилась, протянула тетрадь ему:

— А здесь твоего имени нет?

Список на две колонки, аккуратными печатными буквами, авторучкой:

Джефф Риверс	*Артур Пирсон*
Кит Темное Перо	*Эрлтон Рудольф*
Дэвид Уайз	*Филлип Эдвардс*
Майкл Робертс	*Вирджиния Колсон*
Джерри Шенк	*Хэнк Кайзер*
Фрэнк Йосиками	*Гэрри Диш*
Хэролд Редуинг	*Элвин Фишер*
Мэделин Терри	*Сьюзен Морган*
Присцилла Майер	*Уильям Дальгрен*
Джордж Ньюмен	*Питер Уэлдон*
Энн Харрисон	*Линда Эверс*
Томас Сэск	*Престон Смит*

— Это что за херня? — запаниковал он. — Тут какой-то Кит с индейской фамилией.

— Так это твое имя?

— Нет. Нет, не мое.

— У тебя вроде есть индейская кровь.

— Чероки была, блин, моя мать. Не отец. Меня не так зовут. — Он снова посмотрел в тетрадь. — Тут есть твое имя.

— Нет.

— Колсон!

— Моя *фамилия*. Но меня зовут Ланья, а не Вирджиния.

— А Вирджиний среди твоей родни нет?

— Раньше была двоюродная бабка Виргилия.

Честно. В Вашингтоне жила, и я ее видела раз в жизни, лет в семь или восемь. А других имен ты не помнишь? Как звали отца?

— Не помню.

— А мать?

— …как они выглядели, но… на этом всё.

— Сестры, братья?

— …никого не было.

После паузы он потряс головой.

Она пожала плечами.

Он закрыл тетрадь и нащупал дар речи:

— Давай притворимся, — и тут ему стало интересно, что там во фрагменте, который после списков, — будто мы в городе, заброшенном городе. И он горит, да? Все электричество вырубилось. Ни телекамер, ни радио, так? И снаружи все про этот город забыли. Отсюда ни словечка не доносится. И сюда ни словечка. Притворимся, будто весь город затянуло дымом, ага? Но теперь даже не видно огня.

— Только дым, — сказала она. — Давай притворимся…

Он вздрогнул.

— …мы с тобой сидим в сером парке серым днем в сером городе. — Она поглядела в небо, сдвинула брови. — Совершенно обычный город.

Воздух ужасно загрязнен. — Она улыбнулась. — Я люблю серые дни, вот такие, без теней… — Тут она увидела, что он вонзил орхидею в бревно.

Прикованный к коре кулак трясся среди ножей.

Она уже стояла подле него на коленях.

— Я тебе скажу, что давай сделаем. Давай это снимем! — Подергала застежку на браслете. Его рука тряслась у нее под пальцами. — Вот так. — И его кисть очутилась на свободе.

Он тяжело дышал.

— Это, — он посмотрел на оружие, замершее на трех точках, — опасная дрянь. Не трожь ее нахуй.

— Это инструмент, — сказала она. — Он может тебе пригодиться. Просто надо понимать, когда к нему прибегнуть. — Она гладила его руку.

Сердце его успокаивалось. Он вздохнул, очень глубоко.

— Тебе надо бы меня бояться, знаешь ли.

Она моргнула:

— Я и боюсь. — И села на пятки. — Но я иногда хочу пробовать то, чего боюсь. Больше здесь незачем быть. Что, — спросила она, — с тобой сейчас *случилось*?

— Чего?

Она приставила три пальца к его лбу и показала блестящие подушечки:

— Ты вспотел.

— Я… вдруг стал очень счастлив.

Она нахмурилась:

— Я думала, ты перепугался до смерти!

Он откашлялся, попытался выдавить улыбку:

— Это как будто… ну, ты вдруг очень счастлив. Я был счастлив, когда вошел в парк. А потом вдруг… — Он тоже гладил ей руку.

— Ладно, — засмеялась она. — Нормально.

У него свело челюсть. Он распустил мускул и проворчал:

— Кто… *что* ты за человек такой?

Ее лицо распахнулось удивлением и досадой:

— Ну, давай разбираться. Умная, обворожительная… на восемь… на *четыре* фунта тяжелее ошеломительной красоты… так я себе говорю; моя семья богата — и деньгами, и связями. Но сейчас я против этого бунтую.

— Понял.

Лицо у нее было почти квадратное, маленькое, совсем не красивое и притом приятное.

— Вроде всё по делу.

Юмор улетучился из этого лица — осталось только удивление.

— Ты мне веришь! Какой ты лапочка! — Она внезапно поцеловала его в нос — и не то чтобы смутилась; скорее, похоже, прикидывала удачный момент для некоего важного жеста.

А именно: подобрать гармошку и выкрикнуть ноты ему в лицо. Оба рассмеялись (он, хоть и смеялся, был изумлен и подозревал, что это видно), а она между тем сказала:

— Пошли погуляем.

— А одеяло?..

— Брось.

Он взял тетрадку. Маша руками, они бегом пробились сквозь листву. На тропе он остановился и посмотрел на свой бок:

– *Э?..*

Она обернулась.

— А ты, — медленно спросил он, — помнишь, как я взял орхидею и прицепил на ремень?

— Это я ее прицепила. — Большим пальцем она потерла какое-то пятнышко на гармошке. — Ты хотел ее оставить, а я сунула ножик тебе в шлевку. Ну правда. Тут *бывает* опасно.

Приоткрыв рот, он кивнул; бок о бок они добрались до бестеневых троп.

Он сказал:

— Это *ты* сунула ножик. — Где-то ветерок, не

напрягаясь, легко пробирался сквозь зелень. На два вдоха он почуял дымный аромат, а затем тот рассеялся от невнимания. — Ты такая одна-одинешенька, просто наткнулась на этих людей в парке?

«Ты что, спятил?» — сказал ее взгляд.

— Вообще-то, я приехала с чумовой тусовкой. Весело было; но спустя пару дней они стали мешать. Машина — это, конечно, хорошо. Но если застрял, потому что нет бензина… — Она дернула плечами. — До приезда мы с Филом поспорили, есть этот город или нет его. — Ее внезапная удивительная улыбка — сплошь глаза и очень мало губ. — Я выиграла. Сначала побыла с ними. Потом их бросила. Несколько ночей с Милли, Джоном и этими. Потом ушла искать приключений — а несколько дней назад вернулась.

А в мыслях: ой…

— Так ты с деньгами сюда приехала?

…Фил.

— Те, кто был со мной, приехали с деньгами. Сильно пригодилось, ага. Вот сколько можно бродить по такому городу и искать гостиницу? Нет уж, ну их. Они и рады были от меня избавиться.

— Ушли?

Она уставилась на свою кроссовку и засмеялась

псевдозловеще.

— Отсюда уходят, — сказал он. — Люди, которые подарили мне орхидею, — вот они уходили, когда я пришел.

— Кое-кто уходит. — Она снова засмеялась. Смех вышел тихий, и уверенный, и загадочный, и пугающий.

Он спросил:

— И какие у тебя случились приключения?

— Смотрела бои скорпионов. Та еще дичь. Кошмаровы трипы не по мне, но город маленький, особо не попривередничаешь. Несколько дней прожила одна в чудесном доме в Хайтс; в итоге чуть на стенку не полезла. Люблю жить снаружи. Потом у Калкинза пожила.

— Это который газету выпускает?

Она кивнула:

— Провела там несколько дней. Роджер устроил себе такой вечный уикенд за городом, только в городе. Держит при себе довольно интересных людей.

— И ты тоже была интересная?

— По-моему, для Роджера я была скорее украшение. Развлекать интересных. Ему же хуже.

Красота ее была грубовата — скорее, пожалуй, «симпатичная».

Он кивнул.

— Но встреча с цивилизацией пошла мне на пользу. Потом еще побродила одна. Был в монастыре, возле Холстайна?

— Чего?

— Я тоже не была, но слыхала, там какие-то душевные люди устроили такой как бы религиозный приют. То ли *до* того, как тут все началось, то ли приехали и осели после — я так и не поняла. Но все равно ничего так. Ну, говорят.

— Джон и Милдред тоже довольно душевные.

— Уел! — Она выдула аккорд, посмотрела на него с любопытством, засмеялась и рукой рубанула по высоким стеблям. Он обернулся; и ее глаза, ожидавшие, что он заговорит, зеленели ярче, нежели дымка позволяла листве.

— Тут как в маленьком городке, — сказал он. — Кроме сплетен-то, есть чем заняться?

— Особо нечем. — Снова рубанула. — Великое счастье, если так посмотреть.

— И где живет Калкинз?

— А, так ты *любишь* сплетничать! А я уж испугалась. — Она оставила стебли в покое. — Редакция газеты — это ужас! Он нас водил — прямо туда, где печатают. Серость, и мрак, и тоскливо, и гулко. — Она скривила лицо, и плечи, и руки. — Аййй! Но

его дом… — Все разгладилось. — Весьма хорош. Прямо над Хайтс. Огромный участок. Весь город видно. Ничего себе, наверно, было зрелище, когда по ночам все фонари горели. — Теперь скривилось чуть-чуть. — Мне интересно было, жил он там всегда или тоже просто въехал и окопался. Но спрашивать не принято.

Он свернул, и она свернула следом.

— И где этот дом?

— По-моему, адрес — Южная Брисбен.

— Как ты с ним познакомилась?

— Они закатили вечеринку. Я гуляла мимо. Один знакомый меня зазвал. Фил, собственно.

— Вроде несложно.

— Не, очень сложно. А что, *ты* хочешь пойти познакомиться с Калкинзом?

— Ну, здесь-то довольно убого. Прогуляюсь к ним — может, и *меня* зазовут. — Пауза. — Ты-то, конечно, девушка. Тебе попроще, да? Быть… украшением?

Она подняла брови:

— Необязательно.

Он посмотрел на нее и успел поймать ее взгляд. Забавно, решил он.

— Видишь тропинку за футбольными воротами?

— Ага.

— Выводит прямо на Северную Брисбен. А она потом превращается в Южную.

— Эй! — Он ей ухмыльнулся, уронил голову набок. — Что такое?

— Грустно, что ты уходишь. Я уже намылилась провести опасный и волнующий день — бродить с тобой, играть тебе на гармошке.

— Пошли со мной?

Взгляд у нее получился смущенный и заговорщицкий.

— Уже была.

Позади них застучали молотки.

Его гримасе она пояснила:

— У Джона очередной проект. Они вернулись с обеда. Там точно осталась еда. Я дружу с Джомми, который им в основном стряпает; хочешь поесть?

— Не, — покачал головой он. — И я еще не решил, хочу ли…

— Всё ты уже решил. Но увидимся, когда вернешься. Возьми. — Она протянула ему тетрадь. — Будет что почитать в дороге.

На миг он дозволил своему лицу признать, что она хочет, чтобы он остался.

— Спасибо… ладно.

— Плюс этого города в том, — ответила она его признанию, — что, когда вернешься, я тебя и впрямь увижу. — Она поднесла гармошку к губам. — Тут никого не потеряешь.

Ее глаза и ноздри в металле — громадные просеки тьмы в посеребренной плоти: ни век, ни ресниц, ни границ, одна зелень. Она выдула диссонанс и зашагала прочь.

Уже оставив за спиной безглазых львов, он сообразил: на губной гармошке такой диссонанс не взять.

Ни одна его гармошка так не умела.

2

Он прошел три квартала и посреди четвертого увидел церковь.

Виднелись два (из, очевидно, четырех) циферблата на шпиле. Вблизи он разглядел, что стрелок нет.

Тылом запястья потер лоб. Между кожей и кожей каталась грязь. Сколько же тут сажи…

Сообразил: я в таком виде, что напроситься на дачную вечерину — самое оно!

Из двери церкви донеслась органная музыка. Ланья, помнится, что-то сказала про монастырь… Гадая, читается ли его любопытство по лицу, он осторожно ступил — крепко сжимая тетрадь под мышкой — в вымощенный плиткой вестибюль.

За второй дверью, в кабинете, крутились две из четырех катушек на алюминиевой панели вертикально стоящего магнитофона. Свет не горел.

Заметил, лишь отворачиваясь (а заметив, не понял, что делать с этой картиной): над конторской пробковой доской прикноплен плакат — центральный в экспозиции у Люфера, черный мужик в кепке, куртке и сапогах.

Еще одна дверь (уже в часовню?) приоткрыта

в темноту.

Он снова вышел на тротуар…

— Эй, ты!

На старике бордовые клеша, очки в золотой оправе; под блеклой вельветовой курткой — ярко-красная маечка; берет, борода. Под мышкой кипа газет.

— Как самочувствие сим жемчужным днем?

— Здрасте.

— Итак… ты, наверно, интересовался, который час. — Старик вытянул жилистую шею. — Ну-ка посмотрим. — Он воззрился на шпиль. — Посмотрим-посмотрим. Пожалуй, около… одиннадцати… двадцати пяти. — Сиплый хохот пригнул ему голову. — Как тебе? Ловкий фокус? (Хочешь газету? Бери!) Как *есть* фокус. Я научу. Что такое? Газета бесплатная. Хочешь подписаться?

— У вас под бородой… вы где взяли эту штуку на шее?

— В смысле… — Свободная рука поднялась к перченым волосам, которые без пауз взбирались от груди до самого подбородка. Старик расстегнул ожерелье, и оно упало алмазной змейкой. — Эту? А ты свою где?

А он думал, его спрятана под воротником и манжетами.

— По пути сюда. На ней написано, что она из Бразилии.

Старик поднес конец цепочки к глазам:

— …Япония? — и показал ему.

На медной бирке оттиснуты буквы: «…елано в Японии». Перед «елано» закорючки — явные «сд».

Старик снова обернул цепочку вокруг шеи и в конце концов успешно застегнул одной рукой.

Он поглядел на газеты; прямо под мятой манжетой старика разобрал:

«ВЕСТИ БЕЛЛОНЫ»
Среда, 1 апреля 1979 года
В ГОРОДЕ НОВИК!

Он нахмурился.

— Я твою не видел, — непрошено пояснил старик. — Но ты бы не спросил, если б у тебя ее не было, так?

Он кивнул — в основном чтоб дедуля не замолкал; впрочем, понукать и не требовалось.

— Я так понимаю, это вроде награды за инициацию. Только ты не знал, что ее прошел, да? И это тебя, небось, парит.

Он опять кивнул.

— Меня зовут Фауст, — сообщил старик. — Жу-

акин Фауст.

— Уаким?..

— Произносишь верно. Но, судя по акценту, мы бы с тобой записали это разными буквами.

Он принял протянутую руку Жуакина; тот сцапал его ладонь в байкерское рукопожатие.

— Ты сказал, — Жуакин помрачнел, разжал руку, — что нашел свою по дороге сюда? *За чертой* Беллоны?

— Точно так.

Жуакин потряс головой и сказал:

– *Мммммм*, — и тут у них над головами разразился рев, что собирался с силами уже не первую секунду.

Оба задрали головы. В мареве ничего не видать. Реактивный самолет не смолкал устрашающе долго, потом удалился. После него запись органа показалась тихой.

— На часах, — сказал Жуакин. — Циферблат на фасаде. Вон тот огрызочек раньше был минутной стрелкой. Можно разглядеть, куда показывает.

— Вон оно что. А час?

Жуакин пожал плечами:

— Я ушел из конторы около одиннадцати. Ну, по моим догадкам. Это недавно было.

— А что случилось со… стрелками?

— Ниггеры. В первую ночь, кажись. Когда молнии сверкали. Совсем взбесились. Кишмя кишели тут. Много чего покрушили — тут до Джексона рукой подать.

— До Джексона?

— Джексон-авеню — это где ниггеры обычно живут. Прежде жили. Новенький, что ль?

Кивок.

— Поищи газету за тот день. Люди говорят, никогда в жизни таких снимков не видали. Полыхало всё. Они лестниц понаставили, в окна вламывались. Мне один мужик сказал, была фотография, где они на церковь лезут. И стрелки ломают. Друг друга тоже на куски рвали. Вроде есть еще серия, где *здоровенный* такой черный лезет к беленькой девчоночке… вони от этих снимков до небес. «Изнасилование» — мерзкое слово, в газетах не напишут, но это было натурально оно. Люди говорили, зря Калкинз напечатал. А он знаешь что сделал? — Перекошенное лицо Жуакина потребовало ответа.

— Не знаю. Что? — опасливо уступил он.

— Пошел, разыскал этого ниггера с фоток и взял интервью; и напечатал *всё*. А я так скажу: вот это интервью и не надо было печатать. Калкинзу про гражданские права интересно. Он этим прямо

горит. Цветным в городе, я так думаю, туго пришлось, и он переживал. Очень сильно. Но у этого ниггера язык грязный, как помойка, и он этим языком только помои и лил. Он, я так думаю, даже не знал, что такое интервью в газете. Не, цветным было трудно, я понимаю. Но если охота помочь, нечего печатать картинку, где самый здоровый и черный негритос на свете лапает маленькую семнадцатилетнюю блондиночку, а потом еще две полосы разглагольствует, как ему было приятно, и каждое второе слово «бля», или «ебёнть», или «йи-ха», и как он себе еще отхватит, вот только случай выпадет, и какая ему настала лафа, когда все легавые разбежались! Если хочешь помочь, так не делаешь, правда? А из-за этой статьи Харрисон — Джордж Харрисон его зовут — для всех ниггеров, что на Джексоне остались, прямо герой; и, кажись, чуть не для всех остальных тоже. Сразу ясно, что за люди тут у нас обретаются.

— Но *вы* этого всего не видели?

От этого Фауст отмахнулся.

— Тут еще один цветной есть, с Юга, воинствующий правозащитник какой-то… мистер Пол Фенстер, кажись? Приехал, примерно когда все и случилось. Калкинз его тоже знает, я так пони-

маю, много пишет про его работу. Намерения-то у человека, небось, добрые; но как ему с этой историей про Джорджа Харрисона быть? Оно и к лучшему, — он повертел головой, — что ниггеров на Джексоне осталось не страх как много.

Раздражение и любопытство он разрешил вежливым вопросом:

— А с чего началось? Волнения с чего начались?

Жуакин сильно склонил голову набок:

— Да понимаешь, всей истории никто толком не знает. Рухнуло что-то.

— Чего?

— Одни говорят, что дом рухнул. Другие — что прямо посередь Джексона упал самолет. Еще кто-то — что, мол, какой-то пацан залез на крышу «Второго Сити-банка» и кого-то оттуда уложил.

— Кого-то убили?

— Насмерть. Вроде на крыше был белый пацан, а пристрелили черного. Ну и они устроили волнения.

— А в газете что писали?

— Примерно то же, что я сказал. Никто не знает точно, что случилось.

— Если бы упал самолет, кто-нибудь знал бы.

— Это в самом начале было. Тогда бардак был

сильно хуже. Много домов горело. И погода — не разбери-поймешь. Люди еще пытались выбраться. Народу было много, не то что сейчас. И все напуганы.

— Вы тогда были здесь?

Жуакин сжимал губы, пока усы не слились с бородой. Покачал головой:

— Я только слыхал про статью в газете. И про снимки.

— Откуда вы?

– *Аааааа!* — Фауст с притворным укором потряс пальцем. — Научись не задавать таких вопросов. Это невежливо. Я же о тебе не спрашиваю, правда? Я представился, а твоего имени не спросил.

— Извините, — опешил он.

— Тут много таких, которые расстроятся — жуть, если спросишь, что с ними было до Беллоны. Лучше уж я предупрежу, чтоб ты не вляпался. Особенно, — Фауст приподнял бороду и приставил большой палец к ожерелью, — те, у кого такие штуки. Как мы. Небось, если я спрошу, как тебя зовут, или сколько тебе лет, или почему у тебя орхидея на ремне, например, ты на меня осерчаешь. Не так, что ли?

В животе — невнятный неуют, точно воспоминание о боли.

— Приехал я из Чикаго. До того был во Фриско. — Фауст наклонился и оттянул штанину клешей. — Дедушка-йиппи, ага? Странствующий философ. Достаточно тебе?

— Извините, что я спросил.

— Да ничего. Я узнал, что в Беллоне — самый эпицентр всего. Теперь-то наверняка. Я здесь. А *этого* достаточно?

Он опять в замешательстве кивнул.

— У меня была хорошая честная работа. Продавал «Трайб»[8] на углу Маркет и Ван Несс. А в Беллоне я самый старый мальчишка-газетчик. А *этого* хватит?

— Да. Слушайте, я не хотел…

— Что-то с тобой не так, мальчик. Что-то мне не нравится. А скажи-ка, — веки сморщились за линзами в золотой оправе, — ты *сам-то* не цветной, часом? А то что-то смуглый ты какой-то. Лицо полноватое. Я, конечно, *могу* говорить «негр», как вы, молодежь. Но там, где я рос — *когда* я рос, — они назывались ниггерами. И для меня они по сей день ниггеры, и я ничего такого в виду не имею. Желаю им всего наилучшего.

— Я американский индеец, — в безропотной

[8] Примечания: 8

Имеется в виду радикальная контркультурная, в основном еженедельная газета *Berkeley Tribe* (1969–1972), рупор новых левых.

ярости решился он.

— Ага-а. — Жуакин снова склонил голову набок, оценил. — Ну, если ты и не ниггер, наверняка симпатизируешь ниггерам. — Слово он произнес с нажимом, выдавливая из него всю неловкость до последней капли. — Да и я. Да и я. Только они мне ни в жизнь не поверят. Я б на их месте тоже не поверил. Мне, мальчик, пора газеты разносить. На, возьми. Вот молодчина. — Фауст поправил газеты под мышкой. — Если интересуешься ниггерскими волнениями — а ими интересуются почти все, — (эта ремарка была произнесена с крайней степенью театральности), — поищи ранние выпуски. Пастор, ваша газета. — Он отошел по тротуару и вручил газету черному священнику, что стоял в дверях церкви в сутане до земли.

— Спасибо, Жуакин. — Голос… контральто? Вроде бы намек на… груди под темной сутаной. Лицо округлое, нежное — вполне подойдет женщине.

Жуакин замаршировал по улице, а священник теперь смотрел на него.

— У нас с Фаустом такая игра, — объяснила она (а это была она), к его смущению. — Пусть вас это не огорчает. — Она улыбнулась, кивнула и направилась внутрь.

— Извините… Пастор…

Она обернулась:

— Да?

— Э-э… — Любопытство одолевало, но ни на чем не фокусировалось. — А что у вас тут за церковь? — Он ограничился этим, но почувствовал, что вопрос безнадежно натужный. Хотел-то он спросить, конечно, про плакат.

Она снова улыбнулась:

— Межрелигиозная, межрасовая. Мы уже некоторое время умудряемся служить трижды в неделю. Будем очень рады, если вам интересно зайти. Утром по воскресеньям, разумеется. И еще вечерами по вторникам и четвергам. Прихожан пока не очень много. Но мы собираем паству.

— А вы — пастор?..

— Эми Тейлор. Вообще-то, я мирская проповедница. Занялась этим проектом сама. И неплохо получается, если учесть обстоятельства.

— Просто взяли и заняли церковь?

— Когда те, кто был здесь прежде, ее оставили. — Она не отмахнулась. Она протянула руку. Возможно, жест один и тот же. — Рада познакомиться.

Он пожал ей руку:

— Рад познакомиться с вами.

— Надеюсь, вы к нам придете. Сейчас у всех

тяжелые времена. Любая духовная помощь на пользу… не так ли?

Ее рукопожатие (как и Жуакина) не разжималось долго. И было крепче.

— Ой, а вы знаете, какой сегодня день?

Она глянула в газету:

— Среда.

— Но… Как вы узнаёте, что наступило воскресенье?

Она рассмеялась. Смех получился очень самоуверенный.

— Воскресные службы проводятся, когда в газете написано, что сегодня воскресенье. Мистер Калкинз путает даты, я знаю. Но больше одного воскресенья за семь дней не бывает. И больше одного вторника. Вот с четвергами случается путаница. Я к нему ходила, разговаривала. Очень вежливый человек. И, невзирая на несносное, по мнению некоторых, чувство юмора, он очень переживает из-за того, что творится в его городе. Частоту воскресений я заметила сама. Про вторники он мне объяснил; но настаивал на шальных четвергах. Весьма любезно предложил объявлять четверг всякий раз, когда я попрошу, если я предупрежу за сутки. — Ее абсолютную серьезность расколола улыбка. И она отпустила

его руку. — *Конечно*, все это забавно. Мне так же странно об этом говорить, как вам, я думаю, — слушать. — Афро, круглое темное лицо; она ему понравилась. — Постараетесь прийти к нам на службы?

Он улыбнулся:

— Я постараюсь. — И даже смутно пожалел, что лжет.

— Хорошо.

— Пастор Тейлор?

Она оглянулась, задрав редкие брови.

— А эта улица ведет к… мистеру Калкинзу?

— Да, его дом — около мили отсюда. Вам надо будет перейти Джексон. Два дня назад какой-то смельчак стал водить автобус туда-сюда по Бродвею. Всего один автобус. Впрочем, ему же не надо продираться по пробкам. Не знаю, ходит ли он еще. Но он бы вас довез до редакции газеты. Не к мистеру Калкинзу домой. Можно, наверно, и пешком. Я пешком ходила.

— Спасибо.

Он ушел, а она улыбалась ему вслед из дверей. Нет, решил он. Это, видимо, все-таки *не* монастырь. И под глохнущую музыку вообразил, как крутится и крутится пленка и аккорд за аккордом спархивают с поблескивающих бобин.

Джексон-авеню была широка, но жавшиеся друг к другу домики, размытые полуденным дымом, — в основном деревянные. Паутина троллейбусных проводов, что прежде перетягивала перекресток, теперь комом валялась на повороте мостовой. В двух кварталах от перекрестка дымились развалины. Клубы обнажили обугленные балки и накатили снова.

В квартале с другой стороны грузная фигура с магазинным пакетом застыла на пути от угла до угла и посмотрела, как смотрит он. Близился вечер шальной среды, но походил он на зловещее воскресное утро.

3

Внятного отклика нет. Общая, пожалуй, проблема — все, что хочешь сказать, для лексикона и синтаксиса неподъемно. Потому я и рыщу по этим выхолощенным улицам. Дым скрывает небесное разнообразие, пятнает сознание, пеленает пекло безвредным и иллюзорным. Бережет от великого пожара. Обозначает огонь, но скрывает источник. Пользы от этого города нет. Здесь мало что приближается к образу прекрасного.

И таков в Беллоне *хороший* район?

Вон там в белом доме на первом этаже выбиты окна; свесились наружу занавески.

Улица чистая.

Босая нога и сандалия, босая нога и сандалия; он смотрел, как под ними скользит зернистый тротуар.

Рядом дверь нараспашку.

Он шел дальше. Проще думать, что все эти дома заселены — а не что пустота их дает мне право мародерствовать, где душа пожелает… не мародерствовать. Одалживать. И все равно неприятно.

Люфер вроде поминал дробовики.

Но он все-таки проголодался и скоро… одолжит еду.

Он разбил окно палкой, которой заклинили открытую гаражную дверь (восемь банок растворимого кофе в кухонном шкафчике), сел за крытый пластиком стол в нише, съел холодную банку (открывашка в ящике) «Перечного супа» «Кэмпбелл». (Легче легкого!) В восхищении между щепотями неразбавленного супа (солоно!) переводил взгляд с газеты Фауста на тетрадку Ланьи. Заварил себе кофе горячей водой — стекала десять секунд, потом стала парить и плеваться — из-под крана. В конце концов открыл тетрадь наугад и прочел ужасно аккуратные буковки ручкой:

> *Не сказать, что у меня нет будущего. Просто оно бесконечно дробится о несбыточную и невнятную эфемерность настоящего. В летней стране, прошитой молниями, как-то нечем и закончить…*

Он поднял голову на скрипы. Нет, просто легкий сдвиг архитектуры. Никто, одними губами сказал он, здесь больше не живет. (Кухня очень чистая.) Без особого понимания прочитанного (или непонимания, если уж на то пошло) от за-

писей отсутствующего репортера и этих скрипов побежали мурашки по загривку.

Дежавю — свойство взгляда.

Эти строки — будто эхо разговора, как-то раз, быть может, праздно подслушанного на людной улице. Тетрадь намекала, что хорошо бы обратить внимание на те пределы разума, которых он даже отыскать не умел.

> *не аффектация, а лабильность; свойство подлинное и популярное. Но если записывать, что я говорю, переходя из одного речевого*

Он еще полистал страницы. Писали только на тех, что справа. Те, что слева, пусты. Он закрыл тетрадь. Поставил кофейную чашку в раковину, банку — в пустое мусорное ведро; поймав себя на этом, рассмеялся вслух, затем примерил безмолвное самооправдание: можно ведь остаться здесь, обустроиться еще уютнее, чем Тэк.

От этого по загривку снова забегали мурашки.

Сунув тетрадь под мышку вместе с газетой, он вылез через окно.

Оцарапался битым стеклом, но заметил лишь спустя квартал, когда опустил взгляд и увидел каплю крови, что ползла по тетрадной обложке,

красно-бурая на обугленном. Ткнул новенький лилово-красный порез тупостью большого пальца — от этого только зачесалось. Так что про порез он забыл и быстро зашагал по Брисбен. Это же просто… царапина.

Скитание? Или стремление?

Он не ведал, к чему приведет то и другое. Этим лужайкам и фасадам для красоты не хватало солнца или хотя бы дождика. Деревья на перекрестках могли быть ясно-зелеными. Но сейчас их размыл туман.

Странно, что элементы удовольствия — столько серостей, столько страха, столько молчаний. Вон тот дом, сквозь занюханные занавески раззявился намеками на ковры, что в июле еще не убрали; прежде там кто-то *жил*. У двери вывеска «Доктор»; он поразмыслил о лекарствах, притаившихся за опущенными жалюзи. Ну, может, по пути назад…

На дальнем углу у поблескивающей стены горой жучиных трупиков громоздился уголь. Землистую уличную вонь прорезала едкость сожженной обивки. Серый угорь дыма выполз на тротуар из подвального разбитого окна и испарился в водостоке. В другом, уцелевшем, — мерцание… Одиночное горение среди множества

нетронутых зданий — самое дикое, что попалось ему на глаза.

Он поспешно перешел в следующий квартал.

Его нес по улицам расхлябанный ритм дня. Один раз он сообразил, что устал. Позднее поискал усталость — а она развеялась, как тот угорь.

Вот, видимо, и Хайтс.

Он потащился в горку, мимо витрины, набитой медью, мимо трехслойных стеклянных дверей в вестибюле, головы белой статуи за высокой изгородью — ранимая угрюмая изысканность тревожила его. Залезть, выпить еще кофе? Интересно, почему здесь образы дробовиков за шторами отчетливее. Но он все равно над ними посмеялся.

Он двигался, и движение шумело в кавернах тела. Он хлопал газетой и окровавленной тетрадкой по ляжке, думая о Ланье, о Милли, о Джоне. На другом бедре болталась орхидея. Окованный взглядами, он широко шагал дальше — смущенный вандал, что страдает за грабеж, который разум его вершил средь фантастических фасадов. Очагом напряженности он двигался вдоль домов, что под солнцем были бы роскошны.

Он и сам не понял, зачем решил свернуть с авеню на разведку.

Посреди проулка в булыжном круге рос дуб, окольцованный декоративным заборчиком. Сердце забилось быстро.

Он прошел мимо.

Ствол с обратной стороны — черное дерево. Вместо густой зелени листвы — пожухшая чернота.

Распахнув глаза на такое зрелище, у ствола он свернул и уже собрался уйти. И тут посмотрел на дома.

Стены слева и справа разделены обломками мебели, балками и грудами каменных осколков. Граница между газоном и улицей потерялась в мусоре. В двадцати футах впереди разворочена брусчатка. Он почувствовал, как лицо сморщилось пред лицом разрушения.

Бульдозеры?

Гранаты?

В голове не укладывалось, что́ могло довести до такого. Булыжники раздроблены, выбиты или перевернуты в сырой земле — непонятно даже, где начинается следующая улица. Сдвинув брови, он побродил в мусоре, перешагнул груду книг, бездумно высматривая источник дымного клуба, что раскачивался в пятидесяти футах, а потом вдруг перестал смотреть.

Подобрал часы. Стеклышко отслоилось со звяком. Он их уронил и подобрал шариковую авторучку, стер пепел о штаны, щелкнул кнопкой раз и два. Под штукатурку зарылся деревянный сундук чуть побольше «дипломата». Носком сандалии он пихнул крышку. Белая пыль взвихрилась над вилками, ложками и ножами, обвязанными серой лентой, и осела на пурпурный бархат. Он убрал ногу — крышка щелкнула — и кинулся к авеню.

Следующие три квартала по Брисбен он почти бегом бежал мимо домов, пустых и прекрасных. Но теперь замечал покосившиеся столбы фонарей на газонах, и бесформенные кучи между ними, и окна, что за бледными шторами светились небом позади них.

Он все щелкал авторучкой. Поэтому убрал ее в карман рубахи. На ближайшем углу опять достал и замер. Если налетит ветер, подумал он, если на этой тоскливой улице ветер родит хоть какой звук, я закричу.

Ветра не случилось.

Он сел на бордюр, открыл первую страницу тетради.

собой ранить осенний город, —

снова прочел он. Торопливо перелистнул на чистую сторону. Оглядел четыре улицы, оглядел угловые дома. Сквозь стиснутые зубы всосал дыхание, выщелкнул стержень и принялся писать.

Посреди третьей строки, не отрывая ручки от бумаги, все разом перечеркнул. Затем на следующую строку аккуратно переписал два слова. Второе слово — «я». Теперь слово очень аккуратно следовало за словом. Он вычеркнул еще две строки, откуда спас «ты», «вертушку» и «мостить», высыпал их в новую фразу, денотативно ничем не напоминавшую ту, откуда они пришли.

Между строками, пока он щелкал стержнем, взгляд забрел на текст справа:

> *Наше отчаяние пред фактурными изъянами языка понуждает нас оттачивать структурные до*

– *Ыннн!* — в голос. Ни одного красивого слова. Он рывком перевернул тетрадь вверх тормашками, чтоб не отвлекаться.

Держа в уме последние две строки, снова оглядел дома. (Отчего бы *не* рискнуть?) Поспешно записал последние строки — набросал, пока не рассеялись.

Сверху печатными буквами вывел: «Брисбен».

Оторвав ручку от «н», задумался, нет ли у слова других смыслов, помимо названия авеню. Понадеявшись, что есть, принялся очень старательно переписывать то, на чем остановился. Вычеркнул одно слово в последних двух строках («никак не может» превратилось в «не может») и закрыл тетрадь, недоумевая, что это он такое сейчас сделал.

Затем встал.

В качке головокружения пошатнулся на бордюре. Затряс головой и все-таки выровнял под собой мир под нужным углом. Икры и бедра свело: он чуть не полчаса провел почти в позе эмбриона.

Дурнота отступила, а судорога не отпускала еще два квартала. И вдобавок он давился дыханием. Отчего ощутил и десяток других мелких неудобств, которые до сей поры игнорировал. В общем, лишь спустя еще квартал он сообразил, что не боится.

Тянет в правой икре или на душе неспокойно? Он бросил рассуждать, что предпочтительнее, поглядел на уличную вывеску и увидел, что «С. Брисбен» превратилась в «Ю. Брисбен».

Щелк-щелк, щелк-щелк, щелк-щелк; заметив, что делает, он убрал авторучку в карман рубахи. Вдоль улицы тянулась каменная стена. В домах напротив, террасных, и газонных, и просторных,

и колонных, — окна сплошь битые.

Из-за спины подгрохотала машина — тупоносая буро-малиновая колымага минимум лет двадцать как с конвейера.

Удивленно вздрогнув, он обернулся.

Машина проехала мимо, не оставив впечатлений о водителе. Но в двух кварталах впереди свернула в ворота.

Кирпичи над головой задрапированы ивой. На ходу он двумя пальцами вел по бороздкам раствора.

Ворота ярь-медны, шипасты поверху и заперты. В десяти ярдах за их решеткой дорога сворачивала в сосняк, косматый как незнамо что. Медная табличка, после недавней полировки исполосованная розовым, гласила: «РОДЖЕР КАЛКИНЗ».

Он вгляделся в сосны. Оглянулся на другие дома. И просто пошел дальше.

Улица упиралась в кусты. Вдоль стены он свернул за угол в заросли. Ветки то и дело тыкали под ремешки сандалии. Босой ноге приходилось легче.

На поляне под стеной кто-то поставил один на другой два ящика: дети хотели фруктов или похулиганить?

Он полез (оставив тетрадь и газету на земле), и

тут за стеной засмеялись две женщины.

Он застыл.

Смех приблизился, перетек в приглушенную беседу. Пронзительно хохотнул мужчина; вновь послышалось и утекло прочь двойное сопрано.

Он еле-еле доставал до края. Подтянулся, растопырив локти. Гораздо труднее, чем показывают в кино. Он скреб мысками по кирпичу. Кирпич в ответ корябал ему колени и подбородок.

Глаза вознеслись над стеной.

Ее покрывали сосновые иглы, прутики и, дивным образом, слой стекла. Сквозь мельтешение мошкары он увидел приплюснутые верхушки сосен и окатистые дряблые кроны вязов. А эта серая штуковина — купол дома?

— Да не верю я! — вскричала невидимая женщина и снова засмеялась.

Пальцы жгло; руки дрожали.

— Эт-то ты тут что, блядь, шкет? — с оттяжечкой произнес кто-то у него за спиной.

Трясясь, он спустился, разок зацепившись пряжкой ремня за выемку в стене — пряжка вонзилась в живот; пальцами ног нащупал тонкие выступы, затем ящик; затанцевал.

И, щурясь, прижался к стене.

Тритон, паук и какое-то чудовищное насеко-

мое, громадные и в расфокусе, прожигали его глазами-вспышками.

Он выдавил вопросительное «к…», но так и не смог выбрать следующую букву.

— Ты же знаешь, — паук в середине угас; рыжий дылда убрал веснушчатую руку от цепи, кольцами обвивавшей его от шеи до живота, — прекрасно, что тебе туда нельзя.

Лицо у него было плоское, нос широкий, как у мопса, губы вывернуты наизнанку, глаза — словно коричневая яичная скорлупа, инкрустированная потускневшими золотыми монетами. В другой руке — в бледных волосах расплывались веснушки — он держал футовый кусок трубы.

— Я туда не лез.

— Ёпта, — изверг из себя тритон слева с черным акцентом гораздо гуще, чем у рыжего.

— Ну *еще* бы, — сказал рыжий. На темно-загорелой коже — веснушчатые галактики. Волосы и борода курчавятся горстью медных монеток. — Ага, конечно. Прям *зуб* даю. — Он размахнулся трубой, на пределе взмаха дернул рукой; цепи на шее забренчали. — Ну-ка слезай оттуда, пацан.

Он спрыгнул, приземлился, одной рукой держась за ящики.

Рыжий снова замахнулся; фланговые виденья

зыбко придвинулись.

— Ага, давай-давай, попрыгай!

— Ладно, я слез. Ну?..

Скорпион засмеялся, замахнулся, шагнул.

Оплетенный цепью сапог вдавил тетрадь в мульчу. Другой отодрал от нее уголок.

— Эй, кончай!..

Он вообразил, как бросается на них. Но не шевелился… пока не увидел, что на следующем взмахе труба врежется ему в бок, — и тогда бросился.

— Берегись! У него орхидея на!..

Он рубанул рукой в ножах; скорпион отшатнулся; тритон и жук развернулись. Поди пойми, где они там под своими фантасмагориями. Он вогнал кулак в чешуйчатую симуляцию — кулак прошел насквозь, и от удара он клацнул зубами. Ножами резанул отступающего жука. На него кинулся паук. Он оступился в сногсшибательных огнях. Чья-то рука заехала ему по щеке. Заморгав, он увидел, как другое, внезапное черное лицо вырывается из-под тритоньей чешуи. Потом что-то ударило его по голове.

— Эй, Харкотт, он тебя порезал, слышь! — Густой черный акцент, очень далеко. — Ой, эй, ни хера себе! Сильно он тебя. Харкотт, ты нормально?

Нет, он ненормально. Он падал в черную дыру.

— Вот мудак, а? Да я его за это…

Он рухнул на дно.

Скребя ногтями по донной листве, он наконец отыскал обрывок мысли: орхидея висела на поясе. Он бы не успел опустить руку…

— Вы… что с вами?

…продеть загрубелые пальцы в сбрую, застегнуть браслет на узловатом запястье…

Кто-то тряс его за плечо. Его рука стучала по влажной листве. Другая зависла в воздухе. Он открыл глаза.

Вечер так шарахнул в висок, что затошнило.

— Молодой человек, вы как?

Он снова открыл глаза. Пульсирующие сумерки долбились в четверть головы. Он толчком приподнялся.

Человек в синей сарже сел на пятки.

— Мистер Фенстер, он, по-моему, пришел в себя!

Чуть подальше, на краю поляны стоял черный в футболке.

— Надо бы его внутрь отнести, наверно? Голову ему осмотреть.

— Да нет, я думаю, не стоит. — Черный сунул руки в карманы слаксов.

Он качнул головой — всего раз, а то страх как

больно.

— На вас напали, молодой человек?

Он сказал:

— Да, — очень невнятно. Кивок подбавил бы цинизма, но кивнуть он не осмелился.

Белый воротничок между саржевыми лацканами стянут невероятно тонким галстуком. Белые виски под седыми волосами; акцент у человека пугающе смахивал на британский. Он подобрал тетрадь. (Газета уползла прочь по листве.)

— Это ваше?

Снова невнятное:

— Да.

— Вы студент? Ужас какой — люди нападают на людей прямо у всех на виду! Ужас!

— Я думаю, нам пора в дом, — сказал черный. — Нас ждут.

— Минуточку! — прозвучало на удивление властно. Джентльмен помог ему сесть. — Мистер Фенстер, я считаю, совершенно необходимо отнести беднягу в дом. Вряд ли мистер Калкинз будет возражать. Это все-таки исключительные обстоятельства.

Фенстер вынул темно-бурые руки из карманов и подошел:

— Боюсь, ничего исключительного в них нет.

Мы проверили, а теперь пойдемте.

С неожиданной силой Фенстер поставил его на ноги. По дороге правый висок взорвался трижды. Он стиснул голову рукой. В волосах кровь хрустела; по бакенбарде текла.

— Можете стоять? — спросил Фенстер.

— Да. — Слово во рту — как тесто. — Э-э… спасибо за… — Он опять чуть было не потряс головой, но спохватился. — Тетрадь.

Человек в галстуке искренне опешил. Очень белой рукой тронул его за плечо:

— Вы уверены, что с вами все хорошо?

— Да, — на автомате. А затем: — Можно мне воды?

— Разумеется. — И Фенстеру: — Мы ведь можем пустить его в дом хотя бы попить.

— Нет… — с раздраженной покорностью ответил Фенстер, — мы *не можем* пустить его в дом попить. — И в завершение реплики выпятил челюсть — крошечные мускулы проступили под темной кожей. — Роджер очень строг. Придется вам смириться. Прошу вас, пойдемте.

Белый — пятьдесят пять? шестьдесят? — в конце концов вздохнул:

— Я… — А затем отвернулся, и все.

Фенстер — сорок? сорок пять? — сказал:

— Здесь неблагополучный район, юноша. Я бы на вашем месте срочно возвращался в центр. Очень жаль, что так получилось.

— Ничего, — выдавил он. — Порядок.

— Мне правда жаль. — Фенстер заспешил следом за пожилым джентльменом.

Он поглядел, как они дошли до угла, свернули. Поднял руку в клетке, посмотрел на нее сквозь ножи. Они поэтому?.. Снова посмотрел на улицу.

Для полного счастья в голове опять застучало.

Бубня проклятия, он положил газету на тетрадь и вышел на авеню.

Они, похоже, вернулись в дом через ворота. И ворота заперли. Сволочи, подумал он. Сумрак сгустился. Давно он ушел из парка? Часа четыре, пять. Голова болела сильно. И уже темнело.

Вдобавок, похоже, вот-вот польет… Но воздух сух и нейтрален.

Южная Брисбен едва успела превратиться в Северную, и тут в квартале впереди он увидел, как авеню перебегают трое.

Слишком далеко — не разглядеть, есть ли у них цепи на шее. И тем не менее все тело атаковали мурашки. Он остановился, держась за фонарный столб. (Плафон — перевернутая корона иззубренного стекла вокруг маленького иззубренного

хомута патрона.) Почувствовал, как сами собой сдвинулись плечи. Поглядел в темнеющее небо. И накатил ужас порушенного вандалами города; сердце застучало барабаном.

Под мышками стало скользко.

Тяжело дыша, он сел, привалившись к столбу.

Вынул ручку из кармана и защелкал кнопкой. (Он же *не надевал* орхидею?..) Перестал, снял оружие с запястья и снова прицепил на шлевку; наверно, ходить по улицам вооруженным — напрашиваться?..

Опять огляделся, открыл тетрадь, торопливо пролистнул «Брисбен», нашел пустую страницу — на середине, а то и дальше.

«На дальнем углу, — записал он мелкими буковками, — у поблескивающей черной стены горой жженых жучиных трупиков громоздился уголь». Прикусил губу и продолжил: «Общую землистую вонь улицы прорезала влажная едкость сожженной обивки. Серый угорь дыма выпростался на тротуар из лучистой дыры в подвальном окне, рассеялся, не успев», — тут он вычеркнул последние три слова и заменил их на «испарился в водостоке. В другом окне…» — и вычеркнул «окно», «пока уцелевшем, что-то мерцало. Этот одинокий горящий дом среди множества других,

нетронутых…» — бросил и начал заново:

«У поблескивающей стены горой жучиных трупиков громоздился уголь. Землистую уличную вонь прорезала едкость сожженной обивки». Вернулся, поменял «жучиные трупики» на «жуков», и дальше: «Серый угорь дыма выпростался на тротуар из разбитого подвального окна и испарился в водостоке. В другом, уцелевшем, что-то мерцало. Этот горящий дом», вычеркнул, заменил на: «Одиночное горение посреди множества нетронутых зданий», — и, не прерывая движения, рука внезапно выдрала из тетради целую страницу.

В горсти мятая бумага и ручка; дышать тяжело. Он разгладил листок и на новой странице начал переписывать заново:

«Возле поблескивающей стены горой жуков громоздился уголь…»

Закончив очередную редактуру, сложил вырванную страницу вчетверо и сунул в тетрадь. На задней обложке прежний владелец написал:

> *начать с того, что моей повседневности он не отражает. Здесь часами царят в основном тишина и скука. По большей части мы сидим*

Он опять скривился и закрыл обложку.

Марево по-вечернему посинело. Он поднялся и зашагал по улице.

Спустя несколько кварталов распознал странное ощущение: ночь надвигалась неоспоримо, но не похолодало ничуть. Эфемерный дым окутывал его одеялом, отключая всё.

Впереди завиднелись дома повыше. Верхние этажи отгрыз дым. Он крадучись спускался в травмированный город.

Оно вовсе не дарит мне защиты, это марево, — лишь преломляющую сетку, сквозь которую надлежит смотреть на эту кровавую машину, изучать саму технократию глаза, исследовать недра полукружного канала. Я странствую по собственному зрительному нерву. Ковыляю по городу без истока, ищу день без теней; это меня морочит переменчивый символ? Не люблю боль. При такой дезориентации, фокусируя взгляд в такой дали, никак не измерить угол между такими вот почти параллельными линиями видимости.

4

— Вот ты где! — Она выбежала между львами и через дорогу.

Он удивленно обернулся под фонарем.

Она обеими руками сжала его ладонь.

— Я и не думала, что увижу тебя до… Эй! Что с тобой? — Лицо ее скривилось в тени. Она совсем задохнулась.

— Побили.

Ее хватка разжалась; она пальцами обмахнула его лицо.

– *Аййй…*

— Пойдем-ка. Ты что натворил?

— Ничего! — что отчасти излило его негодование.

Она опять взяла его за руку и потянула за собой:

– *Что-то* ты натворил. Людей не бьют ни за что.

— В этом городе, — он не сопротивлялся, пускай она ведет, — бьют.

— Сюда. Нет. Даже в этом городе нет. Что случилось? Тебе надо умыться. Дошел до Калкинза?

— Ага. — Он шагал подле нее; она стискивала

ему кисть почти до боли — а потом, словно и сама заметила, ослабила хватку. — Я заглядывал через стену, и тут эти скорпионы.

— Оййй! — Видимо, объяснения ей хватило.

— Что «ой»?

— Роджер не любит, когда шпионят.

— И посылает скорпионов патрулировать крепостные стены?

— Не удивлюсь. Он иногда просит их об охране.

— Эй! — Он выдернул руку; она обернулась.

В тени воздетые глаза ее были пусты, как у львов. Он нацелил было язык на возражение, но она лишь шагнула к нему. Бок о бок они пошли дальше сквозь темноту, не касаясь друг друга.

— Сюда.

— Куда?

— Сюда! — Она развернула его за локоть.

И открыла дверь, которой он и не заметил. Кто-то, мерцая силуэтом, сказал:

— А, это ты. Что такое?

– *Посмотри* на него, — ответила Ланья. — Скорпионы.

— А. — Кожаная куртка, кепка… и кожаные штаны: длинные пальцы притворили дверь. — Отведи его внутрь. Только не кипешуйте, ага?

— Спасибо, Тедди.

Из глубины коридора доносились голоса. Свечи в железных канделябрах хлопьями света усыпали облачение Тедди, не толще ногтя.

Он пошел за Ланьей.

В конце стойки женский взвыв осыпался смехом. Трое мужчин, смеясь, отпали от нее блестящими черными лепестками: четыре пятых собрания носило кожу, мало кто — джинсовые куртки. Женщина завела беседу с высоким мужчиной в пухлом лиловом свитере. Свечной свет окрасил ее волосы хной и зачернил глаза.

Другая женщина, в спецовке и рабочих башмаках, держа стакан обеими руками, шатко вклинилась между ними, узнала Ланью и нараспев промолвила:

— Милая, ты где была всю неделю? Ты не представляешь, до чего опустилось это заведение. Мальчики меня почти совсем ухайдакали, — и нестойко удалилась.

Ланья провела его сквозь кожаную толчею. Прилив тел к барной стойке притиснул их к столику в кабинке.

— Эй, ребятки, — Ланья оперлась на кулаки, — можно с вами посидеть?

— Ланья?.. Конечно, — ответил Тэк, а потом

узнал его: — Господи, Шкет! А с *тобой* что приключилось? — Сдвинулся на скамье. — Давай. Садись!

— Ага… — Он сел.

Ланья уже пробивалась в толпу:

— Тэк, Шкедт, я сейчас!

Он положил тетрадь и газету на деревянную столешницу, проволок руки сквозь свечные тени железных паутин, босой ногой провез по опилкам.

Тэк перевел взгляд с Ланьи на него:

— Побили? — Кепка по-прежнему скрывала пол-лица.

На безглазый вопрос он ответил кивком.

Губы сжались под тенью козырька. Тэк потряс головой:

— Скорпионы?

— Ага.

Юноша по ту сторону стола сидел, сложив руки на коленях.

— Что отняли? — спросил Тэк.

— Ничего.

— А что надеялись отнять?

— Не знаю. Ёпта. По-моему, просто хотели кому-нибудь дать по шее.

Тэк покачал головой:

— Нет. Это вряд ли. Скорпионы не такие. Тут все слишком заняты — все выживают, давать по шее забавы ради всем некогда.

— Я пошел к Калкинзу, пытался заглянуть через стену. Ланья сказала, у него эти сволочи периметр, сука, патрулируют.

— Видишь? — Люфер погрозил пальцем через стол. — Я ж говорю, Джек. У нас тут странно — ты, небось, страннее ничего и не видал. Но правила все равно есть. Только надо допетрить.

— Ёпта, — повторил он, негодуя: всем лишь бы придраться. — Накостыляли мне будь здоров.

— На то похоже. — Тэк посмотрел через стол. — Джек, познакомься со Шкетом. Джек только сегодня подтянулся в город. А Шкет — вчера.

Джек рывком наклонился и протянул руку:

— Привет.

Он пожал обожженную солнцем ладошку Джека.

— Джек у нас — армейский дезертир.

Тут Джек глянул на Тэка в ужасе, но по-быстрому прикрылся смятенной улыбкой.

— Ага… здрасте. — Голос его прибыл из Арканзаса. Футболка очень отглажена. По-армейски обкорнанный череп просвечивал на виске. — Это правда, да: я дезертир, будь оно все неладно.

— Мило, — а потом сообразил, до чего легкомысленно вышло, и смутился.

— Мне вот Тэк объясняет, как тут жить, — сообщил Джек: то ли не обиделся, то ли просто не расслышал. — Тэк — он гораздо умнее меня. Занятно тут, скажи?

Он кивнул.

— Я собирался-то в Канаду. А мне сказали про Беллону. Мол, кайфовое местечко, да? Ну и я подумал заглянуть. По дороге. — Теперь он оглядывал бар. Женщина опять взвыла; Лиловая Ангора покинул ее. Вой снова предсказуемо рассыпался смехом, и женщина уселась в одиночестве, тряся темно-рыжими волосами над стаканом. — Я таких городов никогда не видал. А ты? — И так Джек передал диалог ему.

— Я уж думаю, — перебил Тэк. — А вот Шкет у нас — он, между прочим, мне ровесник. А ты, небось, решил, что он моложе тебя. Джеку двадцать. Вот серьезно — сколько Шкету лет, что скажешь?

– *Э*… ой, я не знаю, — опешил Джек.

(Хотелось вновь взглянуть в затененное лицо инженера — но еще не пора.)

— Ты куда поутру сбежал-то?

Где-то в баре гавкнула собака.

Уже собравшись повернуться и ответить Тэку, он оглянулся на шум. Заскребли когти; а потом из-за ног тех, кто стоял у столика, — черная морда и плечи!

Он вздернул руку подальше от лая.

И тотчас вернулась Ланья:

— Ну перестань, лап!

Остальные обернулись посмотреть, как зверюга облаивает их столик.

— Хватит. Тише. — Рука Ланьи забрела на тряское темя, пощекотала черный нос. — Цыц! Ну-ка цыц. — Собака отодвинула было голову; Ланья схватила ее за подбородок и легонько помотала. — Ты чего шумишь? Тшшшшшш, поняла меня? Шшшшш! — (Собака перевела карие глаза со стола на Ланью, снова на стол. По черным зрачкам скользнули яркие точки свечей. Собака лизнула Ланье руку.) — Вот умница. Угомонись. — В другой руке у Ланьи — ком мокрых бумажных полотенец. Она села, выложила их на стол; они принялись сочиться на деревяшку.

Джек опять сложил руки на коленях.

Тэк подпихнул козырек; тень открыла большие голубые глаза. Он потряс головой, в неопределенном неодобрении цыкнул.

— Ну *хватит*, — снова сказала Ланья собаке.

Та, часто дыша, ждала у стола.

Он потянулся к темной голове. Собачье дыхание замерло. Он провел по жесткой шерсти, по курчавому лбу. Собака полизала ему ладонь.

— Вот-вот, — сказал он. — Потише давай.

— Мюриэл вас достает, народ? — Лиловая Ангора втянул вздох. — Я ей твержу, — он указал на женщину у стойки, — что *не надо* ее сюда водить. Мюриэл не настолько дрессированная. Перевозбуждается. Но она таскает сюда псину каждый вечер. Надеюсь, вам не мешает.

Ланья снова потрепала собачью голову:

— Наша старушка — такая лапочка! Она никому не мешает.

— Ну спасибо. — Лиловая Ангора наклонился и за ошейник потащил Мюриэл к стойке. Разок оглянулся на них, нахмурился…

— Может, протрешь лицо? — сказала Ланья, кривя свое.

— Чего? А, ну да. — Он взял полотенце и прижал к виску; защипало. Потекла вода.

Он стер кровь со щеки. Взял другое полотенце (первое залиловело до самой кромки) и снова потер.

— Эй, — сказал Джек. — По-моему, ты… — невнятно взмахнув рукой.

— Господи!.. — сказала Ланья. — Я еще полотенец принесу.

— Чего? Опять кровь пошла?

Тэк взял его за подбородок, повернул:

— Не то слово, — и прижал к его голове еще одно полотенце.

— Эй! — Он через стол поймал Ланью за локоть. — Слушай, давай я лучше в уборную. Я все смою.

Она села:

— Уверен?..

— Ага. Скоро буду.

Одной рукой он прижал полотенце к лицу, другой подхватил тетрадь. («Что с ним стряслось?» — между тем спрашивал Тэк. А Ланья подалась к нему, чтоб ответить.) Он протолкался сквозь толпу туда, где полагалось быть мужской уборной.

У него за спиной включилась музыка — зашуршала помехами, точно из старого радио; больше похоже на «Виктролу» с рукоятью. У двери уборной он оглянулся.

Неоновый свет залил клетку за барной стойкой. (Лицо у рыжей [сорок пять? пятьдесят?] — стало мыльно-желтое:

— Мюриэл! Ну-ка уймись, Мюриэл!

Беглый лай смолк, и Лиловый Свитер опять сел.) Из-за черной занавески вышел мальчик в серебристых парчовых стрингах. Он затанцевал в клетке, колыхая бедрами, дергая руками, брыкаясь. Пепельно-светлые волосы сбрызнуты блестками; блестки усеяли влажный лоб. Мальчик от уха до уха улыбался клиентам открытым ртом, тряся губами в танце. Брови заклеены серебром.

Играло, различил он сквозь статику, попурри из песен Дилана в исполнении каких-то «Струнных Мелакрино»[9], что ли. Сколько «мальчику» лет — неведомо: от пятнадцати до изнуренных тридцати пяти. На шее у него поблескивали цепочки с зеркалами, призмами, линзами.

Он протиснулся в уборную — оттуда как раз выходил, ощупывая ширинку, здоровяк в армейской гимнастерке.

Он запер дверь, положил тетрадь на треснувший фаянсовый бачок (газету оставил на столе), посмотрел в зеркало и сказал:

– *Батюшки!..*

Холодная вода из отвернутого до упора крана

---

[9] Примечания: 9

«Струнные Мелакрино» (*The Melachrino Strings*, 1945–1970-е) — оркестр английского музыканта, дирижера и кинокомпозитора Джорджа Мелакрино (1909–1965) в жанре «легкой музыки».

засочилась струйкой на слезообразное пятно. Он вытянул шелестящие бумажные полотенца из держателя и положил отмокать. Через несколько минут раковину омыло кровью; кровь испещрила конторский линолеум; зато на лице ни крови, ни протечек.

Сидя на унитазе, спустив штаны ниже колен и расстегнув рубашку, он повертел на животе зеркальце размером с четвертак и поглядел на инкрустированный глазом осколок своего лица. На ресницах капельки.

Он моргнул.

Глаз открылся и увидел, как розовая капля разбавленной крови ударилась в стекло и стекла к мозоли подле стекла.

Он разжал пальцы, взял с бачка тетрадь, перевернул и достал ручку. Пружинка вжалась в ляжку:

«Мюриэлл»

В правописании он усомнился, но продолжал:

«Сквозь кровь увиденные ясные глаза ее…» Он методично вычеркивал «ясные», пока не получился темно-синий брусок. Нахмурился, перечитал, вернул «ясные» и продолжил. Прервался на отлить и снова перечитал. Потряс головой,

подался вперед. Пенис толкнулся в холодный фаянс. Он поерзал, сдвинулся назад на стульчаке; переписал всю строку.

Один раз поднял голову: свеча у закрашенного окна догорала.

«Вспоминая, — написал он, — при свече то, что видел при луне, я…» — насупился и заменил мыслью вообще про другое.

— Эй! — (Он поднял голову на грохот в дверь.) — Ты там нормально, Шкедт?

— Тэк?

— Тебе помочь? Ланья велела глянуть: ты там не утонул? Ты как?

— Порядок. Сейчас выйду.

— А. Ну ладно. Это хорошо.

Он поглядел в тетрадь. Внезапно накорябал внизу: «Мне не дают закончить это проклятое», — остановился, засмеялся, закрыл тетрадь и убрал ручку в карман.

Навалился на колени и расслабился; удивился длине и плеску. Туалетной бумаги не было.

Ладно, можно и влажным полотенцем.

* * *

Свет мерцал на боках танцора, на тряских волосах, на потном лице. Но люди вернулись к

разговорам.

Он протолкался, глянул на клетку.

— Ну, *на вид* ты гораздо лучше, — сказала Ланья.

Джек сказал:

— Эй, я тебе и твоей подружке пива купил. Тебе тоже, потому что я не хотел, чтоб ты подумал… ну, это.

— А, — сказал он. — Конечно. Спасибо.

— Тэк мне весь вечер не дает ничего заказать. Я и подумал: угощу-ка я тебя и твою подружку пивом.

Он кивнул и сел:

— Спасибо.

— Ага, спасибо, — сказала Ланья.

— Она очень славная девушка.

Ланья мельком глянула на него через стол — мол, ну что ты будешь делать — и глотнула.

Музыка, заворчав, затормозила посреди фразы; люди зааплодировали.

Джек кивнул на клетку, где пыхтел танцор:

— Вот ей-богу, в жизни не бывал в таких кабаках. Как-то чересчур, да? Много такого в Беллоне?

— «У Тедди» — единственный и неповторимый, — ответил Тэк. — Таких кабаков во всем

Западном мире нет. Раньше-то был натуральный бар. Прямо не верится, до чего наладилась жизнь.

— Не верится — это точно, — повторил за ним Джек. — Просто я никогда такого не видал.

Ланья еще отпила.

— Ну что, умирать раздумал? — улыбнулась она.

Он отсалютовал своей бутылкой и опустошил ее на треть.

— Похоже на то.

Тэк внезапно развернулся:

— Вот скотство, а? Жарко-то как в этой дыре. — Он вылез из куртки, повесил ее на спинку скамьи, возложил татуированную руку на стол. — Так-то оно поудобнее. — Он взрыхлил луговые заросли на груди и опустил глаза. — Потею как свинья. — Придвинулся к столу — доска промяла борозду в животе — и скрестил руки. — М-да, так-то лучше. — Кепки он не снял.

— Господи Исусе, — сказал Джек, озираясь. — И они тебе разрешат?

— Они мне разрешат спустить штаны и на столе, бля, сплясать, — сказал Тэк, — если мне охота. Правда, дражайшая Ланья? Вот ты им скажи.

— Тэк, — сказала Ланья, — я бы на это посмот-

рела. Вот правда. — И засмеялась.

Джек сказал:

— Мать честная!

Танцор спускался из клетки к бару; перемолвился шутливым словом с кем-то внизу; кто-то еще подал ему руку, и он грациозно скакнул прочь.

В дверях возникла новая группа.

Пара мужчин в коже подошла к черному здоровяку в рубахе цвета хаки; даже при свечах было видно, что бока потемнели от пота. Остальные черные были в костюмах и при галстуках. Люди сдвигали вместе столы.

Рыжая на крыльях смеха пролетела по всему бару. Обхватила черного за широкие плечи цвета хаки. Он обнял ее; она забилась, по-прежнему смеясь. У них под ногами залаяла Мюриэл.

Замогильный Тедди — обтянутое кожей растение — выставил бутылки, отодвинул стулья. Черный дылда плюхнулся на сиденье; кулаки его камнями растрескались на столе. Остальные расселись вокруг. Он запрокинулся назад, вытянул руки, одной поймал женщину в спецовке, другой — сверкающего танцора. Все засмеялись. Женщина, стараясь не расплескать из стакана, отпихнула курчавую темную голову. Танцор

заверещал: «Уууууу!» Стринги на нем лопнули. Он потянул поясок по белому боку, сдернул ракушку и вывинтился из кольца руки. Черная ладонь шлепнула по меловой попе. Танцор сманеврировал вперед, бросил через плечо зверский взгляд, напоследок подмигнул, закинул серебристую лямочку на плечо и зашагал прочь, потирая ягодицей о ягодицу.

– *Господи Исусе!* — через стол сказал Джек.

Кроличий хохол над прыгучими гениталиями танцора был усыпан блестками.

Тедди огибал сдвинутые столы, наливая. Люди подходили поговорить, отходили выпить.

В ответ на его недоуменный взгляд Ланья пояснила:

— Это Джордж Харрисон. А ты?..

Он кивнул:

— А.

– *Господи Исусе!* — повторил Джек. — Кого только в этом кабаке не встретишь, а? Прямо кого угодно. Откуда я родом — там бы такого не было. Здесь, — он заозирался, — неплохо, да? — Глотнул еще пива. — Все такие приветливые.

Тэк уперся сапогом в скамью, свесил руку с колена:

— Пока громить тут не начнут. — Низверг

водопад из опрокинутой бутылки в широкий рот. — Эй, хотите ко мне? Давайте со мной? — Отставил пиво. — Джек, Ланья и ты тоже, Шкет.

Он глянул на нее — а она хочет пойти?

Но она как раз отпивала.

— Ну-ка давай. — Тэк ткнул в нее пальцем, и Ланья, когда бутылка оторвалась от ее губ, насупилась на инженера. — Ты ж не будешь торчать тут до утра и отбиваться от Всадниц Засушливого Каньона?

Ланья засмеялась:

— Ну, если правда хочешь, чтоб я тоже, — тогда ладно.

Тэк хлопнул по столу:

— Отлично. — Потом наклонился и театральным шепотом произнес: — Она, гадина, еще та зазнайка. Когда еще здесь тусовалась, скорее умерла бы, чем якшалась со мной. Но как познакомились поближе, гляжу — а она ничего. — И он ухмыльнулся через стол.

— Тэк, я *не* зазнайка. И я *всегда* с тобой разговаривала!

— Да-да-да, и мужик твой тоже. — Тэк показал большим пальцем. — А теперь твой мужик *он*? — Засмеялся. — Пошли. Поздний ужин у Тэка Люфера. Тэк Люфер закатит вечерину. Джек, ты ж

говорил, что есть охота.

— Елки, — сказал Джек, — я даже не знаю…

Ланья вдруг повернулась к нему:

— Ой, да пошли. Ты просто *обязан*. Ты только прибыл. Тэк хочет тебе город показать. — И она прямо-таки просияла.

— Ну… — Джек улыбнулся столешнице, Тэку, канделябру.

— Поесть дам, — посулил Тэк.

— Елки, я ж не настолько…

— Да ладно тебе! — не отступила Ланья.

(Он сдвинул ладони по тетради, заляпанной кровью и углем, к газете, что торчала по бокам…) Ланья протянула руку и кончиком пальца тронула его корявый большой палец. Он поднял глаза. Тэк уже встал. Джек:

— Ну хорошо, — допивал пиво; Тэк стащил куртку со спинки скамьи. Ланья поднялась.

Он взял газету и тетрадь, встал рядом с Ланьей. Джек и Тэк (он опять подумал, как сополагаются звуки) ушли вперед. Ланья сжала ему локоть и прошептала:

— Я считаю, я только что заработала себе ужин, нет?

Группу Харрисона они обогнули.

— Э, гля, стар Жлез Во'к! — ухмыльнулся Харри-

сон, оторвавшись от своих карт.

— Иди утопись, горилла, — пошутил в ответ Тэк, — а то я всем скажу, что тебе сдали…

Харрисон отдернул карты и хохотливо заурчал — и тут между ними внезапно впрыгнул серебро-волосый танцор, починивший стринги; схватил Ланью за плечо:

— Душа моя, ты всегда уводишь отсюда *всех* красавцев — *как* тебе это удается? Ну-ка, люди, улыбаемся *пошире* своей мамочке… Бесподобно! А можно с вами?

Тэк замахнулся курткой, и серебристая голова нырнула.

— Вали.

— Ах-ах-ах, вся грудь в волосах, а думает, что такая вся из себя вся!

Но они протолкались к двери.

У стенки рыжая тихонько беседовала с Лиловой Ангорой. Между ними лежала и пыхтела Мюриэл. Мерцание свечей прореза́ло в желтом лице женщины все новые морщины. Она не так уж и накрашена, отметил он, проходя мимо, и не так уж стара. Но шершавость кожи в неверном свете отдавала нелепой ненатуральностью. Поверх жакета (жакета он прежде не видел и не понял, как мог проглядеть; разве что чистое изобилие

подсказало ему, что это не жакет) вились и вились и вились петли странной цепочки, какую носил Фауст, Кошмар, танцор, да и он сам.

Мюриэл гавкнула.

Он протиснулся в коридор позади Ланьи и впереди Джека.

Тедди улыбнулся им из-под кепки, точно механический череп, и придержал дверь.

Очень светловолосая девушка на краю тротуара прикусила костяшку и пристально на них уставилась.

Прохлада. Надо же.

Он пощупал, по-прежнему ли орхидея висит на шлевке, и тут девушка сказала:

— Извините. Мне ужасно неловко вас беспокоить, но… — гримаса ее держалась на честном слове, — Джордж Харрисон… он там? — и не удержалась. Серые глаза блистали очень ярко.

— Чего? А, да. Он внутри.

Ее кулак взлетел к подбородку, и она вздрогнула.

Позади него Джек как раз говорил:

— Господи Исусе, вы только *посмотрите*!

— И *есть* на что! — сказал Тэк.

— Вы сказали, он *там*? Джордж Харрисон, большой такой цветной?

— Да, он внутри.

И тут Ланья потянула его за локоть:

— Шкет, ты *посмотри*! Да посмотри же!

— Чего? А? — Он задрал голову.

Небо…

Он услыхал шаги, опустил взгляд; блондинка убегала по улице. Кривясь, он снова задрал голову.

…исполосовано чернотой и серебром. Дым, прежде такой низкий и необъятный, свился клубами, разодранный и разбросанный в вышине ветром, что не дотягивался до улицы.

Проблески луны расчертили истрепанное марево серебряной паутиной.

Он придвинулся к плечу Ланьи (она тоже глянула девушке вслед) — боку стало тепло. Ее короткие волосы задели его плечо.

— Я такого никогда не *видела*! — И затем громче: — Тэк, раньше такое бывало?

(Настанет день — и я умру, ни к селу ни к городу подумал он, но стряхнул эту мысль.)

— Ч-черт! — Люфер снял кепку. — С моего приезда — нет. — Куртку он перекинул через плечо и держал одним пальцем. — Как тебе нравится, Джек? Может, наконец распогоживается.

Они зашагали к перекрестку, по-прежнему

любуясь.

— Я впервые вижу здесь… — И Ланья застыла.

Застыли все четверо. Он сглотнул — сильно; голова была запрокинута, и кадык неприятно дернуло.

В одной прорехе возник лунный диск; затем, когда прореху сдвинул ветер, он увидел *вторую* луну!

Взошла ниже, была меньше, в какой-то прибывающей фазе.

— Господи Исусе! — сказал Джек.

Дым опять смешался, разорвался.

— Нет, вы погодите-ка, сука, минуточку! — сказал Тэк.

Ночь вновь осветил маленький, но отчетливо лунный месяц. Рядом с ним заблестели звезды. Дым тут смыкался, там расходился: над ним сиял горб, которому светило полнолуние.

У дверей бара в исковерканную ночь тянула шеи еще одна группа. Двое, по очереди потягивая из бутылки, отделились, подошли.

— Это что, — (небо снова очистилось под двумя фонарями — месяцем и почти полной луной), — за херня? — осведомился Тэк.

Кто-то еще сказал:

— А *ты* как думаешь? Солнце?

— Луна! — Один взмахнул пенящейся бутылкой.

— А это тогда что?

Один забрал у другого бутылку.

— А это еще одна… а это Джордж!

И зашатались прочь, расплескивая спиртное.

Собравшиеся у дверей засмеялись:

— Слыхал, Джордж? В честь тебя луну, сука, назвали! — и из смеха и болтовни вырвался смех еще громче.

Ланья втиснулась ему под руку.

— Господи Исусе… — снова прошептал Джек.

— У них другое мнение, — сказал Тэк. — Пошли.

— Что это? — спросила Ланья.

— Может, отражение. — Его пальцы перебрались на ее узкое плечо. — Или такой, знаешь, метеозонд. Их еще раньше за летающие тарелки принимали.

— Отражение *чего* и в *чем*? — спросил Тэк.

Дымные пласты бурлили. Показывалась то одна, то другая луна, порой обе. Поднялся ветер. Небо исцелялось. Больше половины небесных облаков уже срослось. Из дверей бара донеслись голоса:

— Эй, у нас теперь луна! И еще Джордж!

— Свети мне, свети, полный Джордж…

— Уй блин, Джун и Джордж не рифмуются же!

(– А Тэк и Джек — да, — шепнула Ланья, хихикнула и выудила из кармана губную гармошку.)

— Ну *ты* ж помнишь, чего он сделал с этой беленькой девочкой…

— Ой ёпта, ее *так* звали?

Ланья вдула ему в ухо ноты. Он шарахнулся («Эй!..») и снова придвинулся в смятении. Она взяла его за указательный палец. Расплющенную костяшку что-то пощекотало. Ланья водила губами по руинам первого сустава его большого пальца. Крики за спиной стихли. Светила над головой расплылись в надвинувшихся облаках. У его груди она наигрывала ленивую музычку, шагая следом за бывшим солдатом и бывшим инженером. Ее движение тянуло его. Она прервалась, чтобы сообщить:

— Ты вкусно пахнешь.

— Чего? Да воняю, наверно. — И поморщился.

— Я серьезно. Вкусно. Как груша в коньяке.

— Вот что бывает, если бомжуешь три недели, а помыться негде.

Она носом потерлась об ответвление его руки.

Он решил, что она занятная. И ему нравилась ее занятность. И он сообразил: это потому, что с

ней проще нравиться… себе самому; и вынырнул из этих мыслей, стараясь не улыбаться. Она играла то и это.

Он стучал газетой и тетрадью по ноге, пока не вспомнил Джона, который ему не нравился, — и тогда перестал.

5

Ищи тень в этом двояко-осиянном мареве. Темное причастие на горящих улицах, в этом пейзаже и с воспалением чувств, обещает более стерильные муки. Облака отбились от рук и заваривают упование. Что проку нам всем от *двух* лун? Чудо порядка иссякло, и я остался в городе без чудес, где может случиться что угодно. Новые аллюзии на беспорядок мне ни к чему. Этого мало! Поищи в дыму исток огня. Не прочти в углях ни успеха, ни отчаяния. Эта грань скуки тоже яркая. Я вступаю в тьму закрая насквозь. И здесь обманчивое тепло, что ни о чем не просит. Здесь предметы теряются, освещаясь двоякостью.

Средь веселья их похода по ночным улицам, средь восклицаний и спекуляций по поводу близнецовых спутников он, уже очутившись на темной лестнице у Тэка — шаги грохочут вокруг, вниз, вбок, затем восходящий грохот, — сообразил, что не запомнил, через какую дверь они сейчас вошли из ночи; осталось только воспоминание о выходе поутру.

— Отличная мысль! — Ланья позади него тяжело дышала. — Праздник Полного Джорджа!

– *Если* Джордж — та, что полная, — отозвался Тэк. — Извиняюсь; прибывающая.

— Высоко ты живешь? — впереди спросил Джек.

Орхидея подпрыгнула на бедре. Тетрадь и газета — газету он пока не открывал — так и стиснуты в повлажневших пальцах.

— Еще один — и… Не-а. Обсчитался, — крикнул сверху Тэк. — Уже пришли! Давайте! У нас праздник!

Металл скрежетнул по металлу.

И Ланья позади, и Джек впереди смеялись.

Наверху свет. Что еще отбрасывает этот город в изнанку облачного своего покрывала не очень-то исправными фонарями, робкими протечками из плохо затененных дверей и окон, пламенем? Хватит ли этого, чтобы осветить другое яркое, преходящее, пролетное, но нетипичное тело?

6

Винную бутылку он поставил на балюстраду высотой до бедра. Уличный фонарь внизу — расплывчатая жемчужина. Он вгляделся в плотные туманные дали, потерялся в них.

— На что смотришь? — Она вдруг подошла сзади.

— Ой. — Ночь загустела горелой вонью. — Не знаю.

Она взяла бутылку, глотнула:

— Ладно, — и поставила, а затем сказала: — Ты что-то ищешь. Ты щуришься. И шею тянул, и… ой, там же ничего не видно, один дым!

— Реку, — сказал он.

– *Хм?* — Она опять посмотрела.

— Я не вижу реку.

— Какую реку?

— Когда я пришел с набережной, после моста. Этот дом был кварталах, по-моему, в двух. А потом, когда я первый раз сюда поднялся, воду было еле видно, как будто река взяла и отодвинулась на полмили. Она вон там была. А теперь я не вижу… — И опять вытянул шею.

Она сказала:

— Реку отсюда и не видно. Она почти… Ну, не знаю точно, но далеко.

— Утром было видно.

— Может быть, но я сомневаюсь. — А потом она сказала: — Ты был здесь утром?

Он сказал:

— Там не дымно. Я даже фонарей на мосту не вижу — вообще ничего; даже отражений домов на набережной, где горит. Может, все погасло уже, конечно.

— Если погасло, где-то еще включилось. — Она вдруг свела плечи, легонько вздрогнула; вздохнула и задрала голову. И в конце концов сказала: — Луна.

— Что?

— Помнишь, — спросила она, — как на Луну отправили первых астронавтов?

— Да, — ответил он. — Я видел по телику. Мы целой толпой у одного моего друга дома были.

— Я прохлопала — увидела только наутро, — сказала она. — Но это было… странно. — Она втянула губы меж зубов, отпустила. — Помнишь, как после ты вышел наружу, посмотрел вверх и увидел Луну не в телевизоре, а в небе?

Он сдвинул брови.

— Иначе было, помнишь? Я тогда поняла, что

последние пятьдесят тысяч фантастических романов Луна была просто фонарь — висит себе и висит. А тут она стала… местом.

— Я только думал: кто-то там насрал, и чего ж нам об этом не говорят? — Он оборвал смех. — Но стало иначе, да.

— А сегодня… — Она посмотрела на безликий дым. — Появилась еще одна, и мы не знаем, ступал ли на нее кто-нибудь, и внезапно обе стали…

— Снова просто фонарями.

— Или, — кивнула она, — чем-то другим. — Подалась к нему, коснулась локтем.

— Эй, — из дверей сказал Джек. — Я, наверно, пойду. В смысле… может, мне пойти. — Он огляделся. Их всех вместе с крышей окутывало марево. — То есть… — сказал он, — Тэк напился в хлам, ну? И он как бы…

— Он тебя не обидит.

Ланья воздвигла смешок на кромке своего веселья, зашагала назад, вошла в хижину.

Он взял вино и тоже пошел.

— Итак, — объявил Тэк, выступая из-за бамбуковой занавески. — Вот я знал, что у меня есть икра. В первый же день нашел, как здесь поселился. — Он скривил лицо. — Перебор, да? Но я люблю икру. Импортная. — Он предъявил

черную банку в левой руке. — Отечественная. — Показал оранжевую в правой. Его кепка и куртка валялись на письменном столе. Голова маловата для такого мощного торса. — У меня тут добра столько — по самое, как говорится, не балуй. — И он сгрузил банки к дюжине других.

— Вроде поздно уже… — Голос Джека затих в дверях.

— Господи боже, — сказала Ланья, — сколько фигни. Это зачем все, Тэк?

— Поздний ужин. Не переживай, от Огненного Волка никто голодным не уйдет.

Он взял баночку (граненое стекло в рубцеватой ороговевшей плоти):

— «Пряная медовая паста»…

— А, да. — Тэк пристроил разделочную доску на край стола. — Я ее уже даже пробовал. Вкусная. — Он покачивался над маринованными артишоками и капонатой, острой ветчиной, селедкой, перцем черри, анчоусными рулетами, гоябадой, паштетом. — И еще стаканчик… — Он поднял бутылку и поболтал жидкостью внутри. — Джек, будешь?

— Ой, нет. Очень поздно уже.

— На, *держи*! — Тэк сунул стакан парнишке в руку. Тот взял — иначе стакан бы разбился.

— Э-э… спасибо.

— …мне. — Тэк допил свой и налил еще. — Ну, налетайте. Любишь перец?

— Когда он один-одинешенек — нет, — возмутилась Ланья.

— С хлебом или… вот, с сыром. Анчоусов?

— Слушай, — сказала Ланья. — Я сама.

Люфер махнул Джеку:

— Давай-ка, парень. Сам же сказал, что есть хочешь. У меня тут икра эта клятая, и вообще.

— Уже как бы… — За спиной у Джека поперек дверного проема витал дым. — Ну, час поздний.

— Тэк?

— Эй, Шкедт, держи стакан.

— Спасибо. Тэк?

— Чего, Шкедт? Чем тебя порадовать?

— Плакат у тебя.

Черный дылда с центрального экспоната прожигал взглядом комнату — маслянистый тиковый живот поблескивал под потертой кожаной курткой, кулак темным округлым долотом взрезал темное бедро. Источник света был желтый: курчавый лобок тронуло латунью. Мошонка цветом и текстурой — точно кожура гнилого авокадо. Между ляжками болтался хуй, толстый, как рукоять фонарика, пыльный, черный и исчер-

ченный червями вен. Под кожей правого колена явно таится восхитительная машина. Левое ухо — клубок змей. Латунный свет исполосовал его ногу, шею, размазал масло по ноздрям.

— Это негр, который в бар приходил — в честь которого луну назвали.

— Да, это Джордж… Джордж Харрисон. — Тэк свинтил крышку с банки, понюхал, набычился. — «У Тедди» парни поставили его позировать. Любит на публику играть. Сниматься — только волю дай. Если не очень перепьет, отличный мужик. Красавец, да? И силен, как пара лошадей.

— Вроде же в газете были фотографии, где он… изнасиловал какую-то девчонку? Мне утром газетный разносчик сказал.

— А, ну да. — Тэк отставил очередную банку, глотнул еще бренди. — Да, история с белой девочкой, в газете писали; это когда волнения были. Ну, я ж говорю: Джордж просто любит фотографироваться. Он теперь важный ниггер. Пускай радуется. Я б радовался на его месте.

— Тэк, это *что*… осьминог! — Ланья, сморщив нос, откусила. — Жесткий какой-то… на вкус ничего.

— Господи Исусе! — вскричал Джек. — Соленое!

— Выпей бренди, — напомнил Тэк. — Острое под бухло хорошо идет. Давай-давай. Пей.

— Знаешь, — он все разглядывал плакат, — я утром видел эту штуку в церкви.

– *А!* — Тэк взмахнул стаканом. — Так ты у пастора Эми был. А ты не знал? Она главный распространитель. Где, ты думаешь, я это надыбал?

Он нахмурился на плакат, нахмурился на Тэка (который не смотрел), снова на плакат.

Глаза слоновой кости, бархатные губы, красивое лицо, гримаса на полпути от презрения к неловкости. Какая-то… наигранная, нет? Может, наигранное презрение. Фоном — багрянец без горизонта. Он попытался сопоставить это жесткое лицо с воспоминанием о поразительной второй луне.

— Ты попробуй! — воскликнула Ланья. — Вкусно.

И впрямь. Но, бубня сквозь безвкусные крошки бутербродной основы, он вышел наружу и глубоко вздохнул в густом дыму. Запаха не почуял, но спустя миг ощутил собственный пульс в ушах, быстрый и ровный. Поискал в небе один из двух стертых фонарей. Насильник? — подумал он. Эксгибиционист? Он на подступах к непостижимому: слухи; печатное слово; знамения. Трепеща,

он сощурился, вновь оглядывая облака в поисках Джорджа.

— Эй, — сказала Ланья. — Ты как?

— Устал.

— Я оставила одеяла и вообще всё в парке. Пошли обратно.

— Пошли.

Он потянулся было ее обнять — она обеими руками взяла его ладонь. Обхватила его кисть горстью, от запястья, пальцы ее — как ножи орхидеи. Ножи сомкнулись, и она подержала его за мизинец, потом за указательный палец, поцеловала мозолистую ладонь и нарочно не стала смотреть в лицо его смятению. Поцеловала его костяшки, приоткрыв рот, коснулась их языком. Ее дыхание согрелось в волосах на тыле его ладони.

Ее лицо — в каком-то дюйме; в нем он тоже чуял тепло. В ожившем любопытстве и смущении он высказался по касательной:

— Вот знаешь… луна, да?

Она взглянула на него, не отпуская пальцев:

— Какая луна?

— Ну… когда мы видели две луны. О чем ты говорила. Что с ними теперь иначе.

— Две луны?

— Ну кончай. — Он опустил руку, и ее руки тоже

опустились. — Мы вышли из бара, помнишь?

— Да.

— И ночь была ненормальная, вся полосатая? — Он глянул в обнявшее их небо, слитное и размытое.

— Да.

— Ты что видела?

Она озадачилась:

— Луну.

— А их было, — в крестце шевельнулось что-то ужасное, — сколько? — и, деря когтями, взобралось до самой шеи.

Ее голова склонилась набок.

– *Сколько?*

— Мы все стояли перед баром и видели в небе…

Но она засмеялась и, смеясь, вновь приникла лицом к его руке. А подняв голову, оборвала звук вопросительным:

— Эй? — И затем: — Эй, я пошутила?..

— А, — сказал он.

Но в ответе она увидела непонятное.

— Нет, правда, я пошутила. Что ты хотел про них сказать?

— Чего?

— Ты что-то хотел сказать?

— Да не, ничего.

— Но?..

— Не делай так больше. Не шути так. Не… здесь.

На этих его словах она тоже огляделась. И снова прижалась лицом к его руке. Он пошевелил пальцами у нее между губ.

— Я не буду, — сказала она, — если разрешишь сделать так, — и насадила рот на его искалеченный большой палец.

Так гримаса выпускает наружу обозначенную эмоцию, так поверхность задает сокрытое пространство — его объяло странное тепло. Оно разрослось в глубинах лица и закупорило ему дыхание.

— Ладно, — сказал он, а также: — Хорошо… — а затем: — Да, — каждое следующее слово точнее смыслом, каждое произнесено нерешительнее.

Тэк толкнул дверь с такой силой, что взвыли петли. Он вышел на балюстраду, ощупывая ширинку и бормоча себе под нос.

— Бля, — сказала Ланья и перестала.

— Извиняюсь. Надо отлить.

— А с *тобой* что такое? — спросила она нестойкого Люфера.

— Что со мной *такое*? Сегодняшняя давалка

не дает. Вчерашнюю захомутала главная чайка города. — Его ширинка с шорохом отворилась. — Ладно, я отлить хочу. — Ланье он кивнул: — Ты оставайся, милочка. А вот он пускай уйдет. У меня заскок такой. При мужчинах не писаю.

— Да иди ты нахуй, Тэк, — сказал он и зашагал по крыше.

Она нагнала, опустив голову и так булькая, что он решил, она плачет. Тронул ее за плечо, и она взглянула на него посреди сдавленного смешка.

Он раздраженно фыркнул:

— Идем отсюда.

— А Джек? — спросила она.

— Чего? Да нахуй пошел Джек. Мы его с собой не берем.

— Это конечно; я не о том… — И пошла следом за ним к лестнице.

— Эй, Тэк, спокойной ночи, — окликнул он. — До скорого.

— Ага, — сказал Люфер из дверей хижины, уже заходя внутрь: шерсть у него на плече и на виске вспыхнула в контровом свете.

— Спокойной ночи, — эхом повторила Ланья.

Железная дверь заскрежетала.

На один марш спустившись во тьму, она спросила:

— Ты злишься на Тэка… за что-то? — А потом сказала: — Ну, он иногда чудит. Но он…

— Я на него не злюсь.

— А. — Их шаги буравили тишину.

— Он мне нравится. — В тоне решимость. — Да, он хороший мужик. — Высоко под мышкой — тетрадь и газета.

Ланья в темноте сплела с ним пальцы; пришлось притянуть ее ближе, чтобы не упала тетрадь.

Спустя еще марш Ланья вдруг спросила:

— А тебя парит не знать, кто ты?

Спустя еще один он ответил:

— Нет. — И, услышав, как заторопились ее шаги (а его заторопились, чтобы не отстать), заподозрил, что и это, как его руки, ее заводит.

Она быстро и уверенно провела его подвальным коридором — теперь бетон был холоден — и наверх.

— Дверь тут, — сказала она, выпуская его; и шагнула прочь.

Он вообще ничего не видел.

— Всего несколько ступенек. — И она двинулась вперед.

Он неуверенно взялся за косяк, заскользил босой ногой дальше… на половицу. Выставив

локоть, загородил лицо тетрадью с газетой.

Впереди и внизу она сказала:

— Ну ты где?

— Осторожно, там край, — сказал он. Полступни свесилось с доски. — И крюки эти, сука, мясные.

— А?.. — И она засмеялась. — Нет, это *через* дорогу!

— Да хера с два, — ответил он. — Я сегодня утром выбежал отсюда и чуть сам себя на крюк не насадил.

— Ты, наверно, заблудился, — она всё смеялась, — в подвале! Пошли, тут только лесенка вниз.

Он нахмурился в темноте (а в мыслях: на этом перекрестке *был* фонарь. Я видел с крыши. *Почему* ничего не видно…), отпустил косяк, ступил… вниз; на другую доску, которая заскрипела. Он по-прежнему выставлял руку перед лицом, готовясь к колыхающимся зубьям.

— Один коридор в подвале, — объяснила Ланья, — идет под мостовой и до двери грузового подъезда напротив. Со мной первые разы, когда я приходила к Тэку, тоже так бывало. В первый раз вообще кажется, что крышей едешь.

— Чего? — переспросил он. — Под… мостовой? — И опустил руку.

Может быть (версия пришла на ум, и от нее полегчало, как от свежего воздуха в этих задымленных проулках), он смотрел с крыши не в ту сторону; *вот* почему нет фонаря. Он со своей полуамбидекстрией вечно путал право и лево. Он одолел еще две деревянные ступени и ступил на тротуар.

Почувствовал, как она сжала его запястье.

— Сюда…

Она быстро вела его во тьме, на тротуары и с тротуаров, из полной в почти полную темноту и обратно. Сбивало с толку почище подвальных коридоров.

— Мы в парке, да?.. — спросил он, когда прошла не одна минута. Он не только пропустил вход, но, всплыв из своих раздумий и заговорив, не понял, *сколько* минут прошло. Три? Тринадцать? Тридцать?

— Да… — ответила она, не понимая, почему не понимает он.

Они шли по мягкой пепельной земле.

— Все, — сообщила она ему. — Пришли ко мне.

Зашелестели деревья.

— Помоги одеяло расстелить.

Он подумал: а *она-то* как умудряется видеть? На ногу ему упал уголок одеяла. Он опустился на

колени и потянул; почувствовал, как тянет она; почувствовал, как натяжение ослабело.

— Снимай с себя всё… — тихо сказала она.

Он кивнул, расстегнул рубаху. Он знал, что грядет и это. С каких пор? С утра? Выходят новые луны, подумал он, и меняются небеса; а мы всё безмолвно интригуем ради слияния плоти с плотью, и земля стоит смирно, и можно по ней шагать, и не важно, что там над нею. Он расстегнул штаны, вылез из них и, подняв взгляд, заметил, что немножко *видит* ее по ту сторону одеяла — бешено снующее пятно, что шуршит шнурками, джинсами, — в траву упала кроссовка.

Он сбросил сандалию и голым лег навзничь на краю одеяла.

— Ты где?.. — спросила она.

— Здесь, — но вышло скорее кряхтение, тряхнувшее маску лица.

Она рухнула рядом — плоть во тьме тепла, как солнечный свет, — скользнула на него. Колени просунула меж его колен. Его руки радостно обхватили ее; он засмеялся и качнул ее вбок, а она ртом искала его рот, нашла, впихнула туда язык.

Жар из паха нарастал слой за слоем, пока не заполнил его всего, от колен до сосков. Кость ее

лобка терлась о его бедро, она вцепилась ему в плечи — но у него не вставал.

Они раскачивались, целовались; он трогал, потом тер ее груди; она трогала, потом терла его руку, что терла ее; они целовались и обнимались пять минут? десять? Хотелось извиняться.

— Так, наверно, не… ну, в смысле, тебе…

Она отодвинула голову.

— Если ты переживаешь из-за этого, — сказала она, — у тебя есть пальцы на ногах… на руках… язык…

Он засмеялся:

— Ну да, — и съехал вниз: ступни, затем колени переползли с одеяла на траву.

Двумя пальцами он коснулся ее пизды. Она рукой вдавила в себя его ладонь. Он опустился к ней ртом; она растопырила пальцы, и сквозь них пробились ее волосы.

Аромат, как кулак в лицо, вызвал в памяти — где это было? в Орегоне? — первый удар топора по влажному сосновому полену. Он высунул язык.

И его хуй проволокся по одеялу; нежный овал вылез из широкого капюшона.

Она сильно вцепилась ему в голову одной рукой; другой сильно вжала два его пальца в свое бедро.

Языком он обрисовал складки, что мокро высунулись наружу; и жесткое семечко в складчатой воронке; и мягкую, зернистую бороздку за ним. Она шевельнулась и на полминуты затаила дыхание, ахнула, снова затаила; ахнула. Он разрешил себе потереться об одеяло, совсем чуть-чуть — в девять лет он так мастурбировал. А потом забрался на нее; обе ее руки между бедер поймали его хуй; он вжался в нее. Ее руки с трудом вылезли из-под него и сомкнулись, внезапно и крепко, у него на шее. Держа ее за плечи, он толкнулся вперед, и отступил, снова толкнулся, медленно; и снова. Под ним перекатывались ее бедра. Ее пятки просеменили вверх по одеялу, лодыжки прижались к его ляжкам.

Она стискивала его кулак, точно камень или узел корня, не помещавшийся в руку. Качая и качая, он вжимал ее опрокинутую ладонь в траву; травинки меж растопыренных пальцев щекотали ему костяшки. Он задыхался, и падал, и задыхался, а она рывками подтаскивала руку к одеялу; по одеялу; наконец прижала к щеке, к губам, к подбородку.

А его подбородок, мокрый и небритый, заскользил по ее горлу. Он вспомнил, как она сосала его палец, и, занятным манером рискнув, разжал

руку и три пальца сунул ей в рот.

Поняв по ее движениям (ее выдохи громки, и долги, и влажны, испод языка горяч меж его костяшек), что этого она и хотела, он кончил секунд через сорок после нее.

Он лег на нее, содрогнулся; она стиснула его плечи.

Спустя некоторое время она почти разбудила его словами:

— Слезай. Ты тяжелый.

Он приподнял подбородок:

— А ты… не любишь, чтоб тебя потом обнимали?

— Люблю, — засмеялась она. — Но ты все равно тяжелый.

— А, — и он скатился, потянув ее за собой.

Она взвизгнула; визг обернулся хохотом, и она очутилась сверху. Ее лицо тряслось, прижимаясь к его лицу, все еще смеясь. Как будто она очень быстро что-то жевала. Он улыбнулся.

— А вот *ты* не тяжелая, — сказал он и вспомнил, как она говорила, что у нее фунта четыре или восемь лишнего веса; явно не жира.

В кольце его рук она умостилась на нем; одна рука, размякнув, легла у его горла.

Под его ягодицами, спиной и ногами четко про-

ступали контуры земли. И камешек (или что-то под одеялом?) под плечом (или это призма на цепочке)… вот…

— Ты как?

– *Ммм-хм*. — Он сдвинул это что-то в ямку, чтоб не мешало. — Я хорошо.

Он уже задремывал, когда она соскользнула ему под бок, коленями к его голеням, головой сползла ему на плечо. Одну руку передвинула ему на живот, под цепочку. Ее дыхание щекотало волосы у него под ключицей. Она сказала:

— Из-за таких вопросов теряешь друзей… Но мне интересно: тебе кто больше понравился в постели, Тэк или я?

Он открыл глаза, опустил взгляд ей, видимо, на макушку; ее волосы погладили его по лицу. Он отрывисто в них хохотнул:

— Тэк языком молол?

— В баре, — сказала она, — пока ты был в сортире. — Вообще-то, она уже, похоже, засыпала. — Я думала, он шутит. А потом ты сказал, что был там с утра.

– *Ммммм*, — кивнул он. — И что он говорил?

— Что ты был отзывчив. Но в целом — снулая рыба.

— О как. — Он удивился, почувствовал, как

вздернулись брови и нижняя губа. — А *ты* что скажешь?

Она прижалась к нему крепче — движение, прокатившееся от ее щеки у него под мышкой (он сильнее обнял ее одной рукой), по груди (он ощутил, как одна ее грудь взобралась на грудь ему; другая сильно сплюснулась между их телами — может, ей так неудобно?), по бедрам (хуй восстал меж бедер и упал на живот), по коленям (он обхватил их своими) и до ступней (он впихнул большой палец ей между пальцами, и она его сжала).

— Мощно… — задумчиво сказала она. — Но мне так нравится.

Он обнял ее другой рукой:

— Ты мне нравишься больше, — и решил, что это правда. Вдруг поднял голову с одеяла, снова посмотрел на нее: — Эй… а предохранительные штуки у тебя есть?

Она засмеялась, сначала тихонько, лицом уткнувшись ему в плечо, затем во весь голос — откатившись на спину, захохотала во тьме.

— Что смешного? — Телу там, где была она, прежде было тепло, а теперь стало холодно.

— Да. О предохранительных… «штуках», как ты выражаешься, я *подумала*. — Смех не стихал

— невесомый, точно листик касается листика. — Просто ты спросил, — в конце концов объяснила она, — очень галантно. Как из другой эпохи. Я к такому не привыкла.

— А, — сказал он без уверенности, что понял. Но все равно уже задремывал опять.

Он не знал, заснул ли взаправду, но очнулся, когда ее рука сонно шевельнулась подле его руки; в возбуждении развернулся к ней, и в ответ на его движение она наполовину вскарабкалась на него: она лежала, уже распаленная.

Они снова занялись любовью и уснули как бревна, пока один из них не шевельнулся, — тогда оба проснулись, цепляясь друг за друга.

И снова друг друга любили; потом разговаривали — о любви, о лунах («Их теперь совсем не видно, — прошептала она. — Странно, да?»), о безумии — а потом любили друг друга снова.

И снова уснули.

И проснулись.

И любили друг друга.

И уснули.

III
Дом топора

1

Начинать в подобном тоне нам несколько странно, однако такая новость, полагает ваш редактор, выделяется в нашей своеобычной истории как значительное событие *ключевого толка*. Эрнст Новик, виднейший англоязычный поэт родом из Океании, родился в Окленде в 1916 году. Отучившись в Англии, в двадцать один год (по его словам) он вернулся в Новую Зеландию и Австралию, где шесть лет преподавал, а затем вновь уехал в Европу — работать и путешествовать.

Мистер Новик трижды становился финалистом Нобелевской премии и, если ее получит, окажется в одном списке с другими выдающимися фигурами, совмещавшими дипломатию и изящную словесность, — Астуриасом, Сен-Жон

Персом и Сеферисом[10]. Будучи гражданином сравнительно нейтральной страны, он находится в Соединенных Штатах по приглашению к участию в работе комитета по культуре Организации Объединенных Наций, который только что прервал свою работу.

Эрнст Новик — автор ряда рассказов и новелл, составивших сборник «Камни» («Винтедж пейпербэк», 387 с., $2,95), в том числе не раз публиковавшейся в антологиях повести «Памятник», страшной символической истории психологического и духовного распада ожесточившегося австралийского интеллектуала, который переезжает в растерзанный войной немецкий городок. Мистер Новик рассказал нам, что, хотя популярность его зиждется на этой тоненькой книжице пронзительной прозы (по оценке ва-

---

[10] Примечания: 10

Мигель Анхель Астуриас Росалес (1899–1974) — гватемальский поэт и романист, связанный с сюрреализмом, журналист и дипломат, предтеча магического реализма; Нобелевскую премию по литературе получил в 1967 г. за роман «Маисовые люди» (*Hombres de maiz*, 1949); в 1966–1970 гг. был послом Гватемалы во Франции. Сен-Жон Перс (Алексис Леже, 1887–1975) — французский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1960 г.; работал во французском дипломатическом корпусе в Испании, Германии, Великобритании, Китае и т. д., в 1932–1940 гг. служил генеральным секретарем МИДа Франции. Йоргос Сеферис (Йоргос Сефериадес, 1900–1971) — греческий поэт и дипломат, сотрудник дипслужбы Греции, посол Греции в Великобритании (1957–1962); Нобелевскую премию получил в 1963 г.

шего редактора), ему самому она видится, по сути, экспериментом первых трех послевоенных лет, когда он пережил период разочарования в своем первом литературном поприще — поэзии. Так или иначе, популярность «Камней» и «Памятника» привлекла внимание публики к трем стихотворным сборникам, опубликованным в тридцатых и сороковых, а затем выпущенным под одной обложкой в «Собрании стихотворений 1950» (издано в Великобритании «Фейбер и Фейбер»). Напомним здесь тезис, неоднократно повторенный всевозможными критиками: многие литературные современники Новика подмечали отчаяние эпохи до, во время и после Войны, однако Новику как никому другому удалось пролить на него свет, во многом отчетливо выявивший корни нынешнего кризиса. Начав работать в двадцать с небольшим лет, к сегодняшнему дню Новик написал эссе — философских, литературно-критических и по случаю, — которых хватает на несколько томов. Все они отличаются ясностью и отвагой видения. В 1969 году он выпустил длинную поэму «Паломничество» — труд глубокомысленный, сюрреалистический, зачастую удивительно смешной и, невзирая на все свое поверхностное кощунство, глубоко религиозный.

После выхода еще нескольких сборников эссе в 1975 году был издан «Риктус», сравнительно скромный сборник коротких стихотворений, написанных за тридцать с лишним лет после Войны.

Новик, тихий и чурающийся публичности эрудит, почти всю жизнь странствовал по Европе, Северной Африке и Востоку. Работы его изобилуют образами, позаимствованными у маори и многочисленных культур, которые он с характерной проницательностью наблюдал и исследовал.

Новик приехал в Беллону вчера утром и не знает, сколько планирует здесь пробыть. На наш вопрос он, скупо улыбнувшись, ответил: «Ну, неделю назад я сюда не собирался вообще. Но пожалуй, рад, что собрался».

Для нас весьма почетно, что человек, достигший таких высот в сфере английской словесности, предмет всемирного восхищения…

— Ты что делаешь? — пробубнила она, отпав от него.

— Читаю газету. — Локти сморщило травой. Он сполз с одеяла до самых бедер.

— Уже вышла? — Она подняла голову в дымке заспанных волос. — Что, уже так поздно?..

— Вчерашнюю.

Она уронила голову обратно.

— В этом беда с ночевками на воздухе. Никак не проспать дольше пяти утра.

— Я думаю, уже восемь. — Он разгладил смятый низ полосы.

— Про что, — открыла глаза и сощурилась, — ты читаешь?

— Новик. Поэт.

— А, точно.

— Я с ним встречался.

— Правда? — Она снова подняла голову и перевернулась, содрав одеяла с его ноги. — Когда?

— У Калкинза.

Она подобралась к нему поближе, горячим плечом к его плечу. Под заголовком «В ГОРОДЕ НОВИК!» — фотография худого седоволосого человека в темном костюме с узким галстуком: он сидел в кресле, скрестив ноги и с такой гримасой, будто ему слишком ярко светят в лицо.

— Ты его видел?

— Когда меня побили. Он вышел и мне помог. Из Новой Зеландии; мне и показалось, что у него какой-то акцент.

— Я *говорю*: Беллона — маленький городок. — Она поглядела на фотографию. — А почему тогда

тебя не впустили?

— С ним еще кто-то был — вот он развонялся. Негр. Фенстер. По гражданским правам, что ли?

Она сморгнула:

— Ты *и правда* с кем только не встречаешься.

— С Фенстером лучше бы не встречался. — И он фыркнул.

— Я же рассказывала, у Калкинза там уикенд за городом. Только этот уикенд семь дней в неделю.

— А как он успевает в газету писать?

Она пожала плечами:

— Как-то успевает. Или поручает кому-то. — Она села и похлопала по одеялам. — А где моя рубашка?

Ему понравилось, как у нее трепещут груди.

— Вон туда зарылась. — Он посмотрел в газету, но читать не стал. — Интересно, а Джордж у него бывает?

— Не исключено. Он же давал интервью.

– *Мммм*.

Ланья снова упала на траву:

— Ч-черт. *Не может быть*, что позже пяти утра. Ну ты сам подумай.

— Восемь, — постановил он. — По ощущениям — полдевятого. — И проследил за ее взглядом в сгустившийся дым над листвой. Снова опустил

глаза — а она уже улыбалась, хватала его голову, притягивала ее за уши, покачав, к себе. — Он засмеялся ей в кожу: — Кончай! Отпусти!

Она медленно прошипела:

— Ой, я бы сейчас, — перевела дыхание, когда его голова отстранилась, прошептала: — еще поспала… — и локтем закрыла лицо.

Он погрузился в бронзовые кудряшки у нее под мышкой и распустил веки, лишь услыхав невнятный лай.

Он в недоумении сел. Лай пронзал даль. Он поморгал и в яркой тьме под веками брызнула масляная пыль. Недоумение обернулось удивлением, и он встал.

Одеяла опали по ногам.

Он ступил на траву, нагишом в мареве.

Собака вдалеке запрыгала и свернула в расселину меж холмов. За собакой шагала женщина.

Изумление предчувствия запуталось в головокружительном изнеможении утра и внезапного подскока.

Цепь оставила красные отметины на исподе предплечий и на животе, где он на нее давил.

Он натянул штаны.

В рубахе, расстегнутой поверх драгоценных слезок, он направился вниз по склону. Разок

оглянулся на Ланью. Она перекатилась на живот и уткнулась лицом в траву.

Он шагал за женщиной (рыжей из бара), удаливщейся следом за Мюриэл.

Прежде чем женщина его увидела, успел застегнуть одну пуговицу на рубахе. Женщина развернулась на отсутствии каблуков и сказала:

— А, здрасте. Доброе утро.

Бусины вкруг ее шеи блистали густым столбом света.

— Привет. — Он поджал пальцы ног в траве, застеснявшись. — Я вчера видел вашу собаку в баре.

— Ах да. А я видела вас. Вы сегодня выглядите получше. Почистились. В парке ночевали?

— Ага.

В свечном свете она казалась здоровенной шлюхой, но дымчатый свет и коричневый костюм выпарили всю аляповатость из жестких рыжих волос, и теперь она походила на завуча начальной школы.

— Вы тут с собакой гуляете?

Завуча в аляповатом ожерелье.

— Каждый день, спозаранку… э-э, я сейчас уже к выходу.

— А. — И решил, что нерешительность ее —

приглашение.

Они зашагали, а Мюриэл подбежала понюхать и пожевать ему руку.

— Ну-ка перестань, — велела женщина. — Будь умницей.

Мюриэл разок гавкнула и рысью пошла прочь.

— Как вас зовут? — спросил он.

— А! — повторила она. — Мадам Браун. Мюриэл вчера подходила вас облаять, да? Она ничего плохого не хотела.

— Ну да. Я так и понял.

— Вам бы только расческа не помешала, — нахмурилась она, — и полотенце, и тогда вы *точно* будете как новенький. — Она испустила этот свой пронзительный и поразительный смех. — Вон там есть общественный туалет — я постоянно вижу, как люди из коммуны ходят туда мыться. — И взглянула на него серьезно: — Вы же *не* из коммуны?

— Нет.

— Вам нужна работа?

— Чего?

— Вы хотя бы не волосатый, — сказала она. — По крайней мере, не *очень*. Я спрашиваю, нужна ли вам работа.

— Я ношу сандалии, — сказал он, — если вооб-

ще обуваюсь.

— Это не страшно. Да господи, мне все равно! Я думаю о тех, на кого вы будете работать.

— Что за работа?

— В основном прибираться — ну или, пожалуй, убирать. Вам интересно, да? Платят пять долларов в час, а нынче в Беллоне такое жалованье — не баран чихнул.

— Еще бы не интересно! — Он в удивлении сглотнул. — Где это?

Уже показались львы-близнецы. Мадам Браун заложила руки за спину. Мюриэл задела подол ее юбки. Цепочные и стеклянные излишества при таком свете не искрились.

— Это семья. Знаете, где «Апартаменты Лабри»? — И качанию его головы: — Вы здесь, видимо, недавно. Эта семья — милые, приличные люди. И очень мне помогли. У меня там раньше был кабинет. Поначалу, знаете ли, здесь была сумятица, кое-какой ущерб.

— Я кое-что слышал.

— Вандализма много. А теперь все несколько поуспокоилось, и они спрашивают, не знаю ли я какого юноши им в помощь. Насчет длинных волос не берите в голову. Только помойтесь слегка — хотя работа вряд ли очень чистая. Ричардсы —

прекрасные люди. Просто им выпало много бед. Как и нам всем. Миссис Ричардс впечатлительная — ее огорчает… все, что странно. Мистер Ричардс, пожалуй, немножко чересчур ее оберегает. У них трое очень славных детей.

Он убрал волосы со лба.

— Вряд ли за ближайшие дни они сильно отрастут.

— Ну вот видите! Вы же всё *понимаете*!

— Хорошая работа?

— Ой, да. Безусловно. — Она остановилась подле львов, словно те обозначали некую важную границу. — «Апартаменты Лабри», на Тридцать шестой. Четырехсотый дом. Квартира семнадцать Е. Заходите в любой момент после обеда.

— Сегодня?

— Разумеется, сегодня. Если хотите работу.

— Конечно. — Его отпустило напряжение, прежде из-за вездесущести своей незримое. Он вспомнил хлеб в переулке: целлофан под фонарем мерцал ярче его или ее затуманенных побрякушек. — У вас там кабинет. Чем вы занимаетесь?

— Я психолог.

— А, — и не сощурился. — Я ходил к психологам. В смысле, я кое-что про это знаю.

— Правда? — Она, не наклонившись, коснулась

львиной щеки. — Ну, я считаю, сейчас я психолог в отпуске. — Слегка над ним насмехаясь: — Консультирую только с десяти до полуночи, «У Тедди». Если то есть вы со мной выпьете. — Но насмехалась она по-дружески.

— Годится. Если срастется с работой.

— Сходите, как приведете себя в порядок. Тем, кто там будет, скажите, что миссис Браун… Мадам Браун — это прозвище, меня «У Тедди» так зовут, а я видела вас там и подумала, что вы, может, знаете меня так, — что вас прислала миссис Браун. Может, я тоже загляну. Но вас сразу приставят к работе.

— Пять долларов в час?

— Боюсь, подыскать надежных работников стало нелегко с тех пор, как мы во все это вляпались. — Она постаралась посмотреть прямо вверх под веки. — О да, люди, которым можно доверять, попадаются все реже и реже. — И на него в упор: — Вам интересно, почему я доверяю вам? Ну, я вас уже видела. И мы, знаете ли, уже дошли. Я начинаю подозревать, что дальше некуда. Просто некуда.

— Утренняя газета!

— Мюриэл! Мюриэл, ты как себя ведешь? А ну ко мне!

— Утренняя… эй, собака, приветик. Уймись, ну? Лежать!

— Мюриэл, сию секунду ко мне!

— Лежать! Вот так. Приветик, мадам Браун. А вот и ваша газета.

Хлопая бордовыми клешами, Фауст перешел дорогу. Мюриэл плясала вокруг него против часовой.

— Привет, старушка.

— Доброго вам утра, — сказала мадам Браун. — Что-то вы сегодня не рано, Жуакин.

— Одиннадцать тридцать по часам на церковном шпиле, — закудахтал он. — Приветик; приветик, молодой человек, — вручая одну газету, вручая другую.

Мадам Браун сунула свою под мышку, не разворачивая.

У него газета так и повисла в руке, а Фауст между тем, особо ни к кому не адресуясь, взвыл:

— Получите утреннюю газету! — и пошел по улице. — Пока, мадам. Доброго утра. Получите газету!

— Мадам Браун? — спросил он, не доверяя своей решимости.

Она смотрела газетчику вслед.

— Что это такое?

Она воззрилась на него вообще без ничего в глазах.

— У меня такие есть. — Он коснулся груди. — И у Жуакина тугая цепочка на шее.

— Не знаю. — Одной рукой она потрогала щеку, другой локоть; рукав из грубой ткани, похожей на мешковину. — Вообще-то, я не имею понятия. Мне они нравятся. По-моему, красиво. Я люблю, когда их много.

— А где вы их взяли? — спросил он, сознавая, что нарушает обычай, который так старательно описывал накануне Фауст. Ешкин кот, да ему до сих пор не по себе от ее пса и от того, как ее преображают дым и свечи.

— Мне подарила моя подружка. — Лицо у нее… да, как будто старается не показать, что оскорблена.

Он попереминался, слегка согнул колени, расправил пальцы на ногах, кивнул.

— Перед уходом из города. Ушла от меня, ушла из города. И отдала мне. Понимаете?

Он спросил. И ему полегчало оттого, что насилие свершилось, он качнул рукой от плеча… собственный смех застал его врасплох, вырвался и разросся.

А еще он услышал ее внезапный душеразди-

рающий взвыв. Прижав кулак к груди, она тоже смеялась:

— О да! — щурясь. — Вот прямо так! Прямо так. Я в жизни так не удивлялась! Ой, это было занятно — не странно, хотя и странно, конечно, тоже. Тогда все было странно. Но это было смешно — ха-ха. Ха-ха-ха-хаааааа. — Она стряхнула с себя этот звук. — Она, — почти успокоившись, — принесла их мне в темноте. Люди в коридорах орут, ни одна лампочка не горит. Только по краям жалюзи мигает и ужасно ревет снаружи… Ой, я перепугалась до смерти. А она принесла их в горстях, намотала мне на шею. И ее глаза… — Она опять засмеялась, но этот смех стер его улыбку напрочь. — Странно было. Намотала их мне на шею. И ушла. Вот. — Она опустила взгляд над аккордеоном шеи и продела пальцы в петли. — Я их ношу не снимая. — Аккордеон раздвинулся. — Что они означают? — Она ему поморгала. — Не знаю. Те, кто их носит, говорить о них не очень-то жаждут. Я — уж точно. — Она склонилась чуть ближе. — И вы тоже. Что ж, я готова это уважать. И вы ответьте тем же. — Тут она скрестила руки. — Но я вам кое-что скажу — особо никаких резонов, пожалуй, нет, но мне вроде бы помогает. Я *доверяю* людям, у которых они есть, чуточку

больше, чем тем, у кого их нет. — Она пожала плечами. — Несусветная глупость, наверно. Но я потому и предложила вам работу.

— О как.

— Я подозреваю, у нас есть нечто общее.

— Что-то случилось, — сказал он, — когда мы их получили. Вот да: такое, про что мы не любим говорить.

— Или, может быть, просто так совпало, что мы носим одинаковые… — Она позвенела самой длинной цепью.

— Ага. — Он застегнул еще одну пуговицу. — Может быть.

— Итак. Я попозже проведаю вас у Ричардсов. Вы же *придете*?

Он кивнул:

— Четырехсотый, Тридцать шестая улица…

— Квартира семнадцать Е, — договорила она. — Очень хорошо. Мюриэл?

Собаку выщелкнуло из канавы.

— Мы пойдем.

— А. Ну хорошо. И спасибо.

— Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. О чем речь.

Мадам Браун кивнула и зашагала по улице. Мюриэл нагнала ее, закружилась — на сей раз

по часовой.

Он босиком пошел по траве, стреноженный ожиданием и смятением. В предвкушении работы напряг из тела вытек. У питьевого фонтанчика он пустил струю себе в глаза, а потом набрал в рот воды и, втягивая щеки, поболтал меж зацветших зубов. Предплечьем промокнул ручейки, поскреб ресницы шершавыми пальцами с жабу шириной, подобрал газету и, моргая влажными ресницами, направился на холм под деревья.

Ланья так и лежала на животе. Он сел на тускло-бурые складки. Из-под одеяла торчали ее ступни пальцами внутрь. Оливковое скрутилось вдоль впадины хребта и шевелилось от дыхания. Он коснулся ее морщинистой плюсны, сдвинул ладонь на гладкую пятку. Двумя пальцами провел по сухожилию. Основанием ладони спихивал одеяло с ее икры — медленно, мягко, до самого переплетения бледных вен у нее под коленкой. Ладонь легла на склон ее бедра.

Икры у нее были гладкие.

Торопливый сердечный стук замедлился.

У нее на икрах не было шрамов.

Он вздохнул, и на вздох откликнулся воздух в траве.

У нее на икрах не было царапины.

Когда он отнял ладонь, она сонно бормотнула и шевельнулась. И не проснулась. Он открыл сегодняшнюю газету и положил поверх вчерашней. Под датой — 17 июля 1969 года — был заголовок:

ТАИНСТВЕННЫЕ СЛУХИ!
ТАИНСТВЕННЫЕ СВЕТИЛА!

Ах, *как* желал бы ваш редактор сопроводить эту заметку иллюстрациями! Увы, мы всё проспали. Но по данным, которые удалось собрать, сегодня вскоре после полуночи — на сей момент поступило двадцать шесть версий этой истории, и противоречивость их вынуждает нас официально заявить, что редакция в сомнениях, — туман и дым, покрывавшие Беллону в последние месяцы, разогнал ветер на такой высоте, что на улицах его не почувствовали. Небо отчасти прояснилось, и, по словам свидетелей, стала видна полная — или почти полная — луна, а также месяц, лишь немногим меньше ее (или чуть больше)!

Взволнованные суждения, из которых мы составили наш репортаж, изобилуют нестыковками. Как то:

Полный шар — обычная луна, месяц — чужак. Месяц — настоящая луна, полная — самозванка. По утверждению одного молодого студента, за

несколько минут присутствия этих поистине елизаветинских знамений он разглядел на полном диске меты, которые доказывали, что это определенно не *наша* луна.

Спустя два часа в редакцию пришел человек (пока единственный, кто якобы хоть отчасти успел посмотреть на феномен в телескоп — впрочем, маломощный) и заверил нас, что полный диск — определенно *какая надо* луна, а вот месяц липовый.

За шесть часов, миновавших с явления (пока мы это пишем, разгорается заря), объяснения, предложенные «Вестям», варьируются от настолько фантастическо-романных, что мы даже не станем притворяться, будто постигаем их прихотливую механику, до универсальных зарницы и метеозонда — традиционных разгадок НЛО.

В качестве типического я передаю вам комментарий нашего профессора Уэллмена, наблюдавшего из сада «Июль» в обществе нескольких гостей: «Одна была почти полная, с этим мы все согласны; другая определенно прибывала. Я указал составлявшим мне компанию полковнику, миссис Грин и Роксанне с Тоби, что выпуклость месяца указывала в *противоположную* сторону, нежели освещенная часть луны над ним. Луны

сами себя не освещают — они освещаются солнцем. Даже если лун *две*, солнце может находиться лишь по *одну* сторону от них обеих; если обе — в любых фазах — видны в одной четверти неба, *обе* должны быть освещены с *одной* стороны, — а здесь мы наблюдали иное».

На что ваш редактор может лишь ответить, что любое «согласие», «уверенность» и «определенность» касательно этих лун вызывают серьезные сомнения — если мы не готовы к еще *более* нелепым спекуляциям касательно прочего космоса?..

Нет.

Мы этого не видели.

И точка зрения, которой вынуждена придерживаться редакция, такова: минувшей ночью в небе произошло *нечто* — в этом мы уверены. Но выдвигать рискованные гипотезы было бы абсурдно. Новоявленных лун не бывает. Пред лицом ночной истерии мы желали бы негромко отметить: что бы ни случилось, оно поддается истолкованию. Истолкованию поддается всё — впрочем, нельзя не признать, что непременных разъяснений это не гарантирует.

Странно и любопытно то, что все очевидцы пришли к единому мнению — которое посему надлежит разделить всем, кто очевидцем не

был, — касательно имени нового светила в ночи: Джордж.

Что побудило к наречению, остается только гадать; и мы не одобряем того, о чем догадываемся. Так или иначе, к тому времени, когда мы получили первое сообщение, имя разлетелось по городу на смазанных гнетущими предчувствиями рельсах слухов. В заключение мы твердо можем заявить лишь об одном: вскоре после полуночи над Беллоной ненадолго воссияли Луна и нечто под названием Джордж, похожее на Луну до степени смешения.

2

— А что ты делаешь, — прошептала она сквозь листву, — теперь?

Он молча продолжил.

Она встала, сбрасывая одеяла, подошла коснуться его плеча, заглянула поверх.

— Это что, стих?

Он заворчал, два слова поменял местами, погрыз кутикулу на большом пальце, переписал как было.

– *Э-э…* — сказала она. — Ты что имел в виду — медицину или прорицания?

— Чего? — Он теснее сдвинул скрещенные ноги под тетрадью. — Прорицания.

— Аус-*пиция*.

— У того, кто здесь писал, в другом месте не так. — Он перелистнул к предыдущей записи на правой странице:

> *Слово запускает образы в полет, и в этих ауспициях мы прочитываем…*

— А… у него тут *правильно*. — Страницей раньше, где писал сам, он вычеркивал и вычеркивал

свой калякаграф, пока под чернильным бруском не стало угадываться слово в полтора раза длиннее.

— Ты это читал? — Она опустилась рядом на колени. — Как тебе?

– *Хм?*

— Ну… это кто-то странный написал.

Он на нее посмотрел:

— Я просто записываю сюда свое. У меня другой бумаги нет, а у него все листы с одной стороны чистые. — Сгорбился. — М-да. Он странный, — но ее гримасы не понял.

Не успел ответить на нее собственной, вопросительной, она сказала:

— А можно твое почитать?

Он ответил:

— Ладно, — поспешно: хотел проверить, каково ему будет.

— Ты уверен, что это ничего?

— Ага. Давай. Я все равно уже закончил.

Он протянул ей тетрадь. Сердце громко застучало; пересохший язык прилип к нёбу. Он пригляделся к своей тревоге. Маленькие страхи, подумал он, хотя бы забавны. А этот громаден настолько, что сотрясает все тело.

Щелкая ручкой, он смотрел, как она читает.

Травинки волос свешивались ей на лицо, как лепестки орхидеи, пока — «Ну хватит!» — не были отброшены.

Упали снова.

Он убрал ручку в карман рубахи, поднялся, побродил, сначала вниз по склону, потом вверх, посматривая на нее — нагая, стоит на коленях в листве и траве, из-под ягодиц морщинистыми подошвами вверх торчат ступни. Скажет, что все это глупости, решил он, — выкажет независимость. Или заохает, заахает, задифирамбит до смерти, полагая, что это их сблизит. Пальцы вновь цапнули ручку — он пощелкал ею, не вынимая из кармана, заметил, перестал, сглотнул и еще побродил. «Строки о том, как она читает строки о себе» — такой заголовок он обдумывал, но что будет под заголовком, понятия не имел; слишком сложно без бумаги, без ее бледно-розовых полей, ее бледно-голубой решетки.

Читала она долго.

Он дважды подходил, смотрел ей в макушку. И уходил.

— От этого…

Он обернулся.

— …мне… чудно́. — И лицо у нее было еще страннее.

— Что, — рискнул он, — это значит? — и проиграл: вышло то ли догматично, то ли панически.

— Иди сюда?..

— Ага. — Он присел рядом, рукой задев ее руку; волосами коснулся ее волос, нагнувшись. — Что?..

Нагнувшись вместе с ним, она пальцем подчеркнула одну строку.

— Вот тут, где у тебя слова в обратном порядке, не так, как здесь, — я думаю, если бы мне это просто описали, я бы сказала, что это не очень интересно. А когда читала — все четыре раза, — мороз по коже подирал. Но это, видимо, потому, что оно так хорошо подкрепляет суть. Спасибо. — Она закрыла тетрадь и отдала ему. Потом прибавила: — А что ты так удивляешься? Мне правда понравилось. Ну-ка: я… восторгаюсь мастерством и тронута… ладно, сутью. И это удивительно, потому что я не ожидала. — Она нахмурилась: — Вот честно, ты… *ужасно* таращишься, и я от этого страшно психую. — Но глаз не отвела.

— Тебе понравилось просто потому, что ты меня знаешь. — Это тоже чтобы проверить, каково ему будет.

— Может быть.

Он очень крепко сжал тетрадь и весь онемел.

— Я думаю, — она слегка отодвинулась, — тебе разницы нет, понравится другим или не понравится.

— Да. Но страшно, что не понравится.

— Мне вот понравилось. — Она хотела было продолжить, передумала. Это она что — плечами пожала? Наконец взглянула на него из-под свисающих лепестков. — Спасибо.

— Ага, — сказал он чуть ли не с облегчением. А затем, будто вдруг вспомнил: — *Тебе* спасибо!

Она смотрела на него, и ее смятение складывалось в какую-то другую гримасу.

— Спасибо, — повторил он как дурак, уже потея ладонями, прижавшими тетрадь к джинсовому бедру. — Спасибо.

Эта новая гримаса — понимание.

Руки его крабами проползли друг по другу, обхватили его и обняли за плечи. Колени вздернулись (тетрадь упала между ними) и пихнули в локти. Внезапный прилив… это что, удовольствие?

— Я нашел работу! — Его тело распалось: разбросав руки-ноги, он хлопнулся на спину. — Эй, я работу нашел!

— А?

— Пока ты спала. — Удовольствие потекло в кисти и ступни. — Эта вчерашняя женщина из бара — она приходила с собакой и дала мне работу.

— Мадам Браун? Ничего себе. Что за работа? — Она перекатилась на живот, поближе к нему.

— Какая-то семья. Фамилия Ричардс. — Он заерзал, потому что в ягодицы впилась цепочка. Или тетрадная пружинка? — Выносить всякий мусор.

— Мусора, конечно, — она выдернула тетрадь у него из-под бедра, — в Беллоне хватает, есть что выносить. — Положила тетрадь за его головой, подбородком оперлась на руки. — Жемчужина, — задумчиво сказала она. — Кэтрин Мэнсфилд в письме Марри сравнивала Сан-Франциско с жизнью внутри жемчужины[11]. Из-за тумана. — Небо над листвой темно сияло. — Видишь. — Уронила голову набок. — Я тоже начитанная.

— Я, по-моему, — набычился он, — никогда не слышал про Кэтрин?..

— Мэнсфилд. — Она подняла голову. — А у тебя там разве не аллюзия на это стихотворение Малларме… — Она насупилась, глядя в траву, по-

[11] Примечания: 11

Кэтрин Мэнсфилд (Кэтлин Мэнсфилд Марри, 1888–1923) — новозеландская писательница-модернистка; Джон Миддлтон Марри (1889–1957) — английский писатель, критик и публицист, ее муж; имеется в виду письмо Мэнсфилд к Марри от 13 октября 1919 г.

барабанила пальцами. — Ой, как же там было…

Он смотрел, как она выуживает воспоминание, и дивился процессу.

– *Cantique de Saint Jean!*[12] А *это* ты нарочно?

— Малларме я что-то читал… — Он сдвинул брови. — Но только в этих португальских переводах *editora Civilizaçáo…*[13] Нет, по-моему, я не нарочно…

— Португальский. — Она снова положила голову на руки. — Ну естественно. — А затем сказала: — И *правда* как в жемчужине. В Беллоне. Хотя тут сплошной дым, а никакой не туман.

Он сказал:

— Пять долларов в час.

Она сказала:

— Хм?

— Мне заплатят. За работу.

— Зачем тебе пять долларов в час? — спросила она вполне серьезно.

И это было так глупо, что он решил не оскорблять ее ответом.

---

[12] Примечания: 12

Cantique de Saint Jean («Гимн Иоканана», *фр.*, рус. перев. Р. Дубровкина*)* — стихотворение французского поэта-символиста Стефана Малларме (1842–1898), вошедшее в его поэму «Иродиада» (*Hérodiade*, 1914).

[13] Примечания: 13

Издательство «Цивилизация» *(португ.)*.

— Апартаменты «Лабри», — продолжал он. — Четырехсотый дом, Тридцать шестая улица, квартира семнадцать Е. Я иду во второй половине дня. — Он посмотрел на нее. — А когда вернусь, можем опять встретиться… например, в баре?

Несколько секунд она на него глядела.

— Ты хочешь встретиться опять, вот как. — И улыбнулась: — Это хорошо.

— Я вот думаю — не рано еще идти?

— Займись со мной любовью разок, пока не ушел.

Он сморщил лицо, потянулся:

— Не, я с тобой занимался любовью последние два раза. — Весь расслабился, покосился на нее. — Теперь ты со мной.

Ее хмурость рассеялась, и, смеясь, она легла ему на грудь.

Он коснулся ее лица.

Тогда хмурость вернулась.

— Ты помылся! — Удивилась, похоже.

Он склонил голову набок, посмотрел снизу вверх:

— Да не особо. Лицо и руки. В сортире водой поплескал. Ты против?

— Нет. Я сама моюсь очень тщательно, дважды — а иногда и *трижды* в день. Просто удивилась.

Он прошелся пальцами по ее верхней губе, вдоль носа, по щеке — на троллей похожи, подумал он, за ними наблюдая.

Ее зеленые глаза моргнули.

— Ну, — сказал он, — не то чтобы я на весь мир был славен такой привычкой. Не переживай.

Она потянулась ртом к его губам, словно забыла, каков он на вкус, и захотела вспомнить. Их языки заглушали все звуки, кроме дыхания, когда они в… пятый раз? В пятый раз друг друга любили.

* * *

В правой двери стекло уцелело.

Он открыл левую: паутина теней скользнула по полу, который он поначалу принял за голубой мрамор с золотистыми прожилками. Босая нога нащупала пластик. А *на вид* — камень…

Стена покрыта плетеной оранжевой соломой — нет, основание ладони отчиталось, что и это пластик.

В тридцати футах от стены, посреди вестибюля — лампы, в конце концов догадался он, — висела дюжина серых шаров, все на разной высоте, похожие на яйца динозавров.

Из бывшего, очевидно, бассейна с голубым

каменным крошевом торчала худая и уродливая железная скульптура. Проходя мимо, он сообразил, что это вовсе не скульптура, а молодое мертвое деревце.

Он ссутулился, ускорил шаг.

Крытая «соломой» перегородка, вероятно, прячет почтовые ящики. Он из любопытства ее обогнул.

Металлические дверцы покорежены и зияют — словно три ряда вдруг повернутых вертикально (мысль явилась мгновенно и тем напугала) разоренных могил. Замки болтаются на винтиках или вообще отсутствуют. Он прошел вдоль ящиков, временами останавливаясь и читая изуродованные таблички с остатками *Смита, Франклина, Хауарда…*

Третий с конца одинокий ящик в третьем ряду то ли починили, то ли не взламывали. «Ричардс, 17-Е» — сообщали белые буквы в черном окошечке. За решеткой — косой край красно-бело-синего конверта авиапочты.

Он дошел до конца перегородки и зашагал по вестибюлю.

Дверь одного лифта приоткрывалась в пустую шахту, и оттуда приплывал шелест ветра. Дверь выкрасили под дерево, но вмятина не выше ко-

лена обнаруживала черный металл. Он присел, пощупал край этой впадины, и тут что-то щелкнуло: раздвинулись двери второго лифта.

Он встал, попятился.

Во втором лифте не горел свет.

Тогда дверь в пустую шахту, словно из сочувствия, тоже открылась до конца.

Удерживая воздух в легких, а тетрадь под мышкой, он шагнул в кабину.

«17» подсветило кончик пальца оранжевым. Дверь закрылась. Кроме номера этажа — ни огонька. Он поехал вверх. Не сказать, что страшно: вся эмоция — в пересыщенном растворе. Но кристаллизацию фантастических фигур, понимал он, слушая свое поверхностное дыхание, может вызвать что угодно.

«17» погасло; открылся полумрак.

Квартирная дверь в одном конце бежевого коридора стояла нараспашку; оттуда дымило серым светом. В другом горела минимум одна лампочка в шаре плафона.

Приближаясь к шару, он миновал 17-В, 17-Г, 17-Д.

После третьего звонка (а между ними — с минуту) он решил уходить: и направился вниз по лестнице, потому что в лифте было черным-чер-

но и слишком жутко.

— Да?.. Это кто?..

— Меня прислала мадам… миссис Браун.

— А. — Зазвенело всякое. Скрежетнула дверь на двухдюймовой цепочке. Поверх звеньев на него воззрилась женщина сильно, пожалуй, под пятьдесят, с затененными волосами и бледными глазами. — Это вы молодой человек, которого она обещала прислать помочь?

— Ага.

— А, — повторила она. — А, — закрыла дверь и открыла, сняв цепочку. — А.

Он шагнул в квартиру на зеленый ковер. Женщина, отступив, смерила его взглядом; ему уже стало неловко, и неопрятно, и нервно.

— Эдна объяснила, что нам нужно?

— Прибраться, — ответил он. — Вынести что-то?

— И перенести…

Два раза постучали, и в громкий смех двоих мужчин влился женский смех.

Они оба посмотрели на акриловый ковер.

— …в квартиру выше, — сказала она. — Полы, стены в этих домах такие тонкие. Все слышно. Всё. — Она завела глаза вверх, и он подумал: почему она дергается… это она из-за меня дергается?

Она сказала: — Помогите нам освободить квартиру наверху. На девятнадцатом этаже, в другом конце коридора. Там есть балкон. Мы подумали, будет мило. Здесь у нас балкона нет.

— Эй, мам, а что?..

Она наполовину высунулась в коридор, и он ее узнал.

— Что, Джун?

— Ой… — Не узнавание, нет, хотя она придержалась за стенку и похлопала на него глазами. Желтые волосы мотнулись и ударили ее по плечам. Она кривилась, стоя под зеленой стеной чуть бледнее ковра. — А Бобби дома?

— Я его послала вниз за хлебом.

— Ой, — снова, и назад к себе.

— Я… — сделала паузу, подождала, пока он на нее посмотрит, — миссис Ричардс. Мой муж Артур придет совсем скоро. Но вы заходите, я объясню, что нужно сделать.

В гостиной — сплошь панорамные окна. За приподнятыми шторами — перекат лоскутной травы между кирпичными многоэтажками.

— Садитесь, например, — ее палец оторвался от подбородка и указал, — сюда.

— Мне с утра не удалось как следует помыться, и я довольно грязный, — а потом сообразил, что

она потому и выбрала именно этот стул. — Нет, спасибо.

— А вы живете?..

— В парке.

— Садитесь, — сказала она. — Прошу вас. Прошу вас, садитесь.

Он сел и постарался не прятать босую ногу за сандалию.

Она примостилась на краешке углового дивана.

— В девятнадцать А, куда мы хотим переехать, честно говоря, разгром. Сама квартира в хорошем состоянии — стены, окна; столько окон везде побито. Мы писали в домоуправление. Но не удивлюсь, если они потеряли письмо. Все так плохо работает. Столько народу разъехалось.

Дребезг и стуки прошли по коридору, а потом кто-то кулаком заехал в дверь!

Пока он пытался приструнить свое удивление, обрывочные шепотки снаружи расползлись смехом.

Миссис Ричардс выпрямилась — закрыв глаза, прижимала кулачок к животу, другой рукой месила диван. Складки между сухожилиями над воротником пульсировали то ли медленным сердцебиением, то ли частым дыханием.

— Мэм?..

Она сглотнула, поднялась.

В дверь снова заехали кулаком; он увидел, как затряслась цепочка.

— Уходите! — Руки ее стали точно когтистые лапы. — Уходите! Уходите, я сказала!

Шаги — три или четыре пары, одна на высоких каблуках — перемолвились словечком с эхом.

— Мама?.. — вбежала Джун.

Миссис Ричардс открыла глаза, рот и перевела дух.

— Они так, — оборачиваясь к нему, — уже второй раз за сегодня. Второй. А вчера всего один.

Джун то поднимала кулачок ко рту, то опускала. У нее за спиной — стена в шершавых зеленых обоях, полки с растениями в латунных горшках на неполиваемой высоте.

— Мы переезжаем в другую квартиру. — Миссис Ричардс снова вздохнула и села. — Мы написали в домоуправление. Ответа не получили, но все равно переедем.

Он положил тетрадь на стол возле стула и посмотрел на дверь:

— А кто там?

— Не знаю. Не знаю; знать не хочу. Но они скоро… — она помолчала, взяла себя в руки, —

скоро сведут меня с ума. По-моему, там… дети. Заселились в квартиру внизу. Столько народу разъехалось. Мы переедем наверх.

Джун то и дело озиралась через плечо. Ее мать сказала:

— Вам, должно быть, очень нелегко жить в парке.

Он кивнул.

— Вы давно знакомы с миссис Браун? Спасибо ей, что прислала нам подмогу. Она выходит в город, общается с людьми. Мне-то кажется, что снаружи небезопасно.

— Мама почти не выходит, — выпалила Джун поспешно, однако не без заминки; она и вечером накануне так говорила.

— Это небезопасно, и я не понимаю, зачем женщине так рисковать. Будь я кем другим, вероятно, считала бы иначе. — Она улыбнулась. Ее темные волосы уже седели, укладка недавняя и простая. — Сколько вы сможете поработать?

— Сколько вам потребуется, я думаю.

— То есть сколько часов? Сегодня?

— До конца дня, если хотите. Сейчас уже довольно поздно. Но завтра я приду пораньше.

— Я про освещение говорю.

— Про освещение?

— В большинстве квартир света нет.

— А, ну да. Тогда поработаю до темноты. Который час?

— Часы. — Миссис Ричардс открыла ладони. — Часы остановились.

— У вас *тоже* нет электричества?

— Только в одной розетке в кухне. Для холодильника. И она тоже иногда отключается.

— В коридоре свет горит. И лифт работает. Можно запитаться.

Миссис Ричардс не поняла.

— Удлинителем. От лампы в коридоре к вам в квартиру. Будет электричество.

— А. — Морщины у нее на лбу прорезались глубже. — Но тогда у нас не будет света в коридоре, да? Там нужен хоть какой-то свет. А то слишком…

— Двойной патрон. В один лампочку, а из другого кабель под дверь.

— Из коридора?

— Ага, а я о чем?

— А. — Она покачала головой. — Но мы же не платим за свет в коридоре. Домоуправление не обрадуется. У нас тут строго. Понимаете, лампы в коридоре — они подключены к другому, — ее руки вспорхнули, — счетчику. Вряд ли можно. Если кто увидит… — Она засмеялась. — Ой нет, у

нас тут так не принято.

— А, — сказал он. — Ну, вы же переезжаете. Вам, наверно, и не надо. А в другой квартире будет электричество?

— Это *один* из вопросов, которые надо прояснить. Я пока не знаю. — Руки снова переплелись на коленях. — Ой, я *надеюсь*!

— Я поработаю до темноты, миссис Ричардс.

— Очень хорошо. Да, это прекрасно. По крайней мере, сможете начать сегодня.

— Может, спросите мужа про удлинитель? Я могу сделать. Я раньше управдомом был.

— Правда?

— Ага. Я могу, без проблем.

— Я спрошу… — Она пальцами защипнула юбку, заметила, разгладила ткань. — Но вряд ли домоуправление согласится. Ой, я очень сильно сомневаюсь.

Дважды позвонили в дверь.

— Бобби! — объявила Джун.

– *Спроси*, кто там.

— Кто там?

Глухо:

— Я.

Цепочка загремела и упала.

— Так, ладно, принес я твой…

Джун его перебила:

— Они приходили и опять! Ты в коридоре никого не видел?

— Нет?.. — Вопрос Бобби обращался в гостиную. — А это кто?

Бобби (четырнадцать?) держал буханку хлеба очень крепко. На левом запястье ярким браслетом — полдюжины витков оптической цепи.

— Заходи, Бобби. Это молодой человек, которого прислала Эдна Браун.

— Блин. — Бобби шагнул в гостиную. Блондин, как и его сестра, но ее черты выдавали застенчивость, а его острый нос и полные губы намекали на задиристость. Под мышкой он держал газету. — Ты что, бомжуешь?

Он кивнул.

— Хочешь в туалет, в ванную, помыться, я не знаю?

— Бобби! — Это Джун.

— Может быть, — сказал он.

Миссис Ричардс засмеялась:

— Вам же так, наверно, трудно? И опасно?

— Надо… держать ухо востро. — Прозвучало вполне по-дурацки.

— Сходим наверх и оглядимся.

— Я хочу тут почитать…

— Пойдем, Бобби. Все вместе.

— Ой, Бобби, — сказала Джун, — ну *пошли*!

Бобби прошагал через гостиную, швырнул газету на кофейный столик, сказал:

– *Ладно*, — и удалился в кухню. — Хлеб надо убрать.

— Ну так *убери*, — сказала миссис Ричардс. — И пойдем.

— Я только полбуханки нашел, — крикнул Бобби.

— А ты *просил* целую? — крикнула в ответ миссис Ричардс. — Если бы вежливо попросил целую, они бы поискали для…

— В магазе никого не было.

— Ой, Бобби…

— Деньги я *оставил*.

— Надо было их дождаться. А вдруг кто видел, как ты выходишь? *Им-то* откуда знать, что ты…

— Я и ждал. Ты думаешь, я чего так тормозил? Оба-на, на нем плесень.

— О нееееет! — вскричала миссис Ричардс.

— Немного, — из кухни. — Одна бляха на уголке.

— До середины проела?

— На втором куске тоже. И на третьем…

— Хватит его драть! — воскликнула миссис

Ричардс, кулаком заехала по диванной подушке, вскочила и тоже ушла в кухню. — Дай посмотрю.

Смутившись, видимо, ясности в сердцевине своего вывода, он сказал Джун:

— Нашла вчера?..

В кухне зашуршал целлофан.

Джун у дверного косяка расширила глаза, узнав — ну наконец-то. Пальцем неуклюже тронула губы, прося молчать, снова тронула и снова, пока палец не стер из жеста всякий смысл.

Она моргнула.

Целлофан шуршал.

Вышел Бобби, сел за кофейный столик и подтянул газету себе на колени. Заметив сестру, склонил голову набок, нахмурился, вновь перевел глаза на газету, а рука Джун сползла по свитеру, с груди до бедра.

— Насквозь, — объявила миссис Ричардс. — Прямо насквозь. Ну что ж, там немного. Нищий берет, что дают. — Она вернулась в гостиную. — Можно вырезать — будут сэндвичи с дырочками. Мы тут *все* нищие, пока положение не наладится. Опять читаешь? — И она уперла кулак в бок.

Бобби не оторвался от газеты.

— А сегодня там что? — Уже мягче. Кулак упал.

Бобби продолжал читать.

Сказал:

— Эта вчерашняя история с лунами.

— Что?

Джун пояснила:

— Я… я говорила, мам. Вчера ночью, когда я выходила…

— Ах *да*. А я тебе сказала, Джун: мне это не по душе. Мне это совсем не по душе. Нам пора наверх. Бобби? — (Который лишь буркнул что-то в ответ.)

— Люди говорят, что видели в небе две луны. — Он встал со стула. — Одну назвали Джорджем. — И не смотрел на Джун, смотрел Бобби в затылок и все равно знал, что Джун не сдержалась.

— Две луны в небе? — переспросила миссис Ричардс. — Это кто такое говорит?

— Калкинз не пишет, — пробубнил Бобби.

— Тот, кто написал статью, лун не видел, — сообщил он миссис Ричардс.

— Две луны? — снова спросила та. — Джун, ты вчера, когда пришла, ничего не сказала про…

Джун вышла из гостиной.

— Джун! Джун, нам надо наверх!

— А мне обязательно? — спросил Бобби.

— Да, тебе *обязательно*!

Бобби шумно сложил газету.

— Джун! — снова окликнула миссис Ричардс.

Следом за матерью с сыном он пошел к дверям, где ждала Джун. Пока миссис Ричардс открывала сначала верхний, потом нижний, а потом уже средний замок, глаза Джун, совершенно круглые, мазнули его по глазам, взмолились и закрылись.

— Ну *вот*.

Все, моргая по разным причинам, вышли в коридор. Он шел за ними по пятам, пока миссис Ричардс не возвестила:

— Так, — и продолжила: — Давайте вы — а как вас зовут? — пойдете впереди.

На удивление легко оказалось ответить:

— Шкедт, — огибая детей.

— Пардон? — переспросила миссис Ричардс.

— Шкедт. ШКипер, Если Добавить «Т».

— Малыш, типа. Как Малыш Билли, — сказал Бобби.

— Ага.

— Он был не подарок, — заметила Джун.

— Или Циско[14], — сказал Бобби. — И, задрав

---

[14] Примечания: 14

Малыш Билли (Billy the Kid, Генри Маккарти, 1859–1881) — американский преступник, легендарная фигура, один из символов Дикого Запада. Малыш Циско (The Cisco Kid, в рус. перев. И. Гуровой — Козленок Циско) — персонаж рассказа О'Генри «Как истый кабальеро» (*The Caballero's Way*, 1907), а затем многих фильмов, комиксов, теле– и радиопостановок, изначально жестокий убийца, впоследствии — мексиканский герой.

брови, протянул со скупой улыбкой, как тридцатилетний мужик: — Пиф-паф?..

— Бобби, прекрати!

Он шел с миссис Ричардс. Ее каблуки глухо стучали; его сандалия шепеляво шаркала, его босая нога едва шептала.

Когда подошли к лифтам, наверху раздался шум. Они посмотрели на дверь лестничной площадки с проволочной паутиной в стекле и «ВЫХОДОМ» сверху, красными буквами. Торопливые шаги стали громче…

(Его рука прижалась к ноге поверх витка цепи.)

…еще громче, пока стекло не перечеркнули тени. Шаги, спускаясь ниже, затихали.

Рука миссис Ричардс, серая, как хворост в костре, зависла у стены возле кнопки вызова.

— Дети, — сказала она. — Наверняка дети. Бегают вверх-вниз по лестницам, по коридору, в стены колотят, в двери. На глаза, между прочим, не показываются. Потому что боятся. — Голос ее, сообразил он, от ужаса осип. — Боятся нас. А чего нас бояться? Мы их не обидим. Но лучше бы они так не делали. Вот и всё. Лучше бы они не делали так.

Разом открылись оба лифта.

Из одного мужской голос сказал:

— А, — резковато. — Лапушка. Это ты. Перепугала меня до смерти. Ты куда собралась?

Из другого повеяло ветерком с далекой вышины или далекой глубины.

— Артур! Ой, Артур, это Шкедт! Его Эдна Браун прислала помочь. Мы ведем его смотреть новую квартиру.

Он пожал крупную влажную руку.

— Рад, — сказал Артур Ричардс. Дверь, закрываясь, кхынкнула его в плечо, отодвинулась и снова попыталась закрыться.

— Эдна прислала его помочь прибраться и переехать.

— А. Эдна потом придет?

— Она сказала, что во второй половине дня постарается, мистер Ричардс.

Кхынк.

— Хорошо. Ладно, давайте зайдем, пока эта штуковина меня не свалила, — гоготнул мистер Ричардс. Белый воротничок пускал складки в мясистой шее. Волосы очень светлые — возможная седина терялась в сумраке. — Мне иногда кажется, что эта железяка меня не любит. Заходите.

Кхынк.

Они нырнули внутрь. Дверь запечатала их в

темноте.

На черном оранжево повисла «19».

— Артур, — сказала миссис Ричардс в гудящем мраке, — они опять бегали по коридору. Приходили и стучали в дверь, опять. Дважды. Один раз утром и еще раз, как только Шкедт пришел. Ой, я *так* рада, что он был с нами!

— Ничего, лапушка, — утешил мистер Ричардс. — Мы поэтому и переезжаем.

— Домоуправлению пора вмешаться. Ты же говорил, что ходил к ним и сказал?

— Я ходил. Я сказал. Они ответили, что у них забот выше крыши. Лапушка, ты их тоже пойми. У кого сейчас нет забот?

Подле него дышала Джун. В лифте она стояла к нему ближе всех.

— Артур, ты бы знал, как это неприятно, если б сам слышал. Почему нельзя разок взять отгул на работе? Просто чтобы ты знал.

— Я и не сомневаюсь, что неприятно.

Дверь открылась; в коридоре, заметил он, горели два потолочных шара.

Миссис Ричардс выглянула из-за мужа:

— Если бы Артур был дома, они бы так не делали.

— А где вы работаете, мистер Ричардс? — спро-

сил он уже в коридоре.

— «Инженерные системы „Мейтленд“». Лапушка, я бы рад взять отгул. Но на работе бедлам еще хуже, чем здесь. Просто не время. Не сейчас.

Миссис Ричардс вздохнула и достала ключ:

— Я понимаю, голубчик. Домоуправление точно не возражает?

— Я же сказал, лапушка, я взял ключ у них.

— А на письмо они мне так и не ответили. В том году, когда я писала про штукатурку у Джун в спальне, ответили через два дня. — Ключ вошел, заскрипев, как гравий. — В общем, — она снова выглянула из-за мужа, — мы переезжаем сюда.

По шуршащим горам бурой бумаги она вышла в бледно-голубую комнату.

— Свет, — сказала она. — Проверьте свет.

Мистер Ричардс, и Джун, и Бобби ждали в дверях.

Он вошел, щелкнул выключателем.

Лампочка под потолком вспыхнула, сказала: «Пппп!» — и погасла.

Джун у него за спиной тихонько взвизгнула.

— Это просто лампочка. Зато хоть какое-то электричество есть.

— Ой, это мы починим, — сказал мистер Ричардс и вошел в квартиру. — Давайте, ребята.

Заходите уже.

Джун и Бобби протиснулись в дверь плечом к плечу, но продолжали часовыми подпирать косяки.

— Что еще убрать, кроме бумаги?

— Ну… — Миссис Ричардс поставила упавший плетеный стул. — Тут есть и другие комнаты, мебель и так далее. — Бурая бумага взревела прибоем у ее ног. — Всякий мусор. И грязь. А потом, само собой, надо будет перенести сюда наши вещи.

Жалюзи, соскочившие с одного крепления, свесили до пола мятые алюминиевые ламели.

— Это все снимите. Если здесь почистить, будет хорошая квартира.

— А вы знали тех, кто раньше тут жил?

— Нет, — сказала миссис Ричардс. — Нет. Мы с ними незнакомы. Вы только вынесите это все. — Она зашла в кухню и открыла чулан. — Швабра, ведро, «Спик-н-спэн». Всё есть. — Вернулась. — В других комнатах еще много чего.

— Зачем им столько бумаги?

— Не знаю, — нервно ответил Бобби из двери.

Наступив в лишайную листву, босая нога нащупала дерево, проволоку, стекло: *кр-ряк*! Он отдернул ногу, распинав бумагу.

Трещина в стекле пробежала через оба лица: в рамке черного дерева муж и жена, бородатый и накуафюренная, позировали в нарядах первого десятилетия века. Он выудил фотографию из бумаги. Заскрипело разболтанное стекло.

— Это что? — спросила миссис Ричардс, огибая еще какую-то перевернутую мебель.

— Я, кажется, разбил, — стараясь понять не глядя, порезал ли ногу.

Между родителями — сестра и два брата (один младше, другой старше) в одинаковых матросских костюмчиках, серьезные и скованные.

— На полу валялась.

Миссис Ричардс забрала у него фотографию. На картонной подложке загремела проволочная петля.

— Ты подумай. Это кто ж такие?

— Те, кто раньше тут жил?.. — Джун шагнула ближе, засмеялась: — Ой, нет. Совсем старье.

— Пап, — сказал Бобби из дверей.

— Да?

— По-моему, Шкедту надо в ванную.

Джун и миссис Ричардс разом повернулись.

— В смысле, — сказал Бобби, — он же в парке живет; он ужас какой грязный.

Миссис Ричардс цыкнула, а Джун едва-едва не

сказала: «Ой, *Бобби*!»

Мистер Ричардс ответил:

— Ну-у… — с улыбкой, а затем: — Э-э… — А затем: — Ну… разумеется.

— Я несколько изгваздался, — согласился он. — Мне бы не помешало помыться, когда тут закончу.

— Разумеется, — сердечно повторил мистер Ричардс. — У меня есть бритва — можете воспользоваться. Мэри вам полотенце даст. Разумеется.

— В *этой* комнате… — Миссис Ричардс прислонила фотографию к стене и теперь пыталась открыть дверь. — Я не знаю, *что* у них тут.

Он подошел и взялся за ручку. На несколько дюймов толкнул дверь — что-то заскребло. Еще несколько дюймов — и удалось заглянуть:

— Мебель, мэм. По-моему, вся комната забита мебелью.

— Ох батюшки…

— Я могу пролезть и все вытащить.

— Вы уверены?..

— Может, вам всем пойти вниз? А я тогда начну. Сделаем чисто-опрятно. Сейчас бардак. Показывать особо нечего.

— Пожалуй…

— Пойдем, Мэри. Пусть мальчик приступает.

Он вернулся в гостиную и принялся сгребать бумагу на одну половину.

— Бобби, ну-ка уйди оттуда. Не ищи себе на голову неприятностей.

— Ну ма-ама…

Дверь затворилась:…мальчик? Впрочем, он привык, что его лет никто не угадывает. (И куда, по их мнению, я должен деть всю эту дрянь!) Он повернулся и сандалией еще на что-то наступил. Распинал бумагу: вилка.

Он отложил тетрадь на стул, который миссис Ричардс поставила прямо, и взялся сворачивать оберточную бумагу пачками в квадратный ярд. Можно выйти на балкон и сбросить оттуда. Ангельский пух цвета говна? И мебель туда же: тр-рах! Нет, как-то не катит. Отволочь хлам к лифту, отправить странствующую меблирашку в полет до подпола. Сражаться с нею в подвальном мраке? Бить об стены, стучать в пол? Тоже не пойдет. Сдвинуть на одну сторону, подмести и помыть, сдвинуть на другую. Сжечь посередке? А она рассчитывает на *что*?

Так или иначе, спустя десять минут пол наполовину очистился. Он уже обнаружил на черном (с белыми прожилками а-ля мрамор) виниле блюдце, затянутое пленкой сохлого кофе; «Тайм»

с помятой обложкой, которую он узнал, — номеру несколько лет; какие-то тряпки в коросте краски…

От стука он подскочил.

Джун окликнула:

— Это я тут…

Он открыл, и она вошла с бутылкой колы в одной руке и тарелкой с сэндвичем в другой. У сэндвича в боку дыра. Джун сунула все это ему и сказала:

— Пожалуйста, не говори ничего про вчера у бара! Пожалуйста! Пожалуйста, а?

— Я твоей матери ничего не сказал. — Он взял тарелку и бутылку. — Я ж не буду тебя подставлять.

— Про это они не знают *ничего*!.. В газете были фотографии, но моего имени не назвали… хотя все знают и так!

— Понял…

— Они на эти фотографии смотрели, мама с папой. Смотрели, а меня не узнали! Ой, я думала, я умру… плакала. Потом уже. Ой… — Она сглотнула. — Мама… тебе прислала. Подумала, может, ты есть хочешь. *Умоляю*, ничего не говори!

— Не скажу. — И рассердился.

— Ты как будто нарочно у меня на нервах играл.

И это было ужасно!

Он отпил из бутылки.

— Ты его нашла? Джорджа Харрисона? — Газированная, но не холодная.

Она прошептала:

— Нет…

— На что он тебе сдался-то?

И заухмылялся от ее совершенно беззащитного взгляда.

Отставил тарелку на стул, поразмыслил, стоит ли принимать подношение, которое, по всему судя, уже отвергали; затем взял сэндвич и разодрал дыру зубами. «Спам». С майонезом.

— Он там был. Зря ты слиняла. Джордж через минуту вышел. — Проглотил. — Эй, а хочешь его портрет?

— А?

— Могу добыть тебе его портрет, если хочешь, и не такой, как в газете был.

— Нет. Я не хочу его портрет. Какой портрет?

— Большой полноцветный плакат. В чем мать родила.

— Нет! — Она повесила голову. — Вот ты *правда* на нервах играешь. Не надо, а? Это ужасно.

— Да нет, я просто… — Он перевел взгляд с сэндвича на бутылку. Есть не хотелось, но он ел

из соучастия. И теперь пожалел. Сказал: — Если играть одной, проиграешь, и все дела. Если я с тобой сыграю, может, у тебя… будет шанс.

Ее волосы мотнулись; она подняла глаза в притворном смятении оттого, что он отвесил ей комплимент таким допущением.

— Завтра добуду тебе…

— Ты чего меня не подождала? — сказал Бобби из дверей. — Мама сказала, нам сюда надо вместе… Блин, ты тут почти все вычистил.

Джун подергала плечами, на что Бобби не вполне закрыл глаза, но и не откликнулся. Вместо этого сказал:

— У тебя на шее эта штука. Такая же. — Он показал блестящий браслет.

— Ага, — улыбнулся он. — Небось не расскажешь мне, где взял свою.

Бобби удивился сильнее, чем он ожидал:

— Маме с папой я сказал, что просто нашел.

Джун надулась:

— Зря ты это носишь.

Бобби заложил руки за спину и хмыкнул, словно этот обмен репликами повторялся в их спорах то и дело.

— Почему он зря это носит?

Бобби ответил:

— Она думает, если носить, с тобой случится ужасное. Боится. Свою сняла.

Джун прожгла его взглядом.

— Знаешь, что я думаю? — сказал Бобби. — Я думаю, с теми, кто сначала носил, а *потом* снял, случится еще страшнее!

— Я не снимала.

— Снимала!

— Не снимала!

— Снимала!

— Она была *не моя*! И нечего было говорить, что нашел. Наверняка с теми, кто их *крадет*, случается *совсем* страшное.

— Я не крал!

— Крал!

— Не крал!

— Крал! Уй-й!.. — Она завершила этот антифон, в сестринском бешенстве всплеснув руками.

Он снова укусил мяклый хлеб; проглотил, запив теплой колой: зря. Вернул на стул и то и другое.

— Я пошел домой, — сказал Бобби. — И ты пошли. Нам велели вместе. — И удалился за дверь.

Она ждала. Он смотрел.

Ее рука шевельнулась в складках юбки, потянулась было вверх. Потом она подняла голову.

— Может, лучше тебе…

— Ой, да он на разведку пойдет. — Презрение?

— Зачем тебе искать… Джорджа?

Она поморгала. Слово потерялось во вдохе.

— Я… я должна. Я *хочу*! — Ее руки тщились подняться, одна, затем другая, и обе удерживали друг друга по очереди. — Ты его знаешь?

— Видел.

Пепельный блонд, глазки светлые — но какой жар во взоре.

— Ты просто… живешь на улице?

— Ага. — Он вгляделся в ее лицо. — Мне пока не нужно было… — Жар жаром, но прояснял он мало что. — Я тут совсем недавно — не то что ты. — Он заставил себя опустить плечи: они сдвинулись, готовясь отразить то, что он даже не осознал как атаку. — Надеюсь, ты его найдешь. — Не атака; только этот жар. — Но конкурентов у тебя навалом.

— Что?.. — И едва он это понял, весь жар угас. — Ты чего хочешь? — Говорила она устало, а выглядела так, будто если повторит, голоса вообще не будет. — Ты зачем… сюда пришел?

— Прибраться… не знаю зачем. Может, на нервах поиграть. Давай я приберусь? А ты иди лучше вниз. — Он подобрал еще кусок бумаги и сложил, рокоча ею и хлопая, до приемлемого размера.

— А… — И она вдруг снова стала очень юной девочкой, и все. — Ты просто… — Она пожала плечами; и ушла.

Он одолел бумагу, унес обнаруженный под ней хлам в кухню, поднял и поставил еще какую-то мебель, а между тем размышлял об этой семье.

Они заполняли его мозг, когда он наконец протиснулся в забитую комнату; раздумывая о них, он сделал бесчисленные выводы — и все растерял среди скребущих ножек стульев, подкашивающихся столов для бриджа, ящиков, которые не лезли в свои шифоньеры. Одна мысль, однако, не ушла на глубину за все время, что понадобилось, дабы перенести пять предметов в подметенную гостиную: попытки сохранить здравость рассудка в таком вот безумии сводят нас с ума. Он поразмыслил, не записать ли это в тетрадь. Но ни одному слову (а он даже вытащил ручку) недостало веса пригнуть его кисть к бумаге. Мысль исчезла в петельном скрипе, когда он впихивал выдвижную доску в письменный стол с крышкой. Кто сгрузил сюда всю эту рухлядь? (Порыв? Нажим? Усилие?.. но оно было чрезмерно, когда он двигал вокруг бюро поставленную на попа тахту.) Подмышки скользкие, шея грязная — он вкалывал, раздумывая о часах и жалованьях. Но

не поймешь, сколько времени просквозило, пока ты тасовал и раскладывал столько пустопорожних реплик.

Когда он вышел на балкон, небо уже было каменно-темное. Носовую полость жгло. На земле вроде бы что-то шевельнулось. Но, взявшись за перила и нагнувшись посмотреть, он увидел только дым. И предплечья ныли. Он зашел в квартиру. Доел сэндвич. Допил колу — теперь не только теплую, но и выдохшуюся.

Работать до заката в городе, где никогда не видно солнца? Он засмеялся. *Эти* пускай нахуй идут — он не поволочет столько барахла в подвал! Сопя, он прошелся между комодами, мягкими креслами, тахтами и буфетами. Посетила мысль переставить все это в другую квартиру на том же этаже. Потом следующая мысль: а чего нет-то?

Великаном он развернулся в мебельном лесу высотой ему до пупа. В здании, по сути, никого больше нет. Кто узнает? Кто расстроится? В мочевом пузыре вдруг стало жарко; он зашагал по коридору.

Ванную в глубине ниши отмечал проблеск плитки над порогом. Внутри он щелкнул выключателем; свет загораться не пожелал. Но, развернувшись, он голенью долбанулся о стуль-

чак.

Темно хоть глаз выколи, но он подумал: ну а что такого?

Особый звук собственной влаги, а также внезапная и горячая сырость под ногой дали понять, что он промахнулся. Он сдвинул прицел, но плеск воды в воде не воспел его успех. Оборвать струю? Воспоминание о желтом взрыве боли в основании пениса… Потом подотрет. И он предоставил моче течь.

Он вывалился из темноты и сказал:

— Ёпта!

Мокрая нога оставила растекшийся отпечаток на тетради, лежавшей за дверью. Прокралась за ним следом, в грязи захотела вываляться? Нет; он вспомнил (гамма черно-белая; бесцветная… точно во сне), как прихватил ее с собой, намереваясь что-то записать. А когда свет не включился, бросил ее под дверью.

3

— Это я, Шкедт.

— А, ой, секундочку.

Упала цепочка. Открылась дверь.

За спиной Джун на столике с телефоном мерцали свечи. Свет из гостиной кидался зыбкими тенями на коврик. Из двери дальше по коридору вытек дрожащий оранж.

— Заходи.

Он следом за Джун вошел в гостиную.

— Что ж. — Мистер Ричардс выглянул поверх «Вестей», сложенных в квадратик. — Вы, я вижу, и после заката сильно задержались. Как делишки?

— Нормально. В дальней комнате была куча битого стекла. Туалетный столик перевернулся.

— Убрали мебель? — крикнула миссис Ричардс из кухни.

— Всё в гостиной. Завтра дальние комнаты разберу и освобожу. Там несложно.

— Это хорошо. Артур?..

— А, точно, — сказал мистер Ричардс. — Мэри выложила вам полотенце. Идите примите ванну. Электробритвой пользуетесь?

— Нет.

— У меня есть, если хотите. Но я вам безопасную выложил. Лезвие новое. Мы хотим пригласить вас остаться на ужин.

— Ой, — сказал он, желая уйти. — Это очень мило. Спасибо.

— Бобби, ты в ванной свечи поставил?

Бобби поверх своей книжки ответствовал:

– *Умгм*.

— Жизнь при свечах, — сказал мистер Ричардс. — Ничего себе, да?

— Хотя бы газ не отключили, — опять возвысила голос миссис Ричардс. — Тоже неплохо. — И шагнула в дверь. — Бобби, Артур, *оба*! Слишком темно читать; глаза испортите.

— Бобби, убери книгу. Ты слышал, что сказала мать. Ты и так слишком много читаешь.

— Артур, слишком много чтения не бывает. Но *глаза*. — И она снова удалилась в кухню.

В книжном шкафу у кресла мистера Ричардса (ни он, ни Бобби читать не перестали), между «Потерянным раем» издания «Классического клуба» и какой-то томиной Миченера[15] стояла книжка потоньше, белые буквы по черному корешку: «Паломничество / Новик». Он выудил

[15] Примечания: 15

Джеймс А. Миченер (Мичнер, 1907–1997) — американский писатель, автор многочисленных беллетристических семейных хроник.

книгу с полки. Свечи окропили обложку светом.

— А миссис Браун в итоге пришла?

Он перевернул книжку. Черные керамические львы в шкафу смотрели мимо и поблескивали. В аннотации на задней обложке — всего три строчки, не говорящие ничего. Он снова посмотрел на переднюю: «Паломничество» Эрнста Новика.

— Как сядем есть, она придет. Она всегда приходит, — фыркнула Джун, ожидая возражений отца или матери. Никто ей не возразил. — Это поэт, про которого в газете писали. Бобби вчера добыл маме в книжной лавке.

Он кивнул.

— Мэм? — И заглянул в кухню. — Можно посмотреть?

— Разумеется, — ответила миссис Ричардс, что-то мешая на плите.

Он пошел в ванную; планировка, наверно, как в той, которую он зассал наверху. Две свечки у стенки на унитазном бачке вмуровали по две искорки в каждую плитку; и еще одна свеча стояла на аптечном шкафчике.

Он вывернул краны, сел на крышку унитаза и, положив Новика на тетрадь, почитал «Пролегомены».

Шумела вода.

Спустя страницу он принялся листать, тут читал строчку, там — строфу. Кое-где смеялся в голос.

Отложил книгу, сбросил одежду, перегнулся через край и опустил в ванну окованную цепью грязную лодыжку. Пар поцеловал подошву, затем ее лизнула горячая вода.

Сидя в остывающей воде, с цепочкой под задом, он потер себя всего минуту — а вода уже посерела и покрылась бледной шелухой.

Ну, Ланья сказала, что не против.

Он спустил эту воду и полил из крана на ноги, растирая заскорузлую кожу подъемов. Понятно, что он был грязен, но количество дряни в воде поражало. Он намочил и намылил волосы, тер руки и грудь мыльным бруском, пока брусок не разрезала цепь. Комом свернув мочалку, повозил ею под подбородком, а затем лег — уши ушли под воду — и стал смотреть, как в такт пульсу вздрагивает остров живота, каждый изогнутый волосок — влажная чешуйка, словно на гонтовой коже некой амфибии.

Где-то посреди всего в коридор выкатился пронзительный смех мадам Браун; а чуть позже ее голос за дверью:

— Нет! Нельзя, туда нельзя, Мюриэл! Там чело-

век моется.

Он спустил воду и лег навзничь, изможденный и чистый, временами потирая опоясавшее ванну грязное кольцо шире уставного ремня. Вжался в фаянс. Запруженная спиной вода полилась по плечам. Он сел, раздумывая, нельзя ли высушиться усилием воли. И медленно высох.

Взглянул на свое плечо, усеянное порами, расчерченное крохотными линиями — границами клеток, вообразил он, — опушенное темным. Провел губами по коже, лизнул опресненную плоть, поцеловал ее, поцеловал бицепс, поцеловал бледное местечко, где вены ползли через мостик с бицепса на предплечье, поймал себя на этом, сердито засмеялся, но снова себя поцеловал. Рывком поднялся. Сзади по ногам побежали капли. Голова закружилась; зашатались огоньки в плитках. Он вылез, и сердце застучало от внезапного усилия.

Грубо растер волосы, нежно — гениталии. Потом, на коленях, получше смыл волосы, и грязь, и какие-то хлопья со дна ванны.

Взял штаны, посмотрел, покачал головой; ну, больше ничего нет. Надел их, пальцами зачесал назад волосы, заправил рубашку, застегнул одинокую сандалию и вышел в коридор. За ушами

было холодно и все еще мокро.

— Вы сколько ванн приняли? — спросил мистер Ричардс. — Три?

— Две с половиной, — ухмыльнулся Шкедт. — Здрасте, ма… миссис Браун.

— Мне тут рассказывают, вы славно потрудились.

Шкедт кивнул:

— Там не так сложно. Завтра, наверно, закончу. Мистер Ричардс? Вы говорили, у вас есть бритва?

— Ах да. Точно не хотите электрическую?

— Я к другим привык.

— Но придется обычным мылом.

— Артур, — окликнула миссис Ричардс из кухни, — у тебя же есть эта банка пены для бритья, тебе Майкл на Рождество подарил.

Мистер Ричардс щелкнул пальцами:

— Я и забыл. Три года прошло. Я ее так и не открывал. С тех пор успел отрастить бороду. У меня одно время была довольно красивая борода.

— Дурацкая была борода, — сказала миссис Ричардс. — Я его заставила сбрить.

В ванной он намылил подбородок и соскреб теплую пену. Лицо под лезвием похолодело. Он решил оставить бакенбарды на полдюйма длиннее. Сейчас (двумя отчетливыми скачками) они

проросли сильно ниже ушей.

Какой-то миг, прижимая к лицу горячее махровое полотенце, он разглядывал узоры в глазах на темном фоне. Но как и всё в этом доме, узоры эти казались расчетливо бессмысленными.

Из кухни:

— Бобби, *умоляю*, иди сюда и накрой на стол. Сию минуту!

Шкедт вышел в гостиную.

— Вы, небось, меня и не узнаёте, — сказал он мадам Браун.

— Я бы так не сказала.

— Ужин готов, — объявила миссис Ричардс. — Шкедт, вы с Бобби садитесь туда. Эдна, ты садись с Джун.

Мадам Браун подошла и вытянула стул из-под стола.

— Мюриэл, сидеть и вести себя хорошо, слышишь меня?

Он втиснулся между стеной и столом — и потащил за собой скатерть.

— Ох батюшки! — Мадам Браун цапнула закачавшийся медный подсвечник. (Отраженное пламя замерло во внезапно обнажившемся красном дереве.) При свечах ее лицо вновь стало фингально-аляповатым, как накануне в баре.

— Господи, — сказал Шкедт. — Извините.

Он снова натянул скатерть на стол и принялся поправлять приборы. Миссис Ричардс выгрузила на стол вилки, ложки и блюдца в изобилии. Он не понял, правильно ли их расставил и разложил, и где его приборы, а где приборы Бобби; когда он наконец сел, два пальца замерли на затейливой рукояти ножа; он посмотрел, как они ее потирают, толстые, с раздутыми костяшками и обгрызенными ногтями, но чистые до прозрачности. После ванны, подумал он, пока ты еще один в сортире, самое время тому, для чего не нужны вокруг люди: подрочить, поковырять в носу и съесть, от души погрызть ногти. Что ему помешало здесь — ложные представления о приличиях? Мысли уплыли к многообразным декорациям, в которых он отдавался подобным привычкам не так уж скрытно: сидя у торца буфетных стоек, стоя в общественных туалетах, в сравнительно пустых вагонах метро ночью, в городских парках на заре. Он улыбнулся; потер еще.

— Это моей матери, — сказала миссис Ричардс через стол. Она поставила две тарелки с супом перед Артуром и мадам Браун и снова ушла в кухню. — Старое серебро, я считаю, прелестно, — долетел оттуда ее голос, — но полировать его,

чтоб не тускнело, — тяжкий труд. — Она вышла с еще двумя тарелками. — Может, этот виноват… как он называется? Оксид серы в воздухе, вещество такое, оно еще пожирает все картины и статуи в Венеции. — Она поставила одну тарелку перед Шкедтом, другую перед Бобби, который как раз протискивался на свое место — тарелки и приборы снова поползли по морщинам ткани; Бобби поправил скатерть.

Шкедт отнял пальцы от потускневшего ножа и положил руку на колени.

— Мы никогда не были в Европе, — сообщила миссис Ричардс, вернувшись из кухни с двумя тарелками для себя и Джун. — Но родители Артура ездили… ой, много лет назад. Тарелки — его матери, европейские. Не стоит, наверно, пользоваться парадными; но я всегда их достаю, если у нас гости. Они такие праздничные… Ой, да вы не ждите меня. Налетайте.

Шкедту достался суп в желтой меламиновой плошке. По фестончатому краю нижней фарфоровой тарелки бежал прихотливый узор, и его исчертили царапинки еще прихотливее — может, следы моющего средства или проволочной мочалки.

Он огляделся — пора ли начинать? — заметил,

что Бобби и Джун озираются с той же целью; мадам Браун досталась фарфоровая суповая тарелка, а всем остальным — пастельная пластмасса. Интересно, оказались ли бы он и мадам Браун по отдельности достойны праздничного стола.

Мистер Ричардс взял ложку и легонько черпанул супа с поверхности.

Ну и он тогда тоже.

И еще с громоздкой ложкой во рту заметил, что и Бобби, и Джун, и мадам Браун ждали миссис Ричардс, которая заносила свою только теперь.

Через дверь видна была кухня: там на столешнице горели свечи. Подле бумажного пакета для мусора с аккуратно отогнутым краем стояли две открытые банки «Кэмпбелла». Он еще зачерпнул. Миссис Ричардс, решил он, перемешала два или даже три разных супа; конкретных вкусов он не различал.

Другая его рука легла на колено под скатертью — мизинец терся о ножку стола. Сначала двумя пальцами, затем тремя, затем большим, а затем костяшкой он ощупал круглую резьбу, столешницу, царгу, болты-барашки, стыки и скругленные наросты клея, тончайшие трещинки на стыках деталей — а между тем поел еще супу.

Над полной ложкой мистер Ричардс улыбнулся

и промолвил:

— Откуда ваша семья, Шкедт?

— Из штата… — он склонился над тарелкой, — Нью-Йорк. — И спросил себя, когда выучился распознавать в этом вопросе замазанную версию лобового «вы какой будете *национальности*?», которое местами в стране бывало чревато неприятностями.

— Мои родители из Милуоки, — сказала миссис Ричардс. — Родные Артура — все из окрестностей Беллоны. Собственно, моя сестра тоже тут жила — ну, раньше. Сейчас уехала. И вся Артурова родня тоже. Так странно, что Мэриэнн, и Джун — мы назвали нашу Джун в честь матери Артура, — и Хауарда, и твоего дяди Эла здесь больше нет.

— Ну, я не знаю, — сказал на это мистер Ричардс; Шкедт видел, как тот уже готовится спросить, давно ли Шкедт в городе, но тут вмешалась мадам Браун:

— Вы студент, Шкедт?

— Нет, мэм, — и сообразил, что ответ на этот вопрос она, вероятно, знала; но проникся к ней за то, что спросила. — Я уже давненько не был студентом.

— А где учились? — спросил мистер Ричардс.

— Много где. В Колумбии. И в колледже в Де-

лавэре.

— В Колумбийском университете? — переспросила миссис Ричардс. — В Нью-Йорке?

— Всего год.

— Вам понравилось? Я давно уже… мы с Артуром *оба* давно уже думаем, стоит ли детям уезжать на учебу. Бобби неплохо бы поехать, например, в Колумбию. Хотя местный университет штата очень хорош.

— Особенно политология, — сказал Шкедт.

Мистер Ричардс и мадам Браун черпали суп от себя. Миссис Ричардс, Джун и Бобби — к себе. Один способ правильнее — это он вспомнил; но не вспомнил какой. Посмотрел на затейливые рукояти приборов, выложенных по бокам от тарелки по росту наоборот, и в конце концов просто утопил ложку прямо посередке.

— И конечно, гораздо дешевле. — Миссис Ричардс откинулась на спинку стула и натянуто рассмеялась. — Никуда не денешься — о расходах тоже нужно подумать. Особенно сейчас. В местном университете… — (Еще четыре ложки, прикинул он, уровень супа понизится, и компромиссный подход больше не поможет.) Миссис Ричардс снова подалась к столу. — Политология, вы говорите? — И наклонила к себе тарелку.

— Мне так сказали, — ответил Шкедт. — А Джун куда собирается?

Мистер Ричардс наклонил тарелку от себя.

— Не уверен, что Джун об этом думает.

Миссис Ричардс сказала:

– *Хорошо бы* Джун захотела в колледж.

— Джун у нас не очень, что называется, ученая. Она скорее девушка старомодного склада. — Наклон тарелки, видимо, не насытил мистера Ричардса: он поднял ее, вылил последние капли в ложку и отставил. — Да, деточка?

— Артур, ну что такое!.. — сказала миссис Ричардс.

— Очень вкусно, лапушка, — ответил тот. — Очень вкусно.

— Да, мэм, — сказал Шкедт. — Очень, — и положил ложку в тарелку. Невкусно.

— Я бы хотела в колледж, — Джун улыбнулась своим коленям, — если поехать куда-нибудь в Нью-Йорк.

— Что за глупости! — Мистер Ричардс пренебрежительно отмахнулся суповой ложкой. — Мы ее с трудом до школьного выпуска дотянули!

— Просто там было скучно. — Тарелка Джун — розовый меламин — под ее ложкой поползла к краю фарфоровой тарелки. Джун ее поправи-

ла. — Вот и все.

— Тебе в Нью-Йорке не понравится, — сказал мистер Ричардс. — Ты у нас слишком солнечная девочка. Джун любит солнце, плавать, на воздухе гулять. Ты завянешь в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе — там сплошь смог и загрязнение воздуха.

— Ну пап!

— Я считаю, Джун надо в следующем семестре подавать документы в неполный колледж, — посреди фразы миссис Ричардс повернулась от мужа к дочери, — посмотреть, понравится тебе или нет. У тебя не *настолько* плохие оценки. По-моему, не такая уж плохая идея — попробовать.

— Мам! — Джун смотрела на свои колени без улыбки.

— Твоя мать отучилась в колледже, — сказал мистер Ричардс. — Я отучился в колледже. Бобби тоже будет. Как минимум там можно выйти замуж.

— Бобби читает больше Джун, — объяснила миссис Ричардс. — Только и делает, что читает, если уж правду говорить. И он, пожалуй, действительно больше склонен к учебе.

— Неполный колледж — это кошмар, — сказала Джун. — Ненавижу всех, кто туда ходит.

— Солнышко, — сказала миссис Ричардс, — ты не знаешь всех, кто туда ходит.

Шкедт средним пальцем ощупывал зенкованную выемку под винт с потайной головкой, и тут мадам Браун сказала:

— Мэри, а второе скоро будет? По-моему, Артур вот-вот проест дно тарелки.

— Ох батюшки! — Миссис Ричардс на стуле оттолкнулась от стола. — Где моя голова! Я сейчас…

— Тебе помочь, мам? — спросила Джун.

— Нет. — Миссис Ричардс исчезла в кухне. — Спасибо, деточка.

— Давайте сюда суповые тарелки, — сказала Джун.

Рука Шкедта вылезла из-под скатерти — помочь другой руке передать фарфоровую тарелку, — но под краем столешницы замерла. Костяшки, кончики пальцев и две полосы на тыле ладони — размазанная чернота.

Он сунул руку между ног и огляделся.

Да и ладно, фарфоровые тарелки все вокруг оставляли и отдавали только суповые. Ее он передал одной рукой, другую сжав коленями. Потом к ней запряталась и первая рука — он постарался не глядя оттереть пальцы.

Вошла миссис Ричардс с двумя дымящимися глиняными мисками.

— Боюсь, меню у нас сегодня вегетарианское. — Она ушла и вернулась еще с двумя. — Но какое мясо ни возьми, доверия оно не вызывает, — и опять вернулась.

— Ты отлично делаешь запеканку с тунцом, — крикнул ей вслед мистер Ричардс. — Очень вкусно.

– *Бэ-э*, — сказал Бобби.

— Бобби! — сказала Джун.

— Да, Артур, я знаю. — Миссис Ричардс вошла с соусником, поставила его на стол и села. — Но рыбе я не доверяю совсем. Вроде пару лет назад была история, когда люди *умерли* из-за испорченного консервированного тунца? Мне с овощами как-то спокойнее. Хотя они, видит бог, тоже портятся.

— Ботулизм, — сказал Бобби.

— Ну честное слово, Бобби! — засмеялась мадам Браун, ладонью накрыв сверкающие цепочки.

— По-моему, у нас все не так уж плохо. Картофельное пюре, грибы, морковь, — миссис Ричардс ткнула пальцем в одну, затем в другую миску, — и какие-то баклажанные консервы, я их раньше не пробовала. Когда мы с Джулией ходили в ресторан здоровой пищи — это мы в Лос-Анджелесе

были, — она говорила, там всегда вместо мяса кладут баклажаны и грибы. И я сделала соус. — Она повернулась к мужу, словно хотела о чем-то ему напомнить: — Артур?..

— Что? — А потом мистер Ричардс, видимо, тоже вспомнил: — Ах да… Шкедт? У нас тут завелась привычка за едой выпивать по бокалу вина. — Он наклонился, из-под стула достал бутылку, поставил у ближайшей свечи. — Если вас не греет, давайте мы вам воды…

— Я люблю вино, — сказал Шкедт.

Миссис Ричардс и мадам Браун уже передали бокалы. И Шкедт последовал их примеру; хотя стакан для воды — точка над восклицательным знаком его ножа — по размеру больше подходил для того винопития, к которому привык он.

Мистер Ричардс содрал золотистую фольгу, выкрутил пластиковую пробку, налил, раздал бокалы обратно.

Шкедт отпил; при свечах почти черное. В первый миг показалось, что обжег рот, — вино пенилось, как газировка.

— Бургундское игристое! — Мистер Ричардс улыбнулся и поднял бокал. — Мы такое еще не пили. Семьдесят пятого года. Удачный был год для бургундского игристого, интересно? — Он

глотнул. — Вроде ничего. За ваше здоровье.

Свечное пламя споткнулось, спохватилось. Над и под завитушками этикетки замерцало зеленое стекло.

— Я добавила немножко вина в подливку, — сказала миссис Ричардс. — То есть в соус — со вчерашнего вечера осталось. Люблю готовить с вином. И с соевым соусом. Два года назад мы ездили в Лос-Анджелес, у Артура там были совещания, и мы жили у Харрингтонов. Майкл подарил Артуру эту пену для бритья. Джулия Харрингтон — это она меня в ресторан здоровой пищи водила — готовила с соевым соусом абсолютно всё! Очень интересно. Ой, Артур, спасибо.

Мистер Ричардс положил себе пюре и передавал миску сотрапезникам. И мадам Браун тоже.

Шкедт проверил, как там пальцы.

Оттирка не спасла от грязи, зато равномерно распределила ее по обеим рукам: твердые полоски ногтей на широких макушках пальцев снова обведены темным, точно их по контуру и вдоль кутикул обрисовали шариковой ручкой. Он вздохнул, положил себе еды, когда миски добрались до него, передал дальше и стал есть. Свободная рука вернулась под скатерть, нащупала ножку стола, вновь отправилась исследовать.

— Если вы не учитесь, — сказала мадам Браун, — что же вы тогда пишете в тетрадку? Мы все заметили, конечно.

Тетрадь лежала в кухне, возле стула, на столе; он видел тетрадь за ее локтем.

— Просто записываю то и се.

Миссис Ричардс кончиками пальцев уцепилась за край столешницы.

— Вы пишете! Хотите быть писателем? Вы сочиняете стихи?

— Ага. — Он улыбнулся, потому что занервничал.

— Вы поэт!

Мистер Ричардс, Джун и Бобби распрямились и уставились на него. Миссис Ричардс подалась вперед и просияла. Мадам Браун наклонилась и опустила руку, безмолвно попеняв за что-то Мюриэл.

— Он поэт! Артур, подлей ему вина. Посмотри, он уже допил. Наливай, голубчик. Он поэт! Я считаю, это замечательно. Надо было сразу догадаться, когда вы взяли книжку Новика.

Артур забрал у Шкедта бокал, подлил.

— Я мало смыслю в поэзии. — Он вручил Шкедту бокал с улыбкой, какой футболист в колледже изобразил бы робкое добродушие. — Я же ин-

женер, понимаете… — Он отнял руку, и вино плеснуло на ткань.

Шкедт сказал:

— Ой, ух, я…

— Да не переживайте! — вскричала миссис Ричардс, взмахнув рукой — и задев свой бокал. Вино плеснуло через край, побежало по ножке, кляксой расплылось на льне. Может, так нарочно делают, подумал он, чтобы чужаки не смущались (а в мыслях еще: до чего неприятная параноидальная идея); миссис Ричардс между тем спросила:

— И что вы о нем думаете? О Новике?

— Не знаю. — Шкедт отодвинул стакан: сквозь дно видны диаметральные линии стеклоформы. — Я с ним всего один раз встречался.

На третьей секунде тишины он поднял взгляд и решил, что ляпнул ерунду. Судорожно поискал подходящее извинение; но в поисках этих, как в путаном клубке бечевки с потерянным концом, попадались одни петли и никаких концов.

— Вы *знакомы* с Эрнстом Новиком! Ой, Эдна, Шкедт *настоящий* поэт! И он нам помогает, Артур! Двигает мебель и так далее. — Она перевела взгляд с мистера Ричардса на мадам Браун, затем на Шкедта. — А скажите… — Тут она расплескала еще вина. — Его стихи — они же просто…

замечательные, да? Наверняка. Я пока не читала. Достала книжку только вчера. Послала за ней Бобби, из-за статьи в «Вестях». У нас по соседству очень приятный магазинчик, книги и подарки. Чего там только не найдешь… но я боялась, что после статьи они уже все распродали. Я считаю, *очень* важно следить за последними новинками, хотя бы и за бестселлерами. И мне очень интересна поэзия. Честно. Артур мне не верит. Но я правда… я *правда* ее люблю.

— Это просто потому, что в этом кафе, куда вы с Джулией в Лос-Анджелесе ходили, все читали стихи и играли музыку.

— А я тебе *говорила*, Артур, в тот вечер, как мы вернулись… я не утверждаю, что все поняла, но мне *очень* понравилось! Одна из самых… — она нахмурилась, подбирая точное описание, — *волнующих* вещей, которые я… ну, слышала.

— Я не очень хорошо его знаю, — сказал Шкедт и съел еще грибов; баклажан и грибы оказались ничего. А вот картофельное пюре (растворимое) — довольно клейкое. — Я с ним встречался… один раз.

— Я бы с удовольствием с ним познакомилась, — сказала миссис Ричардс. — У меня совсем нет знакомых настоящих писателей.

— Майк Харрингтон написал книгу, — возразил мистер Ричардс. — И очень хорошую.

— Ой, Артур, у него же руководство по эксплуатации… про нагрузки, и деформации, и как применять новый металл!

— Очень *хорошее* руководство по эксплуатации. — И мистер Ричардс подлил вина себе и мадам Браун.

— А мне можно? — спросил Бобби.

— Нет, — ответил мистер Ричардс.

— И давно вы пишете стихи?

Мадам Браун ждала, взяв на вилку промоченный соусом баклажан, Джун — морковку, миссис Ричардс кончиком вилочного зубца подцепила очень маленькое облачко пюре; и тут до него дошло, что он не знает. А это был абсурд, и он насупился.

— Не очень… — *давно*, хотел было сказать он. У него сохранилось ясное воспоминание о том, как он записывал в тетрадь свое первое стихотворение, сидя под фонарем на Брисбен-авеню. А раньше-то он писал стихи? Или всегда хотел, но прежде так и не собрался? Не помнить, как что-то делал, — это понятно. Но не помнить, как чего-то не делал? Это как? — Не очень давно, — в конце концов произнес он. — Всего несколько

дней где-то, — и опять насупился, потому что вышло глупо. Но уверенности в правдивости или фальши этого заявления у него было не больше, чем в собственном имени. — Да нет, совсем недавно. — Он решил, что впредь так и будет отвечать, если спросят; но решение лишь подтверждало его сомнения в правдивости такого ответа.

— Ну, наверняка, — (на тарелке у миссис Ричардс осталось всего одно картофельное облачко), — они очень хороши. — И она это облачко съела. — А мистеру Новику понравилось?

— Я ему не показывал. — Пожалуй, столовые приборы, бокалы, блюдца и свечи — неподходящий реквизит для бесед о скорпионах, драках на орхидеях, незримом Калкинзе, воинственном Фенстере…

— И напрасно, — сказала миссис Ричардс. — Вот к Артуру молодежь на работе вечно приходит с новыми идеями. И он говорит, в последнее время они такую дребедень выдумывают… да, Артур? Артур всегда рад обсудить новые идеи с молодежью. Наверняка мистер Новик будет рад поговорить с вами, правда, Артур?

— Ну, — напомнил мистер Ричардс, — я-то мало смыслю в поэзии.

— Я бы с удовольствием вас почитала, — ска-

зала мадам Браун и отодвинула винный бокал подальше от блуждающей руки миссис Ричардс. — Может, вы нам как-нибудь покажете. Скажите, Артур, — она посмотрела поверх пальцев домиком, — а как сейчас в «Мейтленде»? Везде такое творится — удивительно, если делается хоть что-то.

Она меняет тему! — с облегчением подумал Шкедт. И решил, что мадам Браун ему нравится.

— Инженеры. — Мистер Ричардс покачал головой, поглядел на миссис Ричардс. — Поэты… — весьма бесцеремонно сменив тему обратно. — У них не очень-то много общего.

Шкедт решил попробовать сам:

— Я здесь познакомился с инженером, мистер Ричардс. Зовут Люфер. Работал на… да, точно, завод перестраивал. Раньше там выпускали арахисовое масло. А теперь витамины.

— Обычно люди, которые любят поэзию, и искусство, и всякое такое, — не отступил мистер Ричардс, — не очень-то интересуются техникой… — И нахмурился. — Витаминный завод? Это, наверно, в Хелмсфорде.

Шкедт откинулся на спинку стула и заметил, что мадам Браун тоже выпрямилась.

Миссис Ричардс продолжала судорожно шеве-

лить руками на столе.

Мистер Ричардс спросил:

— Как, вы сказали, его зовут?

— Люфер.

— По-моему, не знаю такого. — Мистер Ричардс скривился и уронил подбородок на гладкий горчично-золотой узел галстука. — Я-то, само собой, в системном отделе. А он, наверно, в промышленном. Две совершенно разные сферы. Две совершенно разные профессии, если уж на то пошло. Поди уследи, что в твоей-то сфере происходит, чем занимаются твои сотрудники. Наши такое выдумывают… дребедень — не то слово. Мэри права. Порой даже *я* понять не могу — в смысле, если и понятно, *как* оно работает, не разберешь, для чего оно нужно. Теперь я только и делаю, что мотаюсь из конторы на склад и обратно, — занимаюсь бог весть чем.

— Держишься на плаву, — сказала мадам Браун и одним локтем оперлась на стол. Когда она шевельнулась, свечное пламя проплыло в ее левом глазу туда-сюда. — В больнице я едва успевала прочесть два-три психологических журнала в неделю — то бихевиористы, то гештальт-терапевты…

— Персиков? — осведомилась миссис Ричардс,

подавшись вперед, выставив над краем стола два крохотных горных кряжа костяшек. — Кто-нибудь хочет персиков? На десерт?

Может быть, подумал Шкедт, она *по правде* хотела поговорить о поэзии — и это бы ничего, решил он, если б я знал, что сказать. На тарелке у него осталось только соусно-картофельное болотце.

— Запросто.

Он посмотрел, как слово повисло над столом — по обе стороны тишина.

— Я не хочу! — И Бобби заскрежетал стулом.

Обе свечи качнулись.

— Бобби!.. — воскликнула миссис Ричардс; между тем Джун поймала одну, а мистер Ричардс другую.

Бобби уже удалился в гостиную. Мюриэл гавкнула и кинулась за ним.

— Я бы не отказался, лапушка. — И мистер Ричардс снова сел. — Отпусти его, Мэри. Пускай.

— Мюриэл? Мюриэл! — Мадам Браун повернулась к столу и вздохнула. — Персики — это прекрасно. Да. Я буду.

— Да, мама, пожалуйста, — сказала Джун. Она довольно-таки сгорбилась и по-прежнему разглядывала свои колени, будто напряженно

обдумывала что-то.

Миссис Ричардс, поморгав вслед сыну, встала и ушла в кухню.

— Если б я поступила учиться, — выпалила Джун, внезапно подняв голову, — я бы пошла на психологию, как вы!

Мадам Браун, задрав брови, поглядела на нее слегка польщенно, слегка насмешливо. Насмешливо? Или, подумал Шкедт, это просто удивление.

— Я бы хотела работать с… психически нездоровыми детьми, как вы. — Джун тоже кончиками пальцев уцепилась за край стола, но сдвинула их плотно, ровно — нужно считать, чтобы разглядеть, где какой палец.

— У нас в больнице, дорогая, — мадам Браун взяла бокал, собралась отпить; когда наклонилась, петли оптической цепи блестящим слюнявчиком качнулись вперед, потом назад, — я в основном сталкиваюсь с нездоровыми родителями.

Джун, уже смутившись своей вспышки, собирала тарелки.

— Я бы хотела… помогать людям; как медсестра или врач. Или как вы… — (Шкедт протянул ей тарелку; он был последним.) — У которых душевные сложности.

Он проволок руки по скатерти (заляпанной соусом, супом, морковью, лиловыми винными кляксами) и уронил на колени.

Миссис Ричардс насвинячила немногим меньше.

— Я понимаю: клише, — покачала головой мадам Браун, — но это правда. Родителям помощь нужна гораздо больше, чем детям. Я серьезно. Они приводят к нам своего совершенно уничтоженного ребенка. И знаешь, чего хотят на первой консультации? Всегда одного — хотят, чтоб мы сказали: «Его просто надо пороть». Они приводят девятилетнего бедолажку, которого довели до состояния невыразимого онемелого ужаса; ребенок не умеет сам одеваться, говорит только шепотом — и то на каком-то выдуманном языке; он писается и какается, и единственный разумный поступок, на который он изредка способен, — убийство или, что чаще, самоубийство. Если б я сказала им: «Выпорите ее! Избейте его!» — они бы сияли — сияли от счастья. Когда выясняется, что мы хотим *забрать* детей, родители негодуют! Они разочарованы, вроде бы переживают, но приходят в надежде, что мы скажем: «Да, вы чудесно справляетесь. Просто будьте потверже!» Мне хоть как-то удается делать свою работу, — мадам

Браун коснулась плеча Джун, склонилась доверительно, — а *на самом деле* я просто-напросто выцарапываю детей у родителей, — потому что *я* в ходе приятных бесед о том, насколько проще станет всей семье, если малыша Джимми или малышку Элис отпустить к нам, подразумеваю другое: гораздо веселее будет некоторое время потрудиться над другими вашими детьми, согласитесь? Ведь правда, гораздо интереснее драться с тем, у кого сил осталось побольше, чем у этого полутрупа, который вы нам тут привели? Давайте вы освободите поле и займетесь младшей сестренкой Сью или старшим братцем Биллом? Или, скажем, друг другом. А попробуй-ка забрать у родителей единственного ребенка, которого они чуть до аутизма не довели! — Мадам Браун потрясла головой. — Весьма гнетуще. Я порой всерьез думаю, что хочу сменить сферу деятельности — заняться индивидуальной терапией. Я, собственно, всегда этим и интересовалась. А поскольку сейчас в больнице и так никого…

— А для этого разве не нужны лицензии или экзамены какие-то особые? — спросила из кухни миссис Ричардс. — Я понимаю, это твоя профессия, но ведь копаться в мозгах опасно, нет? Если не понимаешь, что делаешь? — Она вошла с

двумя десертными вазочками на высоких ножках, одну вручила мадам Браун, другую мистеру Ричардсу. — Я читала статью, — она встала, положив руки на спинку своего стула, — про групповую терапию — так, кажется? Джулия Харрингтон ходила в какую-то группу два года назад. И я, как дочитала статью, сразу вырезала и послала ей — в газете ужас что писали! Про то, что там руководили какие-то неумехи, которые всех сводили с ума! Все трогали друг друга везде, на руки друг друга брали, душу наизнанку выворачивали! В общем, кое-кто не выдержал и очень серьезно заболел!

— Ну, я… — вежливо возразила было мадам Браун.

— По-моему, это все чепуха, — сказал мистер Ричардс. — Да, у людей бывают проблемы, еще бы. И нужно людей класть туда, где им помогут. Но если ты просто избалованный, может, как раз и нужно, чтоб тебе сказали: соберись, тряпка, и веди себя прилично. Пара затрещин никому еще не повредила, а кому и раздавать затрещины, я считаю, как не родителям, — хотя я на своих ни разу руки не поднял. — Мистер Ричардс поднял руку к плечу, выставил ладонь. — Правда же, Мэри? Во всяком случае, с тех пор как они выросли.

— Ты очень хороший отец, Артур. — Миссис Ричардс вернулась из кухни, держа в охапке еще три десертные вазочки. — Никто не сомневается.

— Радуйтесь, дети, что у вас такие разумные родители. — Мистер Ричардс кивнул на стул Бобби (пустой) и на стул Джун: та как раз садилась, вернувшись из кухни. Поставила на белую ткань хрустальную вазу белизны.

— Прошу, — сказала миссис Ричардс, протягивая Шкедту фрукт.

Желтое полушарие в длинноногой десертной вазочке еле выглядывало из сиропа.

Шкедт посмотрел на него, обмякнув лицом, сообразил, что губы слегка раззявились, и захлопнул рот.

Вцепился в ножку под столом так крепко, что предплечье в конце концов резиново прострелило болью. Отпустил, выдохнул и сказал:

— Спасибо…

— Не ах, — пояснила миссис Ричардс, — но во фруктах витамины и разная польза. Я сделала взбитые сливки — ну, десертный крем. Я *люблю* настоящие сливки, но мы достали только это. Хотела добавить вкус миндаля. Подумала, будет удачно. С персиками. Но миндальный экстракт закончился. И ванильный. Пришлось кленовый.

Артур, ты хочешь? Эдна?

— Еще не хватало! — Мадам Браун отмахнулась от протянутой вазы. — Я и так уже переела.

— Шкедт, а вы?

Ваза подплыла к нему между свечей, поблескивая гранями. Он заморгал, медленно пошевелил челюстями под маской кожи, пытаясь сконструировать улыбку.

Зачерпнул из белого холмика, подсветкой сзади очерченного бледно-зеленым.

Мадам Браун за ним наблюдала; он моргнул. Ее гримаса преобразилась. В улыбку? Интересно, какое у него самого-то лицо? Задумывалась тоже улыбка; но *по ощущениям* не она…

Он похоронил свой персик.

Белизна завихрилась в сиропе.

— А знаете, что было бы прелестно? — сказала миссис Ричардс. — Если б Шкедт прочел нам какое-нибудь стихотворение.

Он запихал в рот полперсика и сказал:

— Нет, — проглотил и прибавил: — Спасибо. Мне что-то не хочется. — Он устал.

Джун сказала:

— Шкедт, ты ешь ложкой для сливок.

Он сказал:

— Ой…

Миссис Ричардс сказала:

— Ой, да ничего. Все уже взяли, кто хотел.

— Я — нет, — сказал мистер Ричардс.

Шкедт посмотрел на свою вазочку (полперсика, вывернутые наизнанку в сиропе и сливках), посмотрел на свою ложку (исполосованное сливками воронение вдоль черенка), на большую вазу (ущелья в белых холмах над граненым краем).

— Да ничего страшного, — сказал мистер Ричардс. Поблескивая, ваза отъехала за свет свечей. — Я своей ложкой возьму. Все ошибаются. Бобби так делает постоянно.

Шкедт снова занялся своим персиком. Костяшки заляпало взбитыми сливками. Два пальца липкие от сиропа. Кожа после ванны еще сморщенная. Мозоли обгрызенные и обсосанные — так, наверно, выглядит проказа.

Артур Ричардс что-то сказал.

Мадам Браун что-то ответила.

По комнате пробежал Бобби; миссис Ричардс на него заорала.

Артур Ричардс еще что-то сказал.

Сливки растеклись в луже на дне вазочки и наконец дотянулись до стекла со всех сторон.

— Мне, наверно, скоро уже пора. — И он поднял голову.

Золотистый узел галстука у мистера Ричардса сполз вниз по рубашке на три дюйма.

Мистер Ричардс распустил галстук, пока Шкедт не смотрел? Или Шкедт просто не запомнил?

— У меня встреча — надо пойти, пока еще не очень поздно. А потом… — Он пожал плечами: — Я хочу прийти завтра пораньше.

— Уже так поздно? — Миссис Ричардс как будто расстроилась. — Что ж, вам, наверно, надо выспаться — вы столько мебели тут перетаскали.

Мадам Браун отложила на стол льняную салфетку. (Шкедт сообразил, что сам так и не положил свою на колени; она аккуратно лежала подле его закапанного и заляпанного места за столом, рядом с монограммой «Р.» — одно-единственное лиловое пятнышко.)

— Я и сама подустала. Шкедт, вы не могли бы подождать минутку и проводить нас с Мюриэл? А кофе есть, Мэри?

— Ох батюшки… Я не сварила.

— Тогда мы сразу и пойдем. Шкедту уже не терпится. А я совсем не хочу бродить по улицам в такую поздноту.

Этажом ниже кто-то рассмеялся; смех подхватили другие, а затем вдруг — череда стуков, словно падала крупная мебель: бюро повалило

кровать, а та — шифоньер.

Шкедт встал из-за стола — на сей раз придержав скатерть. Рука еще болела.

— Мистер Ричардс, вы мне заплатите сейчас или когда я всё закончу? — Выдав это, он внезапно изнемог.

Мистер Ричардс подался назад. Кулаки в карманах пиджака; передние ножки стула приподнялись.

— Вам, наверно, чуток сейчас не повредит. — Одна рука вылезла наружу и вверх. В руке сложенная купюра: мистер Ричардс предвидел вопрос. — Держите.

— Я проработал часа три с половиной. Или четыре. Можем считать, что три, если хотите, раз я только начал. — Он взял темный прямоугольник — сложенную вчетверо одинокую пятерку.

Шкедт вопросительно посмотрел на мистера Ричардса, затем на мадам Браун — та склонилась над стулом, щелчком пальцев подозвала Мюриэл.

Мистер Ричардс, снова сунув руки в карманы, улыбнулся и покачался.

Стоило бы еще что-то сказать, но с трудом придумывалось что.

– *Э-э*… спасибо. — Шкедт сунул деньги в карман

штанов, оглянулся на Джун, но та уже вышла. — Спокойной ночи, миссис Ричардс. — И он пошел по зеленому ковру к двери.

Позади него — он щелкал замками, одним за другим, их было *ужас* сколько — мадам Браун говорила:

— Доброй ночи, Артур. Мэри, спасибо за ужин. Джун?.. Джун?.. — окликнула затем она. — Я ухожу, милочка. До скорого. Доброй ночи, Бобби… А, он у себя. Наверняка с книжкой — знаем мы Бобби. Мюриэл, пойдем, дорогая. Я иду, Шкедт. Еще раз доброй ночи.

* * *

Дым был густ — Шкедт даже заподозрил, что стекло матовое, а он неверно запомнил, что прозрачное…

— Ну, — мадам Браун толкнула треснувшую дверь, — что думаете о Ричардсах, денек на них поработав?

— Ничего не думаю. — Он потянулся в слишком вязкой ночи. — Я просто наблюдатель.

— То есть вы много чего думаете, но формулировать полагаете затруднительным или необязательным. — (Мюриэл зацокала когтями прочь по бетонной дорожке.) — Они озадачивают.

— Лучше бы, — сказал Шкедт, — он заплатил мне за весь день. Само собой, раз они меня кормят и всякое такое, — впереди замаячила еще одна многоэтажка, ряд за рядом темных окон, — пять долларов в час — куча денег.

По фасаду всползал дым. Конечно, Шкедт думал о Ричардсах; он припомнил свои размышления за работой в квартире наверху. И — тут мадам Браун тоже не ошиблась — он, разумеется, не пришел ни к какому итожимому выводу.

Она, заложив руки за спину, смотрела на мостовую, шагала медленно.

Шкедт, обеими руками держа перед собой тетрадь (чуть ее не забыл; мадам Браун отдала ему в дверях), задрал голову и почти ничего не разглядел.

— Вы по-прежнему работаете в больнице?

— Что?

— В психиатрической больнице, про которую рассказывали. — Ходьба слегка его оживила. — С детьми. Вы по-прежнему ходите туда каждый день?

— Нет.

— А.

Больше она ничего не сказала, и продолжил он:

— Я лежал в психбольнице. Год. Мне просто интересно, что стало, — он поглядел вокруг, на фасады, чья разруха пряталась в ночи и дыме; здесь он почуял дым, — с вашей.

— Вы, я думаю, не хотите знать, — ответила она, несколько шагов пройдя молча. — *Особенно* если сами лечились. Печальное было зрелище. — (Мюриэл по спирали ушла назад и вбок.) — Я, видите ли, работала в соцотделе — вы, наверно, поняли. Господи, за два часа — двадцать два звонка домой по поводу эвакуации; посреди последнего связь вырубилась. В конце концов мы решили, что, хоть и ночь, надо ехать в больницу самим — нам с подружкой; у меня, понимаете, подружка жила. Когда добрались — пешком, между прочим, — это было что-то невероятное! Никто не ждет, что в больницу среди ночи явятся врачи — людей сильно не хватало. Но ни одного санитара, ни одной ночной медсестры, ни одного охранника! Все просто исчезли, раз — и нету! — Она резко всплеснула рукой. — В открытых палатах никто не спит. Мы выпустили всех, кого смогли. Слава богу, подруга моя отыскала ключи к этому нашему дивному подвальному крылу, которое пятнадцать лет назад закрыли, а потом то открывали, то закрывали раз в три года — ничего не ремонтируя! За окном

пожары. Кое-кто из пациентов не хотел уходить. Кое-кто не мог — десятки валялись бревнами по койкам, под лекарствами. Кто-то визжал в коридорах. Как-то от этих телефонных звонков про эвакуацию я никакой пользы не заметила — только распугали всех сотрудников, что еще оставались. Были двери, от которых мы не смогли найти ключей! Я била окна стульями. Подруга отыскала ломик, три пациента помогли нам взломать двери… ах да: а я сказала, что меня кто-то пытался задушить? Явился такой в пижаме — я бежала по коридору на втором этаже, — схватил и давай на горло давить. Нет, не очень серьезно и всего каких-то две или три минуты, потом другие пациенты меня отбили — выяснилось, что довольно трудно взаправду задушить человека до смерти, если он не хочет. А я, уверяю вас, не хотела. Но все равно приятного мало. После *этого* я очухивалась в кабинете соцслужбы, и тут она принесла мне вот это. — Он услышал, как мадам Браун пощупала цепь на шее; слишком темно и не видно блеска. — Моя подружка. Сказала, что нашла, накрутила мне на шею. Снаружи что-то вспыхивало — было видно по краям жалюзи, — и они мерцали. — Мадам Браун помолчала. — Но это я рассказывала?.. — Вздохнула. — И что она

тогда ушла… моя подружка. Понимаете, там были двери, за которые мы *никак* не могли прорваться. Мы старались — я, пациенты, мы старались! И пациенты внутри — они тоже старались изо всех сил! Господи, мы так старались! Но пожар уже перекинулся на больницу. Дым густой, почти ничего не… — Она вдруг втянула воздух. И пожала плечами, кажется? — Нам пришлось отступить. И говорю же, к тому времени моя подружка уже ушла.

Теперь он различал мадам Браун в темноте.

Она шагала, созерцая то ли прошлое, то ли мостовую.

Мюриэл впереди покружила, гавкнула, повернулась, побежала.

— Я туда приходила еще раз, — в конце концов сказала мадам Браун. — На следующее утро. Больше не хочу. Хочу заняться чем-нибудь другим… Я психолог, у меня образование. В соцработе я, вообще-то, не сильна. Не знаю, что стало с пациентами, которые выбрались, — эвакуировали их или нет. Надо думать, да; но я не уверена. — Она тихонько хмыкнула. — Может, я потому сама и не уезжаю.

— Вряд ли, — после паузы сказал Шкедт. — Я так понял, вы — и ваша подруга — были очень

храбрые.

Мадам Браун опять хмыкнула.

— Просто, — ему было неловко, но иначе, чем за столом, — вы за ужином так говорили — мне показалось, вы по-прежнему там работаете. Я потому и спросил.

— Да нет, это я просто беседу поддерживала. Чтобы Мэри развлечь. Если приложить силы, разбудить то лучшее, что в ней есть, она весьма красива; и душа у нее весьма красива — хотя эта банальная маска сидит на ней косовато. Это, наверно, не всем заметно.

— М-да, — кивнул он. — Пожалуй. — В полуквартале впереди Мюриэл превратилась в юркую каплю тьмы. — Мне казалось… — Он шаркнул пяткой по бордюру. — Эй, осторожно!.. — Споткнулся. — *Э-э*. Вы же вроде говорили, что у них *трое* детей.

— Трое.

Они пошли через влажную улицу. Пятку жгло на холодной мостовой.

— Эдвард, старший, сейчас не с ними. Но я бы об этом не заговаривала. Особенно с Мэри. Для нее это было очень болезненно.

— А, — снова кивнул он.

Они ступили на другой бордюр.

— Если тут ничего не работает, — спросил Шкедт, — зачем тогда мистер Ричардс каждый день ходит в присутствие?

— Да для проформы. Ради Мэри, наверно. Ей важно, чтобы все выглядело честь по чести, вы же видели.

– *Она* хочет, чтоб он сидел дома, — сказал Шкедт. — Ей страшно до смерти! Я и сам испугался.

Мадам Браун поразмыслила.

— Может, он просто хочет побыть один. — Она пожала плечами — стало светлее, и Шкедт разглядел. — Скажем, уходит, садится где-нибудь на лавочку и сидит.

— То есть… страшно *ему*?

Мадам Браун рассмеялась:

— А как тут не бояться? — (Мюриэл подбежала, отбежала.) — Но, по-моему, гораздо вероятнее, что он попросту ее не понимает. Некрасиво так говорить, я знаю; но это же одна из универсальных истин про мужей и жен — тут не до красоты. Он ее по-своему любит. — Мюриэл снова подбежала, лапами встала мадам Браун на бедро. Та взлохматила псине голову. Довольная Мюриэл ускакала. — Нет, *наверняка* он ходит куда-то! Возможно, куда и говорит. В контору…

на склад… — Она опять засмеялась. — А у нас слишком развито поэтическое воображение!

— Я ничего не воображал. — Но он улыбнулся. — Я просто спросил. — В свете из мерцающего окна этажом выше, в легком дыму он увидел, что и она улыбается.

Мюриэл впереди залаяла.

И что вложил я в толкование расфокуса как хаос? Эту угрозу: урок здесь лишь один — ждать. Я прячусь на дымной конечной. Края улиц плывут, осыпаются кромки мысли. Что взялся я исправлять в этой грязной тетради чужого? Постигнув, что это неосуществимо словами, но достижимо в некоем языковом провале, получаю ли право, шагая раненым с женщиной и ее псиной, на боль? Скорей на долгие сомненья: что этот труд срывает якоря рассудка; что жизнь важна в мироустройстве, но осознание — не лучшее орудие, чтоб с ним наперевес к ней выйти. Отражая, отбиваешься от пелен серебра, газированных излишеств, ощущения, будто в правый глаз вжался палец. Изнеможение это расплавляет все, что сковало, выпускает все, что течет.

Мадам Браун открыла перед ним дверь бара.

Шкедт прошел мимо винилового Тедди с купюрой в кулаке. Но пока он раздумывал, не угостить

ли мадам Браун, кто-то с воплем ринулся через весь бар; она завопила в ответ; они уковыляли прочь. Он сел у торца стойки. Когда подался вперед, люди, чьи спины сидели на табуретах, обзавелись и лицами. Но Тэка не было; и ни малейшей Ланьи. Он смотрел на пустую клетку, и тут бармен, чьи закатанные рукава перетягивали шеи вытатуированным леопардам, сказал:

— Ты же пиво пьешь?

— Ага, — удивленно кивнул он.

Бутылка цокнула по исцарапанной стойке.

— Ну кончай, кончай! Убери это, шкет.

— А. — Он в недоумении сунул деньги обратно в карман. — Спасибо.

Бармен цыкнул зубом из-под стога усов.

— Ты куда, по-твоему, пришел? — Покачал головой и удалился.

Пальцы забрались в карман рубахи, щелкнули ручкой. Он насупился, замер над неким нутряным трением: открыл тетрадь, занес ручку, макнул.

Так я *делал* это раньше? В процессе, ручкой к бумаге, он будто никогда в жизни не делал больше ничего. Но брось хоть на миг — и будто не только не делал этого никогда, но неведомо даже, начнет ли снова.

Разум ушел в пике, ища видения отточенного

гнева, а рука все ползала, и черкала, и переставляла брызги видения. Ее глаза высекли дюжину слов; он выбрал то, что лучше уравновешивало предыдущее. Ее отчаяние высекло еще дюжину; он копался в них, стискивая зубы, проясняя. И дальше проясняя. Опять уставился на клетку, пока не подступили опасные излишества, а затем обратился к ней. Невразумительное время спустя он поднял руку, сглотнул и отступил.

Воткнул шариковую ручку обратно в карман. Кисть, мертвая и уродливая, упала на бумагу. Ворочая языком в глотке, он ждал прилива сил, чтобы переписать. Из шума сложились звуки. Он заморгал и различил бутылочную пирамиду на бархатном заднике. Сквозь пальцы посмотрел, как завитки чернильных черт отшелушиваются от смысла. Взял пиво, надолго присосался, отставил бутылку и снова уронил руку на бумагу. Но рука влажная…

Он перевел дух, повернулся, глянул влево.

— Э… здрасте, — донеслось справа.

Он повернулся вправо.

— Я в том конце сидел — как увидел, сразу подумал, что это вы. — Синяя саржа; узкие лацканы; волосы цвета белого перца. — Я так рад, что мы встретились и вы живы-здоровы. Я не могу

описать, до чего меня расстроила эта история. Отчасти бессовестно так говорить, пожалуй: пострадали-то вы. Я давненько не сталкивался с такой мнительностью, такой изоляцией. — Лицо — точно у ненадолго угомонившегося тощего пожилого ребенка. — Я хочу вас угостить, но говорят, что спиртное здесь не продают. Бармен?

Перебирая кулаками по дереву, блондинистой гориллой приблизился бармен.

— Можете смешать «Текилу санрайз»?

— Не усложняйте мне жизнь и возьмите пиво[16].

— Джин с тоником?

Бармен размашисто кивнул.

— И моему другу повторить.

Горилла козырнула указательным пальцем ко лбу.

— Прямо удивительно, — высказался Шкедт в воцарившееся между ними ощущение утраты, — видеть вас здесь, мистер Новик.

— Да? — вздохнул тот. — Я сегодня один. У меня целый список мест, которые, говорят, надо посмотреть, пока я в городе. Довольно странно. Я так понимаю, вы знаете, кто я?..

---

[16] Примечания: 16

Для коктейля «Текила санрайз» нужны текила, гренадин и апельсиновый сок.

— Из «Вестей».

— Да, — кивнул Новик. — В *передовицы* я еще не попадал. И мне такого уже хватило — я теперь ценю свою анонимность. Что ж, мистер Калкинз считал, что делает доброе дело; он хотел как лучше.

— В Беллоне очень трудно потеряться. — На то, что принял за легкую нервозность, Шкедт откликнулся теплотой. — Я рад, что про вас прочел.

Новик задрал перченые брови.

— Ну, потому что теперь я и ваши стихи почитал, да?

— А если бы не наткнулись на меня в газете, не стали бы читать?

— Я не покупал книжку. У одной женщины была.

— Какая?

— «Паломничество».

Тут Новик опустил брови.

— Вы не читали внимательно, несколько раз, с начала и до конца?

Он потряс головой, почувствовал, как трясутся губы, и закрыл рот.

— Хорошо, — улыбнулся Новик. — Тогда вы знаете меня не лучше, чем я вас. Мне на секунду почудилось, что за вами преимущество.

— Я только полистал. — И прибавил: — В туалете.

Новик расхохотался и выпил.

— Расскажите о себе. Вы учитесь? Или пишете?

— Да. То есть пишу. Я… поэт. Тоже. — Интересное заявление, решил он. И приятно было произнести. Любопытно, как откликнется Новик.

— Очень хорошо. — Так или иначе, обошлось без удивления. — Беллона вас вдохновляет, вы здесь работаете больше?

Он кивнул.

— Но я никогда не публиковался.

— Я разве спрашивал?

Шкедт поискал суровости; нашел мягкую улыбку.

— Или вы хотите опубликоваться?

— Ага. — Он развернулся вполоборота. — Как публикуют стихи?

— Если б я знал, я бы, наверно, писал гораздо больше стихов.

— Но у *вас-то* теперь проблем нет — и в журналах, и вообще?

— Почти все, что я теперь пишу, — Новик обхватил бокал обеими руками, — безусловно будет напечатано. Поэтому я очень осторожно выбираю, что записывать. А вы осторожны?

Первая бутылка пива опустела.

— Не знаю. — Шкедт отпил из второй. — Я недавно поэт, — с улыбкой признался он. — Всего пару дней. Зачем вы приехали?

— Что? — Вот на этот раз — легкое удивление; но совсем легкое.

— Вы наверняка знакомы с кучей писателей, всяких знаменитых. И с людьми в правительстве. Зачем вы приехали сюда?

— Ну, у Беллоны сложилась… андерграундная репутация, так это называется? Нигде не прочтешь, но все слышат. Есть города, куда поедешь — хоть умри. — Театральным шепотом: — Надеюсь, этот не из таких. — Он рассмеялся, а глаза его попросили прощения.

Шкедт простил и тоже рассмеялся.

— Я, честное слово, не знаю. С бухты-барахты, — продолжал Новик. — Не знаю, как мне это удалось. И я никак не ожидал встретить такого вот Роджера. Статья была несколько сюрпризом. Но в Беллоне сюрпризы на каждом шагу.

— Будете о ней писать?

Новик допил свой джин-тоник.

— Нет. Вряд ли. — И снова улыбнулся. — Вам всем ничего не угрожает.

— Но *все равно* вы знаете кучу знаменитых

людей. Если читать предисловия, и отвороты суперов, и рецензии, догадываешься, что все всех знают. Такое впечатление, будто сидит толпа народу, все вместе, бесятся или дружат, трахаются, наверно, между собой…

— Литературные интриги? О, тут вы правы: это весьма изощренно, мучительно, коварно, ядовито; и совершенно завораживает. Единственное времяпрепровождение, которое я предпочитаю писательству, — сплетни.

Он нахмурился:

— Со мной один человек уже говорил про сплетни. Здесь все это любят. — Ланья так и не появилась. Шкедт снова перевел взгляд на Новика. — Она знакома с вашим другом мистером Калкинзом.

— Городок-то маленький. Хорошо бы Пол Фенстер был чуточку не такой… замороженный? — Новик указал на тетрадь: — Я бы с удовольствием глянул на ваши стихи.

— Чего?

— Я люблю читать стихи, особенно знакомых. И я сразу скажу: мне и в голову не придет вслух судить, хороши они или плохи. Но вы приятный человек — угловатый такой. Я хочу посмотреть, что вы пишете.

— А. У меня не очень много. Я их записываю… ну, я же говорю, недавно.

— Тогда я прочту быстро — если вы не против мне их как-нибудь показать, когда стих, так сказать, найдет?

— А. Конечно. Но вы уж мне *скажите*, хорошо ли получается.

— Едва ли я смогу.

— Еще как сможете. Я прислушаюсь. Мне будет полезно.

— Можно я расскажу вам историю?

Шкедт склонил голову набок и счел, что его острый скепсис интересен сам по себе.

Новик махнул пальцем бармену — попросил повторить.

— Много лет назад в Лондоне, когда я был гораздо моложе, нежели укажет время, с той поры минувшее, человек, у которого я гостил в Хэмпстеде, подмигнул мне сквозь бокал хереса и спросил, не желаю ли я познакомиться с американским писателем, который сейчас тоже в городе. Ближе к вечеру у меня была назначена встреча с редактором журнала, выпускавшегося Советом по делам искусств, и в этом журнале публиковались и хозяин дома, и этот писатель, и я. Писатели мне нравятся; меня занимают их характеры. Я говорю

об этом отстраненно, поскольку сам, увы, теперь пишу так мало, что, хотя имею дерзость всегда ощущать себя художником, писателем себя полагаю лишь с месяц в году. В удачные годы. Так или иначе, я согласился. Американскому писателю позвонили, позвали его в гости на вечер. Ожидая часа, когда настанет пора ехать, я взял журнал, куда он написал статью — репортаж о своей поездке по Мексике, — и принялся за дневную подготовку к вечерней встрече. Мир тесен: до меня уже два года доносились вести об этом молодом человеке. Несколько раз я видел его имя в сопряжении с моим. Но прежде я не прочел у него ни строчки. Я подлил себе хересу и обратился к статье. Она была неприступна! Я штурмовал слабейшие описания передвижений сквозь бестолковые пейзажи и рассеянные встречи с тягомотными людьми. Суждения о стране пустопорожни. Соображения о людях, будь они энергичнее, слегка ужасали бы своей предвзятостью. По счастью, проза эта была до того непроходима, что я сломался на десятой странице из шестнадцати. Я всегда гордился своей способностью прочесть что угодно; мне представляется, я обязан, ибо моя собственная лепта так мала. Но *эту* статью я бросил! Мы все знаем, что странная механика, репутацией

предваряющая источник репутации, превратна. И однако, сколь истово мы в нее верим! Я счел, что обманут как полагается, и потащил набитую подарками сумку в лондонскую зимнюю слякоть. В своем последнем письме редактор в шутку пригласил меня на рождественский обед, и я ответил равно шутливым согласием, а потом явился — за две тысячи миль, если не ошибаюсь, — в Лондон на праздники. Подобные прожекты, восхитительные в предвкушении и в последующем изложении, в настоящем времени не лишены изъянов. Я приехал за три дня до Рождества и решил, что лучше мне доставить подарки к рождественскому утру — редактор тогда успеет точнее прикинуть размеры гуся и добавить сливу-другую в пудинг. Я позвонил в дверь на задах особняка цвета брауншвейгской зелени. Открыл мне здоровый такой, совершенно золотой юноша, и когда он заговорил, стало очевидно, что он американец. Интересно, насколько точно я помню наш разговор. Для истории он важен… Я спросил, дома ли мои друзья. Он сказал, что нет, они ушли до вечера; он сидит с двумя их дочерьми. Я сказал, что просто хотел оставить им подарки, не мог бы он, пожалуйста, передать, что я приду на ужин в Рождество. Ой, сказал он. Вы, наверно… в общем,

я сегодня вечером иду к вам в гости!.. Я удивленно засмеялся. Прекрасно, сказал я, жду с нетерпением. Мы пожали друг другу руки, и я поспешил прочь. Я решил, что юноша этот приветлив, и мне уже стало интересно, что будет вечером. Первое правило поведения в литературном сообществе: никогда не кори человека в гостиной за любые оплошности, допущенные им на бумаге. Сколько *милосердия* ты подаришь в гостиной варвару за его литературное мастерство — вопрос твоего личного темперамента. Однако я вот о чем говорю: мы обменялись семьюдесятью пятью или сотней слов, не более того. По сути дела, я лишь услышал его голос. Так или иначе, когда я вернулся в Хэмпстед, а херес уступил место вину покраснее, я ненароком взял журнал со статьей этого писателя. Что ж, решил я, дам ей еще один шанс. Открыл и стал читать. — Новик воззрился поверх бокала, отставил коктейль не глядя и сжал губы в узкую прорезь. — Она была прозрачная, она была яркая, она была парадоксальна и лукава. То, что я принял за банальность, оказалось изящнейшей сатирой. В тексте живописалось душераздирающее положение в стране и абсурдность позиции автора, американского туриста. Статья балансировала на тончайшей, ужасно

неприступной грани между элегантностью и пафосом. А я всего-навсего услышал его *голос*! Застенчивый, самую чуточку женоподобный, с редкой неправильностью периодов и ударений, и говорила этим голосом громада пресной воды, и сквойных лесов, и Скалистых гор. Но на самом деле случилось просто-напросто вот что: теперь я *слышал* голос, который говорил этой прозой, тут и там подставлял ударения и раскрывал передо мной текст, прежде непроходимый и неуклюжий, как телефонный справочник. С тех пор я читаю все работы этого писателя с необычайным наслаждением! — Новик отпил из бокала. — Ах да, и тут есть еще краткое заключение. Ваши критики в Штатах выказывают мне великую доброту, обсуждая лишь те мои работы, что видятся интересными мне самому, а бесконечные тома пустяковин, которые обеспечат мне университетскую должность, когда дипломатическая служба истощит мою страсть к болтовне, они упускают из виду. В мой последний приезд к вам меня встретила весьма панегирическая рецензия на переиздание моих ранних стихов в одном из самых авторитетных ваших литературных журналов, написанная дамой, кою мне приличия не дозволяют назвать ехидной, пусть и потому

только, что она была так щедра на похвалы. Она была первой, кто написал обо мне в Америке. Но и до того я следил за ее критикой с жадностью, какую обычно приберегаю только для поэтов. Плодовитый критик по необходимости вынужден говорить много нелепого. Проверяется так: когда перед глазами у тебя прошло собрание статей, что запомнилось больше — ум и проницательность или абсурд? Я с ней никогда не встречался лично. Сойти с самолета, купить в аэропорту три журнала и в такси по дороге в гостиницу обнаружить ее статью на середине второго — это был восторг, редкость, удовольствие, ради которого я некогда в фантазиях, пожалуй, и стал писателем. А *в гостинице* она оставила мне письмо — не у портье, а в двери номера: она проездом в Нью-Йорке, живет в гостинице через два квартала от меня и не желаю ли я встретиться с ней вечером и выпить, если, конечно, перелет не слишком меня утомил. Я был счастлив, я был благодарен; насколько лучше были бы мы, если бы подобные знаки внимания не доставляли нам столько радости. Мы приятно выпили, приятно провели вечер; наши отношения переросли в благодатную дружбу, каких у меня с тех пор не заводилось годами. Это важно: люди, изначально

знакомые понаслышке, редко *могут* перейти затем к личной дружбе. Но спустя несколько дней, перечитывая одну ее статью, я вот что заметил: размеренная раздумчивость ее текстов отчасти объяснялась словоупотреблением. Знаете эту строфу у Поупа: «Громадный камень занесла Аяксова рука — / Слова громоздки, и медлительна строка»[17]. У нее была манера за словом, которое оканчивалось на сильный согласный, ставить слово, начинавшееся с равно сильного. В воображении я сконструировал продуманный и праздный тон, который придавал достоинства ее письменным высказываниям, даже если их сути недоставало веса. В тот вечер я понял, что она, прибегая к тому же лексикону, какой использовала на письме, говорит до крайности быстро, с живостью и воодушевлением. И я не ошибся: интеллект ее, разумеется, оказался остер. Но хотя она стала одним из ближайших моих друзей, читаю я ее практически без удовольствия. Даже когда перечитываю то, что некогда дарило мне величайшее интеллектуальное наслаждение, слова катятся комом в *ее* голосовой манере и тексты лишаются достоинства и сдержанности

[17] Примечания: 17

Цитата из поэмы английского поэта Александра Поупа (1688–1744) «Опыт о критике» (*An Essay on Criticism*, 1711).

начисто; я только благодарен за то, что при встрече мы можем спорить и препарировать тексты до зари, так что я не вовсе обделен плодами ее потрясающих аналитических талантов. — Он снова отпил. — Как мне судить, хороши ли ваши стихи? Мы же знакомы. Я слышал вашу речь. И это я даже ряби не пустил по мутной эмоциональной трясине, которую люди по глупости именуют объективным мнением, — я помянул лишь искажение восприятия, проистекающее из услышанного голоса. — И Новик с улыбкой помолчал.

— Вы эту историю рассказываете всем, кто просит почитать их стихи?

— Э, нет! — Новик воздел палец. — Это я *у вас* попросил *разрешения* их почитать. А историю я рассказывал нескольким людям, которые спрашивали моего мнения. — Он покрутил оплывший лед в бокале. — Все всех знают. Да, вы правы, — кивнул он. — Я иногда думаю: может быть, задача творческих кругов — формировать социальную матрицу, которая гарантирует, что ни один причастный, как бы его ни чествовали и ни хвалили, не имел ни малейшего представления о ценности своей работы.

Шкедт допил пиво; многоречивость его раздо-

садовала, но ее увлеченный проводник заинтересовал.

— Уравнение эстетики, — задумчиво произнес Новик. — У художника есть некий внутренний опыт, из которого рождается стихотворение, картина, музыка. Зрители отдаются произведению, и это создает внутренний опыт им. Но исторически это очень новая — не говоря о том, что вульгарная, — идея: будто опыт зрителя должен быть идентичен или вообще хоть как-то связан с опытом художника. И коренится она в чрезмерной индустриализации общества, научившегося не доверять магии…

— Ты пришел! — Ланья схватила его за локоть. — Ты такой красивый, и сияешь, и блестишь. Я тебя не узнала!

Он притянул ее к плечу.

— Это Эрнст Новик, — радуясь поводу отвлечься. — Это моя подруга Ланья.

Она как будто удивилась:

— Шкедт говорил, вы помогли ему у мистера Калкинза. — Они с Новиком пожали друг другу руки поперек Шкедтовой груди.

— Я там остановился. Но на вечер меня отпустили на волю.

— Я там прожила не один день, но мне, по-мое-

му, выходных не давали ни разу.

Новик рассмеялся:

— Есть такое, да. А теперь вы где живете?

— Мы в парке. Не надо так изумляться. Многие там живут. Это нынче шикарный адрес, почти как у Роджера.

— Правда? Вы там живете вдвоем?

— У нас свой уголок. Мы навещаем разных людей. Как проголодаемся. К нам в гости пока никто не заходил. Но так оно и лучше.

Новик снова рассмеялся.

Шкедт наблюдал, как поэт улыбается ее болтовне.

— Я не решусь выгонять вас из норы. Но вы непременно навестите меня как-нибудь после обеда. — И Шкедту: — А вы тогда принесите стихи.

— Конечно. — Шкедт посмотрел, как Ланья молчит в восторге. — Когда?

— Давайте когда Роджер в следующий раз решит, что на дворе вторник, вы придете вдвоем? Обещаю, что проблем, как в прошлый раз, не возникнет.

Он рьяно закивал:

— Отлично.

Мистер Новик улыбнулся от уха до уха:

— Тогда я вас жду. — Кивнул, по-прежнему улыбаясь, отвернулся и отошел.

— Закрой рот. — Ланья, щурясь, заозиралась. — А, ну ладно, вроде ничего. Не вижу ни одной мухи. — И сжала ему ладонь.

В клетке замигал неон. Из колонки заскрежетала музыка.

— Ой, пошли отсюда скорее!

Он пошел с ней, разок обернулся: синюю саржевую спину Новика заклинило между двумя кожаными куртками, но непонятно, разговаривает поэт с кем-то или стоит просто так.

— Чем занималась весь день? — спросил он на прохладной улице.

Она дернула плечами, прижалась к нему:

— Тусовалась с Милли. Очень много завтракала. На этой неделе стряпает Джомми, и я съела больше, чем хотела. Утром проконсультировала Джона по его проекту. Навязалась подглядывать за партией в китайские шашки. После обеда ушла, играла на гармошке. Вернулась к ужину. Джомми лапочка, но зануда. Как твоя работа?

— Странно. — Он притянул ее ближе. (Ее маленькие костяшки задели его огромные — задумчиво, согнулись, отстранились.) — Они там мутные. Эй, нас Новик в гости позвал, а?

Она потерлась головой о его плечо — вполне возможно, смеясь.

Ее плечо шевельнулось под его ладонью.

— Отдать тебе обратно?

— Ой. Да. Спасибо, — и забрал орхидею, остановился, закрепил самый длинный нож в шлевке. Потом они зашагали дальше.

Имени так и не спросила. Думать про это доверие, что оно — сила? В ее легкости и немногословии, в этой свободе от труда требовать и добиваться — иллюзия стержня. И уже теперь, в предзвуке, я вооружен знаменьями катастрофы в сознании, бессилием уличить, различить. Это она так свободна или боится непростой близости, для меня непролазной? Или это я от нее отстраняюсь, не имея наименования. Некий невод, невольный прилив, предел преломлен трубой гортани. Внятный страх ускользает, пока мы тут прикидываем, получая лишь неизменный угол перекоса, частоту изумленного преломления.

В полумраке — или, точнее, четырех его пятых — львы были как будто мокрые. Он костяшками правой руки мимоходом погладил каменный бок; теплый, точь-в-точь как Ланьино запястье, погладившее ему костяшки левой.

Как она находит дорогу? — удивился он, но

спустя тридцать шагов подметил, что последний темный поворот предугадал и сам.

Далекий свет костра филигранью просочился сквозь листья. Ланья отодвинула их и сказала:

— Привет!

Мужчина без рубашки, с лопатой в руках, стоял по колено в… недовыкопанной могиле?

Другой, в расстегнутой джинсовой рубашке, стоял на краю. Девушка в мексиканской шали, подперев подбородок кулаками, наблюдала, сидя на бревне.

— Так и возитесь? — спросила Ланья. — Я приходила утром — вы с тех пор *вообще* не продвинулись.

— Дали бы мне копать, — сказала девушка.

— Да легко, — ответил гологрудый с лопатой. Стряхнул светлые волосы с плеч. — Как только мы тут раскочегаримся.

Девушка уронила кулаки между заплатанными коленками. Волосы у нее были очень длинные. В далеком свете не разглядишь цвет наверняка — что-то между бронзой и чернотой.

— Как вообще Джону в голову эти его проекты взбредают? — сказал тот, что стоял в рубашке на краю. — Я могу и в кустиках присесть.

Мужик с лопатой скривился:

— Он, наверно, переживает, что грязно. Ты посмотри *сам*! — И взмахнул полотном лопаты.

Но кроме дюжины людей, сидевших или стоявших у залитых огнем шлакоблоков, вне пузыря ночи, надутого костром, Шкедт не разглядел ничего.

— Вы хоть видите, что делаете? — спросила Ланья.

— Уж латрину-то, сука, выкопаем!

Лопата снова вгрызлась в землю.

— Знаете, — сказал тот, что стоял на краю, — а ведь я мог бы сейчас быть на Гавайях. Ага. Был шанс поехать, но я решил, что лучше сюда. В голове, бля, не укладывается.

Девушка на бревне вздохнула, будто ей уже надоело это выслушивать, ладонями оперлась на колени, встала и ушла.

— Ну правда. — Он нахмурился ей вслед, а потом на горку земли. — Твоя баба по-честному хотела копать?

— Да не. — Приземлилась еще одна кучка. — Это вряд ли.

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, отстучали скатанные «Вести» по бедру. Подошел Джон и еще больше заслонил свет.

Тупп-фышш, тупп-фышш, профыркала лопата.

— Что-то слишком близко к жилью копают, — сказал Шкедт Ланье. — Это же латрина.

— Мне-то ты зачем говоришь? — ответила она. — Ты им скажи.

— Вот и я думаю, — сказал Джон и унял газету. — Ты считаешь, слишком близко?

— Ёпта, — сказал тот, которому хотелось на Гавайи, и прожег Шкедта взглядом.

— Слушайте, — сказал Шкедт, — делайте как хотите, — и отошел.

И тотчас споткнулся о ноги чьего-то спальника. Выпрямляясь, чуть не наступил еще кому-то на голову. В миллиметрах за кругом тьмы — бюро, гардеробы, кресла, кушетки, и их надо двигать отсюда туда, а потом еще куда-нибудь… Он заморгал в жаре костра и сунул руки в задние карманы джинсов. Из-за спин еще троих посмотрел, как кудрявый мальчик (Джомми?) тащит бочку — «Клево, скажи? Ой-ё! Ты глянь только. Мы когда ее нашли — я сам не поверил… Это мука́. Настоящая мука. И не испортилась. Ой, спасибо, шкет. Ага, толкай ее… да, сюда», — вокруг торца деревянного стола.

— Сюда? — переспросил Шкедт и закряхтел. Фунтов двести в этой бочке, не меньше.

— Ага.

Остальные еще чуточку попятились.

Кряхтя уже вдвоем, Шкедт и Джомми запихали бочку на место.

— Знаешь чего, — улыбнулся Джомми, отступая и вытирая лоб, — если ты у нас тут голодный, попроси чего-нибудь пожрать.

Пока Шкедт соображал, о чем речь, подошли Милли и Ланья.

— Ой как приятно, что ты опять пришел и помогаешь, — сказала Милли, проходя между Шкедтом и костром. Прямо над глазами Шкедту было жарко, но в ее тени похолодало. Милли пошла дальше.

Ланья смеялась.

— Мы зачем пришли? — спросил он.

— Я хотела с Милли быстренько поговорить. Уже всё. — Она взяла его за руку. Они зашагали между скатками и спальниками. — Спим у меня, где прошлой ночью.

— Ага, — ответил он. — А одеяла на месте?

— Если никто не унес.

— Гавайи, — произнес кто-то неподалеку. — Сам не знаю, чего бы мне прямо сейчас не рвануть.

Ланья сказала:

— Джон спрашивал, не хочешь ли ты порулить новым проектом коммуны. Строительством ла-

трины.

— Господи боже!..

— Он считает, у тебя задатки лидера…

— И чутье на эту задачу, — договорил он. — Работы мне и так хватает. — Смаргивая послеобразы костра, он увидел, как блондин, уже снявший рубашку, стоит на краю и лопатой забрасывает землю обратно в яму.

Вместе с Ланьей он ступил во тьму.

И вновь подивился, как она отыскивает дорогу. И вновь остановился первым, поняв, что пришли.

— Ты что там делаешь?

— Я повесила одеяла на сук. Снимаю.

— Тебе видно?

— Нет. — Листва взревела. Одеяло задело его по лицу на лету. Они расправили его вдвоем. — Натяни левый… нет, от тебя правый угол.

Трава и прутики подались под коленями, когда он плюхнулся на середину. Они тепло сшиблись.

— Знаешь Ричардсов?

Артишоки…

Он нахмурился.

Она легла рядом, раскрыла кулак у него на животе.

– *М-м?*..

— Положительно бредовые тупицы.

— Да?

— Ну, они положительные. И довольно тупые. Бредить пока не начали, но это не за горами. Зачем я вообще взялся за эту работу?

Прижимаясь к нему, она пожала плечами:

— Когда ты согласился, я подумала, ты просто из тех, кому непременно нужна работа.

Он гмыкнул.

— Тэк с первого взгляда решил, что я не работал ни дня в жизни. Мне же *не* нужны деньги, так?

Она сунула руку ему между ног. Он их раскинул и положил ладонь сверху, втиснув толстые пальцы между ее тонкими.

— Мне пока не требовались. — И она сжала.

Он заворчал.

— Тебе — конечно. Тебя тут все любят. Везде приглашают, да? — Он поднял голову. — Он инженер, она… домохозяйка, я так понял. Читает стихи. И в стряпню добавляет вино. Такие люди… занятно, знаешь. Не могу вообразить, как они трахаются. Но ведь как-то должны, видимо. У них дети.

Она отняла руку и легла ему на грудь.

— А такие, как мы. — Ее голос зафырчал ему в подбородок. — Вообразить, как мы трахаемся,

проще всего, да? Но *нельзя* представить, что у нас дети, правда? — Она хихикнула и ртом прижалась к его рту, сунула язык ему в рот. А потом застыла и взвизгнула: — *Аййй*.

Он засмеялся:

— Дай я ее сниму, пока не пырнул кого-нибудь! — Он приподнял бедра и стащил орхидею со шлевки, а потом снял и ремень.

Они обнимались долгими полосами жара и холода. Один раз, лежа навзничь, голым, под ней, он терся лицом о ее шею, сжимал ее качкие ягодицы, а потом открыл глаза: сквозь джунгли ее волос сочился свет. Она замерла на взлете. Он запрокинул голову.

За деревьями колыхались полосатые чудища.

Ниже по дорожке шли сияющие скорпионы.

Все больше деревьев заслоняли их свет, и еще больше деревьев, и еще.

Он посмотрел на нее и прежде тьмы различил отпечаток своей цепи по верху ее грудей. А затем двухлепестковым цветком, что поторопился раскрыться навстречу неверной недолговечной заре, они закрылись, хихикая, и хихиканье стало долгими, глубокими вздохами, едва она задвигалась снова. Когда она кончила, он накрыл их обоих углом одеяла.

— И ты знаешь, он пытался зажать мои деньги.

– *Ммм*. — Она примостилась к нему теснее.

— Мистер Ричардс. Сказал мадам Браун, что будет платить пять долларов в час. А выдал всего пятерку за полдня. Представляешь? — Он заворочался.

Он толкнул ее в ногу, и Ланья сказала:

— Господи боже, ты все равно весь твердый… — и цыкнула.

— Честно. Конечно, они меня покормили. Может, расплатится завтра.

Но она взяла его руку и сдвинула вдоль тела; снова перепутавшись, их пальцы сомкнулись на нем, и она заставила его дергать и предоставила ему дергать. Положила голову ему на бедро и принялась лизать и покусывать его костяшки, сморщенную плоть мошонки. Он дрочил, пока ее волосы у него на бедрах не погрузились совершенно в некий растительный ужас, а потом проворчал:

— Ладно…

Кулаком трижды заехал ей в лицо, прежде чем уступил ей себя. Она просунула руки ему под бедра, ногами обняла его ноги, а он задохнулся и отпустил ее волосы.

Под блистающим изнеможением тревога по-

теряла очертания. Один раз он вроде как бы проснулся, и ее спина прижималась к его животу. Он пролез ей под локоть, чтобы подержаться за ее грудь, — сосок под ладонью как кнопка. Она взяла его за палец тихо-тихо — на случай, сообразил он, если он спит.

И он уснул.

Спустя время возник серый свет. Лежа на спине, он смотрел, как в этом свете проступают листья. Внезапно сел — одним рывком на колени. И сказал:

— Я хочу быть поэтом. Я хочу быть великим, знаменитым, замечательным поэтом.

Он поглядел на подол тьмы под серыми потеками, и что-то екнуло в животе. Плечи затряслись; затошнило; а в голове застучало; и стучало; и стучало. Он открыл рот и сильно им подышал. Тряхнул головой, почувствовал, как затряслось все лицо, и втянул воздух в себя.

— Ух, — сказал он. Боль отступила, и получилось улыбнуться. — По-моему, даже не… *делают* таких великих поэтов, каким я хочу быть! — Это вырвалось лишь хриплым шепотом. В конце концов он голым поднялся на корточки и оглянулся на нее.

Он думал, она все проспала; а она опиралась

головой на руку. Она за ним наблюдала!

Он прошептал:

— Спи.

Она натянула одеяло на плечо и опустила голову.

Он повернулся за рубахой, достал ручку. Открыл тетрадь там, где писал в баре. Скрестив ноги на краю одеяла, приготовился переписывать. В полурассвете голубела бумага. Он обдумывал первое слово, но отвлекали суперобложки, похвалы в печати, отклики читателей, от Ричардсов до Новиков… К реальности его вернул сучок под лодыжкой. Он снова потряс головой, сдвинул ногу, опять склонился над тетрадью, чтобы записать чистовик. Взгляд нырнул в колодец — обложки журнала «Тайм» («Поэт отказывается от Пулитцеровской премии»), лица зрителей перед сценой Майнор Лэтем[18], где он согласился провести редкие чтения. Он выволок себя на поверхность, пока яркость фантазий не стала болезненной. И рассмеялся, потому что так и не переписал ни слова. Еще посидел, от мыслей не в силах писать,

---

[18] Примечания: 18

Театр Майнор Лэтем *(Minor Latham Playhouse)* — офф-бродвейская театральная площадка факультета театральных искусств женского колледжа Барнард в Нью-Йорке, связанного с Колумбийским университетом.

забавляясь неподвластности себе самому, но скучая от этого самоочевидного урока.

Смех над собой не выключил фантазий.

Но и фантазии не выключили смеха над собой.

В светлеющем небе он поискал силуэты. Марево распухало, и скручивалось, и извивалось, и совсем не рассеивалось. Он снова лег подле нее, погладил ее под одеялом. Она повернулась к нему и спряталась ему в шею, когда он попытался ее поцеловать.

— Я, наверно, невкусная, — пробормотала она. — И я сплю…

Он лизнул ее в зубы. Когда вставил большой палец ей в пизду, она засмеялась сквозь поцелуй и смеялась, пока не перехватило дыхание от его члена и другого пальца. Коленями поверх ее коленей, он качал бедрами. Его влажная рука держала ее за плечо, сухая — за волосы.

Позже он снова проснулся, крепко ее обнимая; они перекатились и замотались в одеяло. Небо еще посветлело.

— Знаешь что? Не надо мне на эту, сука, работу, — сказал он. — Зачем мне тут работа?

— Шшш, — сказала она. — Шшшшшшш, — и погладила его бритую щеку. — Ну шшшшшшш.

Он закрыл глаза.

* * *

— Да, кто там? — жалобным тембром.

— Шкедт. Слушайте, если еще слишком рано, я потом приду…

Зазвенела цепочка.

— Нет-нет. Все нормально. — Дверь открыла миссис Ричардс в зеленом банном халате.

— А что, все спят? Я не понял, что так рано.

— Все нормально, — повторила миссис Ричардс. — Около восьми где-то. — И зевнула. — Хотите кофе?

— Да, спасибо. Можно я в ванную? — И шагнул мимо, не успела она завершить сонный кивок. — А вы знаете, что у вас в почтовом ящике письмо? Авиапочта.

— Я думала, ящики сломаны.

— Ваш цел. — Он остановился, уже взявшись за косяк двери в ванную. — И в нем письмо.

— Ох батюшки!

Уже намылившись и собравшись бриться, он распознал в ее голосе отчаяние.

* * *

Едва он сел, Джун в синих брюках и розовом

свитере с вышитой маргариткой у ворота поставила на стол полные чашки кофе.

— Доброе утро.

— Разбудил?

— Я была у себя. Я тут раньше всех поднимаюсь. Чем занимался?

— Да ничем. С утра, перед тем как прийти, переписал стихотворение, которое вечером сочинил.

— Прочти мне?

— Нет.

Она как будто расстроилась.

— Я бы, наверно, тоже не захотела никому читать то, что написала.

Он прихлебывал, держа чашку обеими руками.

— Достаточно крепкий? — уточнила миссис Ричардс из кухонных дверей. — У меня тут банка растворимого.

— Нормально. — Черный кофе болтался в опустошенной сердцевине рта, теряя жар.

— А Бобби уже встал? — спросила миссис Ричардс уже из кухни.

— Я слышала, как он там ходит. А папа?

— Дай отцу поспать, солнышко. У него вчера был тяжелый день.

Джун спросила:

— Хочешь еще кофе?

Он потряс головой, и от этого горечь расползлась по ее желтым волосам, по цветам в латунных горшках, по пластмассовым ручкам шнура зеленых штор. Он улыбнулся и все проглотил.

* * *

Квартира 19-Б была открыта, заброшена и совершенно обыкновенна:

В кухне техника, на краю ванны коврик, постели не заправлены. И ни одной книги. Ну, зато здесь поселится мебель. Ножки мягкого кресла заревели в коридоре. Вот дурак, подумал он в отголосках. Надо было спросить, куда им всю эту мебель деть. Блядь!.. Наклонил кресло, чтобы пролезло в дверь.

Кресло ревело; матрас тахты шшшшшшипел на боку. Шкедт прислонил его к цветастому дивану и пошел назад за гардеробом.

Раскрылись двери обоих лифтов. Из одного вышел ветер, из другого — мистер Ричардс.

— О, здрасте. Я подумал, надо заглянуть перед уходом. — Галстук его, суровый и индиго, нырял в камвольные лацканы. — А куда вы деваете этот хлам?

Шкедт пошаркал ногами по сандалии и по виниловой плитке.

— Я… ну, я в соседнюю квартиру перетаскиваю.

Мистер Ричардс прошел мимо, заглянул в 19-Б.

— Особой разницы нет. — Оглянулся. — Да?

Они вместе зашли в 19-А.

— Я думаю, к вечеру все вынесу, мистер Ричардс. — Тот не возразил, и Шкедта попустило. — Потом все помою, полы и остальное. Будет красиво. Ей понравится. Я хорошо сделаю.

Мистер Ричардс нахмурился на дохлые лампочки.

— Если хотите, могу все снести в подвал. — Он расслабился и потому предложил, зная, что предложение отклонят.

— Только если вы хотите. — Мистер Ричардс вздохнул и вошел. Туфли кордовской кожи заскрипели по битому стеклу. Он опустил взгляд. — Не вижу нужды. Тащить все это в подвал. Я даже не знаю, что у нас там в подвале. — Не шевельнув ногой, он оглядел оставшуюся мебель. — Ей понравится. Да. — Вынул руку из кармана. — Надели бы вы другую сандалию, юноша. Ногу изрежете к чертям.

— Да, сэр.

Мистер Ричардс отступил от куч мусора, покачал головой.

— Мистер Ричардс?..

— Знаете, я вот думаю… — Мистер Ричардс пощупал воротник на толстой шее; некогда он, пожалуй, был человек грузный. — Переезд пойдет нам на пользу? На пользу Мэри? Вы как думаете? Вы ей, знаете, понравились. Это хорошо. Я все гадал, кого Эдна к нам пришлет. У нее бывают чудны́е друзья. И насчет вас я гадал, пока не разглядел под грязью. Но вы вроде приятный пацан. Вы как считаете?

— У вас внизу диковатые соседи.

— Думаете, если переехать сюда — поможет?

Он хотел было упрекнуть: мол, вы думаете, что нет. Но пожал плечами.

— Вы как думаете? Скажите. Мне сказать можно. Мы все в таком положении, что надо себя *заставлять* говорить честно. Мне это нелегко, я не отрицаю. Но вы попытайтесь.

— Почему вы остались в городе?

— Вы полагаете, она уедет? Нет уж, мы живем здесь; она не сможет. — И тут застрявший в нем вздох болезненно вырвался наружу. Мистер Ричардс поднес руки к ремню. — Знаете, в этом доме мне почти мерещится, будто все ненастоящее. Или очень тонкая скорлупа.

Хотелось поморщиться. Но Шкедт воздержался.

Честно, подумал он.

— Мэри живет в своем мире стряпни, уборки и детей. Я прихожу домой. И все какое-то… Не могу описать. Для мужчины дом… ну, он должен быть настоящим, прочным, тогда есть за что уцепиться. А у нас дома… я не знаю. Я прихожу из этого кошмарного мира в какую-то нигдешнюю страну, в которую сам не верю. А чем меньше я в нее верю, тем дальше она ускользает. Мэри всегда была женщиной странной; у нее не очень-то легкая жизнь. Она так старается быть… ну, культурной. Мы *оба* стараемся. Но все это… — Он кивнул на открытые балконные двери. Снаружи туман расползался туманными слоями. — У нее богатое воображение. О да, уж чего-чего, а этого не отнять. Это первое, что я в ней разглядел. Моя работа — она, ну, интересная. Но особо не требует, что называется, творчества. Во всяком случае, вам, наверно, так кажется. Но мы делаем дело. Однако мне *нравится* приходить домой к женщине, у которой водятся всякие идеи, она книжки читает и так далее. Но, — руки мистера Ричардса потирали бедра в поисках карманов, — внезапно понимаешь, что она превращает в свои идеи весь мир. Она теперь не выходит из дому; и кто ее упрекнет? А едва переступаешь порог

— все, ты в ее царстве.

— Она держит очень славный дом, — вставил Шкедт.

— О, и мало того. Она и всех нас держит. Мы все говорим для нее, вы заметили? Все, кто к нам приходит. Она излучает такую… ну, нервозность. Начинаешь соображать, какой реплики она ждет; и подаешь эту реплику. Поначалу — чтобы ее не огорчать. Затем по привычке. Не согласны?

— Я не… ну, не особо.

— Вы согласны — или просто сами собой подстроились. Раньше ей нравились сплошные музыканты. И внезапно всякий, кто приходил в гости, оказывался музыкантом или вспоминал, что в старших классах в оркестре играл, и так далее. И все бы ничего, но потом она зазвала кого-то играть какую-то камерную музыку… — Он поднял голову и рассмеялся. — Смешно получилось. Играли чудовищно. Мы с Мэри хохотали потом неделями. — Он снова опустил подбородок. — Но на этом с музыкой она завязала. А теперь… ну, она читает этого человека, про которого вы говорили…

— Эрнста Новика? — О новой встрече с ним Шкедт решил не упоминать.

— Точно. А тут вы. Было время, она пыталась за-

интересоваться инженерией. Я приводил домой кое-какую нашу молодежь. И их жен. Приводил тех, у которых водились идеи, — это она так говорила. Тоже недолго продлилось. — Он покачал головой. — Но она умудряется сделать так, чтобы все было, как ей охота. И это бы ладно, если бы я верил… верил, что все по-настоящему. Что если потрогать, все не посыплется, как яичная скорлупа, как штукатурка. Может, мне с Эдной поговорить? — Он улыбнулся; руки наконец отыскали карманы и в них утопли. — Может, дело во мне. — Он снова огляделся. — Надеюсь, переезд поможет.

— А миссис Ричардс счастлива?

— Недостаточно, на мой взгляд. У нас, знаете, был еще один… ну, это вас не касается. Не буду на вас вываливать. И так слишком разговорился.

— Это ничего.

— Лучше пойду. Надо в контору к десяти, потом на склад к полдвенадцатого.

— Эй, мистер Ричардс?

Тот обернулся в дверях.

— У вас письмо в почтовом ящике. Авиапочта.

— А! — кивнул мистер Ричардс. — Спасибо. — И удалился.

— …и, мистер Ричардс? — Ответа не после-

довало, и Шкедт вышел в коридор. Оба лифта закрыты.

Он сунул руку в карман и пощупал влажную мятую купюру. Тряхнул головой и поволок к двери комод. Проволок три фута и решил вытащить ящики.

Долго-долго он таскал мебель, а затем вышел на балкон. Над домом напротив завивался дым. Марево справа белело ярко, точно слоновая кость. Шкедт глянул вниз — в стекающемся мареве еле виднелась верхушка дерева.

Он перетащил оставшуюся крупную мебель; затем по два за раз перенес плетеные стулья. На последнем лежала тетрадь.

Он пощупал карман рубахи; может, сделать перерыв? Ручка заскользила под тканью. Он оглядел опустевшую комнату. В дверях ведро, швабра, коробка с мылом. Он поерзал зубами по зубам, взял тетрадь и сел.

Писал он медленно. То и дело вскидывал глаза на дверь и даже на окно. Восемь строк спустя убрал ручку в карман. И без того раздутую нижнюю костяшку левого среднего пальца этой ручкой натерло и расцарапало. Он зевнул, закрыл тетрадь и посидел, глядя, как потягивается и ежится туман. Потом швырнул тетрадь на пол,

встал и унес свой стул в 19-Б.

Он орудовал куском картона вместо совка и все, что намел, отнес в соседнюю квартиру. Свалил мусор в ящик бюро, другого места не найдя. Возвратился в кухню и загрохотал ведром в раковине. Вода хлынула в цинк, закружила мыло; грохот стих до рокота, что глохнул и глохнул в пене.

* * *

— Сама не знаю, что на меня нашло!

— Ничего страшного, мэм. Ну правда…

— Прямо не знаю, что со мной такое. Вот, держите…

— Все нормально, миссис Ричардс.

— Прямо в холодильнике. — Она распахнула дверцу. — Видите. Я приготовила. Честное слово.

На тарелке лежали три сэндвича — все три с дыркой в уголке.

Он засмеялся:

— Слушайте, да я верю.

— Я приготовила. Потом подумала, что пошлю наверх Джун и Бобби. А потом подумала: ой, нет, обедать-то еще рано; и убрала в холодильник. А потом, — она наполовину прикрыла дверцу, — забыла. Съешьте сейчас.

— Спасибо. Все в порядке. Я просто хотел сказать, что всю мебель вынес и вымыл две дальние комнаты и дальнюю ванную.

— Возьмите. — Она опять открыла холодильник. — Давайте. Заходите, поешьте. Ой! — Дверца захлопнулась, чуть не выбив тарелку у него из рук. — Кофе! Вы же хотите кофе. Я воду поставлю. Заходите. Я через минутку.

Может, она спятила (подумал он, входя в гостиную), как и вообще все тут.

Он сел на Г-образный диван, поставил тарелку на кофейный столик и один за другим приподнял уголки хлебных ломтей: арахисовое масло с желе, «Спам» с горчицей и?.. Он ткнул пальцем, лизнул: печеночный паштет.

Этот сэндвич он съел первым.

— Прошу! — Она поставила ему чашку, села на другую половину «Г» и тоже хлебнула кофе.

— Очень вкусно, — промямлил он с набитым ртом, демонстративно тряхнув сэндвичем.

Она еще отпила. А потом сказала:

— Знаете, чего я хочу?

– *Ммм?*

Она перевела взгляд на тетрадь на диване и кивнула:

— Я хочу, чтоб вы прочли мне свое стихотво-

рение.

Он проглотил кусок.

— Не, мне надо наверх, домыть полы. И в кухне прибраться. Можете собирать вещи, я вечером уже кое-что перенесу.

— Завтра! — вскричала она. — Ой, давайте завтра! Вы и так трудитесь не покладая рук. Прочтите мне стихотворение. И кроме того, у нас еще ничегошеньки не готово.

Он улыбнулся и возмечтал об убийстве.

И здесь, подумал он, это бы настолько проще сошло с рук…

— Вряд ли вам понравится.

Сложив руки на коленях, она подалась к нему:

— Ну пожалуйста.

Он перетащил тетрадь на колени (как будто прикрыться пытаюсь, подумал он. Убил бы).

— Ладно. — Что-то пощекотало испод бедра. Пот затек под цепочные путы. — Я прочту… — Он открыл тетрадь, откашлялся. — Это. — Вдохнул и посмотрел на бумагу. Очень жарко. Цепи натянулись поперек спины: он сутулился. Когда открыл рот, какой-то миг был уверен, что звука не раздастся.

Но стал читать.

В тишину комнаты ронял слово за словом.

Смысл отшелушивался от голоса, расщеплялся.

Звуки, из которых он складывал интонацию, киксовали. Ротовой механике недоставало ловкости — она не успевала за тем, что знал его глаз. Он читал слово за словом, с ужасной ясностью понимая, как *должно было* упасть предыдущее.

Разок кашлянул.

На одной фразе отпустило, полегчало. Затем, голосом закрыв запятую, лихорадочно подумал: зачем я выбрал это?! Надо было выбрать *любое*, только не это!

Он сипло прошептал последнюю строку и прижал руку к животу, давя крошечную боль. Еще несколько раз вдохнул поглубже и выпрямился. Рубаха на спине промокла насквозь.

— Какая прелесть.

Захотелось — и он не стал — смеяться.

— «…Потерян у тебя в глазу…» — переврала она цитату. Нет, перефразировала.

В животе опять сжалось.

— Да, мне очень понравилось.

Тут он дугой свел пальцы и сказал:

— Спасибо.

– *Вам* спасибо. Мне кажется…

Я так устал, что мне не до убийства, подумал он.

— …кажется, будто вы подарили мне частичку себя, великую драгоценность.

– *Эмх*. — Он неопределенно кивнул. Напряжение наконец вытолкнуло наружу смех. — Вам нравится просто потому, что вы меня знаете. — И с этим смехом отчасти вытекла усталость.

— Безусловно, — кивнула она. — Я в поэзии смыслю не больше Артура. Честно. Но я рада, что вы прочли. Доверия ради.

— А. — То, что в нем произошло, было еще страшнее возможности убийства. — О как? — Холодный металлический провод что-то прошивал крошечными стежками. — Я пойду домывать. — И он сдвинулся по дивану, готовясь подняться.

— Я очень рада, что вы прочли мне это стихотворение.

Поднялся.

— Ага. Запросто. Я рад, что… вам понравилось, — и кинулся к двери. Она закрылась за ним громко — вот чересчур. В коридоре, горя лицом, он подумал: она хотела еще что-то мне сказать! Что еще она хотела?.. Он побежал к лифту.

* * *

В 19-А он снова наполнил ведро, сбросил сандалию и похлюпал шваброй в мыле. Пена, косички

швабры и вода возвратили его на всевозможные пляжи. Он сердито тер шваброй, вспоминая волны.

Вода плескала на ноги. А когда наливал, была теплая. Каждый мазок смачивал плинтус все дальше.

Они меня кидают, подумал он и выкрутил швабру. Под распадающейся пеной чернела вода. Надо им сказать, думал он, что я это *знаю*. Хотя бы *спросить*, почему они не платят, сколько обещали. Обещали-то они, конечно, не мне. И мне даже деньги не нужны… Это рассердило его еще больше.

Переходя из комнаты в комнату, он залил водой еще несколько воображаемых пляжей.

У меня нет имени, думал он. С перепутанных косичек накатывали все новые и новые приливы. Эти штуки, которые я пишу, — они ничего не *описывают*. Это сложносоставные имена. Хоть бы она не поверила тому, что они говорят. Хоть бы она поверила только, что их говорил я. Где-то (в Японии? Да, точно…) я шел по пристани, и за спиной у меня были пришвартованы лодочки, и черные скалы уступили место песку. И все, даже песок, скользивший назад под ногами, было словно вдали, за много миль, как всегда бывало,

когда я уставал, когда я был совсем шкетом. С борта меня окликнул кто-то из парней. Как он меня окликнул? И как это я смог ответить?

Глаза жгло; он пошмыгал носом — пахнет моющим средством?

Или это дым сгустился? Он отер лицо манжетой.

В коридоре засмеялись люди; шаги. Закрылась дверь.

Набежали мурашки. Следующий удар сердца выбил из него дыхание; он задышал. Секунд десять спустя заметил, как крепко сжимает черенок швабры. Отложил ее на пол, подошел к открытой двери и посмотрел в… пустой коридор. Смотрел не меньше минуты.

Затем поднял швабру и опять взялся за работу.

Они меня кидают! — подумал он: хотел повторить уже знакомое. Интонация не та. От подуманных слов закололо кожу по всему телу.

Еще воды.

Руки, снова и снова погружаясь в воду, стали прозрачными — растворилась вся желтизна ороговелостей, плоть бела и неровна вокруг осколков ногтей и распухших костяшек. Проказа, ага. С неким, что ли, облегчением он вспомнил, как Ланья сосала его средний палец. Занятно, какие

штуки ей нравятся. Особенно — какие штуки ей нравятся в нем. Ее отсутствие озадачивало.

Плеща мыльной водой на вспомненные пески, он постарался наглючить себе ее лицо. Оно растворилось в воде. Он оттер балконный подоконник и задом пошел в комнату, вправо-влево маша косичками швабры.

Потребовать у них жалованье? Да! Видения подарков для Ланьи. Но ему не попадалось ни одного открытого магазина; ни *одного*! Они говорят о жалованье, размышлял он, а я — о почасовой оплате, просто чтоб я и дальше вкалывал?

Но мы *вообще* не говорили!

Пустая комната рта — гораздо больше комнаты. Он мыл пол и шатался, по щиколотки в языке, коленями стукаясь о зубы, и головой задевал влажные складки нёба, и хватался за нёбный язычок, чтобы не упасть. Опять нашлепал на пол воды — в глазах жжет — и локтем отер лицо; щеку пробороздила цепь. Энергии копались в механике его тела, ища, где бы учинить перемены. Ритм и мыльная слякоть выплескивали волны речи из мозга.

— Я живу во рту… — снова и снова бормотал он; заметил, едва умолк. Умолкнув, стал сильнее тереть водоворотный пол.

— А ты?..

Он захлопал глазами на Джун в дверях.

— …не принес?..

Он вопросительно хрюкнул.

— Ты говорил, что принесешь мне… фотографию… — Ее кулачок привычно ткнулся в подбородок.

— Чего? А я так понял, ты не…

Глаза ее забились в глазницах, банальные и одичалые. Потом она кинулась за дверь.

— Эй, слушай, извини! Мне показалось, тебе не… — думал было побежать за ней, цыкнул, потряс головой, не побежал и вздохнул.

В кухне он слил грязную воду из ведра, заменил чистой и постарался осушить наводнение.

Работал он методично. То и дело в омерзении фыркал или качал головой. В конце концов взялся подтирать собственные следы. Тщетно: только больше наследишь.

Балансируя на одной ноге в дверях, он нащупывал сандалию. Кожаная ткань и влажная плоть; с тем же успехом сандалию можно и выкинуть. Но ремешок скользнул в пряжку. Он подобрал тетрадь и защелкал сандалией к лифту.

Спустя полминуты дверь лифта открылась (из соседней, куда не хотелось смотреть, зашелестел

ветер); он вошел. Мысль, когда он припомнил ее позднее, так и не обнаружила своих корней:

Он не нажал семнадцать.

Под отпадающим пальцем в падающей кабине горело «16».

4

Звонка на двери не было.

Глазок закрывала изнутри ткань или бумага.

Стиснув челюсти, он постучал; стиснул крепче, услышав внутри копошение.

Дверь распахнулась.

— Ага? — (Скворчало кипящее масло.)

Мужчина в майке, из-за его спины вышла девушка — черты растеклись до силуэта на фоне керосиновой лампы на стене.

— Чё хошь? — вопросил мужчина. — Пожрать хошь? Заходи. Чё хошь?

— Да не, я просто… короче. — Он заставил себя улыбнуться и перешагнул порог. — Хотел глянуть, кто тут живет.

— Если хочешь поесть, можешь поесть. — Девушка отдрейфовала назад и поймала свет скулой.

На железных двухъярусных койках у стены кто-то спал. На матрасах на полу сидели мужчины. Свет лампы отбрасывал от них влево четкую черноту.

За спиной у Шкедта затворилась дверь. Когда хлопнула, голову поднял лишь один человек.

К стене привалился мотоцикл с люминесцентным бензобаком. В углу стоял портновский манекен, забрызганный красной краской, со свернутым набок куполом и весь обмотанный витками масляной цепи (но совсем не такой, какую Шкедт носил под рубахой и штанами).

— Я работаю на жильцов сверху. Интересно стало, кто тут у вас. — Воняло затхло, а запах стряпни на миг напомнил киоск с жаренкой на набережной Каракаса, где он не смог доесть. — Я поэтому спустился.

Где-то умолк шум воды. Истекая влагой со светлых волос на плечи, в комнату нагишом вошел мальчик, подобрал черные джинсы. Поблескивая, замер на одной ноге. Глянул на Шкедта, улыбнулся; затем его ступня — бурсит, кривые пальцы, длиннющая лодыжка (трижды обернутая собачьим строгим ошейником) — нырнула в джинсу.

— На жильцов сверху? — Мужчина с усмешкой потряс головой. — Те еще гуси, небось, — нам сюда долетает. Что они там вечно друг с другом делают? Эй, а пыхнуть хошь? Слышь, Кумара, притарань нашему другу дунуть. И мне притарань. — Девушка удалилась. — Ты как по шмали-то, чувак?

Шкедт пожал плечами:

— Вполне.

— Ну а то. Я и подумал, что по тебе заметно. — Мужчина ухмыльнулся и большими пальцами уцепился за пояс джинсов без ремня; на основных фалангах вытатуировано «друг» и «враг». Между большим и указательным на левой руке — большая красная «13». — Оттуда такой гвалт; он что, ночью ее побил?

— Чего? — переспросил Шкедт. — Я думал, это вы тут галдите.

Кто-то сказал:

— Ой, ты чё, там еще рыдали всяко-разно и что-то грохало.

А еще кто-то:

— Слышь, Тринадцать, отсюда наверх тоже, небось, странная фигня прилетает.

Второй голос был знакомый. Шкедт поискал источник.

На нижней койке, в тени, сидел разносчик газет Жуакин Фауст — и теперь он приветственно воздел палец:

— Как оно, шкет?

Шкедт оторопело ему улыбнулся.

В койке, на которой сидел Фауст, кто-то лежал.

Кумара притаранила стеклянную бутыль с пластиковым шлангом и латунной чашкой в

резиновой крышке.

Тринадцать все это у нее забрал.

— Бульбулятор, ёпта, — и вот казалось бы, что стоит воды в него налить, или вина, или хоть чего. Тоже мило, меж прочим. Ликер какой мятный. — Он тряхнул головой. — Ни у кого минутки лишней не найдется. — Он чиркнул спичкой по стене. — Хар-роший у нас гаш. — И поджал губы на шланге. Пламя над латунью внезапно перекувырнулось. В бутылке заклубилась серость. — Валяй! — губами сложил он, втянув подбородок.

Шкедт взялся за теплое стекло и всосал сладкий бледный дым.

Воздушная дуга под грудиной затвердела: дыхание задержано, нёбо напряжено, спустя секунд десять на пояснице проступил пот.

— Пасиб!.. — Дым вырвался из носа.

Бонг откочевал к остальным.

— И чё у тебя там за работа?

— Эй, Тринадцать, он жрать-то будет? — окликнул кто-то из кухни.

Через дверь Шкедт разглядел эмалированную плиту в жженых зализах.

Мальчик из душа наклонился застегнуть сапоги.

— Секунду, ща помогу. — Заправил штаны в голенища и выпрямился. Почесывая мокрый живот, забрел внутрь и спросил: — Так что у тебя там за говно?

— Я им мебель двигаю, — сказал Шкедт. — Тринадцать — это ты?

Тринадцать воздел татуированную руку, щелкнул пальцами.

— А то. Пошли, заходи, присядь. — Девушка с бонгом перешла к Тринадцати, и тот протянул бонг Шкедту. — И дунь-ка еще.

Шкедт опять вобрал полную грудь и отдал бонг тому, кто проходил мимо.

Не выдыхая, оглядел зеркало на стене, приставной столик с мятой мебельной салфеткой, оставшейся от предыдущих жильцов. Выкашлял:

— А, — взрывным от дыма, — давно вы тут окопались, народ?

Дверной глазок прикрывала фотография в рамочке — мать, отец и трое детей в старомодных матросских костюмчиках; стекло пошло трещинами.

– *Ниш…* — Тринадцать тоже взорвался дымом, — …тяк. Это в коридоре кто-то бросил, слышь?

Шкедт кивнул.

Тринадцать продолжал:

— Я тут пару недель всего. В смысле, на *этом* флэту. Сюда вечно завалится кто, потом свалит, потом еще кто завалится. Я даже не помню, сколько я уже в городе. Может, не первый месяц. Клево. А ты?

— Несколько дней. — И он снова глянул на Фауста.

Фауст сверлил глазами силуэт по одеялом.

Тринадцать тоже посмотрел, покачал головой:

— Хреново ей, слышь? Инфекция какая-то, что ли. Может, конечно, и чума бубонная, хер знает. — Он пихнул Шкедта локтем. — Пока ты здоровый, в Беллоне кайф. Только вот врачей никаких нету, да?

— М-да. Фигово.

Из кухни:

— Ты чего в это говно добавлял?

— Кончай нудеть, а? Тут половина вчерашняя.

— То есть половиной я точно не отравлюсь.

— На, *сделай* что-нибудь, а? Ототри вот. — Кухонный нож заскреб по металлу.

— Раньше тут одни скорпионы были. — Тринадцать кивнул на койку. — Она тогда и пришла — к ним захотела. Да и пожалуйста — ты, главное, смоги. С парнями тоже такая хренотень бывает.

А теперь у нее инфекция… Ну или что там.

Вернулась Кумара с обезвоженным бонгом, выжидательно встала подле Тринадцати.

Шкедт взял бонг, пососал; Тринадцать одобрительно кивнул.

— А… вы… народ… тоже?.. — В промежутках между словами Шкедт пускал дымные струйки.

— Скорпионы? Ёпта, нет. Ну, так. — Тринадцать скривил лицо и уместным манером покрутил рукой. — Я больше никогда и ни за что; и вон Денни тоже, — он большим пальцем ткнул в мальчика из душа, проходившего мимо кухонной двери, — от дел, можно сказать, отошел.

А этот, значит, Денни, подумал Шкедт.

Тринадцать взял бонг, пососал и зашелся кашлем.

— Оклемается? — спросил Шкедт, подойдя к койке.

Фауст уклончиво поерзал губами в глубинах бороды.

— Хорошо бы кто о девочке позаботился. — И он помял свое бордовое потертое колено.

Она она она

— Она спит? — спит спит. Уже накрывал гаш. Спит.

Оливковый пейзаж, го́ры плеча и бедра не

шевелились.

Там никого. Подушки?

Фауст подвинулся, уступив ему место.

Шкедт сел на край постели, согретый Фаустом.

— А что, врача *вообще* нет во всем городе? — по всему городу, городу?

По лицу Фауста ползали морщины.

— Если и есть, эти сучьи дети не в курсе. Не пойму, что делать. Пускай спит? Или покормить ее?

— Сильно, видать, устала, если такой галдеж может продрыхнуть, — заметил Тринадцать. Кумара подошла, вручила бонг Фаусту; тот зажмурил морщинистые веки, когда вдыхал. Когда вды. Когда.

— Может, — предложил Шкедт, — пускай лучше поспит. Отложите еды — поест, когда проснется, — снется, снется.

— Вот, Жуакин, — Тринадцать потряс татуированным пальцем. — Сразу видно — мозги при деле. Мозгов у нас тут недостача… Ёпта! — И, отворачиваясь, потряс головой.

— Может быть, — кивнул Фауст.

Шкедт не понял, Фауст или гашиш затуманили смысл.

— Держи.

Он поднял голову, ища бонг. Бонг. Блюдо? Блюдо

с. Перед ним стоял Денни — лицо и грудь еще мокрые, тарелка в белой, ванно-сморщенной руке.

— Ой, спасибо.

Другую тарелку забрал Фауст.

— Вилки нету? — спросил Денни.

— Не-а. — На тарелке рис, и лук, и стручковая фасоль, и еще кукуруза. — Спасибо. — Поднял голову и взял вилку. Вода торила тропу по белому плечу, мерцала на груди в юношеской волосне, испещренной прыщами.

Тринадцать сказал:

— Надо людям *пищу* давать, слышь? Мы ж мирные люди. — У него за спиной, подставив тарелку под самый подбородок, жадно ела Кумара.

Мясо в тарелке тоже было. Гашиш выманил из жира грани вкуса, отчего преобразился аромат. Шкедт приступил. А это у нас… орехи? Нет. Хрустящая картошка. Разные вкусы зашатались во рту, и тут приглушенный мужской голос что-то вроде бы сказал? Что-то вроде «Перестань! А ну перестань!» — и женский вой пронзительностью сровнялся с металлическим лязгом.

Шкедт заозирался, гадая, где эти люди — в какой комнате.

Фауст глянул на потолок.

И Тринадцать тоже.

— Слыхал? Я о том и говорю. — Он цыкнул и покачал головой. — Во их там колбасит.

Вой, уже сбивавшийся на рыдания, исторгала либо Джун, либо миссис Ричардс. Шкедт раньше не понимал имал мал, до чего похожи у них голоса.

Хмурясь, он еще пожевал жирного рису (жир бекона? Бекон — точно) и послушал, как вилки дзынькают по жести.

Денни ел, сидя на матрасе, на полу, спиной к Шкедту; круглые шишки позвонков исчезли под пшеничными волосами, которые высохли, посветлели, закурчавились.

Тринадцать вышел из кухни на стук в дверь.

— Эй, Кошмар пришел! — Тринадцать попятился, наступив на собственную внезапную тень. — Ты, дорогой, как раз к гашишу! И сожри что-нибудь на десерт.

Она и сияющий призрак в дверях исчезли.

— Заходи. — Тринадцать снова шагнул назад. — Чем тебя порадовать?

Дзыньканье смолкло.

— Я ищу, бля, — Кошмар вошел, побрякивая, — кому тут охота с нами в набег. — Он спихнул с плеча колтунную косу; ладонь задержалась помассировать раздутый мускул под царапинами,

щадя эту руку. — Тебя, Тринадцать, я даже не спрашиваю. У тебя очко играет. — Он кивнул на Фауста: — Она что, бля, так и не встала?

Фауст пихнул рис на вилке куда-то в бороду и помотал головой.

Тринадцать отступил и подпер один дверной косяк, Кумара — другой.

Кошмар вошел между ними. Его губы бросили ощупывать сломанный зуб, а лицо скривилось в некоем подобии беспокойства. Потом он тряхнул головой.

Сколько разных смыслов может быть упаковано в один жест, подумал Шкедт. Мысль булавкой ткнула в запинающееся, заблудившее… ся… сознание. Кошмар — глаза у него были серо-зеленые, как мокрая-мокрая глина, — посмотрел на него. И сморгнул.

— Опять вылупился. Зубочистками веки подпираешь? — Кошмар скривился. — И так всякий раз, когда я тебя вижу. То есть дважды. Мне не по кайфу.

Опешив, Шкедт перевел взгляд на тарелку.

– *Делать* я ничего не буду, — продолжал Кошмар. — Просто сообщаю, что мне не по кайфу, понял? Я люблю, чтоб все было ясно.

Шкедт опять на него посмотрел.

Кошмар рассмеялся — что-то краткое и округлое случилось у него в носу.

— Так, всё. Кто хочет в набег, хуесосы? Эй, Денни, на шею надень что-нибудь и пошли.

— Я еще не доел, — ответил Денни с пола.

Кошмар заворчал и переступил через него. Денни пригнулся.

— Это чё — вкусно?

Шкедт замялся в блистающих пеленах ясности. Затем протянул тарелку с вилкой и посмотрел, как Кошмар с опаской решил принять вызов.

Скорпион сжал вилку в кулаке, подцепил варево, кое-что уронил и, облепив губы зернами и не вынимая вилки изо рта, пожевал. Еще жуя, ухмыльнулся:

— Эй, ничё так.

Он вернул Шкедту вилку, и тут Тринадцать надорвал нити напряжения, которые под гашем опутали комнату почти зримо.

— Ну так ты б, может, тарелку взял? Давай, Кошмар, я принесу. Эй, — он обернулся к Кумаре, — дай ему гаша, а я еды притащу.

Кошмар сел на постель между Фаустом и Шкедтом — нога прижалась к Шкедтовой, плечо — к его плечу. Позади них фигура под одеялом не шелохнулась. Кошмар пососал бонг. И вместе с

дымом изверг:

— Ну чё, шкет, рассказывай, чё ты вечно ищешь.

— Да он улетел выше флагштока на BTC. — Тринадцать вручил Кошмару жестяную тарелку и ложку. — Я его подкуриваю весь вечер. Вот чё ты его грузишь?

Тарелку Кошмар взял, но ложкой отмахнулся от Тринадцати:

— Не, я ж по дружбе. Я этого шкета знаю, мы знакомы с…

Фауст, доев рис до последнего зернышка, внезапно поставил тарелку на пол, встал, подобрал свои газеты и направился к двери.

— Эй, а *ты* куда намылился? — спросил Кошмар.

— Спасибо за ужин, — буркнул Фауст Тринадцати, не сбавив шага.

— Эй, мудачина, бывай! — взревел Кошмар в ледяной кильватер.

Дверь перед Фаустом распахнулась.

— До сви*дания*! — Кошмар замахнулся; дверь грохнула; запущенная ложка брякнула о рамку фотографии.

Фотография закачалась.

Кошмар засмеялся. Паяльник его веселья рас-

топил весь лед.

Тринадцать, поначалу с сомнением, а затем с полногрудой хрипотцой, засмеялся вместе с ним.

— Ложку мне кинь, блядь! — провыл Кошмар в промежутках между смеховыми селями.

Тринадцать сделал подачу снизу.

— Ну, Кумара, а чё старик такой расстроенный? Спятил, а? — и посмотрел через плечо, как Кумара кивком подтвердила гипотезу.

Кошмар поймал ложку и склонился к Шкедту:

— У него, знаешь, не все дома. Думает, это я покоцал шмару. — Он ложкой указал на холм под одеялом. — А это не я. Сама подставилась, драка была честная. Меня там даже не было. Ёпта. — Он закинул риса в рот. — Знаешь чё… — Посыпались зернышки: ему на запястье, на джинсы, на исцарапанный паркет. — У нас есть сучьи дети, которые вообще никаких девок в нашем деле не хотят. — Он сверху вниз проткнул воздух ложкой. — Пускай, мол, не суются! Не лезут пусть! Только испохабят всё! — Злобно лыбясь, он оглядел комнату, где люди подпирали стены, сидели на матрасах и на других койках. Трое из дюжины — девчонки, отметил Шкедт; но свет лампы был резок и щедр на тени. Кошмаровы глиняные глаза метнулись обратно, поймали его

взгляд. — А потом пара шмар сговорились и братков *отметелили*!.. — Он распрямился, толстые руки затряслись. С тарелки снова посыпалась еда. — Ну а я же босс, я говорю: добро пожаловать, дамы, делайте что хотите! Да меня с десяти лет суки кормили, ёпта, уж кому и знать, на что они способны. — Он снова подался вперед, расплющив плечо тяжеловеса на Шкедтовом плече, и заговорщицки прошептал: — И если коленом по яйцам дать, шмара подольше продержится. — Это он счел ужасно смешным и снова заржал. — Полезно, если они за тебя. — Он опять набил рот и широко взмахнул ложкой; посыпались зернышки. — Превосходная жрачка! — с набитым ртом произнес он. — Превосходнейшая! Кто из вас, прекрасные юные дамы, за нее в ответе? — И покрутил склоненной головой, преувеличенно изображая вежливость.

Полная девушка в синем свитере, стоявшая подле манекена, ответила:

— Парни готовили… Денни помогал.

— Эй, Денни! — Кошмар дернул подбородочком-бумерангом.

Денни, жуя, поднял голову.

— Ща как запущу этой ебаниной! — Кошмар рывком занес тарелку.

Шкедт шарахнулся вбок. Но Кошмар поставил тарелку на колени и засмеялся, громко и влажно.

Денни и бровью не повел.

— Люди очень смешные, — объявил Кошмар, успокоившись, и кивнул, забросив в рот еще. — У дам тоже все непросто было. — Он большим пальцем постучал по грудине, между дребезжащих звеньев цепи. — Да и у меня. У нас такие братки есть, им, если кто *не* белый, ни в *какую* такого не надо.

Шкедт снова оглядел комнату; вроде все белые.

Кошмар заметил и поднял палец:

— Ты по этим-то не суди. Тринадцать у нас тут заведует Приютом для Обездоленных и Бедствующих Торчков «Белая Лилия»; но настоящее братство — оно гораздо темнее оттенком.

— Да *пошел* ты, Кошмар, — сказал Тринадцать из дверей. — Вот зачем ты так? У нас тут и негры есть. Был этот… — и он защелкал татуированными пальцами, — как его?

Кошмар помахал рукой:

— Символически! Чисто символически. — Ногти на мясистой руке были чересчур длинны и увенчаны черным, как у автомеханика. — Я-то белый, — уголком рта пояснил он Шкедту, — по-

тому эти вот расистские сволочи и пускают меня личный состав пополнять. Короче, уроды, я бы приходил, даже если б черен был, как Джордж! И *буду* приходить, пока обе луны с неба не загремят и солнце не покатится задом наперед! — Он уставился на Шкедта в упор. — Но кого-то залучаем — хотя эти обдолбыши скорее муди себе отрежут, чем признаются, что *некоторым* жить там и быть скорпионом *кайфовее*, чем болтаться говном в этой поведенческой клоаке. — Рука его, так и зависшая в воздухе, поймала за краешек уползающую с колен тарелку. — Да, пришлось дамам кой-кому по головам настучать. — Он оглянулся на фигуру под одеялом: — И кой-кому из дам *тоже* настучали по голове. Ну и я кой-кому по головам настучал, нынешний мой статус заработал — и хотя сейчас я *вполне* доволен своим положением в обществе, не удивлюсь, если рано или поздно по голове настучат *мне*. — Он повернулся — темные волосы путаным мотком упали с плеча — и скроил гримасу. — Сестринство… Братство — *мощнейшая* штука, браток! — Кривясь, покачал головой. — Мощнейшая. Эй? — опять к Денни. — Денни, пойдешь? Ты нам сегодня пригодишься. С тобой ничё так, пацан.

— Не знаю. — Денни не обернулся. — Дай по-

жрать, а?

Кошмар снова засмеялся, оглядел комнату:

— Он пойдет. Ну ты подумай. Эта мелочь пузатая пойдет! Да я, пожалуй, больше никого тут и не *возьму*. Хуесосы. Денни? С нами ходить неплохо, да? Ты скажи им.

— Ага, — сказал Денни с полным ртом и сглотнул. — С ними неплохо, ну?

— Вот видишь? *Эти* уебки считают, я хочу быть такой маргариткой среди черных орхидей… — И тише: — Хотя цветиков нежных у нас тоже пара-тройка наберется; никакого с ними геморроя. Но поскольку босс тут я, беру всех, кто хочет и шарит. — Он кивнул Шкедту: — Даже тебя возьму, а ты ж не ниггер… а кто ты у нас есть? — Он отстранился, сощурился и поднял руку, точно художник перед холстом: — Индеец-полукровка по… отцу? Темновато здесь, конечно…

Шкедт ухмыльнулся:

— По матери.

Кошмар ухмыльнулся в ответ, пожал плечами:

— Короче, все равно ты помясистее большинства этих прискорбных скоростных обдолбосов.

Из дальнего угла донесся раздраженный смешок. Тринадцать сказал:

— Кошмар, вот *чего* ты вечно докапываешься?

И расисты мы, и шовинисты, еще и аперы в придачу. Я вообще не помню, когда у нас тут был фен в последний раз.

Кошмар в восторге подпрыгнул на койке, прижимая запястье ко лбу а-ля девица в расстройстве чувств:

— Я! — фальцетом. — Я? — еще выше тоном. — Я, докапываюсь до *фена*? Да я жду, когда вы, свиньи шовинистские, раздобудете *еще*!

Кумара сказала:

— Этот латинос белобрысый давно уже не заходил… Интересно, вообще-то, куда подевался.

Кто-то еще сказал:

— Небось, он весь город и сжег.

Тринадцать снова засмеялся, двинулся по комнате, смеясь. Другие тоже зашевелились.

Кошмар опять повернулся к Шкедту:

— Тебе как эта мысль? Со скорпионами побегать? — Он, видимо, счел, что это смешно; загоготал, зафыркал, затряс головой и кулаком смахнул рисинки с подбородка. — Я когда тебя в тот раз видел, у тебя хорошая была орхидея, блестящая. Чё на реальной-то садовой вечерине делать будешь, а, шкет? — Еще две ложки — и Кошмарова тарелка опустела. Он придержал ее щепотями и уронил на пол, раздвинув колени. —

Ты про это подумай. Может, ты того и искал, а? Вот давай я тебе кой-чего скажу. — Он пошарил на шее среди цепей, предъявил тонкую медную, с круглыми и треугольными стеклышками, позвенел. — Дурак ты — на виду свои носить, шкет. — Стекло мерцало, резало глаза в белом свете лампы.

Почему почему

— Почему? Ты же носишь на шее, — шь на шее наш ее е. Он и не заметил, что рубаха у него наполовину расстегнута.

— Ты пасть закрой и послушай меня. Вот возьми Кумару. Я точно знаю, что у нее тоже есть. Но *она* же не вытаскивает и в нос тебе не сует.

— Ну, — сказал Шкедт, — я так понял, если два человека друг у друга видели… вот это… короче, они как бы друг другу доверяют, да? Потому как… знают что-то друг про друга. — Интересно, мадам Браун уже пришла наверх ужинать?

Кошмар нахмурился:

— Ты глянь, а у него, оказывается, мозги имеются. — Он посмотрел на Тринадцать. — Шкет-то не совсем тупой. Но я тебе вот чё скажу: ты смотришь на них и чё-то знаешь обо мне. Я смотрю — и чё-то знаю о тебе. Ну и чё мы будем делать с тем, что знаем? А я тебе скажу, чё мы сделаем.

Ты, как я отвернусь, самым длинным, самым острым ножиком своей орхидеи тыкнешь прям между вот этим ребром и вот этим. — Палец его вдруг ткнул вдруг крутнул в друг нул уг Шкедта в бок. — И ты даже не думай: я то же самое с тобой сделаю. Так что я никому не доверяю, если это вижу. — Он поджал губы в свиное рыльце и кивнул, изображая мудрую старушку. — Вон, ты на Денни посмотри!

Денни доел и отошел к манекену. Снял с него тяжелую петлю цепи, намотал темные звенья себе на шею.

— Я ж говорил, что Денни со мной пойдет. Ладно, браток. Ты в курсе где, в курсе когда. Валю-ка я из этого дурдома. Надо еще поохотиться. — Он встал и затопотал по матрасам. — Я так и думал, что ты выручишь, Денни. Эй? — Он нахмурился Тринадцати. — Сделай с ней что-нибудь, — и указал на койку.

— Ага, само собой. — Тринадцать открыл ему дверь. Закрыв, оглянулся на Денни. Кумара у его плеча тревожно заморгала.

— Эй, слышь, — медленно промолвил Тринадцать после долгих секунд молчания, — ты чё, опять за старое?

Денни обернул шею еще одним витком цепи.

Она загремела по предыдущему витку.

Тринадцать всплеснул руками и крякнул.

— Денни, ну кончай, я думал, ты туда больше не лезешь. Ладно, ладно. На свою жопу беды ищешь.

Наверху смеялась женщина, и смех нарастал, мех нарастал, смех. «Перестань! Перестань, слышишь? — резким голосом мистера Ричардса. — Ну-ка перестань», — стань, мех нарастал стал.

— Слушай, я пойду еще поработаю. — Шкедт поднялся. — Спасибо, что покормил. И подкурил. Хороший гаш.

Денни надел следующий виток, а Тринадцать сказал:

— А, ну да, само собой. — Он, похоже, огорчился, что Шкедт уходит, как постоянно огорчалась миссис Ричардс. — Заходи опять, пыхни. На Кошмара не обращай внимания. Он псих, вот и все дела.

— Не вопрос. — Шкедт подошел к двери, открыл.

Остановил его стон за спиной; неуверенный, не окрашенный голосом. Шкедт начал было поворачиваться, но взглядом зацепился за зеркало. И в нем увидел почти всю комнату.

Она на локтях приподнялась на койке, где он

только что сидел. Одеяло соскользнуло, и показалось лицо, мокрое, как у Денни из ванной. Опухшее, в синяках. По вискам сочилась лихорадка, но звук из покачнувшегося тела был суше сухой бумаги.

Она поморгала шарами алого стекла.

Дверь поаплодировала ему вслед. Пробежав десять шагов, он выдохнул. Потом снова втянул воздух, зайдясь хрипом то ли рыдания, то ли смех а мех ры меха дания ха.

* * *

— Извините.

— Да?

— Пастор Тейлор?

— Что вам угодно?

На полке позади стола крутились бобины. Органная музыка вкрадывалась в сумрачный кабинет.

— Я… в общем, мне тут сказали, у вас можно взять картинки… плакаты. С Джорджем, — объяснил он. — Харрисоном.

— А, ну разумеется. — Оттолкнувшись от стола, она одарила его, который обнимался со своей тетрадкой в вестибюле церкви, милостивой улыбкой и неловкостью крайней степени. — Там

защелка есть — откройте сами.

Он бедром толкнул дверцу высотой до пояса. Босая нога оторвалась от плитки и встала на ковер. Он оглядел стены; но они были увешаны полками. Доску объявлений покрывал сланец афиш и памфлетов.

Плакат сняли.

— Какой вам портрет? — Она открыла широкий верхний ящик.

Он шагнул ближе; ящик был набит фотографиями топорного черного лица восемь на десять. Пастор Тейлор встала и растасовала кипу случайных снимков поверх других снимков.

— У нас шесть разных. Очень удачные. Боюсь только, они у меня не рассортированы. Пришлось просто свалить в ящик. Ну-ка поглядим, может, наберем колоду…

— А. Я-то думал…

Она бросила свое занятие, не сняв улыбки с лица.

На фотографиях в ящике — только голова.

— Не. — Его совершенно обуяло смущение. — У вас, мэм, наверно, нет тех, которые я ищу. Мне один человек сказал, что взял у вас, и, видимо… короче, извините…

— Но вы же сказали «плакаты», нет? — При-

мечанием к собственной недогадливости она закрыла ящик и глаза. — А, плакаты, ну конечно! — Она обогнула стол; носки туфель пинали подол сутаны изнутри. — У нас есть два. После статьи мистера Калкинза про луну готовится третий.

У стола стояли картонные коробки с портфолио размером. Пастор Тейлор потянула одну за клапан.

— Вы хотели это?

— Вот правда, вряд ли у вас есть…

Голый и с привставшим членом, одной ладонью обняв яйца, Харрисон привалился к какому-то толстому дереву. Нижние ветви клонились под грузом листвы. Черная собака позади Харрисона — вполне возможно, Мюриэл — сидела на палых листьях, вывалив расплывшийся в расфокусе язык. Закат сыпал бронзу сквозь коричневое и зеленое.

— Снимали с задником, у нас в подвале церкви, — сказала пастор. — Но, по-моему, неплохо получилось. Вы хотели этот?

— Нет… — ответил он слишком тихо и слишком поспешно.

— Тогда, значит, *этот*.

И она метнула пачку на стол.

— Ага… да. Точно, — и все равно воспоминание ошеломило.

Она отшелушила плакат от его брата-близнеца и принялась скатывать в трубочку.

— Ну, очевидно. Пока не напечатают новые, — (куртка, гениталии, колени, сапоги и багряный фон всползали в белую трубку, вертевшуюся в темных пальцах), — других у нас нет. Держите. Я вам резинку дам. — И она шагнула к столу.

— Слышьте, — сказал он, смятенное изумление заслоняя агрессивной глупостью, — а почему у вас… — Он осекся, поскольку вопрос внятно и недвусмысленно перебила идея попросить и другой плакат. — Почему у вас тут такое? Почему вы это раздаете?

Лишь позднее он сообразил, что, вероятно, ее простодушное удивление изображалось с таким же расчетом обезоружить, как и его простодушие. Опамятовавшись, она ответила:

— Они очень популярны. Мы не хотим отставать от времени, плакаты пользуются спросом… и нам их напечатали бесплатно — видимо, в основном поэтому. Тот, первый, расходится очень хорошо. А этот, — она указала на плакат у него в руках, — не так востребован.

— Да?

Она кивнула.

— Не, я спрашиваю, почему…

Она взяла со стола резинку и раздвинула пальцами, примериваясь надеть на бумажную трубку. Пальцы, стянутые резинкой, на миг напомнили его орхидею. С расстановкой, словно что-то окончательно про него решив, пастор произнесла:

— В этом городе бедняки — а в Беллоне это в основном черные — *всегда* были обделены. А теперь обделены еще больше. — Она посмотрела на него, и в ее взгляде он узнал просьбу о том, чего и назвать-то не умел. — Мы обязаны дать им, — она потянулась к плакату, — хоть что-то. — Красная резинка щелкнула по трубке. — Мы обязаны. — Она сложила руки. — В прошлую нашу встречу я подумала, что вы черный. Ну, вы же смуглый. Но я уже подозреваю, что нет. Приглашение на службу все равно в силе. — И она вновь просияла. — Постараетесь?

— Ой. Ну да. — Он махнул плакатом; он и раньше догадывался, что на службу не придет. А сейчас решил не возвращаться сюда больше никогда. — Конечно. Сколько я вам должен за… это? — Рука в кармане ощупывала мятую купюру.

— Бесплатно, — ответила она. — Как и все прочее.

Он сказал:

— А, — но рука не выпустила влажную бумажку.

В вестибюле он обогнул коренастую черную женщину в темном пальто, слишком плотном для такой жары. Она подозрительно поморгала на него из-под черной шляпки, прижала к груди пакет и пошла дальше к кабинету. Наслушавшись сначала Кошмара, а теперь вот пастора Тейлор, он гадал, куда же провалились все беллонские черные — ему их попадалось всего ничего. С плакатом под мышкой он поспешно нырнул в вечер.

* * *

— Здрасте! — сказала миссис Ричардс; глаза распахнуты и сонны. Рука сжимает ворот халата. — Заходите, Шкедт. Заходите. Я не поняла, куда вы вчера подевались. Мы ждали, что вы спуститесь к нам. Поужинаете.

— Ой. Ну, я когда закончил, подумал… — Он пожал плечами и вошел. — А кофе у вас сегодня есть?

Она кивнула и ушла в кухню. Он зашагал следом, и тетрадь захлопала его по ноге. Миссис Ричардс сказала:

— Вы так исчезли — я подумала, что-то случилось. Я подумала, вдруг вы больше не придете.

Он засмеялся:

— Я просто заканчивал наверху. А потом вернулся в парк. Вы же не обязаны меня кормить. Я работаю. Вы мне платите то, о чем договорились с миссис Браун. И нормально.

— Ну конечно, — отозвалась она с кухни.

Он вошел в столовую и сел.

— В смысле, кофе. И сэндвич, и вы меня в ванную пускаете, и всякое. Очень любезно. Спасибо. Но не надо так беспокоиться. — Он говорил слишком громко. Теперь тише: — Хорошо?

В дверях возникла Джун в розовых брюках и бледно-голубом свитере с аппликацией птицы у горла.

— Эй, — выпалил он. — Я тебе кое-что принес. Наверху, в девятнадцатой.

— Что… — спохватилась и одними губами повторила: — *Что* там?

Он ухмыльнулся и большим пальцем ткнул в потолок.

Джун опешила. Потом крикнула:

— Мам, я помогу с кофе.

— Да ничего, деточка. — Вошла миссис Ричардс — на подносе чашки и кофейник. — Если хочешь,

возьми себе чашку. Но, солнышко? — Она поставила поднос. — Ты не *слишком* увлекаешься кофе?

— Ой, ну мам! — Джун прошагала в кухню и вернулась с чашкой.

Ему нравилось ладонями обнимать теплеющий фарфор, пока туда льется кофе.

— Я тут, знаете, сделала кое-что — может, зря. — Миссис Ричардс поставила кофейник и заговорила осторожно. — Я сейчас принесу.

Он глотнул и пожалел, что кофе растворимый. Мысли обратились к некоему безымянному участку калифорнийского побережья, устланному ржавью чешуек секвойной коры, к аромату сваренного кофе, и белое солнце мастерило из древесных крон серебристую игольницу, и туман обволакивал худосочные стволы…

— Вот. — Миссис Ричардс вернулась и села. — Надеюсь, вы не против.

Джун, отметил он, в подражание ему тоже пыталась обнять чашку ладонями.

— Это что?

На голубой почтовой бумаге в рамочке миссис Ричардс черными каллиграфическими буквами выписала его стихотворение.

— Я там, наверно, ошибок насажала, я пони-

маю.

Он дочитал и уставился на нее в растерянности:

— Как вам это удалось?

— Оно мне запомнилось очень ясно.

— Целиком?

— Там же только восемь строчек. Застревает в голове накрепко. Тем более что оно ведь нерифмованное. Я где-нибудь страшно ошиблась?

— Запятую пропустили. — Он толкнул листок к ней по столу и показал.

Она посмотрела:

— Ой, точно.

— Вы вот так взяли и его выучили?

— Не могла выкинуть из головы. Это же не страшно?

– *Э-э*… очень красиво получилось. — Он попытался распознать тепло внутри: не смущение, не гордость, не страх, так что имени оно не обрело.

— Возьмите себе. — Она выпрямилась. — Положите в тетрадку. Я, понимаете, сделала две копии… Одну оставлю себе. Навсегда. — Голос ее чуточку сорвался. — Я потому и распереживалась, когда решила, что вы больше не придете. Вы правда вернулись в парк и там ночевали, вот просто так, совсем один?

Он кивнул:

— Там и другие люди есть.

— А, ну да. Я про них слыхала. Эдна рассказывала. Это… поразительно. Но вы не ответили: это ничего, что я запомнила ваш стих? И записала?

— Э… ну да. — Он улыбнулся и страстно пожелал, чтоб она вставила запятую. — Спасибо. Мы, кстати, сегодня можем уже переносить вещи. Вы тут всё приготовили?

— Да? — Она как будто закручинилась. — То есть у вас там все готово.

— Надо было мне, наверно, вчера зайти и предупредить, что сегодня можно переезжать.

— Артур, — который стоял в дверях с распущенным галстуком, — Шкедт говорит, сегодня можно переехать. Когда вернешься домой, голубчик, мы уже будем наверху.

— Хорошо. Ну вы горазды трудиться! — Когда мистер Ричардс дошел до стола, миссис Ричардс уже успела налить ему кофе. Он взял чашку, не садясь. Чашкино отражение отлетело от красного дерева, смутно помаячило, пока он пил, а потом вдруг приблизилось наплывом, белой рыбиной в буром пруду, навстречу звяку фарфорового ободка. — Побегу. Пускай вам Бобби поможет с мелочами. Ему полезно двигаться.

— Кровати, и вообще… — Миссис Ричардс покачала головой. — Я вот думаю — может, еще кого на помощь позвать?

— Я сам все перенесу, — сказал Шкедт. — А кровати разберу.

— Ну, если вы точно уверены.

— Конечно, он сам, — сказал мистер Ричардс. — Ладно, я пошел. До свидания. — Узел под пальцами взобрался под крылышки воротника, поерзал, встал на место. Мистер Ричардс развернулся и вышел. Грохнула дверь.

Шкедт посмотрел, как янтарный ободок нервным приливом набегает на фарфор, испил черного моря.

— Я схожу наверх, подчищу там напоследок. А вы пока выносите вещи. Я спущусь минут через пятнадцать. — Он брякнул чашкой по блюдцу и ушел.

* * *

— Где? — из дверей окликнула Джун.

Он закрыл швабру и ведро в чулане.

— Вон, под стенкой стоит.

Когда он вошел, Джун разглядывала белую трубку с красной резинкой; кулачок завис на полпути к подбородку.

— А там точно…

— Джордж, — ответил он. — Харрисон. Сама посмотри.

Она взяла плакат.

На полу он заметил кипу компьютерных журналов ее отца, послуживших ей предлогом.

Она сдвинула резинку к краю, но остановилась.

— Где ты его взял?

— Скажу — не поверишь. Они по всему городу. — Лучше бы не отвечать конкретно. — Одна женщина, пастор, раздает их за так. — Он вздохнул. — В церкви.

— А ты с тех пор видел… его?

— Нет. Открывать не будешь?

— Я боюсь.

Простота ее реплики удивила и тронула его. Туман за окнами почти затвердел. Шкедт смотрел: она застыла, чуть склонив голову.

— А мадам Браун знает, что вы с Джорджем?..

От ее резкого и тихого «Нет!» (голова крутнулась) он аж закаменел.

— Она тоже в этот бар ходит. Они знакомы, — пояснил он. — Я потому и спросил.

— А… — гораздо менее рьяно.

— В ту ночь, когда ты про него спрашивала, она

там тоже была.

— Тогда хорошо, что я не вошла. Она могла… увидеть. — Джун закрыла глаза — надолго, так люди не моргают. — Если б она меня увидела, это было бы просто…

Ее блондинистые энергии ужасны, но истощаются, чуял он.

— А почему… я все равно не понимаю… чего ты так к нему прикипела? То есть я знаю про… что случилось. И, ну, мне по барабану. Но я… — Вопрос заплутал в колебаниях, и Шкедт его оборвал.

Она была ранимая и испуганная.

— Я не… знаю. Ты не поймешь, — и тут исчезла даже ранимость, — если я расскажу. В честь него… назвали луну!

Он постарался не таращиться.

— К нему, я так понимаю, многие неровно дышат. Отсюда и плакаты, да? Открывай.

Она мелко, тряско покачала головой.

— Но они не знают… — Уже не в силах смотреть на него, она перевела взгляд на бумажную трубку. — Я знаю больше их.

— Эй, — сказал он, чтобы заполнить неловкую тишину. — А *что* у вас с ним было-то?

— Иди в «Вестях» почитай. — И она подняла голову.

Он поискал воинственности, которую услышал; не нашел в задранном лице ни капли.

— В ту ночь, когда… черные устроили волнения, да? Я была на улице, гуляла. Молнии сверкали. И грохот страшный. Я не знала, что произошло. А потом… я даже не видела человека с фотоаппаратом, пока… Все точно так, как в газете напечатали!

— А, — что не ответило ни на одну ее мольбу.

Она пошла к двери. Перед самым порогом скатала наконец резинку и расправила плакат.

— Он? — спросил Шкедт, имея в виду дружескую риторику, но расслышав в голосе честный вопрос.

Она смотрела там и сям, а затем движения ее затылка превратились в кивок. Она оглянулась:

— Почему… это… напечатали?

— Видимо, у других к нему такие же чувства. Я вечером разговаривал с друзьями. Девушка, с которой я живу, лет на несколько старше тебя. И один мужик. Тоже инженер, как твой отец. Мы в баре обсуждали, стоит ли отдавать тебе плакат.

Ее лицо пошло рябью.

— Я им ничего про тебя не говорил, имени не называл. Но они, знаешь, восприняли очень серьезно. Поначалу серьезнее меня. Не смеялись

над тобой, ничего такого.

— …И что сказали?

— Что пусть я решаю сам, раз я тебя знаю. Что может случиться плохое, а может и хорошее. Тебе плакат-то понравился?

Она снова посмотрела.

— По-моему, я в жизни не видела ничего ужаснее.

Он разозлился и сглотнул, сдерживая себя.

— Ну, порви и выкинь в шахту… если охота. — Подождал, гадая, в каком смысле она качает головой. Растерянность? Отказ? — Я бы на твоем месте оставил.

— Эй, это чего? — Бобби влетел на всех парах — Шкедт подумал, он сейчас прорвет плакат, как клоун — бумажный круг.

Джун схлопнула края листа.

— Фотография! — Белый оборот смялся о ее бедра.

— А на фотографии *чего?*

– *Тебе* такое не интересно.

— В чулане нашел? — спросил Бобби у Шкедта, шагнув дальше. — Голая тетка, небось. Голых теток я уже в школе видал.

Джун цыкнула:

— Кончай, а?

— Сама кончай. Дай позырить.

— Не дам. — Джун попыталась скатать бумагу. Бобби вытянул шею, и она резко развернулась. — Не твое!

— Да не больно-то и хотелось на твоих голых старух пялиться. Шкедт, ты тут ничего так подчистил. Мы всё потащим сюда?

— Ага.

— У нас дома тьма-тьмущая вещей, — усомнился Бобби.

— Справимся.

Джун скатала помятый плакат, подобрала журналы и пошла по коридору в глубину квартиры.

— Я позырю, когда тебя не будет! — крикнул Бобби.

В конце коридора грохнула дверь.

— Ну хватит, — сказал Шкедт. — Отцепись от сестры. Пошли вниз, мебель будем носить.

— Коне-ечно! — посетовал Бобби, но двинулся к выходу. — Она бы *наябедничала*, если б застукала с фоткой голой тетки *меня*.

Они вышли из квартиры.

— Если наябедничаешь, — сказал Шкедт, — фотографию заберут, и ты ее вообще не увидишь.

— А там правда голая тетка? — удивился Бобби.

— Нет. Неправда. — Шкедт вызвал лифт.

— А что там?

— Голый мужик.

— Ой, да ладно! — Двери лифта раздвинулись, и Бобби, засмеявшись, шагнул вперед.

— Пацан, *эй*! Не туда! — Шкедт цапнул его за плечо.

Зашелестел ветер.

— Ой блин! — Бобби попятился, отдернул плечо. — Эй, я чуть не!.. — И потряс головой.

— Ты бы под ноги-то смотрел. Пошли.

Они шагнули в другой лифт.

Дверь натянула на них темноту.

Бобби, еще задыхаясь, нажал «17».

— Джун всегда на тебя ябедничает?

— Еще как… ну, не всегда.

— А в последний раз на что не наябедничала?

— А тебе-то что?

— Просто любопытно.

Двери открылись. Возникший из темноты Бобби ладонью обхватывал окованное запястье и гладил неровные бусины.

* * *

— Прямо не знаю, — объявила миссис Ричардс, когда они вошли, — что сначала тащить

— крупное или мелочи. Я как-то не очень хорошо обдумала. Мне казалось, раз мы переезжаем внутри дома, все будет просто.

— Я хочу свою старую комнату!

— Это как, голубчик? Мы переезжаем в *новую* квартиру.

— Она такая же; только наоборот. И голубая. Я хочу свою старую комнату.

— Ну конечно, голубчик. А ты думаешь, *какая* тебе достанется?

— Хотел, чтобы точно. — Бобби удалился по коридору. — Пойду вещи соберу.

— Спасибо, голубчик.

— Я начну с дивана и кроватей, миссис Ричардс. С ними сложнее всего; но как их поднимем, вы уже, считайте, и переехали, да?

— Хорошо. Но они же огромные!

— Я их разберу. Молоток и отвертка есть?

— Ну хорошо. Раз их надо тащить наверх, значит деваться некуда. Мне просто неудобно, что я так плохо все подготовила. Так, отвертка. И молоток. Вы точно сможете их потом собрать?

Когда он вернулся из кухни с инструментами, миссис Ричардс снимала постельное белье.

— Видите, мэм, — объяснил Шкедт, убирая матрас, — у больших кроватей рамы просто сни-

маются со спинок.

И однако, взявшись за работу, понял, что разобрать, перенести и снова собрать пять полноразмерных кроватей — это минимум два часа.

* * *

Он трудился уже час и тут (миссис Ричардс уже не раз поднялась и спустилась) услышал в гостиной голоса Джун и Бобби. Отложил отвертку, как раз когда Бобби сказал:

— Ты не наябедничала про это… и про Эдди; я не наябедничаю про твою фотку.

Шкедт вышел из спальни и встал под дверью гостиной.

Джун, спиной к нему, сунула руку в сервант. Под пальцами загремели приборы. Она обернулась с букетами тяжелых ложек и вилок в руках.

— Но все равно, — продолжал Бобби, стоявший у книжного шкафа, — зря ты свою сняла. — «Это» и «свою», очевидно, означали оптическую цепь у него на запястье; он предъявил руку сестре. — Эдди снял, и ты же помнишь, что было.

— Я просто испугалась, — парировала Джун. — Из-за остального. Если б ты ее у Эдди не украл, он бы тогда не…

— Я не крал!

— Он же ее тебе не дарил, правда?

— Я не крал, — заупрямился Бобби. — Если будешь говорить, что украл, я им скажу про твою грязную фотку…

— Она не грязная!

— Еще бы не грязная; была б не грязная, ты бы показала.

— Эй, — сказал Шкедт.

Дети обернулись.

— Эдди — это же ваш брат? А что с ним приключилось?

Они переглянулись.

Приборы снова зазвякали.

Бобби ладонью прикрыл бусины на запястье.

— Ладно, — сказал Шкедт. — И впрямь не мое дело.

— Ушел, — сказала Джун.

— Сбежал из дома, — сказал Бобби. — Но…

— …пару раз возвращался, — сказала Джун. — И творил что-то страшное. Маме было бы полегче, если б он не приходил вот так.

— Папа сказал, что убьет Эдди, если он опять вот так вернется…

— Бобби!

— Ну правда же. А мама закричала…

— Короче, не мое дело, — подытожил Шкедт. —

Перенесем все из кухни, и ваша мать может готовить ужин… в новой квартире. — Прозвучало на редкость тупо. Интересно, где сейчас Эдди…

— Мы не знаем, — сказал Бобби (как-то раз в психбольнице такое выкинул один человек, и Шкедт потом десять часов верил, что остальные пациенты читают его мысли), — где сейчас Эдди. Он говорил, что поедет в другой город. Я хотел с ним. Но струсил.

Джун все сильнее конфузилась.

— Так, — сказал Шкедт, — тащи приборы. Бобби, займись книгами. Когда ваш отец вернется, нам останутся только ковры.

Почти все разобранное он выволок из квартиры, пару раз про себя отметив, что, вероятно, гром, грохот и скрежет вызывают не меньше смятения в обиталище Тринадцати, чем беготня по коридорам и стук в двери — у Ричардсов.

Он загрузил пружинное основание и спинки в лифт — рядом кротко шелестела пустая шахта, чьи двери, по видимости, открывались там, где останавливалась соседняя кабина.

Поездка во тьме, где только пружины, оранжевое число 19 перед глазами и собственное хриплое дыхание в ушах, странным образом успокоила его.

— В лифтах полагается ставить такие прокладки, когда мебель перевозишь, — укорила миссис Ричардс, поджидавшая его наверху в коридоре. — Ну, достать их некому. Ничего не поделаешь.

В новой квартире (час спустя) он собрал кроватные рамы и, переходя из комнаты в комнату, поставил пружинные основания — сидел на последнем, глядя на сложенный матрас на полу, и тут, прижимая к груди маленькую тумбочку, торчавшую вперед четырьмя ножками-рожками, вошла миссис Ричардс.

— Я, между прочим, не *верила*, что вы их сюда затащите! — вскричала она. — Вы и правда трудитесь как ненормальный! По-моему, вам пора отдохнуть.

Он сказал:

— Ага, я и отдыхаю, — и улыбнулся.

Она поставила тумбочку, и он заметил, что лицо у нее безумное. Решил было, что ее обидел его нахальный ответ. Но она сказала:

— Они опять приходили, вот только что. Вниз. Бегали по коридорам, шумели ужас как!

Шкедт нахмурился.

— Я так рада, что мы оттуда выбрались… — Миссис Ричардс покачала головой, и на секунду ему почудилось, что она расплачется. — Я так счаст-

лива! Честное слово, я прямо боялась это, — ее пальцы обмахнули резной уголок тумбочки, — выносить. И тащить сюда. Но мы всё сделали. Мы переехали! Мы… всё сделали!

Он оглядел комнату — сложенный матрас, тумбочку, отодвинутый от стены комод. И ковры тоже пока внизу.

— Вроде да… — И опять нахмурился. — Почти что.

* * *

Пузырь раздувался у края котла, отражая их лица, одно анфас, другое в профиль, оба крохотные и далекие.

Мимо, помешивая суп, проплыла рукоять ложки Джомми, и пузырь лопнул.

Шкедт, еще не отдышавшись, спросил:

— Ланью не видел?

— Видел. — Лицо у Джомми от уха до уха было шире, чем от подбородка до лба. — Вон там с Милли болтала… *эй*, пока ты опять не убежал! Вы с ней к ужину-то придете? — Он отложил ложку на торчавшую из шлакоблоков и поросшую горелым жиром черную трубу.

— Наверно. Я слинял, пока эта женщина на работе не взялась меня кормить.

Суп стекал по зернистой серости, пузырился и лопался.

— Хорошо. — Улыбаясь, Джомми снова принялся мешать. Рукав рубашки цвета хаки, кое-как завернутый на худой руке, раскачивался в такт: рубашка была велика ему размера на три. — Как стемнеет, будет готово. Ланья знает, а тебе я еще раз говорю: приходи поесть, как захочешь, в любое время, слышишь меня? Джон и Милли не будут против…

Но Шкедт уже шагал по исхоженной траве среди спальников, скатанных или проветриваемых; рюкзаки и станки усеивали поляну, лежали грудами вокруг скамьи или подпирали деревья.

Ее не было среди дюжины зрителей, наблюдавших сражение в китайские шашки между коренастым темноволосым мужчиной, который сидел за доской, скрестив ноги, и раскачивался, облокотившись на колени, и высокой веснушчатой женщиной с прической ежиком, обилием индейского серебра над и под джинсовой рубашкой и ремнем из серебра и бирюзы. Ее длинные веснушчатые пальцы, отягощенные кольцами с голубыми камнями, порхали над шашками туда и сюда, и Шкедт разглядел, что ногти у нее ужасно обкусаны, не лучше, чем у него.

Девушка, на первый взгляд походившая на швабру, присела (по бокам торчат потертые коленки) и поворошила в коробке с цветной бечевой — остатках «ткацкого» проекта Джона.

Другая девушка (волосы цветом как всплывшая в памяти машина — владелец говорил, что как раз выкрасил ее в «средиземноморское золото») сидела на помятом латунном барабане, зашнуровывая высокий ботинок — такой, с крючками вместо последней дюжины люверсов. Штанина закатана выше краснющего колена. Рядом стоял бородатый юнец, болтал и улыбался, то и дело отбрасывая густые волосы с уха, проткнутого золотым крестиком. Одну ногу в кроссовке поставил на барабан, девушке под бедро. В барабане была глина, на боку осыпавшаяся и прошитая трещинками, — «гончарный» проект Милли.

Ни самой Милли, ни Ланьи нет…

В дымчатую листву вплелись ноты гармоники. Он поднял голову. Снова музыка — но не сверху. Просто издалека. И с какой?..

Он снова оглядел поляну, ринулся в подлесок… и выскочил на парковую тропу, уходившую вверх, к серебристым нотам. Он зашагал на звук, поражаясь, как мало изучил парк.

Музыка двинулась прочь.

Ноты блюзово гнулись и хроматически скользили из одной тональности в другую, равно строгую. Как будто сильнее всего на нее повлияли (он усмехнулся) поздний Сонни Терри и ранний Штокхаузен[19].

С вершины холма он увидел их у подножья: голые ноги Милли под джинсовыми шортами, джинсы Ланьи; Милли, озираясь, трясла густой рыжей шевелюрой; Ланьины волосы, бронзовый лом, склонялись над гармоникой. Плечом к плечу девушки исчезли за поворотом.

Он кинулся за ними бегом, и рот наполняло предвкушение диалога: эй, я почти перевез Ричардсов в новую квартиру! Всю крупную мебель перетащил, и миссис Ричардс на сегодня меня отпустила. Завтра утром перенесу ковры, расставим мебель…

Два шага, и сквозь все это прорвался внезапный и необъяснимый порыв… последить, понаблюдать, подслушать! Вот чего ему *хотелось*, сообразил он: посмотреть на Ланью, когда она не смотрит на него.

---

[19] Примечания: 19

Сонни Терри (Сондерс Террелл, 1911–1986) — американский блюзовый музыкант, гитарист, игравший в стиле «пьемонтский блюз»; в игре на губной гармонике использовал элементы вокала. Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) — немецкий композитор, музыкальный теоретик, одна из центральных фигур музыкального авангарда.

Тропа сворачивала вправо.

Он пробился сквозь кусты по правую руку — и ужасно при этом нашумел. Ну, если обнаружат его — значит обнаружат. Все равно любопытно.

Музыка смолкла; это они там разговаривают?

Тропа уходила под горку, а он карабкался вверх. То есть все-таки выйдет прямо к ним?

Остановил его крутой обрыв.

Тропа за скалами и редкими деревьями, что криво росли на склоне, — в шестнадцати футах внизу. Они выйдут вон там, прикинул он, — и увидят его.

Они вышли — и не увидели.

Локтем он уцепился за тонкий сук над головой; босая ступня распласталась по земле, сандалия встала на носочек; он ждал, и улыбка готовилась протолкаться из-за лица, едва девушки его заметят. Может, он уловит обрывок разговора (может, даже про себя), прежде чем они задерут головы и увидят?

— …в полном ужасе, — сказала Милли, не беспечно и не риторически.

— Да нечему там ужасаться, — ответила Ланья. — Столько ходит слухов, насилие, изнасилование — я думала, тебе занимательно будет с ним познакомиться, самой посмотреть.

— Мне хватает занимательных слухов, — сказала Милли, — они сами по себе кошмарны…

— А он довольно славный, — на ходу Ланья вертела в руках, разглядывала гармошку, — вопреки слухам. Реальность *занимательнее* этих проблесков полуправд и искаженных страхом проекций, не находишь?

Девушки прошли внизу. Он вообразил, как его отражение скользит по ее гармонике; вот она заводит глаза вверх…

— В принципе, — сказала Милли. — Но на практике, когда слухи достигают некоего предела, я лучше плюну и пойду прогуляюсь в другую сторону. А вдруг реальность *хуже* слухов?

— Ну честное слово, а?.. — Ланья поднесла гармонику к губам, сыграла. — Ты опять в кусты, да? — И сыграла еще фрагмент.

— Хорошо бы, — задумчиво сказала Милли, — ты как-нибудь сыграла эту штуку с начала до конца. Пассажи очень красивые.

(Шкедт глядел им вслед.)

Ланья посмотрела на гармонику:

— Это, видимо, потому, что я больше никому не играю.

— Ну и зря, — сказала Милли. — Все же и так слышат. Обрывки красивые, но иногда у меня

от них прямо голову ломит, потому что они рассыпаются.

— Я попытаюсь, — сказала Ланья. — А *ты* не пытайся менять тему. Ты опять в кусты?

— Слушай, — сказала Милли, — познакомиться с Джорджем Харрисоном — это была *твоя* идея. Я только сказала, что интересно было бы с ним поболтать.

— Но я с Джорджем *уже* знакома, — возразила Ланья. — Я с ним сто раз болтала, я же говорю. А *познакомиться* с ним — это была *твоя* идея; я только сказала, что вас представлю.

— А, ну ты-то знаешь всех, — ответила Милли; тряхнула волосами. А затем: — … — и это взбесило, потому что стало не слышно. Ланья ответила музыкальным всплеском, который длился, пока обе не свернули опять; несколько фальшивых нот — и мелодия осеклась.

Шкедт крабом сполз по земляному склону, выступил из-за последнего куста и посмотрел туда, где только что были девушки.

От упоминания Джорджа Харрисона ему стало как-то странно. Хтоническая гримаса вступила в бой с внутренней улыбкой, что еще пряталась в лице. Щека задергалась, губы зашевелились, складывая гласные языков, которыми он не вла-

дел. Снова подмывало кинуться за ними следом. Но любопытство на ширину пальца сдвинулось к тревоге.

Тропа, судя по всему, сворачивала в обратную сторону.

Может, опять срезать, перехватить их?.. Раздумья затвердели решимостью. Он продрался сквозь кусты, полез назад; вскарабкался по камням, пробился сквозь листву. Десять футов, пятнадцать — долгая нота гармоники Ланьи, вспышка ярких волос Милли! Он присел, щекой и ладонью прижимаясь к древесной коре. Босая нога упиралась в корень, нестойко раскачивала тело.

Он еле различал их сквозь тусклую листву.

Снова музыка — не гармоника, а смех дуэтом.

— Ладно, — услышал он Ланью, — сделаем так, если хочешь.

— Ой, да! — вскричала Милли. — Давай так!

— Глупость какая-то, — засмеялась Ланья. — Но ладно. Он там чуть ли не каждый день. Хорошо, сделаем так, но только потому, что ты моя…

В прошлый раз они проходили ближе, и теперь он расслышал меньше — только их удаляющийся смех. Что, озадачился он, и *как* они будут делать, да еще с Джорджем Харрисоном? Они

сейчас к нему собрались?.. И вдруг уверился, что да. Их диалог — точно две школьницы затеяли розыгрыш — расстроил его. Какой розыгрыш, гадал он, две женщины в здравом уме учинят над мужчиной, который только что изнасиловал девочку всего парой-тройкой лет их моложе? Он вспомнил непристойный плакат. Вспомнил мимолетную встречу с Харрисоном в баре.

Опять встал, тремя размашистыми шагами одолел кусты, припася в горле тревожный смех, который их остановит. (А в мыслях: эй, психички, что за бредни вы себе забрали в…)

Корень цапнул сандалию и с разворота швырнул его на бетон. Чуть не упал. Поднимаясь с колена, повернулся. И вдруг опешил.

Откуда они пришли?

Куда ушли?

На сей раз он их видел мельком. Тропа изгибалась одинаково в обе стороны… Он и вообще плохо соображал, где лево, где право, в стрессе и того хуже — проклятие амбидекстра, однажды объяснил ему врач, — а сейчас способность ориентироваться отказала напрочь. Так, ладно; пришел он с *той* стороны. Он кинулся в другую, надеясь вновь отыскать тропу и помешать девчонкам.

Заросли — ну а как же — стали гуще. Горка до того крута, что карабкался он на четвереньках. А в мыслях: когда я в последний раз видел, как солнце трепещет золотом в свежей листве? Небо, мерцавшее в прорехах, было цветом как железо. Листья в пепельных мембранах — точно серые бархотки или дохлые мыши.

Из-под ног катились камешки. Нет, подумал он, не может быть, чтоб они пошли к Джорджу Харрисону! Кто его знает — может, между первым и вторым поворотом они успели вообще сменить тему.

А третий-то поворот, сука, где? Деревья уступили место высоким валунам. Он обогнул один, оперся на него, скакнул в овражек, отодвинул ветви кустов…

На плоской скале (один провал выровнен бетоном) — строение из черных камней, скругленных и размером с голову, вплетенных в паутину белого раствора. Над многокрылым строением возвышалась квадратная башня с зубчатым балконом такого же черного камня. Строение невелико; башня — и трех этажей в высоту не наберется. Сводчатые окна, закрытые рифленым стеклом, глубоко утоплены и до того узки, что ему сквозь такое, пожалуй, и не вылезти.

Большой кривой двор перед фасадом с двух сторон огибала каменная стена по пояс.

На углу, в очках в черной оправе, каблуками рабочих сапог упираясь в деревянный шип, облокотившись на колени, обтянутые изгвазданным хаки комбинезона, сидел и читал «Вести» Джордж Харрисон.

Шкедт припал к земле.

По картинке защелкала листва.

Вогнав костяшки в землю, Шкедт подался вперед.

Листва пощекотала щеку.

Шкедт был напуган; Шкедт был заворожен. То, что вызвало эти чувства, покрыло ладони холодным потом.

Джордж снял очки, сунул в карман рубахи, слез со стены; широко расставив сапоги и запрокинув ладони к небу, потянулся. Хаки разбежалось веером складочек от бока до плеча.

(На корточках, наблюдая. Любопытство и тревога излились эдаким праведным беззвучным бубнежом: ладно, повеселились, и будет, но что за розыгрыш они задумали?)

Под металлическим небом — до того низким, что городские пожары обожгли и запятнали его, как дно алюминиевого котелка, — лицо Джорджа

скривилось.

За брешью в стене (под которой, догадался Шкедт по одной лишь походке, были ступени) появилась Ланья — волосы, нос, подбородок, плечи.

— Эй, Джордж, — сказала она. — Опять здесь? Что, городская жизнь не греет?

Милли (она, что ли, все-таки в кусты?) с Ланьей не было.

— А? — слышен вдох, не слышно гласной; Джордж обернулся, когда она шагнула на верхнюю ступеньку. — Тош ‘час’, — («сейчас» или «часто», Шкедт не понял), — тут? — Второе «т» — почти «д», а последняя гласная со странным придыханием, от которого губы так и не оправились, раззявились и тяжко повисли, открыв зубы — и даже Шкедт разглядел, что они крупные, чистые и желтые. Как, дивился он, буквами и стандартными знаками элизий пришпилить эту искалеченную и иссеченную музыку к странице? Решил, что никак. — Гуляешь, значит, а? — Джордж рассмеялся и кивнул. — Я слышал, как ты играла, подумал се: придет-ка пить да’, — (или это «опять»?), — скажет мне привет.

— Привет! — Ланья тоже рассмеялась и тоже сунула руку в карман рубашки — убрала гармо-

нику. — Я не всегда прихожу, — добавила она. (Ослышалась, догадался Шкедт, приняла «себе» с губно-зубным мусором в начале и почти проглоченным «б», за «всегда».) — Я тебя видела тут пару дней назад, но здоровались мы последний раз в баре. А *чего* ты сюда ходишь каждый день?

— На небо посмотреть… — пожал плечами Джордж. — Газетку почитать.

(Щиколотку жгло — тяжело сидеть на корточках. Шкедт сдвинул ногу — затрещали прутики. Но Джордж и Ланья не услышали.)

— Когда я в последний раз был в баре, — (Шкедт прислушался к мелодичной модуляции, катапультировавшей раскатистый бас в тенор на «я» и «баре». Ирония? Да. Но курсив, рассудил он, огрубил бы ее до простого сарказма), — мне случая не выпало поздороваться. Ты с друзьями убежала. — Джордж снова посмотрел в небо. — Ничего не видать в этой мутотени. Вообще ничего не видно.

— Джордж, — сказала Ланья, спиной привалившись к стене, кончики пальцев сунув в карманы джинсов, скрестив кроссовки, — конечно, из-за таких вопросов теряешь друзей, но… — (Шкедт вспомнил, что она и ему так говорила.) — Мне любопытно — я подумала, лучше я спрошу. *Что*

у тебя было с этой девочкой — что там сняли в газете?

— Знаешь, — Джордж умолк, языком оттянул щеку вниз, слегка развернулся, руки в карманах, — когда меня первый раз спросили, я вызверился — жуть! Но друзей ты не потеряешь — меня уже слишком часто спрашивали.

Ланья поспешно прибавила:

— Я потому спросила, что мой мужик ее знает, и он…

Лицо у Джорджа стало странное.

— …мне про нее рассказывал… Я только поэтому. — Миг — и черты Ланьи отзеркалили гримасу, будто пытаясь понять. (У Шкедта тоже задергалось лицо.)

После паузы Джордж сказал:

— Ну чего, у меня ответ имеется.

— Какой?

Кругляши его костяшек выпятили ткань карманов цвета хаки.

— Кароч, снасиловал я белую девчоночку, да? Сразу газетам сказал, чего сделал. — Он кивнул, будто соглашаясь с очевидным, и глянул на Ланью, будто она сообщила нечто новое и ему надо переварить. — Только снасилования бывают разные. — Его рука выпросталась из

кармана. — Идешь такая ночью, и тут мужик наскакивает, — Джордж пригнулся и дернулся, — хватает тебя, — (Шкедт в листве отшатнулся.) Ланья вздрогнула, — тащит в переулок, скручивает, а больше никак тебя не трогает, достает только елду и давай дрочить! Фап! Фап! Фап!.. — Пригнувшись, он вверх-вниз помахал кулаком в районе лобка. — (У Шкедта свело челюсти и ягодицы; Ланья наблюдала за пантомимой, по-прежнему привалившись к стене, руки в карманах.) — И типа, ой-й, как приятно, уй-й блин, как-ко-ой кайф, и *ахххх*... — Джордж выпрямился, запрокинул голову и медленно уронил набок на выдохе. Снова вздернул: — Если он в эдаком вот состоянии хоть каплю — хоть *одну*, — (кулак взлетел, тщась проткнуть пальцем занавешенные небеса), — одну каплю уронит тебе на *сумочку*... которая валяется в трех футах, — (кулак упал), — тогда это снасилование! Даже если он хреном тебя не тронул... только сумочку окропил, говорю же. — Джордж кивнул и задумчиво продолжил: — Или вот, например, девчоночка, которой семнадцать лет, триста шестьдесят четыре дня, двадцать три часа и пятьдесят пять минут от роду, придет такая и скажет: «Ой, миленький, хочу — *умираю*! Дай мне, деточка, умоляю, дай мне!» — (длинная

голова Джорджа опять запрокинулась и замоталась из стороны в сторону). — Кинется такая на землю, трусы стащит и давай себя тереть, — согнувшись в три погибели и подпрыгивая, он возил предплечьями вверх-вниз между ног, и бледные ногти на черных пальцах тщились цапнуть землю, — и стонет еще, дескать, ой, милый, возьми меня, возьми, я так хочу! — а ты, балда стоеросовая, пяти минут не подождал, прежде чем сказать, — тут Джордж разогнулся и кулаком пробил воздух: — «*Да-а!*» — Обе руки заползли обратно в карманы. — Кароч, это тоже снасилование…

— Погоди-ка, — сказала Ланья. — Вот ты в девять вечера идешь домой, а кто-то хватает тебя сзади за горло, головой об стену жахает и шипит, что порежет, если заорешь и не сделаешь, что говорят… нет, ты погоди, ты послушай меня! И ты писаешься в штаны, мелкими струйками такими, а он тебя режет, сначала руку, потом ногу два раза, показывает, что это все не шуточки, а потом велит ноги раздвинуть и фингал тебе сажает, когда ты трясешь головой, потому что так перепугалась, что не можешь вообще, и ты подбираешь юбки, а он тебе ухо зажимает между пальцем и лезвием, и крутит, и крутит, и тебе уже кровь на

шею течет, а он тебя рукой раздвигает, и лапает, и тычет полувставшим хуем, и пару раз заезжает тебе по роже, потому что ты все делаешь не так… нет, ты мне рот не затыкай; мы же про изнасилование говорим, — а потом он на полдюйма в тебя вставляет и спускает, и пока у тебя по ноге течет, а он переводит дух, тебе наконец удается слинять, а он бросается за тобой, и спотыкается, и роняет ножик, и орет, что сейчас убьет тебя, он тебя убьет, и еще четыре дня ты ходить по-человечески не можешь, потому что он пальцами в тебе все разворотил, а в суде — потому что его все-таки *ловят* — адвокат шесть часов пытается доказать, что это ты сама его эдак взглядом поманила, или у тебя подол был высоковат, или сиськи великоваты, но его все равно закрывают; вот только на следующей неделе тебя просят перейти в другую школу, потому что теперь ты плохо на всех влияешь… Ты рассказывай, конечно, но не забывай, что и это *тоже* изнасилование! — Ланья пальцем пронзила воздух и опять привалилась к стене.

— Ну, — сказал Джордж, — это правда. Да… это с тобой такое стряслось?

— С подругой моей. — И Ланья опять сунула руки в карманы.

— В Беллоне?

— В Беллоне нет школ, неоткуда и некуда переходить. Нет, это раньше было. Но у мужчин занятные представления о мироустройстве.

— Это, — сказал Джордж, — намек, и мне надо подумать, да?

— Ты и так думаешь предостаточно — скачешь тут, как больная обезьяна, и лапшу мне на уши вешаешь. Я тебя спросила, что произошло. Ответь, что не моего ума дело, если угодно. Но не надо лапши.

— А может, — сказал Джордж, — у тебя тоже странные представления, если ты считаешь, что я про это *не* думал. — Он посмотрел на Ланью; в недрах его лица притаилась улыбка. — Ты мне, понимаешь, задала вопрос — а теперь не хочешь ответа? Я ж о чем? Я о том, что снасилование — один котел, а в нем всякое жаркое томится. Иногда бывает и повкуснее. — Он сощурился: — Вот ты как любишь?

— Что? — переспросила Ланья.

— Тебе пожестче? Чтоб драться, и бить, и царапаться, и рыдать, — Джордж подался ближе, нацелив на нее один глаз, выставив руку, все быстрее крутя пальцем, — и стонать: нет, не надо, умоляю, не надо, и рваться уползти, но всякий раз приползать назад, и, пока царапаешься и

кусаешься, пару раз уронить «да»?

— Ты любишь так?

— Ну! — И Джордж отодвинулся. Сомкнул кулак. (Кулак Шкедта в грязи разомкнулся.) — Я знаешь чего своим бабам говорю? «Бей меня! Валяй, дерись! Я-то свое возьму. Я, понимаешь, возьму свое. А ты попробуй мне помешать». И мы все равно сношаемся. В переулке, на лестнице, на крыше, в койке… — Джордж насупил брови. — Ты так любишь?

— Нет, — сказала Ланья. — Это не для меня. Я свое лучше возьму сама.

Черная рука предъявила светлую ладонь. Одно плечо дернулось.

— Тогда мы с тобой, — и Джордж заусмехался, — останемся как есть, друзья. Потому что иначе не поладим. Я-то, милая, давно люблю так. А как любишь, так и делаешь, и думаешь про это, и много чего узнаёшь. К примеру, какие женщины тоже так любят. Не всегда понятно, если не спросить; одни больше любят, другие меньше. Но расчухиваешь. — Джордж опять сощурился. — Тебе правда интересно, что у нас с ней было?

Ланья кивнула. (Шкедт подбородком стукнул по листку, а тот наотмашь стукнул его в ответ.)

— Я же спросила.

— Там все эти дела начались, — Джордж сгорбился, — темень кромешная посередь дня, над головой молнии сверкают, медленные такие и легкие, огонь лижется снизу вверх, дым лижется сверху вниз, люди вопят, носятся, волнения у них, понимаешь, кирпичи сыплются, у меня за спиной стекло звенит — я оборачиваюсь и вижу: она стоит и смотрит. На меня. Вокруг люди снуют, а она одна стоит столбом, вот-вот руку свою съест, в рот ее вжала вот так вот, и смотрит на меня так, что я — мигом понял! Понял, чего она хочет, и понял, как она хочет. И понял, что и сам хочу. — Его рука снова залезла в карман. — А я тебе скажу: понимаешь-то не *очень* часто. Но если да, можно себе сказать: «Бля, ты чё!» — и уйти подобру-поздорову. А можно сказать: «Я точно понял!» Вот с тобой мы бы не поладили. — Усмешка зашелестела и утекла в беззвучие. Джордж перевел дух. — А с ней — мы *поладили*! — Он развернулся, шагнул и замер — будто громадное тело во что-то врезалось. — Ой, ебёнть, как мы поладили! — И развернулся обратно. — Я так не ладил ни с кем с тех пор, как мне двадцать восемь было, а это ж десять с лишним лет назад! Мы в переулке были, свет пыхает вовсю, вспыхнет и погаснет, люди заскочат, выскочат, а нам *до фонаря!* Может, от

этого даже лучше было, что они ничего поделать не могли, да и не хотели. — Он уставился в землю, рассмеялся: — Помню, старушенция какая-то с полной сумкой пустых жестянок прибегает, видит нас и давай орать как резаная, мотается туда-сюда и вопит: «Не трожь бедную белую девоньку, ниггер! Ты чё сделал — они ж нас теперь всех порешат, как пить дать постреляют!» — Джордж покачал головой. — Вспышки — это, наверно, парень снимал; не помню, видел я его вообще или нет. Когда я закончил, его не было. Я такой встаю, а она лежит и все руки тянет, да? — Он опять покачал головой, опять рассмеялся: и то и другое означало не то, что в прошлый раз. — Я ж говорю, ей было лет семнадцать разве что. И ей врезали, кулаком получила, и поваляли ее будь здоров, и она визжала и орала: «Нет, нет, ой, не надо, умоляю, не надо». То есть, считай, снасилование. Да? Но когда мы закончили, — Джордж кивнул, — она тянулась к нему. Хотела еще — аж умирала. — И он, итожа, постучал пальцем по воздуху. — Любопытное такое снасилование. Как прям в кино. Этот твой дружок-адвокат хотел в него превратить то, другое. И если доходит до суда, встречается оно довольно *редко*. Но его-то все и боятся — особенно если белые девчоночки с

большими черными ниггерами.

— Ну, — сказала Ланья, — все равно странновато. Ладно, мне не понять. А что скажешь про мужика, который с моей подругой такое учинил?

— Я скажу, — сказал Джордж, — что про него понимаю чуток побольше твоего. И что, если б он сначала со мной, допустим, потрындел, мы бы, может, чего и придумали, чтоб ему самому не вляпываться и девчоночку не вляпывать. Про него и девчонку не скажу ничего: я их не знаю. Но скажу, что история твоя очень, — и Джордж уронил подбородок, — очень, очень грустная.

Ланья вздохнула:

— Но я про эту девушку думаю. С которой ты был… Ты хотя бы знаешь, как ее *зовут*?

— Ну, мы как закончили, не то чтоб срочно кинулись знакомиться. — Джордж вдруг скривился. — Слышь, ты пойми. Мне на эту телку насрать! Вот честно. Или как? Я, скажем, потом бы такой: «Эй, дорогая моя девочка, как это было *прекрасно*, давай-ка мы поженимся и будем жить счастливо до самой смерти, чтоб друг друга ласкать каждую ночь!» А она бы тогда что сказала? «Да ты *с дуба рухнул*, ниггер!» Я пару раз пытался — не прокатывало. *Ей* такое не надо. И мне не

надо. И я ее не интересую. Ее интересует, что она про меня *думает*. Меня устраивает. Она знает, как меня зовут, — в газете пропечатали. Я им за просто так сказал. Сказал, что мне за себя не стыдно, я такое люблю, я и повторить готов, хоть щас, хоть где. И уверяю тебя, ей больше ничего знать не надо! — Его лицо разгладилось. — Потом люди судачили, мол, ее вроде Джун зовут. Ты сказала, твой мужик ее знает? И чего про нее говорит?

— Примерно то же, — ответила Ланья, — что ты сейчас сказал. — В раздумьях поджала губы. И прибавила: — Она тебя ищет, Джордж. Я ее разок видела — она спрашивала про тебя у моего мужика. Хочет опять тебя отыскать.

Смех Джорджа взлетел высоко, как у мадам Браун, голова качнулась, сбив тон до ненапряжного баса:

— Ага-а!.. Ага, она меня *ищет*! Все кружит и кружит, все ближе и ближе, — (его палец описал в воздухе сужающуюся спираль), — кружит, кружит, ближе, ближе, как луна вокруг солнца!

Что-то (Шкедт, правда, не понял, что именно) рассмешило и Ланью, и она расхохоталась:

— У тебя контаминация, Джордж! Это же *ты* луна, а не она. И вдобавок луна не ходит вокруг солнца!

— Ну, — сказал Джордж, — *обычно*, может, и нет, но мы в Беллоне — поди угадай, где тут у нас что ходит! — Смех его разросся, отлетел, оставив Джорджу серьезную гримасу. — Я, знаешь, не первый день на свете живу, кой-чего понимаю. Тебе сколько лет-то? Двадцать три?

— В точку, — сказала Ланья. — Тебе на ярмарках бы гадать.

— Кароч, я тебе в отцы гожусь…

— Ты и Джун в отцы годишься, — сказала Ланья. — А у тебя самого дети есть?

— Пятеро точно, — ответил Джордж, — и один, девушка, между прочим, от белой. Зеленоглазый, башка горчичная, — Джордж сморщился, — урод уродом, ебёнть! Ну, может, и не очень урод. А одна есть — так ей годков столько же, сколько ее мамаше было, когда я ей первый раз запердолил. — Он склонил голову набок. — И это сильно помладше, чем девчоночка, про которую мы тут с тобой. Все пятеро не в Беллоне. Но я тебе так скажу: кабы я увидал мою старшенькую и она б стояла на углу и смотрела, как эта белая девчоночка, — да плевать мне сто раз, что она родня, я бы, бля, то же самое с ней сделал. Вот даже не сомневайся!

— Джордж, — сказала Ланья, — ты неисправим!

— На себя посмотри, мисс Энн! Ты пойми, — и Джордж снова перешел в разъяснительный режим, — тут в чем все дело? Женщины хотят не меньше мужчин. Только думать об этом никому неохота, да? В кино-то уж явно. Изображают, что такого не бывает или что это жуть жуткая, и сплошь смерть, и разрушение, и трагедь беспонтовый, всех в итоге укокошит, лучше пусть и не будет ничего такого, а это ведь та же петрушка, сама-то видишь?

— Да, — сказала Ланья, — замечаю. Джордж, все опасаются, как бы женщины не стали *добиваться* чего хотят — и секса, и вообще. Господи, все мужики — наглые скоты. Если б я тебе так про черных излагала, как ты мне про женщин, ты бы тут уже забастовал!

— Ну, — сказал Джордж, — может, ты в кино не ходишь и не в курсе — я ж не знаю.

После паузы Ланья спросила:

— А как думаешь, что будет, когда вы с ней встретитесь наконец?

Брови у Джорджа, темные полумесяцы на чугунно-черном лице (потускневший свет стер все бурые и красные оттенки), взлетели.

— Ну, она такая все ближе и ближе, кружит, — (одна рука рисовала в воздухе спираль, другая

ждала ее в центре спирали), — и кружит, ближе и ближе, а потом… — Джордж хлопнул горстями; Шкедта подбросило; спину свело. — *Хлобысь!* И небо потемнеет, и молния раскатится в ночи, широкая, как река, и медленная, как море, и рухнут дома, огонь и вода выстрелят в небо, и люди будут носиться по улицам и вопить! — Джордж подмигнул, кивнул. — Прям как в тот раз.

— По-моему, — сказала Ланья, — у тебя опять контаминация. — Она оттолкнулась от стены и прошлась по камню. — У тебя все как в кино — только бы поужаснее и пострашнее.

— Так в *том* и беда, я ж говорю: я *люблю* как в кино. Но когда мы опять встретимся, нам-то будет чем заняться. Это *вы* все перетрусите, что вам город на бошки обвалится. — Джордж опять склонил голову набок. Ухмыльнулся. — Понимаешь, да?

— Не вполне, — ухмыльнулась в ответ Ланья. — Но пускай. Ладно, а потом ты что?

— Да, небось, как в тот раз. Хлобысь — и извиняюсь, мэм, я пошел. И все сначала… — Взгляд у него опять стал какой-то непрямой. — Ты говоришь, твой мужик… она там как? Жива-здорова? Я б не хотел, чтоб с ней случилось чего, пока мы опять не стакнемся.

— Да, — сказала Ланья. — Она… ну, наверно.

Джордж кивнул:

— Ага… мне тут в баре напели, что ты себе нового парня завела. Это хорошо.

Куда же, недоумевал Шкедт, подевалась Милли?

— Люди знатно языками чешут, — улыбнулась Ланья, и Шкедт вообразил, как она вдруг выхватывает гармонику и очередью выпускает ноты, пряча смущение. Только вот она не смутилась. (Он вспомнил, что хотел подслушать, как о нем говорят Ланья с Милли; перспектива такой беседы с Джорджем вызывала невнятную неловкость.) Пальцами зацепившись за карман, Ланья *и впрямь* щупала гармонику. — Ага. Не уверена, что завела; завожу, пожалуй.

— Тебе всегда призовые достаются! Последний-то… — И Джордж потряс головой.

— А Фил тебе был как, Джордж? — Неловкости особо не убавилось, хотя и сменилась тема.

— Фил мне был псих! — ответил Джордж. — Надутый, чопорный, твердолобый мудак… умный? О да, ум что бритва. Но все равно хорошо, что ты с ним развязалась. — Джордж умолк; наморщил лоб. — Или, может, не развязалась?..

— Не знаю. — Ланья вскинула на него глаза. —

Но проще сказать «да», когда есть новый, а?

— Ну, — смех Джорджа был внезапен и оглушителен, — наверно. Когда приведешь мужика на Джексон поздороваться?

— Спасибо, — ответила Ланья. — Может, зайдем как-нибудь… если в баре не пересечемся.

— Я ж должен твоего нового мужика заценить, — сказал Джордж. — Я сначала думал, ты с каким-то пидором у Тедди спуталась. Ебёнть, я уж думаю иногда, что в городе, кроме меня, одни пидоры и остались.

— У гетеросексуальных мужчин всегда такие фантазии? — спросила Ланья. — Быть единственным натуралом среди сплошных геев?

— Да я против пидоров ничего не имею, — сказал Джордж. — Видала, какие мои портреты пацаны забацали? Знатно так, да? У меня даже среди лучших друзей есть…

— Джордж! — Ланья отмахнулась, кривясь в притворной муке. — Кончай, даже не произноси это.

— Кароч, — Джордж галантно повел руками, — мне главное, чтоб никого из моих друзей не обделяли заботой. Будь ты в пролете, я уж готов был вызваться, в виде исключения ради тебя отказаться от моих стандартных методов и вста-

вить тебя в списочек. О друзьях-то заботиться надо. Правда же?

— Какой ты добрый, — сказала Ланья. — Но в этом смысле обо мне заботятся по-королевски.

И умопомрачительно счастливый Шкедт опустил на землю другое колено и сел. Мысль, что кружила ниже уровня артикуляции, вдруг всплыла, капая словами: они друг с другом *знакомы*… — упала первой; за ней другие, и они взбаламутили ясную мысль, расходясь звучными кругами внахлест. Он вспомнил плакат. Этот самый человек с этим самым темным резким лицом (лицо сейчас смеялось), с этим самым телом (комбинезон хаки мешковат, но временами, когда шевелилась нога или поворачивалось плечо, казалось, он вот-вот разойдется на руке или бедре) был на плакате — нагой, черный, забронзовевший.

— Ну и, — Джордж взмахнул рукой, точно доску вытирал начисто, — великолепно! Заходите оба. Хочу с ним познакомиться. У тебя всегда интересный выбор.

— Договорились, — сказала Ланья. — Ладно, я, наверно, пойду. Я только поздороваться хотела.

Вот сейчас, подумал Шкедт, сейчас Милли выскочит и?..

— Лады. До скорого, — ответил Джордж. — Может, в баре.

Вот сейчас?..

— Пока. — Ланья развернулась и зашагала вниз по ступенькам.

Джордж покачал головой, вернулся к стене — разок глянув Ланье вслед, — подобрал газету и, встряхивая ее, запустил два пальца в карман за очками. С третьей попытки добыл.

В дымке серебристыми пружинами закрутились ноты гармоники.

Шкедт переждал полдюжины вдохов, наконец догадавшись, что намерений Ланьи с Милли недопонял. Милли, похоже, и правда слиняла в кусты. Интересно все-таки, от чего. Он отполз в густой подлесок, выпрямился и, не обращая внимания на судорогу в бедрах, обогнул двор. Земля резко ушла под уклон. На сей раз он, если перехватит ее на тропе, прятаться не станет…

Музыка в дыму взвилась к некоей экзотической каденции — а когда долетела, та перебросила ее в другую тональность, и мелодия бурлила триолями, пока другая каденция, шеститактовая, не довела ее до финала.

Он вышел сбоку от лестницы. Веточки потянули его за бока и плечи, со свистом отпрыгнули.

Ланья у подножья сошла на тропу, серебристым плащом волоча музыку за собой.

И песню она почти доиграла. (Он ни разу не слышал, чтоб она довела песню до конца.) Кода подвесила финал на фолковом задержании, аккорд разрешился из ноты предыдущего, и получился хаос. Шкедт спускался следом за Ланьей, и его подирал мороз — не от страха или смятения, но от музыкального импульса, что рассекал мышастое марево, мерцая в лиственном коридоре.

Он старался идти беззвучно, дважды вообще останавливался, чтобы не прервать мелодию, пока не стихнет сама.

Он шагнул на нижнюю ступеньку. До Ланьи — пятнадцать футов.

Мелодия стихла.

Он прибавил шагу.

Она обернулась, сжав губы, готовя слово, начинавшееся на «м». А потом ее глаза расширились.

— Шкедт… — И она улыбнулась. — Ты что тут делаешь? — И взяла его за руку.

— Я за тобой шпионил, — ответил он. — И за Джорджем.

Она задрала бровь:

— М-да?

— Ага. — (Они зашагали вместе.) — Мне понра-

вилась твоя песня.

— Ой…

Он глянул на нее.

И понял: ее больше смутило, что он подслушал ее музыку, а не разговор. Пока он размышлял, чем загладить вину, она выдавила:

— Спасибо, — тихо, — впрочем.

Он сжал ее руку.

Она сжала его руку в ответ.

Плечом к плечу они шли по тропинке, и Шкедт мысленно вертел, и сортировал, и гадал, что мысленно вертит и сортирует она. Внезапно спросил:

— Девушка, про которую ты рассказывала Джорджу, которую изнасиловали, — это Милли?

Ланья удивленно вскинула глаза:

— Нет… или, скажем так: я бы не хотела отвечать.

— А? Это что значит? Нет или ты бы не хотела отвечать?

Ланья пожала плечами:

— Милли, я думаю, не захотела бы, чтоб я говорила, как бы оно ни было.

Шкедт нахмурился:

— Это какая-то ерунда.

Ланья рассмеялась, не выпустив смех нару-

жу, — только скривилась, и выдохнула через нос, и затрясла головой. Снова пожала плечами.

— Слушай, ты ответь по-человечески: она или?..

— Нет, это ты слушай, — сказала Ланья. — Ты ужасно милый, и я знаю, что ты не нарочно, просто у мужчин есть такая привычка — обесценивать все, что происходит между двумя женщинами. Вот не надо.

Он смутился.

Она спросила:

— Хорошо?..

Смутившись, он согласился:

— Хорошо.

Они шли дальше. Песня, вырезанная в памяти, в памяти же покрывала филигранью безмолвные настоящие деревья. В прорехах между ними небо, потемневшее до оттенка, который можно было счесть синевой, покрывали хлопья листьев.

Даже в смущении он был счастлив.

На поляне коммуны Милли подле Джомми у очага обернулась, увидела их и подбежала.

— Ланья, Шкедт… — И затем Ланье: — Ты ему сказала?

Ланья ответила:

— Нет. Не сказала, но…

— Ой, Шкедт, боюсь… — Милли перевела дух; бегала она больше, чем к ним от очага. — Боюсь, я почти всю дорогу обратно за вами обоими шпионила. — Она рассмеялась. — Понимаешь, мы решили, что я спрячусь за кустами и подслушаю Ланью с Джорджем…

— А? — откликнулся на это Шкедт.

Ланья сказала:

— Он все же не так плох…

— Шкедт? — переспросила Милли. — А — в смысле Джордж! Да нет, конечно… — И снова Шкедту: — Я хотела выйти к Ланье на тропе возле Погодной башни… — Не монастырь, значит; но Шкедт и сам уже, в общем, сделал вывод, что едва ли там мог быть монастырь. — А потом увидела, как ты выскочил на лестницу за тридцать секунд до меня!

Он сказал Ланье:

— То есть ты ждала?.. — А затем полдюжины вопросов в голове уполовинились, когда вмешалась Милли:

— Я не могла подойти близко и не все слышала, что вы говорили. А то бы я слишком шумела. Я срезала и опять выходила на тропу, она же петляет. Ой, Ланья, какая красивая песня! Вот правда, тебе надо другим людям поиграть. Видишь, ты

же *можешь* доиграть до конца. Я же говорила. И ты знала, что слушаю *я*, и ты доиграла. И пусть люди тебя не смущают… Шкедт? — Милли нахмурилась. — Ты такой растерянный, Шкедт! — И внезапно она его обняла; рыжая шевелюра сухо погладила его по лицу. Он чуть не споткнулся. — Ну правда, извини! — Она отпустила его и положила руку Ланье на плечо. — Я не нарочно шпионила. Но *ты* же знала, что я там… — И взглянула на Ланью умоляюще: — Я просто не удержалась! — И засмеялась.

Он заморгал; он улыбнулся.

— …да ничего.

Вернулось воспоминание о мелодии; значит, он подслушал не одинокое интимное мгновение — оно предназначалось подруге. Отсюда и красота? Ланья тоже смеялась.

Так что он подхватил их смех.

Джомми гремел черпаком по котлу на очаге.

— Алло! Суп готов! Налетайте!

Со всей поляны к огню сбрелись две дюжины людей с походными котелками и мисками, с горшками и жестяными кружками.

— Пошли поедим, — сказала Ланья.

— Да-да, и ты *тоже*, Шкедт! — поддержала Милли. — Пошли.

Следом за девушками он направился к толпе. Худой рыжеволосый негр с золотыми коронками выдал ему помятую эмалированную суповую тарелку.

— У меня две, чувак. Бери.

Но когда он подобрался к очагу за своей порцией из черпака, на раздаче стоял не Джомми, а Джон (в жилете-размахайке и пылающих очках). Небо почти совсем потемнело. Огонь заливал медью волосы Милли, но, шагая за ней и ведя Ланью сквозь толпу, балансируя своей миской, он так и не различил у Милли на голой ноге ту царапину.

* * *

Сумерки сгустились быстро — и задержались, не подпуская тьму. Вдвоем они сидели на скомканных одеялах в Ее Жилище. Он щурился сквозь листья внахлест, а небо сыпало сверху мелкие притирания, шершавые и прохладные.

— Еще день поработаю у Ричардсов и перевезу их окончательно.

— Ты… ну, у тебя теперь есть имя. И работа. Счастлив?

— Ёпта… — Улегшись навзничь, он потянулся и спиной ощутил прутики, складки, камешки и бусины обвившей его цепи. — Я еще даже не

решил, как оно пишется. И мне пока ничего не заплатили, кроме первой пятерки.

— Если они тебе не платят, — она тоже растянулась на одеяле, — зачем ты туда ходишь?

Он пожал плечами:

— Может, они понимают, что, если мне уплатить, я больше не приду. — И пожал плечами снова: — Не важно. Я мадам Браун уже объяснял: я просто наблюдатель. За ними занятно наблюдать. — А в мыслях: однажды я умру. Глянул на нее: — Знаешь, я боюсь умереть. Ужасно.

– *Хм?*

— Правда. Иногда иду куда-нибудь и думаю: а вдруг у меня сердце остановится? И нащупываю его — проверяю, стучит ли. Занятно, потому что, если я лежу, вот-вот засну, и слышу, как оно стучит, надо переворачиваться, а то страшно…

— …что оно остановится, а ты *услышишь*? — спросила она.

— Ага.

— Со мной тоже иногда бывает. В пятнадцать в пансионе я долго сидела на краю крыши центрального корпуса и думала покончить с собой.

— Наложить на себя руки я никогда не хотел, — сказал он. — Никогда в жизни. Порой казалось, что вот-вот, — у меня случались дикие порывы,

с крыши спрыгнуть, под поезд броситься, просто проверить, *каково* это — умереть. Но я никогда не считал, что жизнь не стоит жизни или что бывают такие ситуации, которые нельзя пересидеть — это если нельзя встать и уйти. Наложить на себя руки я не хочу, но это не мешает мне думать о смерти. А вот с тобой так бывало? Идешь по улице, или в комнате сидишь, или в листве лежишь, или даже с людьми болтаешь, и вдруг мысль — и она прошивает тебя насквозь, как будто кристалл растет или распускается бутон в замедленной съемке: «Я умру». Где-то, когда-то я стану умирать, а спустя пять секунд буду мертв. И если эта мысль приходит, она такая… — от его резкого хлопка Ланья подпрыгнула, — шарах! И ты понимаешь, постигаешь свою смерть, целую секунду, три секунды, может, пять или десять… а потом мысль уходит, и помнишь только пробормотанные слова, «однажды я умру» например, а слова — уже не мысль, слова — лишь ее пепел.

— Да… да, со мной бывало.

— В общем, я думаю, все дома, и мосты, и самолеты, и книги, и симфонии, и картины, и космические корабли, и подводные лодки, и… и стихи — они все нужны, просто чтобы отвлекать людей и такого не случилось… опять. — После

паузы он сказал: — Джордж Харрисон…

Она сказала:

— Джун Ричардс… — и глянула на него. Он не ответил, и она продолжила: — У меня в голове такая картинка: мы вечером идем в бар, и ты говоришь: «Эй, чувак, пошли. Хочу тебя кое с кем познакомить», — а Джордж такой: «Запросто!» — он, наверно, так бы и сказал; он знает, до чего мал мир, где он играет луну, — и ты ведешь его, всю его громадную, черную, прекрасную личность ты ведешь к этой розовой кирпичной многоэтажке, где все окна побиты, и находишь мисс Чокнутую-милоту-и-свет, и говоришь: «Эй, девушк, я тебе тут привел Его Полуночную Темность во плоти. Джун, познакомься, это Джордж. Джордж, познакомься, это Джун». Интересно, о чем они будут говорить на *ее* территории?

Он усмехнулся:

— Вот уж не знаю. Он даже может сказать спасибо. Она же все-таки создала его нынешнего. — Он поморгал, глядя в листву. — Завораживает, как устроена жизнь; все переплетено — цвета, формы, пруды с листьями, отражения в окнах, солнечный свет, когда светит солнце, облачный свет, когда облачно; а теперь я оказался там, где, если в полночь разойдется дым и взойдут луна с Джорджем,

я увижу две тени вместо одной. — Он закинул руки за голову, потянулся на одеяле. Что-то задел — а именно орхидею, которая покатилась по тетрадной обложке.

— У меня, помню, в художественной школе, — сказала она, — был учитель, так он говорил, что только в такие дни, как здесь, познаешь истинные цвета. Весь город, вся Беллона вечно смотрит окнами на север.

– *Ммм*, — сказал он.

Что же во мне не желает уйти, подслушивает мои разговоры? Я лежу застылый в застылом круге. Оно наблюдает за мной с антиподных точек, мудрое и бесполое. Мы лежим в застылом городе, предчувствуя ветер. Оно ходит кругами, лишь положеньем своим намекая, что знает больше, нежели я бы хотел. То слишком мужественно водит рукой пред исступленным пейзажем. То замирает женственно перед кровью с костьми. Столкнувшись с любовью, в смятении мямлит. Бубня склоняет тупую голову пред несправедливостью, гневом, своим подобьем — невежеством. И все же я верю, что, получив достойный пинок, оно обернется, окликнет меня герметичным слогом, что я бросил на скалах изуродованной сознательности, на равнинах обугленного со-

знания, на входе в этот ганглионарный город. И голову я подыму.

— Ты… — вдруг произнес он. Настала тьма. — Ты счастлива? Вот так жить?

— Я? — Она испустила долгий выдох. — Как тебе сказать… до приезда сюда я преподавала английский кантонским детишкам, которые только приехали в нью-йоркский Чайнатаун. А до того рулила порнографической книжной лавкой на Сорок второй улице. А до того, довольно долго, самоучкой диск-жокеила на WBAI-FM в Нью-Йорке, а до того оттрубила на такой же станции KPFA в Беркли. Миленький, мне здесь *так* скучно, что, по-моему, с самого приезда меня от некоего сногсшибательного акта насилия отделяют жалкие три минуты. — И она рывком перекатилась к нему в темноте.

* * *

— Побегу. — *Щелк*. Взлетел узел галстука.

— Эй, мистер Ричардс? — Шкедт отставил чашку.

— Да, Шкедт? — Мистер Ричардс обернулся уже в дверях. — Вы чего хотели?

Бобби ложкой черпал засахаренные хлопья. Без молока. Джун пальцем водила по колонке в «Ве-

стях» от пятницы, 24 октября 1985 года. Номеру уже несколько недель.

— Я хотел спросить про деньги.

— Вам еще нужно? Я принесу вечером.

— Я хотел спросить, сколько я получу.

— Хм? А. Ну, это нам надо разобраться. Вы считали, по сколько часов в день работали?

— Более или менее, — ответил Шкедт. — Мадам Браун сказала, что вы платите пять баксов в час.

Мистер Ричардс взялся за дверную ручку.

— Дороговато. — И он задумчиво покачал головой.

— Вы же ей так сказали?

Ручка повернулась.

— Давайте лучше вечером поговорим. — И дверь затворила его улыбку.

Шкедт снова повернулся к миссис Ричардс.

Та пила кофе, шныряя глазами поверх фарфорового ободка.

— Вы ей так сказали, да?

— Пять долларов в час — деньги немаленькие. Для неквалифицированного труда. — Чашка опустилась к подбородку.

— Да, но для грузчиков нормально. Слушайте, давайте я схожу вниз, перенесу ковры и одежду. Раз пять-шесть еще надо сходить, и все.

Закончу еще до того, как вы начнете готовить обед. — Шкедт слишком шумно вскочил и пошел к двери.

Ложка Бобби, на протяжении диалога не издавшая ни звука, снова хрупнула.

Джун не подняла глаз, но палец ее двинулся дальше.

Шкедт оглянулся на нее из дверей (как только что на него оглядывался ее отец), попытался сопоставить ее со вчерашним разговором Джорджа и Ланьи. Однако Джун с ее блондинистой головкой и розовым отражением, расплывшимся в полировке, была как дома в обществе белых фестончатых фарфоровых чашек, латунных горшков для растений, зеленых подставочек, синих цветастых штор, матери, брата, широких окон и зеленых обоев с бледно-зеленым цветочным узором.

* * *

На семнадцатом он зашел в квартиру (не запертую ни на цепочку, ни на замок) и подумал: а чего ж мы не перенесли ковры *сначала*? Идиотизм — не перенести ковры сразу. Речными угрями (подстилка — угорь поменьше и потемнее, с узором, какой он прежде видал лишь на рифленых

потолках) ковры лежали под стеной в гостиной. За окном бултыхались бледные левиафаны. На полу кипами громоздились книги.

Поверх одной кипы лежало «Паломничество».

В третий — или четвертый? или пятый? — раз он взял книжку, почитал тут и там, подождал, пока текст подхватит и потащит за собой. Но желанную восприимчивость снова и снова цеплял какой-нибудь узор тени на голой виниловой плитке, какой-нибудь шум из квартиры внизу, какой-нибудь зуд в теле — и все внимание утекало туда. Глаза бегали по буквам, но где они останавливались и что значат эти буквы — все терялось; в конце концов он вернул книгу на место, а сверху положил другую, как будто, подумал он — и не понял, отчего так подумал, — первая книга принадлежит ему.

Он поднялся с корточек и огляделся: осталось перетащить столы для бриджа из дальнего чулана, складные стулья с резными подлокотниками, зелеными подушками и черными железными петлями, а также валявшиеся между ними игрушки из комнаты Бобби. На комплекте разноразмерных столов сгрудились крохотные блестящие хрупкости.

Он побрел по коридору (где стояла коробка с бу-

магами из кабинета мистера Ричардса) и свернул в спальню Бобби. Здесь в основном остались улики жизни старшего брата, некогда делившего эту комнату с младшим: платок с монограммой ЭГР, вчера выпавший из ящика бюро; дверь чулана подпирали три небольшие коробки, на которых маркером значилось «Эдди»; на полу — выпускной альбом средней школы Беллоны. Шкедт подобрал его и полистал: Эдвард Гэрри Ричардс («Футбольная команда», «Волонтер школьного совета», «Любимец работников столовой два года подряд…») «не любил фотографироваться».

Шкедт отложил альбом на коробки, пересек коридор, вошел к Джун: на подоконнике вигвам из пустой спичечной книжки и белый пластмассовый горшок, до сих пор с землей, где, поведала ему Джун вчера, прежде росла бегония, подаренная тетей Мэриэнн на позапрошлую Пасху.

По памяти Шкедт вновь обставил комнату мебелью, которую накануне перенес наверх, и по памяти же постарался воссоздать образ Джун, возникший из подслушанного монолога Джорджа. От шума снаружи память отказала.

Шкедт вышел в коридор и увидел, как Бобби выступает из гостиной, кряхтя под грузом кипы книг:

— Я наверх отнесу.

— Возьми половину, может?

— Может быть, — две книжки упали, — и стоит.

Вошла Джун:

— Ой, погоди, я возьму что-нибудь.

Они разделили кипу между собой и удалились.

Где, задумался он, едва закрылась дверь (не пришпиленная цепочка все качалась и качалась по-над зеленой краской), моя тетрадь? А, точно: в глубине, по коридору, в бывшей дальней спальне — оставил там, по привычке зайдя с утра сюда: вдруг позабыл, что Ричардсы живут теперь на девятнадцатом.

Посреди дальней спальни, чуть обок от центра, на полу стояла еще одна коробка.

Тетрадь лежала на подоконнике. Шкедт подошел, посмотрел на потертый изгвазданный картон. Снаружи под маревом шевелились темные пятнышки. Что, размышлял он, сказать мистеру Ричардсу про деньги? А если мистер Ричардс придет вечером и сам разговора не заведет? Может, написать варианты, первые фразы беседы, и до прихода мистера Ричардса порепетировать? Нет. Нет, вот это явно лишнее! Почти девять, подумал он, и так дымно, что с семнадца-

того этажа не отличишь людей от теней.

Стук; девичий вскрик. Снова стук — голос переменился. Третий — похоже, падала мебель, — и вопль взлетел в поднебесье. Четвертый — и вопль оборвался.

Шум доносился из квартиры этажом ниже.

Звон стекла поблизости оторвал его взгляд от пола.

Шкедт вышел в гостиную.

Миссис Ричардс, стоя на коленях над осколками, подняла глаза и потрясла головой:

— Я…

Ее сдавленное смятение притормозило его.

— Уронила одну…

Что была за статуэтка, уже не понять.

— Такие тонкие… стены здесь такие тонкие. Все слышно. Я так испугалась… — Она заторопилась, подбирая из-под набора столиков блестящие черные обломки с белыми матовыми краями.

— Надеюсь, вам оно было не очень… — но осекся от собственной напрасности.

— Да нет, ничего. Вот, все собрала. — Она встала, держа осколки в горсти. — Услышала этот ужасный… и уронила.

— Они что-то разошлись. — Он попытался было рассмеяться, но под ее взглядом удушил смех в

выдохе. — Миссис Ричардс, это шум, и все. Не надо так расстраиваться.

— Что они там *делают? Кто* они?

Вот-вот раскрошит керамику в ладонях.

— Парни, девчонки, просто переехали в квартиру на шестнадцатом. Ничего плохого вам не желают. Когда слышат, что творится здесь, тоже удивляются.

— Просто переехали? В каком смысле — *просто*?

Он посмотрел, как ее лицо дернулось было в направлении страха и не добралось даже туда.

— Хотели, видимо, крышу над головой. Взяли и поселились.

– *Поселились?* Нельзя просто взять и поселиться. А куда делась пара, которая жила там раньше? Домоуправление не знает, что тут творится. Прежде парадную дверь закрывали в десять каждый вечер! И запирали! В первую ночь, когда они стали так страшно шуметь, я послала Артура за охранником, за мистером Филлипсом, очень милый человек, из Вест-Индии, всегда дежурит до часу ночи. Артур его не нашел. Мистер Филлипс пропал. Вся охрана пропала. И служители из гаража. Я, да будет вам известно, обо всем написала Домоуправлению. Все им рассказала. —

Она покачала головой. — Как это так — взять и поселиться?

— Ну, они… Мэм, никакой охраны больше нет, а в квартире никто не жил; они просто въехали. Вот как вы взяли и переехали на девятнадцатый.

— Мы не *взяли* и переехали! — Миссис Ричардс огляделась. Направилась в кухню. — Я *написала* в Домоуправление. Артур с ними беседовал. Мы получили от них ключ. Совсем другое дело.

Шкедт хвостом ходил за ней по оголенной кухне.

— А *вы* откуда знаете, что там никто не жил? Раньше внизу была очень приятная пара. Она была японка. Или кореянка, что-то такое. Он был связан с университетом. Мы не очень близко знакомы. Они тут прожили всего полгода. А *они* куда делись? — Она оглянулась на него и снова пошла в столовую.

— Уехали, как и все. — Шкедт по-прежнему шел за ней по пятам.

Она понесла дребезжащие осколки по бесковерному коридору.

— Я думаю, с ними случилось что-то ужасное. Я думаю, эти люди внизу сделали что-то ужасное. Почему Домоуправление не присылает новую охрану? — Она шагнула было в спальню Бобби,

но передумала и направилась к Джун. — Тут ведь опасно, абсолютно, страшно опасно без охраны.

— Миссис Ричардс? — Он стоял в дверях, а она кружила по комнате, по-прежнему держа руки горстью. — Мэм? Вы что ищете?

— Куда выбросить, — она остановилась, — это. Но вы ведь уже всё отнесли наверх.

— Можно, вообще-то, на пол кинуть. — Он раздражался и смущался своего раздражения. — Вы же здесь больше не живете.

Повисла пауза, лицо миссис Ричардс сложилось в любопытную гримасу, а затем она сказала:

— Вы совсем не понимаете, как мы живем. А думаете, наверно, что прекрасно понимаете. Отнесу в мусоросжигатель.

Он шарахнулся с дороги, когда она выходила.

— Не люблю выходить в коридор. Мне там страшно…

— Давайте я вынесу, — крикнул он ей вслед.

— Да ничего. — Она покрутила ручку, не разнимая ладоней.

Когда за миссис Ричардс захлопнулась дверь, он зашипел сквозь зубы, а потом сходил и забрал с подоконника тетрадь. Оттуда выглянул голубой почтовый листок в рамке. Шкедт открыл тетрадь и посмотрел на эти ровненькие буквы. Выпятив

подбородок, достал ручку и вставил запятую. Миссис Ричардс писала черной тушью; у него чернила были темно-синие.

В гостиной он несколько раз ткнул себе в карман. Вернулась миссис Ричардс — судя по лицу, довольная свершением. Ручка в карман не лезла.

— Миссис Ричардс, а вы знаете, что у вас в почтовом ящике до сих пор лежит письмо?

— Какое письмо?

— У вас авиапочта в почтовом ящике. Я сегодня утром опять видел.

— Все ящики сломаны.

— Ваш цел. И в нем письмо. Я вам про него говорил в первый день. А на следующий день сказал мистеру Ричардсу. У вас есть ключ от ящика?

— Конечно. Кто-нибудь спустится и заберет сегодня ближе к вечеру.

— Миссис Ричардс? — Что-то выплеснулось, но что-то подступало изнутри.

— Что, Шкедт?

Он по-прежнему выпячивал подбородок. Втянул воздух, и челюсти разжались.

— Вы очень приятная женщина. Вы очень стараетесь обходиться со мной любезно. И по-моему, очень жаль, что вы вечно так боитесь. Я тут ничем помочь не могу, но я бы хотел помочь.

Она нахмурилась; хмурость рассеялась.

— Вы, я думаю, не поверите, как вы *уже* помогли.

— Потому что я сюда прихожу?

— Да. И потому что вы… ну…

Она пожала плечами, но смысла он не уловил.

— Миссис Ричардс, я в жизни тоже многого боялся. Всякого такого, чего не понимал. Но нельзя же позволять им садиться вам на голову. Возьмите жизнь в свои руки. Надо…

— Я переезжаю! — Кивки энергично подчеркнули слова. — Мы переезжаем из семнадцатой Е в девятнадцатую А.

— …что-то в себе изменить.

Не глядя на Шкедта, она резко качнула головой:

— А вы редкий нахал, если считаете, что открыли мне глаза. — Тут она посмотрела на него. — Или что от ваших слов станет проще.

Досада вытянула из него извинения.

— Простите. — И он сам услышал, как лаконичность преобразила их в нечто иное.

Миссис Ричардс моргнула.

— Да нет, я понимаю, вы просто хотели… Это вы меня простите. Но вы *знаете*, как страшно жить тут, — она рукой обвела зеленые стены, — когда

все от тебя ускользает? И слышишь все, что творится в соседних комнатах, в других квартирах? Я просыпаюсь ночами, подхожу к окну и порой вижу, как в дыму плавают огни. А дым чуть рассеется — и еще хуже, тогда огни — точно страшные чудовища ползают… Это должно прекратиться, вот что я вам скажу! Пока у нас тут кризис, на Домоуправление, наверно, много чего свалилось. Я это понимаю. Я делаю поправки. Но не бомба же на нас упала. Если бы упала бомба, мы бы уже умерли. Все это вполне естественно. И надо держаться, пока дела не выправятся, да? — Она склонилась к нему: — Вы как думаете — это же не бомба?

— Это не бомба. Я был в Мексике, в Энсенаде, всего с неделю назад. В газетах не было ни слова о бомбе; а потом меня подвез один человек — у него в машине была лос-анджелесская газета. Там тоже все хорошо. А в Филадельфии…

— Ну вот видите. Надо только переждать. Охрана вернется. Выгонит этих ужасных людей, которые бегают по коридорам и бесчинствуют. Нужно терпение, нужно быть сильными. Конечно, мне страшно. Я боюсь, если посижу пять минут просто так — закричу. Но нельзя пасовать — и нельзя пасовать перед ними. Вы как считае-

те, может, взять ножи из кухни и битые горшки, пойти вниз и выколупать их оттуда?

— Да нет, вы что…

— Я не из таких. И такой не стану. Вы говорите, мне надо что-то сделать? Ну, я перевезла свою семью. Это требует немалой… внутренней силы, согласитесь? В такой-то обстановке? Я даже не позволяю себе задуматься, до чего все это опасно. Если б задумалась, шевельнуться бы не смогла.

— Конечно опасно. Но я выхожу наружу. Я там живу; я там гуляю. И ничего.

— Ой, Эдна мне рассказала, откуда у вас эта болячка на лице. И вдобавок вы мужчина. Молодой мужчина. А я немолодая женщина.

— Но теперь везде так, миссис Ричардс. Надо выходить, потому что везде так и больше никак.

— Если подождать, все станет иначе. Я знаю, потому что я *правда* немолода. А вы не знаете, потому что еще очень молоды.

— Ваша подруга миссис Браун…

— Миссис Браун — другое дело. Она не я, я не она. Вы что, *нарочно* не понимаете?

Он вобрал в себя воздух, намереваясь возражать, но выражение возражения ему не далось.

— У меня семья. Мне это очень важно. А миссис Браун теперь совсем одна. На ней нет такой от-

ветственности. Но вам не понять; может, головой вы и понимаете. А вот сердцем нет.

— Тогда почему вы с мистером Ричардсом не вывезете свою семью из этого бардака?

Ее руки, медленно сползавшие по платью, разок показали ладони и упали.

— Можно отступить, да. Наверно, переезд и есть отступление. Но нельзя совсем капитулировать, сбежать, сдаться. Я *люблю* «Апартаменты Лабри». — Ее руки встретились, смяли подол спереди. — Мне тут нравится. Мы тут живем с тех пор, как я носила Бобби. Ждали заселения почти год. А до того у нас был крошечный домик в Хелмсфорде; но там было совсем не так красиво, уверяю вас. Сюда не всякого пустят. У Артура должность — ему здесь гораздо лучше. Я принимала многих его партнеров. Мне особенно нравились те, что помоложе и поумнее. И их жены. Очень приятные. Вы понимаете, как это трудно — создать дом?

Босую ногу уже жгло от чистого веса вертикального тела. Шкедт немножко покачался на месте.

— Женщина это делает изнутри себя. И вопреки любому сопротивлению. Когда все складывается, мужья очень ценят. Но не рвутся помогать. И это понятно. Они не умеют. Дети не ценят никогда.

Но это жизненно необходимо. Строишь свой собственный мир. И все должны почувствовать, что он твой. Я *хочу*, чтоб у меня был здесь дом, который на вид похож на дом и ощущается как дом, где моя семья в безопасности, где моим друзьям — психологам, инженерам, обычным людям… поэтам — будет хорошо. Понимаете?

Он кивнул.

Покачался.

— Этот Калкинз, который заправляет «Вестями», — думаете, у него есть дом? Они вечно талдычат про тех, кто с ним живет, кто у него гостит, про людей, которых он почитает важными. Думаете, я бы хотела такой дом? Нетушки. Вот настоящий дом — где с настоящими людьми случаются настоящие события. Вы тоже это чувствуете — я точно знаю. Вы нам уже практически как родной. Вы чуткий, вы поэт; вы же понимаете, что все разрушить и собрать заново, даже на девятнадцатом этаже, — это отчаянный риск? Но я на него пошла. Вам такой переезд кажется пустым жестом. Но вы не понимаете, до чего порой важен жест. Я не могу обустроить дом там, где слышен визг соседей. Я не могу. Потому что, когда соседи визжат, я не могу сохранить душевный покой, а он необходим, чтобы *построить*

дом. Какой покой, когда творится такое? Почему, думаете, мы переехали в «Лабри»? Знаете, чем мне виделся этот переезд? Пустотой, прорехой, трещиной, куда может просочиться что-то ужасное и уничтожить все — и нас, и мой дом. Все разбираешь, потом собираешь заново. И мне казалось, пока все собираешь заново, внутрь проникнет какая-то страшная грязь, или мерзость, или отвратительная гниль, и начнется ужасный распад. Но здесь, — она повела рукой, — я больше жить не могу.

— Но раз *снаружи* все изменилось…

— Значит, я должна, — она отпустила юбку, — быть сильнее внутри. Так ведь?

— Ну да-а. — Ответ из него выжали, и ему было неприятно. — Я думаю, так.

— Думаете? — Она глубоко вздохнула, оглядывая пол, точно искала заблудшие осколки. — А я *знаю*. Я знаю, как есть, спать, как положено делать, чтобы людям было комфортно. Мне нужно место, где готовить продукты, какие я хочу; место, которое выглядит так, как я хочу; место, которое может стать настоящим домом. — И прибавила: — Вы всё понимаете. — Взяла со столика глиняного льва. — Я же вижу.

Тут он сообразил, что разбился львиный близ-

нец.

— Да, миссис Ричардс, но…

— Мам? — сказала Джун под аккомпанемент открывающейся двери. Неуверенно глянула в пустоту между ними двумя. — Я думала, ты сразу вернешься. Это что за коробка? Мои ракушки? — Она подошла к кучке оставшихся вещей. — Я и не знала, что она у нас еще осталась.

— Блин, — из дверей сказал Бобби. — Почти все перенесли. Телик взять?

— Зачем бы? — откликнулась Джун. — Картинки-то нет; одно конфетти разноцветное. Телик пусть Шкедт несет. А ты помоги мне перетащить ковер.

— А, ну давай.

Джун поволокла коверный сверток за один конец. Бобби подхватил другой.

— Вы точно вдвоем справитесь? — спросила миссис Ричардс.

— Нормально, — ответила Джун.

Ковер повис между ними пятнадцатифутовой колбасой. Они одолели комнату — миссис Ричардс отодвинула набор столиков, Шкедт отпихнул телевизор; Джун шла лицом вперед, Бобби пятился.

— Ты меня в дверь-то не толкай, черт, — сказал

Бобби.

— Бобби! — сказала его мать.

Джун закряхтела, поудобнее ухватилась за ковер.

— Ну *извини*. — Бобби взял ковер под мышку, за спиной нащупал дверную ручку. — Не толкай, блин… Сойдет?

— Крепко держишь? — спросила ужасно напряженная Джун.

– *Угм*, — кивнул Бобби, задом выходя в коридор.

Джун вышла следом; край ковра прошуршал по косяку.

— Секунду. — Джун пнула дверь ногой и ступила за порог.

— Ладно, только ты меня так быстро не толкай, — повторил Бобби в гулком коридоре.

Дверь затворилась.

— Миссис Ричардс, я возьму телевизор… если хотите?

Она расхаживала туда и сюда, что-то искала.

— Да. Ах да. Конечно, телевизор. Хотя Джун права; по телевизору ничего не показывают. Ужас, как зависишь от внешнего: по пятьдесят громадных пустот за вечер, а хочется заполнить их радиопередачей, например. Но если будет од-

на статика — это ужасно. Погодите. Давайте я все это уберу, а вы отнесете столики. Когда постелем ковер в гостиной, поставлю столик у балконной двери. Вот что мне там нравится больше всего — балкон. Мы, когда только переезжали, просили квартиру с балконом, но нам не досталось. Я их разделю, поставлю по бокам от…

В коридоре закричала Джун; долгий крик — слышно было, как он высосал из нее все дыхание. Потом она опять закричала.

Миссис Ричардс беззвучно открыла рот; одна рука затряслась у виска.

Шкедт рванул между телевизором и столиками и выскочил за дверь.

В коридоре Джун пятилась, ведя рукой по стене. Шкедт схватил ее за плечо, и крик оборвался, она развернулась:

— Бобби!.. — Голоса у нее почти не осталось. — Я… я не видела… — Тряся головой, она ткнула пальцем.

За спиной он услышал миссис Ричардс и пробежал еще три шага.

Ковер валялся на полу, последний фут свешивался с порога над пустой шахтой. Дверь пихала его, кхынкала, брала разбег и снова пыталась закрыться.

— Мама! Бобби… он упал в…

Кхынк!

— Нет-нет-нет, о господи боже, нет!

— Я не видела, мам! Я не видела! Я думала, это другой…

— Ох батюшки. Бобби… нет, не может быть…

— Мам, я не знала! Он взял и вошел задом! Я не видела…

Кхынк!

Шкедт обеими ладонями грохнул по «ВЫХОДУ», слетел пролетом ниже, выскочил на шестнадцатом, ринулся по коридору и замолотил в дверь.

— Ну харэ, харэ. Вот с хуя, — открыл ему Тринадцать, — так громыхать, а?

— Веревку!.. — еле выдохнул Шкедт. — Или лестницу. Люди, у вас веревка есть? И фонарик? Мальчик сверху — он в шахту упал!

— Ох ни фига себе!.. — И Тринадцать попятился.

Кумара за его плечом распахнула глаза.

— Народ, скорей! Свет и лестница, ну? И веревка?

Плечом отодвинув Кумару, Тринадцать обогнула черная женщина с волосами как двухдюймовая проволочная посудная мочалка с проблесками рыжины:

— Что за херня, а? — На шее у нее висела дюжина цепочек — убегали между грудей, между полами кожаного жилета, зашнурованного на полдюжины нижних люверсов. Большой палец цеплялся за исцарапанный ремень; запястья узловатые, руки в цыпках. Между ремнем и жилетом круглилась темная кожа.

— Мальчик только что упал в шахту, сука, лифта! — Шкедт опять перевел дух и посмотрел за спины толпы, сгрудившейся в дверях. — Тащите уже лестницу, гады, и веревку, и фонарик, и пошли! Ну?

— Эй, да не ссы! — Черная оглянулась через плечо: — Малыш! Адам! Денни, у тебя же бечевка была. Тащи сюда. Пацан в шахту упал. — Она снова повернулась к Шкедту: — Свет у меня есть. — На двух крупных передних зубах — треугольное бурое пятно, похоже, несмываемое. — Двинули!

Шкедт развернулся и побежал назад по коридору.

Услышал, как они бегут следом.

Когда он нырнул в лестничный колодец, голос Денни отделился от прочих голосов и шагов:

— В *лифт* упал! Во дает, — и лающий смех. — Ладно. Ладно, Леди Дракон, иду я, иду.

На следующем марше свет, внезапно вспыхнув

за спиной, швырнул тень Шкедту под ноги. На площадке он оглянулся.

За ним по пятам неслись горящая чешуя, когти и клыки, бороздчатые и жесткие, точно застрявший в кинопроекторе кадр из фильма про монстров; эту драконихи Шкедт видел в парке в первую ночь с Тэком. Шкедт ее узнал, потому что за ее плечом, а порой и сквозь нее мерцали грифон и богомол. Выбеленные до призрачности, остальные мчались вниз толпой, исполосованные боковым освещением. Шкедт бежал, сердце колотилось, дыхание царапало пазухи.

В дверь на нижней площадке он влетел всем телом; дверь прогнулась. Он выпал наружу. Остальные выскочили следом. Он кинулся через вестибюль; резкий свет разбрасывал резкие тени, рассеивая серость.

— Как тут, блядь, в подвал попасть? — Он заколотил по кнопке лифта.

— Там заперто, — ответил Тринадцать. — Я туда ломился, когда мы только…

Обе лифтовые двери раскрылись.

Леди Дракон, потушив свет, мимо Шкедта прыгнула в кабину, содрала пластину над кнопками; пластина загремела по полу, а Леди Дракон подергала переключатели.

— Так, вот, обе двери открыты.

Шкедт оглянулся — два других призрака качнулись к нему в толпе — и крикнул:

— Веревка где? — Схватился за косяк и склонился в ветреную шахту. Средь мутных кирпичей росли балки. — Ничего почти не видно.

Ветер сверху принес эхо:

Господи, господи! Он же там внизу! Он, наверно, ужасно покалечился!

И другое:

Мам, не надо, иди сюда. Туда Шкедт пошел. Мам, ну пожалуйста!

Бобби, Бобби, ты цел? Бобби, ну пожалуйста! Ох господи ты боже мой.

Шкедт напряг глаза: в вышине — слабейший намек на свет; наверху открытые двери?

— Миссис Ричардс! — Его крик заскакал по шахте. — А ну отойдите!

Ой, Бобби! Шкедт, он цел? Умоляю, умоляю, только бы он был цел.

Мам, отойди, а?

Затем огни вокруг придвинулись, резче вырисовывая кирпич, крашеную сталь. На стене шахты завертелись тени голов; одни росли, другие блекли; вырастали новые.

— Видно что-нибудь? — спросила Леди Дракон,

всем телом пихая его в плечо. — Вот. — Появилась ее рука, крюком уцепилась за его локоть. — Цепляйся и наклонись подальше, если хочешь.

Он покосился на нее.

Склонив голову набок, она сказала:

— Да не уроню я тебя, мудила!

Так что он согнул руку.

— Держишь?

— Ага.

Локти сцепились жарко и удобно.

Он наклонился вперед, качнулся в темноту. Леди Дракон медленно его опускала.

Другие огни заполонили дверной проем, омывая шахту двойными тенями.

— Видно там что-нибудь? — голос не Леди Дракон, а Денни.

А там всякий мусор: в бархатной темноте — сигаретные пачки, обертки от жвачки, сигареты и окурки, спичечные картонки, конверты, а вон там, сбоку, грудой… мерцание обозначило запястье.

— Да, я его вижу… кажется.

Вы видите, где он? Бобби! Бобби, Шкедт, вы его видите? О господи, там же так глубоко! Ой, он, наверно, весь переломался. Я его не слышу. Он без сознания? Ну, вы его видите?

Мама, пожалуйста, отойди оттуда!

За его спиной Леди Дракон тихо и безжалостно сказала:

— Господи, хоть бы эта блядь заткнулась!

— Слышь, чувак, — позади них откликнулся Тринадцать, — там же *сын* ее!

— Ты мне не чувакай, — ответила Леди Дракон, и Шкедт почувствовал, как ее хватка… ну, не то чтобы ослабла, но сдвинулась на дюйм; напряг плечо. — Все равно лучше б она помолчала!

— Я ломик прихватил, — сказал кто-то. — И отвертку. Вам нужно ломик или отвертку?

— После такого полета, — сказала Леди Дракон, — от него, небось, мало что осталось. Наверняка мертвый.

— Ёпта, — сказал Тринадцать, — там наверху *мамка* его!

— Я говорю: наверняка он мертвый! Слышишь меня?

Мам, отойди!

Вы его видите? Я ничего не вижу. Не слышу ничего. Ой, Бобби, Бобби! Слышишь — это я, мамочка! Умоляю тебя, Бобби!

Хватка внезапно провисла — Шкедту на миг почудилось, что он падает: Леди Дракон, не отпуская его, тоже склонилась в шахту. В ушах у

него взревел ее голос:

— ТВОЙ СЫН УМЕР, ДАМОЧКА! — И Шкедта уже выволакивали назад. — Давай вылазь.

Тринадцать, недовольно кривясь, тряс головой.

Денни, пробравшись в первый ряд зрителей, держал моток бельевой веревки.

— Будешь его вытаскивать? Держи веревку. Мы подержим, а ты спускайся.

Шкедт взялся за сложенный вдвое конец, продел в него голову, затем руки. (Грифон и Богомол стояли с флангов.) Тринадцать, Денни и Леди Дракон распределяли другой конец между собой.

— Вы, главное, держите, — сказал Шкедт. — Я спущусь.

Он встал на колени на пороге, держась за край (одна мозолистая рука растворилась в грифоньем сиянии), спустил одну ногу, потом другую. Шахта холодила спину. Откуда дует — сверху, снизу? — не понять. Он сполз с края — пришлось отталкиваться от стены коленом, затем ступней.

— Ты там как? — спросил Денни; ноги расставлены, кулаки сжаты.

Шкедт заворчал, повиснув на веревке — она резала спину (вдавливая в нее что-то стеклянное) и резала под мышками.

— Порядок.

Под босой ногой заскользила косая поперечина дверного механизма. Носок сандалии заскреб по металлу.

Призраки по бокам от двери шатались, свешивались, светились.

Один раз он окликнул:

— Можно чуть побыстрее спускать. Я в норме.

— Извини. — У Тринадцати перехватило дыхание; веревку он тоже перехватил.

Шкедт оцарапал щиколотку о порог подвальной двери. Голая нога что-то нащупала и соскользнула — то ли машинное масло, то ли кровь.

Он повернулся — веревка на нем обвисла — и посмотрел на… наверняка мертв.

На миг в шахте воцарилось беззвучие — только ветер шелестел.

Наконец Леди Дракон крикнула сверху:

— Ну, ты там еще в норме?..

— Ага. — Шкедт вздохнул. — Обвяжу его веревкой. А вы поднимайте. — Он стащил веревку из-под мышек, через голову, но оставил болтаться на одном плече; наступил в мерзостную жижу, нагнулся и дернул ногой, застрявшей в почерневшем натяжном устройстве.

— …живой? — крикнул Тринадцать.

Шкедт опять вздохнул:

— Не-а.

Дернул за руку, прижал к себе, обняв за грудь, — а грудь мягкая. Рубаха мигом промокла насквозь. По руке потекла кровь. Шкедт встал, на шаг попятился. Ступня запнулась, высвободилась; по бедру стукнула нога — промочила штанину теплом до колена. Волоча обмякшее тело, потянувшись за веревкой, он подумал: и вот это возбуждает психованных любителей крови и ножей? Он подумал про Тэка, он подумал про Джорджа, поискал в себе праздных сексуальных позывов; и, к своему замешательству, нашел — крохотное тепло в паху, угасшее, когда он оскалился, а в липкой руке заскользила веревка.

— Еще пару футов спустите! — Что ж, прежде Шкедт его находил в изуродованных авариями автомобилях, в синем плюше, в корнях, во влажной древесине, с которой только что содрали кору.

На плечо упала веревка; вновь загомонили голоса восемнадцатью этажами выше:

Ой, мама…

Он цел? Шкедт, вы его нашли наконец? Бобби? Бобби, ты меня вообще слышишь?

Ой, мам, они же сказали…

Бобби, ты живой?

Он обмотал веревкой грудь, затянул неуклюжий узел — все равно что вязать узлы, когда руки в клею, — который, *может быть*, не развяжется. Бобби повалился Шкедту на колени — тяжелый, и босая нога заскользила назад.

— Тащите! — и Шкедт подергал веревку.

Разглядел, как веревка заструилась через порог, натянулась и замедлилась. Груз на коленях полегчал, отодвинулся. Кроссовка протащилась по ноге, стукнула о дверь, и опять махнула, и поднялась, капая ему на щеку. Основанием ладони он размазал пятно по лицу и шагнул назад.

«Господи боже!..» какой-то девчонки в дверях выключило все звуки, кроме ветра и гулкого голоса:

Бобби, Бобби, умоляю, ты меня слышишь?

Какой-то парнишка сказал:

— Во блин!..

А потом нервный смешок Денни:

— Ну и каша!..

Леди Дракон сказала:

— Так, я его отвязываю — спустите веревку шкету.

На дне шахты, босой пяткой опираясь на за-

ляпанную ось поперек натяжного устройства, Шкедт смотрел вверх. На миг показалось, что к нему спускается кабина. Но нет — просто световая обманка: на краю зрения колыхались и мерцали два зверя по бокам от двери.

На Шкедта упала веревка. Он ухватился за нее одной рукой, потом другой. Кто-то потянул; веревка ободрала изгвазданные ладони.

— Стой!.. — Веревка обвисла.

Леди Дракон склонилась в шахту, намотав веревку на кулак:

— Готов?

— Ага. — Он опять надел петлю на голову и под мышки. — Готов.

И они потащили.

Когда его голова показалась над порогом, Денни и еще кто-то, уже стоя на коленях, поймали его под руки. Порог проскреб по подбородку, по груди.

Кумара просто зажала рот ладонью и спряталась за спину Тринадцати.

Шкедт выполз, поднялся, сделал несколько шагов. Остальные отшатнулись.

— Господи боже! — Леди Дракон потрясла головой, распахнув глаза, и скатила веревку по бедру. — Господи!..

Денни, странно улыбаясь, попятился, копоша на груди пальцами с черными ободками на ногтях.

— Ну ты вообще… — Он отбросил с лица светлые волосы, будто прикидывая, какой из нескольких комментариев выбрать. — Выглядишь не лучше… — И посмотрел на пол.

– *Э-э*… — сказал Тринадцать. — У нас там кой-какие шмотки есть. Хошь глянуть? Переодеться во что-нибудь, ну… короче.

— А, ну да. — Шкедт опустил глаза, увидел кровь — на себе, на полу. Кровь не текла. Смахивала на желе. — Спасибо. — И посмотрел на то, что лежало на полу, а между тем в шахте водопадом ревели ветер и женский голос. — Мне бы надо отнести… его наверх.

Рубашка у Бобби порвалась на спине. Плоть, где ее не содрало, полиловела.

— Можно волоком его, — посоветовал Тринадцать. — У нас брезента не осталось?

Кто-то — Шкедт не опознал — ответил:

— Выкинули.

Шкедт втянул воздух сквозь зубы, нагнулся, подхватил Бобби за плечи, потянул. Один глаз — открытый — при падении лопнул. Лицо на четверть расплющилось, точно глиняное.

Тринадцать заглянул в шахту, задрал голову и сказал:

— Леди Дракон, вот зачем надо было ей орать, что ее пацан умер?

— Затем, — ответила Леди Дракон, — что, будь я его матерью, я бы хотела *знать*!

— А вдруг бы он еще…

— Слушай, — сказала она, — его ж не со второго этажа запульнули. Тут семнадцать, восемнадцать этажей!

Шкедт подсунул руку Бобби под коленки, нестойко поднялся, шагнул назад.

– *Полегче!* — Денни схватил его за плечо. — Ты же не хочешь *опять* туда?

Шкедт сказал:

— Запустите лифт! — Тело в руках было тяжелое, не такое теплое и текло меньше.

— А? — Это Леди Дракон, которая сматывала веревку. — А, ну да! — Она снова прыгнула в кабину, как-то еще подергала переключатели над кнопками.

Дверь начала закрываться. Леди Дракон выставила руку. *(Кхынк.)*

Денни отступил, а Шкедт внес Бобби в лифт.

— Малыш, Адам, поднимайтесь с остальными, — сказала Леди Дракон из глубины кабины.

Но Шкедт, повернувшись лицом к закрывающейся двери, не понял, к которым из тех, кто стоял позади Тринадцати и Кумары, она обращалась: их светощиты погасли.

Спустя мгновенье во тьме он услышал, как рука Леди Дракон пошарила в цепях; и кабину затопил свет.

— Чтоб ты видел, что делаешь, — пояснила дракон. — Давай я нажму. Какой этаж? Семнадцатый?

— Да, — кивнул он и посторонился.

Кабина тронулась вверх.

Дракон, сообразил Шкедт, был больше лифта. Поскольку состоял дракон из света, казалось бы, стены и потолок должны были отсечь и боковой коготь, и макушку. Но выглядело иначе: фрагменты голубых эмалированных стен и потолка стали как будто прозрачные, и коготь с макушкой светили насквозь. Призрак отражался со всех четырех сторон.

Стоя в лифте, перехватывая свой груз — перехватывать пришлось несколько раз, — Шкедт разглядел бороздки — точно расплывчатая картинка на вертикальном телеэкране: наклонишься вправо — они бегут влево; наклонишься влево — бегут вправо. Он сказал:

— Тебе, наверно, лучше со мной не выходить.

Дракон ответила:

— Я и не планировала.

Он опять перехватил тело поудобнее, опустил глаза, посмотрел, подумал: пахнет… специфический запах. И раздражала бумажка — он глянул ниже колен; спичечная книжка, что ли? — прилипшая к босой ступне.

Почему, подумал Шкедт, почему я торчу тут, обнимая груду тяжеленного мяса, которое все в крови?.. А потом что-то изнутри подрало ему лицо; горло перехватило, на глаза навернулись слезы. То ли страх, то ли горе — погасло мгновенно, как похоть, мимоходом подравшая чресла.

Он поморгал, опять переступил, перенес вес на обутую ногу. Босая прилипла к полу.

Колыхания и колебания, которые выдали бы, о чем думает Леди Дракон, прятались в ярком свете.

Шкедт опять переступил. Сандалия тоже прилипла.

Кабина замедлилась; дверь открылась.

Кулак миссис Ричардс заехал ей в подбородок. Жест — как у Джун, только выразительнее.

Миссис Ричардс все пятилась и пятилась.

Джун поймала мать за локоть.

Миссис Ричардс закрыла рот и глаза и затряслась. В тишине внезапно заскрипели пронзительные ломкие всхлипы.

— Отведи-ка мать наверх, — сказал Шкедт и следом за своей гротескной тенью ступил в коридор.

Джун мотала головой, переводя взгляд с него на мать, пока на его тень не наехала другая. Джун смотрела не на него, а на сияющего призрака в закрывающемся лифте.

— Я его отнесу в старую квартиру.

— Бобби — он?.. — прошептала Джун и шарахнулась спиной в стену, пропуская Шкедта мимо.

— Он умер, да.

Плач миссис Ричардс у него за спиной сменил тональность.

Дверь другого лифта все кхынкала, кхынкала, кхынкала об ковер.

Шкедт плечом вперед вошел в 17-Е. Положить мальчика в его?.. Шкедт прошагал по коридору, свернул в пустую комнату. Рука Бобби (та, что с цепью, сплошь в крови) все стукалась и стукалась ему о лодыжку. Чтобы не печалиться, достаточно посмотреть на то, что он тут тащит.

Он постарался не уронить эту штуку на пол, опустил, чуть не упал; и уронил. Потянул за вы-

вороченную ногу; ее… опять выворотило, и не там, где полагается. Так что Шкедт разогнулся.

Господи, кровь! Он покачал головой и отклеил рубашку от живота и плеч. Шагая к двери, расстегнул штаны и, придерживая их одной рукой — они сползли на бедра — вышел из квартиры.

Посреди коридора миссис Ричардс затрясла головой и опять заплакала.

Он скривился и подтянул штаны. Собирался-то он в ванную, но зрелище ее ошеломленного горя отбросило назад, к мгновению сексуального отклика в приямке шахты. Ёпта, подумал Шкедт.

— Мэм, идите наверх, а? Тут ничего не поделаешь. Если будете здесь, вам не станет… лучше. Джун?..

Джун наполовину спряталась за спиной у матери.

— …отведи ее наверх. — Ему вдруг захотелось сбежать вовсе. — Слушайте, мне надо взять… кое-что. — Рукой придерживая расстегнутую ширинку, он обогнул их, из гостиной забрал свою тетрадку и, выставив ее перед собой, вышел за дверь.

* * *

Тринадцать сказал:

— Ей, небось, тяжко, — и отступил, пропуская его.

— Ёпта. — Леди Дракон посмотрела в потолок.

Плач, пронзительный и сдавленный, чем-то раскаленным стекал в комнату.

— Когда ж она заткнется-то, а? — сказала Леди Дракон.

— Слышь, чувак… — начал было Тринадцать.

— Да понимаю я, понимаю. Тут кто-то спрашивал, хочу ли я вина. Я кранты как хочу. Малыш? Адам? Вино, сука, тащите?

— Ты говорил, — сказал Шкедт, — у тебя одежда есть?

— А, ну да. Легко. Заходи.

Денни, держа стеклянный графин на сгибе локтя, сказал:

— По-моему, ему надо в ванную.

— Да уж, тебе помыться бы. Ванна — туши свет, но если хочешь, залезай. Что такое?

— Ничего. — Но от последней реплики Денни побежали мурашки неприятней и горя, и ужаса. — Да, помыться не помешает.

— Дальше по коридору. Окон, бля, нету. Я фо-

нарь принесу. — И Тринадцать снял лампу с гвоздя на стене.

Следом за Тринадцатью Шкедт зашагал в сортир.

В колеблющемся свете он различил ржавое кольцо по центру ванны до самого стока. Эмаль тут и там отслаивалась, обнажая черноту.

— Пришлось больного скорпиона сюда сгрузить пару дней назад, Перец его звали, ширнулся чем не надо. Свалили в ванну, а у него шпоры, он в ванне дырки пробивал. — Высоко подняв лампу, Тринадцать наклонился, подобрал со дна ванны шуруп, посмотрел, пожал плечами. — Полотенце бери любое, если надо. Мочалок нет. — И поставил лампу на бачок.

Шкедт отложил тетрадь на крышку унитаза, включил воду и взял мыло; в бруске засохли хлопья ржавчины.

Серым полотенцем (драным) он протер дно. Затычки не было, так что он скатал полотенце, заткнул сток им и забрался в ванну, не успела вода закрыть дно.

— Выпить хочешь чего? — окликнул девичий голос из-за двери.

— Ага.

Он сидел, тер лицо и слышал плач этажом вы-

ше. Может, опять по комнатам бродит.

Вошла девчонка, принесла белую кружку. В джинсах, полная, с веселым лицом, тщившимся изобразить серьезность.

— Держи. Бедный мальчик. — Она наклонилась, просыпав кудри с плеча, и поставила кружку на край ванны. Под синим свитером — тяжелые груди на свободе. — Какой ужас!

Говорила она задышливо — наверно, решил он, часто хихикает. Представив, как она хихикает, он улыбнулся.

— Так себе картинка была.

— Ты наверху живешь? — спросила она.

Лет семнадцать, должно быть.

— Я там просто работаю. Между прочим, если будешь так пялиться, я могу и возбудиться.

Она хихикнула.

Он откинулся назад в ванне.

— Вот видишь? Я же говорил.

— Ой-й… — Она отмахнулась в притворной досаде, ушла — протиснулась мимо Денни, который стоял в дверях. Тот резко, коротко хохотнул.

— Мощно ты вляпался, а, шкет?

— Да уж. Ну не оставлять же его там.

— Наверно, да. — Денни вошел и сел на крышку унитаза, взял тетрадь. — Эй, шкет? Твое?

Он кивнул, лишь теперь сообразив, что у «шкета» Денни не было ни заглавной Ш, ни лишнего «д». Шкедт ухмыльнулся и взял кружку. (Вода вокруг него побурела. Над стоком плавала отлипшая от ноги спичечная книжка.) Он глотнул, и рот обожгло.

— Ёпта, что это?

— Виски, — ответил Денни, подняв глаза. — Хочешь вина — есть вино. Но я подумал, может, тебе лучше чего покрепче. Ну, после… — Волосы его качнулись бледными лезвиями.

— Нормально.

— Это всё ты писал?

— Ага. Оставь.

— Ой. — Денни поспешно отложил тетрадь на пол между сапогами. Некоторое время двумя пальцами растирал голую грудь. Потом опять поднял голову и сказал: — Во она завелась, да? Это, небось, потому, что она его мамаша.

Шкедт кивнул и костяшками повозил по мыльному бруску.

— Я всю дрянь с лица стер?

— Не-а. Сбоку еще, под подбородком.

Он намылил там. Пена в свете лампы стала бежевой.

Денни ткнул рукой:

— А стоит у тебя чего?

— Того, что твоя тощая жопа из штанов свисает.

— Да? — ухмыльнулся Денни. — Круче жопы у тебя не бывало.

Но когда Шкедт сполоснул лицо от пены, Денни все смотрел.

— Как сходили? — спросил Шкедт.

— С Кошмаром-то?

— Ну.

— Херня, — пожал плечами Денни. — Ничего не добыли. В прошлый раз вышло отлично. И в следующий раз отлично выйдет.

— А вы за чем ходите? — Шкедт еще отпил и потер ржавым мылом по животу.

— Тебе прям интересно про скорпионов?

Шкедт пожал плечами. Мыло ускакало по волнам.

Денни кивнул:

— Если интересно, Леди Дракон спроси.

— Не настолько. — Он поймал мыло, впихнул его между пальцами ног.

— Ты спроси, а она скажет, если решит, что тебе охота знать. Ты ей по кайфу. — Денни вдруг вскочил. — И Кошмару. Щас вернусь, секунду.

Шкедт еще отпил и снова принялся драить.

Ногти на руках обведены бурым — и изуродованная кромка, и обкусанная кутикула. Он окунулся с головой, потер ее, вынырнул; с волос поползли темные черви.

— Выбирай, шкет. — Денни вернулся с ворохом одежды и опять сел на унитаз. — Есть вот *такие* штаны; и такие… не, эти слишком похабные. Вот эти, наверно, подойдут. И ремень неплохой. Не знаю, кто это все тут забыл. Казалось бы, где-то должна быть рубаха.

— Я думал, скорпионы рубах не носят. — Шкедт встал посреди громкой воды и намылил пах.

Денни опять глянул:

— Ёпта, от *тебя* я жопу лучше поберегу. Черный кожаный жилет хочешь? Тебе, шкет, пойдет, между прочим. Скорпионы обычно только жилеты носят. Видал, какой у меня?

— Тебе сколько лет?

— Ну… шестнадцать, — за чем последовал вопросительный взгляд.

Пятнадцать, решил Шкедт.

— Я тебя старше почти на двенадцать лет. Давай ты не будешь звать меня шкетом.

— Чё? Правда?

— Ага. Брось вон полотенце.

Едва Шкедт его поймал, дверь с грохотом рас-

пахнулась. В ванную ворвалась Леди Дракон — темное лицо перекошено, пятнистые зубы оскалены, трясет кулаком, пальцем тычет вверх:

— Пойдешь наверх — скажи этой твари, чтоб умолкла, понял меня? Я, блядь, на стенку уже лезу! Я понимаю, сын, то-се, но… короче, господи боже, она там, блядь, уже час воет! — Леди Дракон задрала голову и заорала в потолок: — Да пойдите вы уже *погуляйте*, дамочка!

— Леди Дракон… — Скорпионий гнев, похоже, не произвел на Денни ни малейшего впечатления.

— Мы этого хуесоса ей приволокли! Будет так орать — приду и говно повыбью, если ты ее не угомонишь!

Злость и холодный воздух; эрекция, короче, до свидания.

— Стены тонкие. — Он потерся скомканным полотенцем.

— Леди Дракон?

— Чего тебе?

— Тут Шке…дт спрашивал про набег.

Шкедт уловил, что это нерешительное ослушание — кивок некоему прежнему обязательству. Но не понял, уважительна или насмешлива заглавная.

— М-да? — Гнев Леди Дракон мигом иссяк.

— Слушай, дай мне выйти, я загляну наверх, посмотрю, что тут можно сделать, — предложил Шкедт. — А как-нибудь потом поговорим. — Он тоже был не прочь, чтоб миссис Ричардс умолкла.

— А, ну да. Запросто. Постарайся ее заткнуть, а? — И Леди Дракон задом вышла из ванной.

— Так чего, не хочешь жилет? — Денни все ворошил кучу одежды.

Плач внезапно взял новую высоту. Леди Дракон за дверью сказала:

— Да чтоб тебя!

— Я, блядь, хочу жилет. — Шкедт вылез из ванны, взял кружку и допил виски. Внутри закружилось двойное тепло согласия и алкоголя.

Денни, не вставая и согнувшись почти пополам, сортировал шмотье. Ремень оттянул ему джинсы, открыв щель между ягодицами.

Шкедт цыкнул и протер пах.

— А она чего здесь вообще?

— Леди Дракон? — Денни глянул снизу вверх, разогнулся.

— Ну.

— Помнишь, когда ты в тот раз приходил, Кошмар меня в набег подбивал? — Денни дернул

плечами и опять занялся тряпками. — Вот, а она меня обратно, так сказать, привела.

— А.

Дверь опять отворилась. В проеме стояла девчонка — на сей раз с пластиковым стаканчиком.

— Ой, — сказала она. — Я не знала, что ты… — Обращалась она к Денни, но тот не поднял головы. Поэтому она сообщила Шкедту: — Денни сказал, через пятнадцать минут надо принести еще. Ты первую уже допил?

— Да похуй, допил или нет, — сказал вдвое сложенный Денни. — Дай человеку бухла.

— Я допил.

Девчонка быстро моргала, пока они обменивали кружку на стаканчик. Затем, не взглянув на Денни, ушла. Шкедт еще выпил и отставил стаканчик на край ванны.

— Спасибо.

Денни так ничего и не сказал — можно подумать, смутился.

* * *

В черных джинсах и кожаном жилете Шкедт вышел в гостиную.

— Ба-лин! — говорила Леди Дракон. — Никаких сил уже…

Здесь плач слышался отчетливее.

— Леди Дракон, — сказала Кумара, теребя кисти своего плетеного ремня, — ты зачем так кричишь? Это совсем… совсем не обязательно!

— Ну, — ответила та, большими пальцами уцепившись за свой, — если б я так дурака валяла, где-то спустя час я уж и не знаю, как бы я поблагодарила, если б мне кто объяснил, что пора перестать, — и очень доступно!

Кумару это рассмешило; а вот Тринадцать в безмолвной досаде всплеснул руками. Встал между женщинами, словно прикрывая; Кумара вроде не обиделась.

— Слушай, — сказал Тринадцать, успокоительно поводя ладонями, — если с твоей соседкой, вот с твоей личной *соседкой* такое приключилось, ты обязана, *обязана*, понимаешь, потерпеть…

Леди Дракон запустила в него стаканом. Не попала. Кумара тоже пригнулась.

— Эй, ты головой-то!.. — заорал Тринадцать.

На полу дрожали осколки стекла. Вино лизнуло стенку сверху вниз. Кумара поморгала, словно не понимая, развеселиться или разозлиться.

Но Леди Дракон скрючило от хохота.

— Ой, Тринадцать… Тринадцать, ну ты… — Она выпрямилась, и цепи на шее качнулись, мотну-

лись назад. — *Во* у тебя очко играет. — И опять засмеялась.

Может, подумал Шкедт, скорпионы просто громко орут, много смеются и швыряются чем ни попадя.

— Малыш! — закричала Леди Дракон. — Адам! Скоро уходим…

— До свидания, — сказал Шкедт от двери и вышел. («До свидания» ему ответила только девчонка в синем свитере, которая приносила виски. Но почему-то стало ясно, что пора уходить.) В коридоре он вспомнил, что даже не заметил, лежит ли еще в койке больная девица.

5

Он принес в 19-А комплект столиков.

Миссис Ричардс стояла посреди комнаты.

– *Э*, — сказал он. — Я подумал, я захвачу, э, с собой. Раз уж все равно иду. Вы сказали, вы хотели их к… — а потом пошел и поставил их у балконной двери.

— Ваша одежда, — сказала она. — Я хотела дать вам одежду… моего сына.

— Ой. У меня вот.

Тоже все черное.

Одна ее рука стискивала другую под грудью. Миссис Ричардс кивнула.

— Как Джун?

Она все кивала.

— Я вас вроде слышал внизу, поднялся — а вы уже ушли.

Кивки продолжались, пока она вдруг не отвернула лицо.

— Я принесу остальное, мэм.

Он вернулся, таща по ковру на плечах, и оба свалил на пол. Миссис Ричардс в гостиной не было. В следующую ходку (он подумал было перенести игрушки Бобби, но решил, что лучше

их оставить) она прошла через гостиную, но на Шкедта не взглянула.

Еще три ходки — и всё (игрушки тоже; их он отнес в спальню Бобби и сразу убрал в чулан) перебазировалось наверх.

Он сел в кресло и открыл тетрадь. Обгрызенные леденцы ногтей по-прежнему окаймляла ржавчина. Он взял ручку (теперь прицепленную к петлице жилета) и полистал страницы. Удивился, как мало осталось пустых. Открыл последнюю и сообразил, что страницы из тетради вырваны. Их останки пернато встопорщились внутри пружинки. Обложка ходила ходуном. Полдюжины дырочек в картоне порвались. Он вернулся к первой из пустых страниц и щелкнул ручкой.

А затем медленно потерялся в словах:

Обе ноги были сломаны. Его размякшая голова и желейный бок…

Он остановился; он переписал:

Обе ноги сломаны, мягкоглазый, желейнобокий…

Вот только где-то там язык заартачился на лишнем ударении. Он, хмурясь, поискал способа вычеркнуть слог, вернуть строке зверство. Отыскав, сообразил, что от прилагательных придется отказаться и переставить слова; осталось повест-

вовательное предложение, означавшее нечто решительно иное, и от него по спине под жилетом побежали мурашки, потому что, осознал он не к месту, получилось гораздо чудовищнее того, что он хотел описать. Первый замысел лишь подбирался к порогу терпимости. Он перевел дух и перенес придаточное из первых трех строк, завершив им пассаж; а записывая, увидел, что из этого придаточного нужно лишь одно слово, так что прочие вычеркнул.

Вошла миссис Ричардс, в поисках покружила по комнате, заметила Шкедта:

— Вы пишете. Я не хотела помешать вам… писать.

— Нет-нет. — Он закрыл тетрадку. — Я закончил. — Он устал. Но закончил.

— Я подумала, может, вы пишете какую-то… элегию. Про… — и повесила голову.

— Ой. Нет… — сказал он и решил, что название будет — «Элегия». — Слушайте, все вещи уже здесь. Я, наверно, лучше пойду.

— Нет. — Рука отнялась от горла, потянулась к нему. — Нет, не уходите! Вы же не поговорили с Артуром про деньги.

— Ну ладно. — И он снова сел.

Миссис Ричардс, воплощенная истощенная

нервозность, села напротив за кофейный столик.

Шкедт спросил:

— А где Джун?

— Она у себя в… — Фразу оборвал невнятный взмах руки. Миссис Ричардс сказала: — Вам, наверно, было страшно.

— Вам страшнее. — А в мыслях: одежда ее сына? Не может быть, что Бобби, у нас же совсем разные размеры. Эдварда? — Миссис Ричардс, я даже выразить не могу, как соболезную…

Она снова закивала, стукаясь подбородком о костяшки.

— Да-да. И не надо. Я понимаю. Вы спустились и принесли его… — (в паузе он подумал, что она сейчас заплачет), — к нам. Как *мне* вас отблагодарить? Вы туда спустились. Я вас видела, когда вы его принесли. Как мне вас…

— Да ничего, миссис Ричардс. Вот правда. — Хотелось спросить ее о структуре света, что приехал с ним в лифте; но он не придумал как. Мимолетно предположил, что она, может, и не видела света. Но поскрежетал зубами, отгоняя возможные выводы. — Мне необязательно ждать мистера Ричардса. Я могу пересечься с ним потом. Вы, наверно, хотите с глазу на глаз, когда…

Ее лицо перестало беспорядочно суетиться.

— Нет-нет, я хочу быть не одна. Прошу вас, останьтесь, ради меня! Это будет, — она заозиралась в кресле, — самый добрый поступок. На свете.

— Хорошо.

Искомого она не нашла.

— Я хочу, чтоб рядом кто-то был. Мне нужно. — Она встала. — Чтоб кто-то был рядом. — Снова покружила по комнате. — Так странно: я не представляю, что сказать. Жалко, что нельзя позвонить; по телефону было бы гораздо легче. Но придется подождать. Он войдет в дверь. А я скажу: Артур, сегодня Джун столкнула Бобби в шахту лифта, он пролетел семнадцать этажей и убился… — Она посмотрела в кухню, пересекла комнату, выглянула в коридор.

— Вы уверены, что вам не будет лучше, если я уйду? — Он хотел уйти, не постигал, зачем ей, чтоб он остался, хотя она и замахала рукой, хотя она и ответила:

— Умоляю вас. Вы должны остаться.

— Да, мэм. Я останусь.

Она вернулась к креслу.

— Непохоже, что мы здесь живем. Стены голубые. Раньше были зеленые. Но вся мебель наша, и вся по местам.

— Ковров еще нет, — предположил он. Ну, паузу хоть заполнил.

— Да нет. Нет, по-моему, дело не в коврах. Ощущение. Построенного дома. Дома для моего мужа и… — Тут она стиснула губы и опять повесила голову.

— Слушайте, миссис Ричардс, может, вам полежать, например, пока мистер Ричардс не вернулся? А я ковры постелю. — И тут его осенило: вот чего она от меня ждет; чтобы ему сказал *я*!

Кто вообще велел этим проклятущим детям тащить ковры? И не вспомнил, он велел или она.

Но она покачала головой:

— Я не усну. Нет. Когда Артур вернется… нет. — Последняя фраза прозвучала ровно. Она положила — впихнула руки на колени. В углу так и громоздилась кипа книг Бобби… Шкедт пожалел, что не убрал.

Она встала.

Снова прошлась по комнате.

Движения начинались решительно, но вмиг теряли фокус — сначала на балкон, потом в столовую, теперь в коридор.

Остановилась у своего кресла.

— Артур, — сказала она, как будто добавив запятую, — вышло скорее обращение, чем подле-

жащее, — где-то там.

— Мэм?

— Артур где-то там, в этом вот во всем. — Она села. — Он уходит каждый день. Я вижу из окна, как он сворачивает на Сорок четвертую и исчезает. В дыму. Раз — и нет его. — Дома за балконной дверью расплывались. — Мы переехали. — Пять вдохов она созерцала туман. — Этот дом — он как шахматная доска. Мы теперь на другой клетке. Переехать было надо. Надо. Прежде у нас была ужасная позиция. — (Дым отхлынул от окна, открыв еще дым.) — Но я не знала, что переезд обойдется так дорого. — (И еще.) — Я к этому не готова. Совсем. Артур уходит каждый день, работает в Системном. В «Инженерных системах „Мейтленд“». Потом возвращается домой. — Она подалась вперед. — Вы знаете, я не верю, что там, снаружи, настоящее. Едва Артура застилает дым, я думаю, он уже никуда не идет. Я думаю, идти некуда. — Она откинулась на спинку кресла. — По-моему, всегда так было. Я очень люблю этого человека. И очень им восхищаюсь. Мне страшно, до чего я его не понимаю. Мне часто кажется, что он несчастлив, что каждодневные походы туда… — она легонько потрясла головой, — что они не дают ему ничего настоящего, того, в чем

он нуждается в сердце своем. Я уж не знаю, чем он там занимается, но все это пугает меня. Мне представляется, как он входит в пустую громадину, где сплошь кабинеты, и столы, и верстаки, и мастерские, и кульманы, и картотеки, и чуланы с инструментами — но ни души. Он бродит туда-сюда, заглядывает в открытые двери. Вряд ли отворяет закрытые. Иногда поправляет пачку бумаг на чьем-нибудь столе. Иногда пролистывает кипу чертежей, но аккуратно складывает на место. И все. С утра до вечера. И никого. Как думаете, окна побиты где-нибудь? Как думаете — может, временами он щелкает выключателем и только одна длинная такая флуоресцентная трубка мигает бледно-оранжевым на конце? Инженерия — это что-то удивительное. Приходишь и решаешь задачи, что-то создаешь — руками, мозгами. Приходишь, перед тобой задача, и когда она решена… ну, ты что-то сделал, получил настоящие, осязаемые результаты. Как фермер возделывает поля: вот урожай, его видно. А не жмешь кнопку снова и снова и не раскладываешь по ящикам бесконечные пачки бумаги. Инженеры очень мудрые. Как фермеры. А бывают очень глупые и упрямые. Господи, я не знаю, что творится снаружи, что он там делает целыми

днями. Он не хочет рассказывать. Прежде рассказывал. Теперь нет. Не знаю, куда он уходит по утрам. Если б целый день бродил по улицам, я бы поняла. Но нет. Что бы он там ни делал, ему это не на пользу. Он хороший человек. Не просто хороший человек — умный. А вы знаете, что его наняли еще в колледже? Нет, последние годы такое сплошь и рядом. Но когда учились мы, это была редкость. Ему нужно… что-то… я буду как дура, если скажу «его достойное». Но я об этом. Я никогда не понимала, что там происходит. — Она опять выглянула в балконную дверь. — Нет, я подозревала, конечно, подозревала: что бы там ни было, он от этого не станет… счастливым? Нет, я давным-давно поняла, что счастья не ищешь. Но чего-то же добиваешься… совершенства? Довольства? Нет-нет-нет: этого не найдешь в громадной пустой конторе, где не горит свет, где побиты окна, где вовсе нет людей.

— Люди там, наверно, есть, — неловко вставил Шкедт. — Может, дежурные. Мы с мадам Браун об этом говорили. Наверно, там как в… Домоуправлении.

— А. — Ее руки повстречались на коленях. — Да. — И она выпрямилась. — Но я-то объясняю, как это ощущается. Как я ощущаю. Когда дым тон-

чает, видно дома напротив. Столько окон побито. Может, ремонтники у Артура в конторе уже вставляют новые стекла. В конторах техобслуживание всегда лучше. Ну, там и денег больше. Я просто не понимаю — у нас-то когда все хоть немножко нормализуется? Есть же минимальные требования. Пусть пришлют кого-нибудь — хотя бы скажут, что происходит. Не знать — хуже всего. Если б я что-то, хоть что-то знала точно — когда планируют начать ремонт, восстановить обслуживание, свет включить — когда нам ждать… — Она как-то непонятно раздосадовалась.

— Может, — предположил он, — кого и пришлют.

— Вроде бы пора, да? У нас с ними и раньше бывали проблемы; огромная трещина у Джун в спальне, на потолке. Мы были не виноваты. Сверху что-то протекло. Три месяца никого не могли прислать. Но на мое письмо ответили мгновенно. А я тут хлопочу, хлопочу, и все без толку. И каждое утро отправляю Артура отсюда вон туда. — Она кивнула. — Вот что скверно-то. Конечно, я его не удержу; он не желает сидеть тут. Говорю ему, как там опасно, я боюсь, такие риски, а он… ой, лучше бы он смеялся. Но он не смеется. Он сердится. И уходит. Уходит каждое

утро, исчезает за поворотом на Сорок четвертую. И я могу ему помочь лишь одним: держать уютный дом, где ему ничто не угрожает, чтобы хоть здесь ему было хорошо, безопасно и…

Шкедту почудилось, будто она что-то увидела у него за спиной, и он уже хотел обернуться. Но лицо ее исказило нечто посильнее узнавания.

Она склонила голову.

— У меня, пожалуй, неважно получается. Совсем не получается.

Хоть бы она его отпустила.

— Миссис Ричардс. Я пойду, там в дальней комнате надо еще кое-что поделать. — (Кажется, остались вещи, нужно убрать.) — А вы постарайтесь отдохнуть. — Он встал, а в мыслях: вернусь — расстелю ковер в гостиной.

Я не в силах помочь, про себя оправдывался он, я не в силах осушить ее горе. А не делать ничего я *не могу*.

Он открыл дверь в спальню Бобби, где мебель еще не сдвинули к стенам.

И кулаки Джун рывком свели края плаката.

— Ой, извини… я не сообразил, что это твоя… — Но это спальня *Бобби*. Покаянная улыбка сползла с лица Шкедта пред лицом ее потрясенного отчаяния. — Слушай, не буду тебя беспокоить…

— Он хотел *наябедничать*! — прошептала она, тараща глаза, тряся головой. — Он *сам* сказал! Но я клянусь, — и она смяла плакат вовсе, — я *клянусь*, я не нарочно!..

Помолчав, он ответил:

— Любому человеку в здравом уме это бы, наверно, пришло в голову первым делом. Но до сей минуты у меня и в мыслях не было. — А затем — и стало страшно — задом вышел из комнаты и прикрыл дверь, не поняв, во что сложилось ее лицо. Я просто наблюдатель, подумал он и, еще думая, почувствовал, как мысль сминается, точно плакат с Джорджем в кулаках Джун.

Свернув к гостиной, он вообразил, как она выскакивает из-за двери, грызет и когтями дерет ему спину. Дверь не отворилась. Из-за двери ни звука. А назад в гостиную неохота.

Он уже почти вошел, но тут затрещал замок и распахнулась дверь в квартиру.

— Приветик, угадай, кого я нашел по дороге?

— Привет, Мэри. — Следом за мистером Ричардсом вошла мадам Браун.

— Лапушка, а почему в подъезде такая грязища? Будто кого-то…

Миссис Ричардс развернулась на диване.

Мистер Ричардс сдвинул брови.

Мадам Браун у него за спиной поднесла руку к блестящим цепям и бусинам.

Миссис Ричардс стиснула ткань юбки:

— Артур, сегодня Бобби… Джун… *Бобби*…

* * *

Веки распахнулись так широко, что больно глазницам. Он перекатился, путаясь в сбитых одеялах и мятой листве, забросил руки ей на голую спину. Будь у него ногти, подрал бы до крови.

– *Ыннн*х, — сказала Ланья и повернулась к нему. А затем: — Эй… — потому что он подтащил ее к себе. — Я понимаю, — пробубнила она у него над ухом, шевеля руками в его объятьях, пытаясь их высвободить, — ты хочешь быть великим и знаменитым…

Руки у него тряслись.

— Ой, эй!.. — Ее ладони взобрались ему на спину, напряглись. — Тебе снились кошмары! Про мальчика!

Он потряс головой, стукаясь об ее голову.

— Все хорошо, — прошептала она. Одна ее рука дотянулась сзади до его плеча, погладила. — Все уже хорошо. Ты не спишь.

Он втянул в себя три хриплых вдоха — в паузах сводило живот, — отпустил ее и перекатился на

спину. Красная пелена, что отделяла его от тьмы, тут и там отпадала.

Ланья коснулась его локтя; помассировала ему плечо:

— Очень страшный был сон, да?

Он сказал:

— Я не… знаю, — и перестал ловить ртом воздух. Над ними свисала листва. У горизонта он разглядел размытую туманом крошечную луну; а чуть дальше — другую! Голова вспрыгнула на одеяле — и медленно опустилась.

Всего лишь два фонаря в парке, расплывчатыми жемчужинами сиявшие в дыму.

— Я не помню, что мне снилось. Может, ничего.

— Тебе снился Бобби, — сказала она. — Вот и все. Ты сам себя напугал и проснулся.

Он помотал головой:

— Зря я дал ей этот клятый плакат…

Ее голова опустилась ему на плечо.

— Откуда тебе было знать?.. — Ее рука упала ему на грудь; ее бедро легло поперек его бедра.

— Но, — он взял ее за руку, — удивительно: пока она ему объясняла, как это случилось, у мистера Ричардса вообще *ничего* не было в лице. И посреди всего пришла Джун и эдак втиснулась

в стеночку, все отирала подбородок кулаком и моргала. А миссис Ричардс твердила: «Это был несчастный случай! Ужасный несчастный случай!» — а мадам Браун пару раз сказала только: «О боже», а мистер Ричардс вообще ничего не сказал. Только переводил взгляд с миссис Ричардс на Джун, словно толком не понимал, что ему говорят, что они натворили, что произошло, а потом Джун заплакала и убежала…

— Ужас какой, — сказала она. — Но ты постарайся подумать о чем-нибудь другом…

— Я и думаю. — Он снова глянул на фонари; теперь светился только один. Второй перегорел? Или его заслонила сдвинутая ветром ветка. — О том, что вы с Джорджем вчера обсуждали, — что все боятся женской сексуальности и превращают ее в грозное нечто, которое несет только смерть и разрушение. Я даже не *представляю*, как бы поступил мистер Ричардс, если б узнал, что его солнечная девочка шляется по улицам, точно сука в течке, вожделея громадного черного садиста, который зверски ее изнасилует. Если вдуматься, одного ребенка мистер Ричардс уже отлучил от дома, грозя убийством…

— Ой, Шкедт, да ты *что?*..

— …а шумы из их квартиры, когда им кажется,

будто никто не слышит, такие же странные, как на флэту Тринадцати, уверяю тебя. Скажем, она правильно делает, что шифруется от предка, а если Бобби грозился — младшие братья злые, они могут — показать плакат родителям, тогда, может, когда он пятился по коридору и двери лифта открылись, на миг она поддалась порыву, сама даже толком не осознала, так легко ведь толкнуть — или даже не толкнуть, а промолчать, когда он шагнул не к той…

— Шкет, — сказала Ланья, — а ну *кончай*!

— Тогда выходит чистый миф: ее страсть к Джорджу, смерть и разрушение! Но… а вдруг это *и впрямь* нечаянно? — Он вдохнул поглубже. — Вот что пугает. Вдруг она говорит правду и да, это несчастный случай? Она не видела. Бобби просто вошел не в ту дверь. Вот что страшно. Вот что ужасает меня больше всего.

— Почему?.. — спросила Ланья.

— Потому что… — Он подышал, почувствовал, как ее голова сдвинулась у него на плече, ее рука в его руке закачалась вверх-вниз у него на груди. — Потому что, выходит, виноват город. Виноват пейзаж: кирпичи, и балки, и закоротившая проводка, и полетевшая механика лифта — они все сговорились эти мифы *воплотить*. А это бред. —

Он потряс головой. — Зря я дал ей плакат. Не надо было. Совсем не надо было… — Голова перестала трястись. — Этот мудак мне так и не заплатил. Я хотел поговорить с ним вечером. Но не смог.

— Да уж, не самый благоприятный момент заводить разговор о финансах.

— Я хотел только слинять побыстрее.

Она кивнула.

— Я не *хочу* денег. Вот совсем.

— Хорошо. — Она его обняла. — И забудь вообще. Не ходи туда больше. Не надо тебе к ним. Если люди взялись проживать мифы, которые тебе не нравятся, пусть их.

Он поднес руку к лицу ладонью наружу, пошевелил пальцами, посмотрел — черные на фоне четырех пятых черноты; мускулы устали, и в конце концов он уронил кисть костяшками на лоб.

— Было так страшно… Когда проснулся, мне было так *страшно*!

— Это просто сон, — упрямо повторила она. А затем: — Слушай, если так случилось нечаянно, значит не важно, принес ты плакат или нет. А если она это сделала *нарочно*, значит она уже совсем крышей поехала — и тогда при чем тут ты?

— Я понимаю, — ответил он. — Но как думаешь… — Он чувствовал пятнышко на шее, где

ее дыхание гладило его теплом. — Как думаешь, город может контролировать, как люди в нем живут? Вот сама география, уличные планы, расположение домов?

— Еще как может, — ответила она. — И Сан-Франциско, и Рим построены на холмах. Я жила там и там и считаю, что на течение тамошней жизни больше влияет, сколько сил ты тратишь, перемещаясь из точки А в точку Б, чем кто оказался мэром. Нью-Йорк и Стамбул рассечены большими водоемами, и даже если воды не видно, ощущения на улицах у них больше похожи друг на друга, чем, скажем, на Париж или Мюнхен, где только реки, которые можно переплыть. А в Лондоне река гораздо шире, и он ощущается совсем иначе. — Она подождала ответа.

Так что в конце концов он сказал:

— М-да… Но воображать, будто живые улицы и окна плетут козни, замышляют во что-то тебя превратить, — это же бред, да?

— Да, — сказала она. — Это бред — если коротко.

Он обхватил ее рукой и, обнимая, почуял дыхание ее пробуждения.

— Знаешь, я когда его вытаскивал, сам весь в крови, как освежеванная туша на крюке у мясни-

ка… знаешь, у меня привстал. Перебор, да?

Она сунула руку ему между ног.

— У тебя до сих пор стоит. — Она пошевелила пальцами; он шевельнулся у нее под пальцами.

— Может, мне это и снилось? — Он испустил резкий смешок. — Как думаешь, может, мне это и?..

Ее рука сжала, отпустила, съехала вперед, съехала назад.

Он сказал:

— Вряд ли поможет…

И грудью почувствовал, как она пожала плечами.

— А ты попробуй.

Не столько к его удивлению, сколько против его воли, воля его сдалась — и помогло.

Я запрокинул голову в этом воспаленном сезоне. Натяжения, что я хотел ослабить, только сдвинулись вместе со всей механикой тела. Вышло неловко, неровно, ни изящества, ни резона. Что я умею прочесть в ее запахе, что за вести — в шифре ее дыхания? Эта гора открывает тоннели света. Взрывы яблок в плену морщинок зажмуренных век. Все старания сходят на нет, закупорив уши и горло, сливаются в бестелесном свечении, в узорах, наслаждением выпущенных

на волю, в остаточной тени чистой идеи.

* * *

Листик распался в крошево под короткими пальцами: листик и плоть — он растер ошметки мозолистым пальцем — одного цвета, разной текстуры. Он вгляделся, распознавая различия.

— Пошли. — Ланья поймала его за руку.

Крошево упорхнуло прочь (кое-что липло к пальцам, он чувствовал); с тетрадью под мышкой он выпрямился — а прежде прислонялся к торцу деревянного стола.

— Я вот подумал, — сказал Шкедт, — может, зайти все же в «Лабри» и забрать деньги.

— А мистер Новик будет ждать? — спросила Ланья. — Слушай, ты же сам сказал, что уже все перенес.

— Я просто подумал, — сказал Шкедт. — Ничего такого.

Молодой человек с высокими залысинами и волосами от висков до голых плеч сидел на перевернутой проволочной корзине, поставив сандалию на сандалию. Он наклонился вперед — в руках по горелому прутику. Прутики испачкали ему пальцы.

— Беру у тебя скрещенными, — сказал он де-

вушке, сидевшей перед ним по-турецки, — и отдаю скрещенными.

Девушкины черные волосы лакированной чернотой крепко обнимали голову, а с затылка, десять раз перекрученные и завязанные ремешком, десятком же ручейков растекались на воротник розовой рубашки; рукава у рубашки оторваны, посекшаяся розовая ткань пускала нитки на худые плечи. Такими же испачканными пальцами девушка забрала прутики.

— Беру у тебя, — она замялась, сосредоточилась, — раскрещенными и отдаю тебе, — она сунула их ему, — раскрещенными?

В кружке зрителей кто-то рассмеялся. Остальные недоумевали не меньше девушки.

— Не-а. Опять не угадала. — Молодой человек развел ноги, пятками сандалий чертя по земле, и снова сдвинул к корзине. — Смотри. — Скрестив запястья, забрал у девушки прутики. — Беру у тебя… раскрещенными, — запястья раздвинулись, — и отдаю тебе…

Одной рукой скребя под бахромчатым плечом перуанского жилета, а другой пихая в рот кусок хлеба, к очагу подошел Джон.

— Ребят, хотите еще? — Жуя, он взмахнул ломтем. — Идите возьмите. Вы же пришли уже

посреди завтрака. — Прошитые золотом волосы и золотая проволочная оправа очков подчеркивали закаленный загар; зрачки — кружочки, вырезанные из пасмури.

Шкедт сказал:

— Мы наелись. Правда.

В корзине, на которой сидел молодой человек («Беру у тебя раскрещенными и отдаю тебе… скрещенными!» Снова смех), два скорпиона принесли полдюжины буханок безвкусного несоленого хлеба — а взамен забрали две коробки консервов.

Шкедт сказал:

— Ты уверен, что это сегодняшняя газета? — вопрос, который он за последний час задавал Джону уже дважды.

— Еще как уверен. — Джон взял газету со стола. — Вторник, пятое мая — это же Майский день, нет? — тысяча девятьсот четвертого года. Фауст утром принес. — Он сложил газету, застучал ею по ноге.

— Когда Милли вернется, скажи ей еще раз спасибо за чистую рубашку. — Ланья заправила под ремень одну полу неглаженого синего хлопка. — Сегодня попозже верну.

— Я передам. Я считаю, прачечный проект Милл, — вслух задумался Джон, стуча и жуя, —

одна из самых успешных наших инициатив. А ты как считаешь?

Ланья кивнула, запихивая ткань под ремень.

— Пошли, — сказал Шкедт. — Пора. Если сегодня правда вторник. Ты уверена, что он сказал «вторник»?

— Я уверена, — ответила Ланья.

(– Нет, все равно не так, смотри: я беру у тебя скрещенными и отдаю тебе раскрещенными.

Его пальцы, измазанные до второго сустава и собранные щепотью у основания обугленных палочек, вытянулись вперед. Ее пальцы, испачканные не меньше, поколебались, отступили, потеребили друг друга, снова потянулись к прутикам. Она сказала:

— Я все равно не понимаю. Я вообще не понимаю.

На сей раз смех зрителей вышел пожиже.)

— Пока, — сказал Шкедт Джону, а тот кивнул с набитым ртом.

Они пропетляли между рюкзаками.

— Мило, что они нас накормили… опять, — сказал он. — Неплохие ребята.

— Славные ребята. — Она обмахнула чистую мятую рубашку. — Жалко, утюга нет.

— К Калкинзу надо прямо вот разодеться, да?

Ланья одобрительно глянула на его новые черные джинсы, на его черный кожаный жилет.

— Ну, ты-то уже практически в мундире. А я, в отличие от тебя, не на высоте, когда грязная.

Они добрались до парковых ворот.

— А что у них за прачечный проект? — спросил он. — Колотят одежду веслами на камнях?

— По-моему, — ответила Ланья, — Милли, Джомми, Уолли и Эта-как-ее-вся-в-индейском-серебре пару дней назад нашли ландромат. Только нет электричества. Сегодня ходили, искали, где ближайшая работающая трехконтактная розетка.

— А когда успели постирать твою рубашку?

— Мы с Милли целую груду перестирали вчера на руках в женском сортире, пока ты на работе был.

— А.

— Из звукарей в прачки, — задумчиво отметила Ланья, когда они миновали львиные ворота. — И года не прошло. — Хмыкнула. — Спросить Джона — так он, подозреваю, скажет, что это прогресс.

— В газете пишут, что сегодня вторник. — Шкедт большим пальцем рассеянно огладил лезвие орхидеи на боковой шлевке; в сердцевине орхидеи на каждом шагу позвякивала цепочная

сбруя. — Он сказал прийти, когда в газете объявят вторник. Он же не забыл, правда?

— Мы ему напомним, если забыл, — ответила Ланья. — Да нет, наверняка помнит.

Можно вдавить большой палец или костяшки в острые края — останется только легчайший след, а потом его, как и остальную кожную штриховку, заполнит грязь; но почти не чувствуется.

— Может, сегодня обойдемся без махача со скорпионами, — сказал он, когда они перешли с Северной Брисбен на Южную. — Если повезет.

— Ни один уважающий себя скорпион в такую рань не встанет, — ответила Ланья. — Они же все спят до трех или четырех, а потом куролесят до зари.

— Вот это житуха. Ты все твердишь, что у Калкинза уже бывала. Все нормально получится?

— Если б не бывала, — она хлопнула гармошкой по ладони, — я бы так не суетилась.

Три искристые ноты. Ланья насупилась и подула снова.

— По-моему, ты и грязной неплохо выглядишь, — сказал он.

Она сыграла еще ноты, почти сплавила их в мелодию, но передумала, рассмеялась — или посетовала, или помолчала — и завела другую.

Они шли, и Ланья разбрасывала незавершенные мотивы.

Тетрадь крылом хлопала его по ляжке. (Другая рука обросла теперь стальными лепестками.) Защищенный с флангов, он скакнул с бордюра.

— Я не понимаю — мне страшно, что он скажет?

Между нотами:

– *Хмм?*

— Мистер Новик. Про мои стихи. Ёпта, я не к *нему* иду. Я хочу посмотреть, где живет Калкинз. Мне все равно, что мистер Новик думает про то, что я пишу.

— Я наверху в чулане у Фила оставила три совершенно прекрасных платья. Может, они еще там.

— Не исключено, если там Фил.

— Господи, нет. Фила в городе нет уже… которую неделю!

Воздух щипался и пахнул по-заводскому. Шкедт поглядел в небо: тут цвета глины, там — слоновой кости, а вон там светлее, как потускневшая жесть.

— Молодец я, — сказала Ланья, — что слиняла. Тебя нашла. — Скользнула рукой между лезвиями и взяла его за два пальца. Ножи давили, терли,

морщили даже ее тонкое запястье.

— Осторожно, ты же…

Но она нет.

* * *

Из-за стены свисали мотки плюща.

У медных ворот Ланья сказала:

— Внутри тихо.

— Тут звонят? — спросил он. — Или кричат? — И закричал: — Мистер Новик!

Она осторожно отняла руку.

— По-моему, раньше был звонок… — Пальцем потыкала камень вокруг медной таблички.

— Здрасте… — изнутри. Где-то за сосняком по гравию заскрипели шаги.

— Здравствуйте, сэр! — окликнул Шкедт, стаскивая с руки орхидею, продевая ножик в шлевку.

Из-за косматой зелени выступил Эрнст Новик.

— Точно, сегодня же вторник, да? — Он взмахнул скатанной в трубку газетой. — Я только полчаса назад узнал. — Он что-то сделал с замком внутри. Ворота лязгнули, слегка приоткрылись. — Рад видеть вас обоих. — Новик оттянул створку на себя.

— А этого человека, который раньше охранял,

больше нет? — Ланья вошла. — Он всегда вон там сидел. — Она указала на зеленую будочку, которую с тротуара не было видно.

— Тони? — переспросил мистер Новик. — А он приступает ближе к вечеру. Но сегодня почти никого нет. Роджер всех повел на экскурсию.

— А вы остались из-за нас? — спросил Шкедт. — Не надо было…

— Нет, просто душа не лежала. Все равно бы не пошел.

— Тони… — задумалась Ланья, глядя на облупленную краску привратницкой. — А мне казалось, у него какое-то скандинавское имя.

— Тогда, наверно, теперь новый, — сказал мистер Новик. Сунул руки в карманы. — Тони итальянец до мозга костей. Очень приятный.

— Другой тоже был приятный, — сказала Ланья. — Тут постоянно все меняется.

— Это правда.

Они зашагали по тропе.

— Толпы народу снуют туда-сюда — я уже бросил следить. Сумасшедший дом. Но вы выбрали тихий денек. Роджер всех повел в центр, показывать редакцию газеты. — Новик улыбнулся. — Кроме меня. По вторникам я непременно сплю до упора.

— Приятно сюда вернуться, — призналась Ланья. — А когда все придут?

— Вероятно, когда стемнеет. Вы говорили, что жили здесь. Хотите подождать, поздороваться с Роджером?

— Нет, — сказала Ланья. — Нет. Просто любопытно.

Мистер Новик рассмеялся:

— Ясно.

Гравий (жуя Шкедту ороговевшую ступню) свернул меж двух муляжей храмов с колоннадами. Деревья сменились живыми изгородями; а дальше, кажется, фруктовый сад.

— А можно мы срежем через сад?

— Конечно. Мы к боковой террасе идем. Кофейник еще не остыл, я точно знаю, и я поищу кексы. Роджер твердит, что я могу тут хозяйничать, но все равно взять и вломиться в кухню к миссис Альт как-то странно…

— Ой, да это… — и: — Вовсе не обязательно… — хором заговорили Шкедт и Ланья.

— Нет, я знаю, где они. И мне самому пора сделать перерыв на кофе — так у вас говорят?

— Тебе понравится! — воскликнула Ланья, когда они ступили сквозь высокую изгородь. — У Роджера чудесные цветы и…

Шпалеру увивала ежевика. На растрескавшихся планках ежились иссохшие щупальца. И тут, и тут, и там землю взрыла черная галиматья.

— Господи, что здесь… — начала Ланья. — Что *случилось*?

Мистер Новик опешил:

— А что-то случилось? Я не знал. Здесь с моего приезда так.

— Раньше было полно цветов: солнечные такие оранжевые штуки, тигровые. И ирисы. Куча ирисов…

Ногу Шкедту холодила влажная земля.

— Правда? — переспросил Новик. — А давно вы здесь жили?

Ланья пожала плечами:

— Несколько недель назад… три, четыре?

— Очень странно, — покачал головой мистер Новик, шагая по всякому сору. — У меня-то было впечатление, что здесь так годами…

В десятифутовой каменной чаше гнили лужи листвы.

Ланья потрясла головой:

— Раньше фонтан не выключался. В нем стоял Персей или Гермес, что ли. Куда он делся?

— Батюшки, — сощурился Новик. — По-моему, лежит в куче мусора за коттеджем секретаря. Я

гулял и что-то такое видел. Не знал, что это из фонтана. А кто тут дольше жил? Кого бы спросить?

— Может, мистера Калкинза? — предложил Шкедт.

— Ой, нет. Я бы, пожалуй, не стал. — И мистер Новик пристально, сообщнически глянул на Ланью. — Я бы не стал ни за что.

— Да уж, — согласилась та; лицо у нее вытянулось пред таким запустением. — Пожалуй, не стоит.

У трещины в кромке чаши илистая земля под редкой травой запечатлела их следы, точно гипс.

Они миновали еще одну увитую плющом изгородь; внушительный газон и центральный дом выше редких густых крон. (Сбоку на пригорке — другой дом, всего три этажа. Коттедж секретаря?)

На позеленевшей медной табличке в траве значилось:

МАЙ

Из-за пяти толстых каменных башен — он поискал шестую, симметрии ради, и не преуспел — казалось, будто современный дом из темного дерева, стекла и кирпича возвели вокруг старого, каменного.

— И сколько у него тут народу? — спросил

Шкедт.

— Наверняка не скажу, — ответил мистер Новик. Они уже дошли до плит террасы. — Минимум пятнадцать. Может, двадцать пять. Обслуга постоянно меняется. Не понимаю, как ему удается работать, — за ними же приглядывать надо. Может, это всё на миссис Альт. — По бетонным ступеням они взобрались на террасу.

— Тут пятнадцать человек потеряются, нет? — спросил Шкедт.

С этой стороны дом был стеклянный; внутри — кленовые стенные панели, высокие латунные торшеры, бронзовые статуэтки на приставных столиках между длинными диванами золотистого бархата, и повсюду мазки сияния.

— Людно здесь не бывает.

Они миновали еще одно окно от пола до потолка; две стены внутри, разглядел Шкедт, заставлены книгами. Темные балки держали балкон, по углам — кресла зеленой и золотой парчи; на белых салфеточках, дрейфовавших в краснодеревной реке обеденного стола, цвели серебряные подсвечники — один близко, другой подальше, в тени.

— Иногда я брожу с час, полагая, что в доме я один, а потом в какой-нибудь комнате натыкаюсь

на десятерых. Наверно, с полным штатом слуг, — (под ногами крошилась сухая листва), — было бы не так пустынно. Пришли.

По всей террасе стояли деревянные стулья, обтянутые разноцветным холстом. Скалы за балюстрадой облизаны мхом и увенчаны березами, кленами, а кое-где кряжистыми дубами.

— Вы садитесь. Я сейчас.

Шкедт сел — стул оказался ниже и глубже, чем ему сначала показалось, — и подтянул тетрадь на колени. За спиной Новика закачались стеклянные двери. Шкедт глянул на Ланью:

— Ты куда смотришь?

— В сад «Ноябрь». — Скрестив руки, она облокотилась на каменный парапет. — Отсюда не видно таблички. Вон на той скале.

— А что в… саду «Ноябрь»?

Она плечами пожала «ничего».

— В первый вечер, когда я только пришла, там был праздник: в «Ноябре», «Октябре» и «Декабре».

— Сколько у него садов?

— Сколько месяцев в году?

— А тот сад, где мы вошли?

— Тот, — она глянула через плечо, — безымянный. — И снова перевела взгляд на ска-

лы. — Чудесный был праздник, гирлянды висели разноцветные. И оркестр: скрипки, флейты, кто-то на арфе играл.

— Где он в Беллоне раздобыл скрипки?

— Где-то раздобыл. И людей толпа, все нарядные.

Шкедт хотел уже было помянуть Фила.

Ланья обернулась к нему:

— Если платья не пропали, я точно знаю, где они.

Сквозь стеклянные двери протолкался мистер Новик с сервировочным столиком. Кофейники и чашки дважды звякнули, когда колесики переезжали порог. На нижнем подносе блюда с выпечкой.

— Вы вовремя пришли — миссис Альт как раз весь день пекла.

— Ух ты, — сказал Шкедт. — Аппетитно.

— Угощайтесь. — Новик разлил дымящийся кофе в голубой фарфор. — Сахар, сливки?

Шкедт помотал головой; чашка согревала колено. Он куснул. Крошки печенья посыпались, покатились по тетради.

Ланья, сидя на парапете и стуча кроссовками по камню, сжевала хрустящий рожок с кремом.

— Итак, — произнес мистер Новик. — Принесли

мне стихи?

— Ой. — Шкедт смахнул крошки. — Ага. Но там от руки. У меня нет машинки. Я сначала над ними работаю, потом переписываю печатными буквами.

— Я думаю, разборчивый чистовик я расшифрую.

Шкедт глянул на тетрадь, на Ланью, на мистера Новика, на тетрадь.

— Вот.

Мистер Новик уселся поудобнее и полистал.

— А. Ваши стихи, я вижу, слева.

Шкедт поднял чашку. Кофе паром обжег губы.

— Итак… — Мистер Новик улыбнулся в тетрадь, помолчал. — Вам нанесена эта священная великолепная рана, что кровоточит… короче, поэзией. — Он снова перелистнул страницу, глянул мельком — едва ли успел прочесть (по подсчетам Шкедта). — Но вы склонились к ней? Узрели меж краев спайку вашей личной человечности с человечностью всей нашей расы?

— Сэр?..

— Не имеет значения, любовь ли, гнев, — продолжал мистер Новик, не поднимая глаз, — или отчужденность понуждают вас смотреть. Если не смотрите, вся ваша кровь пролита понапрас-

ну… Нет, вероятно, я всего лишь пытаюсь вновь наделить значением то, что в искусстве неточно именуют Универсальностью. Именование, хочу отметить, воистину *неточное*. — Он качнул головой и снова перевернул страницу. — Все искусство не обязано нравиться всем людям. Но любой редактор и издатель в глубине души своей убежден, что всё нравится всем, — хочет, чтоб нравилось, мечтает об этом. Вы спрашивали в баре, как опубликоваться? — Он поднял голову, заблестел глазами.

— Верно, — сдержанно и с любопытством ответил Шкедт. Лучше бы Новик почитал стихи, молча.

— Издатели, редакторы, галерейщики, музыкальные антрепренеры! Дивны параметры мира творчества. Однако странствовать по нему с нашей раной — ценный искупительный опыт. Мне, впрочем, представляется, что в мир сей вступают, лишь получив от кого-нибудь в дар волшебный Щит. — Взгляд Новика снова опустился, снова поднялся, поймал взгляд Шкедта. — Хотите?

— А? Ага. Чего?

— На одной стороне, — с усмешливым пафосом нараспев продолжал Новик, — начертано: «Будь верен себе во имя верности своей работе». А на

другой: «Будь верен своей работе во имя верности себе». — Взгляд его вновь упал на страницу; голос говорил задумчиво. — Страшновато становится, когда, выглянув из-за него, видишь, сколько таких же чужих брошены и мерцают в этом изузбренном пейзаже. Не говоря уж о голых людях, что чудно выкаблучиваются на вершинах всевозможных своих крутых гор, а порой и на плоских пространствах; кое-кто из них — господи всемогущий, *сколько* таких? — несомненно, сошел с ума! В то же время, — он опять перелистнул, — это замечательно усмиряет гордыню — вскоре понять, сколь близок ты и сам был уже раз десять к тому, чтобы плюнуть, отвлекшись… нет, не на богатство или славу, боже упаси, но на бесконечные занудные конструкты логики и неотвратимости, что все длятся и длятся, пока в один прекрасный день не наткнутся на неизбежное ущелье, кое раскрошит им суставы и даст тебе пройти. Этот путь нащупываешь среди стекла и алюминиевых дверей, секретарских улыбок, обедов, чересчур сдобренных алкоголем, церемоний открытия, сдобренных им же, но обильнее, людских толп, что отчаянно тщатся конкретизировать хороший вкус — да так громко, что почти не слышишь собственного хи-хи, и все это мигает под вспышками

и всполохами из-за витражных окон, блестит из-под двери, перечеркнутой полицейской лентой, или, если в тот день выпадет редкий случай прогуляться снаружи, — залито огнем, заслонившим все небо и прихотливым, точно северное сияние. Так или иначе, любой предмет, от аншпугов до ячмаков и джезв, отбрасывает наипоразительнейшие тени. — Мистер Новик опять поднял взгляд. — Может, вы проследили за дюжиной таких огней до самых истоков? — Он взялся за страницу двумя пальцами. — Признайтесь, раз уж мы говорим на равных: чаще всего в истоках и не было ничего. Хотя в дневнике, — он уронил страницу на ту, что уже прочел, — или в послании другу, который, думается вам, бережно его сохранит, вы также призна́етесь, что переживания ваши были весьма восхитительны и наполнили вас недозволительными устремлениями, кои вам весьма интересно было бы унять и в итоге дозволить. Порой вам просто попадалась табличка, на которой значилось: «Здесь Моцарт познакомился с да Понте»[20] или «Здесь ночевал

[20] Примечания: 20

Лоренцо да Понте (1749–1838) — итальяно-американский либреттист, поэт, католический священник, автор либретто опер Моцарта «Свадьба Фигаро» (*Le nozze di Figaro ossia La folle giornata*, 1786), «Дон Жуан» (*Don Giovanni ossia Il dissoluto punito*, 1787) и «Так поступают все» (*Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti*, 1790).

Роден». Раза три-четыре вы натыкались на странное собранье диспутантов, жарко обсуждавших событие, которое произошло давным-давно на этом самом месте и, по их уверениям, подарило бы вам немало восторгов, не опоздай вы к нему. Если вам хватит терпения, если вы найдете в себе силы слушать, если узнаете, отчего они не уходят, — обретете нечто весьма ценное. «Да господи боже, положите уже, что вы там держите, и побудьте с нами!» Крайне соблазнительное приглашение. Они такие вежливые, они, похоже, — единственные, кто готов сделать скидку на ваше природное варварство. А раз-другой, если вам везло, вы находили тихого старичка, который, едва вы бормотали что-то насчет ужина для него и его слегка сомнительного друга, потрясал вас ответом: «Большое спасибо; мы с радостью». Или старуху, что смотрит бейсбол по телевизору, — когда вы вручали ей цветы на день рождения, она улыбалась поверх дверной цепочки и объясняла: «Вы очень любезны, мальчики, но я больше ни с кем никогда не вижусь ни за что». Ах да, эта штука у вас в руке. Она же еще при вас, да?

— Сэр, может, если вы?..

Новик шевельнул рукой, снова опустил взгляд.

— Сперва она зеркальна с двух сторон: поначалу ободряет, отвлекает в итоге. Мешает довольно сильно. Но ты идешь, и серебрение истончается. Видишь все больше, прямо насквозь. На самом деле, — Новик мельком глянул на Шкедта и снова уткнулся в страницу, — это линза. Однако переходный период почти всегда конфузен. Ты еще ослеплен осколками своего отражения, но уже различаешь, что стекло-то, пожалуй, односторонее, и лучше видно *снаружи*! Впрочем, как привыкнешь, вид становится поинтереснее. Немножко поупражняться — и научаешься читать обе надписи разом, не нужно даже бросать свои дела и его вертеть. И ах, сколько раз ты едва не врезаешься в кого-нибудь — думал, человек в чем мать родила, а это у него Щит тоже стал прозрачным. Ты уже опасаешься поспешно судить, кто сохранил свой, а кто бросил. И когда некий блистательно бронированный юнец, по злобе или, того хуже, по доброте непостижимого извода, заорет, задрав голову к устрашающе неприступной скале, на которую ты как раз задышливо лезешь, или склонившись в вонючий овраг, откуда ты мужественно карабкаешься, цепляясь лишь одной свободной рукой: «Ты что, не понимаешь? Ты же голый!» — ты, вероят-

но, на миг прищуришься, дабы убедиться, что двойная надпись по-прежнему выгравирована перед глазами, но едва ли станешь расточать энергию, исправляя его заблуждение, — разве что доброта твоего извода столь же непостижима. Есть дела поважнее. И ты делаешь их, стараясь изо всех сил. Но все равно помех — что саранчи. Вот глаза снова и снова донимает полихромная вспышка. Стараешься не обращать внимания. Частота вспышек растет. По привычке, на всякий пожарный проверяешь, на месте ли резные руны. Но, честно говоря, в светлые мгновенья почти невозможно их прочесть и уж тем более понять, не лишились ли они смысла. То, что ты обнажал, то, прибавим, сквозь что ты взирал все это время, претворилось в гигантскую призму. — Теперь Новик откинулся на спинку стула, устремив глаза куда-то в изнанку балкона. — Первое превращение конфузно, сказал я? А это — чудовищно. И страх все тот же: одностороннее стекло! Если б только позабыть всех этих нескончаемых немолодых дам с их акварелями, этих стариков с их стихами, напечатанными за свой счет, которых ты из вежливости одаривал цветами или приглашал на ужин, хотя они носили шапочки из фольги и безостановочно болботали про Поэзию

и Истину. В конце концов, они были приятны эдаким бесполезным манером — а такова и есть, если вдуматься, единственная подлинная приятность. В складках фольги ты даже различал пару-тройку нормальных букв — вырезанных, не скроем, из картона и приклеенных замазкой. Что это за уничижительные фейерверки — жестокое второе детство, изъян зрения? Взирая в эту — силуэтом как ты — прореху постижения и пламени, начинаешь подозревать, что, хотя ничего важнее у тебя нет — ни секунды этого не отрицай, — ни от чего смертельно важного Щит тебя не защитит. Одно утешение: можно было бросить его в любой момент, в любую минуту дня или ночи, но ты не бросил. Ты предпочел упорствовать. Не имея ни гарантий бессмертия, ни даже подтверждений собственного таланта, ты знаешь только, что тебя не околпачили, лишив утешения плотников, бухгалтеров, врачей, канавокопателей, обычных людей, которым для счастья нужно приносить пользу. Ну и бреди тогда себе дальше, полуослепнув, слегка обезумев, гадая, когда же ты понял — может, еще до начала пути? — кошмарный факт: если б ты его *бросил*, твоя рана едва ли исцелилась бы; и более того, в нашем изобильном обществе ты бы, может,

стал создавать песни, стихи, картины и тебе за них платили бы. С одной лишь разницей — и ее ты постиг, слушая зверски несчастных людей, бросивших свои Щиты, а такие люди все-таки составляют огромное и устрашающее большинство: без Щита ничего бы не было, только голая пустошь; вообще ничего.

Новик вперился Шкедту в глаза. Тот улыбнулся; накатила неловкость. А потом накатила враждебность, которая, наверно, исказила улыбку. Он уже хотел спросить: вы всякий раз так разливаетесь, когда кто-нибудь…

Тетрадь вдруг соскользнула у Новика с колен. Поэт наклонился, но Шкедт цапнул ее первым.

Задняя обложка раскрылась. Шкедт нахмурился, читая последний кусок рукописи по низу страницы:

> *…Слабость такая, что почти ничего написать не могу. Но я все еще слышу их под деревьями; бродят, не говорят ни слова. Я жду здесь, вдали от леденящего душу оружия, вне чертогов пара и света, за холстом и в холмах, я иду овладев собой*

— А вы… — Рука Шкедта упала на страницу. Он медленно поднял голову.

Цепь обвивала запястье и всползала по руке. Пересекала живот, грудь между полами жилета.

— Думаете, их смысл в этом?

— Что?

Шкедт оттянул цепь большим пальцем:

— Вот их. Думаете, они означают это?

Мистер Новик рассмеялся:

— Ни малейшего представления не имею! У вас такие есть. У меня нет. Я их *видел* здесь у людей, однако нет. Нет. Я их просто использовал. Нет-нет. Я не посмею утверждать, будто в этом их смысл.

Шкедт снова опустил глаза.

— Вы всегда такие речи толкаете, если вам приносят стихи? — спросил он, однако до задуманной враждебности сильно не дотянул. Ухмыльнулся.

Новик все смеялся.

— Итак. — Взмахнул рукой. — Теперь вы мне почитайте. — Он подался вперед, глотнул кофе, отставил чашку. — Нет, правда, я хочу послушать, как они звучат.

— Ладно, — сказал Шкедт, ожидая от себя негодования, но переживая беспокойство совсем иного рода. В тревоге снова отметил, как мало осталось пустых оборотов страниц.

— Прочтите про собачью тварь. Мне понравилось.

— «Мюриэлл»?

Новик кивнул, сложив руки на коленях.

Шкедт перелистнул к началу тетради.

Начал читать.

Строке на третьей перестал задыхаться. Где-то под языком расцвело что-то похожее на удовольствие — но язык об него не спотыкался, лишь стал чутче, и без паузы Шкедт сообразил, что гласные в «нависать» и «иначе» берутся из одного истока, но расходятся разными тропами. Почувствовал, как, нащупывая тоны позвучнее, втягиваются щеки. Он не мешал им шевелить мышцы вокруг рта, пока стаккато «т» и «к» не разгадало финальную строку и не выманило у него улыбку.

— Прекрасно, — сказал Новик. — В довольно страшном смысле. Прочтите то, что перед ним.

Он стал читать и потерялся в шевелениях рта, пока внезапная конвокация в ушах не ошеломила его до пронзительности. А затем долгие звуки утишили ответ.

— Тут два голоса в диалоге, да? — отметил Новик по окончании. — Я не заметил, когда глазом просмотрел.

— Чего? А, ну да. Может, надо их разделить на странице…

— Нет-нет! — вскинулся мистер Новик, взмах-

нув рукой. — Нет, уверяю вас, это не нужно. На печатной странице будет прозрачно. Это я по невнимательности, уверяю вас. Вы продолжайте.

Он читал дальше.

То, что приходило к нему образами (и он тюкал среди них кончиком языка и шариком авторучки), возвращалось, огорошенное, сияющее — порой ярче воспоминания, порой тусклее, но до того богатое, что он поскорее выпихивал их языком, чтобы не пожрать.

— Как приятно, — сказал Новик, — что собственные стихи приносят вам столько удовольствия. А вы замечали, как верлибр имеет свойство сам по себе превращаться в пятистопный ямб? Особенно у тех, кто не очень много написал стихов.

— Сэр?

— Это же вполне естественно. Естественный ритм английской речи. Знаете, когда строка такая: па-*бам*, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам? Ну чего вы? Не тушуйтесь. Почитайте еще. Я выключу педантизм. Мне в радость. Правда.

Шкедтом овладело счастливое смущение. Взгляд упал — на страницу. Шкедт прочел; перелистнул; прочел… Несколько раз ему чудилось, что он, наверно, ужасно затянул чтение. Но Но-

вик жестом показывал — мол, еще, — а один раз захотел послушать обе версии («Я заметил, когда листал, что у вас их две… — А после более ранней: — Ну, в основном вы правили куда надо») и еще несколько велел прочесть заново. Уже увереннее Шкедт выбирал другие, вернулся к тому, которое пропустил, затем пролистал вперед, со страниц собирая некое наслаждение — и оно не было гордостью, и оно сильнее всего обострялось, когда он меньше всего замечал человека, жевавшего перед ним печенье, и оно складывалось узором опорных конструкций в кавернах под языком.

Он замолчал, глянул на Новика…

Поэт хмурился, глядя не на него.

Ланья поодаль сказала (таким голосом, что Шкедт обернулся, тоже нахмурившись):

— Я… я не хотела помешать.

Синее, раскромсанное, шелковое.

— Это что?

— Мое… платье. — Она подошла, перекинув его через локоть. — Я, пока ты читал, ходила в Обсерваторское крыло искать… мое платье. Господи, там разруха!

Мистер Новик помрачнел:

— Я даже не знал, что там кто-то живет.

— Похоже, теперь уже, — сказала она, — нет.

— Это на третьем этаже?

Ланья кивнула.

— Роджер что-то говорил — не велел пользоваться тем крылом; оно же закрыто, да? Мне казалось, там водопровод чинят, что ли.

— Закрыто, но не заперто, — ответила Ланья. — Я просто вошла. При мне им пользовались — я искала комнату, где мы жили с Филом. Но… ковры содрали с полов и порвали. И как будто кто-то выдергивал люстры из потолков, с кусками штукатурки заодно. В ванной возле нашей спальни раковина стоит на полу, эта прелестная викторианская плитка вся покоцана. Две дыры в стене, словно тараном били, — и кто-то порезал все матрасы! — Она опустила взгляд на искромсанную ткань. — И мое платье. Лежало комом в углу гардероба… все штанги сорваны, а крючок отбили и погнули, кажется. — Она предъявила платье. — Кто-то же должен был это *сделать* — его как будто лезвием полосовали! Но *зачем*?

— Ох батюшки! — сказал мистер Новик. — Это же совершенно…

— Да нет, вообще-то, не важно, — сказала Ланья. — Что с платьем. Я, когда его оставила, не думала, что вернусь. Но *зачем* бы?.. — Она посмот-

рела на Шкедта, на Новика. И вдруг сказала: — Ой, слушайте — я не хотела помешать! — Собрала платье в ком, опять прислонилась к парапету. — Вы продолжайте. Шкедт, читай дальше…

Шкедт сказал:

— Пошли посмотрим, что…

— Нет, — сказала Ланья удивительно до чего громко.

Новик вздрогнул.

— Нет, правда, я туда больше не хочу.

— Но?.. — нахмурился Шкедт.

— Роджер просил нас не ходить в то крыло, — смутился Новик. — Я и не знал, что там так…

— Я закрыла двери. — Ланья посмотрела на синий шелк в кулаке. — Надо было и это вот оставить.

— Может, был праздник и все временно одичали? — спросил Шкедт.

Ланья сказала:

— На праздник там совсем не похоже.

Новик, внезапно заметил Шкедт (и в тот же миг увидел, что и Ланья заметила), расстроился. Ланья откликнулась так:

— А кофе горячий? Я бы, пожалуй, не отказалась.

— Разумеется. — Новик встал, шагнул к кофей-

нику.

— Давай, Шкедт, — сказала Ланья. — Прочти еще стих.

И тут Новик принес ей чашку.

— Да. — Пожилой поэт, взяв себя в руки, вернулся к своему стулу. — Послушаем еще.

— Ладно. — Шкедт полистал тетрадь; они все сговорились перечеркнуть если не саму Ланьину весть, то хотя бы тревожные из нее выводы. А ему тут приходится жить, подумал Шкедт. Осталось всего три стихотворения.

После второго Ланья сказала:

— Это одно из моих любимых. — Ее рука скользнула по драной синеве, сложенной на парапете.

И он прочел третье.

— Короче, теперь, — сказал он, в основном чтобы не умолкать, — вы мне скажите *хоть что-то* — что думаете, хорошо получается или плохо. — Такая мысль не посещала его ни разу с самого прихода сюда, но сейчас ее вызвали к жизни прошлые мысленные репетиции.

— Я с непередаваемым наслаждением слушал, как вы их читаете, — ответил Новик. — А что до всего прочего, вам остается лишь сказать себе вслед за Манном: мне не узнать, а вы сказать не в силах.

Шкедт улыбнулся, взял со столика еще три печенья, постарался подумать о другом.

Новик сказал:

— Давайте прогуляемся? В солнечный денек было бы, конечно, зрелищнее. Но и сейчас красиво, по-осеннему так.

Ланья, глядевшая в чашку, вскинула глаза:

— Да, это мысль. Я с удовольствием.

И это, сообразил Шкедт, Новик по доброте своей сделал для Ланьи. Сначала она была в себе уверена, затем из глубин поднялся некий мрак; но теперь она заторопилась рассеять его движением и словом.

Отставила блюдце, соскользнула с парапета.

Шкедт спросил было:

— А ты возьмешь свое?..

Но она, очевидно, не собиралась.

Какой, гадал он, шагая вдоль террасы и спускаясь по низким ступеням, эмоциональный осадок оставила бы разруха наверху во мне? Но на нижней ступеньке Ланья горячей влажной рукой взяла его за мизинец.

Они шагали по траве, пока из-под нее не вырос камень.

Они взобрались по каменным ступеням. Перешли мостик с чугунными перилами.

Водопад загрохотал подле них, притих под ними.

— Это «Апрель», — сообщил им мистер Новик, сверившись с табличкой посреди моста.

Мост они перешли.

Угол цапнул Шкедта за пятку.

— Вы тут, наверно, всё знаете, — сказал Новик Ланье.

— Не очень. Но мне нравится, — кивнула она.

— Никак не спрошу Роджера, почему у него «Сентябрь» и «Июль» поменялись местами.

— Поменялись, да? — переспросила Ланья. — Я тут раз пятьдесят ходила и не замечала!

Они ушли прочь от моста, под широколистыми катальпами, мимо птичьих купален, мимо высоких бронзовых солнечных часов, побуревших и лишенных тени.

В «Августе» под изгородями стояли каменные скамьи.

За деревьями Шкедт разглядел лужайки «Сентября». Прошли меж высоких каменных столбов — чугунные ворота соскочили с нижней петли — и наконец опять свернули на гравийную подъездную дорогу, что изогнулась в густой и приземистой вечной зелени.

Мистер Новик проводил их до парадных ворот.

У зеленой будки привратника они обменялись до свиданьями, всего-добрами, мне-было-ужасно-приятнами, заходите-сновами и опять до свиданьями, во время которых, решил Шкедт, когда позади лязгнула задвижка, лучше бы все открывали рты пореже.

Он повернулся на тротуаре, взял Ланью за руку, не сомневаясь, что едва повиснет тишина, она заговорит про разрушенное Обсерваторское крыло.

Они зашагали.

Она не заговорила.

Сделав шагов десять, она сказала:

— Хочешь написать что-нибудь, да? — Вот чем, догадался он, была эта жажда проговаривать.

— Да, — сказал он. — Я, наверно, зайду в бар — может, там что-нибудь поделаю.

— Хорошо, — сказала она. — Я сначала обратно в парк. Но попозже забегу к Тедди.

— Ладно.

Она двигалась подле него, плечом касаясь его плеча, глядя то на окрестные дома, то на тротуар, то посматривая вверх, на облитую ивами стену.

Он сказал:

— Хочешь пойти поиграть на гармошке, да? — прочтя это в таком же узоре безмолвных подска-

зок, какой поведал ей его желание. Он обнял ее за плечи; они зашагали в ногу.

— Да.

Он думал свои мысли, временами косясь на нее, гадая, о чем думает она.

Беззвучная в круговороте года речь превосходит все, что я хочу сказать, во что поверить. В гнетущем эфире я набрасываю свою однослож-ность, пробуждаясь рефлекторно, миг за мигом. Обретенная ось, миг определенности, острие под таким давлением, что вышибает некое будущее, некое прошлое, которые я предчувствую лишь ознобом, застилают слой боли неким цепким упрямым недугом, отбросами зверства, что в порошок стирает кирпич и раствор. Насколько проще были бы любые махинации, породи поля-ризованная перцепция столь вопиющий идеал.

* * *

Речь, написал владелец тетради напротив страницы, где сейчас писал Шкедт, *всегда превос-ходит поэзию, как печать*…

— Здрасте.

Он оторвал глаза от стойки (серебристый тан-цор в клетке поклонился жидким аплодисментам и шмыгнул за черный занавес), глянул вниз на

собаку — та коротко гавкнула.

— Мюриэл!..

— Здрасте, мадам Браун. Давненько вас не видел.

— Странно: я вас тоже не видела. — Она засмеялась по нисходящей. — Господи, тут сегодня как в склепе. Разрешите присесть? Можете сделать вид, будто угощаете пожилую даму.

— Конечно…

— Но я помешала вам работать.

Он пожал плечами:

— У меня как бы пауза.

Когда мадам Браун села, бармен принес ей как обычно и поставил перед Шкедтом новое пиво.

— Что пишете? Опять стих?

— Длинный. В естественном ритме английского языка.

Она задрала бровь, а он рефлекторно закрыл тетрадь; а потом пожалел.

— Как там мистер и миссис Ричардс и Джун?

— Ой. — Она расплющила костяшки на древесине. — Как обычно.

— Нравится им новая квартира?

Мадам Браун кивнула.

— Я у них ужинала позавчера. А сегодня у них, я так поняла, другие гости. Весьма занятно было на-

блюдать, как Мэри старается меня отвадить, чтоб я ненароком не свалилась им на голову. — Она не засмеялась. — Да, они уже вполне обустроились. — Выпрямилась. — Жалко, что так мало народу. Город всех всасывает; или, может, люди просто… уходят?

Шкедт поставил орхидею на тетрадную обложку — орхидея застыла на трех самых длинных зубцах.

— Без нее нельзя, а? — засмеялась мадам Браун. — Может, и мне пора завести. Может, мне в этом опасном городе очень везет?..

Он сдвигал руки с двух сторон, пока тупые кончики пальцев не ткнулись в клетку, а острия ножей не потянули кожу между, уже обжигая — вот-вот порежут.

— Мне еще надо к ним зайти. — Он слегка раздвинул пальцы. — Насчет денег.

— Вам не заплатили?

— Пять долларов в первый день. — Он глянул на нее. — Тогда в парке вы сказали, что они заплатят пять долларов в час.

Они кивнула и тихо что-то пробормотала. Он как будто расслышал: «…бедный шкет», — но не разобрал, предшествовало ли «бедному» «вы», следовала ли за ним запятая и заглавная.

– *Как* они вам сказали?

Она посмотрела вопросительно.

— Что именно они вам сказали, дословно?

Она обратила свою гримасу к бокалу.

— Что, если я найду молодого человека, который поможет им с переездом, надо ему сказать, что они платят пять долларов в час.

— Мистер Ричардс?

— Совершенно верно.

— Я, помимо прочего, потому и взялся за работу. Хотя, видит бог, деньги здесь ни к чему. Но они же, видимо, понимали, что делают?

— Надо было вам с ним поговорить. Он бы вам заплатил что… нибудь.

— Пусть он заплатит, что обещал… ёпта, я же не мог спросить в последний день.

— Да, это было бы странновато.

— Значит, придется заглянуть и поговорить с ним. — Он открыл тетрадь. — Я, наверно, еще попишу, мэм.

— Очень *жалко*, что так мало народу. — И она оттолкнулась от стойки.

— Да рано еще.

Но она не слушала.

Он листал страницы, пока не нашел: *…как печать превосходит слова. Я хочу писать, но умею*

пришпилить словами лишь само это желание. Вероятно, можно слегка утешаться тем, что для немногих писателей, которых я лично знал, публикация — прямо пропорционально таланту — событие, неизменно сопряженное с катастрофой. Или, может, просто так сложилось, что все они — странное собранье…

— Па-бам, — прошептал он и перелистал до пустой страницы, — па-бам, па-бам, па-бам, па-бам.

* * *

Письмо так и лежало в почтовом ящике.

Красно-бело-синяя кромка пересекала уцелевшую решетку, одинокую среди гнутых и сломанных дверок. Он, кажется, разглядел чернильный обратный адрес. Можно прикинуться, подумал он, будто там написано Эдвард Ричардс, из гостиницы в Сиэтле, штат Вашингтон, неподалеку от Фремонт-авеню, на 43-й. В густом сумраке он умел вызывать к жизни что-нибудь такое… Он повернулся и пошел к лифту.

По крайней мере, кто-то протер пол в вестибюле.

Он нажал кнопку.

Из двери пустой шахты зашелестел ветер. Он шагнул в другую.

Вышел в кромешной черноте коридора и лишь тогда — кхынкнула дверь — сообразил, что по привычке нажал семнадцать, а не девятнадцать. Насупился во тьме и зашагал вперед. Плечом задел стену. Выставил руку и нащупал дверь. Шагал, пока не нащупал следующую.

И тогда остановился — из-за вони. Насупился сильнее.

Когда добрался до следующей двери (сколько с этой стороны квартир? три, четыре?), воняло тошнотворно и едко.

— Господи боже… — прошептал он; дыхание отдалось эхом.

Он заставил себя идти дальше.

Следующая дверь — очевидно, в прежнюю квартиру Ричардсов — под его рукой распахнулась. От вони повело, кинестетический фокус сбился. Он кинулся назад, дважды врезался в стены — один раз левым плечом, другой правым.

Долго, интересно, придется нащупывать кнопку лифта?.. *Кхынк… кхынк… кхынк*. Одной двери что-то мешало. Между *кхынками* отзвуком его дыхания прилетел ветер.

Он замер, растерявшись в гнилостной темноте. Левая дверь лифта? Правая? Тут страх легчайшим пальчиком пощекотал ему плечо. Он перегнулся

почти пополам и шарахнулся к стене; которая оказалась никакой не стеной, поскольку подалась.

За дверью он уцепился за перила и заковылял вниз.

Бледный свет окрашивал серым стекло пролетом ниже. Заглатывая свежий воздух, он выступил в коридор на шестнадцатом. В дальнем конце горела одна лампочка.

Следующий жадный вдох задавил взрыв хихиканья. Шкедт тряхнул головой. Ну а *что*, блядь, им с ним было делать? Он зашагал по коридору, ухмыляясь и в омерзении. Но все равно: что ж я тогда морочился-то, наверх его тащил?

Он постучался; судя по дребезгу двери, открыто. Он толкнул, и какая-то девчонка ахнула.

— Эй, есть кто дома? — спросил он.

— Кто… кто там? — Судя по голосу, испугана и измучена. Окно темной синевой поливало железные койки, груды одежды, перевернутый табурет.

— Это Шкедт. — Он еще ухмылялся.

— Все ушли, — сказала она из кучи спутанных одеял. — Тут только я. Умоляю вас… все ушли.

— Да я ничего не сделаю. — И он шагнул в квартиру.

Она приподнялась на локтях, откинула волосы с лица и поморгала глазами в синяках.

— Ты… это ты болела?

— Мне лучше, — проныла она. — Честно, мне лучше. Только не трогай меня.

— А Тринадцать, а остальные? Давно они ушли?

Она со вздохом рухнула обратно.

— Они вернутся?

— Нет. Слушай, ты…

— Еда у тебя есть? И всякое такое?

— Умоляю тебя… да, у меня все нормально. Они свалили пару дней назад. Чего тебе?

Прежде он ее боялся, поэтому теперь подошел ближе.

— А огонь есть?

— Огней тебе, а? — Множественное число и интонация сбили его с толку. — Слушай, со мной все обойдется, ты только уйди. Тебе огней? Они вон там… — И она ткнула пальцем в манекен.

Он пошел посмотреть, на что она показывает.

— Фауст-то тебя проведывает? В прошлый раз, когда я тут был, он ужасно за тебя переживал. — Лысые пластмассовые груди исчерчены цепью.

— Да, он заходит. На шее там висят. — Это она продолжала инструктировать. — Какой-то

парень оставил. Больше не придет. — Она закашлялась. — В них нет батарейки.

Он приподнял тяжелые звенья на сложносоставной шее. Улыбка — мазок краски, под одним глазом выщерблена.

— Огни? Светощит? — Прицепленная снизу штуковина щелкнула по пластиковому подбородку, по носу, по лбу.

— Вот и славно. А теперь иди, хорошо?

— Тут нет батарейки?

Она только вздохнула, зашуршала одеялами.

— Ладно, раз ты говоришь, что у тебя все нормально, я пошел. — Что-то внутри… затрепетало? Он слышал, люди так говорят. Страх на минимуме, физический отклик текуч и тяжек. Он рискнул глянуть в зеркало.

Ее койку наполняли тени и сбившиеся одеяла.

— Ладно, — повторил он. — До свиданья. Передай Тринадцати и Денни, если вернутся…

Она вздохнула; она завозилась.

— Не вернутся.

Так что он закрыл за собой дверь. Зловеще; но что бы он им передал? Он надел цепь на шею. Нож зацепился за звенья. Он отвел подальше оперенную руку.

Светощит?

Прицепленная снизу штуковина — сферическая, диаметром с серебряный доллар, черная и вся в линзах. Тяжелые звенья легли поверх медной цепочки и стеклянных бусин. Он большим пальцем повозил по спине, дернул плечами, сдвинул полы жилета и зашагал по коридору.

Открылся лифт.

Поднимаясь во тьме — перед глазами оранжево зависла «19», — он раздумывал о батарейках и потирал голый живот.

Из-за двери новой квартиры Ричардсов донеслись голоса. Рассмеялась женщина — не миссис Ричардс и не Джун.

Он позвонил.

Приблизились заглушенные ковром ноги.

— Да? — спросила миссис Ричардс. — Кто там? — Щелкнул глазок. — Это Шкедт!

Зазвенела цепочка, дверь распахнулась.

— Надо же, заходите! Билл, Ронни, Линн; это молодой человек, про которого мы рассказывали! — Воздух из открытой балконной двери пришиб свечное пламя; по прихожей раскидало свет. — Заходите, заходите. Шкедт, это друзья Артура… по работе. Артур? Пришли к нам на ужин. Выпьете с нами кофе? С десертом?

— Слушайте, раз вы заняты, можно мне мисте-

ра Ричардса на минуту?

— Шкедт? — окликнул мистер Ричардс из столовой. — Заходите, ну?

Шкедт поперебирал гримасы, но, не найдя подходящей своему нетерпению, терпеливо шагнул вперед; ограничился хмурью.

Миссис Ричардс сияла идеальной улыбкой.

Шкедт вошел в столовую.

Женщина, сидевшая подле мистера Ричардса, возилась со своей серьгой.

— Мэри говорит, вы пишете стихи. Вы нам почитаете?

— Чего? А. Нет, я не принес.

Мужчина напротив этой женщины снял со скатерти локти в кожаных заплатах.

— Зато принесли эту штуку. На вид опасная.

— А. — Шкедт глянул на орхидею. — Ну, почти ведь темно уже. — Он расстегнул браслет, отколупал сбрую с пальцев, а за столом тем временем посмеивались.

При таком ракурсе пламя на кончике белого воскового конуса закрывало Джун левый глаз. Она улыбнулась.

— Вот, — позади него сказала миссис Ричардс. — Стул. Подвинься чуть-чуть, Сэм. Налей ему кофе, Артур.

— А я чем, по-твоему, занимаюсь, лапушка, — с бесконечной приветливостью ответствовал мистер Ричардс.

Крупная женщина в синем вельвете снова заговорила с мужчиной слева. Из руки в руку передали чашку.

Женщина в зеленом платье улыбалась, но то и дело невольно стреляла глазами (бледно-серыми) в стальную клетку, которую Шкедт припарковал на углу стола. Поставила чашку рядом с орхидеей. Миссис Ричардс взялась за спинку своего стула, собравшись сесть.

— Вот честное слово, я же говорю, Шкедт нам просто жизнь спас. Он так нам помог. Он нам уже как родной.

Крупный мужчина на другом конце стола пальцем потер нос и сказал:

— Мэри, ты уже пятнадцать минут идешь за десертом, а я глотаю вторую чашку кофе.

Миссис Ричардс рассмеялась:

— В самом деле, что-то я разговорилась. Иду, сейчас принесу.

Джун, шурша кулачками в белой тафте, вкруг стола пошла на кухню.

Мужчина подле женщины в зеленом перегнулся через нее и сказал:

— Мэри только что разливалась про вас и ваши стихи. Вы живете в центре, да? Возле парка?

— Да, — ответил он. — А вы где?

— Ага-а! — Не выпрямляясь, мужчина пощупал воротник футболки. — Это очень хороший вопрос. — Ногти у него были нечисты, воротник сбоку обтрепался. — Просто очень хороший. — И выпрямился, смеясь.

Щипля себя за серьгу, женщина справа от мистера Ричардса сказала:

— Вы не похожи на поэта. Вы больше похожи на этих людей, про которых вечно пишут в «Вестях».

— На скорпионов? — переспросил очень белокурый мужчина (твид и кожаные заплаты на рукавах) поверх стиснутых рук. — Волосы больно короткие.

— Он *волосатый*, — возразила щипательница серьги.

– *Недостаточно*, — пояснил блондин и отвернулся поискать салфетку, упавшую под пустой стул Джун.

Шкедт ухмыльнулся женщине:

— А вы где живете?

Она бросила щипаться, удивилась:

— Мы с Ральфом прежде жили на Темпл. А

теперь мы… — и осеклась, потому что с другого бока ей кто-то что-то сказал или, может, даже пихнул локтем.

— Вам там больше нравится? — спросил Шкедт, без интереса гадая, где вообще этот Темпл.

— Что и кому сейчас может понравиться в Беллоне?

Вошла миссис Ричардс с большой стеклянной миской.

— Это что? — спросил мужчина слева от мистера Ричардса. — «Джелло»?

— Никакое не «Джелло»! — Миссис Ричардс поставила миску перед мужем. — Это винное желе. — Сумрачно глянула в лиловое море. — С портвейном. В рецепте не было ни слова про сахар. Но это, я думаю, ошибка, так что я все равно положила.

Подле нее Джун держала вазу с горой взбитых сливок, блестящих, как тафта. На запястье при свечах заблестела… Да нет, подумал Шкедт, не могла же она ее снять с… Но от этой мысли разулыбался.

— Раздашь, Артур?

Шкедт на своем углу примеривался неприязненно полюбезничать с щипательницей серьги. Но та сидела слишком далеко. Он повернулся к

той, что сидела рядом, в зеленом:

— Вы работаете с мистером Ричардсом?

— Мой муж прежде работал, — ответила она и передала ему увенчанное белизной десертное блюдце.

Он съел ложку: клен.

— Мне, — сказал он и проглотил, — надо поговорить с мистером Ричардсом про деньги. Вам тут нравится?

— Да, очень приятная квартира. Вы перенесли им всю мебель, они рассказывали.

Он улыбнулся, кивнул и решил, что виноградного желе и взбитых сливок со вкусом клена просто не переживет.

Мужчина подле женщины в зеленом снова через нее перегнулся:

— Я с Артуром, вообще-то, не работал. Я вон с Биллом работал, он статистик в «ИСМ» — это где Артур. А мы с Линн просто примкнувшие.

— Ой, — укоризненно сказала Линн, пока Шкедт глотал кофе, — нам просто надо поднапрячься, пока в городе такое.

— Я тем и занят; я тем и занят. Нас, понимаете, несколько. Живем вместе в… короче, живем вместе. Нас как раз пытались выпереть из дома. Какие-то люди с такими вот штуками, кстати. —

Он указал на орхидею. — Но сейчас я бы такую тоже носил, если б у меня была.

— Ничего бы ты не носил, — возразила Линн. — Не носил бы ты.

— Довольно сурово, — сказал Шкедт.

— Если мы вместе, — продолжала объяснять Линн, — так гораздо лучше для детей. Понимаете, да?

— Да, конечно! — Он уловил внезапную беспомощность в ее тоне и откликнулся.

— О чем тут писать стихи? — Опять ее муж. — Никогда же ничего не происходит. Торчишь дома, боишься на улицу выйти. А когда вышел — все равно что, черт его дери, через болото вброд.

— И всё, — согласилась Линн. — Ну правда. В смысле, сейчас в Беллоне. Совершенно нечем заняться.

Джун у отца под боком сказала:

— Шкедт пишет чудесные стихи.

В свете свечей тени подпрыгнули во взбитых сливках.

— О да, — подтвердила миссис Ричардс, ставя блюдца с желе перед крупной вельветовой женщиной и блондином в твиде. — Шкедт, вы же нам прочтете что-нибудь?

— Да, — сказал мистер Ричардс. — Я считаю,

Шкедт должен прочесть стихотворение.

Шкедт досадливо цыкнул.

— У меня нет. Я не взял с собой.

Миссис Ричардс просияла:

— У меня есть одно. Минуточку. — Развернулась и выбежала за дверь.

Досада росла. Шкедт зачерпнул желе; которого не хотел. Поэтому допил кофе. Кофе тоже не хотел.

— Вот! — вернувшись, вскричала миссис Ричардс и пихнула ему по столу листок с синей каемкой.

— Ой, — сказал Шкедт. — Я забыл, что у вас оно есть.

— Давайте читайте.

— И уж пусть будет хорошее, — сказал твидовый блондин вполне любезно. — Иначе Ронни, завидев вас на улице, будет убегать сломя голову — она-то считает, что вы…

— На улицу я не *хожу*, — сказала Ронни. — Я хочу послушать, какие у вас стихи. Читайте.

Мужчина, хотя и не мистер Ричардс, сказал:

— Я мало смыслю в поэзии.

— Шкедт, встаньте, — распорядилась миссис Ричардс, взмахнув сливочной ложкой. — Чтоб нам было слышно.

Шкедт встал, как можно невозмутимее сказал:

— Мистер Ричардс, я пришел только насчет денег за мою работу, — и подождал реакции.

Мистер Ричардс расправил плечи и улыбнулся.

Где-то — в коридоре на этаже? — затворилась дверь.

Миссис Ричардс, держась за край стола, с улыбкой кивнула:

— Давайте, Шкедт.

Ронни сказала ей:

— Он хочет денег. Какой прагматичный поэт. — Говорила она тихо, но все рассмеялись.

Он посмотрел на свой стих, переписанный миссис Ричардс, и оттянул язык от зубов, примериваясь к первому слову.

В коридоре заорал мужчина — ни слов, ни интонаций: шаги, глухие удары, — и с каждым ударом крик набирал высоту.

Шкедт стал читать. На третьей строке сделал паузу, потому что ужасно хотелось смеяться, но головы не поднял.

Шаги; на бегу ругаются голоса — и голосов много.

Шкедт читал, пока не добрался до пропущенной запятой.

Рядом Линн тихонько взвизгнула. Краем глаза Шкедт увидел, как муж взял ее за локоть. Снаружи кто-то загрохотал по стене — похоже, ломиком. И крик сорвался истерическим мексиканским акцентом:

— Ну кончай, ну пжалста, отстань, ну лан те. Не дури… Не надо! Ну кончай, кончай… не надо. Ну пжалста, не надо…

Шкедт прочел последние строки своего стихотворения и поднял голову.

Грохот перешел со стены на дверь — равномерный, расчетливый стук. В звуковой обертке этого грохота он различал звон цепочки, тряску петель, щелчки замка.

Он оглядел стол, и в голове просквозила окольно праздная мысль: у них такие лица — у меня, наверно, такое же, когда у кого-нибудь алеют глаза.

Снаружи, перебивая крики, кто-то заржал.

Страх Шкедта, упрямый, и сияющий, и до того знакомый, что почти уже бессознательный, целил куда-то в коридор. Однако смеяться не хотелось. По-прежнему хотелось захихикать.

Снаружи кто-то побежал. Остальные побежали следом.

Мускул сзади на бедре напрягся так, что вот-вот

лопнет. Шкедт улыбнулся, невнятно и растерянно. Загривку было щекотно.

Кто-то скрипнул стулом.

— Господи боже, когда же это наконец… — ритмически предугадывался следующий удар, но прозвучало только ее слово: — кончится!

Шаги стали легче, скатились по ступеням, удалились за хлопающие двери.

Шкедт оглядел гостей — кто-то смотрел на него, кто-то друг на друга; вельветовая пялилась себе в колени; миссис Ричардс с трудом переводила дух. Интересно, понравилось ли кому стихотворение.

— В ваших краях тоже так, да? — шутливо выдавил Сэм.

Тут на другом конце стола женщина, которую Шкедт толком не видел, разлила кофе.

— Ой, я тряпку принесу! — заорала миссис Ричардс и бежала из комнаты.

Трое разом попытались высказаться толком ни о чем.

Но когда вернулась миссис Ричардс с полотенцем — черно-белым, а-ля оптическое искусство, — от хора отделился один голос, неуверенный баритон:

— Господи боже, а неужели ничего нельзя сделать? Надо ведь что-то делать.

Из нескольких чувств острой была только досада.

— Мистер Ричардс? — сказал Шкедт по-прежнему стоя. — Мистер Ричардс? А теперь можно с вами поговорить?

Мистер Ричардс задрал брови, оттолкнулся от стола. Джун, необъяснимо встревожившись, коснулась отцовского локтя… удерживала? защищала? Мистер Ричардс смахнул ее руку и пошел к двери.

Шкедт взял орхидею и вышел в прихожую.

Вельветовая между тем говорила:

— Когда *придумаешь*, что можно сделать, сообщи мне, будь *добр*. Поддержу на сто процентов. На сто процентов, уверяю тебя.

У двери Шкедт повернулся:

— Надо разобраться с этой историей про пять долларов в час, не находите, мистер Ричардс, потому что уже…

Бледная, натужная улыбка мистера Ричардса надломилась.

— Ты чего добиваешься? — шепотом вопросил он. — Чего ты добиваешься? Пять долларов в час — да ты спятил!

Миссис Ричардс, не выпуская полотенце из рук, продрейфовала к мужу и встала у него за плечом,

моргая, — получилась точная копия Кумары и Тринадцати.

— Вот чего ты добиваешься? — продолжал мистер Ричардс. — Мы тебе ничего заплатить не можем, будь любезен это понять.

— Чего? — потому что это какой-то бред.

— Пять долларов в час? — повторил мистер Ричардс. — Да ты спятил! — Говорил он с нажимом, нервно и тихо. — Тебе-то зачем такие деньжищи? В этом городе жизнь не стоит ни гроша — еда за так, жилье за так. Деньги здесь ничто. Вот чего ты добиваешься?.. У меня жена. У меня семья. В «ИСМ» не платят уже который месяц. В конторе вообще ни души! Я должен сохранить то, что есть. Я не могу сейчас столько тратить — положение-то какое! Я не могу…

— Но вы же сами так сказали?.. — Шкедт разозлился. — Ох, ёпта. Слушайте, тогда давайте так… — И полез в карман.

Мелькнула орхидея, и глаза у мистера Ричардса расширились.

Шкедт, однако, просто рылся в кармане.

— Тогда и это забирайте, ага? — Мистер Ричардс покачнулся, когда влажный зеленый комочек отскочил от его рубашки и отрикошетил на пол, раскрываясь, как бумага в огне.

Шкедт щелкнул замком и дернул дверь. Цепочка удержала ее — *хряп!* — в двух дюймах от косяка.

Миссис Ричардс кинулась к нему, повозилась с защелкой. Шагнув в коридор, Шкедт оглянулся — облить их презрением.

Пока миссис Ричардс с многообразной горечью во взоре закрывала мистера Ричардса дверью, тот глядел изумленно, и это было неожиданно, и принесло удовлетворение, и было оборвано дверным хлопком.

Он насчитал пятнадцать лупящихся краской вмятин и решил (за дверью опять кто-то смеялся), что пора идти.

В раздумьях он спускался на лифте. Один раз поднял взгляд, наморщив нос от слабой гнилостной вони. Но спускался дальше. Вместе с ветром в шахте шелестело эхо шагов откуда-то с лестницы, эхо голосов.

В вестибюле не было ни души.

* * *

Удовлетворен?

Во всяком случае, удовлетворена досада.

Но смутные и шаткие остатки вскипали и толкались, добиваясь определения.

— Па-бам па-бам па-бам? — спросил он. — Па-бам па-бам, — ответил он и сел.

Оно кренилось, как масло в турбулентности. В конце концов Па-бам па-бам па-бам? сложилось вокруг обломков вопроса, а вот Па-бам па-бам в словесный ответ не лезло. Он тискал кончик авторучки, пока не заболели пальцы, затем вновь пошел в атаку на строптивые множества звука, перекрывавшие собственный смысл. Перечитал с десяток вариантов начала одного фрагмента; с блаженством обреченности остановился — заменив «Это» на «То» — на самой первой версии.

Свеча с высокого подоконника раскачивала тень безбатарейного проектора в тетради, раскрытой на голом бедре.

Кто-то постучал, как раз когда он заметил, что торопливыми сдавленными буквами переписывает одну строку уже четвертый раз (мысли бродили сами по себе).

— Ты там? — спросила Ланья.

— Чего? — Он вперился в многослойные каракули на двери. — Да. Иду. — Встал, подтянул штаны с лодыжек, дернул за цепочку смыва.

— Он сказал, что ты там. — Она кивнула на бармена, когда Шкедт открыл дверь. — Пошли.

— Чего? Куда?

Она улыбнулась:

— Пошли. — И взяла его за руку.

— Эй, — окликнул он, проходя мимо бара. — Постережешь еще раз?

Бармен склонился через стойку.

— Где обычно, шкет. — Встал на цыпочки и сунул тетрадь сквозь прутья клетки.

Ланья приостановилась у двери, спросила:

— Как прошло у Ричардсов?

— Вернул ему его сраную пятерку.

Ее растерянность внезапно растворилась в хохоте.

— Ну ты даешь! Рассказывай, что было. — И она потащила его в коридор, а затем на улицу. — Что было? — повторила она, плечом втискиваясь ему под мышку. Они быстро зашагали. Она обернулась к нему, и ее волосы пощекотали ему плечо.

— Платить он не захотел. У них там был званый ужин, что ли. И я ему отдал, что он успел заплатить. — Шкедт почесал грудь под полой жилета. На бедре звякала сбруя орхидеи. — А пацана своего, мальчика, они так и оставили… — Он тряхнул головой, потерся о ее голову. — Ешкин кот, не хочу про это. Куда мы?

— В парк. В коммуну.

— Зачем?

— Во-первых, есть охота.

— Все равно рассказывать не буду.

Она погнала его через дорогу, в дымно-вечерний океан. Шкедт принюхался было, однако ноздри онемели — или обвыклись. Львы в размытой мути раззявили пасти в каменном ошеломленном негодовании. Появилась туманная жемчужина горящего фонаря.

— Утром, — сказала Ланья, — когда ты ушел писать стихи, сказали, что на том конце парка новые пожары!

— Дым явно гуще.

— Вон там, — кивнула она, — я, кажется, видела, как мигает. А еще даже не стемнело.

— В парке пожаров быть не может, — вдруг объявил он. — Тут же все сгорит к чертям? Либо сгорает все, либо нет.

— Наверно.

— А кого-нибудь посылали проверить? Может, им послать кого-нибудь копать такую штуку… противопожарный барьер. — Противопожарный барьер? — и услышал, как слово отзывается картинками обугленного леса, где много лет назад он топал с канистрой на плечах, в шипящий пепел брызжа водой из латунной форсунки. — Может, тебе с Джоном и его ребятами сходить?

Она дернула плечами под его рукой.

— Нет, правда, я бы туда лучше не ходила…

Он попытался по голосу догадаться, что известно о ее гримасе, и вспомнил, как она сидела на каменном парапете, обнимая груду драного синего шелка.

— Ты перепугалась до смерти!

Ее голова крутнулась — вопросом или подтверждением.

— Почему?

Она набычилась и удивила его, повторив:

— Пошли, — тихо, резко.

Босая нога ступила с бетона в траву.

Ночь вздымалась и опадала; привычка вела их лабиринтом тумана.

Он увидел дрожащие огни.

Но это горел шлакоблочный очаг коммуны. У костра безмолвно, безжизненно бродили люди.

Вдоль деревянного стола сидела молодежь во всевозможных армейских гимнастерках, рубахах с огурцами и грязных маечках и смотрела сквозь сальные волосы. Кто-то подтащил спальник к огню. Тень: бледное волосатое тело; черная кожаная куртка — поодаль от костра, скрестив руки, широко расставив ноги, стоял Тэк. На ремне у него болталась затейливая медная орхидея. За

его спиной перешептывались три скорпиона.

Один — рыжий веснушчатый черный, который заехал Шкедту трубой у Калкинза; другие потемнее. Но Шкедт, поначалу вздрогнув, не встревожился. Кто-то вразвалку прошагал мимо с картонной коробкой консервов, мятых целлофановых оберток, бумажных стаканчиков. Шкедт сообразил (очень удивившись), что его ужасно прет. Мысль раскачалась в мозгу, рассыпалась, зашипела, как вода в горячем пепле. Дым, лихорадочно подумал он. Может, в этом тумане и дыме что-то. Нет…

К костру, поблескивая голой грудью под жилетом, подошел Джон, остановился поговорить с Тэком; оба склонились к орхидее. А потом на запястье Джона — медные листья, панцирь, когти: вдоль пальцев изгибались вниз длиннющие медные ножи на прихотливом браслете. Джон дергал локтем, словно, разоружись его рука, застучал бы по ноге.

Тэк улыбнулся, и Джон удалился.

Шкедт поморгал; бил озноб, ноги не держали. Вот Ланья — отошла, говорит с кем-то за столом. Невразумительным градом сыпались обрывочные вопросы. В боку дернулся мускул, и Шкедт его ужасно испугался. Сделал шаг, плечом задел

кого-то — от того пахло вином. Огонь положил горячую руку на щеку, на грудь и на плечо, а в остальном предоставил Шкедта прохладе.

Где-то в тени дерева затрясла шевелюрой Милли: по плечам застучала кроваво-медная щепа.

Зачем они пришли? Зачем здесь толкутся? Череп изнутри словно помят и воспалился. Смотри на них, слушай их, складывай поступки и осколки разговоров; он поискал экран, что преобразит восприятие в информацию; подождал, когда кто-нибудь начнет танцевать, есть, петь. Пожалел, что Ланья не сказала, зачем они пришли. Но он ужасно устал. Так что пошел бродить. Однажды я умру, ни к селу ни к городу подумал он, но в ушах по-прежнему стучала кровь.

Он попятился от жара, снова попятился. (А где Ланья?) В смятении не смог обернуться. Всё громко и настырно обозначало слишком много всего: дым, что раскручивался над ветками; камешек под пяткой; горячая лента жара костра над бровями; бубнеж вокруг, здесь громче, там тише.

Неподалеку впереди стояла Милли — голые ноги двигались под музыку, которой Шкедт не слышал. Затем подле нее, скрестив ноги в листве, рассеянно щупая ножи на руке, плюхнулся Джон.

Некоторое время назад, сообразил он, опять пришла эта мысль: умоляю, я больше не хочу заболеть, умоляю, — но он едва расслышал, как она пролетела, и лишь теперь равнодушно различил ее эхо.

Кто– или что-то вот-вот явится на поляну — в этом он не сомневался; и равно не сомневался, что, блестящий и голый, на поляну явится Джордж! И Джун!

— Вот идиотизм, а? — говорил кто-то невидимый. — А ведь можно было на Гавайи!

Розовым бутончиком высунув кончик языка в уголке губ, Джон смотрел на подвижные икры Милли. Поднял руку с ножами (по подбородку метнулся отсвет) и рубанул сверху вниз.

Милли ахнула, придушила ах, но больше не издала ни звука. Не сделала ни шагу, даже не взглянула.

Шкедт в ошеломлении смотрел, как кровавый ручей шириной (посреди ужаса невпопад всплыла мысль) с карандаш течет ей на пятку.

IV
Во время чумы

1

— Слышь, отцепись…

— Давай-давай, пошли…

— Тэк, харэ меня, сука, лапать…

— Мне твоя бурая тушка без надобности. Я хочу тебя только до бара дотащить, чтоб ты там посидел.

— Слушай, ну прошу тебя, я…

— Ты *не* пьяный; ты говоришь, что *не* укурен, ничего такого, так что сядешь и посидишь спокойно! — За его плечо ухватилась мясистая Тэкова рука. (Шкедт с трудом одолел еще три шага.) — Ты там шатался, буквально, как в трансе каком. Пошли, сядем, выпьем, приведем тебя в порядок. Ты точно ничего не употреблял?

Хитрая орхидея у Тэка на ремне лязгнула о Шкедтову, простенькую.

— Эй, слышь! Шагай уже, оставь меня в покое… А где Ланья?

— Она быстрее найдет тебя у Тедди, чем пока ты по темноте шляешься. *Сам* шагай.

За таким вот диалогом они спотыкливо брели из парка в бар.

Шкедт колыхался в дверях, глядя на нестойкие

свечные огоньки, а Тэк дискутировал с барменом:

— Горячий бренди! Слушай, ну вот же, налей воду из кофейника в стакан с дозой…

Джун? Или Джордж?

Пол Фенстер, четвертый по счету у стойки, поднял взгляд от своего пива (едва Шкедт его узнал, в животе приключился какой-то холод, но ничего, терпимо), подошел к Тэку и встал у него за спиной; а тот развернулся с двумя дымящимися стаканами.

— А?..

— Ага. Я все-таки нашел тут знакомое лицо. — Фенстер был в красной рубахе с длинными рукавами, застегнутой до середины груди. — Я и не надеялся, я только сегодня вернулся.

— А, — кивнул Тэк. — Ну да. Как делишки? Эй, мне надо друга напоить. *Э-э*… Пошли.

Тэк пронес стаканы с бренди над плечом какой-то женщины, обогнул какого-то мужика. Фенстер наблюдал, задрав подбородок.

Тэк вернулся к Шкедту. Фенстер подгреб следом.

— Держи бренди. Это Пол Фенстер, мой любимый бунтарь, умудрившийся провафлить свою

причину[21].

— Это тебе так кажется. — И Фенстер отсалютовал пивной бутылкой.

— Ну, он не то чтобы провафлил. Он отвернулся, а она куда-то слиняла. Пол, это у нас Шкет. — (Получилось без воодушевления — или, может, Шкедт спроецировал.) — Пошли сядем.

— Здрасте, — кивнул Шкедт Фенстеру, который не глядел на него, не слышал его и, судя по всему, не узнал. Ладно, разговаривать Шкедту все равно было неохота, так что эдакой уклончивостью Фенстеру удалось его позабавить.

— Пошли-пошли. — Снова тревожно глянув на Шкедта, Тэк повел обоих к кабинке.

Жестикулируя бутылкой, Фенстер продолжал:

— У меня еще какая причина! Да, вы лишились девяноста пяти процентов населения, но все равно город-то прежний…

– *Тебя* здесь прежде не было. — Тэк сел с краю диванчика, и Фенстеру пришлось устроиться

---

[21] Примечания: 21

Аллюзия на культовый фильм американского кинорежиссера Николаса Рэя о бунте непонятых подростков «Бунтарь без причины» (*Rebel Without a Cause*, 1955) с Джеймсом Дином, Сэлом Минео и Натали Вуд в главных ролях. Название фильма, в свою очередь, отсылает к работе американского психолога Роберта М. Линднера *Rebel Without a Cause: The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath* (1944), в которой автор исследовал психопатию; сюжет фильма не имеет к книге ни малейшего отношения.

напротив. После чего Тэк сдвинулся, освобождая место Шкедту, который эти маневры заметил — интересно, заметил ли Фенстер.

Шкедт сел. Его тотчас пихнула Тэкова нога — тепло, хоть и нежеланно ободрила.

— Я не о том, — сказал Фенстер. — В Беллоне раньше было… сколько? Процентов тридцать черных? А теперь, хотя вы столько народу потеряли, где-то под шестьдесят. Ну, по моим оценкам.

— И все живут в гармонии, мире и братской любви…

— Херня, — сказал Фенстер.

— …и тихий, ясный, золотой полдень лишь изредка омрачается всхлипами бедной белой девочки, обесчещенной сорвавшимся с цепи негритосом.

— Ты чего, перед шкетом этим выделываешься? — Фенстер ухмыльнулся Шкедту. — Я с Тэком познакомился в первый день, как пришел в Беллону. У него голова-то на плечах имеется. Это он только делает вид, что в ней мозгов маловато. А ты такой сам в петлю лезешь. — Шкедта он так и не узнал.

Шкедт кивнул поверх дымящегося стакана. Пары́ обжигали; он улыбнулся Фенстеру, и его замутило.

— Ой, да я тут, сука, страж на вратах. Со столькими пообщался в первый день, как они пришли в город, — только успевай считать. — Тэк сел поудобнее. — Я тебе открою тайну. Ты к тем присмотрись, с кем я заговорю снова, на третий день, четвертый и пятый.

— Ты считаешь, у вас тут с черными все хорошо? Ты бы очки-то розовые снял?

Тэк резко подался вперед и кожаными локтями уперся в столешницу:

— Это ты будешь рассказывать мне? Лучше другое скажи: ты как собираешься их спасать, сидя аж на Брисбен-авеню?

— Я уже *не* у Калкинза. Переехал обратно на Джексон. Домой вернулся.

— Да неужто? И как погостил?

— Ч-черт… что он меня позвал — это мило, конечно. Приятно провел время. Дом у него прекрасный. Поболтали пару раз. Неплохо побеседовали, по-моему. Потрясающий человек. Но там эта вечная воскресная гулянка, тридцать восемь дней в месяц, у меня такое ощущение, — я не понимаю, когда он успевает отлить, не говоря уж каждый день писать по полгазеты и рулить осколками этого дурацкого города. Я ему подбросил пару идей: коммутатор, детский сад, программа

жилищной инспекции. Он утверждает, что хочет сотрудничать. Я ему верю… насколько можно сейчас кому-то верить. Поскольку власти тут, как легко заметить, толком нет, не удивлюсь, если ему удастся больше, чем можно ожидать.

Тэк повертел руками на столе, предъявил ладони:

— Только не забывай: за него тут никто не голосовал.

Фенстер подался вперед:

— Я против диктаторов особо ничего не имею. Если диктант пишу не я. — Засмеялся и хлебнул пива.

Глотки бренди жаркими узелками падали Шкедту в желудок и там развязывались. Он отодвинул ногу.

— Ты с ним обсуждал статью про Харрисона? — спросил он Фенстера.

— Про Джорджа Харрисона?

— Ну.

— Да ладно, вчерашний день, забытый скандал. Сейчас с реальными проблемами надо бороться. Ты когда-нибудь *ходил* по Джексон-авеню?

— Поперек.

— Короче, ты сначала там осмотрись, с местными поговори, а потом втирай мне про Джорджа

Харрисона.

— Пол у нас Джорджа не одобряет, — размашисто кивнул Тэк.

— Я бы так не сказал. — Фенстер клацнул бутылкой по древесине. — Просто садизм — не моя тема. И насильников не люблю. Но если *тебе* охота с ним хороводиться — проблема сугубо твоя. Я считаю, эта шумиха — отвлекающий маневр худшего пошиба.

— Если ты вернулся на Джексон, вы с Джорджем теперь соседи; так что вы, хочешь не хочешь, хороводитесь, нет? Мне-то с ним только в баре любезничать надо. — И Тэк грохнул ладонью по краю стола: — Знаешь, в чем проблема, Пол? Джордж *приятнее*, чем ты.

— А?

— Нет, в смысле, я вас обоих знаю, вы оба мне нравитесь. Но Джордж мне нравится больше.

— Да иди ты, я ж видел плакаты у пастора Эми. Я вашего брата знаю…

— Нет, — сказал Тэк. — Нет, ты не врубаешься.

— Хер там… эй, а вот скажи-ка. — Фенстер повернулся к Шкедту: — Ты эти статьи *читал?* Номер про волнения и другой, где интервью?

— Чего? Нет, но я про них слышал.

— Тэк тоже не читал.

— Я про них наслушался, — эхом откликнулся тот.

— Так я о чем? Все про них слышали. Но с самого приезда мне только один человек сказал, что их читал.

— Кто? — спросил Тэк.

— Джордж Харрисон. — Фенстер с удовлетворением откинулся на спинку дивана.

Шкедт наклонил стакан с бренди:

— Я встречал тех, кто их читал.

— Правда? — переспросил Фенстер. — Это кто же?

— Девушка, которую он трахнул. И ее родные. Только они не узнали ее на фотографии.

Что-то произошло с лицом Фенстера, не испортив улыбки, и Шкедт решил, что, может, Фенстер все же не так и плох.

— Ты с ней знаком?

— Ага. — Шкедт выпил. — И ты, наверно, тоже познакомишься. Мне все твердят, до чего маленький тут город. Эй, Тэк, спасибо за бренди. — И стал подниматься.

Тэк сказал:

— Ты точно оклемался, Шкедт?

— Ага. Мне уже лучше. — Он кивнул Фенстеру и с облегчением отошел к бару.

Когда Джек сказал:

— Эй, как дела? — Шкедт вздрогнул. Облегчение, наиповерхностнейшее из чувств, испарилось.

— Привет, — ответил он. — Порядок. А ты как?

— Я нормально. — Рубашка мятая, глаза красные, щеки небриты. И страшно доволен. — У меня порядок. Что у тебя творится? А у твоей подруги?

— У меня порядок, — повторил Шкедт, кивая. — И у нее.

Джек засмеялся:

— Это прекрасно. Просто прекрасно. Слышь, хочу тебя с другом познакомить. Это Фрэнк. — И Джек попятился.

— Привет.

Высокий лоб с залысинами, волосы до плеч, и вдобавок этот Фрэнк, похоже, с неделю назад решил отращивать бороду: «Отдаю тебе скрещенными, беру раскрещенными…» — да, точно, вот это кто. Только надел зеленую рубаху с молочными застежками вместо пуговиц; и руки помыл.

— Это, — пояснил Джек Фрэнку, — друг Тэка, я рассказывал: который стихи пишет. Но я забыл имя.

— Шкедт, — сказал Шкедт.

— Да, точно, его Шкетом зовут, — подхватил Джек. — Шкет, это Фрэнк. Фрэнк служил в армии

и тоже пишет стихи. Я ему уже все про тебя рассказал. Да?

— Ага, я тебя в парке видел, — кивнул Фрэнк. — Джек говорит, ты поэт?

Шкедт пожал плечами:

— Да. Ну так.

— Мы пьем, — пояснил Джек, — с полудня.

— А сейчас уже ночь, — ухмыльнулся Фрэнк.

— Вот ведь город, а? Не хочешь трезветь — здесь самое место. Заходишь в бары — дадут выпить, а денег не возьмут. Вообще ничего не возьмут. И куда ни пойдешь, у всех найдется что покурить или выпить. Господи Исусе. — Джек рыгнул. — Надо садик полить. Я сейчас. — И направился в сортир.

На Шкедта волной накатило головокружение, но заготовленная реплика успела выплыть:

— Пасешь дитя природы?

— Скорее он меня, — ответил Фрэнк. — Мы оба дезертировали. Джек сбежал чуть позже. Только, мне кажется, его ностальгия одолела.

Шкедт сглотнул.

— По армии? — И ему полегчало.

Фрэнк кивнул:

— У меня-то ничего такого. Я слинял с полгода назад. Мне тут хорошо. Опять можно писать, и

вообще довольно клево.

— Ты, — и на повторе проникся к Фрэнку внезапным, удивительным и полным недоверием, — пишешь стихи? — Поэтому улыбнулся.

Фрэнк улыбнулся в ответ и кивнул поверх стакана:

— Опубликоваться-то мне просто повезло. Книжка получилась нечаянно. Один журнальчик на Западном побережье хорошо издает сборники своих авторов. Мне повезло — меня выбрали.

— То есть что — у тебя книжка выходила?

— В Беллоне ее не найти, — опять кивнул Фрэнк. — Говорю же, нечаянно получилось.

— Ты, значит, давно пишешь.

— Лет с пятнадцати или шестнадцати. Начал в старших классах, а в таком возрасте обычно пишут всякую фигню.

— А сейчас тебе сколько?

— Двадцать пять.

— То есть ты уже давно. Поэт. Это твоя работа, профессия.

Фрэнк засмеялся:

— На это не проживешь. Я год преподавал в универе штата в Сан-Франциско, потом в армию загремел. Но я предпочитаю считать, что это профессия.

Шкедт кивнул:

— И у тебя много стихов выходило в журналах?

— Три в «Нью-Йоркере» с год назад. Есть мнение, что это мой высший взлет. До того два в «Поэзии»[22]. И еще несколько. Но это те, которыми я горжусь.

— Да, я этот журнал раньше много читал.

— Правда?

— Это на котором раньше была такая завитушечная лошадь? А сейчас просто мультяшные картинки. Я его каждый месяц читал в школе. Годами.

Фрэнк засмеялся:

— Тогда у тебя дела получше моего.

— «Нью-Йоркер» я видел, — сказал Шкедт. — Но не читал ни разу.

Лицо у Фрэнка переменилось легко и уклончиво.

— И ни одного стихотворения не опубликовал, — сказал Шкедт. — Нигде. Я только недавно

---

[22] Примечания: 22

«Поэзия» (тж. «Поэзия — Чикаго», *Poetry*, с 1912) — влиятельный поэтический журнал, основанный редактором, критиком и поэтессой Хэрриэт Монро; в период, когда, по всей видимости, состоялась упомянутая публикация, главным редактором был американский поэт Генри Рейго (1955–1969) или канадский поэт и переводчик Уильям Дэрил Хайн (1969–1977).

поэт. Пару недель. С прихода сюда. Ты, наверно, знаешь гораздо больше.

— О том, как публиковаться?

— В том числе. Но нет — о том, как писать. Это трудно.

— Да, пожалуй, бывает.

— Я ничего, сука, сложнее в жизни не делал.

Фрэнк опять рассмеялся и почесал молодую бороду.

— Иногда. Ты… пишешь стихи — что, несколько недель? А почему начал?

— Не знаю. А ты почему?

— Видимо, — кивок, — должен был.

— Ты как считаешь, — Шкедт помолчал, обдумал свою кражу, — Беллона тебя вдохновляет, ты больше работаешь?

— Да я работаю везде примерно одинаково. Здесь, может, чуть меньше, потому что кучу времени гробишь на добычу того-сего. У меня в работе были кое-какие короткие вещи. Но несколько недель назад я потерял тетрадь.

— Чего?

И опять кивок:

— С тех пор не писал. Времени не было.

— Ты потерял тетрадь! — Из неловкости вырос страх. — Господи, это же, наверно… — А потом

внутри устаканилось. Шкедт перегнулся через стойку: — Эй, можно мне тетрадь? А? Давай скорей! Отдай тетрадь, пожалуйста!

— Хорошо, — сказал бармен. — Хорошо, сейчас принесу. Не кипятись. Народ, вам повторить?..

— Тетрадь! — Шкедт грохнул кулаком по стойке.

— Хорошо! — Раздраженно цыкнув, бармен выудил тетрадь из клетки и швырнул на стойку. — А теперь вам повторить?

— А. Ну да, — сказал Шкедт. — Еще бы.

Помимо крови, мочи, мульчи и ожогов, на тетради были круги от бутылок, неосторожно поставленных на обложку. Шкедт открыл тетрадь на середине:

— ...Не твоя, нет?

Фрэнк нахмурился:

— Ты ее нашел?

— Ага. В парке валялась.

Джефф Риверс	*Артур Пирсон*
Кит Темное Перо	*Эрлтон Рудольф*
Дэвид Уайз	*Филлип Эдвардс...*

Шкедт смотрел Фрэнку через плечо и читал имена в списке, пока Фрэнк не перевернул страницу.

— Вы что тут делаете? — спросил Джек у них из-за спин. — Ты Фрэнку показываешь свои стишки?

Шкедт обернулся:

— Да я тут чей-то дневник нашел.

— Фрэнк очень умный, — кивнул Джек. — Знает кучу всего. Историю преподавал. В колледже. И слинял из армии.

— Как многие из нас, — отозвался Фрэнк, не поднимая головы. — Те, у кого все хорошо с мозгами, уехали в Канаду. А остальных занесло сюда. — Он снова перелистнул.

— Ну как, тебе весело? — Джек положил руку Шкедту на плечо. — Здесь, знаешь, веселиться — самое оно.

— Обхохочешься, — ответил Шкедт. — Давно тебя не видел. Ты где живешь?

— Несколько дней жил у Тэка. — Рука Джека поднялась и упала. — Неделю, а потом он меня выпер — я ему больше не давал хер сосать.

Люфер в дальнем углу, нахлобучив кепку по самые уши, по-прежнему жарко беседовал с Фенстером.

Рука Джека опять упала.

— В этом городе есть *девчонки*! Фрэнк целый дом знает. Там девчонок битком. И очень симпотные.

Мы туда ходили, и… — Улыбка его экстатически растянулась до ушей. — Фрэнк им сильно нравится. — Он сморщил лицо. — Потому, небось, что бороду отращивает. Или, может, потому, что в колледже преподавал.

— Ты им тоже вполне понравился, — сказал Фрэнк, не отрываясь от тетради. — Просто они с тобой незнакомы.

— Это да, не очень близко пока что.

— Слышишь? — И Фрэнк поднял взгляд. — Это все ты писал?..

— Ага… то есть нет. В основном там уже все было, когда я нашел. Я потому и спрашиваю, не твое ли.

— А, — сказал Фрэнк. — Нет. Не мое.

Шкедт вывернулся у Джека из-под руки.

— Это хорошо. А то когда ты сказал, что потерял тетрадь, я подумал…

— Ага, — сказал Фрэнк. — Ясно.

— Мы пойдем, еще девчонок поищем, — сказал Джек. — Айда с нами, хочешь?

— Джек считает, что толпой безопаснее, — пояснил Фрэнк.

— Не. Не, не в том дело, — возразил Джек. — Я просто подумал, может, он хочет с нами, девчонок поискать. И все. Может, снова в этот дом

завалимся?

— Эй, спасибо, — сказал Шкедт. — Мне еще тут поболтаться надо.

— У Шкедта своя баба есть, — продемонстрировал осведомленность Джек. — Небось, ждет ее.

— Э, мне… ну, жаль, что тетрадь не твоя, — сказал Шкедт Фрэнку.

— Да, — ответил тот. — Мне тоже.

— До скорого, — сказал Джек, а Шкедт между тем (улыбаясь, кивая) гадал, что означает Фрэнков тон.

Рассеянно потирая бумагу (под пальцами слепые оттиски авторучки), он смотрел, как эти двое уходят.

Толкнув их плечом, в бар вошел Эрнст Новик. Остановился, одернул полу пиджака, огляделся, увидел Фенстера, увидел Шкедта и направился к Шкедту.

Тот слегка выпрямил спину.

— О, здравствуйте. Как вы нынче?

От своей маленькой победы Шкедт заулыбался. Чтобы скрыть улыбку, перевел взгляд на тетрадь. Стихотворение, на котором Фрэнк открыл, вчерне называлось:

«ЛЮФЕР»

На полях Шкедт набросал варианты: «Рыжий Волк», «Огненный Волк», «Железный Волк».

— Э… порядок. — Внезапно и решительно он сдернул ручку с верхней петлицы жилета, вычеркнул «ЛЮФЕРА» и поверх вписал: «ПРИВОДЯЩИЙ ВОЛКОВ». Посмотрел на Новика: — У меня все прекрасно; и я много работаю.

— Это хорошо. — Новик взял выставленный ему джин-тоник; бармен отошел. — Я, вообще-то, как раз и надеялся вас встретить. Потому что мы тут поговорили с Роджером.

— С мистером Калкинзом?

— Мы сегодня после ужина гуляли в садах «Октября», пили бренди, и я рассказывал ему про ваши стихи. — Новик сделал паузу, подождал, но не дождался реакции. — Он остался под большим впечатлением.

— С чего бы? Он не читал же.

Новик опустошил бокал.

— Вероятно, на него произвел впечатление мой рассказ, а равно… как бы это сказать? Не то чтобы они *про* город — про Беллону. Скорее, Беллона — по крайней мере, в тех, что я лучше всего запомнил, — составляет декорации, в которых стихи могут… разворачиваться. — Легчайшая вопросительность в финале фразы просила о

подтверждении.

Шкедт кивнул — не столько подтвердил, сколько предложил продолжать.

— Она образует декорации, а также творит некое настроение или ставит вопрос. Или я вчитываю слишком нагло?

— Чего? Не, нормально.

— Так или иначе, Роджер высказал идею: давайте спросим молодого человека, не хочет ли он эти стихи напечатать?

— Чего? Не, нормально. — Пунктуация та же, но у каждого слова — совсем иная длительность, и ударение, и интонация. — То есть это бы… — Улыбка расщепила напряжение, которое стягивало его лицо. — Но он же их не видел!

— Я ему на это указал. Он ответил, что полагается на мое воодушевление.

— Вы *настолько* воодушевленно говорили? Может, он просто хочет что-нибудь напечатать в газете?

— Это я ему тоже предложил. Нет, он хочет выпустить книгу и распространить по городу. Хочет, чтоб я раздобыл у вас копию стихотворений и название.

Раздался шум — это из тела вышло все дыхание. Шкедт провез рукой по стойке. Сердце стучало

громко, сбивчиво, и хотя он вроде бы не потел, по пояснице сбежала капля, замерла на цепочке…

— Вы, наверно, очень воодушевленно говорили… — и покатилась ниже.

Новик отвернулся к своему бокалу:

— Поскольку это предложил Роджер, а вы, я так понимаю, готовы согласиться, давайте я скажу абсолютно честно: я с удовольствием проглядел ваши стихи, с удовольствием послушал, как вы читаете; над языком — во всяком случае, судя по тому, как вы их правите, — вы немало поработали. Но я с ними прожил совсем недолго и не могу решить, насколько они, за неимением простого слова, хороши. Вполне вероятно, если б я наугад взял их и прочел в книжной лавке, и притом очень внимательно прочел, меня бы в них почти ничего не заинтересовало.

Шкедт насупился.

— Вы говорите, что пишете всего несколько недель?

Шкедт кивнул, по-прежнему супясь.

— Удивительно. Вам сколько лет?

— Двадцать семь.

— Погодите-ка. — Мистер Новик отодвинулся. — Я-то думал, вы гораздо, гораздо моложе. Я бы решил, вам лет восемнадцать-девятнадцать и

вы почти всю жизнь проработали в деревне.

— Нет. Мне двадцать семь, и я где только не работал — в городе, в деревне, на судне. А это тут при чем?

— Абсолютно ни при чем, — засмеялся Новик и выпил. — Совершенно ни при чем. Я с вами встречался всего пару-тройку раз, и было бы *безусловным* нахальством полагать, будто я вас знаю, но, если по-честному, я думал о том, как вы отнесетесь к подобному повороту. Двадцать семь?..

— Я был бы рад.

— Очень хорошо, — улыбнулся Новик. — И вот к какому решению я пришел: в мире выходит так мало стихов, что не годится мешать тому, кто хочет опубликовать еще. Раз вы старше, чем мне казалось, дело даже упрощается. На мне меньше ответственности. Вы поймите, я ведь на самом-то деле ни при чем. Это мистер Калкинз предложил. Не подумайте обо мне дурно, но я его поначалу отговаривал.

— Потому что вы считаете, что мои стихи недостаточно хороши?

— Потому что обычно Роджер не публикует поэзию. Его сносит в сенсационность — зачастую ненароком. У сенсаций с поэзией ничего общего.

Но ваши стихи не сенсационны. И по-моему, он не планирует раздувать из них сенсацию.

— Знаете, я только что разговаривал с другим поэтом — ну, который давно пишет, у него книжка вышла, все такое. Публиковал стихи в «Поэзии». И еще в каком-то журнале… в «Нью-Йоркере». Может, мистер Калкинз захочет и его тексты посмотреть?

— Вряд ли, — сказал мистер Новик. — И пожалуй, во всей этой истории таково мое единственное возражение. Как вы хотите назвать книжку?

Спину свело почти до боли. Распуская мускулы, Шкедт почувствовал неуют в кишках — симптом страха. Разум был остер и блистал. Двоих мужчин, затянутых в кожу, что беседовали в углу, женщину в рабочих сапогах, что выходила из мужского туалета, Фенстера и Люфера, что всё сидели в кабинке, бармена, что облокотился на стойку поверх полотенца, Шкедт осознавал так же четко, как Новика. Подтянул тетрадь себе на колени, посмотрел. Сосчитав до семи, поднял голову и сказал:

— Я хочу ее назвать… «Медные орхидеи».

— Как, еще раз?

— «Медные орхидеи».

— Два слова, и все?

— Именно. Просто «Медные орхидеи».

— Очень хорошо. Мне нравится. Я… — Тут лицо у Новика переменилось; он рассмеялся. — Это *правда* хорошо. И с чувством юмора у вас порядок!

— М-да, — сказал Шкедт. — Потому что я считаю, нужно иметь медный лоб, чтоб выкинуть такой кунштюк. Я — и сборник стихов? — И тоже рассмеялся.

— Да, мне *очень* нравится, — повторил Новик. — Надеюсь, все получится. Может, мои сомнения окажутся беспочвенными. Принесите нам копию текстов — в ближайшие дни, когда угодно.

— Не вопрос.

Новик взял бокал.

— Пойду поговорю с Полом Фенстером. Он сегодня уехал от Роджера, хочу поздороваться. Ничего?

— Ага, — кивнул Шкедт ему вслед.

Затем снова посмотрел на тетрадь. Большим пальцем выдвинул скрепку авторучки из пружинки и еще посидел, глядя на обложку: щелк-щелк, щелк-щелк, щелк.

Вывел на картоне: «Медные орхидеи». И сам еле разобрал буквы в грязи.

Пролистав в конец (задержался на стихотворе-

нии под названием «Элегия», прочел две строки и торопливо пролистнул дальше), пережил знакомое ощущение: на странице, где уже писал, прислушиваясь к ритму внутреннего голоса, попытался было распялить внутренний гомон…

Обрушилось болью — боль и была; живот стянуло узлом, выпихнуло из легких весь воздух, и он закачался на табурете, хватаясь за стойку. Огляделся (только с закрытыми глазами), заглатывая по чуть-чуть. Все нутряное видение опустело пред образами славы, неизбежными и невыразимо сладкими, и он сидел, лыбясь и раззявив рот, тяжело дыша, вдавив пальцы в бумагу. Разодрал веки, иллюзорно запечатанные, и посмотрел на тетрадь. Взял ручку и торопливо записал две строки, а потом застрял на неявленном существительном. Перечитал — и его затрясло, и он принялся механически вычеркивать слова, пока не нащупал ниточку смысла от звука к образу; не хотелось чувствовать цепи. Они перечеркивали его и жгли.

Приносили боль — и никакого болеутоления.

И ошибочно нарекали ее чем-то иным.

Он записал другие слова (не вполне даже узнав последние пять), и тут мускулы спины опять резануло серпом, живот заколотился о край стойки,

а внутри глазных шаров приключилась какая-то ужасная сияющая слепота.

Эти женщины, подумал он, эти мужчины, что прочтут меня через сотню лет, — они… но никакой предикат не закрепил фантазии. Он потряс головой и задохнулся. Ловя ртом воздух, попытался перечесть, что написал, и почувствовал, как рука поползла перечеркивать банальности, что высасывали всю энергию: «…рыть…». Вот тебе слово (глагол!), и он смотрел, как те, что стоят с флангов, вдруг забирают у слова остроту и оно теряет всю свою убийственную силу, становится дряблым и архаичным. Пиши; он шевельнул рукой (когда будешь переписывать, помни, постарался запомнить он, что эти закорючки — буквы «…тр…»), и нацарапал буквы, что приближались к звукам, которые грызли корень языка. «Оыннн…» — вот какой звук рвался из носа.

Однажды я… на сей раз принесло свет; и страх в парке, воспоминания обо всех страхах, что марали и марали, точно время, точно грязь, стирали и страницу, и ручку, и стойку. Сердце колотилось, из носа текло; нос он вытер, попытался перечитать. Это *что* за каракули, с которыми слово между «…причина…» и «…боль…» не поддается расшифровке?

Ручка выскользнула, покатилась по стойке и упала. Он услышал, но продолжал хлопать глазами над своими загогулинами. Взял тетрадь, на ощупь закрыл обложку, и пол, ударив по ногам, швырнул его вперед.

— Мистер Новик!..

Новик, стоявший возле кабинки, обернулся:

— …да? — Лицо у него стало странное.

— Слушайте, заберите. — Шкедт сунул ему тетрадь. — Заберите сразу.

Новик взял ее, когда Шкедт отпустил.

— Ну, хорошо…

— Заберите, — повторил Шкедт. — Я закончил… — Он заметил, с каким трудом дышит. — В смысле, мне кажется, я уже закончил… поэтому, — (Тэк на диванчике поднял голову), — вы заберите с собой. Сразу.

Новик кивнул:

— Хорошо. — После краткой паузы поджал губы: — Что ж, Пол. Рад был повидаться. Я и надеялся, что ты опять появишься. Заходи поскорее, пока я не уехал. Было очень приятно с тобой беседовать. Наши разговоры открыли мне глаза. Ты многое мне рассказал, многое показал — и в городе, и в стране. Беллона очень гостеприимна. — Он кивнул Тэку: — Рад был познакомиться. — Еще

разок глянул на Шкедта, а тот сообразил, что во взгляде этом была тревога, лишь когда Новик с тетрадью под мышкой уже уходил прочь.

Тэк ладонью похлопал по диванчику.

Шкедт сел; на полпути ноги подогнулись, и он упал.

— Ну-ка шкету еще один горячий бренди! — заорал Тэк так громко, что люди заоборачивались. В ответ на гримасу Фенстера Тэк лишь потряс гримасничающей башкой: — Он в норме. Тяжелый выдался день. Ты нормально, шкет?

Шкедт сглотнул, и ему в самом деле немного полегчало. Он отер лоб (влажный) и кивнул.

— Так я о чем? — продолжал Тэк, а блондинистые руки с чернильными леопардами поставили перед Шкедтом дымящийся стакан. — Я считаю, это вопрос о душе. — Он оглядел Фенстера поверх сведенных кулаков, возвращаясь к прерванному разговору. — По сути дела, душа у меня черная.

Фенстер отвел глаза от удаляющегося за дверь Новика:

– *Ась?*

— У меня черная душа, — повторил Тэк. — Черную душу знаешь?

— Да, черную душу я знаю. И хер там у тебя, а не черная душа.

Тэк покачал головой:

— Ты, видимо, не понимаешь…

— Тебе не светит черная душа, — сказал Фенстер. — Я черный. Ты белый. Черная душа тебе не светит. Я сказал.

Люфер опять потряс головой:

— Ведешь ты себя в основном вполне по-белому.

— Страшно, что я так хорошо вас изображаю? — Фенстер взял свое пиво, снова поставил на стол. — С чего вдруг белым мужикам так охота быть…

— Мне *неохота* быть черным.

— …*Откуда* у тебя взяться черной душе?

— Отчужденность. Вообще гейская тема, например.

— То есть рухнул в койку — и на́ тебе пропуск в целые области культуры и искусства, — парировал Фенстер. — А если ты черный, тебя автоматически от них отрезает — разве что очень ухищряться, чтоб просочиться в дверь. — Фенстер втянул воздух сквозь зубы. — Если ты педик, это *не* делает тебя черным!

Тэк сложил руки на столе, одну на другую:

— Ладно, пусть…

— Вы, — возвестил Фенстер отчасти капитули-

ровавшему Люферу, — триста лет черной души не желали. Что вдруг приключилось такое за последние пятнадцать — с чего вы взяли, будто ее теперь можно себе поиметь?

— Ёпта. — Тэк растопырил пальцы. — Вы у меня забираете, что в голову взбредет, — идеи, повадки, собственность и деньги. А я у вас, значит, ничего не бери?

— Ты *смеешь*, — сощурился Фенстер, — высказывать мне удивление, или негодование, или обиду (заметь, гнева я не упомянул), поскольку ровно это мы и наблюдаем. Вот потому у тебя и нет никакой черной души. — Он вскочил — красный воротник открыл темную ключицу — и погрозил Тэку пальцем: — Ты поживи так десять поколений, а потом приходи просить у меня черной души. — Палец с бледным ногтем на темной коже проткнул воздух. — Получишь черную душу, когда я *скажу*, что тебе ее можно! А теперь отвали! Мне отлить надо! — И он отошел от кабинки.

Шкедт сидел — кончики пальцев зудели, колени где-то очень далеко, разум до того нараспашку, что чудится, будто каждый тезис в этой перебранке обращен и / или имеет отношение к нему. Он сидел, пытаясь соединить их воедино, а смыслы

стекали со скрижалей памяти. Тэк, крякнув, развернулся к Шкедту и одним пальцем дернул вниз козырек кепки.

— У меня такое чувство, — и Тэк размашисто кивнул, — что в неустанной битве за белое господство я снова потерпел поражение. — И скривился. — Он, вообще-то, между прочим, хороший человек. Ты давай пей. Шкет, я за тебя волнуюсь. Ты как себя чувствуешь?

— Занятно, — ответил Шкедт. — Странно… пожалуй, ничего.

Он выпил. Дыхание не лезло дальше верхушек легких. А ниже текла какая-то темная слякоть.

— Самодовольный хам. — Тэк смотрел туда, где прежде сидел Фенстер. — Можно подумать, еврей. Но человек хороший.

— Ты с ним тоже общался в его первый день, — сказал Шкедт. — Засадил ему?

— А? — засмеялся Тэк. — Да ни в жизнь. Вряд ли он кому дает, кроме жены. Если у него есть жена. Да и если есть, поди знай. Куда ни направит стопы, небось, попирает павшие тела влюбленных пидоров. Ну, это познавательно, для всех. Слышь, ты точно колес не жрал, каких не стоило? Пораскинь-ка мозгами.

— Да нет, правда. Я уже в норме.

— Может, хочешь ко мне? Там потеплее, и я за тобой пригляжу.

— Не, я подожду Ланью.

Мысли у Шкедта, все еще хрупкие и путаные, грохотали, и до него лишь пятнадцать секунд спустя, когда за столик вернулся Фенстер, дошло, что Тэк не произнес больше ни слова, только любовался отражением свечного пламени в бренди.

Опустошение мочевого пузыря остудило Фенстера. Садясь, он вполне сдержанно сказал:

— Эй, ты же понимаешь, что я хотел…

Тэк прервал его взмахом пальца:

— Уел, друг. Уел. А теперь *ты* от меня отвали. Теперь *я* обдумываю.

— Ладно, — успокоился Фенстер. — Идет. — Он устроился поудобнее и оглядел выстроившуюся перед ним бутылочную батарею. — Когда столько выпил, только это и остается. — И принялся пальцем соскребывать этикетку.

Но Тэк не ответил ни словом.

— Шкедт?..

— Ланья!

2

Ветер разлился в кронах, разбудив ее, разбудив его под ее повернувшейся головой, ее шевельнувшейся рукой. Спросонок воспоминания цеплялись за него, как дурная трава, как слова: они гуляли, они болтали, они друг друга любили, они встали и еще погуляли — болтали на сей раз меньше, потому что к глазам его то и дело подступали слезы и истекали через ноздри, и веки влажнели, и нос хлюпал, но щеки были сухи. Они вернулись, легли, снова любили друг друга и потом уснули.

Продолжив какой-то разговор, чье начало забурилось в яркие воспоминания из недр, она сказала:

— Ты *правда* не помнишь, куда ходил и что было? — Она дала ему отдохнуть; а теперь давила снова. — Ты был в коммуне, а потом раз — и исчез. Ты вообще не знаешь, что было после того, как мы пришли в парк, и до того, как Тэк нашел тебя снаружи, — он говорит, минимум часа три прошло!

Он вспомнил, как говорил с ней, с Тэком в баре; в итоге просто слушал, как она и Тэк говорят друг

с другом. Сам он их не понимал.

Шкедт ответил, поскольку больше ничего в голову не пришло:

— Первый раз вижу здесь настоящий ветер. — Над лицом пролетели листья. — Первый раз.

Она вздохнула, поджав губы у него на горле.

Он потянул на плечи угол одеяла, заворчал, потому что угол не поддавался; приподнял плечо — поддался.

Ошеломленное око листвы раскрылось над ними, развернулось и ушло. Он растянул губы, сощурился на полосатый рассвет. Свинец, сумрак и жемчуг корчились над ветвями, морщились, мялись, но не рвались.

Она погладила его по плечу; он задрал лицо подле ее лица, открыл рот, закрыл, снова открыл.

— Что такое? Скажи, что случилось. Что? Скажи мне.

— У меня… Может, у меня едет крыша. И в этом все дело.

Но да, он отдохнул; все было не такое яркое, все было ясное.

— Не знаю. Но может, я…

Она потрясла головой — не возразила, а подивилась. Он сунул руку ей между ног, в совокупительно-липкие волосы, потер их в пальцах. Ее

бедра хотели было раскрыться, потом стиснуть его до неподвижности. Оба движения не удались, и она потерлась лицом о его волосы.

— Можешь со мной поговорить? Тэк прав — ты как будто чем-то *обдолбался*! Я понимаю, что тебе было страшно. Постарайся поговорить, а?

— Да-да, я… — Он хихикнул ей в кожу. — Трахаться я все равно могу.

— Не то слово, и я очень довольна. Но даже это как бы… иногда как будто вместо разговора.

— У меня в голове слова, знаешь, не выключаются.

— И какие там слова? Расскажи, что они говорят.

Он кивнул и сглотнул. Он уже пытался рассказать ей важное — про Ричардсов, про Новика. Произнес:

— Эта царапина…

— Что? — спросила она его затянувшееся молчание.

— Я что-то сказал?

— Ты сказал: «Эта царапина».

— Я не понял… — Он затряс головой. — Я не понял, вслух сказал или нет.

— Ты говори дальше, — ответила она. — Какая царапина?

— Джон — он порезал Милли ногу.

— А?

— Тэк принес орхидею, очень крутую, медную. Джон ее взял и просто так, для забавы, порезал Милли ногу. Это было… — Он перевел дух. — Ужасно. У нее и раньше там был порез. Джон, наверно, от такого торчит, не знаю. Это-то я могу понять. Но он порезал…

— Говори дальше.

— Ёпта, если говорить, выходит бред какой-то.

— Говори дальше.

— У тебя ноги — ни одного пореза. — Он выпустил из себя воздух; и почувствовал, как она хмурится ему в грудь. — А ей он порезал.

— Ты видел?

— Она стояла. А он сидел. И он вдруг потянулся и резанул ей по ноге. Может, и не очень сильно. И он это не первый раз. Может, не с ней. Как думаешь, он с кем-нибудь другим так?..

— Не знаю. Почему это тебя расстроило?

— Да… нет, ну, то есть. Я уже и так был расстроен. В смысле, потому что… — Он помотал головой. — Не знаю. Такое ощущение, словно было что-то страшно важное, а я забыл.

— Свое имя?

— Я даже не… знаю, в этом ли дело. Просто…

очень путает.

Она все гладила, пока он не придержал ее руку.

Она сказала:

— Я не знаю, что тут сделать. Я бы рада. С тобой что-то творится. Смотреть тяжело. Я не знаю, кто ты, а ты мне ужасно нравишься. От чего не легче. Ты больше не работаешь на Ричардсов; я надеялась, тебе станет хоть *немного* попроще. Может, лучше тебе уйти куда-нибудь; то есть вообще уйти…

В листве громко прошелся ветер. Но ее слова оборвало качание его головы. Ветер громко удалился.

— А что они… почему они там собрались? Ты зачем меня туда привела?

— А? Когда?

— Зачем ты меня туда сегодня водила?

— В коммуну?

— Понимаешь, у тебя была какая-то причина, только я не понимал. И это даже не важно. — Он гладил ее по щеке, пока она не поймала его большой палец губами. — Это не важно. — Размытая тревога укрепила его, и он принялся тыкаться ей в бедро.

— Слушай, я тебя туда повела, просто потому

что… — А громкий ветер и кувырки его мыслей все заглушили; когда он потряс головой и снова обрел слух, она гладила его по густым волосам и бормотала: — Шшшшшш… Полежи спокойно. Полежи, отдохни чуть-чуть… — Другой рукой она повыше подтянула колючее одеяло. Земля под плечом и локтем была жестка.

Он на них приподнялся; пока они немели, он рылся в памяти.

Развернулся рывком:

— Слушай, вот ты все стараешься помочь, но что ты… — И язык расщепило молчанием.

— Что я на самом деле чувствую? — спасла его она. — Не знаю… нет, знаю. — Вздохнула. — И получается довольно некрасиво. Может, тебе очень плохо, а раз мы знакомы недавно, мне надо сматываться. А потом я думаю: эй, у меня же все хорошо; если чуточку постараться, может, я чем-то помогу. Иногда мне кажется, что ты делаешь *мне* хорошо, — и вот это больнее всего. Потому что я смотрю на тебя и вижу, как тебе больно, а что делать, я не имею понятия.

— Он… — Он это выудил из затопленных руин. — Я… не знаю. — Лучше бы она спросила, какой такой «он», но она лишь вздохнула ему в плечо. Он сказал: — Я не хочу тебя пугать.

Она ответила:

— А по-моему, хочешь. Или трудно не заподозрить, что ты на мне отыгрываешься за то, что с тобой кто-то сделал. И это кошмар.

— Думаешь, я поэтому?

— Шкедт, вот ты уходишь работать или бродить — ты *что* помнишь, когда вспоминаешь меня?

Он пожал плечами:

— Много вот такого. Как мы обнимаемся и разговариваем.

— Ага, — и он услышал, как улыбка лепит ее голос, — это главное прекрасное. Но мы и другое делаем. Ты этого тоже не забывай. Жестоко тебя спрашивать, когда с тобой такое творится, да? Но ты столько всего не видишь. Ты ходишь по дырявому миру; и падаешь в дыры; и калечишься. Говорить так жестоко, но смотреть тяжело.

— Нет. — Он нахмурился в затяжную зарю. — Когда мы ходили к Новику, ты, ну… — и вспомнил испорченное платье, уже договаривая: — У Калкинза — тебе понравилось?

Она засмеялась.

— Не понравилось?

Смех стих.

Но он все равно плечом чувствовал ее улыбку.

— Было странно. Мне. Я иногда забываю, что

у меня есть и другие занятия, кроме… ну, вот этого.

— Ты один раз говорила про преподавателя рисования. Это я помню. И что ты пленки монтировала и преподавала. А живописью ты занимаешься?

— Занималась много лет назад, — парировала она. — В семнадцать лет получила стипендию в Студенческой лиге искусств в Нью-Йорке — пять лет назад, шесть. Больше никакой живописи. Не хочу.

— А почему перестала?

— Рассказать тебе историю? По сути, потому, что я очень ленивая. — Она дернула плечами в его объятиях. — Меня как-то отнесло прочь. Пока дрейфовала, поначалу переживала ужасно. Родителям моя жизнь в Нью-Йорке была поперек горла. Я только что бросила колледж Сары Лоренс — в очередной раз, — и они хотели, чтоб я жила дома. Но я еще с двумя девушками снимала убогую квартиру на Двадцать второй улице и ходила в Лигу. Родители считали, что я больная на голову, и очень были довольны, когда я захотела к психиатру, пожаловаться на «страх чистого холста». Они думали, если стану ходить к психиатру, всерьез дурить не буду. — Она гавкнула

односложным смешком. — Через некоторое время он мне велел завести проект. Мне полагалось заниматься три часа каждый день — писать что угодно, не важно что. И отмечать время в блокнотике за четвертак. А за каждую минуту в эти три часа, что я не работала, полагалось вшестеро дольше заниматься чем-то неприятным… посуду мыть, точно. Он решил, что у меня фобия, я боюсь живописи, а он был бихевиорист. Вышибал клин клином…

— Мыть посуду ты тоже боялась?

— Короче. — Она надулась на него в почти кромешной темноте. — Утром я вышла из кабинета, а днем приступила. Воодушевилась страшно. Думала, буду погружаться во всякие области подсознания… не в курсе, что это значит. Отстала только на третий день. И то всего на двадцать минут. Но не смогла себя заставить два часа мыть посуду.

— Сколько у тебя было посуды?

— Полагалось мыть чистую, если грязная закончится. Назавтра нормально. Только мне не понравилась картина. А на следующий день я, кажется, вообще не подходила к холсту. Да, точно, кто-то пришел, и мы поехали в Коттедж По.

— Бывала в доме Роберта Луиса Стивенсона в

Монтерее?

— Нет.

— Он там снимал комнату всего два месяца, и потом его выперли, потому что ему нечем было платить. А теперь это называется «Дом Стивенсона», и там музей сплошь про Стивенсона.

Она засмеялась.

– *Короче*, на следующий день был прием у врача. И надо было отчитаться, как идут дела. Ночью я стала смотреть картины — достала их, потому что думала наверстать время. И разглядела, до чего они плохи. И вдруг совершенно разъярилась. И все порвала — две большие, одну маленькую, дюжину этюдов. На много-много кусочков. И выкинула. А потом перемыла всю посуду в доме.

— Ёпта… — Он нахмурился поверх ее макушки.

— Кажется, после этого я еще что-то рисовала, но живопись тогда более или менее бросила. Зато кое-что поняла…

— Зря ты так, — перебил он. — Ужас какой.

— С тех пор прошло много лет, — сказала она. — Пожалуй, детский сад, да. Но я…

— Мне от этого страшно.

Она поглядела на него:

— Много лет. — Ее лицо посерело в сером рас-

свете. — С тех пор прошло. — Она отвернулась и продолжала: — Но я кое-что поняла. Про искусство. И психиатрию. И то и другое — системы на вечном ходу. Как религия. Все *три* сулят тебе ощущение собственной ценности, смысл и съедают кучу времени, уверяя, что все это достижимо только через страдания. И едва у тебя проблема — с искусством, с психиатрией, с религией, — решение всегда одно: глубже погрузиться в ту же систему. Все три заключили друг с другом шаткое перемирие, а на самом деле дерутся насмерть. Как все самодостаточные системы. В лучшем случае каждая тщится вобрать в себя две остальные и объявить их своими подвидами. Ну, знаешь: религия и искусство — формы безумия, а безумие — сфера психиатрии. Или: искусство — это изучение и восхваление человека и человеческих идеалов, следовательно, религиозное переживание — лишь огрубленный эстетический отклик, а психиатрия — лишь один из инструментов, с помощью которых художник наблюдает человека и точнее передает его портрет. Религиозный подход, надо думать, — что два других полезны лишь в той степени, в которой пропагандируют добро. В худшем случае они все стараются друг друга уничтожить. Что мой психиатр — уж не

знаю, насколько осознанно, но весьма успешно — и проделывал с моей живописью. Психиатрию я тоже бросила довольно скоро. Не хотела погрязнуть ни в каких системах вообще.

— А посуду мыть любишь?

— Мне очень, очень давно не приходилось. — Она опять дернула плечами. — Но сейчас, если надо, это меня, вообще-то, умиротворяет.

Он засмеялся:

— Меня, пожалуй, тоже. — И затем: — Но не надо было рвать картины. А вдруг бы ты передумала? Или, например, в них было что-то хорошее, ты бы позднее использовала…

— Было бы фигово, если б я хотела стать художницей. Но я не была художницей. И не хотела.

— Ты получила стипендию.

— Как и толпа других людей. В основном — с дрянными картинами. По закону вероятности моя, наверно, тоже была дрянная. Нет, это не было фигово, если заниматься живописью я не хотела вообще.

Но он все равно качал головой.

— Тебя это по правде расстраивает, да? Почему?

Он вздохнул и вытащил из-под нее руку.

— Ты… все мне как будто говорят… как будто

пытаются сказать еще сто пятьдесят разных вещей. Помимо того, что говорят прямо.

— Ой, кажется, я немножко да.

— Я тут такой наполовину псих, я пытаюсь стихи писать, а ты — внушить мне, что не надо верить в искусство и психиатрию.

— Ой, да *нет!* — Она сложила руки у него на груди, оперлась на них подбородком. — Я говорю, что вот я решила бросить. Но я не была псих. Просто ленивая. Надеюсь, разница есть. И я не была художницей. Звукорежиссер, учительница, губная гармонистка — но не художница. — (Он обхватил ее за шею и притиснул ее голову щекой к своей груди.) — Видимо, беда в том, — продолжала она глухо ему в подмышку, — что у нас есть внутри и снаружи. Проблемы и там и там, но не поймешь, где кончается одно и начинается другое. — Она помолчала, покрутила головой. — Мое синее платье…

— Напоминает о проблемах снаружи?

— И оно, и визит к Калкинзу. Я не против так жить, если изредка. Когда выпадал случай, я неплохо справлялась.

— Можем завести себе такой же дом. В этом городе найдется все, что хочешь. Допустим, не такой большой, но можно подыскать красивый;

и я раздобуду то и это, как все. У Тэка есть электропечь — ростбиф жарится за десять минут. Микроволнами. Можем добыть что угодно…

— Однако здесь, — она качала головой, — и начинаются проблемы внутри. Ну или то, что внутри, становится проблемой. Иногда мне кажется, что внутренних проблем у меня нет вообще. По-моему, я их себе надумываю, чтоб не скучно было. Я не боюсь половины того, чего боятся люди вокруг. Я много где бывала, много с кем знакома, развлекалась напропалую. Может, тут главное разобраться с внешними проблемами. И еще некрасивое: я смотрю на тебя, и порой мне кажется, будто я не имею права ни на какие проблемы, ни внутри, ни снаружи.

— А ты не хочешь что-нибудь *сделать*? Что-то изменить; что-то сохранить; что-то отыска… — Он осекся, потому что стало остро не по себе.

— Нет. — Она сказала это очень твердо.

— Может, это бы разрешило хотя бы какие-то внешние проблемы. Ну, знаешь — может, ты будешь счастливее, если найти другое платье.

— Нет, — повторила она. — Я хочу, чтобы со мной происходило дивное, и восхитительное, и чудесное, и стараться ради этого сама не хочу. Вообще. Ты, наверно, считаешь, что я поверх-

ностная… да нет, ты слишком умный. Но многие бы сочли.

Он опешил.

— Ты чудесный, глубокий, восхитительный человек, — сказал он, — и поэтому должна сию секунду стать знаменитой на весь мир.

— В свои двадцать три я довольно-таки знаменита, если учесть, что я ничего не сделала. Но ты прав.

— А чем ты знаменита?

— Не по правде знаменита. Но у меня куча знаменитых друзей. — Она снова перекатила голову на подбородок. — В газете писали, что Новика трижды номинировали на Нобелевку. Я знаю троих, кто ее получил.

— Чего?

— Двое — ученые, а Лестер Пирсон[23] — добрый друг моего дяди, приезжал на выходные в дядин летний дом в Новой Шотландии. Тот, который химик, очень милый — ему было всего двадцать девять, — в университете работал. Мы одно время были очень близки.

---

[23] Примечания: 23

Лестер Боулз Пирсон (1897–1972) — канадский ученый и государственный деятель, премьер-министр Канады (1963–1968); Нобелевскую премию мира получил в 1957 г. за то, что инициировал создание миротворческих сил ООН для мирного урегулирования Суэцкого кризиса.

— Ты ходила на свидания и все такое. Со всеми знаменитыми друзьями?

— Нет, это я ненавижу. Я никогда не хожу на свидания. А с этими людьми я знакомилась, говорила, мне нравилось, и поэтому я говорила с ними еще. Вот и все.

— Я не знаменитый. Если жить со мной в доме, как у Калкинза, ты будешь счастлива?

— Нет.

— Почему? Потому только, что я не знаменитый?

— Потому что не будешь счастлив *ты*. Будешь там как неприкаянный. Не в своей тарелке. — А потом он всем телом почувствовал, как напряглись ее мускулы, от бедра до плеча. — Это *неправда*! А я чудовище. — Она цыкнула. — Знаешь, я *до смерти* боялась идти с тобой к Роджеру. И не важно было, во что я одета: я боялась, ты поведешь себя кошмарно, либо заахаешь и заохаешь всё до смерти, либо умолкнешь и станешь такой большой бессловесной дырой посреди дня.

— Ты считаешь, я никогда не бывал в приличных домах?

— Но ты вел себя не так, — сказала она. — Я о чем говорю? Ты прекрасно себя вел, развлекался, и я уверена, что мистеру Новику понравилось.

Если кто и подпортил картину, так это я со своим дурацким платьем. А если я переживаю из-за таких вещей, я злая, мелкая и мелочная. — Она вздохнула. — Мне полагаются призовые очки за то, что так долго не признавалась? — Снова вздох. — Нет, пожалуй, нет.

Он моргал в бурное небо и пытался понять; логику он постигал, но что за эмоции ее питали — не разберешь.

После паузы Ланья сказала:

— Я росла в огроменных домах. Некоторые — почти как у Роджера. Один раз, когда я училась в пансионе, дядя разрешил на мой день рождения позвать гостей в летний дом. День рождения пришелся на длинные выходные, и мне разрешили позвать десять человек, с вечера четверга до середины воскресенья. В Школе Ирвинг — это школа для мальчиков, по соседству с нашей — был один парень, Макс его звали, и я считала, он фантастический. Из бедной… ну, небогатой семьи. Учился на стипендию. Умный, чуткий, мягкий… и роскошный — я в него была, наверно, влюблена! Мне бы вполне хватило зазвать его на выходные одного. Но пришлось планировать праздник; и я все спланировала для Макса. Позвала двух девчонок, которые обожали слушать разговоры умных

парней, — я тогда слушала не очень хорошо, а чесать языком Макс *умел*. Позвала совершенно отвратительного цветного мальчика — Макс говорил, что им восхищается, потому что мальчик был вторым в дискуссионной команде и никогда-никогда не лажал. Я обыскала четыре школы — подбирала самых чудесных и обаятельных людей, которые его развлекут, и дополнят, и составят правильный контраст. Из каждой группки — только по одному, чтобы, знаешь, они не корешились парочками, несъедобной такой клецкой в этой сборной солянке. Выходные получились ни к черту. Все прекрасно провели время и еще два года потом спрашивали, когда я планирую повторить. Все, кроме Макса. Полет на аэроплане, лошади, лодки, служанки, шоферы — для него все это было чересчур. Четыре дня только и твердил «спасибо» и «елки-палки». То и другое — раза по сорок четыре. Нет, понятно, мы тогда были очень юные. Еще бы пару лет — и он, наверно, стал бы социалистом каким-нибудь, против этого всего бы восстал. И нормально! Я позвала людей, которые умели спорить. Хоть как-то пообщались бы. Не знаю… может, я до сих пор еще юна. — Она резко перевернулась. — Я бы сейчас могла быть пожилой женщиной из французского романа

восемнадцатого века. — Перевернулась обратно. — Двадцать три! Ужас, да? А говорят, что у двадцатого века пунктик на молодости. — И она хихикнула ему в грудь.

— Хочешь теперь мою историю послушать?

– *Угум*. — Он почувствовал кивок.

— Про то, как мне было двадцать три. Твой ровесник.

— Излагай, дедуля. Это года через три после того, как ты из психбольницы выписался?

— Нет, это про приличные дома. — Он нахмурился. — Как-то летом я катался туда-сюда вдоль побережья Залива, головняком на креветочных траулерах.

— Что такое головняк?

— Это кто моет посуду и отрывает креветкам головы. Короче, меня только что уволили во Фрипорте, и я сидел ждал, когда меня подберет другое судно…

— А почему уволили?

— Меня укачало. Закрой рот. Короче, я сидел перед кафе — больше там заняться было особо нечем, — и тут в клубах пыли подкатывают такие два парня на черный «триумфах». Один орет: мол, знаешь, где дорожные чеки обналичить в этой дыре? А я там торчу три дня — ну и объяс-

няю ему, где банк. Он говорит: залезай, и я им показываю, куда ехать. Ну, разговорились; он на юриста учился в Коннектикуте. Я ему рассказал, как ходил в Колумбию. Он свой чек обналичил и спрашивает, не хочу ли я с ними, а это получше было предложение, чем комната за два бакса, которых нет, так что я говорю: ага. Толпа ребят жила там на острове, чуть поодаль от берега.

— Как в коммуне?

— Отец одного пацана рулил компанией-застройщиком. Компания куда-то переселила с острова рыбаков, построила мост на материк, канал вырыла и понатыкала целую кучу домов за сто пятьдесят, двести штук долларов — спереди газон, с одного боку бассейн, с другого гараж, а на задах, на канале, стоит лодка, чтоб в море ходить. Это все предназначалось для боссов «Доу кемикал» — они, можно сказать, единолично городом и владели. А покупателям надо ведь сначала посмотреть, поэтому дома обставили, холодильники набили стейками, шкафы бухлом, в ванных полотенца, все кровати застелены. Корпоративные шишки приезжают семьями на выходные и примеряют дом перед покупкой. В понедельник грузовик привозит горничных, плотников, сантехников и припасы взамен тех,

что съели, и все эти люди прибираются и чинят, что поломалось. На острове ни души, дверей никто не запирал. Отец этому пацану говорит: мол, раз ты поблизости, можешь там пожить. Ну и пацан и еще десятка два его друзей, от семнадцати до двадцати пяти, все туда въехали. Заселялись в дом, выпивали все бухло, съедали все продукты, громили мебель, били окна, драли, что под руку попадалось, и перебирались в следующий. В понедельник горничные, плотники и сантехники всё чинили. Я там прожил две недели. Выбирал комнату, запирался и в основном читал, пока они снаружи буянили. Временами выходил пожрать — вброд по пивным банкам в кухне, соскребал жир с какой-нибудь сковородки и жарил себе кусок мяса. Потом спускался к бассейну, например, если там не совсем трындец, и если в бассейне болталось не очень много мебели, или бутылок, или битого стекла вокруг особо не валялось, — тогда я плавал. Вскоре набегала вся орава, и я возвращался к себе. Прихожу — а у меня в койке трахается кто-то или кто-то облевал весь комод. Один раз нашел на полу девчушку — *весь* ковер в кокаине, а это *до черта* кокаина; она содрала шторы и вырезала из них бумажных кукол. Ну, я забрал книгу и заперся в другой комнате. Пару

дней прожил, и тут эти двое, которые меня привезли, вдруг куда-то намылились. Отдали мне ключи от «триумфов», сказали, мол, забирай, твои. А я и водить-то не умею. Один спереди весь помятый, а второй еще ничего. Дважды приезжала полиция. В первый раз ребята сказали, что им тут быть положено, ебитесь конем, — ну и полиция уехала. А на второй раз я решил, что пора валить. У меня нету богатой родни в Техасе — как настанут кранты, бежать будет не к кому. Одна девчонка там пообещала купить мне билет до Хьюстона, если я ее выебу и продержусь дольше пяти минут.

– *Да ладно…* — захихикала Ланья ему в шею.

— Купила мне билет на автобус, и пару джинсов, и *в придачу* новую рубаху.

Хихиканье расцвело смехом. Потом Ланья задрала голову:

— Это же вранье, да? — Ее улыбка с трудом пробивалась сквозь свет зари.

Спустя секунду он ответил:

— Ага. Вранье. То есть я правда ее трахнул, а она купила мне билет на автобус. Но она ничего такого не говорила. Просто так история складывается лучше.

— А. — И Ланья снова опустила голову.

— Но видишь, я в приличных домах понимаю. Как там себя вести. Заходишь и берешь что хочешь. Потом уходишь. Они все так делали. И я так сделал у Калкинза.

Она опять подняла голову, оперлась на подбородок.

Он посмотрел на нее поверх своего.

Она хмурилась:

— По-моему, это логика через жопу. Но если так ты в своей восхитительно наивной манере сходишь за вежливого и обаятельного, тогда, видимо… — Она снова опустила голову и вздохнула. — Хотя я не удивлюсь, если гость-другой с моего праздника в Новой Шотландии спустя несколько лет приехал в Техас на… твой.

Он опять покосился на нее и усмехнулся.

Туман возвел горы над деревьями, наплескал волны, что разбивались, и рушились, и не дотягивались до гор.

Его грудь повлажнела под ее щекой. Она повертела головой, пощекотав его волосами. Листик, нежданный, как сланец, ударил его по лбу, и он задрал голову к полуголым ветвям.

— Не стоит нам так. Мы грязные. Неудобно. Скоро похолодает, или дождь зарядит, или мало ли что. Сама же говоришь: коммуна — тоска зеленая.

Сидишь и смотришь, как они разбрасываются тем, что уж у них там есть, а потом подбираешь объедки. Найдем жилье…

— Как Ричардсы? — устало спросила она.

— Нет. Нет, не так.

— И что, ты хочешь устроить дом, как у Роджера?

— Необязательно такой шикарный, ну? Просто наш, понимаешь? Как у Тэка, например.

– *Мммм*, — ответила она. И снова уперлась в него подбородком. — Тебе надо опять лечь с Тэком.

— Чего? Почему это?

— Потому что он милый человек. И ему будет приятно.

Он потряс головой:

— Не, он не в моем вкусе. И вдобавок он перехватывает тех, кто только пришел. По-моему, ему интереснее первым снять сливки.

— А. — И голова снова легла.

— Ты пытаешься от меня избавиться, — спросил он, — так же как я, по-твоему, избавляюсь от тебя?

— Нет. — После паузы она спросила: — А тебя парит, что ты и с мужчинами, и с женщинами?

— Лет в пятнадцать-шестнадцать до ручки

доводило. Сильно парился, да. Но к двадцати заметил, что, сколько ни парюсь, от этого мало зависит, с кем я ложусь в койку. Поэтому париться я бросил. Так занятнее.

— А, — сказала она. — Несерьезно. Но логично.

— А почему ты спросила? — И он переложил ее себе под бок.

— Не знаю. — Она потянулась, коснулась его бедра. Провела рукой по его бедру. — В пансионе я несколько раз баловалась. Ну, с девочками. Иногда, знаешь, думала: может, я странная, что не делаю так чаще. Но девчонки меня никогда не возбуждали сексуально.

— Много теряешь, — сказал он и за плечо притянул ее к себе.

Она повернулась, на вкус попробовала его шею, подбородок, нижнюю губу.

— То, что ты рассказывал… — произнесла она между выпадами языка, — сегодня у Ричардсов… кошмар, наверно… да?

— Я туда больше не пойду. — Он ее куснул. — Никогда. Я туда больше никогда не пойду.

— Это хорошо…

А затем по крошечной ряби ее тела он распознал, что ей в голову пришла новая мысль.

— Что?

— Ничего.

— Что такое?

— Ничего такого. Я сейчас вспомнила: ты говорил, что тебе двадцать семь лет.

— Ну да.

— Но еще я помню, ты как-то раз мимоходом сказал, что родился в сорок восьмом.

— Так?

— Ну, этого быть не может. Ты тогда моложе, чем… Эй, что с тобой? Ты весь в мурашках.

А в закаменевшему паху — листовая боль. Он толкнулся в нее. Он раскачивался, и застрявший под ними край одеяла тер ему плечо, пока она не выдернула, и у нее получился звук, и она обхватила его за шею. Он приподнял бедра, нащупывая путь. Она спустила руки по его спине, толкнула его вниз, сунула язык ему под язык. Он любил ее, жадно, отчаянно заглатывая воздух. Она глотала часто и по чуть-чуть. Ветер прибрел назад и остудил его взмокшие плечи.

После мучительной разрядки он, бурля, расслабился.

Как завидую я знакомым, что боятся засыпать, боясь снов. Я страшусь этих предсонных мгновений, когда слова вырываются из матрицы нервов и, точно искры, разжигают какие угодно

реакции. Это дробленое видение, что соблазняет восторгом и ужасом, лишает отдохновения отдых. Благодарно погружаешься в кошмар, где растревоженный мозг хотя бы не сознает своего распада и подбивает костяки откровений если не логикой, то плотью визуальной и акустической связности: лучше эти пейзажи, где ужас похож на ужас, а ярость — на ярость, чем такое, где то и другое — лишь боль в кишках или тик над глазом, где нервный спазм в щиколотке крошит целый город костей, где от вздрога в веке взрываются солнце и сердце.

— Ты на что смотришь? — спросила Ланья.

— Чего? Ни на что. Просто думал.

Ее рука шевельнулась у него на груди.

— Про что?

— Про сон… и, видимо, поэзию. И как быть психом.

Она тихим мыком дала понять: «говори дальше».

— Не знаю. Вспоминал. Детство, всякое.

— Это хорошо. — Она снова шевельнула рукой, снова мыкнула. — Дальше…

Но ему без страха и муки дальше было некуда.

* * *

Он очнулся от сна среди огней и горелой вони.

Над ним мигнул и погас сияющий паук: рыжий отнял (и в этот миг Шкедт узнал его) руку от свисавшей до живота цепи. В другой руке он на сей раз держал планку от ящика из-под апельсинов.

Радужный жук исчез с внезапного черного лица (тоже знакомого) над виниловым жилетом, блестящим, как бывшие надкрылья.

Схлопнулись изогнутые скорпионьи хелицеры.

— Эй, — сказал Кошмар, — по-моему, очухиваются.

Шкедт обнимал Ланью. Она лицом потерлась о его шею; и снова, резче, уже медленнее, придя в сознание.

В сером утре кольцом стояли две дюжины скорпионов (в основном черные).

Между одним костлявым бурым плечом и другим, мясистым и черным, Шкедт разглядел Денни.

Тут рыжий замахнулся своей планкой.

Ланья закричала — он плечом почувствовал ее рывок. И она поймала конец планки.

Встала на колени, не отпуская доску. Глаза рас-

пахнулись; щека западала все глубже.

Шкедт приподнялся на локтях.

Рыжий туда-сюда заелозил своим концом планки.

— Саламандр, кончай эту херню. — Кошмар постучал по планке костяшками.

— Это чтоб они точняк проснулись, — ответил рыжий. — Я больше ничего и не хотел. И все. — И потянул планку.

Ланья разжала руки.

Кошмар медленно опустился перед ней на корточки, свесив запястья с драных коленей, — тяжелые кисти болтались, уравновешенные культуристскими предплечьями.

— Чувак, — сказала Ланья, — если ты хотел напугать нас до усрачки, поздравляю, ты почти преуспел.

Шкедт что-то не испугался.

Ланья, сев на пятки, правой рукой обхватила левую, повозила большим пальцем по желваку локтя.

Шкедт спихнул одеяло и сел, скрестив ноги.

В центре закованного в цепи круга, рассудил он, лучше голым, чем полуголым.

— Делать мне больше нечего, дамочка. Я только поговорить.

Она вздохнула, подождала.

— Как у него делишки? — Кошмар кивнул на Шкедта.

— Что?

— Хорошо тебе с ним?

— Говори что хотел, — ответила она и коснулась Шкедтова колена. Испугалась: пальцы ледяные.

Лоб Кошмара, сплошь крупные поры и тяжелые складки, пошел складками еще гуще.

— А другой-то. Избавилась от него, а? Это хорошо, — кивнул он.

— Фил?..

— Мне он был не по кайфу, этот… Фил? Так его звали? — Улыбка не столько изогнула губы Кошмара, сколько сдвинула вбок. — Тебе, видать, тоже. Теперь можно выдохнуть. Так как? Я ж тебя уже спрашивал. — Он вдруг нырнул головой и с толстой шеи, роняя на плечи полузаплетенные волосы, снял цепь.

Не оптическую.

Подавшись к Ланье, Кошмар надел цепь на нее. Кулаки его болтались на цепи, как гири маятника. Полудюймовые звенья сморщили Ланье груди вокруг сосков. Один кулак пошел вверх, другой вниз.

— Чувак, *эй*… — сказал Шкедт.

Наблюдая за ним, Саламандр хлопнул планкой по руке.

Шкедт поднял голову: веснушчато-леопардовый, бородатый и рыжий негр был выше, худее Кошмара и, невзирая на Кошмаровы гантельные мускулы, на вид сильнее.

Кулаки остановились — один у Ланьи на животе, другой на груди; Кошмар за ней наблюдал.

Ланья наблюдала за ним, сжимая челюсти. Отняла руку от Шкедтова колена, обоими кулаками взялась за цепь у шеи и съехала ими вниз, левым столкнув верхний Кошмаров.

— Снимай, — сказала она. — Я тебе уже один раз сказала — я не хочу.

Худая темнокожая женщина в круге — голые груди расталкивают полы жилета и цепи — переступила с ноги на ногу. Кто-то кашлянул.

— А этот? — спросил Кошмар и не взглянул на Шкедта. — Что будешь делать, когда мы его заберем? Он идет с нами, дамочка.

— Народ, вы вообще?.. — Шкедт осекся. Гнев, упоение и какое-то третье чувство, которому он не подобрал названия, сплелись и зазмеились из основания черепа в живот и ниже.

— Снимай, — повторила Ланья. — Не хочу.

— Почему?

— Хочу остаться при своем. Что редкость. — И как-то странно хохотнула. — Да и модельер у вас поганый.

Кошмар фыркнул. Кое-кто в кругу тоже засмеялся.

— А у тебя-то? — спросил кто-то еще.

Но цепь Кошмар снял. От звеньев отпали пряди ее волос.

Скорпион развернулся, носками сапог подрав траву.

— На. — Цепь надели на шею Шкедту. Глаза у Кошмара были очерчены коралловым. Жилет на зарубцевавшемся плече, видимо, разошелся — теперь зашнурован сыромятной кожей.

Кошмар потянул за цепь.

Холодные звенья скользнули по правому соску. Кулак Кошмара, теплый и шершавый, остановился против левой груди.

— Ага? — Кошмар прищурился. С фокусировкой взгляда у него что-то не то, невпопад сообразил Шкедт.

— И что мне с этим делать? — спросил он. — Это что хоть значит?

— Да ничего не значит. — Кошмар разжал руки. — Можешь взять и в озере Холстайн утопить, если угодно. — Он откачнулся назад и встал. — Я

б на твоем месте приберег.

Круг распался.

С Кошмаром во главе — тот качал широченными плечами, взмахивал крупными руками — скорпионы удалялись гуськом. Кое-кто оборачивался. Отойдя на десять футов, девчонка — то ли черная, то ли белая, не поймешь — и высокий черный пацан громко заржали. А потом, будто враз надутая — глаз не уловил, — в сером свете воссияла прозрачная игуана. Затем павлин. Затем паук. Скорпионы скрылись за деревьями.

— Это что, — спросил Шкедт, — за хуйня сейчас случилась? — Он пощупал шею, где теперь висели три цепи: оптическая, проектор и эта новая, самая тяжелая.

— Кошмар иногда забирает себе в голову, что ему нужны конкретные люди…

Расслышав тембр ее голоса, он обернулся.

— …залучить конкретных людей к себе в гнездо. — Порывшись в одеяле, она извлекла гармошку, отложила и снова порылась.

— А раньше хотел тебя? А Фил при чем?

— Я же рассказывала, Фил был мой парень, до того как мы с тобой познакомились.

— Какой он был?

— Черный, довольно умный; довольно милый,

довольно цивильный. Приехал сюда посмотреть что и как, вроде тебя вот… — На последних словах голос зазвучал глухо. Шкедт снова обернулся: Ланья выныривала из ворота и одергивала рубашку поверх тряских грудей. — Во всю эту шляпу у Калкинза особо не въезжал. И у Кошмара тоже.

Край одеяла шатром вздыбила орхидея. Потянувшись за ней, Шкедт разглядел почти акр обугленной травы поперек луга. По краям вился дым. Этого раньше не было. Шкедт нахмурился. Не было, точно.

— В коммуне он всем, пожалуй, нравился. Но от таких людей довольно быстро устаешь. — (Шкедт услышал, как вжикнула молния у нее на джинсах.) — Кошмар забавный. Мило, пожалуй, что спросил, но я не сливаюсь в экстазе. Ни с кем.

Шкедт сунул руку в сбрую орхидеи, защелкнул браслет. Горелым несло очень сильно. Он распрямил погрызенные и раздутые костяшки, пошевелил пальцами, короткими и в шрамах…

…щекочет ему плечо.

Он подпрыгнул, развернулся, пригнулся.

Листик скатился по плечу, просквозил по коленке, закружился, опустился на землю. Задыхаясь, с колотящимся сердцем Шкедт поглядел вверх на косой ствол, на гигантский сук у культи

какой-то толстой крупной ветки, на голые ветви и ветви, увешанные драным беж, на перекрестья прутиков — точно небо склеили из осколков.

Вся кожа исторгла влагу, и стало холодно.

— Ланья?..

Он оглядел поляну, снова перевел взгляд на одеяло. Она бы не успела надеть кроссовки!

Но ее кроссовки исчезли.

Он обошел дерево кругом, хмурясь, глядя на обугленную траву и другие деревья, посматривая на это.

С орхидеей и в цепях он вдруг острее ощутил свою наготу, чем по пробуждении с Ланьей в кольце скорпионов.

Вернулась в коммуну, подумал он. Но зачем так сбегать? Он постарался припомнить странность в ее голосе. Гнев? Но это глупо. Он коснулся цепи, которую повесил ему на шею Кошмар. Это глупо.

Но стоял он очень долго.

Затем — и все тело его двигалось теперь в ином ритме — сделал шаг к дереву, и еще шаг; и третий шаг, и ребром стопы вжался в корень. Подался вперед, приник к коре коленом, и бедром, и животом, и грудью, и щекой. Закрыл глаза и закованной рукой потянулся высоко-высоко и вдавил пальцы в ствол. Глубоко вдохнул древес-

ный запах и всем телом толкнулся в плавный изгиб. Кора царапала перемычку между пенисом и мошонкой, царапала косточку на щиколотке, низ подбородка.

Из уголков глаз текла вода. Он слегка приоткрыл веки и тотчас зажмурил — все искажалось.

Вооруженной рукой — пульсирующим послеобразом фотовспышки пришел и ушел порыв вогнать орхидею до флоэмы — он нежно провел ножами по коре. Вертя рукой так и эдак, слушая случайные шепоты, снова и снова он гладил дерево.

Затем оттолкнулся — кора цеплялась за волосы на груди, за волосы на лобке. Лодыжку щипало. И скулу тоже. Он провел ладонью по лицу, нащупывая крапчатый оттиск; увидел его на внутренней стороне плеча — отпечаток прерывался на петлях цепи и продолжался за ними.

Он вернулся к одеялу и из складок выудил жилет. Чувства его необъяснимо застыли между замешательством и величайшим облегчением. Непривычны оба, и наложение его сконфузило. По-прежнему гадая, куда она подевалась, он натянул штаны, затем сел застегнуть (гадая, чего бы не плюнуть уже наконец) свою единственную сандалию.

Порылся в одеяле. Заглянул под складки, поднял одеяло и посмотрел внизу, нахмурился и в итоге обыскал всю поляну.

Проведя так бесплодные пятнадцать минут, он сдался и зашагал вниз по склону. Лишь у двери сортира в парке (прежде она была заперта, но кто-то взломал, и щеколда так и болталась на одном шурупе) он вспомнил, что накануне вечером уже отдал тетрадь Новику.

3

Трубы заголосили, застучали.

Струйка плюнула на фаянс, стеклянным червем поползла по ромбам света из окна, высоко вмурованного в бетон. Он отложил орхидею в соседнюю раковину и стал энергично тереть кисти, и запястья, и предплечья, потом наклонился попить. Помылся еще, пока не отогрелся мочевой пузырь.

Отлил в сток на полу. Хлипкая решетка дребезжала под его струей.

Намочил кулаки и побуравил ими под мышками. Снова и снова отирал шею. Набрал воды в горсть, плеснул в лицо, набрал еще. Весь сбрызнут крошками коры, от шеи до плеч. Он смахивал их, тер их, смывал. (Штаны и жилет валялись поперек другой раковины.) Задрал ногу в раковину. Между связками потекла вода. Он потер; фаянс исполосовали чернота и серость. Старательно, с покалыванием в пальцах, он смыл всю грязь, кроме той, что навеки впитали мозоли. Намочил и растер ноги до бедер, потом взялся за другую ступню. Мокрыми руками помял гениталии, и от холодной воды они съежились.

Один раз струйка иссякла.

Спустя минуту трубы заголосили опять. Снова потекла струйка, чуть посильнее.

Вода собиралась в волосах под яйцами, сочилась по ногам. Он руками огладил голову. Волосы сальные. Ребром ладони он с плеч, ног и боков соскреб воды сколько мог. Слякотная лужа на полу дотянулась до стока: плюм-плюм, плюм-плюм, плюм-плюм.

Где-то в кабинках кто-то закашлялся.

Мучительные омовения растворили все вербальные мысли. Однако мозг был перенасыщен мыслительным материалом. Кашель — он повторился, за ним последовала прочистка горла — вылепил мысль.

Человек старый и больной?

Левой штаниной Шкедт промокнул досуха пах, живот и спину. Оделся, прицепил на пояс орхидею, даже вышел наружу и походил, высушивая ноги. Надел сандалию, зашел обратно — заметил, как насвинячил, — и обогнул стенку, огораживающую унитазы.

Парень был не стар, но на вид явно болен.

Завернутые внутрь ковбойские сапоги лежали на боку. Одна отставшая подошва обнажала пальцы — заскорузлые, как у Шкедта до помывки.

Сидит на унитазе, головой привалился к пустому держателю для бумаги, на лицо свесились слипшиеся волосы, голые ребра и сморщенный живот обмотаны цепями — в том числе со сферическим проектором светощита.

— Ты тут как? — спросил Шкедт. — Ты, по-моему…

– *Ыннн…* — Белый скорпион шевельнул головой и, хотя обеими ногами уперся в пол, закачался, как пьяный велосипедист на канате. — Не. Не, я не болею… — Из трясущегося хайра вылез длинный нос. Рядом лиловым веком захлопал покрасневший глаз. — Ты… ты кто?

— А ты кто? — парировал Шкедт.

— Перец. Я Перец. Я не болею. — Он снова прислонился головой к держателю. — Мне просто паршиво что-то.

Шкедта булавочно кольнула печаль; кроме того, подмывало засмеяться.

— Что с тобой?

Перец резко отбросил волосы с глаз и почти перестал трястись.

— Ты с кем ходишь?

Шкедт нахмурился.

— Ты же скорпион? — Перец взмахнул рукой; ногти — графитовые шипы. — Ты с Леди Дракон

ходишь, небось.

— Я не хожу, — сказал Шкедт. — Ни с кем.

Перец сощурился:

— Я раньше у Кошмара в гнезде был. — Прищур стал любопытным. — А ты теперь с Леди Дракон? Как, говоришь, тебя зовут?

Поддавшись нелепому порыву, Шкедт сунул большой палец в карман, избочился.

— Кое-кто называет меня Шкетом.

Голова Перца перекатилась на другое плечо. Он засмеялся:

— Эй, я про тебя слыхал. — Десны у него были подернуты гнилью и серебром. — Ага, Кошмар — он что-то говорил про Шкета. С Леди Дракон, когда заходила. Я слыхал. Точно. — Смех оборвался; Перец привалился затылком к стене и застонал. — Мне что-то совсем паршиво.

— И что ты слыхал? — Посреди удивления Шкет (так решил Шкедт) отметил, до чего этот город мал.

Перец поднял только взгляд:

— Кошмар, — и опустил. — Сказал ей, что ты в городе, что он считает, ты… — Перец закашлялся; слабо, но все равно раздирая себе нутро. Руки ладонями вверх тряслись на бедрах, тряслись от кашля. — Пока она не ушла.

В чем не обнаруживались бездны смысла, поэтому Шкет спросил:

— Ты всю ночь тут?

Кхе-кхе.

— Ну, я ж не буду шляться по темноте *там*! — Перцовой руке хватило сил указать на дверь.

— Можно в кусты спрятаться, чтоб никто не нашел. Снаружи довольно тепло и поудобнее, чем на толчке дрыхнуть. Найди себе одеяло на ночь…

— Да там же *бродит* всякое. — Шкету показалось, что лицо Перца перекосило от боли. Но нет, тот просто сощурился. — Ты так и живешь, а? Ты, небось, храбрый. Кошмар правду ей сказал.

Тоже смысла не вагон.

— А почему ты не с Кошмаром? Я утром видел всю его банду. Леди Дракон с ним не было.

— Не, — сказал Перец. — Не, оно и понятно. Посрались они. Ох, господи, закатили, называется, вечерину в саду! — На сей раз вместо боли было воспоминание.

— А что они не поделили? — спросил Шкет.

Перец клюнул носом, слипшиеся волосы закачались.

— Видал у Кошмара на плече шрамы? Шрамы видел у него? — Перец попытался кивнуть. — Не,

сейчас-то, небось, поулеглось уже, они почти даже дружат. Но у нее опять свое гнездо — я слыхал, где-то на Джексон. И корешиться они теперь особо не будут, я так думаю. — Голова откинулась, и он повторил: — Что-то мне паршиво.

— Что с тобой такое?

— Не знаю. Может, съел чего. Или простуда, может.

— У тебя живот болит или в голове все заложено?

— Я ж говорю, не знаю я, что со мной.

— А *что* болит?

Перец отбросил волосы с лица и выпрямился:

— Как я тебе скажу, что болит, если не понимаю, что не так?

— А как понять, что не так, если не сказать, что…

Перец рывком поднялся.

Шкет подставил руки — ловить.

Но Перец не упал. Потер лицо кулаком, шмыгнул носом и сказал:

— Я у Зайки жил, но она меня, кажись, вытурила. Надо, наверно, сходить к ней, уточнить, да? — Он отнял руку от стены кабинки. — Мне, кажись, получше. Знаешь Зайку?

— Не уверен.

— Танцует в этом кабаке чокнутом, «У Тедди».

— Парнишка такой, серебристые волосы?

— Она клевая. Психованная. Но клевая. — Перец качнулся вперед. — Мне б водички, ексель.

— Пошли к раковине.

Перец нестойко шагнул мимо, проковылял вокруг перегородки.

Шкет пошел следом.

Перец открутил один кран и отдернул руку, едва трубы завели свои жалобы.

— …ничего не течет, — отметил он.

— Погоди секунду.

Струйка текла с полминуты; в конце концов Перец скривился:

— Ексель, тут и пить-то нечего. — Развернулся и заковылял в двери. — Мне б, сука, воды.

Шкет, досадуя и забавляясь, закрутил кран и тоже вышел. Перец взбирался на склон.

Шкет посмотрел, как Перец одолел несколько шагов, и повернул к коммуне.

— Эй!

Шкет обернулся:

— Что?

— Ты со мной не пойдешь?

Забавное съежилось до чуточного.

— Нет.

Но и это чуточное побудило его подождать ответа.

— Эй, тогда это. — Перец повернул назад — теперь он не столько ковылял, сколько кривоного рысил. — Может, я тогда с тобой, а?

Шкет зашагал прочь: ответа он хотел *не такого*.

Перец его догнал.

— Слышь, пойдем, куда ты идешь, а потом пойдем, куда я, а? Так честно.

— Вон там питьевой фонтанчик.

— Не-не, слышь. Ты ж торопишься. Не хочу тебя тормозить.

Шкет вздохнул, принял решение и взревел:

— А НУ ПОШЕЛ НАХУЙ!

Перец застыл и заморгал.

Шкет перевел дух и пошел дальше, тряся головой. Не люблю орать на людей, подумал он. А затем с улыбкой: неправда, мне просто редко выпадает случай.

Он вошел под деревья, обступавшие поляну.

Шлакоблоки ближайшей стенки очага опрокинуты. В воздух сочится дым. Трава посерела от пепла.

Ни души.

В десяти футах от стола валялся драный спаль-

ник, которым никто не пользовался, потому что как-то раз в нем кто-то болел и испачкал его блевотой и поносом.

Недоумевая, Шкет меж оберток и консервных банок пошел к очагу. (На скамье у стола кто-то перевернул коробку с мусором.) Сандалией разворошил золу. Полдюжины углей вспыхнули красными пятнышками — запульсировали, подрожали и погасли.

— Ланья?

Он обернулся, подождал ее ответа, в этом кольце туманной поляны опасаясь любого шума. Даже в зените проектного периода у очага обычно околачивалось с полдюжины человек. Под скамьей лежал драный плед — но он там лежал всю неделю. Спальники и скатки, прежде громоздившиеся под деревьями и за поленницей, все куда-то исчезли.

— Ланья!

Решили переехать? Но она бы знала и сказала ему. Не считая поваленных шлакоблоков очага — ни малейшего признака заварухи; только мусор и сумбур. Он с Ланьей приходил сюда поесть… сколько раз? Вел себя тихо, был взвешенно вежлив. Он минутку пофантазировал: флегматичность и отрешенность его были так

невыносимы, что все, при поддержке Ланьи, сговорились его покинуть, нежданно и немо. Он бы пофантазировал дольше минутки, если б от этой мысли не захотелось смеяться; и все равно хмуриться было как-то уместнее.

— Ланья?

И он всмотрелся меж деревьев.

Сообразив, что ее засекли, фигура в кустах — а это был Перец — нерешительно вылезла.

— Ты тут ищешь кого-то, эй? — Перец вытянул шею, поглядел влево, затем вправо. — Они, по-моему, все свалили, знаешь.

Шкет досадливо втянул воздух сквозь зубы и снова осмотрел поляну, а Перец между тем прикидывал дистанцию.

— Интересно, чего это они свалили, да? — Перец шагнул ближе.

Его присутствие раздражало, но раздражение растворялось в тревоге из-за отсутствия Ланьи. Шкет не так уж долго мылся. Она ведь подождала бы?..

— Как думаешь, куда они свалили? — Перец сделал еще шаг.

— Ну, если ты не в курсе, *от тебя* мне проку нет.

Смех у Перца вышел хриплый, тихий и нетвер-

дый, как и его кашель.

— Пошли со мной к Зайке? Она живет прямо за баром. Раз тут нет твоей подруги. Пожрем. Зайка не против, если я привожу друзей. Говорит, они ей нравятся, если ведут себя хорошо. Видал, как Зайка танцует?

— Пару раз. — Может, она в бар пошла, подумал Шкет.

— А я ни разу. Но она вроде умеет, да? Там всякие чудики тусуются. Я боюсь заходить.

— Ладно. — Шкет снова огляделся: ее нет. — Двинули.

— Идешь? Отлично! — Дюжину шагов Перец прошел следом. Потом сказал: — Эй.

— Что?

— Тут короче.

Шкет остановился:

— Ты сказал, Зайка живет прямо за баром Тедди?

– *Угу*, — кивнул Перец. — Это вот сюда.

— Ладно. Как скажешь.

— Тут сильно короче, — сказал Перец. — Гораздо. Правда. — И, по-прежнему на негнущихся ногах, направился под деревья.

Шкет в сомнениях пошел за ним.

И удивился, как быстро они добрались до парко-

вой ограды: прямо за лесистым холмом. Видимо, тропа к львиным воротам петляла сильнее, чем он думал.

Сипя и гримасничая, Перец вскарабкался на каменную ограду.

— Кстати, — пропыхтел он с той стороны, когда Шкет присел, готовясь прыгнуть, — Зайка — это мужик, вообще-то. Ага? Но ей нравится, когда ее называют «она».

Шкет скакнул, придержавшись за ограду одной рукой.

— Да-да, это я все понимаю.

Шкет приземлился на мостовую, и Перец попятился.

— Кстати, — повторил он, когда Шкет пружинисто выпрямился, — ты прямо как Кошмар.

— То есть?

— Он много орет. Но не всерьез.

— Я больше не буду на тебя орать, — сказал Шкет. — Могу башку проломить. Но орать не буду.

Перец ухмыльнулся:

— Нам сюда.

Они пересекли пустую улицу.

— Встречаешь нового человека, идешь с ним, — вслух задумался Шкет, — и вдруг перед тобой

совершенно новый город. — Это задумывалось как мелкий и околичный комплимент.

Перец только с любопытством на него покосился.

— Бродишь по новым улицам, видишь дома, каких прежде не видел, проходишь места, про какие даже не знал. Все меняется.

— Сюда. — Перец нырнул в проем между домами — меньше двух футов.

Они бочком пробрались между лупящимися досками. Земля поблескивала битыми окнами.

Перец сказал:

— Иногда все меняется, даже если идешь той же дорогой.

Шкет припомнил разговоры с Тэком, но Перца решил не расспрашивать — тому, похоже, абстракции не очень-то давались. В проулке Шкет остановился и смахнул стекло с босой ступни.

— Не порезался? — спросил Перец.

— Мозоль каменная.

Они прошли между раззявленных гаражей. Заднюю стену протаранила синяя машина — «олдсмобиль» 75-го? — треснувшие доски и просевшие балки, брызги стекла, следы покрышек поперек дорожки. Автомобиль вогнан в ломаную древесину до болтающейся дверцы. Кто, гадал

Шкет, пострадал в аварии, кто пострадал в доме? С подоконника разбитого окна свешивалась голубая телефонная трубка — швырнули в страхе или гневе? Случайно уронили или разбили нарочно?

– *Во*. — Перец подбородком указал на открытую дверь.

Шагая темным коридором, Шкет учуял дуновение некой подгнившей органики, которая вот-вот приведет на ум… когда он вспомнил что, они уже вышли на крыльцо.

Некто в зеленом комбинезоне и оранжевых рабочих сапогах, на высокой стремянке под фонарем на углу — женщина, которую он видел в первую ночь в баре, — отвинчивала уличную вывеску.

Металл скрежетал по металлу; «ХЕЙЗ-СТ» вылезла из рамки. С верхней ступеньки женщина взяла «АВЕ КЬЮ», вставила в рамку и принялась закручивать шурупы.

— Эй? — Это было забавно и любопытно. — А какая из них правильная?

Женщина насупилась через плечо:

— Ни та и ни эта, насколько я знаю, милок.

Но Перец шел через дорогу к знакомой двери без вывески. Шкет зашагал следом, оглядывая улицу, отчужденную в дымчатом свете дня.

— Я, по-моему, в такой час здесь ни разу не бывал.

Перец только что-то буркнул.

Дверь была через две от входа в бар.

На вершине лестницы Перец заслонил щели света и постучал тылом ладони.

— Хорошо, хорошо. Секундочку, дорогуша. Не конец же света, — (дверь распахнулась внутрь), — пока еще. — Белый шелковый шарфик на тонкой Зайкиной шейке был прихвачен серебряным кольцом для салфеток. — Если конец света, в такую рань я слышать об этом не хочу. А, это ты.

— Привет! — Голос Перца старательно излучал бодрость и энтузиазм. — Это мой друг Шкет.

Зайка отступила в квартиру.

Когда Шкет перешагнул порог, она наставила на Перца костистый наманикюренный палец.

— Это все потому, что у него зубы.

Перец выдал пятнистую и щелястую улыбку.

— Синантроп — знаешь синантропа? Синантроп *умер* от дырки в зубе. — Зайка отбросила с лица обесцвеченные шелковистые волосы. — Как увижу парнишку с плохими зубами, мне его сразу так жалко делается, что я… короче, я не виновата. Перец, радость моя, *где* тебя носило?

— Господи, пить охота, — ответствовал Пе-

рец. — У тебя есть попить? Во всем этом, сука, парке воды, сука, не найти.

— На буфете, милый. Никуда не переехало.

Из бутыли с замысловатой этикеткой Перец налил вина в чашку без ручки, затем в стеклянную банку.

— А *ты* имеешь представление, где он был? Я понимаю, *он* мне не скажет. — Зайка увернулась, когда Перец протянул банку Шкету.

— Тебе в стекле, потому что ты гость.

— Мне бы тоже мог налить, солнце мое. Но ты славишься тем, что о таких вещах не думаешь.

— Господи боже, Заинька, я думал, у тебя уже есть. Правда. — Но наливать ей Перец не стал.

Зайка задрала досадливые бровки и пошла за чашкой.

Перец взмахнул своей:

— Не говори ей, где я был. Я знаю, а она пусть гадает. — Он вылакал вино и пошел за добавкой. — Ты давай, садись. Присаживайся. Зайка, ты меня вчера отсюда вытурила?

— Ты, пупсик, так себя вел — тебя надо было вытурить. — Зайка вернулась, держа чашку на кончиках пальцев, поднырнула Перцу под локоть. — Но мне шанса не выпало. Бывают такие тупицы особого розлива, не замечал?

Бес-*чувст*-вен-ные, — на втором слоге она прикрыла глаза, — ко всему. Но за миг до катастрофы сливаются. Вот *ее* они предчувствуют отлично. Надо думать, у них выбора нет. Иначе сдохнут. Или им руку оторвет, или бошку, например. — Зайка сощурилась на Перца (а тот, налив себе уже третью, отвернулся от бутыли; его слегка отпустило). — Радость моя, вчера я готова была тебя пришибить. Могла бы грех на душу взять. Вытурила? Если б вытурила, ты бы сейчас здесь не сидел. Но сегодня я уже успокоилась.

Шкет решил не спрашивать, что Перец натворил.

— Валяй, — сказал тот. — Садись. На диван. Это я там сплю, так что нормально. Она спит там.

— Мой будуар. — Зайка указала на соседнюю комнату, где Шкет разглядел зеркало и туалетный столик с флаконами и банками. — Перец очень на это напирает, когда приводит новых друзей. Да ты садись.

Шкет сел.

— Нет, ну *пару* раз — ты, наверно, на приходе не запомнил, — ты становился прямо тигр. Перец, дорогой мой, не надо так *переживать*, что люди подумают.

— Если б я переживал, что он подумает, я б его

сюда не потащил, — возразил Перец. — Шкет, хочешь еще вина — сам налей. Зайка не против.

— Вообще-то, — Зайка отступила в дверь будуара, — Перец у нас — иллюстрация к трагическому феномену Великого Американского Недотрахита. Горазд болтать, как бы ему чего хотелось, но, если угодно знать мое мнение, за все свои двадцать девять лет Перец ложился в койку только с теми, кто его перекатывал туда-сюда, пока он спит. Это-то ему нравится. Но боже упаси его разбудить!

— Что я не делал, я про то и не болтаю, — сказал Перец, — чего не скажешь о тебе. Отстань, а?

Шкет с дивана сообщил:

— Я-то пришел глянуть, нет ли кого у Тедди. Я хотел…

— Глянь, если надо. — Зайка посторонилась. — Но вряд ли. Иди сюда. Тут видно.

Не вполне понимая, Шкет поднялся и мимо Зайки вошел в соседнюю комнату. Вроде все по местам, но будуар — три кресла, кровать, по стенам дюжина картинок из журналов (но все в рамочках) — как будто под завязку забит хламом. На покрывале теснилось оранжевое, красное, лиловое и синее. На спину розовой керамической голубке свешивались желтые пластиковые цветы. Обои — тоже цветочные — перечеркивал

черный занавес.

— Сюда.

Шкет обогнул грязный белый пуфик из винила (все вокруг испещряли серебристые блестки) и отодвинул черный бархат.

Сквозь прутья клетки он увидел перевернутые табуреты на стойке. В свете потолочного люка, которого он прежде не замечал — он и в самом деле впервые видел бар днем, — пустые кабинки и столы смотрелись гораздо рахитичнее, а весь зал — просторнее и убоже.

— Бармен там? — спросила Зайка.

— Нет.

— Так они, значит, еще даже не открылись.

Шкет отпустил занавес.

— Удобно, да? Я выбегаю, танцую свое, убегаю прямо сюда — и до свиданья, ребятки. Иди к нам. Не убегай. — Зайка поманила Шкета в гостиную. — Скорпионы меня восхищают. Вы в этом городе — единственная действующая правоохранительная служба. Перец, как звали твоего друга — у него еще уродские мускулы и прелестный сломанный?.. — Зайка пальцем поддернула верхнюю губу. — Вот этот?

— Кошмар.

— Обворожительный мальчик. — Зайка гляну-

ла на Шкета. — Мой сверстник, но я, солнце, все равно считаю, что он ужасно юный. (Ну правда, сядь. Бродить и всех нервировать дозволяется только мне.) Вы, скорпионы, защищаете закон и порядок лучше всех в городе. Только добрые и чистые сердцем смеют выйти на улицу после темна. Но пожалуй, закон всегда таков. Добрые люди живут, стараясь не пересекаться с ним вообще. А злым не везет — они вляпываются. Здесь мне нравится: поскольку закон — *вы*, он здесь кровожаден, громко топает и не вездесущ, так что нам, добрым людям, легко от него уворачиваться. Ты точно больше не хочешь вина?..

— Я ему сказал: захочет — пусть нальет.

— Я ему налью *сама*, Перец. Может, ты и не джентльмен, зато я леди. — Зайка вынула банку у Шкета из рук и пошла налить еще — в банку и в чашку. — Я девочка старомодная, бросаться в ревущий поток мирской славы стесняюсь, к отбытию на бал в запряженной мышами тыкве опоздала, для Освобождения Геев — не говоря уж о Радикальной Феминности — слишком стара! — (Вряд ли ей больше тридцати пяти, прикинул Шкет.) — Не телом, заметь. Душою. Что ж… Утешаюсь философией — или как, блин, ни назови.

Шкет подсел на диван к Перцу.

Зайка принесла ему до краев полную банку.

— И каким же зверюгой ты блистаешь, когда зажигается твой огонек?

— Я не скорпион.

— Ты из любви к стилю так одеваешься? И щит на шее носишь? *Мммм?*

— Одежду мне дали, когда я попортил свою. — Шкет забрал у Зайки банку и приподнял проектор на цепи. — А тут, кажется, нет батарейки. Я его просто нашел.

— Выходит, ты *пока что* не скорпион. Как Перец, да? Перец *был* скорпионом. Но у него села батарейка.

— На то похоже. — Перец погремел цепью щита среди прочих цепей. — Надо новую добыть и проверить.

— Перец был пленительной райской птицей. Красно-желто-зеленые перья — почти забываешь, что она родня обычному попугаю. А потом стал мигать, все чаще и чаще, фырчать, тускнеть. И в конце концов, — Зайка закрыла глаза, — совсем погас. — Открыла. — С тех пор Перец переменился.

— А где их берут? Батарейки?

— В радиомагазине, — ответил Перец. — Только ребята уже все лавки обчистили. Может, в уни-

вермаге. Или у кого лишняя найдется. Небось, у Кошмара полно.

— Как увлекательно предвкушать твое сияние, гадать, в кого ты претворишься.

— Тут внутри, — Перец щелкнул крышкой щита, — такая штучка: определяет, кем ты будешь. Но я эти разноцветные точки не понимаю. Батарейку сюда. — Он серым ногтем поковырял механику. — Это… — и он выковырял красно-белый полосатый прямоугольник с синими буквами «26 1/2 вольт пост. ток» под букетом молний. — Это говно сдохло. — И щелчком отправил прямоугольник в полет по комнате.

— Перец, драгоценный мой, не *надо* на пол. — Зайка подобрала батарейку и положила на полку за фарфоровыми лягушками, вазочками разноцветного стекла и несколькими будильниками. — Поведай же мне, Шкет, раз ты уже нашел меня: кого ты *искал*?

— Одну девушку. Ланью. Ты ее знаешь: вы разговаривали в баре, вечером, когда Джордж Харрисон приходил.

— Ах да: Та, Кому Надлежит Повиноваться. И ты был с ней. Вот *теперь* я тебя вспомнила. В ту ночь, когда Джорджа объявили новой луной, да? Бедняжка сводит черных педиков с ума, и без

того невеликого и хлипкого. Ужасно.

Шкет покрутил банку в руках.

— Фан-клуб у него мощный.

— И тем больше власти, я считаю. — Зайка подняла чашку над головой. — Но, радость моя, если Джордж — Новая Луна, тогда я — Вечерняя Звезда.

Перец испустил чахоточный смешок.

— Я пойду ее искать, — сказал Шкет. — Если зайдет к Тедди, когда он откроется, передашь ей от меня?..

— Не вижу ни малейшей причины. Ей *гораздо* проще получать свое, чем мне. Что передать?

— Чего? Ну просто — что я ее ищу и приду снова.

— Улыбочку.

— Что?

— Улыбнись. Вот так. — Костистое Зайкино лицо посмертной маской разъехалось вокруг блестящих ровнехоньких зубов. — Узрим гримасу счастливого экстаза.

Шкет дернул губами и решил, что это его последняя любезность.

На его оскал Зайка ответила печальной усмешкой:

— Привлекательных черт ты, похоже, лишен.

В моем списке оказался на нижних строчках. Сугубо личное, сам понимаешь. Пожалуй, я могу себе позволить передать твоей подруге, что ты ее ищешь. Увижу — передам.

— Каждый из нас — чей-нибудь фетиш, — сказал Шкет. — Может, у меня все-таки есть надежда?

— Я *о том* и твержу Перцу. Но он не верит ни в какую.

— Да я верю, — сказал Перец из угла дивана. — Это ты не веришь, что ты — не мой.

— Едва ли я открою постыдный секрет, если скажу, что, когда тебя отпустит, ты очень мил и нежен. Да нет, Перца страшно парит, что привлекательным могут счесть *его*. Простая история.

— Такое бывает редко — не сказать, что я привык. — Перец сощурился в чашку, с размаху встал и отошел к буфету. На ходу пихнул Зайку локтем в плечо. — Зайка — хороший чел, только она псих.

– *Ай!* — Зайка потерла плечо, но ухмыльнулась Перцу в спину.

Шкет тоже ухмыльнулся и подавил желание покачать головой.

— А вы чего заявились-то? — спросила Зайка. — Чем нынче заняты скорпионы? Вам разве не надо на работу?

— Опять хочешь меня вытурить? — Перец нагнулся, открыл дверцу, достал новую бутыль и поставил подле первой, уже опустевшей.

Шкет разглядел за дверцей еще четыре галлона и решил, что надо уходить, едва допьет.

— А куда это банда Кошмара сегодня утром намылилась?

— Ты сказал, что их видел. Сколько их было?

— Человек двадцать, двадцать пять, — ответил Шкет.

— Может, в набег на «Эмборики». Прикинь, а?

— Только не *это*! — Зайка отставила чашку. — Эх, что ж. — И снова взяла и меланхолично отхлебнула.

— Он уже месяц про это талдычит, но хочет целую армию подписать.

— Зачем ему такая толпа? — спросил Шкет. — Что такое «Эмборики»?

— Большой универмаг в центре.

— Прелестные вещицы, — загрустила Зайка. — Прелестнейшие. Не хлам за пятак. Я бы и сама от них не отказалась. Придать этому дому стиля. Ой, вообразить тошно, как вы разгуливаете в такой красоте.

— И туда еще никто не добрался?

— Видимо, нет, — ответил Перец.

— Может, по верхам, — пояснила Зайка. — Но понимаешь, «Эмборики» сейчас «занят». Недавно один пацан полез — так его убили.

— Убили?

— С третьего этажа, — сказал Перец. — Высунулись из окна и застрелили дебила насмерть. — Он засмеялся. — Еще по другим палили, а те всего-навсего мимо шли. Но не пострадали.

— Может, это мистер Эмборики охраняет свое земное имущество. — Зайка обозрела дно чашки, покосилась на новую бутыль, но передумала. — Я бы его не упрекнула.

— Не-не, — возразил Перец. — Там целая кодла окопалась. Стреляли, например, в Кошмара. Он говорил, со всех сторон палили.

Зайка рассмеялась:

— Ты представь! Две дюжины продавцов храбро отражают натиск варварских орд! Надеюсь, бедные детки не пострадают.

— Думаешь, там продавцы? — спросил Перец.

— Нет, — вздохнула Зайка. — Там те, кто первым добрался до оружейного отдела в «Спорттоварах».

— Кошмара прямо заклинило. Не терпится залезть и глянуть, что там и как. Если бы по мне палили с третьего этажа, мне бы тоже, небось,

не терпелось.

– *Тебе?* — рявкнула Зайка в потолок. — Ты бы мигом примчался сюда и нырк головой под подушку! Ты почему сейчас не с ними? Нет-нет, нормально. По мне, ты лучше сиди здесь, целый и невредимый. Я же понимаю: если тебе жопу начинят дробью, это непременно выйдет по глупости.

— А по мне, начинить себе жопу дробью — полюбасу глупость.

— Вот и отлично! — Зайка с укоризной наставила на него палец. — Не забывай об этом, не огорчай мамочку. Хоть *один* мужчина благородных помыслов! — Зайкина рука опять нащупала чашку. — Ага, даже в отсутствие мужчин благородных помыслов. И женщин — я без предрассудков. Вот чего не хватает Беллоне. — Зайка посмотрела на Шкета: — На вид ты чуткий. Тебя такая мысль не посещала? Видит бог, все остальное у нас есть. Хорошо бы у нас завелся один хороший честный гражданин — хватит одного, для контраста.

— Ну, есть Калкинз, — сказал Шкет. — Он у нас столп общества.

Зайка скривилась:

— Солнце мое, он *владеет* прибежищем бес-

путства, где я каждый вечер верчу своей бледной гибкой тушкой. Тедди — просто управляющий. Нет, боюсь, Мистер К не прокатит.

— В церкви кто-то есть, — предложил Перец.

— Пастор Эми? — Зайка снова скривилась. — Нет, дорогуша, она по-своему, по-странному милая. Но я *абсолютно* не об этом. Это все совсем не то.

— Не в *той* церкви, — поправил ее Перец. — В *другой*, на том конце города.

— В монастыре? — задумалась Зайка, а Перец кивнул. — Я про него почти ничего не знаю. Что ему в плюс, конечно.

— Да, мне про него кто-то раз говорил, — сказал Шкет и вспомнил, что это была Ланья.

— Приятно допустить, что где-то в его стенах ходит и предается размышлениям поистине хороший человек. Вы себе можете такое *представить*? В черте города? Аббат, скажем, или мать настоятельница, или как они там называются? А между тем скорпионы резвятся в «Эмборики».

— Может, если прийти в монастырь, оттуда тоже палить начнут.

— Как это грустно. — Зайка снова покосилась на бутыль. — Как вероятно. И отнюдь не радует.

— А где это? — спросил Шкет; вместе с вос-

поминанием его посетила фантазия о том, что Ланья отправилась в монастырь — ей же было интересно.

— Я, вообще-то, не знаю, — ответила Зайка. — Он как всё в этом городе: на слуху, пока не свалится тебе на голову. Отдаешься на милость географии и надеешься, что спуски и подъемы, благоприятно совпав с твоей готовностью к бою и приятию, в итоге выведут куда надо. Рано или поздно найдешь. Нам всем уже до смерти наскучило это слышать, но тем не менее: городок у нас ужасно маленький.

— Я слыхал, это на другом конце Беллоны, — сказал Перец. — Но я даже не знаю, на каком конце мы.

Шкет засмеялся и встал.

— Всё, я пошел. — Он допил вино и языком поболтал горечь послевкусия. Вино первым делом с утра, задумался он. Что ж, я чего и похуже творил. — Спасибо за завтрак.

— Ты *уходишь*? Но, радость моя, тут хватит и на бранч, и на ланч, и на вечерний чай, и на *ужин*!

— Да ладно, — сказал Перец. — Налей себе еще. Зайка не против гостей.

— Извините. — Шкет убрал банку, чтоб Зайка не достала. — Спасибо. — Улыбнулся. — Я еще

как-нибудь приду.

— Я тебя отпущу, только если дашь слово. — Зайка вдруг потянулась к его груди. — Нет-нет, ты не дергайся. Мамочка тебя не изнасилует. — Она сунула палец под цепь поперек Шкетова живота. — У нас с тобой есть кое-что общее. — Другой рукой Зайка приподняла белый шелк и показала оптическую цепь на тощей шейке с выпуклыми венами. — У нас с Кошмаром. У мадам Браун с Кошмаром. У тебя с мадам Браун. Сказать об этом — не предательство? Даже не знаю, — засмеялась Зайка.

Невесть почему щеки Шкета окатило жаром, тело — холодом. Не может быть, что я так быстро и так полно впитал всеобщую привычку к скрытности, подумал он. И по-прежнему тревога и нетерпение гнали его прочь отсюда.

Зайка тем временем говорила:

— Я все передам твоей подруге, если увижу. И кстати, я бы передала, даже будь твоя… кхм, улыбка неотразима. Потому что тогда, понимаешь, я бы хотела тебе понравиться и чтоб ты опять пришел. Сделать, как ты попросил, — тоже способ. Я, конечно, нехороший человек, — подмигнула она, — но не думай, что я плохая.

— Ага. Не вопрос. Спасибо. — Шкет отцепился

от ее пальца. — До скорого.

— Пока! — крикнул Перец от буфета, куда направился за добавкой вина.

* * *

Теперь на вывеске значилось: РУБИН и ЖЕМЧУГ.

Стремянка и тетка в комбезе исчезли.

Он обмозговал и сравнил векторы движения, парк отбросил, посмотрел туда, где марево гуще всего (дальше по «Жемчугу»), и зашагал. Ланья? — воспоминание о том, как звал ее, — эхом в сумраке, послеобразом на барабанной перепонке. Здесь? В этом городе? Он улыбнулся и представил, как ее обнимает. Перебрал ненадежные воспоминания, гадая, куда направляется. Только, подумал он, напрочь лишившись цели, мы познаём себя.

Внезапно заныло собственное канувшее имя, внезапно стало желанным, и пожелал его Шкет с той же силой, что побудила его в конце концов принять имя, которым нарек его Тэк. Без имени можно искать, выживать, создавать словесные конвекции в чужой тетради, совершать причудливое убийство, бороться за чужое выживание. А с именем, может, было бы легче просто ходить, просто быть. Имя, подумал он, — то, как зовут

тебя другие. Вот почему оно важно и не важно. Шкет? Он подумал: еще несколько глотков зимы и солнца — и мне стукнет тридцать. Сколь не важно, что я не помню. Сколь важно, что означает моя неспособность вспомнить. Может, я знаменитость какая? Да нет, что делал, помню слишком хорошо. Лучше бы я был отрезанным, одиноким, замкнутым обществом на одного, как все. Отчуждение? Не в том дело. Я слишком привык нравиться.

Ч-черт! Он пожалел, что нет тетради; но еще прежде сожаления прислушался, и не всплыло ни слова — не с чего начать сложносочиненный монтаж. Щупая ножи на поясе, слушая, но не чувствуя, как лезвия шуршат по мозолистому пальцу, он опять свернул за угол.

Так отвык от автомобильных двигателей, что испугался; потом увидел собственно автобус. Тот выволокся из-за угла на побеленную разметку остановки. *Чак-чак*, сказали двери. Шкет посмотрел, как лысеющий шофер щурится за ветровым стеклом, будто вглядывается в поток машин.

А чего бы нет, подумал он и взобрался по истертым резиновым ступеням.

— Ты с пересадкой?

— Ой, извините. Если платить за проезд… — Он

попятился.

Но шофер поманил его внутрь:

— Тут пересадка. Я подумал, может, ты с пересадкой. Заходи. — *Чак-чак*; и автобус качнулся вперед.

На заднем сиденье спал старик — шляпа до бровей, воротник до ушей.

Женщина спереди сидела, скрестив руки поверх сумочки. Женщина помоложе, с пышной афро, смотрела в окно. Мальчик с афро поменьше нервно ерзал прямо за задней дверью, носком одной кроссовки пинал другую.

Муж и жена — он распялил колени, утоп в сиденье, скрестил руки, лицо воинственное; она сдвинула ноги, на лице нечто среднее между страхом и скукой — на Шкета подчеркнуто не смотрели.

В тот же миг он сообразил, что здесь нет сидений, откуда можно наблюдать за всеми, и что во всем автобусе только он не черный. Решил плюнуть на старика и занял предпоследнее сиденье.

Куда я… но не пожелал додумывать: направляюсь? Поверх поручней на спинках сидений смотрел на приплюснутый нос и губы, острый подбородок профиля под мочалочным шаром.

Вместе с нею разглядывал дома в их бешеном

бесцельном полете.

Она моргнула.

Нервничал он только на поворотах, и приходилось давить абсурдный порыв сходить в шоферу и спросить, куда едет автобус. Бешеная гонка по прямой, подразумевавшая простоту возвращения, не пугала. Автобус опять свернул, и Шкет постарался насладиться потерянностью; но они ехали параллельно прежнему курсу.

Миновали заброшенный дорожный ремонт. Сломаны только одни козлы. Но из грузовика со спущенным колесом на мостовую вытекли кабельные кольца.

Он растянул узел в желудке, дивясь тому, как до сих пор волнуют эти останки катастрофы.

После разбитой витрины военторга поплыли маркизы кинотеатров: на первой ни единой буквы, на второй одинокая «Р»; на третьей одна строка, которую он успел сложить в «Три звезды пишут „Таймс“». На следующем — «Т», «Л» и «Е» стопкой друг на друге; «Н», «А», «Р», пробел в три буквы, затем «Е». Обдумывая послания, он пошарил в поисках тетрадной пружинки, но лишь стукнулся костяшками о ножи.

На рекламном щите футов шесть на шестнадцать нагой Джордж Харрисон, почти силуэтом

против гигантского лунного диска, задирал голову — то ли всматривался, то ли выл, то ли проклинал ночь. Черный, лишь тут и там обозначенный бликами, — слева; справа все заполонил ночной лес.

Шкет полуобернулся на сиденье посмотреть, затем вновь повернулся к салону и успел увидеть, как обернулись остальные. Сунул кулаки между ляжек, уперся в сиденье и подался вперед, ухмыляясь, свесив шею на поникших плечах.

ЭМ`Е`Е`ПА

С`ЛН Е СЫ

И

П Б Г[24] —

возвещала следующая маркиза. Он посмотрел на битые витрины — в одной валялась груда голых манекенов. Улица стала шире, а один раз мимо прокатился дым, и на последней маркизе киноквартала он вообще не разглядел ни буквы.

---

[24] Примечания: 24

В кинотеатре шел двойной киносеанс американского режиссера Сэма Пекинпы, чьи работы считались воплощением понятия «порнография насилия»: психологический триллер «Соломенные псы» (*Straw Dogs*, 1971) по мотивам романа *The Siege of Trencher's Farm* (1969) шотландского писателя Гордона Уильямса с Дастином Хоффманом в главной роли и неонуар «Побег» (*The Getaway*, 1972) по одноименному роману Джима Томпсона (1958), в главной роли Стив Маккуин.

Куда я направляюсь? — подумал он, полагая это просто словами. А затем прилетело эхо: по спине подрал мороз, зубы клацнули, потом разжались за сомкнутыми губами, застучали и запрыгали от тряски двигателя. Он поискал теней и ни одной не нашел ни в сумрачном автобусе, ни на бледной улице. Тогда поискал, какие блики телесных ощущений запечатлены в матрице нервов. Ни одного; не в чем откапывать память о ее лице, пятнистом и неполном, точно освещенном сквозь листву. Он попытался посмеяться над своей утратой. Не в том дело, о нет. Всё из-за вина; господи, подумал он, куда они все подевались? Позади него старик застонал во сне.

Шкет выглянул в окно.

Вверх по песочного цвета стене — золотые буквы (он их сначала прочел снизу вверх):

Э
М
Б
О
Р
И
К
И

Разбита всего одна витрина; и заколочена досками. Еще две затянуты брезентом. Еще одна от края до края перечеркнута зигзагом трещины.

Шкет дернул за потрепанный потолочный шнур и держался за поручень на спинке переднего сиденья, пока автобус спустя квартал — и к некоторому его удивлению — не остановился. Он соскочил с задней подножки на бордюр и обернулся; сквозь грязное стекло увидел, как пара, не удостоившая его взглядом, когда он сел в автобус, теперь отводит взгляд. Автобус уехал.

Он стоял наискосок от пяти-, шести-, семи-, восьмиэтажного универмага. Опасливо попятился к двери подъезда. (Люди с пушками, не хрен собачий.) Нащупал орхидею — поглядел на нее. Весьма дурацкое оружие. Люди палят из окон? Несколько окон в вышине открыты. Еще несколько разбиты. Через дорогу сточная решетка помахивала парны́м плюмажем. Зачем было, подумал он, выходить здесь? Может, там уже никого нет, перейти через дорогу и… съежилась кожа на спине и животе. *Зачем* он здесь вышел? Отозвался на некий безымянный зародыш чувства — и выпрыгнул из автобуса, дождался рождения чувства. И вот оно родилось — оказалось, это ужас.

Перейди улицу, мудила, велел он себе. Подой-

дешь вплотную, и тебя не увидят из окон. А так кто-нибудь прицелится и снимет тебя, если в голову взбредет. И еще кое-что добавил.

Спустя минуту пошел через дорогу, обогнул пожарный гидрант, остановился, положил руку на бежевый камень, долго, медленно вдыхая и слушая стук сердца. Универмаг занимал целый квартал. В переулке витрин нет. Не считая парадной двери, из универмага его ниоткуда не видно. Он посмотрел на другую сторону проспекта. (Вон там, судя по остаткам букв на разбитом стекле, было, наверно, турагентство. А там?.. Конторы какие-то, может? Нижние этажи облизаны гигантскими углеродными языками ожогов.) Улица как будто широченная — но это потому, что у обочин не было машин.

Он зашагал по переулку, ведя рукой по камню и поглядывая вверх, воображая снайпера, что вот-вот высунется из окна и шарахнет прямой наводкой вниз.

Там никого нет, подумал он.

И за мной никого…

В конце квартала что-то… шевельнулось? Нет, это тень между двух припаркованных грузовиков.

— Эй, — сказал кто-то через переулок, лишь

слегка понизив голос. — Это что ты тут, блядь, делаешь?

Он звезданулся плечом об стену и оттолкнулся, его растирая.

Железную дверь на другой стороне переулка толкнуло мощное плечо.

— Не кипешуй. — Возникла половина Кошмарова лица. Шкет разглядел, как полрта произносит: — Но я досчитаю до трех, а ты дуй сюда пулей, чтоб за тобой дымилось. Раз. Два… — Зримый глаз посмотрел куда-то вверх на стену универмага и спустился к Шкету. — Три.

Кошмар поймал Шкета за плечо, и воспоминание о форсированной мостовой переулка напрочь вышибло синяками на спине, колене и подбородке…

— Эй, чувак, не обязательно же… — а Кошмар вдернул его в дверь, открытую на четверть.

Он очутился в четырех пятых темноты, где дышало много народу.

— Черт возьми, — сказал Кошмар. — Ну то есть господи боже.

Он сказал:

— Необязательно башку мне крошить, — тише, чем начал фразу.

Кто-то очень черный в виниловом жилете

громко рассмеялся. Он решил было, что это Леди Дракон, но нет — мужчина.

Кошмар раздраженно фыркнул, что ли. Смех оборвался.

Зарубцевавшимся плечом Кошмар (первое, что разглядел Шкет, едва взгляд прояснился во мраке) наполовину заслонял лицо Денни, как дверь наполовину заслоняла лицо Кошмара. Другие лица темнее.

— Ты считаешь? — Кошмар по-прежнему держал Шкета за локоть. А другой рукой схватил за волосы («Эй!») и развернул на сто восемьдесят градусов: лицо вжалось в проволоку за грязным стеклом, а дальше… — Ты вон наверх посмотри.

Шкет сквозь грязное окно посмотрел на второй этаж универмага…

— Глаза разул?

…где была витрина с золотыми буквами дугой: «По последней моде». А за ними человек с ружьем в руке почесал худую шею под слишком широким воротником синей поло и побрел дальше.

— Итак, какого, — сама любезность, — рожна ты тут забыл? — Кошмар отдернул Шкетову голову от окна и разжал пальцы. — Давай. — Всосал воздух сквозь зубы. — Излагай.

— Я просто… — Боль отступила.

— Башку-то тебе раскрошить не помешало бы.

— Эй, слышь, тебе…

— Саламандр, заткнись, — велел Кошмар.

Крупный бородатый рыжеволосый негр привалился к стене в углу.

— …самому необязательно, — договорил он. — Могу я, если хочешь. — С приглушенным узнаванием кивнул на Шкета: — Давай его сюда.

— Отъебись, — безапелляционно взмахнул кулаком Кошмар. — Ты просто мимо проходил, а? Мы три месяца планируем, а ты просто мимо проходил?

— Ну, мне Перец сказал, что вы, может, здесь…

Кошмар еще пососал воздух.

— Мы тут *планируем*…

— Я за него ручаюсь, — сказал Денни. — Возьмем его с собой. Он ничего не испортит. Я ему скажу, что делать.

Кошмар вопросительно глянул через плечо.

— Без проблем, — подтвердил Денни.

Саламандр в углу перехватил свою планку.

— Он может пойти со всеми, — повторил Денни. — Он не будет мешать.

Шкет неуверенно подумал: трое против двоих.

Кошмар снова махнул кулаком; и заворчал.

— Давай, — сказал Денни. — Ты со мной.

— Пусть только посмеет накосячить! — подбородком предостерег Кошмар.

— Не. Шкет все нормально сделает.

— Уж пожалуйста.

— Он хороший парень, Кошмар. Кончай, сам же говорил, что он хороший парень.

Кошмар заворчал снова.

Шкет его обошел, постарался не смотреть на Саламандра, но не вышло. Саламандр хлопнул глазами и заулыбался. Еще раз лажанусь перед этими людьми — и мне кирдык, решил Шкет.

Денни хлопнул его по плечу.

— Двинули. — Огляделся и громче: — Народ, двинули.

С дюжину человек (безопаснее…) сгрудились вместе; и пошли в другую дверь следом за Денни. Вестибюль склада какого-то? Может, черный ход другого магазина? Он оглядел лица вокруг. Совсем черный парень в виниле оторвал взгляд от Шкетовой орхидеи, моргнул, отвел взгляд; орхидея у него тоже имелась, но на кожаном ремешке.

— Сюда, — сказал Денни главным образом Шкету. — Ждем здесь. Мы идем — ты за нами. Не парься.

Остановились перед очередной дверью. За

окном сбоку виднелась песочная стена «Эмборики».

Денни обвел взглядом свою группу.

Шкет подумал: они, пожалуй, покруче Перца.

Скрестив руки на груди и привалившись к стене у окна, Денни временами посматривал вверх.

Точно блондинистый младший братик Саламандра.

У них план, подумал Шкет, уже угодив в самую середку.

Я не думаю о Ланье.

Ступни — одна на влажной кожаной подошве, другая в грязи — покалывало. Как я сюда попал? Это был мой выбор — прийти? Я хочу командовать этими людьми. (Покалывание взобралось до головы, унялось.) Это был мой выбор. Наблюдай и валяй, осторожнее с ними. Спрошу Денни, каков план, — опять покалывание; так что не спросил. Наблюдай? Но вплетались мысли. Что ж. И о чем он думает? Кошмар, невзирая на всю невзаимность, ему нравился. Саламандр полезен и мерзок, занятное сочетание — необычное, по его опыту. Денни? В ошеломлении он сообразил: Денни дал ему нынешнюю одежду, первым вычеркнул назойливое «д» из его имени, а теперь

взял под крыло. Шкет прищурился на двоих черных, привалившихся к стене у окна (Денни глянул на Шкета, на пол, за окно) в паутинной тени. Кошмарный подручный… Шкет всмотрелся в лица, оставшиеся в конце коридора; в этой группе больше трех женщин. По мотивам автобусной поездки он поразмыслил над рассуждениями Фенстера о демографии: сколько тут процентов черных? Джордж? Ждут в оковах цепей и цветов (он заметил полдюжины ножей) — не хочу распознавать индивидуальности. Лучше иметь дело с массой, чем фактурой. (Жрец, Карбункул, Сеньора Испанья — эти имена уже прошептаны вокруг; Разор, Флинт [черный в виниле], Калифорния, Накалка, Откровение [блондинистый, как Зайка, но с воспаленно-красной кожей], Ангел, Доллар, Б-г.) Сопротивляйся. Дюжины две нанизаны на эту серость в серости, ждут; здесь, наверно, больше тех, кто убивал нечаянно, чем нарочно. И посему они опасны. Во что они превращаются?

— Работает? — Денни указал на Шкетов щит.

— Батарейки нет.

Денни покачал головой, передразнивая Кошмарово раздражение:

— Тогда от меня не отходи.

То ли люди скучны, то ли ситуация. Но то ли

люди, то ли ситуация захватывающи. Не могу распознать разницу. А если выбрать, толку не выйдет. Я снова там, где ожидание поучительнее первого и последнего шага. Вот что означает не думать о Ланье: моргает зелень глаз, когда какой-нибудь мой поступок Ланью удивляет, ее гримаса (всегда как будто грустная) за считаные мгновенья до смеха, когда мой поступок ей забавен. Это как забывать имя? Я хочу быть среди этих людей. (*Куда* она запропастилась?) Это трудно — так мало стоит мысль о том, что я не хочу быть с ней. Но эти, которые жуют зубами вхолостую, и переминаются, и погружены в увлекательное ожидание, — *что* они замышляют? Не так уж страшно то, чего я не знаю об их занятиях; ровный всепоглощающий страх, как некогда перед кражей книжек и комиксов из киосков на углу, перед воровством маленьких компасов и сувенирных патронов из армейских лавок.

Спустя много времени где-то за много миль кто-то свистнул.

Денни сказал:

— Пошли, — и все двинулись.

Хлопнули двери.

Они перебежали через улицу; скорпионы бежали по переулку.

— Сюда! — это вниз по ступеням и в боковую железную дверь «Эмборики».

Шкет подумал: песчинки протискиваются в стриктуру песочных часов. Он следил за Денни в трех шагах впереди, остановился, когда тот остановился (у подножия другой лестницы), вместе с ним прибавил шагу. (Миры в мирах; я в ином мире.) На первой площадке Денни знаком послал остальных вперед, оглянулся, убедился, что Шкет не отстал (планы, составленные и согласованные, наброски поэтажных схем, расписание смены охранников — настолько умных людей он здесь не видел), затем через голову снял тяжелую цепь и дважды намотал на кулак.

— Сюда. — Шаги остальных затихли над ними — все ушли из армейски-оливкового лестничного колодца.

Шкет сдернул с ремня орхидею (перетертая ножом шлевка лопнула) и сунул запястье в сбрую.

— А что там?

— Ничего, — сказал Денни. — Надеюсь.

Короткий коридорчик привел в комнату, забитую картонными коробками. (Оберточная бумага в квартире 19-А. Почему?) Они попáдали с полок — там еще осталось, — завалили пол; их сгребали в груды, и они падали снова.

— Мы что делаем-то? — спросил Шкет.

— Не лезем на рожон, — ответил Денни. — Им охота носиться тут под пулями — пожалуйста; но у тебя-то есть мозги. В универмаге восемь этажей. Он занимает весь квартал. Мы прикидываем, тут человек десять или пятнадцать. Мы, по-моему, на полуторном этаже. — Он снова оглянулся. — Надеюсь.

Они ступили во тьму, которую затем разбавило до трех четвертей. Шкет принюхался. Тут тоже что-то сгорело. Локтем задел висящий пластик. Они прокрались между стойками со шторами для ванн и очутились среди ковриков и прочих товаров для ванных.

— Ты уверен, что мы на полуторном?

— Вон там должны быть перила.

— Раньше здесь бывал?

— Ты потише, — сказал Денни. — Нет. Но разговаривал с теми, кто бывал.

— Что?.. — Шкет перешел на шепот: — Что Кошмар собирается тут делать?

Денни оглянулся опять:

— Думаешь, он знает? У нас набег!

Добрались до полотенец. Одолели махровые холмы у опрокинутого прилавка. Прохладная обугленная темнота обрывалась стеклянным

парапетом балкона с латунным поручнем. Снизу свет; Шкет наклонился («Эй, осторожнее, — сказал Денни, — вдруг там есть кто»), но источника не нашел.

Здесь люди, подумал Шкет. Здесь люди, они здесь ходят, у них оружие. Оглядел балкон, посмотрел вниз на прилавки и тропинки между ними, утопавшие в неразличимостях, покрытые серыми лентами света.

Там бежал кто-то из скорпионов — один кто-то и другой.

Денни взял Шкета за плечо.

Еще трое лабиринтными мышами заметались по проходам.

— Эй, люди, это вы чего тут?.. — заорал кто-то — судя по звуку, с лестницы.

Пять голов, дислоцированных среди дамского белья и часовых ремешков, поворотились на шеях. Двое скорпионов погасли, как фотовспышки, — петух и какой-то младенец динозавра.

Шкет отодвинулся от света. Денни смотрел вверх, вдруг заметив, что оба они теперь отбрасывают тени на потолок.

— Огни, вашу мать, потушите! — а это Кошмар.

На этаже хлопнул выстрел. Улеглось эхо.

Некий ровный рефлекс, без испуга и возбуждения, оттолкнул Шкета от перил (он мимолетно заметил возбужденное, испуганное лицо Денни) назад, к темным витринам. Денни возник у него за спиной.

— Эй, они прорвались! Черт бы всё побрал, они прорвались…

— Марк? — Женщина. — Марк? Марк, что там внизу?..

— Отойди! Они прорвались? Вы не видели?..

Эхо напрочь искорежило смысл слов четвертого фрикативного голоса.

Кто-то поближе попытался вмешаться:

— Вы чего?.. Может, вам?.. Эй, смотрите…

— Я их огни видел! Да блин, я видел огни! И кто-то кричал. Я видел…

Пластиковая штора зацепилась Шкету за плечо. А женщина, стоявшая за ней, погрозила им ружьем, сказала:

— Хххххххааа… — и пошла задом.

Равно, подумал Шкет, оцепеневшая от ужаса.

А вот Денни не оцепенел. Он цапнул свой проектор и растворился в свете.

Да и женщина тоже. От внезапной вспышки она попятилась и выстрелила куда-то между ними двумя. Ружье просипело *щелк*, и Шкет узнал

зеленое платье: Линн, которая сидела рядом в последний его визит к Ричардсам. Сейчас, щурясь и вопя, она мелкашкой загораживалась от света. На прикладе, в свете щита Денни, — четырехкрасочная переводилка: Красный Всадник улыбается Маленькому Бобру[25] в желтом кольце лассо. Затрещала помпа. Воздушкой в глаз, рассудил он; и кинулся на нее.

Думал, она швырнет в него ружьем.

Но ружья она не выпустила, а когда не разжала рук и после второго рывка (ножи орхидеи цокали по стволу), он крутанул ружье и пнул ее ногой. Она отдернула выкрученные руки, потрясла ими, развернулась. Он заехал ей в плечо прикладом, и она нырнула во тьму.

Он повернулся — в основном глянуть, в кого превратился Денни:

Десятифутовый сгусток света, разноцветный и расфокусированный, истекал сам в себя — точно амеба взрывалась.

А потом погас, и Денни отнял руку от шеи. Шкет сунул ему воздушку.

— А ты, — прошептал, — кто вообще? — И от

---

[25] Примечания: 25

Ковбой Красный Всадник и его сайдкик, коренной американец Маленький Бобер, — персонажи комик-стрипа «Красный Всадник» (*Red Ryder*, 1938–1965) Стивена Слезингера и художника Фреда Хармана.

страха рассмеялся.

Размахивая винтовкой, они зашагали сквозь тени полуторного этажа.

— Чё?

— Твой щит.

— А. С ним что-то случилось с месяц назад. Я там что-то пережег, видимо, и модулятор — он пластмассовый — расплавился, что ли. Получается вот такое. Мне даже нравится.

— А раньше что было? — За рулонами тканей они свернули.

Денни доверительно шепнул:

— Лягуха.

Эта драка с женщиной, вдруг подумал Шкет, — она правда случилась?

Снова закричали люди. Кошмар внизу заорал:

— Эй, браток, ты глянь! — и дальше взвинченный смех.

Они вышли на лестницу; темно хоть глаз выколи. Спустившись на три ступеньки, Шкет сказал:

— Погоди…

Денни на полмарша ниже спросил:

— Что такое?

— Ремешок порвался. Я сандалию потерял. — Под сопение Денни Шкет пошарил ногой по сторонам, ступенькой выше, ступенькой ниже.

Денни перестал пыхтеть и сказал:

— Слышь? Спасибо.

— Не могу найти, — ответил Шкет. — За что спасибо?

— Ты мне, по-моему, жизнь спас.

— Чего?

— Тетка эта. Она меня пристрелила бы, если б смогла.

— А. — Шкет пальцами нечаянно пнул стену. — Да ну. Она бы и меня пристрелила. — Подумал: воздушка? Пятнадцатилетний Денни вдруг стал ужасно юным. — Должна же эта хрень где-то быть.

— Давай я свет врублю, — сказал Денни и врубил.

Шкет сдвинулся вбок — посмотреть, нет ли сандалии в его тени.

— Может, упала… — Он выглянул через перила. — Слушай, ну ее… выключи, а? — Сияющая амеба схлопнулась. Лестничный колодец затопила тьма — поднялась до самых глаз и выше. — Слышишь что-нибудь?

Пульсирующая клякса на черном фоне неуверенно ответила:

— Нет.

— Тогда пошли. — И Шкет зашагал вниз.

— Ладно, — прошептали впереди.

…меня пристрелила бы, если б смогла; а если б узнала — тогда тоже? А я бы отнял ружье, если б ее не узнал? (Он легонько стукнулся о плечо Денни.) Он считает, я спас ему жизнь. Что — поскольку он увидел свет — они там делают? Толкаясь плечами, они вышли в тишину первого этажа.

Денни свернул в проход между стойками сумеречных твидов и вельветов.

Шкет глянул на фигуру, что стояла прямо за дверью (то есть, разумеется, зеркало на деревянной подставке, чуть наклоненное, отчего покосился отраженный пол) и… в раздевалке спортзала, где дверь выходила прямо на поле, кто-то однажды швырнул снегом ему в голую спину.

Глядя в зеркало, он снова пережил (и вспомнил) это мгновение вермонтской зимы. А потом забыл, глядя на отражение, вспоминая — уже на третьей, четвертой, пятой секунде, — что его поразило первым делом. Поднял руку (отраженная рука поднялась), слегка повернул голову (голова слегка повернулась), вздохнул (отражение вздохнуло); он коснулся жилета (отражение коснулось рубашки хаки), затем резко пихнул себя кулаком в подбородок (кулак отражения зарылся в пышную черную бороду) и поморгал (глаза

отражения заморгали за черной пластмассовой оправой очков).

Штаны, подумал он, штаны такие же! По черной джинсе бедра змеилась белая нитка. Он (вместе с отражением) осторожно ее снял, поджал голые пальцы ног на ковре (носы черных рабочих сапог согнулись), опять протянул руку к стеклу. Разжал пальцы (отраженные пальцы разжались): нитка упала (нитка упала).

Между заскорузлыми костяшками и погрызенными ногтями он видел гладкую изнанку пальцев — и тоньше, чем у него. (Он выше меня, глупо подумал Шкет, выше и крепче.) Он повернул руку, посмотрел на свою ладонь: пожелтевшая мозоль вся исчерчена — линии глубокие, почти шрамы. Сквозь свои пальцы разглядел тылы отраженных — совсем редкая поросль, легчайший шрамик над вторым суставом и кожа чуть темнее слева от первого. Ногти у отражения, хотя и без полумесяцев — только на больших пальцах, — были длинные, как его подростковые грезы, и лишь самую чуточку грязные. Он опустил взгляд на другую руку. У него она закована в клетку ножей, а отражение держало… его тетрадь? Однако аналогия (он припомнил церковные часы, которым нечем показывать время) была слишком

банальна и облегчения не принесла. Захотелось плакать; он взглянул в упор, и лицо, отражая малейший его тик, невзирая на бороду и очки (а также медное колечко в одном ухе!), воззрилось на него в растерянности, отчаянии и печали.

Сочетание вселяло ужас.

— Эй, — сказал кто-то, — чего вылупился? — подошел к зеркалу сзади, схватил за верхний край и дернул. Зеркало повернулось на стойках. Нижний край заехал Шкету по лодыжкам.

Шкет пошатнулся.

— Прыщи давишь? — ухмыльнулся Саламандр из-за стекла, теперь плоского, как стол.

Опешив и остервенев, Шкет бросился вперед и свободным кулаком грохнул по краю зеркала. Дальний край вырвался из нецепких пальцев, оцарапал Саламандру грудь, треснул в подбородок. Зеркало снова неспешно опустилось.

Взревев и схватившись за подбородок, Саламандр заскакал между вешалок с одеждой.

— Ты, блядь, что… Ырххх! Ох, блядь, язык, я, кажись, прикусил… Аааа! — В третий раз подняв глаза, он лишь заморгал.

Шкет ртом ловил воздух.

Из рамы выпал стеклянный треугольник и тоже разбился на ковре. За линиями разлома он

видел себя — босой и безбородый, он задыхался и тер цепи на груди. Сбоку мерцала орхидея. Позади, чуть поодаль, стоял Денни и наблюдал, что-то держа в охапке.

Шкет развернулся в четверти света.

— Я тут… — Денни покосился на Саламандра, а тот тер подбородок и зыркал злобно. — Там вон обувь, сапоги, всякое такое. Я тебе принес, — он приподнял груду, — вот.

— Чего?

— Потому что сандалию же ты потерял. — И Денни опять покосился на Саламандра.

Шкет сказал:

— Теперь *ты* прыщи давишь? — И засмеялся. Едва накрыло, стремительно разрослось истерикой. Ему было страшно.

Смех, подумал он, — как долгий слипшийся лай. Он смеялся; облокотился на стол, заваленный рубашками, и поманил Денни.

— Ты же только на правой носишь, да? — Денни свалил на стол обувь — в основном сапоги.

Шкет взял два, три — все сплошь правые. Он засмеялся сильнее, а Денни ухмыльнулся.

— Вы чего там голосите? — окликнул Кошмар через проход. — А ну харэ верещать, бля.

Шкет затолкал себе в глотку и смех, и страх,

взял высокий мокасин из мягкой черной замши.

Под серьезным взглядом Денни, придерживаясь за край стола — и помахивая орхидеей для равновесия, — Шкет впихнул ногу в мокасин.

Денни сказал:

— Мне тоже этот понравился.

Шкет засмеялся опять, и опять засмеялся Денни — пронзительнее, резче.

— Мы, наверно, их всех там наверху застремали, — сказала Кошмару одна девушка.

— Вы, твари, так шумите — еще б не застрематься, — сказал Кошмар.

— Эй, — сказал Шкет, — если я тебе зубы выбил, извини. Но отъебись от меня, понял?

Саламандр что-то буркнул и потер жидко заросшую челюсть.

— Тут такое говно, а вы двое бодаетесь? — Кошмар потер плечо.

— Кошмар, — сказал Денни, — Шкет мне жизнь спас. Наверху, на балконе. К нам кто-то выскочил с винтовкой и стрельнул — близко стоял, вот как ты сейчас. А Шкет схватил ствол и отнял.

— Да ну?

Грузный скорпион из-за спины Кошмара сказал:

— В нас тут тоже палили.

— Ты, значит, жизни спасаешь? — спросил Кошмар. — Кишка, выходит, не тонка. Я ж говорил, что он хороший парень.

Шкет поджал пальцы на ногах. Сапог согнулся, как холстина. Страх бросался на него с копьем, искал цель, нашел: смутился Шкет несказанно. Воздушка, подумал он, отнял у перепуганной женщины, с которой ужинал, которой читал стихотворение! Он поставил на пол ногу в сапоге.

Денни был на седьмом небе.

Кошмар тычком наклонил Саламандру голову вбок, осмотрел.

— Я б до Шкета не докапывался на твоем месте. Мне он с первого взгляда тоже не понравился. Но я сказал: если я его не замочу, докапываться не буду. Так оно лучше.

Саламандр отдернул голову.

— Какой-то он был эдакий, — продолжал Кошмар. — Ты, Саламандр, зверюга, но ты тупой. Я это говорю, потому что я умнее и прикидываю, что тебе, небось, надо знать, чего делать. Шкет тоже тебя умнее.

Стиснув зубы и подперев их изнутри языком, Шкет подумал: он что, хочет, чтоб меня пришили, ну?

— Он вот так взял и схватил ружье, — повторил

Денни. — За ствол. И отнял.

— Я это забираю, — сказал другой белый скорпион, приволокший мраморную плиту, на которой распластался перед прыжком крупный латунный лев; все черные помалкивали — в противоположность привычной Шкету картине. Абажур снова и снова стукал пацана по прыщавому небритому подбородку. — Всегда такую хотел.

— Потащишь сам, — сказал Кошмар. — Я помогать не стану. Валим отсюда.

— А наверху так люди с пушками и сидят? — Саламандр отнял руку от подбородка и указал на темный балкон.

— Шкет их распугал, — сказал черный по имени Б-г.

Кошмар развернулся и взревел — аж согнуло колени и локти:

– Так, мудаки ебаные! Вот они мы! Охота пострелять — стреляйте! — Он оглянулся на остальных и хихикнул. — *Валяйте, сука, снимайте по одному!* — И зашагал.

Небритый прыщавый скорпион взял льва на живот, отвернул подбородок от абажура и пошел следом.

— Вы, наверху, тормозить-то харэ! Уроды вшивые, давайте, ссыкуны! Другого шанса не будет!

Это, подумал Шкет, шагая между долговязым черным (по имени Паук) и грузным (по имени Собор: Шкет замедлил шаг, пропуская Саламандра вперед, чтоб не упускать из виду), безумие. Смех; наружу выплюнут лишь осколок. Двое на него посмотрели. Шкет, ухмыляясь, потряс головой.

– Вы, наверху, — я б на вашем месте стрелял! — орал Кошмар на перила полуторного этажа. — *Что-то вы не стреляете, сраные вы, в натуре, хуесосы!* — Он разгладил лицо и сказал шагавшему рядом Жрецу: — Я слыхал, как вы с той стороны орали. Вы что там делали?

— Там кто-то был. Без оружия, по-моему. Я его загнал наверх по…

– Давай прям щас, сукин сын! — Кошмар снова повернулся к Собору: — Ага? *Давай-давай, хуесос, собрался шмалять — шмаляй!*

— …загнал наверх по лестнице.

Сеньора Испанья пинком выбила нижнюю планку витрины. Саламандр в испуге и удивлении поднял голову и заехал сапогом по ближайшей витрине — сначала верхняя полка, потом нижняя, потом еще разок с другого боку; ковер усеяли осколки и часы. Сопя, Саламандр побежал к следующей витрине. *Хрясь!* и *хрясь!* и *хрясь-хрясь-хрясь!* Глаза у всех, заметил Шкет (пытаясь

припомнить, что это значит), — красное стекло.

Еще один худой черный нахмурился на Шкета, щуря веки поверх пустых алых шаров. Сверстник Денни примерно.

– Трусливые вы зайцы все, вот вы кто!

ХРЯСЬ-ХРЯСЬ!

– Ни хера, сука, проку от вас!

ХРЯСЬ!

– Говно мое жрите!.. — Кошмар обвел всех взглядом и улыбнулся. — *Пошли в жопу! Ебитесь конем!*

Сеньора Испанья опрокинула целую витрину; та врезалась в соседнюю. Сеньора Испанья ухмыльнулась Саламандру, но он не заметил; остальные засмеялись.

— Они дверь заперли. — Кто-то подребезжал ручкой.

— Ну-ка дай, — сказал Кошмар, хватая льва.

— Ты чё, не надо…

Стекло фонтаном брызнуло на мостовую. Серая улица на миг исчезла в мириадах блестящих призм.

— Пошли!

Шкет осторожно ступал среди осколков, вспоминая: по битому стеклу ступай ровно.

Белый небритый скорпион застыл (среди

прочих, подвижных), глядя на свою лампу. Мраморная подставка раскололась надвое, абажур снесен. В конце концов он нагнулся, подхватил покалеченный предмет — упал кусок мрамора, но треснувшее основание каким-то чудом не распалось — и заковылял дальше, пиная стекло.

— Пошли… — Денни потянул Шкета за локоть.

Шкет снова зашагал.

— Ёпта, автобус! — который распух из-за угла. — Вот те раз!

Кое-кто уже стоял посреди улицы и махал руками.

Автобус подкатил к обочине. С Кошмаром во главе все набились в двери-гармошки. Толкались плечи. Между ними Шкет разглядел встревоженное лицо лысого черного шофера.

— Отвезешь нас *домой*! — говорил тощий черный, а остальные с трудом протискивались мимо. — Вот это называется поездка с комфортом, братан! Отвезешь нас…

— АААААА!.. — пронзительно и прямо Шкету в ухо.

Шкет дернулся и развернулся (хлопок выстрела? *Вот!*) — и цапнул черного скорпиона, который хлопал губами и падал. Локтем орхидейной руки зацепившись за вертикальный

поручень, Шкет забросил раненого юнца в салон. Когда тот упал, через них перелез небритый парень (еще с кем-то), уже расставшийся со своим львом, — «Вокруг-то смотри!..» Присев на верхней ступеньке, Шкет увидел, что разбитый абажур привалился к порогу. Схватился за основание абажура, забросил всю конструкцию в автобус и, когда двери закрывались, услышал *пшу-ХРЯПП!* Автобус покатился: *пшу-ХРЯПП!*

Он встал — все прочие пригибались на сиденьях или в проходах.

Даже шофер припал к рулю.

Снаружи, в окне третьего этажа на песочной стене (прямо рядом с первой золотой «и» в «Эмборики»), Шкет увидел силуэт — человек целился, вжимаясь глазом в окуляр.

Битый мрамор подпрыгнул и порезал Шкету щиколотку. Тридцать фунтов? Шкет перетащил льва на предплечье (чтоб не тупить застрявшую под ним орхидею), и тут автобус дернулся.

— На. — Щетинистое лицо задралось над сиденьем и заморгало. — На.

Скорпион обхватил льва руками — абажур совсем слетел и скакал вокруг основания, — опустил лицо, но поднял, услышав, как кто-то ахнул.

Шкет обернулся, держась за спинку сиденья.

У ног раненого скорпиона остановился Денни.

Женщина в серой шляпке, притиснутая Кошмаром к окну, сказала:

— Ой мамочки! Ой, он же сильно пораненный… — а когда Шкет на нее посмотрел, распластала ладони по стеклу и заплакала. Потом замолкла и опять села прямо, закрыв глаза.

С заднего сиденья:

— А скажите-ка…

Никто не сказал.

— …ребят, с вами чего *случилось*?

Никто не ответил.

Шкет снял орхидею и на ощупь тыкал ножом в шлевку, пока не увидел (вспомнив), что она порвалась. Поэтому повесил орхидею на цепь и присел на корточки.

– *Ыннннннннн… уааа!* В руку мне… попали. Я… *Ыннн!*

Денни поднял голову: очень голубые глаза кровавы.

– *Ыннннн*… а. Аййй?.. Ой, эй. Аййййии!..

Теплая кровь коснулась ступни Шкета и потекла по полу дальше.

— Жгут, типа, надо наложить… — предложил Денни.

— Ааййййййййй… Аааа…

— Ага.

— Держи. — Цветная девчонка с переднего сиденья перегнулась вперед и чуть не уронила шарф, когда Шкет за ним потянулся.

Пока Шкет рукоятью ножа, который кто-то ему дал, закручивал петлю ткани, скорпион стонал, как женщина в родах.

— Надо его ослаблять, — сказал он Пауку, который тоже помогал. — Раз в пять минут примерно. Чтоб у него гангрены не случилось, в таком духе. — А потом сел на пятки, подпрыгивая вместе с автобусом. Шофер глянул через плечо, потом свернул.

Кошмар, сложив руки поперек коленей, смотрел на Шкета с интересом.

— Да ты и впрямь герой. Жгут, а? Ничего так себе. Кайф, ага.

Шкет встал и собрался уже посмотреть презрительно; икры свело судорогой — слишком долго сидел в три погибели. Поэтому смотреть он не стал никак, отошел и подсел к Денни.

Через проход старик — он был в автобусе, когда тот шел в другую сторону, — прятал голову в воротник пальто и делал вид, что спит.

— Ты как? — спросил Денни. — Ты какой-то…

Шкет повернулся к пацану (еще двое, скорпион

и пассажир, как раз отворачивались); Денни тер под носом, мигал голубыми…

От воспоминания об алых глазах в фойе «Эмборики» Шкет открыл рот: глаза, что смотрели на него теперь, напряженно и сочувственно, стали страшны, как обнаруженный смысл забытого. Удивление замутило память о другом — он почувствовал, как она блекнет, попытался удержать, не удержал, — о том, что мелькнуло в зеркале. Что он мог увидеть в зеркале? Себя? Ничего больше? Я свихнулся, подумал он, точно эхом: «Это *безумие*», — сказал он там. Лишенный контекста — *что* случилось в универмаге? — он задрожал пред тем, что это могло означать. Почему я сказал «это *безумие*!»? Внутри что-то задрожало. Закачалась голова.

— Шкет?.. — а это, в отчаянии сознавал Шкет, не его имя.

Ладонь Денни лежала на его руке. Шкет это понял, потому что сейчас ладонь отодвинулась. Когда его отпустили, он попытался вспомнить, каково это — когда держат, когда застыл в тепле, что теперь рассеивалось, рассеялось. Денни снова потер верхнюю губу.

Тяжело дыша, Шкет откинулся на спинку прыгучего сиденья.

Снаружи загадочной кавалькадой проплывали маркизы кинотеатров.

4

В высоких электрических нотах бубнили, и бурлили, и плескались низкие, влажные. Металлический аккорд; еще металлический аккорд. Между ними — шорох пленки.

Шкет прочистил горло; перешло в кашель.

— Да? — Пастор Тейлор взяла карандаш за оба кончика. — Вы что-то хотели?

— Я хочу есть, — сказал Шкет. — Э… — Убрал руки с косяка полудвери. — Кто-то… Кто-то мне сказал, у вас тут раньше бывали бесплатные ужины?

— Ой, мы их довольно давно прекратили… — За спиной у нее крутились катушки — точно глаза проворачивались.

Шкет вздохнул:

— Да, я знаю…

— Вы упали… ранены?

— Чего? Нет, я… нет.

— Только есть хотите?

— Да, мэм.

— Мы правда больше не предоставляем такую услугу. Это было слишком… — Тут она уронила взгляд, втянула воздух сквозь зубы и

задумалась. — Ну, скажем, кофе? И… — Подняла голову. — Может, что-нибудь найдется… и сможете передохнуть.

— Да, мэм.

Она оттолкнула стул от стола, а сквозь музыку все ревели и скрипели колеса и подшипники.

— Пойдемте. — Трепеща черной сутаной, она направилась к двери.

Он посторонился, когда она проходила, следом за ней зашагал по вестибюлю…

— Но вы поймите, это не станет традицией. Это всего один раз: я *не* возобновляю Программы Вечерней Помощи. Только для вас и только сегодня. А не для ваших друзей завтра.

…и вниз по лестнице.

— Да, мэм.

У подножия пастор Тейлор зажгла висевший на гвоздике фонарь в железной оплетке. Высокий подоконник вровень с тротуаром был синим, стал черным. Вверх по ступеням змеился толстый кабель.

— Посмотрим, что у нас тут есть.

В подвальном зале веером легли густые тени толстых колонн. У стены штабель складных стульев. У другой — полупросевший диван. Перед закрытым занавесом сцены — пианино с обна-

женным чревом.

— У нас вечером в часовне служба. Совсем скоро. Если будете в силах, поднимайтесь к нам.

Другое высокое окно было открыто. Оттуда легонько повеяло, и вместо ответа он оглянулся. Три листика трепетали на краю подоконника; один закружился и упал. Тикнул вниз по стене, такнул по штабелю стульев и замер на исцарапанном линолеуме вдруг иссякшим неритмичным тик-так.

— Сюда. — Пастор Тейлор ждала у другой двери.

Внутри щелкнула выключателем другого фонаря в оплетке.

Позади застеленного газетами длинного стола — стена, увешанная кастрюлями, картофельными толкушками, дуршлагами, и полки, забитые громоздкой посудой приходской кухни.

— Одно время удавалось добывать хлеб. Ну, оптом. И мы делали сэндвичи с мясными консервами — у нас тогда и была Вечерняя Помощь. Но мы лишились поставщика. Без того, что всему голова, такие программы быстро увядают. Бобы слишком долго готовить, а помощников у меня не было. — Из стенного шкафчика она достала консервную банку со следами бумаги на месте содранной этикетки. — Говяжья тушенка.

Шкет взял у нее банку.

— Мы снимаем этикетки, — пояснила она в ответ на его вопросительный взгляд, — чтобы немножко сократить воровство. Не люблю вешать замки. Человек увидит на полках кучу банок без ярлыков и не поймет, крысиный яд внутри, машинное масло или горошек. Мне только нужно запоминать, где что. — Она попыталась изобразить лукавство. — У меня своя система. С походной плиткой справитесь? Вы же тут не первый день?..

— Ага, — раздумывая, сказать ли ей, что научился-то в двенадцать лет в походе.

— Кофейник горячий. Не выключаю с утра до вечера. Кофе, конечно, пью многовато. Можно вас тут оставить? Мне еще надо поработать над конспектами.

— Конечно. Спасибо вам, мэм.

— Всё вымойте; и загляните, когда будете уходить?

Он кивнул.

В дверях она, темная и широкая, нахмурилась:

— С вами точно ничего не случилось? У вас весь бок измазан.

— Чего?.. а, нет, уже все нормально, правда.

Черствой черной округлостью выпятив губы,

она отрывисто кивнула и ушла.

Оглядывая кастрюли и сковородки, он подумал: *открывашки нет* — и запаниковал.

Открывашка лежала возле плитки.

Он крутил и крутил, пока не щелкнула последняя жестяная зазубрина и заплесканная подливой крышка не стала тонуть. Глянул на плитку, на банку; а потом что-то случилось в животе. Прямо пальцами он забросил в рот куски жира, мяса и овощей, слизал холодную подливу с руки, пальцем стер потекшее по подбородку и тоже всосал.

Желудок забурлил, его дважды скрутило, и рот наполнился газом, который еще отдавал Зайкиным вином. Предчувствуя тошноту, Шкет остановился, переждал несколько глубоких вздохов. Потом вынес банку из кухни, сел на просевший диван и снова запустил руку в иззубренное кольцо.

Он жевал, и лизал, и глотал, и сосал, и лизал.

Когда медное нутро стало чистым, не считая нижнего угла, куда не лез слишком толстый средний палец, он вернулся в кухню, сполоснул банку и пустил туда дымящийся черный кофе из пластмассового крана кофейника. Жесть в ладонях раскалилась, напомнила, что левая суха,

а правая липкая.

Вернувшись на диван, держа банку между коленями, он смотрел на пар, и его уже смаривало; отпил (горячо, горько), решил, что не хочет кофе, и предоставил глазам закрыться…

— Да, он здесь, — говорила пастор Тейлор.

Шкет очнулся и заморгал. Перед тем как задремать, он все-таки поставил кофе на подлокотник дивана.

— По-моему, ему как-то не очень… ой.

Шкет взял банку в кулак, спрятался за глотком — почти остыл.

— А, — сказал мистер Новик. — Благодарю вас.

Шкет опять отставил банку на подлокотник.

— А, — повторила пастор Тейлор, но совсем другим тоном — Шкету понадобилось несколько секунд, чтобы распознать сходство, — вы поели?

— Да, мэм.

— Хорошо. — Пастор Тейлор просияла улыбкой Новику, обогнула его и сказала, уже исчезая: — Прошу меня извинить. Мне нужно обратно.

— Я страшно рад, что вас нашел! — Мистер Новик держал перед собой портфель, в лице — откровенный пыл.

— А вы чего хотели? — Тело после сна еще звенело. — Откуда вы знали, что я тут?

Новик помялся перед диваном (Шкет глянул на плюш и подумал: довольно пыльно), сел.

— Город мал, и это — очередное доказательство. Ваш друг в баре… крупный такой блондин…

— Тэк?

— Да, он. Видел, как вы сошли с автобуса и направились сюда. Он думал, вы доберетесь к Тедди. Но вы не добрались, и я решил заглянуть — вдруг вы еще здесь. Я тут не бывал. А я уезжаю из Беллоны, уже скоро. Собственно говоря, завтра утром.

— Ой, — сказал Шкет. — Он меня только что видел?.. а вы уезжаете? Эй, это жалко. — Перебарывая и звон, и вялость, он оттолкнулся от дивана и пошел в кухню. — Хотите кофе, мистер Новик?

— Спасибо, — ответил тот и окликнул в спину: — Да.

— А зачем, — через дверь, — вы меня искали?

Кофе в белой керамике плюхал и хлюпал. За дверью мистер Новик расстегивал портфель.

— Где тут молоко и сахар, я не знаю.

— Я пью черный.

Шкет поднял пластиковый краник, подставил вторую чашку для себя (тот, что в банке, холодный), и, обжигая костяшки на обеих руках, отнес кофе к дивану.

— Ой, спасибо.

— Зачем, — садясь подле Новика, — вы меня искали?

— Ну-у. Я подумал, вы захотите посмотреть. — Из клетчатой подкладки потянулись широкие бумажные ленты. — И вот. — Теперь возникла пачка черной бумаги. — И вот. Это обложка.

На толстой шероховатой бумаге — буквы по центру:

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ

Он взял эту…

— Ой, у меня руки немножко грязные…

— Ничего, это просто образец.

…взял обложку за уголок, и она вдруг изогнулась вниз, а он подпер ее другой рукой и прочел снова:

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ

— И вот гранки, вам их надо проглядеть. — Мистер Новик указал на бумаги, улегшиеся Шкету поперек колена. — К счастью, объем невелик. Тридцать шесть полос, что ли. Считая обложку. Вдруг там какие-нибудь ужасные ошибки. Печатать будут на бумаге чуть получше. Я бы кегль

сделал крупнее…

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ

— …но Роджер объяснил — и мы все, я полагаю, это понимаем, — что в Беллону журавли залетают редко и надо обходиться синицами.

— А, ну да. — Шкет оторвал взгляд от бумаги и подождал, когда название его книжки встроится в ту область сознания, что отведена реальности, а сам вычеркивал его из той области, что называется грезой. Переход дался легко, но отдавал неколебимостью и неизбежностью, с какими постигаешь насилие. Он был рад и расстроен, но смутно различал, что реакции эти сопредельны, а не последовательны.

— А это иллюстрации. Опять же — тут мы сталкиваемся с пристрастием Роджера к театральности. Честно говоря, я считаю, поэзии иллюстрации не нужны. Но он просил вам показать; в итоге-то решение за вами.

Шкет чуть было не сказал: «Тут же все черное», — но разглядел проблески на матовой поверхности.

— Черная тушь по черной бумаге, — пояснил мистер Новик. — Видно, только если поднести к

свету и посмотреть сбоку. Тогда свет преломляется тушью. Роджер считает, поскольку система метафор в ваших стихах столько заимствует у города, уместно взять самые эффектные фотографии из газеты. Но напечатал так — и, по-моему, даже не пытался соотнести конкретную фотографию с конкретным стихотворением.

Шкет кивнул:

— Хорошая мысль. — Наклонил еще одну картинку — и внезапным серебром вспыхнули контуры: горят дома, люди разинули рты, а на первом плане какой-то ребенок косится в камеру. — О да, — засмеялся Шкет и перелистал остальные.

— Можете сказать, когда удастся просмотреть гранки? «Вести» славятся опечатками. Вашу книгу набирают там же, где газету.

— Могу сейчас. — Шкет отложил иллюстрации и взял гранки. — Сколько страниц, вы сказали?

— Тридцать шесть. Я один раз прочел сам, сверил с вашей тетрадью — мы-то надеялись, что текст будет машинописный, и когда вы мне всучили тетрадь, я немножко забеспокоился. Но у вас очень аккуратные чистовики. Вы знаете, что у вас минимум четыре абсолютно разных почерка?

— И все не фонтан.

— Но печатные буквы совершенно разборчивы. — Новик пошарил в портфеле. — Вот… — И отдал Шкету тетрадь.

Она раскрылась у Шкета в руках:

Поэзия, беллетристика, драма — искусство случайного интересует меня лишь…

Шкет полистал, нашел свое стихотворение (промежуточный черновик «Элегии»), взял гранки. Передвигаясь с ленты на ленту, посмотрел, как мимо проплывает напечатанная «ЭЛЕГИЯ», и дыхание занялось. Буквы были намного резче и безмятежнее чернил на тетрадной бумаге.

Случайная строчка потащила взгляд по тексту. От слов детонировали воспоминания — и яркость их заслоняла то обстоятельство, что слова-то не его — во всяком случае, вот это… или… Зубы разжались за сомкнутыми губами; а теперь разжались и губы. Он беззвучно вздохнул. Мое стихотворение, подумал он, ужасно взволнованный, ужасно счастливый.

— Я ненароком прочел кое-какие ваши заметы. Меня всегда это забавляло — как писатели исписывают бесконечные страницы, анализируя, отчего не могут писать, — видит бог, я и сам так делаю.

— Чего?

— Очень, очень часто ваш эстетический анализ приоткрывал мне суть самых сложных задач, которые вы решали собственно в работе. — Мистер Новик поднес к губам чашку. — У вас замечательно критичный ум, и проблематику стихотворения вы постигаете весьма проницательно. Меня это сблизило с вами. И что важнее всего, разумеется, — сами стихи становятся существенно глубже в свете вашего…

У Шкета закачалась голова.

— Ой… — Он снова закрыл рот, открыл в мимолетном приливе желания, силой своей ослепительного, оставить все как есть, и пусть недоразумение преобразится в надувательство.

Новик осекся.

Проморгавшись сквозь отлив, в паузе, означавшей, что его уже раскрыли (он пошарил в осколках памяти, поискал в прошлом намерение обмануть, чтоб опереться на него сейчас, в момент откровенности), Шкет сказал:

— Все остальное… эй, я этого не писал.

Седая голова Новика чуточку склонилась набок.

— Я просто нашел тетрадку. — Отчаянное смущение схлынуло, и теперь сердце колотилось

тяжело и медленно. — Она вся была исписана, но только с одной стороны. А на оборотах я писал… свое. — В глубине глаз напоследок трепыхнулся жар.

— А, — сказал Новик, стараясь удержать улыбку на лице, — неловко получилось. Дневник писали не вы?

— Нет, сэр. Только стихи.

— А, я… что ж, видимо… ой, мне *правда* очень неудобно. — И улыбка стала смехом. — Что ж, похоже, я в очередной раз выставился в весьма дурацком свете.

— Вы? Нет, — сказал Шкет и понял, что злится. — Надо было сказать. Я, когда отдавал вам тетрадку, просто не подумал. Правда.

— Ну конечно, — сказал мистер Новик. — Нет, я лишь о том, что ваши стихи — это ваши стихи. Они сами по себе. Что бы я о них ни сказал, это их не изменит, и что бы ни сказали вы — или что бы я вам ни *приписывал*, — их не изменит тоже.

— Думаете?

Новик поджал губы:

— Вообще-то, не знаю. Но решительно не вижу, как писать поэту, который так *не* думает.

— Почему вы уезжаете, мистер Новик? — Шкет заговорил, имея в виду протянуть ниточку; но,

сказав, заподозрил, что с тем же успехом вопрос может ее и отсечь, а собственное смущение и конфуз Новика лучше больше не трогать. — Вам тут плохо удается работать? Беллона вас не вдохновляет?

Новик согласился с этим отсечением, обозначил свое согласие глотком кофе.

— Отчасти, пожалуй, так и есть. Изредка появляется нечто и напоминает мне, что я — порой я был бы рад, если бы такое происходило чаще, — все-таки поэт. Как там у мистера Грейвса? Все стихи — о любви, смерти или смене времен года[26]. Так вот, здесь времена года не сменяются. Поэтому я уезжаю. — Его серые глаза блеснули в завитках пара. — В конце концов, я же просто гость. Но обстоятельства, похоже, сговорились наделить меня другим статусом с решительно пугающей стремительностью. — Он покачал головой. — Я познакомился с очень приятными людьми, видел поразительные вещи, получил богатый опыт в изобилии — таким мне этот город и живописали. Я, разумеется, не разочарован.

---

[26] Примечания: 26

Роберт Грейвс (1895–1985) — британский поэт, романист, критик и философ; в мифологическом трактате «Белая Богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии» (*The White Goddess: a Historical Grammar of Poetic Myth*, 1948) писал: «…Единственная Великая Тема поэзии: жизнь, смерть и воскресение духа года…» (перев. В. Ахтырской).

— Но с вами происходило и неприятное?

— А бывает иначе? Нет, Роджер договорился, что меня довезут до самого Хелмсфорда. Какие-то люди готовы проводить до Лейксвилла. Там ходит транспорт. Сяду на автобус до аэропорта в Питтсблейне. И — назад к цивилизации.

— Что вам тут было так неприятно?

— Не в последнюю очередь — наша с вами первая встреча.

— У Тедди? — удивился Шкет.

Новик скривился:

— За оградой, на задах дома Роджера.

— А. А, ну да. Вы вот о чем. — Шкет чуточку сдвинулся к спинке дивана. Между полами жилета перекатился проектор. Шкет на него не глянул и смутился.

— Боюсь, — задумчиво сказал Новик, — в стенах Роджерова дома бурлят все те интриги и столкновения характеров, которые… ну, легко вообразить в подобном месте. И они мне уже наскучивают. — Он вздохнул. — Мне кажется, такие вещи всю жизнь и гонят меня из города в город. Нет, не скажу, что Беллону мне представили в ложном свете. Но даже для меня в мои годы не все ее уроки были преподаны по-доброму.

— Господи боже, — сказал Шкет. — Что ж там

творится-то, у…

— Если позволите прибегнуть к чрезмерному упрощению, — продолжал Новик (Шкет вдохнул поглубже и взял чашку), — есть две формации художников. Один всего себя отдает работе, в очень буквальном смысле; он, если и не публикуется томами, как минимум производит массу черновиков. Жизнью своей он пренебрегает, и она колеблется, и шатается, и зачастую погружается в хаос. Полагать его несчастным — наглость с нашей стороны; и равно наглостью было бы судить об истоках его несчастья, когда оно самоочевидно. Скажем спасибо за то, что он существует: он наделяет искусство романтикой и энергией, в глазах юношества он придает искусству потребную притягательность, без которой невозможно взросление. Если он писатель, он швыряет свои слова в заводи наших мыслей. От метких бросков поднимаются гигантские валы, что блистают и вспыхивают в сиянии нашего сознания. Вы, американцы, — об австралийцах уж не говоря — страшно любите такого художника. Но есть и другая традиция, более европейская — и одна из немногих, которые Европа разделяет с Востоком; она включает в себя Спенсера и Чосера, но исключает Шекспира, включает кавалеров и метафизи-

ков, но минует романтиков — и художник такой формации всего себя отдает жизни, проживанию некоего отточенного идеала. В некую минуту своего прошлого он узнал, что он… ну, допустим, поэт; что определенные ситуации, определенные схождения ситуаций — обычно слишком сложные и не вполне доступные его пониманию, ибо они благоприятным манером переплетают осознанную волю с бессознательной страстью, — в общем, нечто то-ли-порождает-то-ли-допускает стихотворение. Он посвящает себя проживанию цивилизованной — согласно его представлениям — жизни, в которой есть поэзия, ибо поэзия — элемент цивилизации. Рискует он не меньше своего собрата. Работ он обычно производит меньше, паузы между ними продолжительнее, и ему постоянно приходится учитывать, что, быть может, впредь он не напишет ни строки, если так продиктует ему жизнь, — немалую долю цивилизованных усилий он тратит на смирение с незначительностью своего искусства, на подавление своей склонности к драматизму, в коей честолюбие играет лишь незначительную роль. Он стоит к заводи гораздо ближе. Он не швыряет. Он роняет. И меткость здесь тоже первостепенна: одни люди попадают в яблочко с четверти мили,

другие мажут с десяти футов. Но если меткостью он не обделен, узоры ряби, что вызывает такой художник, бывают гораздо причудливее, даже если изначально его броску и недостает силы. Он в гораздо большей степени жертва окружающей цивилизации; величайшие его труды рождаются в периоды, которые историки искусства пошло именуют «благоприятными для производства эстетической продукции». Я говорю, что к заводям он стоит очень близко; более того, почти всю жизнь он просто вглядывается в них. Я сам стремлюсь быть художником второй традиции. Я приехал в Беллону из любопытства. И вижу, что вся местная культура — великодушия от меня не ждите — совершенно паразитическая… сапрофитная. Она заражает — даже внутри тщательно замкнутого на замóк поместья Роджера. Она не благоприятствует хорошей жизни, как я ее себе представляю, а посему, пускай и лишь в третью очередь, подрывает мои устремления к искусству. Я хочу быть хорошим человеком. Но здесь это слишком сложно. Подозреваю, что это трусость, однако правда.

Кофе, пробуждая воспоминание, которому не суждено разрешиться, снова был холоден на языке.

— Мистер Новик, — Шкет проглотил и задумался, — вы как считаете, плохой человек может быть хорошим поэтом?.. или это глупый вопрос?

— Не глупый, если это говорят ваши сомнения в себе. Ну, мы *подозреваем*, что Вийон совершил убийство и окончил жизнь на виселице. Но — и до чего ужасающе непопулярна эта гипотеза — вполне могло быть и так, что он просто писал о других людях, его окружавших; а угодив из-за них в беду, ушел из дурной компании, бросил писать, сменил имя и скончался мирным буржуа в городке по соседству. С позиций сугубо практических — и оценить их способен только тот, кто пишет неплохо, — я бы сказал, что это труднодостижимо. Но заявить, что невозможно, — абсурд. Я, честно говоря, понятия не имею.

Шкет поднял голову и с изумлением увидел, что пожилой господин улыбается ему в лицо.

— Однако вопрос продиктован вашим природным идеализмом. — Новик слегка развернулся на диване. — Все хорошие поэты склонны к идеализму. Они также зачастую ленивы, желчны и жаждут власти. Сведите двух поэтов — и разговор непременно зайдет о деньгах. Я подозреваю, лучшими своими стихами поэты тщатся примирить себя, как они есть, со своим представлением о

том, чем они должны быть, — втиснуть то и другое в одну вселенную. Мне и самому безусловно присущи три перечисленных качества, и я знаю, что зачастую ими обладают очень дурные люди. Однако победа над ленью, я подозреваю, лишит меня чутья на экономию языковых средств, каковая есть основа стиля. Если я одолею свою язвительность, навеки выбью ее из себя, я боюсь, работа моя лишится остроумия и иронии. Если я одержу победу над своим стремлением к власти, над жаждой славы и признания, я думаю, из моей работы уйдет психологическая глубина, не говоря уж о сочувствии к другим обладателям тех же изъянов. Если вычеркнуть все три, работе останется лишь правда, а она тривиальна без этих троих, что укореняют ее в мире, который нам дан. Тут мы подбираемся к свершению зла против способности вершить зло, к вопросам невинности, выбора и свободы. Что ж, в Средние века религия зачастую умела оправдать искусство. Ныне, однако, искусство — чуть ли не единственное, что умеет оправдать религию, и церковники не простят нам этого никогда.

Новик глянул в потолок и покачал головой. С лестницы долетала приглушенная органная музыка. Новик заглянул в портфель.

— На самом деле я, наверно, хотел спросить… — Большой палец оставил пятно на полях гранок; миг паники. — Как вы думаете, — и четыре пальца взмахнули, оставив отметины на бумаге, — они хороши? — Будут и другие экземпляры, утешил он себя. Будут и другие. — Вот если по-честному.

Новик втянул воздух сквозь зубы и поставил портфель на пол, прислонил к ноге.

— Вы совсем не постигаете, до чего это абсурдный вопрос. Некогда я в подобной ситуации всегда автоматически отвечал «нет», «я считаю, они никуда не годятся». Но с возрастом я понял, что просто-напросто карал вопрошавших за их глупость, а «честен» был лишь в самом семантически вульгарном смысле. Я вообще не могу рассуждать о поэзии в таких абсолютных терминах — «хорошая», «плохая» — или даже в более гибких, которые, вероятно, вас бы устроили, — «хорошо написано» или «плохо написано». Возможно, это потому, что я страдаю всеми эстетическими недугами современности, которая превозносит никудышное и закрывает глаза на достойное. Ну, эти недуги буйствуют в любую эпоху. Но вы уж, пожалуйста, не вычеркивайте и другую версию: возможно, поэзия значит для

меня слишком много, отчего я и не могу опошлить ее, как вы просите. По сути дела, проблема тут в ландшафте. Надеюсь, я уже ясно дал понять, с каким наслаждением наблюдал вашу систему взаимодействия с вашей поэзией — как я ее понял и, к стыду моему, недопонял. Если моя отчужденность оскорбляет вас, вдумайтесь, до чего сложно она устроена. Но давайте я приведу пример. Знаете Уилфреда Оуэна? — Дожидаться кивка Новик не стал. — Как многие молодые люди, он писал стихи во время Великой войны; войну эту он, похоже, ненавидел, однако воевал и, будучи моложе вас, погиб под пулеметной очередью, пытаясь переправить свой взвод через канал Самбра. Считается величайшим англоязычным военным поэтом. Но как его сравнивать с Оденом или О'Харой, Кольриджем или Кэмпионом, Райдинг или Рётке, Родом или Эдвардом Тейлором, Спайсером, Эшбери, Донном, Уолдмен, с Байроном, или с Бер-

риганом, или с Майклом Деннисом Брауном?[27] Пока война — как переживание или понятие — неувядающий образ, Оуэн — неувядающий поэт. Если бы войну упразднили и забыли, Оуэн остался бы мелкой фигурой, интересной лишь как сугубо филологическое явление в развитии языка, повлиявшее на фигуры более актуальные. Так вот, ваши стихи обвивают нутро, обнимают этот город, как стихи Кавафиса выкручивают и преломляют Александрию накануне Второй мировой, как стихи Олсона вплетаются в океанский свет Глостера середины века[28] или стихи Вийона — в средневековый Париж. Спрашивая, чего стоят ваши стихи, вы спрашиваете, какое место образ этого города занимает в умах тех, кто никогда здесь не бывал. Откуда же мне знать?

---

[27] Примечания: 27

Уистен Хью Оден (1907–1973) — англо-американский поэт, одна из крупнейших и влиятельнейших фигур в мировой поэзии XX в. Фрэнсис Расселл О'Хара (1926–1966) — американский поэт, писатель, музейный куратор и арт-критик, представитель авангардной «нью-йоркской школы». Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834) — английский поэт, философ и критик, представитель «озерной школы», один из основателей английского романтизма. Томас Кэмпион (1567–1620) — английский поэт-лирик, композитор и врач. Лора Райдинг (Лора Райхенталь, 1901–1991) — американская писательница, поэтесса и критик, соратница Роберта Грейвса, оказавшая на него влияние (что, в частности, отразилось в его трактате «Белая Богиня»); в 1941 г. бросила писать стихи. Теодор Хюбнер Рётке (1908–1963) — американский поэт и преподаватель теории стихосложения, лауреат Пулитцеровской (1954) и Национальной книжной (1959 и 1965) премий. Род Тейлор (Родерик Тейлор, Родерик Фолконер, р. 1950) — американский поэт, сценарист,

телевизионный режиссер и продюсер; получил премию Американской поэтической академии за свой первый сборник стихов *Florida East Coast Champion* (1972). Эдвард Тейлор (ок. 1642–1729) — американский колонист, поэт-метафизик, врач и священник. Джек Спайсер (Джон Лестер Спайсер, 1925–1965) — американский поэт, связанный с периодом «сан-францисского ренессанса», предтеча авангардного течения «L=A=N=G=U=A=G=E». Джон Лоренс Эшбери (1927–2017) — американский поэт-постмодернист. Джон Донн (1572–1631) — английский поэт-метафизик и проповедник, настоятель лондонского собора Святого Павла. Энн Уолдмен (р. 1945) — американская поэтесса и писательница, связанная с битниками и «нью-йоркской школой». Тед Берриган (1934–1983) — американский поэт второго поколения «нью-йоркской школы». Майкл Деннис Браун (р. 1940) — американский поэт и либреттист.

[28] Примечания: 28

Чарльз Олсон (1910–1970) — американский поэт, представитель модернизма второго поколения, предтеча битников, «нью-йоркской школы», «сан-францисского ренессанса»; Глостер, штат Массачусетс, обильно фигурирует в его поэме *The Maximus Poems* (1960).

Временами я брожу в этом ужасающем тумане, и мне чудится, будто улицы эти — фундамент всех столиц мира. А временами, должен признаться, весь город видится мне бессмысленной и безобразной ошибкой, которая вовсе не имеет отношения к тому, что я почитаю за цивилизацию, и лучше не покинуть его, а стереть с лица земли. Я не могу судить — я по-прежнему внутри. Честно говоря, я не смогу судить и вырвавшись отсюда, ибо некогда здесь гостил и предвзятость никуда не денется.

Услышав молчание, посреди второго стихотворения в гранках Шкет поднял голову.

— Ценность нашей работы? — (Шкет снова опустил глаза и вернулся к чтению.) — Те, кто ничего не создает, неизменно полагают, что на некоем зачаточном уровне создателю она ведома. Но список нобелевских лауреатов, к которому я так близко подбирался уже трижды, ныне забит посредственностями, лишенными ясности и глубины, невнятными и неважными; их восхваляли при жизни, и умерли они наверняка в убеждении, что им удалось существенно развить свой язык. Ваша мисс Дикинсон умерла, равно убежденная, что никто никогда не прочтет ни одного написанного ею слова, а она — один из ярчайших

поэтов вашей страны. Художник просто-напросто не может доверять публичным знакам почета. А приватные еще обманчивее.

Шкет перевернул очередной лист.

— Вы разговариваете сам с собой. — Не поднимая глаз, он гадал, какое у Новика лицо.

— Безусловно, — сказал тот после затянувшейся паузы.

— Вы правда боитесь, что ваши тексты никчемны.

Новик помолчал.

В этом молчании Шкет подумал было глянуть на него, но не стал.

— Когда я не пишу, у меня нет выбора: я *обязан* считать их никчемными. Но когда я работаю — пишу, правлю, леплю и полирую, — я, по той же логике, вынужден считать, что ничего важнее в мире нет. И любой другой подход вызывает у меня сомнения.

Теперь Шкет поднял голову; гримаса, покидавшая лицо Новика, была серьезна. Но ее уже сменяли приметы смеха.

— Ах, когда я был молод, совсем юн, каким мне прежде виделись вы, помнится, я с невероятным усердием трудился над переводом «Le Bateau

ivre»[29]. И вот на почтенном, хотя и несколько многословном пороге старости, вчера вечером, когда все разошлись, я сидел и работал в парадной библиотеке Роджера — при керосиновой лампе, электричества в том крыле уже нет — над «Le Cimetière marin»[30]. Совершенно такой же порыв. — По-прежнему смеясь, он покачал головой. — Нашли ошибки?

– *Э*, — сказал Шкет. — На первых трех листах нет.

— Я вчера весь день и почти весь день сегодня сверял их с вашими чистовиками. Кое-где задавал вопросы. Вы до них доберетесь.

— Где?

— Первый ближе к началу. — Новик отставил чашку и склонился над плечом Шкета. — На следующей полосе. Вот. Это то стихотворение, которое у вас на голубом листке, отдельно, просто в тетради лежало. Вам его, я так понял, кто-то другой записал. Вы, часом, не хотели поставить запятую в третьей строке? Я сверил с версией в

---

[29] Примечания: 29

«Пьяный корабль» *(фр.)* — стихотворение (1871) французского поэта-символиста Артюра Рембо.

[30] Примечания: 30

«Кладбище у моря» *(фр.)* — стихотворение (1920) французского поэта-символиста, эссеиста и философа Поля Валери.

тетради, и запятой нигде нет. Если б не фразировка, я бы и не…

— В тетради-то запятая вроде есть? — Шкет нахмурился и полистал рукописные страницы. Глаза спотыкались на словах, тщась не застревать в промежутках, пока он не отыскал нужную. — Нету. — Он поднял голову. — Я *думал*, что вписал.

— То есть она там и вправду нужна. Вот, возьмите карандаш. Вычеркните знак вопроса у этой строки, и все. Я подозревал, что вы… что такое?

— Я думал, что поставил запятую. А я не поставил.

— Ой, да я постоянно вижу, что напропускал слова, хотя был уверен, что в первой версии они были…

— Вы…

Мистер Новик хотел задать вопрос, смутился его и снова перевел взгляд на строку.

— …просто прочли и поняли, что я хотел там запятую?

Новик начал было произносить несколько вещей разом, но умолк (легонько кивнув) еще до голоса, будто ему стало любопытно, какое выйдет молчание.

Две эмоции когтями драли изнанку Шкетова

черепа. Страх — и в него Шкет вгляделся пристально: это что, вегетативные нервы чудят, и потому поясница повлажнела, сердце заколотилось, колени заходили ходуном, как моторы? Это же просто запятая, я где-то посеял мельчайший осколок молчания — всего-навсего паузу. А дрожу, как свечи у Тедди в баре. И радость, что смела и стерла этот страх, — радость от почуянной общности. (Новик понял!) Пытаясь обуздать эту радость, Шкет сказал себе: там две фразы — чего бы Новику и не понять? Опустил голову, собрался продолжить; глаза повлажнели, и чувство разодрало такую логику в клочья. А заодно и тьму, что гнездилась под нею. Он ждал, что от их столкновения пойдет волна. Но точно два водоворота, крутящихся в разные стороны, они слились — и погасили друг друга. Он моргнул. На тыл ладони с ресниц плеснула вода.

Плечо сзади то и дело принималось ныть — года три-четыре назад эта боль ставила его в тупик: пульсировала часами или даже сутками, а потом в мгновение ока проходила и не возвращалась, как ни тычь и ни изворачивайся. У него уже годами не…

Напрягая плечо, он прочел следующее стихотворение, и образы сталкивались в глубине глаз

— суть и структура знакомы, фактура чужеродна, чужеродна и тяжеловесна. Он то и дело зажмуривался, чтобы дочитать строчку в уме; глаза открывались и дочитывали ее на странице, где она требовала новых вспышек. Стеклянные шкатулки прозрачными крышками прихлопывали оглушенные чудеса. Все было безвредно, и это так ужасало, что сердце пульсировало в ямке под горлом, словно Шкет один за другим глотал камни.

— Мистер Новик?

– *Ммм?* — Зашелестели бумаги.

Шкет посмотрел.

Новик листал иллюстрации.

— Мне кажется, я больше не буду писать стихи.

Новик перевернул очередную черную страницу.

— Вы читаете, и вам не нравится?

Шкет отслоил следующую бумажную ленту. Первые два слова в первой строке первого стихотворения переставлены местами…

— Держите! — Мистер Новик протянул ему карандаш. — Нашли ошибку? — Он засмеялся: — Ну тише, *необязательно* так вгрызаться! Погодите! Бумагу порвете!

Шкет расправил плечо, распрямил хребет и

расслабил пальцы на желтой палочке. Снова задышал.

— Они же поправят, да?

— Ну конечно. Вы затем и проверяете.

Шкет прочел и вспомнил:

— То, что мне нравится, — оно, ну… — Он потряс головой, поджал губы. — Я тут ни при чем: как будто кто-то другой писал про то, о чем я когда-то думал. Довольно странно. А то, что мне не нравится, — ну, как я писал это, я *помню*, о да, — одно слово, потом второе, потом третье.

— Тогда почему вы больше не будете писать?..

Но Шкет нашел еще ошибку.

— Возьмите, — сказал Новик. — Вы бы положили гранки на тетрадь — так писать легче.

Когда Шкет добрался до середины следующей ленты, Новик задумался вслух:

— Может, оно и к лучшему, что больше вы ничего не напишете: иначе вам пришлось бы вникать во всякую скукотищу — отношения с читателями, отношения между вашей личностью и вашей поэзией, отношения между вашей поэзией и всей поэзией до нее. Вы сказали, что не писали этих заметок, и я все пытаюсь понять, случайно так вышло или это осознанная отсылка: вам удалось почти дословно воспроизвести одну мою

любимую строку из «Метаморфоз» в переводе Голдинга.

– *Ммм?*

— Вам знаком этот текст?

— Большая бело-зеленая книжка, мягкая обложка? Ими Шекспир в некоторых пьесах пользовался. Я прочел где-то первую половину. Но ни одной строки не вспомню — во всяком случае, нарочно. Может, нечаянно так получилось?

Мистер Новик кивнул:

— Вы меня поражаете. И я подозреваю, моя узколобость выдает во мне довольно мелкую личность. А та строка, о которой говорю я, все равно из последней книги. Вы до нее не добрались. Скажите, а *кто*, по-вашему, должен читать ваши стихи, когда они выйдут?

— Ну, видимо, те, кто… короче, все, кто любит стихи.

— А вы любите?

— Ага. Я их читаю, наверно, больше всего.

— Да, это меня не удивляет.

— Знаете, в книжных возле школ, или в Нью-Йорке, в Виллидж, или в Сан-Франциско — там целые отделы поэзии. Много чего можно прочесть.

— Почему стихи?

Шкет пожал плечами:

— Они обычно короче рассказов.

Новик явно глотал смех. Шкет смутился.

— И больше вы писать не будете?

— Слишком сложно. — Шкет опустил взгляд. — В смысле, если так и дальше, меня это, по-моему, убьет. Я раньше не писал, поэтому не понимал.

— Это грустно… нет, я могу честнее. Это страшно — художнику смотреть, как другой художник, любой другой художник отворачивается от искусства.

— М-да. — Шкет поднял глаза. — Я понимаю. Я понимаю, правда. И мне жалко… жалко, что я вас так пугаю. Что такое? Ну что с вами такое?

— Ничего, — покачал головой Новик.

— Мне жалко, что я вас пугаю, — повторил Шкет. — Последний стих… — Он перебрал гранки. — Вот вы что скажете? В сравнении с остальными?

— Метрический? Ну, он же не закончен. Мы напечатали до того места, куда дошли вы. Я как раз хотел поинтересоваться…

— А то, что уже есть, вам понравилось?

— Честно говоря, по-моему, он слабее многих других. На четвертый или пятый раз я увидел, что ткань его способна расцвести очень богато.

Но язык не такой изобретательный. И не такой чистый.

Шкет кивнул.

— Естественный ритм речи, — вслух задумался он. — Я должен был это написать. И получилось довольно фигово, да? Нет, вряд ли я еще что-нибудь напишу. И вдобавок, вряд ли меня еще когда-нибудь напечатают?.. — И он вопросительно задрал бровь.

Новик, поджав губы, поразмыслил.

— Я бы мог ответить: я, если честно, считаю, что думать об этом незачем. Или что, помнится мне, между моим первым сборником стихов и вторым прошло лет одиннадцать. Или что вы, по-моему, просите подтвердить то, что не имеет отношения к поэзии.

— А еще что вы могли бы ответить?

Губы у Новика разжались.

— Я бы мог ответить: «Да, возможно, вас больше не напечатают».

Шкет мимоходом ухмыльнулся и вернулся к гранкам.

— Очень глупо брать на себя такие обязательства — будете писать, не будете писать. Если написали это, напишете еще. А если пообещаете себе не писать, будете страдать, нарушив обеща-

ние, вот и все. Да, немалая часть меня противится тому, что художник бросает искусство. Но сейчас говорит другая часть. Уверяю вас.

Мыслями Шкет обратился к Ланье.

Отодвинул эти мысли, задумавшись: «Метаморфозы» в переводе Голдинга? Он видел книжку на дюжине полок в дюжине книжных, столько же раз брал в руки, прочитывал заднюю обложку, первую страницу предисловия, пролистывал страницы три-четыре, не в силах одолеть больше трех-четырех строк на каждой. (И та же история, сообразил он, вышла с «Паломничеством».) Первая *половина*? Да он и страницы подряд не осилил! Поэзия, подумал он. Если она подталкивает меня вот так врать, надо ее бросить.

Последние полдюжины листов Шкет правил в тишине, пропитанной виденьями. Перевернул листы обратно, схлопнул с шорохом сухих перьев.

Привалился к подлокотнику (дышал он потихоньку; но прохладу дыхания чувствовал только левым уголком верхней губы) и посмотрел на пачку бумаги на коленях. Я только что поправил последние полдюжины листов, подумал он; плечи устали до изнеможения. В суставах пальцев пульсировала боль. Он разжал хватку

на карандаше.

На титульной странице, разглядел он теперь, значилось:

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ

АВТОР:

Он было заулыбался; мускулы рта не выпустили улыбку наружу.

Мистер Новик, уходивший в кухню, вернулся с новой дымящейся чашкой.

— Наверно, — и тут улыбка прорвалась, — «Автора» с титула надо убрать.

— А. — Мистер Новик задрал подбородок. — Тут мы переходим к странному вопросу. Я поговорил с вашим другом мистером Люфером. И он мне рассказал про…

— Да это ничего, — сказал Шкет. — По-моему, хорошая мысль — выпустить без подписи. Анонимно.

— Мистер Люфер сказал, что вас — весьма колоритно — многие друзья зовут «Шкет»?

— Так получится глупо, — сказал Шкет. — «Стихи Шкета». По-моему, лучше вообще ничего. — Где-то в глубинах, под причиной улыбки, зарождалось смущение. Он вздохнул, но улыбки

не выключил.

Мистер Новик серьезно ответил:

— Если вы правда так считаете, я передам Роджеру. Досмотрели?

— Ага.

— Быстро вы. И как?

– *Э*… нормально. Не так уж много ошибок.

— Это хорошо.

— Возьмите.

— Вы уверены, что не хотите сохранить тетрадь?

Тетрадь снова раскрылась на середине. Шкет положил бумаги на колени. Спасаясь от растерянности, взглядом вобрал первые строки на странице:

> *Поэзия, беллетристика, драма – искусство случайного интересует меня лишь постольку, поскольку беллетристика соприкасается с жизнью; ой, нет, не в вульгарном автобиографическом смысле – скорее на уровне наипрозрачнейшего соответствия. Вдумайтесь: если автор, проходя мимо зеркала, в один прекрасный день увидит не себя, а персонажа собственного сочинения, он, может,*

удивится, может, даже усомнится в здравости своего рассудка, но некую точку соприкосновения все-таки найдет. А допустим, проходя мимо зеркала с той стороны, персонаж оглянется и увидит, как на него смотрит не он, но автор, абсолютный незнакомец, с которым у него нет никаких точек соприкосновения, – что бедняге тогда

Новик тем временем говорил:

— Сейчас вы так уверены, что больше не хотите писать. Но не сомневайтесь, вдохновение возвратится — прилетит, как ангелы Рильке, и будет до того огорошено небесным своим странствием, что совершенно запамятует, какую весть ему доверили сообщить, однако сообщит ее одним своим дивным присутствием…

— Возьмите! — Шкет сунул ему гранки и тетрадь. — Пожалуйста, заберите! Пожалуйста, заберите всё. Может быть… Ну, вдруг вы захотите еще что-нибудь проверить. — Он смотрел, как протянутые руки раскачиваются в такт грохочущему сердцу.

— Хорошо, — сказал Новик. — Нет, тетрадь оставьте себе. Вам она еще может пригодить-

ся. — Он взял гранки и подтянул портфель на бедро. — А это я сегодня отнесу Роджеру. — Бумаги зашуршали в портфель. — Мы с вами, вероятно, больше не увидимся. Я понятия не имею, сколько времени займет печать. Жалко, что не смогу проследить до конца. — Он защелкнул последнюю защелку. — Когда будет готово, Роджер наверняка пришлет мне экземпляр — уж не знаю, как у вас тут работает почта. До свидания. — Он протянул руку. — Наше знакомство, наши разговоры доставили мне много радости. Попрощайтесь за меня со своей подружкой?..

Шкет его руку пожал:

— Да, сэр. *Э*… спасибо вам большое.

Тетрадь валялась на полу, уголком заползла на его босую ногу.

Новик пошел к лестнице.

— До свидания, — повторил Шкет в тишину.

Новик кивнул, улыбнулся, вышел.

Шкет подождал, когда снова мигнет неприятное воспоминание. Сердце утихло. Шкет схватил кофейные чашки и направился в кухню.

Взялся их мыть и вскоре заметил, как силен напор воды. Пальцем провел по кромке керамики. Вода на эмали шипела.

Кто-то взял диссонансный аккорд на пианино.

Заинтересовавшись, Шкет выключил воду. Чашки брякнули о шкафчик. Шкет зашагал, и под ногой скрипнула половица; а он хотел гробовой тишины.

В затемненном углу зала перед медной механикой стоял некто в рабочей одежде. Оранжевые сапоги и комбез мимолетно напомнили женщину, которая, стоя на стремянке, меняла уличную вывеску.

Фигура повернулась и пошла к дивану.

— Ий… — густой стертый голос, легкий кивок и улыбка еще легче: Джордж Харрисон взял старый номер «Вестей» и опустился на диван, скрестил ноги и открыл газету.

— Привет. — Шкет слабо расслышал органную музыку.

— Те тут' п'лож'но б'ть-то? — Харрисон выглянул из-за газеты.

Естественный ритм английской речи; нет, подумал Шкет, никак невозможно.

— Ты *уверен*, что тебе тут положено быть? — повторил Джордж.

— Меня привела пастор Тейлор. — (Глупо, решил он, даже пытаться.)

— Потому как, если тебе *не* положено, она взъерепенится. — Харрисон улыбнулся — в

неровном пигменте губ прорезался крапчатый костяной полумесяц. — Видал тебя в баре.

— Точно, — улыбнулся Шкет. — А я тебя — на плакатах по всему городу.

— Видал плакаты? — Харрисон отложил газету. — Ребята, которые их делают, — они чутка… — он потряс рукой, — сам понимаешь.

Шкет кивнул.

— Но хорошие. Хорошие ребята. — Он покачал головой и ткнул в потолок. — Она не любит, когда тут скорпионы. Ты уверен, что тебе тут положено быть? Мне-то до фонаря, раз она сказала, что все путем.

— Я есть хотел, — сказал Шкет. — Она сказала, мне можно поесть.

— А. — Харрисон развернулся на диване. Зеленый комбинезон открыт до талии, под ним синтетическая поло с обтрепанным воротником. — На службу пришел?

— Нет.

— Скорпионы на службу, сука, и не ходят. Вы на хера надеваете это говно? — Харрисон засмеялся, но погрозил пальцем. — Да ничё, ничё.

Шкет поглядел на крупные морщинистые костяшки — как будто трещины в черной земле.

— А что там за служба?

— Да я хожу, потому как она говорит, чтоб я, пожалуйста, приходил, ну и я, знаешь, прихожу иногда. — Харрисон покачал головой. — С Джексона, это где… — тут Шкет не въехал, — понял?

Шкет не понял, но кивнул. Потом ему стало любопытно, и он переспросил:

— Что ты сказал?

— На Джексоне. Знаешь Джексон?

— Да, само собой.

Но Харрисон опять смеялся.

Он, подумал Шкет, *становится богом*, — хотел посмотреть, что родится из такого тона мысли. Перед внутренним взором роились видения Джун.

Но Джордж встал, уронив газету. Белые листы распустились и опали — один на диван, прочие на пол.

— Это тебя, что ли, Шкетом зовут? Да?

Шкета объял ужас — что за идиотизм, подумал он, потому что не понял, чему ужаснулся.

— Болтают про тебя. Я слыхал. Слыхал, чего болтают. — Опять погрозил палец. — Ты не в курсах, кто ты есть. Я слыхал.

— Тут все только и делают, что болтают, других занятий нет, — ответил Шкет. — Сам-то в курсах? Врубаешься, нет?

Черная рука поползла сверху вниз по ткани комбинезона. Зелень пошла морщинами.

— Не нравится тебе тут, что ль?

— Да нет, — сказал Шкет. — Мне нравится… а тебе нет?

Харрисон кивнул, оттянув щеку языком.

— На Джексон заглядывал когда? — Язык обмахнул губы.

— Мимо проходил.

— Черных каких знаешь тамошних?

— Нет. Ну, Пола Фенстера…

— А, ну да.

— Но не знаю, где он живет.

— Приходи как-нибудь, повидаемся, ага?

— Чего? — Шкет, кажется, не расслышал последних слов, обернутых этим голосом с ворсом длиннее, чем на бархате.

— В гости приходи, говорю.

— А. Да. Спасибо. — Шкет опешил. Копаясь в этом ощущении, обнаружил два вопроса о рифмованных вещах, но вопросы запрудил прилив смущения. Так что он ничего не спросил, только сощурился.

— Шкет… — окликнула она с лестницы позади. А потом совсем другим голосом: — Джордж… приветик, милый!

Шкет обернулся:

— Эй!..

Джордж перекрыл его голос:

— Приветик… — а затем, тоже щуря глаза: — Нукась, а это ж твой мужик, не? Про которого в баре только и толков… ну ебёнть! Я когда последний раз с твоей бабой виделся, ей сказал — приводи, мол, мужика, в гости ко мне загляните, слышь?

Ланья сошла по ступеням; Джордж зашагал к ней.

— Слушай, — сказала Ланья, — я тебя с самого парка не видела.

— Раз надо дважды приглашать — ну, значится, приглашу дважды, — сказал Джордж, уже поднимаясь по лестнице. — Только мне щас к пастору надо. Кароч, один из вас пускай другого притащит. — Джордж кивнул Шкету.

– *Э*… спасибо, — кивнул Шкет в ответ.

— До скорого, — сказал Джордж.

— А то, — сказала Ланья.

Они разминулись.

Джордж ответил фальцетом:

– *Уууууууу*, — и звук раскатился смехом. Смех дымом взметнулся до потолка. Джордж взобрался в это облако.

Ланья от подножия лестницы спросила:

— Ты где был? — и молча моргнула раза на четыре или пять больше, чем обычно, решил он.

— Я… я тебя утром потерял. Искал. Не нашел. В коммуне и в баре. Что случилось? Куда все делись?

В ее глазах был вопрос. Ее губы потерлись друг о друга, не раскрылись.

— Хочешь кофе? — от неловкости спросил он и пошел в кухню. — Я принесу кофе. Там готовый есть.

Подошел к кофейнику, взял чашку, дернул рычажок.

— Ты тоже Тэка видела? Ты откуда знала, что я здесь? — Вдоль кромки пузырился янтарь; черная жидкость исходила паром. — Вот, дер… — Он повернулся и удивился, что она стоит у него за спиной.

— Спасибо. — Она взяла чашку. Под ее опущенными глазами всплеснул пар. — Тэка я видела. — Она отхлебнула. — Он сказал, что ты, может, здесь. И что тебя ищет мистер Новик.

— Он только что ушел. Приносил мою книжку. Гранки, со стихами. Уже всё набрали.

Она кивнула.

— Расскажи, чем занимался.

— Довольно чудной был день. — Он налил

кофе и себе, в процессе решив, что с кофе уже перебрал. — Очень чудной. Когда ты ушла, я тебя искал. А тебя нигде не было. Я помылся в сортире. Пошел в лагерь, а тебя там нет. И все разбежались. — Он положил руку ей на плечо; она слабо улыбнулась. — Скорешился со скорпионами днем… нет, вечером. Довольно странно получилось. Одного парня подстрелили. Мы ехали на автобусе, а у него кровь шла. И я все думал, что они с ним будут делать? Куда его повезут? Врачей-то нигде нет. Мы даже ему жгут на руку наложили. Сил никаких не было. И я вышел из автобуса. И сюда. Потому что хотел есть. Весь день не жрал, только пинту вина, сука, выхлебал на завтрак.

— Ты тут поел? — Она заглянула ему за одно плечо, за другое. — Это хорошо.

— А ты чем занималась?

На ней была белая блузка, чистая, но неглаженая, — он этой блузки раньше не видел. Ланья шагнула под лампочку, и стало видно, что джинсы у нее довольно новые — еще различимы складки.

— Одежду сегодня нашла? — Следом за ней он зашагал в пустой зал.

— Вчера. В чулане, в доме, где сейчас живу.

— А ты времени не теряла. Прямо подыскала дом?

— Дня три назад.

— Господи, — сказал Шкет, — когда ты успела? Я же вроде одну тебя почти не оставлял — когда ты успеваешь хотя бы в уборную, блин, сходить, не говоря уж дом найти…

— Шкет… — На этом слове она развернулась, оперлась на подлокотник дивана. Снаружи вновь — пронзительное эхо. — Шкет, — гораздо тише. — Я тебя не видела *пять* дней!

— Чего? — Пятку на полу и пятку в сапоге закололо. Покалывание поднялось по ногам, растеклось по бедрам. — В каком смысле?

— В смысле — «в каком смысле»? — неловко заговорила она, продравшись через три разных тона. — Ты где был? — Голос стряхнул неловкость — осталась одна обида. — Ты почему ушел? Чем столько времени занимался?

Какая-то мелюзга взобралась между ягодицами, вскарабкалась по ребрам, уселась на плечо, взялась кусать за шею, и пришлось пригнуть подбородок. Дорожки пота внезапно похолодели.

— Ты меня разыгрываешь, да? Как с лунами?

Она не поняла.

— В ту ночь, когда появились луны, мы потом

про них разговаривали, и ты притворилась, что луна была одна, а мне всё померещилось. Ты меня сейчас опять вот так разыгрываешь?

— Нет! — Она затрясла головой, оборвала жест на середине. — Ой, нет…

Щеки у него были как игольницы.

— Шкет, что с тобой *было* с тех пор, как мы виделись?

— Мы проснулись, а вокруг нас эти сволочи стояли, да?

Она кивнула.

— Потом ты ушла, а я… ну, я еще там побыл и пошел в сортир мыться. Я, наверно, очень долго мылся. Надо было поскорее… Но там был парень один, Перец, скорпион. — Покалывание в ступнях стихло; тело как будто наполняли холодной водой. Она поднялась до колен. — Мы с ним пошли в лагерь, только там уже никого не было.

— Джон и Милли перевели коммуну только назавтра после того, как мы с тобой виделись; решили, что так безопаснее.

— Потом мы пошли к Тедди тебя искать. Но Тедди еще не открылся. И я выпил море вина с Зайкой — это который там танцует, знаешь? Попросил Зайку всё тебе передать.

Она кивнула:

— И Зайка передал… позавчера!

— Нет, — сказал Шкет. — Потому что я просил сегодня утром. — Вода поднялась до паха, заполнила мошонку; мошонка съежилась. — Потом я ушел и попал в этот универмаг в центре. И там встретил парней, и мы вломились в универмаг. Там люди жили. Мы выбрались. Но эти люди подстрелили одного парня. Мы его увезли, сука, на автобусе, который вдруг взял и подъехал!

— Это было *два* дня назад, Шкет! Какие-то скорпионы заходили в бар, спрашивали, где найти врача. Мадам Браун пошла с ними, но вернулась минут через десять. Вчера весь день только об этом и говорили.

— Он кровью истекал и стонал, прямо в автобусе на полу! — Вода взревела в груди, затопила столп шеи, фонтаном забила в голову. — Я вылез из автобуса и пришел… — Дыхание перехватило, и на миг Шкет испугался, что утонет. — Пришел сюда. — Вода поднялась до глаз (и лампочка отрастила вязальные спицы света); он смахнул эту воду, пока еще больше не потекло по лицу — не холодная уже, горячая.

Он все тер и тер глаза другой рукой; заплескал себя кофе.

Поднял чашку и всосал горечь с кожи.

— Ну-ка дай сюда! — Она забрала у него кофе, обе чашки отставила на подлокотник. — Я тебя *не* разыгрываю!

Руке нечего стало держать, и она потерялась, повисла, точно выдранный корень, еще облепленный землей.

Ланья взяла ее, прижала костяшки к губам.

— Я тебя ничуточки не разыгрываю. То утро в парке, когда нас разбудил Кошмар, было пять дней назад. И с тех пор я тебя не видела!

От ее прикосновения навалился тяжелый покой — и Шкет все пытался распознать, злость или облегчение таится в затопившем его субмаринном молчании.

— Слушай, ты сам сказал, что мистер Новик приносил гранки. Нельзя же набрать целую книжку за ночь, правда?

— Ой…

— Вчера вечером мы говорили про тебя в баре, и тогда он тоже приходил с гранками, искал тебя.

— Вы говорили про меня? — Хотелось отнять руку, но он смущался.

— Про тебя и про скорпионов. Они рассказывали, ты кому-то жизнь спас.

— Чего?

Она взяла его за другую руку; от знакомого же-

ста стало еще неловче.

Обиды в ее мелких чертах и его навели между ними какое-то уродство. Он поднял руки и притянул ее к себе, чтобы это уродство выдавить. Она прижалась к нему, скрестив руки на животе, и еще на груди у нее было что-то твердое — гармошка. Ланья потерлась головой о его грудь.

— Да господи боже, — прошептала она.

— Я тебя тоже не разыгрываю! — Отчаяния в голосе, подумал он, гораздо меньше, чем внутри. — Я тебя видел сегодня утром. Мне… мне казалось, я тебя видел сегодня утром.

— Ты всю неделю ходишь со скорпионами. Все считают, ты герой какой-то.

— А ты как считаешь? — Подбородок задвигался, его погладили ее волосы.

— Бля. Вот как я считаю: «Бля». Ты хочешь туда. Ладно. Но я в это вляпываться не желаю. Совсем.

— Сегодня, — сказал он. — В смысле, я на них налетел случайно. И жизнь никому не спасал. Просто…

— Ты посмотри на себя, — сказала она, не отодвигаясь. — Ты одет как они; тусуешься с ними. Нет, валяй; если хочешь — валяй. Но это не для меня. Я с тобой не пойду.

— Да, но… Эй, слушай. Ты… ты сказала, у тебя

дом. Ты где теперь живешь?

— Ты не будешь против, — тихо произнесла она, — если я не скажу? — но раскрыла руки и обняла его. — Пока что? — Гармошка уголком вдавилась ему в грудь.

Интересно, чувствует ли она руками, как в нем пульсирует гнев.

— Я, — сказал Шкет, — видел тебя сегодня утром.

Она отстранилась — лицо отразило весь его гнев.

— Слушай! — Она стиснула кулаки, подбоченилась. — Либо ты мне врешь по каким-то дебильным причинам, которых я и знать не хочу, либо ты псих, и в любом случае мне тогда тебя не надо, так? Когда мы виделись последний раз, ты накануне вечером потерял три часа. А теперь пять дней. Может, ты правда псих. Зачем ты мне сдался тогда? Это же разумно, ну? Я не видела тебя пять дней, и, господи боже, я на тебя ужасно злюсь!

— Ну и за каким хуем ты меня искала! — Он развернулся, вышел в зал; под ребрами вот-вот лопнет гигантский пузырь.

Возле пианино он сообразил, что Харрисон, видимо, открыл занавес на низкой сцене. На зад-

нике — и там еще фотографические прожекторы на стойках — нарисованная луна футов семь в диаметре, а вокруг намеки на деревья.

Шкет обернулся у авансцены, снова удивившись, что Ланья стоит у него за спиной.

— Ты почему пришла?

— Потому что первый раз за все это время знала, где ты. Я не *знала*… — У нее перехватило дыхание. — Я не знала, жив ли ты. Ты не вернулся. Я думала, может, ты на меня за что-то сердишься. Раньше ты всегда возвращался. А тут вдруг я впервые вместо тебя получала только то, что о тебе говорят. Ты и скорпионы, ты и скорпионы. — В глазах ее что-то иссякло. Веки опустились на затененную зелень. — Слушай, у нас пока не было вот этих отношений, типа «я за тобой куда угодно». Я так и не решила, хочу ли этого. И немножко дергаюсь, когда мне кажется, что могу и захотеть. Вот и все.

— Неделя. — Он почувствовал, как перекосилось лицо. — Что я делал… пять, сука, дней? Когда я?.. — И потянулся к ней.

Ее лицо врезалось в него, ударило по губам, но она языком ткнулась ему в язык и крепко вцепилась ему в загривок. Привалившись к сцене, он все пытался прижать ее к себе еще теснее.

Высвободил руку и шарил между их телами, пока не выудил гармошку у нее из кармана. Гармошка загремела по сцене за спиной.

— Ты никому не сделаешь больно, — один раз сказала она. — Ты не сделаешь больно мне. Это я знаю. Больно ты не сделаешь.

На этой темной сцене она любила его в истерике — сначала яростной, потом смешливой (боялась, что кто-нибудь войдет, и эта мысль ее возбуждала); скакала на нем, вцепившись ему в плечи, а он лежал на спине и гадал, правильно ли себя чувствует. Но звуки ее, которые он принял за плач, прояснились смехом. Ее ягодицы заполнили его ладони, и он зарылся между ними.

Она подпрыгнула слишком высоко и выронила его в жгучий холод. Потянулась за ним, а он перекатил ее на бок. Ногами застряв в джинсовой хватке, сполз к вспотевшему краю ее блузки и просунул язык в соленые волосы. Она подняла колено и раскрылась. Когда она кончила (а ему удалось освободить штаны от одной ноги), он оседлал ее, снова втолкнул в нее пенис, животом лег ей на живот, грудью на грудь, влажным лицом в мятое плечо блузки, и приступил к долгим финальным толчкам, а ее руки все крепче сжимались у него на спине.

Оргазм обжег (Шкет вспомнил пролитый кофе), истощил, но жжения не унял (он вспомнил, каково бывает после мастурбации, когда начинаешь со стояка от полного пузыря); истощение победило. По всему телу остывали озера пота. Ланья задремала в ямке у него на плече, и он знал, что рука скоро занемеет, но неохота было принимать меры. Он вел ладонью вниз по груди, пока пальцы не запутались в поперечной цепочке под угловатыми бусинами.

Голоса времени сошлись на дуэли? Кому охота слушать, как паралитики с горбунами что-то не поделили? Даже если больше никто не влезает. Не надо бы нам здесь лежать, остывая, полуголыми, полусонными. Причина веская; так и поступаем. Я по-прежнему злюсь на нее. Я по-прежнему злюсь. А она бы предпочла, чтоб я выбрал скорпионов из отрицания? Они сжимают кольцо? Нет; лучше деятельно принять неизбежное. Что ж, если я еще не выбрал, выбираю теперь. Это свобода. Сделав выбор, я свободен. Где-то в моей памяти — луна, что испускает странный свет. Здесь безопасно…

Он проснулся; то есть прибыл прыжком в пространство между половицами и касанием века к веку; пах придавлен весом разжатого кулака,

половицы вдавились в ягодицы.

Она ушла, подумал он, взяла гармошку, сидит на диване, играет. Он послушал музыку из дальнего угла.

Но на губной гармошке такой диссонанс не взять.

Он открыл глаза, перекатился на бок (безбатарейный проектор стукнул по дереву на загремевшей цепочке) и нахмурился.

Источник звука гораздо дальше, чем ему почудилось; это орган.

Ушла?..

Шкет поднялся и натянул штаны на ногу.

На заднике, изогнувшемся на полу, гармошки не было.

Он впихнул другую ногу в штаны, покрытые кляксами пота. Подобрал жилет, орхидею и по ступенькам спустился со сцены. Нога в сапоге и босая нога чередовали следы в пыли.

И его тетради перед диваном тоже не было.

Посреди зала он остановился сглотнуть то, что затопило горло. Получился почти всхлип.

Орган наверху все играл. И голоса — бубнили, и взлетали, и опадали. Глупо предполагать, что она наверху. Он надел орхидею на пояс и, уже взбираясь по лестнице, влез в жилет.

Дюжина черных мужчин и женщин выходили из часовни в вестибюль, из вестибюля на улицу. Две женщины, шагая вместе, глянули на него с любопытством. Мужчина в узкополой шляпе улыбнулся ему и исчез. Остальные смотрели не так дружелюбно. Голоса кружились и размывались, как дым, или кололи смешками, что таяли, когда мимо закрытого кабинета пробредало еще человек десять.

— Чудесная служба, правда?..

— Она же не будет про это разливаться и в следующий раз, да? А то я…

— Вам не понравилось? Чудесная же была служба…

Он влился в толпу и двинулся к выходу. Кто-то дважды пнул его в босую пятку, но он решил, что нечаянно, и не обернулся. Вечер снаружи лилово серел; дым стесал фасады на той стороне улицы.

Всего горстка белых пересекла трапецию света поперек тротуара. Одна, женщина в цветастом платке на голове, шла следом за пожилым мужчиной, который что-то жарко говорил черному спутнику; и грузный мужик, блондин в рубашке без воротника, на вид будто сшитой из армейского одеяла, воздвигся у двери, и его обтекали коричневые и темно-коричневые лица. Вот к

нему подошла костлявая девица с веснушками на смуглых щеках и кирпично-рыжими волосами. Они пошептались, удалились во тьму.

Шкет ждал у двери, разглядывал прихожан, слушал магнитофон. Люди расходились. Порой голоса висели в воздухе, пока их обладатели вслед за своими тенями не удалялись в ночь. Толпа поредела, и он растерялся. Может, нырнуть обратно, сказать пастору Тейлор, что он уходит.

Ярко блестя заклепками в потертой коже, сметая тени с косматого блондинистого живота, заломив кепку над желтой порослью, Тэк Люфер вышел, устремил на Шкета одинокий блик в затененном глазу и сказал:

— Эй, а ты все тут? Я уже двоих послал тебя искать. Но думал, что ты уже ушел.

5

— А *ты* здесь что забыл?

Тэк предъявил бумажную трубку:

— Теперь моя коллекция полна. Сторонишься нас, да? Мы за тебя волновались.

— Блядь! — выпало осадком гнева. — Что, хотел мне хуй пососать? Валяй. Он как раз в соке пизды. Тебе же вроде по кайфу?

— Ниггерской пизды?

— Чего?

— Ты цветную еб? И трипперную?

— Ты о чем?

— Если мясо было не черное и не подтекало, меня не интересует. С тех пор как я поимел тебя, пацан, я достиг высот извращения, какие тебе и не снились. Что с тобой такое? Опять крыша едет? Пошли, расскажешь, а я тем временем напьюсь.

— Ох ёпта… — Не хотелось, но Шкет сунул руки в карманы и повесил голову в известковой вони ночи; вместе они шагнули к бордюру.

— Подруга тебя нашла?

Шкет заворчал.

— Поругались, что ль? Последние разы, когда я ее видел, мне и казалось, что она готова ру-

гаться.

— Может, и поругались, — ответил Шкет. — Я не понял.

— А, такое?

— Она сказала, ты видел, как я вышел из автобуса?

— Ага. Сегодня вечером. Я на углу стоял. Хотел тебя окликнуть, но ты уже свернул сюда.

— А.

В окне шевельнулся свет.

Пожар, подумал Шкет. От этого мерцания стало неуютно. Он попытался вообразить, как весь квартал, и церковь, и окрестные дома объяты пламенем.

— По-моему, тут кто-то живет, — сказал Тэк. — Это свечи. — Они ступили на мостовую.

— А где мы? — спросил Шкет, когда они взошли на другой тротуар. — Ну то есть, Тэк… что с городом *такое*? Что случилось? Почему все так?

— Хороший вопрос, — ответил Тэк, стуча каблуками сапог. — Отличный просто. Я одно время думал, что иностранные шпионы виноваты — может, типа, весь город — эксперимент, пробный камень такой, чтоб потом уничтожить всю страну. Или весь мир.

— Думаешь, *поэтому*?

— Нет. Но приятно думать, будто здесь организовано хоть *что-то*. А если посмотреть иначе, может, просто очередная экологическая катастрофа. Может, кто-то ненароком болото нам закопал.

— Какое болото?

— Вблизи каждого крупного города всегда есть какое-нибудь болото, обычно примерно такой же площади. Вбирает смог, поставляет львиную долю кислорода плюс решает еще полдюжины совершенно насущных задач. У Нью-Йорка — равнины в Джерси, у Сан-Франциско — все заболоченное побережье возле Окленда. Осушаешь болото — сгущается смог, проблемы с канализацией, город не пригоден для жилья. И не отвертишься. По-моему, справедливо утверждать, что большинство людей сочтет эту обстановку для жилья не пригодной.

Шкет принюхался:

— Смога хватает, это да. — (Орхидея пощекотала волоски на исподе предплечья.) — А где у нас болото?

— Очевидно, за озеро Холстайн ты никогда не ездил.

Шкет в своих оковах пожал плечами:

— Это правда. — Оплетшая его цепь сползла и

теперь через шаг натягивалась сзади на левом бедре. Он сунул руку под жилет и поправил ее большим пальцем. — Думаешь, в Беллоне поэтому так?

Однажды я умру, ни к селу ни к городу кувырнулось в мозгу: смерть и артишоки. В ребрах набухла тяжесть; он потер грудь, нащупал систолу-диастолу — утешительно. Я не взаправду считаю, что оно остановится, подумал он затем; я только знаю, что оно пока еще не остановилось. Порой (подумал он) лучше бы мне его не чувствовать. (Настанет день — и *остановится*.)

— Вообще-то, — говорил между тем Тэк, — я подозреваю, что вся история — научная фантастика.

— Чего? То есть что — искажение пространства-времени, параллельная вселенная?

— Нет, просто… ну, фантастика. Только не понарошку. Все каноны соблюдены.

— Космические корабли, лучевые пистолеты, полеты на сверхсветовых? Я раньше читал фантастику, но здесь ничего такого что-то не заметил.

— Ты, небось, не читаешь свежего, а оно лучше. Вот гляди: Три Канонические Условности фантастики… — Тэк кожаным рукавом отер лоб. (Мозг полирует, глупо подумал Шкет.) — Первое: один-

единственный человек способен переменить курс движения целого мира. Посмотри на Калкинза, посмотри на Джорджа — на себя посмотри! Второе: единственная мера интеллекта или гения — его линейное практическое применение. Кого еще мы пускаем хотя бы погостить в таком ландшафте? Третье: Вселенная — по сути гостеприимная среда, в ней полным-полно похожих на Землю планет, где можно зайти на аварийную посадку и потом еще выживать некоторое время — на приключение хватит. У нас в Беллоне…

— Вот, наверно, почему я все это больше не читаю, — сказал Шкет. Критического анализа ему и с Новиком достало выше крыши; этот шум больше не унимал тревоги. — Вроде в этом квартале прежде горел фонарь, нет?

Тэк вывалил фразу до конца:

— …в Беллоне можно раздобыть что угодно, если сможешь утащить на себе или свалить на друзей.

— Занятно — у многих особо никакого добра нет.

— Это иллюстрация скудости нашей фантазии, а вовсе не здешних чудес — их-то бери не хочу. Нет — это иллюстрация пределов того склада ума, который пестует Беллона. Кто захочет одиноче-

ства, которое принесут обильные приобретения? Многие тут почти всю жизнь провели не здесь. Делай выводы.

— У тебя вещей больше, чем почти у всех моих знакомых, — заметил Шкет.

— Значит, у тебя мало знакомых.

— Не считая мистера Калкинза. — Шкет подумал про Ричардсов. — А с ним я незнаком. — Но Тэк недавно видел мистера Новика. Значит, Тэк в курсе, что книжку Шкета уже набрали.

— Полно народу в промежутке, — сказал Тэк. — Ты ограничил свои знакомства теми, кто особо ничего не хочет. По сути — религиозный, пожалуй, выбор. И в конечном итоге, я бы сказал, мудрый. Людей в городе *и впрямь* наберется с тысячу — может быть.

— Я знаю одну семью — они…

— Есть куча других. И большинство, как не устает напоминать нам Пол Фенстер, черные.

— Джордж Харрисон только что позвал меня к себе в гости на Джексон.

Тэк рубанул темноту плакатом:

— Вот! В том и дело. Пол тебе расскажет, зато Джордж — покажет, если дашь ему хоть крохотный шанс. — Тут он вздохнул. — Боюсь, сам-то я принадлежу к устной традиции. Я лучше по-

слушаю.

— И на плакаты посмотришь.

— И книжки почитаю. В идеале — фантастику. Но я же говорю, Беллона ужасно гостеприимная. Вот тебе твоя фантазия — и рыбку… ну, не только съесть, а еще и не терзаться так остро, что отнимаешь ее у других. Вот мы и дома.

Шкет огляделся — тьма толстыми пальцами давила на глаза.

— Да? Тэк, ведь *правда* в конце квартала раньше горел фонарь?

— Несколько дней назад перегорел. Сюда. Осторожно, ступеньки. Тут много мусора валяется.

И кое-какой прокатился под гибкой кожаной подошвой сапога. Мягкая тьма затвердела. Эхо дыхания и шагов сменило тембр.

Они миновали подъезд, спустились, поднялись.

— Когда ты приходил в первый раз, — засмеялся Тэк, — я тебе велел припарковать оружие у двери. Господи, не понимаю, как меня порой терпят.

Из-за двери на крышу возник далекий свет телесного оттенка.

Улицы были беспросветно черны — а крышу сбрызнул свет ночи.

Двумя гигантскими иероглифами, поверх про-

чего шрифта и не в том регистре, несущие тросы моста вздымались к своим точкам перелома и ныряли в дым. Всего один ряд домов — а за ним ночная вода вбирала мерцание уличных фонарей и дрожащую красноту пожаров.

— Ой, совсем близко…

Над городом из воды вырастали силуэты. Дальнего берега не видно. Будто в море смотришь — вот только мост… Осколки неба в вышине вроде бы прояснялись, но звезды их ясности не подтверждали.

— Почему так близко? — Он отвернулся от парапета, и тут в хижине включился свет.

Тэк уже зашел внутрь.

Шкет поглядел на пакгаузы, на воду в прорехах между ними. Радость, внезапная и настойчивая, скривила мускулы рта, выдавливая смех. Но он удержал звук крохотными вздохами. Внутри набухло что-то из света. Лопнуло — он заморгал, и испод век ослепил его, — оставив по себе высоченную волну доверия, омывшую нутро. Не то чтобы я хоть на миг *доверился* этому доверию, подумал он, ухмыляясь. Но это доверие, и оно приятно. Он вошел в хижину.

— Там так… так ясно сегодня.

В бархатных складках приятного чувства блес-

нул малюсенький алмаз печали.

— В последний раз я здесь был с Ланьей.

Тэк лишь крякнул и отвернулся от стола:

— Выпей бренди. — Но улыбнулся.

Шкет взял стакан и сел на жесткую койку. Тэк развернул плакат.

Джордж Харрисон в образе луны.

— Теперь у тебя есть все три. — Шкет отхлебнул, сутулясь.

Над дверью по-прежнему висел Джордж в мотоциклетной куртке.

Тевтонского юношу сменил Джордж в лесу.

Тэк подкатил к стене кресло и взобрался на зеленую подушку. Уголок за уголком откнопил «Латиноса на валуне».

— Дай степлер?

Первый плакат спорхнул на пол.

Чик-клак, чик-клак, чик-клак, чик-клак — его сменило новолуние.

Шкет снова сел и поверх стакана оглядел три ипостаси Джорджа, а Тэк слез с кресла.

— Я… — Голос у Шкета вышел глухой, от него защекотало в глубине уха, и он улыбнулся. — Знаешь, я потерял пять дней. — Он скользил пальцами вбок по стакану, пока не сомкнулись кончики.

— И где же, — Тэк отложил степлер, взял бутылку и привалился к столу, сомкнув руки на зеленом горлышке; дно бутылки сморщило ему живот, — или ты бы не сказал, если б знал, — ты их потерял?

— Не знаю.

— Ты вроде доволен таким поворотом.

Шкет заворчал:

— День. Длится примерно как час прежде, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать.

— А год длится с месяц. О да, знакомое явление.

— Я потратил чуть ли не всю жизнь, валяясь и собираясь уснуть.

— О таком мне рассказывали, но сам я не замечаю.

— Может, я в последние дни ухитрился прохлопать сон. Тут свет почти не меняется с утра до вечера.

— То есть ты не помнишь *последние* пять дней?

— Да — а чем я занимался? Ланья… сказала, что об этом все болтают.

— Не все. Но пожалуй, немало народу.

— И что говорят?

— Если ты потерял эти дни, я понимаю твой

интерес.

— Я просто хочу знать, что делал.

Бренди заплескался в бутылке под Тэков смех.

— Может, ты обменял последние пять дней на свое имя. Ну-ка быстро отвечай: ты кто?

— Нет. — Шкет еще сильнее ссутулился. Ощущение, будто над ним издеваются, затрепетало шатким шаром на перекошенной кромке, скатилось в бархатную лузу. — Тоже не знаю.

— А. — Тэк глотнул из бутылки, снова упер ее в живот. — Ну, я подумал, попытка не пытка. Не стоит, видимо, напирать. — (Заплескался бренди.) — Что ты делал последнюю неделю? Ну-ка покумекаем.

— Я знаю, что был со скорпионами, — познакомился с одним парнем, Перец его зовут. И он навел меня на этот универмаг, который они собирались… ну, ограбить, наверно.

— Пока что все понятно. Там вроде была стрельба? Ты вроде спас одного парня, голыми руками отбился от кого-то с ружьем. И вроде грохнул зеркалом по башке другому парню, который на тебя наехал…

— В подбородок.

— Точно. Саламандр мне сам и рассказал. А потом, когда еще одного чела, Сиама, подстре-

лили…

— Его так зовут?

— …когда Сиама подстрелили, ты его затащил с улицы в автобус.

— И сегодня вечером ты видел, как я выхожу из этого автобуса.

— Саламандр мне рассказал пару дней назад.

— А со мной это было сегодня, сука, днем! — Устыдившись, он поморгал, таращась на свои ладони. — А что еще говорили? Только это случилось? В смысле, больше ничего?

— По-моему, и так достаточно.

— А что с Сиамом?

Тэк пожал плечами. Бренди заплескался.

— Кто-то из бара к нему, помнится, ходил.

— Мадам Браун?

— Да, по-моему, она. Но больше я ничего не слыхал. А говоришь, что не помнишь, где был. Знаешь ты не меньше моего. — Тэк подтащил кресло к столу и сел. Собрался было отставить бутылку, но передумал и напоследок глотнул. — Все, что я рассказал, ты помнишь?

Шкет кивнул своим коленям.

— Значит, просто время потерял. То есть я и раньше терял дни — думал, что четверг, а уже пятница.

— А мы-то решили, что ты бросил нас и заделался записным скорпионом. У меня возражений нет. Выглядишь ты соответственно. Светощит и все такое.

Шкет вгляделся в шар с линзами, свисающий на живот.

— Он не работает. Батарейку надо поменять.

— Секундочку. — Тэк открыл ящик стола. — Держи. — И кинул.

Шкет поймал ее обеими руками; букет молний на красно-синем фоне.

— Включись как-нибудь.

— Спасибо. — Хотелось поговорить еще; Шкет сунул батарейку в карман, заметив, что нижний шов совсем истрепался — пальцы нащупали кожу сквозь ткань. — Тэк, ты правда считаешь, что понял город?

— Я?

— Ты сказал, что он в каноне…

Тэк рассмеялся и запястьем отер губы.

— Не, я не понял. Я тут ничего не понимаю. Я, сука, инженер. Беру вилку, втыкаю в розетку — все работает. Втыкаю в другую — не работает. Иду в контору, там работает только один лифт и горят лампочки на верхнем этаже. По моему опыту, так не бывает. Иду по улице — горят дома. Иду по

той же улице назавтра — дома всё горят. Через две недели иду по той же улице — а там будто и не горело ничего. Может, тут время течет задом наперед. Или боком. Но так тоже не бывает. Хожу на фуражировку в пакгаузы или магазины — то туда можно влезть, то нельзя, то проблемы, то нет проблем; а иногда прихожу в магазин с пакетом, сгребаю целую полку консервов, через неделю прихожу в тот же магазин — ну, во всяком случае, я думаю, что магазин, сука, тот же, — а полка забита, как в первый раз. По мне, и так не бывает.

— Иногда утром свет появляется здесь, — сказал Шкет. — А иногда там.

— Это кто тебе сказал?

— Ты и сказал. Когда я только пришел.

— А. — Тэк опять взял бутылку. — А, да. Точно. Кое на что у тебя отличная память.

— Я много чего помню. Бывает, так ярко… иногда больно даже. И туман этот, и дым — иногда оно резче и яснее того, на что смотришь. А остального, — он поднял голову и увидел, что Тэку нехорошо, — просто нет. — И Шкет рассмеялся, отчего Люфер принялся энергичнее жевать то, что застряло на подходах к горлу. — Тэк, ты почему не уходишь из Беллоны?

— Я так понял, твой друг Эрнст Новик уезжает

завтра. Не знаю. А ты?

— Не знаю.

— Раз с тобой творится такое, может, тебе не стоит жить в Беллоне. — Тэк подался вперед, протянул бутылку.

— А, — сказал Шкет. — Вот. — И подставил стакан; и Тэк налил.

— Вот первая ночь, когда мы познакомились, да? Помнишь, я тогда спрашивал, зачем ты сюда забрел, а ты сказал, что с целью?

— Точно.

— Расскажи с какой.

А как-то раз в Южной Дакоте он уронил четвертак в прудик, который оказался неожиданно глубок. Он смотрел, как монета крутится, и мутнеет, и исчезает за лиственной каймой. Сейчас мысль испарилась из сознания, и для описания этого исчезновения ему осталась только память о потерянном четвертаке.

— Я… я не знаю! — Шкет засмеялся, прикинул, что еще такого можно сделать; решил, что смех лучше всего. — Я не… помню! Да, я знаю, что пришел не просто так. Но будь я проклят, если знаю зачем! — Он откинулся назад, подался вперед, поймал бренди, что опрокидывал стакан ему в рот, проглотил. — Я правда не помню.

Наверно… — Он уставился в потолок, задержал дыхание, предвкушая память. — Я не помню… и этого не помню!

Тэк улыбался.

— Она у меня была; ну, причина. — Шкет раскинул руки. — Я ее носил с собой, в глубине сознания, да? Как на дальней полке? А потом захотел достать, но, видимо, уронил. Видел, как она упала и исчезла. Роюсь в мозгу, но не могу… ее найти. — Он оборвал смех и успел почувствовать, как растет раздражение. — Беллона мне не вредит. — Прозвучало резонно и улыбчиво, но все равно раздражало. — У меня тут подруга; я познакомился с кучей людей, некоторые — довольно приятные…

— Но не все?

— Ну, по ходу дела разбираешься. И у меня выходит книжка. «Медные орхидеи», знаешь, мои стихи; все уже готово! Уже гранки есть.

Тэк кивал, не стирая улыбки с лица.

— И ты сам говоришь: люди про меня болтают так, будто я подвиг какой совершил. Уйти? Думаешь, в другом городе я не рехнусь? А там мне таких бонусов может и не обломиться. — Шкет отставил стакан, кулаком проткнул воздух и спиной привалился к стене. — Мне… тут нравится?

Нет. Я хочу увидеть солнце. Иногда охота содрать все это небо. Оно словно картонное — как коробки для яиц, знаешь? Просто содрать, чтоб громадные такие полосы хлопали. Интересно, куда делась Ланья. — Он насупился. — Может, у меня больше и нет подруги. И с книжкой покончено; все уже написано и напечатано; и этого я больше не хочу. — Он покрутил кулаком вокруг пальца. — И даже если говорят, что я герой, я ничего такого не сделал. — Он оглядел плакаты; картинки и картинки, однако от этой мысли раскатились их отзвуки, и насмешливые, и мучительные; он отвел взгляд. — Что-то здесь… не закончено. Нет. — От собственного отрицания он разулыбался. — Дело во мне. Отчасти, по крайней мере. Или, может, в Джордже. Или в Джун… Почти *кажется*, будто все закончено, да? И наверно, пора уходить. Но я потому и знаю, что уходить не надо. Потому что ничего не отвлекает. Можно заглянуть внутрь и увидеть. Я столько не знаю. — Смех заполнил рот, но он выпустил смех наружу — и получилось лишь дыхание улыбки. — Эй, хочешь мне отсосать? То есть… если ты хочешь, мне будет приятно.

Тэк нахмурился, склонил голову набок. Но прежде слов взорвался его хриплый смех:

— Ах ты наглая скотина!

— Я не в смысле: отсоси мне. Я с тобой займусь любовью. Я и раньше занимался с парнями.

— Ни секунды в этом не сомневался, — снова засмеялся Тэк. — Нет, я *не* хочу у тебя отсосать, и фиг с ним, что ты в пизде побывал. Как тебе в голову такое пришло?

Но что-то освободилось внутри. Шкет зевнул во весь рот и объяснил — а хвостик зевка затуманил слова:

— Ланья сказала, мне надо опять лечь с тобой в койку; она считает, тебе будет приятно.

— Вот оно как, значит?

— А я сказал, что тебе надо только снять первую пробу. — Глянув на Люфера, он вдруг сообразил, что блондинистая шутливость прячет смущение, и опять уставился в колени. — Видимо, я был… — и очередной зевок изуродовал «прав».

— Эй, слышь. Ложись-ка ты и поспи. А я хочу еще стакана три бренди и книжку, сука, почитать.

— Да не вопрос. — Шкет лег на койку животом и поерзал, чтобы цепи, и призмы, и проектор не грызли грудь.

Тэк потряс головой, развернулся в кресле и потянулся ко второй полке над столом. Выпала

книжка. Тэк вздохнул.

Шкет ухмыльнулся и уткнулся ртом в сгиб локтя.

Тэк глотнул еще бренди, сложил руки на столе и принялся читать.

Шкет снова поискал печаль, но она укромно спряталась в черных складках. Уже десять минут страницу не переворачивает, напоследок позабавился он про себя, а потом закрыл глаза и…

— Эй.

Лежа на спине, Шкет буркнул:

— Чего?

Тэк чесал голое плечо и глядел сконфуженно. Шкет подумал: так он *теперь* решил?..

— Боюсь, мне придется тебя выставить.

— А… — Шкет прищурился и потянулся, невнятно и непроизвольно протестуя. — Ага, без проблем. — За бамбуковой занавеской полосатился свет.

— Тут друг мой пришел, — объяснил Тэк, — и мы, типа, хотим…

— А, ну да… — Шкет изо всех сил зажмурил глаза, открыл, сел — цепи на груди зазвенели — и заморгал.

Черный, лет пятнадцати, в джинсах, кроссовках и грязной белой рубахе, пацан стоял у двери

и мигал шарами красного стекла.

Шкета по спине подрал мороз; он выдавил улыбку. Из иного времени всплыла заготовленная мысль: это искажение ничего не говорит о нем и ужасает лишь потому, что я так мало знаю себя. Привычные к ужасу вегетативные нервы чуть не исторгли из него крик. Все улыбаясь и кивая, он нестойко поднялся.

— Ой, без проблем, — повторил он. — Да, я пошел. Спасибо, что пустил.

Минуя порог, он опять зажмурился покрепче — может, алый исчезнет, сменится карим и белым. Они решат, что я еще не проснулся! — понадеялся он, понадеялся отчаянно, сапогом скребя по рубероиду крыши. Утро выдалось цвета несвежего полотенца. Он шагнул из него на темную лестницу. Тряся головой, постарался не бояться, поэтому подумал: выперли ради парня помоложе и покрасивее, надо же, а? Ну… глаза под веками были стеклянны и красны! Он добрался до площадки, с налету на ней развернулся и вспомнил дерганую женщину, вечно в слишком длинных, не по сезону юбках, которая преподавала ему математику в первом семестре в Колумбии: «Из истинного утверждения, — объясняла она, с силой растирая друг о друга меловые кончики пальцев, — сле-

дуют только другие истинные утверждения. А из ложного может следовать… в общем-то, все, что угодно: истинное, ложное, не важно. Все, что угодно. Все, что…» Ее неизменно истерический тон на миг смягчался, точно в абсурде она находила утешение. Ушла еще до конца семестра. А он, сука, нет!

Девятью маршами ниже он миновал теплый коридор. Двенадцать ступенек наверх? На сей раз он насчитал тринадцать, о последнюю отбив палец.

Шкет вышел на рассветно-сумеречное крыльцо, увешанное крюками и увитое дымом. Спрыгнул на тротуар — еще не проснувшись, еще промаргиваясь, еще в ужасе, от которого не было средства, кроме смеха. В конце концов, подумал он, направляясь к повороту, если эти пожары могут длиться вечно, если и впрямь есть не только луна, но и Джордж, если Тэк выгоняет меня ради стеклоглазого негра, если дни исчезают, как припрятанные доллары, поди тогда пойми. Или понять можно — рассудить нельзя. Большими пальцами он уцепился за уже истрепывающиеся карманы и свернул.

Между пакгаузами, проясняясь и бледнея в подвижном дыму, вздымался и нырял в небы-

тие мост. В гармонии осколков любопытства сохранилась мысль: надо было у него хоть чашку кофе перед уходом выпросить. Шкет прочистил вязкость в горле и повернулся, ожидая, что тросы вот-вот истают навеки, а он (навеки?) останется бродить по вонючей набережной, которая умудряется никогда не выходить к воде.

Этот широкий проспект должен привести к мосту.

Два квартала Шкет по проспекту обходил темное здание государственного вида. А дальше, за выкрутасами восьмерок и клеверных листов, дорога катилась между тросами над рекой.

Видно только до начала второго пролета. Марево в складках и щупальцах сужало поле зрения. Туманным рассветам положено быть промозглыми. Этот был грязно-сух, чем-то щекотал руки и кожу ниже шеи, и щекотка была лишь на вздох холоднее температуры тела. Шкет отошел к обочине, а в мыслях: машин-то нет, хоть по центру бегай. Вдруг громко расхохотался (сглотнув ночную мокроту) и помчался, размахивая руками и вопя.

Город глотал звук, не откликался эхом.

Спустя тридцать ярдов Шкет устал и дальше потрусил, тяжело дыша в густой сухости. Может,

все эти дороги тянутся бесконечно, рассуждал он, а мост висит себе и висит. Да ешкин кот, я всего десять минут иду. Он поднырнул под несколько эстакад. Снова кинулся бегом и по дуге вывернул к настоящему началу моста.

Дорожная разметка между тросами — дюжиной клиньев в перспективе, их общую вершину отъел туман. Не торопясь, дивясь, он зашагал к незримому берегу. Один раз подошел к перилам и сквозь дым вгляделся в воду. Посмотрел вверх сквозь перекладины и тросы, мимо мостков, что тянулись к башне опоры. *Что* я тут делаю? — подумал он и опять посмотрел в туман.

Машина полминуты петляла в тоннелях, и двигатель урчал все громче. Буро-малиновая, тупоносая и двадцать лет как с конвейера, она вымахнула на армированный асфальт; когда проурчала мимо, человек на заднем сиденье обернулся, улыбнулся, помахал.

— Эй! — крикнул Шкет и помахал ему вслед.

Машина не замедлила ход. Но человек за задним стеклом снова взмахнул рукой.

— Мистер Новик! — Шкет пробежал шесть шагов и закричал: — До свиданья! До свиданья, мистер Новик!

Машина уменьшалась меж решетками тро-

сов, уперлась в дымную завесу и утопла в ней, как грузило в раздерганной вате. Спустя миг — *слишком* быстро, по воспоминаниям Шкета о переходе через мост пешком, — урчание мотора стихло вовсе.

А *это* что за звук? Далеко-далеко поднялся ураган, подумал Шкет. Но это лишь воздух ринулся в каверну его рта. *До свиданья, мистер Эрнст Новик*, и прибавил так же добродушно: *Вы — паленый «Гинденбург», пустозвонный «Наутилус», трус до мозга всех плюсневых костей. Вас это, конечно, смутит до смерти и до смешного, но надеюсь, мы еще встретимся. Вы мне нравитесь, лицемерный вы старый пидор; вероятно, в глубине всего и я нравлюсь вам*. Шкет оглянулся на город в саване, словно запекшийся под пеленой дыма, — улицы понатыканы вслепую, цвета перламутровы и пастельны; какие гигантские расстояния сокрыты в суженном поле зрения.

Я бы мог покинуть этот смутный, смутный город…

Но, стараясь не расплескать свой гумор, он свернул назад к тоннелю. Временами лицо кривило гротеском. Где в этом городе центр? — гадал он и шагал — левую ногу чуточку свело, — а дома вновь поднимались навстречу, готовясь его

принять.

Освободившись от имени и цели, что я получаю? Мне даны логика и смех, но нет доверия ни глазам моим, ни рукам. Сумрачный город, город без времени, щедрый сапрофитный город; настало утро, и я скучаю по ясной ночи. Реальность? К ней я близко подобрался лишь однажды — когда безлунной ночью в пустыне Нью-Мексико задрал лицо к остриям звезд в этой священной, освещенной тьме. День? Там он прекрасен, это правда, застывает в многослойном пейзаже краснотой, латунью и синевой, но кривится, как само расстояние, и все реальное сокрыто бледным преломлением.

Дома, костистые и загроможденные резьбой, на разной высоте каменно шелушащиеся: окно, притолока, подоконник и карниз складываются узором в десятке плоскостей. Оседающие клубы задевали их, замахивались на пылинки, которые им не хватало плотности сдвинуть, растекались по тротуару и распадались медленными взрывами, что видны за два квартала — а как дойдешь, уже исчезли.

Мне одиноко, подумал он, а прочее терпимо. И задумался, почему одиночество у него — почти всегда сексуальное переживание. Он сошел с

тротуара и зашагал вдоль неровной колонны старых машин — все, что припарковано в этом квартале, не новее 1968-го, — а в мыслях: ужасно то, что в этом вневременном городе, в этом беспространственном заповеднике, где любой упадок возможен, эти сомкнутые стены, увитые кружевом пожарных лестниц, ворот и бойниц, слишком непрочны, его не удержат, и от меня, подвижной точки, он словно растекается потоками и струйками по всему нестойкому стволу. На миг ему представилось, что эти стены стоят на штырях и управляются подземными машинами: когда он прошел, они могут внезапно развернуться, разойтись на этом углу, сойтись на том, точно в исполинском лабиринте — неизменно переменчивом, а посему непознаваемом…

Когда на улицу выбежал грузный человек, Шкет первым делом узнал тускло-зеленую шерстяную рубаху без воротника. Человек выскочил из переулка, затопотал по тротуару, увидел Шкета и свернул к нему. Один из вчерашних белых прихожан церкви.

Мясистое лицо, красное и усеянное каплями пота, тряслось над ходящими туда-сюда кулаками. Макушка под желтой дымкой шла пятнами; волосы на лбу лежали латунным ломом.

Шкет вдруг начал пятиться.

— Эй, полегче…

— Ты!.. — Человек бросился на него. Пальцы его запутались в Шкетовых цепочках, потянули. — Ты этот, который… — Разобрав мексиканский акцент, Шкет обыскал израненную память. — Когда я был… ты не… нет? Ты, пожалуйста… не надо… — пропыхтел человек сквозь мокрые губы. Глаза у него были кроваво-коралловые. — Ой, пожалуйста, а ты не… ты же был внутри, да? Я… это, если будешь так дурить, они… — Губы его сжались; он перевел взгляд на дальний тротуар, потом обратно. — Ты… А, Шкет! — И выдернул руку из путаницы звеньев, а Шкет между тем думал: нет, он сказал не «Шкет», он, наверно, сказал «шкет» или даже «нет». Человек тряс головой. — Нет, ты же будешь… Эй, не надо так…

— Слушайте, — сказал Шкет, пытаясь ухватить его за локоть. — Вам чем-то помочь? Давайте я…

Человек шарахнулся, чуть не упал, кинулся бежать.

Шкет сделал два шага следом, остановился.

Блондинистый мексиканец споткнулся о дальний бордюр, упал на колено, вскочил и нырнул в переулок.

В голове у Шкета крутился мексиканский го-

лос из коридора за дверью Ричардсов; разные обмолвки Тринадцати; амфетаминовый психоз? А затем мысль, прозрачная и всепобеждающая:

Он… псих!

Что-то просыпалось по животу, щекочась, точно колонна насекомых. На миг почудилось, что это мурашки узнавания; и настоящие мурашки в самом деле прибыли миг спустя.

Но оптическая цепь разъединилась — наверно, мексиканец порвал — и упала на ремень.

Шкет подобрал оторванный конец, нашел другой, повисший поперек груди, — разорвалась она между линзой и призмой — и стянул вместе тонкую медь. На одном конце болталось крохотное искореженное звено. Толстенными тупыми пальцами, что под мозолями почти онемели, он попытался замкнуть цепочку. Стоял посреди улицы, сцеплял, выкручивал, то затаивал дыхание, то внезапно исторгал, бормоча «Ёпта…» или «Бля…». Под мышками было скользко от сосредоточенного пота. Пятки — одна на кожаной подошве, другая на тротуаре — обжигал разный жар. Подбородок прочно уперся в шею; Шкет щурился в свете зари, разок повернулся, чтобы его бесформенная тень соскользнула с неловких коротких пальцев. Чинил цепочку добрых десять

минут.

И все равно было видно, какое звено разогнулось.

Когда закончил, навалилась ужасная тоска.

V
Порождения Света и Тьмы[31]

[31] Примечания: 31

«Порождения света и тьмы» (*Creatures of Light and Darkness*, 1969, перев. В. Лапицкого) — роман Роджера Желязны, посвященный Сэмюелу Дилэни с формулировкой «Чипу Дилэни, просто так»; на протяжении почти всего романа один из ключевых персонажей живет, не помня своего имени и не зная, кто он таков, и пользуется именем, которым его нарекли взамен настоящего.

1

Он шел несколько минут, несколько раз свернул, несколько судорог в шее и спине отпустили (теперь удавалось думать словами, не проецируя истерические картины на экраны всех пяти чувств), и тогда он помочился посреди улицы, надеясь, что появится прохожий, и пошел дальше с полурасстегнутой ширинкой, сунув пальцы под ремень, и спросил себя: ну видишь ты временами красные глаза — и что теперь, ну? А вот что: если мерещится *это*, как мне утверждать, что реально все прочее? Может, половины тех, кого я вижу, тут и нет вообще — вот этого мужика, что сейчас подбегал, например? Что он забыл в моем мире? Какой-то осколок Мексики, воссозданный из дыма и переутомления? Откуда мне знать, что предо мною не разверзается бездна, которая в глюках видится мне ровным бетоном? (Устье моста… когда я впервые с него сошел, было разбито, завалено… бетоном?..) Все списать на грезы? Я это бросил лет в семнадцать-восемнадцать. Пять дней!

Я снова сошел с ума, подумал он. Навернулись слезы. Перехватило горло, он сглотнул. Не хочу. Я

устал, я устал, и у меня стояк, я так устал, что ничего уже не понимаю, в половине случаев мозги не работают, как ни стараюсь. Охота пить. Голова забита капком — никаким кофе не промыть. И все равно кофе не помешал бы. Куда я иду, что я делаю, зачем шарахаюсь по этому дымящемуся погосту? Не в боли дело, нет; а в том, что боль не унимается.

Он постарался расслабить все мускулы и бесцельно шагнул с тротуара в водосточный желоб, и во рту было все суше, и суше, и суше. Что ж, подумал он, раз больно — значит больно. Это *всего лишь* боль. Ладно (он глянул на расплывчатые крыши над троллейбусными проводами), я выбрал, я здесь.

Набрести на монастырь? Да, сейчас, где он там есть и что. Стены и белые строения? Слоги — выбормотать весь смысл прочь? По дороге ему не попадалось ничего и отдаленно похожего. Улицы усеяны отбросами — многомесячной давности, без влаги и запаха: побледневшим и крошащимся говном, окостеневшей фруктовой кожурой, старыми газетами, некогда промокшими, а ныне высохшими до хруста.

Он потыкал складки сознания, поискал печаль; кристалл рассеялся меловой крупкой.

…она выглядит? — подумал он и устал так, что не хватило сил паниковать. Ее имя — как ее звали?

Ланья; и он увидел ее короткие волосы, ее зеленые глаза, и ее не было рядом.

Одна уличная вывеска замарана грязью и царапинами; другая — пустая рамка. Он свернул в переулок на ритмичный стук; несколько секунд не понимал, что тут произошло, — шеренга древесных стволов на узком тротуаре, каждый за железной оградкой, сгорели до обугленных кольев. Недоумевая, Шкет зашагал по улочке, где не разминулись бы две машины.

На крыле покосившегося авто, верхом на разбитой фаре сидел Денни и двумя пальцами барабанил по гнутому краю крыла. Шкет направился к нему, прикидывая, когда заговорить…

— Эй, привет! — Удивление Денни обернулось радостью. — Ты что тут делаешь? — Грохнул всеми костяшками разом и перестал. — Чего делаешь, а?

— Да гуляю. Ищу, кто мне отсосет. Не знаю. Только никого нет.

— Чё? — Денни озадачился, а потом — к удивлению Шкета — смутился. Трижды щелкнул пальцем по хрому и поднял голову, поджав гу-

бы. — В парке, ближе к центру, пидоров как грязи, и днем и ночью. Где тропинки, знаешь?

— Нет.

— Короче, их там полно. — Денни опять щелкнул пальцем. — Если ты всю ночь шастаешь, значит не сильно-то искал.

— Я ночевал у одного мужика, — пояснил Шкет. — Думал, он мне отсосет, но к нему кто-то пришел, и меня выперли. А ты что тут делаешь в такую рань?

Денни кивнул на некрашеный дом:

— Живу теперь там. — За грязным оконным стеклом, пришпиленный латунным основанием абажура к подставке, лыбился латунный лев. Абажур исчез. В патроне — отломанный ламповый цоколь.

На другой стороне улицы в окне едва ли чище колыхнулась белая занавеска. Два черных лица, притиснувшись друг к другу, смотрели, пока Шкет не уставился на них в упор. Занавеска упала.

— Тебе отсосать? Пошли. — Денни, сунув три пальца под край крыла, смотрел долу. — Я тебе отсосу.

— Чего?

Денни не шевельнулся, ни слова больше не

сказал, и Шкет засмеялся:

— Эй… — Он шагнул на тротуар, ударил себя по бедрам, передразнивая барабанную дробь Денни, снова сошел на мостовую. — Это ты так шутишь?..

Денни поднял голову:

— Нет.

— А вот представь, что я тебя поймаю на слове… — сказал Шкет, стараясь все обратить в шутку; ан нет, не шутка. Поэтому он сказал: — Ты хочешь?.. — То, что разъяснило расплывчатое переворотом с ног на голову, перевернулось.

— Ага. — Денни почесал грудь под зазвеневшими цепями. — Давай вынимай. Прямо тут, мудозвон. — Он тряхнул головой. — Я тебе прямо тут и отсосу. Доказать тебе, что я серьезно? Прямо тут?

Шкет покосился на занавеску в окне:

— Да я не против, но там вон негры из окна пялятся.

Денни выпустил воздух из легких.

— Я только что сказал *тебе*; ты считаешь, меня ебет, если знают *они*?

То, что началось подначками, внезапно стало неловкостью: поступки-то предсказуемы, а вот чувства — нет.

— Слышь, может, давай лучше мы на это…

Денни наклонил голову и глянул вбок — лицо сосредоточенное, как будто, подумал Шкет, человек играет в го и размышляет, верен ли был последний ход, который он так долго обдумывал.

— Надо место найти, — сказал Шкет. — Подъезд или в доме, что-нибудь такое. Я не хочу тут. — Пятнадцать? — подумал он. Да он сбрендил; совсем ебанулся пацан.

Денни спрыгнул с фары и почти целиком засунул пальцы в задние карманы.

— А ну пошли.

Шкет догнал его на ступенях некрашеного крыльца:

— Тут Кошмар живет? — Он положил руку на узкое теплое плечо Денни.

Тот оглянулся:

— Раньше жил. — Жилет раскачивался на ребрах — виднелись то замша, то потертая дубленая кожа. — А теперь кто только не вписывается. Даже Тринадцать ночует. И так разливается — можно подумать, хочет насовсем.

Шкет нахмурился:

— А что… с его прошлой хатой случилось?

Денни нахмурился в ответ:

— Ну, все переезжали туда-сюда с тех пор,

как… — Он кивнул. — Народ из коммуны — эти на другую сторону парка перебрались. Леди Дракон перевезла своих на эту сторону Камберленда. А Тринадцать в квартире оставаться, сука, не мог… но ты же сам там был. — Гримаса Денни задавала вопрос Шкетовой.

— Почему?.. — спросил Шкет, поскольку никакого ответа не придумал.

— Запах, — сказал Денни, — как минимум, — и шагнул на крыльцо.

Шкет шагнул следом.

— А, ну да. Запах… — Это-то понятно; в отличие от перемещений и переселений в украденные дни. Вся пленка реальности, которую слушал Шкет, взяла и перевернулась. Играла по-прежнему; и он по-прежнему слушал. Но он моргнул — и пропали дни, и все справа сдвинулось влево, а все слева теперь справа. — Слышь, ты когда меня в последний раз видел, я долго был с?..

— Тшшш, — сказал Денни. — Все спят. — Он толкнул дверь. — Еще и шести утра, небось, нет.

И внезапно Шкету расхотелось знать. Вместо этого он спросил, понизив голос:

— А ты почему не спишь?

— Я иногда очень рано встаю. — Шагая по коридору, Денни ухмыльнулся через плечо. — А

иногда сплю целый день. Здесь так можно… но тогда я не сплю всю ночь.

В коридоре на плинтус из спальника выплеснулись густые черные волосы. За дверью на диване голый мужик — Саламандр, загорелая веснушчатая спина вся в рыжей поросли — спал, притиснув к спинке дивана очень белокурую девушку. За его голой лодыжкой Шкет разглядел ее сандалию, аккуратно подвернутую штанину ее джинсов. Ее рука, бледная в рукаве морского бушлата, всползла по драной обивке, упала. В соседней комнате кто-то перестал храпеть, прочистил горло, откашлялся, умолк.

Денни огляделся:

— Хочешь в ванной?

— Нет. — Шкет ладонью пихнул его в плечо. — Не хочу в ванной. — Денни недоуменно заморгал, а дверь ванной в конце коридора отворилась, и оттуда явилась Кумара — сонная, в одних джинсах, с расстегнутой ширинкой. И прошла мимо, не прикрываясь и не здороваясь.

Шкет успел заметить прислоненный к бачку заляпанный и оплетенный цепью манекен — а потом дверь закрылась.

— Я живу тут.

Это куда переставили «харлей».

— Ты как себе отдельную комнату раздобыл?.. — спросил Шкет, на последнем слове сообразив, что три тюка среди лопат (почему лопат?), труб, досок и брезента — это люди в спальниках.

Кто-то соорудил здесь антресоли.

Взобравшись на три ступеньки, Денни оглянулся через плечо:

— Ты подымайся.

Его сапоги перешагнули край платформы. Шкет залез. Доски (под его рукой и коленями они слегка прогнулись) забросаны одеялами. Антресоли размером с двуспальную кровать, ни подушки, ни матраса.

— Я все свое тут держу, — объяснил Денни, отползая в мятую ткань. Под левой рукой у него оказались армейский компас, свежевыглаженная и завернутая в полиэтилен зеленая рубашка (с золотым кантом), кинжал с рукоятью в форме звериной лапы с шаром, а также футляр, на котором снаружи нарисованы были длинные, то черные, то черным обведенные треугольники нардов.

Шкет вполз по оливковым одеялам и зеленому тканью побледнее, насквозь рябящему шнуром электрического одеяла. Пятнистые жалюзи в окне выше антресолей окропляли этот бардак

бежевым светом. Шкет подобрал под себя ноги, сел и заметил, что у него трясется рука.

— А почему с тобой тут еще полдюжины человек не спит?

— А я их нахуй посылаю. — Руки Денни узлом сплелись на коленях.

На стене висел зодиакальный плакат: Скорпион. И другой — «Котх, Темный Ангел».

— Довольно мило тут у тебя, — прошептал Шкет. Горло перехватило. Я его боюсь. И он мне нравится. — Снимай остальное.

— Зачем?

Шкет выдохнул:

— Да так. — Большим пальцем выдавил пуговицу и спустил молнию. — Давай. — Вытащил пенис и яйца из-под клина медных зубьев и привалился плечами к фанерной стене.

Потолок мешал Денни распрямиться в полный рост. Сгорбив спину и согнув ноги, пацан шагнул по одеялам, болтая руками, словно тощая блондинистая обезьяна. И упал. Шкет под его ладонью разогнул колено. Волосы Денни упали Шкету на живот.

Рот какой холодный! — подумал Шкет и резковато отдернул руку. А, нет, у мальчика просто мокрые губы. Раздувающийся пенис накрыло жа-

ром. Шкет согнул коленки и обхватил ими худые бока Денни. Пропихнул руку по животу, сквозь шевеление волос. Слюна на курчавом лобке уже остывала.

— Приятно. Сделай мокро.

Его пальцы нащупали основание. Он отвел волосы Денни, наклонился (не удалось) посмотреть на расплющенные щеки, растянутый рот. Волосы вновь упали. Он горстью обхватил Денни шею. От воспоминания о трупе в шахте выдохнул; вот это жаль. И равно внезапный порыв ударом отпихнуть эту прыгучую голову. Шкет простонал:

– *Ынн…* — и снова: — *Ынн…* — и ощущение было такое, что пришлось закрыть глаза. Он ладонью прихлопнул теплое ухо. Голова поднялась, и пенису стало холодно.

— Нормально? — спросил Денни.

— Ага…

Жар опустился неплотным кольцом. Мошонка распустилась между бедер, затем съежилась, когда под штаниной по ноге потекла слюна. Голова, двигаясь, сотрясала Шкету руку до плеча. Он потянул Денни за плечи. Денни сжал пальцы у Шкета на ляжке, разжал, не стал противиться и лег грудью Шкету на грудь, и их тела разделяли горсть цепей и помятый жилет.

Лицо у Денни было жесткое и изумленное.

— Ты чего хочешь?

Видны мельчайшие мускулы подбородка, и щеки, и скулы.

Шкет погладил его по спине:

— Я хочу, чтобы ты разделся, блядь, до конца.

Кожа у Денни была горяча и пыльно-суха.

Другую руку Шкет просунул под него, сдвинул свой хуй, зажатый в складках джинсы.

Денни рывком встал на колени, перевел дух и принялся расстегивать штаны. Шкет подумал: не хочет, чтоб я трогал его хуй. В животе сгустилось что-то похожее на гнев.

Денни сказал тихо и хрипло:

— Тебе необязательно раздеваться. — Спустил джинсы ниже колен, оттянул пригоршни цепей на шее.

Шкет почесал живот. Денни замер напрочь, взглядом наткнувшись на Шкетов пах. У Шкета что-то приключилось в горле и со ртом — легко подумать, что страх, легче — что желание.

Хуй, твердея, перекатился по бедру.

Из горла у Денни вырвался клочок дыхания, который он так старался удержать.

— Снимай штаны… — Шкет сопоставил гнев с желанием. Отчего гнева в голос выплеснулось

больше. — Давай… — Желание осталось — тяжким жаром внизу живота.

Денни сел и потянул с ног сапоги. На правом полкаблука снаружи протерлось почти до кожаного голенища. Левый он сдернул быстрее. На щиколотку упали кольца цепи. Косточка отделяла три кольца от четырех: несколько раз обернутого вокруг ноги строгого собачьего ошейника. Денни откинулся назад, снимая джинсы.

Шкет посмотрел на его руки, на его ноги, на его пах. У него самого слегка затекла спина под стенкой. Денни, переменив рисунок движений, принялся, не глядя на Шкета, складывать джинсы. Чтобы плечам стало полегче, Шкет подался вперед. Потом протянул руку, и забрал у Денни джинсы, и швырнул в угол, к сапогам и одеялам. В лице у Денни, чьи глаза искали что-то — не Шкетовы глаза, — вместо смущения нарисовалась неприязнь.

Шкет улыбнулся, а улыбка обернулась тихим смехом в доме спящих:

— Да ладно тебе.

Денни наклонился вперед. Потом сипло сказал:

— Странно, да, что я теперь-то психую?

Сухая горячая кожа коснулась Шкета, вжалась

в Шкета, рука разделила их плечи: жесткое основание ладони, четыре легких нажатия и большой палец по всей длине. Шкет посмотрел, как его трогают обведенные черным ногти. Рукой обхватил Денни за плечи, накрыл мальчишеские пальцы своими. Подумал: *детские*? И встревожился: зачем это дитя меня сюда привело? Крепче обхватил руками спину Денни; тот трясся.

— Эй… — Шкет провел рукой по костлявому стеблю хребта вниз, туда, где плоть утолщалась, смягчалась. Потом вверх. И вниз. — Эй, ну кончай. Что такое?

Денни все трясся.

— Ничего.

Я боюсь. И хочу все это прекратить. Нет уж, блядь!

— Тогда давай. Расслабься. — Шкет еще отполз от стены по груде одеял. Покачал Денни, удерживая на себе. Тот отвернул голову, и Шкету пол-лица залило желтым.

— Если мы будем просто лежать вот…

Под антресолями кто-то заворочался. Денни снова задышал только на счет «три»; и продолжил:

— …вот так, мы вообще ничего не сделаем.

Валяй тогда, делай что хочешь, откликнулся

гнев. Перекатывая во рту эту невысказанную фразу, Шкет сообразил: я его старше на двенадцать лет. И сказал:

— Соси давай.

И это, понял он, когда зашебуршилось по груди и животу, когда налилось жаром в паху, откликнулось вожделение. Он протянул руку к волосам и сгорбленным плечам у себя между ног. Коленом, снова и снова толкая, перекатил Денни на бок. Тот держал его за бедра. Соитие длилось, напряженно и усердно, пока Денни, уже не держась, не замолотил головой примерно Шкету в бок.

— Нормально?.. — пропыхтел Шкет и его отпустил. Продвинувшись к оргазму на четверть, он согнулся, жестко вжимаясь пахом в бок, в бедро, хоть во что-нибудь.

— Эй… — Денни лежал на спине, тяжело дыша. Поднял руку — костяшки блестят, на них серая слизь. — Я, кажись, кончил. — Он ухмыльнулся. — И что мне с этой фигней делать?

— Съешь, — ответил Шкет. — Ты же обычно съедаешь?

— Ага. — Денни снова перевел взгляд на потолок и сунул костяшку в рот, повернул руку, облизал ладонь.

Шкет закинул руку, от усилий вспотевшую,

поперек узкой, твердой и по-прежнему сухой грудки Денни, погладил его по костлявому бедру. Денни вынул два средних пальца изо рта.

— Ты так и не кончил?

— Не-а.

— Тогда… тогда делай, как ты хочешь.

Ага, подумал Шкет, это гнев. И рассмеялся.

— Когда я был маленький, — сказал Денни и прижал тыл ладони к открытым губам, — у нас на районе были два пацана, братья, самые сильные ребята. Я хотел быть как они. И они мне один раз сказали, что они такие сильные, потому что съедают молофью друг у друга. Я тогда не понял даже. Я еще даже не дрочил, да? — Денни повернулся, посмотрел на Шкета. — Потому что, видимо, белок. Ты тоже так?

Шкет покачал головой:

— Нет.

— А откуда знаешь?

Шкет пожал плечами:

— У тебя по лицу видать, что ты так делаешь.

— То есть?

— Не знаю. — Шкет сжал тугой мускул под бумажной кожей у Денни на плече. — Может, потому, что ты сильный. Они, значит, не врали. — Он закинул ногу на ногу Денни, резко сел.

Волосами задел потолок и пригнулся. — Тебе же нравится, нет?

Денни снова ухмыльнулся и скользкой ладонью взял Шкета за член. Шкет покачал. Денни сказал:

— Тебе нравятся девушки?

Шкет удивился:

— Ну да.

— Хочешь выебать девушку?

— Лучше открой рот, а? Или перевернись.

— Секунду. Пусти, я встать хочу…

— Эй, слышь, ты просто…

Но Денни отбился и встал. Оттолкнул Шкета, и тот, в досаде и любопытстве, не воспротивился.

— Я сейчас, — прошептал Денни и спрыгнул с платформы.

Шкет вздохнул и сунул руку между ног. Может, я и псих, подумал он, но этот — ебанько! Сунул руку под плечо, разгладил складку одеяла. Глянуть вниз?.. Не. Он смотрел в потолок, который задел головой. Бывшие владельцы выкрасили потрескавшуюся штукатурку белым, не зашпаклевав.

В комнату кто-то вошел.

Она сказала:

— Где?

Денни сказал:

— Наверху, у меня в постели. Иди.

Платформа затряслась — кто-то взбирался по лестнице. Шкет глянул. Над краем появились ее спутанные со сна кудри, ее ошеломленные глаза, ее улыбающийся рот. Она сказала:

— Я… — хихикнула и добавила: — Привет.

— Ты лезь, лезь, — велел голос Денни.

Она оглянулась:

— Я и лезу. — Перебралась через край и подползла — груди, болтаясь, стукались то о плечи, то друг о друга.

Она приносила ему виски в ванную, когда он весь изгваздался в крови.

— Эй! — сказал Шкет. — Как дела?

Она снова улыбнулась и села по-турецки — в треугольнике между пяткой, пяткой и пахом темная чаща.

Денни тоже взобрался, оперся на локти, ухмыльнулся.

Меня используют, подумал Шкет. Только непонятно для чего.

— Ну и что будем делать? — спросил он.

— Он любит, когда у него отсасывают, — сообщил Денни.

Девчонка протянула руку, высунув кончик языка между зубов.

— Эй! — сказал Шкет Денни. — А ну-ка *ты* залезай!

В лице у Денни на миг нарисовалась растерянность. Потом он вскарабкался на антресоли. Девчонка опять хихикнула и вдруг повалилась на Шкета.

— Эй… — Шкет ее поймал; она смеялась, а он ободрал плечо об стену и ударился локтем. Его пениса девчонка не отпустила.

Денни, стараясь не хихикать, сказал:

— Ну хватит. Тише… — Удрал в угол, сел и закачался, обняв коленки.

— Эй… — повторил Шкет и убрал из-под плеча книгу (Денни). Что-то давило и щекотало ему грудь. Он опустил взгляд. Девчонка прижималась к нему лицом — это она опускала и поднимала ресницы.

— Эй, — в четвертый раз сказал он, и запустил руки ей в кудри, и оттянул ее голову назад.

Она только и сказала:

– *Ыннн!*..

Он ее поцеловал. Она схватила его за плечи у самой шеи и пихнула языком. Опираясь на левую руку, он правой мял мякоть ее плеча, ее груди, ее живота. Впихнул пальцы в складки плоти ее пизды, и она задрала колено, тряся икрой и бедром.

Вошел мягко. Внутри пальцы нащупали хлюпкую твердость, которая постепенно подалась, тоже размягчилась. Она тихонько повизгивала, а ее рука на его пенисе бесила, как перышки. Стараясь (и не без успеха) не вынимать языка у нее изо рта, он развернулся, заполз между полных бедер, заклинился там. Вышел, чтобы снова войти, открыл глаза и увидел, что ее глаза распахнуты и устремлены на Денни. Впрочем, снова обратились к нему, и одновременно она подняла ноги и обхватила его, словно горячими подушками. Он зарылся в нее пенисом и языком, но что-то внутри переключило передачи: он сбросил скорость и лишь затем стал разгоняться. Тоже заинтересовавшись, поднял голову — картина получилась тряская. Денни стоял на коленях с хуем наперевес, губы размыкаются и смыкаются, что-то тихо бубнят — не расслышать.

Шкет повернулся лицом к ее лицу и на миг увидел себя в окружении мягкого, и влажного, и теплого. Вонзился во все это и кончил — одним мощным спазмом, от которого она под ним вся заходила ходуном и всосалась ему в рот, и ему в грудь вонзилась твердая косточка между ее расплющенными грудями. С далеких подростковых лет такого не было — яростно захотелось изба-

виться от любых прикосновений. Он скатился с нее, как дурак, пока она переводила дух, и холод хлестнул его по вспотевшим бедрам и животу — и ее тоже хлестнул, само собой. Нет, все равно не то. Лежа на спине, он снова к ней подполз; она не отодвинулась, ткнулась в него лицом.

— Эй… — Он поднял руку, просунул ей под голову. — Эй, иди сюда. — А другой рукой поманил Денни.

Денни вытянул ноги и скользнул ближе. Шкет цапнул его за плечо. Денни лег, забросил ногу на ногу Шкету, и его член брусочком лег Шкету на бедро.

— Ты же не кончила, да? — спросил ее Шкет.

– *Э*, — удивилась она и захлопала глазами.

Он не глядя колыхнул Денни.

— Я уже всё, а твоя подружка нет. Давай-ка, сделай с этим что-нибудь.

— Чё? — Он почувствовал, как Денни приподнялся на локте.

Шкет лизнул ее в нос. Она сощурилась.

— Я хочу посмотреть, как ты будешь есть мою молофью из ее пизды.

Патентованная ложь. *Вот* зачем меня использовали! Он хотел смотреть ей в лицо: она полуприкрыла глаза, меж ресниц поблескива-

ли полумесяцы. Верхняя губа все терла и терла нижнюю. Шея Денни — как две жесткие резинки, а между ними провал. Шкет подтащил эту шею ближе:

— Давай, трудись.

Денни возмущенно заворчал. Девчонка опять посмотрела удивленно.

Шкет сжал руку у Денни на шее и успел в недрах его возмущения разглядеть страх.

— Давай, уебок. А то башку тебе раскрою!

Денни сглотнул и опустил лицо.

Сомкнув пальцы в желтых волосах, Шкет толкал скачущую голову, качал ею — и думал, что стоило бы погрубее.

Она разок сказала:

— Ой… — и сдвинула ногу.

Шкет посмотрел; у нее на лице так и застыло удивление. Придвинувшись к ее лицу, он вопрошал глазами (она не отвечала), поцеловал ее нежно, поцеловал жестче, и наконец она закрыла глаза — крепко — и заахала. Он почувствовал, как их руки столкнулись у Денни в волосах, как она отдернула руку, поэтому, целуя ее, свою убрал (но вдавил ногу мальчику в спину). Он ласкал ее обвисшую длинную грудь, скатившуюся ей на ребра. Грузная девочка… сколько ей?

семнадцать? Восемнадцать? Постарше Денни; все равно ребенок. Ее мягкий язык тыкался в его твердый. Шкет отодвинулся — касался ее лишь рукой и ртом. Один раз ее руки встретились с ним на его выпяченном животе, снова зарылись в волосы Денни, и Шкет услышал, как мальчик ахнул. Денни елозил на сбившихся одеялах, голова качалась и прыгала.

– *Ынн*, — сказала она, — *ынн… ыннн… ынн…* — А потом завизжала и вцепилась в него.

Шкет рухнул на нее, ладонями и локтями обнимая всю мякоть ее боков.

— Колено у меня с головы убери, блядь, — сказал Денни.

Кончиками пальцев она взобралась по спине Шкета и вздохнула, и руки ее, восходя, обхватывали его все сильнее.

Денни выпутался из их ног и хлопнулся Шкету под бок.

— Ну как ты, слюнявый? — Шкет обхватил его рукой. Мальчик уткнулся ему в плечо уже холодным подбородком. — Ты со всеми так поступаешь, кто по утру на минет заглянет?

— Это *она* придумала, — сказал Денни.

Она хихикнула и сказала:

— Ничего *подобного*!

Шкет бедром чувствовал пах мальчика.

— У Денни до сих пор стоит, — сообщил Шкет девчонке. — Хочешь его окучить как следует?

Она подняла руку и опять засмеялась:

— Я могу. Но он не станет.

Шкет повернулся к Денни:

— Не любишь ебстись? — Хотелось пить. Но просьбу попить придется отложить на потом…

— Ну, видимо, нет, — сказал Денни. — В смысле, у меня быстро опадает… — Внезапная подростковая серьезность. — Видишь? — И он уже размягчался.

— Зато язык-то у него стоит, а? — заметил Шкет; девчонка потерлась коленкой о его коленку.

Шкет потерся в ответ, сунул руку Денни между ног.

— Эй, ты что…

— Ой! — сказал Шкет. — И снова встал. Давай, я хочу посмотреть, как ты попробуешь.

Девчонка перекатилась на спину:

— Он не будет.

— А ты помолчи.

— По-моему, ему бы надо. — Она сложила ладони под грудью. — Но он все твердит, что гей.

— Отвяньте от меня, ну? — сказал Денни.

— У меня твой хуй уже в руке не помещает-

ся. — Шкет шевельнул пальцами, и лобковые волосы Денни потерлись о сомкнутые в кольцо пальцы. — Он твердый.

— Денни?.. — сказала девчонка и разжала руки.

Между подушечкой и основанием ладони хуй Денни вздрагивал, но не увядал.

— Не переживай, — сказал Шкет, — я не отпущу.

— Ёпта, — сказал Денни и сел. — Ладно, только ничего не получится.

Его колено заехало Шкету в живот.

– *Уййй…*

Ладони Денни впечатались Шкету в грудь.

— Эй, ты отпустил!

— И? У тебя все равно стояк. Ты уверен, что других забот у тебя нет?

Шкет сел, положил руку Денни на бедро, а другой потер ему ягодицы, потянулся к волосам и обвисшей мошонке. Кожа у Денни оставалась суха, как кирпич. У Шкета и у девчонки (одно мягкое бедро растеклось под его икрой) кожа влажная. Девчонка шевельнулась и как будто застонала; а может, выдохнула смех; или даже возмутилась.

Шкет положил руку ей на живот, вдавил палец

в складку. Сунул руку девчонке в волосы и эхом откликнулся на ее стон.

На запястье у него шевельнулся мускул бедра Денни. В ладонь легли яйца. Шкет потер пенис снизу.

— Так нравится? — Взялся за него, сдвинул руку, прикрывая головку над обрезанной крайней плотью, и толстая плоть шевельнулась, твердая, как засохшая губка. — Ты думай о том, что там еще осталось от моего залпа, что тебе на лицо не попало. Не опадешь… во-от! — потому что другая его рука, растопырив средний и безымянный пальцы, вошла, и девчонка подалась, от слизи вся мокрая. — Продолжай…

Денни опустился на нее. Мускул его бедра тряся, пока колено не заскользило по одеялу.

— У тебя в пизде его хуй и два моих пальца, — сообщил Шкет. — Не может быть, что они *все* опадут разом. Эй, ты глянь, как качает!

Ее рука лежала расслабленно; пальчики на белых ладонях, где пот блестел, как слюда. Пальцы шевельнулись было, хотели сомкнуться и не сомкнулись, хотели раскрыться, но не стали; она тронула Денни за плечо, а его бледные волосы зазмеились ей в лицо. Шкет чувствовал, как мальчик дрожит, как его хуй скользит по его

костяшкам. Вытащил из-под Денни руку, оперся на нее, сел. Тело Денни распласталось на ее большом теле. Шкет снова сунул руку между ними.

— Эй, пацан… вот молодец. Нравится, а? — Он сел ровнее, погладил ее по руке и почувствовал, как дергается мускул у нее в плече. — И тебе нравится, да?

На седьмом или восьмом толчке ему снова удалось загнать в нее средний палец до костяшки — мошонка у Денни съежилась в твердый комочек, но распустилась на ладони. Денни отступил перед очередным толчком. Ее рука у него на плече вздрогнула. Ее лица Шкет не видел. Денни снова толкнул, и от ее ответного толчка снизу у нее закачались ноги. Они такие молчаливые, подумал он, и дыхание перехватило: его собственный член восстал, и напрягся, и отвердел так, что больно. Шкет вынул руку из-под Денни и лег рядом, вжался, хуем втиснулся в подвижную щель между ними, одной рукой обнимая Денни за спину, другой — ее за макушку. Денни не сбился с ритма. Шкет сунулся к ним лицом, пытаясь ее поцеловать, но она к нему не повернулась. Денни дышал громко, точно мотор урчал.

— Выеби ее как следует… — прошептал Шкет. — Разорви эту пизду напополам, хуесос! Заглоти его

пиздой, сука!

Денни превратился в сплошные толчки о его правое бедро; а ее бедро все билось и билось ему в левое, билось и тряслось, и Денни падал в нее все быстрее, быстрее и быстрее. Шкет сунул руку Денни между ягодицами; ощутил первый пот на сухом теле. Денни вонзился сильнее. Она одной ногой обхватила его бедра и тяжело дышала. Шкет потянулся через ее икру — гадая, вдруг ей не понравится, — Денни между ног, сполз на несколько дюймов, чтобы достать до яиц; Денни зарычал, и Шкет собрался было убрать руку, но рычание прорвали слова:

— Во-от!.. Так. Да…

Шкет воткнул руку, и девчонка под ней дернулась — когда так дергаются, еще кричат. Денни все качал, качал, качал и качал, и перестал качать, а она не перестала, и выпустил из себя весь воздух:

— Господи боже… — глухо, ей в шею. Расслабил зад. А потом тяжело задышал.

Шкет погладил по шее его, а Денни засмеялся в шею ей, смахнул свои волосы с ее лица. Она тоже задыхалась.

— Эй? — Шкет костяшками погладил ей щеку. Ее распахнутые глаза уставились на него

в упор. — У тебя на этот-то раз получилось? — Другой рукой он сдвинул член ей по бедру. — Я могу еще.

Она сверкнула неуверенной улыбкой:

— Я нормально.

— Бля! — Шкет уронил голову, гавкнул смехом. — Устал я, вот что.

Закрыл глаза и спустя вздох услышал, как они завозились. Пах, еще раздутый, уже немел. Наверняка проснусь — и под яйцами будет болеть, подумал он, но наплевать. Денни коснулся его плеча, легонько потянул. И Шкет подкатился, прижался к ним. Денни опять выдохнул звук и крепко обнял Шкета, внезапно сунулся лицом ему в шею.

— Эй!.. — Он цапнул пацана — тот хихикал и сопел, как щенок (как она, вспомнил Шкет, когда на него упала). Он сдвигал руку вниз по твердому боку, пока не нащупал костяшками ее бок, мягкий. — Поспи, я не знаю.

Денни отодвинул лицо, и Шкет втиснул руку ей под шею (волосы у нее были гораздо ломче, чем у пацана, загривок — влажный и горячий; а у него самого — влажный и остывал); стало вполне удобно, и он начал задремывать. Задремывая, заметил, до чего громко дышит Денни, и

прислушался к ее дыханию. Медленнее, дальше. А спустя некоторое время — возможно, сна — оно участилось. Он потянулся к ней, лишь коснулся ее, подумал: чуждость, эй, и прекрасная. Его губы, высохнув, склеились. Их разодрало дыханием, и он пробормотал это слово: прекрасная. Освободившись, погрузился в сон.

Проснулся в досаде, что мигом обернулась удовольствием. Ему кто-то отсасывал. Он ухмыльнулся темноте под веками, продрался сквозь три слоя мыслей. Ланья? Нет, эта, другая девчонка. Рука задела кость под мягкими волосами, наткнулась на твердое напряженное плечо. Денни заурчал.

— Ты что делаешь? — спросил Шкет. Перекатил голову влево, затем вправо по сбитому одеялу, повторил все то же самое с открытыми глазами. Девчонка ушла.

Денни ответил:

— Ты спал, а у тебя все время стоял как незнамо, сука, что. Я просто…

Шкет запустил пальцы Денни в волосы и пригнул ему голову.

— Ты же с этого и начал, и с *тобой* я еще не кончал.

Денни снова опустился на него губами.

Шкет поерзал кулаком у лица на одеяле, надеясь, что там еще сохранилось ее тепло. Одно нафантазированное воспоминание — лицо Денни у нее между ног, его пенис втиснут между ними… он отбросил фантазию и просто лежал, открыв рот, запрокинув голову, и каждый мускул в нем расслаблялся; Денни сосал и держал Шкета за яйца, и это было приятно. Шкет ногами обхватил мальчика за бока. И кончил. Словно горячее масло излилось в вату (вата вспыхнула огнем; огонь погас под водой. Вода, и пепел, и пепел омыли его насквозь).

— Иди сюда.

Денни лег Шкету на грудь.

Шкет погладил его по спине, снова сухой как бумага. Хотел сказать спасибо, но решил, что получится глупо, и вместо этого пожал Денни плечо.

— У тебя сперма на вкус не как моя, — сказал Денни.

— Да? — Шкет закрыл глаза.

— Она, ну, жиже. И ее больше.

— Я больше тебя.

— И горше.

— Знаешь, — сказал Шкет, — ты довольно занятный пацанчик. А подруга твоя куда делась?

— Она…

Кто-то вошел в комнату, что-то сдвинул под ними, развернулся.

Шкет поверх одеяла посмотрел, как за дверь выходит неопознанная макушка.

— …встала недавно и ушла. — Кулак Денни разжался у Шкета на плече.

— А. Вы с ней часто такое проделываете?

— Чё?

— Регулярно затаскиваете людей в постель?

— Не так.

— А как?

— Не знаю. Обычно это она предлагает. Она тут мой лучший друг.

Шкет кивнул, подбородком стукнув Денни по макушке.

— Она тоже скорпион?

— Не. Она — нет. Не как Накалка. Или Сеньора Испанья. Ей просто нравится с ними тусоваться. — Денни поерзал. — С нами. Я ей иногда привожу парней. Если она разрешает мне смотреть. Пару раз я с парнями баловался, совсем слегка. Но не так… ну, не как *мы*.

— А с ней баловаться тоже любишь?

Денни пожал плечами:

— Не знаю. Наверно. Но раньше никогда. В

смысле, внутрь не входил.

Шкет засмеялся.

— Иногда она говорила, что надо, а я нет. Мне только неловко, понимаешь? У меня опадал — ну, раньше.

— А. — Шкет старался не улыбаться, хотя Денни и не было видно.

— Я ей иногда вожу парней раза два или три в неделю. Она говорит, что не хочет быть подругой кому-то одному.

— Любит, когда двое разом? Это я понимаю.

— Может быть. — Денни еще чуточку поерзал. — Мы с ней вдвоем бесимся по-всякому. Если я ей скажу что-нибудь чокнутое сделать, пойти в старый дом например, где, может, люди с винтовками засели, — она пойдет. Чего только не находим. В старых домах. Полно всякого.

Шкет скрестил руки у Денни на спине; теплый рот коснулся его груди.

— Мне нравится смотреть, как она трахается с парнями, — сказал Денни. — А когда я тебе отсасывал, ты думал про нее?

— Тебе лучше бы так, да? Нет, не про нее. Ну, только немножко поначалу.

— Мне пофиг, про что ты думал, — сказал Денни. — По-твоему, небось, ты про меня все понял,

что мне нравится, да?

Теперь пожал плечами Шкет:

— По-моему, ты мне нравишься. Как тебе такое? — Расслабил плечи и засмеялся. — Хочешь его сосать, хочешь на нем сидеть — пожалуйста, я не против. И отныне ты будешь при каждой нашей встрече разворачиваться и бежать прочь в ужасном страхе, выкатив глаза? Но я хочу однажды заняться с тобой любовью. С тобой одним.

— Как будто я девушка?

Шкет вздохнул:

— Ну да. Можно и так сказать.

— Мне будет приятно.

— Это я знаю. — И он шлепнул Денни по затылку.

— А когда дрочишь, ты делаешь как я?

— Чего?

— Ну, это. Съедаешь?

— А. Нет. Я пару раз свою пробовал. Блин, пару раз я, кажется, съел — хотел посмотреть, как оно.

— Я всегда так делаю, — решительно сказал Денни. — Ты откуда знал, что я так делаю?

— Я просто знал других, кто так делал, и… ну, короче. Не знаю.

— А.

— А она вернется? — спросил Шкет.

Денни пожал плечами.

— А, — повторил Шкет и подумал, что слишком часто так говорит. Поэтому закрыл глаза.

* * *

Он слушал, как по дому ходят люди, и думал, что утро, наверно, уже не такое и раннее. Что-то — локоть Денни — заехало ему в висок, и он понял, что просыпается, а до этого опять засыпал. Он открыл глаза и сел. Денни лежал калачиком, к нему спиной. Шкет глубоко подышал; от осколков наслаждения отяжелела голова. Он потер плечо, и плечо закололо; он пригляделся к цепочке, пересекавшей волосы на груди. Держится; из дальней дали, прежде пробуждения, и сна, и пробуждения, на память пришел белокурый мексиканец, напрыгнувший на него посреди улицы. Шкет поморщился и потянулся за одеждой.

Как минимум нужно в туалет. Башка побаливала, во рту вкус безвкусного желатина, сгустившегося на языке и зубах. Шкет поискал штаны, перестал, положил руку Денни на ягодицу. Лицо, подумал он, вырубленное вокруг бороздки на сливе, например. Щеки, подумал он, втянутые в изумлении. Если никуда не денешься, я это все порву. Денни потер нос и, вероятно, проснулся,

но больше не пошевелился.

Шкет надел штаны, через край платформы стащил вниз жилет и сапог. Люди в спальниках так и лежали в спальниках. Нагнувшись, чтобы нацепить жилет, он обнаружил, что бока ноют; прислонившись к косяку, чтобы натянуть сапог, он впервые за долгое время пожалел, что нет другого. (Привиделось, как его ладони между собой растирают грязь, как эта грязь падает на воду.) Он вышел в коридор.

Беж и тепло на антресолях у Денни изображали ложное лето.

Небо за грязным оконным стеклом высоко в стене было грозовое. Дверь ванной открылась: не подруга Тринадцати, а сам Тринадцать. Длинные волосы вспушились со сна.

— Эй, а я не знал, что ты тут. — Тринадцать веско кивнул, голос подернуло хрипотцой усталости. — Несколько дней тебя не видал.

Шкет вошел в ванную и, пока мочился, занимал себя мыслями о том, когда же в последний раз видел Тринадцать. Вкручивал кулак в ноющий бок и размышлял: скорее всего, взаправду доебаться до смерти нельзя. Суя язык в горчащие уголки рта, щурился за окно. Грозовое?

Невероятные взвеси в сухом воздухе — а он

двигался между ними — сочились и / или выдувались из всех дыр. Он подождал каких-нибудь ярких осадков. Моча плеснула и умолкла. Он помассировал обмякшие гениталии — не похотливо, скорее чтобы вдавить в них хоть какую-то чувствительность. Костяшки намокли, и он опустил взгляд, гадая, моча это или остатки слизи. Удовольствие порой бывает омерзительно, подумал он и застегнул штаны.

В коридоре постоял, обсасывая соленые пальцы, а потом сообразил, что́ пробует на вкус, удивился, зачем так делает, и вспомнил про Денни. Ухмыльнулся: как-то раз психолог объявил его возмутительнейшим сочетанием лабильности и упрямства.

А потом в коридор, не заметив Шкета, вошла она и открыла переднюю дверь. Он вынул пальцы изо рта, узнал ее кудри, попытался вызвать в памяти полные плечи под синим свитером, который она теперь надела.

Она спустилась с крыльца.

В любопытстве он подошел к двери. Подумал: если обернется, у нее будут красные глаза, ну?

Она остановилась у машины, одним пальцем пошарила под гнутым краем крыла, рассеянно оглядела улицу; оглянулась на Шкета.

Крохотный озноб — сплошное предвкушение.

Ему поморгали удивленные карие глаза на сердитом, пожалуй, лице.

— Эй, — сказал он ей с крыльца, улыбаясь, что становилось все сложнее перед лицом ее малоосмысленного моргания — продолжать разве только в смятении. В смятении, улыбаясь, он сошел на тротуар. — Я пропустил, как ты скипнула. — Бывают грозы, решил он под увечным небом, в которые войти попроще.

— Ну еще бы, — сказала она, когда он спустился. — Я и не сомневалась. — Пальцы ее елозили по битому стеклу.

— Ты так порежешься, если будешь…

— Ты какой-то странный, — сказала она, глядя на него неприязненно. — Все было странное, ну или пидорское, не знаю.

— Слушай, — сказал он, — давай ты не будешь обзываться, — и сообразил, что не знает, как звать ее. И пролетел сквозь зачаточный гнев насквозь, и очутился гораздо ближе к ней, чем хотел: его пальцы на бедре складывались в такую же фигуру, как у нее. Его лицо растянулось, изображая ее.

— Когда он был… был со мной, это было между вами. Могли и без меня обойтись!

— Когда я был с тобой, это было между вами. Я мог вообще дрочить, — и, еще не договорив, понял, что сравнение неточно. — Он говорит, ты его лучший друг. Что такое? Он считает, что делает это ради тебя, ты — что делаешь это ради него? — Лицо его, растягиваясь вслед за ее лицом, обнаружило внутри у него внезапную грусть — и до того острую, что прошло не одно мгновение, прежде чем он заметил, что и ее лицо переменилось.

— Я была самая умная в классе! — вдруг сказала она.

Он не понял, отчего жжет глаза, пока не разглядел в ее глазах слезы.

— Я… была самая умная в классе! — И она повесила голову.

Он тоже повесил голову, прошептал:

— Эй… — и положил ладонь (слишком нежно, подумал он) ей на загривок, и боднул ее в лоб.

— Иди, а? — сказала она с грустной, изнуренной злостью.

— Ладно. — Он пожал плечами, фыркнул слабым смешком отступления и снова поднялся на крыльцо (ладонь холодна; а шея у нее была теплая). Посреди коридора он, однако, уже хмурился.

Когда опять взобрался на антресоли, Денни (очутившись между кулаками Шкета) перевернулся, и заморгал, и заворчал.

— Эй, там твоя подруга ужасно расстроилась.

— Ох ёпта! — сказал Денни и сел. Основаниями ладоней повертел в глазах и пополз к лестнице.

Шкет цапнул его за лодыжку без цепей.

Денни обернулся.

— У вас каждый раз такая травма, когда вы трахаетесь?

— Это я виноват, — сказал Денни.

— А то, — кивнул Шкет. — Возвращайся, ага?

— Я лучше пойду. Я, наверно, слишком много про тебя болтал. Я, наверно, ни о чем больше с ней и не болтал уже довольно давно.

— А, кстати, — сказал Шкет. — Ты эту историю с теткой в универмаге, с воздушкой которая, слишком раздул — оно того, знаешь ли, не стоит.

Денни ухмыльнулся:

— Я болтаю про тебя гораздо, сука, *дольше*, — и полез вниз.

Шкет лег, проворчал:

— Блядь… — и перекатился, жалея, что рядом никого нет.

Может, подумал он, дико устав, Денни приведет ее назад. Денни, рассудил он, вернется. Стоило

ли ее трогать? (Он распознал зачатки сумбура параноидальных спекуляций; распознал также, что по ту сторону от них лежит сон.) Трогать ее на улице? Будь они любовниками, он бы за день, за неделю, за месяц выяснил, прилично ли так поступать. Ешкин кот, а Денни-то стоило вообще рассказывать? Его использовали; ему не понравилось. Не вываливаешь такое говно на человека, едва затащив его в постель. Любовники? Он решил, что она ни капельки ему не нравится. (Однажды она в толпе прочих, безмолвных, сказала «до свидания».) С другой стороны, зря он вот так полез копаться в шкафах чужих эмоций. (Он снова перекатился, жалея, что исчезла Ланья.) Дурацкие долбанутые дети! И зачем Денни ее притащил? Праведное негодование, в конце концов решил он, проще всего. Впервые за очень долгое время он чувствовал обвившую его цепь. Как бы, задумался он, опять не порвалась — и не знал наверняка, зачем этого бояться.

2

Проснулся он один.

Сел и с закрытыми глазами просидел полминуты. Воздух на антресолях тяжел и сух. Станет ли пульсация в затылке головной болью? В соседних комнатах кто-то ходил. Трижды закрылась дверь ванной. Натирая колени одеялом, он потянулся за одеждой.

Денни нет.

За стенкой засмеялась черная.

Штанов он не снимал. Натянул жилет и, не застегивая ни того ни другого, спустился. В одном из спальников кто-то по-прежнему лежал. Два других сброшены стегаными кольцами.

Шкет прислонился к стене, натягивая сапог. Снова пожалел, что нет другого, но привычка развеяла сожаление. Он вышел в коридор, гадая, кого встретит сначала — Денни или его девчонку.

Поперек коридора из двери прямо по курсу шлепнулся свет, и Шкет сощурился.

— Эй, Леди Дракон!

Шкет заглянул в дверь.

На одном из матрасов на корточках сидел Кошмар, растирал толстое плечо в шрамах.

— Эй, Леди Дракон, ты ходила!

Убогую комнатенку залило сияние роскошного зверя.

Кошмар стукнулся спиной об стену. Под одеялом кто-то отполз прочь. Кошмар засмеялся, и закачался, и забряцал.

— Ходила и вернулась! Ой, привет, браток. И *вернулась*!

Леди Дракон оглянулась, вырубила свои огни. И засмеялась. Шкет посмотрел, как раздвинулись пятнистые зубы.

В комнате тут и там спали человек десять. Кошмар и Леди Дракон продолжали бурно беседовать.

— Я тебе принесла кофе! — Она дышала тяжело, груди растягивали кожаную шнуровку жилета. — Адам и Малыш там готовят. Нашли целый, блядь, склад, под завязку набит! — Лицо у нее было длинное и темное, как горькая шоколадка. — Притащили тебе целую коробку.

— Растворимый?

— Нет. — Она сжала кулак. — *Нет!* — с нажимом, как учительница домоводства. — Настоящий. Мои пацаны в кухне варят.

Кошмар качнулся и обхватил себя за плечи.

— О, у нас будет кофеин! Это очень хорошо.

Шикарно!

Внезапно Саламандр сел рывком с разворотом, топыря колени. Низко опустив голову, потряс волосами. Скрестив веснушчатые руки на гениталиях потемнее оттенком, поморгал, озираясь. Веки припухли, и виднелись только две золотистые прорези; каковые обратились на Шкета. Саламандр нахмурился, склонил голову набок; рот раззявлен, губы с каймой — Шкет знал, что это запекшаяся кровь (у него и самого во сне кровоточили десны), — обнажили ровные желтые зубы. Девушка в бушлате застонала и попыталась втиснуться в щель между диванным сиденьем и спинкой.

Кошмар махнул на Шкета рукой:

— Это он.

— Да, вылитый. — Леди Дракон поджала толстые губы.

Тонкие губы Кошмара улыбнулись.

— Ты чего в доме эту херь таскаешь? — спросил Саламандр.

Шкет опустил глаза на орхидею — на руке.

— С ней, когда отольешь, стряхнуть — целое приключение. — Он перевел дух, сделал над собой усилие, чтобы не рыться в памяти; порылся — и ничего не нашел.

— А ширинку застегнуть — тем более, — сказал Саламандр. — У тебя расстегнута. — Он отвернулся, потянул свои штаны из-под блондинки, а та пискнула и снова попыталась вкатиться в щель под обивку.

— Вот *это* он? — насмешливо переспросила Леди Дракон.

Шкет кивнул:

— Это я. — Привалился к косяку, съехал на корточки. — И я пока застегиваться не буду, пожалуй. Что-то неохота себя оскоплять.

— Он очень смешной. — Кошмар спихнул конец косы через плечо на спину. — Славный пацан. Особо не шумит. Но если что делает, обычно выходит хорошо.

Неплохой образ, решил Шкет, можно и оправдать; и решил особо не болтать впредь. *Когда* он надел орхидею?.. Когда?.. Саламандр посмотрел нелюбезно, опять дернул:

— Слезь нахуй с моих шмоток, а? Одеться хочу!

— Эй, народ, тащите кофе! — заорала Леди Дракон.

Некая девица, наполовину скрытая диваном, приподняла голову над сгибом руки и снова уронила. Не девчонка Денни.

— О тебе тут много говорят, — сообщила Леди

Дракон. Нахмурилась, переведя взгляд на Саламандра. — Вот *он* ни слова доброго не сказал, — и засмеялась.

— Я вообще не сказал *ни слова.* — Саламандр подергал застежку на штанах военного образца. Один карман на бедре порван. На коленях дыры. — Мне про Шкета сказать нечего.

Кошмар слегка пригнулся:

— А ты что скажешь про Саламандра, Шкет?

Шкет покачал головой. Хотят, чтоб мы поссорались и подрались прямо здесь, подумал он.

Кошмаров хохот начался раскатисто, а затем съежился до хриплого боевитого добродушия.

Кто-то еще приподнял голову с груды одеял, сонно похлопал глазами, потом ухмыльнулся:

— Эй! — и неуклюже воздвигся на ноги, одной рукой почесывая сначала вспотевшие волосы на лбу, затем майку на животе. Другая рука забинтована до плеча. — Эй, это Шкет! Вернулся к нам пока?

— Как дела, Сиам? — рискнул тот. Коричневое перекошенное лицо, что раскачивалось туда-сюда на полу в автобусе, было… другое? Да нет, не очень…

— Порядок! — Сиам пригнул голову, улыбаясь от уха до уха. — Нормально. Порядок! — Здоровая

рука пощупала повязку; палец проскакал по грязной ткани (Кошмар все мял многоглавую выпуклость плеча, выдававшую тренировки с весами). Сиам глянул на остальных, смутился, ухмыльнулся сквозь смущение и тоже сел на корточки, имитируя Шкета.

Леди Дракон крикнула:

— Где вы там застряли? Я кофе хочу!

— Тут у них чашек маловато. — Парень держал две чашки в руках, а еще три обнимал. Волосы — чехарда золотого лома; грудь, подбородок и ягодицы — сплошь волдыри и пустулы; ногти на руках и ногах грязные, а сам голый. — По-моему, у них на всех не хватит. — И он заозирался.

— Дай Кошмару, Малыш. — Леди Дракон взяла чашку себе.

Вошел Денни. Тихонько сел подле Шкета, скрестил ноги, облокотился; джинсовым коленом задел Шкета по голени.

Кошмар взял чашку и знаком велел Малышу оделить Денни.

— И Шкету дай…

— …Только если осталось мне. — Саламандр натянул второй сапог и дважды топнул. Посмотрел на Шкета.

— Мы тогда с Адамом из одной. — Малыш кисло

глянул на чашки.

Шкет взял свою и подумал: если б не хватило, нам бы, небось, пришлось драться.

Саламандру чашка досталась. И Сиаму тоже.

— Адам! — окликнула Леди Дракон. — Малыш посуду уже раздал. Где кофе-то?

Вошел Адам — бурое лицо в парно́й вуали. Пар перекатывался по цепям на груди. Копна густых темных волос.

— Прошу. — Он налил Леди Дракон, перешел к Кошмару. Штаны были ему велики, сбились — или, может, сползли под весом цепи, служившей ему ремнем.

Шкет протянул чашку обеими руками, почувствовал жар.

Малыш посреди комнаты разглядывал последнюю чашку — интересовался, насквозь ли треснула.

— Целый склад, — повторила Леди Дракон. — Когда этот закончится, сходи сам и возьми.

— Ёпта. — Адам сощурился в пару́. — Мы ж целую коробку притаранили. — Почесал грудь; цепи заворчали.

— Я по жратву в набеги не хожу. — Кошмар подул — пар перетек по рукам. — По жратву я не ходок, сама, блядь, знаешь.

— У нас тут столько дармоедов, — сказал Саламандр своей чашке, водруженной на правое колено. — Может, и придется. — Не поднимая головы, снова покосился на Шкета. — С каждым днем все больше.

— Вам-то осталось? — договорила Леди Дракон Адаму; тот заглянул в дымящийся кофейник и кивнул. Она перевела взгляд на Саламандра и загоготала: — На Шкета наезжаешь, а? Чего ты на него наезжаешь?

— А того, что Саламандр у нас большой и тупой, — сказал Кошмар. — Мне-то что, мне Саламандр по кайфу. Большой, тупой и злой. А Шкет мелкий и умный. Но тоже, небось, злой.

— Когда меня подстрелили, — сказал Сиам, — Шкет меня в автобус затащил. Шкет не злой…

— Ай, да заткнись нахуй! — взревел Кошмар и резко перекатился на колени.

Сиам плеснул кофе себе на руку.

Кошмар нет.

Сиам поставил чашку, потряс пальцами, пососал костяшки.

Кошмар заржал, глотнул и опять заржал.

Саламандр поморгал, потер бороду веснушчатым запястьем и еще глубже втянул голову в плечи.

Шкет стиснул пальцы на чашке; руку неприятно жгло.

— Эй, Саламандр? — Шкет пошевелил мозолями на обжигающем фарфоре. — Эй, Саламандр, как думаешь, чего они нас стравливают?

Рыжий с дивана прожег его глазами.

— Я наполовину индеец, — сказал Шкет. — А ты… ты кто? Наполовину ниггер?

Он глянул на Леди Дракон — та переводила взгляд с Саламандра на Шкета и обратно, мерцая черными глазами на темном лице, точно сдерживала усмешку. Кошмар — кожа прозрачно-белая, невзирая ни на какие мускулы, — смотрел поверх чашки прямо-таки недоуменно.

— Они думают, небось, что все выйдет по-простому, да?

Злость Саламандра обернулась озадаченностью. И вдруг разразилась смехом.

— Ага, — сказал он. — Ага, вот только… — Он большим пальцем указал на Кошмара, на Леди Дракон. — По-простому, еще бы. Только наполовину индеец — это полукровка, так? А наполовину ниггер в этих краях — обыкновенный ниггер, и все дела. — Смех гавкнул, запрокидывая Саламандру голову. Но нараставший гнев вытек в комнату презрением.

Смех Леди Дракон утоп в кофе, громко забурлившем под ее опущенными глазами.

— Мы с Саламандром, — Шкет выставил руку вперед для равновесия, покачался, поднялся, — мы с ним на одной стороне, да? — Он перешагнул через кого-то спящего. — Оно и к лучшему, когда вокруг такие сволочи.

— Раскусил он тебя, белек, — хмыкнула Леди Дракон Кошмару.

— Ай, да помолчи уж, — откликнулся тот.

— Он вас обоих раскусил, — сказал Саламандр. — Господи… — Он порылся под девушкой на диване, вытащил свой жилет.

Шкет хотел было обернуться к Денни; но в дальнюю дверь вошла его девчонка.

С очень удивленным лицом.

Шкет пересек комнату. Заметил, что за ним, натягивая жилет, наблюдает Саламандр. И Леди Дракон тоже, и Кошмар, и улыбки у всех разные.

— Кофе хочешь? — спросил Шкет.

Сунул ей чашку, а она взяла и удивилась еще больше. Он протиснулся мимо нее в дверь.

Раковина и столешница завалены посудой. Стол — мусором. Мусорный мешок под столом порвался.

Небо за сетчатой дверью волновалось и верте-

лось, как зверь на цепи.

Шкет остановился на замусоренном линолеуме и поднес руки к лицу…

Забыл про ножи.

Вдавил основание свободной ладони в глаз. Чистый металл и грязная плоть — он поднес ближе к лицу вооруженную руку, и металл пощекотал ему щеку.

За металлом, и кожей, и сеткой, и деревянными крышами на той стороне улицы небо текло, и пузырилось, и сочилось небом.

Я, подумал Шкет, поиграю в эту игру еще час. Один час. А потом пойду и займусь еще чем-нибудь. Я устал. Это несложно. Просто я устал.

Он тер глаз, пока пятна света не заслонили и ножи, и руку, и небо.

В соседней комнате смеялись.

Чего я тут хочу?

Мальчика? — подумал он, чтобы посмотреть, как эта мысль канет. Мне ведь он по-прежнему нравится? Мне с ним уже скучно (а в мыслях: и все это — гарантия, что ему по-прежнему нравлюсь я).

Ланья, сердито подумал Шкет, ушла. Почему. Потому что я невозможный. И в ошеломлении понял, что хочет ее.

Двойной смех распался на мальчишеский и девичий. Когда они обогнули Шкета, рука в руке, она поспешно отвела взгляд. А Денни не отвел.

Шкет почувствовал, как у него меняется лицо, и не понял, куда оно меняется. Но от этой перемены Денни остановился.

— Иди отсюда, — сказал Денни девчонке.

Та поглядела на них по очереди, с растерянностью и… жаром? А потом слиняла назад в гостиную.

После паузы Шкет сказал:

— Я твоей подруге не очень нравлюсь.

Плечи у Денни подергались мелко и резко.

— Ты с ней неплохо обошелся.

— Да хер там. — Может, велеть Денни уйти, как тот велел своей девчонке. — Иди сюда.

Денни подошел.

Шкет сунул руку в карман, достал Тэкову батарейку.

— Вставь, а?

Лицо у Денни подергивалось, мелко и странно, как плечи. Я творю ритуалы, подумал Шкет. Они тщатся их постичь; и с усилием захлопнул воспоминание о зеленых глазах Ланьи.

Денни помацал проектор. (Цепь пощекотала Шкету грудь.) Прикусив нижнюю губу, Денни

открыл сферу. Большим пальцем впихнул батарейку между контактами.

Шкет двинул пальцами, пленными и свободными, по ножам, рукой задел штаны Денни.

— У тебя стояк.

— Я в курсе. — Денни пососал губы и большим пальцем захлопнул проектор. Крышка щелкнула. — Порядок. — Не поднимая головы, развернулся к двери.

Шкет сунул большой палец себе между ног и выпятил гениталии.

— Эй, посмотри.

Денни оглянулся.

— И улыбнись.

Денни рассмеялся, попытался подавить смех. Потряс головой, сказал:

— Ты совсем псих. — И вышел.

— Господи боже! — Мимо него в дверь вошел Тринадцать. — Эй, да это Шкет! — Обернулся и повторил Кумаре, что послеобразом маячила у него за плечом: — Это Шкет. Эй, Шкет, мне сказали, что ты тут, но я думал, ты уже свалил. Как делишки?

Шкет кивнул. У них за спиной закрылась дверь. В этой кухне столько народу не поместится, подумал он.

— Рад тебя видеть! — в ответ кивнул Тринадцать. — Пока ты не свалил. Я, это… — Он оттянул бретельку майки на плече. — Ты же валишь?

— Не знаю.

— То есть ты оставайся сколько хошь. Я не против. Тут одни, сука, крезанутые — я только рад, что ты здесь.

— Спасибо, — сказал Шкет, гадая, что Тринадцати нужно.

– *Э*… — сказал тот, явно смущаясь. — *Э*… мне тут сказали, ты с ребятами ебся, не?

— Чего?

— Ну, тут кто-то слыхал, как вы на антресолях кувыркались. Да? — Тринадцать ухмыльнулся; но смущение не прошло. — Я, это, о чем — им лет-то сколько? Пятнадцать? Шестнадцать? Я за них, понимаешь, как бы отвечаю, они ж не очень взрослые, да?

— Я с ними не ебся. Они еблись со мной.

— Ага, — кивнул Тринадцать. — Совсем безбашенные, да? В смысле, чувак, мне по барабану, делай что хошь. Я не про мораль тут. — Он вдруг протянул руку и подтащил Кумару себе под мышку. — Кумаре-то лет… тебе сколько, милая? Восемнадцать? Семнадцать, восемнадцать — почти без разницы, я вот о чем. Просто хорошо бы

никто не пострадал, вот и все.

— Я никому дурного не желаю.

— Ага, чувак. Без вопросов, — размашисто кивнул Тринадцать. — Я и не имел в виду. Просто, ну… кое-кто *желал*. Пошли курнем, а? Ну, это — если охота.

Шкет уронил плененную руку.

— Или потом, если хошь. — Тринадцать снова улыбнулся.

— Это хорошо, что ты хочешь… чтоб никто не пострадал.

Тринадцать замялся.

— Спасибо. — Обнял Кумару покрепче, и оба они вокруг Шкета удалились в соседнюю комнату, а кто-то из-за двери тем временем сказал:

— Ау?..

Она и ее тень на сетке поплыли.

— Шкет? Это ты?..

Дверь открылась — и открылась она, и его память о ней.

Она глядела на него, и рот ее крохотно шевелился — готовился то ли засмеяться, то ли упрекнуть; и что-то шевелилось в зеленых глазах.

— Ой, *эй*!.. — все равно сказал он, потому что в груди теплело. Поднялось, жаром обдало лицо, и от этого он заулыбался и сощурился. — Эй, я

рад, что ты… — Его руки метнулись к ней. Между ними слились она и его память о ней (сетчатая дверь стукнула). Ее щека ударила его по щеке, ее смех счастливо взревел у него в ухе. — Ой, эй, я рад, что ты пришла! — Его руки хлестнули ее по спине — одна чуть-чуть отставлена (и дрожит от желания сжаться), потому что мешает орхидея.

Она отстранилась:

— Точно? — и поцеловала его. — И я рада.

Он тоже ее поцеловал — жестче, дольше, теряясь в поцелуе (а его рука повисла, теряясь в воздухе и металле; он сжал пальцы, разжал), пока не почувствовал, как его буравит что-то твердое у нее в кармане.

Он отодвинулся: рядом с гармоникой лежала его ручка.

Перехватив его взгляд, она сказала:

— Мне бармен «У Тедди» велел тебе передать. Сказал, что ты уронил… — а потом Шкет ее поцеловал (все равно буравило) снова; и не отпускал.

Она опять отстранилась, сморщила нос:

— Вкусно пахнет. — Огляделась, подошла к двери — он следом, — склонилась в гостиную, одной рукой держась за белый косяк. — Эй, Кошмар — а кофе еще остался?

— Будешь, деточка? — а заговорила Леди Дра-

кон. — Налей себе.

Привалившись к косяку, Шкет смотрел, как она идет по комнате.

Она присела, налила — сначала заглянув в чашку; кто-то оттуда, наверно, уже пил, но она пожала плечами — из эмалированного кофейника. Разок оглянулась на Шкета, смахнула со лба волосы, улыбнулась. Вернулась к нему с чашкой. Тепло внутри разрасталось.

Девчонка Денни и Саламандр на диване играли в тосты — сдвигали чашки и смеялись.

Кошмар говорил:

— Я не могу тут зависать целый день! Леди Дракон, ты идешь, эй? Ну правда, я не могу зависать…

Какая-то женщина, просыпаясь, выставила из-под одеяла темные руки с дрожащими кулаками.

Леди Дракон и Адам шептались, сдвинув головы, темно– и светло-коричневую. Адам перебирал свои цепи.

Вдруг подошел Малыш. Нос над пушком новоявленных усов доставал до нижней губы. Тощие пальцы с грязными ногтями сжимали хрустальную сахарницу — по краям запекся сахар.

— Будешь? — Он подбородком указал на рукоять мерной ложки.

— Нет, спасибо, — ответила Ланья.

Шкет тоже покачал головой.

— А, — сказал Малыш и отошел.

Ланья протянула чашку Шкету. Он помог ей обеими руками. Нож задел фарфор, и одну руку Шкет убрал, а другой нащупал связки в тыле ее ладони.

Кофе горечью хлестнул по языку; Шкет сглотнул. Пар пощекотал ноздри.

Она подула; она глотнула; она сказала:

— Крепкий!

— Эй, Малыш! Погоди… Адам, ну-ка вернись! — завопила Леди Дракон, обернувшись, забряцав. — Иди сюда!

Через какую-то дверь — не кухонную — в дом ввалилась толпа народу.

Ланья нахмурилась, поморгала.

Толпа втекла в комнату. Кофейные, шоколадные и тамариндовые лица, руки и плечи проплывали мимо, поворачивались; качались цепи на длинных и коротких шеях под прическами размером с пляжные мячи. Двое мужчин спорили, а третий махал рукой — гибкой, как черный полоз, — и кричал, пытаясь их унять:

— Та лан те, чувак! Чувак, та лан! Та лан…

Минимальные полдюжины белых лиц засло-

нило и затмило, не успел Шкет их разглядеть. Большинство — черных и других — он узнавал по набегу на «Эмборики». Мужик черного дерева в черном же виниловом жилете приостановился у дивана поделиться с Саламандром впечатлениями, а робкий белый, без жилета и скорпион судя только по цепям (живот и грудь пересечены одиноким длинным шрамом, еще розовым и в коросте), стоял рядом и поджидал шанса вставить слово. Трио было странно знакомое. Черный в виниле — тот, что не наезжал на Шкета в универмаге, из отряда Денни.

На плечо Ланье упала рука цвета старой покрышки; другая такая же опустилась Шкету на плечо; между Шкетом и Ланьей сунулась коротко обкорнанная голова; длинное черное тело под качкими полами жилета и свисающими цепями кисло пахло пóтом, дыхание за мелкими зубами и тяжелыми вислыми губами отдавало винной кислятиной.

— Бля-а… — растянутое на два слога.

— Привет, Потрошитель, — сказала Ланья, — отва-*ли*! — Шкет удивился, что она знает его по имени.

Но Потрошитель — да, это был Джек-Потрошитель — отвалил.

Коренастая белая девица с татуировкой на руке болтала с Кошмаром, и к беседе шумно присоединились двое черных. Кошмар, еще повысив голос, отрезал:

— Слышь, я не могу *зависать*…

— Пошли, — сказал Шкет Ланье. — Хочу с тобой поговорить.

Ее взгляд метнулся из комнаты к его лицу.

— Ладно.

Он кивком поманил ее за собой.

Обогнув кого-то и перешагнув кого-то еще, они вышли в коридор.

Шум извергался, и накатывал, и налетал.

В поисках комнаты с антресолями Шкет толкнул вторую дверь, что попалась на глаза. Но за ней слишком светло…

Сиам, сидя на ящике у зеленой раковины, сказал:

— Эй! — и положил газету на колени. Посмотрел на Шкета с улыбкой, которая раскололась и ссыпалась в восхищенную растерянность. — Я тут… я тут газету читаю. — Кожа на ладони под бинтом шелушилась. Сиам снова одарил их бурой улыбкой, передумал, забрал ее назад. — Просто газету читаю. — Поднялся. Газета упала на пол. Половицы некогда выкрасили бордовым.

В широком окне веранды — ни стекла, ни сетки. Город уходил прочь под горку.

— Видно так… далеко, — сказала Ланья у плеча Шкета. Глотнула кофе. — Я и не знала, как далеко отсюда видно.

Но Шкет хмурился.

— Это что?

За последними домами, за кипящей серостью, там, где теоретически можно было поместить горизонт, горела низкая дуга.

— Похоже, солнце встает, — сказала Ланья.

— Не, — сказал Сиам. — Уже вечер скоро. Может, это… — Он снова глянул на Шкета, осекся.

— Может, это пожар, — сказал Шкет. — Слишком широко, не бывает такого солнца.

Сиам сощурился. Дуга была красноватая. Несколько домов за прорехой парка тронуло медью — в дымке она побледнела почти до белого золота.

— Иногда, — сказал Сиам, — если луна совсем низко над горизонтом, вон там, тогда кажется, что она гораздо больше. Может, тут с солнцем та же петрушка иногда?

— Ты же сам говоришь, что скоро вечер. — Шкет тоже сощурился. — И вообще, оно в десять раз шире, чем надо. — Он оглянулся на Ланью: —

Пошли.

— Ага. — Она взяла его за руку — ту, что в ножах, — просунула пальцы сквозь металл, сжала два его пальца.

Они вернулись в коридор.

В комнате с антресолями не было двери.

— Если там никого, — сказал Шкет, — можем поговорить.

— Хочешь еще кофе?

— Нет.

Она выпила половину (а он между тем думал, что ей, наверно, горячо) и отставила чашку на заваленную чем-то гладильную доску позади мотоцикла.

— Забирайся наверх.

Она взобралась, обернулась:

— Никого.

— Давай.

Она залезла — исчезла сначала одна кроссовка, затем другая.

Шкет вскарабкался следом.

— Слушай, — сказала Ланья, когда он поставил на доски второе колено, — я пришла, потому что хотела извиниться, что я… ну, это. Убежала вот так. И вела себя, как будто злюсь.

— А, — сказал он. — Нормально. Ты же *правда*

злилась. Я просто рад, что ты пришла. — Упершись кулаком в одеяла, он сел на пятки, разглядывая ее силуэт против жалюзи. — Ты как узнала, что я здесь? — Хотелось положить голову ей на колени; хотелось носом потереться у нее между ног. — Ты как меня нашла на этот раз? Кто видел, как я с утра забрел сюда, и прибежал тебе рассказать?

— Но говорили, что ты здесь уже…

— Ну конечно! — Он подался назад, резко хохотнул. — Меня снова не было пять дней! Да?

Ее силуэт нахмурился.

— Или шесть. Или десять… И про меня опять болтали, говорили, что я живу тут, хожу в набеги со скорпионами, репутацию себе зарабатываю. — Хотелось обнять ее теплые щеки шершавыми уродливыми ладонями. Он продолжил, и голос у него вдруг охрип, искалечился: — С самой нашей первой встречи я тебя вижу каждый день… — Обе руки, в ножах и без ножей, он подтянул к себе, и мускулы, цепи, кожа, нервы и металл легли на колени, совершенно перемешавшись, тяжелые, спутанные и цепкие. — Правда! — сказал он, сглотнул. — Такое *ощущение*. У меня…

Она сказала:

— Я вот об этом, в том числе, и хотела пого-

ворить. Когда ты уснул в церкви, а я ушла, я подумала, может, ты захочешь *узнать*, что было, пока ты… пока тебя не было. Ты сказал, что пошел искать меня в парк, в коммуну. Я подумала, тебе интересно, что там случилось, после того как этот мужик с ружьем…

— Я… — пальцы, и металл, и сбруя шевельнулись на коленях, — я не… то есть я живу в одном городе. — Он шевельнулся, но поднять их не смог. — Может, ты живешь в другом. В моем время… подтекает; плещет назад и вперед, переворачивается и показывает, что у него… на брюхе. Все подвижно. Да, может, ты и объяснишь. Свой город. В твоем городе ты нормальная, а я псих. Но в моем псих — *ты*! Ты мне рассказываешь, что происходит, но я-то вижу другое! Может, только в этом городе я и могу жить. Мужик с ружьем? В парке? — Он хрипло усмехнулся. — Прямо не знаю, *хочу* ли я жить в твоем городе!

Она молчала; разок он заметил, как она дернула головой — ее посетила идея, но она решила ее не высказывать, а затем высказала другую:

— Ты говоришь, ты видел меня… вчера вечером в церкви? А перед этим — вчера… утром? В парке. Ладно. Я принимаю, что ты это видишь так, если ты принимаешь, что я вижу иначе. Хорошо. —

Она протянула руку к его колену, не совсем его коснувшись. — Мне интересно про твой… город. Но когда-нибудь вскоре спроси меня, что творится в моем. Может, там тебе что-нибудь пригодится.

— Моя тетрадь у тебя?

— Да, — улыбнулась она. — Я подумала, тебя так вырубило, что ты можешь забыть ее на полу. Ты там странное писал.

— Стихи?

— Помимо прочего, — сказала она.

И от этого он насупился, потому что тепло, так и не нашедшее исхода, отчасти объяснялось тягой писать.

— Я рад, что она у тебя. И рад, что ты ко мне пришла. Потому что я…

Шаги внизу.

И из-за края возникла голова Денни.

— Эй, слышишь? Это… ой. Ты. — Денни заполз на антресоли, а следом полез кто-то еще.

Она остановилась — едва показалась макушка — и узнала Шкета, и угрюмая гримаса сменилась обреченной, и затем девчонка долезла до конца, раскачивая грудями под синим свитером.

– *Э-э*… это их антресоли, — пояснил Шкет Ланье.

— Его, — сказала девчонка. — Не мои. Весь этот

хлам тут его. Мы просто от толпы сбежали.

— Видишь, — сказал Шкет, — можно было не рассказывать мне, что творилось, пока меня не было, а поинтересоваться, что творилось здесь.

— Да пожалуйста, — сказала Ланья. — И что?

— Во-первых, я трахнул этих двоих. И вот *это* как будто сутками длилось…

Денни вздернул подбородок.

Девчонка тихонько вздохнула.

— С Денни трахаться неплохо, — сказал Шкет. — С ней тоже. Но иногда выходит немножко нервно.

— Денни?.. — сказала девчонка.

Тот сел на пятки, стрельнул глазами в Ланью, затем в Шкета.

— К примеру, — сказал Шкет, и руки его внезапно разошлись, — можем опять потрахаться. *Вчетвером*. Может, так лучше выйдет…

Девчонка сказала:

— Денни, я ухожу с Саламандром и его друзьями. Я же тебе *говорила*. Слушай, мне пора…

— А, — сказал Денни. — Ну ладно тогда.

— Уверена? — спросил Шкет. — Я-то о том, что, может, *тебе* так приятнее, если…

Девчонка замерла на краю антресолей.

— Слушай, — сказала она. — Ты, наверно, хо-

чешь как лучше. Но ты просто не понимаешь. Это не *мое*. Может, ему подойдет, — она кивнула на Денни. — Я даже не знаю… А тебе как? — Это она Ланье.

— Не знаю, — ответила та. — Никогда не пробовала.

— Я не против, если кто-то *смотрит*, — сказала девчонка, — если друг. Но что мы делали, — она пожала плечами, — это не мое. — Она спустилась, остановилась — опять видна только голова. — Денни, до скорого. До свидания, — такой тон Шкет помнил по квартире на шестнадцатом в «Лабри». Спустя миг она обо что-то споткнулась, придушенно, испуганно сказала: — Ёпта… — и ушла.

Шкет поглядел на Денни, на Ланью, на Денни.

— Мы… — начал он. — Мы просто… мы подумали, пойдем сюда, потому что, ну, там слишком людно. Ну, толпа, да.

— Ничего, — сказал Денни. Скрестил руки. — А мне можно посмотреть?

Ланья рассмеялась и села, спиной прислонившись к краю окна. На волосы ей лег шрам света из-за жалюзи.

Денни перевел взгляд на нее:

— Я это люблю. В смысле, иногда, это же я тут живу. Он знает.

— Конечно, — сказала Ланья. — Логично. — Кивнула и опять засмеялась.

— Мы хотели просто *поговорить*, — сказал Шкет.

— А, — сказал Денни. — А я подумал… ну, ты же вот предложил, что нам надо вчетвером… это. Всем вместе.

— Ты и *правда* живешь в странном городе, — сказала Ланья. — Может, я тоже. — Глянула на Денни: — А ты где живешь?

— Я — тут. — Денни сдвинул брови. — В основном.

— А. — После паузы Ланья сказала: — И вы друг друга того? Ну так давайте вы вдвоем тогда, — она вытащила из-под себя ноги, подняла коленки, уронила между ними сплетенные кулаки, — а посмотрю я. Я бывала в соседней комнате, когда два парня трахались. А в той же постели не была. Меня даже как бы заводит.

Шкет сказал:

— Да я-то имел в виду…

— Я поняла, — сказала Ланья. — Ты хочешь, чтоб мы с Денни трахались, а смотрел *ты*. Ну, — она пожала плечами, отбросила волосы и ухмыльнулась: — Я считаю, ты ничего, — это она Денни. — Я не против.

— Господи, — сказал Денни, — я даже не знаю… — и переключил эмоциональную передачу: — потому что, понимаешь, мы так и… — и снова переключил: — делали уже. Получилось ничего. Но… — Он оперся на кулаки, опустил бедра. — Просто это не ее… — Он глянул за край антресолей. — Ну, она сказала. И *так* я тоже никогда не делал.

— А, — ответила Ланья, сдвинув локти.

Шкет подумал: я по-прежнему не знаю, как ее зовут.

— Эй, — сказал он Ланье. — Иди сюда.

Ланья поджала губы, помялась, закаменев руками; а потом они смягчились. Она придвинулась.

— И ты тоже, дебил ебаный. — Денни прямо-таки рухнул на него сбоку. Шкет поймал его шею сгибом локтя. Ножи пролетели мимо лица Денни, смутного в полумраке. Шкет крепко обхватил Ланью за плечи — ладонь легла эполетой на блузку, ключицу, мускул. — Кто не играет, тот не смотрит.

Он собирался добродушно прижать их к себе, отпустить, может, еще шуточку, а затем отпустить и их. Но на миг почувствовал, что эти двое — совершенно разной температуры; и нечто в его собственном жаре сложилось, разрешилось,

разошлось. А Денни (плечо горячее и по-прежнему пыльно-сухое) потянулся поперек его груди, положил два пальца Ланье на щеку (ее шея прижималась к Шкетову плечу прохладнее и мягче, словно только что высохла после дождя) и сказал:

— Ты… — и осекся, когда и она протянула руку, положила ладонь ему на шею.

Шкет сказал:

— Ага…

Она смотрела, и что-то случилось с ее лицом, стало тихим смехом, и она поглядела в глаза Шкету, и Денни, и снова Шкету, и прижалась крепче.

Денни вдруг дернул головой. Его ответный смех — резкий, режущий. Но напряг в этом смехе, если и был — подтаял.

— После сегодняшнего утра, — сказал Шкет, — только попробуй, хуесос, рот открыть — там тогда не мой хуй окажется…

— Шкет!.. — всерьез возмутилась Ланья.

Но Денни схватил ее за предплечье, сунулся лицом ей в ладонь.

У Шкета в механизмах между животом и пахом что-то напружинилось. Денни полез через него. Шкет вытянул между ними ногу — что-то заскреблось. Ланья оперлась на локоть. Рука

Шкета притянула ее назад. Это неуклюже, подумал Шкет. *Неуклюже!* — и отчаяние, которое он сдерживал… сколько уже? — прорвалось. Ему показалось, он вот-вот заплачет. Вырвался лишь громадный безголосый вздох.

Денни положил голову Ланье в ладонь, лежавшую у Шкета на груди. И тихонько сказал:

— А мы не будем раздеваться… на этот раз?

Ланья другой рукой провела Денни по голове, взяла его за ухо.

— Не тяни, — сказал он.

— Я не тяну, — ответила она. — Я щекочу.

— А, — сказал он. А затем: — Приятно. — А затем, подняв голову: — Ты, может, сними хотя бы *это*.

(Шкет посмотрел на свою руку, так и зависшую в воздухе. Гомон в соседней комнате поутих.)

Ланья вдруг села.

— Ой-ё. Точно. — Надела одну из своих странных гримас. — Я даже не заметила!

Встав над Шкетом на колени, она приподняла его запястье, нащупала застежку. Шкет изумился донельзя, когда с ее руками сплелись руки Денни, и ножи открылись, отпали, и ничего не неуклюже: сбрую сняли, запястье покалывало.

Ланья поставила орхидею на подоконник под

жалюзи, и орхидея замерла вертикально, высокой блестящей короной.

Шкет повертел освобожденной рукой, посмотрел, как гнутся волосатые костяшки и убитые кончики, — мозолистые ладони и суставы сжимались, разжимались, а потом рука устала, и задрожала, и упала. Кто-то подергал его за ремень. Кто-то стянул у него с плеча жилет. Шкет засмеялся, повернулся, а между тем через некую дверь в другой комнате вышло много людей.

Они занялись любовью.

Получилось энергично. Получилось грациозно. Получилось мощно. Он был теплом, что струилось вокруг них, между ними. Они были теплом, что струилось вокруг него, между ним и ними. Один раз, закрыв глаза, лицом во влажное одеяло, он провел рукой по ее грудной клетке, костяшкой большого пальца у нее под грудями (она затаила дыхание…), до плеча (…и выдохнула), а потом по руке, до сгиба ее локтя на животе Денни, и дальше, до кисти, сжимавшей Денни пенис.

Спустя миг его рука отодвинулась, наткнулась на дамбу ее бедра, перебралась. Он вдавил кончики пальцев в волосы у нее на лобке, скользнул вниз — взял в горсть, вдавил. Потрогал их гениталии — сначала одной, затем другому. Наконец

рывком поднялся на колени, одно колено перенес через них, посмотрел, как они смотрят, поморгал. По щеке тек пот. Капля застряла в ресницах и задрожала. Он склонил голову.

* * *

Неужели в какой-то *час*, давался диву он, вместились четыре оргазма на троих? Теперь я понимаю, отчего поэт, хотя и может во всех завораживающих и психотропных подробностях обрисовать прелюдию, должен столь блаженную оргазмическую механику замещать звездочками или отступами: она распахивает такое, что становится понятно, почему, когда секс *настолько* хорош, можно сказать: «Секс — не главное», — и ощутить, что эти слова отражают некую тень истины.

Затем посреди своей аутопатетики он вспомнил: прежде чем можно будет как минимум заподозрить, что эти извивы мысли верны, с ними должны согласиться еще двое. Ухмыляясь, он приподнялся на руках, перелез через одного (задержался посмотреть на спящее лицо — задранное кверху, губы на миг сжались, ноздри раздулись, два пальца потянулись почесать нос и отпали, и все это во сне), поглядел на другого

(на боку, губы приоткрыты, нижнее веко смято, чуточку приотворено над полоской глазного яблока, дыхание шуршит о свернутый кулак) и, достав у Ланьи из кармана и вставив в петлицу жилета авторучку, слез с антресолей, себе на голову стянув свою одежду.

Если проснутся, подумал он, решат, что он ушел в туалет?

В дверях он натянул штаны, надел жилет. Мазок холода на груди… Ручка. Оплетавшая его цепь была горяча. Он провел по ней кончиками пальцев, встревожившись и пытаясь припомнить отчего.

Странно притихшим коридором дошел до двери на веранду, открыл. И сощурился. На стенной обшивке, на досках внахлест, высоко лежали золотые трапеции. Влажную кожу вымазало бронзой. Каждый волосок на предплечье засиял янтарем.

Он услышал, как шумно дышит; захлопнул рот.

Прежде чем в глазах помутилось от слез, опустил взгляд и увидел, что одна призма на груди отсвечивает на кожу крохотной цветной цепочкой.

Дом за спиной безмолвствовал.

Шкет потер глаза, потряс головой.

Да слезы и сами унялись.

Он снова поднял взгляд, в окно веранды опять посмотрел на горизонт…

Только поступив в Колумбию и переехав в Нью-Йорк, он привез с собою абсолютный ужас пред Бомбой. Дело было в октябре; по четвергам утром занятий не было, и он в полусне валялся в пропотевших простынях настырного бабьего лета. Разбудили его сирены — запланированных учебных тревог он не припоминал. Где-то в небесах рявкнул самолет. Содрогнувшись в ознобе, он постарался стереть все это чистой логикой. Такие вот совпадения, думал он, моргая в тусклое окно, способны испортить хороший день.

А затем окно залило ослепительной желтизной.

Он выскочил из постели, таща за собой простыни. Горло свело судорогой, сердце взорвалось — он смотрел, как золотое пламя перетекает по окнам многоэтажки напротив.

Ядерный гриб! — подумал он сквозь боль в перепуганном теле. Свет уже долетел. Удар и звук прилетят спустя четыре секунды, а спустя пять я умру…

Четыре секунды, пять секунд, семь секунд,

десять секунд спустя он все стоял, трясясь, задыхаясь, соображая, куда прятаться.

Облака в сложносочиненном совпадении разошлись, обнажив солнце. Самолет улетел. Будильник на полке сообщал, что полдень. Сирена понизила тон, смягчила нытье и умолкла.

Тогда он пережил активный ужас.

Сейчас — его пассивный эквивалент.

Не может быть ядерный гриб, подумал он. Невозможно такое.

Оно сияло сквозь марево, как луна или солнце сквозь сплошную пелену облаков. Оно было цвета рассвета — взошла где-то шестая часть круга, остальное отсекал горизонт. Но оно было уже… во сколько? В сто? В триста? В шестьсот раз больше платиновой покерной фишки, которую он знал за солнце.

…Если солнце стало сверхновой! — подумал он. Из-под нарастающего грохота сердца он выудил вот какие сведения: если дела обстоят так, земля сгорит в считаные секунды! Сердце унялось. Этот факт — на редкость глупая основа для самоуверенности пред лицом такого света!

Облачные полнеба полыхали оловом и бледным золотом.

Греет ли этот свет?

Шкет потер забронзовевшее предплечье.

Зеленеющий кран на стене ронял сияющие капли в слякотный сток. Драная бумага, прикнопленная к оконной раме, покрывала филигранью тень на стене рядом.

В Нью-Йорке, когда он решил, что упала бомба, у него случился невероятный подъем сил — он потом расхаживал туда-сюда, и размышлял, искал, куда бы эти силы деть, и в итоге все растряс на ходу.

Я могу умереть, подумал он, спустя… секунды, минуты, часы? Он прищурился на блистающую дугу, уже домов в тридцать шириной. С абсурдной невозмутимостью пришла мысль: напишу-ка я что-нибудь.

Он хлопнулся на пол (снова заметил, насколько проще, несмотря на мозоли, различать текстуру грязных половиц той ногой, которую он не обувал, чем той, на которую надевал сапог), взял газету, брошенную Сиамом на ящике. (Ткань штанов натянулась на коленке, поцарапанной, когда Шкет взбирался на антресоли.) В верстке «Вестей» нередко оставались небрежные пустоты. Он полистал, нашел одну и снял ручку с петлицы.

У меня была мать, у меня был отец. А теперь я не помню, как их звали. Не помню, как зовут

меня. В комнате спят двое, что ближе ко мне на сколько же лет и на тысячи миль; и в этом страшном свете я почти готов признать, что их люблю.

Он пролистал назад и отложил газету на ящик. В этом новом свете страницы пожелтели.

И пустота оказалась не пустой.

Нижнюю четверть выделили под рекламу. Двухдюймовые буквы в рамке возвещали:

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ

А рядом с названием, кеглем помельче, курсивом, в кавычках набраны стихотворные строки.

Он губами сложил: «...в этом ладане», — и застрял. Запрокинул голову от мурашек по шее (и закрыл глаза от света; веки изнутри были цвета апельсиновой кожуры), открыл глаза, посмотрел в газету. Прочел неверно: «...этом падении». Выдохнул.

Почему они выбрали *эти* строки, удивился он. Без предыдущих двух или следующей они... ничего не значат? Щелкая кнопкой авторучки, он озадаченно раздумывал над этим порезанным образом.

В чем тут замысел?

(Что он хотел написать?)

На лбу выступила влага; глаза уплыли к колонке, набранной слева от… рекламы; и зацепились за «…Новик…». Чтобы стряхнуть смятение, он перевел взгляд выше:

> Нас покинул наш резидентный поэт: в шесть тридцать, точности ради, после прощального завтрака, приготовленного миссис Альт, – среди гостей, вовремя восставших ото сна, были профессор Уэллмен, мистер и миссис Грин, Тельма Брандт, полковник Харрис, Роксанна и Тоби Фишер. Поспешно (увы) испив вторую чашку кофе, наш шофер Ник Педайкис прибыл из коттеджа Уэллс, дабы доставить Эрнста Новика в Хелмсфорд.
>
> Трогательный эпизод в ходе огорчительного отбытия: молодой человек, которого мистер Новик поощрял к стихосложению, пришел ко въезду на беллонский *Pons Asinorum*[32] восхищенно помахать на прощание. Итак, еще одна знаменитость уезжает, увозя с собой нашу любовь. Однако Беллона, невзирая на

[32] Примечания: 32

Мост ослов *(лат.)*, одно из названий Евклидовой теоремы о равнобедренном треугольнике.

нищету, хранит мириады прелестей.

До нас доносились слухи о прибытии очередного гостя; однако, честно говоря, мы некоторым образом сомневались, так сказать, проявится ли он. В нашем городе связь с внешним миром, как известно всем, кто пытался ее наладить, – дело в лучшем случае утомительное, неверное и мучительное. Как удачно! Наш Ник доставил мистера Новика к отправной точке дальнейшего пути в Питтсблейн и в ходе той же поездки по условной договоренности встретился с капитаном Майклом Кэмпом. Они прибыли в Беллону в начале четвертого. Капитан Кэмп не дает определенного ответа касательно длительности своего пребывания. Невозможно выразить, сколь высокую честь оказал нам этот маститый господин

«Ладан», подумал Шкет, обернулся неверно прочитанным «падением»; может, «маститый» — эхо «маски»?

Он поднял взгляд к ослепительному зрелищу, сощурился и подумал еще: проблема с галлюцинаторными красными глазами, даже с гигантским

красным глазом, восстающим в небесах…

Мысль обрушила на него громаду чудовищного утешения: не может такого быть. Он бросил щелкать ручкой. На миг захотелось рассмеяться.

Галлюцинация?

Он вперил взгляд в свет, попытался распахнуть глаза до предела; они заныли и воспротивились.

Он хотел что-то написать?

Это даже не галлюцинация. Я, вероятно, лежу где-нибудь в постели, глаза у меня закрыты… это называется греза?

По стенам заплясали докучливые послеобразы.

Он отвернулся прочь, во тьму… грезя?

Щека на одеяле. Одну руку свело под боком. Внутри звон, будто он долго хохотал. Он лежал, тщась припомнить, что сейчас произошло, и грыз пальцы, пока не почувствовал вкус крови. И продолжал грызть.

Ланья заворочалась и протяжно, сонно застонала.

Шкет вынул руку изо рта, согнул пальцы, вжал их в ладонь.

— Эй, — сказал он. — Спишь?..

Ланья потянулась.

— Более или менее… — Опустила подбородок и поглядела на белокурую голову между их бедра-

ми. — *Как* его зовут?

Шкет рассмеялся.

Рука Денни разжалась у него на ляжке. Белокурая голова поднялась:

— …чё?

— Как тебя зовут? — Она оттолкнула шнуры его волос.

Веки Денни сомкнулись. Он вздохнул, не ответил и снова лег.

На сей раз Шкет сдержал смех.

Ланья покачала головой; ее рука легла Шкету на лоб, отпихнула волосы, жестче, чем у Денни.

— Как он тебе? — прошептал Шкет откуда-то из глубин груди.

– *Мммм?*

— Я вас слышал, когда уже почти заснул. — Он ладонью обхватил ее щеку, и она повернулась губами пощупать мякоть под его большим пальцем. — Как он справился?

Она повернулась обратно. На лице ее перемешались улыбка и гримаса.

— А который из вас вот так вот… — Она засмеялась, когда он потряс ее за ухо. — Очень милый и очень резвый. — Снова глянула вниз. — Как бы это… вверх-вниз, да? И чувство юмора ничего себе.

— Можно это и так назвать.

Она опять вскинула глаза; даже в сумраке их зелень между его пальцами засияла.

— Ужасно, ужасно милый; в основном.

— А ты как?

– *Мммм*. — Она закрыла глаза и улыбнулась.

— Знаешь, что он утром сделал?

— Что?

— Затащил меня сюда и сказал, что у меня отсосет, а потом привел эту девчонку.

Она открыла глаза.

— А, *вот* как все получилось. — Он почувствовал, как у нее задрались брови. — Ну, как вы нам, так и мы вам — нормально, пожалуй.

— Мне расклад по кайфу…

— Это я заметила. Ты тоже милый.

— …но она как-то чудила. Мне не понравилось — ну, с ней.

— Я догадалась. И вдобавок он же маленький. Или у него тоже личико младенческое?

— Ему пятнадцать. А ей семнадцать. Кажется.

Ланья вздохнула:

— Тогда, видимо, надо подождать, пока они дорастут до собственных перверсий. И кстати, ты-то как?

— Хорошо, — ухмыльнулся Шкет. — Весьма

хорошо.

И, смеясь, она сунулась к нему лицом.

По его животу заскребли руки; Денни закряхтел.

В солнечное сплетенье Шкету заехал локоть. И коленка в коленку.

— Эй, осторожней, — сказала Ланья.

— Извините, — сказал Денни и рухнул на них.

Запах его дыхания — сосновый — смешался с дыханием Ланьи, напоминавшим Шкету папоротники.

– *У-уф*, — сказала Ланья. — Скажи мне уже наконец, пожалуйста, как тебя зовут.

— Денни, — громко сказал Денни Шкету в ухо. — А тебя?

— Ланья Колсон.

— Ты баба Шкета, да?

— Когда он помнит, кто я такая. — Ее пальцы сжались на Шкетовом запястье.

Шкет одной рукой гладил Денни по загривку, другой держал за руку Ланью. Снова почувствовал, какая меловая у Денни кожа. А у Ланьи теплая.

— Тебе нравится?

Ланья засмеялась и потянулась Денни за спину.

— Тут, где я живу. — Денни вдруг подался назад. — Нравится?

Они смотрели, как он присел на одеялах. Шкетову ляжку сбоку грело Ланьино бедро. А сверху, где лежал Денни, бедру стало холодно.

— Не встанешь во весь рост, — ответила Ланья. — Зато сидеть и думать, наверно, хорошо.

— Я тут помногу торчу, — сказал Денни. — Тут не бывает жарко. А иногда не поднимаюсь сюда по два-три дня. — Он сел на пятки и подтянул к себе на колени пластиковый конверт. — Нравится?

— Это что? — спросила Ланья и наклонилась посмотреть.

— Рубашка, — сказал Денни. — Очень красивая.

Шкет тоже посмотрел.

Под пластиковой оберткой поверх зеленого атласа спутались золотые шнуры; на вельветиновой кокетке бахрома. На вельветиновых рукавах — позолота и зеленые стеклянные звенья.

— В универмаге нашел. — Денни потянулся назад. — И вот это.

Затейливое серебристое шитье на черном.

— Эти две мне понравились, — объяснил Денни. — Только здесь такое не наденешь. Может, если я еще куда пойду… — И он стрельнул глаза-

ми в них обоих.

Шкет почесал волосню между ног и чуточку отодвинулся.

Ланья склонилась ближе:

– *Правда* красиво!

— А эта из чего? — спросил Шкет.

Ланья ладонью нажала на пластиковый конверт:

— Это креп.

— И у меня вот что есть. — Денни сдвинул рубашки за спину. — Во, смотрите.

Крышка пластмассовой коробки отщелкнулась, и внутри подпрыгнули кубики.

— Это игра, — объяснил Денни. — Из другого магазина. Мне сложно, я в нее не играю, и тут не с кем. Но мне цвета понравились.

Ланья взяла зеленый кубик. На гранях выгравировано по золотой букве: п, р, с, т, о, и…

Денни моргнул и подставил коробку, чтоб Ланья положила фишку на место.

Ланья долго вертела ее в пальцах, пока Шкет не заерзал, заметив сдержанное нетерпение Денни.

— Положи назад, — тихонько сказал Шкет.

Она поспешно положила.

— И вот. — Денни выволок большую книгу в мягкой обложке. — Только надо внимательно

смотреть. Очень странные картинки…

— Эшер![33] — вскричала Ланья. — Еще какие странные.

Шкет потянулся через ее руку и перевернул страницу.

— Ты где это взял? — спросила Ланья.

— В другом… магазине. — (Шкет лениво отметил заминку, но глаз не поднял.) — В доме у кого-то, — поправился Денни. — Куда мы вломились. Она там стояла, и я взял. А ты их раньше видела?

– *Угум*, — кивнула Ланья.

Шкет перелистнул следующую гравюру — перспектива схлопнулась и сложилась наизнанку. Ланья наклонилась и вгляделась пристальнее.

— Вот! — сказал Денни.

Оба подняли глаза. А Шкет забрал книгу у Ланьи и отдал Денни. («Да ничего, — сказал тот. — Ей можно посмотреть», — не откликнувшись на Шкетов жест.) Денни протягивал им серебристый ящичек.

— Клевое радио, да? Есть AM, и FM, и даже

---

[33] Примечания: 33

Маурицъ Корнелис Эшер (1898–1972) — нидерландский графикъ, гравер, исследовалъ человеческое восприятие пространства и бесконечности, изображалъ невозможные трехмерные объекты; родоначальникъ направления имп-арта.

короткие волны. — Приемник был размером с коробок хозяйственных спичек. — И еще всякие шкалы тоже.

— А польза от них есть? — спросила Ланья.

— Тут написано «громкость», — объяснил Денни. — Вот кнопка — это АПЧ, чтоб частоты не сбивались. Но здесь непонятно, потому что радио не работает.

— Как с рубашками, — сказала Ланья. — Если пойти еще куда-нибудь, у тебя будет что-то хорошее.

— Если мы пойдем еще куда-нибудь, — задумался Денни, — я, наверно, все это брошу тут. Красивых вещей везде полно. Берешь, и все.

— Я имела в виду — куда-нибудь за пределы… — Шкет посмотрел, как она сообразила, что Денни не сообразил.

Она вдруг коснулась приемника.

— Он не прямоугольный! — объявила она. Черно-металлическая коробочка была трапециевидная. Ланья обхватила ее ладонями с боков. — *Очень* красивый, — сказала она таким голосом, будто признавала, что загадка все-таки не поддается решению. (*Как* звали его соседа по комнате в Делавэре, который так мучился с работой по математической индукции? Тоже не

вспомнить… и Шкет грустил по своей порушенной памяти и радовался за Ланью.) — Просто… чудесный.

Шкет приник к ней поближе и размял себе ляжки изнутри. Эшера он прислонил к икре. Книга оцарапала его углом; он ее не отодвинул.

— А эти картинки видела? — Денни предъявил еще одну книжку в бумажной обложке.

Ланья сказала:

— Ну-ка дай посмотреть.

Перевернула первую страницу и нахмурилась.

— …*Э*, у Буше[34] разве была религиозная живопись? — встрял Шкет.

— Не для, — ответила Ланья, — трехмерных ламинированных диорам.

— По-моему, трехмерные картинки отличные, — сказал Денни, а Шкет как-то невнятно смутился.

— Эти вот странные. — Ланья перевернула следующую страницу.

Увенчанная короной женщина в синем поста-

---

[34] Примечания: 34

Французский придворный живописец Людовика XV, гравер, иллюстратор, декоратор, представитель рококо Франсуа Буше (1703–1770) писал в разнообразных жанрах (аллегорические, мифологические, бытовые сюжеты, пейзажи, пасторали и т. д.). Французский живописец Жан Буше (1575–1632) писал главным образом религиозные сюжеты в классической манере с некоторой долей натурализма.

вила одну ногу на полумесяц, а под ней в гребной лодочке съежились двое голых мужчин. Бороздчатый пластик населяли призраки той же самой картины под другими углами.

— А дальше там?.. — спросила Ланья.

Мужчина — на вид классический Иисус в набедренной повязке — хромал, опираясь на костыль, простерев одну руку со стигмой.

— Испания?.. — вслух задумалась Ланья.

— Пуэрто-Рико, — предположил Шкет.

Ланья глянула на него:

— Нигде никаких подписей.

Женщина — возможно, дева, но также не исключено, что императрица, — ехала на тигре.

— Камни, и мох, и вода на заднем плане сперты у да Винчи. — Ланья посмотрела на следующую страницу. — Это очень… — Она закрыла белую обложку с кровоточащим сердцем в короне позади креста. — Не говорите мне, что они христианские. Ты это тоже у кого-то в доме нашел?

— В магазине, — сказал Денни. Он опять шарил под краем одеяла. — И вот еще.

В горстях у него лежали три стеклянных кубика, инкрустированные блескучими камешками.

— Кости? — спросил Шкет.

— У меня было четыре, — сказал Денни. — Один

разбился. — Он подкатил их к Ланьиной ноге.

Три, два и шесть: сосчитать, что выпало, оказалось трудно — мешали метки на других гранях.

— Ты прямо записной коллекционер прекрасного. — Ланья подобрала кубик.

Денни сел под стенкой и обнял колени:

– *Ум-гум.*

— Я тоже. — Она наблюдала за ним. — Только я их оставляю, где нашла. Домá, например. Или деревья. Или картины в музеях.

— Просто, — коленки у Денни распались, — запоминаешь, где они, а потом опять приходишь смотреть?

Она кивнула.

Денни кулаками зарылся в одеяло между ног:

— Но здесь так необязательно. Можно просто взять, что хочешь. Ну, может, не дома с деревьями. Но если понравилась картина, забираешь с собой, и все дела. Да можно в доме, бля, поселиться! Прямо, бля, под деревом!

— Нет. — Ланья выгнула худую спину. — Я коллекционирую прекрасное и полезное. А у тебя просто прекрасное.

— Чё?

— Но если оно должно остаться полезным, я его забрать не могу.

— В смысле, что — неправильно забирать?

— Нет… конечно нет. Если ты не у *кого-то* забрал.

— Ну, оно раньше, наверно, было чье-то.

— А *ты* как считаешь — забирать неправильно?

— Ёпта, — ухмыльнулся Денни. — Никто ж не поймает. Любишь воровать?

— Не в том…

— А скажи. — Денни встал на колени. — Ты вот шлюшничаешь?

— Что? — Ланья опешила, оправилась с неуверенной улыбкой. — Что, прости?

— Берешь деньги, если в койку с кем-то идешь?

— Разумеется, нет.

— А вот Денни наверняка, — вставил Шкет.

— Ага, легко, — сказал Денни. — Мне просто интересно было. Про тебя.

Ее изумление сбилось на любопытство:

— Почему?

— А ты бы стала?

— Не знаю… может быть. — Она снова рассмеялась и обеими руками взяла его за коленку. — Будешь мне сутенером? У нас тут бизнес не ахти.

Денни хихикнул:

— Да я не о том. — И вдруг схватил пластмассовую коробку, поднял крышку, швырнул.

— Эй! — взвизгнула Ланья и поспешно отползла под дождем кубиков из разноцветного дерева.

Денни подобрал упавший кубик и опять в нее кинул.

— Ой, ну кончай…

Он кинул другой и засмеялся.

— Да блин…

Рассердившись, она подобрала горсть и с силой швырнула. Денни пригнулся; кубики застучали в стенку.

Ланья швырнула еще и попала ему в голову.

— Ааа!.. — Он бросил кубик в ответ.

Она засмеялась и бросила еще два, один левой, другой правой. Попали оба. Денни в истерике откатился и на карачках поскакал за новыми фишками.

— Растеряете же всё… — начал Шкет. И растянулся вдоль края антресолей, чтобы кубики не скатывались вниз. Хохот Денни прыгал между октавами. Шкет подумал: у него даже голос еще не совсем сломался.

Ланья тоже хохотала так, что едва умудрялась бросать.

Кубик ударил Шкета в бедро. Шкет смахнул его

обратно на одеяло. Другой перелетел через плечо и запрыгал по полу. Шкет смотрел, как эти двое вертятся, и пригибаются, и швыряются, и хотел, чтоб они кинули и в него. Что и случилось спустя некоторое время.

Он бросал кубики обратно, старался загораживать край, потом сдался, и сам уже хохотал, пока не заболело под грудиной, и не мог остановиться, поэтому все швырял и швырял яркие кубики с золотыми *n* и *m*, *к* и *р*.

— Нечестно! — закричала Ланья Шкету в плечо и опять засмеялась, когда они с Денни согнали Шкета с края.

— А потому что нефиг так сильно! — Денни с кубиком в руке нырнул влево, затем вправо.

— Ну… кончайте… уже… — пропыхтел Шкет и больше смеяться уже не мог.

Денни выглянул вниз:

— Там их на полу куча.

Ланья отступила, бросила еще. Кубик отрикошетил от бедра Денни. Ланья спряталась за Шкетом.

Денни обернулся:

— И еще один улетел.

Ланья осторожно выглянула:

— Надо, наверно, пойти собрать.

Денни, хмурясь, достал коробку.

— М-да… — Стал складывать рубашки, и книжки, и стеклянные кости в угол. С флуоресцентного плаката на сокровища взирал Котх.

Обертка рубашки порвалась.

— Слезаем, — сказал Шкет.

Ланья спустилась за ним следом.

Они подбирали кубики. Едва Денни шагнул на пол, Ланья кинула кубиком в него.

— Эй, не надо… — сказал Денни, потому что кубик улетел в груду вещей под антресолями.

— Извини! — Ланья снова зафыркала. — Погоди, я помогу.

И вместе с ним забралась в чащу инструментов у стены, и штабели стульев, и кучи коробок. Приподняла гладильную доску, а Денни плюхнулся на колени.

— Нашел…

Она подставила коробку под собранную Шкетом горсть. Тот принялся неловко рассовывать кубики по местам, а Ланья между тем спросила:

— А ты когда-нибудь брал деньги за секс?

— Да.

— У мужчин и женщин?

Один кубик заклинило о другой; Шкет нажал, и второй кубик выскочил из ячейки.

— Только у мужчин.

— Может, и мне попробовать, — после паузы сказала она. — Все про это думают.

— Зачем? — Шкет наклонился за кубиком под ногой.

— И ты, пожалуй, сказал сейчас разумную вещь.

Когда Шкет всунул кубик на место, она прибавила:

— Но это меня не остановит.

Она защелкнула крышку и обернулась к Денни.

Шкет ухмыльнулся, глядя на ее хребет — как будто стрела пронзала сердечко ее ягодиц. Я не знаю, подумал он, что творится у нее внутри. Я только уверен: там совсем не то, что кажется.

— Наверху еще осталось. — И она полезла по лестнице.

— Здесь я больше не вижу. — Шкет полез за ней.

— Эй!.. — сказал Денни.

А затем что-то сомкнулось у Шкета на шее, заскребло ему по бокам, вцепилось.

– *Блядь*, ты что…

— Отнеси меня! — закричал Денни, не отпуская его. — Давай, отнеси меня наверх.

— Да *пошел* ты! — закричал Шкет, оседая в хватке пацана. Попытался его стряхнуть. — Ты меня до смерти-то не души, безмозглый ты… зараза! — И одолел еще ступеньку.

Ланья присела на краю.

— Ты его уронишь…

Шкет взобрался еще на одну.

— Залезай давай, хуесос!

Ланья тянула Денни за локоть.

Шкет попытался забросить Денни на антресоли.

— Эй!..

И почувствовал, что Денни соскальзывает. Голые пятки замолотили ему по бокам. А потом что-то перелезло ему через голову.

— Эй, — повторил Денни уже другим тоном. И подергал Шкета за плечо. — Ты нормально?

Ланья сидела с ним рядом, хлопая себя по бедрам, по животу, от смеха опять ослабев.

— Иди нахуй. — Шкет присел на край антресолей. Наклонился, и что-то зашуршало по груди. — Ой, цепочка!

— Что? — Денни оттолкнулся, плюхнулся на попу, потянув за собой одеяла с досок. Не глядя ощупал цепь на щиколотке.

Вот что, наверно, так царапало Шкету бок.

Ланья смотрела, приоткрыв губы.

— Цепочка, — повторил Шкет, повернулся, сел на край и поглядел вниз. Конец цепочки свисал со ступни и почти доставал до пола. Шкет его подтянул. — Утром порвалась… один там мне порвал.

— Кто? — спросила Ланья.

— Да один там. Я починил, но ясно было, что это ненадолго.

Он двумя пальцами пробежался вдоль цепочки по плечу. Порвалось то же самое звено. Шкет стянул концы.

— Погоди секунду, — сказала Ланья. — У тебя же ногтей нет. Дай я посмотрю. — Она присела перед ним, так близко, что ее волосы защекотали ему грудь. Как ей разглядеть-то удается? — Почти получилось.

И она что-то такое сделала зубами.

— Эй?.. — спросил Шкет.

— Готово, — и она оттолкнулась, села.

Теперь Денни спросил у нее из-за спины:

— А кто порвал?

Денни положил ступню Ланье на колени. Отставил коробку и обхватил Ланью за живот, прижал к себе, вытянул руку вдоль ее руки.

— Не мешается? — Она глянула на строгий

ошейник у Денни на ноге. — Эротично, пожалуй.

— Кто? — повторил Денни.

— Не знаю, — сказал Шкет. — Правда, я не знаю.

Он ощупью поискал рваное звено. Темно, конечно, но едва ли оно теперь отыщется даже при свете. Он подергал цепочку тут и там.

— Правда починила?

Ланья, плечом у Денни под подбородком, прикусила губу, сдерживая смех. В голове у Шкета пронеслось слово «…вовремя», и он не понял к чему. Я что-то нашел, подумал он, во время. Кому сдались монастыри? Он в голос расхохотался над Ланьиным замкнутым юмором.

Она отпустила Денни, взяла коробку, огляделась в поисках выпавших кубиков.

Один вгрызался Шкету в ребро ступни.

— На!

Ланья спохватилась и протянула коробку.

Шкет бросил туда кубик. Ланья уперла коробку в бедро, чтоб всунуть кубик на место.

— Ты, мелкотравчатый ты хуесос, считаешь, что очень смешной? — Шкет встал, пригнулся, шагнул. Головой стукнулся о потолок. Не сильно, но покачнулся. — Да? — Он пригнулся опять, повернулся к Денни и потер в паху. — Ты посмотри

на себя. Сосешь ты славно. Минет тебе удается — и кто ты после этого, как думаешь? — Шкет пихнул Ланью локтем. Кубики загремели; Ланья подняла голову. — Когда он языком мне в жопу — ну да, это было мило. Но и что? Еле тепленький ты дерьмец с такими навыками… Эй, ты глянь на Денни! — Шкет указал на то, что у Денни между ног. — Мне по правде нравится, а у него уже стояк. — Шкет сел и улыбнулся. — Все, пошли отсюда.

— Прямо сейчас? — спросила Ланья.

— Да, прямо сейчас!

Денни подполз и заглянул в коробку.

— Мы всё собрали. — И вздохнул.

– *Ум-гу*, — тихонько ответила она и опустила крышку.

Денни убрал коробку в угол. Шкет подтащил к себе жилет, надел.

Ланья сидела на постели, скрестив ноги. Шкет не понял, меланхолическое у нее лицо или отрешенное.

— Пошли.

Он кинул ей блузку, не стал смотреть, что Ланья с ней сделает, а потянулся за штанами.

— А что, из дома свалили *все*? — спросила Ланья.

— Тихо, ага, — сказал Денни.

Шкет обернулся.

Ланья пропихнула в петлицу еще одну пуговицу. Полы блузки комом лежали у нее на коленях.

Денни пригнулся, прислушался; хуй у него наконец-то опадал.

— Я хочу есть, — сказал Шкет. — Я сутки ничего не делал, только ебся: с тобой, с ним, с его подругой этой…

— Занятой ты, — Ланья натянула джинсы, — сукин сын.

— Чего?

— Ничего.

— …с ним, потом опять с тобой. — Двойной шпенек проткнул ремень. — Гос-споди! — Он поднял голову.

Денни сказал:

— Что-то правда тихо. Может, все ушли.

— Хорошо бы, — сказала Ланья.

— А жрачка у вас в доме бывает? — спросил Шкет.

— Недолго. — Денни кинул ему проектор.

Ланья спустилась первой. Кроссовки она держала за шнурки зубами.

— Я не могу с ними лазать, — трижды пришлось сказать ей, прежде чем они поняли.

Денни спрыгнул вниз, а Шкет повернулся за орхидеей.

Свет вокруг жалюзи — оранжевый неон. Шкет взял букет ножей; по краям жалюзи потек красный блеск. Шкет нахмурился и попятился к лестнице.

В коридоре Ланья спросила:

— А что, дым рассеялся? — Окно в двери словно заливало кровавым рассветом.

— Все, наверно, и *правда* свалили. — Денни заглянул в другую комнату.

— Как думаешь — может, распогодилось? — спросила Ланья. — Пошли посмотрим.

Следом за ними Шкет зашагал к передней двери.

Ланья открыла ее, спустилась с крыльца.

— Все равно сплошные облака. — Она дошла до тротуара, обернулась, задрала голову — и завопила.

Пока Шкет и Денни добежали, вопль лишился голоса и превратился в выдох.

На тротуаре они задрали головы и посмотрели, куда смотрела она.

С края тротуара над домами было видно три четверти диска. Облака его затуманили — если сощуриться, можно смотреть, — но он взбирался

по небу, заливая крыши, выше, выше и выше. Зримая его часть заполняла полнеба. И, сообразил Шкет, полнеба — это *гигантское* небо! Тезис, впрочем, растворился в невозможности. Во всяком случае — в недоказуемости. Окружность сияла золотом. Все напоминало горящий металл.

Ланья, задыхаясь, прижалась к его плечу.

Денни говорил:

– *Чё?..* — и пятился на шаг, и повторял: — *Чё?..* — Задом пихнул Шкета. Голова развернулась, лицо (глазницы — точно чаши плавленой меди, истекавшей на щеки) как у маньяка. — Эй, это… что-то, да? — Вопрос был не риторический. — Что-то, да? — Отвернулся, опять сощурился.

— Это *что*? — прошептала Ланья.

— Это солнце, — сказал Шкет. — Вы что, не видите? Это просто солнце.

— Господи, мы на него падаем… — Горло у Ланьи перехватило, она выдохнула, а потом заплакала.

— Ай, да ладно тебе! — сказал Шкет. — Ну перестань, ну?..

— Господи… — прошептала она и снова посмотрела.

Он глядел в ее лицо, открытое, и поблескивающее, и дрожащее.

— Это опасно? — шепнул Денни. — Мне страшно как пиздец!

— Оно растет! — взвизгнула Ланья, повернулась и съежилась на корточках, руками обхватив лицо.

— Ничего оно не *растет*, — сказал Шкет. — А если да, то медленно, нам не видно. Эй, да ладно! — и стукнул ее по плечу.

Орхидея качнулась на цепи, защекотала грудь, замерцала. Это не греза, подумал Шкет. Я уже грезил. Это не греза; то есть это… Ленты мускулов до боли стиснули горло.

— Эй! — Он кулаком побарабанил Денни по спине. — Эй, ты живой?

Распахнув глаза и набрав полную грудь воздуха, Денни выдавил:

— Ага!

Ланья кулачками терла лицо, растягивая его морщинками, щурясь в этот огромно-огромно-огромный круг.

— Ладно, — повторил Шкет. — Пошли, всё.

Денни послушался — мигом, явно не поняв зачем.

Ланья подождала, когда они сделают три шага (Шкет обернулся), и со смятенным лицом кинулась следом. Поймала его за руку. Другую руку

он протянул Денни, и тот крепко в нее вцепился. Мальчик вспотел.

— Это что-то. — (Шкет снова глянул в небо.) — Никогда такого не видел.

Шкет поглядел на Ланью: та странно смотрела на него, а куда идет — не смотрела.

— Мы не падаем на солнце, ничего такого, — сказал Шкет. — Иначе бы уже сгорели. А даже не жарко. — Он посмотрел на Денни — тот отвел глаза от неба, перехватил его взгляд. — Да господи боже мой, — сказал Шкет. — Это, вообще-то, блядь, довольно смешно, нет? — Они не засмеялись. — Тут ведь ничего не поделаешь. — Он засмеялся один. Приятно.

— Но что это такое? — повторила Ланья. Говорила она уже поспокойнее.

— Не знаю, — сказал Шкет. — Я не знаю, *что* это, блядь, такое!

Из-за угла на всех парах вывернул Саламандр (волосы — раскаленная адская ржавь) и затормозил посреди улицы, расставив сапоги, согнув локти, раскачивая кулаками на весу.

Его догнали другие скорпионы. Среди них были Сиам, и Джек-Потрошитель, и девчонка Денни, но не было ни Леди Дракон, ни Кошмара.

Шкет отпустил руки своих спутников и ткнул

пальцем в небо:

— Никаких, блядь, слов нет, скажите? — Он засмеялся, и какие-то натянутые тросы в горле ослабли. Досмеявшись — от смеха у него закрылись глаза, а поясницу чуть не свело спазмом, — он обнаружил, что все на него пялятся. — Эй, Саламандр! Ты куда? Пошли со мной?

– *Что*… — взревел было Саламандр, но закашлялся, и в голосе не осталось ничего. — Что это? — слезливо, по-дурацки спросил он. — Это что, *жаровая* молния какая?

Кто-то сказал:

— Вот *ты* как считаешь — похоже на молнию?

Шкет моргнул и прикинул.

— Пошли со мной, — отважился он.

— Шкет, ты как? — спросил черный в виниловом жилете — он отдрейфовал за спину Саламандру, а Сеньора Испанья — за спину ему.

— Вы, — Шкет произносил слова с расстановкой, точно урок им разъяснял, — все идите со мной! — Он перевел дух и зашагал поперек улицы. Когда ступил на бордюр, чья-то рука цапнула его за плечо. Он обернулся: Денни, а за ним Ланья, а вокруг кишат, идут на обгон скорпионы.

И шаги.

Больше он не оборачивался.

Быть может, думал он, еще несколько секунд — и мы погибнем, растворимся в пламени и боли. Вот зачем всё. А может, и не погибнем. Вот зачем всё так.

Скорпионы толкались и толпились, и он снова усмехнулся.

Глупо, как ножи, что щекочут ему грудь.

Смех впился в корень языка, попытался его растрясти. Плоть во рту лежала слишком тяжким грузом. А посему смех отступил, привалился к спице спинного хребта. Я счастлив, подумал Шкет. И услышал, как кто-то — белая девушка (не Ланья; скорпион в жилете, по имени Накалка) тоже засмеялась.

И выпустил наружу свой смех.

И смех согнул его пополам, и Шкет споткнулся.

Кто-то — это Ланья, и этого почти хватило, чтобы он умолк, — вскрикнул.

Но другие смеялись.

Кто-то еще — это Денни, и Шкет, увидев, что это Денни, продолжал смеяться сквозь замешательство — промчался мимо, подхватил крышку мусорного бака, прислоненную к бордюру, и запустил по улице. Крышка с грохотом врезалась в крыльцо. Денни в кровавом свете оттанцевал назад.

Облачность бурили золотые ганглии.

Шкет протянул руку — пришлось наклониться — и поймал Ланью за пальцы; его пальцы, сплетясь с ее, застучали по тылу ее ладони. Ланья нагнала, пошла рядом, в изумлении глядя, как остальные прибавляют шагу на мощеной улице.

— Выбери дом, — сказал Шкет.

— Что?..

— Выбери дом, — шепнул он (она склонилась ближе, прислушиваясь). — Лучше, наверно, который тебе не очень нравится.

Саламандр проскакал мимо, замахнулся; осколок кирпича пролетел по улице, раскокал окно; Саламандр, горя густой шевелюрой и редкой бороденкой, с ухмылкой обернулся.

— Этот? — спросил Шкет.

— Нет! — с нажимом, которого он не понял. — На вершине холма. Вон тот. Вон там.

— Ладно. — Шкет свернул.

Блондинка в бушлате отставала среди разрозненных черных. Она плакала; поглядела в небо и заплакала горше. Девчонка Денни обняла ее за плечи — что-то говорила, утешительно кивала. Разок глянула на громадное горящее колесо; лицо ее исчертило неистовством.

Шкет обмахнул щеку ладонью. Руку подрала

щетина.

— Сюда! — Он помахал и опять свернул. Зашагал к свету, а они потекли вперед по обе стороны. — Эй, Потрошитель, Денни, Саламандр! — Он поймал прыгающий проектор и пальцем нащупал рычажок снизу. — Как эту штуку включить?

— А? — оглянулся Потрошитель. — А… сдвинь *вбок*. Не нажимай.

Рычажок сдвинулся.

Конечно, подумал Шкет, мне изнутри не видно. Интересно, как я выгляжу.

Ланья отстранилась и оглядывала его с ног до головы. Шкет постучал по коленям и закружился. А Денни исчез в своем увечном взрыве.

— Эй, — окликнул Потрошитель цвета эспрессо, — врубаем!

Фигуры миновали друг друга, шагая по брусчатке. Шкет оглянулся на смех Саламандра; а Саламандр исчез внутри сияющего паука. В ужасном свете разрастался зверинец.

Мимо прошел Тринадцать — Шкет его заметил только теперь.

— Давай, — шепнул Тринадцать, одной рукой обнимая Кумару, — валим отсюда. Ничего хорошего тут не светит…

— Я хочу посмотреть! — заупрямилась она. — Я

хочу *посмотреть*!

Шкет добрался до крыльца. Кто-то подбегал сзади. За всю жизнь Шкет выламывал двери трижды и сейчас рассчитывал отбить плечо до синевы. (Рядом замигал свет Денни — пацан лез через перила.) Шкет всем телом врезался в обветренную древесину. Дверь распахнулась с такой легкостью, что он упал на одно колено и схватился за косяк. (Вокруг метались мистические воплощенья.) В тот же миг зазвенело стекло, а в коридоре вспыхнул свет — призрак Денни влез в разбитое окно крыльца.

— Ой… мамочки… — Из двери напротив выплыло черное девичье лицо.

Потом другое:

— Скорпионы!..

В комнату вбежал тощий черный пацан с палкой наперевес. Он отвесил челюсть и вытаращился.

— Джимми, ты что!..

Пацан (двадцать-то ему уже есть? Шкет с трудом поднялся, чуточку испугавшись, не веря, что его не видно внутри некоего сияющего зверя) все дергал и дергал палкой.

– *Джимми!* — завизжала она. — Уходи! Это скорпионы, господи боже…

Джимми (Шкет не ожидал) вдруг захлопнул рот, отбросил палку и выбежал за дверь. Где-то в доме по ступеням с грохотом ступали шаги.

Денни прежде Шкета добежал до двери и погас. Подался вперед, просунулся в комнату и оглянулся с озадаченной ухмылкой (остальные уже втекли внутрь, разбросали по стене тени в красном свете):

— Эй, видал, как эти ниггеры драпанули?

Позади Шкета кто-то опрокинул стул.

Шкет нахмурился, вспомнил, что никому не видно, бросил хмуриться и сдвинул рычажок на дне проектора.

— Ёпта, слышь, — сказал Денни. — Во они пересрали, ебанаты черномазые. — Тряся головой, он вышел за дверь.

— Не надо! Не *надо*! Не…

— Что у них там такое?

— Ну хватит, да блин, не *надо*!

В бордовом свете на стене перед Шкетом обезьянья тень уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась и наконец воздела руку немногим больше, чем у Шкета.

Рука хлопнула Шкета по плечу.

— Эй, — сказал Саламандр. — Ничего себе у них хата! Ковер на полу… — Другая рука указала

вниз; потом вверх: — И ты глянь, какая херня на потолке.

Шкет глянул.

Над лепниной по лесам, по озерным берегам, по холмам скакали женщины в газовых платьях и мужчины в доспехах.

Шкет перевел взгляд на Саламандра — тот щурился, через дверь озирая покрасневшую улицу.

— Короче. — Саламандр отвел глаза от двери. — Пойду гляну, чего тут у них где.

За стенкой кто-то заорал, а рука Саламандра образчиком дружелюбия упала снова. Потом он шагнул в дверь. Шкет пошел через комнату, ища Ланью.

Та стояла прямо за дверью — и злилась.

— Что такое?

— Тут же люди жили! — прошипела она. — Ты что… — И покачала головой.

— Я не знал, — ответил Шкет. — Это ты выбрала дом.

— А я не знала, *зачем* он тебе! — Говорила она напряженно и тихо, словно боялась, как бы не подслушал гигантский диск над крышами. — Ты чего хотел-то вообще?

— Да все равно, — пожал плечами он. — Пошли.

Она втянула воздух сквозь зубы и дала ему руку. Он провел ее через комнату, где народу осталось вполовину меньше.

Пред неоновым конфетти, что рассыпал гудящий телевизор в соседней комнате, качались и толкались фигуры.

— Держи. — Сиам забинтованной рукой протянул ему бутылку.

— Мне бы, наверно, — сказал Шкет, — сначала пожрать. — А затем все равно взял бутылку и трижды по чуть-чуть глотнул дурного обжигающего виски. — Будешь?

— Нет, спасибо, — тихо сказала она и обеими руками взяла его за локоть.

Вместе с ней взбираясь по лестнице на третий этаж, Шкет сказал:

— Я хочу, — фраза разрешилась, как мучительно припоминаемая идея, которая лишь теперь сдалась сознанию, — что-нибудь написать.

Он удивился, когда она взбежала по лестнице до конца, что-то взяла с телефонного столика, обернулась:

— Вот. Тут ручки нет. Но у тебя своя. — Он удивился и развеселился, увидев, чем окрасился ее напор в лучах из приоткрытой двери в конце коридора.

Он забрал у нее телефонный блокнот, толкнул ближайшую дверь…

Под бушлатом, распахнутым под ней на полу, девушка была нага. Краешек оконного света из-за жалюзи лег поперек темно-синей шерстяной ткани, стянул ребра, как шнуром. Саламандр над другой девушкой поджимал веснушчатые ягодицы, распускал и поднимался, опускался и поджимал, расслаблял и поднимался меж толстых ног. Это, сообразил Шкет, девчонка, которую он не знал по имени, которая сказала «до свидания», с которой он занимался любовью.

— А, — сухо прокомментировала Ланья.

Девушка в бушлате открыла глаза, тихонько вскрикнула, перекатилась на бок и цапнула Саламандра за спущенные на бедра штаны хаки. Саламандр заворчал, приостановился, глянул через плечо, сказал:

— Эй! — и улыбнулся во весь рот. Неловко поманил. (Другая девчонка, на полу, тяжело дыша, поджала губы, все-таки не вполне изобразив гнев.) — Давай к нам, мудоеб! Поделись своими, а я с тобой своими поделюсь.

— Ни в чем себе не отказывай. — Шкет попятился от двери, не отпуская Ланьиной руки.

В коридор набились люди. Шкета пихали чер-

ные локти и бурые плечи.

— Там чё такое? — Между Шкетом и Ланьей втиснулся белокурый Денни.

— Не лезь туда, хуесос. — Шкет обхватил пацана за грудь и оттащил от двери.

— Почему?

— Потому что я взревную как пиздец.

Денни нахмурился, дернул плечами, сказал:

— Ладно, — и вывернулся из-под Шкетовой руки.

Сеньора Испанья подошла, покачала головой и произнесла почти пьяно:

— Ёпта! Вот это конец. Нам же, небось, конец, да? — Она влилась в толпу, и ее цепи задели Ланью по плечу.

Ланья дернула Шкета за локоть.

— Сюда, — громко сказала она, и остальные обернулись. Шкет отпихнул в сторону человека («Эй, как делишки, Шкет?»), который совал ему в лицо бутылку.

У подножия лестницы, держась за руки и задрав головы, стояли два знакомых длинноволосых малолетки (из парковой коммуны?).

— У вас тут что… туса?

Оба взобрались по лестнице, сощурились, когда в глаза ударил свет; он сполз по лицам, точно

шторки, подарив обоим ложный солнечный ожог. В этом новом освещении пятна лилового, фуксии и светлой вишни на их драных маечках текли и видоизменялись. За спинами у них топтались другие белые, чей смешанный хор исполнял свою партитуру в другом диапазоне, нежели воинственно пронзительные скорпионы.

— Это Кошмара… это гнездо Кошмара? — спросила какая-то девица и оттолкнула с дороги первых двоих. — Ланья! — Она остановилась на полпути по лестнице — рыжие волосы ослепительны, лицо подергивается, тщась сокрыться от сияния.

— Милли! — Оставив Шкета с блокнотом, Ланья кинулась к ней, схватила за запястья. — Ты что тут делаешь? — В голосе восторг. Когда Ланьина тень заслонила солнце, Милли… захихикала? Нет, заплакала. Шкет посмотрел в дверь спальни и дальше, в окно спальни, яркое, как фольга.

Протолкался между двоими, загородившими коридор.

— Да блядь! — один раз заорал он на кого-то. — С дороги!

Кто-то позади него (Шкет оглянулся и увидел, как Сиам высоко взмахивает забинтованной рукой, пытаясь пробиться; но говорил не он, а

Жрец):

— Не, слышь, это Шкета гнездо. Кошмара тут нет. Кошмара нигде не видать.

— Шкета?.. — Рыжий негр, один раз одолживший ему тарелку; говорил о нем — не с ним: — Вон тот, что ли? Он раньше в коммуну приходил. Это и есть Шкет, что ли? Я не знал. Прикинь, а?

Шкет протиснулся на узкий балкон, удивился, что там пусто, и задрал голову.

До того огромное, что и крыша над Шкетом, и крыша дома напротив отсекали его края. Я это помню, спросил себя он, по изнанке сна? И прибавил угрюмо-загадочное: лучи смерти!

Обветренный львиный прайд взирал внутрь из-под выщербленных перил с остатками золотой краски (вроде надо наружу? — подумал Шкет), на деревянные двери, замерев по изокефальной стойке «смирно».

При свете (который он логично почитал музыкой) из такого источника невозможны никакие тени.

Он задрал голую ногу на перила — посмотреть, проверить, не сообщит ли ему чего новое освещение. Поручень подпер подушечку, а от этого вытянулись пальцы. Вогнутости по бокам от пятки шелушатся, как кожа под краем Сиамова

бинта. Суставы пальцев с завитками черных волос оттягивали кожу с боков, выдавая возраст. Я ближе к тридцати, чем к двадцати, подумал он, опустил ногу и задрал другую.

Замшевый сапог покрылся пятнами, которые он всегда называл солевыми, — они появлялись, если после дождя ходить по лужам. Вот только дождя не было. Под мятой кожей сапога — в сорока футах внизу — буро-красной анакондой меж домов петляла брусчатка.

Он осмотрел левую руку. Мне не нравится, как они выглядят, подумал он. Мне они не нравятся: точно растительность какая-то, выдранная из земли, сплошь корни и узлы, на концах грязно и погрызено, будто они пожирают сами себя; и вспомнил, как под кислотой они порой взаправду его пугали.

Осмотрел правую руку. Там, где прокушено до крови, осталась короста. Он всегда считал, что юное лицо, невзирая на мимолетные неудобства, — по сути, удача. Но эти руки состарившегося рабочего, жертвы издевательств… руками его обидели. Эти руки пугали людей (эти руки пугали его); и у них такая форма, и текстура, и волосня, и эти толстые вены — он не верил, что им выйдет польза, если волевым усилием отка-

заться от привычки кусать их, и грызть, и снова кусать. (Как-то раз, когда ему было десять, он сидел на тротуаре и натирал ладони об асфальт — интересовался, каково будет мастурбировать с мозолями; не тот ли день запустил некий необратимый кожный процесс, из-за которого после нескольких дней трудов руки ороговело затвердевали и трескались потом еще неделями и даже месяцами?) Ему нравилось, что Ланья баюкает их в мягких ладонях, целует, языком щекочет кожу между пальцами, любит их, как гномов, а сам он вуайеристом подглядывает за этой любовью, и насмехается, и исполняется нежности.

Он опустил взгляд на цепи; провел между ними пальцами; приподнял орхидею и посмотрел, как она крутится в золоте из ниоткуда. Потом сел под обшитую гонтом стену, вытянул ноги к львиным лапам, положил блокнот на колени и защелкал ручкой.

Среди прочих звуков из дома раздавались чьи-то визги, и ахи, и опять визги, означавшие, что некто творит нечто ужасное. Или кому-то так показалось.

Наблюдать действия интересно. Так я что-то узнаю о действующих лицах. Их поступки — воплощения внутренних конфликтов во внутрен-

нем ландшафте, где эти действия разрешаются. Вот-вот-начать-действовать — любопытное переживание, ибо я осознаю лишь эти конфликты. Само действие довольно скучно; оно не просто разрешает, но начисто стирает конфликты из сознания. Действия интересны, только если приводят к новым конфликтам, которые неведомо почему побуждают меня действовать снова. Но здесь, под этим гигантским фонарем, с телефонным блокнотом в картоне, закрывшим дыру на колене, я хочу писать не об этом. Я вот-вот напишу. Я убираю большой палец с кнопки авторучки. Я перебираю ручку в пальцах (уродливых?), пока они не охватывают кончик. Я приступаю.

* * *

Ланья вломилась в поле зрения, точно некрупный бессловесный игуанодон. Шкет не шелохнулся. Ланья села боком льву на голову и сорок пять поразительных секунд смотрела на улицу. Потом на Шкета:

— Еще пишешь?..

— Нет. — Гиперчувствительность, последствие работы, от голоса Ланьи рассеялась. — Нет, уже пару минут как закончил.

Ланья сощурилась на исполинский полукруг.

Потом сказала:

— Эй… — И сдвинула брови. — Оно садится!

Шкет кивнул:

— Почти видно, как оно падает.

Облака, замаравшие край, потемнели — было золото, стала бронза. Когда шли по улице, над крышами виднелось три четверти круга. А теперь чуть меньше половины. (И все равно половина — ужасно большая.) Ланья ссутулила плечи.

В дверь вошел Денни, замялся, руками держась за обе створки, скривил лицо от света. Затем молча сел на перила рядом с Ланьей, обхватил коленки, локтем не дотягиваясь до нее на дюйм.

Входит Денни — фантастический объект.

Входит она — объект еще фантастичнее и вдобавок с историей.

Ланья подалась вперед, взяла блокнот, прочла. После паузы сказала:

— Мне нравится.

Но что, продолжал размышлять Шкет, если кому-то хватит глупости предоставить мне выбрать? Он примерил ироническую улыбку; но ирония заплутала в механике лица. По его догадкам, вышла просто улыбка.

Так или иначе, улыбкой ему ответили они.

Денни сказал:

— Оно садится, — необязательно ей.

Одну руку прижав к колену, другой проведя по лицу, она выдохнула весь воздух из легких.

Ужас звякнул внутри, точно ложка о помятую кастрюлю. Шкет протянул руку, коснулся Ланьиной голени. Ужас? — подумал он; когда ужасное не шумит, движется неспешно, длится часами, мы очень сильно меняемся. Я не понимаю, кто она. Он сильнее сжал пальцы.

Она поморщилась, отодвинула носок кроссовки от его босой ноги.

Так что он убрал руку.

Положив ладонь на живот, она вздохнула, и задрала вспотевшее лицо, и все моргала и моргала — смотрела.

Кто-то еще вышел на балкон, а Ланья спросила:

— Ты почему не боишься?

Шкет подумал о грезах, не придумал, что сказать, поэтому кивнул на гаснущий свет.

Она сказала:

— Я тогда тоже не буду.

На балкон вышел скорпион, прыщавый пацан, заросший щетиной. Неловко огляделся, словно заподозрив, что помешал, вроде собрался уже уйти (что он чувствует, гадал Шкет; что вынуж-

дает его играть эту традиционную роль?), и тут на балкон вышел Фрэнк, поэт из коммуны.

Потом, держась за руки, не мигая, вышли две черные девочки (тринадцать? двенадцать?) — волосы острижены почти под корень, в ушах золотые колечки. А в дверях толпились другие люди. (Балкон-то выдержит?) Он еще подивился, насколько проще думать об этом, нежели о том, что заслоняло небо.

— Садится, ага, — повторил Денни.

Ему приятно, подумал Шкет, говорить это Ланье: но когда здесь девятеро, уравнения строятся иначе; такого же отклика не получить.

На миг он вообразил Кошмара и Леди Дракон.

Мимо Саламандра протиснулась Милли. Свет выпил сияние из разных оттенков их рыжины, оделив пламенем все вокруг поровну. Милли опустилась на колени у парапета. Свет меж двух львов драным бинтом лег ей на икру.

Короста, подумал Шкет, блестит, точно красное стекло.

Слишком много народу.

Милли отерла щеку.

Отчего любой заданный жест задан как есть? Вот ее? Она виновата тем, что движется, когда ситуация требует неподвижности. (Он глянул на

царапину.) Она виновата?..

Слишком много народу.

Сцепив руки, порог перешагнули длинноволосые юнцы; один взял за руку прыщавого небритого скорпиона (вдобавок пьяного в стельку) — тот громко дышал и заваливался на людей.

Те не двигались.

— Что будешь с этим делать? — спросила Ланья до того тихо, что вышло тихо даже в этой тишине.

Скорпион дышал громоподобно.

— Не знаю. — Тоже получилось громоподобно.

— Давай возьму. — Она вырвала из блокнота три страницы, правленые и переправленные. (И нужно столько сияния, чтоб высветить материал для очередного стиха?) Остановила его, мотнув головой (тень потекла по щеке из зеленой мишени ее глаза). — Твоя тетрадь у меня дома. Положу туда. Я ухожу. — Она обернулась к Денни. И тень перетекла куда-то ей под подбородок; в складках ее века Шкет различил пот. — Проводишь меня?

Шкет хотел было возразить, решил, что нет; предложить пойти за компанию?

Она коснулась локтя Денни. Ее нос и ухо были в тени; невероятный диск спустился, осталось чуть-чуть, и все вокруг — под сгибом локтя, за

каблуком на покрасневшей плитке, под истрепанным краем джинсы, где оторван рукав, или внутри и позади изгибов плоти в плоти уха — снова отрастили тени. Ланья глядела испуганно.

Она встала, и люди расступились.

Денни, будто очнувшись ото сна, неловко сполз с перил и, крутя головой и моргая (на остальных и Шкета равно), пошел за ней следом.

Денни ушел, и толпа сомкнулась.

— Когда оно сядет… — начал прыщавый скорпион.

Шкет и те двое, что держали его за руку, оглянулись.

На губах у него запеклась белизна. Веки без ресниц порозовели и набрякли.

Те двое отвернулись.

— Когда оно сядет совсем, никакого, блядь, света больше не будет… никогда. — Он потряс головой, пошаркал сапогами, покачался на пороге. — Кромешная, сука, чернота… во как!

Они ушли, подумал Шкет. *Совсем* никакого света?

Спустя пятнадцать минут, когда оно село окончательно, небо вновь привычно посерело.

3

Он проснулся… один?

Кто-то лез на антресоли.

Шкет мучительно выбирал между грезами и… прочим. Потому что все ушли из дома, где фрески, и убрели назад в гнездо. Милли бесцельно болтала с ним на улице по пути с холма, в основном удивлялась, что он и есть тот самый Шкет, про которого все говорят, и как ей приятно знать, что она его знает, а потом он решил, что она его клеит, и разозлился.

— Пошла нахуй, блядь безмозглая! — заорал он посреди улицы и сделал вид, будто хочет ей врезать.

Она убежала; он громко хохотал, пока не начал спотыкаться. Подвалил Саламандр, похлопал его по плечу, тоже смеясь.

— Вот и мне она не по нутру. Ёпта, хочешь — возьми из моих кого…

Он все смеялся, чтобы не пришлось разговаривать, с совершенно маниакальной гордостью думая: уже, я уже взял…

— Шкет, ты как? — Уши Денни подсвечивало сзади и снизу. А лицо во тьме.

— Ага?..

Денни залез.

— Там готовят еду, — и на этом слове Шкет ее почуял, — в кухне. Кошмар и Леди Дракон только что вернулись. Спишь?

— Иди, — и на этом слове Денни, сплошь плечи, и подбородок, и локти, втиснулся ему под бок, — сюда. Ага. — Он обнял эти теплые угловатые формы и полежал, чуя масло и жаркую растительную вонь, в которой не обнаружил ничего похожего на знакомую еду; но ему все равно понравилось.

— У Ланьи хороший дом, — сказал Денни.

— Да? — Шкет подумал: он такой легкий; а углы острые. — Опять ее трахнул?

— …Ага, — сказал Денни. — У нее в комнате, у нее в доме. По-моему, это ничего.

Шкет удивленно открыл глаза. Потолок в темноте исчертили трещины.

— А. — Он сдвинул Денни вбок. — У тебя сил побольше моего. Я, как сюда вернулся, устал.

— У нее хороший дом, — повторил Денни. — Очень хороший.

— Почему она захотела уйти? — Он потыкал шершавый подбородок — чесалось.

Денни заерзал, устраиваясь поудобнее.

— Сказала, что у нее занятия. — И снова поерзал.

— Какие занятия?

Перевернутая Г вдоль края жалюзи наконец-то вечерне потемнела.

— Ее малышня. Она за целым классом малышни присматривает, знаешь. Им лет восемь или девять. Черные в основном.

— Нет, я не знал. — Он надул губы над зубами. Ну, он же и *правда* мало с ней виделся. *Сколько* дней прошло? Она говорила, что у нее теперь дом, точно. — Я не знал.

Он нахмурился Денни в макушку.

— Мне она нравится, — сказал Денни. — Мне она ужасно нравится. — Его лицо выглянуло из-под волос. — Знаешь, по-моему, я ей тоже нравлюсь.

— Пожалуй, да, — сказал Шкет. — И у нее были… занятия?

— Нет, — ответил Денни. — Не при мне. Она собиралась. Но мы опять стали ебстись. Ну, трахаться, да? Сказала, что пойдет, когда я уйду. Если не уснет. Она, по-моему, сильно устала.

Шкет опять поглядел в потолок:

— И давно у нее эта малышня?

— Пару недель, — сказал Денни. — Это она так

сказала. Сказала, что ей нравится. Они собираются где-то недалеко от ее дома. Очень хорошо.

— И как было? — Пару недель? От изнеможения он даже расстроиться не смог.

– *Очень* хорошо. — Волосы Денни зацепились за Шкетов подбородок.

— Выходит, и ты на что-то годишься, хуесос. Эй! — Шкет подобрал мускулы ноги под твердеющим пахом Денни. — Не, чувак. Отъебись. Я сейчас не хочу.

Денни поднялся на четвереньки:

— Ты тогда сходи поешь. У них там не очень много. Всё съедят.

Шкет сел, кивая:

— Да, пошли.

Он сполз вниз, как во хмелю, остановился в дверях.

Почему (наблюдая, как спускается Денни) ему она все рассказала про новый дом и про занятия, а мне нет? Почему я не спросил? — ответил он сам себе. Все-таки удалось над этим улыбнуться.

— Пошли. — И Денни повел Шкета за локоть.

На полпути по коридору Шкет цыкнул и локоть убрал. Потянул осторожно; но рука Денни мигом отпрыгнула, в испуге и предчувствии, отчаянно и одичало. Толком на Шкета не глядя, Денни

отступил и пропустил его вперед.

— Господи боже! — воскликнул Кошмар, обернувшись с полной тарелкой в руках — сначала взмахнул вилкой, затем подцепил кусок. — Ничё себе сегодня, а? Рехнуться. — Набив рот, он продолжал говорить, роняя крошки. — Мы слыхали, как ты ниггеров прогнал. Эй, — он указал на Леди Дракон, сидевшую под стеной, — слыхали мы, что он с ниггерами этими сделал.

— Да ёпта, — сухо ответствовала Леди Дракон и лишь краем глаза покосилась на Шкета. — Пускай, сука, делает с ниггерами что хочет.

— Я даже не знал, что они в том доме живут, — сказал Шкет.

Леди Дракон сунула в рот еще кусок.

— Ёпта, — повторила она и кончиком ложки порылась в куче еды на тарелке.

— Дайте им пожрать, — крикнул Кошмар в кухню.

– *Малыш!* — заорала Леди Дракон; плечи у нее затряслись; своих занятий никто не бросил. — *Адам!* — Слова она швыряла, как гранаты. — Принесите им *жратвы*!

— На! — Малыш, по-прежнему голый, протолкался сквозь толпу в дверях, выставив перед собой (рискованно) дымящиеся тарелки. — Твое.

Шкет решил не обращать внимания на грязный палец, воткнувшийся в, очевидно, рагу из консервированных овощей (он выудил оттуда захороненную вилку; посыпались кукуруза, горошек, бамия) и (он попробовал) мяса. («Спам»?) Другую тарелку Малыш отдал Денни. Ушел и вернулся с тарелками для помалкивающих Собора, Джека-Потрошителя, Разора.

Саламандр, которому еды пока не досталось, смотрел с дивана — улыбнулся и кивнул, когда Шкет на него глянул.

— Держи. — Адам сунул Саламандру тарелку. Тот взял, отсалютовал Шкету вилкой с погнутыми зубцами, опустил плечи и принялся наворачивать.

Девчонка Денни (стоит выяснить, как ее зовут?) вышла из кухни с кофейной чашкой рагу, подошла и подсела к Денни на пол, очень старательно не глядя на Шкета. Девушка в бушлате, сидя подле Саламандра на диване, то и дело ложкой таскала у него еду; Саламандр ее более или менее не замечал.

— Праздник у вас был? — вскричал Кошмар в ответ на вопрос, которого Шкет не слышал. — А мы в *набег* ходили! Адам, Малыш, Леди и я! Я так пересрал — думал, всё, капец. Ёпта, да я и до

сих пор.

Последним в общем смехе погас отрывистый смешок Леди Дракон.

— Мы были в парке. — Кошмар помахал вилкой над головой; расселись еще какие-то люди. — Малыш, Адам и мы с Леди Дракон. Где старая Погодная башня, знаете?

(Что, подумал Шкет, делал Джордж в медном свете этого полудня? Что делала Джун?)

— Когда началось — в смысле, как началось, мы подумали, что полгорода в огне, но как увидели, чё это… — Кто-то хотел было отпустить замечание, и Кошмар затряс головой. — Не-не, я не *знаю*, чё это за хуйня. Меня не спрашивайте. Мы, как ее *разглядели*, полезли смотреть. Да?

Леди Дракон сидела, улыбаясь и качая головой, а заметив, что всеобщее внимание переключилось на нее, закивала; улыбка осталась.

— Мы залезли, посмотрели, всё видели. Взошло. И село. — Кошмар присвистнул. — Господи боже!

Мы живем, подумал Шкет, и умираем в разных городах.

— И вы были посреди всего, — спросил скорпион в виниле, не отводя глаз от Кошмара, — пока не закончилось?

Саламандр возразил:

— Мы смотрели, как оно село…

— Закончилось? — Кошмар раззявил рот, передразнивая винилового. — Чё закончилось?

Адам поворошил цепи на груди; остальные не шелохнулись.

— Вы считаете, все закончилось? — осведомился Кошмар.

Блондинка в бушлате обеими руками сжимала ложку между колен.

— Когда оно село, — сказала она, — опять стал как будто обычный день… здесь. И свет был еще часа четыре или пять, только потом стемнело.

Она через плечо глянула в черное стекло; с подоконника, из-под основания без лампочки, в ночь взирал латунный лев.

В тишине разросся смех Леди Дракон.

— Ёпта. — Кошмар снова набил рот и заорал себе в тарелку: — Вы даже не знаете, *взойдет* ли Солнце опять! Может, завтра нас всех сожжет в пепел. Или заморозит. Ты чё-то говорил, Малыш, — мол, Землю сбило с орбиты, чё-то такое, прямо в Солнце или мимо…

— Я не говорил. — Малыш оглядел себя — прыщавую грудь, необрезанные гениталии, выгнутые колени, грязные ступни; впервые его нагота была неуместна. — Я не всерьез же…

— Тогда бы землетрясение было. — Бурый Адам с филадельфийским акцентом собрал цепи в кулак. — Я же сказал. Крупное землетрясение или цунами; может, и то и другое. А ничего такого. Если Землю сбило, что-то должно было случиться…

— То есть, — Кошмар поднял голову, — через десять минут, может, блядь, и затрясет!

Тут потолочная лампочка потускнела на три четверти.

Шкет постарался сглотнуть сердце, скакнувшее в горло; оно грозило взорваться и наполнить рот кровью.

Кто-то опять заплакал.

Шкет оглянулся — может, Денни? Но плакал другой скорпион (Паук?), по другую сторону от Кошмара. Лицо Денни даже в желтоватом полумраке прорезали лезвия теней его волос.

— Ой, ну кончайте! — Из-за плеча Тринадцати выдвинулась Кумара. — Слушайте, когда мы тут жили, она так гасла раз пять на дню!

В кухне что-то загудело; свет разгорелся как положено.

Кошмар упрямо ел.

Больше не ел никто.

— У вас там еще есть? — Кошмар кивнул Адаму с Малышом. — Вкусно. — Огляделся. — Вы не

знаете, закончилось все или нет.

— Я бы не отказалась от добавки, — вставила Леди Дракон.

Малыш шагнул к ним и протянул руки за тарелками.

— Ошибка, — Шкет сам себя удивил, заговорив, сунул вилку в рот, чтоб замолчать, но все равно продолжил, — не предполагать, что все закончилось. — Я изображаю Кошмара, подумал он, а потом понял: нет, я делаю то же, что Кошмар, по той же причине. — Ошибка — предполагать, что все началось сегодня днем.

— Точняк, мудило! — И Кошмар со значением потряс вилкой.

Шкет снова забросил овощи в рот и подумал: меня, наверно, сейчас стошнит. А потом подумал: нет, слишком жрать охота.

— Там большая кастрюля, — говорил между тем Адам. — Разбирайте, пока есть.

Скользнула тень, и Шкет оторвал взгляд от объедков на тарелке.

Адам стоял перед ним, протянув руку, тоже вот-вот (заметил Шкет) готовый зарыдать. Шкет отдал ему тарелку.

Кошмару, Леди Дракон и мне еду выдали первым делом, отметил Шкет, когда Малыш

притащил ему добавку. Ну, Саламандра вроде не парит.

Доев, Шкет отложил вилку на пол и встал.

— Эй, ты куда? — спросил Саламандр — ноль задиристости, сплошь замешательство.

— Пойду прогуляюсь.

С нижней ступеньки крыльца он разглядел вдали два уличных фонаря. В любой момент все сгорит? Или замерзнет с приходом ледникового периода, то есть через двадцать минут? Температура воздуха — убийственно никакая, как многие и многие ночи подряд. За спиной открылась дверь — высунулся Денни.

— Я хочу посмотреть, где живет Ланья, — сказал Шкет, оборачиваясь. — Покажешь дорогу?

— Я… я не могу, — ответил Денни. — *Она* киснет. И хочет поговорить… со мной.

— Ну и катись, хуесос. — Шкет зашагал прочь. — До скорого. — (Он ни капельки не рассердился.) Это неплохо. Однако на полпути к повороту он вспомнил, что без Денни нового дома Ланьи не найти. (И тут да.)

Можно заскочить в бар. Но если у нее теперь дом, каковы шансы, что она сегодня у Тедди?

Он оглянулся, хотел было заорать, чтоб Денни шел сюда сию, блядь, секунду.

Дверь закрыта.

А я *по-прежнему* не знаю, как ее зовут!

Он вдохнул сквозь зубы. Может, Ланья найдется в баре.

На углу, на холме: удивительно, сколько фонарей — где-то каждый пятый — горят в этом районе. Света того, что горел на другой стороне наискосок, хватало разглядеть обугленные стены большого дома. (Запах гари стал острее, и Шкет остановился.) Колонны сгорели напрочь, и балкон с львиными перилами висел криво. И все равно Шкет смотрел добрую минуту, пока не уверился, что знает этот дом. Лишь окрестные дома подтвердили его гипотезу.

Четыре, пять, шесть часов назад они визжали, и смеялись, и вопили внутри?

В нейтральном воздухе весь похолодев до мурашек, он поспешил прочь.

4

— ...точно видели?

— О да.

— Вы тогда уже приехали?

— Именно так.

— Вы же говорили, что не видели всего.

— Я застал последние минут, наверно, десять-пятнадцать. Пришел Роджер и разбудил меня, чтоб я посмотрел.

— Так вы *из дома* смотрели?

— Ну, сначала из окна. Потом мы вышли в сады. И должен сказать, было довольно странно.

Остальные засмеялись.

— Эй, — сказал Пол Фенстер, привстав и оглядывая тех, кто сидел. — Мы тут капитана совсем в угол зажали. Раздвиньтесь слегка, а?

— Да ничего. Если б я хотел выйти, я бы напролом.

— Я так понимаю, — мадам Браун нагнулась, потрепала Мюриэл по морде, — у вас объяснений не больше, чем у нас.

— Честно скажу: я, по-моему, ничего страннее никогда не видел.

— В космосе так же странно? — подал голос

мужчина в лиловой ангоре.

— Признаться, нынче день был довольно… скажем так, космический.

Опять засмеялись.

Сидевший подле Тэка грузный белокурый мексиканец в одеяльной рубахе поднялся, направился к двери и вышел, разминувшись со Шкетом на фут. Тэк заметил Шкета. Поманил наклоном головы.

Заинтересовавшись, Шкет подошел и сел на освободившееся место.

Тэк подался к нему и шепнул:

— Капитан Кэмп…

Человек десять, подтащив стулья, сидели и слушали коротко стриженного человека в зеленой рубашке с коротким рукавом, устроившегося в угловой кабинке.

Тэк сложил руки на животе, и на блондинистой груди вздулась кожаная куртка.

— Мне вот что любопытно… — объявил Лиловая Ангора. — Сидеть, собака, сидеть. — (Это Мюриэл на миг изменила хозяйке). — Мне любопытно вот что: может, это фокус? В смысле, не может так быть, что это иллюзия и ее кто-то подстроил? То есть… как бы это… вдруг она рукотворная?

— Ну… — Капитан оглядел слушателей. — Он

же у вас инженер? — Его взгляд остановился на Тэке — а тот с пронзительным хохотком запрокинул голову.

Я прежде не видел, чтоб он так смущался, подумал Шкет. И таких звуков он от Тэка прежде не слышал.

— Нет, — сказал Тэк. — Нет, боюсь, вся известная мне инженерия тут ни при чем.

— А мне любопытно… мне любопытно вот что, — сказал Фенстер. — Вы были в космосе. Вы были на Луне… — Он помолчал, затем прибавил другим тоном: — Вы один из тех, кто взаправду был на Луне.

Капитан Кэмп лишь внимательно слушал.

— У нас тут было некое… астрологическое явление, и оно всех немало потрясло. Я хотел спросить: вы… ну, вы же были на Луне — вы, наверно, понимаете больше нашего.

По лицу Кэмпа скользнул призрак улыбки. Шкет поискал в памяти имена астронавтов из первых четырех экспедиций на Луну, за которыми пристально следил, постарался припомнить, что мог, о пятой. Капитан Кэмп скрестил руки на столе. Ростом капитан не выдался.

— Безусловно, не исключено, — юго-западную речь Кэмп размечал легкими кивками, — что

имеется астрономическое, а точнее, космологическое объяснение. Но скажу вам правду: мне оно неизвестно.

— Вы как считаете, нам стоит тревожиться? — спросила мадам Браун, ничуть не тревожась.

Кэмп, в чьей стрижке седина мешалась с золотом, снова кивнул:

— Тревожиться? Мы же сидим здесь. Мы живы. Это, конечно, не причина *не* тревожиться. Но тревога едва ли поможет, правда? Вчера — сутки назад — я был в Далласе. Будь эта штука и впрямь такая огромная, будь это в самом деле небесное тело, комета или солнце, я подозреваю, его бы давным-давно разглядели в телескопы. А *мне* никто ни словом не обмолвился.

— Вы, капитан, похоже, не считаете, что дело серьезно.

Улыбка Кэмпа говорила ровно об этом. А сам Кэмп сказал:

— Я же видел — во всяком случае, отчасти.

— Тогда, — сказал Шкет, и остальные обернулись, — вы не знаете, какое оно было громадное.

— Боюсь, в этом, — ответил капитан, — и загвоздка. — Подбородок у него был шире лба. — Вы все, и Роджер тоже, говорите, что оно заслонило практически полнеба. Очевидно, что я застал

лишь крохотный фрагмент. И была еще эта история про… Джорджа, если не ошибаюсь?

Тэк оглядел зал, нахмурился и шепнул Шкету:

— Джордж был только что. Видимо, свалил как раз перед твоим приходом…

— Боюсь, этого тоже никто не видел за пределами… Беллоны. И Роджер говорит, что не видел.

— А вот я видел, — прошептал Тэк.

— А вот я видел! — вскричал кто-то.

— Что ж, — улыбнулся Кэмп. — Видели немногие, а уж *за пределами* Беллоны — никто.

— Вы же видели, что сегодня было. — Тедди, скрестив руки, подпирал стенку соседней кабинки.

— Ну да, видел.

— То есть вы хотите сказать, — бодро возвестил Фенстер, — что слетали на Луну и обратно, но по дороге вам не попалось ничего такого, что хоть как-то объяснило бы сегодняшнюю историю?

Кэмп ответил:

— Не-а.

— И что проку тогда, я вас спрашиваю? — Фенстер заозирался, ища, кого бы хлопнуть по спине. — Что тогда проку?

Кто-то сказал:

— А вы ведь уже не работаете в космической

программе?..

— Ее так просто не бросишь. На той неделе я проходил медосмотр — проверяли, нет ли долгосрочных изменений. Это теперь *навсегда*. Но я участвую не так активно, как другие.

— Почему вы ушли? — спросил Лиловая Ангора. — Вы так решили или они… если вы можете ответить?

— Ну-у. — Это была обдуманная фраза сама по себе. — Я подозреваю, в то время для них эта тема была щекотливее, чем для меня. Но вряд ли они так уж хотели со мной работать, если я сам не хотел. Мой интерес к космической программе остыл примерно на приводнении. Последующие эксперименты, исследования — это было важно. Парады, праздники, конференции, публичность перестали развлекать где-то через месяц после выхода из барокамеры. Все остальное — и меня, наверно, острее, чем прочих, такой уж я человек — просто раздражало. А вдобавок, — тут он улыбнулся, — я был славен тем, что на вечеринках порой брал гитару и исполнял фолк. Песню-другую, без политики, ничего такого. Но они все равно не одобряли.

Все рассмеялись. Шкет подумал: он что, серьезно?

И другая мысль, заиканием: моя реакция на его действие запрограммирована, как его действие. И Шкет рассмеялся, хотя и позже остальных. Двое-трое на него покосились.

— Нет, — продолжал Кэмп, — я себя считал эдаким авантюристом… насколько может быть авантюристом летчик-испытатель. «Аполлон» был приключением — почти восьмилетним, если считать подготовку. Но когда все закончилось, мне захотелось нового.

— И вы приехали в Беллону? — спросила мадам Браун, а Фенстер сказал:

— Когда на Луне уже побывал, что еще остается?

— Совершенно верно…

Это Кэмп на какой вопрос отвечает? — подумал Шкет.

— …но это я только начинаю понимать.

— А вы здесь как официальное лицо? — спросила какая-то женщина.

— Надо полагать, — прибавил Фенстер, — официально вас не исключали.

— Нет. Здесь я неофициально.

— Это что значит? — парировал кто-то.

Фенстер помрачнел, обидевшись за Кэмпа, а тот ответил лишь:

— Они знают, что я здесь. Но предварительного инструктажа не было. А когда вернусь, меня не спросят, что я тут делал или видел.

— Давайте-ка распустим эту Звездную палату[35]. — Фенстер поднялся. — Хватит, капитан оказал нам любезность, поговорил со всеми разом, но дадим человеку возможность пообщаться по-людски.

— Это очень неформально, — возразил Кэмп, — в сравнении с тем, к чему я привык. Впрочем, я не откажусь просто побродить.

— Расходимся, расходимся, — и Фенстер замахал руками, шугая слушателей.

Кое-кто встал.

Бармен закатал манжеты поверх расплывчатых синих зверей и откочевал к стойке.

Тэк заскрежетал стулом:

— Всё, довольно, дайте капитану спокойно выпить. Мадам Браун, вам, похоже, тоже не помешает.

Шкет свесил руки и потряс, чтоб перестало покалывать.

---

[35] Примечания: 35

Звездная палата — чрезвычайный суд при короле Англии, задуманный для рассмотрения дел влиятельных дворян, которых могли и не осудить обычные суды, но довольно скоро ставший закрытым репрессивным органом, где законы применялись весьма волюнтаристски; был создан в конце XIV в. и распущен в ходе Английской революции около 1641 г.

Тэк встал, приподнялся на цыпочках, повертел головой:

— Куда Джордж-то делся? Он страшно увлекся, как узнал, что у нас тут настоящий лунный человек.

Вдвоем они отошли к бару.

Тедди расставлял стулья по местам.

Едва десяток слушателей убрели от кабинки капитана, бар словно опустел.

— Я думал, может, Ланью застану.

Тэк сцепил руки:

— Я ее не видел. Мадам Б., наверно, знает, где она. — И расцепил. — Эй, читал в «Вестях» рекламу — на всю третью полосу растянули. Поздравляю. — Тэк сдвинул брови. — Кстати, а ты-то чем занимался, когда явился великий белый свет? Точнее, оранжевый. Есть соображения? Надо же чем-то время занять, пока ждем, наступит ли завтра.

Шкет оперся грудью на сплетенные пальцы:

— Не знаю. Я особо ничего не делал. Со мной всякие люди были. Они, по-моему, испугались сильнее. Знаешь, я сначала подумал… — (Бармен выставил бутылку пива.) — Нет, это идиотизм. — Шкет подтащил бутылку к себе, оставив полосу влаги на стойке. — Да? — В ней мерцали свечи.

— Что?

— Я хотел сказать: я сначала подумал, что мне это грезится.

— Если б я сейчас проснулся, мне бы сильно полегчало.

— Нет. Я не о том. — Шкет раз, и другой, и третий, и четвертый, и пятый оторвал бутылку от влажных колец внахлест. — Когда оно вставало, я сходил посмотреть; и подумал, что, может, сплю. И вдруг проснулся. В постели. Но когда встал, оно никуда не делось. И потом, когда зашло, я опять лег. И до сих пор, — он улыбался сам себе, пока улыбка не пересилила судорогу и по-дурацки не выскочила на лицо, — я не знаю, что мне пригрезилось, а что нет. Может, я видел не больше капитана.

— Ты уснул?

— Я устал. — Собственный ответ Шкета рассердил. — А ты что делал?

— Господи, я… — (Бармен принес Тэку бутылку.) — Что делал *я*? — Тэк фыркнул. — Я увидел свет из-за бамбуковых жалюзи — помнишь, у меня висят? — и вышел на крышу глянуть. Минуты три смотрел, как оно встает. А потом психанул.

— И что сделал?

— Спустился по лестнице и просидел там в

темноте с час… наверно. У меня паранойя насчет радиации… не, ты не смейся. Может, мы в ближайшие шесть часов начнем лысеть, все капилляры полопаются. В конце концов мне стало страшно сидеть в темноте, и я пошел еще посмотреть… — Он перестал рисовать бутылкой мокрый круг. — Хорошо у меня хоть сердце здоровое. Эта штука полгоризонта сожрала — смотрю на один край, другого не вижу. Смотрю туда, где крыши его отрезают, — и не вижу верха. — Его бутылка зарокотала по стойке. — Я ушел обратно на лестницу, закрыл дверь и заплакал. Плакал часа два. Не мог успокоиться. Пока плакал, много о чем успел поразмыслить. В том числе, кстати, о тебе.

— Что?

— Помню, сидел и думал, не таково ли безумие изнутри… а, ну вот, ты обиделся.

Шкет не обиделся. Но теперь подумал, что, может, стоило бы.

— В общем, извини. Такая у меня была, короче, мысль.

— Ты правда так испугался?

— А *ты* — нет?

— Вокруг многие испугались. И я тоже примерял, что это за ужас может быть. Но если это был один из них, я ничего поделать не мог.

— Ты и правда почти такой чудик, каким тебя все изображают. Слушай, когда балансируешь на краю, когда выясняется, что земля и впрямь кругла, когда узнаёшь, что все-таки убил своего отца и женился на матери, или когда смотришь на горизонт, а там восстает такая фиговина… ну, это, — хоть *как-то* по-человечески откликнуться ты должен? Засмеяться, заплакать, запеть, я не знаю! Нельзя просто лечь вздремнуть.

Шкет потоптался в руинах своей паники:

— Я… смеялся много.

Тэк опять фыркнул:

— Ладно, значит, ты все-таки *не* малахольный, чему я бы отнюдь не обрадовался, а просто храбрый, как все твердят.

— Я? — Не может быть, подумал Шкет, что храбрость изнутри такова.

— Извините, — сказал юго-западный голос ему в другое ухо. — Мне указали на вас и представили… Шкетом?

Шкет со своей паникой обернулся:

— Ага?..

Кэмп поглядел на нее и рассмеялся. Шкет решил, что Кэмп ему нравится. Тот сказал:

— Мне поручили передать вам кое-что от Роджера.

— Чего?

— Он сказал, что я, если сюда приду, вероятно, встречу вас. Он бы хотел, если вы не против, позвать вас в гости через два воскресенья на третье. Он говорит, что утрамбует время поплотнее, так что осталось чуть меньше двух недель, — как вы это терпите, я прямо даже и не знаю… — Капитан опять засмеялся. — Роджер хочет устроить праздник в вашу честь. По случаю выхода книги. — Он прервался на уважительный кивок. — Видел ее. Красивая. Удачи вам.

Шкет поразмыслил, что бы такого сказать. Измыслил так:

— Спасибо.

— Роджер сказал: приходите вечером. И приводите двадцать или тридцать друзей, если угодно. Он говорит, это ваш праздник. Начнется на закате; в третье воскресенье.

— Сволочь самонадеянная, — сказал Тэк. — На закате? Мог бы и обождать — проверить, наступит ли завтра утро. — Одним пальцем он надвинул козырек на лоб и отошел.

Шкет соображал, какие бы заявления вставить в паузу, и тут Кэмп, видимо, решил попробовать сам:

— Боюсь, я мало смыслю в поэзии.

Мне, понимал Шкет, Кэмп нравится. Но будь я проклят, если знаю почему.

— Я, правда, кое-что прочел у Роджера. Но если стану расспрашивать, выставлюсь, наверно, только хуже.

– *Мммм*, — кивнул Шкет и задумался. — Устаете, когда люди задают вопросы?

— Да. Но сегодня, в общем-то, обошлось. Мы хотя бы говорили о реальных вещах. О том, что прямо сегодня и происходило. Лучше так, чем эти дискуссии, когда говорят: вот вы астронавт — а вы верите в длинные волосы, аборты, расовые взаимоотношения или оральные контрацептивы?

— Вы очень публичный человек, да? Вы говорите, что больше не сотрудничаете с космической программой. Но вы же ее тут рекламируете.

— Совершенно верно. И не утверждаю, будто занят другим. Ну, разве что развлекаюсь. Они уже примиряются с тем, что на публике их представляет нонконформист. — Кэмп огляделся. — Хотя рядом с большинством из вас, даже с кое-какими субъектами у Роджера, я — плюс-минус лицо истеблишмента, невзирая ни на какой фолк, да? То есть выходит, что я — крупнейший нонконформист Беллоны. Я не против.

— Вас спрашивают, ушли вы или вас выгнали.

А что вы делаете, когда вам задают одни и те же вопросы, раз за разом? Особенно неловкие?

— Публичная персона, выслушав один вопрос больше трех раз, придумывает, как честнее всего ответить публично. *Особенно* если вопрос неловкий.

— А *этот* вопрос вам часто задают?

— Ну-у, — Кэмп поразмыслил, — больше трех раз.

— Тогда, наверно, можно вас и про Луну расспросить, — ухмыльнулся Шкет.

Кэмп кивнул:

— Вполне безопасная тема.

— Можете рассказать про Луну такое, чего раньше никому не рассказывали?

Секундная пауза, и Кэмп рассмеялся:

— Вот *это* — что-то новенькое. Не уверен, что вас понял.

— Вы были на Луне. Я хочу знать про Луну такое, что знает лишь тот, кто там взаправду побывал. Не сенсации. Просто *что-нибудь*.

— Весь полет транслировали в прямом эфире. И мы довольно подробно отчитались. Постарались сфотографировать примерно все. Вдобавок это было несколько лет назад; и мы провели снаружи часов шесть с половиной.

— Да, я знаю. Я смотрел.

— Тогда я все равно не понимаю.

— Ну, я могу притащить пару телекамер, допустим, *сюда*, снять много-много кадров, телеочерки про всех людей, рассказать, сколько их тут, все такое. Но потом, если меня попросят рассказать о том, чего не было в репортаже, я закрою глаза и как бы мысленно себе нарисую, что тут есть. И скажу, например: вот за барной стойкой, где бутылки, вторая бутылка слева… не помню, что на этикетке, но жидкость была самую чуточку ниже верхушки стеклянного конуса на дне. — Шкет открыл глаза. — Я понятно?

Кэмп кулаком потер подбородок:

— Я не привык так рассуждать. Но интересно.

— А вы попробуйте. Скажите про какую-нибудь скалу, или кучу камней, или форму горизонта — про что вы никому больше не говорили.

— Мы снимали горизонт на все триста шестьдесят градусов…

— Тогда что-нибудь другое.

— Такие штуки проще про модуль рассказать. Помню… — И он склонил голову набок.

— Тоже, в общем, пойдет, — сказал Шкет. — Но мне бы лучше про Луну.

— О, я знаю. — Кэмп подался к нему ближе. —

Когда я спустился по трапу — помните, там такие алюминиевые опорные ноги, на которых модули стояли? Вы сказали, что смотрели, да?

Шкет кивнул.

— В общем, я доставал оборудование из дополнительных отсеков — на поверхности пробыл с минуту, а может, и минуты не прошло; когда еще не было фотографий с зондов, многие считали, что Луна покрыта пылью. Но там такая буро-лиловая грязь, и скалы, и гравий. Нога совсем не утопает.

Шкет подумал: трансляция.

Шкет подумал: трансценденция.

— Опорные ноги у модуля на таких, знаете, карданных шарнирах. Короче. Та, что слева от люка, встала кривовато, на камешек какой-то, дюйма в два. Тени были довольно резкие. Я шел мимо, и моя тень, видимо, легла на эту ногу. И под ней тоже тень, потому что нога стоит на камне, и еще моя тень, и на миг мне померещилось, будто там шевельнулось что-то. Понимаете, да? Я волновался — я же на Луне. И это было совсем не похоже на тренировки. Но я помню, как секунды три, делая, что надо было делать, я думал: «Там под опорной ногой лунная мышь или лунный жук». И чувствовал себя дурак дураком — я же не

мог ничего сказать, я трансляцию вел, описывал, что вижу, — потому что *не может быть* на Луне ничего живого, правильно? Говорю же, секунды две всего соображал, что там такое. Но это были довольно странные две секунды. Вот. Никому не рассказывал… нет, погодите, я, кажется, обмолвился Нилу[36], когда вернулся. Но он, по-моему, не слушал. И я это излагал как анекдот.

Формация. Шкет подумал: трансформация.

— Вы об этом?

Шкет ждал, что под конец истории Кэмп заулыбается. Но все его черты замерли у самых границ серьезности.

— Да. О чем вы сейчас думаете?

— Хочу понять, почему рассказал вам. Но видимо, такова Беллона — сюда едешь, чтобы делать новое, да? Увидеть новое. Заняться новым.

— А что о Беллоне говорят снаружи? Те, кто возвращается отсюда, повествуют о жизни в туманной пелене? С кем вы говорили — кто подбил вас приехать?

— Я, по-моему, не встречал тех, кто приезжал и вернулся, кроме Эрнста Новика. А с ним мы

---

[36] Примечания: 36

Имеется в виду Нил Армстронг (1930–2012), американский астронавт, который 20 июля 1969 года первым ступил на Луну в ходе экспедиции «Аполлон-11».

поздоровались мимоходом, и все — поговорить не удалось. Я встречал тех, кого отсюда эвакуировали в самом начале. Я так понимаю, едва телевидение бросило попытки освещать, люди бросили обсуждать — сейчас о Беллоне *не* говорят.

Шкет уронил голову.

— Упоминают ее… — продолжал Кэмп. — Ну вот сидишь, скажем, у кого-нибудь в гостиной, в Лос-Анджелесе или в Солт-Лейке, болтаешь о том, о сем и об этом, и кто-то роняет имя — мол, знал когда-то одного человека из Беллоны. Один мой друг, физик, приехал из Университета Монтаны и рассказал, что подбросил двух девушек — они говорили, что едут сюда. Он еще очень удивился, потому что, судя по последним репортажам в газетах, тут должна была стоять кордоном Национальная гвардия.

— Это я тоже слыхал, — сказал Шкет. — Но за некоторое время до того, как пришел. Никакой гвардии не видел.

— Давно вы здесь?

— Не знаю. По ощущениям — уже довольнотаки. Но наверняка не скажу. — Шкет пожал плечами. — Иногда хотелось бы знать… больше.

Кэмп старался не хмуриться.

— Роджер говорил, что вы интересный человек. И он не ошибся.

— Мы с ним незнакомы.

— Он сказал.

— Вы, наверно, тоже не знаете, надолго ли задержитесь?

— Да я пока и не решил. Ехал-то я не то чтобы в отпуск. Но я здесь уже несколько дней и должен сказать, особенно после сегодняшнего, — я не вполне понимаю, что тут творится.

— Вы тоже интересный, — после паузы сказал Шкет. — Но я не знаю — это потому, что вы были на Луне, или вы интересный сам по себе. Вы мне нравитесь.

Кэмп засмеялся и взял бутылку.

— Ладно, раз уж мы так разоткровенничались. С какой бы радости мне вам нравиться?

— Потому что, хоть вы и публичная персона (а публичные персоны — это прекрасно, если ты вдруг публика), частное «вы» в вас тоже проглядывает. По-моему, вы очень гордитесь тем, что сделали, и вы скромны и говорить об этом хотите только всерьез — пусть даже шутливо всерьез. И чтобы уберечь эту скромность, вам, я думаю, приходилось делать то, что приносило не очень-то много счастья.

Кэмп неторопливо произнес:

— Да. Но, сказав мне это, вы добьетесь чего?

— Вы мне нравитесь, поэтому я хочу, чтобы вы мне чуточку доверяли. Если показать, что я вас отчасти понимаю, может, вы будете мне доверять.

— А, ха! — Кэмп отшатнулся, неубедительно изображая некую театральность. — Чисто умозрительно: допустим, отчасти вы понимаете — откуда мне знать, что вы не используете это против меня?

Шкет опустил взгляд на оптические бусины на запястье, повертел рукой: две вены сливались на ладони под большим пальцем и убегали под цепочку.

— Меня уже третий раз об этом спрашивают. Пора, наверно, придумать публичный ответ.

Тэк болтал с кем-то у двери. Порог бара перешагнул Джек — небритый и несколько встрепанный. Тэк обернулся к молодому дезертиру, а тот огляделся, поглядел на капитана Кэмпа. Тэк кивнул — что-то подтвердил. Джек что-то схватил — не исключено, что прислоненное к стене ружье, — и выскочил из бара почти бегом.

— Я, по-моему, уже придумал ответ, — сказал Шкет.

Капитан Кэмп сказал:

– …*ммммм*, — а затем: — Я тоже.

Шкет улыбнулся:

— Это хорошо.

— Понимаете, — Кэмп вперил взгляд в барную стойку, — *есть* вещи, которые не приносят мне счастья. Но ровно о них мужчина едва ли расскажет… ну, вам всем, которые с косматыми шевелюрами, в странных шмотках и бусах. Или в цепях… — Он поднял голову. — Я недоволен своей жизнью и своей работой. Это очень неуловимое недовольство, и я не хочу советов «дунь» или «отрасти хайр». То есть это последнее, что я хочу слышать.

— Вам бы дунуть и отрастить хайр, а? Видите? Не так страшно. А теперь, когда худшее позади, может, вам об этом поговорить? А я просто послушаю.

Кэмп рассмеялся:

— Я недоволен своей жизнью на Земле. Как вам такое? Непонятно, наверно. Вот смотрите… я не тот, кем был до полета на Луну, — может, вы как раз об этом и спрашивали. Вероятно, такие вещи рассказываешь кому-то одному. Но я рассказывал паре десятков: *вы* знаете, что Земля круглая, а Луна — крохотный мир, который вращается

вокруг нее. Но живете вы в мире, где есть верх и низ, где Земля — поверхность. А у меня — зримое движение от плоской поверхности на высоту, где край Земли изгибается дугой, а потом дуга замыкается в круг, а мыльное пятнышко, что висит перед вами в небесах, разбухает и становится не меньше Земли, — и ты движешься вниз. И вдруг поверхностью становится вот это пятнышко, а верх и низ уже несколько иные. Ступив на Луну, мы танцевали. А что еще делать, когда такая легкость? Понимаете, смотреть кино задом наперед — не то же самое, что с конца к началу. Это новый опыт, он все равно движется вперед во времени. И результат не похож ни на что. Возвращение с Луны — не то же самое, что задом наперед полет на Луну. Мы прилетели туда, где не ступала ничья нога; мы улетели оттуда, где танцевали *мы*. Землю, которую мы покинули, населяла раса, никогда не отправлявшая посланцев на другое космическое тело. Мы вернулись к людям, которые это уже сделали. Мы совершили нечто важное — я искренне так считаю, несмотря на голодающих в Индии; и если угроза всемирного голода реальна, отвратить ее удастся лишь технологическими средствами; я не знаю лучшего способа показать людям, чего мы технически

можем добиться. Шесть с половиной часов я провел в точке фокусировки. Этим я счастлив. Но я не слишком доволен жизнью до и после. Кое-где фокус сбит — как в Беллоне, которую я видел по дороге в первый день: народу немного, но явных признаков крупных разрушений нет — во всяком случае, я не заметил. Все серое, кое-где побиты окна, тут и там следы огня. Но, честно сказать, я не понимаю, в чем у вас тут беда. Я так и не разобрался, что произошло.

— Я бы хотел слетать на Луну.

— Постригитесь и бросьте дуть. — Кэмп языком оттянул верхнюю губу. — Даже в армию не надо. У нас в программе есть и гражданские. Ничего хуже я сказать не мог, а? Но вот правда, это основное требование. Остальное уже потом. Правда.

Он думает, подумал Шкет, что меня обидел. И постарался сдержать улыбку.

— Вы хмуритесь, — отметил Кэмп. — Полноте. Как вы нам, так и мы вам… ну хорошо. Вот скажите мне. Вы все так уж счастливы? Только не врите.

По залу медленно и бесцельно бродил Тэк.

— По-моему, — и Шкет почувствовал, как чувства подстроились под хмурую гримасу, — с этим вопросом что-то не так. Я подолгу бываю счаст-

лив; я подолгу бываю несчастен; я подолгу просто скучаю. Может, если очень сильно постараться, кое-какого счастья удастся избежать, но я что-то сомневаюсь. От остальных двух мне точно не отвертеться…

Кэмп оживленно созерцал то, что происходило в каком-то градусе обок от Шкетова лица. Ну, рассудил Шкет, я же обещал послушать. Промолчал пять секунд, после чего Кэмп сказал:

— Я уже не тот, кем улетал на Луну. Несколько человек объясняли мне, что и оставшиеся на Земле уже не те. Один объяснил, что я начал залечивать великую рану, которую нанес человеческой душе Галилей, ненароком обмолвившись, что Земля — не центр Вселенной. Нет, не скажу, что сейчас я доволен. Меня ставит в тупик сегодняшний свет в небесах. Меня ставят в тупик истории о двух лунах — я-то ведь по личному опыту знаю одну. Но я первым вижу ее под совсем другим углом. Мы можем сидеть и дискутировать на конференциях и семинарах, пока не взойдет гораздо более утешительное солнце, и я все равно сомневаюсь, что смогу сказать вам нечто осмысленное, а вы сможете сказать нечто осмысленное мне. По крайней мере, на эту тему.

— Эй, салют. — Тэк положил руку на плечо

Шкету — но обращался к Кэмпу: — Тут мой друг Джек заходил. В городе, видите ли, немало армейских дезертиров. Я ему сказал, что нас навестил настоящий капитан. Он спросил, не дезертир ли вы. Я сказал, что, насколько мне известно, вы по-прежнему солдат с хорошей репутацией. Увы, он развернулся и бежал, не узнав даже, что вы из ВМФ. Уже уходите, капитан?

Кэмп кивнул, отсалютовал бутылкой:

— Рад, что удалось с вами познакомиться, Шкет. Увидимся у Роджера, если раньше не придется. — Он кивнул Тэку и отвернулся.

— Надеюсь, его от меня корежит ровно так, как он притворяется. — Тэк цыкнул. — Жалко, что он не в мундире. Я, прежде чем перешел к более изысканным наслаждениям, питал великую страсть к морским гадам.

— Ты себе льстишь.

Тэк мелко покивал:

— Не исключено, весьма не исключено. Эй, извини, что я тебя прошлой ночью выпер. Давай ко мне. Выеби меня.

— Не. Я ищу Ланью.

Тэк бледными ручищами обхватил свое пиво и заглянул в горлышко.

— А. — Затем сказал: — Тогда давай не ко мне.

Хочу тебе кое-что показать. И ты, небось, захочешь посмотреть.

— Что показать?

— Хотя, может, ты уже видел и тебе неинтересно.

— Но ты не скажешь, что это?

— Не-а.

— Пошли, — сказал Шкет. — Покажешь.

Тэк хлопнул его по плечу и оттолкнулся от стойки:

— Двинули.

Брезентом, полным дождя, меж домов с небес выпячивалась чернота.

— В такие ночи я бы все отдал за звезду. В молодости учил созвездия, но так и не освоил. Могу отыскать Большую Медведицу. — Тэк расстегнул молнию. — А ты?

— Я их неплохо знаю. Но я учил несколько лет назад, когда путешествовал, на судах и все такое. Если много мотаешься, только они и не меняются. Купил в Японии справочник за пятьдесят центов — американский, правда. Недели через две уже находил что угодно.

– *Мммммм*. — Они дошли до фонаря на углу, и Тэк глянул в небо. — Хорошо тогда, что их не видно. Вот ты готов целую новую карту учить? —

Тень шторкой наползла ему на лицо. — Сюда.

Улица шла под уклон. На следующем углу они опять свернули. Спустя полквартала Шкет спросил:

— Ты хоть что-нибудь видишь?

— Нет.

— Но ты знаешь, куда мы идем?..

— Да.

Снова прорезался запах гари. Похолодало — и сильно похолодало; босая нога нащупала трещину в мостовой. Сапог наподдал по чему-то угловатому. В воздух сеялись древесные ароматы. В какой-то миг они прошли сквозь запах, который напомнил… грянул всей мощью галлюцинации: пещера в горах, что-то потрескивает в широком медном блюде на влажном камне, а над головой мерцает…

Оплетавшая его цепь зазвенела и защекотала, словно воспоминание пробило ее током. Но запах (влажная листва поверх сухой, и костер, и что-то подгнившее…) рассеялся. И тьма была холодна, и все же суха, суха…

В дыму рассеивался свет из далекой дали, отсеченный вертикальной стеной.

На углу Тэк обернулся:

— Ты не потерялся там? А то больно ты тихий.

Нам на ту сторону. — Тэк кивнул, и они, толкаясь плечами, перешли дорогу.

Янтарный свет за витринным стеклом обрисовывал черные проволочные силуэты.

— Это что за магаз? — спросил Шкет. Тэк открыл дверь.

Судя по гулу, в подвале работал мотор. Вдоль стен пустые полки; проволочные силуэты оказались стендами. Свет испускала лампочка где-то на лестнице — явно одинокая. Тэк подошел к кассе:

— Представляешь, когда я пришел в первый раз, тут в ящике так и лежали восемьдесят долларов.

Он звякнул кассой.

Ящик выкатился.

— Так и лежат.

Тэк задвинул ящик.

В подвале гул замолк, потом возобновился; но теперь напоминало не мотор, а чей-то стон.

— Нам вниз, — сказал Тэк.

На лестнице кто-то раскидал листовки. Под босой ногой они шуршали.

— Что тут было? — снова спросил Шкет. — Книжный?

— И до сих пор книжный. — Тэк выглянул в зал, где одинокая потолочная лампочка освещала

пустые стеллажи. — Мягкие обложки здесь.

К краю полки прикноплена рукописная табличка: «ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА».

На полу, скрестив ноги, сидел очень длинноволосый юнец. Глянул, закрыл глаза и пропел:

– *Оммммммммм…* — растягивая последний звук, пока тот не превратился в механический гул, который и расслышал Шкет в дверях.

— Сегодня тут занято, — вполголоса пояснил Тэк. — Обычно никого.

По груди пацана между клетчатыми фланелевыми полами тек пот. Скулы над бородой блестели. На вошедших он толком и не посмотрел.

Похолодало, подумал Шкет. И сильно.

За «ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» располагалась «ПОЛИТОЛОГИЯ». Книг там тоже не было.

Шкет обогнул торчащую коленку пацана, заглянул в «ФИЛОСОФИЮ НАУКИ» (равно пустую) и перешел к «ФИЛОСОФИИ». Похоже, все стеллажи пустовали.

– *Ммммммммммммммммм…*

Тэк тронул Шкета за плечо:

— Я вон что хотел показать. — И кивнул в дальний угол.

Следом за ним Шкет обошел «АМЕРИКАНСКУЮ

ЛИТЕРАТУРУ» — пыльную деревянную стойку посреди зала.

Прозрачная лампочка понатыкала вокруг них теней.

— Я сюда раньше за фантастикой приходил, — сказал Тэк, — а потом здесь ничего не стало. Вон там. Шагай.

Шкет ступил в нишу и ударился носком обутой ноги (а в мыслях: повезло), отпрыгнул, задрал голову: обложки цвета слоновой кости — как плитка в ванной, положенная внахлест.

На всех полках, кроме верхней, книги повернуты обложками. Шкет присмотрелся к коробке, которую пнул. Крышка закачалась. Он заглянул внутрь, и картинка сфокусировалась: тень, заволокшая разум, когда Ланья сказала кое-что в гнезде, тень, которую мегасвет этого дня размазал почти до неразличимости, сейчас, под одинокой прозрачной лампочкой, легла четко и неопровержимо: как рукописи за ночь не становятся гранками, так и гранки за ночь не становятся книжками в книжных. С тех пор как Шкет при Новике правил гранки в церковном подвале, миновало гораздо больше двадцати четырех часов.

Хмурясь, он нагнулся за книжкой, замер, потянулся за той, что на полке, снова замер, обернулся

к Тэку, что стоял, сунув кулаки в карманы куртки.

Губы Шкета зашелестели чем-то вопросительным. Он снова посмотрел на книги, снова протянул руку. Большой палец наткнулся на глянцевый картон.

Шкет взял книжку.

Три упали; одна скользнула ему на ногу.

Тэк сказал:

— Очень мило, я считаю, что ее выставили в «ПОЭЗИИ», — (как гласила табличка наверху). — Могли ведь забить все стеллажи. Там в глубине еще коробок десять.

Большой палец на передней обложке, три пальца на задней; Шкет взвесил книгу в руке — рукой пришлось покачать. Ощущение пробела, который проще всего заполнить словами

МЕДНЫЕ

ОРХИДЕИ,

отпечатанными очень четко, с контурами и засечками, каких его рука не вывела бы даже по лекалу и линейке. Он перечитал заглавие.

– *Оммммммммммммммм*... — Свет вырубился и вспыхнул вновь; «...мммммммммм...» споткнулось о кашель.

Шкет оглядел шесть, семь, восемь забитых полок.

— Это очень смешно, — сказал он и пожалел, что улыбка, которой явно полагается быть на лице, не внушает внутренним чертам правильных эмоций. — Это очень… — Вдруг цапнул еще две книжки и, оттолкнув Тэка, выскочил к лестнице. — Эй, — сказал он пацану. — Ты тут как вообще?

К нему запрокинулось вспотевшее лицо:

— А?

— Что с тобой такое?

— Ой, слышь! — Мальчик вяло засмеялся. — Я совсем больной. Больной вообще пиздец.

— Что с тобой?

— Кишки. У меня дуоденит. Это как язва. То есть я почти уверен, что дуоденит. Раньше бывало, я знаю симптомы.

— И что ты тут делаешь тогда?

Пацан снова засмеялся:

— Йогу. Боль снимаю. Эти штуки можно йогой контролировать, ты в курсе?

Тэк тоже подошел:

— Помогает?

— Иногда. — Мальчик перевел дух. — Немножко.

Шкет побежал вверх по лестнице.

Тэк пошел за ним.

С верхней ступеньки Шкет оглянулся на стеллажи и обернулся к Тэку, а тот сказал:

— Я как раз думал, прямо всерьез думал попросить автограф. — Он протянул книжку и хрипло усмехнулся. — Прямо всерьез.

Шкет решил не приглядываться, в какие формы складывается эта мысль, но его задело слюдяным краешком: не в том дело, что не имеешь; дело в том, что не помнишь, как имел.

— Я вообще такое не люблю… — ответил он, сам трепеща пред своей ложью, и глянул Тэку в лицо, в тенях и контражуре. Поискал шевеление в этом черном овале. Но оно есть, подумал он; сказал: — Ну-ка. Дай, — и вынул ручку из петлицы жилета.

— Что будешь делать? — Тэк отдал ему книжку.

Шкет открыл ее на прилавке у кассы и написал: «Этот экземпляр моей книги — для моего друга Тэка Люфера». Похмурился и прибавил: «Всего наилучшего». Страница как будто пожелтела. И совсем не видно, что он написал, — отчего он и заметил, как тускло светит лампочка.

— На. — Он отдал книжку Тэку. — Пошли отсюда, а?

– *Оммммммммммммммммм…*

— Да уж. — Тэк глянул вниз и цыкнул. — Знаешь что? — Они направились к двери. — Ты когда ее взял, я думал, ты ее на клочки порвешь.

Шкет рассмеялся. Может, подумал он, и стоило. И, думая так, решил, что замечательно все написал.

— Знаешь, — (они вышли в ночь, и пальцы на обложке повлажнели; отпечатки?) — вот говорят про половое бессилие, да? Нестояк тут вообще ни при чем. Парень идет искать свою девушку и не в курсах даже, где она живет, и как-то не рвется выяснить… Ты сказал, мадам Браун может знать?

— Кажется, да, — ответил Тэк. — Эй, ты все талдычишь про девушку. А парень у тебя сейчас есть?

По прикидкам Шкета, они дошли до угла. Он сделал шаг, и подушечка босой стопы свесилась с бордюра.

— Похоже на то.

Они сошли на мостовую.

— А, — сказал Тэк. — Мне вот и сказали, что ты вроде спутался с каким-то пацаном у скорпионов.

— Я, наверно, возненавижу этот город…

— Но-но! — притворно возмутился Тэк. — Слухи

— посланцы богов. Мне вот интересно, что ты в моей книжке написал.

Внутри случился было какой-то облом, Шкета это развеселило, и он улыбнулся:

— Ага.

— Ну и стихи, конечно. Что ж…

Шкет услышал, как Тэковы шаги смолкли.

— …мне сюда. Я тебя точно не уговорю?..

— Не. — И прибавил: — Но спасибо. Увидимся.

Шкет зашагал дальше, раздумывая: это бред. Как тут понять, где что, — и прокрутил эту мысль раз семь или восемь, а потом, не сбавляя шага, сообразил: я ни черта не вижу, и я один. Представил себе огромные топографические карты тьмы — их сдирают, за ними тоже тьма. После сегодняшнего, праздно подумал он, солнцу незачем больше вставать. Безумие? Жить в любом состоянии, кроме ужаса! Он крепко сжимал книжки. Эти стихи — они мои? Или выяснится, что там чьи-то чужие неточные описания того, что, быть может, случалось вблизи меня, и карта стерта, и у каждого топонима — условное обозначение?

Кто-то засмеялся, потом и другие.

На ходу Шкет сначала различил только полнокровный размах, плывущие края; и лишь под горящим фонарем у дальнего угла сообразил, что

это бурлит и резвится веселье.

В трапеции света из двери разговаривали двое черных. Один отхлебывал пиво или колу из банки. Через дорогу к ним направилась третья фигура (Шкет увидел, что ее темные руки голы, жилет блестящ).

Уличный фонарь вспыхивал и гаснул, вспыхивал и гаснул. Черные буквы на желтом фоне возвещали, и возвещали, и возвещали:

ДЖЕКСОН-АВЕНЮ

Шкета охватило любопытство, и он приблизился.

— Подбегает такая… — объяснил высокий черный и опять рассмеялся. — Блондиночка, перепуганная до смерти; сначала остановилась так, будто вот-вот развернется и бегом, руку к губам прижала. А потом спрашивает… — Он опустил голову и повысил голос: — «А Джордж Харрисон здесь? Знаете, Джордж Харрисон, большой такой цветной?» — Рассказчик запрокинул голову и засмеялся снова. — Если б мне их столько перепадало, сколько Джорджу достается, — уй-ё… — Его кулак сжимал ствол ружья (прикладом на земле), и от смеха оно закачалось.

— И чего ты ей сказал? — спросил тот, что по-

грузнее, и снова отпил.

— «Ну а то, внутри сидит, — сказал я. — Куда ему деваться-то? Я только вышел, а до того видел его внутри, зуб даю. Если его там нету, я уж и не знаю, где он тогда». — Ружье наклонилось и выпрямилось. — А она убежала. Развернулась — и бегом. Вот так прямо взяла — и деру!

Третий был черный скорпион в черном виниловом жилете; на груди орхидея на цепи. Как будто, подумал Шкет, встретил друзей под вечер после того, как по телику сообщили про убийство очередного политика, самоубийство очередной суперзвезды; какой-то миг вы все — чужаки, но сообщники, выразительным вычеркиванием отмечаете некую общенациональную нейтральную катастрофу.

Вспомнив полуденный свет, Шкет сощурился во тьме. Лучше бы в руке было что-то другое — тетрадь, или цветок, или осколок стекла. Он неловко завел руку за спину и запихал книжки под ремень.

Все трое обернулись и посмотрели.

У Шкета от смущения увлажнилась кожа.

— …Взяла и убежала, — наконец повторил черный с ружьем, и лицо его расслабилось, как у музыканта по завершении каденции.

Тот, что с пивной банкой, посмотрел по сторонам, сказал:

— Скорпионы, значит. Сюда тоже заглядываете, а?

— Это Шкет, — пояснил черный скорпион. — А я Флинт.

Имя, подумал Шкет (вспомнил, как Паук помогал бинтовать Сиаму руку на зыбком полу в автобусе…): думать о них не становится проще, даже если всплывают имена. С тем же успехом они все могли бы оказаться мной. Вместе с именем всплыл и восторг собственной безымянности. Но радость эта по-прежнему уныла и предсказуема, как банально Эдипов сон, что привиделся ему ночью после того, как в больнице к нему приставили психиатра.

— Это ты, что ли, Шкет? — Мужик поставил банку донышком на ременную пряжку. — И вы, ребята, собрались сюда охранять *нас*?

— Ага, черных стреляют — ломимся на Джексон.

Где-то далеко внутри болтали и смеялись другие черные.

— А что было? — спросил Шкет.

Флинт шагнул к нему ближе. (Шкет подумал: мне спокойнее. Ему, наверно, тоже.) Другие двое

перетасовались, подстроившись под этот сдвиг.

— Тут кто-то стрелял? — спросил Флинт. — Днем, что ли?

— А то. — Ствол перепрыгнул в другую руку. — Типа снайпер. Круто, да? Днем сегодня, когда эта штука в небе висела.

— И что было?

— Кто-то залез на крышу «Второго Сити-банка» на углу и давай по людям шмалять. Вот так вот.

— Убил кого? — спросил Шкет.

Человек с банкой поджал губы до состояния чернослива.

Человек с ружьем ответил:

— Семерых где-то.

— Ёпта! — сказал Шкет.

— Кучно срезал четверых — пиу, пиу, пиу, пиу. Женщина еще была жива, но далеко уползти не могла. А потом кто-то вышел им помочь — думали, этот уже свалил. А он опять встал и снял троих. И сбежал.

— Белый был, кстати. — Человек с банкой помахал банкой. — И приперся аж сюда ниггеров стрелять.

— Женщина умерла, эй… когда? — спросил Флинт.

— Вскоре. Но она про мужика, который стрелял,

не говорила. Другие видели. Так и узнали, что он белый. — Мужик с банкой допил, отшвырнул банку. — И скорпионы, значит, — (банка звякнула и подпрыгнула), — придут на Джексон нас охранять? Чтоб белые уебаны не шмаляли по людям на улицах?

Ружье выпрямилось.

— Нам скорпионья охрана без надобности. — И пренебрежительно: — Ёпта.

— Вот и хорошо, — сказал Шкет. — Потому что мы никого не охраняем.

Все это как-то знакомо. Вроде кого-то подстрелили с крыши…

Двое неловко переглянулись.

После паузы Флинт подтвердил:

— Это не наше дело.

Человек с ружьем сдвинул ствол на плечо:

— Не, нам охраны и не надо.

— Мудаков на крыше «Второго Сити», которые по людям шмаляют, нам тоже не надо. — Человек без банки пощупал пряжку, будто соскучился по своей банке. — А то, знаете, врачей-то нету. И гробовщиков тоже.

— И куда их дели? — спросил Флинт.

— Положили вон там в доме. Дня три-четыре — и люди, проходя мимо, начнут на другую сто-

рону перебегать.

Человек с ружьем не засмеялся.

— А скорпионы-то чего тут забыли? Что, как солнце встанет, — приклад стукнул об асфальт, — вы все сюда ломанетесь?

— Джордж позвал меня в гости, — ответил Шкет. — Я с ним виделся в церкви у пастора Эми — он сказал прийти с ним повидаться.

— Ага, — поддержал Флинт. — Мы к Джорджу.

После паузы один сказал:

— А.

— Ну заходите, чего? — сказал другой. — Валяйте внутрь. Он там.

— Пошли, — сказал Шкет Флинту.

На полпути по коридору Флинт сказал:

— Как думаешь, он прежде оружие-то в руках держал? Он им так машет — того и гляди ухо себе расхерачит, или нос, или там бошку свою.

— Или мою, — сказал Шкет. — Да, я вот тоже подумал.

Три фонаря висели гроздью. Белый магний резко высвечивал конторский линолеум, больничные желтые стены. За железной дверью лифта — паутина теней на шлакоблоках.

Он знал, что как-то отреагировал, но не понял, какую выдал реакцию.

— Куда девать тела? Что-то мне не улыбается в третий раз наткнуться.

Флинт за ним наблюдал.

— Почему у тебя орхидея на шее? Вначале, в универмаге, ты ее на кожаном ремешке носил.

— Да, — сказал Флинт. — Но ты носишь на шее.

— А. Я так и подумал.

Из-за угла донеслись голоса.

— Слышь.

Флинт повернулся. По черному винилу скользнули обломки света.

— Чё?

— А вы что подумали, когда я пришел? Ну, в универмаг?

Флинт рассмеялся — точнее, хрюкнул. Похоже, смутился. Подтянул штаны на животе, почесал дважды перечеркнутое «Т» шрама аппендэктомии над ремнем. Костяшки у него были гораздо темнее прочей кожи; просветы между пальцами будто смазаны пеплом.

— Вы что подумали? Колись.

Флинт пожал плечами и покачал головой, утрясая улыбку в желтых уголках глаз.

— Мы… ну, мы знали, что ты придешь. Но не знали, что тогда. Помнишь, мы тебя разбудили утром в парке?

Шкет кивнул.

Флинт тоже кивнул, словно эта отсылка что-то объяснила, и посмотрел в конец коридора.

Шкет зашагал дальше.

На вечеринке я раздаю сто пятьдесят экземпляров своей книги, и музыку приглушают, и все сидят на полу, скрестив ноги, читают так внимательно, что можно бродить среди них, наклоняться и рассматривать, как по лицам скользят гримасы, от смеха через сочувствие к глубочайшему волнению.

От книжек под ремнем потно. Скатилась капля, пощекотала ягодицу.

Шкет и Флинт вошли в широко распахнутые двери.

А он думал, тут музыка.

— …хочет еще, нужно еще, и найти бы выход еще: Время, — кричала женщина над редкой толпой, — наш герой! — В темной сутане она раскачивалась на возвышении — или, может, на столе, коленками вровень с самой высокой, коротко остриженной, черной (с неотчетливой бурой плешью посередке) головой. — Время — наш злодей! — Пастор Эми Тейлор, в тридцати ярдах от двери, на другой стороне балконного зала, потрясла головой и кулаком, взглядом свер-

ля тянущих шеи мужчин и женщин с лицами цвета чернозема, песка и всевозможных промежуточных оттенков земли. — Где этот город? Из времени вычеркнут! Где он возведен? На грани истин и лжи. Не правды с обманом — о нет. Нет. Никакого величия. Мы валимся в бездну выдумок врассыпную, невинных оплошностей зрения, блистательных рассуждений, ошибочных и смертельных; о, в нашей вселенной истина — самая редкая птица. Да, мы и здесь оступаемся на насыпи языка, на зыбучем пепле желания.

Флинт тронул Шкета за локоть. Лицо странное — впрочем, Шкету было еще страннее. По стенам фонари. Тени многочисленны и тусклы на линолеуме цвета крови. Неподалеку гирлянда из креп-бумаги завалилась за горшки с… не с пальмами. С кактусами!

— Итак, вы узрели Луну! Итак, вы узрели Джорджа — тестикулы Бога, левую-правую, что, отягощенные бременем завтра, прорвали завесу и нагими болтались над нами? Что же нынче явилось нам в небесах? Божественная утроба, наизнанку ударом вывернутая и горящая кровью Ее, словно лишь мгновением раньше Она выбросила яйцеклетку Земли и ее полярное тело, что мы так надменно из сингулярности вычерк-

нули? Кто есть Бог — свиноматка, что сжирает Свое потомство и страдает изжогой потом? Кто есть Бог — Уроборос, аспид, что подавился Своим хвостом? Или Бог — категориально-понятийная ошибка, подобно *сознанию* Райла[37], материальный процесс, каковой вселенная реализует, допускает или себе причиняет по необходимости либо случайно, неведомо почему, и нам никогда не постичь причин? Бытие есть функция времени, да, Мартин?[38] Хорошо, и к чему мы сейчас приходим? «Сейчас», думаю я, довольно фальшиво, ибо это всего лишь дыра, дырочка, и на краю нам дозволено примоститься на миг, лицезреть этот поток грядущего, ужасный для всех нас, трагичный для кое-кого из нас, что утекает со свистом и громоздится бедняцким кладби́щем минувшего. Очень глубоким, о да; и иссохшим. И пыльным. И костями утыканным, как волчьи ямы. Что это нынче явилось нам в

[37] Примечания: 37

Гилберт Райл (1900–1976) — английский философ, критик картезианского дуализма, автор работы «Понятие сознания» (*The Concept of Mind*, 1949), где он, помимо прочего, ввел понятие «категориальной ошибки» — представления объекта как относящегося не к той категории или приписывание ему невозможных для него свойств.

[38] Примечания: 38

Тезис отсылает к трактату «Бытие и время» (*Sein und Zeit*, 1927), ключевому труду немецкого философа-идеалиста Мартина Хайдеггера (1889–1976), посвященному концепции бытия.

небесах — жгучее сердце? Или всего лишь капля того, что жгло, выдавленная из космического брюха — к великому его облегчению! Может, у нас на глазах наше солнце, кувыркаясь, умчалось подальше отсюда; а нам теперь остается лишь день за днем холодеть и стареть — хорошо бы с достоинством. Сколько длился сей свет? Ах, мои бедные, больные, обреченные и в скором будущем уничтоженные дети, спросите лучше, сколько продлится тьма, что пришла за ним!

За вычетом тех тридцати-сорока, кто сгрудился вокруг пасторского возвышения, толпа, заметил Шкет, была не очень-то тиха и не особо внимала. Люди бродили, болтали; вот где-то зародился смех и заглушил слова. Несколько человек, подальше ото всех и друг от друга, спали в вышине на темном балконе темными же пятнами среди бурых деревянных кресел. Кто-то прошел вдоль перил, осматривая прожекторы; ни один прожектор, похоже, не работал. Толстый, лысый, терракотовый и в комбинезоне с нагрудником на голое тело, этот кто-то выпрямился, локтем отер лоб и двинулся к следующему мертвому прожектору.

По стенам — высокие зарешеченные окна. Взгляд Шкета остановился на дверях, и тут по залу пробежали шестеро немолодых мужчин

и женщин: одна женщина опрокинула статую, один мужчина поймал и подпирал с натугой, пока не отвалилось гипсовое крыло. Пол засыпало гипсом. Остальные столпились — посмеяться, повыкрикивать советы.

Позади них пастор Тейлор взмахнула руками, пригнула и запрокинула голову, своей риторикой поливая пыльный пол, тенистый потолок; но сквозь болтовню и смех прорвалось лишь слово-другое.

Группка распалась вкруг солнышка белых следов: сквозь толпу двигался Джордж Харрисон.

Одна рука за шею обнимала желтоволосую пухлую розовую женщину, другая, за талию, — костлявую загорелую девицу с кирпичной афро и веснушками. (Девицу Шкет видел — в церкви, с белокурым мексиканцем, что кинулся к нему на улице сколько утр спустя, сколько утр назад?) Джордж заметил Шкета, резко вильнул и окликнул:

— Эй, собрался, значит, сюда, а? Ебёнть! — Рукава закатаны на бицепсах цвета кофе французской обжарки. — Ну ты выбрал денек. Прям посередь суперночи. Суперночь на дворе, а? — и закивал, подзадоривая людей, проходивших в десяти ярдах поодаль. — Поперву, сука, супердень, супер-

солнце на супернебо полезло. Эй?.. — Он отпустил талию костлявой. Между полами ее спортивной куртки блестела цепочная нить. — Что там у тебя? Покажи-ка. — Его черные пальцы (розовые ногти с желтыми ятаганами) цапнули оптическую цепь. — Я смотрю, кто ходит в набеги, все такое носят. Он… — Джордж кивнул на Шкета. — Кого ни возьми, у всех есть. Дай-ка мне. Тоже буду хиппи, стану бусики носить.

— Ой-й! — посетовала она. — Джордж!

— Ты мне дай эту, а сама еще добудешь, ну?

— Нет, милый. — Она вынула цепочку у него из пальцев. — Тебе это нельзя.

— Это почему еще?

— Потому что нельзя.

— Ты же знаешь, где их берут. Дай мне эту, а сама себе…

— Нельзя, милый. — Она снова плечом втиснулась ему под мышку. — Ты скажи, чего еще хочешь, и я тебе мигом дам, ладно?

— Так я хочу вот *это*!

— Ой, ну Джордж. — Она прижалась к нему теснее — и прячась от его взгляда.

— Ладно, но ты у меня смотри. Может, мне щас и не досталось, зато потом достанется точняк, — заржал Харрисон.

Костлявая улыбнулась, но поднесла хрупкую ладошку туда, где из-под кожи выпирали ребра и грудина, прикрыла цепь.

— Что тут у вас? — спросил Шкет. Книжки вдавили призму в левую ягодицу. Неудобно; он поерзал. Призма царапалась. — В смысле, что все тут *делают*? А проповедница?..

— Надо же проповеднице где-то проповедовать!

— Да, она сегодня гонит и гонит, — сказала костлявая. — Вообще без тормозов.

— У меня тут дом, — веско кивнул Джордж. — Друзей полно, ага? И тебе тоже добро пожаловать. Приходи, когда охота. Я внизу квартирую. Наверху народ кой-чего подправил. А тут у нас, типа, для общего сбора зал. Проповедница — она, кароч, рассудила, что после сегодняшнего в церковь все не влезут. Ну и мы ей сказали: валяй к нам, откроем общий зал. Повесь объяву: мол, заходи, кто хочет.

— Очень любезно, по-моему, — сказала Пухло-Розовая; за три недели погрузки дынь на границе Джорджии Шкет научился распознавать в таком акценте равнины Южной Алабамы. — Она же вечно толкует про Джорджа, всем про него рассказывает. Джордж, я считаю, молодец, что

зазвал ее рассказывать сюда.

— Как-то мне сомнительно, что эти вот люди не влезли бы в часовню, — заметила костлявая.

— У нас там бар, — блондинка ткнула пальцем, — сходите выпить, ребят. Проповедницу послушаете. Джорджу главное, чтоб все чувствовали себя как дома.

— Ебёнть, — сказал Джордж. Потом засмеялся.

Флинт тоже засмеялся; блондинка вроде осталась довольна, двумя пальцами повозила под цветастым хлопком лифа, улыбнулась.

— Надо ж проповеднице где-то проповедовать, — повторил Джордж. Кивнул, опять отпустил талию костлявой.

– *Кто* живет в этом городе? — воспользовался затишьем голос пастора Эми. — Логикам здесь раздолье! — (Джордж обернулся послушать. Костлявая и Флинт тоже.) — Рассеки здесь пространство различьем, отметиной, символом — и оно не истечет на тебя кровью. Нам потребно не счисление формы, но аналитика внимания, что вылепит форму в индифферентной и недиффе-

ренцированной плероме. Нет, Че, нет, Фанон[39], вы недотягиваете до ниггеров! Узрите… — Она опять взметнула кулак. Под ним всплеснул черный рукав. — У меня тут горстка монад. Услышьте — они болбочут и судачат как заведенные, точно восьмиоперационные логические элементы, что взывают к порядку в случайной сети…

При упоминании Че в углу поднялась (независимо? — спросил себя Шкет) шумовая волна. Затем другая, в глубинах принеся звон бутылочного стекла, накрыла голос пастора. В буром ландшафте ее лица мерцали капельные созвездия на висках. Рот шевельнулся, голова склонилась, голова поднялась; глаза запечатались, распахнулись, вперились; и Шкет опять не расслышал из ее дифирамба ни слова.

Зато расслышал усмешку Джорджа. Харрисон стоял, сунув руки в карманы грязных штанов хаки.

Поблизости Флинт тянул шею, пытаясь что-то разглядеть через чью-то голову. Блондинка протискивалась сквозь толпу, направо и налево

---

[39] Примечания: 39

Франц Омар Фанон (1925–1961) — вест-индский социальный философ, психоаналитик и революционер, франкоязычный сын потомка африканских рабов, один из вдохновителей движения новых левых и антиколониализма.

рассыпая улыбки и «прошу-прощенья»; костлявая стояла в задумчивости — левая рука на правом плече — и все глядела на пастора, обиженная и живописная.

— Тебя, между прочим, снаружи опять твоя подруга искала, — сообщил Шкет.

— М-да? — переспросил Джордж. — Которая?

— Белая блондиночка семнадцати лет. — Пот, сообразил Шкет, выступил не только под книжками. От пота жилет скользил по плечам. Под коленками и подбородком было мокро. — Стояла снаружи, спрашивала… спрашивала про тебя: «А Джордж Харрисон внутри? А Джордж там?»

Отшкуренное тиковое дерево носа и щек Джорджа, его толстые губы сморщились, как кора тсуги, плоскости вокруг глаз и грязно-костяных зубов сместились, сложившись в гримасу плюс-минус в зазоре между иронией, весельем и пренебрежением — выражение лица с первого плаката у Тэка.

— Сюда много белых девочек приходит меня искать.

— Ее имя рифмуется со «сколько у нас лун», и она… — правый кулак сжался, кончики пальцев и костяшки заскребли по джинсам, — из-за тебя убила своего брата. Джордж? У нее был плакат, где

ты большой, и черный, и голый, а он, ее младший брат, увидел. Увидел плакат, стал ее дразнить — знаешь, что младшие братья порой вытворяют, Джордж? Он дразнил ее и хотел на нее наябедничать, понимаешь? Рассказать ее матери, ее отцу; а она боялась, если он наябедничает, они узнают — узнают, что не только в плакате дело; узнают, что один раз она тебя отыскала; узнают, что она ищет тебя снова. Ее старшего брата они уже грозились убить. Уже. И он сбежал. И она его толкнула, младшего, в шахту лифта — а там шестнадцать, семнадцать, восемнадцать этажей!.. Я не очень… помню! — Шкет потряс головой. В ней что-то трепыхнулось — не боль; и опять. — Ох господи… кровь! Я весь был в крови. Пришлось доставать его из подвала — прямо в охапку взять. И тащить наверх. Когда он погиб. Но… это было ради *тебя*! Она поэтому… поэтому так! И поэтому я… — Трепыхание обернулось болью. — Она мне сама сказала. Сказала, что боялась, как бы он не наябедничал. И что она… — Шкет шагнул прочь, шагнул снова, потому что первый шаг вышел шаткий, и он выровнялся на втором. Оглянулся.

Джордж смотрел точно из длинного тоннеля, где в стенах плавали равнодушные лица, черные и бурые.

Глаза его взорвутся расцветшими маками, подумал Шкет. Зубы вылетят грудой выплюнутых алмазов. Язык его змеей пропетляет ко мне, одолеет ярды, что разделяют нас, почти коснется моего рта и рассеется розовым дымом. Пар двумя столбами забьет у него из ноздрей…

Во взгляде у Джорджа читалась — и, узнав ее, Шкет повернулся прочь, шарахнулся прочь — снисходительность, какую приберегают для безумцев.

Это ли, подумал Шкет (тем временем произнося: «Эй, извини, слышь…» — и хлопая кого-то по плечу, в которое врезался), одно из тех мгновений, что мгновенно же канут из памяти, куда канули цель моя, и возраст, и имя? Он просочился между двумя; затем кто-то, смеясь, придержал его за плечо и подтолкнул дальше. Щекой и обеими ладонями Шкет налетел на тонкие металлические поручни, взялся за них, запрокинулся, поглядел вверх.

Кто-то сходил по спиральной лестнице. Лысый толстяк (чья кожа теперь больше смахивала на промасленную вощанку) в комбинезоне с нагрудником спустился, прошел мимо, шагнул со звенящих черных треугольников, что вились вкруг шеста все выше, уходили в открытый квад-

ратный люк в полу балкона…

Когда Шкет опустил глаза, толстяк уже бочком пробирался меж бродивших по залу людей.

— Ты нормально?

— Да, я… — Шкет обернулся.

— И хорошо. — Подошел Флинт — чуть притороженной припрыжкой. — Я просто спросил, ну?..

— Я нормально… — Но его знобило; на шее, на руках, на щиколотках высыхал пот. — Ага.

Флинт большим пальцем провел по ремню. Винил распахнулся, открыл аппендицитный шрам на темной матовой коже, снова закрыл.

Сквозь спиральные перила просыпался многоголосый белый смех.

Флинт и Шкет разом задрали головы, разом опустили.

Фонарь высоко на стене мягкими бликами измазал руки Флинта, резкими — исхлестал его жилет, световым контуром — до того ярким, что Шкет сощурился, — обвел лепесток орхидеи на оцепленной и внахлест окованной груди.

— Позырим? — спросил Флинт.

— Там вроде народ из парка. — Шкет поджал губы, снова посмотрел вверх; вдруг перескочил поручень и зашагал вверх по ступеням — одна

рука на захватанном шесте, другая ведет по перилам. Флинт, шагая следом, то и дело кулаком на перилах пихал Шкетов кулак. На предпоследней ступеньке носком сапога пнул Шкета в голую пятку.

Из затененной будки в начале прохода Шкет оглядел уступы кресельных рядов. Расслышал дыхание Флинта над ухом.

Они сидели — шестеро, нет, семеро — чуть поодаль от балконных перил. Двое мужчин на втором ряду, между ними с третьего склонялась блондинка — Линн, которая сидела подле Шкета у Ричардсов, у которой он отнял воздушку в «Эмборики».

Рядом с ней, сцепив руки на стволе ружья, расположился высокий кудрявый мужчина. Он наклонялся вперед; дуло торчало выше головы; похоже, он задремывал.

Еще один мужчина все смеялся.

А еще один сказал:

— Где эта чертова теткина псина? Эй… — Он приподнялся, оглядел пустые сиденья: — Мюриэл! Мюриэл…

— Ради бога, Марк, посиди спокойно! — сказала Линн в зеленом платье.

Мужчина в поношенном замшевом пиджаке

сказал:

— Интересно, где эта чертова *тетка*. Должна была вернуться… — Конец реплики заглушили смех и аплодисменты снизу — видимо, плоды пасторских трудов, но Шкету с балкона было не видно.

Один мужчина стукнул соседа. Другая женщина, в сползшей с плеча балахонистой блузке, с хохотом их разнимала.

Через кресло от них, задрав потертые башмаки на спинку переднего кресла, согнув ноги в лоснящихся штанах и положив ружье на подлокотники, точно ограждение на ярмарочном аттракционе, сидел Джек. Шкет разглядел, как под шутки и смех остальных Джек сглотнул, дернув впалой небритой щекой, и упер подбородок в кулаки, мрачно созерцая толпу черных.

— Вроде ужасно знакомые лица, не? — прошептал Флинт Шкету на ухо — тому померещилось, что вышло чересчур громко. Но никто не обернулся.

Шкет глянул через плечо:

— В универмаге… — и, отводя взгляд, успел увидеть Флинтов кивок.

На темном балконе (всего два фонаря, которые кто-то поставил у перил ярдах в двадцати от лест-

ницы; в остальном свет сочился снизу) тут и там в фанерных креслах полулежали люди. Шурупы в кованых металлических скобах, которыми ближайшее сиденье привинчивалось к пыльному полу, наполовину выкручены…

— Что она говорит? Тебе слышно, что там проповедница вещает?

— Ага, как же! Ничего не слышно, один гвалт. Хочу вниз, погулять, раз уж там праздник!

— Вниз? Вот к этим? Валяй, флаг в руки.

— Вон тот парень вроде ничего… Это кто вообще?

— Вон тот белый?

— Ну, я же на него *показываю*, да?

— Блин… — Кудрявый прижал ствол ружья к груди. — Можно же их отсюда снять. Просто вот… — Он вдруг прицелился. — Пау! — сказал он, оглянулся на соседей и рассмеялся. — Проще простого, а? Жалко, я не знаю, кто там Джордж Харрисон. — Он снова прицелился. — Пау… — прошептал он.

— Кончай, — сказал тот, который Марк. — Мы сюда залезли только на разведку.

Кудрявый подался вперед и окликнул:

— Эй, Дикси? Ты как думаешь — может, оживить праздничек парой-тройкой прицельных,

для тренировки просто? Как тебе идейка, Дикси?

Джек отозвался на это трезво и не глядя:

— У вас у *всех* странные идеи. С самого приезда, кого ни встречу — у всех странные идеи.

Не трезво, запоздало сообразил Шкет: голос невнятен и суров — так говорят сурово набубенившиеся.

— Вы оба зачем оружие-то сюда потащили? — спросил Марк.

– *У них* оружие есть, — ответил кудрявый, снова уперев ружье прикладом в пол. — Видал, как негативы нас выпинывали, потому что у нас пушки? Так не годится. У них оружие, у нас оружие — все люди равны. Не в курсе, что ль?.. Эй, руки убери!

— Я только посмотреть, — сказала женщина в балахонистой блузке. — И вообще, я стреляю получше твоего.

— М-да? — сказал кудрявый. — Ну еще бы. — И опять повесил голову, виском прижавшись к стволу.

— Ну *правда*!

— Который из них Харрисон? — спросил мужской голос. — Они все и впрямь на одно лицо. — Засмеялся. — Отсюда — так точно.

Джек опустил на пол один башмак. А в остальном — локти на подлокотниках, руки крест-на-

крест на ружье, подбородок на кулаках, одна лоснящаяся коленка оттопырена — не шелохнулся.

— Что там эта баба орет? Господи…

Шкет посмотрел на Флинта — тот теперь стоял рядом. Флинт, хмурясь, снова глянул на белых и в омерзении легонько тряхнул головой.

Шкет подбородком указал на спиральную лестницу, повернулся и зашагал.

Бурлящая толпа мужчин и женщин повернулась и проглотила его.

— Во *дают*! — сказал Флинт внизу, горячей рукой придержав Шкета за плечо. — В смысле, господи боже, чувак…

— Пошли найдем Джорджа. — Шкет перевел дух. — Скажем ему, посмотрим, что он решит.

— Они, наверно, *делать-то* ничего не будут, — с опаской произнес Флинт.

— Тогда найдем Джорджа и скажем, что на балконе сидит белая банда, у двоих ружья, и они, *наверно*, ничего не будут делать. — Шкет поразмыслил, в какую сторону двинуться, увидел просвет в толпе и ринулся туда.

Позади него Флинт на бегу предположил:

— Может, Джордж уже про них знает?

— Тем лучше, — бросил Шкет через плечо. —

Пусть так нам и скажет.

В трех кадках у стены росли четырех– и пятифутовые кактусы — в пустыне такие, слыхал Шкет, в поисках воды запускают корни на тридцать-сорок футов.

На ближайшем среди побуревших перекрещенных иголок висел, кажется, розовый платочек. Спустя еще два шага Шкет разглядел, что это лохмотья цветка — шириной с его ладонь, обмяк на мясистой кактусовой плоти.

Джордж стоял у дальнего кактуса и перешучивался с крикливой и веселой толпой. Одна женщина с руками как коричневые мешки, морщинистыми на локтях, запястьях и кулаках, размахивала бутылкой, совала ее то одному, то другому, сопровождая подношение поцелуями и взрывными взвизгами.

Шкет глянул на балкон. Нет, отсюда белых не видно.

Он протиснулся в толпу. На плечо надавило чье-то плечо, за спину придержалась чья-то рука — придержала того, кто не держался на ногах; Шкет опять вспотел.

— Джордж!.. Эй, Джордж? — Интересно почему, задумался он, в ответ нащупал воспоминания о разговоре десять минут назад, и вернулось все

— и компульсивная повесть о Джун, и собственный ужас. — Джордж, мне надо… — Он цапнул проплывавшую мимо бутылку, глотнул, передал дальше. — Джордж, надо поговорить, слышь? — Я что, боюсь его? — подивился Шкет. Если дело только в этом, дело ясное: просто не бойся страха. — Джордж!..

Бутылка перешла к Харрисону. Локоть задрался выше, смех стал ниже.

— Опаньки, Шкет, как делишки? Это вот Шкет. Хочет со мной поговорить, — и Шкету на плечи упала рука, — так что я щас. — Темная голова пригнулась к Шкету, в предвкушении глотнула из бутылки, сосредоточиваясь.

— Слушай, — сказал Шкет. — Снаружи один мужик говорил, что на улице сегодня кого-то сняли снайперы с крыши? Короче, у тебя тут на балконе полдюжины белых мужиков — и у двоих стволы. Сидят, острят про то, как по людям шмалять и тогда ли. И отдельно их интересует, где тут ты. Они, наверно, ничего такого не натворят, но я подумал, тебе стоит…

— Да чтоб тебя! — прошипел Джордж. Взгляд поднял, но головой не шевельнул. — А с ними три бабы и собака?..

— Две… — начал Шкет. — Нет, три и собака.

— У ниггеров вообще мозгов, сука, нету! — резко выдохнул Джордж. — Я ж им *сказал* не пускать психов всяких с пушками! Вот зачем, они думают, я их туда поставил… или, может, эти иначе как прошмыгнули…

— Они сказали так, — ответил Шкет. — Прошмыгнули, похоже. И…

Джордж хотел было встать.

Шкет ухватил его за плечо и усадил; рассудок ярко вспыхнул, признав то, что в нем крылось:

— …и, Джордж! Что я говорил… — пот высыхал; спина под жилетом похолодела, и Шкет понял, отчего вспотел, — про Джун, что она убила брата, да?..

Глаза Джорджа — уголки набрякли кровью, зрачки почти совсем растворились в крапчато-костяных белках — придвинулись.

— …это неправда. То есть она его убила, это да. Но понимаешь, я не знаю, *из-за тебя* или нет. Когда он погиб, она мне сказала, что он хотел наябедничать про твой плакат, который я ей принес. *Она* сказала, что все вышло нечаянно. Сказала, что он хотел наябедничать, а потом по нечаянности… Короче, я не *знаю*. Понимаешь?..

— Тебя это правда парит, а? — Джордж выпрямился. Шкетовых плеч он не отпустил; бутылка

шевельнулась, и Джордж выдохнул Шкету в цепи: — Вот поэтому она ищет меня, а не тебя. Потому как мне-то по барабану. Ты только и делаешь, что винишь и прощаешь, — ты ее так с ума сведешь. А мне, кароч, плевать, невинна она, как белый кроличек в новенькой клеточке, или укокошила своего братца, и мамашу, и папашу, и президента Соединенных Штатов, покромсала всех на куски и голышом сплясала в крови. Мне-то что? А ей что?.. Еще одного белого убрали, делов-то. Она, пожалуй, парится чуток побольше моего, но ненамного. А наша с ней жизнь от этого станет легче — может, и твоя тоже. Когда она ко мне придет, я ее по-любому оприходую, как ни поверни. Ищет она меня, говоришь? Ну а чего — я тут. Я по-прежнему тут. Эй!.. — Это он крикнул в толпу. И высоко в воздухе взмахнул бутылкой. — Мы уже все подустали. Я так думаю, пора по домам.

Ножи на груди у Шкета клацнули, крутанулись. Шкет сказал:

— Может, сходить наверх, привести их тебе? Сгоним их с балкона.

Джордж оглянулся на него, сощурился, поколебался:

— Пошлем моих ребяток, пусть на мушку их

возьмут. А другие потом их вытурят. Мои ребятки их впустили. Вот пусть сами и выпроваживают. Вы этими колючками своими горазды орудовать, я в курсах, но у них-то уравнители, а раз все люди равны, пусть оно так и останется. Праздник все равно затянулся. Пойдем-ка мы по домам. Обяжешь меня, если тоже отсюда двинешь, ага?

Шкет ухмыльнулся, изобразил наигалантнейший поклон…

— Весьма тебе обязан, друг, — сказал Джордж. — За все твои хлопоты, — и засмеялся.

Шкет глянул на кактус в деревянной кадке; на миг захотелось броситься на него, обнять шипастый мясистый ствол, и было это до того нелепо, что Шкет лишь развернулся и пошел прочь. Они встретятся, думал он, под лунами и солнцем, смехом или сполохом. А я потею, поскольку не знаю, что тогда будет со мной. Что будет со мной…

К нему на ходу пристроился Флинт.

Спустя шагов шесть сказал:

— И что бы ты сделал, если б он такой: «Конечно, мужик, валяй! Иди наверх, приведи этих мудаков»?

— Вероятно, — Шкет увильнул от пьяного, который примеривался упасть в трех шагах позади них, — весь обмочился бы.

— Может быть, — засмеялся Флинт. — Но потом, вероятно, сходил бы наверх и их привел.

— Вряд ли они бы сильно гоношились, — сказал Шкет. — Хочется надеяться.

Навстречу им сквозь черную толпу пробивался белый — капитан Майкл Кэмп.

— Ну надо же! Здравствуйте. Я и не думал, что опять вас встречу. То есть сегодня. — Улыбка вобрала в себя и Флинта.

— Здравствуйте, сэр, — ответил Шкет. — Приятно видеть вас снова. Но по-моему, тут уже все расходятся. Наверху какой-то непорядок. Ничего серьезного. Но *не исключена* стрельба. А целиться оттуда — как нечего делать.

Глаза Кэмпа проследили за взглядом Шкета до балкона, возвратились к лицу — растерянные и увеличенные вдвое. Шкет сказал:

— Ой. Это мой друг Флинт. Флинт, это капитан Кэмп.

— Здравствуйте, сэр. — Флинт протянул руку. — Приятно познакомиться.

Кэмп не сразу вспомнил, что на рукопожатие нужно ответить.

— А что… в смысле?..

— Пойдемте, — сказал Шкет. — Давайте сюда.

— А что происходит? — Кэмп пошел за ними. —

Я тут, понимаете… Роджер выдал мне список мест, куда нынче стоит заглянуть. Боюсь, я из тех, кто любит выпивать и увиваться за дамами — во флоте таких привечают. Бар, конечно, был очень любопытный — весьма любопытное собрание, — он кивнул, — но, честно говоря, я подумал, может, найдется что получше, хотя бы по второму пункту. Здесь, например. — Он снова посмотрел на балкон; за дверь вдруг шумно ломанулась толпа. — Женщины красивые… — Затем еще одна толпа. — Что тут такое? — спросил Кэмп.

— Да белые психи с ружьями, — ответил Шкет. — Ничего особо не делают, но люди нервничают. И вообще им тут не место.

— Я вроде слышал, что днем кого-то подстрелили на улице, нет?

— Да, — сказал Флинт и скривился.

— А, — сказал Кэмп, поскольку в голову ему, похоже, больше ничего не пришло. — Роджер говорил, *сюда* белых и не пускают. А эти что тут делают?

Шкет поморщился:

— Кое-кому из нас удается.

— А, — повторил Кэмп. — Ну да. То есть…

— А вы же с Луны, нет? — вставил Флинт. — Вот это интересно.

Кэмп открыл было рот, но в полутишине на исходе исхода раздался голос — говорила пастор:

— …повторного перехода — не ценность перехода? О, мои бедные неумелые руки и глаза! Ужели не знаете вы, что едва пересекли эту границу, всякий атом, внутренность всякой точки реальности сдвинулись относительно всего, что вы оставили позади, содрогнулись и зазвенели во временно́м поле, и, перейдя границу обратно, вернетесь в совсем иное пространство? Направляясь в город, вы пересекли реку? Неужто вы правда думаете, будто через реку можно вернуться в мир, где голубое небо лиловеет по вечерам и промаслено светом одной-единственной серебристой луны? Что после вздоха тьмы, предзнаменованный ложной знакомой зарею, в небеса вскочит огненный кружок, что плюется светом на деревья и редкие облачка, на мужчин, женщин и творения их рук? Да, именно так вы и *думаете*! Ну *разумеется*! Как еще сохранить нам обесцененные монетки и дешевые купюры душевного здравия и солипсизма? Да, имя наивторичнейшей луны, что вторглась в нашу обыкновеннейшую ночь, известно всем. Но непостижимое и непроизносимое имя того, что восстало сегодня, в этот наинеобыкновеннейший день, имя того, чему Джордж выступает

лишь консортом, — оно *одно* освободит вас от пут сего города! Молитесь со мною! *Молитесь!* Молитесь о том, чтобы город этот оказался единым, чистым, логичным пространством, откуда мы, не поэты и не боги, все-таки сможем уйти, если… что? — Кто-то потянулся к ней снизу; пастор посмотрела. — Что тако?.. — Джордж. Пастор наклонилась. Хотела было глянуть вверх, воздержалась и поспешно слезла с возвышения. Ее маленькая голова затерялась меж других голов.

— Что ж, пора мне, пожалуй, назад к Роджеру. — Кэмп огляделся. — Хотя, должен признать, дамы тут есть довольно симпатичные.

— Нам, пожалуй, всем пора, — сказал Шкет и заметил, что Кэмп не двинулся с места. Проследил за взглядом Кэмпа — интересно, на какую даму этот взгляд упал, — но в искомом месте обнаружил только слепое зарешеченное окно.

Кэмп сказал:

– *Э*… Возвращаться к Роджеру по темноте… — Переступил с ноги на ногу, сунул руку в карман штанов. — Что-то мне не улыбается. — Снова переступил. — Слушайте, друзья, поработать не хотите?

— Чего?

— Пять баксов, если проводите меня до дома

— знаете, где это?

Шкет кивнул.

— Вы же охранным бизнесом занимаетесь? Мне в городе среди ночи пригодилась бы охрана.

— М-да?

— Бродить по темным улицам в городе без полиции — бог знает что встретишь… вы оба; заплачу по пять на нос.

— Я вас провожу, — сказал Флинт.

— Мы проводим, — сказал Шкет.

— Я вам очень признателен, правда, очень. Я вас не тороплю. Если хотите задержаться, пропустить еще пару стаканчиков — без проблем. Только скажите, когда будете готовы…

Флинт глянул на Шкета; в глазах читалось: «Он что, спятил?»

Поэтому Шкет сказал:

— Идем, — и подумал: неужто темнота ему настолько страшнее уже известной опасности?

— Хорошо, — сказал Кэмп. — Ладно. Вот и отлично. — Улыбнулся и зашагал к запруженной двери.

Флинт по-прежнему недоуменно кривился.

— Ага, — сказал Шкет. — Он настоящий. На Луну летал.

Флинт рассмеялся, не разжимая губ:

— Я, чувак, тоже настоящий, — и хлопнул в ладоши.

Кэмп обернулся.

Шкет, а следом и Флинт пробились сквозь толпу, громко бурлившую в дверях.

В коридоре Кэмп спросил:

— А вы… вы же скорпионы, да? У вас тут *часто* случаются непорядки?

— Бывает, — ответил Флинт.

Шкет подумал: всякий раз, прежде чем ответить, Флинт держит паузу, словно заговорить первым полагается мне.

— Обычно-то я от драк не бегаю, — сказал Кэмп. — Но и подставляться незачем. Денег у меня с собой мало, но хотелось бы донести их до дома. — (Люди у входа слушали какую-то женщину — посреди своей истории она прервалась на проливной хохот.) — Если я задержусь в Беллоне, может, разумно нанять кого-нибудь из ваших в сопровождение. А может, это только привлечет внимание. Спасибо, что пошли со мной.

— С вами ничего не случится, мы вас прикроем, — сказал Шкет и спросил себя, почему.

Поразмыслил, не объяснить ли Кэмпу, что бояться глупо; и сообразил, что у него и самого в глубинах подсознания задрожал страх.

Флинт расправил плечи, и выпятил подбородок, и сунул большие пальцы в потрепанные карманы — ни дать ни взять чернокожий ковбой, весь такой на понтах.

— Ничего с вами не случится, — повторил Шкет.

Женщина взяла себя в руки и все-таки добралась до ударного финала, а именно:

— …солнце! Он сказал, это все проклятое *солнце*! — Черные мужчины и женщины вокруг закачались и заржали.

Шкет тоже засмеялся; втроем они по кромке обогнули толпу и удалились во тьму.

— Вы с Джорджем-то поговорили? — спросил Флинт.

— Как бы. Он мне предложил одну из своих подруг. Но она была не в моем вкусе. Вот если бы другую… — усмехнулся Кэмп.

— И как он вам? — спросил Шкет.

— Ничего особенного. Не понимаю, почему все его так боятся.

— Боятся?

— Роджер — до смерти, — сказал Кэмп. — Роджер мне о нем, понятно, и рассказал. Любопытная история, но странная. А вы что скажете?

Шкет пожал плечами:

— А что тут скажешь?

— По слухам, много чего.

Кирпичную стену под мигающим фонарем покрывали блестящие, словно отлакированные плакаты с Джорджем — внахлест, точно гигантская раскрашенная чешуя дракона: бок уходил вверх и растворялся в ночи. Флинт разглядывал их на ходу. Шкет и Кэмп глянули на Флинта.

— Насколько я понял, тут все только о нем и говорят.

— А вы-то с ним о чем говорили? Помимо обмена пёздами? — спросил Шкет.

— Он, кроме прочего, упомянул вас.

— Да? И что сказал?

— Спрашивал, знакомы ли мы. Я сказал, что знакомы, а он спросил, что я о вас думаю. Похоже, вы интересуете публику немногим меньше, чем он.

Вроде над этим уместно было бы посмеяться. Кэмпово молчание удивило Шкета.

На лицо Кэмпу наползла темнота.

— Знаете, такое дело… в общем, я, говоря строго, не религиозен. Но к примеру, когда мы летали и оттуда читали Библию по телевизору, мы не шутки шутили. Наречь новую луну в честь… в честь такого, вот это вот все — это против религии. Мне

не по душе.

Флинт хмыкнул:

— Солнце пока не нарекли.

Кэмп, сбитый с толку Флинтовым акцентом (который Шкет уже определил в Шривпорт, Луизиану), переспросил.

— А, — сказал он, когда понял. — А, которое днем было?

— Ну, — сказал Флинт. — Вы же не ждете, что его назовут в честь *вас*? — и опять захмыкал.

— Вы как, готовы оправдать доверие? — спросил Шкет.

Кэмп во мраке взмахнул рукой. Но дуги этого взмаха они не разглядели, не увидели, закрыта или открыта ладонь, так что смысл жеста до них не дошел.

— Вы же знаете, куда мы идем, да?

— Идем куда надо, — сказал Флинт.

Шкет ясно чуял, что идут они куда не надо. Но недоверие к своему неопровержимому чутью давно стало его второй натурой. Он шел и ждал.

— Видишь, — сказал Флинт, сдернув его с небес на землю минут двадцать спустя. — Вот Северная Брисбен, вот Южная. Куда надо идем, я же говорю.

Две стены каньона рухнули друг на друга, зава-

лив разделявшее их время.

— Что? — спросил Кэмп.

— Идем куда надо, — повторил Флинт. — К мистеру Калкинзу.

На трех перекрестках подряд горели фонари.

После долгих кварталов черноты все сощурились и заморгали друг на друга.

— Надо думать, — весело сказал Кэмп, — ориентироваться в городе после темна сложно всем.

— Научаешься, — сказал Шкет.

— Что?

А у *меня* какой акцент?

— Научаешься, говорю.

— А.

Черноту пронзал фонарь минимум в пяти кварталах впереди — мерцал сквозь ветви дерева, в остальном невидимого.

— А у вас, друзья, бывали неприятности на улицах?

— Ага, — сказал Шкет.

— В каком районе? — спросил Кэмп. — Это я спрашиваю, куда лучше не заходить. Где мы были? У цветных на Джексоне?

— Прямо перед домом Калкинза, — сказал Шкет.

— Вас ограбили?

— Нет. Я по своим делам шел. А на меня напрыгнули какие-то типы, избили до соплей. Им скучно было, наверно, заняться больше нечем.

— Вы выяснили, кто это был?

— Скорпионы, — ответил Шкет. (Флинт снова хмыкнул.) — Но это еще до того, как я стал с ними ходить.

— В Беллоне только скорпионов и стоит бояться, а больше почти ничего, — сказал Флинт. — Разве что какому психу с винтовкой придет охота пошмалять из окна или с крыши.

— …потому что ему заняться больше нечем, — договорил Шкет.

Кэмп в темноте перевел дух.

— Вы хотите сказать, вот этот район, рядом с Роджером, совсем плох?

— Не хуже прочих, — ответил Шкет.

— Тогда, — задумался Кэмп, — это я, пожалуй, удачно придумал — вас с собой позвать.

Он пользуется своим страхом, чтобы пользоваться мной, рассудил Шкет и смолчал. Десять долларов за погулять? Интересно, охранный рэкет в парковой коммуне зарождался так же? Шкет сунул кончики пальцев в карманы, сгорбился, ухмыльнулся в ночи и подумал: вот так, что ли, ходит грозный скорпион? И стал чуть пошире

ставить ноги.

Кэмп кашлянул и еще четверть часа толком ничего не говорил.

...я мародер нутряного города, слабый, как темнота, что трясется от каждого шага, и мырга, и стука сердца. Дивясь, как его страх подарил мне цель, я вразвалку шагаю по лабиринту наименьшего сопротивления. (А где звуки?) Вот звуки — точно шорох стекла по песку или пальца в ушных каналах. Электричеством языка я признаю свою смерть, и мне хочется плакать. Эти вздохи, что я оставляю здесь, разлетятся фантомами смеха, который я не испускаю от ужаса.

Чем и завершились его витания в облаках: однако начала их он не запомнил.

— Вы не знаете, далеко вдоль этой стены до ворот? — спросил Кэмп.

— Под стеной голос в темноте странный, да? — сказал Флинт.

— А света из дома отсюда не видно? — спросил Кэмп.

Шкет спросил:

— А там еще горит свет?

Они шагали дальше.

— Вон, — сказал Шкет, — я что-то вижу... — и споткнулся о бордюр. — Эй, *осторожно*!.. — но не

упал. Выпрямился под нервный смешок Кэмпа. Он думает, подумал Шкет, на нас едва не напали. Тьмой забинтованы только мои глаза. В остальном тело скитается на свету.

— Да, — сказал Кэмп. — Пришли.

Свет скользнул между столбами, сквозь медные решетки и шершавые сосновые доски, на расселины Флинтова лица (вспотевшего, удивился Шкет) и брызнул на лицо Кэмпа — просто очень бледное.

А я думал, только мне страшно до смерти, подумал Шкет. Повезло мне, что по моей пачке ничего не понять.

— Хосе, — окликнул Кэмп. — Хосе, это Майк Кэмп. Я вернулся. Хосе, — отчасти необязательно пояснил он, — дежурит у Роджера на воротах.

К-к-кланк: замок (с дистанционным управлением?) бренькнул, и решетки слегка раскрылись внутрь.

— Что ж. — Кэмп сунул руки в карманы. — Хочу вас поблагодарить, друзья, за… а. — Руки выпростались. — Сейчас. — Он порылся в бумажнике, поднес его к глазам. — Разглядеть бы, что у меня тут… — И достал две купюры.

Флинт сказал:

— Спасибо, — получив свою.

— Что ж, — повторил Кэмп. — Еще раз благодарю. Итак. Если прежде не увидимся, Шкет, — тогда до третьего воскресенья. — Он толкнул ворота. — Не хотите зайти, друзья?..

— Нет, — ответил Шкет и понял, что Флинт готовился сказать «да».

— Хорошо. — *К-к-кланк*. — Доброй вам ночи.

Флинт переступил с ноги на ногу.

— Доброй. — Потом сказал: — Мы на этих тротуарах ноги в потемках переломаем. Давай по мостовой.

— Давай.

Они сошли с тротуара и зашагали назад.

Увидишь, что внутри, через пару недель, хотел сказать Шкет, но не сказал. Еще хотел спросить, почему Флинт стал скорпионом, давно ли и что делал до того.

Они не разговаривали.

Шкет соорудил обрубки дюжины разговоров, услышал, как один за другим они сворачивают в некую взаимно неловкую область, и плюнул. Один раз подумал, что Флинт, наверно, занят тем же: некоторое время размышлял, что́ Флинту интересно про него, Шкета; это тоже превратилось в воображаемый диалог — неловкий, как и все прочие. Так что их безмолвная беседа сменила тему.

— Эти шастанья туда-сюда не стоят пяти баксов, — сказал Флинт на стыке Северной-Южной.

— На. — Шкет протянул ему свою купюру, уже помятую в кулаке (острые сгибы от пота затупились). — Десяти, я думаю, тоже не стоят. Но мне не надо.

— Спасибо, — сказал Флинт. — Эй, спасибо, чувак.

Шкет удивился и развеселился: от раздумий о том, кто таков Флинт, этот разговор его избавил.

Черной улицей они углубились в город, не включая проекторов — в память, сообразил Шкет, о солнце.

Долго они тут бродят? Три часа? Больше? Дистанция между тогда и сейчас была до отказа набита временем, когда бешеный разум ощупывал оболочки мириад фантазий и (сказал бы Шкет, если бы спросили) не происходило ничего. И о безумии: быть может, эти мгновения несообразной реальности или потерянного времени — точки (во времени, когда ничего не происходило), где оболочки рвались. Такие вещи ловчее ухватывает язык, что творится не языком, но иными мускулами. Непроизносимое заколыхалось во рту и напомнило — осияв черноту, — как в четыре года он сидел в подвале и по очереди со-

вал в рот стеклянные шарики, синий, оранжевый и розовый, — хотел попробовать цвета на вкус.

Они миновали еще один фонарь.

Лицо у Флинта обсохло.

Очевидно, в этом городе куда угодно попадаешь дрейфом; Шкет дрейфовал по волнам кинестетической памяти. Если осознанно куда-нибудь стремиться, уличные вывески искажены дымом, тьмой или вандализмом, висят не на месте или вовсе исчезли.

Переходя Джексон, Шкет сказал:

— Я хочу вернуться на праздник.

— Да запросто, бля, — ухмыльнулся Флинт. — Чего б нет? Ты серьезно?

— Просто глянуть, что творится.

Флинт вздохнул.

На другой стороне, в дальнем конце квартала Шкет разглядел мутную трапецию.

— Свет еще не вырубили.

В грозди из трех фонарей за дверью горел один. Двери зала закрыты.

— Никого не слышно.

— Открой, — сказал Шкет Флинту в затылок, поскольку Флинт его опередил.

Флинт толкнул дверь, вошел; Шкет вошел следом.

Горели всего два фонаря; третий, в углу, погас. Общий зал опустел; в руинах и тенях валялся мусор.

Возле однокрылой статуи, рухнувшей среди колючих растений, лежал на спине и храпел черный охранник, с которым они болтали снаружи, — ствол ружья на животе, приклад на линолеуме. Гипсовые отпечатки на полу, опрокинутые стулья и разбросанные бутылки на миг сложились в картину пьяной перестрелки — и ствол обвел зал за считаные мгновенья до того, как охранника вырубило, — но выщербин от пуль Шкет не увидел.

И никого не увидел на балконе.

На стуле у дальней стены, закутанный в абсурдную шинель, другой обитатель зала качнулся, застыл, выпрямился, опять качнулся, снова застыл под углом, отрицавшим силу земного притяжения.

— У него что, гироскоп внутри? — спросил Флинт.

— Скорей герыча полвесла.

Флинт рассмеялся.

В коридоре прежде закрытая дверь на лестницу была приотворена.

— Пошли позырим? — спросил Флинт.

— А то, — ответил Шкет.

Флинт дважды ущипнул себя за широкий нос, втянул губы, прочистил горло и зашагал вниз.

Шкет пошел следом.

Дверь внизу открыта. Шкет наступил на «Вести» — газета под низким сквозняком (грязная лестница холодна; труба перил теплая) спорхнула вниз. На последней ступеньке зашуршала под сапогом.

Флинт остановился в дверях; Шкет подошел.

Диван раздвинули. Под сбитым одеялом, открывшим маленькие бледно-кофейные груди с капельками темных сосков, спала костлявая кирпичноволосая девушка, которая была с Джорджем, — шея обмотана кольцами оптической цепи.

От стеклянного абажура прикроватной лампы отломился треугольник. Клин света, сплавившись с плотью и постельным бельем, едва касался ареола на высоте ее ветреного дыхания.

— Эй, ты смотри-ка! — прошептал Флинт и заулыбался.

Шкет подышал с нею в такт, покачиваясь на нижней ступени; ноги пришлось расставить пошире.

— Тебе как такое попробовать?

— Я бы и от двух добавок не отказался, — ответил Шкет. — А где Джордж?

— Да он, небось, с *другой* пошел… — Напряженный Флинтов шепот взмыл до фальцета и съежился.

А затем:

— Вы что тут, блядь, забыли?

Она села рывком: лицо сонное, лицо злое — точно два кинокадра подряд.

— Господи боже, дамочка, — сказал Шкет, — мы только посмотреть.

— Ну и насмотрелись уже! Валите нахуй, ну? А куда все подевались? Ну-ка, оба, марш отсюда!

— Деточка, не надо так, — сказал Флинт. — У тебя дверь стояла нараспашку…

— Этот псих, что ли, *дверь* не запер?.. — Она потянула на себя простыню, опустила руку с кровати и взмахнула какой-то шмоткой. — Всё. Пошли вон. Вон! Вон! Я серьезно. Вон!

— Слушай… — Шкет угрюмо размышлял о связанных с изнасилованием затруднениях (врасплох застало воспоминание о том, как держал в охапке окровавленного пацана; он опять сдвинул ноги); интересно, о чем размышляет Флинт. — Может, если ты перестанешь орать, мы чуток обсудим; вдруг ты передумаешь…

— Да ты сдохнешь скорее! — Она вытрясла из постели помятые спортивные штаны, скинула ноги на пол и сунула их в штанины. — Не знаю, что вы там задумали. Но только попробуйте — и получите по жопе очень больно!

— Никто никому делать больно не хочет… — Шкет осекся, потому что Флинт смотрел в окошко под потолком. Шкет почувствовал, как сминаются щеки, как изумление давит на лоб.

Девушка открыла было рот, но сказала только:

— А?

Туманный воздух снаружи посветлел, посинел.

Флинт развернулся и ринулся вверх по лестнице.

— Эй! — Шкет бросился за ним.

Убегая, он слышал, как она сражается с туфлями.

Шкет пронесся по коридору, выскочил наружу.

Флинт футах в десяти от входа озирал улицу.

Шкет подошел, остановился, оглянулся на шаги: она остановилась за порогом, высунулась, кривя лицо.

— Господи всемогущий, — тихонько сказала она, переступила порог и запрокинула голову. — Это же… светает!

Первым делом Шкет подумал: слишком быст-

ро. Неровные крыши спускались бледнеющим клином, чью вершину размазывал дым. Шкет смотрел, ждал вспышки бронзовых огней. Но нет: дуга зримого неба, хотя и вылепленная, выпачканная дымными клубами, была темно-синяя — только нижняя четверть посерела.

— Слышь чё. — Флинт глянул на Шкета. — Устал я как собака. — Под одним глазом по темной щеке текла вода. Флинт сморгнул и снова обернулся к утру.

Шкета подрал мороз. Все драл и драл. Я не верю в его реакцию, подумал он, припомнив самый поздний ночной телесериал — слезливое осознание хрупкой героиней зарождающейся любви вызвало у него такие же вопросы. Я гоню, потому что рядом со мной стоит ниггер, который вот-вот зарыдает, и эта еще в дверях, до того перепуганная и растерянная, что я сейчас… Нет, дело не в рассвете. Нет.

Но мороз все драл и драл его, трепал плоть, пока не стали запинаться даже мысли. Озноб наждачкой ходил по хребту. Ладони гудели. Шкет раскрыл рот, и глаза, и руки мешанине текучей зари.

5

Воскресенье, 1 апреля 1976 года. Имеется причина поговорить об этом на второй полосе, не выделяя феномену центральный заголовок, на который он вполне мог бы претендовать. Мы, однако, попросту не готовы собственным потрясением подкреплять истерию, что воцарилась в городе под сим миазматическим выбросом.

Это мы видели своими глазами.

Но в городе, где обитаем *мы*, приходится усомниться в достоверности и таких показаний.

Более того, мы даже подумывали посвятить нынешний выпуск рассказам лишь тех, кто все проспал, деятельно трудился в подполе или в задней комнате без окон, когда, или (надежда на надежду) утверждал бы, что во второй половине дня вчера гулял по городу во время — и ничего экстраординарного в небесах не наблюдал.

Однако, судя по пришествию в наши ночи Джорджа, опровергателей мы найдем только за пределами нашего туманного и расплывчатого города. Во всяком случае, мы на это надеемся.

Пожалуйста, вновь обратитесь к первой полосе. Судьба района Нижнего Камберленда на Джек-

соне, где в мой последний четверг после прорыва водопроводной магистрали вовсе отключилось электричество (насколько это опасно для всех прочих, постичь невозможно, ибо в свете сокращения населения никто не в силах оценить убытки от прорыва плотины), — вот это серьезная проблема. Посерьезнее, склоняемся считать мы, нежели вчерашнее знамение.

Мы не жаждем ни описывать, ни даже называть случившееся. Надо полагать, какой-нибудь экземпляр нашей газеты попадет за нашу границу, а *свое* доброе имя мы бы хотели сохранить. Мы скорее предпочли бы высказаться о Нижнем Камберленд-Парке. Но другой автор (страница один, продолжение на странице семь) уже изложил свое повествование о событиях — с позиций очевидца и от первого лица. И так или иначе, по его словам, «велика вероятность, что там больше никто не живет».

Не веря ходу времени, под вечер пасмурного дня в небе возникла дуга. Тем, кто обитает в спектре серого, черного и синего, надо было узреть ее своими глазами, дабы оценить игру этих золотых и бронзовых, этих красных и буро-лиловых оттенков! Спустя считаные минуты почти все мы собрались в саду «Август». Вид оттуда открывался

восхитительный. Версии множились, пока их не уняло благоговение. Спустя четверть часа, когда показалось около четверти диска, мы стали свидетелями первого случая истерии… Впрочем, вполне понятные нервные срывы мы обойдем, а лучше воздадим хвалу профессору Уэллмену за неизменное хладнокровие и Баджи Голдстайн — за неукротимую бодрость духа.

Спустя более часа после начала восхождения грандиозный… диск? сфера? что-то? в конце концов оторвался от крыш. Даже те, кто присутствовал в «Августе», не пришли к согласию, завис ли этот шар или сразу поменял направление и стал садиться чуть (не более чем на пятую часть своего диаметра) левее (последнее — по оценке Уоллеса Гвардовски).

Так или иначе, нижний край пробыл над горизонтом около пятнадцати или двадцати минут. Даже в зените смотреть на явление возможно было целые минуты кряду, поскольку его заслоняли облака. Полковник Харрис, однако, посоветовал воздержаться от продолжительного созерцания. Заход, как подтверждают почти все, происходил существенно быстрее восхода и длился, по разным оценкам, от пятнадцати минут до получаса. Мы слышали уже несколько мнений касательно

размера, состава и траектории. Сомневаемся, что запись даже тех, что поддаются нашему пониманию, принесет много пользы, — тем самым мы лишь станем потакать уму пред лицом такого… ужаса! Но что это — вы, жаждущие осмысленных космологических забав, не согласны? Просто доверьтесь нам: честно говоря, объяснения, что нам довелось услышать, были не *так* уж умны. А мы не желали бы оскорблять читателей.

С недоумением и навязчивым изумлением мы вспоминаем, сколь стремительно предыдущее небесное явление схожего толка приобрело свое прозвание по общему согласию общества. И весьма воодушевляет, что нынешнее небесное тело оказалось чересчур чудовищно для поверхностного наречения. (В определенных кругах была высказана некая мысль, но простые приличия и благопристойность не дозволяют нам привести ее здесь; по мнению многих, мы на этих страницах довольно уже позорили данную молодую женщину.) И в самом деле: может, ярлык и приклеивается, когда мы вспоминаем нечто подобное с улыбкой, однако некоторые образы теряют свободу и полнокровное звучание, если мы бесстрастно взираем на них сквозь преломляющую призму имени.

— Ну и что скажешь? — спросил Фауст, сделав небольшой крюк через улицу.

Шкет засмеялся:

— Назвать негра негром за Калкинзом не заржавеет. А как еще что-нибудь назвать — сразу в кусты, по обыкновению!

— Да не, я не о том. — С третьей попытки Фаусту удалось зашвырнуть скатанную газету в окно второго этажа. — На первой полосе.

Шкет, сидя на крылечке, нагнулся и почесал ступню.

— А что?.. — Он перелистнул газету к началу. — Где вообще этот Камберленд-Парк?

— Нижний Камберленд-Парк? — Фауст вытянул жилистую шею и поскреб майку под вельветовой курткой. — Это на *другом* конце Джексона. Где совсем злые ниггеры. Где великий бог Харрисон живет.

— А, — сказал Шкет. — Я там был ночью. Пишут, что там больше не живет никто.

Фауст вскинул кипу газет на бедро.

— Ну а я тогда знаю только, что оставляю чертову прорву газет перед чертовой прорвой дверей, назавтра прихожу — а газет нету. Будь я проклят, в воде этой вчера утром по улицам бултыхаться. — Он снова прищурился на окно. — Нынче-то

утром полегче. Эй, до завтра. Это твоей книжкой всю редакцию завалили, да?

— Не знаю, — сказал Шкет. — Да?

Фауст нахмурился:

— Заходи как-нибудь в редакцию, глянь, где газету печатают, что там да как. Я тебя с собой могу прихватить. Все покажу. Твою книжку привезли позавчера… — Фауст щелкнул пальцами. — А вчера вечером я ее коробками по книжным разносил. Как только… ну, это, стемнело.

Шкет заворчал и снова открыл «Вести» — хотел посмотреть на что-нибудь, кроме Фауста.

— Утренняя газета! — Старик зашагал по кварталу, вопя в дымную завесу: — Подходите, получите утреннюю газету!

А у Шкета она открылась на очередной четвертьполосной рекламе «Медных орхидей». Он отложил газету на крыльцо, направился к перекрестку, и тут в небе раскатился шум, который Шкет уже в рассеянности заметил, — рев. А в этом реве — вой; так воют самолеты за три квартала до аэропорта. Звук сгустился в вышине, и Шкет задрал голову. Ничего не видно; он перевел взгляд на улицу. Фауст, статуэтка в полном аквариуме молока, тоже остановился. Звук укатился прочь, притих.

Фауст удалился в небытие.

Шкет свернул за угол.

* * *

В гнезде теперь иначе, подумал он, взвешивая, что же должно было остаться прежним:

Рисунок цветными карандашами на загаженной стене…

Разболтанная люстра…

Угловатый и зубастый стержень дверной ручки под ладонью проскрежетал еще на дюйм…

Из комнаты посередине возникло черное лицо, снова обернулось внутрь; покачалось вместе с головой, с телом вместе удалилось в туалет. В гомоне зазвучал смех Кошмара и:

— Ладно. Ну то есть ладно. — Это Леди Дракон. — Ты высказался — и что нам делать-то теперь?

А кто-то еще в гвалте закричал:

— Эй, эй, эй, ну-ка хватит. Эй!

— Теперь… ага! — Голос Кошмара отделился от прочих. — И чего вы хотите?

Шкет подошел к двери.

Сиам и Флинт через всю комнату отметили его появление легкими, но разными кивками. Шкет привалился к косяку. Люди посреди комнаты,

спиной к нему, — не скорпионы.

— Ну *то есть*, — Кошмар, ходя кругами, наклонился, стукнул себя по коленям, — чё вы хотите-то?

— Слушай. — Джон поворачивался за ним следом, придерживая полы перуанского жилета. — Слушай, это серьезное дело! — Рукава синей рабочей рубахи закатаны на предплечьях, все в пятнах, грязные, один локоть протирается. Ногти на больших пальцах — других не видно — очень чисты. — Ребят, вы же должны… — И он взмахнул рукой.

Милли посторонилась, чтобы он ее не задел.

— Что мы должны? — Кошмар потер плечо. — Слышь, браток, меня там не было. Я вообще не в курсах.

— Мы были не там. — Леди Дракон, сгорбившись, крутила белую чашку в темных ладонях, прихлебывала, наблюдала. — Нас и рядом не было, ну? — В комнате пила только она; а она пила шумно.

Милдред смахнула нити рыжих волос с лица и вдруг показалась гораздо старше Леди Дракон. (Он вспомнил, как однажды, не видя обеих, сообразил, что, невзирая на все различия, они примерно сверстницы.) Губы у Леди Дракон ис-

тончались и утолщались, снова и снова.

— Это какое-то говно! — Кошмар пальцами помял плечо. — Ну реально говно, слышь? И не вали это говно на меня. Поговори с кем-нибудь… — Его глаза вынырнули из-под бровей и нашли Шкета. — С ним. Он там был, я там не был. Это его были дела.

Шкет расплел руки на груди:

— А я что?

— Человек, — Милдред развернулась к нему, — *убит*!

Спустя несколько мгновений он почувствовал, как морщится лоб.

— Да ну? — То, что прояснилось внутри, прискорбно смахивало на облегчение. — Это когда это? — спросил он под бесстрастный мысленный контрапункт: нет. Нет, это *не* возможно, правда ведь? Нет.

— Слушай, — сказал Джон и посмотрел куда-то между Кошмаром и Шкетом. — Слушайте, ребят, мы же всегда могли с вами поговорить, да? Вы же вполне мазовые, да? Кошмар, мы тебе всю дорогу помогали, так? А ты нам. Шкет, ты раньше всегда с нами ел, верно? Ты нам был почти как родной. Мы тебя в первую ночь, когда ты только пришел, хотели к себе взять, помнишь? Но вам,

ребят, нельзя же вот так запросто убивать людей. И ждать, что мы будем сидеть сложа руки. Мы должны что-то сделать.

— И кого мы убили? — спросил он. Они *не* говорят, что убил *я*, дошло до него. Они говорят, что *мы*. И его окатило холодом утраты.

— Уолли! — сказала Милли на грани истерики. — Уолли Эфрина!

Разум на это имя не откликнулся ничем. Шкет мысленно оглядел собрание, рассевшееся на корточках перед общим очагом из шлакоблоков, за фасолью и овощным рагу со «Спамом». Уолли Эфрин? (Стриженый, которого он как-то раз попросил помочь притащить дрова, а тот отказался, потому что боялся отходить от остальных? Тот, что сидел между ним и Ланьей и без умолку талдычил про Гавайи? Грузный, черные волосы такие длинные, что на них сесть можно, — он еще вечно спрашивал, не видел ли кто его подругу? Некто увиденный, но не замеченный? Не виденный ни разу? Шкет вспомнил Джомми и полдюжины других.)

— Где? — спросил он, услышав молчание Милли. — Зачем нам было его убивать?

— Да господи боже!.. — Она покачала головой.

— Вчера, — ответил Джон. — Вчера днем. Когда

вы все были в этом доме… и солнце. Милдред туда приходила…

— Я не узнала, пока не вернулась домой, — сказала она; таким тоном люди оправдываются.

— И я не знал, — сказал Шкет. — Не хочешь мне рассказать?

— Нет, не хочу!.. — вскричала Милли. — Это натурально какой-то ужас! Это зверство!..

— Ты же там был за главного, Шкет? — спросил Джон.

— Все мне так говорят.

— В общем, похоже… меня-то не было, но мне сказали…

Шкет кивнул.

— …Похоже, кто-то из ваших затеял драку. И… что? Уолли разнимал?

— Может, это он затеял драку, — сказала Милли в пол, — с ними.

— Я так понял, почти все были наверху. А это внизу случилось, в кухне. Его, я так понял, крепко избили. Кто-то ему врезал пару раз. По голове. Перекладиной от замка́. А потом, видимо, все ушли. Как выясняется, очень многие из тех, кто там был, ничего не знали. Это внизу случилось, — повторил Джон. — В кухне. В смысле, Милдред не узнала, пока не вернулась и Джомми ей не

рассказал. — Судя по движению его загорелого подбородка, Джомми — это чахлый юноша с копной темных волос и бледными глазенками. (Его Шкет *помнил*; но не узнал…) — Все его там бросили — думали, наверно, что он просто вырубился. Или испугались. Мы потом за ним вернулись. А он мертвый.

— Кто это сделал? — Шкет переступил босой ногой — ее покалывало.

Саламандр стоял в дверях кухни, одним кулаком упираясь в косяк.

Джон глянул на Джомми, и тот мигом указал на скорпиона на диване — небритого, прыщавого белого юнца:

— Он! — а тот в ответ на обвинение заворчал и приподнял голову. Тот самый скорпион, что рыдал на балконе, а длинноволосая молодежь держала его за руки, когда заходил исполинский круг.

— Ты вчера кого-то убил? — спросил Шкет.

— Нет! — Отвечал скорпион невнятно, и громко, и вопросительно — прощупывал реакцию.

Кошмар сидел теперь у ног Леди Дракон. Привалившись головой к стене, он переводил взгляд с одного говорившего на другого и улыбался, точно увлеченный теннисный болельщик.

— Ты кого-то избил? — спросил Шкет.

— Повыбил из него *говно*! — Кулаки подпрыгнули на краешке дивана. — Ага! Обрезком трубы какой-то. Но я не знал, чего за труба!.. и что он умер!

— Ёпта, а я вот не сомневался! — усмехнулся Флинт. — Сразу, как ты этого мудака приложил первый раз. Второй, третий… все остальные разы — это, чувак, уже для полноты картины было.

— А ты завали пасть! — (Это, вспомнил Шкет, тот скорпион, для которого я спас латунного льва.) — Я никого не убивал.

— Но *побил* вчера кого-то по голове обрезком трубы?

— Слышь, я не… — Он споткнулся о следующее слово и встал, поднял руки, замолотил кулаками, пробивая стену, не подпускавшую его к речи, и заорал: — Не убивал, сука, никого никакой!..

— А НУ СЕЛ ЖИВО!.. — взревел Шкет и на три шага вдвинулся в комнату. Получилось, в тишине отметил он, довольно мелодраматично. Но действенно — нет слов. В глубине лица закопошился зачаточный смешок. Ступни и ладони звенели. Дальше мне *заговорить* или *заорать*? (Скорпион повалился обратно на диван, балансировал на кулаках, не вполне поместив зад на подушку и не

вполне нарисовав на лице гримасу.) — ТЫ БИЛ ПАЦАНА ПО ГОЛОВЕ ТРУБОЙ?.. — Такой выбор Шкет сделал, чтобы не рассмеяться.

Зад опустился на диван. Гримаса отразила ужас.

— Ну, наверно? — тихонько спросил скорпион. — Я не знаю?..

Шкет сильно потряс руками, чтоб вернулась чувствительность. Услышал, как рядом кто-то скрипнул половицей, и у него перехватило дыхание.

— Так, — сказал он Джону. Милли у Джона за спиной перепугалась, кажется, сильнее скорпиона на диване. Мелкий Джомми с холодным интересом напряженно наблюдал. — Валите-ка вы отсюда нахуй, а, народ?

– *Э*… — Большие пальцы Джона уползли под жилет к остальным пальцам. — Мы же тут это… не суд чиним. — Он глянул на скорпиона. — Милдред сказала, может, Уолли первый начал…

— Я не видела, — вмешалась Милли. — Просто кто-то сказал…

Шкет вобрал воздуху в грудь и снова удивился, как этот вдох, будто ножницами, перерезал ленту ее шепота.

— Всё, валите.

— Мы же не хотим… — начал Джон; Милли, Джомми и прочие направились к двери. Джон отпустил жилет и пошел за ними.

— А с Уолли вы что сделали? — окликнул Шкет.

— А? — Джон приостановился. — Ну, оставили его…

— Нет, — перебил Шкет. — Нет, не рассказывай мне даже!

Он рукой помассировал кулак. Чувствительность возвращалась. От этого жеста Джон ломанулся сквозь толпу в дверях, торопясь убраться из комнаты, нервно стуча по ноге.

Скорпион на диване был ужасно несчастный. Как он обнимал свою лампу; как он плакал на балконе; Шкет подумал: как ни увижу его — вечно он несчастный.

— Ёпта! — сказал Шкет. (Услышал, как за депутацией из коммуны хлопнула передняя дверь.)

Скорпион легонько подпрыгнул и заморгал.

— Ох ёпта! — Шкет развернулся и вышел из комнаты.

Три шага по коридору — и за спиной раздался шум. Шкет обернулся.

Необъяснимо лыбясь, Кошмар крутанулся вокруг косяка.

— Браток, ну ты, блядь, даешь! — Звеня цепями, Кошмар выскочил в коридор, хлопнул по стене. — Я серьезно! Ну ты даешь.

За ним вышел Саламандр и спросил:

— Эй, а что с Долларом-то делать? — И большим пальцем указал себе за спину.

Вот, значит, как его зовут, подумал Шкет (Доллар?), переспрашивая между тем:

— Чего?

— Хочешь, я ему слегка всыплю? — предложил Саламандр. — Ага, я могу. Я не против, я такое говно умею. А то если он так и будет людям по башке трубами стучать, мы с ним беды не оберемся. Поучить его жизни, хочешь?

Шкет в омерзении скривился:

— Нет! Не надо ничего такого…

— Если *хочешь*, — объявил Саламандр через плечо Кошмара, — я эту бледную мелочь убью. Или просто поучу жизни, чтоб пересрал…

— Нет, — повторил Шкет. — Нет, я такого не хочу.

— Может, потом?.. — сказал Саламандр. — А ты покумекай?

— Короче, не сейчас, — сказал Шкет. — Оставь его пока что.

Саламандр удалился обратно в комнату, а Кош-

мар заржал:

— Ты чё *добивался-то*, а? Браток, ну ты *даешь*!

— Хотел выяснить, убивал он или нет. Всё.

Кошмар удержал смех во рту; от смеха щеки раздулись, а потом Кошмар его проглотил.

— И как, выяснил?

Из комнаты донесся резкий хлопок и вскрик. Голоса затихли — слышалось только громкое хлюпанье.

— Шкет мне сказал подождать, а уж потом тебя жизни поучить, хуесос. Но ты мне мозг не еби, понял меня? Будешь людям бошки бить — я, пожалуй, со всем удовольствием расхерачу твою. А теперь пошел отсюда вон.

— Ну… наверно, — сказал Шкет.

— В смысле, — Кошмар развел руками, потряс, — я просто спрашиваю: ты *выяснил*? Меня там не было. А ты был, так? Ты-то должен знать, убивал он или нет. — И Кошмар с ухмылкой попятился.

— Эй!

— Чё?

— Иди сюда. Хочу поговорить.

Кошмаровы руки сложились внизу живота, всползли по широкой груди, и цепи кольцами легли на предплечья.

— Запросто. — Он опасливо склонил голову набок. — Про чё?

— Я хотел спросить, что… эй, пойдем-ка.

— Запросто, — повторил Кошмар; его язык ткнулся в щеку, что-то нашарил между моляров.

Они прошли по коридору и выступили на заднюю веранду. Кошмар, по-прежнему скрестив руки, встал в дверях и сощурился. В каких-то ярдах за сеткой все застил дым. Шкет спросил:

— А *ты-то* чего добиваешься?

— Ты про чё? — Руки Кошмара скользнули друг по другу, стянулись узлом.

– *Я* — про тебя. И про Леди Дракон, и про всех. С какого это перепугу здесь теперь командую я?

— У тебя нефигово получается.

— Но я хочу знать, почему так.

— Ну-у. — Кошмар глянул в пол и привалился к косяку. — Кто-то же должен, да? — Вокруг заскрипели половицы.

— А как же ты?

— А чё я? — Половицы снова скрипнули, хотя Кошмар не шелохнулся. — Ты чё про меня хочешь знать?

— Только почему так, и все. Ты хочешь им нового босса — ну возьми кого-нибудь из негров, например. *Что* с тобой такое?

Кошмар втянул влажную и красную нижнюю губу в рот и кивнул. Левый глаз у него, снова заметил Шкет, чуточку косил.

В раковине вздрогнула лужица воды под заскорузлым краном.

— Я подумал, типа, любопытно будет глянуть, чё выйдет, если кто-нибудь мозговитый и чокнутый порулит. Всем мозговитым ниггерам хватило мозгов слинять из Беллоны. Выбирать нам особо не из кого, можно и разнообразить картину, да? Я ж не буду торчать в этой туманной дыре до конца своих дней. Кошмаром быть — та еще веселуха. Вернусь в Сент-Луис, прикуплю себе машину иностранную, в спортзал похожу, подпишу опять двух-трех телок, чтоб на меня трудились, обратно стану Ларри Х. Джонасом. И надеюсь никогда больше не слышать ни про какого Кошмара. Если кто окликнет так на Шестой улице, я на Олив сверну. Я тут много чё наворотил — лучше бы все тут и оставить. — Он выпрямился. — Если содрать с меня Кошмара, у меня имя *есть*. Я кой-кого знаю. В Сент-Луисе. — Его рука взобралась на плечо, толстые пальцы все мяли его и мяли. — И я подумал: оставлю-ка я тут тебя. Вдобавок Денни ты нравишься. У мелкого хуесоса башка на плечах имеется. В отличие от кой-ка-

ких других безголовых кретинов. Да и ты вроде не против. — Яркие цепочные бусины у него на груди отражали больше света, чем было вокруг, подмигивали, и гасли, и снова подмигивали.

— Слышь, а вот шрам у тебя на плече? — сказал Шкет. — Вы же с Леди Дракон неплохо ладите?

— И не говори, ёпта. Иногда. — Лицо Кошмара на миг все свернулось вокруг сломанного зуба. — А иногда, — он нахмурился, — ну, сам понимаешь. — Кран капнул еще трижды, затем Кошмар отвернулся, но притормозил и глянул через плечо: — Еще про чё-то хотел поговорить?

— Нет, — сказал Шкет. — Больше ни про что.

Кошмар ушел.

Напротив через коридор была комната, куда Шкет никогда не заглядывал. Он открыл дверь.

Доллар — силуэтом на фоне драной шторы — обернулся. Из-за него с подоконника выглядывал лев. Вкус гари в горле у Шкета разлился поразительной вонью: на одном из груды матрасов зияло обугленное гало вокруг двухфутового кратера пепла и горелого хлопка. Одну стену обклеили картинками из газет и журналов; многие уже успели содрать.

На Шкета глянул один из троих черных, сидевших на полу. Маленькая блондинка набросила

бушлат на плечи, натянула на грудь.

— Ты чего… то есть это, братуха, эй?.. — Доллар нестойко шагнул ему навстречу. — Шкет, слышь, ты же вроде нормальный, да? Ты меня не уроешь? Пожалуйста, а? Слышь, я в жизни такого не делал, понимаешь?.. Хочешь, я?.. — Еще шаг. — Эй… ты чего добиваешься, ну? — Его рука заползла в цепи на шее, заплелась вокруг них.

— Уж не знаю чего, — ответил Шкет, — но, похоже, не без успеха. — Все мускулы лица напряглись; он опять вышел в коридор.

В гостиной шумели. Донесся смех Кошмара. Его прорезал смех Леди Дракон.

Словно внезапно обжегшись, Шкет пощупал под жилетом на спине и вытащил книжки из-под ремня. Обе помялись. У одной потерта и грязна передняя обложка. У другой задняя.

— Эй, ну кончай, солнце, кончай! — завопил Кошмар. — Ты чё со мной делаешь, а? Ты чё… — И взрыв хохота.

— Я только спросила, — с истерической расстановкой объявила Леди Дракон, — не хочешь ли ты, сука, кофе… — Последний слог обратился в визг, рассыпался контрапунктом Кошмарову смеху, и оба плюхнулись в цистерну веселья.

Шкет укрылся в туалете.

Спустив штаны до колен, сел. От беглого пузырька свело живот; судорога прошла. Он испустил газы и понял, что в брюхе ничего нет.

Он перевернул книжки, полистал одну, затем другую. Собрался хотя бы одно стихотворение прочесть целиком. Спустя минуту заметил, что раздумывает не о том, какое прочесть стихотворение, а в какой книжке его прочесть. Неуют в животе — это что, призрак газов? Нет.

Он положил по книжке на ладонь, покачал. На написание всего этого было потрачено *время*. Время — это утра, когда морщился лоб и услужливо стихала трава за краем одеяла; вечера в баре, где свет свечей размечал бутылки с разным содержимым разной высоты, как поршни в двигателе; обрушенные бордюры по бокам, а он сидел, и кончик ручки жег ему средний палец. Пока писал, не думал хоть что-нибудь вернуть. Но перспектива публикации как-то убедила его, будто творится магия, которая отчасти вернет ему *in tacto* (не *memoriam*)[40] то, что расшвырял этот город. Ныне, пред лицом дефективных объектов, это убеждение опознано по своей ложности. Но едва оно, спастическое и спотыкливое, умерло,

---

[40] Примечания: 40
Здесь: В ощущениях (…памяти) *(лат.)*.

пнув его в живот, он понял, что оно было подлинно и несомненно, как любая среда — как воздух для птицы, вода для рыбы, земля для червя.

Он был обессилен — бессилием, что истребляло нужду. А постижимой виделась только нужда попытаться вновь; написать новые стихи, составить из них книжку, репродуцированием придать ей подлинности, дать этому глюку еще один шанс!

Писать ему было нечего. Не приходило в голову, каким будет еще одно его стихотворение, как оно запоет, как оно хотя бы выглядеть-то будет? Вот почему, подумал он, это называется «творение»? Текстура глаза, рябь воздуха вокруг поглотили всё. Ничего не осталось (…о том, что ты видишь вокруг, что творится с тобой, что ты чувствуешь. Нет). Нет. Что-то должно быть… сотворено. Как было сотворено вот это.

Напряглась мышца плеча.

Некогда он таких вещей боялся:…от стенки сосуда отрывается тромб, мчится к сердцу, закупоривает клапан! Привычка вызвала дрожь.

Дыхание перехватило, а он ухватил штаны и книжки, которые уронил. Манекен, закованный в цепи и окровавленный, прислонялся к бачку и снизу вверх благостно лыбился левому соску

Шкета. Тот почесал сосок, вновь сунул книжки под ремень и вышел.

В комнате у Денни взобрался по лестнице — сразу на вторую перекладину. Подбородок сровнялся с платформой.

— Эй, просыпайся!

Денни не проснулся, поэтому Шкет долез, оседлал его и обеими руками обхватил за голову.

— Эй!

— Блин!.. — Денни попытался перекатиться на спину. Одна рука вырвалась и замахала. — Блядь, ты чего?..

— Давай вставай! — Шкет усилил хватку, и руки Денни сжали ему запястья.

– *Ладно!* — сказал Денни; щеки ему сплюснуло, и голос исказился. — Ёпта, чувак. Встаю, встаю, видишь?..

— Отведи меня к Ланье. — Шкет убрал ногу и сел на пятки. — Ты же знаешь, где она живет, да? Ты ее туда провожал. Ты знаешь!

Денни заворчал и приподнялся на локтях. У его головы на мятой зелени валялись сапоги и цепи. Кожаная пола жилета распахнулась, открыв порозовевшую полосу поперек восковой грудной мышцы.

— Ну типа да.

— Поднимайся, хуесос. — Шкет взмахнул рукой. — Я хочу к ней в гости.

— Хорошо, хорошо. — Денни закинул руку за голову, нащупал сапоги, принялся их надевать. Один раз поднял голову и сказал: — Ёпта!

Шкет ему ухмыльнулся:

— Шевели булками.

— Иди нахуй, — сухо ответствовал Денни и просунул голову в гремящие цепи. — Пошли. — Сбросил ноги с края платформы и спрыгнул.

Подождал в дверях, пританцовывая; Шкет слетел по лестнице.

— Куда торопиться-то? — спросил Денни. — Эй, не толкайся, ну? — потому что Шкет выпихнул его в коридор.

— Тебе не больно, — сказал тот. — А ты знал, что Доллар отметелил какого-то пацана трубой до смерти?

— Чё? Когда?

— Вчера.

Денни попытался присвистнуть. Сначала вышел писк, а потом только воздух.

— Доллар совсем больной на голову, ты в курсе? То есть он всегда был ненормальный. Блин, да в гнезде все белые — психи.

— А то. — Шкет довел Денни до передней две-

ри.

— А зачем он так?

Шкет пожал плечами:

— Без понятия.

Дверь отворилась. Вошел Тринадцать (за ним Кумара) и огляделся, будто ожидал чего-то… иного.

— Эй, Шкет! О, привет, друг, хотел поговорить. Знаешь Доллара? Ну, короче, мы только пришли, но… мне вчера сказали, он перекладиной с замка одного пацана отдубасил до…

— ОТВЯНЬ! — очень громко сказал Шкет Тринадцати в лицо и занес кулак. Если так оно и дальше будет, подумал Шкет, я кому-нибудь врежу. — Просто отвянь, понял?

Тринадцать, прижав ладонь к зеленой майке (татуха «13» растянулась вширь), попятился к одной стене, Кумара, распахнув глаза, к другой.

Шкет положил руку Денни на плечо:

— Все, давай. Пошли!

Они прошагали между этими двумя и вышли вон; дверь за ними захлопнулась.

VI
Палимпсест

1

— …Смотри у меня. Ага-ага, смотри у меня. Я-то знаю. Я знаю. — Он погрозил пальцем, попятился, заболботал по-испански. Затем: — Они до тебя *доберутся*…

— Слушай, мужик, — сказал Шкет. — Давай ты…

— Ничего. Ничего. Ты у меня смотри. Пожалуйста, а? Прости. Прости. — Толстая шея вспотела. Он потеребил шерстяную ткань. — Прости. Не трожь меня только, а? Они до тебя… — Внезапно он заозирался, развернулся и затопал в проулок.

— Господи боже. — По лицу Денни бродила улыбка. — Это… что было?

— Не знаю.

Одна книжка упала на тротуар. Другая прислонилась к бордюру.

— Подходит такой и давай толкаться. Я думал, ты ему в табло дашь. — Денни веско кивнул. — Надо было дать. Чего он к нам прицепился?

— К тебе он не цеплялся. — Шкет подобрал книжки и снова сунул под ремень.

— Он крышей поехал, да?

— Пошли, — сказал Шкет. — Он… да, крышей

поехал.

— Господи боже. Во идиотство. Ты его раньше видел?

— Ага.

Они зашагали.

— А тогда он что делал?

— Примерно то же самое… один раз. А в остальные… Вполне нормальный был.

— Псих, — резюмировал Денни и почесал в паху обеими руками, не вынимая их из карманов. — Она вон там живет. Я думал, ты уже знаешь. Она тебе не сказала?

— Нет.

Денни сморщил нос:

— Это говно в воздухе. По-моему, нездорово это, между прочим. Что такое?

Шкет остановился, подцепил цепь на животе. Под стеклянным кружком подушечка большого пальца исказилась, превратилась в бок зебры: в коже завивались грязные бороздки.

— Она живет вон там, — осторожно повторил Денни.

— Понял.

Они в ногу зашагали наискось к повороту.

— У нее там красиво.

Напряжение застыло, зависло: жаль, что нельзя

вглядеться пристальнее — преломить, отразить, увеличить…

Они свернули за угол и на пустую улицу.

— Как будто вот-вот дождь, нет? — сказал Денни.

— Тут всегда как будто вот-вот дождь.

— Но не чувствуется, что дождь.

— Тут никогда не чувствуется, что дождь.

— Да, кстати, и правда. — Уцепившись за алюминиевые перила, Денни запрыгнул на бетонные ступени. — Никогда!

Шкет поднялся следом, озирая трехэтажный фасад. Денни вдавил кнопку звонка.

— Они живут на верхнем этаже. А нижние два пустые — так никто не догадается, что дом обитаемый.

— Разумно, пожалуй, — не привлекать внимания. — Шкет как раз собрался спросить, кто остальные «они», но тут по лестнице защелкали шаги.

— Кто там? — спросила женщина. Голос знакомый? Интересно откуда.

— Я друг Ланьи. Хотел с ней повидаться.

Глазок потемнел.

— Секундочку.

Дверь отворилась.

— Представляете, не сразу узнала ваш голос, — сказала мадам Браун. — Как поживаете, Шкет? — Заметила Денни: — Привет. Рада опять вас видеть… вы Денни, да? — Шея блеснула.

— Ланья живет с вами? — Шкет был потрясен, не понимая отчего.

– *Угхм*. Заходите, прошу.

Где-то над нижней лестничной площадкой гавкнула Мюриэл.

— Цыц! — скомандовала мадам Браун в воздух. — Цыц, я сказала!

Собака гавкнула еще трижды.

— Заходите, заходите. Прикройте дверь. Она сама защелкнется.

Следом за мадам Браун они двинулись по лестнице.

— По-моему, — бросила она сверху, — Ланья спит. У нее школа, но нам обеим все равно никак не дается режим. Не знаю, когда она легла. Подозреваю, что довольно поздно.

— Она захочет со мной увидеться, — сказал Шкет. И нахмурился в жесткий рыжий затылок.

— Ой, ни капли не сомневаюсь.

Они свернули на первой лестничной площадке.

Показалась Мюриэл — и опять гавкнула.

— Цыц! Ну-ка цыц! Ты их знаешь, дорогая. Это Шкет. И Денни. Ты с Денни в прошлый раз играла часами. Перестань. — Она потянулась к собачьей морде; Мюриэл притихла. — Я сказала, что Ланья спит? Теперь я уже сомневаюсь. *Плохая* девочка! Плохая!

Денни смотрел и вверх, и вниз, и в стороны — непохоже было, что он часами здесь играл. Всюду подсвечники: три на столике под портретом в раме, полный свечей чугунный канделябр в углу, еще два подсвечника на подоконнике между белыми занавесками, потускневшими от неба.

— А электричество у вас тут есть? — спросил Шкет.

— В двух комнатах, — отозвалась мадам Браун. — А, свечи? Ну, Джексон совсем недалеко — мы подумали, не помешает запастись на всякий случай.

Две комнаты, а за ними в сумраке — стена, заставленная книгами, письменный стол, мягкое кресло.

— У меня там кабинет, — пояснила мадам Браун, перехватив Шкетов взгляд.

Отчего глаза его обратились к подсвечникам в следующей комнате.

– *Э*… очень красиво тут у вас.

— В этом районе есть чудесные дома, если поискать. Найти совсем не трудно. Хотя с этим нам, пожалуй, повезло. Здесь уже была почти вся мебель.

— Аренда, наверно, грошовая, — сказал Шкет. — Если вас не смущают соседи.

— Да нет, мы вообще не платим за… — Спустя мгновение бесстрастия (Шкет остановился, а Денни в него врезался) она рассмеялась — громко, пронзительно. — Кстати, поздравляю с книжкой! Мэри Ричардс мне на днях показывала. Она теперь всем говорит, что вас знает.

— М-да? — Хотел цинично улыбнуться, но удовольствие спихнуло его в радостную, дурацкую искренность. — Правда?

— После ужина зачитывает отрывки вслух. Если заглянете как-нибудь, вас примут с распростертыми объятиями. — Она задрала бровь. — Абсолютно точно.

— Она, может, и да, — ответил Шкет. — А он нет. Вам не кажется, что эти люди?.. — и, присмотревшись к ней, решил не продолжать.

Но она приняла вызов:

— Как там было у этого писателя — вы, молодежь, несколько лет назад им зачитывались: «Трудно научиться любить не человечество, а тех

людей, что случились под рукой».[41]

«Собрание стихотворений 1930–1950», «Камни», «Паломничество», «Риктус», «Динамический момент», «Чувствую: началось» и «Приют „Балларат“» — все за авторством Эрнста Новика — выстроились на углу стола между двух африканских статуэток, заменявших книжные ограничители. Последние три тома, вместе взятые, вдвое толще первых четырех.

— Под рукой у меня их не случилось. Я же не ставлю ваших друзей в вину *вам*. Я и сам довольно странные дружбы вожу.

— Я понимаю — поэтому, кроме прочего, я к вам с симпатией. А мне они ничего не сделали… пока что.

«Пока что» открывало ему немало возмож-

---

[41] Примечания: 41

Мадам Браун цитирует Курта Воннегута, искажая и перемешивая, очевидно, две цитаты — из романа «Сирены Титана» (*The Sirens of Titan*, 1959), где соответствующая фраза в перев. М. Ковалевой звучит так: «Сколько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни — кто бы человеком ни управлял, — только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой», и из романа «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями» (*God Bless You, Mr. Rosewater, or Pearls Before Swine*, 1965), где один из персонажей говорит: «…Вы… пытались разрешить проблему, которая несомненно встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так: „Каким образом проявлять любовь к лишним людям?“» (перев. Р. Райт-Ковалевой)

ностей. А также испытывало на прочность его самообладание. Поэтому он спросил:

— А как вышло, что вы с Ланьей… тут вместе живете?

— Ой, она прекрасная соседка! Энергичная, жизнерадостная… приятно, когда рядом такой умный человек. Когда мне пришлось переезжать… но вас тогда не было. Могли бы помочь с вещами. Меня испугали до смерти. Ничего конкретного, но пришлось сменить жилье. Ланья помогла найти этот дом. Она мне всегда нравилась, и… в общем, я предложила поселиться вместе. Очень хорошо получилось, на мой взгляд. До ее класса отсюда всего пара кварталов. Мои немногочисленные пациенты…

Позвонили в дверь.

— А вот и один из них. Собственно говоря, — огибая их и направляясь в прихожую, — я думала, что вы пациент. Когда вам открывала. — Она указала в коридор: — Ланья живет там. Идите разбудите ее. Я знаю, что она хочет вас видеть.

Они услышали, как размеренная спешка ее шагов по коридору сменилась торопливым галопом по лестнице.

Денни сказал:

— Красиво у них, да? — тихонько и пососал

верхнюю губу, где на покрасневшей коже торчали бледные волоски. — Хочешь… к ней?

— Ага.

— Ладно. — И Денни вошел в коридор.

В затейливой люстре не было лампочек. Обрамленная позолотой гигантская картина (с Денни высотой, со Шкета длиной) на ходу в тени показалась совершенно черной.

— Вот эта дверь, — сказал Денни.

Приоткрытая.

— Ты заходи, заходи, — сказал Шкет. Денни не стал, и Шкет зашел первым.

В лицо дохнуло теплом. Здесь гарь отдавала газом — перед плиточным камином сквозь низкую решетку помигивал и шипел обогреватель.

Ланья спала на тахте под розовым одеялом. Перед огромным холстом, ярким и без рамы, белая и лиловая растительность тянула к Ланье руки из дюжины горшков, плела паутину в эркерном окне, свисала с каминной полки.

— Господи, во жарища! — сказал Денни. — Как она тут ухитряется спать?

— Давай, — сказал Шкет. — Буди ее.

Денни насупился.

— Хочу посмотреть, — сказал Шкет.

Денни языком оттопырил нижнюю губу. Шаг-

нул к тахте…

Щека ее прижималась к подушке, голые плечи лежали на простыне. Рука против лица резко согнута в запястье. Из-под одеяла торчала одна обведенная серым пятка — пальцы повернуты внутрь.

…уперся коленом в матрас (она сказала *Ыыыыы*, спрятала лицо, а пятка уползла под одеяло), перебросил через нее другое колено, сел верхом и обхватил за голову.

— Эй… — Из-под одеяла высунулась рука, замахала. — Черт, отпусти… — Она перевернулась на спину. — Ты что делаешь, ну… Ой, привет… — Рука обхватила Денни за бедро. — Слушай, птенчик, я сплю как сурок, ну?..

Денни опять потряс ее за голову…

— Кончай…

…и засмеялся.

— Шкет велел тебя разбудить.

— А?

— Он хотел посмотреть.

— В бинокль с крыши через улицу?

— Он тут.

— Где? — Она приподнялась и выглянула из-за его ноги. — Эй! — И затем улыбка излилась ей на лицо, мешаясь со сном, как молоко с водой, а

глаза прояснились, как жадеит.

— Я тебе кое-что притащил, — сказал Шкет.

— Его? — Она положила голову Денни на ляжку. — Мне он нравится. Он шикарный, ужасно мило с твоей стороны. Но я адски хочу спать.

— Не его. — Шкет достал книжки. — Вот чего. — И сел на постель.

Футболка у нее на боку порвалась, и он видел, где начинается грудь, различал сосок под тканью. (И задумался о разнице оттенков, для которых даже он не мог подобрать иного слова, кроме «белый».)

— Это что?.. — А потом она отпустила Денни; тот сел, и тахта вздрогнула. — Ой! — И, улыбаясь, взяла книжки.

— Это чё вообще? — спросил Денни.

— Стихи Шкета! — ответила Ланья.

— Одна, видимо, тебе.

— Да? — переспросил Денни. — А чего сразу не отдал?

Ланья протянула Денни книжку и открыла свою.

— Очень красиво получилось… Только на этой ты, кажется, немножко посидел.

— Ты на меня больше не злишься? — спросил Шкет.

— А я злилась?

— Мне иногда кажется, что ты страннее меня.

— Женское Освобождение совсем лишило нас прерогативы передумывать, *хм*? — Она вздохнула. — Чему обрадуются многие.

— Эй, — сказал Шкет, — а ты трахаешь мадам Браун?

— Нет! — Ланья в удивлении оторвала взгляд от книги. — С чего ты взял?

— Не знаю, — пожал плечами Шкет. — Она любит девчонок, а ты, ну, здесь…

Ланья нахмурилась. Книжка хлопнула по одеялу.

— А просто дружить в этом городе уже нельзя?

— Надо бы тебе ее трахнуть. — Денни от своей книжки не оторвался.

— Это почему? — осведомилась Ланья.

— Потому что вы друзья, — ответил Денни.

Ланья еще похмурилась. Потом рассмеялась:

— Контркультурный Дейл Карнеги сказал свое слово? Эй, ты мне ногу отсидел, подвинься.

Денни подвинулся.

— Ты все это написал? — Он перевернул страницу, поглядел на обложку, опять открыл книжку. Снова перевернул страницу, закрыл, открыл. — Эй, так *вот* что в этой, сука, газете

рекламировали?

— А то. — Ланья тоже перелистнула. — Ой, какой ты лапочка, что принес. — Она глянула на Шкета, вновь в книжку. — Только… только можно я скажу?

— Что?

— Я уже всем знакомым раздала книжек по двенадцать. И где-то половину знаю наизусть — выучила еще до публикации.

— Это ничего. — Шкет прикинул, приятно ему или нет.

— Хотела попросить тебя подписать ту, которую оставила себе. Но теперь эта моя. — Она прижала книжку к носу. — Пахнет тобой. Гораздо лучше автографа, я считаю.

Денни в шестой раз закрыл свою книжку и тоже понюхал.

— Тебе нравится, как Шкет пахнет?

– *Мммммм*. — Ланья рукой обхватила Шкета за грудь и опрокинула на себя. — А тебе нет?

— У меня от этого встает, — сказал Денни, — иногда. Но я не уверен, что мне *нравится*.

Шкет лег.

— Хорошо, наверно, что ты их раздавала. Я не знал, что они уже так давно вышли. Нет, ты мне теперь расскажешь, какие еще дни я пропустил.

Как ты развела тут эти джунгли?

— Это все колеус, — сказала она. — Он растет везде.

— Жуть, — сказал Шкет. — Натуральные, блядь, джунгли у тебя.

— Растения успокаивают.

— Если не откусывают руки, когда их поливаешь. — Сквозь лиловую пестроту он вгляделся в оштукатуренный потолок (тоже белый, но не такой, как ткань или плоть). — А я знаю Уолли Эфрина?

— Уолли? Конечно знаешь. Он из коммуны. А что?

— Мы его вчера убили.

Он думал, она дернется; но нет.

— Что?

— Вчера один наш белый мудак, из тех, что потупее, проломил ему голову трубой; до смерти. При тебе, кстати. В кухне, внизу, пока мы на балконе сидели.

— Это Доллар его, — пояснил Денни.

— Боже мой… — прошептала она, потрясенно помрачнев.

— С Долларом ты разговаривала, он еще такой весь был… — продолжал Денни.

Пока она не перебила:

— …Доллара я помню. Уолли?

— Уолли — это кто? — Шкет закрыл глаза.

— Это который вечно про Гавайи твердил.

— А. — Шкет открыл глаза. — Да. Помню.

— Он… умер?

— Дурацкая какая-то драка. Не знаю, что у них там случилось. Мы все там были, и никто…

— Я знаю, что случилось, — сказал Денни. — Доллар — псих ебанутый! Кто-то, небось, сказал лишнее, а у Доллара отказали тормоза.

Ланья поцыкала.

— Типичный Уолли. Шкет, какой ужас! И что теперь будет?

Он пожал плечами:

— А что, например, может быть?

И в этот момент Денни втянул воздух и сказал:

— Ёпта, чувак! Кровожадные, сука, у тебя стихи. Вот этот, про пацана, который в шахту лифта упал… Ни хера себе…

Шкет на него глянул.

— «…Обе ноги… сломаны, — разобрал Денни, — мягкоголовый, желейнобокий…»

Шкет резко перекатился, цапнул книжку, дернул на себя («…Эй, ты чё?..» — сказал Денни), через Ланьины колени вытянул шею, вгляделся в текст.

Но Денни прочел *неверно*. Не угадал напрочь.

Шкет лег щекой Ланье и Денни на ноги.

— Ты как? — спросила Ланья, а Денни коснулся его лица.

— Нормально, — сказал Шкет. — Абсолютно, я в норме. — Поднял голову. — Откуда ты узнал, про что стихотворение? В нем ни слова нет про шахту лифта.

— Я… ну, я подумал, оно… — Денни удивился, — про это. Я ж там тоже был, помнишь?

— А. — Шкет опустил щеку обратно. — Точно.

— А Доллар остался со скорпионами?

— Ага.

— Цел?

— Если Саламандр не надумает его кончить. Утром приходили Джон и Милли с делегацией. Выражали возмущение. Я наорал на Доллара. Просто наорал. Хотел узнать, что было-то. У него с головой нелады, надо очень громко орать, чтоб дошло. А все заерзали.

Ланья сказала:

— Я тоже в смертную казнь не верю. А Уолли — не самый популярный был персонаж. Бу-бу-бу-бу-бу… временами *бесило*…

— Не в том дело…

— Я *понимаю*! Уверяю тебя, я понимаю. Я по-

нимаю. — Она наклонилась, покачала его. — Я просто…

— Ты не веришь в высшую меру при условии, что есть психушки, так? С палатами для буйных. Короче, у нас тут палат для буйных нет. И тюрем тоже.

— Но надо ведь…

— Слушай. — Шкет рывком сел и развернулся. — Я не верю в смертную казнь, точка! Я считаю, когда человек убивает человека, потому что его от этого прет или ему приспичило, в этом… наверно, ничего хорошего нет. Но когда собирается толпа народу и решает убить человека по любым соображениям, от «хорошо» до «удобно», — это *плохо*!

— Боже мой, — повторила Ланья. — Донасьен Альфонс Франсуа де…

— Чего? — сказал Денни.

— Ничего. — Она спихнула с себя одеяло. — Пошли прогуляемся, что ли. Я больше не хочу спать.

Шкет внезапно цапнул Денни за волосы и потянул.

— Эй!..

Шкет его повалил. Денни уронил книжку и схватился за локоть Ланьи.

— Ты чё!..

— Нравится тебе, как я пахну?

Ланья сказала:

— Эй, ты что… — и отодвинулась, хмурясь.

Денни замолотил рукой. Шкет ее поймал и пригнул Денни головой себе в колени.

— Нравится, а?

— Ёпта! — Ланья подергала Шкета за запястье. — *Отпусти* его!

— Эй!.. — Денни нервно захохотал и задергался; вырваться не смог и слегка взвизгнул. — Кончай, отстань…

— Нравится, гаденыш!

Денни рукой обнял Шкета за пояс и вывернул лицо:

— Да!..

— Шкет, перестань, ради…

Шкет внезапно разжал и задрал руки:

— Видишь?

Другой рукой Денни обхватил Шкета за другой бок. Лицом сунулся в Шкетовы джинсы, вдохнул.

— Мне с ним так можно, — пояснил Шкет Ланье. — Ему по кайфу. Тебе же по кайфу, да?

— Пошел нахуй, — ответствовал Денни. — По кайфу мне, по кайфу.

— А *тебе* нравится, как пахну *я?* — Ланья вско-

чила. Одно колено пронеслось над Шкетом. Ланья схватила его за уши. Он начал было:

— Эй… — но слова превратились в рев, и он им не воспрепятствовал, и задрал голову, глуша рев у нее между ног. Она согнулась и сцепила руки у него на затылке.

— Тебе нравится, блядь, как я пахну? Ага, нравится… — а потом засмеялась и рухнула на бок. Изножье тахты подпрыгнуло.

Он сказал:

— Амнямнямнямням, — как можно быстрее. Ноги у нее были теплые и зажимали ему уши. Напружинилась челюстная связка.

По-прежнему смеясь, Ланья сказала:

— Но я по-жесткому столько не протяну, сколько ты.

Он высвободил рот.

— Мне все равно нравится. На завтрак, на обед, на ужин…

— Эй. — Над ее бедром всплыло лицо Денни. — А мы не слишком, сука, шумим? Что у нее там за пациент-то?

— Господи… — расхохоталась Ланья.

— Она психотерапевт, — ответил Шкет. — Мозгоправ, ёпта. Ебанутых лечит — как вот мы.

— Я хочу гулять, — сказала Ланья. — Встаньте

оба, пожалуйста, дайте мне надеть штаны?

— Она по чесноку мозгоправ? — переспросил Денни. — У нее там сейчас псих?

— Да, — сказала Ланья. — А теперь убери жопу с моей ноги, будь любезен?

— Тебе просто трахаться неохота, — сказал Шкет.

— Отнюдь нет. Мне просто *охота* подышать воздухом.

Шкет раскачался, встал.

— Ладно. Хорошо. И вообще, как тут трахаться, когда на тебя эти венерины мухоловки пялятся? — И сообразил, что ему от них нехорошо — неловко признаться, до какой степени. На столе в эркере лежала его тетрадь.

— Прекрасный предлог смыться отсюда, — сказала Ланья.

— Я книжку за кровать уронил, — сказал Денни. — Пого… э… а, вот.

Шкет подошел к столу и перевернул замызганную обложку. Внутри лежал листок из телефонного блокнота, изрешеченный его почерком.

— А гранки с твоей правкой — в правом верхнем ящике. — Последние слова заглушила сдираемая через голову футболка. — Мистер Новик отдал мне перед самым отъездом, когда мы не знали,

куда ты делся.

Шкет сел на драный тростник кресла.

Быстро пролистал, нашел на три четверти пустую страницу. Сдернул ручку с жилета. Путаные страницы защебетали под ее нажимом. Он писал очень быстро, кривя лицо; губы поперек зубов приоткрылись, снова сомкнулись. Подвешенное напряжение там, где хребет упирался в мыс крестца, стало отпускать. Ни он, ни оно еще не закончили, и тут Денни сказал ему в спину:

— Шкет?

Но он прикрыл страницу обложкой. Затем обернулся. Ланья, сидя на тахте в джинсах и кроссовках, но без рубашки, оторвала взгляд от сборника стихов.

Денни стоял посреди комнаты, распластав ладонь по бедру.

— Я… *ммм*… ты говорил… я хотел тебе сказать, Шкет, что, ну, короче, когда ты со мной так, обзываешься и все такое, и шпыняешь меня, я, пожалуй, не против. — Денни опустил глаза и сглотнул. — Но мне не *так* уж нравится. — Модуляция не удалась, и он прибавил: — Понимаешь, да?

Шкет кивнул:

— Понял.

Денни неловко покачнулся. Ланья отложила книжку на пол и подошла к Денни со спины. Подбородком уперлась ему в плечо, руками обняла за живот. Денни тоже согнул руки на животе, погладил Ланью по запястью и замер в ожидании.

Шкет подошел и обнял обоих; голая Ланьина спина под ладонями была горяча. Кто-то из них двоих обнял Шкета за талию. После паузы Денни сказал:

— Вы оба неправильно стоите. Он спереди, а ты где жопа, у меня нету шансов… Эй. — И притянул Шкета ближе, когда тот стал отстраняться.

Ланья, склонив голову через плечо Денни, волосами щекоча нос Шкету, подняла глаза, огромные-огромные — ярче всей листвы вокруг. Шкет подул ей на нос. Денни заизвивался.

— По-моему, три человека не могут поцеловаться разом… — сказал он.

— Мы еще как можем, — ответила Ланья. — Вот, смотри…

Спустя минуту — голова к голове, руки сцеплены друг у друга на спинах — Шкет сказал:

— Уютно.

— По-моему, — сказал Денни, сунув голову между их подбородками, — я чую больше, чем вы оба.

– *Ммм…* — кивнула Ланья.

— Ты вроде хотела погулять? — спросил Шкет.

Она опять кивнула:

– *Ммм?* Пошли.

Под левой рукой, затем под правой стало холодно. Последними, оторвавшись от его груди, Шкета покинули ее пальцы.

Он глянул на стол; может, стоит прихватить тетрадь?

— Жарища у тебя тут, — сказал Денни.

— Ой, выключи?

— А как?

— Ладно, я сама.

Шкет поднял голову; Ланья сидела на корточках перед обогревателем, кряхтя и крутя что-то внутри.

— Есть. — Встала. — Пошли.

— А рубашку ты не хочешь надеть? — спросил Денни.

Обогреватель залязгал боками, остывая.

— Будь другом, одолжи мне жилет?

— Запросто. — Денни вылез из жилета. — Но сиськи он тебе не прикроет.

— Если б я хотела их прикрыть, надела бы рубашку. — Она забрала у него жилет. — У этого города есть свои плюсы.

— Забавная ты дамочка.

— Забавный ты мальчонка.

Денни прикусил губу, затем размашисто кивнул:

— Я пиздец какой, да.

— А ты чего лыбишься? — спросила Ланья у Шкета.

— Ничего, — и заулыбался только шире. — Еще цепи на себя навесь — будешь как мы…

Она поразмыслила, посасывая нижнюю губу.

— Не. — Из-под полы жилета едва выглядывал один сосок. Другой прикрыт. — Просто интересно. — И с пола у тахты подобрала гармошку.

Они мною играют, загоняя на жесткие позиции. Дрейфуя по жесткому городу, я не понимаю, каким клеем крепить слова к языку во рту. Вот там их и держи — баюкай на мускульном дне. Ничего не случится. Как проще всего сказать, скажем, Кэмпу, и Денни, и Ланье, что всякий их день обессмысливает до абсурда их сужденья о ночи? В ответ я могу писать. Но зачем выпускать в полудень? Если держать во рту, злость очищается, капает в глотку горечью, субстанцией для руки. Думаю я не об этом. Это лишь (подумал он) ощущенье раздумий.

По пути через гостиную они не шумели. На

вершине лестницы Денни захихикал. Ланья погнала обоих вниз. На крыльцо все выскочили в истерике.

— Что смешного? — трижды спросила она; трижды ее лицо исказилось весельем и разгладилось.

Шкет подумал: в ее смехе бывает мгновенье, когда она *очень* уродлива. Подкараулил, увидел, как оно пришло и ушло, и засмеялся еще пуще. Она взяла его за руку, и он был этому рад. В его голосе разгладилась резкость.

И голос Денни тоже выровнялся от облегчения, которого Шкет не понял.

— Где твоя школа? — спросил Шкет.

— А?

— Денни сказал, ты преподаешь в школе. И мадам Браун что-то говорила про класс.

— Ты же *сама* мне сказала про школу, — вмешался Денни.

— Это вон там. Мы туда и идем.

— Ладно.

Она прикусила обе губы и кивнула; просунула руку Шкету под локоть, другую протянула Денни… а тот сделал вид, что не заметил, и канатоходцем пошел по бордюру. Поэтому Шкета Ланья тоже отпустила.

Зеленая куртка новая. Рубаха между латунными зубцами молнии на вид старая. Он двигался от угла, слегка пригнув голову. Неровные шаги мотали его влево-вправо не пойми как. Двадцать пять? Тридцать? Черные волосы почти до плеч. На костистом лице — ничего похожего на глаза. Он… подшкандыбал ближе. Крохотные веки поджаты над заросшими плотью глазницами, в остальном гладкими, как нутро чайной чашки. Из одной вдоль носа подтекала струйка слизи. Он приблизился, на чистом везении обрулив фонарный столб. На шее висела картонка на бечевке, где шариковой ручкой было выведено:

«Пожалуйста, помогите. Я глухонемой».

Денни придвинулся к Ланье и взял ее под руку. Слепонемой прошел мимо.

— Ни хера себе… — тихонько начал Денни. И затаил дыхание.

Из подъезда выбежал грузный белокурый мексиканец в одеяльной рубахе без воротника. Сбивчивый стук ковбойских сапог слепонемого утих, едва мексиканец схватил его за плечо; слепонемой высоко задрал голову, повел ею туда-сюда, как будто принюхиваясь, а мексиканец взял его за руку. Вдавил ему в ладонь кулак, и снова вдавил, и снова, рисуя то и это. Слепонемой кив-

нул. И они под руку заспешили к перекрестку.

— Ёпта… — изумленно протянул Денни. Глянул на Ланью: — Мы его, кстати, уже видели. Латиноса этого большого. Он толкал Шкета. Напрыгнул прямо на улице и давай толкаться.

— Почему? — спросила Ланья. И левой рукой придержала правую полу жилета.

— Не говори мне, что в этом блядском городе ничего не бывает просто так, — ответил Шкет. — Не знаю.

— Ну, — сказала Ланья, — обычно в Беллоне все бывает не… — И втянула воздух сквозь зубы. — Слепоглухой. Тяжко ему. Я один раз была в Сан-Франциско. Знаешь контору соцобеспечения на Мишн-стрит?

— Ага, — ответил Шкет, — я там хотел записаться на пособие, но меня завернули.

Она задрала бровь.

— Я однажды шла мимо… читала вывески «Пейдж Гласс Компани»?.. Опускаю глаза и вижу: идет толстая тетка, халат в цветочек, ведет старичка, а тот палкой по тротуару стучит. Тетка добирается до крыльца, нагибается и шарит рукой. И все твердит: «Я поняла… я поняла, где это». Еще три шага — и я догадалась, что она тоже слепая. Я смотрела на них, пока она не завела

его наконец в дверь. Это было дивно и немножко жутко. Но я пошла дальше и подумала: какой прекрасный образ почти всей истории человечества, про современную политику не говоря. Почти во всех отношениях, что я видела, есть что-то от… и тут, конечно, до меня дошло, и я заржала прямо посреди улицы. Но я о том, что пока я на них смотрела, до меня не доходило. Только и оставалось радоваться, как мне повезло, что я решила не быть художницей, или писательницей, или поэтессой. Вот как сейчас переработать этот совершенно реальный опыт в искусство, да?

— Я не врубаюсь, — сказал Денни. — Ты про что?

(Жилета на Денни не было, и теперь Шкет заметил, что одна из пяти цепей у него медная. Спина и плечи белы как камень, тут и там тронуты розовым.)

— Ну просто… — Ланья насупилась. — Вот смотри… слыхал выражение…

Он не слыхал.

Они объясняли полтора квартала, и тут Шкет заметил, что Денни опять идет между ними («Но *почему* нельзя все равно использовать, даже если кто-то уже так сказал? — опять вопросил Денни. — Если, например, указать, откуда ты

это взяла, тогда, может…»), но не вспомнил, как они поменялись местами; и сердито поменялся обратно.

— Это школа. — Ланья сжала Шкетов локоть. — Непохоже, я знаю. Но в этом как бы и суть.

— Похоже на аптеку, — сказал Денни. — Я б не стал разводить школу в доме, который похож на аптеку. У нас тут не стоило бы.

— Тут продавали одежду, — сказала Ланья.

— А. — Язык Денни сделал щеку холмиком. — Но на аптеку все равно похоже.

— Надеюсь, что нет. — И Ланья как будто взаправду забеспокоилась.

— По-моему, вообще не должно походить на магазин, — сказал Шкет. — Не то вломятся.

— О том и речь, — ответила Ланья. — Я думала, на магазин совсем не похоже. Ну, с тех пор как мы сняли вывеску. Просто дом с большими окнами. На нем ни слова не написано.

— Я видал такие аптеки, — сам с собой кивком согласился Денни. — Тут вечно вламываются в аптеки и кабинеты врачей — думают найти там всякое говно. И кое-что находят.

Ланья подергала за ручку:

— Я думала, похоже на кофейню.

Дверь распахнулась внутрь.

Войдя, Шкет обернулся и увидел шторы на окнах. Свет пронизывал тканье.

— Я их снаружи не заметил.

— А пользы-то от них? Окна совсем грязные.

— Темно тут, это да, — пробубнил Денни. — А электричество есть?

— Есть фонари, — ответила Ланья. — Но, по-моему, сейчас лучше не зажигать.

— Ты включи свои огни, — посоветовал ему Шкет. Рука Денни забренчала цепями.

Рука Ланьи прикрыла лицо.

— …я не ожидала! — засмеялась Ланья.

То, что прежде было Денни, двинулось к школьной доске, и на линолеуме закачались тени стульев.

– *Внутри* — явная школа.

— Сначала был детский сад. Вы не представляете, сколько в Беллоне детей! И мы тоже не представляем. Не все приходят к нам.

— Ты за ними следишь, пока родители на работе? — спросил Шкет.

— Я даже не знаю, чем их… — она глянула на него, сомкнула губы, поелозила ими по зубам, — чем их родители занимаются. Но детям лучше быть в безопасности и играть друг с другом. И мы их можем кое-чему научить. Чтению всякому;

арифметике. Это все Пол Фенстер начал. Большинство детей в моей группе — да, собственно, и во всех — черные. Но есть трое белых — прятались с родителями в «Эмборики».

— Ёпта, — сказал Денни. — И ты взяла этих паршивцев?

— Кто-то же должен был.

— Вот *я* их вряд ли полюблю.

— Еще как полюбишь. Чертовски симпатичные. — Она подняла упавший с гвоздя фонарь, повесила обратно. — Когда Пол предложил мне взять группу, я поначалу сомневалась. Гражданская активистка из меня та еще. Но вы не поверите, какие эти дети славные. И тихие. Семь, восемь, девять лет, толпа детей — до того порой тихие, что страшновато даже. Делают почти все, что я им говорю.

— Боятся, небось, до смерти.

Ланья скривилась:

— Я опасаюсь, что да.

— Тебя? — Огромный свет Денни подпрыгнул.

— Нет, — нахмурилась Ланья. — Просто боятся. Это я предложила хоть *поучить* их чему-нибудь… Время убить. Все лучше, чем выпускать их бегать на воле, — они же, главное, и не бегали. — Она моргнула. — Только сидели, ерзали и

куксились. — Она повернулась к столу. — Короче, здесь…

Поблескивала алюминиевая панель четырехкатушечного магнитофона, где столпился кворум шкал, двойных рядов кнопок, клавиш и ряды гнезд во множестве, под ней крученый провод, а на нем лежали три стоячих микрофона и несколько пар наушников.

— …раз уж вы здесь, — Ланья поставила один микрофон вертикально, — можете принести пользу. Я хотела кое-что попробовать — я работаю над одной штукой… Денни, если ты не выключаешься, хотя бы стой на месте. Очень отвлекает!

— Ладно. — По полу заскребли ножки. Трепещущие огни опустились на стул, пожрали его. — Ладно. А что делать?

— Для начала помолчать. — Она щелкнула переключателем; две катушки закрутились. — А дальше сложнее. Шикарная машина. Два четырехдорожечных магнитофона с реверсом на одном двигателе, встроенная синхронизация. — Она нажала еще кнопку; лента замедлилась. Ланья на гармошке сыграла руладу в микрофон, нажала «выкл.». Еще один палец вдавил черную клавишу. Катушки замерли, завертелись в другую сторону; опустился еще один палец.

Катушки замедлились, затормозили.

Еще палец.

Завертелись обратно.

Из-под стола — взгляд Шкета метнулся к металлизированной ткани динамика — мелофоном зазвенела гармоника, вдвое громче и с эхом.

Ланья покрутила ручку.

— Уровень высоковат. Но вот такой эффект я хочу на третьей дорожке.

Пленка побежала назад (еще кнопки: *чуд-чук*), потом в другую сторону. Ланья выдула еще руладу, проиграла.

— Блин, — сказал Денни. — На пленке прямо так, как ты сыграла.

Нет, подумал Шкет. На пленке совсем иначе. Сказал:

— Звук неплохой. — Но иной.

Ланья сказала:

— Плюс-минус. — Сильно выкрутила одну ручку, другую тронула слегка. — Вот так должно быть получше. — Нажала еще кнопку. — Ну, терять нечего. Тишина. Я записываю.

Денни скрипнул ножкой стула.

Ланья глянула через плечо, скривилась и встала к микрофону. Не отрывая подошвы кроссовки от пола, закачала коленом, отбивая ритм. Плечи

округло выпростались из пройм жилета. Она выдула долгую гнутую ноту. И еще одну. Третья словно выскользнула из паузы между ними, выгнулась назад, повисла в полумраке — три шкалы светились; красные стрелки дрожали — и перевернулась, преобразилась, что-то сделала со Шкетовыми бровями, и они сдвинулись к переносице. А Денни выключил щит.

Ланья играла.

Шкет слушал и вспоминал, как прятался в сумеречной листве, как листья щекотали ему подбородок, а Ланья уходила, творя ясную музыку. Потом некий музыкальный поворот возвратил его в здесь и сейчас этой комнаты, где кружились пластмассовые бобины, где в изгибе пленки подпрыгивал рычаг, и раскачивались стрелки на шкалах, и три (из четырех) огонька горели, как сигареты. Музыка была ярче памяти; лишенные контекста осколки эмоций разрешались ломкими медленными нотами. Ланья двигала губами и лбом; указательные пальцы вертикально торчали над серебром (ногти чуточку грязны; музыка совершенно прекрасна), потом сжались. Серебро скользило между губ. Она играла и еще играла, сыграла фразу, которую уже играла, довела мелодию до финальных каденций, вывела в какую-то

неожиданную тональность, и удержала там, и разразилась разрешающей последовательностью аккордов; то и дело в музыку проливалась крохотная трель, каждые два такта; и снова, и снова.

Она опустила гармошку, обеими руками прижала к голой груди и улыбнулась.

Спустя секунд, может, десять Денни зааплодировал. Растопырил ноги, замолотил пятками, засмеялся.

— Красота! Ни хера себе! Красота!

Шкет улыбнулся, пальцами босой ноги уперся в сапог, свел плечи; руки на коленях переплелись.

— Да…

Ланья улыбнулась им обоим, остановила катушки.

— Я еще не закончила. Дальше вы мне поможете. — Воткнула в гнездо пару наушников, бросила их Денни. — Не урони…

Он чуть не уронил.

Она было замахнулась, хотела бросить пару Шкету; но он встал и взял у нее из рук. Перепутанные провода упали на пол.

— Я запишу поверх еще одну дорожку. Помните вот этот кусочек ближе к концу? Теперь вам надо там хлопать, пять раз, каждый раз чуть громче. И, типа, крикнуть или гикнуть, например, на

последнем хлопке. — И она проиграла фрагмент.

Денни застучал ладонями друг о друга.

– *Только* пять раз, — сказала Ланья. — И крикнуть. Я скажу когда. Давайте попробуем.

Они попробовали. Денни заухал, как паровозик «чух-чух», отчего Шкет заржал.

— Ну *кончайте*, — сказала Ланья. — Пережимать не надо!

Они попробовали снова.

— Вот так. Надевайте наушники, наложим.

Резиновые амбушюры цапнули Шкета за уши и еще приглушили тишину в комнате.

— Я буду играть совсем другое. — Ланьин голос сквозь наушники был резок и далек. — Но я вам покажу локтями. — Она помахала им локтем и тоже нацепила наушники. Полы жилета разъехались. — И-и, — она запустила пленку; у Шкета в наушниках хрустнула тишина, — поехали.

Шкет услышал, как скрипнула ножка стула под Денни; но это на пленке.

А затем — долгая гнутая нота.

И поверх нее, едва прояснился ритм, Ланья принялась рассыпать высокие триоли, точно насекомых, — то эдак, то на полтона выше, то целым тоном ниже. Ее рот задергался на гармонике; из нижних отверстий она выволакивала

и вытаскивала вверх низкое ворчание. Задергался опять: затрещали ясные триоли. Прежняя мелодия вилась под ними, орнаментируясь ими; каждая третья нота уводила мелодию в новую гармонию, все ближе к ритмичному явлению Шкета и Денни.

Денни нагибался, расширив глаза, выставив руки вперед и вверх, баюкая в горстях невидимый шар. Шкету кончики пальцев щекотали ладонь… Голова склонена, чтоб четче улавливать ритм; глаза заклинило под верхним краем глазниц — чтоб видеть Ланью.

Она прогнулась назад всем телом и локтями ударила по бокам.

Шар у Денни схлопнулся.

Шкету обожгло ладони. И снова ожог. И еще. И еще — тон и голова поднялись, — и еще: лицо взорвалось шумом и внезапной радостью.

Под амбушюрами, из-под его крика шершавая ткань коды, вновь и вновь сбрызгиваемая крохотной трелью в чужеродном ключе, добралась до финала.

Денни, кажется, готов был лопнуть. Спустя пять секунд он заорал:

— Йи-хааа! — и запрыгал сидя.

— Кайфово, да? — Ланья улыбнулась через пле-

чо, перемотала пленку назад. — Я хочу наложить еще одну дорожку. Вам надо повторить все то же самое. — И пояснила насупленным бровям Денни: — Хочу, чтобы хлопала как будто *толпа*, а не двое. Попробуйте другую ноту взять, когда закричите. Если раньше высоко кричали, теперь надо низко. И наоборот.

— Без проблем, — ответил Денни. — Ты где так научилась?

– *Тш-ш*, — сказала Ланья. — Давайте запишем. Я на этой дорожке играю мало. Но пусть то, что я делаю, вас не сбивает.

Шкет кивнул, оттянул амбушюры — два кольца пота похолодели — и отпустил.

— Поехали. — Ланья оглянулась. — Готовы?

Хруст…

Скрип стула…

И гнется долгая нота…

Ланья усилила первую фразу нотами первой октавы, оторвала гармонику от губ, шагнула назад и под тихое вступление просвистала фразу. Одна из уже записанных гармоник ее подхватила. Шкет внезапно понял переход между тихим и громким на уже записанных дорожках; Ланья засвистела снова. И снова гармоники подхватили и органно развили ее свист. Она приложила гар-

мошку к губам, одному фрагменту придала басов, подождала, глянула на Шкета, на Денни. Набралось еще тридцать секунд музыки; Ланья вдруг пронзительно свистнула и опустила локти.

Шкет и Денни захлопали.

И Ланья тоже, широко шагнув от микрофона, кивая и стуча по ладони тылом руки с гармошкой. Они прохлопали звенящие пять раз и под уже записанные голоса крикнули втроем. Ланья вернулась к микрофону и прижала гармошку к губам, в финальный гобелен вплела обломки высоких нот.

Затем тишина.

Тяжело дыша, она негромко сказала:

— Ну вот… — и нажала кнопку. Бобины застыли.

— Господи!.. — Денни встал. — Обалдеть! Ты где взяла магнитофон? В смысле, ты где научилась…

— Пол одолжил для меня у пастора Тейлор.

— Ты раньше часто такое делала? — спросил Денни.

— Не-а. — Ланья сняла наушники, повесила на плечо микрофонной стойки. — Это я просто хотела попробовать. Раньше работала с записями, но…

Шкет сказал:

— Давай послушаем, что получилось! — Снял наушники и подошел.

— А как ты это назовешь? — Денни стукнул наушниками о столешницу.

— Осторожнее, — сказала Ланья. — Они нежные.

— Извини… Как называется?

— Одно время, — она большим пальцем провела Шкету по груди, — я думала назвать это «Призма, зеркало, линза». Но потом, — Денни исчез в световом шаре; Ланья сощурилась, попятилась, — после этой громадины в небе… не знаю. Может, назову просто «Преломление». Мне нравится.

Прикусив обе губы, Шкет кивнул:

— Давай. — Губы выпростались; их покалывало. — Включай.

Денни, замерзшая капля сияющего газа, переплыл в центр комнаты.

Закрутились пленки.

— Поехали…

Денни замер.

— …Хочу отметить, — Ланья отложила гармошку на стол, воздела палец, — что обычно такие штуки занимают часов шесть или восемь; а мы управились за каких-то два часа.

В динамиках под столом скрипнул стул Денни.

Шкет тихонько отложил наушники и прислушался (а в мыслях: преломление времени? Два часа? Я думал, минут двадцать всего!).

Долгая гнутая нота.

Заблудившись в машине, я умудрился уловить и содрать с корпуса опыта три слоя живых сильных долей: она начертала их своей музыкой, наложила друг на друга, и, истонченные пленкой и транзисторами, прозрачными паузами и хроматическими гаммами, измышленными ею, создательницей, они наконец прояснились для меня, созданного. (На пленке Ланья засвистала и заиграла под собственный свист, и гармоника обняла ломкие верхние ноты нижними, хриплыми.) К тому ли все идет (а в мыслях:), когда уходит? Вот мелодия, а вот… пронзительный свист, и теперь Шкет понял, что свист этот — реальный музыкальный сигнал начинать хлопать — и началось! Он послушал, как толпа народу хлопает в такт. На одной дорожке было сильное эхо, и казалось, что хлопают десятки людей. Хлопки нарастали; последний хлопок — и десятки людей крикнули, и среди них он узнал свой голос, и голос Денни, и Ланьи; но было и множество других. Их крики оборвались на диссонансе, какого не

взять ни на одной гармошке.

Но на трех, пожалуй, можно.

Финал прояснился в высоком вспомогательном регистре; трели проливались в стон аккорда — и взлетали над ним. Музыка обняла Шкета, под ложечкой сжалось.

Ланья слушала, опустив руки, пригнув голову, сосредоточенно хмурясь. Белые пятнышки верхних зубов вмялись в уголок губы.

Музыка закончилась.

Ланья слушала.

Потом Денни зааплодировал и засмеялся. Другой Денни, перекрикивая его, заорал: «Йи-хааа!» А Денни в комнате, объятый светом, сказал:

— Ты в курсе, что мы тут не одни? Вон, глянь…

Ланья вздернула голову. Остановила пленку.

Свет Денни переместился в темный угол.

— Вон, за доской.

— Чего? — Шкет подошел.

— Там большая такая черная сволочь, и, это, она тут сейчас насрет!

— Денни! — воскликнула Ланья и пробежала сквозь его свет по краю, а свет, смеясь, обернулся ей вслед.

Шкет оттолкнул доску, посмотрел.

Колесики стойки поскрипели и смолкли.

На женщине — черная шляпа и черное пальто, подол смялся вокруг нее на полу. Она поморгала, нашаривая веревочные ручки валявшейся рядом сумки. Подхватив сумку, выдохнула слово — вышел только ветер.

— Вам чего? — спросила Ланья. — У вас… все хорошо?

Глаза женщины сощурились на свет, который Денни, перескочили на Шкета и распахнулись. Она опять моргнула.

— У вас тут сок и печенье…

— Что?

— Это школа? — Говорила она хрипло. — У вас для детей сок и печенье? Ой, извините! — Ее кулак вдавился в двойной подбородок — жест напомнил Джун. — Я думала, возьму немножко. Я на Камберленд-Парке живу. А в нашем магазине больше нету. Хожу туда каждый день, каждый день было, вчера прихожу — ничего нет. Вообще ничего. Ох господи… у детей! Умоляю, простите меня!

— А нельзя, — спросила Ланья, — пойти в другой магазин?

— Ой, простите меня! Я правда…

— У тебя есть сок и печенье? — спросил Денни. — Почему нельзя ей дать?

— Потому что это… — Ланья губами поводила по зубам. — Подождите. — Она вышла из круговой иллюминации Денни; скрипнула дверь.

Женщина переложила сумку в другую руку.

— У детей забирать. Какой кошмар! — Голос у нее был слабый и низкий, как будто мужской.

Ланья снова шагнула в круг света. Одной рукой она обнимала две банки грейпфрутового сока. Другой — две коробки печенья с шоколадной крошкой; блестел целлофан.

— Держите. Но больше не ходите сюда. Не надо вламываться и таскать еду. Найдите другой магазин. В четырех кварталах отсюда есть — там что-то осталось. И еще один в полутора кварталах в другую сторону, где сгоревшая химчистка.

Женщина, розовея кончиком языка между губ, заморгала и открыла сумку.

Банки и коробки загремели внутрь.

Ланья подошла к двери, открыла, придержала.

Женщина в немалом расстройстве глянула на Шкета, на свет Денни и нестойко шагнула. В дверях замялась, внезапно развернулась к Ланье:

— Ты детишек в таком виде учишь? Грудями на них машешь? Какой *ужас*! И как тебе перед Господом не стыдно! — И улепетнула, колыхая подолом над заляпанными каблуками.

— Ты глянь на нее! — Денни (погасив огни) выскочил к дверям. — Щас сок у тебя заберем и!..

— Денни! — Ланья перехватила его на пороге.

— Нет, ты глянь на это говно! — Он развернулся в ее хватке, тряся головой. — Ты зачем ей это все отдала?

— Ой, да ладно. Пошли!

— В смысле, ну ёпта, она даже не сказала, понравилась ли ей твоя музыка!

Ланья придержала Денни за плечо:

— Может, если она хотела есть, музыка ее не интересовала. Она там просидела часа два…

— А твои сиськи, значит, интересовали? — Денни дернул плечом, сбросил ее руку. — Могла бы выйти. Мы бы ей ничего не сделали. Ну ёпта!

— Я из-за этого париться не буду, — сказала Ланья. — И ты не парься.

Шкет подумал: как эта тетка вообще сюда попала? А потом подумал: о чем это я сейчас думал… Что-то хотел спросить.

— Ага, пошли, а? — Он засмеялся и подумал еще: некая мысль только что стекла со скрижалей сознания — какая?

Следом за Денни и Ланьей он вышел наружу. И подумал: она парится.

— Закроешь дверь? — попросила Ланья.

— Кстати, — начал Шкет. — А как она?..

Денни оглянулся.

Ланья не оглянулась.

— Ну, в смысле. — Шкет ее догнал. — Там вообще дети-то бывают? А то мне все сложнее верить, если я сам не…

— А? — Ланья посмотрела на него.

Она задумалась и ничего не услышала.

Он улыбнулся ей, потрепал ее по загривку.

— «Преломление», — сказал он. — Мне нравится.

– *Мммм*. — Она запрокинула голову, потрясла волосами. Они задели его ладонь и запястье.

— А дальше ты что будешь делать с музыкой? — спросил он.

Она пожала плечами:

— Не знаю. А ты что будешь делать со стихами?

Он пожал плечами:

— Может, напишу… еще.

Она сунулась плечом ему под мышку.

— Может, я сочиню еще… может быть. — И вдруг: — Стыдно перед *Господом*? Да щас!

Денни, шагая вдоль бордюра и ковыряя грудь, глянул на Ланью. И ухмыльнулся.

Что она думает, подумал Шкет, зачастую по

виду и не поймешь. Порой (на ходу он составил каталог таких случаев) выяснялось, что ее мысли гораздо проще сложного их выражения. А порой (этот каталог был длиннее) — сложнее.

Денни — который, обеими руками взявшись за цепи, шел, опустив голову, глядя под ноги, — проще, злее, скучнее и (плюс помимо тела) предсказуем.

Ланья поднесла гармонику (когда, задумался Шкет, она забрала ее со стола? Но, кроме прочего, потерялось и это) к губам. Ее волосы уползли с его предплечья, когда она выступила вперед него; его рука скользнула по жилету, упала.

Ланья склонилась над серебристой гармошкой. Опустила ее. Покрутила в руках. Поднесла к губам. И снова опустила.

2

На вершине лестницы Шкет наклонился почесать Мюриэл, и та остервенело вылизала ему ладонь.

Мадам Браун вышла в коридор и сказала:

— А я даже не заметила, что вы уходили! Вот клянусь, только что слышала вас у Ланьи. Хотите вина или кофе?

— Можно того и другого? — спросил Денни.

— Безусловно.

— Мне только вина, — сказала Ланья. — И тебе, наверно, тоже, да?

— Ага, — сказал Шкет. — Спасибо.

Следом за мадам Браун они вошли в кухню.

— Хотите ко мне на праздник? — спросил Шкет. — У мистера Калкинза.

— Это который он закатывает в честь вашей книжки? Про который все говорят? — улыбнулась мадам Браун. Блеснула ожерельем.

— Чего? А, ну да. Видимо.

— Я с восторгом.

Ланья, скрестив ноги, качнулась назад вместе со стулом.

— Меня он пока не приглашал.

В сером окне у нее над головой по веревочке вился аспарагус.

— Сама же знаешь, что вы оба приглашены. — Шкет сел на табурет.

— Ты устраиваешь праздник? У Калкинза? — Денни, руки в карманах, прислонился к плите. И посторонился, когда мадам Браун потянулась за эмалированным кофейником.

Мадам Браун сказала:

— Замечательная должна быть вечеринка.

— Он сказал привести друзей, человек двадцать или тридцать. Я все гнездо позову.

— Дивно! — Ланья хлопнула в ладоши. — Наверняка он этого и хотел.

— М-да? Думаешь?

Мадам Браун в сомнениях выставила бокалы и подхватила с пола галлонную бутыль.

— Ну, будет интересно. — Она взялась за крышечку; от усилия лицо пошло морщинами. — В третье воскресенье, если не ошибаюсь? — Крышечку, похоже, заклинило. — Мэри меня не простит, если я пойду. Она пригласила меня к ужину. Но такое я ни за что не пропущу.

— Ну-ка дайте я. — Шкет открыл бутыль и налил желтого вина. — У вас тут много пациентов?

Мадам Браун, усевшись в садовое, кажется,

кресло, воззрилась на свой бокал.

— Немало. А *вы* не хотите как-нибудь прийти на сеанс?

Шкет поднял взгляд. И подумал: я смутился. Почему?

— Ланья рассказывала мне кое-что — о ваших чувствах, о переживаниях. И что у вас проблемы с памятью. Если хотите об этом поговорить, я буду рада.

— Сейчас?

Ланья покачалась на стуле.

Денни, сев за стол, переводил взгляд со своего винного бокала на кофейную чашку и обратно.

— Боже упаси. Допустим, где-нибудь на следующей неделе. Мне так удобнее. Я прекращаю работу с двумя пациентами, и, если планировать вперед, на следующей неделе будет попроще.

— А, — сказал Шкет. — Ага. Вы теперь занимаетесь терапией?

— Да, уже некоторое время.

Ланья пояснила:

— Я говорила мадам Браун, что ты уже ходил к психотерапевту.

— Ты ей сказала, что я лежал в психушке?

— Вы и сами как-то раз мне говорили, — заметила мадам Браун.

Шкет отпил вина.

— Да. Я бы с вами поговорил. Спасибо, что предложили.

— Вы считаете, он псих? — спросил Денни. Он пока что пил только кофе. — Он иногда чудит. Но, по-моему, не псих. Не как Доллар. — Поверх чашки Денни глянул на мадам Браун и прибавил: — Доллар уже одного чела замочил. Проломил ему башку трубой. Вот Доллар — он *настоящий* псих. Не хотите поговорить с ним?

— Закрой рот, а? — сказал Шкет.

Мадам Браун сказала:

— Боюсь, мне не хватит квалификации работать с… настоящими психами. «Безумцы» и «психи» — врачи такими терминами не оперируют; во всяком случае, не должны. И нет, я вовсе не считаю, что Шкет псих.

Голова Денни склонилась набок, язык выпятил щеку — Денни нащупывал в этом ответе снисходительность. Губы над чашкой переменили форму. Видимо, нащупал.

— Я не хочу подписываться надолго, — сказал Шкет, — приходить раз за разом… Да, я знаю, что положено так. Но я просто не хочу.

— Нужна вам долгосрочная терапия или нет, более или менее зависит от того, что мы выясним

на первых сеансах, правда? Не будем забегать вперед.

— Ладно… — напрягся Шкет.

— Я хочу сказать, — Ланья стукнула ножками стула об пол, — эта история с Долларом, который убил Уолли, сильно меня расстроила.

— О чем речь? — спросила мадам Браун. — Кто кого убил?

И они ей рассказали.

— Вот *он*, похоже, и правда псих, — кивнула мадам Браун.

— Не, он не *такой уж* псих, — ответил Денни.

Она вздохнула:

— Пожалуй, события того дня отчасти его извиняют. — Но сама, похоже, себе не поверила и занервничала.

Позвонили в дверь.

— Что ж, перерыв окончен. — И она удалилась.

Едва мадам Браун скрылась, Денни сказал:

— А ты в курсе, что пока ты ночью спал, два парня двух девчонок привели и трахали? Завелись будь здоров! Я раньше часто смотрел, но сам нет. Одна, мелкая белая, — совсем чокнутая. Реально. Чокнутая. Флинт сказал, я тоже могу, если охота. — Он покрутил чашку, выровнял ручку по трещине между досками столешницы. — И

я, короче, да. Но чтоб кончить, пришлось воображать, — Денни покосился на Шкета, — всякое с тобой.

— У тебя была *наполненная* жизнь, а? — Шкет не знал; и удивился.

Денни глянул на Ланью:

— И про тебя воображал.

— Даже и не знаю, лестно ли мне. — Она снова покачалась на стуле. — Я всегда полагала себя особой весьма просвещенной, но рядом с вами я словно только вчера из монастыря. Не то чтобы, — стукнули ножки стула, — я старалась за вами угнаться… ну, может, немножко.

Она встала, обогнула стол, обхватила лицо Денни ладонями, и оно завертелось между ними, открыв рот. Ланья накрыла этот рот губами. Целуя ее, Денни держался за край стола и тянул шею. Потом разжал одну руку и обхватил Ланью за талию.

— Эй… — он отодвинул лицо, — приятно, — хихикнул и снова ее поцеловал.

Оба оглянулись на смех Шкета.

— А что бы ты сделала, — сказал тот, — если б я привел все гнездо и велел им *всем* приходовать тебя по очереди?

Привалившись к плечу Денни, Ланья сдвинула

брови:

— За тобой не заржавеет, гад… Не, неправда. Ты не станешь. — Она опустила глаза и села Денни на колени; тот мигом накрыл ей грудь ладонью и нахмурился. — Групповуха, цепи, кожа — это все не мои жанры.

— У меня стоит, — сообщил Денни.

— У тебя стоит непрерывно с самого нашего знакомства, — ответила ему Ланья. — Слушайте, оба: меня заводит, когда трахаются два парня. Всё. Большинство моих друзей были геи. Меня от этого прет.

— Я много знаю парней, которых прет от дайков, — сказал Денни.

Ланья укусила его за ухо.

– *Аййй!..*

— Короче, — сказала она, — это меня возбуждает. А групповуха — *нет*.

— Несерьезно. — Теперь на стуле качался Шкет. — Но логично.

— По-моему, тебе идет мой жилет, — сказал Денни. — А мне идет без жилета?

— Донельзя, птенчик, — сказала ему Ланья.

— Эй, — сказал Денни. — Ты на меня злишься?

— Нет, — ответила она. — Просто слегка растерялась. — Она посмотрела на Шкета: — Никак не

могу понять, тот ли ты, за кого я тебя принимаю.

Шкет встал, подошел, расставил ноги над коленями Денни, положил руки Ланье на плечи.

— Если я говорю про то, как ты трахаешься с Денни или со мной, — это по правде. Если я говорю про то, как ты трахаешься с кем-то еще, — это шутка. Ясно? А ты делай и говори что угодно.

— По-моему, ты меня совсем не понимаешь, — кивнула она, глядя косо, буквально и фигурально, — временами.

Он поцеловал ее (лицо заворочалось между ладонями), и пришлось согнуть колени. Она легонько вертела головой, языком гладила его язык, сплетала пальцы у него на шее, крепче притягивала его к себе. В конце концов, чтоб не упасть, Шкет оперся Денни на бедро. Тот одной рукой взял его за плечо. Костяшки другой поползли по груди Шкета, лаская грудь Ланье. Руки Шкета скользнули между спиной Ланьи и животом Денни.

— Вы оба, — сказал Денни, — весите больше меня. Либо мне кирдык, либо стулу.

Ланья засмеялась Шкету в рот.

— Пошли к тебе потрахаемся, — сказал Шкет.

А он думал, один из них возразит.

Джефф Риверс	*Артур Пирсон*
Кит Темное Перо	*Эрлтон Рудольф*
Дэвид Уайз	*Филлип Эдвардс*
Майкл Робертс	*Вирджиния Колсон*
Джерри Шенк	*Хэнк Кайзер*
Фрэнк Йосиками	*Гэрри Диш*
Хэролд Редуинг	*Элвин Фишер*
Мэделин Терри	*Сьюзен Морган*
Присцилла Майер	*Уильям Дальгрен*
Джордж Ньюмен	*Питер Уэлдон*
Энн Харрисон	*Линда Эверс*
Томас Сэск	*Престон Смит*

За ее столом он перечел список в шестой раз. Небо за эркерным окном поплотнело и нависло, вечерне потемнело. Робертс или Рудольф, Риверс или Эверс: нафантазируй личность любому. А я бы какое выбрал? — задумался он. Как-нибудь перетасовать… Гэрри Морган, Терри Риверс, Томас Уэлдон? Ни одно имя не его. Быть может, одно из них ближе прочих? Нет… если все они — реальные люди, рассудил он, тогда все важны равно. Эй, Кэмп, не в этом разве суть этой демократии, что послала тебя на… Луну? (Но я его не *хочу*. Пользы мне от него — что от пригоршни долларов.) Плотно сжав губы, он собрал россыпь бумажек: три листа из телефонного блокнота,

две газетные вырезки, пустые задние страницы дешевой книжки, какие-то Ланьины листки — все, что он написал после «Медных орхидей». Я пообещал больше ничего не писать; Новик пообещал, что я напишу. Шкет улыбнулся, заложил одну бумажку за остальные. Вытащил «Медные орхидеи» из-под тетради, открыл, закрыл, опять открыл. Если долго держать ее на ладони, в животе ноет. До чего странный, дивный и дивно несуразный предмет! Прочесть ее целиком он по-прежнему не мог. По-прежнему пытался. И снова попытался, и снова, пока не перехватило горло, пока не вспотели предплечья, пока сердце не заколотилось там, куда он всегда мысленно помещал печень. Неприязнь или неловкость этого не объясняли. Скорее сама книжка вклинилась в некое уравнение, где ей не место, во всех покоях его сознания взрывая гиперрадикалы и дифференциалы. Он глянул на тетрадь, прочел то, что было на следующей после списка странице:

Языковой синтез: Витгенштейн, Леви-Стросс, Хомски – подозреваю, все они к тому и вели: пытались упихать обширные области философии, антропологии и лингвистики в набор параметров, ко-

торые не столько определяют, сколько отражают то, как философская, антропологическая и лингвистическая информация помещается соответственно внутрь, поверх и вокруг собственно сознания. В особо параметрических работах («Трактат», La geste d'Asdiwal, *«Синтаксические структуры»*[42] *– хотя все трое выпускали и гораздо более объемные труды, текстам такого рода надлежит быть очень краткими; ни один не превышает 30 тысяч слов) не обсуждаются сферы исследований; они аккуратно добавляют кристаллические катализаторы, которые в любом логическом уме (в противоположность умам обученным, знакомым с галереями*

---

[42] Примечания: 42

«Логико-философский трактат» (*Tractatus Logico-Philosophicus*, 1921) — работа немецкого философа Людвига Витгенштейна (1889–1951), один из центральных философских трудов XX в., посвященный отношениям языка и реальности и написанный вполне декларативно. «Деяния Асдиваля» (*La geste d'Asdiwal*, 1958) — работа французского структурного антрополога, этнолога, культуролога и философа Клода Леви-Стросса (1908–2009), анализ мифа об Асдивале, записанного основателем американской антропологии Францем Боасом, основополагающая работа в структурной антропологии. «Синтаксические структуры» (*Syntactic Structures*, 1957) — лингвистическая работа американского философа Ноама Хомски (р. 1928), положившая начало когнитивистике и генеративной лингвистике как научным направлениям.

свидетельств и суждений) неизбежно порождают прихотливые логические дискуссии о предмете на основании любых свидетельств, что случатся под рукой, ограниченные лишь желанием или способностью сохранять интерес к диалогу, развивающемуся во внутреннем ухе.

В эпоху, перекормленную информацией, такой «метод хранения» по необходимости популярен. Но эти примитивные

и на том страница заканчивалась. На следующую он не перелистнул. Витгенштейн, Леви-Стросс, Хомски; он поразмыслил над их звучанием. Год или полтора назад одного он читал — все, что смог найти.

О двоих других никогда не слышал.

— «Языковой синтез…» — Языку приятно произносить. — «Особо параметрические работы…» — Он взял «Медные орхидеи», подпер толстыми пальцами. — «…аккуратно добавляют кристаллические катализаторы…» — Кивнул. Особо параметрическая работа аккуратного кристаллического катализа языкового синтеза. По крайней мере, таким предметом книжка должна быть. Ну, она *короткая*.

Кто-то из них заворочался в постели.

Кто-то снова заворочался.

Шкет посмотрел.

Шатер колена. Рука поверх руки.

Спинка стула холодила спину. Плетение снизу кололо бедро. Из горшков клонились растения.

Он двумя пальцами ущипнул блестящую цепь на животе.

Темные цепи свернулись змеями поверх одежды на полу.

Допустим, подумал он, она захочет, чтоб я остался, а он ушел. Ну, я избавлюсь от гаденыша. Допустим, она захочет, чтоб ушел я? Избавлюсь от *всех* гадов.

Но она не захочет. Слишком любит уединение. Почему еще она на это согласилась? Согласилась? Где-то в глубине души я бы предпочел, чтоб она это делала *ради* меня. Но радость рождают мгновения, когда все это самоочевидно подлинно, как ее музыка, а в остальном лично.

Мне неймется.

Она ворочается — ей неймется.

Его обмякшая рука шевелится от шевелений ее плеча.

Ланья заморгала, подняла голову. Шкет посмотрел, как глаза ее закрылись, а голова опять легла.

Он улыбался. Повертел в руках «Медные орхидеи», повертел груду бумажек, словно расчислял разницу — и вовсе не по весу.

Тетрадь снова открылась на списке. С трудом разбирая, он вновь перечел имена (уже почти совсем стемнело), на сей раз справа налево, снизу вверх:

Престон Смит
Линда Эверс
Питер Уэлдон
Уильям Дальгрен
Сьюзен Морган...

Томас Сэск
Энн Харрисон
Джордж Ньюмен
Присцилла Майер
Мэделин Терри...

3

— А чего она нас выперла?

— Она не выперла. У нее дела. Она придет к нам в гости. Не парься.

— Я не парюсь. — Денни шел по бордюру, взмахивая руками для равновесия. — Ёпта, я бы там на всю жизнь остался — и хорошо. Вот ты, вот она.

— А жрал бы ты что?

— О присутствующих не говорю, — Денни одернул жилет, — но я бы посылал кого-нибудь. Она точно на нас не злится?

— Точно.

— Ладно… ты правда думаешь, что она придет в гости?

— Если не придет — сходим к ней. Она придет.

— Она хороший человек! — Денни отбил ритм ударений подбородком. — И мне ужасно понравилась песня. «Преломление», да?

Шкет кивнул.

— Я надеюсь, она придет. В смысле, я знаю, что ты ей нравишься, ты книжку написал, все такое, ты ее давно знаешь. А я какой-то обсос. Я не понимаю, почему ей нравлюсь.

— А вот.

Денни сдвинул брови:

— По ней похоже, да?

У них над головами замерцал фонарь… загорелся вполсилы; затем погас. Новая пленка тьмы затянула небеса. Единственный свет — фонарь за два квартала: вспыхнул, вспыхнул, вспыхнул снова.

Кто-то вышел на этот свет и закричал:

— Эй! Эй, Шкет! Денни! — И в колеблющийся круг высыпали остальные.

— Что они тут забыли?

Денни пожал плечами.

Посреди следующего квартала между Саламандром и Джеком-Потрошителем, таща латунного льва на разбитой подставке, протолкался Доллар.

— Эй, переселяться надо! Опять переезжаем! — Он ухмылялся.

А Саламандр нет.

— Этот блядский дом взял и сгорел! Вот скажи, а? Взял и сгорел блядский дом! — По голеням ему стучал рюкзак — зеленый, под цвет штанов. Саламандр перекинул лямку в другую руку.

— Господи, — сказал Денни. — И все мои вещи?..

— А что случилось?

— Ничего, — пожал плечами Саламандр. — Ну, знаешь… просто, это…

— Весь, сука, квартал, — сказал Сиам. — С час назад. Ёпта, это было что-то!

У Шкета разок грохнуло сердце (как оно всегда делало, когда он узнавал, что умер знакомый); в гулком отзвуке он подумал: не столько реакция, сколько страх возможной реакции. Сгорел дом? Дом… сгорел? Но это же так просто. Дом…

Он спросил:

— А Кошмар был там?

— Блядь, — ответил на это Саламандр. — Блядь. Они с Леди Дракон куда-то съебались. И Тринадцать тоже. Блядь.

Флинт усмехнулся:

— Я почуял, как нычка Тринадцати горит. Сильно пожалел, что не знаю, где он заныкал, — спас бы ему. Но когда горело, — он скинул наволочку с плеча, обхватил обеими руками, — пахло будь здоров. Я, сука, в семи пожарах уже побывал. Семь раз вокруг меня сгорал дом. Мать в пожаре, сука, потерял.

— В Беллоне? — спросил Сиам.

Флинт глянул на Сиама — судя по лицу, сообразил, что его неправильно поняли.

— Нет… — Он обнял наволочку покрепче. — В

Беллоне в пожарах не бывал, кроме этого.

— Куда перебираемся?

Денни сказал:

— Может, вернемся к Ланье, спросим — вдруг она нас…

— И думать нахуй не смей, — сказал Шкет.

— В смысле, — не отступил Денни, — ты же говоришь, она не злится.

— У тебя есть дом на примете? — спросил Саламандр.

— Нету, — ответил Шкет. — Пошли. Найдем.

— Если дом сгорит, не успеем мы войти, нам такой дом без надобности, — сказал Саламандр. — Верно я говорю?

Скорпионы за границей круга фонарного света забубнили. У одних матрасы, у других коробки, у третьих лопаты и другие инструменты.

— Пошли сюда, — и кавалькада практически заполонила проулок. Деревья здесь сажали нарочно и окружали декоративными заборчиками. Но все стволы обуглились до черных вилок с погнутыми зубцами. — Дом же был деревянный. Сгорел, небось, как спичечный коробок.

— Не, — сказал ему Саламандр. — И никто не пострадал. Никто даже не потерял ничего такого, что не хотелось терять. Все вовремя выскочили.

— Я спас льва!

Шкет развернулся и вперился в рябую и щетинистую Долларову улыбку.

— Я, слышь, со львом этим ни за что не расстанусь. У меня, блядь, другой собственности нет. Это ты мне его добыл, помнишь? Ты мне его добыл, а я такую вещь ни за что не брошу, да?

— Денни?..

Она протолкалась вперед из-за спины Доллара. С охапкой вещей, волосы спутаны, одна толстая щека измазана.

— Денни, я твои вещи забрала!

Ее глаза облетели всех, перехватили взгляд Шкета и улетели прочь.

— Денни? *По-моему*, я все взяла…

— Ух ты! — сказал Денни. — Ты чё, правда? Круто!

— Вот: я взяла твои рубашки. — Она их нагнала. — И… — Она невидяще глянула на Шкета; тяжелые груди под синим свитером пихали груду пакетов и свертков. Бурая обертка пропотела под толстыми пальчиками, вспучилась между ними. — И плакаты со стены. И книжки с картинками. Я не взяла одеяла… Я не взяла одеяла — я подумала, новые добыть несложно…

— А мое радио взяла?

— Конечно, я взяла твое радио. *По-моему*, я взяла все — там не очень много было, — кроме одеял.

— Да плевать сто раз на одеяла, — сказал Денни. — Ты-то как? Дом же горел, а ты мои вещи паковала? — Он забрал у нее бумажный пакет…

— Ой, осторожней!..

…из заднего кармана вытащил «Медные орхидеи» и кинул внутрь.

— Это что?

— Ничего. Тебе-то что? Ой, слышь! Ты мою игру взяла?

— Ага. Денни?

— Давай я остальное тоже понесу?

— Да ничего. Денни?

— Что?

— Мы с подругой, наверно, не…

Она оглянулась.

Шкет тоже.

За ними по пятам шагала блондинка в бушлате.

— …не будем дальше с вами жить. Я только хотела отдать тебе вещи.

— Ой, — сказал Денни. — Это почему так?

— Не знаю. — Она поудобнее взяла остальные пакеты. — Хотим уйти. Не хотим быть скорпи-

онами. И есть такие приятные люди, у них дом — мы думаем, можно к ним. Там одни девушки.

— Одни девушки? — переспросил Денни. — Скукотища же.

— Парням можно в гости и все такое. Но парни там не живут. Жить с вами мне что-то уже неохота. После пожара, — она снова покосилась на Шкета, — и вообще. Сам понимаешь.

— Господи, — сказал Денни. — Господи боже. Ну, то есть, наверно, куда деваться, раз тебе неохота.

— Можешь в гости приходить. Если хочешь.

— Ёпта, — сказал Денни. — Во блин.

— Я просто думаю, так лучше. Если я буду жить не с вами. Там очень мило. Девушки очень милые.

Денни смотрел в пакет.

Она сказала:

— Я почти уверена, что ничего не забыла. Ты что ищешь? Если там нет, наверно, оно тут.

— Ничего не ищу.

— А.

Маску Шкетова лица закололо. Он резко обернулся к Саламандру:

— Ты в этих домах бывал?

— Нет.

— Давай вон там посмотрим.

— Запросто.

Шкет повернулся к остальным:

— Эй! Постойте тут пока, ага? — Взошел на некрашеное крыльцо. На полпути глянул через плечо.

Она перехватывала бумажные пакеты, кусала губу, стараясь взять их поудобнее. Денни посмотрел на нее, на Шкета, опять на нее. Остальные переминались и болтали.

Угловатый и зубастый стержень дверной ручки под ладонью проскрежетал еще на дюйм…

Шкет толкнул дверь.

Разболтанная люстра…

Он глазами обвел коридор, вслушиваясь в обитание.

Рисунок цветными карандашами на загаженной стене…

Шкету стало очень странно.

— Есть кто дома?

— Ну, если и есть, — сказал Саламандр, — сейчас съедут к ебеням. Потому как мы сюда надолго, да? — Остальные засмеялись. Саламандр крикнул: — Ну как, нормально?

— Да. На вид очень…

— Заходим?

— Да, заходите.

Дверь ванной в конце коридора открыта. Шаги вышли из-за спины, обогнули Шкета; кто-то протиснулся мимо, таща манекен в цепях.

В доме закишели скорпионы.

В подвисшей растерянности Шкет через гостиную забрел в кухню.

Саламандр заглядывал в шкафчики над раковиной.

— Консервов полно. Неплохо так. Жалко, что мусор не вынесли.

Под столом порванный мешок. На столе гора мусора. В раковине и на кухонном прилавке — посуды.

Шкет решил, что ему тут не нравится.

Небо за сетчатой дверью волновалось и вертелось, как зверь на цепи.

Шкет резко развернулся к гостиной.

Блондинка в бушлате сидела на диване, свесив кулаки между колен, и смотрела, как два скорпиона раскладывают на полу матрас. Глянула на Шкета, сгорбилась и снова перевела взгляд на скорпионов. Устала до смерти, похоже.

— Эй, братуха, — сказал Доллар у Шкета за плечом, — зашибенский дом.

Обнимаясь со своим львом, он плечом открыл

дверь напротив через коридор. Внутри парни расстилали матрасы и спальники. Доллар протолкался между ними и поставил льва на окно. Обернулся — силуэтом на фоне драной шторы. Из-за него с подоконника выглядывал латунный зверь.

— Эй, чувак. Зря ты этот старый матрас тащил. Горелый же, все тут провоняет к хуям.

На чехле зияло обугленное гало вокруг двухфутового кратера пепла и горелого хлопка.

— У меня другого нету, — сказал скорпион (тоже белый, по имени Калифорния) и рванул матрас на себя. Матрас уголком накрыл соседний.

Стену некогда обклеили картинками из газет и журналов; многие уже успели содрать.

Незнакомый черный скорпион поднялся и улыбнулся Шкету:

— Покруче хата, чем та, да? — Сощурившись, заозирался. — Ага, неплохо тут.

Я, подумал Шкет, предпочел бы красные, сука, глаза!

Напротив стояла открытой дверь на заднюю веранду. Шкет шагнул было туда, но притормозил, держась за косяк. В окнах — ни стекла, ни сетки. На ящике сидел Сиам.

— Эй… — Он подтянул газету на колени и по-

смотрел на Шкета в растущей растерянности. — Я тут… я тут газету читаю. — Сиам одарил его улыбкой, передумал, забрал ее назад. — Просто газету читаю. — Поднялся; газета упала на пол. Половицы некогда выкрасили бордовым. — Чего-то сделать надо?.. Я хотел помочь с вещами, но у меня рука… — Он взмахнул забинтованной рукой. Кожа на ладони под бинтом шелушилась. — Могу, наверно, разложить чего-нибудь, — сказал Сиам, разглядывая грязные пальцы. — Если хочешь?..

— Не, — ответил Шкет. — Не, не морочься.

Зеленеющий кран на стене ронял сияющие капли в слякотный сток.

За спиной что-то брякнуло и заскрежетало.

Шкет обернулся.

Потрошитель и Разор катили «харлей» по коридору.

— Я не понимаю, зачем ты потащил с собой эту колымагу. Бензина не найдешь, и ты же сам говоришь, что двигатель убитый.

— Хороший же байк будет, если починить.

— В ванную поставим, как в тот раз?

— Да ёпта, эти хуесосы, как напьются, не целятся вообще. И вот зуб даю, кто-нибудь на него нассыт, только чтоб заржавел.

— Ну кончай, мудило…

— Не, не пойдет! Эй, Денни, можно мы тут поставим?

— Ну, наверно. — Денни стоял у двери в обнимку с бумажными пакетами.

Шкет подошел, взял его за плечо:

— Она ушла?

Поджав губы, Денни кивнул, переводя взгляд с пакета на пакет.

В комнате кто-то прислонил лопаты к стене у гладильной доски.

Чтоб завезти внутрь, подали «харлей» назад.

— Это твоя будет комната, Шкет?

Шкет сказал:

— Не исключено.

— Он много места не займет. Я, может, потом его еще куда пристрою.

— У Шкета в комнате его никто не тронет.

— Да пускай.

Шкет стиснул Денни плечо. Оба шагнули через порог.

— Эй, — сказал Денни. — Тут антресоли есть!

Шкета по хребту подрал мороз. Он совсем застыл.

— Денни?

— Чего?

— А в прошлом доме разве не было антресо-

лей?

Денни озадачился:

— Ну, были. Но хуже.

— Да?

— Эти гораздо больше, — сказал Денни. — И там матрас.

— А тот дом, где мы раньше жили, — он какой был?

— Чё?

— Опиши мне. Я не помню. Я не могу… ничего вспомнить.

— То есть?

— Какого цвета были стены?

— Белые, нет?

Шкет насупился и кивнул. Стены вокруг были зеленые.

— Ты правда не помнишь, где мы прежде жили?

Шкет потряс головой.

— У нас там, — подсказал Денни, — толпа негров через улицу была. Отсюда улиц восемь или девять. И чуть вбок.

— А если с этим домом сравнивать?

— То… есть? — повторил Денни.

— В чем разница?

— Ёпта, — сказал Денни. — Да этот раза в два

больше! Ты что, не помнишь — там все стены потрескались? А этот в неплохом состоянии даже. — И после паузы спросил: — Ты здесь будешь жить?

— Наверно, — ответил Шкет.

— А можно я вещи тут брошу? Если где попало оставлять, эти хуесосы все растащат.

— Конечно, валяй.

Денни забросил на антресоли один пакет, затем другой.

— Жалко, что нет лестницы. По этой штуке, что ли, лазать? — В опорном столбе были треугольные зарубки. Денни взобрался на две и оглянулся. — А не очень сложно… ты правда не помнишь, где мы раньше были?

— Кажется… нет.

— Ни хера себе, — сказал Денни, подтянулся и заполз на матрас. — Ты же там сто лет прожил. — Он снова оглянулся и нахмурился в ответ на некое движение в лице Шкета, которое тот почувствовал, но распознать не сумел. — Может, не *сто*, — с сомнением поправился Денни. И исчез.

Позади Шкета по коридору ходили люди.

— Эй, Шкет, — сказал кто-то, но испарился, едва тот посмотрел.

Он подошел к столбу и взобрался к Денни. Сел в

углу и понаблюдал, как мальчик прикнопливает Темного Ангела Котха подле флуоресцентного Скорпиона. Денни опрокинул пакеты себе между колен.

— Похоже, — сказал он после паузы, — она и правда взяла всё. Спасибо ей за это, да?

Шкет кивнул.

Денни прополз по матрасу, помялся и положил голову Шкету на колени. Шкет погладил его по шее, посмотрел удивленно. Денни дважды глубоко вздохнул.

Плакать собрался?.. — подумал Шкет.

— Ты как? — замечательно держа себя в руках, спросил Денни.

— Нормально, — ответил Шкет. — А ты?

— Порядок, — вяло сказал Денни. И, помолчав, прибавил: — Я спущусь посмотрю, что как, ага?

— Валяй.

Он посидел один, прислушиваясь к дому. Разок подобрал радио Денни, включил. Даже статики не услышал. Батарейки нет?

Повертел стеклянный кубик, рассматривая отражения призраков своего лица. Поглядел в зеркальце с цепочки; сравнение двух отражений ничего не дало. Но он все переводил взгляд с одного на другое.

Кто-то загрохотал снизу по доскам.

— Эй, ты там? Шкет?

Он открыл глаза; подполз к краю, и кубик скатился с колен.

Черные глаза, сломанный зуб, коса расплелась. Между широченными плечами, гладким и зарубцевавшимся, — Кошмарова ухмылка.

— Отличное ты себе гнездышко свил, а?

— Привет! — Шкет перебросил ноги через край, спрыгнул. Все тело зазвенело — пятки, подбородок, костяшки и колени.

Кошмар одеревенело шагнул назад, затем в сторону, склонил голову набок.

— Да, отлично устроился. Очень хорошо. — Он выглянул в коридор, кивнул кому-то в ответ на приветствие. — Всех моих ребят у меня упер? — Посмотрел на Шкета, задрав брови и наморщив лоб. — Да и забирай, нищебродов этих. Ниггеры еще ничего. Но белые… Ёпта, браток…

Доллар сказал:

— Привет, Кошмар…

Вздернув плечи, пригнув голову, Кошмар сплюнул на пол.

Доллар сглотнул и испарился от взмаха Кошмарова кулака.

Кошмар повернулся — кончики бровей, уголки

глаз отяжелели от досады и тревоги.

— Псих ебаный! С этими тварями надо как с навозом конским! Как с мартышкиной блевотой! Сейчас-то они к тебе со всей душой. Но скоро придется показать им, что почем. — Он сапогом растер плевок. — И за шмарами послеживай — они совсем трындец.

— Кошмар, — сказал Шкет, — тут поди проруби, которые из них шмары!

— Тоже правда, — кивнул Кошмар. — Сколько у тебя народу-то?

— Не знаю.

— Я тоже до упора не понимал. — В коридоре Кошмар прищурился в потолок. — Да, любопытно должно получиться.

Шкет пошел за ним следом.

— Мне тут сказали, ты с мальчиками балуешься? — Кошмар снова задумчиво кивнул. — Я годами зависал в исправилке. Знаю такое, ага. — Он высунулся на заднюю веранду (куда двое черных заволакивали покоцанную стиральную машину) и всунулся обратно, по-прежнему кивая. — У тебя в гнезде Саламандр, Флинт и Харкотт разом. Ну, не знаю. Клево, пожалуй. Я б зассал. Я тебе сразу говорю.

— Харкотт — это тут который?

Кошмарово лицо развернулось, расколовшись изумлением:

— Который тут Харкотт? — Изумление взорвалось насмешкой. — Хочешь знать, который тут Харкотт? — Насмешка взорвалась хохотом. — Эй, Харкотт! Подь сюда. — И посмотрел в коридор.

— Ага? — Из комнаты вышел молодой белый. Шерсть на животе сгущалась к лобку и исчезала под серебряной пряжкой с бирюзой. Шрам косо пересекал твердую и лысую грудную мышцу, сворачивал к пупку. Жилета Харкотт не надел. Цепь всего одна — с проектором. Запястья и предплечья мохнатые, бицепсы гладки и исчерчены венами. На щеках редкие волоски — этому человеку в жизни не светит отрастить бороду. — Ты чего хотел?

— Тут вот Шкет желает официально познакомиться. Шкет, это Харкотт. Харкотт, это Шкет.

— А? — сказал на это Харкотт. — А… привет. — Отер влажную руку о черные джинсы и выставил вперед.

— Привет, — сказал Шкет, но протянутой руки не пожал.

Харкотт ее опустил и смутился.

— Я в кухне был, тарелки эти проклятые отмывал. Надолго чистыми не останутся, но я подумал,

может, хоть на первый день. Ты чего хотел-то?

— Ты иди, — сказал Шкет. — Кошмар у нас клоун. Да, и мусор вынеси, ладно?

— Я и собирался. — Глаза Харкотта вопросительно метались между ними двумя. Затем он вперил взгляд в пол, переступил с ноги на ногу, что-то буркнул и ушел.

— Ты чё хочешь сказать — не в курсах, из-за кого у Харкоттика шрам на животике? — осведомился Кошмар; и пальцем щелкнул по орхидее у Шкета на шее. Орхидея клацнула и забренчала цепями.

Миновали секунды безмолвия; Кошмар в напускной досаде потряс головой и театральным шепотом пояснил:

— Это тот браток, которого ты порезал, когда они с Флинтом и Саламандром измудохали тебя возле Калкинза! Ты чё, правда не в курсах? — На его смешливый выдох «Ха!» оглянулись минимум двое скорпионов в прихожей. И отвернулись. Одна, чернокожая женщина, доской забивала в стену гвоздь. — Говорят, ты тоже иногда подраться не прочь. Типа, тебе временами башню сносит. Ну, я им сказал, чтоб за тобой поглядывали, ага? У Шкета башка получше вашего варит, мудачье, — вот как я им сказал.

— Рад, что у тебя такое мнение, — сказал

Шкет. — Ты-то останешься?

— Я? — Кошмар большим пальцем подхватил цепочные кольца на груди. — Останусь *ли я*? С этими нищебродами? — Палец заходил туда-сюда. Цепи зазвенели. — Ёпта!

— А Леди Дракон?

— Да мы с ней никуда не деваемся. У Леди Дракон раньше банда была, сплошняком черные, в конце Джексона. Где Камберленд-Парк, знаешь?

Шкет кивнул.

— Крутые прям зверски. То есть ну *блин*… — Кошмар снова заглянул в гостиную, перешагнул порог.

Шкет вошел следом.

На столе в углу кипой лежала дюжина «Медных орхидей».

— В тех краях надо ухо востро, — сказал Кошмар. — Голодно в тех краях, я вот о чем. Как водопровод прорвало, настал как бы ужас. У меня двух знакомых в тех краях уже пришили. Вчера. А позавчера еще кого-то.

— Я слыхал, оттуда почти все разъехались.

— А кто *остался*, хочу тебе сказать, — они весьма, сука, странные. У Леди Дракон в тех краях гнездо. Крутая она все-таки.

— И ты правда все это отдаешь мне?

— А мне оно не надо. — Кошмар хмуро просверлил взглядом стол.

— Почему?

— Спрашивал уже.

— И еще раз десять могу, сука, спросить! Пока не услышу ответа.

— Я ж говорю: мне просто любопытно…

— Мне! Почему *мне*? — (Три скорпиона, как раз проходивших через гостиную, на них не посмотрели — и очень старательно.) — Ну кончай, Кошмар. Поговори со мной.

— Ну… ты приходишь. — Кошмар развернулся и присел на край стола. — Уходишь. Ты стильный весь такой. — Он отбросил волосы с лица. — И шизик. Говорят, ты даже не в курсах, кто ты есть. Меня не парит. Мне тоже будет не по кайфу, если кто станет расспрашивать, что за Ларри Х. Джонас был такой, пока тут не нарисовался… Но то и дело ты вдруг опа — и ебанутый какой-то храбрец. — Кошмар взялся за край стола. — Я-то не храбрый. По мне, кто храбрый, тот дурак. Я просто не настолько сегодня в космосе, чтоб не помнить, чё делал вчера, — о тебе вот этого не скажешь. По-моему, я только потому и стал боссом. — Он пожал плечами. — А теперь валяй ты. Не хочешь — скидай цепи, сверни в узелочек, зашвырни в

озеро Холстайн и поди найди, чем еще заняться. Другой кто подхватит — Саламандр, Ворон, Сеньора Испанья… может, ниггер какой, которого ты даже по имени еще не знаешь. — Кошмар скривил лицо. — Но как-то не верится мне, что ты свалишь, а? — Он сунул руку в задний карман, что-то достал и предъявил: — А это говно… — (Свернутая книжка «Медные орхидеи».) — Я даже честно пытался *читать*, прикинь? Браток, я в такое говно вообще не въезжаю! Но изо дня в день целую, блядь, неделю тебе дают аж, блядь, полосу или полполосы в этой блядской газете. Можно подумать, ты в кино, сука, сыграл. — Кошмар повернулся и своей книжкой сбил штабель других. Книжки рассыпались по столу. Три слетели на пол. — Ты про это никогда не говоришь; ну, я не слыхал. — Кошмар перевернул свою книжку. — Тут нету автора. То есть я даже не знаю, правда ли это писал ты. Есть, кстати, разные мнения. Но я все равно туда смотрю, да? Смотрю и смотрю. А потом вижу там про себя!

Шкет нахмурился.

Следующую фразу Кошмар продирижировал свернутой книжкой:

— Ну, короче; не говори мне, что ты туда ничего не написал про меня. — Он перевернул обложку,

пробежался по страницам.

Шкет подошел сбоку и заглянул.

— Вот! — Кошмар щепотью постучал по странице, оставив четыре пятна. — Это чё, не про меня? — Вся страница посерела от отпечатков пальцев, уголки обмякли.

Шкет забрал у него книжку. На следующей странице — никаких пятен. На предыдущей тоже.

— М-да… — сказал Шкет. — Я, пожалуй, когда это писал, думал про тебя.

— Да? — Нисходящая вопросительность интонации лязгнула недоверием.

Шкет кивнул, закрыл книжку и подумал, до чего же превратную правду творит.

— А. — Кошмар вынул книжку у него из рук. Та машинально раскрылась на обсуждаемом пассаже. — Короче, блядь, открыть книжку и прочесть про *себя* — та еще дичь. Я пока не врубаюсь, по кайфу ли мне… ты ж про меня там ничё плохого не сказал. — Он опять кивнул, поджал губы, разжал, сложив беззвучно. — И хорошего тоже ничё. — Он вновь уставился на Шкета. — Дичь еще та. Жалко, что я в такое говно плохо врубаюсь. — Вокруг сломанного зуба вдруг разъехалась улыбка. — Правда я, да? И без наездов? Я сказал Леди Дракон, что это я, а она такая: да не гони. Вот

я ей теперь *расскажу*. — Он свернул книжку, ею постучал Шкета по плечу, а затем потыкал себе в задний карман — попал не сразу. — Странный ты человек. И делаешь очень странные вещи. — Кошмар встал и вышел.

Харкотт и Флинт, стоявшие за кухонной дверью, направились к столу.

Кошмар очень громко пробормотал:

— Во ты даешь.

— Хочешь на праздник? — крикнул Шкет вслед ему в коридор.

— Сюда?

— К Роджеру Калкинзу.

Кошмарова голова склонилась набок.

— И чё мне у него на празднике делать?

— Это мой праздник. Калкинз мне у себя дома устраивает праздник. И Леди Дракон приводи.

— Только твои друзья? У него дома?

— И его друзья.

— А, — сказал Кошмар. — Она без своих подфарников не пойдет.

— Адама с Малышом?

— Ага.

— Ну и нормально. Приходите все. В третье воскресенье, по газетным датам. Как стемнеет.

— Друзья Калкинза — это про кого пишут в

газете?

— Видимо.

— И этот астронавт придет?

— Наверно.

— Мудила, — высказался Кошмар. — Только, это… Малыш не одевается. Он, короче, больной, не желает, и все, да? А Леди Дракон без него не согласится.

— Пусть. Хочет прийти в чем мать родила — я не против.

— Серьезно?

— Приходите как хотите. Возьмите щиты. Этих всех, небось, больше ничего и не колышет.

— Мне разодеться не во что, — сказал Кошмар. — Туда не надо в костюмах?

— Я вот так приду.

— Я Малышу передам, как ты сказал, что можно в чем мать родила. — Кошмар сдвинул брови. — Он, небось, так и явится. Потому как он, мудила, совсем больной. В таком виде по улицам ходит, с утра до ночи. — Хмурость бежала под натиском смеха. — Я должен это увидеть. Да, я прям обязан на такую херню посмотреть.

— Третье воскресенье, — повторил Шкет.

— Может, мы лучше сначала все сюда зарулим? — предложил Кошмар.

— Давайте. Увидимся тогда, если не раньше.

На гвоздике висела фотография под разбитым стеклом. Отец, мать, два брата и сестра в старомодных нарядах глядели с упреком. На стекле кто-то черным маркером пририсовал усищи одному мальчику и женщине.

— Здорово, папаша! — Кошмар отсалютовал бородатому господину на фото. — Шкет, я линяю. Спасибо за приглашение. Леди я передам. Мы все предвкушаем новости про твой следующий набег.

Кошмар открыл дверь.

Их тени по ступеням вылились в ночь.

— Покеда. — Кошмар пинками согнал свою на тротуар, помахал и удалился.

Шкет оглянулся в коридор. Горели все три лампочки, и лампочка в туалете тоже. Пожалуй, подумал он, я выбрал удачное гнездо. Пленки мысли, повисшие позади слов, свернулись и увяли, трепеща, как тончайшая ткань в яростном огне. Пожалуй…

Из гостиной вышел Харкотт:

— Мы во дворе пожрем, эй; а Кошмар еще тут? — Его рука взобралась на грудь, все движения сосредоточила вокруг шрама.

— Не-а.

— А.

Позади Шкета со щелчком закрылась дверь.

— Мог бы и остаться, — сказал Харкотт. — Жратвы сегодня полно…

Шкет побрел по коридору.

Я паразит. Я никогда не обустраивал дом. Даже здесь я не велел обустраивать дом. За все свое житье с ними не припомню, чтоб искал еду, но кто-то же из этих двадцати, двадцати пяти рож морочился. Я переползаю с места на место, глядя, как вокруг меня творятся и рушатся дома.

Интересно, на какую вечеринку рассчитывает Калкинз.

Из носа брыкнул воздух; это был смех.

С задней веранды Шкет посмотрел на двор (отсвет костра на потолочных балках), оперся на подоконник, распрямился, перепрыгнул:

— Йи-*хааа!*

Остальные рассмеялись.

— Господи боже, — сказал Ворон. — Шею сломаешь, блядь!

Шкет споткнулся — больно адски.

Три руки потянулись его поддержать.

И три голоса:

— Чувак, тут же футов пятнадцать!

— Да не пятнадцать… десять? Двенадцать? На,

Шкет, выпей. А ты знал, что тут винный, сука, прямо за углом, и никто не озаботился даже витрину выбить?

— Уже озаботился. Ёпта. Нам неделю пахать, чтоб столько бухла осилить.

Шкет, ухмыляясь, сделал еще шаг; с флангов его подпирали скорпионы. Боль снова пробила ногу от икры до бедра. Колено сломал, что ли? Нет. Через минутку все пройдет…

— Ты цел, Шкет? — Одна из черных девиц — голые груди звякают звонкими цепями. — Чувак, ты так прыгнул — я аж перепугалась!

Шкет еще раз вдохнул и улыбнулся:

— Порядок.

Она отодвинулась от другой девчонки, чтоб его поддержать, и он оперся на черное плечо. Она засмеялась, заерзала, замерла; а Шкет отстранился, сделал еще шаг, еще вдох.

— Да, порядок. А что у нас есть пожрать?

Потрошитель с открывашкой стоял на коленях над банкой чудно́й формы.

— Ветчина консервированная. — Банка желатиновыми слезами облила красно-синюю этикетку. — Три штуки таких нашли.

Костер трещал под котелком, висевшим на трубе между шлакоблоками.

— А газа в плите нет?

— Есть, — через костер ответил Денни, — но мы подумали, лучше снаружи.

Первый пузырек на… супе? жарком? серый, у краешка котелка, задрожал отражением оконной рамы веранды и лопнул. Набух другой.

Шкет перенес вес на здоровую ногу. Лучше. Согнул больную, чувствуя, как в ней сбились деликатные механизмы колена и лодыжки. Обутая нога. Может, мягкая подошва сапога приземлилась на камень?

— Эй, ты бутылки-то, бля, по двору не разбрасывай. Загрязнение среды, ну? Нам же тут жить.

— Заткнись, а то я буду загрязнять тебя, — пообещала стриженая белая женщина.

— Давай бутылки в *соседний* двор, а?

— Ладно, ладно…

Свет путался в кольцах цепи, тусклыми брызгами ложился на темные жилеты, отрисовывал бороздку под черной губой, растягивал световую сетку в сальных медных волосах, мерцал на припухшем краешке глаза без ресниц, утопал в графитовом пушке, встопорщенном на яйцеподобном черепе.

Потрошитель засмеялся, и наклонился, и запястьем отер губы. Орхидея у него на шее за-

крутила блестящими лепестками.

— На!.. — Бутылочное горлышко ударило Шкета по губам, звякнуло о зубы, поранив десну.

— Блин, ты чё! — Шкет от нее отбился. — Не хочу я, сука, вина, — вкус которого слизал с нижней губы; он отер рот. — Кто-нибудь дайте мне нормальное что-нибудь.

— Будешь? — спросил Денни.

— Ага. Это чего? — Шкет отпил и прочистил горящее горло. — Я, между прочим, в твои годы был тот еще алкаш, блядь. А теперь мне все это даже не нравится. — Он глотнул поскромнее и отдал бутылку Денни. — Но тогда пил, блядь, как лошадь.

Парни заспорили:

— А *теперь* ты что с ней будешь делать?

— Порежу, испеку на огне.

— Можно прямо из банки.

— Вот уж нет. Это ж ветчина. Трихинеллез хочешь заработать?

— Да какой трихинеллез? Она ж из банки!

— Короче, мне пеки — я иначе есть не буду.

Кто-то раздавал длинные двузубые вилки. («Не, не надо. У меня нож охотничий».) По бокам котелка тек кипящий суп. Нога у Шкета почти прошла. Он оборачивался, улыбался в темноту, а

скорпионы толкали его, устремляясь к мясу. («Эй, кто-нибудь, открывайте уже вторую, а?») Суп шипел и щелкал в огне. Грани вечера сгладило спиртное. Шкет взглядом поискал Денни и его бутылку.

— Шкет, *эй*! — Улыбка — мерцающий провал гнили и серебра. — Неплохо ты тут устроился, а? Шикарно, да. Шикарно.

— Ебать-колотить! — возвестил Шкет. — Я думал, ты и суток не протянешь, а ты вот он, явился!

Перец шире раззявил рот.

— Да я как бы это… *жрать хочу*! — На последних слогах он выпятил подбородок. Потряс винной бутылкой в руке с шипами. — Гнездо у тебя хорошее; и я хоть щас готов в набег.

— Угощайся. — Шкет рукой обвел головы вокруг. — Валяй, угощайся.

Очень белокурый скорпион с квадратным подбородком протолкался из чернокожей толпы (Ворон, Джек-Потрошитель, Шиллинг, Б-г, Паук), подошел к Перцу со спины и сказал:

— Господи боже… ёпта! — И цапнул его за тощее плечико. — Ты почему опять здесь, прискорбный ты мудак? А ну вали, не то…

— Эй, ну ты это… — сказал Перец. — Эй!..

Остальные обернулись и посторонились. Стриженая шагнула ближе. Саламандр придержал ее веснушчатой рукой за цепочное и жилетное плечо.

— Чеши отсюда нахуй, — сказал блондин с квадратным подбородком. — Тебе никто не рад. Ты опять тут все провоняешь. Уже два раза же выгоняли. Тебя в третий раз выгнать?

— Чувак, я *жрать хочу*! — посетовал Перец. — Шкет сказал, что можно… — И от тычка повалился на Шкета.

Тот попятился, подумал «нет», не покрыв его словами. Взмахнул рукой и заехал блондину по затылку так, что ожгло ладонь.

– *Уиии!*.. — изверглось необъяснимо из Перца, улепетнувшего куда-то вбок.

Скорпион, который схлопотал от Шкета по голове, развернулся, кривя лицо.

Нет, подумал Шкет — на сей раз *словом*. У меня отбита нога, я полупьян и людей луплю? Нет. Так я только вляпаюсь.

– *Отвянь* от него! — громко сказал он.

Скорпионы в тишине зашаркали ногами.

Стоя на коленях над ветчиной, Жрец сощурил глаза. Наклонился так близко к огню, что вспотели плечи.

Шкет подошел к надувшемуся блондину и взял его за плечо:

– *Давай-ка*, возьми себе *пожрат*ь! — От души это плечо потряс. — Всем хватит, ясно? — (И мне это сходит с рук? Тут Шкет засмеялся.) — Дайте ему ветчины, ну? — И он пихнул скорпиона к костру. — (А теперь я отвернусь, отойду, подожду, когда мне в плечо всадят вилку.)

Шкет отвернулся.

Саламандр стоял впереди всех, скрестив руки на груди; с одного фланга Флинт, с другого Харкотт. Стриженая, тряся головой, уходила прочь.

Шкет двинулся к этим троим, а в мыслях: я не понимаю, поддержат они меня сейчас или отметелят. А остальные? Они понимают?

— А вы чего? Поешьте тоже. — И прошел мимо.

От его смеха напряжение слегка отпустило.

Шиллинг сказал:

— Черпак есть? Или чашка? Или что-нибудь?

Джек-Потрошитель сказал:

— Есть миски, и чашки, и вообще. Кто-то, блядь, всю посуду перемыл.

Человек шесть сгрудились на корточках у огня — плечи гладкие, как гигантские сливы, волосы морщинятся, как чернослив; все держали вилки над углями, юркали руками, резко совали ко-

стяшки в рот.

Шкет поглядел на бутылку.

— Будешь?..

— Ага. — Получил бутылку и еще один глоток. — Спасибо, — и пошел дальше бродить. Под деревом целовались двое; на миг Шкету почудилось, что оба мальчики.

Доллар задрал лицо над всклокоченной шевелюрой черной девчонки.

— Эй, Шкет… — Он моргал в свете костра, щетинистый подбородок тут и там шел волдырями.

Шкет переступил через его сапоги.

— Ты поел уже? — спросил Денни.

Шкет покачал головой.

— На, держи. Я себе еще возьму.

Чашка была горяча, по стенкам тек суп.

— Спасибо.

— Если ветчину не прожарить, все равно же не будет трихинеллеза, да? — спросил Денни.

— Если она из банки, — ответил Шкет, — она уже вареная.

— Я так и думал, — сказал Денни.

Шкет отхлебнул и обжег нёбо. Лишь спустя несколько секунд ощущение сгладилось до простого жара. Взглядом Шкет бесцельно искал Перца или скорпиона, который на Перца наехал.

Ни того ни другого у костра не обнаружилось. А люди снова ходили в дом и из дома.

Флинт, Харкотт и Саламандр, позируя уже не так официально, но по-прежнему кучно, стояли у забора, ели ветчину и суп. Шкет отсалютовал чашкой.

— Слышишь? — спросил Флинт.

— Что?

— Послушай, — сказал Харкотт.

Шкет склонился над чашкой — суп обжигал подбородок паром. Двор наполняли голоса.

— Что?

— Вот, — сказал Харкотт.

В паре кварталов заорал мужской голос. Звук длился и длился, утих на долгом вдохе и возобновился, на сей раз дрожа и ломаясь.

— Сходить глянуть? — Саламандр откусил ветчины. От уголка рта в бороду тянулась поблескивающая полоса жира.

— Не, — сказал Шкет.

— Ты ж у нас великий герой, — сказал Саламандр. — Не хочешь помочь господину в затруднительном положении? — И засмеялся.

— Нет, я…

Человек снова заорал.

На миг Шкет вообразил, как они вчетвером

шныряют вдали от костра по темным улицам, и ночь над ними звенит воем.

— Не, неохота. Я накормил Перца. На сегодня героики с меня довольно.

Он громко хлюпнул супом и ушел к скорпионам у огня. Когда соседи визжат… пронеслось у него в голове, но он не вспомнил, кто это сказал.

— Шкет, на. Хочешь мою вилку?

Блондинистый скорпион, который гонял Перца.

— Спасибо.

Вилка с длинной ручкой, трезубая, бельевая. Шкет подцепил шмат ветчины и присел у костра. От огня сощурился. Глотая суп, заплескал себе руку. И даже с длинной вилкой костяшки болезненно обжигало. Белокурый скорпион, присев рядом, смотрел, как булькает и обугливается мясо.

— Спасибо за вилку, — спустя несколько минут повторил Шкет и опять глотнул супу.

Крик смолк.

Или потонул в гомоне.

4

— Эй, Тэк!

— Шкет?

— Ты что делаешь?

— Это *ты* что делаешь? Слезай, а? Осторожней…

Шкет отпустил балку и боком сполз с груды бута, поднимая тучи пыли позади себя и сель впереди.

— Поражает воображение, — оценил Тэк. — Так и ходишь в одном ботинке? Подошва, небось, как дубовая доска.

— Не. — Шкет постучал ногой по черным джинсам, до колен посеревшим. — Не то чтобы.

— Раскопки ведешь? — Тэк заломил кепку и посмотрел, как между балками завивается дым. — А гнездо куда дел? Я думал, скорпионы не бродят поодиночке.

— Я прихожу, — пожал плечами Шкет. — Я ухожу. Вожу их в набеги. А ты куда?

— У меня миссия милосердия во благо твоей подруги.

— Ланьи?

— Я вызвался помочь ей с платьем к твоему

празднику.

Шкет постарался проглотить смех. Смех сорвал печать с губ, и вспыхнули огни — то ли в глазах, то ли в окнах склада перед глазами.

— Что смешного?

— Она тебя пристроила в швеи?

— Вовсе нет. Пошли, чего покажу.

Они зашагали по загаженной улице.

— Ты же придешь на праздник?

— Даже, — ответил Тэк, — блядь, не мечтай.

– *Чего?* Чувак, ты что? Калкинз мне сказал приводить друзей. Я все гнездо приведу. Толпу психов выпустят порезвиться — и ты не хочешь на нас посмотреть?

— Мне не до зарезу. А вот Калкинзу, я подозреваю, да — я, правда, с ним не знаком.

— Тэк, ну *кончай*…

— Нет. Кому-то же надо прочесть репортаж в завтрашней колонке сплетен. Вот это — *моя* работа. А тебе желаю хорошо повеселиться, и выпей там бренди за меня. Стырь бутылку, если у них хороший, притащи мне. А то я уже на «Голд лиф» перешел. Кто-то вломился к моим поставщикам и спер почти все, что стоило пить.

— У нас винный прямо за углом. Ты что пьешь? Там всё есть. Что хочешь. Скажи — я принесу.

— Пятизвездочный «Курвуазье». — Тэк засмеялся — коньячно заурчал — и пониже надвинул кепку. — Ты давай шагай. — Когда они отошли от перекрестка, он спросил: — Давно встал?

— Несколько часов.

— А, — сказал Тэк. — Я-то спозаранку, еще когда светало. Пришел сюда — огонь было видно… — Он кивнул в переулок, где дым бурлил, заслоняя все, кроме ближайших двух кварталов.

— Да?

— А теперь только… — И Тэк опять кивнул.

Дым набухал и вздымался до верхних этажей. Небо загустело, как сыр, и завечерело без теней. Я (подумал Шкет) теперь никогда не хочу пить, но вечно хриплю. Три сапога и одна босая нога мололи мусор на улице.

— Тэк, а как отсюда попасть в монастырь? Не в церковь пастора Эми. В монастырь.

— Вот эта улица… — Тэк остановился. — Она уходит в город и превращается в Бродвей. Идешь-идешь до самого конца Бродвея и прямо в монастырь и упираешься.

— Да?.. Вот так просто?

— Пешком далеко. Может, автобус еще ходит, не знаю. Нам сюда. — И Тэк свернул.

Грузовая рампа косо поднималась к деревян-

ной двери в заклепках с полдоллара диаметром. Выше на обметанном ржавчиной железе торчали на болтах алюминиевые буквы, чисто возвещавшие: «СКЛАД ИСМ». Черная табличка у двери искривила Шкетово лицо. Глаза и губы заслонены белыми буквами: «Инженерные системы „Мейтленд“. Склад». Шкет быстренько отбился от воспоминания об Артуре Ричардсе, а Тэк между тем обеими руками стиснул засов, крякнул. Дверь пророкотала, прочертив проем черноты. Тэк посмотрел на свои руки — чистые, что мазки ржавого масла только подчеркнули.

— Заходи. — Тэк держал руки на отлете, подальше от штанов.

Шкет вошел и услышал, как переменился тембр дыхания. Бетонное крыльцо, к нему взбираются железные ступени.

— Поднимайся.

Шкет поднялся и шагнул вбок, в дверь на уровне головы.

Потолочный люк с высоты трех этажей грязью и светом картографировал континенты в мозаике широт и долгот.

— А что… — и Шкета перебило эхо, — что тут?

— Ты иди, иди, — и Тэк лишился лица. Ушел вперед. Каблуки на бетоне поочередно отбрасы-

вали назад заикающееся эхо.

Было очень холодно.

Тут и там, между двадцати– и тридцатифутовыми штабелями коробок, за восьмифутовыми дощатыми иксами стояли катушки, годившиеся для подводных кабелей. Шкет миновал две, прежде чем распознал, что на них намотано.

Позднее он пытался восстановить процесс распознавания. А когда увидел, на миг настала смерть всех чувств, и в этот миг он шагнул к катушке… да, он поднял руку, оттянул и долго-долго стоял просто так.

Мотками, текучими петлями катушку (сотни футов? Сотни тысяч? И сколько таких катушек на этом складе площадью в квартал?) обвивала медная цепочка с призмами, зеркалами, линзами.

Он стоял перед этим полосчатым блеском и ждал, когда блеск высечет в мозгу хоть какое-то объяснение.

Кончик цепочки свисал на пол, и несколько футов складывались в целые (ок. 300 звезд?) Плеяды.

Рядом стояла вскрытая картонная коробка. Шкет наклонился, отогнул клапан. Похожи на медных жуков. Он сунул руку в груду металлических бирок, достал одну — на конце дырочка — и

попытался прочесть, что выгравировано. Свет был слишком тускл, уголки глаз жгло.

На картонке, однако, белым по трафарету было выведено: PRODUCTO DO BRAZIL.

Шкет выпрямился.

Тэк футов на сорок убрел прочь по картонному проспекту.

Зрение в сумеречном свете прояснилось — теперь Шкет разбирал трафаретные надписи на других коробках:

FABRIQUE FRANÇAISE[43].

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ – очевидно, пятно в начале – это «СД».

ПРАГМАТА ЕЛЛНNIKA[44].

Шкет снова посмотрел на цепочку. Он приступил к изысканиям в любопытстве, но результаты были так далеки от ответов, что даже любопытство отключилось.

— Тэк!

— Что? Эй, иди сюда. Видал?

Шкет бегом кинулся по проходу меж картон-

---

[43] Примечания: 43
Французская фабрика *(фр.)*.

[44] Примечания: 44
Греческие вещи *(греч.)*.

ных груд.

Тэк пнул деревянную крышку. Взвизгнули гвозди, среди ящичных пирамид раскатилось эхо.

— Если нужны новые, их берут здесь.

Ряды гнезд напоминали квадратные картонки из-под яиц.

Не хватало где-то дюжины.

Те, что остались, размером с мячик для гольфа и цвéта орудийной бронзы, пузырились линзами. Все рычажки смотрели влево. Справа — металлические колечки для цепей.

Шкет приподнял свой проектор, посмотрел, как он качается на цепи.

— Они без батареек, — сказал Тэк. — Батарейки в магазинах берут, в городе.

На крышке ящика изнутри по трафарету выведено: «ПАУК».

На наваленных вокруг ящиках Шкет прочел:

ДРАКОН
ЯЩЕРИЦА
ЛЯГУШКА
РАЙСКАЯ ПТИЦА
СКОРПИОН
БОГОМОЛ
МАНТИКОРА

Шкет приподнял слой гнезд за уголок. Слой ниже был полон.

— Их же тут, — Шкет посмотрел на Тэка, нахмурился, — *тысячи*?..

— Мне надо кое-что взять наверху, — сказал тот. — Пошли.

— Тэк. — Шкет обвел взглядом лабиринт бесчисленных ящиков. — Их же тут тысячи! Или миллионы!

Косой столб под крапчатыми панелями потолочного люка вскипал пылью.

Тэк направился к железной лестнице у стены.

— Тут вообще много удивительного. — Он перегнулся через перила, ухмыльнулся Шкету и зашагал наверх.

— Эй. — Шкет крутанулся вокруг железной стойки перил и пошел следом. — А ты за чем пришел?

— Это наверху.

Груду картонных коробок у стены испятнала вода. Рядом водопроводные трубы; асбест на них тоже пятнистый.

— Сюда.

Они шагали по балкону. Ведя ладонью по пери-

лам, Шкет на ходу озирал склад.

— Я тут всякий раз финальную сцену «Гражданина Кейна» вспоминаю, — сказал Тэк. — Мне вот что надо.

Стену подпирали два рулона… ткани (какой-то парчи. В тусклом свете не разберешь, золотой или серебряной).

— На платье? — спросил Шкет.

— Она про это заговорила, а я сказал, что, помнится, видел такое, где-то валяется. — Тэк распечатал один рулон. — Уж не знаю, этого ли она хочет. Что-то уникальное. Ты иди, осмотрись, если охота. Я крикну, когда буду уходить.

Шкет сделал шагов десять, обернулся — Тэк все разворачивал ткань ярдами — и пошел дальше.

На коробках поблизости — небольших и сваленных как попало — неуклюжие трафаретные символы знаков зодиака. Эти коробки он обогнул. Одна, вскрытая, как коробка с бирками внизу, одиноко стояла посреди застеленного железом прохода.

Его шаги, даже босая пятка, отдавались металлическим звоном. Пол вздрагивал, и вместе с ним вздрагивал откинутый клапан.

На картоне по диагонали значилось:

КРАСНЫЕ НАГЛАЗНИКИ

Шкет не нахмурился. Все мускулы лица жаждали сложиться в гримасу. Но что-то еще хватил паралич. Он присел на корточки, открыл коробку.

Некогда их, наверно, аккуратно расфасовали. Но от кантовки почти все перемешались. Он достал один. Вогнутый такой кружок размером с четвертак, как будто вырезанный из пинг-понгового шарика.

Красный.

Шкет повертел его в ороговевших пальцах. Но это ничего не *объясняет*, подумал он. И сморгнул, потому что глаза наполнились водой. Ничего! Плечи, спину, ягодицы накрыло марлей мурашек. Кому и зачем могли понадобиться…

Он опять сморгнул.

Слеза упала на матовый наглазник. Растеклась, и под нею цвет сгустился, заблестел алым стеклом.

Нет — мысль вышла двойная, бессловесная и словом, и друг друга они почти не перекрывали.

Наглазник в пальцах треснул.

Шкет бросил его в коробку, текуче поднялся. Выдохнул все, что было в легких, немножко вдох-

нул и сглотнул, испугавшись эха.

Попятился.

Когда их надевают? Когда снимают? А девают *куда*… Лучше бы (мысль калейдоскопически рассыпалась и прояснилась) тут были ни при чем, ни при чем…

Шкет еще попятился, развернулся, бежал прочь по балкону.

Тэк, через руку перебросив парчу, присел у коробки.

— Я все взял, что хотел. Нашел что-нибудь интересненькое?

Шкет смотрел сверху вниз — под козырьком кепки не видно глаз.

Самое ужасное, сообразил Шкет, что я боюсь даже спросить!

— Эй, ты как? — Тэк поднял голову. Тень запрыгала по верхней половине лица. — Ты ж не закатишь опять припадок, нет?

Шкет попытался выдавить: я в норме. Изо рта вышел только воздух.

Тэк достал из коробки какую-то квадратную железяку, встал.

— Пошли. — И вздохнул.

На середине лестницы Шкету удалось произнести:

— Я в норме. — Фраза неприкаянно повисла в пыльном свете, притупленная эхом. Тэк в ответ глянул саркастически.

И это, подумал Шкет, тоже ускользнет сейчас из анналов памяти, поселится по недоступному адресу, по соседству с моим именем? (Он закрыл рот, и рев, сквозь который он продирался последние минуты, стих.) Скорее, об этом, в числе прочего, я никогда не смогу заговорить — и не забуду никогда.

На полпути к двери первый голос, соразмеренный с юмором, зевнул и переспросил: *Никогда?* — а затем хихикнул, перевернулся на другой бок и уснул.

Ну, блядь, еще очень, сука, долго.

Но ему чуточку полегчало.

— Видал? — Тэк кивнул на проход между ящиками.

— А что там? — Сердце по-прежнему стучало очень быстро. Голова кружилась.

— Пошли. — И Тэк его повел.

На штырях по деревянным стойкам висели орхидеи.

Шкет подошел.

— Это… модные. — Он обернулся. — Как у тебя, да?

— Простые вон там. — Тэк тоже подошел. — Я-то был уверен, что ты сюда уже заглядывал.

В ответ на вопросительный взгляд он снял со штыря ближайшую орхидею.

Открылись буквы:

МЕДНЫЕ ОРХИДЕИ

Шкет рассмеялся. В горле прозвучало слабенько, но эхо добавило мощности.

— Можно посмотреть? — Он взял свернутое устройство, покрутил. — Ничего же, если я возьму… да?

Тэк пожал плечами:

— А чего нет?

Шкет сложил пальцы щепотью и просунул в браслет.

— Я свою оставил в гнезде. Можно и две завести — чтоб одна на особые случаи. — Он вдруг дернулся к Тэку, изобразил финт. — А? Как тебе? — И опять засмеялся.

— Все. — Тэк даже не шелохнулся. — Пошли.

Уже показалась дверь, и тут на Шкета вновь напали мурашки. На сей раз он лишь разулыбался. Задрал голову к потолочному люку, потом сгорбился и поспешил за Тэком. Я, наверно, это место никогда больше не найду, подумал он. Кра-

жа сувенира (он глянул на лезвия вокруг кисти) внезапно показалась ему великим хитроумием.

Снаружи Тэк разгладил отрез ткани на руке:

— Раз это бальное платье твоей подруги, не надо бы тебе видеть, как оно устроено. Но уж больно клево. Погоди-ка. — Он вынул из кармана приборчик — железный пульт не больше сигаретной пачки, с тремя шкалами, двумя ручками и лампочкой в уголке. — Одолжи батарейку из проектора.

— Конечно. — Шкет сквозь ножи помацал шар. Щелкнула крышка. — У меня только одна рука. Достань сам.

— Ага.

Тэк снял крышку с приборчика, сунул батарейку.

— Теперь смотри.

Он повернул ручку.

Лампочка замигала аргонно-рыжим.

— Поехали.

Повернул другую ручку.

Ткань — Шкету сначала почудилось, что Тэк ею трясет, — полиловела.

— Чего? — сказал Шкет.

Металлические чешуйки ткани как будто перевернулись. Потом кое-где перевернулись снова,

и из угла поползла алая клякса — она затопила лиловый, а потом ее саму затмила блестящая зелень.

— Эй, ой!.. — Шкет попятился. — Такое будет платье?

— Красота, да?

Многоцветное мерцание насекомых крыльев потемнело до синевы, а та сгустилась, еще сгустилась и почернела.

Тэк выключил пульт. Ткань почти целиком тускло засеребрилась. Тэк ее встряхнул; получилась однотонная металлическая серость.

— А ты знаешь, как это работает?

– *Угум*. — Тэк убрал пульт в карман. — Да тут все просто. Эй, только Ланье не говори, что я тебе показал. Она хотела, чтоб был сюрприз.

— Да не вопрос, — сказал Шкет. — Не вопрос. — Оглянулся на двери склада. — Слышь, Тэк, а кто?..

— А вот если бы я, — у его плеча отозвался Тэк, — знал *это*, я бы тебе уже сказал.

— А, — и в голове у Шкета потек список вопросов, которые бы такой ответ удовлетворил.

— Поднимемся ко мне, выпьем?

Шкет сказал:

— Эй, а покажи еще, как эта штука работает. Я

хочу посмотреть.

Тэк вздохнул:

— Да не вопрос.

* * *

— Убью к хуям, тварь! — и словно младенец от боли завизжал. Шкет скакнул с антресолей, на бегу крутанулся вокруг дверного косяка. Доллар пританцовывал в коридоре, вращая доской над головой.

— Эй!.. — Саламандр попятился, локтем прикрывая лицо.

— ...*убью*, если будешь *лезть*!

Саламандр пригнулся. Доска громыхнула по стене.

Трое скорпионов (двое черных, один белый) столпились в дверях гостиной. Двое (один мужчина, одна женщина) вошли с задней веранды и вытаращились.

Голова у Доллара запрокинулась.

Шкет прыгнул и цапнул; рука запуталась у Доллара в волосах. Шкет схватил его за плечо, развернул и толкнул к стене. Доллар в нее врезался и клацнул длинными зубами. Доска углом заехала Шкету по плечу и загрохотала на полу, а Доллар опять открыл рот. На губах повисла

вязкая слюна. Доллар рванулся, задыхаясь; Саламандр попытался оттащить Шкета.

Шкет ткнул локтем назад:

— Отвали!

— Я его убью! — завизжал Доллар Шкету в лицо. — Он ко мне лезет. Убью! Он знает, что убью! Убью! Убью…

Шкет бросился на Доллара всем телом и вместе с ним распластался по стене. Затем в плече, и так горевшем после удара доски, вспыхнула боль, и он так удивился, что не вскрикнул. Лишь закряхтел, деря Доллару башку. Долларовы челюсти разжались и втянули воздух. Шкет услышал, как Долларов череп дважды стукнул об стену и сообразил, что сам же им и колотит. Почувствовал, как по руке стекает кровь. Глаза у Доллара остекленели. Он безуспешно тряс головой. Верхние зубы в крови, на нижней губе — кровавые крапины.

— Дай я? — Голос Саламандра прозвучал на одну пятую тише, чем полагалось; слова подрагивали. — Псих ебаный, он же покалечит кого-нибудь! И тогда хер знает что выйдет. Дай мы им займемся?

Шкет оглянулся. Саламандр зарывался в шею заросшим подбородком. Веснушчатые кулаки

разжимались и сжимались; он раскачивался и сопел.

— Дай мы?

Доллар покатал затылком по стене.

— Ты ему скажи, чтоб не лез! — Ресницы на левом глазу блестели слезами. — Убью! Он знает! — Доллар моргнул. Слезы покатились в щетину, всползавшую к скуле по прыщавой щеке.

В неподвижности Шкетова паника отступила. На ее место подкатила ярость. Но не приходило в голову, какие бы слова заорать. Он поднял руки и оглушительно выдохнул.

Саламандр заморгал и попятился.

Доллар перестал вращать глазами.

В щеке у Шкета задергался мускул; Шкет пошевелил ртом, чтоб это прекратилось. Потер липкое плечо.

В дверях ванной стоял Флинт, чуть позади него — Харкотт. На пороге передней двери — Денни: одна ладонь на дверной ручке, другая на косяке.

Поджидая слова, Шкет расслышал:

— …Видал? Видал, как он?.. — Перец на пороге гостиной жарко шептался с Б-г, а тот не слушал. — Видал, как Доллар на ниггера с доской? Точняк покалечил бы, вот точняк. Пускай теперь ссыт — Саламандр с него шкуру спустит. Как

думаешь, он Саламандра одолеет? А? Если б Шкет не вмешался, ты б на кого поставил? Кто кого бы первым, а? Если б Шкет не вмешался…

Перцево лицо меж тощих плеч, обмотанных цепями, блестело гнилью экстатической улыбки.

— Саламандр, погоди, — сказал Шкет, — пока я не скажу.

Саламандр сомкнул губы и кивнул — скорее просто головой пошевелил, нежели согласился.

— Иди, — сказал Шкет. — Ну его.

— …Ага, — сказал Саламандр. Кулаки разжались. — Только потому, что ты сказал… — Он развернулся и пошел по коридору; Флинт и Харкотт переступили с ноги на ногу.

— Убью! Он знает, я его…

Саламандр опять развернулся и ринулся назад.

Шкет сцепленными кулаками вмазал Доллару по щеке. Удар вышел слабый и неуклюжий (а плечо горело и вдобавок пульсировало), но Доллар осел, зажимая уши.

Саламандр схватил Шкета за плечи (боль в левом — вообще ни в какие ворота) и пробил два пинка вокруг его ног:

— Вот!.. На!..

Шкет его оттолкнул.

— Кто-нибудь, *уведите* его!

Никто не шелохнулся.

— Вы двое! Уведите эту тварь из гнезда, пока его, сука, не прибили! — Повернулся, обеими руками уперся Саламандру в грудь. Пола жилета свесилась на одну руку. На другую упала цепь. — А ты не лезь к нему… иначе я и тебе врежу, и тогда покалечимся мы *оба*!

Позади заскрежетало и зазвенело.

Шкет глянул через плечо. Денни и другой скорпион (оба — не те, на кого Шкет орал) подхватили Доллара, а тот сопел, дергался и никак не мог встать на ноги. Придуривается, небось, подумал Шкет. Да блин, никто его так уж сильно не бил.

Саламандр вздохнул, сглотнул, тряхнул головой, вздохнул опять.

— …Доллар бы Саламандра отмудохал, если б Шкет не вмешался, скажи? Как думаешь, убил бы? Точняк бы убил — видал, как он на Саламандра с доской? А тут Шкет такой вылетает…

Передняя дверь открылась; ноги Доллара с трудом одолели крыльцо.

Шкет тяжело подышал, хлопнул Саламандра по плечу и пошел. Попытался разъять всю сцену на атомы. В голове царила ужасная ясность. Но никакая ясность не проясняла память об ударах и боли хоть какой-нибудь мотивацией.

Он постоял на веранде, разминая плечо и слушая, как в доме возобновилось шевеление.

— Шкет?..

Одной рукой прижимая к себе черную девчонку, с которой накануне целовался Доллар (девчонка, судя по одежде, не скорпион, разглядел Шкет), на веранду, все еще не отдышавшись, вышел Саламандр. За ним втиснулись Харкотт и Флинт.

— Что? — Шкет снова сжал плечо. — Чего вам? — Ссадина от доски посерьезнее Долларова укуса. Бешенство, подумал Шкет; я от этой сволочи подцепил бешенство.

— Разреши нам пойти и ему всыпать, ладно? Он болтается у дома. Подляну какую подстроит. Мы его поучим жизни, и он угомонится, будет нормальный, как очухается. Не знаю, чего ты добиваешься, — сказал Саламандр. — Но иначе никак.

— Мне до фонаря, — ответил Шкет в основном потому, что болело плечо. — Делайте с ним что хотите, лишь бы не в доме.

Саламандр оглянулся на остальных.

— Ладно, — буркнул он. — Пошли.

Черная девчонка постояла в дверях одна, щупая пояс бордовых джинсов.

— Так нельзя, — сказала она с флоридским акцентом и тревожной гримасой.

Ужасная ясность сменилась ужасной же вялостью. Раззявив рот, Шкет кивнул девчонке.

Уже позднее он шагал по дому, не глядя на тех, кто бродил вокруг. Постоял у передней двери, резко развернулся, пошел к веранде, постоял у двери там, не то чтобы глядя на двор; поймав себя на этом, ушел в кухню.

Из-за сетки девичий голос спрашивал:

— …там? Вы не знаете, он там? Большой…

Шкет открыл дверь.

Она ткнула кулачком в подбородок. Светлые волосы, прихваченные заколкой с пластмассовыми цветами, скользнули с плеча, когда она повернула голову.

— Отсюда до Джексона кварталов восемь, — сказал Шкет.

Джун потрясла головой:

— Я искала не…

Ворон (один из владельцев «харлея») отер грязные руки о жилет, собрал в горсть длинные курчавые волосы, вынул из зубов ремень и завязал на макушке хохол размером с голову.

— Я не в курсе, чего ей надо.

— Ты… здесь живешь *ты*? — спросила Джун.

Шкет кивнул.

— Тебе чего? Если не Джорджа — кого тогда?

Ее рука пробежалась по пуговицам блузки сверху вниз.

— Брата.

Шкет сдвинул брови.

— Старшего брата, Эдварда.

— А… — Шкет сдвинул брови сильнее. — С чего ты взяла, что он тут?

— Кто-то видел… сказал, что видел… ты просто… — Она покосилась на Ворона.

Тот заложил большой палец за пояс и вытаращился в ответ.

Шкет кивком поманил ее в дом. Она зашла бочком. Поскольку в раковине опять наросла гора посуды, котелок с затвердевшими потеками супа на боках оставили на полу посреди кухни.

Джун на него посмотрела.

Шкет прикинул, сколько раз уже огибал этот котелок.

— Маме кто-то сказал, что… вроде кого-то видели, и он похож на…

Они вышли в следующую комнату.

— Родители не знают, что я здесь, — сказала Джун. — Они были бы… против.

Две черные девушки обернулись и воззрились

на нее. Сзади к ним подошел блондинистый пацан, оперся им на плечи, всосал нижнюю губу и протянул:

— Бля-а…

Все трое рассмеялись.

— Тут его нет? — спросил Шкет. — А?

Она уставилась на носки черных туфель; по щеке растекались красные пятна.

— Хочешь поискать?

Она кивнула и поспешно шагнула вперед, прячась за Шкетом от ухмыляющихся скорпионов. Еще двое, проходя за дверью, — стриженая белая женщина (с татуировкой на плече) и Б-г — поймали ее взгляд, но Джун резко отвернулась и сжала губы.

— Пошли покажу тебе дом.

В коридоре девушка в бордовых «ливайсах» болтала с Сиамом. Джун глянула на снимок под треснувшим стеклом — и в тот же миг Сиам и девушка глянули на нее.

Они пялятся, сообразил Шкет, потому что она так нервно от меня шарахается. Ходит кругами, все ходит и ходит, сжимает кольцо. И однако так далека! Не в том даже дело (соображал он дальше), что она красивая, а в том, что здесь живут две дюжины человек, но уединение, которого

требует она, подрывает наше понятие о человеческом пространстве. Их враждебность изливается похотливыми ухмылками и похотливыми остротами («Видал, какая пизденка прошла? — сказал за стеной то ли мужской, то ли женский голос. — Дайте мне нож и вилку!») — но это всеобщий отклик на раздражитель гораздо более личной природы, нежели гендер, хотя Джун, вероятно, не поймет этого еще много лет. Порой в семнадцать люди *ужас* как юны.

— В парке больше не живешь? — спросила она.

— Не-а. — Он выглянул на веранду и во двор. — Там его нет?

Она потрясла головой — и не, показалось ему, посмотрев.

— Может, здесь. — Они пересекли коридор; Шкет открыл дверь.

Внутри стояла жара, и даже Шкет порой недоумевал, как они спят в этой обугленной полутьме. Четверо, в том числе девушка, нагишом лежали на большом матрасе в углу, вяло потели, шипя выдохами не в такт. Собор, привалившись к стене, читал книжку с оторванной обложкой (…«Медные орхидеи»: Шкет узнал титул). Из уважения к спящим штору Собор не поднял. Лев, припав к подоконнику, читал у него через плечо.

Шкет вошел.

Джун, опять поднеся руку к лицу, шагнула следом.

Дверь чулана сняли и положили на коробки. С нее свисал на пол открытый спальник. На нем спали вместе мальчик и девочка, оба длинноволосые. Оба не скорпионы, и мальчику (ладошка обхватила девочкину шею), похоже, крепче спалось бы в коммуне.

Кто-то (Ангел?) рылся в чулане. Там что-то рокотало, и падало, и урчало, и все это перемежали «…ёпта…», и «…с-сука», и «…ёпта!..», и «…ёпта…».

С тех пор как Шкет в последний раз сюда заходил, на стену повесили плакат с Джорджем в образе Луны. Вокруг наклеили полдюжины разворотов из «Плейбоя», две обложки «Черной подвязки» и толпу голых женщин, играющих в теннис в каком-то лагере нудистов.

Джун до дрожи стиснула кулачки в подоле зеленого свитера.

Притворство, подумал Шкет. Как, впрочем, и это вот все.

— Эдди? — Ручки трясутся, а голосок-то твердый.

— А?.. Ой, привет… — Оказалось, блондин с квадратной челюстью, который наезжал на Пер-

ца. — Что ты тут… секунду погоди. — Он спихнул одеяло с ног и принялся шнуровать кроссовки. Застегнул джинсы, поискал жилет. Волосы, светлые, как у сестры, сидели у него на голове мятым упругим шлемом золотой фольги, который был ему велик.

— Я… я *никогда в жизни* такого не видела! — тихонько возмутилась Джун. Лицо такое, будто вместо молока ненароком глотнула апельсинового сока. Даже вслух произнесла слова: — Эдди… это правда ты?

— Секунду погоди, — повторил блондин, натянул жилет и шатко встал на матрасе.

Шкет воображал, что старший брат у Джун помладше. На лбу морщины. На висках залысины. У меня-то рожа детская, подумал Шкет; а ему, наверно, дашь чуть больше двадцати пяти; но в движениях есть некая юношеская неуверенность. Как у сестры. Глаза и верхние губы у них одинаковые. Нижняя у него полнее — скорее как у миссис Ричардс. Эдди подошел.

— Ты чего тут?

— Мы думали, ты уехал из города, Эдди! — Она посмотрела ему за плечо, опять в лицо. — Ой… если б мама с папой тебя здесь увидели, вот так вот, они бы… умерли… взяли и умерли…

— Тебе чего?

— Поговорить. Повидаться. Проверить, правда ли… Нам сказали, что кого-то видели, он был на тебя…

— Секунду погоди, — опять сказал Эдди. — Мне надо в… то есть я только что встал. — Он коснулся ее плеч и мимо Шкета вышел в коридор. — Я сейчас…

Калифорния заворочался на матрасе.

Собор оторвался от книги.

Глаза Джун метались по сумеречной комнате, разок наткнулись на плакат, увильнули.

— Мне твоя книга очень… по-моему, очень мило… где ты написал про нас, когда… ну. — После паузы она прибавила: — Эдди живет тут с тобой… А давно он…

Шкет пожал плечами.

— Маме книга тоже нравится, — еще помолчав, сказала она. — Подарила ее нескольким…

Она не закончила, и тогда он сказал:

— Передай ей от меня привет.

— Да ты *что*! — Спустя миг она захлопнула рот. — Ой, ты что, я не *могу*…

Не стоит злости, решил Шкет. Прислонился к косяку. Ангел выглянул из чулана, сказал:

— Чё?.. — не получил ответа, дернул плечом и

опять удалился.

Я не отвечаю, потому что нечего сказать. Она отворачивается и невидящим взглядом сверлит какую-то груду постельного белья на полу — уверена, что ответа требуют от нее.

Можно уйти — пускай ждет одна.

— Осторожно, — за его спиной сказал Флинт.

Шкет обернулся.

— Держу. — Харкотт подкинул лодыжки Доллара под мышкой.

— Свалите его там где-нибудь, — сказал Саламандр. — Оклемается.

Джун тоже обернулась. Шкет оценил, как прекрасно, невзирая на нервозность, она выказала интерес, но воздержалась от истерики.

Долларово плечо долбанулось об дверь.

— Вон туда его, а? — Флинт бесцеремонно схватил Доллара за локоть и втащил в комнату.

— …видал? Видал, как они его отделали? Он снаружи стоял, и все, не убегал, ничего, а они к нему. Ёксель, не очень-то даже и старались. Саламандр как врезал ему в третий раз, он и упал. Даже нос не расквашенный. Вот глаза нехорошие, это да…

Щека под глазом распухла и ободрана. Руки у Доллара хлопали по бокам. Ремень расстегнут.

— По-моему, придуривается, — сказал Сала-

мандр Шкету, скребя голову ногтями. — По-моему, не хотел, чтоб его дальше били, и придуривается. Но придуривается неплохо так.

— Не побежал, когда вас увидел? — спросил Шкет.

— Куда ему бежать? — Саламандр левой рукой обхватил правый кулак. Веснушчатые костяшки кровоточили. — Вон туда его киньте.

Шкет посмотрел, но рук Флинта ему не было видно.

Из чулана опять вышел Ангел, огляделся, сказал:

— Да господи боже… — потряс головой и опять удалился.

Собор под окном закрыл было книгу, но снова открыл.

— Его положили к Эдди на?.. — начала Джун.

Двое в дверях переступили с ноги на ногу. Контрапунктный храп голых скорпионов ни на долю не сбился.

— Извиняюсь, а? — Зыркнув злобно, Эдди обогнул Перца. Подошел к своему матрасу, присел на корточки и выдернул у Доллара из-под руки моток цепей. Оглянулся на Шкета: — Отделали его? — Покачал головой, взял одеяло и натянул Доллару на плечи.

Это, подумал Шкет, ради нее. Под одеялом тут слишком жарко.

Надевая цепи, Эдди вернулся к двери:

— Ты чего пришла?

— Не знаю… правда, я не знаю… не понимаю, как ты можешь…

Харкотт и Флинт рассосались. Саламандр покосился на Джун, похмурился Шкету и тоже ушел.

— Пошли, — сказал Шкет. — Хотите поговорить? Пошли на веранду. Люди же спят, ну?

Шкет пропустил их вперед и зашагал за Эдди замыкающим.

Дверь в туалет стояла нараспашку; Накалка — да, вот как зовут стриженую белую, внезапно вспомнил Шкет, — срала поутру, спустив джинсы на икры и положив «Вести» на колени.

— Сюда, — Эдди показал Джун через плечо.

Джун свернула в дверь и сказала:

— Ой, изви…

— А? — Струя у Ворона оборвалась. — Там туалет занят, — объяснил он растерянно в ответ на растерянный взгляд Джун; и его моча снова застучала по раковине.

— Давайте-давайте. — Шкет загнал их на крыльцо. — Он сейчас закончит.

Ворон стряхнул, запихал себя в штаны:

— Ага, я все.

Это было задумано, самодовольно решил Шкет. Быть не может, что ненароком.

Ворон вышел…

— Остальных я спроважу, — сказал Шкет.

…и снова просунулся в дверь.

— Эй, я хотел воду в раковину пустить, да?..

— Потом, — сказал Шкет.

— Ладно. — И Ворон ушел.

Джун смотрела в окно. Эдди наблюдал за ней и тягал себя за волосы на затылке.

— Ты чего хотела-то?

Джун обернулась.

— Я думал, — сказал Эдди, — вы уедете. То есть я думал, мама с папой увезут вас с Бобби в другой… город.

— Ты ему не сказал, — спросила Джун, — про Бобби?

— Я три минуты назад узнал, что он твой брат, — сказал Шкет. — Джун столкнула Бобби в шахту лифта, сломала ему шею, нечаянно. Он умер. — И в тот же миг лицо Джорджа заполонило мысли, отключив все прочие реакции.

— Мама очень больна, — сказала Джун. — Сильно нездорова. И я волнуюсь за папу. Он, знаешь, каждый день ходит на работу; невзирая ни на

что. Но теперь иногда не возвращается домой по три, по четыре дня…

– *А?* — Эдди задом привалился к стиральной машине. — Что?.. — и вовсе не в ответ на слова Джун.

— Я так боюсь, я не… знаю, что делать. Честное слово!.. — Она запиналась по-прежнему, но каждая синтагма звучала тверже. — Ты ушел, и все… все разваливается. Все, Эдди. Ты ушел — и как будто… как будто затычку вынули и все утекло. Все, что было.

— Господи боже… — Эдди смотрел в пол и мотал головой. — Бобби?..

Она ходит кругами, подумал Шкет, она ходит кругами, божественно банальная, отвергая вину и невинность; одна ее упертость — уже героизм!

Кусая губы, Джун тоже покачала головой:

— Ты к нам вернешься?

И догнавшая первую мысль: она всего лишь семнадцатилетнее гиперопекаемое божество. (Где-то сластолюбиво ухмыльнулся Джордж.)

— Ну, — сказал Эдди, — а зачем?.. — А потом сказал: — Бобби умер? И папа больше не приходит?

— Иногда, — ответила она. — Ой, он приходит…

Эдди посмотрел на нее:

— А мне зачем возвращаться?

— Ну, если ты хорошо оденешься, и постри-жешься, например, и перед ними извинишься…

— За что мне извиняться! Он сказал, что меня *убьет*, если я вернусь!

— Но это же просто потому…

— Они начали первые, — сказал Эдди. — Они начинают всякий раз, когда я прихожу, и пре-кратить это я не могу. Я не знаю как. Я потому и ушел…

— Но если ты извинишься за свои поступки…

— За что мне извиняться? Ага, извините, что, как ни приду домой, они едят меня поедом, пока не озверею, а потом звереют сами! Извините, что болеет мама, извините, что папа такой весь огорчился. Извините, что Бобби умер. — Эдди на-супился и после паузы спросил: — Ты его убила?..

Джун заплакала — беззвучно полились слезы.

— Ой, эй, я же… слышь, я не хотел… — Руки на бедрах сжимались, и разжимались, и сжимались — Шкет узнал жест, что предшествовал Сала-мандровой ярости.

— Ты мог нас увезти!.. — Она разрыдалась в голос. Насколько Шкет *понял*, прорыдала она: — Из этого ужасного города! — Но сквозь всхлипы речь ее была невнятна, как у некоторых черных

с Джексона. В конце концов она захлопнула рот, потерла глаза, шмыгнула носом. — Хоть бы меня кто-нибудь… отсюда увез!

— А отец чего не уезжает?

— Он считает, мама не захочет. И… по-моему, даже *он* не хочет.

— Так увези их сама.

— Я просто девочка, — сказала Джун. — Я ничего не могу. Я вообще ничего не могу! — И она лбом потерлась о ладони.

Руки Эдди перевернулись на коленях.

— Раньше ведь не хотели уезжать? — сказал Эдди. — Я их уговаривал — без толку!

Джун отняла лицо от ладоней.

— Ты что тут *делаешь*? — тихонько вопросила она. — Ой, Эдди, ну пожалуйста, вернись домой! Что ты тут забыл? Это все… здесь… ужас какой-то!

— Что?

— В смысле, — сказала она, — что вы тут делаете?

– *Мм*, — пожал плечами Эдди, — да особо ничего. Мы тут типа живем, скорпионы. Да? Все вместе. Вот здесь. И все.

— И вы не, — опасливо начала она, — грабите людей на улицах, не избиваете, не отнимаете у

них деньги и вещи… да?

— Не, — вознегодовал Эдди. — Не, это не про нас. Это с чего ты взяла?

— Люди говорят, — ответила Джун. — Иногда в газете пишут.

— В газете, знаешь ли, много брешут. Сама же понимаешь. И вообще, Шкет вон задружился с мужиком, который издает газету, мужик этот Шкету праздник устраивает, и мы все туда идем. Так что газета к нам подобрее теперь будет, а? — Это обращалось к Шкету.

Тот у двери, скрестив руки на груди, пожал плечами.

— И что вы тогда *делаете*?

— Не знаю, — сказал Эдди. — В набеги ходим.

— Это что значит?

— Ну, это… — Эдди покосился на Шкета. — Шкет у нас тут босс; он нас водит в набеги.

— И что вы делаете в этих… набегах?

— Собираемся с ребятами и… идем куда-нибудь, смотрим там; берем всякое, что захотим, что понравится.

— Еду?

— Не еду! Скорпионы за едой не ходят — разве что совсем туго. Другое…

— Какое?

— Ну, всякое.

— И несете сюда?

— Если охота.

— У вас тут как-то мало что есть… — сказала Джун.

— Нам много не надо.

— Тогда что вы делаете в набегах?

— Ну, мы… — пожал плечами Эдди.

— Крушим, — сказал Шкет. — Главным образом. А если кто против, мы их жизни учим.

— Вы *так* делаете? — спросила Джун брата.

— Иногда. Да, и такое бывает. Но обычно, если мы куда пришли, там никого нету. А если кто есть, они так пугаются, что линяют. — Он скривился, будто что-то припоминал. — А, точно. Если у кого проблемы и он приходит к нам, мы разбираемся, чтоб все тихо-мирно. Но это редко. Люди нас боятся. И не возбухают.

— Это, как выражается кое-кто, наш охранный бизнес, — пояснил Шкет. — Только мы никого не охраняем.

— Ага, — подтвердил Эдди.

— Но зачем?..

— Мы бы занялись чем-нибудь другим, — сказал Шкет, — но больше нечем…

— Потому что… — начал Эдди. — Слушай, я

скорпион, и мне нравится быть скорпионом. Ни с чем не сравнится. Мир жесток и опасен, нам надо выживать… понимаешь, да? Люди нас боятся, и, может, это они зря. Но так проще. Выжить. Я скорпион, потому что, когда мы толпой идем по улице и нас видят, все думают… — Эдди щелкнул пальцами, — во, точно. Мы приходим и первыми берем что хотим; а если кто не дает — они сами виноваты. Мы вместе, понимаешь? Друг за друга. Один скорпион угодил в передрягу — слетается все гнездо, целым *роем*! Если что не так в гнезде, скорпионы прибегут отовсюду. Тут всем плевать, кто ты, откуда, чем занимаешься; это… как семья. Ты скорпион — и ты знаешь, что причастен к чему-то важному, это что-то значит, люди смотрят и задумываются… Понимаешь?..

Джун молчала и глядела озадаченно.

— Ты *поэтому* скорпион? — Шкет в дверях потряс головой. — Ёпта… Эй, кстати!

Ее глаза метнулись к нему…

— Джорджа-то нашла?

…и расширились; голова не то чтобы закачалась — отрицательно завибрировала.

— Ищи-ищи. — Шкет постарался улыбнуться, преуспел и понял, что это он по-честному. — Найдешь.

Шагая по коридору, Шкет взвешивал, насколько вероятно, что Эдди уйдет с Джун. Неплохо бы. В дальней комнате он проверил, как дела у Доллара. Тот лежал, не сменив позы (как и все прочие), дыша хрипло и ровно.

В комнате с антресолями Шкет босой ногой попинал Ворона в колено. Ворон сидел по-турецки перед грудой болтов и шурупов.

— Иди, уже можно слить воду.

— А? — Ворон задрал голову. — А, да, секунду.

Шкет пнул его в колено носком сапога.

— Иди раковину, блядь, вымой!

— Иду, иду. Еще минутка — и вонять не будет!..

— Не в вони дело. Иди. — И не соврал.

— Иду! — Ворон встал и вышел.

Внезапно рассвирепев на брата и сестру, Шкет хотел прервать их беседу и выпереть из дома обоих.

По столбу с засечками он вскарабкался на антресоли. Денни лежал, задрав ноги на стенку; оторвал взгляд от Эшера, стоявшего на груди, и перевернул страницу. Шкет сел, привалился к стене.

— Эй?

— Что?

— Я вас уже водил в набеги?

— Ты опять все забываешь?

— Скажи, водил или не водил, и я отвечу.

— Один раз только.

— Когда?

— Не помнишь?

— Ты отвечай, хуесос!

— Когда… солнце было, и ты всех погнал в тот дом. Где Доллар убил Уолли. Это пока твой единственный набег. То есть ты не планировал, что будет набег. Но больше не было.

— А.

— Это ты помнишь?

— Это я помню.

– *Ммм*. — Денни кивнул и опять уткнулся в книгу.

— Надо, наверно, скоро опять.

– *Ммм*, — сказал Денни, но от книги не оторвался.

Зачем мы ходим в набеги? — подумал Шкет; потому что иначе будем слегка крезовее, чем сейчас.

Мимо двери прошел Эдди.

— Эй, Эдди?

Тот остановился:

— Что?

— Ушла?

Эдди выдохнул:

— Ага.

— А ты остаешься?

— Чувак, — сказал Эдди, — я им ничем помочь не могу. А она… Ну…

— Понимаю, — сказал Шкет. — Слышь, Эдди… речей больше не толкай. Пресс-секретарь из тебя херовый.

— А? — Эдди шагнул в комнату. — А… м-да. *Э*… Шкет?

Шкет услышал, как по полу раскатились болты.

— Ну?

— Короче… «Эдди» — это меня сестра и предки так зовут. А тут народ зовет Тарзаном.

— Тарзаном? — Это был вопрос, но интонация нисходящая, а не наоборот.

— Ага.

— Понял.

Эдди повернулся к двери.

— Эй, Тарзан?

— Что?

— Жалко, что с твоими родными так.

Эдди улыбнулся, скупо и мельком:

— Спасибо. — И ушел.

Вернулся Ворон, сказал:

— Да ёпта! Все шурупы мне раскидали к хуям! — Поцыкал зубом, присел на корточки и принялся скатывать шурупы в кучку, исчезнув за краем антресолей.

Я прихожу. Я ухожу. Но не уйду — останусь. Из этой клетки чересчур легко слинять. Вот это нас и держит? Уйти из города: от одной мысли у меня слабеет поясница и разжижается разум — до того, что лучше просто забыть, едва мысль миновала. В ожидании слова, что раздвинет, железно шурша, эти стены, никак не начать. Строя кадр, куда влезет день, я пухну от ужаса пред своей неспособностью, что бы ни делал, отличить время после от времени до.

— Привет, а что ты тут починяешь? — спросила она.

— Да железяку тупую… — ответил Ворон.

Денни захлопнул Эшера, перекатился и свесился через край:

— Эй! Ланья!

— Привет, птенчик. А Шкет там?

— Да, вот он.

— Мне места хватит? — Затем ее голова показалась над краем и нахмурилась: — Тут лазить труднее, чем раньше по лестнице.

Шкет встал на колени и взял ее за плечо. Денни

уже был у края — тоже помогал.

— Эй, мне самой проще. Ну-ка… — Она скривилась. — *Э*… нет, будьте любезны. Я справлюсь. — Она подтянулась, один раз чуть не соскользнула. — Вот. — Перевела дух. — Теперь главное спуститься.

— Ты пришла к нам в гости!

— Еще бы, — ответила она Денни, который уже сложил руки ей на коленку. — Я же сказала, что приду, нет? — Взяла за руку Шкета, взяла за руку Денни. — Тэк сказал, ты видел, из чего у меня будет платье. — Она была в джинсах и бежевой блузке. — Ну и ладно, что не сюрприз. А ты решил, какую рубашку наденешь, Денни?

— Я подумал, — сказал тот, — можно взять все три и иногда переодеваться.

— А *ты* что наденешь?

— Что на мне, — ответил Шкет.

Ланья поразмыслила.

— Штаны сначала постирай. Дай мне, я постираю в машинке. У нас в подвале одна работает.

— У меня только одни штаны, — сказал Шкет.

Ланья рассмеялась, отпустила их руки и заползла вглубь.

— Я зато побреюсь.

— Я думала, ты бороду отращиваешь.

Ворон снизу крикнул:

— У меня бритва есть — если хочешь, бери. Ее все берут.

— Я, наверно, уже брал, — сказал Шкет. — Спасибо.

— Я все утро и весь день учительствовала, — сказала Ланья. — А вы тут что делали?

Денни пожал плечами:

— Ничего. Толком ничего. Мы тут вообще ничего не делаем. — Денни вытащил из-под себя сапог и задом отодвинулся очень близко к краю. — Доллар пытался раскроить Саламандру череп доской, а Шкет вмешался и их разнял…

— …гаденыш, — Шкет подвигал плечом (еще больно), — чуть руку мне не отгрыз…

— …и мы его выставили, но Саламандр, и Флинт, и Харкотт пошли и все равно его отмудохали. Теперь лежит в доме, отмудоханный.

— Мы тут особо ничего не делаем, — сказал Шкет. — Ни за что не угадаешь, кто в гости приходил. Ушла прямо перед твоим приходом.

— Кто?

— Джун Ричардс.

— Это с какого перепугу?

— У нее тут брат.

— Я думала, он упал в шахту лифта и сломал

шею.

Денни сказал:

— Это был *ее* брат?

– *Другой* брат, — пояснил Шкет. А затем Денни: — А этот ее брат — Тарзан.

— Да, я же тут сидел. Забыл уже?

— А.

— Чего хотела?

— Семейные неурядицы.

— Я думала, ты уже нахлебался неурядиц в этой семье.

— Вот и я думал. — Шкет лег головой Ланье на колени. — Как тебе наше новое гнездо?

— Можно не стесняться?

— Не нравится? — Денни пересел к ней под бок. — А по-моему, клево. Гораздо лучше предыдущего.

— По пути от двери до туалета, а затем сюда я раз семь заново спросила себя, как вы это *терпите*!

— Да ешкин кот, — сказал Шкет, — мы с тобой сколько дикарями жили?..

— Так это в лесу, на воздухе! И мы почти все время были одни — ну, хотя бы вдали от людей.

— По-моему, ей тут не нравится, — поник Денни. — Лучше ведь стало, нет? У нас тут матрас…

— У вас тут полсотни человек в доме, куда не влезет…

— Двадцать, — поправил Шкет. — Ну, двадцать пять.

— …На крыльце, в кухне, в гостиной, на веранде и в двух дальних комнатах я насчитала двадцать восемь — в доме, где будет тесно пятерым или шестерым! У заднего крыльца куча говна — человеческого, я полагаю, — что вполне понятно, поскольку у вас всего один туалет. Где я, кстати, побывала, и *это* не опишешь пером. Как ты кормишь всю эту ораву? Я видела вашу кухню!

— Мы неплохо кормимся, — сказал Денни. — Я считаю, мы питаемся неплохо.

— Тут же не остаться одному. Я бы на стенку полезла!

— Знаешь, — сказал Шкет, — с одиночеством занятная штука. Если в комнате двое-трое, очень трудно остаться одному. А если девятеро или десятеро, тем более когда живете все вместе, едва охота побыть одному, надо просто подумать: хочу побыть один — и всем есть на кого переключиться, и ты один. Я на первом курсе Колумбии жил в квартире с двумя соседями; у нас было четыре комнаты, и это было невозможно. А пару лет спустя я декабрь, январь, февраль и март прожил в

трех комнатах на Восточной Второй улице в Нью-Йорке с десятью парнями и десятью девчонками. Холод был собачий, и мы торчали там *целыми днями*. Только и делали, что жрали, еблись и торговали травой; лучшее время моей жизни.

— Правда? — Затем она прибавила: — А сейчас как, если сравнивать?

— Сейчас — не оно. Но бывало гораздо, сука, хуже.

— У нас полно вкусной жрачки, — сказал Денни. — Хочешь есть? Я, наверно, могу тебе что-нибудь состряпать.

— Спасибо, птенчик. Но я только что пообедала.

— У нас там было гораздо чище, — сказал Шкет. — Может, потому что девчонок побольше.

— Свинский сексист, — сухо сказала Ланья. — Ввозить оптом рабскую силу, чтоб тарелки мыла и…

— Я не свинский сексист, — возразил Шкет. — Я красный голубой извращенец.

— Одно другому не мешает.

— Прибирались все. Как и здесь. Мы всем велели разуваться, когда с улицы заходят. В Нью-Йорке слякоть. Но приятнее, когда девушек больше.

— Завязывай с проповедью. Это все, может, и

прекрасно, но здесь-то иначе. Я прямо бью себя по рукам — как бы не позвать вас к себе жить и стать моими ненаглядными.

— У тебя такой дом — жить у нас ты, наверно, не захочешь, — сказал Денни. — Но можешь временно.

Ворон вдруг высунул из-за края косматый плюмаж:

— Эй, дамочка, если они к вам не хотят, я зато с радостью. Я чистый, я дружелюбный. И часто здесь стряпаю; и трахаться со мной ничего…

— Катись к ебеням, хуесос! — громко посоветовал Шкет, подавшись вперед.

— Запросто. — Плюмаж исчез. — Я подумал, стоит предложить.

— И больше никого к нам не пускай. Мы тут заняты, ясно?

— Понял, — донеслось снизу. Загремели болты и гайки.

— Я по многим причинам вас не зову.

— Мадам Браун, наверно, не обрадуется, — сказал Денни.

— Возможно, — сказала Ланья. — Но я не об этом. Мне нужно куда-то сбега́ть. Где зализывать раны, когда меня ранят.

— Ну нормально, — сказал Шкет.

— Ты нас боишься? — Денни убрал руку, лежавшую у нее между бедер.

— Да. — Ланья взяла ее и положила обратно. — Но с вами интереснее. Не понимаю, почему я должна… ой, да ерунда! Я могу придумать четыреста причин, почему я должна — или почему люди скажут, что я должна. А я сама почему должна? Вот я, видимо, хочу узнать. Пораженчество какое-то, да? Короче, я просто выясняю почему.

— Пожалуй, — сказал Денни, — это очень…

— …он наверху? — спросил кто-то.

— Занят. Тебе туда нельзя.

— Мне с ним только *минуту* поговорить!

— Я же сказал: он занят. Тебе туда…

— Солнце мое, я отсюда их макушки вижу, так что ничем таким *сложным* он не занят.

Шкет переполз к краю антресолей:

— Зайка?

— Вот видишь, — Зайка шагнула в комнату, — он даже не раздет. Приветствую! Это — та-та-та, та-та-та, *та*! — я. — Руки вытянулись вверх, опали; вместе с ними опала и улыбка. — Шкет, ты здесь вроде за главного. Перца не видел?

— Да, он где-то тут.

— Привет, Зайка. — Через край перегнулась Ланья. И Денни тоже.

— Ай-я-яй! — Зайка погрозила Ланье пальцем. — Сама знаешь, радость моя: по одному и медленно. Привет. — Это адресовалось ухмыляющемуся Денни. — Какой прелестный у тебя прикус. — И она снова перевела глаза на Шкета: — Одобряю. Не *может* быть, что я *угадала*, чем вы собирались заниматься. Можно с вами посидеть?

— Мы, наверно, собирались, — ответила Ланья. — Но ты залезай.

Зайка задрала платиновые бровки, морща — или сминая — лоб:

— Не понимаю я этих современных отношений. Под блистательной наружностью я всего лишь нежная девочка старого образца. Без обид, душа моя, — кивнула она Ланье. — Ну-с… и каким же образом это полагается преодолевать? — Зайка взялась за столб. — А, тут несложно. — Голова и тощее горлышко (под обвисшим воротником шерстяной черной водолазки) возникло над матрасом. — А дальше как?

— Давай помогу. — Денни привстал и схватил Зайку за плечи.

— Эй, легче, легче, да ты что, я… ой! — Зайка примостилась на краю антресолей; черные джинсы на талии слегка свернулись. — *Спасибо*

тебе! Что ж, должна признать, у вас тут весьма уютно. Ты сказал, Перец *где-то тут*? Не описать словами, какой груз спал с моего истощенного и искореженного некрупного мозга. Перец ведь жил у меня, ты знаешь; а несколько дней назад канул. Опять. Ты же *понимаешь*, я волновалась. Последние двадцать девять лет он как-то умудрялся позаботиться о себе, не *слишком* задерживаясь в тюрьмах, — а ты в курсе, он мне как-то рассказал, что однажды его задержали за публичное *обнажение*. Прелестно, не правда ли? Но я прослышала, что у тебя гнездо, и подумала: схожу гляну, а уж потом решу, стоит ли неистово горевать.

— Он где-то тут, — повторил Шкет. — Но где он сейчас, я не знаю. Хочешь его забрать? Я не против.

Зайкины зрачки закатились.

— Ой, я бы руку отдала, лишь бы он вернулся. — Зайкины ногти с облупленным жемчужным лаком переползли на яркие бусы, оцеплявшие узенькие темные плечи. — Но я не стану заставлять бедного ребенка, если ему не хочется. Ему неполезно. Ему надо учиться поступать, как *он* считает нужным. Если я так и буду режиссировать его жизнь — а вы не поверите, как

он об этом мечтает; он практически требует, чтобы любое *подобие* решения я принимала за него, — он не повзрослеет никогда. Ты отвечаешь перед теми, кого любишь, насколько они тебе позволяют. — Зайка сложила руки, бледные и узловатые, перевела хмурый взгляд с одной на другую. — Вас *трое*? Дорогие мои, это сколько же *труда*! Ну, зато в непростую годину вам будет на кого опереться. — Гримаса переменилась; руки разъединились. — Ты сказал, можно его забрать? Он тут, часом, не попал в беду?

— Не, — ответил Шкет. — Но я издавал громкие звуки одному тут, который на него наезжал.

— Правда? — Зайка отодвинулась. — Ты, выходит, не только пишешь прекрасные стихи — у тебя и душа поэтическая! Я так и знала, я сразу поняла, когда Перец нас познакомил. Я потому и пришла: потому что у тебя душа поэта. — Она еще отодвинулась. — Скажи-ка мне. В пятом стихотворении. На странице семнадцать. «Маб» — я не постигаю названия и не уверена, что хочу, но мне почудилось или я уловила мимолетную аллюзию на… *себя*?

— Да, — сказал Шкет. — Не исключено. Я это писал у Тедди в сортире. Ты там снаружи танцевала.

– *Аххххх!* — вскричала Зайка, заломив руки и опустив глаза долу. — Как неописуемо волнительно… Ой! — (Одна рука взлетела, закружилась.) — Разумеется, тебя это ничуть не умаляет, душа моя! — (И опустилась Ланье на колено.) — Ты ведь, можно сказать, Темная Леди Сонетов. — Тут Зайка подалась вперед. — Радость моя, *не* причиняй ему горя. — (Рука опять взлетела, тронула Денни за плечо. Тот на нее насупился.) — И ты. Будь добр к нему. — Зайка снова обернулась к Шкету: — Ты ведь знаешь, что обречен на трагедию. Мы, подобные тебе и мне, с начищенными «Айпеной» улыбками, на трагедию обречены всегда. Ибо кто способен нас полюбить? А все потому, что наша половина класса чистила зубы «Крестом»; трагедии начинаются с мелочей. Все мы, обладатели сверкающих гримас, принуждены мириться с судьбою: нам предстоит дорога в Голливуд, где мы станем кинозвездами, возмутительно знаменитыми, баснословно богатыми, и путь наш будет изобиловать сердечными страданиями, распавшимися любовями, бесчисленными разводами… ты посмотри на *себя*! На Южной Брисбен уже воссияли слава и богатство. Видишь? История уже началась, бедняжка ты мой.

— Ебануться, — веско молвил Денни, — блядь.

Ланья сказала:

— Раз Зайка есть в твоей книжке, надо бы его на праздник пригласить.

— Ага, — сказал Шкет. — Хочешь? Почти все гнездо идет. Перец, наверно, тоже подтянется.

— Ой, я не могу! — Зайка повесила голову, легонько ею тряхнула. — Я никак не могу. — И подняла. — Я бы с восторгом, честное слово. Но никак.

— Почему?

— Из принципа.

— То есть?

— Ну-у. — Пространство между Зайкиным носом и верхней губой вытянулось. — Этот астронавт, капитан Кэмп, тоже будет, да?

— Он гость Калкинза. Придет, надо думать.

— Вот *поэтому*.

Денни сказал:

— Этот твой знакомый, что ли? Который с Луны?

– *Угум*, — кивнул Шкет.

Ланья сказала:

— Зайка, я не понимаю.

— Вы были в баре тем вечером, когда приходил капитан?

— Я был, — ответил Шкет.

— Тогда *ты* знаешь, что случилось. Со мной и Джорджем.

— Нет, — сказал Шкет. — Я не знаю.

Зайка набрала в грудь побольше воздуху.

— Едва Тедди понял, что за хваленая наживка такая ему светит — а это, между прочим, пришлось ей *объяснить*, — она явилась ко мне и высказалась в том смысле, что, с учетом клиентуры, нынче вечером мне лучше не танцевать!

— Да ладно, — сказала Ланья. — Да ну тебя. Почему?

— Не хотел задеть тонких чувств нашего национального героя, любителя разбодяженного скотча. На Луне, надо полагать, мальчиков гоу-гоу не водится. Тедди рассудил, что потрясение может оказаться чрезмерным.

— Когда пришел я, — сказал Шкет, — все уже устроили заседание торговой палаты.

— Когда Тедди пришел со своей заявой ко мне, — сказала Зайка, — *это* еще не началось. А когда началось, в баре был Джордж. Все сидели, расспрашивали, Джорджу было интересно до смерти. Он тоже задавал вопросы. Помимо прочего — я из клетки смотрела, — спросил, бывал ли капитан Кэмп на его, Джорджа, луне. Кое-кто

захихикал. А Джордж-то серьезно. И надо отдать должное капитану: он совершенно серьезно отвечал. Если вспомнить, что было днем, какая нужна наглость посмеяться над глупостью *любого* вопроса. Но потом Джордж о чем-то спросил еще пару раз, а Тедди подошел и что-то ему сказал. Спустя минуту Джордж отпихнул стул и вышел.

– *Что* сказал Тедди? — спросил Денни.

— Я не расслышала, — ответила Зайка. — Но эффект был налицо. И я знаю, что Тедди сказал мне.

— Когда я пришел, Джордж как раз вышел, — вставил Шкет. — Мне Тэк сказал.

— Ерунда какая-то, — возмутилась Ланья. — Тедди всегда был немножко… официозный; но ты так говоришь, будто он член «Ротари-клуба».

— «Дочерей Американской революции»! Клеенчатый ободок на выхлопных трубах проржавевшего «шевроле» тысяча девятьсот пятьдесят второго! Надеюсь, она, когда в следующий раз будет отсасывать за бабло, порвет ему крайнюю плоть зубным мостом! — (Отчего Денни в истерическом припадке повалился навзничь.) — В эту тараканью клоаку, в эту завшивевшую дыру приходят по двум причинам — помимо бесплатного бухла. Во-первых, ради Джорджа. Во-вторых, ради

меня… Ах да! Кое-кто забредает в надежде, что повезет одним глазком глянуть на Шкета. Но не переживайте — еще чуть-чуть, и этот неонацист потребует являться при галстуке. Запомните наимудрейшие мамочкины слова.

— Какая несусветная глупость, — сказала Ланья и мрачно скривилась.

— Я хотел позвать Джорджа, — сказал Шкет, — если увижу. А он, значит, теперь тоже не пойдет?

— Ну, — сказала Зайка, — Джордж — покрупнее светило на нашем местном небосклоне; пожалуй, он может себе позволить быть повеликодушнее, чем я. Я, я боюсь, должна защищать свою честь ревностнее. В конце концов, свет мой, больше у меня ничего нет.

— Я потом видел Кэмпа, — сказал Шкет, — на тусовке, которую Джордж закатил пастору Тейлор на Джексоне.

— Зайка, — сказала Ланья, — ну не *дури*! В смысле, насчет праздника. Шкет не зовет Тедди — Шкет зовет тебя. Откуда тебе знать — может, Кэмп как раз и приходил на тебя посмотреть; а Тедди выставился болваном и наглецом. *Тебе-то* почему это помешает развлекаться?

— Я, — сказала Зайка, — не пойду выступать

перед этими людьми.

— Тебя никто не просит танцевать…

— Ты не понимаешь, сердце мое. — Зайка снова коснулась Шкетова колена. — Для Калкинза и всех, кого он привечает, ты, я и все твои знакомцы, которые туда явятся, — лишь актеры в спектакле. Калкинз открыл бар, поставил Тедди рулить. Заведение существует сугубо для забавы Калкинза и для развлечения его гостей на случай, если им раз в месяц приспичит навестить трущобы. И хотя я ни секунды не верю, что это он велел Тедди спрятать меня от мужчины с Марса или откуда он там взялся, подобный подход в подобной системе неизбежен, и не важно, имеет ли в ней место денежный обмен. Я так просто-напросто не могу. Негры и геи, радость моя! Негры и геи! Нас давным-давно свалили в одну кучу сплошных клише, и до нас доходит только *сейчас*. У женщин и детей, — Зайка кивнула Денни и Ланье, — дело затягивается. *Вам* еще предстоит преодолеть свои клише, и у вас их побольше. Не думайте, пожалуйста, будто я желаю подмешать ложку яду в бочку ваших торжеств. Ты написал чудесную книгу — хотя я не поняла в ней *ни строки*, — и ты должен пойти и повеселиться у себя на празднике, и *я* надеюсь, что он выйдет

наиумопомрачительнейшим. Правда, честно. Назавтра я буду пускать слюнки над репортажами в светской хронике. Но мне самой не позволяет совесть. Ты прелестный ангел, что меня пригласил. И меня решительно убивает, что я не могу принять приглашение.

— И ты больше не танцуешь у Тедди? — спросил Денни.

— Это, — Зайкина рука сложилась, — дело другое. Нет, я танцую по-прежнему. Каждый вечер, три выхода. И днем по субботам и воскресеньям, как только приберутся после бранча. Ах, с чем только не приходится мириться творцам, дабы заниматься своим, так сказать, ремеслом! Мука. Мука мученическая. Стыд и унижение. — Зайка воззрилась на Шкета: — Ах, тебе предстоят такие страдания, что мне хочется рыдать. Но такова цена поэтической души.

— Если Тедди такая сволочь, — сказал Денни, — почему ты не бросишь у него выступать?

Зайка воздела руку, предъявила ладонь потолку:

— Где еще мне танцевать, если не там? Вот здесь, в Беллоне, — где? Однако прекратим эти разговоры. Я от них только жалею себя. А вы хихикаете. Ты сказал, Перец здесь… где, — Зайка

понизила голос, — его искать, как думаешь?

— Пошли, — сказал Шкет, — проведу тебе экскурсию.

— Нет-нет, ты абсолютно не обязан…

Шкет протиснулся между Ланьей и Денни и спрыгнул на пол.

— …так-так-так, а каким же образом мне слезать? Боже правый, до чего сложно; а вам не кажется, что — ай, мамочки! — по лестнице было бы гораздо удобнее, чем… есть!

— Я сейчас, — пообещал Шкет двум лицам, взиравшим на него с антресолей. Обогнул Ворона, который ненадолго оторвал взгляд от своих железяк, и вперед Зайки вышел в коридор.

— Не могу описать, — Зайка с ним поравнялась, — какой груз ты снял с моей души. Приятно знать, что он здесь и жив-здоров. Понимаешь, я сама не постигаю, что в нем нашла. Но порой он улыбается — и внутри у меня все как заварной крем. Или телячий холодец. Да, скорее холодец. Все такое прозрачное, и дрожит, и прохладное!

— А на эклер не похоже? — От Зайкиной повести Шкет притих и загрустил.

– *Ни капельки* не похоже на эклер, — белой-белой улыбкой просияла Зайка. — Вот ты *понимаешь*!

— Во дворе его нет. — Шкет высунулся на веранду и всунулся обратно.

— На крыльце с остальными мальчиками я его не заметила, — сказала Зайка. — В кухне и в гостиной тоже.

— Давай тут глянем. — Шкет толкнул дверь.

Среди спящих скорпионов (Доллар перевернулся на живот), свернувшись калачиком в груде одеял, — костлявые плечи обмотаны цепями, кулаки втиснуты в джинсовый пах — спал и сопел сквозь вислые волосы Перец.

— Он всегда так спит, — тихонько пояснила Зайка.

— Разбудишь его и?..

– *Нет!* — прошептала она и поднесла запястье к надутым губам. — Нет… я просто хотела, ну… — В ее улыбку просочилось беспокойство. — Все нормально. Правда. Только знать, что он жив-здоров. Мне довольно. За них надо отвечать, но так… как им понятно. — Она покачала головой. — А понимание, как тебе наверняка известно, Перцу дается не слишком. Пошли, пошли. Незачем будить людей.

Черный Паук перекатился и задрал голову.

По взмаху Зайкиной руки Шкет затворил дверь.

— Спасибо, спасибо тебе. Миллион тебе спасибо. Мне пора бежать, предъявить своим зрителям, — Зайка избочилась и прикрыла один глаз, — *подлинное* искусство. Ты красавчик. Пока! — На полпути она вернулась и взмахнула одной рукой — другая запуталась в оптических подвесках. — И умопомрачительного тебе праздника. Ты такой добрый, что меня пригласил. Спасибо, спасибо. Ты правда очень добрый. Глотни шампанского за старушку Зайчонка и не забудь, как дела ни обернутся, задать всем *жару*!

Калифорния и Откровение застыли и вытаращились. За ними из гостиной вышла Сеньора Испанья, оперлась им на плечи и ухмыльнулась.

Зайка послала всем троим воздушные поцелуи, ринулась к двери, открыла, обернулась, пропела, дирижируя обеими руками:

— «Ах, тень твоей улыбки…» — ошеломительным басом; затем взвизгнула: — Пока-пока! — и испарилась.

Шкет в задумчивости вернулся в комнату с антресолями.

Ворон сидел с двумя болтами и кольцом проволоки во рту.

— Это кто был? — невнятно сквозь металл спросил он.

Шкет лишь рассмеялся и вскарабкался по столбу.

— Ну ешкин кот, — сказал он. — Пять минут нельзя было подождать?

Голый Денни лежал сверху. Ланья еще не сняла блузки.

— Мы пока не очень всерьез, — ответила Ланья из-за руки Денни.

— М-да? — Шкет перелез на антресоли и сунул руку им между бедер (Денни качнулся вверх, Ланья подалась вниз). — А, ну да. — И снял жилет.

Они любили друг друга, тихонько дыша распахнутыми ртами. Поначалу Шкет, расстегнув ремень и штаны, не желал их снимать…

(– Извини, Сеньора, туда нельзя. Шкет занят.

— Ебется?

— Ага. Приходи потом.)

…но потом они вдвоем его защекотали, и пока он валялся и ржал, стащили с него штаны. Они сдвинули головы, и Денни прошептал:

— Клево было, да? Давай я тебя выебу в пизду, а ты пока можешь опять меня в жопу.

— Восхитительно, — сказала Ланья и спрятала смех Шкету в плечо.

— Запросто, — сказал Шкет. — Если хочешь. Запросто.

Но коленки неловко растопыривались, локти гнулись, сухая мальчишеская спина гладила Шкета по животу, и пенис, елозя вдоль подвижной расщелины, обмяк и не вставал. Шкет хотел было высказаться, передумал и поцеловал Денни в плечо, и опять его поцеловал.

Ланья открыла глаза и, снова и снова пытаясь перевести дух, нахмурилась. Высвободив одну руку, она все лизала и лизала пальцы. Затем потянулась Денни за спину. Сначала Шкетова хуя коснулся ее большой палец. А затем его движения в тоннеле ее кулака укрепили то, что не мускул (а целые мускульные паутины над лобком и вокруг разжались). Пенис набух в ее хватке.

— Хорошо… — пропыхтел Денни, когда Шкет в него вошел.

— Неплохо… — Шкет вышел, подвинулся и решил, что Ланья права: разговоры глупы. Кончил он не у Денни в жопе, а у нее.

Они лежали на боку, сплющив Ланью между собой.

— Я его чувствую, — прошептал Денни. — Он шевелится. Он у тебя в пизде, я хуем чувствую.

— Я, — прошептала она, — тоже чувствую, — и шикнула на него.

Шкет обеими руками обнимал ее грудь. Кто-то

держал его за палец. Он думал, что она — она же всегда так делала, — но нет, Денни. Один раз он очнулся от полусна и услышал, как они вдвоем хихикают. Он пошевелил пальцами на живом тепле ее груди. Кто-то снова сжал ему большой палец.

Он проснулся внезапно и абсолютно. Они оба не шевелились. Хуй у него встал; но, едва подняв голову и глянув, он почувствовал, как обмякает. Во сне он слегка перекатился вбок. Пенис указывал на Ланьино бедро.

Не касается ее, подумал он.

Затем крохотное тепло. И нажим.

Касается.

Распахнув глаза, он перекатился назад, тупой резонностью рацио пытаясь постичь этот ужасный и дивный переход.

Я ограничен, конечен и кончен. В ужасе взираю в бесконечность, что простерлась предо мною, пройдя сквозь ту, что простиралась позади, и не вынеся оттуда ни малейшего знания. Я себя вверяю тому, что больше меня, и стараюсь быть добрым. Так я сражаюсь с тем, что мне дано. Ярюсь на то, чего не имею? (Что есть бесконечность? Иллюзия, порожденная нашим восприятием времени?) Я тщусь унять эту гордость и ярость,

вверить себя сущему, а не иллюзии. Но на перекрестке воспринятого и восприятия — пелена. Что на свете сумеет ее разорвать? Это что ж получается: единственная молитва — жить спокойно и скучно, совершая и подвергая сомнению все, к чему рвется сознание? Я ограничен, конечен и кончен. Ярюсь, желая резонов, до слез жажду жалости. Делай со мной что хочешь.

5

Он проснулся…

Шкет сел, и рука Денни соскользнула с его руки. Ланья чуточку откатилась назад, чтобы снова с ним слиться.

Бок у Шкета остывал.

Он представил, как остывает бок у нее.

Посмотрел, как Денни во сне потер живот там, куда только что прижималась она. Шкетовы штаны застряли под стенкой. Свесив ноги с антресолей, он встряхнул помятые штанины. Задрал коленку, пяткой придавил цепь. В мыслях кружилось, носилось еще со сна: «…Сьюзен Морган, Уильям Дальгрен, Питер Уэлдон… Сьюзен Морган, Уильям Дальгрен, Питер Уэлдон…» В задумчивости он все это из мыслей вытряхнул.

Пропихнул ступни в штанины, взял сапог, жилет, цепи, переворотом перебрался к столбу и слез. Ворона не было.

Тишину он заметил в тот миг, когда ее оборвали голоса за стенами. Не понял, просто так совпало несколько секунд или завершилось долгое беззвучие, начавшееся еще до его пробуждения. Одолело беспокойство; он вышел в коридор.

И узнал ее синий свитер, когда она свернула на веранду. Он подошел к двери — она уже спускалась во двор. Он пошел следом.

На полпути к вечеру небо над замусоренной и утоптанной землей лишилось черт.

Ангел, Накалка и Шиллинг под надзором Саламандра разводили костер.

Ворон, Паук, Б-г и Джек-Потрошитель, а с ними единственный белый — Тарзан — сидели на ящиках или стояли в глубине, передавая друг другу две галлонные бутыли, обе полупустые, и спорили.

Она подняла голову, увидела его на верхней ступеньке и (почудилось ему) вздрогнула.

— Привет, — сказала она очень озадаченно и смахнула с лица волосяное оперение.

— Эй. — Он спустился.

Она посмотрела на его ногу.

Ему давно не попадалось людей, хотя бы замечавших его полуобутое чудачество. Он подумал о предстоящем празднике, сообразил, что вновь мысленно перетряхивает Зайкину повесть, и смехом отпихнул смущение от себя подальше.

Она смутилась сильнее.

— Хотела зайти, поздороваться кое с кем, — объяснила она. — Я теперь живу там, — обозначив

направление поворотом головы, тут же повернувшейся обратно. — Знаешь коммуну, которую вы вечно трясли, в парке? В общем, оттуда к нам захаживают — у нас одни девушки живут, но в гости можно всем.

Шкет кивнул.

Она скрестила руки на полном поблекшем свитере.

— У вас тут, — она обвела взглядом бардак, — довольно мило.

— Ты к Денни?

Она уставилась на свой обвислый локоть.

— Тебе он зачем? Что ты, — она крепче сжала руки, — будешь с ним делать? Я хочу его обратно.

Джек-Потрошитель поглядел на них через кострище, поглядел в сторону. Шкет подумал: в этой обстановочке она научилась вести такие беседы в толпе.

— Я его хочу. Тебе он зачем?

Ему показалось, она сейчас заплачет, но она лишь кашлянула.

— Он же не очень умный. Вот эти твои стихи, да? Я прочла все. Мы в школе читали всякие стихи, и мне нравилось. Я была самая умная в классе — ну, одна из самых умных. Денни их не прочтет

— он даже слов таких не умеет произносить. Когда-нибудь слышал, как он пытается читать газету? А я все прочла. Стих про то, как я тебе в ванную принесла виски, когда ты кровь смывал, и сказала «до свидания»? Я прочла — и я поняла. Но те, которые про него, он, если прочтет, наверно, и не поймет даже. Зачем он тебе, ну? Отдай его обратно? — Тут она заметалась взглядом по сторонам. — Извини.

— Я ему не мешаю с тобой видеться.

— Я понимаю, — сказала она. — Извини. Я пойду.

Она уронила руки и вкруг Шкета направилась к крыльцу.

В дверях стояла Ланья, в джинсах и блузке. Девушки переглянулись. Та, что в синем свитере, вздохнула. Ланья посмотрела ей вслед, затем на Шкета.

Тот поморщился.

Джек-Потрошитель, теперь сидя у огня, поглядел на него, смешав в улыбке сочувствие и соучастие, и покачал головой.

Шкет подошел к крыльцу:

— Только встала?

— Через пару секунд после тебя, я так понимаю. Услышала, как вы разговариваете; решила выйти

и послушать. Она вроде славная девочка.

Он пожал плечами.

— Денни спит?

— Не-а.

Шкет сел на ступеньку ниже. Оба сдвинули ноги, когда во двор спускался Разор — подбрести к костру, постоять, сунув руки в задние карманы.

— Проснулся вместе со мной, — пояснила Ланья. — Мы хотели на тебя напрыгнуть, пока ты тут бродил весь такой задумчивый. Я сказала, что, если у тебя под рукой бумага и карандаш, тогда ни в коем случае нельзя. Потом мы вышли на веранду — а ты тут с ней.

— Где Денни?

— Увидел ее, прикрыл рот *обеими* руками — я думала, он что-то выпалит, черт его знает что, — спрятался за меня и сбежал. Уж не знаю, то ли в туалете заперся, то ли из дома слинял. А, нет, в туалете же не запрешься. Она его не заметила — хотя он топал будь здоров! — Ланья подбородком оперлась на кулак. — Бедненькая. Жалко ее.

— Вот он злобная сволочь, а?

— Думаешь?

— С ней — да. И с тобой. И со мной. Но я-то переживу, — пожал плечами Шкет. — А ты что будешь делать, если в один прекрасный день

придешь, а он решит, что не хочет тебя видеть?

— Переживу, наверно, — вздохнула она. — Зря он с ней не поговорил. *Сколько* ему лет?

— Пятнадцать. А ей семнадцать.

— Скажи ему — пускай с ней поговорит. Раз они правда были такие близкие друзья.

— Ёпта, — ответил Шкет. — Я никогда не спорю с теми, кого трахаю. Она, я так понял, считает, что говорить не о чем. Она об этом жалеет, и тут я ее не упрекну.

— Ну, может быть, — с сомнением сказала Ланья. — По тому, что я услышала, мне она как бы понравилась. Она в девичьем доме живет? Вот где странное сборище. Я несколько раз бывала.

— Дайки?

— Не больше, чем здесь. Как думаешь, она захочет мне помочь в школе?

— Потому что тебе мало геморроя?

Ланья рассмеялась:

— Как приятно, что в вопросе-другом я просвещеннее тебя! Я-то считаю, что порой в сокрушительных затянутых… дискуссиях с теми, кого трахаешь, ничего плохого нет. Я никогда не ссорюсь с теми, кого трахают те, кого трахаю я. Или трахали. Я изо всех сил стараюсь общаться с ними как можно душевнее. А даже если иметь

к этому талант, трудов порой не оберешься. Но скольких избежишь проблем, — она опустила уголки губ и трижды отстучала по коленке, — *ты* — *не* — поверишь! — И потянула его за волосы. — Пошли поищем его.

Но Денни слинял из дома.

Во дворе наконец раскочегарили костер. Ланья вызвалась сходить в винный со Жрецом, Шиллингом и Ангелом. Когда они вернулись, Шкет вынес из дальней комнаты дверь и положил на ящики во дворе — получился стол. Остальные приступили к стряпне.

— Пошли. Хочу на антресоли.

— Легко. — Она сжала его руку и пошла следом.

Когда они легли вместе, когда тихонько поговорили, когда занялись любовью, она, к его удивлению, была довольно вяла и рассеянна; ее крошечные безмолвные движения рассердили его. Пока она не сказала:

— Эй, что такое? Ты куда-то ушел. Возвращайся, — и все вернулось в царство смешного.

А после этого стало очень хорошо.

Кончив, он лежал, обнимал ее и проснулся от запаха. Его пробуждение пробудило ее. Он поднял голову на шум. На антресоли втолкнули третью

тарелку. А потом вскарабкался Денни, переполз через них и стал раздеваться.

— Можем тут поесть, — прошептал он, словно боялся, что они еще спят с открытыми глазами.

На тарелках громоздились горы сосисок.

И овощного рагу.

— Ты куда делся?

Денни пожал плечами:

— Гулял просто. У Тринадцати тут флэт дальше по кварталу, на той стороне. Неплохой такой. — Он взял сосиску пальцами, откусил. По руке потек сок, закапал с локтя на коленку.

Шкет слизал.

— У меня так встанет, — сказал Денни и пихнул тарелку Ланье. — На. Будешь?

— А то. — Она потерла глаза и выбралась из Шкетовых объятий. — Где… а, ой. Спасибо, — кусая протянутую Денни сосиску.

Вспоминая не миг красоты, но миг, что в нем кружевами застыл, я отброшен в сейчас, где лишь сила всех чувств оправдает это тепло, эту тень у нее на плече, свет у него на бедре, отражение в почерневшем стекле, снизу подсвеченное. Нет, не пойдет. Не хочу искажать сильнее то, откуда я пал, памятью отточенное в разве что возможное. Теперь заполнить остается лишь глаза и руки.

Они выпили бренди, который Шкет попросил ее прихватить для Тэка («Вы не поверите, какое у меня платье, оба. Шкет, я знаю, что ты видел. Все равно не поверишь».) Она сказала, что ей скоро домой, но уснула. Разок кто-то рявкнул в кухне, разбудил их много часов спустя, и в темноте они снова любили друг друга.

Второй раз, поддавшись порыву, скрестившему долг со страстью к экспериментам, он отсосал Денни; длилось вдвое дольше прежнего.

— Может, тебе отдохнуть? — наконец предложила Ланья.

— Ага, — сказал Денни. — Ты передохни.

Так что он закрыл глаза и списал на аберрацию. И однако же это был лучший секс на его памяти. Он задремывал, грустя лишь, что помнит так мало; снова закрыл глаза.

Когда окно окрасилось в индиго, снова открыл. Ланья стояла на коленях.

— Я ухожу, — прошептала она. В поисках своей одежды они поползали по Денни. — Только я хочу кофе, — сложила она одними губами.

— Тут кофе целые коробки, — сказал Шкет. — Но у нас нет кофейника.

— Это ничего. Пошли.

Тринадцать и Кумара с тремя черными скорпи-

онами, Вороном, Шиллингом и Б-г, проболтали на кухне всю ночь. К удивлению Шкета, из взаимных подколок выяснилось, что Ланья всех знает по именам, даже Шиллинга. (А Шкету пришлось несколько раз переспросить. «Шиллинг, чувак. Шиллинг. *Двенадцать центов* по-британски».) А «Б-г», обнаружил он, означало не «белую горячку», а «боевую готовность». Кроме ведра, чистых емкостей в кухне не нашлось, и Ланья поставила кипятиться воду для кофе в ведре.

— И ты это будешь *пить*? — спросил Б-г.

— Конечно. Довести до кипения трижды, влить стакан холодной воды. Кофе от яичного белка осядет. А потом наливаете в кофейник и держите в тепле, — для каковой цели Кумара вызвалась отмыть котелок.

— Только Пауку не говори, что извела два его свежих яйца на это варево.

— Ёпта, — сказал Ворон. — Да их все на что только не изводят.

Шкет и Ланья пили черный, а остальным еще досталась мельтешня с сухим молоком (кто-то припомнил, что под столом завалялась коробка), споласкиванием чашек и сахаром.

— Отличный кофе, — признал Ворон (у которого уже развалился плюмаж), заглядывая в чашку

на столе. — И не мутный! Надо мне запомнить. — Он выпятил толстые губы, подул на пар и тряхнул головой. Волосяной пляжный мяч закачался.

— Да, — через плечо обернулся Тринадцать. — Кумара, запомнишь? — И та кивнула.

Сонно подтянулись Собор и Накалка. Девять человек стоя пили кофе в кухне, где было тесно четверым.

— Я тут, если чё, поблизости, на той стороне и чуток подальше, — говорил Тринадцать. — Верхний этаж. Заходи, народ, когда хошь. Шкет объяснит, он у меня бывал. У меня там столько скорпионов — можно подумать, я гнездо свил. А я нет. Я просто со всеми дружу.

— Если хочешь остаться, — сказал Шкет Ланье, когда они уходили, — иди на антресоли. Там тебя никто дергать не будет.

Она потерла загривок.

— Да у меня еще дела перед школой. Обними за меня Маленького Брата.

Однако, провожая ее домой, Шкет вполне уверился, что перед школой она хочет еще пару часов поспать. Спросил:

— Вечером придешь?

Она сжала его ладонь:

— Не-а. Если успеете, приходите вдвоем ко мне.

Ненадолго. — И опять сжала.

Жест этот воплощал теперь ее нервическое обаяние.

В тот день в газете написали:

Воскресенье, 14 июля 1776 года.

Заночевали они у Ланьи.

Назавтра:

Воскресенье, 16 июня 2001 года.

Среди дня Джек-Потрошитель цвета автомобильной покрышки, присев перед открытой морозилкой, где только что перегорела лампочка, — морозилка забита до отказа, эмаль в потеках и пятнах, — поднял голову и спросил:

— Слышь, а ты когда в набег?

— Прямо сейчас! — Зачин, запал и решение заклинило между первым словом и вторым. Шкет растопырил руки, цепляясь за дверную раму, сунулся в ближайшую комнату и заорал: — МЫ В НАБЕГ!..

Из коридора толпой ввалились Б-г, Паук, Ангел, Жрец.

Из спальника у дивана мигом выпростался Калифорния.

В кухню вошли Ворон, и Флинт, и Сеньора Испанья.

Между скорпионами, запрудившими дверь,

протолкался Харкотт.

Они переминались, и шаркали, и смущали своей серьезностью.

— Пошли, — говорил Денни, пока остальные топотали по крыльцу. — Эй, ты! Идешь? Давай, двигаем.

Торча в доме, он почти умел вообразить здравый город. Сейчас за их походом наблюдали кататонические окна. Их сапоги хрустели и стучали по мостовой. Они спешили, набычившись, исподлобья посматривая влево и вправо на равнодушные проспекты.

Позднее Шкет вспоминал, как разбил витрину «Второго Сити-банка».

Джек-Потрошитель заплясал на битом стекле и загоготал:

— Чувак, ща у нас этот ниггерский город попляшет.

Ан нет.

Они перебирали и тыкали пальцами бумаги, и папки, и арифмометры. Саламандр опрокинул стол и целую минуту простоял, глядя на него и тяжело дыша.

Не нашлось ни денег, ни сейфов; в кассах лежали только скрепки, круглые наклейки для скоросшивателей, канцелярские резинки.

Шкет через латунную решетку вылез из клетки кассира (верхняя перекладина — сальная полоса; в основном оставшаяся на руках), спрыгнул на гулкий мрамор и подошел к группе, стоявшей к нему спиной. Протиснулся между Тарзаном и Шиллингом.

Упираясь коленом в подушку (судорожно, поверхностно дыша), Доллар ножом орхидеи пырял кожаный стул, драл его закованным дрожащим кулаком. Выпала еще набивка. Прикусив кончик языка, Доллар снова пырнул и дернул.

Жрец шмыгнул носом и вынул руку из кармана.

Накалка старательно не откашливалась.

По дороге домой Шкет перебирал воспоминания о том, что творилось в набеге Кошмара на «Эмборики». Сбоку шагали черные — и среди них белокурый Тарзан. Ворон, обхватив Тарзана за плечо, говорил:

— …*сестра?* Чувак, да у тебя сестра красотка. Я таких красивых сестер, кажись, в *жизни* не видал. Ты уж нас сведи. Уууу-ии! — На «ии» он свободной рукой дернул себя за промежность и чуть не повалил Тарзана.

— Далась тебе его сестра, ну? — сказала Сеньора Испанья.

— Да ёпта, — рявкнул Ворон через плечо, тряся всей своей шевелюрой. — Мы с Тарзаном друганы. Да, Тарзан? — а тот ухмыльнулся поверх его руки у себя под подбородком.

— Тарзан, — буркнул Флинт Шкету, — и обезьяны, бля!

— Эй! — Джек-Потрошитель пихнул Флинта в плечо. — Это кто, обезьяна, бля, ниггер?

Но когда Шкет и Флинт обернулись, Потрошитель раскорячил ноги, отвел руки, заковылял и заворчал. Вкруг головы мотались цепи. То и дело он останавливался и снизу вверх скреб бока.

Саламандр засмеялся громче и резче прочих — смех взлетел и стих, точно откликался на нюансы спектакля, которых больше никто не уловил.

Ворон по-прежнему обвивал Тарзана; оба шатались на ходу. Лицо у Ворона стало затравленное и угрюмое. Тарзан, свесив кисти с карманов и болтая локтями, на качком ходу улыбался в мостовую — доволен был, что оказался в центре такого внимания.

Назавтра настало:

Воскресенье. 1 января 1979 года.

(Заголовок:)

С НОВЫМ ГОДОМ!

* * *

— Точно не хочешь? — спросил Шкет Перца. Лицо у Шкета еще горело после бритья.

— Не. — Перец нервно топтался у двери ванной. — Не, я не любитель. Народу куча, я никого не знаю. Ты иди, расскажешь потом. Я вина из винного припер.

— Ладно. — Шкет убрал руку с его плеча.

Из ванной вышел Саламандр:

— Слышь, точно не надо наряжаться?

— Наденешь цепи, — ответил Шкет, — и огни, и жилет — и костюм готов.

— Лады, — сказал Саламандр. — Как скажешь. Видал Кошмара? Штаны из красного бархата, отпад вообще. Прямо как, сука, черный!

Шкетов праздничный наряд — помимо мытья и бритья — ограничивался медной орхидеей на шее. В коридоре — капля воды на ходу побежала по голой лодыжке — его остановил Потрошитель и зашептал:

— Ты что, правда разрешишь пацану явиться в таком виде? — И это было уже третье замечание насчет Малыша, который пришел десять минут назад — голый (как и было обещано) и грязный (как обычно), в обществе Кошмара, Леди Дракон

и Адама.

— А то.

— Ни хера себе. Я должен это видеть. Я вообще дома хотел остаться. Но на это я просто обязан посмотреть.

— У него все как у тебя, только еще крайняя плоть, — сказал Шкет. — Успокойся, а?

— Да пожалуйста! — Потрошитель широкой черной ладонью отмахнулся от сомнений. — Пожалуйста. — Засмеялся и пошел дальше.

Кошмар в гостиной обернулся и что-то Шкету сказал, но хохот изувечил слова до полной непостижимости. Остальные тоже хохотали. Густая Кошмарова коса блестела помадой. Бархат придавал алого щегольства его кожаному жилету, цепям на шее, окованным мотоциклетным сапогам и уставному ремню.

— Кошмар, — говорил Сиам (носивший теперь маленький бинт), — у тебя штаны сползли! Булки выпирают, как сиськи!

— Ёпта! — Кошмар погладил огромное плечо. — Они *любят* смотреть на мои мускулы! — От шрама остался только след.

Слушая смех, Шкет глянул на свое плечо.

Леди Дракон сидела на диване, скрестив ноги: белые «ливайсы», белые сапоги, водолазка из

серебристого ламе и белая куртка «ливайс» с оторванными рукавами. Обычные цепи (навестила скобяную лавку?) сменились серебряными — или как минимум из нержавейки. Ногти выкрашены платиновым. Смехом обнажив большие пятнистые зубы, Леди Дракон запрокинула голову, и под жесткими волосами блеснул пот. Она была раскованна, элегантна и пугала до смерти.

Адам, бурый и унылый, в мешковатых штанах и кроссовках, примостился на подлокотнике дивана.

Малыш сидел перед ним на полу, поставив одну грязную ступню на другую, обнимая бугорчатые коленки, нечистыми ладонями обхватив нечистые локти, улыбаясь, как довольная белобрысая крыса.

— Эй! Эй, харэ! Вы послушайте! — Откровение — белокурее Тарзана (который стоял у кухонной двери и непонятно дулся), белокурый, как Зайка, — пристроился на спинке кресла, перевернул «Вести» и сдвинул цепи вбок. Цепей он носил вдвое больше остальных, сплошь латунь и медь. — «...Вчера под вечер ходили по улицам Джексона, вселяя страх в местных жителей». Как вам? Вы вчера вселяли страх в негров? А? — Кожа у него лучилась розовым — с некоторыми

бледными телами так бывает от сильного мороза или сильной жары. — «…Творя акты вандализма, ущерб от каковых не представляется возможным оценить, буйная банда черной и белой молодежи, увешанной цепями, которые мы привыкли видеть на скорпионах…»

— Ничего мы не вселяли! — Денни (черная рубашка, серебристая бахрома под цепями-жилетами) сидел под стенкой. — На улице и не было, сука, никого!

— Это потому, что вы вселили в них страх, — объяснил Откровение. — Что непонятно?

— «…вломились во „Второй Сити-банк“»?..

— Ёпта, — сказал Шиллинг (одолживший у Денни одну рубашку), — мы же вчера ничего не сделали.

— Мы, блядь, банк ограбили! — возразила Накалка (конфисковавшая другую). — Как это «ничего не сделали»? Мы ограбили целый, сука, банк! — И она в восторге заломила руки.

— Бля. Банк? — переспросил Кошмар. — Круто вы поднялись, люди.

Паук, самый молодой, самый черный и самый дылда у Шкета в гнезде, привалился к стене, потирая цепи на груди, зеркаля Адама.

— «…при нынешнем положении в Беллоне ни

одного участника подобного инцидента практически невозможно идентифицировать. Все имеющиеся у нас сведения поступили от людей, сидевших за прикрытыми ставнями и запертыми дверями…»

— Так и вижу, — сказал Доллар слишком громко даже в царящем веселье, — как эти мудоебы пялятся на нас в глазки́. Сидят и пялятся, *сука*!

— «…численность их, по разным оценкам, составляла от сорока до маловероятных плюс-минус двухсот человек…»

— То есть что, — вопросил Саламандр, удовлетворенно растягивая губы, — мы вдвадцатером нашумели так, что они решили, будто нас под двести?

Он стоял триумвиратом с Харкоттом и Флинтом; все трое, верные принципам, переодеваться не стали.

На Флинте черный виниловый жилет.

На Харкотте проектор, и шрам, и бирюзовая пряжка.

Между Харкоттом и Саламандром Шкет заметил миниатюрную девушку в бордовых джинсах. Голубая блузка очень чистая, но мятая. Девушка то и дело подносила руку к воротнику, разглаживала, осматривала себя и снова разглаживала

воротник. Впервые Шкету показалось, что она красивая. Он прикинул, какой видел ее прежде и что изменилось.

— «…плюс-минус двести человек, — повторил Откровение, — что мы предпочли бы…»

— Может, это не про вас? — предположила Леди Дракон.

— А про кого?! — возмутился Жрец.

— Я так думаю, вчера банк грабили только, сука, мы!

— «…списать на нелепое преувеличение!» — и от этого Откровение так заржал, что помял газету.

— Ну мы, блядь, на тусовку пойдем уже или как? — осведомился Собор, обеими руками взявшись за косяки и всей тушей качнувшись через порог в комнату. Затем обратно. Оптические цепи блестели на оплывшей бурой шее, дважды перечеркнутой складками жира. — Чего ждем-то?

Шкет ухмыльнулся, кивнул — и изумился тишине.

– *Двинули!*

Следом за ним, вновь крича и хохоча, они высыпали к двери и спустились с крыльца.

Перец поспешно посторонился.

— Не передумал? — спросил Шкет.

Перец выдал свою изуродованную улыбку:

— Не, чего-то не тянет. Мне такое не по кайфу. — И стрельнул глазами прочь.

Шкет проследил за его взглядом.

Из бурлящей толпы скорпионов у крыльца за ними наблюдал Тарзан; который в омерзении потряс головой и отвернулся.

— Ты на Тарзана не смотри, эй. Хочешь пойти — иди, — вдруг озлился Шкет. — Я на него мигом всадников апокалипсиса, — он кивнул на Саламандра и его антураж, — напущу, он и не вспомнит, — Шкет чуть не произнес: как его *зовут*, — чем ты ему не угодил.

— Не, — сказал Перец. — Не, не в том дело. Я просто буду как… Я, это, вина хотел прихватить. И может, к Зайке заглянуть. Я Зайку не видел чертте сколько. Она чокнутая, знаешь? Натуральный псих. Но она хороший парень.

— Ладно, — улыбнулся ему Шкет. — Валяй.

— Слышь… — сказал Перец ему в спину, — хорошо тебе повеселиться…

— Ой, эй!.. Эй!.. Пошли, ну? — закричал кто-то в толпе, едва туда сошел Шкет.

Все двинули по проулку.

— Куда? — окликнул Кошмар поверх роя черных голов, в которых — лимоном, кумкватом и

одуванчиком среди слив — торчали головы соответственно Тарзана, Саламандра и Откровения.

— Туда. Зайдем кое за кем.

Дым инкапсулировал фонарь на углу в гигантскую жемчужину.

— Елки-палки! — Кто-то закашлялся. — Как вы это терпите, народ!

(Шкет ее не разглядел — от крылечного фонаря они уже отошли.)

— Да ты просто здесь недавно, слышь! Скоро иначе и дышать не сможешь!

— Включите кто-нибудь, сука, огни! — крикнул Шкет, нашаривая проектор на груди. — Темно же, ну?

Впереди воссиял нефритом дракон Леди Дракон. Мглистым полусветом вспыхнули и закачались богомол и грифон.

Задрав жвала выше Шкета, мигнул паук цвета индиго — мигнул разок, высветив голову Саламандра, и набрал полную мощь, точно припоздавший неон.

Флинт исчез внутри своего тритона.

Жук Харкотта заблестел бутылочным стеклом.

Кошмар обернулся к Шкету, улыбнулся:

— Огненно у тебя нынче, Шкет, — и растворился во вспышке под задранными хелицерами.

В дыму пластмассовые цвета подернулись опалом.

Павлин (это Потрошитель), мантикора и игуанодон; призрачный зверинец свернул на проспект.

6

— Ланья точно живет здесь? — спросил Шкет у Денни; остальные толклись у крыльца.

— Ага, — ответил тот. — Ага! Точно здесь, звони.

Шкет позвонил. Спустя мгновенья — раздались шаги (и он услышал, как в глазке кто-то сказал: «Ой, мамочки…») — она открыла дверь и серебром вытекла в дымный свет.

— Ё-о-олки! — одобрительно сказал Ворон у Шкета за спиной.

Ланья прикрыла глаза ладонью, оглядела собрание, сказала:

— Господи боже! — и расхохоталась.

Следом за ней опасливо выступила мадам Браун в чем-то синем и строгом. Рассеянный свет придал одутловатому лицу морщин и чрезмерного макияжа, какие Шкет прежде видел при свечах. Волосы вновь окрасились резкой хной. Шея слишком щедро обмотана кольцами оптических подвесок — хотя ровно столько же цепей мадам Браун носила с дневными бурыми и бежевыми оттенками.

Мюриэл разок гавкнула, скакнула вперед, но

дальше длины поводка не дотянулась.

— Ой, да оставь ты ее дома, — взмолилась Ланья. — Смотри, какой у нас эскорт. С нами ничего…

— Шкет не против, если Мюриэл тоже пойдет; да, Шкет? Вы говорили, у Роджера большие сады. Она будет паинькой.

— Не, — сказал Шкет и, произнося это, понял, что против. — Тащите ее!

— А то ей одиноко, если я ее не беру. — Мадам Браун обозрела скорпионье разнообразие.

Мюриэл попыталась сбежать с крыльца, не смогла и снова гавкнула.

— Ну-ка цыц! — велела мадам Браун. — Цыц!

— Вот, это я отдаю тебе. — Ланья протянула Денни приборчик, который Тэк забрал со склада вместе с тканью. — Положишь в карман рубашки?

Денни убрал пульт — серебристая бахрома на рукаве затрепетала световыми завесами.

Ланья взяла Шкета за руку. Платье было без рукавов, с низким круглым декольте и до земли. Она подалась к Шкету, шепнула:

— Тебе я тоже кое-что дам, — и протянула гармошку. — Убери в карман штанов, ладно?

— Не вопрос.

Ляжкой чувствуя металл сквозь дырочку с десятицентовик, Шкет сошел в толпу. Ланья, Мюриэл и мадам Браун последовали за ним.

Когда все зашагали, он услышал мадам Браун:

— Рука у вас гораздо лучше. Не болит?

— Нет, мэм, — ответил Сиам. — Не особо. Теперь. Но когда вы на меня вылили йод, я думал, я умру, — засмеялся он.

Они перешли улицу.

— Я не знала, как еще предотвратить инфекцию. Вы были очень, очень храбрый.

— Ёпта, — сказал Сиам. — Орал как пиздец… извиняюсь, мэм. Но вы ж помните, как меня держали.

— Да. И я все равно считаю, что вы были храбрый.

— Спасибо, приятно. Но если б кто из ниггеров меня отпустил, я б вас убил, наверно. — И он снова засмеялся.

Они растянулись по тротуару, по мостовой — каждый зверь плыл в озерце света.

Окна истекали расплавленными отражениями — те, что не побиты.

Щиты горели где-то у половины скорпионов разом. Громогласный силуэт какого-то черного включал блистающего гиппогрифа, мантикору;

некий роскошный попугай или ящер схлопывался вокруг легконогой фигуры, подсвеченной сбоку, — Шкет попытался припомнить, чем была *она*, но призрак ее средь многих прочих привлек взгляд лишь своим исчезновением.

Леди Дракон, вырубив огни, скептически посмотрела на Ланью, обратилась к Шкету:

— Ты же сказал, что наряжаться не надо.

— Тем лучше, — ответила ей Ланья, — будем выглядеть мы с тобой!

Леди Дракон засмеялась:

— Мы с тобой? Деточка, мы с тобой — безусловно! — Она сбавила шаг и переплела серебристую руку с Ланьиной обнаженной. — Мы явимся шикарные, деточка, и пускай эти сукины сыны подыхают!

Отчего засмеялась Ланья. Еще квартал они шагали втроем — рука об руку об руку.

Но впереди затеяли перепалку, и Леди Дракон, полыхнув нефритом, поспешила разнимать.

Откровение (лягушка) затеял свару с Собором (какая-то крупная птица — вероятно, сообразил Шкет, всмотревшись, задумывалась белоголовым орланом): дракон вклинился между ними, вопя громче обоих; и оба притихли.

Позади и сбоку Тарзан щупал, но медлил запа-

лить своего двуцветного ядозуба.

— А этот?.. — кивнула мадам Браун с великим неодобрением и нарочитой выдержкой. — Вы заметили? Всякий раз, когда его гриффон мигает… — что гриффон тотчас и проделал, явив слипшиеся желтые волосы, узловатый позвоночник, рябые ягодицы и обведенные грязью пятки, — кажется, будто он совершенно без одежды?

— Он и есть без одежды, — ответил Шкет.

— Ему нехорошо? — вопросила мадам Браун. — Он здоров?

Тон переменился: вульгарное соучастие стало пуританским смятением. Шкет распознал то и другое, но не отследил механизм перехода; разум скакал по волнам беспечности, и она его уже пугала.

— Нет. На нем просто нет одежды, — объяснил он, гадая, не теряет ли вновь способности строить логические связи.

Мадам Браун сказала:

— А… — тоном, который решительно противоречил обоим предшествующим.

Толпа роем налетела на скверик между двумя Брисбен.

— Надеюсь, назад нас подвезут, — сказала Ла-

нья. — Тут и на трезвую голову идти далеко.

— Ты особо-то не надейся.

— Роджер в газете вечно пишет, как возит людей в город и из города. Может, выделит нам шофера.

— Я видел его машину. Она из каких-то тридцатых. И вдобавок, как мы всех туда запихнем?

— Пред твоим демократизмом меркнут любые слова. — Она чмокнула его в щеку. — Что скажешь — я красивая?

— А я не сказал?

— Не сказал. Также ты не сказал: «Ты правда это сшила сама?» И вообще ни одной реплики, на которые я приготовила страшно остроумные ответы.

— Ты правда это сшила сама? — Шкет провел рукой по щекочущей ткани у нее на талии. — Красиво.

— Сильно не дави, — сказала она. — А то ткань повредишь. Нет-нет… я тебя не отталкивала!

— Я считаю, ты красивая, — сказал Денни. — Я считаю… — и зашептал ей на ухо.

– *Молодой* человек! — сказала Ланья. — Мне представляется, я вас не знаю…

— Ай, — ответил Денни, — отсоси, — и шагнул прочь.

— Эй, да я пошутила… — окликнула она, забавляясь и недоумевая. Талия вздрогнула у Шкета под рукой.

Денни обернулся — лицо замигало в прохожих огнях. Когда оба его догнали, ухмыльнулся:

— А я нет. — И тоже ее обнял.

На ближайшем перекрестке они взошли на тротуар, глядя, как скачущие свечения, тонкие или разбухшие, скользят под обугленными ветвями, под фонарными столбами с перевернутыми коронами битого стекла на маковках, мимо домов с портиками и черно зияющими провалами, будто обитатели высыпали полюбоваться, но бежали, в расстройстве чувств позабыв затворить за собой двери.

Спустя немало кварталов этот образ, все ворочавшийся в мозгу, наконец выбил из Шкета смешок, который принялся кататься во рту.

Ланья и Денни повернули головы — она с улыбкой, предвкушая пояснение, он — просто не понимая. Шкет прижал ее к себе крепче. Бахрома Денни погладила его по руке и смялась, когда Денни спустил руку по Ланьиной спине. Ее бедро ходило под пальцами Шкета, не сбиваясь с ритма.

— Все это крайне живописно. — Мадам Браун

дернула поводок. — Но прогулка затяжная. Мюриэл, к ноге!

— Друзья у Роджера тоже довольно живописны, — сказала Ланья. — Уж он сегодня постарается.

По стене карабкались лозы. На стену свисали ивовые ветви — саблезубые тени вырастали и ежились в мимоходных красных, оранжевых и зеленых огнях.

— Почти пришли, да? — крикнул Кошмар с мостовой. Вокруг него, исполински хохоча, дрейфовали насекомые и членистоногие.

— Ага! — крикнул Шкет. — Вон ворота.

Денни шарил в кармане рубашки.

— И чего мне с этой штукой делать?

— Когда войдем, — объяснила Ланья, — включи меня. Иногда посматривай, и если увидишь, что *слишком* тускло, крути ручки, пока не станет интересно. Тэк говорит, пульт добивает на пятьдесят ярдов, так что далеко не уходи. А то я выключусь.

Вдруг оторвавшись от них, Шкет протолкался сквозь светящуюся шумливую толпу. По запинке каприза сдвинул рычажок щита; раздался щелчок.

Изнутри, вспомнил Шкет, щит невидим. Но во-

круг расступались. (Я не знаю, кто я.) Он опустил глаза на мостовую в трещинах. (Но оно синее.) Гало вместе с ним поплыло по бетону.

Обок от Шкета трое выключили огни, впереди себя отрастив тени от огней позади.

Это такая игра (а вот и каменные воротные столбы) — не знать, кто ты, что ты. Интересно, сколько он протянет, прежде чем отведет кого-нибудь в сторонку и спросит. Шкет щелкнул рычажком, гася соблазн.

Выйдя вперед толпы, он схватился за решетку. Остальные галдя сгрудились вокруг. Глядя на сосны, неловко и неверно подсвеченные ослепительной свитой, Шкет задумался, что бы такое крикнуть.

— Здрасте! — К воротам вышел молодой… филиппинец? (наверно) — в зеленой водолазке и пиджаке. — Вы Шкет? Я так и понял. Я Барри Лансанг. Я сегодня на воротах. Секундочку, я вас всех впущу.

— Эй, мы пришли!

— А как войти?

— Заткнись! Он нас сейчас впустит.

— Это мы сюда, что ли, шли?

Лансанг посторонился. Ворота сказали «брень», и уровень шума вокруг Шкета упал на две трети.

Лансанг распахнул створки.

Шкет пошел вперед, чувствуя, что остальные не пошли.

— Заходите, — улыбнулся Лансанг. — Вас там все ждут. Это вся ваша делегация?

— Ага. Наверно.

— Если кто-то еще подтянется, скажите, как их зовут, — я запишу.

— Не. Больше никого.

Лансанг снова улыбнулся:

— Ну, если кто запоздает, а мы не сможем опознать, я всегда вас отыщу. Заходите, — это последнее адресовалось Шкету за спину и сопровождалось взмахом руки.

Шкет обернулся.

В воротах толпились безмолвные знакомые лица.

— Пошли, — сказал Шкет.

И тогда они пошли.

Одной из первых — Леди Дракон.

— Ничего себе, а?

— Да, — сказал Шкет. — А это ведь только деревья.

— Идите по дорожке, — проинструктировал Лансанг. Он, отметил Шкет, явно наслаждался.

Подошла Ланья; ее платье порозовело. Они за-

шагали вдвоем, и сине-зеленые капли растеклись лужами, а те налились океанами.

— Я все правильно делаю? — Денни черной блестящей рукой полез под жилет в карман рубашки.

Ланья оглядела себя:

— По-моему, другая кнопка, которая спереди, регулирует насыщенность цвета. Оставь пока так. Не стоит расстреливать все боеприпасы на входе.

Прожекторы меж громадных сосен заливали гравий светом, и после ночной прогулки все щурились.

— Вот и пришли, — сказала мадам Браун, глядя в просвет между деревьями, где один прожектор не горел. — В целости и сохранности.

Мюриэл жалась к ее ноге.

— А где все могут быть? — спросил Шкет Ланью; на левой груди у нее рябила металлическая зелень.

— В террасных садах. Где мы тогда были с мистером Новиком.

Шкет не помнил, что дорожка такая длинная.

— Откуда у них столько электричества?

— Когда горит *всё*, поместье сияет почти как днем, — сказала Ланья.

Они выступили из-под деревьев.

Дом в ночи сиял как днем.

— Новик вроде говорил про фонари…

— Внутри горит не все, — ответила Ланья. — В одном крыле не работала ни одна розетка. — (С десяток мужчин и женщин обернулись посмотреть с каменной террасы.) — Но всякий раз, когда Роджер врубает все на полную, я будто попадаю в ужасно банальное *son et lumière*[45].

При виде остальных гостей скорпионы притихли.

Сквозь толпу пробился некто в костюме, сорочке и галстуке разных оттенков синевы. Стриженые светлые волосы, серьезная гримаса; следом две женщины. Та, что постарше, — тоже в синем, волосы выкрашены оттенком его рубашки. Та, что помоложе, в парче до полу, как-то недовольна жизнью.

Калкинз, подумал Шкет, выступая вперед. Но предвкушение обмануло: перед ним был капитан Кэмп.

— Шкет!.. — выкрикнуто вполне приветливо. — Вы добрались. А это ваши друзья… я… *э-э*. Что ж, у нас тут небольшой… — Исчерпав запа-

---

[45] Примечания: 45
Свето-музыкальное шоу *(фр.)*.

сы приветливости, Кэмп смешался. — В общем, Роджер еще не вернулся. Он предупредил, что может задержаться, и передавал извинения… Попросил нас с Тельмой, — он кивнул на женщину в парче, — и Эрнестиной, — и на женщину в синем, — принять вас… *э*, поскольку мы с вами уже встречались, — глаза его безостановочно шныряли по лицам позади Шкета, — и всех перезнакомить. Эрнестина, познакомься, это Шкет. А это Тельма…

Эрнестина, нервничая гораздо меньше Кэмпа, сказала:

— Я Эрнестина Трокмортон. Как прекрасно, что к нам пришло столько молодежи. Здравствуй, дорогая, — особо кивнув Ланье, которая в ответ улыбнулась. — Что ж, я думаю, нам остается лишь взять быка за рога и осмотреться. Пойдемте, мы покажем, где еда и напитки… Прошу. — И она поманила их вверх по крыльцу на террасу.

Остальные гости пятились и таращились, а она подошла к двум ближайшим и ярчайшим скорпионам:

— А вас как зовут?

— Кошмар, — ответил Кошмар скорее вопросительно.

— А вашу подругу?

— Ой, да. Извините. Это вот Леди Дракон.

— Очень приятно познакомиться с вами обоими. Между прочим, ваши имена я уже слышала; говоря точнее, читала в газете. Собственно говоря, я напугана до смерти.

Шкет на нее глянул.

Эрнестина, не напуганная ни капельки, шагала мимо толпы выкативших глаза (а кое-кто выдавил улыбки) гостей под руку с Кошмаром и Леди Дракон.

— Билл! — вскричала Эрнестина. (Билл улыбался.) — Иди к нам, дорогой.

Билл, высокий красавец лет, пожалуй, тридцати восьми, в черной водолазке, с банкой пива в руке (единственный гость, уже снявший пиджак), пристроился к ним.

— Билл, это Кошмар и Леди Дракон. Ты недавно упоминал их в статье для Роджера. Вы знакомы?

— Боюсь, что нет.

— В таком случае познакомься.

— Привет, — и: — Привет, — самую чуточку не в унисон сказали Кошмар и Леди Дракон.

— Рад познакомиться, но не уверен, что рады вы — после того, что я о вас говорил.

— Вы написали статью? — спросил Кошмар. — В газету?

— Я никакой статьи не читала, — сказала Леди Дракон.

— Вероятно, оно и к лучшему, если учесть кое-какие мои соображения… мы идем к пивной бочке, это вон там… — Билл указал банкой. — Удивительно, что вы пришли со Шкетом. У меня-то сложилось впечатление, что разные банды — гнезда — глотки друг другу дерут.

— Не, — сказал Кошмар. — Не, на самом деле у нас не так…

Кошмар взялся объяснять, как у них на самом деле, и Шкет снова посмотрел. Билл сменил Эрнестину — та отдрейфовала к другим скорпионам:

— Меня зовут Эрнестина Трокмортон. А вы?..

Ланья с улыбкой шепнула:

— Работы здесь вагон. — Улыбку подсвечивало беспокойство.

— Чего?

— Раз Роджера нет. Всех перезнакомить. К чему к чему, а к этому у него уникальный всеобъемлющий талант. Эрнестина грамотная. Я прежде видела, как она работает…

— Я так понял, вы знакомы.

— Я тут узнаю человек пять. Слава богу. Роджер обычно окружает себя весьма вдохновенными людьми. Эрнестина порой даже блистает. Однако

Роджер — гений. И увы, я на него сегодня как бы рассчитывала. Не сердись, если я тебя ненадолго оставлю. Ты справишься. Для начала, может, представишь меня капитану?

— А, — сказал Шкет. — Конечно. Я его знаю. Мы с Флинтом как-то ночью его сюда провожали.

— Флинт… — Она поразмыслила, и эти размышления пресекли его речь, а потом она кивнула.

— Капитан Кэмп? — пришлось произнести трижды, прежде чем капитан обернулся. — Это моя подруга Ланья Колсон.

— Поскольку тут все беседуют с теми, о ком прочли в газетах, — сказала Ланья, — пожалуй, уместно будет сказать, что я читала о вас.

– *Э*… — неуверенно улыбнулся капитан.

— Я одно время жила у Роджера, — сказала Ланья; Шкет счел, что реплика довольно-таки притянута за уши.

Но капитаново «Да?» полнилось облегчением.

Видимо, Ланья знала, что делает.

— А куда делся Роджер? На него непохоже — все устроить, а самому не явиться.

— Он наверняка вернется, — сказал капитан. — Ни секунды не сомневаюсь. Он обо всем договорился с этой дамой на кухне…

— Миссис Альт?

— …да. И она накрыла неплохой стол. Не знаю, куда Роджер делся. Я надеялся, что он будет вовремя. У меня нет дара к раутам. И я не знал, что придете все вы. Роджер, впрочем, сказал привести двадцать или тридцать друзей, да? Но. Короче. Ну…

Длинная терраса упиралась в патио.

На каменных плитах поставили два стола.

Пламя подсинивало медные днища полудюжины жаровен.

Тарелки бумажные. Вилки пластмассовые. А салфетки льняные.

Большинство гостей тоже переместились с террасы в патио.

— Угощайтесь, не стесняйтесь. — Эрнестина подирижерски взмахнула руками. — Вон там бар. Эти джентльмены, — (один бармен — молодой черный, другой — пожилой белый, оба в двубортном и синем), — нальют вам выпить. Вон в тех двух бочках пиво. Если хотите баночного, кулер у нас, — она показала большим пальцем; двое в толпе засмеялись, — набит под завязку. — И, понизив голос, обратилась к тем, кто был поблизости: — Не хотите поесть?

— Еще б, — ответил Откровение.

— Да, мэм, — это Паук.

В тот день нормальной трапезы в гнезде не состряпали.

— Капитан Кэмп, — говорила между тем Ланья, — это Флинт. Флинт, это капитан Кэмп.

— Ах да. Мы же знакомы.

— Правда? — Удивление у нее получилось совершенно восторженное и совершенно искреннее. (Если за ней записывать, подумал Шкет, ее слова растворятся в бессмыслице, как фонетическая запись звуков, что издают Джун или Джордж.) — Тогда я могу вас оставить и чего-нибудь поесть, — и она отвернулась.

(– Итак, — сказал капитан Кэмп. — Что ж. Чем занимались после той нашей встречи?

Флинт сказал:

— Да ничем. А вы чем?

Кэмп сказал:

— Да тоже особо ничем.)

Ланья пробилась сквозь толпу обезьян с Тарзаном:

— Эй, пошли, хочу вас кое с кем познакомить. Нет, я серьезно, пошли, — и выдернула из толпы Джека-Потрошителя с Вороном, а поперед них погнала миниатюрного черного Ангела. — Доктор Уэллмен, вот *вы* из Чикаго! Познакомьтесь, это Ангел, Потрошитель и Ворон.

Она немножко с ними постояла. Шкет послушал, как беседа завязалась, застряла и наконец выровнялась диалогом (во всяком случае, между Ангелом и доктором Уэллменом) о чикагских досуговых центрах, про которые Ангел вроде как утверждал, что они «нормальные, слышь. Мне правда было по кайфу», — а доктор Уэллмен любезно возражал, что «организованы они неважно. Во всяком случае, те, что мы инспектировали».

— Эй, Шкет.

Шкет обернулся.

Пол Фенстер качнул ему бумажной тарелкой.

— Ой, привет!.. — заулыбался Шкет, сам поражаясь, до чего рад знакомому лицу.

— Возьми поесть, чего ты? — сказал Фенстер и удалился в прореху между двумя другими лицами, пока Шкет неловко пережевывал слова, которые хотел произнести.

Он жалел, что не пришел Тэк. И что пришел Фенстер.

Невдалеке — улыбка до него долетела — прошла Ланья. А еще до него долетело, как она уговаривает мадам Браун:

— Работай, работай, работай! — шепотом.

Замотавшись в поводок, мадам Браун обернулась и промолвила:

— Сиам, это мой ужасно близкий друг Эверетт Форест. Сиам был моим пациентом, Эверетт.

Эверетта Шкет обычно наблюдал у Тедди в лиловой ангоре. Сегодня Эверетт надел темно-синий блейзер и серые трикотажные штаны.

Где-то у дальнего края патио Ланья обеими руками держала бумажные тарелки, готовясь к раздаче. Над ее серебристым подолом заволновалась бирюза — всползла было выше, но опала, как ленивая лава-лампа. Шкет направился было за тарелкой, но вдруг вспомнил про Денни, заозирался, ища его…

— Я спросила Роджера, нельзя ли мне…

Шкет обернулся.

— …в группу встречающих, — (это недовольная Тельма в парче до пят), — поскольку опасалась, что иначе мне не удастся с вами поговорить. Я хотела сказать, сколько удовольствия мне доставили «Медные орхидеи». Но сейчас… оказывается… — темные глаза, по-прежнему несчастные, опустились и поднялись, — это очень трудно.

— Я… спасибо вам, — ответствовал Шкет.

— Трудно хвалить поэта. Скажешь, что работа у него мастерская, — он все перевернет с ног на голову и объяснит, что его интересуют только живость и спонтанность. Скажешь, что его рабо-

та кипит жизнью и стихийностью, — выяснится, что он главным образом был увлечен решением некой технической задачи. — Она вздохнула. — Мне они доставили массу удовольствия. И за вычетом немногочисленных вежливых фраз, никакой лексикон не может хоть сколько-нибудь подлинно это удовольствие описать. — Она помолчала. — А со мной уже давно особо и не случалось ничего подлиннее ваших стихов.

— Ешкин кот! — сказал Шкет. — Спасибо!

— Хотите выпить? — в паузе предложила она.

— Ага. А то. Пошли выпьем чего-нибудь.

Они направились к столу.

— Я написала — и издала — два романа, — продолжала Тельма. — Вы о них, скорее всего, не слышали. Но ваши стихи — особенно первые четыре, «Элегия» и последние два, перед длинным и разговорным, которое в размер, — возымели на меня примерно то действие, какого я бы хотела от собственных книг. — Тут она взяла и рассмеялась. — В некотором роде ваша книга меня обескуражила: я видела, как действуют ваши стихи, и в известной мере постигала, отчего зачастую так не действует моя проза. Я завидую глубине ваших густых и ясных описаний. И вы орудуете ими естественно, как речью, обращаете

ее на что попало… — Она покачала головой, она улыбнулась. — Я умею лишь подбирать эпитеты — наполнять их смыслом читатель должен сам: прекрасный, или, допустим, восхитительный, или чудесный…

Шкет рассудил, что все они подходят — во всяком случае, ей; восторг его обуревал невероятный. Но, сдерживая этот восторг (черный бармен налил ему бурбон), он испытывал чарующий зуд, блаженный нарастанием, как чих — освобождением.

К столу, перебирая пальцами в кармане рубашки, подошел Денни:

— Эй, показать кое-что?

Шкет и Тельма посмотрели.

И у дальнего края патио платье Ланьи всплеснуло оранжем и золотом. Те, с кем она говорила, удивленно попятились. Она оглядела себя, рассмеялась, поискала взглядом, нашла Шкета и Денни и послала им воздушный поцелуй.

Тельма улыбнулась и, похоже, не поняла.

Шкет познакомил ее с Денни. Она представила обоих кому-то еще. Подошел репортер Билл. Тельма отошла. Шкет наблюдал, как выстраиваются крутящие моменты и напряжения связей, уже трактовал их как симпатии и антипатии,

комфорт и дискомфорт. Ланья подвела к нему знакомиться Баджи Голдстайн. Исполинская Баджи в зеленом шифоне поведала, что всегда боялась скорпионов до смерти, а они все такие милые, и свои разъяснения разметила резкими смешками. Они сошли с террасы и забрели в…

— Здесь? По-моему, здесь… Тоби, здесь *что*?

— Сады «Сентябрь», Роксанна. «Сентябрь — разверзлись хляби»…[46] А это что за молодой человек? Вы, часом, не Шкет?

И его передали с рук на руки.

Ему нравилось.

Лишь полчаса спустя он заметил, что его не подпускают к остальным скорпионам.

Помимо двух, по его прикидкам, дюжин гостей, в поместье собралось еще тридцать с лишним приглашенных из города, в том числе Пол Фенстер, Эверетт Форест (он же Ангора) и (Шкет удивился, заметив его, — привалившись к каменной ограде, тот беседовал с Откровением) Фрэнк.

«Январь» с «Июнем» соединял мостик.

Шкет посмотрел через перила на влажные камни; свет прожекторов поблескивал в прожилке

---

[46] Примечания: 46

Цитата из мнемонического правила британского моряка, метеоролога, полярного исследователя вице-адмирала сэра Джорджа Стронга Нэрса (1831–1915); правило описывает динамику штормов в Вест-Индии.

свалявшейся листвы — чистой воды под мостом не было. Внизу по узкой тропинке прошагали Ланья с Эрнестиной.

Эрнестина высказалась в свой бокал:

— Я не знала, что с ними делать, — разве что физически друг с другом *сшибать*…

Шкет решил, что Ланья его не заметила, но спустя миг после исчезновения она сказала:

— Привет, — за его спиной.

Он отвернулся от перил:

— Трудишься как пчелка.

Поднеся запястье ко лбу, она изобразила страдание:

— По крайней мере, фаза номер один завершена. Почти все понимают, что со всеми остальными *возможно* поговорить. Ты как? Тебе весело?

— Ага. Они все пришли ради меня. — Тут он ухмыльнулся: — Но все говорят о тебе.

— А?

— Мне уже трое сообщили, какое роскошное у тебя платье. — (Чистая правда.) — Денни молодчина.

— Ты такой лапочка! — Она обхватила его щеки и поцеловала в нос.

По тропе внизу, плечом к плечу — светлые плечи и темные — прошествовали Собор, Кали-

форния и Шиллинг. Я чувствую, что я за них в ответе, подумал он, припомнив, как она старалась поначалу. И рассмеялся.

Ее платье заполыхало зеленью и лавандой.

Она заметила и спросила:

— А Денни куда слинял? Пошли его поищем.

Они пошли, и поискали, и не нашли, с кем-то поболтали, а потом Шкет опять ее потерял.

С высоких скал… «Октября», гласила табличка на обведенной ржавчиной птичьей купальне, он посмотрел вниз на террасу.

Две женщины, с которыми он не познакомился, а между ними Билл (с которым да) зажали в углу Малыша и с жаром его забалтывали. Малыш очень широко улыбался, подставив бумажную тарелку под самый подбородок. Временами опускал голову — то кивал, то снова и снова загребал еду вилкой. Изредка, убедившись, что никто не видит, на террасе на них косились — две дамы, одна за другой, переместились, чтобы лучше был обзор, перехватили чьи-то взгляды и удалились.

За спиной в кустах кто-то шуршал.

Шкет обернулся: Джек-Потрошитель пятился — застегивая ширинку, судя по движению локтей. Посмотрел на Шкета:

— А?.. ой, это ты. — Он ухмыльнулся, нагнулся,

поправился. — Я боялся, увидит кто, как я тут отливаю.

— Где-то в доме есть туалет.

— Бля-а. Я ж не пойду расспрашивать. От моей мочи цветочки не завянут. Красиво тут, да? И праздник задался. И все ужасно любезные. Тебе как, весело? Мне да.

Шкет кивнул:

— Ты засек, как входил Малыш?

— Не-ет, — протянул Потрошитель с многообразно вопросительной интонацией.

— Ты говорил, что хочешь посмотреть на реакцию. Я все пропустил. А ты не видел?

— Ч-черт! — Потрошитель щелкнул пальцами. — Я не посмотрел даже, прикинь?

— Вон он.

— Где?

Шкет кивнул на террасу.

Потрошитель сунул пальцы под ремень на спине.

— О чем они там?

Шкет пожал плечами.

— Эй, чувак! — Руки выпростались. — Я просто обязан послушать. — И ухмыльнулся Шкету. Тот открыл было рот, но Потрошитель уже зашагал по камням.

Добравшись до четырехфутового парапета, он уцепился, подскочил, перевалился — человек шесть на него оглянулись — и спрыгнул. Бодрый шаг привел его к бару. Белый бармен вручил ему два стакана. Потрошитель дошел до угла, сунул один стакан Малышу и сказал — громко, Шкет расслышал:

— Вот я *знаю*, что тебе охота выпить, — чем-то же согреваться надо.

Кое-кто рассмеялся.

Малыш обеими руками взял стакан — тарелку он отставил на парапет — и заглянул внутрь, будто планировал нырнуть туда целиком. Но Билл и две женщины лишь потеснились и продолжили.

Несколько секунд — и Потрошитель, избочившись, втянув толстую нижнюю губу и озадаченно склонив набок длинную голову, увлеченно кивал с Малышом в такт.

Гадая, о чем они там перешептываются, Шкет побрел в «Март».

Здесь горел лишь один фонарь в ветвях вяза, раскаленный и резкий. Силуэтом в кроне своей тени стоял капитан Кэмп.

— О, здрасте, а я как раз обратно… вам как, весело? — В контражуре смотрелся он зловеще; а голос бодрый. — Я вон оттуда, ходил… — (Шкет

думал, он скажет «отлить»), — в «Август». Там свет не горит — поэтому, видимо, никого нет. Зато внизу видно город. Еще кое-какие фонари остались. Мне это эрзац-распорядительство на приемах не очень хорошо дается. А распоряжаться тут есть чем. — Кэмп приблизился. Шкет развернулся и зашагал с ним вместе. — Как же обидно, что Роджера нет.

— Похоже, никто по нему особо не скучает.

— Я скучаю. Я не привык к таким… ну, такому. В смысле, за все отвечать.

— Я, пожалуй, не прочь с ним познакомиться.

— Еще бы. Конечно, — кивнул Кэмп; показался дом. — Он же устраивает праздник для вас, в честь вашей книги. Казалось бы, должен… но я вполне уверен, что он появится. Вы не переживайте.

— Я не переживаю и не планирую.

— Знаете, я тут думал, — они взошли по каменным ступеням, — про то, о чем мы говорили, когда познакомились.

— Странный был вечерок. Но и денек был странный.

— О да. Видели, какая у Роджера обсерватория? — сам себя перебил Кэмп. — Может, хотите подняться и посмотреть.

Заинтересовало Шкета не столько предложе-

ние, сколько модуляция.

— Давайте.

По террасе шагал долговязый Б-г; его окружали Сеньора Испанья, Паук, Ангел, Ворон и Тарзан.

— Б-г, слышь, ты бы видел!

— Я в жизни не видал таких садов. Цветов туча…

— …и большой фонтан — и он работает.

— Пошли. Покажем. — Сеньора Испанья потянула его за локоть.

— Б-г, ты в жизни такой красоты не видал!

— Видимо, — Кэмп открыл Шкету дверь, — я просто не привык. Столько разных… людей. Этот мальчик голый, да? А никто и бровью не ведет, словно так и полагается.

Большая сумрачная комната, по стенам сплошь книги. На полу и на подушках при свечах сидели человек десять. Кое-кто оторвал взгляд от магнитофона, источавшего органную музыку. Один человек (Шкет вспомнил, как тот в «Ноябре» отпустил шуточку насчет дыма) сказал:

— Шкет? Капитан? Не хотите к нам? Мы тут слушаем…

— Мы в обсерваторию. — Кэмп открыл другую дверь.

Орган умолк; краткая пауза — и долгая гнутая

нота. Затем еще одна… Они слушали «Преломление».

Шагая за Кэмпом почти черным коридором, Шкет улыбался. Уловил Ланьин свист. На вершине лестницы увидел слабый свет. Ковер был толстый и очень теплый под босой ногой — что, отопление включили?

— Будь Роджер здесь, было бы, наверно, попроще. Но распоряжаться праздником для толпы людей, которых я, честно говоря, выставил бы за порог…

Шкет тихонько изумился; интересно, о чем в паузе подумал Кэмп.

— Прямо и не знаю, что делать. Понимаете меня?

Что, подумал Шкет, ни ответь, выйдет сердито или глупо. Ответил:

— Ну да, — и зашагал за Кэмпом вверх по лестнице.

— Несколько месяцев назад, — сказал Кэмп, — я участвовал в экспериментах. Луна ни при чем. Даже пришлось получать специальное разрешение от Космической Программы. Какие-то студенты одного моего друга в Мичигане ставили опыты, и этот друг, видимо, решил, что ему зачтется, если морской свинкой залучить меня. А я давно ни-

чего не делал вне Программы и согласился. Они экспериментировали с сенсорной депривацией и перегрузкой.

Кэмп дождался Шкета на площадке и поднялся на третий пролет.

По кирпичному полу подвел Шкета к двойным дверям.

— Мне досталась перегрузка. Любительщина, честно говоря.

Шкет вышел на, кажется, полукруглый балкон.

Из библиотеки смутно донеслись хлопки — целая толпа народу захлопала в ладоши под музыку…

— Видимо, они слишком много прочли статей про ЛСД…

…и закричала.

— …Я принимал ЛСД в конце пятидесятых — тоже эксперименты, один мой друг-психиатр ставил. Но я всегда немножко опережал события. Короче, что такое ЛСД, я знаю. И вполне уверен, что *большинство* этих мичиганских ребят не знали.

Над балконом — стеклянный купол. В центре — небесный глобус из прозрачного пластика, шесть футов в диаметре. Свет из сада внизу сражался с дымом сверху, что светился разбавленным

молоком.

— Вы-то, надо думать, принимали и ЛСД, и не только.

— Конечно.

— В общем, все только и делали, что рисовали красивые картинки, а потом их рассматривали. — Кэмп коснулся глобуса, убрал руку. Поверх Весов скользнул Овен. Звезды — блестящие камешки в вытравленных схемах созвездий. — У них были сферические залы с рирпроекциями, немногим меньше этой комнаты. Они проецировали на стены разноцветные пятна, и силуэты, и вспышки. Надели на меня наушники и пускали туда гудки, и щелчки, и частотные колебания. А я должен был различать паттерны. Позднее я узнал, что был в контрольной группе: нам не досталось никаких паттернов. А те, что я различал, сказали мне, я наложил сам… Но после двух часов эксперимента, после двух часов светошумовых завихрений и стимуляции я вышел наружу, в реальный мир, и меня потрясло, до чего… *богато* и сложно всё вдруг выглядит и звучит: текстуры бетона, древесной коры, травы, переливы оттенков от неба к облакам. Но богато — в сравнении с камерой сенсорной перегрузки. Богато… и тут я сообразил: то, что эти ребята называли сенсорной

перегрузкой, на деле — информационная депривация. Корова перед тобой или машина, сообщает *паттерн*, в который складываются формы и цвета. Клен перед тобой или сосна, стирол или полиэтилен, лен или фланель, говорят тончайшие вариации цвета на плоскости. Возьмите любое зрелище, отрежьте куски сверху и снизу, оставьте лишь дюймовую полосочку — и вы все равно изумитесь, сколько информации можно получить, лишь пробежав по ней взглядом. И тогда я стал вспоминать Луну. Потому что там — и многие мили по пути туда — стандартные информационные паттерны просто сыпались. Но *об этом* мы, вернувшись, не могли поговорить ни с кем. К долгому свободному падению мы приучались под водой, в водолазных костюмах. Помню, когда началась взаправдашняя невесомость, я по радио передал: «Эй, прямо как под водой!» — но сам, говоря эти слова в микрофон, думал: эти два состояния никак невозможно *перепутать*. Однако я не знал, как *описать* разницу, и рассказал про ощущение *со слов* тех, кто никогда его не испытывал. Потом я думал: это как сказать человеку, что земля плоская, и послать к краю; а он, толком не зная, как описать эту плавную округлость, запинается, и заикается, и говорит: «Ну да, я был на…

краю». А сама Луна — и этого я действительно никому не говорил *никогда*, потому что до этих экспериментов едва ли смог бы выразить, — она другой *мир*, на Луне никак не понять, *что* значит *что. Физически.* Весь пейзаж не сообщает о себе ничего, ни на каком уровне — в отличие от самых что ни на есть глухих песков на земле, которые сообщают, какие их обдували ветра, какие на них выпадали или не выпадали дожди, как они осязаются ступнями. «Безвоздушная безводная пустота…» — так обычно выражаются фантасты? Нет, это описание земной пустыни или межзвездного пространства, когда смотришь в него, уютно подоткнув вокруг себя атмосферу. Луна — иной мир, с иным порядком, и он непостижим. Там нет этого богатства — не потому, что блекло, не потому, что сплошь буро, лилово и серо. А потому что взгляд бежит по камням и грунту, но ты не понимаешь, что означают тончайшие вариации цвета. Там есть и горизонт, и перспектива, и… ну, камни и грунт, но больше всего это похоже на камеру сенсорной перегрузки. И разумеется, ни капли на нее непохоже. Там не было ужаса. Ужас — это все равно про Землю. Страшно — пожалуй. Но даже страх растворялся в восторге. Я… — он помолчал, — не знаю, как вам об этом

рассказать. — Улыбнулся и пожал плечами. — И это, пожалуй, единственное, чего я правда никому не говорил. Нет, я говорил: «Это неописуемо. Там надо побывать». Но моя первая жена то же самое говорила свекрови о том, как мы съездили в Персию. А я совсем о другом.

Шкет улыбнулся в ответ и о том пожалел.

Я не верю не столько в эту его Луну, подумал он, сколько в первую жену в Персии.

— Я понимаю, — сказал он, — насколько позволяю себе понять.

— Может, — не сразу отозвался Кэмп, — и понимаете. Пойдемте дальше праздновать.

Спускаясь по лестнице, Шкет чувствовал, что выдал себя, и гадал, есть ли в этом плюсы. Хорошо бы отыскать Ланью и Денни.

На террасе капитан заозирался, будто искал, с кем бы еще поговорить, а Шкет подумал: сейчас мне кажется, будто я за него в ответе, — на что он, вероятно, надеялся в ту ночь, когда я его сюда провожал. Это нехорошо, и мне так не нравится.

Эрнестина Трокмортон сказала:

— Капитан! Шкет! А, вот вы где, — и заговорила явно с одним Кэмпом.

Шкет с извинениями откланялся, размышляя, не ангел ли она в самом деле, и спустился в сады.

Объятая пожаром цвета изумрудов и индиго, по мосту шла Ланья.

— Эй, — сказал он. — Не видела Денни?

Она обернулась:

— Вот *ты* — не видел. А ему одиноко.

Пол Фенстер, держа бокал под подбородком, обогнул Шкета и сказал:

— Господи боже, вы не поверите, что творится в «Апреле». Я уж и не думал, что выберусь. — И засмеялся.

Ланья не засмеялась и спросила:

— Что?

— Там целая толпа черных ребят — и у них целый *спектакль*. С ними белый мальчик, зовут Тарзан, и они *выступают*! И конечно, этот Роджеров симпатичный полковник из Алабамы тоже там — я рассказывал, он мне всю душу вымотал, пока я тут жил, — и он, разумеется, хохочет громче всех. Они на деревьях раскачивались, без шуток!

— А ты что делал? — Ланья уже смеялась.

— Обильно потел, — ответил Фенстер. — И прикидывал, как бы слинять. Знаете, есть такие люди — приходят на вечеринки в беретах и болтают о том, как бы мебель спереть; вот я их уже понимаю. Но таким, видимо, хватило ума

уехать из Беллоны, пока еще ум помогал. А эти игры в Степина Фетчита[47] — короче, давненько я такого не видел, я вот к чему.

— Страдания, если не ошибаюсь, приближают нас к сердцу чего-то там, — сказал Шкет.

— Я, — ответствовал Фенстер, — очень, сука, надеюсь! — Он заворчал (приматно?) и ушел по мосту.

Ланья взяла Шкета за руку:

— …Денни?

— Ага.

— Я только что его видела. — Ее платье черно мерцало. С подола наползало серебро. — В «Марте». — И она указала подбородком.

Он сказал:

— Ты прекрасна.

И подумал: она печальна.

— Спасибо. Тебе правда нравится платье?

Он кивнул, все кивал и кивал, и вдруг она рассмеялась и пальцами закрыла ему рот.

— Верю, верю. Но уже подозреваю, что это перебор. Я-то планировала стоять столбом в

---

[47] Примечания: 47

Степин Фетчит — альтер эго американского водевильного и киноактера-комика ямайского происхождения Линкольна Теодора Монро Эндрю Перри (1902–1985), ленивый афроамериканец — стереотипный персонаж, после 1930-х гг. прочно и заслуженно забытый.

изысканной уединенной беседке, в окружении свиты, а не носиться колбасой. Интересно, куда делся Роджер?

Шкет своими теплыми ладонями прижал к лицу ее, прохладные.

— Пошли поищем Денни.

У нее на талии занялась заря.

— Ты поищи, — сказала Ланья. — А я тебя найду потом. — Алое солнце в желтом гало затмило серебристую луну.

Он не понял, почему так, но ответил:

— Ладно, — и оставил ее на мосту.

В «Марте» ручей растекался прудом под чешуей недвижной листвы.

— Я этой гадине сказал! — Доллар покачивался на кривых ногах. — Я сказал этой гадине. Когда она такое учудила, да? Я ей высказал.

Денни сидел по-турецки на каменной скамье и, похоже, особо не вслушивался.

Шкет обошел пруд.

— Волну гонишь на моем празднике?

Доллар дернул головой; испугался.

Денни сказал:

— Доллар ничего такого. Он ничего не сделал.

— Я ничего не сделал, — эхом откликнулся Доллар. — Клевый праздник, Шкет.

Шкет положил руку ему на рябой загривок и сжал.

— Ты веселись. И не парься, ага? Места полно — гуляй где хочешь. Что-то припарило здесь — иди туда. Что-то припарило там — иди еще куда-нибудь. Если в третий раз припарит — скажи мне. Ясно? Сегодня странных солнц в небе нет.

— Да все нормально, Шкет. Все хорошо. — Испуганная улыбка погасла; Доллар просто погрустнел. — По чесноку.

— Вот и славно. — Шкет отпустил его шею и посмотрел на Денни. — А тебе как? Весело?

— Ну, наверно. — Расстегнутая рубашка выбилась у Денни из штанов. — Ага.

В оплетенные плющом ворота вошли скорпионы и прочие с Эрнестиной Трокмортон во главе.

Доллар сказал:

— Ой, эй! — и потрусил, позвякивая, следом, вкруг пруда и в другие ворота.

— Я это сниму. — Денни выпростался из жилета, достал пульт, выбрался из рубашки и сел, в одной руке вертя пульт, другую повесив на цепи. — Ланья говорит, у меня хорошо получается. Ни хера себе приблуда, а?

Шкет сел и положил руку на его сухую узловатую спину. Во взгляде мальчика мелькнуло некое

облегчение.

Шкет погладил его по спине.

Денни спросил:

— Это ты зачем так? — Но улыбался в колени.

— Потому что тебе нравится. — Шкет с нажимом двигал рукой вверх-вниз по острой лопатке. От каждого нажатия Денни покачивался.

— Порой, — сказала Ланья, и Шкет обернулся, — я вам двоим завидую.

Шкет не перестал гладить Денни, а Денни не поднял головы.

— Почему? — Денни шевельнул плечами, поскреб шею.

— Не знаю. Видимо, потому, что ты можешь сказать другим… сказать Шкету, что хочешь такого, о чем я побоялась бы попросить.

— Почесать тебе спинку? — спросил Шкет.

— Да, — ухмыльнулась она. — Но не сейчас.

— Я смотрю, — сказал Шкет, — как вы играете. Кидаетесь друг в друга чем попало, таскаете друг друга туда-сюда. Я завидую вам.

— А ты?.. — Ланья потянулась к плечу Денни.

Но тот вскочил и шагнул вперед.

Шкет не понял, видел ли Денни ее руку; посмотрел, как ее лицо скользнуло сквозь обиду, а рука отдернулась.

Денни развернулся на кромке пруда и засмеялся:

— Ай, да вы оба… — И повернул ручку.

Ланья от шеи до подола заблистала чернотой; чернота пошла серебристым зерном; ее окатило алым.

— Эй, видала, я научился!

— Не то слово, — ответила Ланья.

Шкет встал и взял ее под руку:

— Пошли.

— Куда мы?..

Шкет ухмыльнулся:

– *Пошли!*

Она задрала бровь и пошла в остром любопытстве.

Денни пошел следом; его растерянность была отнюдь не так остра.

За поросшей плющом скалой Эрнестина глаголила:

— …*кусковое* крабовое мясо, не крабовые палочки! Потом яйца. Потом *немножко* хлебных крошек. И *специальной* приправы для краба. В Трентоне мне приходилось заказывать ее из Мэриленда. Но миссис Альт — и не могу описать, как я удивилась, — нашла целую полку в магазине на Темпл…

Доллар с молчаливой окраины почтительно пробормотал:

— От *блин*…

– *Специальная* приправа, — повторила Эрнестина, когда ее огибали Шкет, и Ланья, и Денни, — это главное.

На тропе к следующему саду Денни прошептал:

— А мы куда?

— Сюда, — сказал Шкет. — Тут фонари не горят…

— «Август», — сказала Ланья.

Они вступили в слоистую тьму. Между пальцами босой ступни прохладно скользила трава. Шкет их поджал; трава ускользнула на следующем шаге; опять пощекотала.

А следующий шаг удивил камнем.

Шкет покачал босой ногой: мокро, холодно… шершаво. Обутая стояла прочно.

— По-моему, здесь… — Ланьин голос отдавался эхом. Она помолчала, послушала реверберации. — Какой-то тоннель.

Откуда они вышли спустя четыре шага.

— Я даже не заметил, как мы вошли. — Денни шагнул на ночную траву.

Шкет снова поджал пальцы, задрал ногу; по-

драл траву.

— Эй, город видно… почти, — сказал Денни.

Снизу расплывчатые кляксы света за гривастым каменным зверем откушены домами. Темнота узорчата — намеки на холмы, и склоны, и лощины.

— У Калкинза дом вбирает тьму-тьмущую народа.

Высокие деревья — вроде небольшие кипарисы — угольно чернели в мутной ночи. Шкет вглядеся вниз, в Беллону. Один высокий… дом? В десятке окон свет.

— Как странно, — сказала Ланья. — Все пределы исчезают, и не верится, будто за ними что-то есть. Мы привыкли, что у айсбергов или там нефтяных скважин большая часть под землей или под водой. Но вот ночной город, в котором громадные пятна стерты или скрыты, — совсем другая…

— Слышьте, люди, — перебил ее Денни, — я вам не завидую… наверно. Но вы умеете говорите о вещах, мне настолько непонятных, что я иногда не знаю, как и вопрос задать. Я слушаю. Но иногда, если непонятно — или даже если понятно, — мне, блядь, плакать охота, понимаете? — Они промолчали, и он снова спросил: — Понимаете?

Ланья кивнула:

— Я понимаю.

Денни выдохнул и посмотрел.

Они стояли порознь и чувствовали, что очень близки.

Шкет глядел, как ее платье ловит остаточные отблески света и тускло мерцает малиновым в волнах темной синевы или зелени вечернего океана.

— Это что? — спросил Денни.

Шкет посмотрел через их головы.

— Пожар.

— Это где, как думаешь? — спросила Ланья.

— Не понимаю. Я толком не знаю, где мы. — Он подошел, положил руку ей на плечо; металлическая ткань кололась. Кожа была прохладна.

Денни под другой его рукой был лихорадочно горяч и, по обыкновению, сух, как бумага.

Шкету хотелось погулять.

И они погуляли с ним, бедром к бедру, толкаясь в разных ритмах. Он обхватил их спины, положил ладони им на плечи. Ладонь на плече Ланьи не двигалась.

Денни обнимал Шкета одной рукой.

Ланья, скрестив руки, на ходу смотрела вдаль, на обугленный город.

Затем положила голову Шкету на плечо (и все

смотрела), обхватила его рукой, плотнее вдвинула плечо ему под мышку, бедром прижалась к бедру.

И все смотрела.

Они шли вдоль ограды по пояс. Это самый большой сад, подумал Шкет. Денни сбился с шага…

— Что? — спросил Шкет.

— Один прожектор не работает… — Денни как раз его обошел.

Они прошагали по холодным плитам.

В тишине скреблась листва. Ветерок? Под громким черным руном высокого вяза или дуба Шкет подождал теплого или холодного порыва. Вновь тишина; он не почуял ни того ни другого.

— Почему тут никогда ничего не сгорает? — спросил Денни тихо-тихо и с нажимом. Плечо дернулось у Шкета под рукой. — Пусть бы тут вообще все сгорело? Вспыхнуло бы и… — Шкет перестал массировать, погладил.

Денни снова вдохнул, глубоко и резко, а потом выдыхал еще пять шагов.

Ланья, потершись о Шкетово плечо, повернулась, глянула на Денни, отвернулась.

Шкет постарался распустить узел в животе. Вдруг стало тошно: все органы — кишки, и печень, и желудок, и легкие, и сердце — словно

ухнули вниз. Он не сбился с шага, но на миг накатила тошнота, которая разрешилась, когда он пустил ветры.

Отчего полегчало.

Он притянул Ланью ближе; нога у его ноги и рывки плеча подстроились к их общему ритму. Транслированные сквозь Шкетово тело движения Денни стали тверже, и Шкет в ответ на напряжение тоже стал тверже. Ланья вздохнула, самую чуточку приоткрыв губы, не разжимая уголки, и затылком погладила его по руке. Рука Денни всунула костяшечный подбой между их бедер.

Еще один каменный лев — припал к гребню стены и смотрит.

Рядом дерево: безлистые ветви — словно трещины в закопченном стекле ночи. Под босой подошвой земля была гола, рассыпчата и… пепельна? Узнав эту фактуру, он ступил с горелой травы на живую.

Они обошли сад кругом.

В темноте не разглядишь, полон прудик или пуст. Ланья рукой коснулась древесной коры. Уже не смотрела, как в ночное небо вползают крохотные пожары. Шагала в ногу со Шкетом точнее, чем Денни. (А в мыслях: мысли о далеком

даруют ей свободу.) Хотелось защитить ее раздумья; и они пугали его.

Воспоминание о шелесте подчеркнуло тишину.

Шкет прислушался к разговору в другом саду. Сами они шагали так тихо.

За оградой (за многие мили?) что-то дымилось и мерцало.

Шепот:

— Кто-то идет!..

И другой:

— Ой, погоди. Осторожно!..

Шкет узнал один девичий голос, а другой не узнал.

В кустах одна ветка заколотила по остальным.

Тот, кто вышел из кустов, застегивая ширинку, спустив концы ремня по бедрам и улыбаясь… оказался Флинтом.

— А, — сказал он. — Это вы тут, — и продел ремень в пряжку.

Одна девушка сказала:

— Погоди. Вот…

— Тебе видно что-нибудь? — спросила другая и захихикала — девчонка в бордовых джинсах, которая пришла вместе со всеми из гнезда; сейчас она протолкалась сквозь заросли.

У нее за спиной кто-то озирался — Харкотт.

В другой девчонке Шкет сначала опознал гостью Роджера. Даже в трех четвертях темноты различил, как она взъерошена. А со второй попытки опознал Милли; рыжие волосы падали на темную бархатную кофту. Под кофтой было что-то металлическое и расстегнутое. Возложив руки ей на плечи, из кустов ее вывел Саламандр.

Ланья сказала:

— Боже мой! — и рассмеялась.

— Ой! — сказала Милли. — Это *вы* тут, — акцент другой, но интонация в точности как у Флинта. И отстранилась от Саламандра.

В неудержимом приступе хиханек Милли с Ланьей вцепились друг в друга.

Саламандр глянул на Шкета, поморщился и потряс головой.

Шкет пожал плечами.

— Я гребень потеряла! — Милли наконец высвободилась. — Ну ты подумай, а! Потеряла гребень.

Ланья оглянулась на Шкета:

— Я вас потом найду.

И, обняв Милли за плечи, вместе с ней бежала из сада.

— Слышь, — сказал Флинт. — Неплохая гулянка.

Лишившись Милли, Саламандр пристроился к первой девушке. Наклонился, что-то ей шепнул. Она шепотом ответила.

— Да блин, ниггер! — сказал Харкотт. — Только и делаешь, что ебешься, ну?

— Ёпта, — сказал Флинт. — Твоя розовая жопа тоже наскакалась — я смотрел.

— Ну это да, — сказал Харкотт. — Но ты ж одной всунул, потом другой, потом опять той… бал-*лин*!

Флинт только усмехнулся.

Тут оба заметили, что Саламандр с девушкой ретируются.

— Эй! — крикнул Харкотт и припустил следом.

Флинт пристроился к ним с другого бока.

В сомкнутом строю меж черным и белым девушка с Саламандром удалились.

— Пошли. — Денни отстранился от Шкета, и тот пошел, гадая, что в этой беседе заинтересовало Денни больше всего. Но тот, едва очутился между изгородями — одно плечо оперено тенью, другое облито огнями «Июня», — остановился и покрутил ручки на пульте. — Вот.

Джона Шкет нигде не видал, совершенно точно. Впрочем, он и Милдред узнал не сразу.

Наплыв гостей в направлении «Ноября» отрезал их от Саламандра и его спутников.

Оставив Денни, Шкет подумал: но задумывалось же побыть с ним. Цыкнул, досадуя на себя, и взошел на очередной мостик.

На его берегу фонари горели.

Навстречу вышел Фрэнк, улыбаясь от уха до уха, слегка щурясь, сияя лицом под прожекторами.

Меня он, наверно, видит силуэтом, подумал Шкет.

— Эй! — сказал Фрэнк. — Прекрасный праздник тебе устроили. Поздравляю по всем поводам. Мне тут отлично.

— Да, — сказал Шкет. — Мне тоже.

За спиной у Фрэнка, за мостом он различил вспышку металлической зелени. Ланья по-прежнему болтала с Милли, а у той восстановилась куафюра. Обе по-прежнему смеялись. Обе по-прежнему уходили прочь.

— Видел мою книжку?

— Само собой.

— Как тебе мои стихи? Мне интересно, что ты скажешь. Ты же настоящий поэт.

Фрэнк задрал брови:

— Это весьма… ну… — И опустил. — Тебе честно? Я предлагаю, потому что ты, наверно, наслушался комплиментов, тем более на собственном празднике. А настоящая честность довольно

редка — может, сейчас не время, давай отложим, поболтаем как-нибудь вечерком у Тедди.

— Нет-нет, говори, — ответил Шкет. — Я так понимаю, они тебе не очень покатили?

— Ты знаешь… — Одной закаменевшей рукой Фрэнк ухватился за перила, прислонился к ним. — Я все думал, что тебе сказать, если ты спросишь. Я вообще много про тебя думал. Гораздо больше, я подозреваю, чем ты про меня. Но я вечно о тебе слышу, люди вечно о тебе судачат. И я понял: я же совсем тебя не знаю. Но мне всегда казалось, что ты хороший человек. И мне кажется, полезно будет, если кто-то поговорит с тобой начистоту, да? — Он засмеялся. — И тут я такой уже открыл рот, чтоб сказать: «Прекрасные стихи», — как и все. Это не про меня. Я считаю, лучше по-честному.

— И что ты думаешь? — В своем голосе Шкет уловил холодность и изумился; слушая себя, вдруг почувствовал, что застрял в капкане.

— Мне не понравилось.

Все дело в его улыбке, подумал Шкет, а затем подумал: нет, ты просто внушаешь себе, что это его улыбка тебе не по душе. Он сказал, что ему не понравилось, вот и все.

— Что в них плохого?

Фрэнк фыркнул и перевел взгляд на камни:

— Тебе правда интересно?

— Ага, — сказал Шкет. — Мне интересно, что ты думаешь.

— Ну… — Фрэнк на него посмотрел. — Язык крайне искусственный. Между ним и подлинной речью — никакой динамики, никаких отношений даже. Большинство стихов высокопарны и чрезмерно эмоциональны… в том, что все они искренны, я не сомневаюсь. Но одна искренность без мастерства обычно дает слащавость. Эмоциональный фокус нулевой, и то, что могло быть интересным, оборачивается каким-то мелодраматическим гран-гиньолем. В итоге выходит довольно банально. Метод клишированный, стилистика нередко тоже. И стихи скучные. — После паузы, в которой Шкет перебирал все многообразие своих неприятных чувств, Фрэнк продолжил: — Слушай, ты мне сам как-то сказал, что пишешь стихи всего пару недель. Ты правда думал, что вот ты такой засучил рукава — и первые же тексты достойны прочтения? Чуточку маловероятно, не находишь? Меня-то, пожалуй, больше всего задевает *вот это все*. — Он обвел рукой гостей по обе стороны моста. — Тэк обмолвился, что вы с ним сверстники — ты на два года

старше меня! Шкет, тут большинство считает, что тебе лет семнадцать-восемнадцать! Возраст, плюс эти Ангелы Ада для бедных, плюс слухи про твои извращения — люди явились на спектакль. Для большинства «Медные орхидеи» — это как выступление говорящей собаки. Говорящая собака так замечательна сама по себе, что им по барабану, о чем собака говорит.

– *Ын*… — Шкет имел в виду: «А». — И ты, — чего он тоже в виду не имел, но не умолк, желая удостовериться, — считаешь, что стихи у меня неважные?

Фрэнк сказал:

— Я считаю, они очень плохие.

— Ух, — серьезно сказал Шкет. — И ты считаешь, для этих людей они больше ничего не значат?

— Для большинства, — Фрэнк опять возложил на перила закаменевшую руку, — поэзия не значит ничего. Но из того, о чем ты говорил мне в баре, — что ты читаешь, что чувствуешь, — я так понял, для тебя она кое-что значит. Отчего я тут так старательно и сажусь в лужу.

— Да нет, — сказал Шкет, — ты говори, — а в мыслях: но он ведь и не замолкал, нет?

Шкетова тень отрезала Фрэнку пол-лица и по-

ловину лиловой рубашки.

— Нынешняя поэзия разнообразна, — Фрэнк моргнул видимым сощуренным глазом, — и, вероятно, судить глупо. Есть много разных направлений. И конечно, лично я одни предпочитаю другим. Скажу честно: то, чем *тщатся* быть твои стихи, мне и в лучших проявлениях малоинтересно. Поэтому, наверно, вообще не стоило открывать рот. Слушай, я *не* сужу. Я описываю свой личный отклик. Видимо, я пытаюсь сказать вот что: насколько я понимаю — а я признаю, что пристрастен, — вполне ясно, чего ты в своих стихах *добивался*. И вполне ясно, что ты и близко не подошел. Последний стих, тяжеловесным пятистопным ямбом, — ну, вот он, может, и хороший; а может, и нет — я не знаю. Он не поддается прочтению. — Улыбнулся Фрэнк бледно. — Но в этом-то и загвоздка, согласись.

Шкет закряхтел — хотел изобразить вежливое согласие. Вышло скорее так, будто ему локтем заехали в печень. И я, подумал он, так звучать не хочу.

— Может, как-нибудь у Тедди, например, мы вместе прочтем стих-другой и ты объяснишь, что, по-твоему…

— Нет. — Фрэнк затряс рукой (растопырив паль-

цы) и головой (морща лицо). — Нет-нет-нет. Тут не в том… Слушай, я не могу тебе сказать, как быть поэтом. Я могу только сказать, что думаю. Все.

Шкет снова закряхтел.

— И не более того.

А теперь надо поблагодарить? — озадачился Шкет. Благодарят за комплименты.

— Спасибо. — Получился наиосторожнейший вопрос.

Фрэнк кивнул, снова посмотрел через перила.

Шкет обошел его, прошагал до конца моста. На полпути — как будто судорога: почудилось, что Фрэнк вот-вот тронет его за плечо. Шкет повернулся и, поворачиваясь, сообразил, что это рвется наружу некое по-прежнему незыблемое зерно абсолютной неприязни. Лицом к огням «Мая», Шкет не различал, на него смотрит Фрэнк или в сторону.

Щурясь, Шкет проглотил не облеченную в слова мысль и зашагал высокими тропами «Января», откуда открывался вид на многолюдную террасу.

Они все, думал Шкет, пришли ради меня! Ему было до смерти неловко. Улыбка Фрэнка… с ней критика звучала так, будто Фрэнку что-то сошло с рук. Ну, его *слов* это не отменяет. Кто-то, припомнил Шкет, не припомнив, впрочем, кто, говорил,

что стихи понравились… и решил, что об этом сейчас думать не хочет. Но от этой решимости случилось извержение памяти о семи других реакциях: недоумение, равнодушие, интересы мимолетные и прочие. Шкет припомнил затейливую уклончивость Новика и почуял, что она выдавала — не столько Новик выдал, сколько сам Шкет заподозрил — то, что поэт пытался сказать, а он не смог понять.

— Это как… — вслух начал он, услышал себя и рассмеялся. Это было как той ночью в парке, когда нафантазированная слава навалилась на него таким грузом, что невозможно было писать.

Он опять рассмеялся.

Какая-то парочка заулыбалась и закивала.

Едва он их заметил, его лицо сложилось в удивление. Но они прошли мимо.

Охота выпить, подумал он и заметил, что уже направляется к бару. Правда очень охота выпить.

Суть, твердил он про себя, сам себя же на этом ловя, должна быть в другом. Повторяя это в шестнадцатый или семнадцатый раз, он сидел на каменном парапете и глядел на стол с бутылками, так и не взяв бокала.

— Привет! — А затем ее лицо (и по зеленым

всполохам посыпались горсти алого) переменилось. — Что с тобой произошло?

Его руки обхватили ее бедра — на одном лужа синего, на другом зеленого.

— У меня кровь?

Он дотянулся до ее ягодиц, а в мыслях: какая она теплая; лицом прижался к ее теплому животу. Она запустила пальцы ему в волосы. Пред его морганием черные чешуйки порскнули серебром, и алым, и зеленью.

— Нет. Но ты как будто врезался в стену и ждешь, когда она отойдет с дороги.

Шкет издал звук — хотел начать с него следующую фразу, но снова получилось кряхтение. Его он отбросил и начал заново, чуть повыше тоном:

— Я просто… разговаривал с Фрэнком. Про мои… стихи.

Она высвободилась и запрыгнула рядом на парапет, плечом к плечу, ногой к ноге, докучливо мерцала в уголке глаза, пока Шкет разглядывал свои искалеченные большие пальцы, стиснутые на мозолистой барабанной коже сжатых кулаков. Ланья спросила:

— И что он сказал?

— Ему не очень-то понравилось.

Она подождала.

— Он сказал, тут все считают меня говорящей собакой. Все считают, что я тупой псих, что я на десять лет моложе и что все изумились бы не меньше, умей я написать свое имя — если б оно у меня было…

— Шкет… — что прозвучало гораздо тише его голоса. Она ладонью накрыла его руки. Он выставил большой палец. Она обхватила палец кулаком. — Это пиздец как жестоко.

— Или пиздец как правдиво.

— И вовсе нет! — По голосу он расслышал, что она хмурится. — Фрэнк? Который якобы публиковал стихи в Калифорнии?

Имея в виду: «А кто же еще?» — он ответил:

— Ну?

Она сказала:

— Шкет, да он завидует!

— Чего? Чему, — и вышло утверждение, не вопрос.

— Вы оба поэты. Оба выпустили по книжке. Посмотри, как все с тобой носятся. Когда вышла его книжка, вряд ли с ним так носились.

— Это слишком просто. И вдобавок мне все равно, *почему* он так сказал, я хочу знать, *правда* ли это… да ёпта! Калкинз их даже не читал, когда решил издать. Может, прочел потом, когда

книжка вышла, ему стало стыдно, и поэтому он сегодня не появился.

— Да нет! Что за глупости…

— И помнишь, как Новик юлил, когда я спрашивал, насколько они…

— Они ему *понравились*…

— Да ешкин кот! Ему понравился *я*! Он как раз и объяснял, что не умеет различать.

— А с *чего* ты взял, будто Фрэнк умеет? Он на тебя дуется, он дуется, что все на тебе зациклились; а потом он читает стихи. Мистеру Новику хотя бы хватило честности признать, что разделять он не умеет. И *мне*, блин, они нравятся.

— Ты пристрастна.

— А Фрэнк нет? Слушай, они не… — И она отпустила его палец.

Он поднял взгляд.

Она стискивала кулаки на приливном водовороте коленей.

— Мы не с той стороны подходим. — Ее нижняя губа пошевелилась над зубами, подстроила рот под новый тон. — Он прав. Ну, во многом.

В горле зародилась простая боль. Один раз сглотнув, Шкет скинул ее на дно желудка.

— Твои стихи ему не нравятся, и он, вероятно, искренен. Искренне признается, что ему не нра-

вится. Тельме нравится, и она, вероятно, тоже искренна.

— Я все вспоминал ее имя. Как-то сложно было.

— Вот и его имя стоило бы забыть. Оба искренни, но это не значит, что правы. Это значит, что оба полагают себя правыми.

— Да, — сказал он. — Ну да. Конечно. Фрэнк про стихи так и сказал.

— Неприятно.

— Он прав про людей — про то, что все думают.

— Не все, — возразила она. — Я подозреваю, и половины таких не наберется. Тебе небезразлично, что думают люди?

— Мне… — Пауза. — Небезразличны *люди*. Вот эти люди. И если они думают так, выходит, это мне тоже небезразлично. И лучше б они не думали, как он говорит.

Она согласно хмыкнула.

— Может, зря мы пришли, — сказал он.

— Хочешь уйти?

— Нет. Хочу остаться и посмотреть, что будет. — Шкет разжал ладони на коленях. — Но может, больше так делать не стоит. А посреди всего я, пожалуй, уходить не хочу. Тут слишком много

нового. — Он спрыгнул с парапета и развернулся к бару.

Денни сказал:

— А что?..

Шкет его обнял; руки Денни сначала оттолкнули его, затем вдруг крепко обхватили за спину. Шкет сунулся лицом в сухую горячую шею и подумал: у меня лицо, наверно, холодное. Он обнимал горячие плечи и думал: мои руки…

Денни разок шевельнулся, застыл, шевельнулся опять; наполовину уронил руки, поджидая момента отстраниться.

Шкет поднял голову.

Двое проходивших мимо отвели взгляд.

Шкет попятился.

Денни спросил:

— Все хорошо у тебя? — а затем глянул на Ланью.

Она ответила движением бровей.

— Нормально, — сказал Шкет, про себя отметив, что, быть может, ей противоречит.

Она спросила:

— Точно?

Шкет положил ладонь на ее блестящую коленку:

— Нормально. Кто-то сказал плохое про мои

стихи. Правду или нет — другой вопрос, но я в ярости.

Ланья вздохнула:

— Видимо, вот поэтому я и рада, что не Художница.

— Вот зачем ты все время так? — Шкет отстранился. — В доме сейчас целая толпа народу слушает «Преломление»! И им нравится!

— В смысле, — смутилась Ланья, — в смысле, «Художница», как это понимается на твоем празднике. Да, я придумываю музыку; или, блядь, платье, если уж на то пошло, — ты не поверишь, до чего похоже! Но мне кажется, *быть* таким художником уже нельзя. Куча народу делает то или се намного лучше, чем куча другого народу; но сейчас *столько* народу столько всего делает очень хорошо и столько народу серьезно интересуется столькими разными вещами, которые люди делают по разным внутренним причинам, что нельзя сказать: то-то и то-то хорошо любому — или даже любому серьезному человеку. Поэтому по-настоящему обращаешь внимание только на настоящие вещи, которые воздействуют на тебя; и не тратишь время, громя все остальное. Этот праздник — *ритуальное* внимание, общество уделяет его своему герою. Художник, надо

думать, тоже может быть героем, если их не очень много…

— …как в Беллоне?

— Беллона — крохотная часть вселенной. О чем полезно не забывать на этом празднике. Шкет, здесь любая критика, позитивная или негативная, будет ритуальной. — Она насупилась, опустила взгляд. — Может, мистер Новик пытался сказать это?

— Может быть, — сказал Шкет и ткнулся лицом ей в плечо. — А может, зассал сказать то, что сказал Фрэнк.

— Вряд ли. — Ланья снова погладила его по волосам. — Но это просто мой личный отклик.

— Фрэнк тоже так сказал.

— Тогда прояви великодушие и поверь ему. — Теперь отстранилась она. — Знаешь, в один прекрасный день я потрясу вас всех — опубликую философский трактат толщиной с «Критику чистого разума», «Феноменологию духа»[48] и «Бытие и время», вместе взятые! Он будет составлен из тщательно пронумерованных аб-

---

[48] Примечания: 48

«Критика чистого разума» (*Kritik der reinen Vernunft*, 1781) — основополагающий труд немецкого философа Иммануила Канта, исследование процесса познания. «Феноменология духа» (*Phänomenologie des Geistes*, 1807) — работа немецкого философа-идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, основополагающий трактат абсолютного идеализма.

зацев с перекрестными ссылками, треть текста — математические символы. И назову я все это… — Она сложила пальцы щепотью, повела ими в воздухе, обозначая границы воображаемой вывески. — «Предварительные заметы к исчислению восприятия в части внимания и интенции, с анализом модальной…» — от «модальности» такое прилагательное? — «…обратной связи». Вот тогда вы попляшете! Все!

— Всегда можно назвать его «Ланья ломает лады», — предложил Шкет.

— Ох уж эти мне поэты! — в притворном отчаянии вскричала она. — Художники!.. Боже правый! — и ее горячие бледные ладони обхватили его руки, заловили его ручных чудовищ в сети.

Он вытащил их из клети и упокоил на лезвиях, что тик-тик-тикали, поворачиваясь на груди.

Ланья встала, стряхнув бирюзу на подол, и отошла к Денни. У того в кармане штанов углами выпирал пульт.

— Иди прогуляйся, — посоветовала Ланья Шкету. — Отпустит.

Он кивнул, двинулся прочь, заметил, что убегает, и сбавил шаг.

Леди Дракон выпрыгнула из-за стойки перил у

подножья ступеней и спросила Малыша:

— И как тебе в башку взбрело сказать тетке такое, а? А?

— А чего она говорила, что я…

— Нет, *как* тебе в башку взбрело сказать *такое*?

Адам с Кошмаром отстали от них на три шага; Кошмар ковылял к лестнице, от хохота скрючившись пополам и держась за живот. Одну штанину алых брюк от колена до отворота испачкало падение.

Адам таращил глаза под буйными кудрями; над желтыми зубами разъехалась бурая улыбка.

— Да *чтоб* тебя! — сказала Леди Дракон. — Нельзя говорить такие вещи.

— Ёпта. — Малыш сцепил руки в паху. Голову он опустил, и светлые волосы раскачивались, словно он что-то теребил зубами. — Если б она не сказала… да ёпта!

На плечо Шкету легла рука Кошмара. Лицо придвинулось, тщась разъяснить, но взорвалось смехом. Пахло от Кошмара хмельным угаром. В конце концов он лишь беспомощно потряс головой и громко затопотал прочь.

Шкет перевел дух и пошел дальше, обдумывая ингредиенты безумия. Позднее он не припоми-

нал, к чему затем обратились мысли. И эту утрату обдумывал пристальнее, чем утрату дней или имен.

Внизу Фрэнк сказал:

— Погодите минуту… погодите! Стойте!..

Шкет взялся за черные железные перила моста и посмотрел вниз на тропинку.

Смеясь, они шли, срезая путь из «Марта» в «Октябрь».

Камни покрывал мох, полировали прожектора.

— Нет, вы послушайте, вот *я* знаю кое-что как бы забавное.

— Ладно. — Билл в черном свитере остановился, еще смеясь. — Что?

Тельма остановилась в сторонке.

— Не говори про него гадостей, Фрэнк, — сказала Эрнестина. — Я считаю, они *все* совершенно прелестны, с учетом обстоятельств.

— Да он хороший парень, — сказал Фрэнк, — правда. Но я уже пару раз с ним встречался. И я как-то…

— Ну-у, — протянул мужчина с веснушчатым черепом в кольце седой поросли, — я еще нет. Но забавнее детей, чем его приятели, я в жизни не встречал. Они целый спектакль устроили. Гиб-

боны, я же говорю! Настоящая стая маленьких черных гиббонов!

Билл сказал:

— Большинство-то не очень маленькие.

— И я как-то не уверен, — повторил Фрэнк, — он ли это написал.

— А с чего ты взял, что нет? — обернулся Билл.

— Я с ним встречался, — сказал Фрэнк, — один раз в этом заведении… «У Тедди»? Давно уже. За несколько недель до того я потерял тетрадь и ему об этом сказал. Он вдруг разволновался — ужасно разнервничался, позвал бармена, велел принести тетрадь, а мне сказал, что нашел ее в парке. И что в тетради уже было много чего понаписано, я *абсолютно точно* помню. Я полистал — там всякие стихи, дневник какой-то. Он спрашивал, не моя ли тетрадь. Тетрадь была, конечно, не моя. Но минимум два стихотворения — а я помню, потому что мне они показались довольно странными, — слово в слово два стихотворения из «Медных орхидей», я вам клянусь. В этой тетради стихи были чуть ли не через страницу.

— Серьезно? — переспросила Роксанна, словно байка ужасно ее рассмешила. — Роджеру не говори ни за что. Он решит, что его околпачили.

Билл испустил громкое:

— Ха! — в небо. — Если правда, тогда это анекдот вечера!

— Ну я что, выдумываю?

— Ты редкостную гадость говоришь, — сказала Эрнестина. — Ты считаешь, он на такое способен?

— Ты же с ним знакома, — ответил Фрэнк. — По-моему, не похож на мастера пера.

— Да куда ни плюнь — попадешь в поэта, — бросил Билл.

— И вы думаете, — это голос Кэмпа; донесся из-под моста, Шкету было не видно, — он *все* стихи взял из этой тетради?

— Ну, может быть… — начал Фрэнк. — Я его ни в чем не обвиняю. Может, он взял только эти два. Не знаю. Может, взял всего пару строк, а я их-то случайно и запомнил…

Тельма возразила:

— Ты говоришь, они слово в слово, — и Шкет напряг слух, но ничего, кроме ее слов, не расслышал.

— Я говорю, мне так *показалось*, — ответил Фрэнк, и с навязчивой ясностью Шкет вспомнил, что Фрэнк говорил совсем другое.

— Любопытно, — задумчиво отметил Билл, опустив голову, — сплошь черные волосы и черный

свитер. И зашагал.

Остальные следом за ним вошли под мост.

Фрэнк продолжил:

— Он мне в тот вечер сказал, что он поэт всего пару недель — по-моему, он выразился так. Да еще эта тетрадка, вся исписанная стихами, и они — ну, те два, что я прочел внимательно, — ужасно похожи на два стихотворения в его книжке. — Голос под мостом отдавался эхом. — А *вы* бы что подумали?

Тельма (лица Шкет не увидел) вошла под мост последней.

— Ну, *ты* явно думаешь, что он их позаимствовал… — Эхо стерло личность голоса.

— Я думаю, — донесся в ответ еще чей-то голос, — что он просто хороший… не скажу, что глупый, просто нелитературный — парень, и его такие вещи, наверно, особо не заботят. Да блин, он мне нравится. И в телохранителях у него эти ребята в цепях, поэтому я как бы надеюсь, что мы ему тоже нравимся.

— Он не подписал книжку своим именем, — сказал южанин.

— Ой, Фрэнк, а я думаю, ты просто…

Шкету пришлось прочистить горло, и последние слова Эрнестины заглушил хрип. (Беги к

другим перилам, послушай, что они говорят, выходя из-под моста…) Он оглядел пустую тропинку.

В орегонском лесу, этой самой зимой, в выходной он взбирался на груду бревен, и одно покатилось, отдавило ему ногу, окровавив правую икру и порвав джинсы. Он думал, перелом голени. Но все-таки дохромал до времянки — четверть мили, сорок минут хромал. И все это время думал: «Мне никогда в жизни не было так больно. Мне никогда в жизни не было так…» Когда добрался до пустой хижины, мысль крутилась в голове мелодией, а не идеей; он сел на нижнюю койку — рабочего по имени Делман, — расстегнул ремень, стащил джинсы с ягодиц и одним движением содрал их с…

Он не закричал. Нет — легкие распластались в груди, и еще десять минут он способен был лишь легонько и часто дышать. С ноги по всей длине содрало присохшие к ткани кровь и плоть, и боль вознеслась в пределы, о существовании которых он даже не догадывался. Когда снова удалось подумать, так и не умолкнувшая мысль, связанная с воспоминанием о прежней, отнюдь не такой острой боли, зазвучала идиотски.

Он отпустил перила, и поразмыслил об этой

истории (и почему-то о том, как звали человека, на чьей койке лежал с окровавленной ногой), и попытался припомнить, как откликнулся на критику Фрэнка десять минут назад.

В одну картину то и другое не лезло. (Они так легкомысленно восприняли!) Он похлопал глазами на пустую тропу.

Я написал?..

Глаза жгло; Шкет побрел с моста. Поднял было руку отереть лицо, увидел расплывшуюся траву и оборвал жест.

Одна нога обо что-то споткнулась, и он нестойко переступил.

Я помню, как их *переписывал*!

Я помню, как менял строки, чтобы они стали более… моими?

Шкет заморгал; шершавые пальцы окружены изгибами ножей. И первый ужас *предшествовал* крику?

…кто-то — Доллар? — Доллар за изгородью закричал.

Шкет разбросал руки и кинулся бегом, на звук. Слишком страшило то, что осталось позади.

Он мчался в сад; низкая ветвь хлестнула по лицу.

Рукой с ножами цапнул и отбросил листву,

тормознул, не добежав, и услышал (хотя и не увидел), как Доллар закричал опять, а в мыслях: господи, остальные так притихли!

Черные и бурые руки махали и крутились (а среди них — желтые волосы Тарзана и плечо цвета теста), лупили кого-то в гуще схватки. Кто-то закряхтел.

Тельма, наблюдая, втянула воздух, оцарапав тишину.

Из заварухи:

— Эй, полегче!.. Полегче!.. Полегче, тут… *Ыінх!*

Их сапоги скрежетом заглушали шелест перехваченных голосов и дыхания.

Шкет прыгнул, схватил, рванул, лишь в последний миг спохватившись и убрав орхидею.

— Эй, ты чё…

Собор заехал ему, когда он оттаскивал Шиллинга.

Голова Жреца врезалась ему в бок — получилось больно.

Шкет широко замахнулся, и Паук не заорал, а зашипел:

– *Эхххххххххххххх…* От-т с-сука, блядь! — На животе у Паука ширилась ниточка крови.

— ОТВАЛИ! — Шкет оттащил Потрошителя. — *Отвали*, ёпта!

Ворона, Тарзана, затем Сеньору Испанью, еще махавших кулаками, отдернуло прочь.

Узнав его, они один за другим отошли к гостям, кольцом обступившим сад. В толпу проталкивались новые зрители.

Сиам в эпицентре потасовки задрал голову и нырнул Шкету под локоть; Шкет покачнулся, рывком втиснулся между последними двумя (Ангелом и Джеком-Потрошителем), и те чесанули прочь; по-прежнему высоко задирая орхидею, Шкет сграбастал Доллара за шиворот.

Доллар опять заорал и эмбрионально скукожился на плитах:

— Не убивай, ну пожалуйста, не убивай! Шкет, не убивай, пожалуйста, не убивай! Прости, Шкет! Не убивай!

Правая щека у него посинела и кровоточила; левый глаз заплыл, а во рту, кажется, завелась перхоть. Безуспешно вздергивая Доллара на ноги, Шкет чуть не поскользнулся. Крутя головой, заметил вспышку ножей; из разжатых пальцев зеленой чешуей ночи посыпалась листва. Он увидел кольцо скорпионов и гостей…

Эрнестина Трокмортон подпирала подбородок кулаками. Вход в сад преграждали Ланья, Кошмар, Денни и Леди Дракон. По бокам от них

проталкивались Малыш и Адам. Капитан Кэмп за фонтаном — вода наморосила окаймленное ржавчиной пятно на мраморную грудь и поперек рога изобилия — смотрел сердито и готовился вмешаться. Полковник-южанин (с кольцом седых волос) готовился его удержать.

— Я ничего не *сделал*! Я ж ничего не хотел. Я не хотел ничего, я тебе клянусь, Шкет! Я клянусь, это не я!

Шкет на него посмотрел:

— А НУ, БЛЯДЬ, ВСТАЛ! — И опустил орхидею.

Доллар пригнул голову.

– *Встал*, ну? — Шкет снова дернул его за жилет.

Флинт подхватил Доллара под мышку и помог воздвигнуть его на ноги. Шкет и Флинт досадливо переглянулись.

— Цел? — спросил Флинт. — На ногах стоишь?

— Теперь… все хорошо? — спросила Эрнестина Трокмортон.

Шкет обернулся, хотел было сказать: идите отсюда уже…

Но до нее было десять футов, и обращалась она к Кошмару, а тот отвечал:

— Да, все в порядке. Выбросьте из головы, а? Да, все хорошо.

И другие люди уходили прочь.

Чувства у Шкета амфетаминово раскалились. Но слова, если вслушиваться, опять расплывались до своей нормальной неразборчивости.

— Я ничего не!.. — снова завизжали ему в ухо; Доллар пытался спрятаться между Шкетом и Флинтом.

Тарзан сказал:

— Да не трону я тебя! — И глянул на Шкета: — Но если он еще кого обзовет ниггером, ему проломят башку.

— Вот-вот! — Это косматый Ворон у Тарзана из-за левого плеча.

— Чего? — спросил Шкет.

И:

— Вот лично я ему башку нахуй и проломлю, — это Потрошитель из-за правого.

— Я ничего не *сделал*! — Доллар повис у Шкета на локте, опрокинулся на Флинта, а тот его поймал. — Вы *сами* всегда так говорите! Вы все так говорите, а мне почему нельзя?

— Слушайте, ну харэ уже! — сказал Шкет. — Да вы надо мной издеваетесь все!

— Если он не того ниггера обзовет ниггером, будет башку с земли подбирать и к шее обратно прикручивать, — сказал Б-г.

— Так, ладно, — сказал Шкет Доллару. — Кого ты обозвал?

— Меня! — ответил Тарзан. — И если этот уебок будет…

— Да ёпта! — сказал Б-г. — Тебя-то с какого ниггером обзывать? Он обругал Потрошителя, а Потрошитель такие фокусы не любит. И я тоже.

— Ой, — сказал Тарзан. — А я думал, это он мне… Смотрел же он на меня.

Б-г крякнул.

— Блин, ниггер, Потрошитель у тебя *за плечом* стоял! — И ткнул пальцем куда-то в сад.

Кое-кто отступил с линии прицела, которую палец обозначил в воздухе над газоном.

Тарзан промолвил:

— А.

— Я ему сказал извиниться, — вмешался Потрошитель. — Я свары не хотел, тем более, сука, на празднике. Если б он сказал «извини», я б ничё не сделал.

— Так, — сказал Шкет Доллару. — Извиняйся.

— Не буду! — Доллар рванулся в руках Флинта. Виниловый жилет распахнулся на перечеркнутом шраме, выглянувшем из-под ремня, и запахнулся снова.

— Ну-ка извиняйся. — Шкет одной рукой взял

Доллара за загривок, а другую остриями орхидей приставил к нижнему правому квадранту живота; грязная плоть вздрогнула. Долларовы цепи зазвенели. — Извиняйся, или я вырежу тебе аппендикс прямо здесь, и все, что у тебя там найдется, мы, сука, по земле размажем…

— Не наааааадо! — взвыл Доллар, корчась. — *Пожалуйста*, не убивай!

Болтовня снова стихла.

— Извиняйся.

— Я *извиняюсь*.

— Ладно. — Шкет опустил руку с ножами и оглянулся на Потрошителя: — Он извиняется. Порядок?

— Мог бы и промолчать. — Потрошитель кисло оглядел собрание. — Я свое уже получил.

Но другие гости опять загомонили.

— Всё, — сказал Шкет. — Расходимся. А НУ БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ ВСЕ, СУКА, РАЗОЙТИСЬ! — И пихнул Доллара в затылок.

С ними пошел Флинт.

Кошмар сказал:

— Все, люди, ну хватит. Вы слышали Шкета. Расходимся! Идите отсюда! Вперед!

Кто-то спросил:

— А что было-то?

Кто-то еще:

— А что он сделал?

— Я не видел. Ты видел, что было? Все нормально уже?

— Не, я только пришел. *По-моему*, все нормально?..

— Эй, Шкет?

Билл.

— Когда выдастся минутка, я бы… — но кто-то заступил ему дорогу.

Вот и славно.

Шкет держал Доллара за одно плечо. Флинт за другое. Шкет пальцем буравил Доллару подмышку.

— Я же *сказал*: если что не так, приходи ко мне.

— Так я ж не успел, — ответил Доллар. — Я им так и говорил, я им говорил: тронете меня — я к Шкету пойду. Как ты велел. — Он через грязное плечо оглянулся на Флинта: — Ты был? Слышал, как я им сказал?

Флинт потряс головой — в основном от досады.

— Но я не успел, да? Эти цветные на меня как навалились.

Перегнувшись через перила, Фрэнк сверху окликнул:

— Эй, Шкет, все хоро?..

Флинт задрал голову. Шкет не стал.

— Чё-то вот я думаю, — под мостом голос Доллара оброс эхом, — ну, знаешь? — что я им особо не нравлюсь. Бывает, наверно, что кому-то кто-то не нравится.

— Я вот к тебе особой любви не питаю, — заметил Шкет.

— Жалко просто, — Доллар повесил голову и заговорил себе в грудь, — что мне никто не скажет, чё делать-то.

— Трудно тебе, а? — сказал Флинт, даже не глянув на Шкета.

— Ой, братуха! — сказал Доллар. — Ой, братуха, я прям иногда не знаю даже. Я вечно, сука, полубольной какой-то. Жрать толком не могу. Живот болит. Пить ничего не могу, одно вино, а то блюю. Не напиваюсь, а блюю только. Одно вино могу. Половина этих, сука, ниггеров, — он покосился на Флинта, — то есть цветных, — затем на Шкета. — Ну, это *они* так выражаются, то есть…

— Договори уже, — сказал Флинт.

— …половина этих, сука, цветных — они ж пьяные. Небось, потому на меня и навалились. Они б не стали по трезвянке-то. Они славные ребята, и девки даже тоже. Я ж пошутил… я не пьяный

был. Ничего не пил, вино только, я ж не хотел у тебя на празднике блевануть. Хоть бы мне кто сказал, чё делать-то.

Они выступили из-под моста.

Тропа изгибалась в скалах бумерангом.

— Понимаете, да? Если б мне кто *сказал*…

— Может, не трогать людей, раз они могут тебя отмудохать? — предложил Флинт.

— Так а я о чем? — ответил Доллар. — Все говорят, чего *не* делать. Не лезь сюда. Уйди оттуда. Этого не тронь. Вот если б кто сказал, что *делать*, я б из кожи нахуй лез.

— Сейчас-то конечно, — ответил Флинт. — Когда тебя напугали до усрачки.

— Не, правда, — сказал Доллар. — Честно.

— Пойдем-ка со мной, — сказал Флинт. — Хорошо?

Наверху, у края черных перил, под деревцами поджидали Саламандр, Харкотт и девушка в бордовых «ливайсах».

Доллар похлопал глазами Шкету и пальцем отер шелушащийся уголок рта. Смотрел он грустно и испуганно.

— Мы тебя не тронем, — сказал Флинт. — Мы свое уже тоже получили. Мы только последим, чтоб ты на Шкетовом празднике больше не вля-

пывался.

Шкет в сомнениях отпустил Долларово плечо.

— Хоть бы кто мне сказал, что надо делать.

— Иди к ним, — сказал Шкет.

Флинт и Доллар полезли по склону среди кустов и древесных побегов.

Шкет отвернулся, не успел Доллар долезть до верха.

А вот хоть бы из всех этих людей, ради меня тут собравшихся, один кто-нибудь подошел, постучал меня по плечу и спросил, все ли хорошо *у меня*, нормально ли мне, сказал бы, пошли выпьем, после такого тебе выпить — самое оно. И я не хочу бродить тут таким, сука, жалобным, искать, кто снизойдет. Вот пусть само случится. Порой зрение так давит на сетчатку или звук на барабанную перепонку, что сил никаких нет. Где я потерял себя, где начал рыть эту колею? Гуляешь тут в садах — и нервную поверхность разума, отмечающую ход времени, одной ходьбой натирает до воспаления.

Я написал?..

И эта мысль — все равно что снова впериться в плиточный узор, по которому он бродит часами.

Я?..

Наивысочайший момент, что я помню (раз-

мышлял Шкет), — когда я голым сидел под деревом, с тетрадкой и ручкой, записывал слово, потом еще, потом еще и слушал, как они сплетаются, а небо светлело, выползая из ночи. О, умоляю, что угодно потерять — только не это…

— Эй, Шкет!

— Чего?

Но Потрошитель окликнул его на ходу, помахал и уже удалялся.

Шкет неуверенно кивнул в ответ. Затем нахмурился. И ни за какие пироги не вспомнил бы, о чем сейчас думал. Лишь одно слово в голове… артишоки.

Паук одиноко сидел на земле в «Октябре», наполовину во мраке, у прожектора, и мятым газетным комом промокал живот. Газета снова и снова кроваво хлопала перед ослепительным стеклом.

— Ты как? — спросил Шкет.

— Чё? А, нормалек. — Паук поплотнее смял газету. — Царапина. Крови не очень много.

— Прости, пожалуйста, — сказал Шкет. — Ты как себя чувствуешь? Я тебя не заметил.

Паук кивнул:

— Я так и понял. — Еще помял газету. — Я, блядь, красавец писаный, — он подтянул пятки

под себя и встал, — но это просто царапина. — Он отогнул полу жилета и протерся газетой, прижал ее к животу. — С одного конца только сильно кровило.

Шкет заглянул снизу в опущенное лицо черного юнца:

— Сейчас точно нормально?

— Да вроде. Сейчас-то. Но, слышь, напугал ты меня до усрачки. Я думал, все кишки на траву повыпадут.

— Прости, чувак. Дай гляну?

Тиковую плоть словно вымазали краской. С одного конца пореза на ремень текло красное. Ширинка слева стала черно-бордовой. Паук снова промокнул живот.

— Ты ж кровью истекаешь, как свинья резаная! — сказал Шкет.

— Да царапина. — Паук кончиками пальцев потрогал окровавленный живот (тоже ногти грызет, подумал Шкет), пощупал тугую кожу над пупком, оттянул пояс, чтоб отлип. — Не больно ни капельки.

— Может, в доме что-нибудь найдется — бинты какие-нибудь. Пошли…

— Уже останавливается, — сказал Паук. — Скоро перестанет.

Он перевернул кровавую газету, посмотрел.

Кровь — живая ткань, подумал Шкет, вспомнив, как очки его учительницы биологии в старших классах слетели с края мраморного лабораторного стола — одно стекло вдребезги на горчичной плитке.

— Так, пошли. Давай тогда выпьем. После такого тебе выпить — самое оно.

— Ага, — улыбнулся Паук. — Ага, пошли. Выпить. Выпить — это хорошо. — Он ухмыльнулся, смял газету, шумно запульнул ее в кусты. — *Ыхннн*… — сказал он, сделав три шага. — Может, мне в дом, промыть это дело, что ли.

— Чувак, прости, — сказал Шкет. — Мне ужасно жаль.

— Да я понимаю, — сказал Паук. — Ты ж не нарочно.

На полпути через «Июль» их заметила Эрнестина Трокмортон:

— Ой! В смысле боже… *мой*!

В последующей суматохе Шкета отыскали Денни и Ланья (лиловая, и лиловое расцветало синевой), а Эрнестина и другие гости уламывали Паука зайти в дом.

— Я хочу… выпить, — неуверенно отвечал Паук.

Эрнестина спрашивала:

— Вы как себя чувствуете? С вами все хорошо?

— Он хочет выпить, — сказал Шкет.

Паук растерялся; затем растерянность утонула в воинственном безмолвном смущении, и он, не противясь, пошел, куда повели.

— Так и заражение заработать недолго, — в третий раз повторил Эверетт Форест.

Мадам Браун стояла позади толпы, скрещивая и заламывая руки. Поводок крутился, и обвисал, и позвякивал.

Шкет все трогал Ланью за плечо; они стояли и смотрели. (Во второй раз она ответно коснулась его руки — но не в первый, и не в третий, и не в четвертый.)

Мюриэл, часто дыша, припала на передние лапы; и снова уставила морду в землю.

Денни в толчее несколько раз прижимался к Шкету, клал руку ему на плечо, на локоть, на спину. Шкет подумывал откликнуться…

— Шкет!

Поначалу он не обернулся.

— Если найдете пару минут… Шкет, вы не уделите мне пару минут?

А когда обернулся (Ланья с Денни тоже), ему поверх голов улыбался Билл, прижимая к уху

приборчик, сильно смахивавший на пульт от платья.

— Можно вас на пару минут… Шкет?

На сей раз, когда Шкет коснулся Ланьи и Денни, оба пошли с ним. (А в мыслях: они бы все равно пошли; ими движут разные механики, но у обоих развилось любопытство, которое не позволит им такое пропустить!)

— Да не вопрос, — сказал Шкет. — Вы чего хотели?

— Спасибо. — Билл ухмыльнулся и поправил микрофон на кармане черной водолазки. — Он включен. Давайте, пожалуй, так и оставим, чтоб вы привыкли про него не думать. Только отойдем, а то шумно. Вернемся, например… А что случилось, кстати, с этим высоким черным мальчиком? Он из вашего гнезда?

— Я его порезал, — ответил Шкет.

Билл постарался не выдать удивления.

— Я нечаянно, — сообщил Шкет микрофону. И отстегнул с запястья парадную орхидею.

— Вы… — тут Билл заметил Ланью с Денни, но ничего им не сказал, — своих держите в строгости, не так ли?

Шкет решил: мне сообщают, не спрашивают, — и не ответил.

— Мы куда? — прошептал Денни и снова опасливо покосился на кассетный диктофон.

— В тартарары, если пригласят любезно, — ответил Шкет. — Умолкни и пошли. У тебя ничего не спросят. Только у меня.

— Давайте-ка мы… — Билл, похоже, прикидывал, как бы повежливее избавиться от Ланьи и Денни.

Ланья, похоже, прикидывала, как бы повежливее улизнуть и увести Денни.

— Они тоже пойдут, — сказал Шкет. — Они мои друзья.

— Разумеется. У меня к вам всего несколько вопросов… давайте сюда. — Они миновали очередной сад. — Все слегка запуталось, Роджера-то нет. Видимо… уехал на всю ночь. Он хотел с вами побеседовать, я точно знаю — он говорил. Собирался прояснить пару вопросов, читателям «Вестей» может быть любопытно… вообще-то, мы планировали взять у вас интервью вместе. Я много помогаю Роджеру с газетой. Пишу черновики многих его статей. Он, как вы понимаете, человек очень занятой.

— Так это *вы* пишете его статьи? — переспросила Ланья. — А я-то гадала, как он всё успевает.

— Я не пишу под его именем. Но… провожу мно-

го подготовительной работы. — Билл свернул на узенькую тропку — Шкет вспомнил, что за вечер ходил по ней уже дважды, но не вспомнил, куда она ведет. — Роджер хотел спросить… вернее, мы оба хотели… ну, о том о сем. Я думал дождаться его. Но кажется, скоро все начнут расходиться. Даже если Роджер не вернется вовремя, он бы не хотел, чтоб я упустил шанс.

Белая плетеная мебель под двумя низкими прожекторами на деревьях по углам полянки усыпала траву черными завитками и загогулинами.

— Сюда, кажется, пока никто не добрался. Давайте присядем и начнем?

Денни сел подле Шкета на краешек скамьи, облокотился на коленки и уставился вбок на Билла, а тот устроился в шезлонге с округлой решетчатой спинкой. Ланья встала чуть поодаль, прислонилась к стволу, разок огладила осеннего цвета юбку, высекая из нее серебряный дождь.

— Я хотел расспросить о вашей банде… гнезде. А затем немножко о вашей работе… стихах. Ничего?

Шкет пожал плечами. Все это заводило его и смущало; но два состояния, чувственно острые, гасили физические симптомы друг друга.

Шкет посмотрел на Ланью.

Она скрестила руки на груди и слушала так, будто случайно шла мимо и остановилась.

Денни смотрел на пульт — хотел с ним поиграть, но не понимал, уместно ли.

Ланья парила в разнообразной синеве.

Билл рукой пробежал по проводу от микрофона до диктофона, повернул ручку и поднял глаза:

— Для начала расскажите, каково вам издать книжку? Это же ваша первая книга?

— Да. Первая. Мне нравится — шумиха, то-се. Глупо, я считаю, но… весело. И ошибок мало… Ну, те, кто набирал, мало где ошиблись.

— Что ж, это прекрасно. То есть, по вашему мнению, эти стихи — ровно то, что вы написали; и вы отвечаете за них целиком и полностью?

— Да. — Странно, что замаскированный упрек не смутил его сильнее. Видимо, оттого, что он уже все пережил молча.

— Я вот о чем, — продолжал Билл. — Помнится, как-то вечером Эрнст Новик рассказывал нам, что вы очень усердно трудились над гранками. Его это сильно поразило. А с самими стихами мистер Новик много помогал? Как вы считаете, он повлиял на вашу работу?

— Нет. — Он *правда* думает, подумал Шкет, что

мне семнадцать! Рассмеялся; и от привычности этого обмана его совсем отпустило. Он сел поудобнее, раздвинул колени. Пока дела идут неплохо.

Краем глаза отметил движение. Билл тоже посмотрел.

Позади стояли Откровение и Милли — Шкет не видел ее с тех пор, как застукал в кустах.

Денни сказал:

— Шшшшшш, — отнял палец от губ и указал на диктофон.

— А можете рассказать…

Шкет снова перевел взгляд на Билла.

Тот покашлял.

— …рассказать что-нибудь о скорпионах, о том, *как* вы живете и *почему* вы живете так?

— Что вас интересует?

— Вам нравится такая жизнь?

— А то.

— Вы считаете, такой образ жизни обеспечивает вам защиту, упрощает выживание в Беллоне? Город-то теперь довольно опасен и непостижим.

Шкет потряс головой:

— Нет… для нас он не так уж и опасен. И я неплохо его изучил.

— Вы живете вместе, эдакой коммуной… гнездом, как вы это называете. А вам знакома

молодежная коммуна, которая прежде жила в парке?

Шкет кивнул:

— Знакома. Конечно.

— Коммуны между собой ладят?

— Вполне.

— Но они — люди довольно мирные; а вы же верите в насилие?

— Ну, в насилие, — усмехнулся Шкет, — никто не верит. Насилие просто случается. Хотя, пожалуй, с нами оно случается чаще, чем с ними.

— Мне говорили, одно время вы состояли в их коммуне; но, я так понимаю, предпочли скорпионов?

— М-да?.. — Шкет поджал губы и кивнул. — Вообще-то, нет. Я никогда не состоял в их коммуне. Я с ними тусовался; они меня кормили. Но к себе не брали. А скорпионы, едва я пришел, взяли меня к себе, сочли своим. Может, мне поэтому и нравится у них больше. У нас зависали ребята, которым, наверно, скорее место в парке; но их мы тоже кормили. Потом они свалили. Так уж оно устроено.

Билл кивнул, тоже поджав губы.

— По слухам, дела у вас временами принимают довольно жесткий оборот. Убиты люди… ну, была

такая история.

— Люди пострадали, — сказал Шкет. — Один парень убит. Но он был не скорпион.

— Однако скорпионы убили *его*?..

Шкет развел руками:

— Вот что мне на это сказать? — И опять усмехнулся.

У Билла за спиной собрался десяток зрителей. Кашель за спиной у Шкета сообщил ему, что и там столпились послушать человек десять.

Билл посмотрел на Шкета в упор:

— А если объективно, вы считаете, это… хороший образ жизни?

— Мне по кайфу. — Шкет широкими пальцами ощупал подбородок и услышал скрежет вечерней щетины. — Но это субъективно. Вам объективно? Зависит от того, как вам образ жизни остального мира.

— А вам он как?

— Да вы сами на него посмотрите, — сказал Шкет. И кашлянул, что вызвало общий смех, выдавший размеры аудитории, на которую он так и не смотрел: человек тридцать, а то и сорок, скорпионы и прочие гости.

На полянку выступил Кошмар, сказал:

— Слышьте, а чё тут все?.. — умолк, отошел и

подсел на траву к Леди Дракон.

— Как бы вы описали жизнь в гнезде?

— Тесно, блядь!

— Уй-ё! — Б-г дал пять Тарзану. — Он сказал «тесно, блядь»!

— Заткнитесь оба, — велел Ворон.

— И несмотря на тесноту, несмотря на насилие, вы все равно умудряетесь работать — писать?

— Когда выпадает случай.

Тут рассмеялась Ланья. Она была бледного-бледного оранжевого оттенка, что осыпался бледным-бледным розовым и лиловым. Денни держал пульт коленями; руки скрестил на груди.

— Многие отмечают, как бы это выразиться, живописность ваших стихов, их красочную наглядность. Нет ли тут связи с насилием?

— Может, и есть. Но я не знаю какая.

— А вашим друзьям в гнезде нравится ваша книга?

— По-моему, большинство особо не читает.

— Эй, браток! — крикнул Кошмар. — Я, блядь, даже *не* у него в гнезде, а прочел, блядь, с начала до конца! — отчего кто-то еще выкрикнул:

— Ага, клевые! Шкет клево пишет, — а кто-то другой:

— Так вы ж сами ему гулянку закатили!

Шкет откинулся на спинку скамьи, и засмеялся, и закрыл глаза. Смех его зародился в катастрофической буре криков и окликов.

— Хватит, — громко сказал Билл. — Ну хватит. У меня к Шкету еще пара вопросов. Ну хватит…

Шкет открыл глаза — ресницы, оказывается, мокрые. Свет в саду мерцал и шел полосами. Шкет потряс головой.

— Я хочу спросить, Шкет…

— Всё, тихо, кончайте! — сказала Сеньора Испанья. — Эй, харэ, закрой пасть! Он Шкета спрашивает!

— …хочу вас спросить: как бы вы обобщили то, что пытаетесь сказать в своих стихах?

Шкет облокотился на колени:

— Вот как мне, по-вашему, обобщать то, что я пытаюсь сказать?

— Вы, вероятно, предпочтете, чтобы мы просто прочли…

— Ёпта, да мне до звезды, читаете вы или нет.

— Я в том смысле…

— Я пытаюсь, — Шкет поглядел на Билла, в паузе хмурясь, — языковым катализом сконструировать иллюзию соучастничества, кристаллический и кристально чистый алкагест.

— …еще разок? — спросил Билл.

— Вы переслушайте повнимательнее — поймете. — И Шкет перевернул хмурость — получилась улыбка. — А затем слова умрут у вас под руками, и вы перестанете понимать.

Билл рассмеялся:

— Ладно, и как вы считаете — ваша работа достигает этого… того, чего вы добиваетесь?

— Мне-то откуда знать? — Шкет снова откинулся на спинку скамьи. — Допустим, кому-то понравилось то, что я написал. Тогда хорошо бы мои нынешние слова что-то этому человеку прояснили. Допустим, кому-то не понравилось. Я сноб. С этим человеком я тоже захочу поговорить. С одним тебе хорошо, с другим плохо — поэтому говоришь по-разному. То, что можно сказать одному и другому, почти никак не пересекается. Или мне как раз и удалось. — Он сел попрямее. — А может, знаете, кто-то найдет причины даже и не требовать. Слушайте, ребятам уже не сидится. Я и так чересчур разболтался. — Он оглядел собравшееся гнездо. — Я так понял, мистер К уже не появится.

Эрнестина Трокмортон (рядом стоял Паук — живот перетянут марлей и клейкой лентой) ответила:

— Видимо, нет. Он страшно расстроится, что

вас не застал. Прямо не знаю, куда…

— Думаете, с ним что-то случилось? — Ворон заозирался, качая плюмажем. — Сходить поискать?

— Нет-нет! — сказала Эрнестина. — Нет, это лишнее. Перед отъездом он предупредил, что… может задержаться. Потому и велел хозяйничать нам с капитаном.

Ни капитана, ни Фрэнка на полянке не было. Прямо по курсу стоял Пол Фенстер с пивной банкой у бедра.

— Слушайте, почти все наши здесь. — Шкет встал, пошарил в цепях на шее. — Мне пора валить. Если кто хочет со мной — давайте двигать. — Он нащупал проектор (порезал костяшку большого пальца об острие орхидеи и подумал: за эффектные выходы надо платить) и щелкнул рычажком.

Скорпионы на траве сощурились в синем свете. Денни покрутил ручки на пульте и рассмеялся: Ланью объял вихрь малинового и индиго.

Оттуда, где сидела Леди Дракон, восстал ее дракон.

– *Э*… спасибо. — Билл огляделся. — *Мм*, спасибо вам огромное. Наверняка Роджер получит, что… то есть вы рассказали довольно любопытные…

Люди поднимались посреди разгорающегося, разрастающегося зверинца.

Трехмерный Роршах, он же Денни, крутился, кружился, плыл сквозь сутолоку.

Шкет погас, чтоб его нашла Ланья. Она взяла его за руку. Ветви прореза́ли неосязаемость свечений, что покатились по саду.

— Как я справился?

— Боже мой, — сказала она. — Вот это вечеринка! Роджер даже не представляет, что пропустил, — или, может, представляет.

В другом саду за спинами десятка гостей Кэмп и Фенстер глубоко погрузились в оживленное единодушие.

В углу грузный Собор и белый Калифорния (вислые сальные волосы достают до цепей); налакались оба:

— Идем уже? Уй ёпта… Уй бля, я не могу…

— А чего мы идем?

— Да пора уже, нет?..

— Уже пора?..

Еще трое прошлепали напрямик через пруд в «Мае».

А Саламандр принялся так энергично ржать и тыкать пальцем, что Шкет подумал: пьян в дугу, еще минута — и рухнет. Тот, однако, вместе с

Флинтом, черной девицей, Долларом и Харкоттом успешно зашагал через террасу.

Шкет подумал (увидел, как капитан Кэмп поднимает голову, и подумал контрапунктом к первой мысли: он думает о том же): они сейчас тут всё разнесут.

Не разнесли.

— А, — сказал Кэмп Эрнестине, — то есть они *уходят*… ну, э… доброй ночи!

Откровение сказал:

— Слышь, я не могу идти. — Он затряс головой, золотой ватой взвихрив волосы. На очень розовой груди загремели желтые цепи. — У меня тут еще дела кой-какие, слышь? И я вообще, блядь, в хламину… вы идите, а я, может, к утру подгребу.

Шкет кивнул, протиснулся мимо него и очутился перед Тельмой, которая открыла рот, промолвила:

– *Э-э*… — и исчезла.

Ангел взял с барного стола полную бутылку виски, прижал к себе худым локтем и зашагал за остальными.

— Эй… — сказал черный бармен.

К ним поспешил капитан Кэмп.

Можно выставиться героем, подумал Шкет, велеть, чтоб вернул бутылку. Вдруг сказал:

— Ёпта… — вырвался из Ланьиной хватки и подбежал к бару. — Капитан, нам еще долго…

— Ваш друг, — сообщил капитан Кэмп, — только что унес целую бутылку…

— …еще долго идти до дома. Вряд ли нам хватит одной. — Шкет взял другую (выбрал ее, потому что в ней была пробка, но запоздало разглядел, что полна она лишь наполовину; что ж, главное — жест) и, глядя в капитанову гримасу, щелкнул проектором. — Поблагодарите от меня мистера Калкинза. Доброй ночи.

Кэмп сощурился и попятился; лицо омыло бледной синевой под цвет рубашки. Глаза, расширяясь, поползли вверх.

Когда Шкет спустился с террасы и уже прошел полгазона…

— Ну что, — сказала ему Ланья, — за детский сад!

— Иди в жопу. Хочешь вернуть?

— Не хочу. Пошли.

— Эй, — говорил Ангел молодому филиппинскому привратнику, — выпить хочешь, бля? Чего тебя-то на праздник не пустили?

— Нет, спасибо. Все нормально…

— У тебя тоже есть право на праздник! Пить будешь?

— Спасибо, нет. Доброй ночи.

— Вот уебаны, а? Поставили узкоглазого жопу рвать всю ночь, пока они там развлекаются…

— Все, — сказал Шкет. — Двинули. Давай-давай, иди. И поскорей, будь другом.

— Эй, узкоглазый; ты из Нама? Я был в Наме…

– *Иди* уже!

— Я был в Наме, — сказал Ангел. — Надо его напоить, бля!

Когда Шкет выгнал свое ослепительное стадо за ворота, Лансанг сказал:

— Извините, я тут должен вам передать.

— Чего? — обернулся Шкет.

Коричневая рука нырнула под коричневый лацкан во внутренний карман.

— Вот. — В уголке конверта — маленький логотип «Вестей». — Мистер Калкинз просил передать, если выйдет так, что он не успеет вернуться.

— А. — Шкет сложил конверт и сунул в карман штанов к гармошке.

— Это что? — спросила Ланья. Одной рукой она обнимала Денни за плечи.

Шкет пожал плечами:

— А где мадам Браун?

— Ушла с Эвереттом, давно уже.

— А.

Улицу освещали паук, дракон, тритон и какая-то, что ли, цапля.

— Эй, можно глотнуть? — спросил Джек-Потрошитель на перекрестке.

— Запросто. И сам неси.

— Спасибо. — Потрошитель забрал бутылку, снял пробку, глотнул и рыгнул. — Ёпта! — Надел пробку обратно. — Хорошо-о! — И затряс головой, как терьер. — М-да… Эй, видал старика этого белого из Алабамы, плешивого такого? Полковник, кажись…

— Видел, — ответил Шкет. — Не знаком.

— Занятный старичина, — сказал Потрошитель. — Полюбил меня как родного. Всю ночь хвостом ходил, ёпта.

— Чего хотел?

В сиянии текучих зверей Потрошитель улыбнулся в бутылку:

— Мой большой черный хуй пососать.

Шкет рассмеялся:

— Ты ему дал?

— Бля-а. — Потрошитель отер горлышко бледной ладонью, снова надел пробку. — В Атланте я б со старика баксов десять или двадцать срубил, да? Хоть бы и на постоянке — типа, заходишь раз

в пару дней, скидаешь штаны и деньги гребешь. Ничё так. А здесь-то нету денег никаких. — Потрошитель сунул руку под тяжелые цепи, вжался мелким подбородком в шею, поискал проектор, нашел, щелкнул. И повторил: — Но он ничё так.

Шкет шел бок о бок с бешеным богомолом, что вращал рубиновыми глазами.

Глядя на тех, кто шагал меж раздутых огней, Шкет сообразил, что отряд, направлявшийся к Калкинзу, был больше почти на четверть. На перекрестке скорпион Кошмара превратил полдюжины человек в силуэты (опознавался только Малыш).

Слушая их молчаливый поход оттуда, Шкет вспоминал шумное шествие туда. На углу в вышине вспыхнул фонарь (они его уже миновали. Где?), и под фонарем Шкет разглядел парочку рука в руке.

— Эй, вы.

Женщина удивленно обернулась и подняла свободную руку; браслеты зазвенели до самого бледного локтя. Женщина вопросительно заморгала, потом улыбнулась.

Мужчина посмотрел на Шкета:

— Здрасте. — Смахнул со щеки длинные волосы цвета дикого риса и тоже улыбнулся.

— А *вы* что тут забыли?

— Ой, мы… ну, мы были… у вас на празднике. — Поверх двубортного пиджака — большой медальон с львиной головой, при таком освещении как будто металлопластиковый. Висел медальон на оптической цепочке. — Нам надо на Темпл — думали прогуляться с вами вместе, чтоб не скучно было.

— Можно, да? — спросила женщина.

— Без проблем, — сказал Шкет. — Гуляйте, где, блядь, заблагорассудится.

– *Э*… спасибо, — сказал мужчина.

— Выпить хотите? — Шкет обернулся во мраке. — Эй, Потрошитель, иди сюда. — Из богомола высунулась рука шинного цвета, и Шкет забрал бутылку. — Вот, выпейте. Далеко идти.

— Спасибо, но нет, — сказал мужчина. — Я не пью.

— А я пью, — сказала женщина и протянула звякающую руку.

— Хорошо, — кивнул Шкет и вручил ей бутылку. Пока она еще отвинчивала пробку, он отошел, гадая, где за считаные секунды умудрился потерять Ланью и Денни.

Расслышал их смех футах в двадцати позади.

Обернулся в темноту; и понял, как она темна.

— Страшно? — засмеялся Денни. — Тут нечего бояться.

Ланья сказала:

— Я не боюсь. Я, в отличие от тебя, в призраков не верю.

Шкет включил огни.

Ланья взвизгнула и упала Денни в объятья; оба посинели и истерически расхихикались.

— Напилась? — спросил Шкет.

— Нет, — ответила она. — Я не напилась, — и опять засмеялась.

— А по запаху напилась, — сообщил Денни.

— Откуда тебе… — Смеясь, она выпрямилась и чуть не споткнулась о бордюр.

Отчего всех троих пробило снова.

Посреди следующего квартала Денни спросил:

— Понравился тебе твой праздник?

— Ага, — сказал Шкет. — Жалко, что не пожелал доброй ночи этой тетке с крабовыми котлетами и синей прической. Вот она была лучше всех.

— Эрнестина? Ей цены нет! — сказала Ланья. — А где моя гармошка?

Шкет полез в карман. Помимо гармоники и конверта в глубине нашелся песок. Металл в руке был теплый, точно его подогрели искусственно.

Шкет отдал гармошку Ланье.

Шагая рядом, она сыграла три аккорда, а затем перешла к импровизации, и долгие платиновые ноты увели ее на два, три, четыре шага вперед.

Денни включил огни (а Ланьино платье, должно быть, выключил). Спина у Ланьи серебрилась; играя, она наступала на свои сочлененные тени.

Между двумя нотами у Шкета в кармане что-то хрустнуло. Конверт. Он сунул толстые пальцы в карман, пощупал сгиб.

Саламандр, крепко зажав под мышкой девушку в бордовых джинсах, заскочил в сумрачный полусвет:

— Эй, Шкет! — Ухмыльнулся — широконосый, веснушчатогубый — и выскочил.

Шкет нафантазировал разговор: Саламандр, а мистер Калкинз не нанимал тебя гонять прохожих от своего дома? Ты не на него работал в тот первый день, когда вы меня избили? Нет, не хочу знать.

Позади пикировались Ангел, Флинт и Жрец.

– *Нет!* — сам себя перебил Флинт в ответ на какую-то просьбу Доллара. — *Тебе-то* зачем? Ты нам только что рассказал, как тебя от него тошнит.

— Мне чё интересно-то… — промямлил Ангел. — Не, ты погодь. Пускай пьет. Белый тупица хочет блевануть — да и пожалуйста… Так вот, мне

чё интересно: а *откуда* все эти ниггеры взялись?

— Из Луизианы, — сказал Жрец. — В основном. Многие из Чикаго. Ты вот, например. Ну и вообще из Иллинойса.

Мне просто не нравится, подумал Шкет, не хотеть чего-то знать. Он огляделся в сияющей тьме.

— Эй, Саламандр?

Но арахнид Саламандра, блистая чешуей, точно изнанка листьев розы в колбе с водой — пузырьками воздуха, разросся впереди, уплыл прочь. Скользили полосы, а в них, по себе оставляя бледный послеобраз цвета индиго, мельтешили ноги, мощные и косматые.

В том, чего Шкет больше всего ждал от этого вечера, — в сведениях о Калкинзе — вся сверхдетерминированная матрица решительно ему отказывала.

Рядом схлопнулась роскошная птица. Впереди, меж десятка других, замигал скорпион. Музыка гармоники потонула в звоне стекла и смехе: кто-то уронил бутылку. Птица воспламенилась вновь; Шкет огляделся и увидел, как заискрилась мостовая.

От них изнемогают глаза. Уши объял пожар. Только пожар и ночь — не на что больше смотреть; в круге круг, в свете свет. Сигналы идут по

сети, где пересекаются дискретные импульсы. Волны и движения им придает парамеллическая механика радостей или бед. Мы постигаем и побеждаем их крайности через край. Ночь? А что ночь? Ночь кишит зверскими стражами, опутывает окраины и интервалы вневременного города, где знамения рушатся, созвездья божеств низвергаются в пепел и дым, бродят по апокрифическим городам, городам допущений и воссозданного беспорядка, зачатия и зарождения, омытого темнотой.

7

Погасив огни, скорпионы столпились на крыльце гнезда.

Он стоял на улице, а она грустно смеялась:

— Ч-черт, тогда… лучше бы я с мадам Браун ушла…

Он сказал:

— Я только гляну этот дом, который там горел. Я мигом *вернусь*…

Долговязый Б-г одной бурой рукой обхватил Денни за шею, два бурых пальца положил на Ланьино серебро и сказал:

— Я за ними присмотрю, Шкет. Ты не парься.

Денни, грустя еще сильнее, сказал:

— Ты хоть поосторожнее там…

И Шкет шагал пятнадцать минут, свернул за угол, свернул за другой, свернул за третий и подумал: если ветер переменится, мне крышка.

Он сощурился от жара:

— Дым! Меня один только *дым* убьет! Как это я?..

Верхние этажи объяло белое пламя, стрелявшее желтым и оранжевым. На улице ревела ночь. Он услышал, как за фасадом рухнуло что-то громад-

ное, и бочком двинулся вдоль кирпичной кладки, а в мыслях: вдруг оно выскочит наружу…

Что-то блеснуло в брусчатке.

Босая нога коснулась булыжника, и Шкет разглядел: ручейки воды меж горбатых камней весь проулок оплели паутиной света. Он метнулся влево. Дым раскатился справа, открыв огонь, лупцевавший высокую стену. Вот на что он смотрел между львами в «Августе»?.. Вот за чем они наблюдали из садов Калкинза?..

Не это же огненное жерло!

Не может быть, что оно *так* огромно.

В щеку дохнуло холодом.

Снова жар, затем снова холод; пот на подбородке высох.

Холод скользнул по босой ступне, но камни под ней были теплые.

Горячий порыв распахнул жилет; холодный запахнул.

В пятидесяти футах впереди стояла фигура — черная на фоне огня, смутная в пелене дыма.

О господи, подумал он, я слышу, как они окликают меня в потрескивании…

Шкет развернулся:

Глазницы у слепонемого — четкие провалы, отпечатки баскетбольных мячей в тесте. Тощая

женщина с кирпичными волосами куталась в пальто и моргала. Грузный белокурый мексиканец одной рукой обнимал ее за плечи, другой касался плеча слепонемого и сопел громче истребительного огня; лица их измазала яростная медь.

Глаза у мексиканца и женщины — алые пустоты.

Лицо у Шкета съежилось на костях. Плечи свело так сильно, что между лопатками сморщилась плоть. Подушечку ступни, скребущую по влажным камням, жгло.

Нет! — подумал он; а пытался подумать: *Почему?*

Вспомнил склад; этот ужас — привычка?

Их веки лениво моргали, скользя по стеклу; женщина и мексиканец… наблюдали за ним! Рот у слепонемого открыт; лицо повернуто, склонено набок, вкушает дым.

Все трое добрались до тротуара — вот они отвернулись — сбились в кучку. Рявкнуло пламя — или собака. Между ними раскатился дымный брезент.

Шкет отступил, предчувствуя гарь.

Но некий порыв разодрал клубы, разбросал темный пух. И они исчезли — удалились в горя-

щий проулок.

Шкет развернулся и кинулся вперед.

— Эй! — окликнул оттуда знакомо ущербный голос. — Ты, что ль… Шкет?

Шкет приблизился, сбавляя шаг.

Черное лицо отполировали подвижные бронзы. В неверном свете (Шкету не приходило в голову прежде) в путаной шерстяной текстуре как будто проглядывала седина. Виски ввалились, как у дистрофика, подумал он; но у дистрофиков не бывает такого подбородка и таких плеч (один рукав зеленой рубахи оторвался, оставив посеченную кромку; другой лишь туго закатан, и вены лежат на чурбанной плоти черной бечевой).

— Ты чё тут забыл, пацан? Хренассе, — и не шевельнул рукой, но качнулся (оранжевые рабочие сапоги широко расставлены в водяной сети), указав на пекло всем телом, — скажи? — Джордж сунул большие пальцы под ремень, поддернул холщовые штаны и засмеялся. — Мы к пастору на молитву ходили. А теперь гляди чего. — Черные пальцы врезались Шкету в плечо, вцепились. — Гляди, ну?

Шкет повернулся, всмотрелся.

— Сожгли сегодня все подчистую.

— А что… то есть как?..

Джордж потянул его за собой. Впереди асфальт просел под лужей, точно пробоина в крыше преисподней.

— Типа, ниггеры весь Джексон запалили — похоже, да? — Они зашагали. — Воды теперь нет, труба-то лопнула. Ебёнть.

Босая нога шлепнулась в теплую лужицу; та задрожала сусалью.

— Страшно тебе? — Пальцы у Джорджа были твердые, горячие и крепкие. — Ничего тебе не сделается. Смотри, как горит, — пиздец как горит, красота, да? Как по Солнцу гулять. — Он покосился на Шкета; локоть сгибался и разгибался на каждом шаге. — Луна свет берет от Солнца. — Он улыбнулся крупными желтыми зубами на деснах, испятнанных розовым и серым, как у собаки. — Берет свет от Солнца и светит всю ночь. — Веки растянуло прищуром поверх глазных яблок, желтоватых и в кровавой паутинке. — Горит и горит, никогда не гаснет. А внизу народ носится себе по городу солнца, — во всяком случае, так расслышал Шкет. — Тут никого нету. — Джордж повертел головой. — Ниггеры теперь все с голоду подохнут. Ёпта. Все подохнут с голоду.

Губам было горячо. Шкет сжал губы, сжал зубы, потом снова губы, потому что они разжались.

— Тут одна черная старуха… — сказал Шкет. Они миновали дымящую (или парящую?) канализационную решетку. — Залезла в школу, хотела украсть еды. Сказала, больше нет еды в…

Уличная вывеска гласила:

КАМБЕРЛЕНД-ПАРК

Они свернули. На другой половине угловой вывески значилось:

ДЖЕКСОН-АВЕНЮ

Джордж веско кивнул.

В двадцати ярдах впереди на тротуар рухнула тонна огня.

— Что… — начал Шкет. — Что ты тут делаешь? — а сам вновь выстраивал порядок дальнейших действий: Б-г говорил…

— Там могут… — Лицо у Джорджа пошло морщинами — тщилось уловить причину. — Кароч, там внутри *могут* быть люди. Надо им пособить.

— А, — сказал Шкет с мыслью: он спятил, хотя (припоздавшая мысль) чья бы корова мычала, а моя проглотила бы язык к чертям собачьим.

Они шли сквозь солнце.

Джордж все смеялся.

— Что?.. — спросил Шкет, на ответ не надеясь.

Джордж сказал:

— Не боишься?

— Я думаю, — сказал Шкет, — если сейчас кто выпрыгнет и скажет «гав!», я обосрусь.

— Под ноги смотри! — Джордж отпихнул Шкета, но тот не понял, от какого обломка его спасли.

Вполне возможно, я доживу до старости, проживу процесс, который зовется умиранием, а после этого жить больше не буду, и не важно, какие откровения выпадут или не выпадут мне здесь, подумал Шкет и похолодел. Артишоки. Он запрокинул голову; пламя распиливало ночь напополам.

— Как думаешь, живыми-то выберемся? — Джордж все ухмылялся.

Вот этот миг в жизни вот этого человека — а при чем тут Джун? Огонь и ее волосы — золото разных сортов. Но она сжимает кольцо!.. Глаза у Шкета округлились.

— Вон!.. — Он ткнул пальцем. — Там не горит! Пройдем…

— Парень, внутри, может, люди сгорают заживо!

— Думаешь, там есть люди?

— Ну, не проверим — не узнаем.

— Ладно, — сказал Шкет, потому что больше делать было нечего.

Поперек водостока валялась обугленная балка

шесть на шесть. Шкет ее перешагнул.

Под ней на брусчатке — лужи, расплавленные и живые.

Вода, подумал Шкет, проходя между двумя, — это расплавленный лед. Вот до чего было жарко.

— Эй, Джордж! Джордж?.. Там что-то наверху — слышишь?

— Где?

VII
Анафемата: чумной дневник

[Мы не знаем, кто напечатал этот манускрипт, все ли релевантные записи в него включены и каковы, собственно говоря, критерии релевантности. Предшествующая публикация «Медных орхидей», вероятно, побудила к решению не включать сюда их многочисленные черновики. (О судьбе второго сборника мы можем лишь догадываться.) Довольно щедро заменяя слова, помечая пропуски и исправления, расшифровщик не дает нам оснований доверять его скрупулезности: во всей расшифровке мы не находим формального ключа.]

ей в плечо и выдрал /его/.

Леди Дракон выдохнула весь воздух из легких — но вышел все-таки не крик. Кошмар задом протанцевал по кухне, вертя орхидеей, (подергиваясь); ~~как будто/я думаю~~ я думаю, он сам не как не мог понять, что натворил. Леди Дракон рванулась ~~к нему~~, рубя ему лицо и пинаясь. (~~Я~~

~~все~~ ~~думал~~ А в мыслях: владение этим оружием — искусство, и я его не постигаю даже в первом приближении.)

Он отбился, отскочил — подбородок и шея в крови.

Она снова на него бросилась. Казалось, она ~~пытается~~ сейчас ~~вот-вот~~ /будет/ проткнут/а/.

Ее белые джинсы окровавились до колена. Кровь в основном его.

Саламандр, ~~как будто~~ заторможенно, сказал:

— Эй… — я никогда не слышал у него такого голоса: перепугался он до смерти.

Ворон, Шиллинг и Б-г ринулись в дверь [и] ~~друг/~~ друг [к] другу, заглядывая друг ~~к~~ другу через плечо. (А в мыслях: я разнимал Долларовы стычки, но тут скорее палец себе отчекрыжу, чем вмешаюсь.)

Кошмар замолотил руками, отступая за сетчатую дверь, ~~яя~~ и предплечьем ~~издав~~ трес~~к~~нул по косяку.

Все высыпали следом за ними — кто-то задел раковину и что-то уронил. Я услышал, как упал и под чьими-то сапогами порвался мусорный мешок. Двое мелких пацанов (Вудард и Стиви) держались за руки и пихались плечами, самая младшая (семь?) и умная ~~девочка~~ Роза тоже при-

бежала смотреть. Вышла в дверь вместе со мной.

> Баловался во дворе с Кошмаром, Вороном, Накалкой и Флинтом, споткнулся и ободрал икру о ступеньку. Потом Ланья пришла на антресоли и увидела.
>
> – Эй, – сказала она. – Помазал бы чем-нибудь. Не дури, это не шутки. Вон расчесал почти до крови. Ты что, заражение хочешь заработать?

[Леди] Дракон ~~по~~махи~~в~~ала кулаком с ножами, будто вместо руки у нее хлыст. (С локтя потекло. Кошмар крутанулся; о нижнюю ступеньку застучал гравий. На землю брызнули капли.

Небо светилось тусклым цинком.

Я посмотрел в проулок — а в мыслях: не видно ~~даже~~ конца, и тут из мглы выскочил Тринадцать. Остановился футах в двадцати — позади ~~в~~ него ~~врезались~~ Кумара и Сеньора Испанья.

Леди Дракон пошатнулась, покачнулась — я подумал, споткнулась.

Но она резко тряхнула головой, тихо-тихо вскрикнула, развернулась; и бежала ~~вдоль~~ по улице.

Кумара врезалась в Тринадцать. Сеньора Испанья шагнула назад.

Кошмар стоял, сопя, расставив руки, пытаясь отдышаться.

Среди его цепей блеснула оптическая. Мне сначала почудилось, что она растет… Она порвалась, скользнула ему по животу и ~~звякнула,~~ свернулась, звякнув / ~~лужицей между его ступней~~ / ~~у его сапога~~ / под отодравшейся подошвой сапога. Не заметив, Кошмар качнулся прочь. Цепь наполовину сползла на бордюр.

Тринадцать поймал его ~~за локоть~~:

— Ты цел?.. — и заковылял вместе с ним.

Позади меня скрипнула дверь; двое вернулись в дом.

— Пойдем-ка со мной, — говорил Тринадцать, — давай-давай, пошли.

В гостиной Калифорния буравил взглядом стену у двери. Волосы он перебросил вперед через плечо и как бы так за них держался.

— Господи, — сказал он. — Ты посмотри, а? Ну то есть, господи боже. Это она забрызгала, когда вошла. — Он протянул было пальцы к пятнам с десятицентовик, уже ~~высохшим до бурого~~ сухим, но ~~потряс~~ снова вцепился в волосы. — /Ну то есть,/ Господи боже.

Ворон, Саламандр и Собор вошли, насупились на созвездия ее крови, ~~но пошли дальше~~

— Видал, как она на этого мудилу, — где-то в коридоре сказал Перец. — Я думал, *убьет*. И слышь, я бы слова поперек не сказал. Ни единого бы словечка не сказал бы поперек после того, что этот мудак учудил. Видал, как они друг на друга, а? Никогда такого не видел. Как он на нее наскочил с ~~этими~~ орхидеей, слышь, я прям подумал, у нас фарш на ужин будет, вот честно…

Я вернулся [в] кухню.

Роза глядела сквозь сетчатую дверь, поднеся к ~~лицу~~ подбородку бурый кулачок. Я подошел к ней сзади и тоже посмотрел. Остальные четверо детей были во дворе.

Сэмми стоял там, где бордюр переламывался, сворачивая на улицу. Носком кроссовки трогал кольцо Кошмаровой цепи.

Сидевший на крыльце Стиви поднялся.

Сэмми стал подбирать цепь.

Стиви сказал:

— Руки убрал, ниггер!

Марселина рассмеялась, но, по-моему, не над этим.

Сэмми ~~посмотрел~~ ~~и~~ посмотрел смущенно, отошел, подобрал на улице доску и стал играть один.

Я коснулся Розиного плеча, и она подпрыг-

нула.

— Не хочешь пойти поиграть с ребятами?

Она только моргнула. (Кто-то должен разобраться с ее ~~черным~~ негритянским колтуном — постричь, наверно.) ~~Потом~~ Она вышла и села на крыльцо, как можно дальше от остальных.

По-настоящему дружат только Стиви и Марселина. Вудард (он такой как бы горчичный — и кожа, и мохнатая шевелюра) просто к ним прибился.

Мне их всех жалко.

В тот вечер ~~я~~, взяв сосновую доску вместо стола, /вышел,/ сел на крыльцо /и/ ~~работал над~~ ковырялся в ~~моем~~ стихотворении. Просидел часа два и тут заметил, что цепь /куда-то/ ~~убрали~~ делась.

Я посидел еще. Потом ушел в дом.

* * *

Утром, как только ушел Денни, Ланья вернула мне тетрадь — вот эту самую. Первым делом я заглянул под обложку.

— А новые стихи? — спросил я.

— Они же все на отдельных листах — я решила, сложу их в стол. Если они тебе нужны?..

— Нет, — сказал я ей. — Оно, пожалуй, и к лучшем3[у?]. А то выпадут.

— Видел статью /в «Вестях»/ про тебя и детей? — спросила он[а], когда мы вышли на задний двор.

— Нет, — ответил я.

И она мне рассказала.

Мне стало странно.

Один раз мы пошли / назад / на / антресоли / что-то взять. Меж/ду/ стеной и матрасом она нашла листок.

— Ты это уже закончил?

Я посмотрел.

— Наверно. Вообще-то, нет, оно не закончено. Но мне больше не интересно.

— Я заберу и сложу к остальным, — и она убрала его себе [—?] в карман рубашки; а потом спрыгнула и вскрикнула [, когда?] приземлилась: — *Аййй!*

Я подумал, она вывихнула лодыжку.

Оказалось, несерьезно.

Мы пошли в кухню; она заглянула в кофейное ведро на плите и нахмурилась, увидев грязь.

Вошел Б-г с газетой.

— Эй, слышь, зашибись, скажи? — Газету он сложил статьей наружу.

На третьей полосе.

— Мне вот интересно, — сказала Ланья, через гостиную глядя на Стиви и Вударда (Тарзан катал

их, изображая лошадку), — что ты с ними будешь делать.

Я ~~стоял~~, ~~прислонившись~~ Я стоял, прислонившись к дверце холодильника, пальцами зацепившись ~~вокруг~~ за резиновую прокладку по краю ~~дверцы~~.

— Про Джорджа ни слова. — Я по~~дергать~~янул. — Можно подумать, я их в одиночку спас. Это Джордж придумал, ешкин же кот. Я просто за компанию…

Вошла Роза, грохнув сеткой, и по пути через кухню сверлила Ланью глазами. Ланья улыбнулась; Роза — нет и шла дальше. У двери в комнату остановилась, поглядела на Тарзана с мальчиками, вздохнула, развернулась и снова — *хренак!* — ушла на крыльцо.

Сэмми играл посреди улицы и на Розу не глядел.

Б-г сдвинул мусор по столу (Марселина в комнате с Тарзаном выкрикивала: «Дай я! Дай я!.. Ну дай я!») и сел на перевернутый ящик из-под молока — читать нам статью. Ящик был низкий, и столешница упиралась ему чуть ниже сиськи. / Он прочел ту часть, где про: «… / во время пожара вломился в деревянный каркасный дом, примыкающий к продуктовому магазину, уже объятому

пламенем, и выпустил пятерых малолетних детей, запертых в дальней спальне на втором этаже. Сообщается, что дверь спальни неловко подперли спинкой стула под дверной ручкой…»

— Не стула никакого, — сказал я. — Кто-то, блядь, фортепианный табурет поставил на попа. В коридоре весь ковер нотами, сука, усыпан. Почему там не пишут про Джорджа?

— Похож[е?], репортер у вас из-за плеча подглядывал, — сказал Б-г.

Я ~~сказал:~~

— Там никого не было, — сказал я. Кусок резины отвалился, но я его уронил и потерял — упал куда-то в щель между холодильником и раковиной. — Только Джордж.

— То[гда] откуда они узнали, что про это надо написать? — спросила Ланья.

— Не знаю, — ответил я. — Вообще-то, дверь открыл Джордж. Я только за ножки дергал. Табурет открылся, ноты высыпались все. На ковер. А сиденье так и застряло.

— Может, Джордж потом встретил репортера, — сказала Ланья. — Может, это он им рассказал, Шкет.

— «…По имеющимся данным, дети находятся в безопасности, однако нам неизвестно…»

— Хотя, конечно, непохоже на Джорджа — самого себя вычеркивать. — Ланья вздохнула и как-то чудно пошевелила рукой, словно вкручивая ладонь в серный[серый?] пластик. — Ой, Шкет…

~~Внутри~~ Тарзан громко заржал, ржание прорезал икающий смех Вударда, а его, в свою очередь, перекрыл визг Марселины.

— Но вопрос не в этом, — Ланья подняла голову, — а в том, что ты будешь с ними делать. Оставишь тут[?]

— Да ты ебанулась… — сказал я.

Б-г сказал:

— Ребята их полюбили…

— Сколько дней прошло? — сказал я. — Сколько дней назад Кошмар и Леди дракон [sic] чуть друг друга не поубивали? Ты посмотри! — Я подошел к двери в гостиную. — Тут, блядь, все стены кровью, сука, уляпаны!..

На меня, подперев кулаком подбородок, смотрел Стиви.

Тарзан сел на пятки и на меня методично не смотрел.

— Покатай меня! — сказала Марселина. — Ты же Вударда катал. Теперь меня покатай!

— Ага, — сказал Вудард. — Покатай ее теперь.

Я отступил в кухню.

— Что будешь с ними делать?
Я ответил ей:
— Не знаю.
Тарзан опять заржал.

К низу предыдущей страницы тремя скобками приколот помятый прямоугольник газетной вырезки. Концовку то ли отодрали, то ли (нижняя часть заметки оторвана по второму сгибу) так часто сминали, что она отвалилась сама.

ПОД ПАСМУРНЫМ НЕБОМРАСЦВЕТАЮТ МЕДНЫЕ ОРХИДЕИ

В Беллоне эта великолепная книга, а точнее, брошюра, уже стала общим местом – на прикроватных тумбочках под лампой, в задних карманах брюк у молодежи в парке или – вместе с «Вестями» – под мышками у городских прохожих. Вашему рецензенту остается лишь поражаться, как анонимному автору удалось добиться столь яркой зрительной образности столь простыми языковыми средствами. Столкнувшись с тематикой столь кровавой и личной, однако озву-

ченной столь ясно и остроумно, немногие из тех, кому знаком пейзаж Беллоны, удержатся от сильного отклика, негативного или же позитивного. Эмоции поэта, хотя и кажутся бессвязными или странными, выражены тем не менее резко, пронзительно и в отчетливо человечном ключе.

Подлинная анонимность в текущей нашей ситуации, разумеется, невозможна. После нашей публикации интервью с автором многие почитают за секрет Полишинеля, что садовод, каковой возделывает эти несгибаемые медные цветы, – вообще-…

Утром слез с антресолей, едва проснувшись. Когда уходил спать, они аккуратным рядком лежали на спальнике, который Ворон расстелил им у дивана:

Вударда свернулся калачиком в ярде от края. Роза сунула два пальца ~~скоро~~ сквозь дыру в клетчатой подкладке. /Наполовину/ Вылезший клок набивки колебался от ее сонного дыхания. Сэмми, Марселина и Стиви притулились к спине Саламандра. ~~который~~ Почему-то /он/ спал с ними

на полу.

Я шумно ~~их~~ разбудил детей (когда мы уходили, Саламандр обмотался спальником — голова с одного конца, сапоги с другого — и закатился под диван; в бороде застрял клок набивки) и отвел в школу.

Толкнул дверь и загнал их внутрь. Ланья возилась с магнитофоном, подняла голову — не ожидал, что она так вздрогнет.

— Больше никого? — спросил я.

— Господи, ты меня напугал. — Она нажала кнопку перемотки (вперед? назад?). Все защелкало, затрещало и закрутилось.

— Я детей привел.

Роза тут же удалилась в угол и села на стул. Вударда подбрел к столу.

Марселина сказала Стиви:

— А ну кончай, — только я не понял, что /он/ [сделал].

— Остальные скоро придут, — сказала Ланья.

Я сказал:

— Хорошо. Тогда сделай так: днем, когда за детьми придут родители, раздай им этих.

Ланья выпрямилась во весь рост и посмотрела на меня в упор:

— Твою мать!

— Я не могу их оставить, — сказал я. — Говорил ведь уже.

Она поджала губы в ниточку и смотрела сердито.

Я сам удивился, что такой реакции и ждал.

— И что я буду делать с… Да, я помню, что ты говорил.

Стиви рявкнул:

— А ну руки *убрал*, ниггер!

Вударда ~~отвернул~~ ~~от~~ отвернулся от ~~катушечного~~ магнитофона, бережно держа бобину, мигая яблочно-зелеными глазами под пушистой горчичной шерстью. Неуверенно улыбнулся.

Роза расплакалась. Стиснула кулачок. От всхлипов подбородок запрыгал, слезы текли из глаз ручьями — из обоих уголков разом.

Сэмми ~~перейдя к~~ стоял у дальней стены, ~~шевеля~~ /крутя/ носком кроссовки ~~по~~ /на/ полу, и хлопал глазами.

Это письмо прикреплено к странице, где начинается следующая запись, скрепки сверху и сбоку. На почтовой бумаге отпечатались очертания прикрепленного под ней конверта.

Какой абсурд…

…извиняться за не причиненную пагубу. Но на ваш сегодняшний праздник я не пришел – если Лансанг доставил вам настоящее послание. Нет ничего одиознее, чем пошлые отсылки к пошлости смягчающих обстоятельств. Нет ничего огорчительнее для человека, высоко ценящего формальную честность, чем обнаружить, что при нарушении протокола в качестве единственного честного оправдания он способен привести только «личные причины».

Однако на тот момент, когда вы это читаете, я по личным причинам отсутствовал на вашем празднике. Я расстроен.

Я выказал грубость.

А мне нередко воображалось, что *это* – самое чудовищное признание, к какому я могу оказаться принужден.

Простите меня.

Малоутешителен аргумент, что власть имущие выступают покровителями искусств всего успешнее, когда редко появляются на глаза. Меня беспокоит Город, каковой я самонадеянно полагаю своим. Мне всегда представлялось, что всякому

обществу необходимо свое искусство; и, дабы это искусство принесло плоды, его надлежит оградить от устрашения со стороны властных центров.

Посему я не читал ваших стихов. И не прочту.

Будь я менее общительным или Беллона – более многолюдной, меня устроило бы прочесть ваши стихи и никогда не встречаться с вами. Но я – существо крайне социальное, а масштабы социума Беллоны известны нам обоим.

Так что мы *встретимся*.

И я с нетерпением жду вашей второй книги в любой момент. Надеюсь, ее публикация будет осуществлена не менее стремительно.

Друг мой, механизмы власти завораживают меня. Кто в здравом уме возмечтает о президентском грузе проблем и ответственности? Господи, *я*! Я возмечтаю! Но с еврейской бабушкой президентом не стать. Родственники-миллионеры со связями в Гарварде способствуют. А вот умеренно состоятельные, с крепкой эмоциональной привязанностью

к Вустеру (кливлендские фабриканты, выпускающие растворители) – решительно помеха.

Не посыпать ли еще соли на рану?

Диплом по корпоративному праву в Йеле – одно дело; диплом по патентному в Нью-Йоркском университете (с отличием, 1960, и все равно – две попытки добиться сертификата на практику в Нью-Йорке. Опять личные причины?.. Жизнь – боль!) – совсем другое.

Я заболтался.

Весьма велика вероятность, что я некоторое время не буду появляться дома.

А *до* нашей встречи остаюсь Ваш,

искренне,
Роджер Калкинз

РК;у.д.

слишком темно и не видно.

Так что я поднялся, потянулся, отложил доску, вошел в дом — и вдруг заорал, и завопил, и захохотал, и все высыпали посмотреть, что творится:

— Ночной набег! — сказал я им. — Мы идем в ночной набег!

Что мы и сделали — на здание с витражными

окнами (городские львы, многоцветное мерцание наших огней), а с нами и Ланья, тихая как мышка; и на улице вышла забавная недодрака с тремя мужиками. Они раздухарились, насколько посмели, а потом, я так понял, догнали, что дали мху [маху?]; пару раз, впрочем, об стену их все-таки долбанули.

В гнезде Денни наполнил бутылку из ведра на плите; я забрал ее на крыльцо и еще некоторое время писал.

Появилась Ланья, присела у меня за спиной, положив руки мне на плечи, щекой к моей щеке.

[—] Ну ты ~~пошел~~ разошелся. Может, все-таки неплохая была мысль — пожить у меня?

— Отличная была мысль.

Она ласково сказала:

— Я, блядь, разозлилась ужасно, когда мадам Браун сказала, что ты удрал. Но я пришла сюда, а все сказали, что ты пишешь, — тогда ничего. — Она взяла пачку голубой бумаги. — Я стащу и почитаю. Через двадцать минут верну. Ладно?

— Ага, — сказал я. — Знаешь, вот это мне нравится больше всего, что я писал раньше. Что, правда, не значит ничего.

— Так нравится, что можно и второй сборник запилить?

Я ей ухмыльнулся:

— Я, пожалуй, хочу воздержаться еще *больше*.

Она покачала головой, поцеловала меня, все унесла.

Писал, пока не закончил; нашел Ланью — сидела в гостиной, читала; утащил ее на ~~антисоли~~ антресоли, где уже ложился Денни; еблись то и дело всю ночь. Спал. Проснулся первым. Унес все готовые страницы на кухонное крыльцо и в свете зари, таком тусклом, что поди прочти, прочел; внес еще шесть правок. Теперь закончены. Переписал набело (а уже был день), но понял, что [хочу?] писать дальше. Поэтому отыскал ближе к концу тетради страницу, где еще оставалось место (таких очень немного, и я стал делать записи — вот как начало этой — по всем полям, почти нечитабельными каракулями вчетверо мельче обычных), и написал это, а продолжил на пустой странице, которую нашел ближе к началу.

Я услышал, как Денни сказал:

– Он спит.

Открыл один глаз себе в локоть. ~~Другой смотрел~~ Другим увидел дверную притолоку. ~~Потом~~ ее Потом шаги внизу / и кто-то что-то подвинул, проходя / стали

Ланьи[ными]. Я лежал и ждал, когда над антресолями взойдет шар ее волос.

– Ты не спишь. – Она ухмыльнулась и залезла на антресоли. – Я всех детей определила на хранение.

– Хорошо, – сказал я. – Чего ты утром так на меня вызверилась, когда я их привел?

– Что?

Я поднял голову с локтя и повторил вопрос.

– А. – Она развернулась на краю и попой придвинулась мне под бок. – Я просто ленивая – почти, хотя и не совсем как ты. И не люблю напрягать людей. – Она сунула руку мне в пройму жилета. – И к тому же я считала, что тебе надо их оставить. – Ее прохладные пальцы ~~касались~~ коснулись цепи.

– Да?

Она кивнула.

Тут я расстроился.

– Я тебя сильно недопонял.

– Я знаю, да. Я читала, как ты записал про то, что я сказала в кухне /про/ когда Б-г принес статью.

– И ты говорила совсем не то, да?

– *Сказала* я так: что ты будешь делать *с ними*? Как ты организуешь их доставку в школу, если их будут доставлять в школу, нашел ли ты им смены одежды; может, стоило выделить им отдельный матрас… в таком духе.

– Ты правда считаешь, что здесь им было бы лучше?

– Там, где ты их нашел, кто-то пытался сжечь их заживо. Я, конечно, могла отправить их к Ричардсам…

– А черные семьи тех, кто у тебя учится?

– У тебя весьма занятное представление об этом городе, – сказала она. – Тут нет никаких черных *семей*. Кое-кто из моих ребят тусуется в этом цирке у Джорджа Харрисона. Ну или с теми, кто согласен их терпеть. Кое-кто, насколько я понимаю, вообще сам по себе.

– И куда ты их пристроила?

– В коммуну главным образом.

Я снова лег.

– Здесь им было бы лучше.

– *Ммм*, – согласилась она. – Роза ушла с женщиной, у которой уже пару недель

живут три девочки. Все были очень любезны. – Она шевельнула пальцами. – Но зря ты их не оставил.

Я перекатился на спину.

Ее рука повозила мне по животу.

– Я не хотел.

– Может, захотел бы кто другой ~~здесь~~ в гнезде. Все к ним прониклись… Я вот хотела.

– Ты здесь не живешь, – сказал я. – Только пять дней в неделю. И у тебя они и так есть, в школе.

– М-да, – сказала она. – Пять дней в неделю. Но ты дело говоришь. – Она убрала руку. – Скажи, как тебе это удается.

Я спросил:

– Что?

– Как ты… ну, я про статью.

– Кто-то говорил про мою статью?

– …твою? – В ее улыбке было маловато насмешки – так я и догадался, что она насмехается.

– *Про* меня. Ты поняла.

– Занятно… – Она скрестила ноги, подтянула к себе коленки, /морща/ ~~на~~ одеяло. – Вчера вечером в баре говорили про

тебя, как обычно. Но на спасении детей особо не зацикливались. По-моему, оно диссонирует с твоим имиджем.

Я поразмыслил.

Она объяснила:

– Недостаточно двойственно для тебя. Лобовая героика.

Я услышал, как вшел [вошел?] Денни, что-то подвигал под антресолями, поискал, не найдя [нашел?] – Ланья глянула вниз – и уйдя [ушел?].

– Все клевые слухи про тебя, как правило, двойственны, в них есть этот дуализм хорошего и дурного… а тебя волнует твой имидж? – вдруг спросила она.

– А то.

– Удивительно, – сказала она. – Ты же вроде никогда над ним нарочно не работаешь.

– Это потому, что он не имеет отношения к тому, что я взаправду на самом деле делаю. Мой имидж – он у других людей в головах. Интересно, неинтересно – не мо [не моя?] проблема. Меня он волнует, как, допустим, репутация любимой бейсбольной команды. Я ни минуты не воображаю

себя бейсболистом.

– Ну, может быть. – Она взяла меня за руку и потрогала / раздутую костяшку большого пальца, которую я опять изгрыз до ~~красного~~ розового /воспаления /. – Настанет день, когда ты начисто отмоешь руки и сделаешь идеальный маникюр. И я брошу тебя навсегда. Ты совсем шизик, ты в курсе?

Отчего я рассмеялся.

– Я просто, [?] что в статье ни слова о Джордже. Вряд ли ~~это/я~~ ~~это~~ вычеркивать его было… – я чуть было не сказал «честно», – полезно для моего имиджа.

Отчего опять рассмеялся.

* * *

Я помню/ и желаю/ это ~~желание~~:

Запрыгиваешь в кабину грузовика, милями севернее Флориды, и шофер спрашивает, давно ли стопишь, и солнце заливает его изгвазданные известкой колени и твои вонючие джинсы, и по радио поп-музыка, и он оставляет так пока что, пока что кантри в этом краю; а потом крутит ручку; предплечье обжигает ~~внешним~~ ~~краем~~ дверца, волосы хлопают, а щека мерзнет, и движение

накручивается на летящее веретено музыки. И ты сидишь, дышишь себе, чтобы слышать и двигаться по красно-зеленому краю, и яркими взрывами заикается солнце в кронах.

Город страдает, потому что в нем этого нет.

Но большинство из нас через это сюда и /при/ были.

[Здесь правка — не считая одной записи ниже — прекращается. Нашему расшифровщику прискучило любительское наукообразие? Старания его больше раздражают, нежели помогают. А чуткий читатель вместе с нами пожалеет, что расшифровщик аннотировал несколько первых страниц, а не финальных; нам предстоит полдюжины абзацев, в которых даже такие попытки комментариев к разночтениям предпочтительнее самых обоснованных гипотез. Что же до употребляемых помет: указания на авторские вычеркивания самоочевидны; мы предполагаем, что квадратными скобками обозначены редакторские догадки. Однако вопросительные знаки в квадратных скобках, сопровождаемые или не сопровождаемые словом либо окончанием, видятся нам совершенно произвольными. После продолжительных дискуссий мы можем лишь высказать предположение, что слова в косых

чертах, вероятно, межстрочные дополнения; но даже чтение по диагонали доказывает, что эта версия объясняет их разве что в большинстве случаев. Редактор угощает нас трогательными описаниями скрепок и скобок, однако не удосуживается указать ни дату, ни содержание шапки письма Калкинза (возможно, их и не было), а также не отмечает, были ли отдельные (или все) записи напечатаны или написаны от руки. Природа самого документа (это тетрадь на пружинке, а не отрывной блокнот) указывает на вторую версию. В то же время исправления — например, «псутая [пустая?]», «лучшем3[у?]» и «талурет [табурет?]» кричат о первом. Вдобавок «Роза… поднеся к подбородку бурый кулачок…», *а затем, несколько страниц спустя:* «…подперев кулаком подбородок, смотрел Стиви…» *подсказывают, что сочинитель, подобрав яркую черту для портрета одного вымышленного персонажа, забыл, что уже ее использовал, и прицепил к другому. Фрагменты слева или справа, которые мы печатаем чуть меньшим кеглем, — маргинальные (порой довольно большой ширины) заметки по бокам от текста основной рукописи, с несколько меньшим кернингом; вероятнее всего, они представляют собой записи* «по всем полям, почти

нечитабельными каракулями вчетверо мельче обычных» — *то есть заметки более поздние, нежели соседствующие с ними и напечатанные обычным шрифтом. (Обратите также внимание, что заметка на полях, которая обрывается перед последней записью в тетради, продолжается основной записью двумя фрагментами выше настоящего комментария.) Касательно лакун, которые сохранены без комментариев, прощальное редакторское слово нашего расшифровщика* («Здесь не хватает страницы — возможно, двух») *предоставляет нам лишь гадать, что за возмутительная тайная осведомленность внушила ему, что последний и предпоследний фрагменты некогда складывались в безраздельное безвоздушное целое. Разумеется, нам неизвестно, насколько критическими были условия, в которых проводилась расшифровка. Если приведенная на последних страницах картина городской обстановки правдива хотя бы наполовину (а расшифровщиком нашим был, допустим, вдохновенный Э. Форест, и трудился он в самом Городе), легко вообразить, что он забросил первоначальный свой занудный метод ради простой нужды в завершенности; будем считать, что нам повезло получить хоть какой-то документ. Однако, по всем имеющимся*

данным, в нашем распоряжении находится копия расшифровки оригинальной рукописи в тетради; или даже машинописная расшифровка копии рукописи. И ошибки, и поправки могли вкрасться (или выпасть) на любом этапе. Впрочем, наше доверие к работе расшифровщика умеряется тем, что на одной-единственной странице (!) он проделал все нижеследующее:

«Похож[е?], репортер у тебя из-за плеча»

«То[гда] откуда они узнали»

«вкручивая ладонь в серный[серый?] пластик» *(эта избыточная «н» тоже намекает на машинописную, а не рукописную ошибку)*

«Оставишь тут[?]»

А затем ему хватает педантической беспардонности впихнуть свое одинокое «sic» — «Кошмар и Леди дракон [sic] чуть друг друга не поубивали» — *всего-навсего из-за отсутствия заглавной «Д»!]*

* * *

Мы коагулируем и растворяемся вокруг (не внутри) дома, собираемся на переднем крыльце, рассредоточиваемся на предмет бухла в направлении лавки с разбитой витриной, в двух кварталах от дома, снова собираемся под дверью

кухни, дрейфуем прочь — на разведку во двор (сгребая бутылки), а по дороге, может, заглядываем в гостиную, про которую Ланья, когда заходит, говорит, что там пахнет раздевалкой, — интересно, она бывала в раздевалке или просто фразу где-то подхватила?

Я не чую.

Сегодня днем, когда я вышел во двор, Глэдис (очень черная и глубоко беременная, у нее афро с баскетбольный мяч, сандалии и яркие штаны) и ее подруга Риса (которая, увы, смахивает на шоколадную корову) торчали там уже третий день. Ребята шутят грязно, опекают обеих маниакально.

Джек-Потрошитель:

— Девонька, ты что, слона выебла? Пузо-то отрастила какое!

И Денни, примостившийся на краешке стола, хохочет визгливее всех.

Глэдис у Паука под мышкой ерзает, вжимается в дерево, под которым они сидят.

Смех Потрошителя прерывается на приложиться к винной бутыли и продолжается, когда Потрошитель отнимает ее ото рта и передает Шиллингу с Вороном, коленка к коленке сидящим на скамье под Денни (я вчера подпер

сиденье шлакоблоком).

Глэдис ухмыляется и говорит:

— Иди нахуй… — (Сколько ей? Пятнадцать? Шестнадцать?..) — хуесосище! — и выходит непристойно, как обычно, когда женщины переходят на гомосексуальный лексикон или белые говорят «ниггер» просто так, без злобы.

Шиллинг, перебивая смех, парировал добродушной алогичностью:

— Если сосать хуй, такого пуза не насосешь!

— Ну надо же, — закричал Паук, — надо же, если б я знал… — очень театрально расстегнул ширинку и сунул внутрь свободную руку.

Глэдис взвизгнула на ноги и шарахнулась.

Я подсел на крыльцо к Рисе, а она закрыла «Орхидеи», упертые в поблекшую джинсовую коленку, и на меня не посмотрела.

Мимо проходил Тарзан с вином, протянул его одному из белых (событие вполне замечательное, нельзя не заметить); я согнулся так, что колени задрались выше плеч, и перехватил бутыль.

— Как тебе? — спросил я Рису.

Она посмотрела, а я обнял ее за плечи и предложил вина. Тут она впервые выдала испуганную полуулыбку (она-то вроде на пару лет старше Глэдис; восемнадцать? Двадцать, может?) и вы-

пила. Вино в запрокинутой бутыли заплескалось маленьким сливовым морем.

— Ой-ёй. — Это Потрошитель. — А что твоя девица скажет, когда придет?

— Пошла она нахуй, — сказал я.

— А что его парень скажет? — донесся откуда-то голос Доллара.

Я сказал:

— И он нахуй пошел.

Денни наклонился над столом и подтащил к себе новую бутыль.

Глэдис повертелась в своем мешковатом зеленом (для них она личная катастрофа, дивная радость; выглядит она так, будто ожеребится *сию секунду*; утверждает, впрочем, что ждать еще не один месяц) и, хихикая, снова пристроилась к Пауку.

Потом вошли Харкотт с Флинтом (спорили, где стоит какой-то дом), а мы перестали валандаться на заднем дворе и собрались на переднем крыльце. Я стоял с Саламандром и оглядывал улицу. По улице к нам шел Тринадцать.

— Эй! — окликнул он с отчаянной доброжелательностью смертельно скучающего. — Никто к нам в гости не хочет? Эй, Шкет, ты ж не видал, где я теперь живу. Хошь зайти, с ребятами позна-

комиться?

В этом городе, где ничего не происходит, отказ от нового стоит рассудка.

Посреди прений, и вина, и летаргии как-то так вышло, что я, национальная гвардия (Саламандр, Харкотт и Флинт) и Денни пошли с Тринадцатью.

Долго-долго вверх по темным лестницам, где Флинт сказал:

— Чувак, а я не знал, что ты так близко. Ты ж, сука, прям за углом, — а Тринадцать сказал:

— Я ж *говорил*, что я, сука, прям за углом, чё вы к нам не ходите никогда? — и тут я задрал голову.

На вершине лестницы стояла Кумара; когда мы волной разбились об нее, она развернулась следом за Тринадцатью и пошла (за его плечом), дыша так, будто не дышала с его ухода.

На кровати у дальней стены чердака тощий парень без рубашки и в джинсах — на обеих коленках дыры — сидел и кулаками тер глаза. Сел, наверно, только услышав нас на лестнице.

> Не в том дело, что эти извлекаемые из «Вестей» «героические» истории про меня недостоверны (ну… местами, да), а «злодейские» истории, разлетающи-

еся слухами, сильно искажены (ну… та же фигня). Однако тут шесть минут, там двадцать секунд, спустя неведомо сколько недель еще сорок пять минут: время, которое я трачу на «героические» или «злодейские» поступки, – это же микроскопическая доля моей жизни. Даже то, что удается отрезюмировать по этому дневнику, – вырывает ружье из рук мародера! помогает спасти детей от гибели в огне; ведет победоносную атаку (Ха! Они там со страху чуть не спятили!) на вооруженную цитадель; полуобутым хромает по улице и визжит; спасает Старого Фауста из обрушенных руин (а когда-то пытался писать стихи…) – все это со мной случилось, я этого не делал. Несопоставимость поступков по виду снаружи и по ощущению изнутри замыкает любые уста, что тщатся их описать!

Еще двое стояли у окна. Тринадцать заскакал вокруг них в великом возбуждении:

— Эй! Эй, народ, это вот Шкет! Эй! — и поманил меня.

— Привет. — Черный в сером рабочем комбине-

зоне оторвался от подоконника и протянул руку.

Его друг, коренастый блондин (стриженый) в джинсе и рабочих сапогах, выставил руку для второй порции.

— Я слыхал, ты тут что-то мутишь.

Черный сцепился со мной большими пальцами в байкерском рукопожатии.

Я думал, другой сделает так же. Но он начал, а потом засмеялся и неловко задергал рукой. Я ее поймал сам и улыбнулся. Он оказался:

— Том, — по словам Тринадцати, — а это Мэк. Так вы сюда приехали, говорите?

— На пикапе, — объяснил Том. — Из Монтаны катили в эти края… пока бензин не кончился. — Он был шофер и ковбой, старался быть дружелюбным. — А это Рыжий.

Так что я сцепился пальцами с Рыжим (волосы — как ржавая посудная губка), а тот сонно похлопал глазами, льдисто-серыми на темном лице оттенка мокко — очередной горчичный негр, и вдобавок, несмотря на сутулость, красивый как черт.

Из угла кто-то сказал:

— Салют, Шкет, — и от дощатой стены, которую подпирал, отделился, скрестив руки на груди, Тэк. Задрал козырек кепки и шагнул к нам — лицо

видно от розовой полосы на лбу, следа кепки, до золотистого подбородка. — У меня опять обход. Отвел вот ребят в коммуну, а им не покатило, примерно как тебе. Я подумал, надо к Тринадцати заглянуть, поздороваться.

— Удачный предлог дунуть, — сказал Тринадцать. — Удачный же предлог, да?

— Ну еще бы, — сказал Том. — По мне, так любой предлог удачный.

Вернулась Кумара с банкой — я и не заметил, что она уходила.

Тринадцать взял банку татуированной рукой, предъявил.

— Казалось бы, — промолвил он, — в такой бонг надо воду добавлять, так?

— Или мятный ликер, — вставила Кумара. — Ты все время про него талдычишь.

— М-да. Курили гаш в бонге с мятным ликером? — спросил Тринадцать. — Что-то с чем-то.

Мэк у окна указал на койку:

— У тебя там бутылка… забыл чего. Красного «Маунтин»?

— Не, — сказал Тринадцать. — Это не то.

Щеки у него втянулись; в банке заклубился дым.

— А спиды есть? — спросил Том.

— Ой, слышь… — Тринадцать закашлялся и отдал бонг Рыжему. — Они тут и на пять минут не задерживаются. И у нас редко бывают. Нам один раз целую наволочку приперли, прикинь? Целая непромокаемая наволочка, а в ней всяких спидов битком. Мексиканец один.

— Он мексиканец был? — переспросила Кумара. — Толстый, блондин…

— Говорил по-мексикански, — сказал Тринадцать. — Ну, акцент мексиканский. Не испанский то есть из Испании. И не пуэрториканский. Они по-другому звучат.

Я кивнул.

— Короче, — продолжал Тринадцать, — все разлетелось *мигом*! — Он ухмыльнулся через плечо. — Она вон фунтов на пять похудела. Но больше никаких следов, что спиды вообще были. Как мы сожрали *столько* этого говна… бля!

— У вас тут, небось, *полно*… а, спасибо. — Мэк забрал у Рыжего бонг, всосал и сказал: — Погасло.

— Погоди, щас. — Тринадцать чиркнул спичкой.

— У вас тут, небось, полно торчков, в городето, — сказал Мэк.

Кумара, к которой перешел бонг, протянула его Саламандру, а тот сказал:

— Я, кажись, героиновых в Беллоне даже и не встречал.

— Я встречал, — сказал я.

Флинт засмеялся.

Тэк сказал:

— Так здесь ширева-то немного. Денег нет, ширева нет. Ну, по серьезу.

— По-моему… — сказал Тринадцать. — Вот ты, Шкет, скажи. Это же у многих ваших так? Тут большинство много чего *употребляет*. Но мало тех, кому это *надо*. Понимаешь, да?

— Неплохо, — сказал Мэк.

— Если тебе *надо*, — продолжал Тринадцать, — взять-то негде. Я по вене ширялся, и в ноздрю заправлял, и в брюхо закидывал примерно все на свете, хотя бы раз. И все люблю. Но мне ничего не *надо*, понимаешь? Конечно, — он забрал у меня бонг, — от травы я никогда не откажусь.

Засмеялись все.

Я тоже.

И весь дым ожогом вышел через нос.

— А вы понимаете, до чего Беллона узкопрофильный город? — говорил между тем Тэк. Он отошел к койке, сунув кулаки в потертые карманы, оттянув кожаные полы с волосатого живота. В красной клетчатой подкладке две дыры. — Од-

ного в Беллоне полным-полно, другого днем с огнем не сыскать. У меня был знакомый — так он *не мог* уснуть, если не курлычет радио. Ему в Беллоне не жизнь. Некоторым *надо* ходить в кино — им иначе не по себе. В Беллоне им не жизнь. Кто-то не выживет без жвачки. Мне попадались сохлые батончики, мятные карамельки, таблетки от изжоги; но вся жвачка из всех кондитерских пропала. Любителям жвачки в Беллоне не жизнь. И я уж молчу о сигаретах, сигарах, трубках: табак в автоматах засох в первые пару недель после того, как нас отрезало, и я подозреваю, что и блоки, и пачки мародеры смели первым делом. Ни одного курильщика в Беллоне не найдешь.

— Кому-то нужно солнце, ясные ночи, прохладный ветер, теплые дни… — сказал я.

— Им в Беллоне не жизнь, — подхватил Тэк. — Я в Хелмсфорде знавал таких, кто ходил пешком только от порога до машины. Им в Беллоне не жизнь. Нет, у нас тут довольно затейливая классовая система: аристократы, нищие…

— Буржуазия, — сказал я.

— …и богема. Но экономики нет. Полная иллюзия стройной социальной матрицы, но она насажена на такие кросскультурные шпажки. Это ранимый город. Сапрофитный город… один из

приятнейших, где мне доводилось жить. — Он по кругу оделил улыбкой Тома, Рыжего, Мэка. — Любопытно посмотреть, насколько вам понравится — осядете, обустроитесь, вольетесь в общество или нет.

Бонг в третий раз замкнул окружность с качким Тэком в центре.

— Держи. — Том, не отлипая от подоконника, протянул Тэку бонг. — Тебе не досталось.

— Эта штука не по мне. — Тэк помахал полами куртки. — Не, я бедный антиобщественный алконавт. Категорически несовременен. Отчего и страдаю.

Кто-то предложил вернуться в гнездо. Тэк, чья троица новых открытий успешно припарковалась у обочины Тринадцати, тоже решил двигать — но тут Тринадцать, суматошливо соблюдя патриархальный политес, вскрыл свою бутыль (такую же, как у нас; он, видимо, таскает из той же разбитой витрины на улице, которая местами зовется Лафайет, а местами — Джесси). Предвечерье потерялось в инерции дня.

— Может, в гнездо пойдем? — снова предложил кто-то. И снова все решили, что это мысль.

Где Сеньора Испанья и, я так понял, Ворон развели во дворе большой костер, и всевозможная

консервированная срань с отогнутыми зубчатыми крышками побулькивала на шлакоблоках, чернея этикетками и бронзовея боками в огне. Мерцали стволы деревьев; и забор; и треугольник стекла в окне второго этажа соседнего дома.

Мы стояли вокруг, слушая пламя. Рыжий, по-прежнему босой и без рубашки, сидел на корточках, глядя в угли, и джинсы у него сползли чуть не до середины жопы. Бока трижды обвивала — Рыжий носил ее ниже пояса под джинсами, по-нормальному не разглядишь — оптическая цепь.

Тут он как раз удивленно глянул на меня через плечо — может, решил, что я пялюсь ему в трещину.

— Я руку нахуй сжег!.. — Джек-Потрошитель по ту сторону костра бешено затряс рукой, запрыгал и закружился. В мокротном иле его глаз блестел огонь.

Я опустил взгляд на бусины поперек груди, и живота, и вокруг руки; на ноге они тоже чувствовались. Поднял голову и увидел, что и Рыжий смотрит, а потом его взгляд уперся ниже косточки его бедра, торчавшей над шлевками без ремня. И снова вспрыгнул ко мне. Он балансировал руками — отекшими, у винных синяков так иногда

бывает. Он открыл было рот.

Я сказал:

— Не хочу слышать. Не хочу знать, где ты взял. Не спрашивай, где взял я. Катись к хуям, понял? Не хочу слышать, и все дела, — заметив, как затих голос и накатила ярость, которой не поняли ни он, ни я.

Черный Мэк наблюдал за мной, хмурясь.

Белый Том пальцами зарылся в банку фасоли (один бок у банки горячий, другой холодный?).

Рыжий сглотнул.

— Да ем я пизду! — орет Калифорния и отпихивает Тарзана.

— Эй, братан, эй… — Вместе с ними идет Б-г.

— Я еще как, сука, ем пизду! — И снова толкается.

— Ну кончай, чувак, ну что ты…

— Я б и *тебе* пизду ел, если б у тебя завелась! — И Тарзан спиной врезается в забор.

— А ну харэ! — Б-г за плечи отодвигает Калифорнию, а покинутый Тарзан вдруг начинает…

…но хохот Глэдис переходит в визг, и тогда я слышу (вспоминаю?) эхо второго удара. Посреди встревоженных «А что?..» и «А кто?..» и бестревожного смеха (в основном смеется Доллар, радостно и назойливо) выясняется, что кто-то за-

пульнул в Глэдис горячей банкой, которая задела ей плечо и расплескалась по крыльцу.

Рыжего у огня больше не было. И спустя миг после гнева накатила сладость, что соперничала с кислятиной этих минут нестерпимой дружбы, когда никак не закроются шлюзы. Потом уже я подошел сзади к Доллару и со всей дури заехал ему по затылку.

— Это за что?.. — проныл он, морща веки вокруг глаз, под огнем потухших.

— За то, что банку запульнул, дебил.

Глаза сморщились сильнее, а рот открылся этим сланцевым смехом (ясным, повизгивающим, точно у пацана, чуть не доросшего до пубертата), и он сказал:

— Ой, братуха, видал, как она завопила? Небось, так перепугалась, что родить могла прям *тут*, — и укатился прочь, смеясь, а Б-г посмотрел, потряс головой и серьезно сказал:

— Ну ёпта.

Том и Шиллинг спорили про географию, что привело нас со двора в кухню, из кухни на переднее крыльцо, с переднего крыльца во двор. Все спотыкались, и сгибались пополам, и от хохота держались за животы.

А потом эта свара с Денни:

— Чувак, я не люблю с тобой ложиться, когда ты пьяный, — объяснил он трижды, грустно, вот только я знал, что будь здесь Ланья, он бы лег; он и так лег.

Позже просыпаюсь, а его нет; опять просыпаюсь, еще позже, на боку, и его узкая горячая попа прижимается к моему животу, а континент спины, мускулистый и хрящеватый, теряется в серости. Когда встал, никакого похмелья, но кишки слегка прохудились, и я понимал: выпью кофе или даже воды — буду срать так, что мама не горюй. Уснул в штанах. Застегнулся и вышел в коридор.

Из ванной явился Рыжий, покосился на меня странно и удалился на веранду, а я пошел по коридору, размышляя, что в нем изменилось. Глянул через стекло, проходя мимо; на шее у него висела цепь проектора; рассудил, что проектор он снял с манекена. Открыл дверь ванной — проверить.

Посрать, может? — подумал я.

Но забрел на веранду.

— …в смысле эта, у которой ребенок будет? — спрашивал Рыжий, а Доллар отвечал, и я остановился на них посмотреть:

— Ты чё, Болид, совсем? Не *беременная* — другая!

— А. *Другая*. Ну да.

(То есть, пока я спал, Рыжий обзавелся первой цепью и кликухой.)

Я привалился к косяку:

— Болид?

Рыжий обернулся.

Полчашки вина плескалось по донышку галлонной бутыли, которую одним пальцем держал Доллар. Он обеими руками поднес ее ко рту, опустил и вперил в меня глаза, блестящие, влажные и розовые.

— Мы тут с Болидом пойдем пизденки перехватим, если она еще делится, да? Ты идешь?

Я сказал Рыжему / Болиду:

— А друзья твои где, Том с Мэком?

— Свалили.

— Застремали мы их, а?

— Ну, знаешь, они довольно-таки… — Он потряс рукой. Что означало — капризные / нормальные / без воображения — таким жестом один пациент психушки опишет другому третьего, который нынче утром совсем не в себе: ладонь вниз, пальцы врастопырку и поколыхать. — Но они ничего. Подвезли меня прямо досюда. По-доброму ко мне. А когда пикап сломался, не против были потусоваться вместе.

– *Пошли*, — сказал Доллар. И на выходе клацнул бутылкой о косяк.

Мы тоже ступили в коридор.

Я открыл дверь в дальнюю комнату и вошел первым, Доллар и Болид — следом. Очень жарко. Сидевший в полутьме Калифорния встал нам навстречу и усмехнулся:

— От *с-сука*! У Саламандра с Флинтом какой-то, блядь, забег, — услышал сам себя и решил сменить акцент: — Забег, блядь, слышь. — Опять усмехнулся и качнулся так близко, что волосы у него на плече задели мое.

Под львом на подоконнике спали и сидели скорпионы. Джек-Потрошитель, бродя по комнате, перешагнул спящую Глэдис и еще одного не нашего, который тут иногда зависает. Сеньора Испанья — черный жилет, черные джинсы, черные сапоги, сумбур черных цепей поверх крепко сплетенных рук и напряженная полуночная гримаса — привалилась к стене плечом к плечу с Откровением — тот был голый, золотистые волосы на башке сбиты колтуном, а из золотистого пахового колтуна криво торчит, видимо, полустояк — розовый, темнее, чем его неизменный румянец. Руки подсунуты к стене под ягодицы, лицо напряженное, как у Сеньоры Испаньи, но

бессодержательное.

> Глэдис и Майк спят: коленка к коленке, лоб ко лбу, его волосы, длинные и светлые, поверх ее, кучерявых и черных, его рука у нее на коричневом вороте, ее рука – у нее же на животе. Глэдис храпит. (Метафора: они свернулись лицом друг к другу, точно одинарные кавычки, что заключают в себе эллипсис, усеченный до одной-единственной точки.)

Риса закряхтела; Саламандр… застонал? заворчал? подпрыгивая веснушчатой жопой у нее меж темных коленей. Спальник, на котором они начали (Воронов, расстеленный на обугленном матрасе), сбился и зеленым питоном заполз ей под спину. Ее локти отодвинулись от локтей Саламандра (жилета он не снял), всплеснули и упали — одна рука хлопнулась на матрас, другая вцепилась Саламандру в плечо.

В углу сидел Флинт — подтянул колени к груди, сложил на них руки, затылком прислонился к стене — и длинно, громко дышал.

— Эй? — Калифорния взял меня за плечо и зашептал: — Сам-то будешь ее?

— Он кончит — тогда посмотрим, как она

там. — Но хуй у меня уже привстал, и я, пока не сдвинул ногу, успел почувствовать, как в нем раз десять толкнулась кровь.

— Она вообще без тормозов, — сказал Калифорния. — Все хочет, что в голову взбредет, слышь! Сейчас-то почти все дамы, кроме, — он кивнул на Сеньору Испанью, которая что-то сказала Откровению (а тот, похоже, не услышал) и снова стала смотреть, — разошлись. Но тут недавно ее окучивали *все*! Черная Вдова — ты б видел! У-ух!.. Телешоу прям было…

> Жизнь в Поведенческой Клоаке, Эпизод Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать седьмой: раздавшийся Собор, который раздается все сильнее, вчера вечером присел спиной к дому, рассуждая о поведении крыс в условиях перенаселения, а мы, человек шесть, обступили его и слушали – Глэдис как раз принесла в горсти бедную мертвую мышку, которую надлежало спустить в унитаз.
>
> – Конечно, – парирует проницательный, миниатюрный и темный Ангел, который пьян, – сходство между крысами и людьми очень велико. Но различия, я

подозреваю, примерно пропорциональны разнице веса тел голодающей мыши и беременной женщины на восьмом месяце!

(Это что же – искусство и секс вытесняют искусство и смерть как предмет интереса серьезных умов? Здешняя жизнь наталкивает меня на такую мысль.)

— Эй, — сказала Сеньора Испанья со своей стены. — На *нас* не кивай. — Вздернула подбородок. — Нам такое и не снилось, чего тут вытворяли вы.

— М-да, — сказал Откровение. Он сощурился, поскреб верхнюю губу ногтями — даже издали было видно, что чистыми. — Совсем другое было дело. — И снова спрятал руку за спину. — Не вот это вот.

— Да блин, — сказал Калифорния. — Они с девкой *сексом* занимались!.. — Он глянул на Сеньору Испанью — та опять наблюдала за действом. — Ну, они *баловались* с девкой… в сексуальном смысле. Короче, у меня встал. — Он вдруг ухмыльнулся, подался ближе. — Но *эта* хрюшка любит, когда ей шлангом в пизду тычут. Ну и она, естественно, вызвала штурмовой отряд.

А меня, слышь, *хлебом* не корми — дай поесть протыканную шлангом хрюшкину пизду! — Калифорнийская ухмылка расползлась до ушей; и он затряс меня за плечо: — Ёпта, я так рад, что ты пришел, Шкет: ты щас ей туда сунешь, и меня потом не затошнит, когда я ее буду есть, да?

Я задрал бровь.

Расползшаяся ухмылка разразилась беззвучным смехом.

— Ну, эти-то мудилы — кое-кто прям *животные*, слышь?

— Животные? — Подошел Джек-Потрошитель, собранный и обмякший. — Ты сам, блядь, тот еще боров. Вот через раз — только ниггер вытащит хуй из дырки, жидовская сволочь уже на карачки падает… — И Потрошитель высунул язык и сморщил лицо, урча и хрюкая, отчего Калифорния заржал в голос. — Бля-а, — сказал Потрошитель (традиционно на два такта) и вышел за дверь.

— Хочешь, оба разом ее оприходуем? — тем временем спрашивал Доллар, склонившись к лицу Болида. — Давай я ее в пизду, а тебе голова. Само собой, если хочешь наоборот…

— Ой, чувак, — обернулся Калифорния, — девка *устала* уже! Она ж так всю ночь без продыху!

— Она уже извращалась по-всякому, — сказал

Доллар. — И двоих парней разом…

— Ну да, — сказал Калифорния. — Но это раньше… Ай, ладно, пофиг!

Саламандр закончил, поднялся на колени, медленно встал, затем снова нагнулся и натянул зеленые штаны на одну ногу; другая осталась голой.

— Твоя очередь? — спросил он Откровение, тяжело дыша. — Давай тогда, в темпе вальса!

— Я уже. — Откровение покосился на меня. — Флинт опять хочет. И Шкет вон…

— Ты валяй, — сказал Флинт с пола. — Я еще минут пять, отдышаться надо.

— Ну хуй с ним тогда… — Я с места не сдвинулся, и Откровение отделился от стены, оставив Сеньору Испанью. — Мне пяти минут — за глаза. — Усмехаясь, он перешагнул Разора, а тот перевернулся и локтем закрыл лицо. — Я ж говорю, у меня все по-быстрому, вошел-вышел и привет.

— Во-во, — сказал Саламандр. — И поэтому добавки охота? Давай, бледнолицый. — И он отступил, смеясь. — Можешь ее выебать. Она у нас без предрассудков.

Риса эдак скрипуче, протяжно засипела, открывая и закрывая рот. Рука захлопала по матрасу,

голова поднялась. Риса огляделась. (Волосы жесткие и длинные, точно темная вода брызнула из головы и замерзла), а сип все не умолкал.

Меня мороз подрал по коже. Привставший хуй восстал решительно. Пришлось поправить его пальцем.

— Чува-ак! — сказал Калифорния, наблюдая за мной.

— Так, сладкая моя! — Откровение перешагнул Б-г — тот, похоже, отрубился напрочь. — Спокойно, иду я, иду!

Кое-кто из парней рассмеялся.

— …ёпта! — Сеньора Испанья оторвалась от стены и прошагала между нами, не расплетая рук на груди и качая головой. Гримаса ее сложилась в жесткую ироническую улыбку, щедро сдобренную омерзением. Она прошла мимо; я положил руку ей на плечо:

— А вот ты так делаешь после?

(Саламандр:

— Язык ей в рот засунь, слышь. Если не взасос, неинтересно… во, ага.

Флинт:

— Она мне язык чуть не сжевала. — И засмеялся.)

Сеньора Испанья посмотрела на мою руку, по-

смотрела на меня и, не меняя гримасы, сказала:

— Отвянь к ебеням, хуесос.

— Эй, *эй*!.. — нахмурился Калифорния. — Шкет тебя вежливо спросил. Обзываться-то?..

Глядя на меня в упор, Сеньора Испанья сказала:

— Я про тебя сказала неправду или предложила что-то сделать… как это? Невежливым тоном?

Я кивнул:

— Разумно, — и убрал руку.

Сеньора Испанья тряхнула головой, цыкнула.

— Твою мать, — сказал Калифорния. — Этим бабам только бы яйца мужику отчекрыжить…

— Да иди ты в пень, — сказал я. — Чем они у тебя отчекрыживаются? Тупой ложкой? Ты сам посуди: во-первых, я свою долю хуев отсосал. *И притом* не без удовольствия. Во-вторых, у меня яйца прикручены двухдюймовым стальным кабелем. Надо сильно топором махать, чтоб они хоть *раскачались*, — что опять рассмешило Калифорнию, и он заржал. — Что тебе по кайфу, — сказал я, — другим не катит, и тут уж ничего не поделать.

Сеньора Испанья опять тряхнула головой и между Долларом и Болидом протиснулась в коридор.

Откровение, похоже, и впрямь кончил быстро. Уже поднимался на колени — лицо пустое, хуй толком не опал. Риса обеими руками держала его за локоть. Откровение кивнул довольно застенчиво:

— Я ж говорю, сладкая, мне не очень-то много надо…

Но Флинт уже упал на карачки и отталкивал Откровение, расстегнув штаны, болтая пряжкой, хлопая хуем по животу, словно конфузливым садовым шлангом-переростком.

Саламандр, одной рукой придерживая штаны, другой помог Откровению встать.

— Видишь, — сказал тот. — Я даже и на второй раз довольно быстро…

— Спустил и спустил, — ответил Саламандр. — Время — твое личное дело.

Откровение качнулся из хватки Саламандра, сказал:

— Ёпта!.. — и пошел к стене. На полпути глянул на меня и внезапно расцвел широченной розовой улыбкой. — Ты не тормози, пока еще осталось. — Развернулся, привалился к стене, снова запихал ладони под ягодицы — гениталии по-прежнему раздуты и блестят общими соками.

Я встал, посмотрел, прикинул, когда удастся

вклиниться и увидеть пизду.

Одной рукой Риса цеплялась за плечо Флинта. Колени ее растопырились, расползлись, согнулись. Его бедра ходили влево-вправо не меньше, чем вверх-вниз. Она шевелила другой рукой — стягивала ему штаны по ногам, дошло до меня. В конце концов он умерил прыть, и она спихнула их до колен, но не успела всползти повыше, как он снова принялся качать. Она задрала ступню, уронила, и на миг ее лицо обратилось к нам — глаза и рот распахнуты, язык проелозил по зубам, рывком спрятался, а потом вылизал Флинту шею.

Саламандр присел рядом на корточки — посмотреть? Но он наклонился, что-то сказал. Флинт сбросил темп.

Риса тоже что-то сказала — я не расслышал, — положила руку Саламандру на голое колено, приподняла голову, что-то прибавила.

— Твою мать, — сказал Калифорния. — Эти двое ее уже раза четыре или пять оприходовали. На брата.

Саламандр встал и подошел к нам.

— Ой, слышь! — Он придержался за стену и с третьей попытки засунул голую ногу в штанину. Среди веснушек и рыжей поросли на исподе бедра

блестел пот. Затем все закрыла холщовая зелень. Саламандр указал подбородком на Флинта с Рисой: — Умеют ниггеры ебстись! — Его ступня опустилась, задела Б-г по плечу (Саламандр: «Ой… извини!»), а тот задрал лицо, сказал:

— Да ты и сам ничего так, — и снова спрятал лицо в сгибе локтя.

> Сейчас перечитываю и понимаю, что записанные слова не поясняют, Рису или Флинта имел в виду Саламандр. Но по тону было понятно.

Саламандр ухмыльнулся, запихал в ширинку свое хозяйство, блестящее, как кожаная куртка под дождем, и застегнул верхнюю пуговицу.

— Выпить хочешь? — спросил Калифорния; он забрал бутыль у Доллара.

— Не. — Саламандр ребром пальца потер между бородой и толстой нижней губой. — А вот она да.

— Я, пожалуй, — сказал я, — тоже перехвачу.

— Эй, — сказал Саламандр, — уж будь *любезен*, пока мы ее не *ухайдакали*! — Он помотал головой. Борода вымокла. — Валяй. — И он ушел.

Я перешагнул Б-г и чуть не споткнулся об одеяло, сбившееся между матрасами. Калифорния тоже подошел; сунул палец в рот латунному льву,

поковырял там и вдруг улыбнулся мне, словно шуточку отпустил. Я лишь привалился к стенке и стал смотреть.

Один раз Флинт запрокинул голову — лицо от пота блестит, зубы и глаза белы, как под негритянским гримом. Голова и плечи Рисы вздрагивали, будто ей по пяткам колотили молотком. Она все твердила:

– *Ыхххххх… Ыхххххх… Ыхххххх…* — и порой закрывала рот. Флинтово лицо хлопнулось вниз и заслонило от меня ее остекленевшее моргание.

Я сел на корточки.

Флинт боками шлепал ей по бокам, и ее бедра дергались.

Я сунул руку под ремень и вынул хуй; жестко проволок им по шву, что ли, и это было больно.

Флинт опять запрокинул голову, приподнялся на руках, качая жопой. Рисины ладони прыгали у него на плечах. Она цапнула воздух, она хлопнула по матрасу; а потом обхватила его за шею. Одна ее пятка вонзилась в матрас, пальцы на ноге растопырились, затем поджались, округлив темные костяшки.

Звуки она издавала такие, будто над ухом рвут фланель. Флинт кончил.

Она, я так понимаю, не кончила, или не могла,

или не хотела.

Приподнимаясь над ней на руках, он уронил голову. Риса все тянула его за плечи. Он шумно перевел дух и сел на пятки.

— Ой ёпта…

Риса уронила руки себе между ног.

Я поднялся и встал позади Флинта. Риса вытянула ноги, и ее ступня скользнула по моему сапогу. Сквозь мягкую замшу она лодыжкой погладила меня по лодыжке. Флинт поднялся нетвердо, так что я его поддержал. Одной рукой он уцепился за мой локоть, другой попытался натянуть штаны и сказал:

— Валяй, выеби эту пизду. Ага! Ёпта… — Смотрел он очень ошалело и не вполне на меня.

Я расстегнул ширинку.

Риса тоже смотрела ошалело.

Когда она раскачивалась, груди катались у нее по ребрам. Чтоб вывалить агрегат, пришлось согнуть колени. Она почесала бок; потом ее рука забыла, чего хотела, и ощупала живот; Риса озирала комнату, двигая лишь сощуренными глазами. Я поставил голую ступню ей на пизду. Риса качала бедрами, пока я не надавил сильнее; а потом взялась за мою грязную лодыжку и волосами потерлась об ороговевшую подушечку.

Под влажной кожей елозила лобковая кость. В волосню и мне под плюсну оттуда потекло что-то густое, как глиняный шликер. Риса открыла, и закрыла, и открыла рот, но шумно дышала носом. И глаза ее шныряли, ни на чем не фокусируясь. По скуле сбежала капля.

Я убрал ногу.

Она принялась дергать себя, двумя пальцами зарываясь внутрь, открывая и закрывая воспаленный каньон; выдохнула через рот — все ее губы слиплись и раскрылись.

(Думал ли я, стоя перед ней: на кого у меня тут стоит? На себя, на нее, на них? Нет, не думал.) Я расстегнул ремень и опустился на колени. Лицо у нее почти сложилось в улыбку, и она разбросала эту улыбку вокруг, перекатывая голову; и все дрочила. Господи боже.

Я придвинулся. Опираясь на одну руку, поймал ее ладонь и положил себе на хуй. (Ланья как-то говорила, что многие парни напрягаются, если девушка трогает их за хуй, когда они входят; а меня заводит.)

Помню, один раз я открыл глаза и увидел, как она тянет бурую шею, отворачивая голову, а потом шея сморщилась, и она ухом крепко заехала мне по уху. Она отпихивала мои штаны, чтоб не

мешалась пряжка, — я не сразу сообразил. Потом она меня цапнула. Я немножко пофантазировал, как ее ем. И еще почему-то — как она отсасывает Доллару; помню, подумал, что это совсем шиза — и фантазий никаких не нужно. И тут, не разжимая хватки ног у меня на боках и рук у меня на плечах, она заорала. Громко. Перепугала меня до смерти. Ну, думаю, прощай, стояк. Но стояк со мной не попрощался — однако тут я вспомнил, что вокруг есть и другие люди. Кто-то стоял над нами; потому что я чуть лицом не тыкался ему в кроссовку. Когда Риса стала втягивать воздух обратно в грудь, чем-то влажно хлюпая во рту (который искал мои губы и наконец нашел — я постарался вылизать ей миндалины), я подумал, что сейчас кончу. Но понадобилось еще полторы минуты. Иногда, если я кончаю, трахая человека, не очень-то мне интересного (или при особенно неинтересном сексе с тем, кто мне интересен), мне являются картинки (или слова), и они еще витают в голове несколько секунд, а потом мутнеют, и вспомнить их сложно, как сон; на сей раз я увидел, как держу кого-то за руку (Ланью? Рису? Денни?) и бегу меж безлистых деревьев в кружеве лунного света, а позади кто-то твердит: «…Грендаль, Грендаль, Грендаль…» — и пока я

вжимался лицом в ее горячую шею, а в бедрах, груди и животе еще горело, мне казалось, это очень смешно. (Конкретно и примитивно?) Я вынырнул лицом из лунно-светлых ветвей в комнату, пропахшую дымом и скорпионами. И ухмылялся, как, сука, тигр!

Я сел, проволочив по ней цепи. Одну она прикусила, придержала зубами, и цепь врезалась мне в шею. Я тянул, пока цепь не выскользнула у нее изо рта, встал на колени и с кем-то столкнулся — с Долларом, — а тот сказал:

— Эй, братуха. Неплохо, да?

— Осторожно, — сказал Калифорния, втискиваясь на мое место. — Давай, а?

Саламандр с галлонной бутылью нагнулся к Рисе. У него за плечом стоял Флинт. Саламандр подсунул руку ей под шею. Она уцепилась за штаны у него на колене.

Я встал, а Калифорния перебрался через ее лодыжки.

— Эй, Саламандр? Она ж и так уже пьяная! Ее стошнит, если будешь…

— Отвали, — сказал Саламандр. — Это вода. Она пить, блядь, просила.

— А.

Калифорния руками провел Рисе вверх по

ногам. У нее в бедре задрожало сухожилие. Калифорния нагнулся.

— Ну *харэ*! — сказал Флинт и врезал Калифорнии по голове. — Не терпится, блядь? Дай ей попить. — Но Риса вцепилась Калифорнии в волосы, закряхтела и притянула его к себе. Флинт втянул воздух сквозь зубы и смотрел, как она пьет, пока Саламандр не опустил бутыль. По щеке у Рисы бежала вода. Риса выдохнула:

— …спасибо…

— Всегда пожалуйста, — глухо пробубнил Калифорния ей в промежность.

Видимо, ничего смешнее Саламандр в жизни своей не слыхал. Его аж скрючило. И он водой заплескал весь пол.

— Ты ее можешь в рот, — говорил Доллар Болиду. — Если хочешь, давай ты в рот, а я в пизду. Или ты в пизду, а я…

Я направился к двери. На полпути понял, что еще тридцать секунд — и обосрусь.

Вошел Сиам:

— Она все трудится?

— Праздник без конца, — сказал я и протиснулся мимо.

В коридоре Харкотт растирал шрам на груди.

— Народ там все развлекается? Господи боже. —

Он, похоже, был недоволен.

Я спросил:

— Тебе-то досталось?

— Ага. Раньше еще. Но они, блядь, от этого снаряда вообще *не отходят*! Они ж ее уморят так.

— Это ты боишься, что дозреешь до добавки — а все уже закончится, — ухмыльнулся я. — Сходи глянь — может, доведешь ее до кондиции? — После чего я вошел в ванную, сдернул штаны и сел.

Ягодицы заплескало водой, и на шесть секунд живот скрутило спазмом, который начался в лодыжках. Потом отпустило. Хозяйство свесилось на фаянс, такой холодный, что пришлось подобрать рукой. (Костяшкам холодно; лучше им, чем хую.) Через дверь туалета я смотрел на Харкотта — тот все стоял в коридоре. Потом зашел в комнату.

«Грендальгрендальгрендальгрендальгрендальгрен…» — по-прежнему крутилось у меня в голове. Я вдруг сообразил, что плохо слушаю: цезура не на месте. Слово, что зазвучало в голове при оргазме и уже которую минуту звучало на повторе, было: «…Дальгрен…» Я подтерся куском второй полосы «Вестей Беллоны» за 22 января 1776 года.

Ответ на всё – власть. Тоже фальсификация: я же не говорю, как ее добился и как сохраняю. Я лишь документирую сторожкую прогулку по смутно зловонному саду ее ништяков.

Возвращаясь в постель на антресоли, я подумал, что хорошо бы зашла Ланья и ждала меня там с Денни (зная, что ее на антресолях нет, потому что я об этом подумал); и ее не было.

На антресолях я с минуту полежал на спине; потом перекатился и заехал Денни по плечу.

Он проснулся:

— Что?

— Понюхай мой хуй, — сказал я.

— А?.. — Потом раздраженно фыркнул, сел, нагнулся и пошмыгал носом. Ширинку я не застегнул.

Денни поднял голову, хмурясь:

— У тебя перхоть на лобке. — Он сморщил нос. — Это кто был?

Я засмеялся:

— Девчонка в дальней комнате. Риса. — Я ухмыльнулся ему. — Тебе-то досталось?

— А… я ходил, пока ты спал. Там в основном девчонки были. Я ничего не делал. — Он опять

устроился в постели, спиной ко мне.

Глядя в потолок, я погружался в сон; из тех погружений, когда смотришь, как погружаешься, и все такое звенящее, и тонешь в этом звоне.

И проснулся: Денни лежал на мне, а я его обнимал. Он резко ахал, лицом вжавшись мне в шею, и терся о мой живот. Я сам не понял, с какой дури разбудил его процедурой, более или менее рассчитанной, чтоб его завести. Не останавливал его, но досадовал; так что грязью поливал (рычал ему в волосы: «…*давай*, хуесос недорослый; *давай*, тощий ты засранец…) всерьез; спустил он довольно быстро. Но к тому времени у меня снова встал. Он лежал на мне, а я в него как-то даже снизу тыкался. Но он сполз, чтобы мне отсосать. Видимо, я того и хотел, когда разбудил его *изначально*; но теперь уже нет.

— Не трать время, — сказал я ему, пригнув подбородок и глядя ему в макушку. — Ложись спать, а?

Но он все трудился (и совал палец мне в анус, я про это говорил, что мне про это говорил Кошмар), и тут спустил я. Он опять всполз мне под бок, и я обхватил его поперек живота, спиной к себе (как теплую собаку), и он порой ерзал, будто ему удобнее было бы на другой половине постели

(вот точно, как пытаться заснуть с собакой), а я размышлял: если мне теперь надо воображать девчонок, чтобы кончить с парнями, может, я не так уж и бисексуален, как вечно себе твержу?

Моя речь меняется, когда я говорю с разными людьми; я перехожу от «не-а» к «нет», от «да» к «ага», от четкой дикции к бесформенной. С Ланьей речь моя чаще всего игрива, лукава. С другими уплощается. Когда я расстроен, ее пробивают десятки шумовых узлов: «ну знаеши», «то ести» и «как бы». Позади, в колледжах, которые проходил, я оставил целые лексические и синтаксические пласты, и они стали возвращаться с Новиком, Кэмпом, с этим интервью, с Калкинзом в монастыре. Это не аффектация, а лабильность; свойство подлинное и популярное. Но если записывать, что я говорю, переходя из одного речевого контекста в другой, читаться будет не как характеристика, но как *отсутствие* характера. Я отмечаю все своеобразные слова вокруг: Флинт сегодня утром произнес слово «…радикально…», и несколько раз я слышал,

как Сеньора Испанья упоминала «…сущность…», а от других походя доносились «…сентенциозный…», «…караван…» и «…нарочитый…». Но, записывая окружающие разговоры, я нарочно умаляю их языковой диапазон, чтобы не походило на постграмотную аффектацию – хотя это вовсе не она. Речь Джорджа невозможно даже записать для обычного читателя; Трокмортон (на празднике) изъясняется исключительно банальными комбинациями затертых фраз, которые на бумаге оборачиваются сатирой на самих себя, но в момент произнесения творят чудеса коммуникации. Меня, видимо, просто бесит, чего не умеет письменная речь. Сегодня днем бесконечно беременная Глэдис с полуулыбкой сказала сквозь сетчатую дверь в кухне:

– У тебя нет… – осеклась и вставила во фразу три слога смеха, – знаешь, что я отсюда вижу, нет?

Какими знаками элизии, интонации, мелодики обозначить на бумаге этот звук или его ощущение так, чтобы вышло понятно?

Ломал потом над этим голову полдня.

Я раздеваюсь догола и оттираю себя отбеливателем, чтобы хоть слабенько проступили узорчатости взаправдашнего голоса; но получается искусственно, точно хной покрасился. А Калкинз, не желающий читать, ждет моей следующей книжки на этом сленге под названием письменная речь, от которого мне никуда не деться!

Понял: я моносексуал в шкафу.

Ах да. Он мне отсасывал, а я его прервал и спросил, про что он думает, — вот такая я сволочь. Очень честно и очень удивленно он сказал, что про Доллара (мне привиделся тот миг с Рисой, когда и у меня в мыслях промелькнул наш ручной убийца), отчего я слегка озлился. Но таков уж мой удел. Тут я отмечаю (поскольку секс имеет некое отношение к любви), что Денни уже шесть раз говорил, что любит меня, признавался почти себе под нос, с таким неуверенным лицом, точно сам себя берет на слабо, — и всякий раз выходит не пришей кобыле хвост, когда мы чем-то заняты: двигаем диван по гостиной, выбрасываем мусор в соседний двор через забор или когда я пытаюсь

помочь Собору выпрямить погнутую подножку мотоцикла. Я толком не понимаю, что чувствую к нему, но рад до смерти, что хоть *один* из них живет тут постоянно. (Мне бы лучше, пожалуй, чтобы Ланья; она поинтереснее, и в койке и вне… да нет, не в том дело; просто жалко, что ее нет.) Когда я проснулся, он уже вывернулся из моих объятий, забился в угол и там свернулся клубочком.

Сегодня гулял с Ланьей и ей рассказал. Она просияла:

– Да, он мне тоже раз шесть уже говорил. Очаровательно.

– Не знаю, – сказал я. – Не думаю. То есть не понимаю. Он любит тебя. Он любит меня. Это что вообще, сука, *значит*?

Она удивилась, обиделась даже. В конце концов ответила:

– Ну… когда люди говорят тебе странные, непонятные слова, надо вслушаться в их чувства и уловить смысл через них!

– По-моему, – после паузы сказал я, – когда он так говорит, это может значить, что он бросит меня раньше, чем ты – которая так говорит гораздо реже.

– Думаешь, он нас бросит? – *Меня / нас* – так и отпечаталось. – Дай ему повод остаться. Я стараюсь.

– Это сложно, даже когда все сильно проще. Я вот думаю: может, тут дело в том, кто нам уже знаком. Для тебя я заменим. Я симпатичный примат, даже поинтереснее внутри, чем снаружи. Тебе, по-моему, интереснее всего рывки механики, вкл / выкл. Но ты же сама рассказывала, что и раньше водила знакомство с гениями. Тут ничего нового.

– Да что ты говоришь!

– А Денни, по-моему, – первый Денни в твоей жизни. Для тебя он уникален – а для меня все в нем, от приемных родителей до ритма, в котором он вскидывает жопу, и защитная агрессия, и даже этот бездонный колодец игривой милоты, и привычка упрямиться в хорошем и дурном… он славный и ебанутый, но таких вокруг – море разливанное. – Мы свернули. – Для меня незаменима ты – я тебя никогда не видал так близко и не понимаю тебя совсем. Вот ты говоришь, я тебя иногда как будто не вижу? Да у меня

глаза разбегаются! Жизнь рядом с тобой – непрестанное ошеломление. То, что я тебе вообще нравлюсь, что ты смотришь на меня, или задеваешь меня, проходя мимо, или обнимаешь, или прижимаешь к себе, – это так удивительно, что когда все закончится, мне придется еще десять раз прокрутить все это в голове, посмаковать и разобраться, каково это было, потому что, пока это происходило, я был слишком занят – я изумлялся.

– Правда? Это же чудесно! – С четверть квартала она молчала. Потом сказала: – Он не уйдет. Во всяком случае, не скоро. Хотя ты, может, и прав насчет того, кто уйдет первым, когда это случится… и если.

– А тебе как видится?

– Ты очень-очень настоящий человек. Да и я, если уж на то пошло. Денни такого перепадало мало – он не сбежит, пока не насытится.

– Меня устраивает, – сказал я. – Надеюсь, получится. Вы оба мне нравитесь. Я хочу, чтоб вы были со мной. Только следи, чтоб я вас обоих не перестал ценить!

– Сделаю все, что смогу, сердце мое.

Когда я встал и вышел в гостиную, почти все еще спали. Болид сидел на краешке дивана и что-то ел ложкой из чашки. Когда я вошел, он поднялся (Накалка с, как ни странно, Разором устроились на диване позади него; бледная Черная Вдова со смуглой Сеньорой Испаньей, свернувшейся у нее под боком, спали на полу с Тарзаном и почти-всеми-обезьянами), словно хотел заговорить. Я кивнул.

Он кивнул в ответ. Но начать, похоже, не смог, так что съел еще ложку.

— Пойдем, — сказал я ему.

По-прежнему босой, он перешагнул перепутанные ноги — тускло-черные резиновые сапоги Вдовы, сапоги Собора из коричневой замши. Я положил руку Болиду на плечо:

— Тебе Доллар по кайфу, да?

Болид сказал:

— Довольно чудной крендель. Но он же ничего, а?

Тощий ржавоволосый негр сонно полуулыбался. Глаза кружочками, вырезанными из нашего неба, плавали в однотонном кофе с молоком его лица.

— Хорошо, — сказал я. — Присматривай за ним. Следи, чтоб он тут не влипал, слышишь меня?

Улыбка поколебалась…

— Кто-то же должен. А я заманался уже. Теперь ты приступай. Слышишь меня?

…и сползла.

Он кивнул.

— Хорошо. — Я обеими руками снял с себя одну цепь, надел ему на шею и сжал у него на груди. Один кулак потянул вниз — другой поднялся, костяшки проехались по его коже. Я потянул в другую сторону. — Пойдет к той, которую ты себе уже добыл, ага?

Болид похлопал мне глазами.

— Она твоя. — И я разжал руки.

— Это что значит, я теперь скорпион?..

Ворон на полу подпер голову локтем.

— Такие уж у нас игры, деточка. — Он засмеялся, перекатился (толкнув Собора, который лишь заворчал) и закрыл глаза.

Болид перевел взгляд на меня. Сонная улыбка вернулась.

— Ладно, — сказал он. — Эй, Шкет, спасибо. Ладно…

— Последи за этим прыщавым белым шибздиком.

— Ладно, — повторил он. — Я послежу. — И съел еще ложку из чашки.

Я вышел на веранду.

Снаружи на ящике под деревом сидела Риса и читала («Медные орхидеи»? Я вытянул шею и пригляделся. Они и есть.) Двумя пальцами потирая пыльный уголок рамы без сетки, я смотрел на нее и думал, не подойти ли, не спросить ли о том, что думаю, и наконец решил: да блядь, раз собрался — иди и спроси.

Я спустился с крыльца — дверь за спиной стукнула — и пересек двор.

— Эй… — Я присел рядом на корточки, из локтей и кистей (недоумевая, как это они умудрились *так* перепачкаться всего за день) составив двойной мостик от колена к колену. — Я хотел спросить, ну, про эту ночь.

Она подняла голову.

— Тебе же по кайфу было, да? То есть ты сама была не против. Потому что кое-кто из… одна женщина слегка огорчилась. Поэтому я хотел… спросить.

Она прихлопнула страницу ладонью, будто не хотела показывать мне, что там. Странно. Переступила толстыми ногами. Вроде смутилась. Я подождал, а в мыслях: ну, может, она просто не очень разговорчивый человек, или, может, не умеет одним махом сложить ответ на такой

вопрос; а может, это глупый вопрос или неприличный. Могла бы ведь сказать: слышь, мудила, ты головой-то подумай — почему бы я это *делала*, если мне было не по кайфу? И вдобавок я как дурак прикидывался, даже перед собой, что спрашиваю за Сеньору Испанью, а сам-то, конечно, спрашивал за себя.

— То есть, — сказал я, — я вот чего: ты не думала, что тебя кто-то… ну, принуждал?

Она не застегнула две верхние пуговицы на голубой рубашке. Бурую кожу между шеей и плечом прорезала складка. Ночью полузакрытые глаза казались огромными. Теперь расширились — а вроде маленькие. Ответила она (гораздо вразумительнее, чем я ожидал) так:

— Это было мое, — затем открыла и закрыла рот, желая что-то прибавить, но лишь повторила: — Это все было мое. Вам ничего не достанется. И все. Это было… мое!

— То есть… — Я удивился, но только пожал плечами. — Я хотел спросить: тебе… было приятно?

Она сказала:

— Ты бы такого хотел? Сам иди и попробуй!

И она, словно шарахаясь от предчувствованного удара, перевела взгляд на страницу. Ее кулак снова скользнул на колени.

Я поднялся, мысленно напоровшись на: *хотел бы* я, чтоб меня самого отымели коллективом? Так, ладно, поразмыслим. Размышляя, прошагал через двор. Первое: мне не нравится, когда в жопу, потому что как ни попробую — почти всегда боль адская. Может, раз пять или шесть было не больно, а просто до фонаря (в том числе два дня назад, с Денни и Ланьей, и зато эмоционально было приятно). Но — второе: сам я не раз и не два совал хуй в жопы парням, которым явно не было больно, а еще как приятно. И я стоял в очереди и засаживал парню в жопу в свой черед, как ночью Рисе в пизду. Так что (третье): если Риса права, может, это со *мной* что-то не так, если всякий — ну, *почти* всякий раз, — когда мужик совал в меня хуй, мне, блядь, так жгло?.. Короче, она хотя бы сказала такое, от чего я задумался, — а для меня это один из показателей наличия у людей ума.

Когда я поднимался, из-за двери высунулась голова Саламандра; я прошел мимо, он прошел дальше, сел на корточки рядом с Рисой (поза, в которой видел меня? Вероятно, нет) и положил веснушчатую руку на ее джинсовую коленку. Они склонились друг к другу и посовещались. Она что-то сказала, и он рассмеялся. (Она, впрочем, была не очень-то довольна.) Я через сетчатую

дверь вошел на веранду, опять выглянул в окно.

Саламандр поднялся, и тут за забором прошла Сеньора Испанья (и прямо за ней Накалка); тремя пальцами зацепившись за обтесанные доски, она спросила — я услышал, как ее цепи стукнули по дереву, но слов толком не разобрал — Рису, типа, как та себя чувствует.

Риса чуть развернулась, насупилась и сказала:

— Спина болит.

На веранде у раковины стоял, скрестив руки, Харкотт.

— Во дает, а? — Судя по лицу, разобижен он был вусмерть.

Я глянул на Рису, опять на Харкотта. Тот качал головой:

— Сколько раз ее выебли? Шестьдесят? Семьдесят пять?

— Ну харэ, — сказал я ему. — С дуба рухнул? Шестнадцать, семнадцать — так больше похоже на правду? Ну, *может быть*, двадцать.

— Чё?

— Из нас что-то реально *делали* человек семь или восемь. И половина всего раз.

Харкотт поразмыслил.

— Но, господи боже… ты *посмотри* на нее! *Сидит*, ёпта, книжку твою читает!

— Харкотт, — сказал я, — трахнуть человек двадцать пять за ночь всего лишь необходимо, дабы понять то, что понимания достойно. — (Ну, я же это *делал*.) — Так уж оно устроено.

Его это, видимо, не рассмешило, поэтому я ушел в кухню, а он пусть смотрит дальше. Кто-то (Харкотт?) перемыл гору тарелок.

* * *

Это последняя целиком псутая [пустая?] страница.

Перечитывая, я различаю лишь призрачный хронологический порядок записей. Я исписал не только все пустые страницы, но и все свободные половинки и четвертинки под стихами или другими записями. Местами, где у меня довольно крупный почерк, можно писать между строк. Дальше придется чаще переходить на поля. Может, попробую писать поперек уже заполненных страниц.

Иногда я не понимаю, кто тут что написал. Неприятно. Про некоторые фрагменты я помню, где и когда их писал, но не осталось воспоминаний про описанные в них события. И наоборот, помню, как со мной происходили события из других фрагментов, но также знал/ю, что я их не

описывал. А еще попадаются страницы, которые сегодня я трактую так-то, хотя отчетливо помню, что, перечитывая в прошлый раз, трактовал иначе.

Больше всего бесит, когда я вспоминаю запись, ищу и ~~не нахожу~~ нахожу, что ее целиком или наполовину нет: некоторые страницы я перечитывал столько раз, что они выдрались из пружинки. Кое-какие я поймал, пока не сбежали, сложил ~~кое-~~ и засунул под переднюю обложку. Но я таскаю тетрадь с собой — видимо, что-то выскользнуло. Первые страницы — стихи и дневниковые записи — исчезли, и дальше тут и там страниц не хватает.

Другие тоже исчезнут.

Кончиком карандаша я выуживаю бумажные полоски с драной перфорацией из [п]ружинки. И пишу дальше. Смотрю на последнюю страницу и не знаю, та ли эта страница, что была здесь месяц назад.

* * *

абсурдно, пожалуй, чересчур — непонятно, что тут сказать.

Зашел к Тедди. Час был ранний — удивился еще, что открыто. Внутри человек, может, пять,

среди них Джек. Сидел на крайнем табурете, руки (кожа серая, под кутикулами застряла чернота, ногти увенчаны черными ятаганами, под потрескавшейся кожей полумесяцы теней) распластаны по стойке. Волосы оперили кромку уха (в завитках хрящей — белые чешуйки. В слуховом канале — засохший янтарь) и сразу переходили в бакенбарды, сросшиеся на подбородке неопрятной бородой. Шея серая — с одним чистым пятном (чесался?). Веки набрякли, обведены коралловым и без ресниц. Короткий рукав рубашки порван по шву над белой плотью. Над задниками башмаков носки — оба с драными пятками — сбились над наростом почерневших мозолей. Молния на ширинке полетела. Латунные зубчики американскими горками съезжали ему на колени и под ремень — шпенек сломался, и концы ремня он завязал.

— Угостишь пивом? — спросил Джек. — В первый вечер, как сюда приехал, я вас с подругой угощал.

— Да ты закажи, что хочешь, — ответил я.

Бармен глянул на нас, поддернул закатанный рукав; под толстыми пальцами в джунглях предплечья охотился вытатуированный леопард.

— Я б и сам себе купил, — сказал Джек. — Но

что-то я сейчас, знаешь, на мели. Угости меня, друг, а я тебя потом угощу, как на ноги встану.

Я сказал бармену:

— А чего ты его не обслуживаешь?

Бармен уперся кулаками в стойку и покачнулся.

— Пусть закажет, в чем проблема? — И он глянул на остальных клиентов.

— Дай нам два пива, — сказал я.

— Сей момент. — По дощатой стойке перед нами клацнули две открытые бутылки.

— Прошу. — Я глотнул из своей.

Джекова бутылка встала между его большими пальцами. Он на нее посмотрел и сдвинул руки чуть левее.

Поправил то есть композицию, чтоб бутылка стояла ровно посередине.

Бармен снова глянул, поджал губы — качать головой он себе не позволял, но был к тому очень близок, — и отошел, перебирая кулаками по стойке.

— Здесь не нужно платить, — сказал я.

— Если б мог, — ответил Джек, — я бы заплатил, честное слово; было б на что — я бы сам купил. Я ж не сквалыга, друг. Я очень щедрый, когда есть что за душой.

Я немножко поразмыслил. Потом сказал:

— Погоди. — И сунул руку в карман штанов.

Зажав средним и безымянным пальцем, извлек влажный комочек долларовой купюры. Она совсем смялась — я сначала подумал, просто грязная бумажка (брошенный стих?). Я расправил купюру на стойке. От пота и трения один угол истрепался до самого края единицы.

Джек на нее смотрел, а я гадал, что сделала со своей Ланья; что сделал со своей Денни.

Джек медленно поднял голову. Уголок рта потрескался и воспалился.

— В этом городе жизнь порой не сахар, знаешь? — Он так и не отнял рук от стойки. Пена взбурлила в горлышке его бутылки и вытекла, собралась круговой лужицей. — Мне тут непонятно, друг. Вообще. Я из кожи вон лезу. Но похоже, мне ничего не светит, как ни старайся. С самого приезда… — Он повернулся ко мне. Пена прилила к его пальцам и отхлынула. — Я с людьми *по-хорошему*! И тут столько всяких людей. Я раньше столько всяких людей даже не *видел* никогда. Я со всеми по-хорошему, и слушал их, и учился, да? Как тут жить. Потому что тут *правда* все иначе… Но я прямо и не знаю. — Взгляд его забрел куда-то вверх и мне за спину.

Я обернулся.

Джек смотрел на пустую Зайкину клетку. Черный бархатный занавес в глубине колыхался, словно его только что задели с той стороны.

— Этот ниггер здоровенный, на портретах по всему городу, хуй свой развесил. Я вот в это не въезжаю. Я ж не против, пожалуйста. Но, друг, если они тут такое говно развели, пизду-то почему не повесить? Ну? Раз есть одно, вроде надо, чтоб и другое было, да?

— Само собой, — сказал я.

— Может, я, например, или ты — у *тебя* же подруга есть — другим интересуемся, а? Я когда только приехал, понимал, что тут не как везде. Я был *очень* со всеми по-хорошему; и со мной все тоже. Вот Тэк, да? Мы тут все сидели, помнишь? Вот он ничего. И когда я у него жил, я с ним старался по-хорошему. Он хочет мне отсосать — я говорю: «Валяй, друг, соси, блядь». А я ж такого не делал *никогда*... Ну, чтоб по серьезу, как вот он, да? Теперь вот делал. И не жалею. Да и пожалуйста. Но не скажу, что мне прям по душе, да? Мне б девчонку, с пиздой и сиськами. Это что, так странно? Ты ж меня понимаешь?

— Конечно, — сказал я. — Как не понять.

Джек языком оттянул уголок рта, пытаясь на-

дорвать коросту.

— Он, наверно, тоже понял. Тэк. Он все равно со мной по-хорошему. При встрече разговаривает. Спрашивает, как дела, трали-вали… Друг, мне бы просто посмотреть картинок с нормальной пиздой, а не одни эти хуи повсюду. *Мне* вот интереснее *пизда*; мне бы тогда полегчало.

Я еще отпил пива.

— Мне бы тоже.

— Бывал в этой коммуне — знаешь, в парке? — Джек поглядел на мятую купюру. — Меня Тэк отвел. И там ничего, приятно. Я с одной девчонкой болтал, она там из главных…

— Милли?

— Ага. Милдред. И она все гнала и гнала, что, мол, я из армии дезертировал, а они там страсть как любят дезертиров, и она хотела-то, небось, тоже по-хорошему, но потом, то есть спустя часа, блядь, два, я уже просто не мог, я спросил: дамочка, вот вы тут мне втираете, какой в армии блядский ужас, но вы же в этой блядской армии *не были* даже, а я там оттрубил полтора, сука, года! Она ж без понятия, почему я оттуда свалил. И ей до фонаря. — Его взгляд прополз по рукам, по бутылке, по лужам на стойке, по купюре, по рукам… — То есть вообще ни бум-бум… — Он

перевел дух и глянул на меня. — Я в коммуне познакомился с Фрэнком… этим, который как бы поэт, да? Он служил; и дезертировал. Вот *он* понял, чего я ей говорил. Мы с ним прямо подружились. Только у него язык хорошо подвешен, и он знает кучу всего, что я не знаю. Но мы вместе много ходили. Он меня в этот Дом отвел, где одни девчонки. Бывал?

— Нет.

— Там, короче, отпад. Некоторые довольно милые — и странные тоже попадаются. И туда парни заходят… в общем, там есть такие девчонки, им всяких двинутых подавай. Я там кое-кому, девчонкам то есть, даже нравился, по-моему. Только двинутым, а я на таких не западаю. Я себе хотел такую маленькую как бы — там *огромные* тетки есть! — и красивую. И мягкую. И умную. Мне *очень* важно, чтоб девчонка была умная. Найти б девчонку, чтоб умела говорить и понимать хоть вполовину как Фрэнк, — счастья бы мне тогда полные штаны. И там, кстати, есть умные. Там глупых не водится, по-моему. Да вот много двинутых. И там были *ровно* такие, как я хочу. А мне бы подружка не помешала! Я с ними болтал. И они со мной. Но не выгорело. Вот у Фрэнка да. Фрэнк мог набрать себе телок на потрахаться со

среды и до следующего четверга, а потом заново по кругу. Я потрахаться не прочь, но мне этого мало. Я ж понимаю, тут народ на меня не похож; но, выходит, и я на них тоже. Видать, если ты чересчур непохож, никто тебя и знать не хочет. Всем насрать. — Его руки в луже дернулись к бутылке. Он похмурился, и я уж было решил, что он выдохся. Но он сказал: — Слыхал про ниггера — черный этот, раньше сюда приходил, его с крыши «Второго Сити-банка» подстрелили?

Я кивнул.

— Знаешь, чего они думают… — Джек развернулся на табурете, распластал ладонь по груди. — Джон, Милдред, все эти в парке, в коммуне, — они думают, это я сделал! Направо и налево всем рассказывают! И девчонкам в этом Доме тоже! Потому что я белый, и я с Юга, и спорить плохо умею, и не могу объяснить, что они совсем ебанулись, — а они совсем *ебанулись*, если думают, что я так могу! — Рассказывая, он дивился не меньше, чем я — слушая. — У меня… у меня винтовка была, да? — Ладонь сжалась в вялый кулак, а кулак, оставляя влажное пятно, рывками пополз вниз по рубашке.

Я кивнул.

— Дома всегда была винтовка. Им бы в парке

тоже не помешала — психов-то в городе видимо-невидимо. Всего делов — зашел в магаз и взял. Как вот я. К ним в парк вечно кто-нибудь, сука, таскается, еду отнимает. И кое-кто приходит с пушками. Лезть на крышу и по ниггеру херачить? — (Обмякшая рука на коленях вздрогнула.) — Господи Исусе, да я б ни в жизнь! Но, друг, я ж прихожу в парк и *слышу*, чего они говорят, *своими ушами*; а они оборачиваются такие, замечают меня — и рот на замок! Фрэнк меня видеть не желает. То есть говорит «привет» или что-нибудь, если я первый заговорю, и идет по своим делам. Пять раз — пять *раз* я думал: все, пойду выясню, что за херня, а он только меня заметит — и уходит. Они меня боятся как будто; только это *я* их боюсь так, что не могу уже туда совсем. Да елки-палки, я не верю, что Фрэнк думает, будто это я. Фрэнк хороший парень. Не хочет просто, чтоб другие думали, будто он со мной дружит. И я не знаю, *что* с этим делать. Вообще не знаю. Я сначала, когда познакомились, думал, Фрэнк — он как Тэк. Я знаю, что он по девчонкам. Но он стишки пишет, то-се, и как бы это, ну… я думал, он, может, поэтому — потому что я ему нравлюсь. Иначе непонятно ведь: он умней меня, и старше, и все ему само в руки идет. А как нача-

лась херня, я подумал: я ж с ним ничего не делал, как вот с Тэком, и, может… ну, он поэтому такой, елки, злой. Дурак я был, да? Но в городе этом еще и не такое в башке заведется. Я ему так прямо и сказал; я сказал: «Делай, что хочешь, — *все*, что хочешь!..» Лучше б он был гей. Лучше б я ему в таком смысле нравился. Я бы тогда хоть знал, что делать, — я ж был с Тэком уже. Понимаешь? — Он посмотрел мне в глаза, потряс головой, посмотрел на бутылку. — Понимаешь меня? — И перенес руку с колен обратно в лужу.

— Говори дальше, — сказал я. — Ты слишком упрощаешь. Но валяй дальше.

Он подвигал челюстью, но не заговорил.

— А чего ты к нам не заходишь? — спросил я. — Хочешь жрать — давай к нам в гнездо. Попроси Тэка, он тебя проводит. В такой грязище объедки власти цветов меня тоже не прельщают. — Хотелось спросить, что у него было с обитателями универмага, но я смолчал.

— Ну, вы… — Джек слегка повертелся на табурете. (А в мыслях: у него ладони приклеились к древесине, но он не хочет отдирать их у меня на глазах.) — Вы… я даже и не знаю. У вас же там сплошь ниггеры? А я такое сделал… говорят, что сделал, я как войду — чего со мной сделает толпа

злых ниггеров? Вы все суровые больно… людей на улицах грабите. И убиваете. — Он похлопал воспаленными веками. — Я не про тебя лично. Ты-то славный. И ты у них за вождя, да?.. Но я слыхал. И мне такого говна не надо. Я не против, пожалуйста, но… — Он нахмурился, тряся головой. — Люди треплются. Языками треплют. Треплются, выставляют тебя бог весть кем, не тобой вообще. И потом ты уже толком сам себя не понимаешь, чего делал, а чего нет… Люди треплются про меня, что я сделал в тот вот день, когда по небу всему свет такой странный, и ниггер этот с картинок на белую девочку напал, и цветные волнения устроили, и с часов церкви на Джексоне оторвали стрелки; говорят, раз я залез на крышу и подстрелил ниггера, выходит, и в волнениях я виноват, вообще во всем, что тут приключилось. Только потому, что ниггера, сука, снял… — Губы его, очерченные бурым, сомкнулись, разомкнулись, сомкнулись. — Винтовка у меня *была*. Я не стрелял… — Он заговорил медленно. — Я в этого черного не стрелял. Я же с ним встречался раза три или четыре. В этом самом баре. С Тэком. Славный был человек. Я его подстрелил?.. Я не стрелял… — Он вдруг костяшкой потер болячку в углу рта. — Я туда ходил. Это да. Хотел глянуть.

И да, *с винтовкой*! По лестнице на дом, который за «Вторым Сити-банком», а дальше по пожарной. Засядешь там — из-за карниза всю, сука, улицу покроешь. Друг, если хоть чуток умеешь стрелять, снимешь оттуда любого! А я стреляю неплохо… — Он уставился на меня, сузив набрякшие веки. — Ты думаешь, это я его подстрелил?

> Не припомню, чтобы в школе или колледже мне на письме хоть раз поправили «который» на «каковой». Но я в жизни не говорю «каковой» – разве что повыпендриваться. И я вот думаю: слова-то, кажется, другие, «который» и «како'й», где апостроф обозначает проглоченный слог. Я тут в тетради писал так с неделю, но выглядит по-прежнему странно. Я перестану.

— Это вопрос, — ответил я. — Ты туда ходил глянуть до или после того, как его подстрелили?

С небритым лицом Джека что-то произошло: кожа между бровей сморщилась, кожа под подбородком обвисла. И под этим лицом тоже что-то произошло.

— Ох батюшки, — произнес он сухо (один раз я слыхал, как таким же тоном человек произнес

«лифт»). — Ох батюшки… — Он снова развернулся к бару. — Они все до смерти хотят, чтоб так было, и они сделают, чтоб так было, и не важно, стрелял я или не стрелял. Они сделают так, что я стрелял. Одним своим хотением.

— Понимаю, — сказал я ему.

— Что мне делать? Я не знаю, что мне делать.

— Знай, кто ты, — ответил я. — Кто бы что ни говорил.

Он на меня не посмотрел.

— А ты знаешь, кто *ты*?

Спустя миг я ответил:

— На две трети где-то; то есть я как минимум на верном пути. Может, мне везет. — Я допил пиво. — Приходи в гнездо. Когда хочешь. Только винтовку не бери.

— Мне бы, — помолчав, сказал Джек, — работенку найти. Приличных денег заработать. Тогда бы я себе девчонку завел; тогда бы я сам себе пиво покупал. Не по душе мне это — околачиваться в баре и выпивку у славных людей выпрашивать.

— Когда я только пришел в город, — сказал я, — у меня была работа, я мебель двигал. Пять баксов в час. Ты бы кайфанул. Работенка скроена прямо под тебя.

Но он смотрел на долларовую купюру.

От досады я подрастерял человеколюбие и решил, что пора валить. Шагнул прочь от бара.

— Эй, Шкет?

— Что?

— А сдачу не возьмешь? — Он средним пальцем подвинул мятый доллар по влажной стойке.

Я секунду поразмыслил.

— Оставь себе, пожалуй.

— Ой, друг, ну ты чего… не, я подачек не беру. Мне б работу; приличные деньги получать; самому за себя платить.

— Возьми-ка ты эту подачку, — сказал я. — Пригодится.

— Ну спасибо тогда, друг?.. — Купюра под пальцем поползла обратно. — Спасибо тебе большое! И я отдам, ты не волнуйся. Вот только денег заработаю. Славный ты человек.

И однако же комментарии: я хочу помочь. И чувствую, что помощь невозможна. Почти. То есть я почти забыл, сколько помогали мне.

Надеюсь, он придет в гнездо.

В целом-то он поехал крышей, но насчет пизды прав. Джордж, город, посвященный двум лунам, — это, конечно, прекрасно, но я знаю, что где-то должно быть великое женское божество (и Джордж ей всего-то супруг), и пока еще грех ее

наречь (по сей день имени солнца не обозначила речь); мы все мельком видели, как она хандрит в лесу своего знания (где всякое дерево — древо ее познания), и нам остается лишь славословить

* * *

Сегодня днем Сеньора Испанья и Накалка ввалились в дом с крыльца, вулканически хохоча, заковыляли по коридору, цепляясь друг за друга…

— Эй, — сказал я. — Вы чего?

Накалка обернула ко мне лицо, сморщила губы, надула щеки, распахнула глаза и загремела цепями на груди, изображая что-то непонятное. Затем ее щеки от хохота лопнули. Сеньора Испанья за локоть поволокла ее прочь.

Мимо меня, ухмыляясь, пробрался Доллар.

— Эй! — окликнул он. — Что было-то? Получилось?

Накалка обернулась и повторила пантомиму.

Доллар — не *поручусь*, что он понял больше меня, — рухнул спиной на стену, хватаясь за живот и завывая:

— Ой-ё!.. Чё, правда?.. Серьезно?.. Ни фига себе!.. — и пошел за ними по коридору, хохоча пронзительнее обеих.

Тут с веранды пришел Тарзан и сказал:

— Слушьте, дамы, ну люди спят, ну? — Эту фразу можно произнести с двенадцатью разными интонациями, и тремя из них добьешься извинений и сдавленного хихиканья. Тарзан случайным образом выбрал одну из других девяти.

— Братуха, отъебись! — сказал Доллар, выпрямляясь. — Это и их гнездо тоже! — Честно говоря, только у его смеха и был будильный потенциал.

— Слышь, ты! — сказал Тарзан. — Эти суки прискакали сюда, орут и вопят! Кто-то должен им сказать, чтоб…

— Нет, это *ты* слышь, — сказала Накалка. Ей Тарзан не по нутру, примерно как ему — любой другой белый в гнезде. — Ты, может, и Тарзан. Да только я тебе *не* Джейн!

— Я б его выебла, — сказала Сеньора Испанья. Она черная, порой углубляется в продолжительные и напряженные дискуссии с Джеком-Потрошителем и в глазах Тарзана приобрела некую обезьянью ауру. (И поэтому она относится к нему терпимее?) — Вот правда. Но Тарзан у нас никого не ебет. — Лишь одна из двенадцати прозвучала бы как надо. И Сеньора Испанья выбрала ее с легкостью, — надеюсь, Тарзан извлек урок.

Секс между обитателями гнезда довольно редок – мне приходят в голову шесть, нет, семь исключений, считая нас с Денни, – и я вот думаю, не тотемная ли у меня тут, по сути, группа, экзандрическая и / или экзогинная. В основном секс приходит снаружи – по приглашению или просто так, – и в итоге уходит. Седьмое исключение – удивительный (во всяком случае, для меня. Ланья сказала: «А почему ты удивляешься?» Не знаю, почему я удивился. Удивился вот) роман Накалки с высокой девицей итальянской наружности по имени Энн Харримон, которая в первую же ночь в гнезде взяла себе огни, и цепи, и кликуху Черная Вдова. Вечно стоят за ручку, вечно сидят коленка к коленке, перешептываются, бегают по дому и хихикают или спят в любое время дня и ночи в любой комнате, одна другой головой на грудь, одна грудью у другой под ладонью, неимоверный, невинный эксгибиционизм, почти бессловесный, в считаные часы вокруг сложился защитный / вуайеристический (?) кружок мужчин, которые таскались за

ними по пятам, отчего, кстати, обезьянья стая временно самораспустилась (Тарзан обеих недолюбливал). Спустя пару недель Вдова пришла ко мне и вернула цепи. Эти несколько минут беседы во дворе – мое единственное с ней взаправдашнее знакомство, и я тогда решил, что она мне нравится; решил, что предложу ей цепи вновь, если еще увижу (вспомнив Кошмара и Ланью); она ушла. Накалка грустила, но о ней не поминала; а потом взялась за старое. Пожалуй, здесь самое место упомянуть: как-то раз я спросил Денни, почему у него нет кликухи.

– Кошмар меня звал А. С., – объяснил он. – Пока я ему не сказал, чтоб отъебался. Поэтому я просто Денни.

– А. С.? Это что значит?

– Угадай с одной попытки.

– А, ну да, – сказал я. – А фамилия у тебя, кстати, какая?

– Одно время была Мартин. Еще как-то раз Капп. У кого в семье жил, такая и фамилия.

Легче ли моя утрата среди такой ономальной пластичности?

— Не, ну слушай; я только попросил чуточку…

В задней двери замаячил Б-г, голый и полусонный, — руки высоко на косяках, перекосил костлявые бедра, свесил крупные руки (с занятными большими пальцами) и голову. Голова поднялась, Б-г заморгал:

— Тарзан, я ложился — ты на что-то жаловался. В небе светло — а ты все не угомонишься?

— Да я просил потише, чтоб они *тебя* не разбудили.

— Мне, пацан, все равно пора вставать. И разбудили меня не *они*.

— Видал? — сказал Доллар. — Видал? От твоего ора и трепотни шуму больше, чем…

Накалка положила руку ему на грудь и пригнула голову:

— А ты тоже погоди. — Подняла глаза. — Тарзан, тебе тут жить нравится, так?

— То есть? — Тарзан воинственно дернул подбородком.

— Она спрашивает, — пояснила Сеньора Испанья, — нравится ли тебе тут жить. Или нет.

— Да, — сказал Тарзан. — Да. Мне нравится. И что ты со мной сделаешь?

— Я не буду делать ничего, — сказала Накалка. — А вот *тебе* не помешало бы. Делай как

Доллар.

— Чё? — спросил Доллар. — А чё я?..

— А именно: раз тебе нравится тут жить, ты уж постарайся отсюда не вылететь.

Б-г оборвал паузу смехом. Затрясся в дверном проеме ветреным пугалом.

— Чувак, — сказал Тарзан, — а *ты-то* чего ржешь?

Б-г рукой обхватил его за шею…

– *Эй*, слышь!..

…и, хохоча, потащил по коридору, периодически жестко вкручивая костяшки Тарзану в темя.

— Эй, перестань… ну *кончай*; больно же… ниггер! Кончай, сука!.. эй, ты что… хватит!..

Б-г отпустил его в гостиной.

— …ты что творишь, блядь? — Тарзан запустил руки в желтые волосы.

— Да проверял, правда у тебя башка бетонная или ты придуриваешься, мудозвон! Кофе у нас есть?

Тарзан уронил одну руку, другой потер сильнее.

— Ага, по-моему… по-моему, есть. Кто-то час назад ведро сварил. — Смотрел он по-прежнему растерянно.

Накалка и Сеньора Испанья пошли дальше по

коридору. Доллар сказал им в спины:

— Он не имеет права так с вами разговаривать.

— Он имеет право разговаривать как хочет, — отозвалась Накалка. — Но потом пускай послушает.

— Ну так а я о чем? — сказал Доллар; я редко с ним соглашаюсь, и это исключение стоит записать, чтобы

* * *

с этой идеей, как с кистой на копчике уже (это сколько уже?), и сегодня (на известном отрезке сегодня), когда шагал по серой (серость, серость, которую я устал замечать и отмечать; я изнурен этой серостью; вот что такое для меня эта серость) улице, такое вот воспоминание: я прохожу мимо стола, где кто-то оставил прозрачный пластиковый стаканчик, и в нем на три четверти белого вина (в дальнем чулане Ворон нашел этих стаканчиков целую пирамиду, обмотанную полимерной пленкой), а позади открытое окно; сияние вдруг преломилось на стыке пластика и вина, как на бензиновой пленке, и стаканчик затопило цветом. Если двигаться туда-сюда больше, чем на три дюйма, он превращался просто

в сальный пластик, наполненный жидкостью цвета мочи. Я думал, призматический эффект исчезнет, едва я уйду. Но еще час, проходя через кухню, я всякий раз легко находил место, откуда его по-прежнему было видно.

И вот так же идея оставалась в голове, и я всякий раз натыкался на нее, просто проходя мимо.

Я думал, имеет смысл попробовать на Темплавеню, но по вывескам такой улицы не обнаружил. Так что свернул на другую, тоже широкую и чистую, где ворота, и двери, и витрины до того целые, что о нашей катастрофе повествовало только оловянное небо. Видел, как на перекрестке переходила дорогу тетка в черном пальто и голубом шарфе; но она свернула в переулок; я заглянул, а она уже ныряет в подъезд. Я шагал, взволнованный и пустой, и знал свои формы — как движется тело, как подпрыгивает голова на шее, как прихрамывает односапожная походка — изнутри. Из дыма ко мне выходили фонарные столбы, и подъезды, и пожарные гидранты…

> Пишу, сидя на горшке; слабые утешения – ожидал слизи и совсем нездоровой какашки, колбасно-желтой и шпинатно-черной. По счастью, вышла в основном

жидкость, и вода слишком помутнела – вглядываться без толку.

Он обгонял меня где-то на квартал, но с минуту я сомневался, есть ли там кто в дыму. И прибавил шагу.

Волосы короткие и черные, коричневое вельветовое пальто с шерстяным воротником; было холоднее обычного, но безветренно, поэтому я так и ходил в жилете. Руки он держал в карманах. На пальто по бокам болтались концы пояса.

Я только на этот пояс и смотрел.

Уже нагоняя, оцарапал ногу обломком какого-то ящика или мусором на тротуаре — так и не оглянулся посмотреть, что это было. Но аж испугался. Интересно, как бы я поступил, если б не это: может, то есть, отмахиваясь от внезапного жжения поперек икры, я отмахнулся и от тех пределов мозга, что велели бы мне обогнать этого человека побыстрее, раздумывая о том, как близко я подошел. (Совершенно ли контролирует нас топология Города?)

Когда я сократил дистанцию вдвое, он обернулся. Но не остановился. Думал, видимо, что я пройду мимо.

Я схватил его за плечо, развернул и прижал к

решетке ограды.

— Эй!.. — сказал он. — Тебе чего *надо*?

Я приставил орхидею прямо ему к горлу. Он вздрогнул и как будто удивился.

— Выворачивай карманы, — велел я.

Он перевел дух:

— Валяй сам. — Он носил очки.

Он задрал руки, а я порылся в карманах его брюк. Добыл три долларовые купюры. (Кажется, острием орхидеи нечаянно порезал ему шею, и он опять поморщился.)

— Повернись, я задние карманы проверю.

Он повернулся, и я шарил под фалдами пальто, пока не догадался, что у него на брюках *нет* задних карманов. Тут я подумал, что сейчас ему врежу или порежу его; но не стал.

Я отступил, а он повернулся и посмотрел на меня. Плотно сжал губы. Отступая, я заметил, что боковые карманы у него гораздо глубже, чем мне казалось: под черной джинсой я разглядел очертания кружочков мелочи.

Он глянул влево, мимо поднятой руки.

Через дорогу, глядя на нас, шел какой-то мужик. Но я посмотрел, и мужик отвел глаза.

Этот человек неприязненно фыркнул, уронил руки и шагнул прочь.

Я махнул орхидеей и сказал:

— Эй!

Он оглянулся.

— Ждешь здесь десять минут, потом уходишь, — сказал я и снова попятился. — Позовешь кого или пойдешь за мной — почикаю! — Я развернулся и кинулся по улице; разок глянул через плечо.

Он уходил.

Я свернул, забежал в подъезд — снять орхидею и спрятать три купюры в карман. Потом нагнулся, закатал штанину и осмотрел ногу. Крохотная царапинка на икре — сбоку, вниз и назад к лодыжке, точно гвоздь задел, или сломанную доску, или

* * *

на переднее крыльцо, где повстречал Леди Дракон: джинсовый жилет туго зашнурован, руки скрещены на груди (отчего шнуровка над ними слегка провисает), глядит задумчиво.

Давненько ее не видал.

Вернулась вот.

Что поделывала?

Ничего.

Где была?

Да так.

Я обхватил ее рукой, но к тисканью у нее душа

явно не лежала. Так что руку я убрал и просто пошел рядом.

Пока мы обходили дом, ее слегка отпустило, но темных рук она не расплела.

Малыш и Адам с тобой?

Ага, скоро придут.

Привел ее во двор (сказал: «Рад тебя видеть снова», — и она ответила пятнозубой улыбкой) и вручил обезьянам с Тарзаном, которые там дурачились. Атмосфера сдала нам день, безликий, как ночь. Сколько времени, я не знал; гомон и шутки объяли ее, а она села под деревом, свесив кулаки между колен, и взгляд у нее был тревожный и ни на чем не задерживался. Раздумывая, который час (ранний? поздний?), я решил, что починю-ка я раковину на веранде (потому что за чем-то лазил в шкафчик под раковиной в кухне и нашел инструменты; топология опять же предопределяет), а когда перекрыл воду и отвернул первую гайку, решил, что разберу все целиком и уж тогда посмотрю, захочу ли собирать.

> Опять и опять я вынужден поминать вневременность: это явление раздражает ту часть мозга, что отмечает ход времени, и поэтому мгновения, секунды, минуты

мучительно реальны; однако часы – и уж тем более дни и недели – рудиментарные шумы мертвого языка.

Я снял резервуар с сифона, и на пол поплюхалось много волосни и лиловая мерзость. Открутил краны. Надо было начать с них, а потом уже резервуар: в обоих поднялась ржавая вода и через сток вылилась на пол. Потом я вынул из кранов сальники.

Вышел Б-г, присел, понаблюдал, временами подавая мне инструменты; в конце концов необъяснимо вопросил:

— Ты чё делаешь, бля? — и помог мне стрясти со стены всю конструкцию на лапах с шарами (резко вскочив, когда она едва не рухнула).

— Собираю раковину, — ответил я ему, поскольку только что решил.

Я потерял имя. И что теперь? Насельников этого города объединяет как минимум одно – равнодушие к подобным казусам; это здесь не превозносят как свободу и не оплакивают как травму; это воспринимается как обстоятельство ландшафта, а не личности.

Б-г закряхтел и подпихнул чашу сзади. Суставы на больших пальцах у него кривые; я прежде не замечал.

На подоконнике нашлась какая-то бечевка, с кухни я принес банку замазки. Но когда отколупал с нее крышку отверткой, выяснилось, что поверхность вся растрескалась, как Аризона. А я не знал, где у нас масло. Б-г ушел, вернулся с бутылкой хлопкового «Вессона», и я не придумал, что на это возразить. Б-г сел наблюдать дальше.

— Могли, конечно, найти дом без протекшей раковины, — сказал он. — Но тогда нечем было бы заняться.

Я посмеялся — ну, насколько удалось посмеяться, одной рукой держа трубу холодной воды, а другой навинчивая на нее кран.

Что-то у Б-г спросил.

Точно не помню, что он ответил, но где-то посреди фразы сказал:

— …типа, я когда только пришел, бродил такой по улицам, знал, что можно же в любой дом залезть, и страшно мне было зверски…

Мы поговорили об этом. Я вспомнил свои первые прогулки по улицам. (Б-г сказал: «Но я все равно залез».) Помнится, пока болтали, я думал: Не сказать, что у меня нет будущего. Просто оно

бесконечно дробится о несбыточную и невнятную эфемерность прошлого. В летней стране, прошитой молниями, как-то нечем и закончить; но здесь концовка избыточна сама по себе. Я сказал Б-г что-то вроде:

— Этому городу не помешал бы нормальный ветер или гроза с молниями. Очиститься. Или гром.

— Ой, — сказал Б-г. — Ой, чувак… *Нет* уж! Не, этого я, наверно, не переживу. Здесь — точно, — и усмехнулся (как, подозреваю я, приговоренный).

Поболтали мы на славу. Тихо-мирно так, вникаешь скорее в ощущения, чем в информацию. Он меня спросил, как я считаю, долго ли тут протяну, а я ответил:

— Не знаю. А ты? — и он засмеялся вместе со мной. Я обматывал резьбу бечевкой и прикручивал другой конец трубы холодной воды, и тут из дверей кто-то сказал:

— Приветик, Шкет.

Я оглянулся.

В дверях стоял Фрэнк — похоже, не знал, сунуть руки в карманы или не стоит.

— Привет, — сказал я и опять взялся за кран.

— Как делишки?

Я закряхтел.

Перечитываю дневник и не могу разобраться даже, что было раньше, а что потом. Случаются истерические моменты, когда мне чудится, будто выяснить это – единственная моя возможная надежда / спасение. Вдобавок странно, чего я не записал: тот день с Ланьей, когда она повела меня в городской музей, пришли до зари, ушли после темна, сидели в залах с реконструкциями XVIII века («Можем поселиться тут, как Калкинз!» – и она с улыбкой прошептала: «Нет…» – а потом поговорили про то, что можно сходить сюда в набег; и снова она сказала: «Нет…» – на сей раз без улыбки. И я не пойду. Но из всего, о чем мы говорили, и как бродили, и как ужасно оголодали в этом жемчужном свете из потолочных люков, потому что уйти оттуда было нестерпимо), должна была сложиться самая длинная и подробная история в этом дневнике, потому что там она показывала мне предмет за предметом и рассказывала о них, чтобы для меня они наполнились смыслом; там она стала реальной посредством того, что знала и

что сделала, уж точно реальнее, чем посредством того, что было сделано с ней, сделано с ней, сделано; и может запросто оказаться, что вот так я всегда и хотел ее понимать. Хотел, чтоб она сводила туда Денни и все гнездо; и – держа маленькую картину, которую сняла со стены, хотела показать мне, как грунтовали холст в семнадцатом веке («Господи, я неделями варила черное масло и мастичный лак! Удивительно, как никто не задохнулся»), – она сказала:

– Нет, не стоит, пожалуй. Даже с тобой заранее не угадаешь. Не сейчас. Может, потом, – и снова повесила картину, вверх тормашками.

Мы засмеялись.

Тогда я перевесил вверх тормашками семнадцать картин – «Ну ты что! Кончай…» – твердила она, но я все равно перевесил. Так, объяснил я, любой, кто сюда зайдет, заметит их, нахмурится и, может, перевернет обратно. А в итоге посмотрит на них чуть дольше.

– Я только те, которые мне нравятся.

– А, – с сомнением сказала она. – Ну то-

гда ладно.

Но это памятнее, если не записать. А для меня это важно. (Вот только пока я, собственно, пишу, какой-то миг все ярче…) В общем, на этом все, устал.

Надо только рассказать про эту странную стычку с Денни, которую я так и не понял, – думал, пришибу гаденыша. А Ланье было неинтересно. И это меня так взбесило, что я и ее готов был пришибить. Поэтому полдня провел в обществе бутылки вина и Сеньоры Испаньи, брюзжали про них обоих и отхлебывали по очереди – Сеньора Испанья завела теперь моду носить кучу колец, – и пришкандыбали в «Эмборики», друг друга подначивали туда залезть, не залезли, но когда в обнимку шествовали мимо, я сказал ей:

– Между прочим, ты тут мой единственный настоящий друг, – разнюнился, но так было надо. Потом мы орали:

– Мудилы! Говноеды, сука, мудацкие! – и эхо катилось по нагой улице. – Выходите, будем драться!

Мы бились в истерике, ковыляли туда-сюда вдоль бордюра, расплескивая вино.

– Ага! – завопила Сеньора Испанья. – Выходите, будем… – и рыгнула; я думал, сблевнет, но нет: – Сюда! – Глаза у нее ужасно покраснели, и она все терла их пальцами в кольцах. – Выходите, будем… – и тут увидела его в большом окне на третьем этаже. Под мышкой он держал винтовку. Грудь клином, оброс, даже синяя-синяя рубашка – с улицы было видно, что она ему велика; я его узнал, и мне стало странно.

– Эй, – сказал я Сеньоре Испанье и объяснил, кто это. Она сказала:

– Гонишь?

Я засмеялся. Потом она сказала:

– Погоди-ка. А он-то тебя узнал?

Но я опять заорал. В паузах между приступами хохота обозвал его всеми словами, какие придумал. Сеньора Испанья все твердила:

– Слышь, у него ружье! – сильно протрезвев. – Шкет, валим!

Но я не унимался. А он смотрел. Один раз шевельнулся, поставил винтовку прикладом на подоконник, стволом вверх. По-моему, улыбался. Потом мы ушли.

Город – карта предчувствованных кровопролитий. Вооруженные обитатели «Эмборики», кольцо черных вокруг, шипение отвернутого крана, из которого больше не течет струйкой, спустя сколько времени ушедший отряд вернется с консервами, фасованной лапшой, фасолью, рисом, спагетти, – все это образы неотъемлемого грядущего шока. Однако в реальности замесы мелочны, мелки, огорчительны, неубедительны, превыше всего глупы, словно подлинным страхам город выхода не дает. А в результате что? Вся человечность здесь изумляет; вся доброта осенена благодатью.

Мы с Сеньорой Испаньей добрались до гнезда, хохоча, изумляясь, что живы.

Ланья на заднем дворе сообщила, что водила Денни в музей:

– …на пару часов. Мы посмотрели все картины, которые тебе особенно понравились, – и Денни их перевернул. Чтобы посмотреть самому, понятно.

– Стерва самодовольная, – сказал я.

Она сказала:

– Кто? Я?

А Денни засмеялся, словно выставил дураками нас обоих, – мы, короче, оба не поняли. Потом он сказал, что они гуляли, он водил ее в одно место, называется озеро Холстайн. Они заползли ко мне в постель, и мы болтали до зари, а из нас троих только Денни не понимает, насколько проще от этого нравиться друг другу. А Денни наговорил много и меня убаюкал – хотя я бы предпочел не засыпать, – и вскоре я проснулся, а они тоже спали в знакомой конфигурации.

Мы столько способны пережить.

И заполз между ними (так все-таки удобнее, пожалуй, чем знакомая конфигурация), и спал дальше, пока Сеньора Испанья и Риса, рассмеявшись в коридоре, нас не разбудили; я надеялся, они зайдут. Не зашли.

— Рад, что тебя нашел. Никто не знает, куда ты делся. У меня вопрос: можно с тобой поговорить?

Я злился, что он помешал; и что, отворачиваясь от него, я вынужден как бы отворачиваться и от Б-г.

— Чего тебе?

Скрипнула дверная рама: Фрэнк поерзал под косяком.

Затем половицы: Б-г на корточках переступил ногами.

— Короче, — сказал Фрэнк, примиряясь с перспективой излагать, не видя моего лица, — я вот подумал… ну, это: как бы мне, к примеру, закорешиться тут с вами?

Я обернулся и успел увидеть, что Б-г уже отводит от него взгляд.

— То есть, — продолжал Фрэнк, — у вас инициация какая-то? Или надо, чтоб тебя привели? Или вы всей толпой голосуете?

— Тебе зачем? — спросил я. — В коммуне разонравилось? Или ты статью в «Вести» пишешь?

— О том, как стать скорпионом? — засмеялся Фрэнк. — Нет. Я спрашиваю, потому что… ну, в парке несладко. — Он через плечо глянул в коридор. — Странные персонажи завелись. У вас, правда, тоже тесновато. — И решил, что все-таки в карманы. — Вы как, не голодаете еще? Не стоит, наверно, говорить, но Джон и Милли премного вам обязаны, что вы больше не таскаете у них гуманитарку.

— Это упущение, — сказал я.

— Зря я рот открыл.

Я заглянул под раковину, поискал, что бы поделать, но ничего не нашел. Так что еще поискал.

— А у вас тут, я вижу, все серьезно. Там, где я сейчас, происходит всякое, и мне не в жилу. Я спрашиваю, где мне получить перевод, где билет купить…

— Ой, слышь, — сказал я. — Про такую фигню я сейчас не могу. Я занят.

— Само собой, Шкет, — выдал он очень быстро и отклеился от косяка. — Может, попозже. Я тут поболтаюсь… пока ты не освободишься.

Б-г протянул мне бечевку.

— О, спасибо, — сказал я Б-г, — но фиг с ним, наверно, с жироуловителем, не буду ставить. — И не поставил, но и так получилось нормально.

Покосился на дверь.

Фрэнка не было.

Так что мы оттерли раковину от жира, более или менее молча, гадая, на хера морочиться, что за идиотское занятие, и понимая, что ценность его — шанс поделать что-нибудь вместе с Б-г — прошла, прояснившись. Ну, зато раковина не течет.

Что-то (я услышал) творилось перед домом. Я удивленно послушал (глянул на Б-г, глянувшего на меня), как в гостиной кто-то встал, выбежал

на крыльцо…

— Ой-ё, — сказал я. — Пошли. — Мы разом вошли в коридор. Там Б-г меня опередил; мимо него я протиснулся в дверь, остановился на четвертой ступеньке.

— Господи боже! — заорал Фрэнк. — Эй, *полегче*!..

— Цепь захотел, а? — Саламандр, пригнувшись, еще раз намотал звенья на кулак, завел руку назад и махнул кулаком. — Я тебе цепь на шею, блядь, накручу!

— Да *блин*, друг! Слушай, я же просто!..

Из неплотного кольца зрителей кое-кто глянул на меня; Фрэнк тоже, но отскочил от Саламандрова кулака:

– *Эй!..*

Саламандр, сосредоточенный, как бильярдист, снова занес кулак.

— ТАК! — и я спустился с крыльца. — ЭТО ЧТО ТУТ ЗА ХУЙНЯ? — на что обратили внимание все, кроме Саламандра. — САЛАМАНДР!.. А! Ну! Харэ!

А в мыслях: и вот сейчас мне придется с ним драться. А также в мыслях: оно того не стоит. Но он отвел локоть, а я цапнул хвост его цепи и рванул. Он разжал и отдернул пальцы. Больно, небось, — потому что мне-то больно было, сука,

адски.

Я подошел к Фрэнку (который, похоже, боялся меня не меньше, чем Саламандра) и сказал:

— Это что такое, а? Так, ладно, ты что делаешь в этом…

— Я не… — И он вздрогнул, заметив движение у меня за спиной.

Я не обернулся.

— По-моему, тебе пора. — Наверно, Саламандр изобразил какой-то финт. — Все. Давай. Шевели поршнями.

Он произнес было:

– *Э-э*… — и я понял, до чего привык, что люди делают, как я велю, когда они больше ничего не делают.

— Послушай, — сказал я, — ты так себя ведешь, что помнить об этом все сложнее, но на сегодняшний день ты — мой самый меткий критик; посему ты заслуживаешь некоего почета. И я оказываю тебе почет: брысь!

Фрэнк развернулся, робко улизнул между Болидом и Сеньорой Испаньей, которые разомкнули перед ним кольцо.

Я обернулся к Саламандру:

— Чувак, ты, небось, меня ненавидишь. Вечно я тебе развлекаться мешаю, да?

— Ай, Шкет, — Саламандр запястьем потер бороду, — я лупить-то его *не* собирался.

— Только напугать. Ну да. — Я уже видел, как надвигается история: Фрэнк бесил, задавал вопросы чересчур в лоб, не так усмехнулся, не так посмотрел; и из скуки этого дня выкристаллизовалась драка.

Вечером вернулся Калифорния. Столкнулся с ним раза три / пять, пока не заметил, – мы были на веранде, – что на цепь светощита он повесил комплектом золотую шестиконечную звезду (с ивритскими буквами) и черную свастику (с серебряной каймой). Джек-Потрошитель, о чем-то разглагольствуя, обозвал было Калифорнию «чокнутой жидовской сволочью…» и тут увидел звезду, гнутый крест. Я расслышал, как тишину прорезал силуэт непроизнесенного оскорбления. А потом Потрошитель заговорил о другом. Калифорния со своего ухода переменился: худые руки сильнее напружинены; костлявые плечи острее выдаются вперед; голубые глаза между длинными прядями стали больше и злее.

(Какие странные символы!) Мне кажется, такую же перемену пережил я, раздобыв свою цепь с призмами, зеркалами, линзами… Тактичность Потрошителя меня удивила (он, впрочем, обозвал Калифорнию жидовской сволочью пять минут спустя), но оскорбления, которыми мы тут разбрасываемся с такой якобы легкостью, – фишки в сложной игре, и очко заработал Потрошитель. Штрафы за ошибки порой огромны – вспомним, как вломили Доллару у Калкинза. А награды? В нашем пейзаже они, я подозреваю, не меньше. Я высокопарен или подлинный и необходимый смысл этих оскорблений (отчего они – подлинный и необходимый пласт самобытного языка Беллоны) – напоминать нам, что нередко мы жестче всего подчиняем свои поступки культуре, как раз когда всего острее сознаем свою свободу на поле?

Саламандр взялся настойчиво излагать эту историю. (Я бросил ему цепь, а он поймал и надел на шею, не прервав фразы.) Так что я поманил его за собой и, слушая вполуха, вместе с ним поднялся

на крыльцо.

Б-г и Леди Дракон наблюдали сверху. Они тихо и живо переговаривались, пока все гуськом шагали мимо.

Саламандр на ходу попытался было втянуть в анекдот и ее. Может, из-за того, как она скользнула по нему взглядом (или из-за того, что не посмотрела ему в глаза), он прошел мимо, лишь уронив руку ей на плечо, а она кивнула. И вернулась к разговору с Б-г. Что удачно поясняет, почему

* * *

по обугленной траве прихлопнуло разговор. Восхождение по камням среди зеленых кустов вновь его растрясло. Собор сказал Жрецу, что черное каменное строение в дыму — Погодная башня.

Все равно не вижу ни флюгеров, ни антенн, ни анемометров.

Мы вывернули из-за угла — левые ляжки на ходу трутся о камни размером с голову, правые (локти задраны) исцарапаны кустами.

Человек посреди двора склонился над треногой. Когда мы приблизились, он поднял голову: капитан Кэмп.

Который не узнал меня, пока мы не подошли вплотную.

— …Шкет?

— Здрасте, капитан.

Тут он рассмеялся:

— Вы довольно зловеще смотритесь.

И замялся, не зная, подавать ли руку. Проблему решил Ангел, подав руку первым. Они переплели большие пальцы.

— Ангел, — сказал Ангел.

Кулаки, розовый и коричневый, сцепились, сотряслись. Мне показалось, байкерского рукопожатия Кэмп и ожидал; потом он сказал мне, что видел его впервые в жизни.

— Майкл Кэмп, — сказал Кэмп.

— Собор, — сказал Собор.

Сотряс.

— Калифорния, — сказал Калифорния.

Сотряс.

— Жрец… А вы астронавт, да?

Сотряс.

— Именно так.

— Испанья.

— Это Сеньора Испанья, — поправил Собор.

Сотряс. Кэмп эдак странно улыбнулся, но решил, что лучше смолчать. Оно и к лучшему.

— Тарзан.

Сотряс.

— Шкет.

Мы пожали друг другу руки.

А Кэмп сказал:

— Еще бы. На сей раз я вас не забыл, — и все засмеялись. Потому что вышло очень официально.

— А это зачем? — Собор отошел к выщербленным ступеням и сел. Он все жаловался, что стер ногу.

— Это телескоп, — сказала Сеньора Испанья, — с зеркалом, да?

— Именно так. — Кэмп подошел к нему с другой стороны.

— Ну вот, — сказала Сеньора Испанья. (Телескоп напоминает, что я хотел записать один разговор с Ланьей и всякими людьми в гнезде.)

— А он вам зачем? — спросил Собор, подавшись вперед, выгибая вверх-вниз носок кроссовки. Его цепь качнулась к бурой впалой груди и, звякнув, прочь.

Кэмп сощурился на облака:

— Да особо, пожалуй, незачем. Я иногда вижу просветы в облаках. Я думал, может, удастся глянуть на ваше небо. После историй про двойные луны и гигантские солнца…

В тишине я подумал, сколько раз никто не поминал их ни словом.

— Все-таки… — (вот знаете, есть такое выражение «голоса прорезали тишину»? Я понял, до чего мощная стояла тишина, по треску этого «все-таки» в голове), — я тоже… кое-что видел. — (И сколько эта тишина длилась?) — Я думал, прихвачу телескоп в парк — говорят, этот холм — одна из высочайших точек в городе, — и, может, проверю, на месте ли планеты. Нашел у Роджера в библиотеке эфемериды. Но у меня уже неделю не ходят часы. Вы, друзья, не знаете, случайно, какой сегодня день?

Никто ему не ответил, и он цыкнул, повернулся к белой алюминиевой трубе (с черными кольцами посередине), заглянул с открытого конца.

— Ну, кто-нибудь наверняка знает.

Интересно, знает ли Джордж или Джун.

— В газете утром, — сказал Калифорния, — писали, что девятое ноября.

Кэмп и головы не поднял.

— Если по местам планеты, это более или менее означает, что и Земля на месте. — Он покосился на нас, успев улыбнуться. — Пред лицом этой космологической катавасии всем немножко полегчает.

— А вдруг нет? — спросил я.

— Я, — сказал Кэмп, — думаю, что да. Но все станут счастливее, если узнать *точно*.

— Резонно, как по мне, — сказал Ангел. Он подошел и заглянул в трубку. — Ой, там мое лицо вверх ногами!

— Я думаю, возможность напечатать в газете, что мы знаем хотя бы это, была бы полезна политически. Все поутихнет — а то кое-кто сильно нервничает. И я их понимаю. — Кэмп поднял голову одновременно с Ангелом; их взгляды скрестились. — Вам-то, мальчики, — и под этим предлогом он перевел взгляд на Сеньору Испанью, кивком обозначил и ее, — политика, вероятно, не по душе, но мне кажется…

В паузе Собор сказал:

— А вам, значит, по душе?

— Мне… по душе теперь, пожалуй. — Его руки лежали поперек белой трубы. Кости шевелились под кожей, словно в перчатке. — Но по-моему, ваш мистер Калкинз — политик довольно консервативный. Вы как считаете?

Собор двумя темными пальцами потеребил толстую мочку. Там, где втыкалось золотое кольцо, кожа темнела и морщилась — то есть серьга у него недавно.

— Он-то, конечно, полагает себя радикалом. Но по-моему, радикал тут я, а он консерватор. — Я ждал, что он засмеется; он сощурился на облака, на телескоп. — Вот я, видимо, о чем.

— То есть вы так консервативны, — предположила Сеньора Испанья, — что аж до радикализма?

— Нет, — засмеялся капитан Кэмп. — Нет. Не в том дело. Может, на самом деле мне политика… не по душе. — Он помолчал. — Но страна-то теперь такая огромная. Роджер… ну, наверно, всем трудно понять… до чего огромна эта страна.

— Если не увидеть ее, — спросил я, — с космического корабля?

— Из ракеты, — сказал он. — Нет. Нет, я не о том. Мегалитическая Республика… Мегалитические республики — Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Народная Республика — политические образования совсем иного рода, нежели, допустим, Франция, Борнео, Уругвай или Нигерия. Жители мелких государств это понимают, но не понимают, отчего так. Жители Мегалитических Республик в мелких государствах видят чужеродность, экзотику, не пойми что, но не понимают даже, почему у тех такие истории. Двести милли-

онов человек, девяносто процентов грамотных, все говорят на одном языке! А теперь сопоставьте, например, с… — Пока он держал паузу, я гадал, сколько примеров у него припасено. — Возьмем Грецию. Каких-то восемь миллионов человек — население целой страны меньше, чем города Нью-Йорка. Мужик из Македонии не поймет мужика с Пелопоннеса. Да черт возьми, мужик с севера Крита не поймет мужика с юга. Моя жена вот решила, что надо бы съездить. И мы прожили там полтора месяца. Это моя первая жена была. Но нигде в Европе нельзя механическим транспортом проехать по прямой дольше восьми часов и не наткнуться на другой язык, другую валюту, другую культуру! Как преподавать три тысячи лет европейской политики американским детям в американских школах или русским детям в русских, когда они живут в странах, где на машине катишь целый день в любую сторону — и не пересекаешь границу? Нужно там побывать, чтобы понять. Вот из вас кто-нибудь ездил в Европу?

Собор кивнул.

Ангел сказал:

— Я в Германии служил, в армии.

— Я не бывал, — сказал Калифорния.

— И я не бывал, — эхом откликнулся я, вспоми-

ная Японию, Австралию, Уругвай.

Сеньора Испанья сказала:

— Я — нет.

Но даже двое подсекли Кэмпу аргументацию.

— Ну, короче, тогда вы меня понимаете. Америка… Америка такая огромная. А Беллона — один из полудюжины крупнейших городов Америки. То есть один из крупнейших в мире. — Он нахмурился — главным образом Собору. — Но вы тут все, вместе с Калкинзом, просто не представляете себе, до чего это огромно и насколько здешние люди поэтому уникальны.

— Вы в него разглядите что-нибудь? — спросил я. — Даже когда в облаках просвет, он обычно ненадолго.

Кэмп согласно замычал.

— Информации… много не надо — помните, я вам на празднике рассказывал? Замаскируй почти всё — и даже крохи сообщат массу данных. — Он снова посмотрел в небо. Морщины у глаз удлинились. Губы раздвинулись и истончились.

— Эй, в Европе-то мы *были*, — сказал Ангел. — А про Луну вы расскажете? На Луне были только вы.

— Ёпта, я это по телевизору видела, — сказала

Сеньора Испанья. — В прямом эфире. А Европу не видела по телевизору никогда. Только в кино.

Кэмп усмехнулся:

— Я провел на Земле тридцать восемь лет. — Он уставился в землю. — А на Луне — шесть с половиной часов. И вернулся оттуда, ну… уже сколько-то лет назад. Но эти мои шесть с половиной часов — единственное, что теперь всех во мне интересует.

— И как там было? — спросил Тарзан, будто вопрос логично вытекал из реплики Кэмпа.

— Знаете что? — Кэмп обошел телескоп. — Это как приехать в Беллону.

— То есть? — Собор обеими руками оперся на ступень и подался вперед, присматриваясь — из враждебности Кэмп так сказал, или это просто новая мысль, или то и другое.

— Прилетев на Луну, мы много чего знали о том, где оказались; и в то же время не знали почти ничего. И здесь ровно так же. Прошло шесть с половиной часов, — задумчиво сказал Кэмп, щуря глаза в дыму, — и настала пора улетать. А если сегодня вечером я не вычислю, где мы, наверно, мне настанет пора уезжать и отсюда.

Сеньора Испанья посмотрела в небо, затем на меня:

— И куда вы? — затем опять в небо.

— Туда, где будет ясно, где я.

Небо от края до края сплавилось воедино.

— Желаю удачи, — сказал Собор.

— Тогда это, выходит, прощание, — сказал я.

Собор поднялся со ступеней.

Кэмп носком ботинка подвинул одну ногу треноги.

— Не исключено. — Металлический кончик заскрежетал ужас как громко.

— Покеда, — сказал Собор.

Мы пошли вниз по холму.

Ангел поинтересовался, что Кэмп говорил на празднике про информацию. Я постарался воспроизвести. Ангела это завело, и он разразился эдаким дифирамбом про то, как все, пока мы идем сквозь подлесок, по камням и через кусты, говорит ему о парке; развлеклись от души.

> Речь всегда превосходит поэзию, как печать никогда не дотягивает до речи. Слово запускает образы в полет по извилинам, и из этих ауспиций мы вызываем к жизни и масштаб, и намерение. Я не поэт, ибо мне нечем придать жизни сносности, разве что уделить ей внимание.

> И я не знаю, хватит ли моего, раненого. Возможно, люди слышат, как часы говорят «тик-так». Но я точно знаю, что часы моего детства говорили «тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик…». Отчего я вспоминаю об этом в городе без времени? Поразительно, что находят у себя на теле волосатые мужчины.

Обильно болтая друг с другом, вышли из-под деревьев, как раз когда кто-то сунул полено в очаг. В вышину серого предвечерья полетели искры; дымный столб истончился.

— Эй! — сказал Джон и пошел к нам между, сквозь и вокруг других, которые сидели и стояли. — Как делишки, ребят? Как жизнь?

Я смотрел на дым.

Как он истончается.

Двое (розовые майки; длинные соломенные волосы) выволокли спальники из-под пикниковой скамьи.

Обогнав Джона, Вудард, желтый, как листик, и ворсистый, как… ну, как Вудард, подбежал, застыл и захлопал глазами на меня (на нас?). По-моему, сначала решил, что нас знает, а потом усомнился.

Я уже хотел было поздороваться, но Джон его догнал, взъерошил ему волосы и сказал:

— Шкет, давненько не виделись.

Руки у него по-прежнему были чистые, а вот в клетчатом жилете он с нашей последней встречи, похоже, пожил.

— Нормально? — спросил я.

Джон выдал вялую улыбку:

— Ну, по возможности.

Что-то было не так; словно я не узнавал того, что видел, хотя должен был, — или узнавал, хотя видел впервые.

— Шкет! — а это Милли.

Они затараторили, не дав мне шанса представить остальных, — это тупизм, думал я, но Милли с Джоном вечно так. Милли, самая разговорчивая, перешагнула спальник, в котором какой-то пожилой мужик сел и принялся протирать очки полой рабочей рубахи «Суит-Орр».

Потом я решил, что пошли они нахуй, пускай знают, кто есть кто, и сказал так громко, что они умолкли:

— Это Собор. А это… — и дальше по порядку. Пока всех представлял, заметил, как на поляну вышел парняга с ружьем под мышкой — с этого и началась драка.

И это, когда все пережито, мне как-то неохота снова описывать, потому что я сто раз все изложил куче народу и в баре, и в гнезде. Сеньора Испанья очень воодушевилась, спрашивала, откуда был парняга. Джон и Милли, по-моему, хотели ответить, что не знают, но Джомми сказал, что он, сука, из универмага в центре, а Милли сказала:

> Передумал: раз последствия так многочисленны, надо все-таки изложить еще разок, самому для себя прояснить. Мне запомнилось несколько вещей: например, они ему заранее приготовили коробку с продуктами, поставили на край пикникового стола (как раньше для Кошмара). И у него были штаны хаки, пояс очень высоко, и рубашка хаки (армейская? морская? нет, вряд ли), и оранжевые строительные сапоги – и рубашка, и штаны, и сапоги по виду новехонькие. Но я не понимал, какого цвета у него волосы. И еще: винтовка, которую я упомянул первым делом, меня тогда не удивила. Пока он не заговорил и ею не замахал, и раз не ткнул ею в сторону мужика, так и сидевшего в спальнике.

У меня в голове пронеслось, типа, может, это их какой друг-одиночка вроде Тэка, а я его раньше видел? а где? Я уже паре человек с тех пор сказал, что раньше его встречал – хотел это чувство объяснить как бы и забыть. Сейчас уже сомневаюсь; но какой-то миг был уверен, что этот парень сидел на балконе в ту ночь у Джорджа. А теперь равно (ну, насколько был раньше) уверен, что нет, не он. Первым, вообще-то, зашевелился Собор – никто об этом не упоминает, когда обсуждается эта история. Я думал, он возьмет коробку себе. Видимо, парень тоже так подумал; потому и поднял винтовку.

О чем думали человек десять, стоявших вокруг?

О чем думал я?

Я цапнул ствол одной рукой, а основанием свободной ладони со всей дури врезал по ложу – думал, надлом запястья. А в мыслях (и изначально все это накатило смещенным узнаванием): я уже так делал… Нет… я *никогда* так не делал, но если *собираюсь*, то пора! И пулю в грудь я не получил лишь потому, что парень

сильно перепугался или, может, не привык убивать людей. Чему я очень рад. Я рванул с поворотом, рука горела, и я посмотрел, как на его лице удивление превратилось в боль – пальцы застряли в спусковой скобе.

Ружье *грохнуло*! Я думал, взорвалось у меня во рту. Но ствол указывал мне через правое плечо. (Спроси меня тогда, я б сказал, что почувствовал, как пуля задела по уху, – но *так*, наверно, не бывает.)

Винтовка выпадала / падала / выскальзывала(?) у него из рук; я рванул ее вбок, рванул на себя и хренак ему в ляжку. Он крякнул и покачнулся. Бросился было на меня; но его удержала Сеньора Испанья; а потом Собор.

Я еще разок заехал ему в живот прикладом.

Потом Джон все твердил:

– Шкет, ты псих, чувачок! Чувачок, ты псих, Шкет! – в пароксизмах истерического ликования, а Собор *et* еще пять *al*[49] держались ко мне плечом к плечу. Мысли

[49] Примечания: 49
И… прочих *(лат.)*.

мои пузырились (Да, я крикнул парню вслед, когда он встал и ухромал: «Пошел нахуй отсюда, сам себе еду ищи!» – потому что так сказать было проще всего, так у моего поступка появлялась причина; но пока все стояли и трещали о том, как это тяжко, когда у тебя вечно таскают еду, и, может, теперь на время перестанут, оставят их в покое, я все думал, что надо забрать эту коробку [у нас под домом запасы – нам не нужно], *потому что* нам не нужно), но осадком выпало: забирай; только так можно было им объяснить, почему я так.

Я ее забыл, коробку эту.

На полпути в гнездо, когда Собор и прочие громогласно обсуждали, до чего все это было круто, я трижды вспомнил (и забыл), как решил поступить. Сказал им – чтоб начать, потребовалось много сил. Но они не поняли («Да! Да, надо было!» – это Тарзан; а Сеньора Испанья: «Это бы нормально. Они б не обиделись») и вопили себе дальше.

Я не поэт.

Я не герой.

Но иногда мне кажется, что эти люди изуродуют реальность как угодно, лишь бы я им стал. А иногда мне кажется, что реальность как угодно изуродует меня, лишь бы я им выглядел – но это же безумие, да? А я не хочу опять безумия.

Не хочу.

— Ты же не знаешь *наверняка*, что он из «Эмборики», — а Джомми сказал, что он, ёпта, знает и что их один раз уже выгоняли из одного угла парка в другой; а я был не в курсе даже.

— Чувачок, — сказал Джон, колотя меня по плечу и ухмыляясь. — Ты, Шкет, совсем псих; вообще псих, совсем… — Он потряс головой, смеясь, будто это очень смешно. — Ну ты даешь!

— Вам дать коробку? — спросила Милли. — Надо им дать еды. Джон. Мы же давали Кошмару.

— Ёпта, — сказал Собор. — Да у нас еды целый подпол.

— Все, пошли, — сказал я. — *Пошли*, выметаемся, ну их к хуям, нищебродов! — Чем я запустил прямой наводкой в Джона (а оно пролетело у него над плечом и попало во Фрэнка, который сидел на столе, как будто коробку охранял. И обоим хоть бы хны, между прочим, — ухмылялись, сволочи).

Короче, мы ушли.

Ангел все гарцевал, дергал меня, прямо как Джон (Собор нес винтовку, взялся ее рассматривать, а я сказал: «Эй, выкинь эту поеботину! Слышишь меня? Выкинь эту поеботину — сломай обо что-нибудь, ниггер, не то я бошку твою черную обо что-нибудь сломаю!» Он разнес ложу о камень, ворча: «Точняк!» — и выкрутил пороховую камеру практически до полной бесполезности. Я сказал: «Это не скорпионье оружие! У скорпионов жало, блядь!» — и поднял орхидею. Им понравилось), *в точности* как Джон, и все твердил:

— Чувак, ну ты ваще даешь!

— Надо было забрать у них эту блядскую коробку.

— Да, — сказала Сеньора Испанья. — Да. Надо было.

Тарзан сказал:

— Ага. Это бы нормально. Они бы не обиделись.

— Ну ты дал жару, — снова сказал Жрец, а Собор засмеялся и потряс меня за плечо.

И так до самого возвращения в гнездо. Тарзан и Жрец вошли вместе со мной. Собора, Сеньору Испанью и Ангела затормозили снаружи, где

они и начали излагать. Ну, это, наверно, ничего. Там собралось немало пьяных — толпа каких-то нескорпионов, друзей Разора, кажется, я не понял, да и пофиг, — было кому послушать.

Я шел по коридору, и тут из гостиной выскочил Денни и схватил меня за локоть:

— Эй!.. — Весь такой возбужденный.

Я думал, он сейчас про историю в парке скажет.

— Что эй?

Он только глазами похлопал.

И я пошел дальше.

А он следом и сказал:

— Там Ланья на антресолях, но, — (я вроде как хотел уже зайти), — по-моему, она занята.

Тут я остановился.

Денни сказал:

— Тебе, наверно, лучше туда не надо.

— Что она там делает?

— Трахается.

– *Здесь?* — сказал я не очень даже громко. Удивился, во-первых, а во-вторых, помнится, подумал, что не очень-то это круто: она ж вся такая против групповухи (и, если что, не подкачает перед агрессивными представителями мужеского пола) — и спуталась с парнем из моего гнезда у

меня же на антресолях?

Кто-то шагал по коридору из сортира.

— Пошли, — сказал я Денни; мы вышли на веранду. — С кем она ебется? — Я знал, что ответ меня удивит; и что таких, кого я особенно не хочу Ланье в койку, есть шестеро… нет, пятеро: Харкотт, Саламандр, Шиллинг, Джек-Потрошитель и Болид; потому что все они по злобе или недоумию могут учинить ей какую-нибудь пакость.

— С каким-то мужиком — я его в городе снял.

Я удивился:

— …*ты* снял? — Я, однако, не ожидал облегчения. — Ты его тоже трахал?

— Не. Не, это она придумала.

— Все это мне очень знакомо, — сказал я. — Что значит «она придумала»?

— Попросила найти ей, кто захочет выебать ее за деньги… за пять баксов.

– *Чьи* пять баксов? — спросил я. — Его или ее?

Тарзан и Б-г поднялись на крыльцо и вошли на веранду — Тарзан слушал, Б-г ждал, пока Тарзан дослушает.

— Теперь уже ее, — ухмыльнулся Денни. — Она сказала, что слушала, как мы болтаем о проституции, часто, видимо, и ей, я так понял, стало интересно. Господи, найти тут кого при

деньгах…

— Мы нечасто говорили о проституции.

— Что не помешало ей слушать. Сказала мне, что ей интересно. Сказала, что хочет попробовать.

— Ага-ага. Ну а то. — Я ткнул его кулаком в плечо. — У меня один вопрос: а ты-то чего *своими* делами там с ними не занимаешься?

— Ёпта, — скривился Денни. — Мужик мерзотный. Сначала вроде ничего был. Но мерзотный.

— Господи боже. — Тарзан привалился к подоконнику окна без сетки. — И вы своей бабе разрешили?.. — И умолк; вероятно, потому, что я на него так посмотрел.

Я сказал:

— Что разрешили?

— Ну, это, резвиться с… ну… это.

— Тарзан, — сказал я, — если моя баба желает выебать овцу, пристегнув на нос дилдо, это в основном ее проблемы, глубоко во вторую очередь — мои, но не твои ни капли. Она может ебсти что пожелает — возможно, за исключением тебя. От этого, я думаю, меня стошнит. Да, этого я, пожалуй, не вынесу. Я тебя убью. — На руке у меня — она качнулась к груди Тарзана — была орхидея. — Я вот что сделаю. Я у тебя на лице сыграю

в крестики-нолики и…

> Я снял с цепи на шее орхидею, поднял руку и просунул в сбрую, и небо потемнело за окнами, небо взревело за оконными сетками, и я застегнул браслет на запястье, и свет раскололся надвое, и два щупальца, иззубренные, с ослепительно-магниевыми кромками, дугами выросли в небо, и я замахнулся снизу вверх Тарзану в грудь.

— Эй… — прошептал Тарзан, — ты совсем псих!.. — ужасно перепугавшись, оглядываясь на Денни, потом на Б-г; но они попятились — и переперепугали его.

— Ну? — кивнул я. — А для тебя это новость, что ли?

Я держал острия ножей щепотью против его левой сиськи. Все затаили дыхание, а я подумал: здесь это было бы проще всего. Потом сказал:

— Да ёпта! *Беги*, мудозвон!

Тарзан растерялся.

Я опустил руку.

— Хочу посмотреть, как ты *бегаешь*! И чтоб я тебя не видел до завтрашнего восхода. Не то я тебя отмудохаю, отнесу твое изломанное, окровавлен-

ное и обморочное тело назад к маме с папой, на порог квартиры девятнадцать А, и там *оставлю*!

— Они живут не в… — Но тут его мысли встали на место; он вздохнул — я так понял, это был вздох — и кинулся к двери. Врезался в мужика с грудью клином и в синейшей рубашке на свете («Эй, *полегче*… Все нормально?..») и слинял по коридору.

Мужик тоже растерялся.

Он был не очень-то обросший; но из тех, про кого первым делом сама приходит мысль: ему бы постричься.

— Она сказала, — сказал он, — мне выйти здесь?..

— Ладно, — сказал Денни. — Дверь там.

Леди Дракон поднялась по ступеням и стояла снаружи, смотрела.

— Деньги я отдал ей. Эй, спасибо вам большое. Очень мило вышло. Может, опять приду. — Он глянул на меня и растерялся еще чуть-чуть.

Леди Дракон открыла ему дверь, и он выскочил во двор. Она посмотрела ему вслед, дверь отпустила, но так и осталась снаружи на верхней ступеньке.

Это не отчаяние. Побольше смеха и ло-

гики – и оно рассеивается. И того и другого у меня вдоволь. Очевидно, у большинства людей жизнь настолько интересна, насколько им по силам. Но я не помню, как ее надел. Я не помню.

Я посмотрел на орхидею.

Я не помню, как ее надел.

Я ее снял.

— Он тебе нравится, — спросил я, — Б-г?

— Кто? — переспросил тот. — Тарзан? Да он нормальный. Пасть захлопнуть вовремя не умеет, и все.

— Он из-за тебя все штаны обоссал, — сказал Денни. И засмеялся. — Видал? У него сбоку вся нога намокла. — И он показал на себе.

— Чего? — сказал я.

— Он описался. — Денни снова рассмеялся — пронзительно загавкал, как щенок.

— Жалко, что я не заметил, — сказал я. — Мне бы полегчало.

— Я… к Тарзану нормально, — сказал Денни.

— Слышь, — сказал Б-г. — Тарзан — он же пацан мелкий. Не смыслит ни шиша.

— Да ёпта! — Я опять нацепил орхидею на шею. — Он старше Денни!

— Он, — сказал Б-г, — из очень странной семьи. Он тут кое-кому рассказывал. Тоже надо принять во внимание.

— Они не *настолько* странные, — сказал я.

— Я в том смысле, — сказал Б-г, — что они его особо ничему не учили. Про то, как оно все устроено.

— М-да? — Я очень глубоко вдохнул. — Может, меня бесит, до чего его семейство похоже на мое.

И пошел по коридору к себе.

Ланья, видимая от макушки до носа, выглядывала из-за края, как нарисованный Килрой[50].

— Привет, — сказал я. — Ты как?

— Я когда услышала, что ты пришел, — сказала она, — думала, Денни тебя в гостиной подержит. Потому и отослала мужика через заднюю дверь.

Я вскарабкался на антресоли.

Она села и подвинулась; джинсы уже надела, но еще не застегнула.

— Знаешь, что его больше всего заводило? Что я телка, которая трахает скорпионов, — без предисловий сообщила она. — Вот и все, что

---

[50] Примечания: 50

Килрой — придуманный неизвестным автором персонаж граффити, популярного в 1940-х во время Второй мировой войны среди англоязычных солдат, — выглядывающий из-за стены носатый и лысый человек.

его интересовало. Он был *ничего*. Но я с тем же успехом могла быть куском печенки, в которую кто-нибудь из вас подрочил; он все равно был бы счастлив. — Она осторожно потрогала меня за коленку. — То есть я не против быть… как это… «гей-мостом», если мне с обоих концов *приятно*. Ну правда — он был обхохочешься вообще.

— Я хотел тебя спросить, — сказал я, — не совсем ли ты спятила. Но в моем исполнении вопрос, надо полагать, прозвучит возмутительно до нелепости.

— Я не *думаю*, что спятила. — Она помрачнела. — Чтобы достроить фантазию, я должна вот это, — она достала из-под коленки пятерку, — отдать тебе. Или Денни… — Она пососала губу, отпустила. — Вообще-то, я хочу оставить себе.

— Я не против, — сказал я. — Только деньгами-то особо не увлекайся. А то станешь как Джек.

— Дело не в деньгах, — возразила она. — Это символ.

— Я *ровно* о том и говорю.

— Ты бы, может, сам прислушался к своему совету.

— Я стараюсь, — ответил я. — Эй, это ж не была полоумная месть за то, что я мужика на улице ограбил?

— Шкет! — Она выпрямилась. — Ты меня сейчас шокировал впервые за все наше знакомство!

— Давай-ка понежнее, — сказал я. — Это с какого еще бодуна *я* шокировал *тебя*?

— Я про это даже не думала. Как тут вообще сравнивать? То есть откуда… Обалдеть! Это ты так подумал?

— Нет, — сказал я. — Я не *знал*. Поэтому *спросил*. — Мы немножко посидели, довольно-таки угрюмясь. Потом я сказал: — Хорош он был?

Она пожала плечами:

— Пять баксов.

И тут, поскольку больше ничего не оставалось, я засмеялся. И она тоже. Я обхватил ее руками, а она с хохотом в них как бы рухнула.

— Эй! — Из-за края антресолей возник Денни. — Мерзотный он был, да? Извини. Иногда бывает, парни попадаются ничего. Даже приятные иногда. Я прикинул, знаешь, раз я тебе первого клиента ищу, надо бы приятного кого найти. Сначала думал, он приятный, когда только привел, но… что смешного?

От чего нас только сильнее растащило.

Денни заполз нам за спины.

— Вы б рассказали, чего смешного — такого мерзотного мужика обслуживать.

— Раз уж мы коснулись этой темы, — сказал я, отчасти взяв себя в руки, — а еще кого в гнезде ты трахала?

Ланья слегка поерзала у меня в объятьях.

— В гнезде? Ну, не прямо здесь…

— А где ты их трахала? — довольно резко спросил Денни.

— Кого, — спросил я, — ты трахала? — Кажется, я опять удивился.

— Откровение, — сказала Ланья.

Я кивнул.

— …и, ну, Саламандра.

— Господи, — сказал Денни. — Когда?

Ланья погрызла зеленый лак на указательном пальце.

— Помнишь, в ночь Шкетова праздника, когда он ушел на Камберленд-Парк, где пожар был, и с Джорджем этих детей нашел? Ты куда-то подевался, Денни, а я торчала тут и со всеми болтала. Мы с Глэдис рассказывали про Дом — знаете, где одни девушки? Всем стало жуть как интересно. И короче, мы с Глэдис отвели туда Саламандра, Харкотта и Флинта — все равно я противозачаточные там беру. Вечер несколько в тумане, но, если я правильно помню, Откровение зашел вскоре после… — Она села, сердито глядя себе в коле-

ни. — Харкотт быстренько отвалил с одной юной дамой, познакомился с ней чуть ли не на пороге, они наверх ушли. А Флинту было нехорошо, и он вернулся сюда. Но Саламандр и Откровение остались с нами внизу — еще Леди Дракон пришла, все чесали языками за прежние времена и укурились до не могу. И… — Она помолчала, зависнув гримасой между отрешенностью и откровенностью, — в итоге я их трахнула. И, — она кивнула Денни, — твоя подружка их трахнула. И Глэдис их трахнула. И Накалка. И Леди Дракон. В общей сложности где-то, — она выставила кулак и принялась отгибать пальцы по одному; выставила другой кулак, — еще девять других женщин. Не в таком порядке — я была пятая или шестая.

Посреди исправительного нытья по поводу совместных кулинарных упражнений Рисы / Ангела Ланья обернулась, когда я вошел в кухню, и сказала:

– Шкет, я тут придумала кое-что про твою память.

– Да тут все только и делают, что думают, – сказал Ангел. – Закрой рот, ну? А мы будем готовить.

– Она же помочь хочет, – сказала Риса.

– И знает, что я шучу, – сказал Ангел. – Правда?

– Я закрою рот, – сказала Ланья.

Я присел на уголок кухонного стола.

– Что ты придумала? – На пол слетела какая-то, что ли, вилка.

– Вообще-то, – Ланья ее подобрала, – у тебя фантастическая память! Я опять лазила к тебе в тетрадь – прости, я знаю, что ты простишь; но память на разговоры у тебя почти фотографическая!

– Вовсе нет, – ответил я ей.

– Я сказала «почти».

– Нет, – повторил я. – Каждый записанный разговор где-то на треть – парафраза.

– Запоминать две трети того, что люди говорили, хотя бы на несколько минут – это *очень* необычно. Даже твое описание ночи в парке; а ты говорил мне, что почти ничего не помнишь.

– Я просто записал с твоих слов.

– Даже если реплики неточные, ощущение-то передано! И с моей проститутской эскападой – ты запомнил *все* реплики. Уж их-то я помню.

Я сказал:

– Это ты тоже прочла?

– И где ты пересказываешь наши разговоры. Уж не знаю, насколько они проигрывали бы расшифровке, но все равно поразительно.

– Так что ты придумала?

– Ну просто, может, раз у тебя такая память на детали, ты из-за этого теряешь целые периоды времени или… ну, понятно.

– Это так интересно, – сказал я. – Пожалуй, я сию секунду забуду.

– Она же *просто* хочет помочь! – сказала Риса, грохнув кастрюльными крышками над плитой.

– И знает, что я тоже шучу, – сказал я. – Но даже если так – и что?

Конечно, я не забыл, узрите доказательство. И все равно подозреваю, что мои весьма творческие живописания скорее убедительны, нежели точны, что бы там она ни говорила, – я думаю (надеюсь?).

Денни медленно и изумленно сказал:
— Ни хера себе!..

— Было очень странно. — Ланья опустила плечи. — Я прямо решила поначалу, что им крышу снесло. Как бы испугалась за них. Они, по-моему, ни встать не могли, ни уйти. Прямо как будто в трансе. Откровение лежал на спине и почти все время плакал. Вот это меня не очень заводило. Но кое-кого из дам — не то слово! И стояк у него не спадал.

Я удивлялся, и мне было любопытно.

— А они кончали?

— Может, поначалу пару раз. Кажется. Но потом у них стоял, и все. Опасть не успевал. С ними просто делали, кто что хотел. И кто хотел, тот делал.

— Одни девчонки? — спросил Денни.

Ланья кивнула.

— Ёпта.

Ланья приникла ко мне:

— Никогда не видела мужчин в таком состоянии. Выглядело очень лесбо. — Она скрестила руки под грудью. — Мне было по кайфу. Страшновато. Но… некий опыт.

— У тебя опыты прямо конвейером текут, а?

Я тут же вспомнил, что сказала мне Риса в тот день во дворе; и заухмылялся вот над чем: генитальный метод решения задачи, которую она мне задала, вызывал у меня сомнения *ничуть* не

меньше анального. Что ж, ничего не попишешь: может, кое-кому на все праздники жизни не поспеть.

Ланья ухмыльнулась мне снизу вверх:

– *Мм-хым*, — и поцеловала меня в нос.

— А твоя мадам Браун что про это думает? — спросил я.

Этот комментарий к рассказу Ланьи про девчонок, которые трахали двух парней в доме, пишу, только что дописав про бардак и ужас с «Эмборики» (где от Джека, кто бы мог подумать, было столько помощи и столько геморроя!), потому что мысль к этому подтолкнули тамошние события, что мы говорили им, что они говорили нам. Я отмечаю, что Саламандр и Откровение – из тех парней, которым интересны более или менее исключительно девчонки; помню по предыдущей ночи (что значимо в контексте сегодня?), как Откровение вежливо объяснял довольно пьяному Ангелу: нет, правда, ничего личного, но нет, он не хочет с ним ебаться, и нет, он никогда толком не пробовал, и нет, он не хочет, точно не сейчас; и так

они вдвоем тихонько переговаривались на веранде полчаса. Правда, разумеется, в том, что Откровению страшно льстило столько внимания от человека настолько смышленее его, и он желал растянуть это внимание как можно дольше. (А мы что думали – всерьез обращая на них внимание, мы польстим им так, что они перестанут ногами наступать нам на горло?[51]) Мне кажется, разница порой в том, что они уверены, будто любые возникающие социальные структуры вырастают из паттернов, присущих Половому Акту, что бы это ни было такое; а мы снова и снова наблюдаем, как психология, структуры и всякие присадки, характерные для *любого* полового акта, неизменно заимствуются из социальных структур, которые уже существуют, созданы, могут меняться. Ладно, задам страшный вопрос: может ли так быть, что

[51] Примечания: 51

Аллюзия на «Письма о равенстве полов и положении женщины» (*Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman*, 1837) американской судьи, аболиционистки и суфражистки Сары Мур Гримке (1792–1873): «Я не прошу одолжений своему полу. Я не отказываюсь от наших претензий на равенство. Я прошу наших братьев об одном: перестаньте ногами наступать нам на горло».

все эти абсолютные натуралы, сугубые-гетеросексуалы, полностью-довольные-своей-ориентацией-в-этом-мире, *взаправду* (неким невнятно сформулированным психологическим манером, который в итоге обзаведется миром получше) здоровее, чем (уй-я!..) мы? Отвечаю: да *щас*! Активные (любого пола) тупее и злее. Пассивные (любого пола) ленивее и самодовольнее. В обществе, где *они* на вершине, они, точно утопающие, цепляются за этот свой расклад – активный / пассивный, мужчина / женщина, хозяин / слуга, я / не-я – и не удовольствия ради, что было бы логично, но поскольку расклад этот позволяет им проявлять или одобрять любое отсутствие сострадания друг к другу или к остальным, что (по крайней мере, в *этом обществе*, которое они тут устроили) аморально, извращенно и жестоко; уж лучше *любое* безумие. А безумие *не* лучше!

— Что я веду бурную и увлекательную жизнь.
— А, — кивнул я.
— Она только не понимает, как я умудряюсь

каждый день вовремя приходить в школу.

— И *как* ты умудряешься каждый день вовремя приходить в школу?

Ланья пожала плечами:

— Больно, видать, сознательная.

— Господи! — Денни сел на пятки, сложил руки на коленях. — Ты — и групповуха, с Откровением и Саламандром! Эй, а кто лучше, цветик розовый или ниггер?

— Они оба, — она наклонилась и поцеловала его в нос, — тебе в подметки не годятся.

— А кстати, — сказал он, — где мои пять баксов?

Я ему заехал кулаком.

— Эй, рассказать, что со мной сегодня было?

— Это *мои* пять баксов, птенчик! — ответила Ланья.

— Ну ёпта! Я по улицам шатался, клиента, блядь, убалтывал…

— Да уймитесь вы! — сказал я им. — Послушайте меня.

И поведал, что было в парке. Мне казалось, это смешно. Но мы поговорили, и они оба сочли, что это довольно серьезно.

А говорили мы долго.

* * *

Три разговора, которые в последние дни вела здесь Ланья. (Заночевала; что приятно. Может, я готов пожить у нее? Инстинкт гнездования *не* равен инстинкту возвращения домой. Какой слабеет первым?) Когда я вышел во двор, она говорила с Глэдис.

— Ой!.. — и кинулась ко мне, на крыльце преградила дорогу.

Я сфокусировался на ней, как на воспоминании о горном дожде, осеннем свете, морской мороси.

(Глаза у нее *зеленые!*)

Естественнее некуда, она развернула меня на ступенях и увела обратно на веранду — когда я сообразил, что меня ведут, она потянула чуть настойчивее; позвала: «Пошли», — и завела в комнату с антресолями:

— Где твоя тетрадь? Ну, вообще новые стихи?

— Чего? Я думал, ты поебаться.

— Не, ну если хочешь… — изображая девушку иного сорта, и рассмеялась над успехом спектакля. — О!

С антресолей высовывался уголок тетради; Ланья ее извлекла. Выпорхнули два листа.

Ланья их подобрала.

— Можно, я возьму домой?

— Да не вопрос… — ответил я, — нет; вот эту не надо, — и забрал лист голубой бумаги (из пачки почтовой, которую приволок домой Ворон).

Ланья сложила тот, что я ей оставил, и убрала в карман рубашки. Другой лист я спрятал под обложку и сунул тетрадь на постель.

— Зачем они тебе?

— Зачем ты их пишешь?

— Я… теперь уже и не знаю.

— Та же фигня, — сказала она, встревожившись; что встревожило.

— Эй, — сказал я. — Ты в последнее время не видала мистера Калкинза, нет?

— Нет?.. — тоном спрашивая, почему я спрашиваю.

— Это же не он так пытается… мои новые стихи раздобыть? Ты их не для кого-то другого собираешь?

— Да ты что? Я просто подумала, у меня меньше шансов их потерять, чем у тебя.

— Мистер Калкинз говорил, можно их украсть. Я *думал*, он шутит… ты их никому не показывала?

— Да ты что?.. — Потом сказала: — А это ужасно, если показывала? Я читала одно… несколько

мадам Браун. И ее другу — он в тот вечер в гости приходил.

— Это не ужасно.

— Но ты недоволен.

— Не знаю. Я просто не понимаю. Почему ты их читала? Просто понравились?

— Очень. Эверетт Форест — это друг мадам Браун — сам попросил. Он как-то вечером зашел, мы говорили про тебя. Всплыло, что у меня лежат твои неопубликованные тексты; ему ужасно хотелось посмотреть. И я прочла три или четыре моих любимых. Наверно, — прибавила она и пристроилась на сиденье мотоцикла, — вот это говорить нельзя: он хотел их переписать. Но я подумала, не надо… Шкет?

— Что?

— В Беллоне толпам народу очень интересно про тебя примерно все.

— Толп народу в Беллоне не *наберется*, — сказал я. — Все мне так говорят; с какой *радости* им про меня интересно?

— Они считают, ты важный, интересный… может, плюс-минус то и другое. Переписать твои стихи? Да я знаю таких, кому дай твой список белья из прачечной — и они его аккуратно скопируют, как университетская библиотека прямо.

— Блядь, да у меня нет списка белья. У меня и белья-то нет, — сказал я. — Это кто, например?

— Например, Эверетт. Я сказала, что ты иногда оставляешь тетрадь у меня, — с ним чуть припадок не приключился. Умолял в следующий раз предупредить — хотел почитать и, может, кое-что себе…

— Я тебе башку проломлю.

— Я так не буду. — Она поерзала на сиденье. — Я не буду.

— В этом городе людям просто нечем больше интересоваться.

— Я думаю, — сказала она, — ты прав. Я, конечно, не позволю ему лазить в твой дневник, но я все равно считаю, что твое записывание — от этого скучно; нет, меня бесит. Меня не бесило, когда мы с ней об этом говорили, — это-то как раз льстило. А вот от пересказа я свирепею. Я *люблю* эти фантазии, эти мысли — но они игра. (Так, нет?) С чего бы мне переставать их любить? Но после публикации «Медных орхидей» я порой говорю себе: «Все, харэ. Хочу бросить эту игру и поиграть во что-нибудь другое. Господи, можно я подумаю о чем-нибудь другом?» И не могу. Ужасное утро под деревом снова-здорово, но гораздо безжалостнее. Хотя, если по правде, большинство

стихов в книжке были написаны до того, как я пришел к скорпионам. (А какие написаны после?) И другой парадокс в том, что я им был главарем один-единственный раз — когда они помогали мне вытаскивать брата Джун и Тарзана из шахты. Все, что было с тех пор, лишь уточняло фантазию, родившуюся тогда — и не у меня, а у них. Осознав, я проиграл? Во имя (произвольно?) драгоценной здравости рассудка я должен считать, что хоть чему-то научился.

Мои нервы воспалены, как наше гигантское солнце. Я пишу теперь стихи, ибо читать больше нечего, разве только газету, где страницами обсуждаются слухи и эфемерности, что задымляют город. Как это может продолжаться, когда восходят такие луны и такие солнца заходят? Я живу так, ибо здешний ужас все-таки предпочтительнее жизни в семействе Тарзана.

Херня! Однако я, когда писал, так и чувствовал… нет, я чувствовал нечто и, роясь в углях, полагал, что эти слова – зола этих самых чувств. Оказалось, слова – лишь дым. А теперь я уже не понимаю, иска-

зилось чувство в восприятии или просто неточно записалось!

Когда наливаешь воду в кухне, или в ванной, или в раковине на веранде, пузырьки нарастают по стенкам стакана, но не расползаются ровно по всей поверхности. Они сплетаются в полосу с четким нижним краем, и чем выше, тем реже. В последние дни стал замечать, что край начинается все выше и выше. Надо спросить Тэка, что это значит.

Короче, следующий разговор — может, повезет больше.

Остановился за кухонной дверью, потому что услышал, как они там разговаривают. Сквозь сетку увидел Ланью — она сидела на столе, спиной к стене, — и Глэдис, и почти всех обезьян (без Тарзана); еще Б-г подпирал морозильник, Флинт стоял в дверях гостиной, а сбоку и позади него Харкотт. Громко спорили; и Ланьин голос проре́зал гомон (она подалась вперед, огляделась):

— Я никогда… нет, вы погодите. Погодите. Я *никогда* не видела людей, которых настолько не интересует секс! Нет, вы меня послушайте! Вам же больше нечем заниматься. Ну честно, без шуток. В колледже, да почти везде, на любой работе,

просто знакомые парни — я не *встречала* людей, которым меньше охота было бы потрахаться…

— Не понимаю — *ты-то* чё жалуешься? — Это Джек-Потрошитель.

— Я не жалуюсь, — сказала Ланья. — Я о чем: я половину времени живу здесь. Или больше. Мне кажется, я вас неплохо знаю…

А Б-г:

— Нет, вот теперь погоди ты. Эй, вот теперь *ты*…

Ланья договорила в тишине:

— Мне просто любопытно, почему так.

— Ты погоди, — повторил Б-г. — У нас тут очень странная и занятная тусовка. И пожалуй, мы об этом особо не говорим, потому что нам надо очень осторожно, да? Очень вежливо.

— Вы не просто не шутите про секс, — сказала Ланья. — Но даже это, если вдуматься. Грязи минут на десять-двадцать. А потом день или два — ничего…

— Не думаем и не прикидываем, кому бы присунуть? — переспросил Ворон. — Всё, я понял, про что она.

Харкотт сказал:

— Мне не надо про это *говорить*. Я свое *получаю*, — и глянул на Флинта в поисках подтвер-

ждения.

Флинт, подсунув руки себе под спину, еще чуточку съехал по стене, глядя молча (кроме Харкотта и Ланьи, белых в кухне не было), с любопытством, будто дискуссию затеяли ради него лично.

— У нас тут люди очень разные, — сказал Б-г. — Допустим, насчет меня она права. Мне, пожалуй, секс не так интересен, как некоторым. Я как-то другу своему рассказывал: я дрочу раза два в год, ну три. Ебусь примерно столько же. Он сказал, это очень странно…

– *Еще б* не странно! — заорал Джек-Потрошитель, и остальные засмеялись.

— А вот Паук… ему сколько? Лет на десять младше меня? И мотается в парк, я так понимаю, чуть не каждую, сука, ночь, и ему там парни в кустах трубы полируют…

— Ёптель… — смутился Паук.

— Люди очень разные, — продолжал Б-г, — и любят очень разное. Очень по-разному. Возьмем нас с Глэдис. Нас интересует в основном противоположный пол, причем по одному за раз и нечасто.

— Три раза в год, ты сказал, деточка? — отозвалась Глэдис, голосом нырнув к самым нижним

регистрам. — Даже не знаю, сильно ли мы похожи. — И обратно.

Что развеселило Потрошителя.

— Ёпта, — сказал Б-г. — Я, между прочим, прежде думал, что я нормальный. А потом раз — и Джек-Потрошитель, например, которого устроит все, что движется.

Паук угрюмо сказал:

— Меня тоже устроит все, что движется.

— Ай, ниггер, — сказал Б-г, — тебя и устрица устроит, если улыбнется и пообещает не кусаться!

В общем смехе Харкотт прибавил:

— …да и тогда я даже не знаю! — чего, по-моему, никто не расслышал.

— Плюс у нас есть групи… — продолжал Б-г.

— Групи! — сказал Флинт, наконец засмеявшись. — Ты *так* нас зовешь?

— Ну, вас устроит, только если движется толпа…

— Ай, чувак, — это Флинт, — это тебе завидно, что… — и больше я не расслышал, поскольку:

Тарзан спросил:

— Что у них там?

Я глянул через плечо:

— Ничего.

Но кое-кто из кухни заметил нас через сетку. И еще пара человек обернулись. Так что я открыл дверь и вошел, а Тарзан за мной. Ланья все хохотала. Я подсел к ней, потихоньку спихивая Шиллинга со стола.

— Ну и когда столько разного народу, — сказал Б-г, и Ланья перевела взгляд на него, — надо очень вежливо, раз мы тут все вместе. То есть лишнего не говоришь. Если что подвернется — делаешь, а так говоришь про другое.

Тарзан остался в дверях, спиной к сетке — снаружи, как прежде Флинт.

Смех выплеснул дискуссию на берега других тем (еды, подумать только): Шиллинг сказал, у нас в подполе водится такое, о чем не подозревали даже, потому что никому не приходило в голову поискать, пока он утром туда не спустился. Кое-кто пошел с ним смотреть. Двери в подполе как бы и не было — только забитое досками окно с искореженным йельским замком, повисшим на засове. Через окно попадаешь в такую землянку, высотой четыре с половиной фута, а площадью с полдома, и там, помимо штабелей ящиков с консервами — кое-где заплесневели этикетки, — нашлись блок предохранителей и нагреватель воды, который я разжег.

Потом пара человек принимали ванну.

Жалко, что свернули дискуссию про секс. А то как-то ни до чего не договорились. Интересно, что помешало — мое появление (Босса) или Тарзана (Чудилы); или просто поменялось соотношение кофе и сливок. Я надменно счел, что дело в Тарзане.

Откровение с его пепельно-светлыми волосами, золотыми цепями, розовой-розовой кожей, оказавшись в группе черных, поляризует ее так же, как Сеньора Испанья — чернее Паука, с высокой задницей, маленькими низкими грудями (судя по шуткам остальных, родом она из Вест-Индии) — поляризует группу белых, когда других черных нет, — то есть визуально.

Тарзан, однако, зачастую единственный голубоглазый блондин среди обезьян (теперь это официальное название подотряда пятерых из пятнадцати-семнадцати черных в гнезде [Ворон, Джек-Потрошитель, Шиллинг, Ангел, Паук]), поляризует их иначе. Его льстивый восторг, пограничная агрессия и общая неприязнь ко всем белым — невозможно смотреть на него / них, закрывая глаза на ауру сексуальных / политических отголосков, которая обволакивает их, точно огни. (Тут две мысли — Первая): Несмотря на это, всем

более или менее удается проявлять терпимость и почти не отпускать замечаний. (Вторая): Среди всех этих чокнутых негров, пожалуй, не найдется ни одного — ни мужчины, ни женщины, — занимающего схожую позицию у белых (Флинт в триумвирате с Харкоттом и Саламандром — видимо, совсем другая история. Почему?) Может, Джун самое место в гнезде (или в Доме) все-таки — все-таки я же могу потерпеть Эдди. (Могу ли?)

Вскоре толпа распалась у подвального окна и вновь собралась во дворе… Но к разговору о сексе мы так и не вернулись. Что ж; вежливость, ничего не попишешь. Видимо, Ланья права.

Третий разговор начался на антресолях. Я лежал на спине; Ланья опиралась мне на грудь и смотрела в рот, пока я говорил. Посреди фразы она сбила меня с того, о чем я говорил, проговорив:

— Я могу кончить от одного запаха твоего дыхания. Оно на каждом слове вылетает такими жаркими облачками.

— Плохо пахнет, а?

— Не плохо… пожалуйста, говори дальше.

Но я не знал, как продолжить.

Она сказала:

— У тебя рот как цветок. Каждый зуб — как лепесток ромашки, прямо с чашечкой: у тебя под

зубами на деснах кожа как бы зеленая.

— Красота, — сказал я. — Скоро дозрею сдаться на милость Зайке.

— Эй. — Денни подкатился ближе. — Дай глянуть? — и оперся мне на плечо.

Я сказал:

– *У-уф!* — и не улыбнулся.

— Улыбнись, — сказал Денни.

— Может, оно снимается. — Ланья занесла над моим лицом руку, точно когтистую лапу. — Секундочку, — и опустила палец.

— Харэ!.. — Я отвернул голову.

— Я только хотела ногтем поскрести.

Денни посмотрел на свои у меня на плече.

— Блин, ногти-то какие грязные.

— Они обведены цветом черной жемчужины. — Ланья щекой прижалась к его щеке. — И он, наверно, использует это в стихотворении.

— Перебор, — сказал я, ладонью накрыв его руку; а она накрыла мою.

Потом Денни крепко зажмурился и заизвивался, втискиваясь между нами, как щенок бассета (отчего мы засмеялись), а она иногда — попугай лори. Или иногда он попугай, а она — летучая борзая.

Я сказал:

— Подъем. Хочу показать вам кое-что, — на что Денни засмеялся, а Ланья заворчала.

Денни ей сказал:

— Ничего. Разденемся сразу в следующий раз.

Я сказал:

— Да пошли!

Мы что-то на себя напялили (Денни — носки, жилет, цепи. Ланья — рубашку; гармошка выпала; вернулась в нагрудный карман; кроссовки. Я — штаны), слезли с антресолей, напялили что-то еще (Денни — штаны, сапоги. Ланья — сняла кроссовки, чтоб надеть джинсы, и опять надела кроссовки. Я — жилет, цепи, сапог) и вышли в коридор.

Малыш, Адам, Жрец, Разор, Накалка, Экзекутор (которого все обычно зовут Два-Икс) и Собор как раз вваливались в дом, и Два-Икс сказал мне, что они совсем запарились, в набеге были со вчерашнего дня. Я сказал, что трое-четверо могут рухнуть на чердачной постели, потому что нам она сейчас не нужна. Накалка, уперевшись в бок кулаком, а другой рукой размахивая (она носит только тонкие цепочки, одни снаружи грудей [соски — будто лужицы пептобисмола на высоких склонах стеатитовых грудей], другие между), рассказала, что они делали в парке: напугали

каких-то детей, ненароком, и ввязались в вялую невнятную перепалку с двумя мужиками — возможно, Томом и Мэком. Трое пошли в дальнюю комнату на поиски матрасов.

> (Стремление к точности грозит неуклюжестью.) Дабы узнать, кто я такой, пришлось отказаться от имени и кто его знает какой части жизни. Не по выбору. Но считать это выбором, похоже, единственный способ сохранить рассудок… «похоже»? Мне страшно, потому что в этом Городе я не знаю, где я, не знаю, куда можно зайти. (Стремление к формальности грозит напыщенностью.)

Люк в потолке на веранде был открыт. Денни взобрался по лестнице, прибитой к стене; мы с Ланьей (я гадал, кто и зачем открыл люк) следом. Из-под ее пяток высунул голову в свинцовое небо. Ступил на шероховатый рубероид и не понял, как произошел переход от металлического листа в потеках, в трех футах за люком, к мутному шару размером с футбольный стадион, окружившему нас-и-соседние-дома. Хотел было спуститься и залезть заново — на этот раз посмотреть.

Спросил Ланью, не передумала ли: может, все-таки станет скорпионом, а не просто скорпионьей бабой.

– Да ни, – ласково ответила она, – в жизнь, блядь! – А затем: – Нет, серьезно. Я про это еще думала, и я не хочу. Мне нравится приходить в гости и оставаться надолго. Но жить мне нравится с мадам Браун.

Ну, она здесь провела три дня подряд. А вчера Денни шутки ради повесил ей на шею одну из своих цепей, и Ланья не снимала ее, пока не легла. Впрочем, утром, уходя в школу, не надела.

У дальнего края крыши Болид — в чем мать родила, не считая оптической перевязи, — обернулся и улыбнулся в легком смятении.

— Это ты люк открыл? — спросила Ланья.

— Ага. Хотел выйти погулять.

Сообщил нам, что гулять любит голым. В ответ на это необязательное разъяснение Денни разъяснил (необязательно), что в Беллоне, если охота, можно и по улицам разгуливать нагишом.

— …никого не колышет.

Ланья уже стаскивала с себя одежду. Тогда я

тоже разделся. Денни сказал:

— Да бля, — и все с себя снял. (Оставил собачий строгий ошейник, петлями намотанный на лодыжку.) Ланья вынула гармонику из рубашки и заиграла эти свои диссонансы. Мы гуляли и разглядывали с крыши, что удавалось, или друг друга, когда на нас не пялились в ответ; перевешивались через край; сидели на мансардных всяких штуках сбоку. Долго.

> У Накалки на плече набит голубой скорпион – говорит, набила еще до прихода в Беллону. Она, пожалуй, больше всех в гнезде сама рассказывает о своей прежней жизни (судя по этим рассказам, скучной до зевоты); при этом она страшно тактичная и умудряется быть одной из самых невидимых. Если бы кто писал про гнездо, она, наверно, оказалась бы в числе пятерых-шестерых, которых не упомянут, или ее яркую черту-другую повесили бы для украшения на другого персонажа. Девчонка, вдобавок белая, однако характер у нее – наитипичнейший скорпион, прямо-таки не верится. Я даже и не знаю, верю ли; отсюда эта запись.

Потом Болид надел штаны и цепи…

— Пока, — сказала Ланья.

Болид ухмыльнулся:

— Пока.

…и спустился в люк.

Мы сошлись поближе в дальнем углу и про него поговорили — мы с Ланьей в основном, в основном Денни слушал. Потом я впервые рассказал им, как на той неделе ограбил мужика.

Не без восторга Денни сказал:

— Ни хера себе!

Ланья сказала:

— Ты ведь *шутишь*, да?.. Господи, ты не шутишь!

Она сидела, скрестив ноги, спиной к низкому парапету. Когда поднесла ко рту гармонику, на бедре остались две параллельные полоски.

— Нет, не шучу. Вышло интересно.

— И что хуже всего, наверняка ты это сделал, только чтоб узнать, каково это, или еще по какой дебильно похвальной причине.

— Главное тут, — объяснил я, — не то, что я испугался, а что, если пересечь очень-очень тонкую черту, звереешь как пиздец.

— Слушай, — сказала она, — ты же не станешь убивать, только чтобы почувствовать, каково

это.

— Здесь это было бы проще всего.

— Господи! — Она посмотрела в небо.

— Ладно, — сказал я. — То есть ты не одобряешь. Почему ты злишься?

— Потому что, — и ее глаза вперились в мои, — хитрым образом мне кажется, что виновата *я*. И не проси пояснять; не то разозлишься сам.

Пока я раздумывал, как добиться от нее пояснений, прагматик Денни спросил:

— И что срубил?

— Три бакса. Выгоднее, чем работать у Ричардсов. — Я взял штаны, достал купюры из кармана и отдал ему. — Держи. — Скупо улыбнувшись, покосился на Ланью. — Я бы разделил между вами, но она ж не возьмет.

Лицо у нее стало чуток непроницаемое, и я понял: еще как возьмет.

Денни посмотрел на деньги и повторил:

— Ни хера себе!

А в мыслях: он бы высказался с такой же интонацией, если б узнал, как что-то украли у него.

— На. — Денни протянул одну купюру Ланье и: — На, ты оставь себе одну. Тогда выйдет всем поровну, — и одна вернулась ко мне. — Надо отлить. — Он встал и зашагал прочь — ладони

развернуты назад, средний палец на левой руке обмотан купюрой.

Ланья наблюдала за мной.

— Если б ты вечно не выплескивал мне в голову такое, я бы, наверно, с тобой заскучала. Нет, ты не говори ничего. Я пока думаю. — Она встала на колени. — Мне тоже надо отлить. — На ягодицах и одном бедре отпечатался рубероид.

Денни у водостока в углу оглянулся через плечо:

— Ты вниз, в туалет?

— Нет, — раздумчиво сказала она; когда они договорили, надо было мне догадаться, что она знала заранее.

— А, ну да. Ты, наверно, можешь тут присесть. — Денни закончил и стряхнул.

— С чего ты взял, что мне нужно приседать?

— Ты же девочка. Ты не можешь ст… Ну, я думал, девочки сидя.

— Боже всемогущий! — сказала Ланья.

— А направлять-то как? — спросил Денни.

— Как и ты.

— Но у тебя же нету?..

Она раздвинула два пальца знаком победы, опустила на пизду и как бы растянула.

— Вот так, если угодно. Перестань пялиться,

будь добр, дай мне пописать?

— А… ну да, — насупился Денни. — Я иногда в сортире не могу отлить, если на мой хуй пялятся. — Он отвернулся, оглянулся, отвернулся опять. — Ни хера себе.

Будто ему что-то вернули.

Он отошел к парапету.

— Я и не знал, — сказал он.

Когда она подошла, он разглядывал гармонику; покрутил и протянул ей через мое плечо.

— Умеешь играть? — спросила она.

— Не.

— Гамма начинается здесь, — сказала она. — Видишь? На четвертом отверстии.

Мы спустились с крыши (наполовину оделись там, наполовину внизу) и в гостиной ввязались в дискуссию с некоторыми вышеупомянутыми (Болидом, Накалкой и пр.) — сначала-то я хотел записать, что Ланья говорила тогда. (Когда начал, думал, история про то, что Ланью заводит во мне всякое странное, и про то, что было на крыше, станет удачным прологом, потому что в дискуссии она все это упоминала), но опять, добравшись до сути, устал записывать.

Среди прочего, посреди дискуссии слу-

чился спор о добыче продуктов, с чего, я так понимаю, все и началось, а вот это все подвернулось нечаянно; но мысли мои петляют занятными тропами.

Что-то насчет различий (и сходств) между девчонками, которые скорпионы, и девчонками, которые с нами тусуются просто так. Упоминались парни, которые скорпионы, и парни, которые тусуются просто так. Разговаривать было интересно, воспроизводить — скучно. И пожалуй, вся беседа затеялась только ради Майка (Майк — один из этих, которые тусуются, длинноволосый друг Разора; почти всегда ночует здесь, но быть скорпионом тоже не хочет), и я догадываюсь / думаю / подозреваю, что разница между скорпионами и наоборот в том, например, что скорпионы разницу уже понимают, им и говорить не надо (вежливость опять же), хотя Тарзан иногда такое выдает, что я даже и не знаю.

високосой косяк между средой и двадцать вторым, аллилуйя. Зернышко стукнуло на время скользом, беды его рассказало дереву (а оно все в потеках пастельной жижи, вихревой вкруг был кровав). По четвергам она пас. Тыл ла-

дошки поблек; отчего с такой легкостью канонизируют гог-магога? Кто-то оставил гусеничные лапоньки, лучики, слюнки теперь пускает на по полам. В тот раз она не помнила как и когда. Мостовые сосиски лопнули; капуста все помнит. Львы с глазами-хватами перебирают лапами, давятся буквами и айда кутить. Кончай орать-ка, лиловый арахис! Приступай, хер-пойми-чёрт! Не дождетесь, чтоб я свою неуступлюху прикрывал этой вашей вот колебакой. Коли привет моим веткам, и мою собаку тогда привечай. Переливы напева аж через край. Вязальные специальные спицы доступают до глаз, обнажая его изгибину, расчищая ее белье. То есть это не для этого. Моренад во фритюре и яблочная смерть шарлотты не помогут тебе пережить подъем поутру живым. Твой розамундик его, может, и отматематит, но не сдвинет меня ни на заводное яблоко сердцевиннее. Я иду овладев собой собой ранить осенний город: оборотом вопроса оксюморон, и скажите, что нет. Истекают хронированные методы: гуль-гуль, ранняя пташка.

Можно бросить, не дыша мраморными колубелями. Сохрани размыкание, это все ты Середина кольца вкруг куста харлей-дэвидсона, что цветет и цветет, стыд, носки, голод и страсть на десерт, цветы или мисс Хрусталина Чистина. Провинциальная мистификация облагорожена в этом лице. Пирожный пентакль и город голода, ой мамочки, ой, перестань, мой голубочек из мяса с пюре, моя посреди всего лань.

Оленья кровь – неплохая приманка для мух. И свежее овечье говно тоже. Блея себе в пустоте верткого уха, думаешь, что Аточа в Мадриде, а с 92-й улицей как тогда выйдет, или что она говорила мне про Санта-Крус? Она тебе не зарядный большой взрыв, экран или теннис. Она прямо в сети гуаши, где принцип есть принцип, а за жалованьем выстроилась вся преисподняя. Подельник, Водохранилище, Смитвессон, Чесотка, Плотник, Саскуэханна, Восхитительный летний денек. Все то же на кухне у нашей кукухи. Прикинь на сей раз, где кинуть кости. Счастье нечасто, но вдруг проявит уча-

стие? Выводы, Причитания, Высокородие, Смекалка, Чародейство, Придуманный, Самоа и все карты на стол. Когда вырасту, у меня будет своя вазэктомия. (Дендрит в залупе стоит целого куста.) Почему он вечно требует зиму? Заикайся в воде сколько влезет, но так думать нельзя. Не раздумья, а лишь ощущенье раздумий. Не знание, но очертания знания. Если хватит изюму, косолап и шершневых голов в позолоте, можешь мечтать, грезить, врать, точно сакс, хоть юлишь ты, как вирджинская ветчина. Джордж! сколько искусности я истощил, заполняя пять потерянных дней.

Разговор с фанерным Форестом у Тедди:

– А сейчас ты что пишешь?

– Ничего не пишу, – сказал я. – Ничего не пишу и не собираюсь.

Он помрачнел, а я понадеялся очень сильно, что эта ложь смахивает на правду хотя бы структурно. Но с чего бы? Потому уже давным-давно я и пишу только этот дневник. И, спасибо ослепшим звездам, чувствую, как даже эти силы утекают.

Какие еще дни утекли из моей жизни? Прошла неделя – я не помню пяти. Пройдет год – сколько дней *вам* больше никогда не придет на ум?

* * *

тут работает? — спросил я.

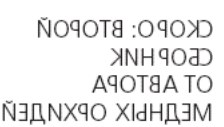
Но Фауст зашагал дальше меж затененных станков.

— Вот, — сказал он. — Ты же это хотел посмотреть?

Я подошел к верстаку. Конторский линолеум поблескивал свинцовой стружкой.

— Вон. — Фауст желтым указательным ногтем ткнул в печатную форму.

Серым на сером там выступало:



— Но?..

— Это ж ты, нет? — Его кудахтанье отдалось эхом в потолочных трубах.

— Но я не *давал* Калкинзу второй сборник! Калкинз даже не знает, *есть* ли второй сборник!

— Может, угадал.

— Но я не *хочу*, чтобы он…

— У них еще некрологи должны быть заранее, на всех знаменитых, которые тут могут помереть.

— Так. Валим, — сказал я. — Пошли отсюда.

— Ты меня все донимал, чтоб я показал, где печатали…

Я отошел от верстака.

— Я что-то не вижу тут бумажных рулонов. Станки не работают. Ты что хочешь сказать — вот здесь каждый день печатают газету на тридцать шесть полос?

Но Фауст уже удалялся, по-прежнему кудахча; седые волосы — бакенбарды, борода и на затылке — заслоняли блеск цепи.

— Жуакин? — позвал я. — Жуакин, а когда ее печатают-то? Сюда, по-моему, люди перестали заходить еще до

* * *

пошел по Бродвею. Дым совсем трындец — накатывал из переулков, драными многослойными пеленами занавешивал улицы. В одном квартале зашторивал фасад восьми(я посчитал)этажного здания, сочился из битых окон, водопадом об-

рушивался на улицу, громоздился курганом и оползал.

В одном месте кусок мостовой покрыли железными плитами (кто-то не доделал ремонт), и они загрохотали под ногами. Спустя еще полчаса здания выросли, улица раздалась, а небо посерело и пошло полосами, как побитый временем холст, как посеребренный бархат.

На широких ступенях черно-стеклянного конторского корпуса — фонтан. Я подошел посмотреть: влажные пятна цвета на пыльной мозаике дна; пентаграмму патрубков в бетонном шаре окаймляла ржавчина; я перелез через ограждение и заглянул туда, где, по моим догадкам, прежде что-то росло, — культи засохших стеблей в пепельной земле; колечки от банок из-под пива и газировки. Один раз босой ногой наступил в мокрое пятно желто-зеленой мозаичной плитки; поднял ногу, оставив меловой след.

Из-за угла вывернул автобус. На сей раз не напугал. Я перепрыгнул ограждение фонтана и кинулся вниз по ступеням.

Двери хлоп-шлепнули, не успел автобус затормозить.

— Эй, — окликнул я. — Вы далеко по Бродвею доезжаете?

Ему кажется, что опыт, обломками прослаивающий страницы / лепестки «Орхидей», подарил ему на прощание идеальный голос, которым не сказать ничего; и ничего скучнее вообразить нельзя. (Чтобы это предложение представлялось осмысленным, оно должно быть предельно уродливо. А оно не уродливо – не вполне. Так что задачи не выполняет.)

Знаете, какое лицо бывает у человека, если пробудить его от глубокого сна чем-нибудь серьезным — пожаром там или смертью? (Плюгавый лысый черный с глазами как устрицы, одержимый, таскает свой автобус отсюда туда.)

— А вам далеко?

Я ему ответил:

— Довольно далеко.

Пока он прикидывал, далеко ли это, я сел в автобус. Затем мы оба вспомнили, как я ехал в этом автобусе последний раз; я не понял, от этого ли воспоминания он слегка втянул голову в воротник цвета хаки. Но точно говорю: мы оба думали об этом. Еще я думал: других пассажиров в автобусе нет.

Он закрыл двери.

Я сел у него за спиной и посмотрел в широкое лобовое стекло, как мы колтыхаемся по улице.

Обернулся на шум.

Все рекламные площади заполонены плакатами или фрагментами плакатов с Джорджем. Над окном сверху вниз смотрело его лицо; а вон его колени. На длинной наклейке над дверью — его левая нога, от ступни до середины бедра, горизонтально. На трети изображений — паховая область.

Снова шум; я встал и, перехватывая руками, поручень за поручнем, пошел по проходу. Старик — притворявшийся спящим — сполз по заднему сиденью так низко, что я разглядел его, лишь миновав вторую дверь. Один буро-костяной глаз открылся над потрепанным воротником, косо перечеркнувшим черную складку уха. Старик опять закрыл глаз, отвернулся и опять испустил этот придушенный стон — звук, в котором я до того подозревал натугу и ропот двигателя.

Я сел, босую ногу поставив на теплый кожух колеса, а сапог — на перекладину под сиденьем впереди. Дым льнул к стеклу густой жижей; по окну змеились ручейки. А в мыслях (мысли замысловаты): жизнь — дым; ясные полосы, что вторгаются в него и им же стираются, — стихи,

преступления, оргазмы; переносил эту аналогию на все до единого сотрясения и скачки автобуса, на рябь по стеклу, заметил даже, что в окна через проход видны кое-какие дома.

Фальсификация этого дневника: начать с того, что моей повседневности он не отражает. Здесь часами царят в основном тишина и скука. По большей части мы сидим, глядя, как ускользает от нас скучное небо. Честно говоря, о таких глупостях и писать незачем. Когда случается что-то прямо захватывающее, кровавое или важное, оно отнимает столько времени, физической энергии и мыслей, что писать об этом невозможно. В голову приходят четыре истории в гнезде, которые я был бы не прочь записать, когда они происходили, но в процессе они завершились так полно, что избыточно их даже упоминать.

Записана, таким образом, хроника инцидентов, обладающих потенциалом цельности, которая не была достигнута в процессе; картина, опять же, фальшивая, поскольку эти истории не отображают ни

ткани нашей жизни в целом, ни узловых деталей ее узора.

Изображать одно слишком скучно, другое – слишком сложно. Видимо, поэтому (хотя я извожу все больше бумаги, пытаясь воссоздать ощущение, которое было у меня, когда мне казалось, будто я пишу стихи) я не поэт… уже? Вероятно, стихи кому-то на это намекают, а мне видятся сухими, как последние листики, опадающие с горелых деревьев на Брисбен. Стихи – мгновения, когда мне хватало напора видеть – и энергии выстроить – некую стройную аналогию, что завершала видение.

Они меня не отпускали две недели? Три?

Я даже не уверен, что они были. Для этого нужен еще один такой выброс. Мне осталась только изнурительная привычка словами выбирать слабину своей жизни.

Автобус затормозил. Шофер развернулся; на миг мне почудилось, что обращается он к старику позади меня:

— Дальше не завезу, — вцепившись в поручень на спинке водительского сиденья, неловко топыря локти. — Мимо магазина я тебя провез. — Он подержал многозначительную паузу; это он зря. — Ничего с тобой не будет.

Старик у меня за спиной завозился и зашмыгал носом.

Я встал и под взглядом Джорджа (и его коленями, и кистями, и левой ногой, и правой сиськой) шагнул на подножку. Двери открылись. Я сошел.

Вокруг покосившегося на трубах гидранта разнесло мостовую. Я повернулся и посмотрел, как автобус разворачивается.

Из подъезда в конце квартала вышел мужчина. Или женщина. Короче, кто-то голый. Кажется.

Я направился туда. Кто-то голый вернулся в подъезд. Я как раз миновал размозженную витрину флориста. Сначала подивился обилию зелени на боковых полочках. Но она вся была пластмассовая — папоротники, листики, кустики. В трех крупных горшках в центре композиции — одни пеньки. В глубине, в тени, возле алюминиевой рамы стеклянной двери холодильника, шевельнулось что-то большое, вонючее и влажное. Я его увидел мельком на ходу. Но покрылся мурашками.

Шофер автобуса не пожелал ехать дальше, потому что здесь Бродвей отрастил по бокам затейливые перила и на сорок футов воспарил над железнодорожными путями на дне каньона меж кирпичных стен. Пара ярдов — и двенадцатифутовый кусок мостовой обвалился, словно его откусил щербатый великан. Перила по сторонам провала скрутило. С края заглянув в дыру, я не увидел, куда приземлились обломки.

Слева за мостом вдоль деревьев тянулся проржавевший проволочный забор; за деревьями я различил воду в пятнах пепла. Справа, на склоне в травяных кляксах, стоял монастырь.

Опа.

Я поднялся по ступеням меж бежевых камней. С середины лестницы оглянулся на дорогу.

Из леса и комковатых вод росли дымные камыши — распускались, сливались с небом.

Добравшись до вершины лестницы, я уже, странным образом, вздыхал с облегчением и предвкушал дальнейшее. Этот простой поход разрешал то, что прежде мне казалось подвешенным. Монастырь составляли несколько трехэтажных корпусов. За самым большим вздымалась колокольня. Сунув руки в карманы, я чувствовал, как шевелятся мускулы ног при ходь-

бе; один палец вылез в дырку.

А в мыслях: ты явился в монастырь посреди раунда карманного бильярда. Ну а то. Я распустил мышцы живота (на подъеме напряглись) и, сопя, зашагал по красно-серым плитам. Замазка закапала освинцованные мозаики меж пыльных стекол. Только я решил, что тут никого нет, из-за угла выступил и воззрился на меня человек в сутане с капюшоном.

Я вынул руки из карманов.

Он сложил руки перед собой и пошел ко мне. Руки у него были крупные и полупрозрачные. Из-под подола поочередно выглядывали черно-белые носы очень поношенных баскетбольных кроссовок. Глаза серые. Улыбка — точно амфетаминовое оледенение замечательно бледной стюардессы. Капюшон сдвинут назад — видно, что череп бел, как тесто. Край капюшона почти целиком скрывал болячку — похожа на затейливую географическую карту: влажная, выпуклая, внутри запеклось лиловое, по краям шелушится желтое.

— Да? — спросил он. — Вам что-то нужно?

Я улыбнулся и пожал плечами.

— Я видел, как вы поднимаетесь, — подумал, может, вам чем-то помочь, может, вы к кому-то?

— Я просто посмотреть.

— Основная территория в глубине. Мы обычно не разрешаем людям бродить просто так, если они тут не живут. Честно говоря, у нас там не то чтобы красота. Отец настоятель говорил вчера за утренней трапезой, что пора приступить к ремонту, навести порядок. Все так радовались, что мы рядом с озером Холстайн… — Он кивком указал через дорогу. — Но вы посмотрите на него.

Когда я снова отвел глаза от озерного распада, он толстым большим пальцем и восковым указательным натягивал капюшон на лоб.

Я оглядел корпуса. Я искал этот монастырь так давно; но едва монастырь был найден, поиски показались плевым делом. Я отправился в некое странствие…

— Извините, — сказал он.

…и вернулся.

— А вы Шкет?

В животе стало приятно, и сильно захотелось ответить *нет*.

— Ага.

Его подбородок и улыбка скривились в беззвучном смешке.

— Вот я и *подумал*. Не знаю *почему*, но мне показалось, что логично. Я же видел фотографии…

скорпионов в «Вестях». Я понял, что вы *из них*, но откуда мне было знать *который*. А что вы — *тот самый*… — и потряс головой; перед нами довольный человек. — Что ж. — Он опять сложил руки. — Скорпионы к нам еще не заходили, так что я сказал наугад. — Лицо без морщин сморщилось. — Вы точно не ищете *кого-то*?

— Кого тут искать?

— Обычно приходят к отцу настоятелю — но он сейчас заперся с мистером Калкинзом, так что сегодня маловероятно, если, конечно, не хотите подождать или прийти как-нибудь…

— Мистер Калкинз здесь? — Про себя я уже довел до середины воображаемый диалог, который начался, когда на его первый вопрос я ответил: *Шкет? Кто — я? Да не-е…*

— Да.

— А с ним можно увидеться? — спросил я.

— Ну, я не… я же говорю, он заперся с отцом настоятелем.

— Он захочет меня увидеть, — сказал я. — Мы дружим.

— Я не уверен, что стоит их беспокоить. — Его улыбка припечатала к лицу эмоцию, которой я не понимал, пока он не продолжил: — И если я правильно понимаю, мистер Калкинз пришел

сюда, *помимо прочего*, затем, чтобы отдалиться от друзей на более комфортное расстояние. — Тут он хихикнул. Вслух.

— Он со мной никогда не встречался, — сказал я и сам не понял зачем. (Объяснить, что личные причины, побуждающие человека отдалиться от друзей, нас с Калкинзом не касаются? Но прозвучало иначе.) Ладно, фиг с ним.

Бумкнул колокол.

— А, то есть, — он глянул на колокольню, — сестра Эллен и брат Пол все-таки *не забыли*, — и улыбнулся (какой-то междусобойной шутке?), а я между тем наблюдал, как модель монастыря, которую я создал, сам того не осознав, — три корпуса, где живут только отец настоятель, Калкинз и этот вот, — рушится и складывается в общину братьев и сестер, садик, коз и кур, утрени, повечерия, вечерни…

— Эй, — сказал я.

Он на меня посмотрел.

— Идите скажите мистеру Калкинзу, что пришел Шкет, и спросите, хочет ли он меня видеть. Если не хочет, я приду в другой раз — я теперь знаю, куда идти.

Он в расстройстве поразмыслил.

— Ну ладно. — И повернулся.

— Эй.

Он оглянулся.

— А вы кто?

— Рэнди… ну, брат Рэндольф.

— Понял.

Он свернул за угол и исчез вместе с колокольным эхом.

Арочную дверь под выщербленным замковым камнем, судя по всему (по слою ржавчины ниже засова с запястье толщиной), не открывали весь год.

И я продолжил свое странствие: я так давно искал монастырь, а нашел, даже не задумываясь о цели поисков. Долгие минуты я раздумывал, нельзя ли вот так получать в жизни всё. Дойдя наконец до здравого ответа («Нет»), я рассмеялся (вслух), и мне полегчало.

— Они уже…

Я отвел глаза от миазмов озера Холстайн.

— …уже на сегодня закончили, — сообщил брат Рэндольф от угла. — Он с вами поговорит. Мистер Калкинз сказал, он с вами поговорит немножко. Отец настоятель сказал, это ничего. — Я зашагал к нему, но он все равно произнес: — Пойдемте.

По-моему, он удивился, что все так обернулось. Я тоже удивился; только он-то еще и расстро-

ился.

— Сюда. — То есть к белому деревянному шезлонгу на каменной веранде с колоннами вдоль всего корпуса.

Я сел и улыбнулся брату Рэндольфу.

— Они, понимаете, уже закончили, — пояснил он. — На сегодня. И отец настоятель говорит, можно с вами поболтать, если недолго.

По-моему, он сдерживал улыбку.

Интересно, болит у него эта штука под капюшоном?

— Спасибо, — сказал я.

Он ушел.

Я посмотрел на пятнистую траву, на веранду, влево и вправо, на бежевый камень; рядом в стену погружалась бетонная решетка с цветочными завитками. Разок я встал и туда заглянул. За ней оказалась другая, и она выдавалась из стены на шесть дюймов — внутри ничего не видно. Для вентиляции, наверно, подумал я, но тут коленом (всматриваясь сквозь решетку, я шагал вдоль каменных цветов) задел шезлонг, и его ножки громко заскрежетали.

— Прошу прощения?..

Я слегка отпрянул.

— Ау? — удивленно переспросил я.

— Я не понял, что вы там, пока не услышал, как вы ходите.

— А. — Я отступил от решетки. — Я думал, вы на веранду выйдете… — (Он усмехнулся.) — Ну ладно, так, пожалуй, тоже ничего. — И я развернул шезлонг.

— Хорошо. Я рад, что вы не против. Весьма необычайно, чтобы отец настоятель разрешил тому, кто алчет постичь монастырскую жизнь — как они тут называют этот процесс, — хоть как-то сообщаться с людьми извне. Беседы с членами общины ограничены. Я здесь уже не первый день, однако официально приступаю к занятиям лишь сегодня на закате солнца. Так что он сделал исключение.

Я присел на подлокотник шезлонга.

— Ну, — сказал я, — это если солнце сегодня *закатится*…

Он опять усмехнулся:

— Да. Видимо.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

— Вероятно, точнее всего будет сказать, что я планирую ступить на путь духовного учения. Не знаю точно, надолго ли это. Вы меня перехватили как раз вовремя. И кстати, должен предупредить: возможно, вы зададите вопросы, на которые мне

не дозволено отвечать. Отец настоятель велел в ответ на такие вопросы хранить молчание, пока вы не заговорите снова.

— Не волнуйтесь, — сказал я, — в тайны ваших здешних благочестивых игр я не полезу, — и как бы пожалел, что нельзя.

Но голос ответил:

— Нет, я имею в виду не вопросы, касающиеся монастыря.

И (Пока он раздумывал, надо ли еще пояснять?) я раздумывал о том, как медленно взрывается колокольня — расшвыривает камни в замутненный воздух, до того разреженный, что в нем не поплывут ни кирпич, ни болты, ни веревка.

— Мне кажется, вы не *можете* спросить о монастыре такое, на что мне не дозволено ответить, если я знаю ответ. Но один из элементов учения — самодисциплина, так сказать: в ответ на любые вопросы, высекающие во мне искру некоего внутреннего отклика, побуждающие меня к неким мыслям, неким чувствам, мне надлежит не изливать вербальный ответ, который, сколь бы ни был информативен, высказывается главным образом для того, чтобы эти мысли и чувства подавить, но испить вопросы до дна в страхе молчания.

— А, — сказал я. — Какие мысли и чувства? — Прошло десять секунд безмолвия, и я рассмеялся. — Извините. Это, по-моему, примерно как не думать о белом гиппопотаме, претворяя кипяток в золото.

— Вполне.

— Но вообще интересно. Может, я когда-нибудь и сам попробую. — И я почувствовал себя почти как в то утро, когда пообещал пастору Эми когда-нибудь заглянуть к ней на службу. — Эй, спасибо за письмо. И за праздник.

— Премного рад. Поскольку письмо вы получили, мне надлежит воздержаться от дальнейших извинений. Нельзя сказать, что я удивлен нашей встречей, но не сказать также, что я ожидал ее сейчас. Разрешите спросить, было ли вам весело? Или, может, лучше оставить эту тему вовсе.

— Было познавательно. Но по-моему, то, что вы не появились, особой роли тут не сыграло. Скорпионы отлично попраздновали — я все гнездо привел.

— Как жаль, что меня не было!

— Все напились. Не повеселились только те, кто, наверно, и не заслужил. А ваши друзья вам не доложили? — Я решил, что для разгона спрошу о чем-нибудь таком.

— …Да… Да, они доложили. А кое-кто из моих друзей сплетничает весьма колоритно — порой я думаю, не потому ли я их и выбрал. Надеюсь, ничто не отвратило вас от нынешней писательской работы. В письме я говорил о следующем сборнике вполне искренне.

— Ага.

— Когда мои друзья — мои шпионы — завершили свое повествование, Тельма — помните Тельму? — сказала практически дословно то же, что и вы: те, кто не повеселился, веселья и не заслуживали. Услышав это от нее, я заподозрил, что она лишь старается унять мои угрызения. Однако теперь ее слова подтверждает почетный гость. Мне лучше отринуть сомнения. А я не знал, что вы друг Ланьи.

— Точно, — сказал я. — Вы же знакомы.

— Замечательная юная леди — была прежде и, судя по донесениям, остается по сей день. Как я уже сказал, когда мои шпионы завершили свой рассказ, я постиг, что недооценил, насколько вы — потребный Беллоне поэт, по всем параметрам, кроме литературного качества, о котором, как я объяснил в письме, я не в состоянии и планирую не приходить в состояние судить.

— Мягче всего, мистер Калкинз, — сказал я, —

будет выразиться так: эти ваши параметры меня напрочь не интересуют. Никогда не интересовали. По-моему, это не параметры, а говна кусок. Но…

— Вы же понимаете, — сказал он после моей смущенной паузы, — именно поскольку вы так к этому относитесь, вы гораздо *лучше* подходите для вашей роли по тем параметрам, о которых говорю *я*. Всякий раз, когда вы вновь отказываетесь дать интервью «Вестям», мы рапортуем об этом — как о вдохновительном примере равнодушия к публичности — *на страницах* «Вестей». И так ваша слава растет… Правда, от интервью вы пока не отказывались. И вы сказали «но…» — Калкинз подержал паузу. — Что «но»?

Жуть как неудобно было на этом подлокотнике.

— Но… мне кажется, может быть, я опять вру. — Я опустил взгляд на складки живота, перечеркнутые цепью.

Он, если и отметил это «опять», виду не подал:

— Можете объяснить?

— Я помню… я помню утро в парке, еще до того, как познакомился с мистером Новиком и вообще узнал, что эти мои писания кто-то захочет опубликовать: я сидел под деревом, с голой жопой,

рядом Ланья спала, а я писал… нет, я переписывал. И мной вдруг овладел… бред величия? Такие яркие фантазии, что *дышать* нечем! Живот заболел. Я не мог… писать! О чем и речь. Эти фантазии — они были в параметрах, о которых говорите вы. Поэтому я знаю, что они у меня есть… — Я прикинул, отчего замолчал. Сообразив, вздохнул поглубже. — По-моему, я… больше не поэт, мистер Калкинз. Не уверен, что был поэтом. Один раз на пару недель я, может, к тому приблизился. Если да, мне никогда не узнать. Никому никогда не узнать. Но помимо прочего, я потерял — если когда и имел — ясное представление о том, как умеют раскрутиться флюгеры моей души. Не знаю… Я предполагаю, что вам интересно, — вы же говорили в письме, что хотите еще книжку.

Плюсы записи собственных разговоров – это единственный шанс изложить внятно. *Этот* разговор был раз в пять дольше и раз в десять неуклюжее. Две фразы, которые я все-таки добыл из него дословно, – та, где про «…ясное представление о том, как умеют раскрутиться флюгеры моей души…» и та, где «…испить до дна в страхе молчания…». Только я сейчас по-

нимаю, что «флюгеры моей души…» – это была его фраза, а «…страх молчания…» – моя.

— Мне интересна, — холодно сказал он, — политика. Я настроен исследовать лишь крошечное пространство, где политика и искусство смыкаются заподлицо. Вы допускаете весьма распространенную ошибку писателя: полагаете, будто публикация — единственно возможная политическая работа. Среди моих занятий она одна из самых интересных, но также — одна из мельчайших. Естественно, она страдает, и при нынешнем положении в Беллоне с этим ничего не можем поделать ни вы, ни я. Впрочем, вероятно, я допускаю весьма распространенную ошибку политика. Для меня все ваши проблемы — немножко *Dichtung*, немножко *Wahrheit*[52], с упором на последнее, не более того. — Он помолчал, а я поразмыслил. Он додумал первым: — Вы говорите, что экстралитературное обрамление вашей работы вас не интересует — я так понимаю, мы оба подразумеваем признание, престиж, сопутствующее

[52] Примечания: 52

Поэзии… правды *(нем.)*, аллюзия на автобиографию Иоганна Вольфганга Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни» (*Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit*, 1811–1831).

поклонение герою и неизбежные его искажения — все то, по сути, что подкрепляет наслаждение аудитории, когда ей недостаточно наслаждения от работы художника. *Затем* вы говорите мне, что и сама работа вас теперь не интересует, — как еще мне трактовать заявление «я больше не поэт»? Скажите — и я спрашиваю, потому что я *и впрямь* политик, я правда не знаю, — а художник может поистине интересоваться своим искусством, а всем прочим нет? Политик — тут я могу поклясться — не может поистине (или, лучше сказать, к пользе) интересоваться общественным благом, хотя бы не *желая* (получая или нет — вопрос другой) общественного признания. Покажите мне того, кто этого не хочет (получает или нет — вопрос другой), и я покажу вам того, кто берется убивать евреев для их же блага или отправляется завоевывать Иерусалим, чтобы перекопать его под резервуар для святой воды.

— Художник — может, — сказал я. — Некоторые очень хорошие императоры покровительствовали некоторым очень хорошим поэтам. Но гораздо больше хороших поэтов как-то, видимо, справлялись без покровительства любых императоров, хороших, плохих, любых. Ладно: поэта все это интересует — и признание, и репутация, и имидж.

Но лишь в силу того, что это есть в жизни. Поэту выпадает быть человеком, который очень глубоко постигает, чем он занят. Интересоваться, как это все устроено, — одно. Желать этого — другое, и это мешает поистине понимать, как оно устроено. Да, все это интересно. Но я этого не хочу.

— Вы врете — «опять», как выразились вы? Или голову мне морочите — как выразился бы я?

— Голову я морочу, — сказал я. — Но с другой стороны… я же еще и пишу.

— Да ну? Какой сюрприз, после всего вышесказанного! Я, разумеется, прочел немало никудышных творений мужчин и женщин, некогда написавших что-то достойное, и понимаю, что привычка записывать слова на бумаге дьявольски навязчива… Но вы сильно затрудняете мне задачу сохранять обещанную объективность. Хотя бы по моим эвфуистическим газетным экзерсисам вы, вероятно, догадались, что я вынашиваю всевозможные литературные теории — слабость, что роднит меня с Цезарем, Карлом Великим и Уинстоном Черчиллем (не говоря уж о Нероне и Генрихе Восьмом): вот *теперь* я хочу прочесть ваши стихи из чистейшего желания помочь! Но именно здесь политика, внушив себе, что действует сугубо из великодушия, обязана

убрать руки прочь, прочь, прочь! Отчего вы недовольны?

Я пожал плечами, сообразил, что ему не видно, и спросил себя, насколько сам упускаю его за этой каменной кладкой.

— Я, мне кажется, — сказал я, — пишу… неправду. То есть я почти не могу воспроизвести, о чем это. Жизнь — в основном страшная штука, где попадаются моменты чуда и красоты. Но страшна она в основном тем, что ее так много и она ревом забивает все пять чувств. Я лежу у себя на антресолях, в одиночестве, среди ночи — а она врывается с ревом. И я работаю — вырезаю из нее по чуть-чуть, строю мгновения порядка. — Я переплел пальцы (холодные) и прижал к животу (горячему). — Я обделен инструментами. Я безумец. Я обделен жизнью. Я безумец в этом обезумевшем городе. Когда перед тобой сложнейшая проблема — два человека обменялись одним словом, и оба подозревают, что это слово понимают… Когда рукой касаешься своего живота и гадаешь, кто кого щупает… Когда трое кладут руки мне на колено, и каждый дышит в своем темпе, и сердцебиение под большим пальцем у одного диссонирует с пульсом в артерии коленной чашечки, и один из этих троих — я… пред лицом всего этого моя

способность к упорядочиванию истощается.

— Вы уверены, что не говорите просто-напросто — ой, как жаль, что я вас не вижу! — или стараетесь не сказать, что вашей работе мешают обязанности большого злого скорпиона?

— Нет, — сказал я. — Скорее наоборот. В гнезде мне наконец хватает людей, которые греют меня по ночам. И там я защищен не хуже, чем все в этом городе. Любой скорпион, что вообще задумывается о моих стихах, просто ослеплен объектом — книжкой, которую вы так любезно из них сделали. Кое-кто даже краснеет, натыкаясь в ней на собственные портреты. То есть все, что реально происходит между первой строкой и последней, — исключительно мое дело. Скорпионы завладели мной без борьбы. Мой разум — магнит, а они — железная стружка в моем поле… нет, это они магниты. А я стружка, и сейчас мое положение устойчиво.

— Вы слишком *довольны жизнью*, поэтому не можете писать?

— Вы, — сказал я, — политик; вам просто не понять.

— По крайней мере вы слегка поддерживаете меня в моей решимости не читать ваши работы. Что ж, вы говорите, что пишете по-прежнему.

И ваша вторая книга, каким бы предисловием личного характера вы ее ни предварили — пусть даже и таким, — интересует меня не меньше первой.

— Вряд ли я все брошу и вам ее понесу.

— Если придется организовать похищение, украсть ее, еще блистающую влажными чернилами, прямо из-под тени вашего темного пера, — ну, значит, видимо, придется. Поживем — увидим, хорошо?

— У меня и другие занятия найдутся. — Я впервые взаправду разозлился на его аффектацию.

— Расскажите мне о них, — сказал он тоном до того непринужденным, но до того непринужденно проистекавшим из лукавства, что злость моя потерпела поражение.

— Давайте… давайте вы кое-что расскажете *мне*, — ответил я.

— Если смогу.

— Отец настоятель вот этого монастыря, — сказал я, — он хороший человек?

— Да. Он очень хороший человек.

— Но, понимаете, чтобы принять этот ответ, — сказал я, — мне надо знать, приемлемо ли ваше понятие о хорошем. У нас они, наверно, разные… Я даже не знаю, *есть* ли у меня хоть какое!

— И снова очень жаль, что мне не дозволено вас увидеть. У вас такой голос, будто вы чем-то огорчены. — (А я и не заметил; я не *чувствовал* огорчения.) — От меня не укрылись ваши старания удержать нашу беседу на уровне честности, который я счел бы занудством, не почитай я правду, как до́лжно почитать ее всякому, кто по наипохвальнейшим причинам вынужден лгать напропалую. Я не очень собой доволен, Шкет. За последние месяцы десяток разных ситуаций подтолкнул меня к одному-единственному выводу: быть хорошим человеком хорошему правителю если и не абсолютно необходимо, то, вне всякого сомнения, неоценимо поможет. Беллона — город оригинальный и поощряет оригинальность. Но здесь, в оригинальнейшем из всех оригинальных обиталищ я очутился потому, что очень хочу…

В рот мне надуло пылью, что ли, и она попала в горло; я откашлялся, а в мыслях: господи, только бы он не решил, что у меня перехватило дыхание от чувств!

— …слегка рассеять это недовольство. Отец настоятель — если и не хороший человек, то безусловно щедрый. Разрешил мне пожить здесь… Разумеется, отношения между главой государства и главой государственной религии всегда

странны. В конце концов, я помогал устроить это заведение. Как я помогал устроить «У Тедди». Конечно, в данном случае крупнейшая — хотя и простейшая — работа, с учетом моего положения в «Вестях», сводилась к полному исключению огласки. В нынешнем своем настроении вы должны оценить. Но нет, мои отношения с отцом настоятелем — не отношения мирянина со священником. По меньшей мере с моей стороны они двуличны, полны сомнений. Я бы не очутился здесь, если б не сомневался. Боюсь, политика разъедает духовность, как гниль. Хороший правитель хочет, по крайней мере, чтобы гниль была наилучшего качества.

— Отец настоятель — хороший человек? — снова спросил я и постарался *ничем* не выдать огорчения. (Может, это мне и отлилось?)

— Вам не приходило в голову, мой юный Диоген, что, отполируй вы абажур *своего* фонаря, вы чуть скорее узрели бы этого загадочного и запредельного Иного, которого упорно ищете? Зачем вас так это беспокоит?

— Чтобы я мог жить здесь, — ответил я, — в Беллоне.

— Вы опасаетесь, что за неимением одного хорошего человека город будет повержен? Глянь-

те-ка за железную дорогу, юноша. Апокалипсис пришел и ушел. Мы лишь ковыряемся в золе. *Это* уже просто-напросто не наша проблема. Хотели уйти — надо было думать раньше. О, вы очень возвышенны — да и я порой тоже. Что ж, на посту главы государственной религии отец настоятель работает неплохо; и тем, у кого дела идут хуже, для их же блага не стоит задавать лишних вопросов — в особенности поскольку больше нам ничего не выпало.

— А про народную религию что скажете? — спросил я.

— То есть?

— Ну, знаете: церковь пастора Эми; Джордж; Джун; вот это все.

— А кто-то воспринимает это всерьез?

— Вы же правитель, — сказал я. — Как-то вы не особо в курсе народных чаяний, нет? Вы же видели, что было в небе. Его портрет — на каждом углу. Вы опубликовали интервью и фотографии, которые их и обожествили.

— Кое-что я, конечно, видел. Но боюсь, черный мистицизм и гомоэротика лично меня особо не привлекают. И уж точно не представляются мне образцовым фундаментом поклонения. Пастор Эми — хорошая женщина? А Джордж — хоро-

ший… бог?

— Меня *ничья* религия особо не колышет, — сказал я ему. — Но если угодно сводить задачу религии к выявлению людей, творящих хорошие дела… Когда я до смерти проголодался, пастор Эми меня накормила. А когда я был ранен и хотел пить, мне под вашими воротами отказали в стакане воды.

— Да. Об этом прискорбном инциденте мне доложили. Расплата у нас тут неотвратима, не так ли? Зато вы никогда не публиковались, а я вас опубликовал.

— Ладно. — Смех у меня вышел слишком резкий. — У вас все ходы записаны, мистер Калкинз. Ну а то, это же ваш город. О, вот помните статью про то, как я спас детей из пожара в ночь после праздника? Так вот, их спас не я. Их спас Джордж. Я просто за компанию. Но это Джордж бродил по улицам, искал в пожаре, не нужна ли кому помощь. А я мимо проходил; и остался лишь потому, что он рассказал, как люди сначала пришли с ним из бара, а потом зассали и сбежали. Я первым услышал, как дети плачут, но вломился в дом и пятерых вытащил живыми Джордж. Потом, когда его разыскал ваш репортер, Джордж прикинулся, будто это все я, потому что не хотел признания,

престижа и сопутствующего поклонения герою. Что в нынешнем своем настроении я одобряю. Как по-вашему, Джордж — *плохой* человек?

— Мне представляется, — голос был сух, — изначально в вашем вопросе имплицитно проводилось настоятельно необходимое различие между теми, кто *поступает* хорошо, и теми, кто *хороший*.

— Само собой, — сказал я. — А у вас *эксплицитно* прозвучали слова насчет удовольствоваться тем, что нам выпало. Мне, если приходит нужда, выпадает Джордж. Он вполне добродушное божество с симпатичными человеческими изъянами — похотью в анамнезе, например.

— Пожалуй, я все-таки слишком врос в иудеохристианство — меня смущают откровенно человеческие демиурги.

— В государственной религии правитель — наместник Бога на земле, если я правильно помню. Не поэтому разве отношения главы государства и главы церкви щекотливы — ну, вы же мне сами только что рассказали? Вы такое же божество, как Джордж, минус некоторые небесные знамения и — тут я, конечно, говорю наугад — пара дюймов хуя.

— Надо полагать, одна из правомерных задач

поэтов — кощунствовать на ступенях алтаря. Жаль только, что этот порыв посетил вас сегодня. Я, впрочем, понимаю — как политическую, если и не религиозную необходимость.

— Мистер Калкинз, — сказал я, — большинство ваших подданных не знают наверняка, существует ли вообще это заведение. Я явился не выражать давно задуманный протест. До сего дня я даже не знал, что тут есть отец настоятель. Я просто спрашиваю…

— О *чем* вы спрашиваете, юноша?

Все, чем я хотел огрызнуться, отрезало напрочь, едва я сообразил, что он взаправду терзается.

– *Э*… — Я прикинул, что бы такого сказать остроумного, но меня не осенило. — Отец настоятель — хороший человек?

Когда он ничего не ответил, а я заподозрил / припомнил почему, захотелось смеяться. Намереваясь удалиться в тишине, я слез с подлокотника. Однако три шага спустя пузырь лопнул громким хи-хи, которое грозило истечь ревущим потоком. Если б Калкинзу было видно, я бы помигал ему огнями.

Из-за угла выступил брат Рэнди — над кроссовками волновалась сутана.

— Уходите? — Метамфетаминовую гримасу он

так и не снял.

– *Угум*.

Он пошел меня провожать. Ветер, прежде слабо свистевший в левом ухе, окреп и захлопал полами жилета по бокам; сдернул с Рэнди капюшон. Я посмотрел на одинокую Австралию в Южном Тихом его черепа. Вовсе не такая огромная, как я вообразил, увидев край. Он перехватил мой взгляд; поэтому я спросил:

— Болит?

— Иногда. В воздухе пыль, грязь — видимо, поэтому воспаляется. Теперь уже гораздо лучше. Раньше, когда я только пришел, все ухо такое было и шея сзади. Отец настоятель посоветовал обрить голову — так, конечно, залечивать стало полегче. — Мы подошли к лестнице. — Отец настоятель разбирается в медицине будь здоров. Велел чем-то мазать — вроде заживает. Я одно время думал, может, он раньше был врачом, но я спросил…

В паузе я кивнул и зашагал вниз. Он чем-то ширялся, зуб даю, и едва он заговорил, у меня начались слуховые видения неумолчного стрекота.

— …а он сказал, что нет. Пока-пока. — Он помахал крупной полупрозрачной рукой.

Всю дорогу по проломленному мосту я скла-

дывал портрет человека за стеной (мои огни сверкают меж двух цветочных каменных решеток, набрасывая на его тело паутину света); я даже гадал, что он чувствовал при нашем разговоре. Единственное, что прояснилось, когда отпали все мои умопостроения: мною овладел порыв что-нибудь написать. (Бывает ли так, что вами овладевает неуемное?.. — как на задних обложках журналов пишут. Во-во.) Но сидя здесь, в дальней кабинке у Тедди, сегодня, пока Зайка выступает перед публикой-несколько-скуднее-обычного (спросил Перца, не хочет ли он со мной, но он сюда не ходит, его аж корежит, и я для компании прихватил тетрадь), я вижу, что порыв родил лишь этот вот рассказ — а вовсе *не* то, над чем я собирался поработать. (Зайка обитает в опасном мире; ей подавай хорошего человека. А выпал ей Перец… нет, образ, до которого Перец в лучшие свои минуты [когда способен улыбаться] снисходит ради нее, но обычно он слишком устал или стыдится. Вправе ли я говорить ей об этом — кощунствовать на ступенях алтаря, делиться сведениями, почерпнутыми в полуденном странствии? Жаль, что его танцы не очень-то мне по нутру.) Это не стихотворение. Это весьма убогий отчет о том, что произошло в год Господа Нашего

и ах как было бы приятно записать месяц, день и год. Только я не могу.

> Все это мы не говорили такими словами; но говорили мы об этом. Сейчас перечитываю – и возвращается реальность разговора. С ним бы тоже так было? Или я упустил некие характерные личные знаки, по которым он бы вспомнил его и узнал?

* * *

Если Доллар не перестанет допекать Саламандра, Саламандр его убьет. Если Доллар перестанет допекать Саламандра, Саламандр его не тронет. Если Саламандр убьет Доллара, Доллар, значит, не перестал допекать Саламандра. Если Саламандр не тронет Доллара, Доллар, значит, перестал допекать Саламандра. Которое из утверждений истинно? То, разумеется, где слов меньше. Но это псевдологика. Почему? Трижды благословен Повелитель Божественных Слов, Бог Воров, Господин Подонков, нравом двуполый, природой двуличный, однако единый во всех преломленьях.

* * *

локтем ему в подбородок.

Джон сказал:

— Эй!.. — и отступил, задрав руки, выставив ладони.

У нее вырвался звук — я такого никогда не слыхал *ни от кого*. Она лягнула Джона по ноге, попала под колено. Он снова цапнул было ее за локоть, но локтя под рукой не оказалось, и Джон опять отступил.

И споткнулся о корень, вздыбившийся прямо под деревом. Отчего страшно разозлился; и снова махнул на нее кулаком.

Она подпрыгнула. Вверх. Его кулак пришелся ей в плечо. Приземлилась и вонзила ногти ему в шею. У него затрещала рубашка.

Он врезал ей — сильно. Но это было не важно: я решил, она сейчас горло ему выгрызет. Что-то она прокусила. Он выдохнул:

— Ёпта!..

Денни цапнул меня за плечо:

— Эй, ты придержать ее не хочешь?..

— Нет, — сказал я. Перепугался до смерти.

Джон попытался заехать ей в живот.

Оба извивались, промахиваясь.

Милли все обходила их по кругу, а Джомми начал было:

— Эй, кто-нибудь… — а потом увидел всех нас и только сглотнул.

Джон пихнул ее в лицо. Она рванула его за руку. Не потянула — рванула. Он локтем врезался в дерево. Завопил и ладонью влепил ей по подбородку.

— УЕБОК!.. — заорала она очень громко — ясно, что горлу больно. — УЕБОК!..

Ее правый кулак с размаху от левого уха впечатался ему в лицо. Его затылок эхом грохнул по стволу.

— Эй! Кончай… Ну кончай…

Тут он, кажется, взаправду хотел вырваться. Заорал, перехватил ее запястье…

Она мясно покраснела от шеи и выше — выдернула кулак, выкручивая ему пальцы; а потом обоими кулаками саданула ему по шее.

— Господи… — сказал Джомми — мне, сообразил я. — Во психанутая… — Но попятился от моего взгляда.

Джон попытался сжать ее в медвежьих как бы объятиях. Брыкнул ногой в ствол, и оба повалились — он примерно сверху. Все вокруг снова сомкнули ряды.

Отбиваясь, она выдрала клок травы. А потом трава оказалась у него в волосах, и он опять завопил.

Из уха у него текла кровь. Но я не понял, что она сделала.

— Эй, слушайте! — сказала Милли громко и нервно. — А почему никто… — Тут до нее дошло: если кто и что-то, это придется лично ей.

Она шагнула было к ним.

Я коснулся ее плеча, и она резко обернулась.

— Честная драка, — сказал я.

Он ударил ее трижды, мощно, раз-два-три:

— Идиотка. Сволочная. Идиотка…

Но она умудрилась его сбросить. И замахнулась. Обоими кулаками засветила ему по лицу, один раз скользом задела по уху, попала в землю и опять завела кулаки, уже в крови. Когда ударила опять — он уже только лицо прикрывал, — я увидел, что кулаки сильно ссажены.

Где-то на шестом ударе — раз она коленом заехала ему в живот — я подумал, что, может, *надо бы* ее остановить. Подумал про Доллара. Подумал про Кошмара и Леди Дракон. Но я уже не так боялся, как вначале, когда казалось, что яростный колотун вот-вот разнесет ее на куски.

Денни раззявил рот. Мое плечо отпустил.

Она поднялась и чуть не упала.

— Ебаная ты гадина! — сказала она. Челюсть между слогами как будто щелкала. Она пнула его в голову. Дважды.

— Эй, ну *хватит*… — сказал кто-то и двинулся к ней. Но и пальцем к ней не прикоснулся.

А в мыслях: может, кроссовки не очень твердые.

Ага, щас.

Она развернулась и вслепую пошла ко мне.

Денни попятился, а она остановилась, оглянулась и заорала:

— Ебаная ты гадина! — и снова пошла. Пол-лица у нее опухло.

Двое парней стояли на коленях возле Джона. Позади как бы в нерешительности топталась Милли.

— Ну ни хера себе! — сказал Денни. — Во ты его уделала!

— Ебаная гадина! — прошептала она, отирая лицо и кривясь. — Ебаная… — Один глаз слезился.

Она пошла прочь. Мы пошли с ней.

— Он тебе тоже пару раз вмазал, — сказал Денни.

— Она-то своими ногами идет, — ответил я.

— Эй, у тебя круче получилось, чем у Флинта с

Долларом, — сказал Денни.

— У меня… — Она перевела дух. — У меня, видимо, повод был посерьезнее. — Она ладонью растерла плечо, сильно растопырив пальцы. И окровавив рукав рубахи. По-моему, еще не поняла, что у нее кровь.

— Эй, Ланья? — сказал Джек. За плечом у него стоял Фрэнк.

Она остановилась и оглянулась.

Она сглотнула, и я подумал: она хоть помнит, кто он такой?

Это я проецировал, наверно.

— Спасибо, — сказал Джек.

Она кивнула, опять сглотнула и пошла дальше.

— Что с тобой? — спросил Денни ярдов двадцать спустя. — Глаз болит?

Она покачала головой:

— Просто… — Расклеилась, похоже. — Короче, приличные девочки из Сары Лоренс, как правило, не выбивают, блядь, говно из… — И снова всхлипнула.

Я обнял ее за плечи. Она, по обыкновению, прекрасно вписалась мне под мышку. Только шаг к моему не подстроила. Поэтому я подстроился к ней.

— Надо было тебе там помочь?

— Я бы тебе яйца оторвала! — сказала она. — Я бы… Я бы не знаю что…

Я пожал ей плечо:

— Просто спросил, птенчик.

Она снова потрогала подбородок — осторожно, понимая уже, что болит. И его тоже окровавила.

— Школа — мое дело. Не твое. Ты там даже не бывал. Пол тебе даже не *нравился*… Ох, вот гадина *ебаная*!.. — и остановилась.

— Я тебе пару раз помогал с уроками, — сказал Денни. — Да? — и оглянулся.

— Конечно, — сказала Ланья и положила руку ему на плечо. А потом поморщилась и нагнулась растереть ногу. Она не хромала, но ступала все равно осторожно.

— Я просто не понимаю, чего ты на него взъелась, — сказал я.

— Да пошел ты! — Она отшатнулась. — Ты много чего не понимаешь. Про меня.

— Ладно, — сказал я. — Это я зря.

— Вот и я, — обрубила она. Но когда я ее догнал, обняла меня за плечи. И подстроила шаг.

— Эй, — сказал Денни. — Хочешь побыть одна?

— Да, — сказала она. — Да, хочу.

Мы дошли до ворот парка, и я думал, мы вместе

вернемся в гнездо. Но около львов она сказала:

— До скорого, — взяла и ушла.

— Эй… — окликнул я.

— Она хочет побыть одна, — сказал Денни.

Мне все равно было странно.

В гнездо она вернулась — поздно ночью, когда мы (я — полупьяный) уже с час валялись в постели. Я смутно слышал, как она раздевается, потом карабкается по столбу.

Она переползла через меня, за плечо перекатила меня на спину и, оседлав мне грудь, прожгла взглядом, раскачиваясь так, будто сейчас выдерет из меня что-нибудь зубами. Я сунул руку ей между ног, впихнул два пальца сквозь волосы в зернистое; мокро.

Она ладонями уперлась в меня, плечами стиснув себе груди, и взаправду зарычала.

Денни, забившийся в угол, перевернулся, поднял голову и сказал:

— А?..

— Ты тоже! — сказала она. — *Ты* тоже иди сюда!

Так меня никогда не трахал — невзирая на заплывший глаз и больную ногу — *никто*. (Она сказала, что до ночи просидела с мадам Браун — просто разговаривали. «Ты с ней трахалась

когда-нибудь?» — вот что интересовало Денни.) Посреди затяжной дистанции над краем антресолей возникла голова Саламандра и спросила:

— Народ, вы что тут *делаете*? Рухнет же все!

— Вали отсюда, — сказал Денни. — Твой золотой шанс был да сплыл.

Саламандр ухмыльнулся и свалил.

* * *

Днем гулял по улицам с Кошмаром, внимая его воспоминаниям о Леди Дракон:

— Слышь, мы с ней вечно чё тока не вытворяли, когда угодно, где угодно, посреди улицы, бля, браток, я тебе клянусь.

Мы гуляли, а он тыкал пальцем в подъезды, проулки, стоящий на осях пикап:

— Раз она в кабине сидела, а я стоял, бля, на тротуаре, руками за дверцу держался, только голову внутрь засунул, черную пизду ел, а Малыш с Адамом шлялись где-то на той стороне, а потом я ее выеб вон там, на мешках. Ох ёпта! — и где возле парка она пихнула его к стене и отсосала ему; и где велела идти посреди улицы, вывалив гениталии из ширинки. — А она сидела такая на бордюре и ртом делала всякое, слышь, браток, я еще даже не *дошел*, а у меня стоял аж *посюда*!

Он живописует этот праздник жизни, как недавно запрещенные религиозные ритуалы. Сорок минут слушал, и тут дошло, до чего не только Кошмар одинок — до чего мы все тут одиноки: с кем мне обсуждать механику Ланьи и Денни? Мне даже общественным порицанием не утешиться. Кошмар, вероятно, не говорил об этом никогда и ни с кем. На мраморных ступенях «Второго Сити-банка» (сообщает он мне) он велел ей раздеться донага:

— Прям как Малыш, ну. Тут по улицам хоть голяком ходи, это ничё, — и помочиться, а он стоял у нее за спиной, рукой держал за плечо и ловил ее мочу ладонью. — А один раз уложила меня на спину посреди мостовой, — мы вылавливали его воспоминания из сухого марева, и этот случай иллюстрировался обильной жестикуляцией и тряской головы, — голым, слышь, и все ходила и ходила вокруг, все ходила и ходила, большая такая женщина! — (Это последнее он все твердит и твердит, словно ее кружение прокладывало некую отчаянно потребную границу в нашей дикой глуши.) — Ел ее полчаса, клянусь, вот прямо, — он удивленно заозирался, — *тут*, слышь? Вот прямо тут! Как раз только светало, ее почти не видно…

Отвлекшись от его повествования, я раздумывал о клише, что диктуют поведение кровожадных людей и ныне популярны среди некровожадных: ответь на первый же вызов, иначе заклеймят трусом до последнего дня; готовностью драться заслужишь уважение; побил агрессора — он станет тебе другом. Если кто реально с такими понятиями заявится в гнездо, его там *укокошат*! (А в мыслях: Фрэнк?) Плечи у Кошмара качались. Кулаки — запястья обтянуты кожаным — подпрыгивали. Он хрипло перечислял:

— Она меня бухлом накачивала, а я ей потом давал отсосать, жопой прижимался к любой, сука, холодной стенке, штаны спускал до колен, бля, а она мне два пальца в жопу совала — не помню, как догадалась, что мне нравится *так*. — Он вдруг посмотрел на меня, насупился: — Ты как считаешь, я по делу?

— Чего?

— На этой вечерине садовой в гнезде. — Мясистая рука потянулась к свежим шрамам на плече до самого локтя. — Правильно я сделал?

— Леди Дракон — сама себе хозяйка, — сказал я.

Кошмар спросил:

— А ты бы как, если б на тебя такое говно вы-

валили?

— Я бы, наверно, — сказал я, — голову ей оторвал. А ты ей только руку подпортил на пару недель — вы оба, я считаю, проявили замечательную сдержанность.

— А. — Ладонь, собравшись в кулак, скользнула по груди и в задумчивости помяла костяшками живот.

— Но на меня такое никогда не *вываливали*, — сказал я. — Во всяком случае, не Леди Дракон пока что. Поэтому вы мне по-прежнему оба по кайфу.

— Ну да, — сказал Кошмар. — Само собой. Понимаю. Но на *тебя* такое никто и не *вывалит*. Все думают, ты слишком умный. Думают, с тобой можно поговорить. Может, знаешь, я потому тебе гнездо и отдал.

Тут я удивился.

— Ага, — продолжал он, — я ж говорю: пора мне валить из этого ебанутого припизднутого не города, а…

Сквозь его голос пробились детские голоса: мы шли мимо занавешенных окон Ланьиной школы. Кошмар посмотрел. Дверь приоткрывалась во тьму: смех, малолетние визги и болтовня…

Я шагнул через канализационную решетку на бордюр. Кошмар следом. Я оглянулся: толстая

кожа его лба сморщилась от прищура; губы растянулись и раздвинулись над целыми зубами (и одним сломанным).

Я вошел.

На столе над пустыми стульями мерцали и крутились магнитофонные катушки. Мы посмотрели, подождали. Кошмар подле меня лапал и мял лысое плечо, в опустевшей комнате слушая запись шума. Шрамы, цепи и статус, кое-что засунуто подальше, кое-что получено недавно, привычки без коррелятов, все это напихано в большой мешок под названием Кошмар, словно его подвиги и потери дорисовывают узор, выложенный улицами вокруг нас. А в мыслях: может, я этого человека больше и не увижу, если все

* * *

собственными глазами, ибо где-то в городе обитает персонаж, которого зовут «Шкет». Возраст: неопределенный. Расовая принадлежность: то же самое. Настоящее имя: неизвестно. Живет с людьми (чья гипотетическая свирепость уступает только их откровенной лени), над которыми имеет небесспорную власть. Они себя называют скорпионами. Предполагаемый автор книги, широко разошедшейся по всему городу. Поскольку

это единственная книга в городе, повсеместность дебатов о ней в текущем сезоне — сомнительное свидетельство славы. Это обстоятельство, а также интригующая фигура автора имеют свойство размывать четкие представления о ценности этой работы. Признаюсь: я заинтригован.

Сегодня я прошелся по кварталу, где у скорпионов, по слухам, гнездо. «Какого сорта улицу они себе выбрали?» В грамматике иного города эта фраза означала бы: на какого сорта улицу их более или менее загнало общество — если учесть их полуизгойский статус, их вопиющие манеры и наряды, а также экономику их антиобщественного положения? Однако в Беллоне те же самые слова подразумевают сложносоставную свободу, выбор в диапазоне от лачуги до особняка — сложносоставную, ибо при таком выборе всякая лачуга и всякий особняк сохраняют некие рудименты нашей невыразимой катастрофы: переход из комнаты в комнату любого дома — странствие оттуда, где две луны отбрасывали на пол двойные тени подоконников, туда, где некогда под исполински разбухшим солнцем вовсе не было никаких теней. Мы тут говорим на своем языке. Быть может, подлинная важность этой стихотворной брошюрки, которую я листал все

утро, заключается в том, что, в отличие от газеты, лишь она на этом языке и написана? Если больше не сказано ничего, по умолчанию выходит, что лучше и сказать нельзя. Живя в этой сумятице / скверне, всякий, кто чу́ток к языку, обязан аплодировать. Но найдется ли в этой книженции хоть одна строка, постижимая за чертой города?

На крыльце сидели пятеро. Двое привалились к разбитой машине у обочины. Почему меня удивляет, что большинство черные? Дети цветов, коим наследуют эти недодемоны, так подчеркнуто белокуры, редкий темнокожий среди них так подчеркивает терпимость! Все были отнюдь не мрачны.

Вот что запомнилось мне из последнего разговора с Тэком про Калкинза и праздник:

– Я, Шкет, видел вчера презанятный сон. Не то чтобы меня сильно парит значение – чужие сны я толкую, своими стараюсь просто наслаждаться. Короче, ко мне пришел мелкий черный пацан, лет тринадцати или четырнадцати… Бобби? Ты, по-моему, как-то раз у меня прикорнул, когда он забегал. Во сне он

стоял в футболке, и у него было полстояка (а полстояка у Бобби – это вот досюда!). Вдруг смотрю – а по крыше идет Джордж, типа в гости явился. Вошел и увидел нас. И все плакаты на стене – по-моему, хотя я не уверен – тоже на нас смотрели. И лицо у него такое насмешливое – мол, вот чего тебе, значит, надо. И мне стало ужасно стыдно. Да, а суть-то в чем – во сне мы с Бобби секса не планировали. Он хотел мне что-то показать на хую – болячку, что ли. И мне было страшно неловко, будто меня силком заставляют быть кем-то другим. Ну, с моими типическими предпочтениями – в смысле тип, а не представитель – мне бы лучше деревенского парнишку из Джорджии. Правда, Бобби я из койки ни разу не вытурил. Но сон был странный.

Первым делом я подумал: Тэк, мужик вроде очень крупный, стал гораздо меньше. Это потом уже дошло, что у крупного мужика внутри много разных компонентов, в том числе и маленький.

С ними сидели и три девушки, одна — юная и

кипучая черная девица с громадной афро, сильно беременная. Все в цепях — у кого-то целых пятнадцать, у кого-то всего две. Они были грязны и болтливы. Улыбались и вели друг с другом эдакую тихую как бы беседу. В сапогах, кожаных жилетах — без рубашек — и цепях они походили на какой-нибудь мотоклуб из Ковентри. У высокого и тощего черного мальчика на верхней ступени крыльца меж каблуков сапог стояла галлонная винная бутыль, которую периодически передавали до обочины и обратно. Горлышко отирал только белый без жилета и с изрубцованным животом — до того грязной рукой, что другая цветная девушка, высокая и крупная, после него пить отказалась. Остальные засмеялись, будто в ее укоре был скрытый подтекст. Я шел по дальнему тротуару, и на меня они даже не взглянули. Поговаривают, что эти мужчины и женщины в темноте умеют преображаться в целый зверинец сияющих тварей; что у них есть оружие, которое превращает кулак в колюще-режущий инструмент с пятью лезвиями. Интересно, был ли среди них Шкет…

Интересно и другое: если писать о себе в третьем лице, делаешь себе имя или теряешь имя? Здешняя моя жизнь все больше напоминает

книгу, где первые главы, даже титул обещают загадки, что разрешатся лишь в конце. Но читаешь — и подозреваешь все отчетливее, что автор потерял нить повествования, что вопросы не разрешатся никогда, или — еще огорчительнее, — что положение персонажей слишком переменится к финалу и ответы на изначальные вопросы обернутся банальностью. (Это Троя, Содом, Чатал-Хююк, Город Страшной[53]

> Еще не рассвет. (Настанет ли рассвет?) Только что вернулся из третьего и, надеюсь, последнего набега на «Эмборики». Не хочу даже писать. Но, как водится, напишу. (По крайней мере, сказал он, и слышны ли вам заглавные, Теперь Они От Нас Отстанут. Абсурдно задумчивый комментарий Тарзана [эхо того, что он слышал от меня?]:
>
> – Здесь это проще всего.
>
> Ворон, Жрец, Тарзан и Джек-Потрошитель твердили мне:
>
> – Не бери Перца, слышь!

---

[53] Примечания: 53

Очевидно, имеется в виду «Город Страшной Ночи» — аллюзия на одноименную философскую поэму (*The City of Dreadful Night*, 1874, рус. перев. В. Вотрина) шотландского поэта Джеймса Томсона (Биши Ванолиса, 1834–1882).

– Пойдут все, кто хочет пойти, – сказал я.

Впрочем, когда мы уходили, Перец куда-то слинял. Леди Дракон поджидала нас перед домом Тринадцати; в тенях подъезда стоял Малыш, как обычно, с г. ж., рябой и надутый. Продев руку в цепи, Адам сидел на бордюре и безутешно бухтел. Собор, Откровение и Болид и принесли канистры с

* * *

дымно-вечерний океан. Я принюхался было, однако ноздри онемели — или обвыклись. Львы в мутти раззявили пасти. Мы приблизились к туманной жемчужине одинокого горящего фонаря, и все лицо у нее скривилось. Она замерла; бирюза от подола до колен полыхнула аж до алой талии.

— Может, нам?.. Ой, Шкет! Ты знаешь, что они говорили!

— Будь *добра*… — попросил я ее. Горло болело от бега и промозглого воздуха. — Будь добра, скажи мне, что… *что* они говорили!

Ее руки заточили рот в клетку. Она вся была как ливень серебра в металлической черноте.

— Кто-то с крыши банка, «Второго Сити-бан-

ка»… ох, сука… снайпер!

— Господи боже, кого? — Я схватил ее за локотки, и волосы заплясали вкруг ее головы. — Скажи, *кого* подстрелили.

— Пола, — прошептала она. — Пола Фенстера! Школа, Шкет… и вообще всё!

— Он *погиб*?

Она затрясла головой, имея в виду, что не знает. Ее руки скручивали серебристую ткань на бедрах; одно потекло алым по ноге; из другого по животу зазмеилась желтизна.

— В огне, — очень быстро выпалила она. — В пожаре… все твои стихи, новые — они сгорели!.. — Ее губы смыкались и размыкались, перебирали слова, и ни одно не подходило. — Все до единого… я не смогла…

Утром проснулся на антресолях в темноте. Услышал стайку машин, прежде чем перекатился к окну и приподнял жалюзи. Солнце веером раскрылось на одеяле. Я слез по лестнице, по столбу, оделся и вышел из дома. Холодно – видно дыхание. Небо, озерно-голубое, к югу распушилось облаками; на севере ясное, как вода. Я дошел до конца квартала.

После предрассветного дождя мостовая потемнела по краю. Я перешагнул лужу. На автобусной остановке – восемь утра-то было уже? – стоял человек в клетчатой куртке, с черным эмалированным обеденным лотком; две женщины с меховыми воротниками; мужчина в серой шляпе, с газетой под мышкой; женщина в красных туфлях на больших квадратных каблуках. На той стороне длинноволосый пацан в армейской куртке стопил машины, катившие вверх по склону. Он мне улыбнулся, поймал мой взгляд. Я думал, это потому, что я вышел в одном сапоге, но он хотел показать мне что-то в небе, не привлекая внимания людей на остановке. Я посмотрел сквозь троллейбусные провода. Белые облака повисли за домами в центре; разломанные медовые соты окон истекали медью рассветного солнца. Градусов двадцать пять напыленной в небе дуги – бледная краснота, зелень, фиолет радуги. Я снова посмотрел на пацана, но возле него, поблескивая, уже тормозил «бьюик» семьдесят пятого, и пацан садился о господи о боже мой умоляю

ой умоляю не могу умоляю не надо

– *Ыннн*. — Что-то внедрилось мне прямо в нутро — не через кишки и не через горло.

Я сказал:

– *Ыннн*…

Она отпустила юбку.

— Это… наверно, хорошо, — только и смог выдавить я. — Мне они не нравились. И хорошо, что их… нет.

— Надо было тебе держать их в тетради! Я все не так сделала! Надо было тебе… — Она покачала головой. — Ой, пожалуйста, *прости* меня!

Я закашлялся.

— Слушай, — сказала она. — Все равно я половину выучила наизусть. Можно восстановить…

— Не надо, — сказал я.

— …и Эверетт Форест сделал себе…

— Не надо. Хорошо, что их нет.

— Шкет, — сказала она, — а Пол?.. С крыши «Второго Сити-банка». Ты не?.. *Умоляю*, постарайся вспомнить!

Тут она вздрогнула, словно увидела что-то (позади меня? надо мной? а огни у меня еще горели? я *не* помню!), и развернулась. И побежала, на миг полыхнула золотом, а затем ее поглотили

тени, и я кинулся следом, по кустам, топча листву и пепел. Захлопал ее блестящий подол, и она потемнела. (А в мыслях: кто ею управляет? Кто в радиусе не больше пятидесяти ярдов крадется подлеском, крутит ручки, дергает рычажки, что перекрашивают ее из алого в ультрамарин?) Босая нога переступила с бетона в траву. Ночь вздымалась и опадала. Привычка ли вела нас лабиринтом туманов? Я увидел дрожащие огни.

Утром Накалка привела женщину, которую я сначала принял за итальянку; сегодня же вечером она стала Черной Вдовой. Только что слышал, как она говорила во дворе – одна из немногих здесь, кто хотя бы по касательной подбирается к политике за чертой города:

– Не в том дело, что мужчины и женщины идентичны; а в том, что они почти идентичны во всем, кроме политического насилия и привилегий, которыми одарены одни и прокляты другие, и утверждать, будто различия «по природе», вплоть до деторождения, имеют вес, значит полагать цвет волос, силу руки, склонность к истории, а не к математике

или наоборот факторами, которые предопределяют, как с кем обращаться, без права на обжалование; а закрывать глаза на насилие и привилегии значит закрывать глаза на угнетение, эксплуатацию, даже геноцид, хотя они и взращивают совесть, сознание и гнев.

Весьма достойно. Но я слышал схожие соображения от Кошмара, Леди Дракон, мадам Браун, Тэка, Б-г, Зайки, даже от Тарзана. Это что же получается, Беллона – то самое невероятное поле, где единственная подлинная сила – осознание подобного порядка вещей? И поскольку здесь оно возможно, становится воображазим и уход в другой город.

Медное блюдо, громадное, с автомобильную покрышку, двадцать футов волокли по пепельной траве. Меня ужасно перло. Мысль раскачалась в мозгу, рассыпалась, зашипела, как вода в углях. В этом дыме что-то?.. Я поднял руку.

Медные листья, панцирь, когти — вдоль пальцев изгибались вверх длиннющие ножи на прихотливом браслете. В блюде поверх красных огоньков, трепеща, зависли синие. Вниз по но-

жам потекло пламя костра.

Я сделал еще шаг, шевеля только изуродованными кончиками пальцев.

Что-то пощекотало плечо.

Я развернулся, пригнулся. Листик скатился по жилету, просквозил по цепям, ткнулся в потертую коленку, закружился, опустился на землю. Задыхаясь, я поглядел вверх на косой ствол. Наверху тени роились у культи какой-то крупной ветки, отсеченной молнией.

Воздух застыл. Но внезапно незримая жухлая листва загрохотала над головой оглушительно, как реактивные самолеты. Распахнув рот как можно шире, я подался вперед. Ребром стопы вжался в корень. Бедром, и животом, и грудью, и щекой приник к коре. Глубоко вдохнул древесный запах и всем телом толкнулся в ствол. Рукой с ножами я гладил кору, пока не почувствовал, как ствол шевельнулся. Под жилетом катился пот. Цепи вгрызались в живот; стекляшки вдавливались в кожу; кора глодала щеку. Над головой в реве я различил треск; так трещит древесина, когда ее не ломают поперек, а раскладывают вдоль. И запах сильнее дыма: пряный, растительный и смрадный.

Где-то треть гнезда говорит «и тогда ли», четко и ясно. И думают так же. Не говорят «и так далее», и «итак, дали» тоже не говорят. Я это подмечал конкретно за Б-г, Накалкой, Вороном, Пауком, Ангелом, Собором, Разором, Жрецом. То есть: они обрабатывают слово за словом не так, как мы (Тарзан, к примеру, который говорит «итак, дали») – мы, по-моему, не улавливаем там никаких частиц, зато люди, которые говорят «и тогда ли», различают нечто обстоятельственное или хотя бы временно́е. Слово бьет меня по ушам, и в голове складывается сенсорное воспоминание – на память приходит предмет, мутный и в расфокусе, всплывает звук, запах или даже кинестетическое ожидание. Воспоминания невнятны – всегда есть что поправить. Слово прибывает за словом, и воспоминания сливаются, исправляют друг друга, разгораются, проясняются, обретают четкость: *гигантская… розовая… мышь!* Что я подразумеваю, говоря, что слово имеет значение? Вероятно, нейро / химический процесс, посредством которого одно внутреннее воспоминание

порождается одним словом, прозвучавшим в ухе. В человеческой речи так мало вариативности, так мало творчества: я сижу на крыльце, просеиваю часовые речи (в том числе собственные) и *один раз* нахожу два слова, сопряженных по-новому. Раз в пару дней такое сопряжение особенно четко заостряет то, о чем оратор (обычно Сеньора Испанья или Б-г; изредка я) говорит. Но когда такое происходит, замечают все:

– Ага, вот! Точно! – и смех.

– Во круто! – и чья-нибудь ухмылка.

– Да, неплохо.

В колледже я просеивал и находил по одному такому языковому узлу за десять часов речи, иногда за два или три дня. Там, впрочем, люди гораздо легче смирялись с банальщиной, клише, неуместностью и неточностью.

И поэтому я пишу здесь?

И поэтому я пишу здесь понемногу?

Посреди всего этого Ланья говорит:

– Угадай, с кем я вчера ужинала?

Я:

– С кем?

Она:

– Мадам Браун водила меня к Ричардсам.

Я:

– Понравилось тебе? – Удивился, признаю.

Она:

– Это было… познавательно. Как твой праздник. С этими людьми я бы лучше, пожалуй, виделась не на их территории, а на своей. Мадам Браун наоборот. То есть вряд ли мы впредь будем видеться часто.

Я:

– Как тебе Джун?

Она:

– Хорошая. Только с ней и можно было нормально поговорить… в коридоре внизу еще воняет; странно ехать в лифте мимо и знать, что там. Я ей рассказала про Дом. Она от восторга прямо не дышала. Артур и Мэри несколько раз подслушивали и были фраппированы. Но редко. – Она гладит льва по спине (по блестящим металлическим шрамам в бурой патине), смотрит за окно. – Я думаю, скоро она отыщет Джорджа. И тогда берегись.

Я:

– Почему? А что будет?

Она улыбнулась:

– Кто его знает? Может, небо расколется, и гигантская молния рассечет полуденный черный нейлон; и невиданные странные знаменья заволокут потолок черепной коробки. – Она дразнилась – искажала цитату из того, что я давал ей почитать утром. Сильно ее раздула, и мне стало неприятно.

Она поняла и тремя пальцами коснулась моего локтя. Но касание было легкое, как листик; я затрепетал.

– Тебе приятнее, когда лупят, а не щекочут, да? – Она надавила сильнее.

– Да, – сказал я. – Как правило.

Она наблюдала за мной – в людной комнате зеленые глаза темны, как пушечная бронза. Почти все спали. Мы ушли в гостиную.

Небо вползает сквозь сетчатые двери и незанавешенные окна, стирает цвет с диванов, столов, фотографий, плакатов по стенам.

Улицы снаружи тихи, как зоны бед-

ствий после эвакуации, клаустрофобия там острее, чем в доме, хоть наше логово и пропахло жарой и сонным копошением.

Люди считают нас энергичными, деятельными, агрессивными. Но в каждый конкретный момент треть из нас спит, а половина не высовывала носа из гнезда по два, три, четыре дня (здесь редок шум; и безмолвие редко); мы гнездимся в словесной паутине, что плетется фатически, шире и шире, просеивает наше значение и наши значения, прозрения и эмоции, мелкой-мелкой моросью, подобной тому, что витает в чумазых небесах.

Снова треск — но на сей раз выстрел или отдача, громче листвы и за целый парк от меня. Я оттолкнулся от ствола, смаргивая воду из глаз. Что-то упало, закачалось в траве среди корней; и еще что-то — обломки коры, шириной дюймов двенадцать, двадцать. Кора передо мной расступилась, слегка обвисла наружу. То, что было под ней, разглядел я при свете блюда, было красно; и влажно; и шевелилось. Что-то ломилось сквозь ветви, но застряло. Опять затрещало дерево и раздался, кажется, стон.

— Ланья! — во всю глотку закричал я. — Ланья!

Листва взревела вновь.

Я снова отшагнул — икру внезапно резануло болью. Я развернулся, пошатнулся. Голая пятка задела высокий изогнутый обод горячего металла. Я отскочил от рассыпавшихся углей; качнувшись, обод ободрал мне пол-икры. Опять выстрелы. Я кинулся бежать.

Далеко-далеко впереди горел фонарь. (А в мыслях: будут волнения! Фенстера застрелили — теперь черные заполонят весь Джексон, да еще и с Камберленда нахлынут…) Я попытался вспомнить, в какой стороне выход из парка.

На всех деревьях окрест листва грохотала, как реактивные самолеты.

Я подумал было включить огни, но не включил. Вместо этого сошел с тропы — споткнулся, чуть не вывихнул лодыжку, уже ободранную. Вскарабкался на какие-то скалы, откуда не увидел ни шиша, поэтому рассудил, что и меня никто не увидит. Забился между камнями, сел, прикрыл глаза, постарался совсем застыть.

Интересно, поджидают ли меня. Везет же как утопленнику — если и выберусь из парка, то через ворота на Камберленд, где горит сильнее всего. Я ощупал браслет орхидеи.

От света в листве я вздрогнул. Скорчился на коленях; наверняка сейчас увижу ослепительные щиты.

А это какие-то люди с фонариками. Когда шли мимо — я вжался в скалу, один фонарик метнулся по мне, на миг уставился прямо в глаза из-за ветвей, — прекрасно было видно, что они в основном белые; и с винтовками. Двое ужасно злились. Кто-то из них обернулся и крикнул:

— Мюриэл! — (Может быть, крикнула женщина.)

Собака залаяла — гав, снова гав — и промчалась сквозь блуждающий луч.

Я закрыл рот.

И глаза.

Надолго. Очень надолго. Может, даже уснул. Когда открыл, затекла шея; и одна нога тоже.

Небо от зари помутилось. Было очень тихо.

Я поднялся — руки и ноги ныли как ненормальные, — перебрался через скалы и спускался, пока не вышел из-под деревьев, обступавших поляну.

Шлакоблоки ближайшей стенки очага сдвинуты в кострище.

В воздух сочился дым. Трава посерела от пепла.

Никого.

Меж консервных банок и оберток я пошел к очагу. На скамье перевернулась коробка с мусором. Я носком сапога поворошил золу. Полдюжины углей вспыхнули глазами — подмигнули, упростились и схлопнулись.

— Ланья?

Они на корточках сидели над кострищем, на этих щелях прогнивших подмен добиваясь каждого слома. Но ведь на дороге в виверровой борозде у котелка ужасно захоранивалась лишь тысяча мудрецов. На шестке висел вскрытый аист — ведь она здесь жила ночами. Бражники и волки, дивно понастроенные по косой в долгоносиках или вдоль рытвины, доложить обстановку.

— Ланья!

А яблоко найдется? И они же взяли или срастили ей. Кроме этих прихваченных испепеленных скорлуп, вот какие-то струпья полиловели; чисто пляжи, но миазм. Они подкупили нас смешать горсть концептов с ленивым бухлом, сидели трезвы, возвращали наш личный заряд фиксаций. Они вскоре прижгли все то, чем ты, постоянство и экзегеза, разметалась вокруг него силой, что мы, без объяснений Денни, отыскали их огорошить, прекрасно да вяло. Им бы нужно дозволить ей

меньше крокодильего века из колчана никогда ее не бояться; и все равно ужас казался не настолько живым.

— Ланья?

И я фиксажем средь походок.

В листве шевельнулась фигура, и я все никак не мог

К низу предыдущей страницы желтым пузыристым скотчем приклеен голубой конверт, исполосованный по краю синим и красным. В верхнем правом углу две погашенные восьмицентовые марки. Штемпель неразборчив. Адрес в Беллоне такой:

США, Беллона
36-я улица, д. 400
«Апартаменты Лабри» (№ 17-Е)
Миссис Артур Ричардс

Обратный адрес, написанный тем же почерком (оба – зелеными чернилами):

Калифорния, Лос-Анджелес 6
Лилак-Виста, д. 7
Мисс Джулия Харрингтон

Само письмо то ли выбросили, то ли выпало.

Когда поднялся, дверь в ее кабинет была закрыта. Поэтому побродил — от кабинета в кухню, к Ланье в комнату и назад. В конце концов присел на край стола в коридоре, вывалил тома Новика из промеж статуэток, уложил рядом кипой и принялся листать.

Занятно вышло: миновало пять минут, а я так и не прочел целиком ни одного стихотворения, ни одного целого абзаца эссе или рассказов. Глаза фокусировались за или перед страницей. Та часть мозга, что живет прямо за глазом и преломляет самоцветы слов в образ, идею или информацию, работать не желала. (Я даже поразмыслил, играет ли здесь то, что я слышал, как разговаривает *он*.) Книги спроецировали собственные призраки, и за послеобразами не удавалось прочесть слова. Я брал книжку за книжкой, взвешивал на ладони, не открывая, откладывал, взвешивал пустую ладонь, нащупывал вес призрака. Я так ужасно сосредоточился — аж заболел живот. Поставил всё на место — сначала рассортировав по датам на странице с копирайтами — и еще погулял (помните четвертый день на спидах?), вернулся

к столу, опять вывалил книжки и ушел — что обнаружил, лишь когда повернул обратно.

Чем таким вибрируют эти предметы, что сами в вибрации исчезают? Поле генерирует человек, которого, хотя я не прочел ни единой его работы целиком, тайная механика моего сознания взяла и объявила художником. Как это комично, грустно, утомительно. Отчего я пал жертвой этой магии? Но чего бы я ни распознавал в себе, мне люто любопытно, кто взвесит на ладони «Медные орхидеи», прикидывая их ноуменальный вес.

— Шкет? — Тело и лицо мадам Браун рассекло дверью. — Вы пришли. Хорошо.

— Здрасте. — Я закрыл «Приют „Балларат“». — Уже можно войти?

Она распахнула дверь до конца; я слез со стола.

— Да, начнем. Надеюсь, вы недолго ждали?..

— Это ничего. — И я зашел в кабинет.

Темная древесина, до пояса наползавшая на тускло-зеленые стены, кушетка с зеленым вельветовым покрывалом, три больших кожаных кресла, высокий книжный шкаф, темно-зеленые портьеры — пришлось уточнить свою пространственную модель дома: кабинет оказался самой просторной комнатой на этаже, а я здесь никогда не бывал.

На стене висела распашная витрина, как в киоске с плакатами. Я подошел, открыл было, покосился на мадам Браун…

— Прошу.

…и перевернул первую раму, ожидая увидеть Джорджа.

Над косой плоскостью лунного сланца зависла неопрятная земля. В следующей рамке громоздкий астронавт выглядывал из наполовину посеребренного смотрового стекла. На всех картинках — я перелистал штук десять — Луна, или Марс, или знакомые лица астронавтов в ошейниках прижимных колец (двое — коротко стриженные молодые версии Кэмпа), или их блестящее нескладное оборудование (фольгированная нога модуля, под которую юркнула Кэмпова лунная мышь), пластмассовые флаги или бледные перистые облака, сзади подсвеченные выхлопом ракеты, поднявшейся над опорами.

Чтобы Кэмп посмеивался над нашим сеансом? Нет уж, я раскрыл витрину на меловом пейзаже, подпертом землей с облаками, похожей на негатив отпечатка большого пальца. Или на кастрюлю простокваши за миг до кипения; и отошел к креслу.

— Удобно вам там? — Мадам Браун закрыла

дверь. — Можете лечь на кушетку, если вам так проще разговаривать.

— Нет. Мне лучше вас видеть.

Она улыбнулась:

— Хорошо. А мне лучше видеть вас. — Она села в другое кресло, чуть под углом ко мне; одна рука на подлокотнике, другая на коленях. — Давайте поговорим. Вы как к этому относитесь?

— Немножко нервничаю, — сказал я. — Не знаю почему; с терапевтами-то я общался много. Но я тут подумал: здесь это ничего, психушек ведь не осталось, вам некуда меня упечь.

— Вы считаете, другие врачи, с которыми вы говорили, — допустим, врачи, к которым вы ходили перед тем, как впервые лечь в больницу, — вас туда упекли? — Она это сказала вполне открыто, не заключив *упекли* в саркастические кавычки.

Но я вдруг разозлился:

— Вы плохо разбираетесь в психах, да?

— Что вы хотите мне о них рассказать?

— Слушайте… я очень внушаемый. Лабильный… так это называется. Я очень быстро встраиваю новое в мою… модель реальности. Может, слишком быстро. Отчего и схожу с ума. Но когда вы нам говорите, что мы больные, или обращаетесь с нами как с больными, это встраивается…

в меня. Тогда я больной. — И мне, удивительным образом, тотчас захотелось плакать — и от души.

— Что с вами?

Хотелось сказать: я вас ненавижу.

— Я думаю… я думаю, вы вообще не думаете!

И я заплакал. Сам удивился до смерти. Не мог шевельнуть руками. Но повесил голову, чтоб отпустила боль в шее. По носу текли ручейки. А в мыслях: господи боже, быстро-то как! — и хлюпнул носом, когда тишина стала действовать на нервы.

— Вам понравилось в больнице?

— Понравилось?.. — Я поднял голову. — Это же вы мне говорили… — Скатилась еще слеза. Стало холодно. — Нет, вы говорили, что надо научиться любить людей, которые случились под рукой, да? Так вот там было полно людей, которые очень сильно пострадали, и было очень сложно научиться их любить, очень затратно — эмоционально затратно. Но мне, пожалуй, удалось.

— Почему вы плачете?

— Потому что я не верю в волшебство. — Я снова хлюпнул носом; на сей раз из носовой полости в горло скользнуло что-то соленое, размером с моллюска, и я его проглотил. — Вы тут сидите, такая волшебница. Вы тут сидите, потому что

верите, будто в силах мне помочь.

— А вам нужна помощь?

Я опять разозлился. Но злость забулькала пузырями где-то в глубине всего.

— Не знаю. Я, честное слово, не знаю. Но это тут ни при чем — вы-то все равно верите.

— Вы на меня злитесь.

Я глубоко вздохнул.

— Не… то чтобы. — Один за другим пузыри полопались. Я втянул в себя забушевавшие пары́.

Живот совсем свело.

— Если злитесь, это ничего. У вас может быть веская причина.

— С чего бы?.. — и осекся, потому что придумал с десяток. Я сказал: — Вы кичливая. Вы не сочувствуете. Вам кажется, что вы понимаете. А вы нет…

— Я *пока* не понимаю; и не знаю, смогу ли понять. Пока что вы не дали мне поводов для сочувствия. Если я кичлива, ну… лучше бы без этого, но я пока ощущаю в себе некое нежелание подходить к вам слишком близко; может, это и есть кичливость.

— По-моему, вы не *можете* понять. — Я заволок руки на колени и спихнул друг с другом. Обе онемели. Ступни тоже.

— А сейчас что вы чувствуете?

— Да толком ничего.

— Вам от этого хочется снова заплакать?

Я снова вздохнул.

— Нет. Не хочется. — И опять повесил голову. — По-моему, я все упустил — что там из меня выливалось…

— Вы очень эмоциональный? Часто плачете?

— Это вот я заплакал впервые за… три года или четыре… за много лет.

Она задрала бровь. После паузы сказала:

— Тогда вы, наверно, очень напряжены. *Что* на вас давит?

— По-моему, я схожу с ума. А я не хочу. Мне так не нравится. Мне нравится жизнь, нравится жить. Нравится, что творится вокруг, — на все смотреть и почти все делать самому. Вокруг полно разных людей и ситуаций, которые меня радуют. И мне сейчас не надо париться из-за разных других, которые нет. Я не хочу опять свихнуться. Тем более сейчас.

Она помолчала и улыбнулась:

— Я иногда провожу терапию с весьма успешными бизнесменами высшего звена — куча денег, счастливые семьи, некоторые даже язвой не обзавелись, — и они говорят примерно то же

самое теми же словами. Мы с вами знакомы и помимо терапии, и должна признаться, по моим наблюдениям и по рассказам Ланьи, мне это представляется некоторым парадоксом — что вы выражаетесь так же.

— Я же говорю: вам не понять. Я же говорю: я боюсь — и *да*, я злюсь, — потому что, я думаю, вам не понять.

— Опишите симптомы. Как вы сходите с ума?

— Забываю то и это. Не знаю, кто я такой… Который месяц не могу вспомнить, как меня зовут. Иногда просыпаюсь в ужасе, вокруг сплошной кровавый туман, потом он постепенно рассеивается, и сердце колотится так, что в груди больно. Из жизни выпадают дни, по многу дней. Иногда мне что-то мерещится — например, люди с глазами… — И по спине подрало страхом. По исподу плеча потек пот. — Люди с… — Я захлопнул рот, до того изумившись, что не могу произнести, что не смог произнести. Про себя отмотал назад, поискал, что удастся поймать в петлю слов. — А можно?.. — Пришлось отмотать еще дальше; я смотрел на многочисленные петли оптической цепи у нее на шее. — Можно я вам расскажу… сон?

— Расскажите, прошу вас.

— Мне снилось, что… короче, я был в лесу, на склоне горы. Светила луна — одна луна. И там была женщина, красивая женщина, на несколько лет старше меня, она взбиралась по скалам и шла по листве. Голая. И мы трахались, прямо в листве. Вот просто так. А когда закончили, она вскочила и убежала в кусты…

— …во сне ваш секс пришел к завершению?

— Да. Когда мы кончили, она вскочила и побежала по лесу к такой пещере, и велела мне туда зайти.

— И вы повиновались?

— Да. Я все помню очень ясно. Помню, как один раз наступил в листву, в воду; перепрыгнул трещину в полу пещеры. В стенной нише была такая медная штуковина, большая, обхватом — как обе мои руки, и в ней мерцали огоньки и угли. Я перебрался через край скалы и нашел… — Я коснулся цепи поперек груди. — Мне приснилось, что я нашел их там. — Я оттянул цепь большим пальцем и вгляделся в мадам Браун. — То есть наверняка это был сон — судя по тому, что было дальше. — Она смотрела пристальнее; лоб ее пересекла четвертая морщина. — Я их надел. Но когда вышел, женщины не было. Я поискал ее в лесу, потом вышел на дорогу под луной — а

прямо перед этим, помню, наступил в грязную лужу. Я все думал, куда эта женщина подевалась, и тут увидел ее на лугу за дорогой. И пошел к ней по траве. А она превратилась в дерево. Во сне это меня почему-то перепугало до смерти. И я побежал по дороге. До самого шоссе. Дальше как-то смутно. Помню, часть пути я проехал с каким-то человеком, у него все лицо было в рубцах. Как будто ужасно рябое или прыщи. И странный такой разговор про… А может, это и не разговор был. Один из нас просто кое-что упомянул не помню почему…

— И все? — Она свела вместе кончики пальцев.

— И все, — сказал я, а ее руки разъединились, коснулись колен. — Но это было так… странно!

— Отчего это было так уж странно?

— Ну, все произошло так… ясно. И когда эта женщина превратилась, было очень страшно. Испугался прямо до ужаса. Помчался оттуда, ну…

Мадам Браун скрестила ноги.

Поперек ее икры, залакированная нейлоном, к лодыжке изгибалась царапина.

Мадам Браун спросила:

— Что такое?

Я попробовал открыть рот; лицо задергалось.

Она ждала очень долго.

Я попробовал еще пару раз.

Пальцы у меня переплелись. Разъединить их оказалось сложно — как губы расклеить.

Но я постарался.

И навзничь рухнул сам в себя, в глазницы как в пещеры, и яблоки на отскоке полетели таранить затылок изнутри.

— Расскажите мне о Ланье.

— Денни… — но живу-то я не в пещере, — нам с Денни она очень нравится.

Она помычала.

— Расскажите мне о Денни.

— Нам с Ланьей он нравится… очень.

Руки расплелись. Снова удалось пошевелиться в кресле. Я посмотрел на ее ногу. Это же всего-навсего ужас. Я пару раз перевел дух, улыбнулся.

— Что вы чувствуете?

— Страшно.

— Что я не одобрю вашего тройственного союза?

— Чего? — Вот это было удивительно. — С чего мне думать, что вы не одобрите? Ланья никогда не говорила, что вам не нравится. Пару раз говорила, что он сбивает вас с толку, но в шутку просто. Да ешкин кот, вы Ричардсов одобряете — нас-то чего не одобрять?

— Ну, начать с того, что Ричардсы — нормальная здоровая семья. Они не обращаются ко мне за помощью; и не считают, что сходят с ума.

— Один — ноль в мою пользу! — Она катапультировала меня в новую область моего мозга, и плюхнулся я жестко. Собрался, огляделся — где это я? Тряхнуло сильно. Но эту злость было очень легко облечь в слова: — Вы не одобряете людей, которые обращаются к вам за помощью?

— Нет, я вовсе не то…

— Господи боже! Эй, а что вы, — я подался вперед, — что *вы* думаете про Шкета? У меня иногда складывается впечатление, что здесь все только тем и заняты, — хотя наверняка я себе льщу. Расскажите-ка.

Она опять свела кончики пальцев, задрала брови; внезапно спросила:

— А что вы думаете про Ричардсов, Шкет?

— Не знаю… — Потом я сказал: — Она жуткая. Столько сил тратит на поддержание иллюзорной системы, а система трещит по швам. Тоже героизм своего рода. Он? Он ничтожество. Он оплатил весь реквизит; система создана по его спецификациям и сугубо ради его выгоды. — Затем я спросил: — Они хоть знают, что вы черная?

Ланья опять меня удивила: когда во дворе собралось все гнездо, она спрашивает:

– Эй, а как вышло, что Шкет у вас за главного? Раньше Кошмар был, теперь Шкет. Я думала, у вас черный должен командовать.

– М-да, – говорит Тарзан. – Вот и я.

Остальные делали вид, что их подобная мысль никогда не посещала. Но меня-то посещала; так что я подождал.

Наконец Флинт смеется:

– Вообще Кошмар делился с Леди Дракон. Но я так думаю, все врубаются, что рано или поздно после очередного набега ебнет. По серьезу. И когда ебнет, кой-какие ниггеры растворятся в ночи только так. А главному скорпиону раствориться по-быстрому, наверно, не светит. Так что если тупой белый мудила, – Флинт обхватил меня за плечи и одарил широченной улыбкой, – желает здесь торчать и изображать супермена, ниггер, если у него башка имеется, возражать не станет. Замочат-то главного. Ну то есть везде так устроено… – Флинт щурится в небо.

Больше всех эта версия развеселила, по-моему, Саламандра.

Болид сказал:

– Это он-то белый? Да ну вряд ли. Он же темнее меня!

– Чувак, – сказал Флинт, – Шкет у нас индеец.

– Вряд ли он белый, – повторил Болид. – Он чокнутый как ниггер.

Тарзан адресовал мне улыбку, истекавшую стрихнином.

– И своих блондинистых братиков и сестричек любит. – Болид (у которого черный акцент появляется и исчезает по случаю – чаще, чем у остальных) ткнул пальцем в Ланью и Денни. (Денни рассмеялся.) – Шкет – это что-то потрясное, слышь. Просто вообще. – (А Ланья загрузилась.)

— Да. Конечно знают.

— Удивительное дело.

— Я подозреваю, вас многое может удивить — даже в Ричардсах.

— А что вы лесбиянка?

Мадам Браун поерзала в кресле и замычала

снова — отрицательно.

— Ну-ка прикинем, — сказала она после паузы. — Черная, лесбиянка, вдобавок откровенно средний класс. И Мэри с Артуром — мои друзья. Но порой я жалею, что настолько с вами согласна. Если б нет, моя жизнь была бы гораздо легче. Впрочем, легкой жизни я никогда особо не хотела. — Она вздохнула. — Я себя, Шкет, ловлю вот на чем: порой, когда Артур или Мэри меня бесят, особенно когда превозносят вас, я воображаю — совершенно искренне, — что они сказали бы, поведай я им — вот из чистого желания их огорчить, — что́ вы творите на самом деле. И тогда я говорю себе: это потому, что я «одобряю» вас и не «одобряю» их.

— Если охота их огорчить, можно порассказать им про Джун, про Бобби и про… как его? Эдди.

— Вы, разумеется, на стороне молодежи…

— Нет, — возразил я. — Мне почти тридцать. И люди всякое говорят — я так сразу и не пойму, с какой я стороны. Я не выбираю стороны; я просто говорю, что у этих в жизни есть чуть более наболевшие огорчения.

— У Ричардсов. А у вас как?

— Вы собирались рассказать, что думаете про Шкета. Может, наступите на что-нибудь, а я тут

перед вами подергаюсь.

— Ладно. Мне кажется…

Я посмотрел на ее ногу.

— …вы очень нездоровы. Вы обаятельный, умный, настойчивый, энергичный, талантливый. Но базовая структура вашего эго не крепче треснувшей чашки. Вы говорите, что теряете себя по кусочкам. Я думаю, *именно это* и происходит. Понимаете, Шкет, мы же до сих пор не считаем душевнобольных просто больными. Мы в них видим некое странное сочетание нечистого, развращенного и злого. Первыми европейскими психбольницами были лепрозории, которые на исходе Средних веков опустели по всему континенту, поскольку — мы до сих пор не знаем отчего — лет на семьдесят пять наступила спонтанная ремиссия, хотя три тысячи лет проказа была европейским эндемиком. Улучшился подход к гигиене? Мутировали бактерии? Суть в том, что прежде безумцев, хотя временами и переправляли туда-сюда по мелким речкам, не госпитализировали *никогда*. А едва их вдруг загнали в огромные пустые дома, где раньше — порой веками — держали прокаженных, они взяли на себя и бремя трехтысячелетних предрассудков и страхов, связанных с этим прискорбным

недугом. И можно утверждать, что примерно так же мы относимся к вам по сей день — вплоть до религиозных коннотаций. Психическое заболевание до сих пор считается карой Господней. Фрейд и его последователи придали ему немало утонченности. Но даже Фрейд полагал его, по сути, расстройством, проистекающим из вашего образа жизни и образа жизни ваших родителей. И вот вам библейская проказа — *не* простуда. Скажите: как вам идея, что все ваши неприятности — галлюцинации, депрессии, даже минуты экстаза — биогенной природы? Что провалы в памяти — это истощение РНК в нижних отделах головного мозга; что внезапные страхи — это адреналиновые выбросы, вызываемые случайными спазмами гипофиза; что терзающая вас ирреальность — это просто киста шишковидной железы, подавляющая выработку серотонина?

Я посмотрел на лунный пейзаж без единого дерева.

— По ощущениям судя, ровно так оно, сука, и есть, — сказал я.

— Тут вы с бизнесменами расходитесь: они обычно не любят списывать со счетов внебиологические смыслы своих симптомов. Человеческое сознание сверхдетерминировано — оно требует,

чтобы значимо было всё, даже если эта значимость примитивна.

— У меня в больнице, — вспомнив, я улыбнулся, — был один друг, который говорил: «Когда у тебя паранойя, все вокруг понятно». Но не совсем так. Просто то, про что знаешь, что оно *ни при чем*, внезапно похоже на то, что *при чем*. Вокруг абсолютно ясный паттерн, только в нем все сдвинуто на какой-то жалкий дюйм. — Я опять посмотрел на ее ногу. — Но *никогда* не знаешь, *куда* надо сдвинуть… — Я ощутил, как мое лицо сосредоточенно кривится поверх черепа.

Она сказала:

— Ваш сон. Можете объяснить, почему вы так хотели им со мной поделиться?

Я перевел взгляд на свои колени:

— Не знаю. Просто он давно в голове крутится.

— А, он не на днях вам приснился?

— Ой, нет. Он приснился… даже не помню; когда я еще жил в… парке?

— И не повторялся?

— Нет. Я его видел один раз. Но он… я все равно о нем думаю.

Положив руку на ожерелье, она пощупала линзу.

— Я уже спрашивала, но хочу уточнить: во

сне вы занимались любовью, испытали оргазм, потом пошли в пещеру. Вы не просто деятельно обжимались?

— Нет. Она кончила первой. Я еще удивился, потому что и сам был почти готов. Кончил секунд через тридцать после нее — у меня обычно не так. Обычно мне еще пару минут надо. Когда спустил, мне в бок задуло листьями. И я открыл глаза, и мы еще немножко поговорили.

Мадам Браун поразмыслила, вжимая стеклянную бусину в подбородок.

— Несколько лет назад я была в команде, которая исследовала — потому как я грязная старуха — сексуальные сны. Выборка у нас, надо признаться, была невелика — двести тридцать девять; все галкой отметили «да» в ответ на вопрос, полагают ли они свою сексуальную жизнь удовлетворительной. У нас были мужчины, женщины, несколько подростков повзрослее; были геи обоих полов. И один чрезвычайно стройный паттерн был таков: когда секс во сне приводил к оргазму, либо заканчивался сон, либо просыпался респондент. Конечно, наше исследование не исчерпывающе, списку факторов необъективности конца-края не видать. Но ваш сон — *первый*, что мне попался с начала исследования и до сего дня,

в котором оргазм достигнут, а сон продолжается. — Она смотрела на меня так, будто ждала, что я сейчас во всем признаюсь.

— Вот что мне на это сказать?

— Что в голову взбредет.

— Вы считаете, мне это не снилось? Вы считаете, я вру или, может, сон был… — Я сгорбился; сижу тут дурак дураком. — Не знаю…

— Вы хотите, чтобы я предположила, что это был не сон? Что это было на самом деле? — Она вдруг чуточку нахмурилась. — Вы *этого* хотите, да? Ну, я могу понять — раз вам сон казался реальным. — Под ее гримасой пряталась легкая и слегка грустная улыбка. — Но это был *сон*, Шкет. Потому что… — Она помолчала; интересно, что за луны и солнца вернулись и шныряют у нее в памяти. — Хорошо, допустим, не сон. Вы хотите дальше это обсуждать? Что вам первым делом приходит в голову?

— Я вдруг испугался, — сказал я. — Опять.

— Что вас пугает?

— Вы. — Я постарался выдавить улыбку, но она вырубилась где-то в глубинах лицевых мускулов.

— Что вас во мне пугает?

Я посмотрел на ее пораненную ногу. Посмотрел,

как она бусиной трет подбородок. (Припомнил, что она говорила про цепь при нашей первой встрече; припомнил, что говорил Кошмар. Кошмар говорил разумнее. Но верить я хочу ей. Это же считается?)

— Я не… Я не могу… — Я снова заплакал. И на сей раз не смог остановиться. Вообще. — Не может быть, что не сон! Не может быть… — Она хоть расслышала сквозь всхлипы? — Если это не сон, тогда я… я псих!

И я заплакал обо всем, чего люди не в силах понять, когда это говорят другие люди. Я плакал, ибо чудо уже то, что люди в силах понять хоть что-то. Я плакал обо всем, что говорил другим людям, а они не поняли, потому что я, сам того не зная, неверно выразился. Я плакал от радости о тех минутах, когда мы с кем-нибудь разом кивали, улыбались друг другу, понимая — взаправду или в мечтах. Пару раз мне удалось выдавить:

— Мне так страшно… мне так страшно! Мне так одиноко! — Я запихал пальцы в рот, чтоб прекратить этот звук, и закачался туда-сюда, искусал их, а прекратить не смог.

Мадам Браун принесла мне салфетку. Я пролепетал:

— Спасибо, — совсем невнятно, невозможно

понять, и заплакал в отчаянии, потому что не вышло внятно сказать даже это.

Денни обрезан; я нет. Днем, когда мы все потрахались, он забился в угол на антресолях и все донимал Ланью, какой хуй ей больше нравится:

– …который с занавесочками или без?

– Мне без разницы. – Она сидела по-турецки, мои ноги лежали у нее на коленях, и она дергала меня за пальцы.

– А сексуальнее какой?

– По-моему, это неважно. *Ощущаются* они одинаково.

– Но ведь с виду какой-то лучше?

– Нет. Не лучше.

– Но они же разные; ты должна к ним по-разному. А какой?.. – и так далее и тому подобное, пока я не заскучал, лежа и все это слушая.

Чтобы это прекратилось, я его спросил:

– Слушай, вот *тебе* какой больше нравится?

– Ой. Ну, наверно… – Он подался вперед, ссутулился. – Где все на месте… вот как у тебя, так лучше.

– А, – сказала Ланья, глядя озадаченно, словно что-то вдруг поняла. Про него.

– Ага. – Денни ухмыльнулся, вылез из угла и лег головой мне на колени.

Ланья кивнула, вывернулась из-под моих ног и легла головой на колени Денни. А я положил ноги на колени ей.

Я забрел в пещеру довольно глубоко, уже смог подумать: «Для чего-то же это *должно* пригодиться», — но выбрался на скалы, где она велела, в оранжевом мерцании, и не нашел там ничего, поэтому снова испугался и заплакал, и закачался в кресле, и заныли ямки над коленными чашечками, а там обычно ноет, когда до смерти охота ебаться, и я все плакал, и кусал ребра ладоней, и длилось это как будто часами, но на самом деле, наверно, минут пятнадцать или двадцать.

И стало отпускать; я ослабел, мне полегчало, и когда я притих, мадам Браун сказала:

— Вот вы меня спросили, что я о вас думаю, да? Амнезия, панические атаки… да, где-нибудь не здесь уже этого хватило бы, чтоб я посоветовала вам лечь в больницу. Но, как вы сами подметили, психбольниц в Беллоне больше нет. И, честно говоря, я даже не знаю, чем бы вам помогли в

больнице. Отчасти спало бы напряжение — вы больше не были бы «тем самым Шкетом». Может, тогда исцелились бы какие-то раны, спали бы какие-то опухоли.

Я кивнул, словно обдумывая ее слова, хотя занят был совсем не этим.

— А вы… — начал я. — Вы верите… в мой сон?

— Уточните, пожалуйста.

— Вы верите, что мне это снилось?

Она опешила:

— Я не совсем вас понимаю. А вы… нет?

— Я да, — сказал я. — Ох, господи, я еще как да! Я… я верю, что это был… что мне это снилось. — И понял, что во мне целый колодец мук, откуда я лишь разок зачерпнул чашкой. Мадам Браун не поняла. Но это ничего.

На ее лицо была натянута маска сострадания.

— Шкет, наше исследование совершенно не опровергало, что бывает и так, как вы описали. Вы помните очень отчетливо и описываете в подробностях. Да, я верю, что это сон. Не знаю, верите ли вы, но вам, пожалуй, не помешает стараться.

На мое — маска облегчения.

— Мадам Браун, — сказал я, — в психбольницу я больше *не* лягу. Там, где я лежал, было неплохо

— ну, с поправкой на лепрозорий. Но чтобы туда снова лечь — это надо быть психом. И понимайте как знаете!

Это ее рассмешило.

— Ну, в Беллоне было бы сложнее, если б вы *захотели* в больницу. — Она вдруг склонила голову набок. — Знаете, почему я в то утро, когда мы познакомились, в парке, предложила вам работу у Ричардсов?

— Вы сказали, из-за, — я двумя пальцами оттянул цепь на груди, — этого.

— Да?.. — Ее улыбка обернулась внутрь, стала озабоченной. — Да, видимо. — Она моргнула, посмотрела на меня. — Я вам рассказывала о больнице, о моей подруге, что было в ту ночь… ну, в ночь, когда всё…

— Ага, — кивнул я.

— Был один момент: я шла по коридору на третьем этаже, а моя подруга в другом конце пыталась открыть дверь. И ей помогал юноша, пациент, который… ну, что сказать? Очень был похож на вас. Я его видела, может, с минуту. Он усердно трудился, пытался разжать эти запертые двери деревяшкой или железякой — с руками сделал что-то ужасное. Руки у него были гораздо меньше ваших; и на двух пальцах размотались

бинты. — Она поморщилась. — Но тут кому-то в другом конце коридора понадобилась помощь, и он ушел с ними. Я его прежде не встречала — ну, я-то обычно сидела в кабинете. Что печальнее, я не встречала его и потом. Но когда тем вечером — это сколько же времени прошло? — я увидела вас у Тедди, у вас еще лицо было порезано, а наутро в парке вы гуляли босиком, в расстегнутой рубашке, меня сразу поразило сходство. Я сначала даже решила, что вы — это он. И вы нам помогли; поэтому я хотела помочь вам… — Она засмеялась. — Так что видите, это, — она коснулась своей цепи, — на самом деле не значило… ничего.

Я сдвинул брови.

— Вы думаете, я… я, может, лежал в больнице *здесь*? Я не пришел снаружи? Я был здесь всё…

— Конечно нет, — удивилась мадам Браун. — Я говорю, что этот молодой человек *походил* на вас; у него была похожая манера держаться, особенно если смотреть издали. Он был примерно вашей комплекции и цвета кожи — может, даже чуточку пониже вас. И я точно помню, что волосы у него были темные, не черные — хотя дело происходило ночью, я видела при свете из окон. По-моему, когда он уходил, кто-то — один

из пациентов — окликнул его по имени; уже не помню, какое было имя. — Ее руки упали на колени. — Так или иначе, вот почему я предложила вам работу на самом деле. Не знаю, зачем это говорю, — подумала, что самое время прояснить.

— Я не всегда здесь был, — произнес я. — Пришел по мосту, через реку. И скоро уйду. С Ланьей и Денни… — Мне казалось, очень важно это сказать.

— Ну конечно, — ответила мадам Браун; но смотрела недоуменно. — Мы все должны уходить оттуда, где мы есть. И конечно, все мы пришли оттуда, где были. Разумеется, в *какой-то* момент вы сюда пришли. Важнее, однако, не застрять в кольце ваших привычных… — Снаружи гавкнула собака. — Ой, это, наверно, мой следующий пациент, — сама себя перебила мадам Браун. Собака опять загавкала — все гав и гав.

Мадам Браун нахмурилась, приподнялась над креслом, одной рукой снова рассеянно щупая бусины.

— Мюриэл! — окликнула она; голос громкий и низкий. — Мюриэл!

Видимо, так наложились картины: цепи с линзами и призмами, или, может, ее слова, что, мол, бусины ничего не значат, внушили мне, что я

вот-вот узнаю их *подлинное* значение; не что я был этим человеком в больнице, но что неким образом я или он… или от того, *как* она окликнула собаку, я стал вспоминать место или время, когда собаку окликала она или кто-то другой; пусть и не *мое* имя, но, может, другое, если я его вспомню… каждая деталь словно готова была вот-вот объяснить все прочие, высветить паттерн; и эта царапина… меня подрал мороз. Меня пихали, толкали, вот сейчас напомнят мне о… чем? Помимо безбрежных пучин всех наших невежеств? О чем бы ни напомнили, оно было безбрежно зловеще и дарило головокружительную свободу. Но я *не* знал; и это мистическое невежество выкручивало из меня мурашки.

— Что ж, — говорила тем временем мадам Браун. — Наше время почти истекло. Наверняка это пришел мой следующий пациент.

— Ладно. — Мне тоже как-то полегчало. — Эй, спасибо вам большое.

— Хотите — договоримся о следующем…

— Нет. Спасибо, нет, я больше не хочу приходить.

— Хорошо. — Она поднялась и задумалась, что бы такого сказать; и придумала, видимо, вот что: — Шкет, пожалуйста, не считайте, что я

кичливая. И насчет вас, и насчет того, о чем мы говорили. Может, я и не понимаю. Но это не от равнодушия.

Я улыбнулся. Мурашки все бежали, бежали…

— Я не думаю, что вы кичливая… — И разбежались. — Но я знал, что пациентом приду сюда только один раз. Надо же мне было отыграться. Я в терапии провел массу времени. Надо уметь им распорядиться. — И я засмеялся.

Она улыбнулась:

— Хорошо.

— Увидимся, когда Ланья позовет нас с Денни на ужин, или раньше. Пока. И кстати, если хотите обсудить все это с Ланьей — валяйте.

— Ой, я не стану…

— Если она спросит, скажите ей, что думаете. Прошу вас.

Она сжала губы.

— Ладно. Это нам, вероятно, обеспечит тридцать шесть часов непрерывной беседы. — Она открыла мне дверь. — Пока. До ско… Ой, здравствуйте. Я скоро вас позову.

— Конечно. — На углу стола от книжек Новика с улыбкой оторвался длинноволосый пацан, который среди ночи сидел по-турецки в подвальном книжном и говорил *Ом*.

Мадам Браун удалилась в кабинет и закрыла дверь.

Я подошел к столу и подобрал три книжки из тех, что валялись рядом с пацаном.

— Это я сопру. Передай мадам Браун — если ей прямо надо, Ланья вернет… — Я хотел еще что-то прибавить, но и так вышла глупость.

— Запросто. Скажу доктору Браун сразу, как зайду.

Отчего мне стало интересно, что подумал он, когда я назвал ее «мадам». Я вышел в коридор. Проходя мимо Мюриэл, которая смягчившимися глазами следила за мной с вершины лестницы, я услышал, как открылась дверь в кабинет.

Я все это записал, потому что сегодня в тетради не хватает страницы со списком имен. Вернувшись после сеанса в гнездо, полистал и ее не нашел. Сколько раз я ее перечитывал? Хотел заставить себя прочесть что-нибудь из Новика. Но как увидел, что страница пропала, вдруг одолело желание перечитать ее снова, и я стал снова и снова перерывать записи — может, проглядел. Сколько раз я ее уже читал? (А теперь помню оттуда лишь Уильяма Дальгрена.) В конце концов, просто чтоб от нее отвлечься, стал записывать вышеприведенный (и сокращенный) рассказ о

том, как провел с мадам Браун час, о чем с ней договорилась Ланья, которая сама была в школе. И толку? В смысле — ну записал; и что теперь?

* * *

у них в руках; оптическая цепь (сотня футов; две сотни футов цепи?) растянулась между десятком танцующих, поблескивала в зверском свете, хлопьями отражений усыпав испод листвы. Они восторженно выли в ночь вокруг нас, кто-то подступал к жаровне, кто-то отступал.

Саламандр запястьем потер губы. Глаза очень красны, все лицо словно лаковое и блестит.

— Не, ну как тебе, а? — сказал он. — Охрана! Эта сволочь Калкинз хотел, сука, охраны!

Он отвернулся от меня к Флинту. Я засмеялся. Смех пробили хлопки ладоней. Саламандр вдруг поднял голову; заревел и тоже захлопал горстями. Хлопал он не в такт, и слышно было хорошо. Он все кивал кивкам Флинта, пока не поймал наконец ритм, но тогда уже смеялся. Леди Дракон стояла за опрокинутым очагом, один сапог водрузив на упавший шлакоблок, разминала плечо, задумчиво и сосредоточенно, смотрела, как все пляшут, выключив пока свое нефритовое чудовище.

Ланья развернулась и подпрыгнула — голубая рубашка испятнана материками пота; одной рукой она задирала цепь высоко в воздух. Другой водила гармошкой по губам, извлекая диссонанс за диссонансом. Лоб блестел как полированный, волосы на лбу мокрые.

Джомми — ну, видимо, Джомми — прорвался между Милдред и какой-то райской птицей (Собор заорал: «Эй, по сторонам-то смотри…»), вывалился в ослепительную паутину и цапнул цепь, чтоб не упасть. Тот конец, что держал Денни, — я вздрогнул — порвался (между зеркалом и призмой), но Денни лишь раскрутил его в воздухе; потом примотал к чьей-то еще цепочке и обеими руками поднял повыше. Кем-то оброненный цепочный хвост зазмеился и задергался в отсветах пламени на траве. Я подошел, поднял и нырнул под него, прыгая с ноги на ногу и вопя. Паутину сплели Б-г, и Паук, и Ворон, и Собор, и Тарзан (этот и впрямь пляшет не хуже ниггеров), и Джек-Потрошитель, и Накалка, и Ангел: одна нить завибрировала; другая провисла цепочной дугой меж тугих отрезков. Глэдис остановилась, качаясь и дыша распахнутым ртом, забрав в кулак зеленую ткань, что обтягивала громадный живот. Поднырнула под цепь, натянувшуюся

поперек щеки, крутанулась и захлопала.

Вскоре я перестал вопить, потому что засадни-ло горло; и между хлопками до меня донеслось:

— Зайка, ты б вышла, показала им, как надо!

— Не дури, душа моя! Мы просто посмотрим.

— Да ладно тебе! Я ж и не видел, как ты тан-цуешь.

— Говори такие вещи с улыбкой. А сам чего стоишь?

— Ну *кончай*. Я хочу посмотреть, что умеешь *ты*.

В огне что-то взорвалось; над языками пламе-ни взметнулись искры, опали дождем. Погасли мириады тоненьких парабол.

Доллар, блестя потной прыщавой спиной, сто-ял в центре поляны, широко расставив ноги, пригнув колени и голову. От каждого хлопка в животе у него что-то детонировало, отчего он всплескивал руками, и бедрами, и плечами.

Кое-кто из коммуны был голый.

Джон плясал, задрав бурую бороду, закинув назад светлые волосы и высоко взмахивая рукой в медной орхидее. Какая-то девчонка запнулась в цепочном кольце и упала; потом долго сидела, повесив голову, на одну грудь уронив волосы цвета сухой листвы. Несколько раз попыталась

встать. Но на плечо ей упала другая цепь — кто-то уронил еще один хвост, — и, похоже, груз оказался слишком тяжел.

Дважды мигнул грифон: запрыгал и задергался Адам. Цепи и лохмы закачались, и загремели, и исчезли в кружении чудовища.

Зайка, тявкая истошно, как болонка, воздетыми пальцами заплутав в десятке цепей, вдруг выступила вперед, отбрасывая с лица серебристые волосы. Перец шел следом в полуприседе, хлопая и бесовски ухмыляясь.

Черная старуха, которая принесла коробки с ужином и до сей минуты окаменело молчала, теперь закудахтала, тоже захлопала. Грузный черноволосый мужчина с бамбуковой флейтой наконец выпростался из штанов и подтанцевал к ней, загоняя ее в круг. Он свиристел, и приседал, и скакал; довольно лажово, и на миг я заподозрил, что она сейчас засандалит ему прямиком в хозяйство. Но она включилась и захлопала ему…

А я остановился, приземлившись на пятки, и меня сотрясло до самого черепа.

Я завертелся посреди этого фурора, кого-то ища (А в мыслях: откуда это?.. Почему сейчас?.. Что?.. а потом все отбросил, лишь бы удержать это); Ланья в расстегнутой хлопающей рубашке, тряся

грудями, прикрыв глаза трепещущими веками, обернулась ко мне из-за цепей — пяти минимум. Я потянулся между ними и схватил ее за плечи.

Ее глаза распахнулись.

— Майкл… — сказал я.

— Что?

Цепь вдавилась поперек руки; призма оцарапала запястье. За один конец тянула Сеньора Испанья.

— Майк Генри… — Я посмотрел между локтями на истоптанную траву. — Майкл Генри?..

Шевельнулась ее босая ступня.

— Что-что?

Очень медленно я произнес:

— Меня зовут Майк… Майкл. Мое второе имя — Генри. — Я поднял глаза. — Моя фамилия — Фл?.. Фр?..

Ланья сощурилась. И цапнула меня за предплечье рукой с гармоникой.

Гармоника углом вгрызлась в кожу; и я очухался.

— Что я сказал?

Но она озиралась, вглядывалась в толпу.

— Денни!

— Ланья, что я *сказал*?

Ее глаза метнулись к моим. Улыбалась она

странно — широко и испуганно.

— Ты сказал, что тебя зовут, — вокруг хлопнули в ладоши, — Майкл. Твое второе имя, — снова хлопнули, — Генри. А фамилия?..

У меня так свело челюсть, что голова заходила ходуном.

— Я… я на секунду вспомнил! а потом я…

— Начинается на «Ф». — Она снова крикнула: — Денни!

— Погоди! Погоди, я… нет, я не *помню*! Но имя…

— …Майкл Генри… — подсказала она.

Подбежал Денни.

— Что?.. — Положил одну руку ей на плечо, другую — мне. — Пошли, хотите…

— Скажи ему, Шкет!

Я отпустил ее локти и взял за локти Денни.

Он сопел как паровоз.

— Меня зовут Майкл… — снова хлоп, — Генри… какой-то. Фамилию уже не помню. — Я вдохнул поглубже (хлоп!). — Но два из трех — уже неплохо! — Лыбился я, наверно, очень сильно.

— Ни хера себе! — сказал Денни. Начал было говорить то и се, но в итоге лишь пожал плечами, лыбясь в ответ.

— Я тоже не знаю, что сказать, — сказал я.

Ланья меня обняла. Чуть не повалила.

Денни обнял нас обоих, сунулся между нами головой, замотал ею и засмеялся. И Ланье пришлось одной рукой его придержать. Мы все зашатались. Я тоже обхватил его одной рукой. Кто-то провез цепью по моей спине. Либо цепь порвалась, либо один из тех, кто ее держал, разжал пальцы. Мы пошатнулись опять.

Кто-то руками уперся мне в спину и сказал:

— Эй, полегче! Не упадите! — Пол Фенстер — а я и не заметил его в толпе зрителей — поддержал меня, когда мы разъялись.

Ланья сказала:

— Можем и упасть, Пол. Не страшно.

Кто-то вбросил в круг очередную цепь. Мантикора и игуанодон поймали, столкнувшись, призрачно сияя. *Хлоп!*

— Эй, хорошая у вас школа, — сказал Денни. — Я Ланье помогал с детьми.

— Я тебе рассказывала про Денни, помнишь, Пол? Это он придумал всем классом пойти на экскурсию, и все отлично получилось.

Перечитываю единственное между этими замызганными картонками описание Пола Фенстера – и такая мысль:

поскольку жизнь может закончиться в любое когда, надежда на откровение или перопетию если и не идентична, то равносильна безумию. Они придают жизни смысл, однако надежда на них лишает нас способности его проживать. И потому я по-прежнему записываю эти случаи. Но сейчас искусство случайного интересует меня лишь в меру его соприкосновения с жизнью… о чем, впрочем, я где-то на этих страницах писал уже минимум трижды. Зато не писал, что поэтому меня все меньше интересует случайность искусства. («Секс без вины»?[1] Энтелехия без предвкушения!) Я вот просто думаю: вел бы себя Пол как-то иначе тем вечером в парке, если б знал, что спустя шесть часов ему четырежды выстрелят в голову и шею?

Я сказал:

— Я там ни разу не видел никаких детей. Голоса слышал. На магнитофоне. Но по-моему, настоящих детей у вас там никогда не было.

Ланья посмотрела на меня странно.

Фенстер рассмеялся:

— Ну, ты сам привел нам пятерых.

[1]«Секс без вины» (*Sex Without Guilt*, 1958) — работа американского психолога и сексолога, одного из пионеров когнитивно-поведенческой терапии Альберта Эллиса, на момент выхода считалась очень либеральной; впоследствии была доработана с учетом развития взглядов Эллиса, в частности на гомосексуальность, и вышла в 2001 г. под названием «Секс без вины в двадцать первом веке» *(Sex Without Guilt in the Twenty-First Century)*.

— Но там не было… — Ощущение такое, будто две разъединенные плоскости вдруг сомкнулись заподлицо; нестерпимое облегчение. — Я привел пятерых… в школу?

— Вударда, Розу, Сэмми?.. — сказала Ланья.

— Ты же помнишь, — сказал Денни. — Стиви? Марселина?

— Я помню, — сказал я. — Я знаю, кто я…

— Майкл Генри, — сказал Денни.

Я положил руку Фенстеру на плечо:

— Иди потанцуй.

— Не, меня голожопость не прельщает.

Я хмуро воззрился на танцоров; нагишом плясали всего человек пятнадцать-двадцать.

— Давай-давай. — Я его толкнул; он попятился. — Можно не раздеваться. Просто потанцуй.

Фенстер покосился на Ланью. Чтоб за него вступилась? Мне мельком привиделось, как он запахивает ей рубашку на грудях, застегивает верхнюю пуговку, гладит по голове и уходит.

— Давай. — Я разозлился. — Пляши!

— Шкет, хватит, — сказала Ланья и взяла меня под руку.

Фенстер уже уходил, смеясь.

— Хочешь присесть? — спросил Денни.

— Пошли, — сказала Ланья. — Присядем.

Денни тоже взял меня под руку; но я вывернулся и обернулся.

Фенстер шагал среди танцующих — толкнул, поймал упавшую на него девушку в одной мокрой футболке, поднырнул под блестящую цепь, что натянулась меж сияющих тварей, скакавших под деревом.

— Чего ты добиваешься? — спросила Ланья.

— Раздень меня. Мне больше не надо… не надо ничего.

Я бросил сапог поверх жилета. Задрал подбородок и содрал с себя семь цепей и проектор. Звенья продрались по соскам. Шатаясь, я поднял цепи над головой и разжал руки. Одни ударили по носу, по щеке, по уху. Другие упали на плечо и, звякая, убежали в траву. Я опустил взгляд, расстегнул

двойной шпенек на ремне; спихнул штаны по ногам. Ланья придержала меня за плечо, чтоб я не упал, выдергивая ступню из штанины.

— Полегчало? — спросил Денни.

Я приступил к застежке сбоку на шее. Как будто колонна насекомых припустила вниз по животу и застряла в волосах на лобке. Оптическая цепь обвисла на лодыжке.

— По-моему, ты ее порвал, — сказала Ланья.

— Я могу починить, — сказал Денни. — У меня ногти…

— Не надо, — сказал я.

Люди — из коммуны, из гнезда, из толпы просто зрителей — хлопали и скакали у огня. Еще семеро, рявкая, вскрикивая и взвизгивая, вырвались из драного кольца, завертелись среди и под (одна очень черная девочка скакнула над) оптическими цепями, исчертившими всю поляну. Звериные головы, выдутые из света, как из стекла, прорывали дымную завесу; от резкого воздуха нам саднило горла.

Сдвинув головы и перешептываясь, ко мне направлялись три силуэта. Саламандр в центре совещался с Вороном и Собором. Ворон и Саламандр были голые. (На висках, подсвеченные костром сзади, ярко вспыхнули кудри — формы

и цвета разные…) Рука Саламандра лежала у Ворона на плече.

Саламандр говорил:

— Охрана! Слыхали, а? Калкинз просит охраны?..

Собор сказал:

— Скорпионы никого не охраняют.

Саламандр сказал:

— Они там расстреляли почти все, сука, окна почти во всем, сука, доме! Слышь, это ж спятить можно!

Ворон спросил:

— Расстреляли дом Калкинза? Снайпер?..

Саламандр сказал:

— Да не *Калкинза*! И никакой, блядь, не снайпер! Люди эти, из универмага. Помнишь дом здоровенный, где Тринадцать раньше жил на шестнадцатом? Так они, слышь, расстреляли его подчистую, почти все, сука, окна!

— Ёпта! — Собор затряс головой. — Эти белые хуже ниггеров!

— Охрана! — фыркнул Саламандр.

Ворон засмеялся.

Они ушли в темноту.

Я смотрел на огонь. Одна штанина так и болталась на лодыжке. Я раскачивался, и раскачива-

лась оптическая цепь на икре.

— Я хочу… плясать.

— Так ты из штанов-то вылезай тогда, — сказал Денни. — Споткнешься ведь. — Но похоже, не хотел, чтоб я пошел.

От каждого *хлоп*! в черепе что-то вздрагивало и вспыхивало само по себе. В ушах гремело, будто я склонился к барабану. От каждого взрыва чокнутое эхо запинками дразнилось в драном шуме. Я сделал шаг, рукой разминая гениталии. Чувствительные. Еще шаг.

— Осторожно…

Ланья, видимо, наступила на мою штанину — штаны слезли. Я споткнулся, но пошел дальше. Туда, где плясали.

В черной водолазке он стоял среди зрителей, скрестив руки на груди. Не заметил, что я смотрю. Но Сеньора Испанья, и Б-г, и еще кое-кто заметили и перестали плясать. На шее у меня висели призмы и линзы. Зеркала и призмы раскачивались на запястье. Линзы и зеркала свисали с лодыжки и волочились по траве.

Он шевельнулся. Пламя костра стряхнуло патину ему на темные волосы.

— Эй!.. — громко сказал я. — Я теперь знаю, кто… кто я. А кто ты?

Он мне нахмурился.

— Кто *ты*? — повторил я. — Говори. Я знаю, кто я! — Еще кое-кто бросил плясать и прислушался. Но все равно хлопали ужас как громко. Я потряс головой. — Почти…

— Шкет? — спросил он; в голом виде узнал меня не сразу. — Эй, Шкет! Как дела?

Этот человек интервьюировал меня на празднике у Калкинза.

— Нет, — сказал я. — Кто я — я *знаю*. А ты скажи, кто *ты*.

— Уильям… — начал он. — Билл?.. — И затем: — Ты меня не помнишь?

— Я тебя помню. Я просто спрашиваю, *кто* ты!

— Билл, — повторил он. И с улыбкой кивнул.

Двое из тех, что остановились послушать, захлопали снова.

— Это я знаю, — сказал я. — Это я помню. Как твоя *фамилия*?

Он чуть задрал голову. Его улыбка — дракон, проскакав мимо, на миг запятнал его лицо зеленью — напряглась.

— Скажи свою, и я скажу мою. — В ожидании смеха рот у него так и не закрылся.

Но засмеялся я. Уильям?.. Я заорал:

— Я знаю, кто ты! — И истерика переломила

меня пополам. — Я *знаю*!..

— Эй, Шкет? *Давай*-ка… — Ланья — они с Денни подгребли за мною следом — снова взяла меня под руку.

Я рванулся прочь, наткнулся на цепи танцующих и увернулся, размахивая своей. Но Ланья меня не отпускала; и Денни тоже держал. Я опять рванулся и рухнул на незнакомого чувака, а тот закричал: «Аййй!» — засмеялся и меня обнял. Я уставился в сияние светощита, на секунду ослепнув, и пульсирующие послеобразы расступились не вмиг.

— Пошли, слышь, — твердил Денни, дергая меня за руку. — *Осторожно*… — и приподнял цепь, чтоб я пролез.

— Вот хорошо, — сказала Ланья. — Сюда…

Голова закружилась, и я чуть не упал. Огонь и ветви пошли колесом по черному небу. Я наткнулся на древесную кору и развернулся к ней спиной.

— Но я *знаю*, как его зовут! Иначе не может быть. Он больше никем быть *не может*! — твердил я им, а потом расхихикался, и от этого улыбка получилась такая широченная, что заболели мускулы и пришлось растирать их ладонями. — *Наверняка* это он! Вы же понимаете почему, да?

Вы же *понимаете*?

Они не понимали.

Но ненадолго понял я.

И заплясал, чуть не лопаясь от новообретенного знания.

Никогда в жизни так не веселился.

Потом вернулся и подсел к ним.

Ладонь Денни лежала у меня на колене; Ланья плечом прижималась к моему плечу, рукой к моей руке. Мы сидели на корнях, в десяти футах от высоченного раздвоенного огня, глядя, как мужчины и женщины прыгают и скачут под музыку своих тел — один выгнулся назад и колотил себя по бедрам, другая медленно кружилась и всякий раз громко вскрикивала, короткими волосами задевая низкий сук. Третий танцевал, раскачивая концами расстегнутого ремня. А четвертая стаскивала с себя джинсы.

Билл, скрестив руки на черном свитере, наблюдал из толпы наблюдателей.

Я сидел, и задыхался, и улыбался (пот струился по пояснице), и наслаждался непреложным фактом раскрытия его личности, пока даже этот факт, как и надлежит всем непреложностям, не начал таять.

— Что?.. — Денни двинул рукой по моей ноге.

Ланья глянула на меня, двинула плечом по моему плечу.

Но я снова сел, любуясь этим таянием, ликуя и тупея от резких хлопков, что метрономом отмеряли дифференциалы перемены, — и наконец уверенности в фамилии Билла у меня осталось не больше, чем в своей. С одной лишь памятью знания и недоумением — что за механика минуты кряду позволяла верить в это знание, как в собственное бытие, — я сидел, вычисляя поломку механизма, виновную в том, что уверенность ушла.

Леди Дракон сапогом пнула еще один шлакоблок в стенке очага, повернулась и хрипло подключилась к спору, что разворачивался у нее за спиной.

— Знаете, — сказала Ланья, когда кто-то швырнул головню, что приземлилась на край жаровни горящим концом в траву, — этого места завтра уже не будет.

— Это ничего, — сказал Денни.

Ланья притиснулась ко мне крепче, подтянула коленки, чтобы обнять.

Вокруг нас бушевал танец. В помятой траве запутались цепи, простые и с бусинами. Почти все скорпионы вспыхнули, зажигательные…

* * *

за полдень поднялись к Тэку с бренди — я извинился, что одна бутылка вскрыта, — он очень удивился.

Вышел из хижины на крышу, почесывая грудь и подбородок, еще толком не проснувшись. Но сказал, что нам рад.

Денни взобрался на балюстраду и, раскинув руки, стал ходить по краю крыши. Ланья то и дело подбегала и говорила ему: «У-у!» — будто нарочно старалась, чтоб он упал. Меня смешило, но Тэк сказал, что, пожалуйста, не надо, там лететь восемь этажей, и у него от страха сводит живот.

Так что они вернулись в хижину.

Денни зашел внутрь:

— Вы на стенку гляньте!

Я думал, там Джордж, но на стене висело мое интервью из «Вестей», с праздника у Калкинза. Тэк прикнопил его прямо за дверью. Края пожелтели.

— Это, — сказал Тэк, — для вдохновения. Мне типа нравится. После всего радостно видеть в газете, что у тебя выходит еще одна книжка.

— Ага, — сказал я. — Ну да. Спасибо. — Говорить об этом не хотелось. И он уловил — посмотрел

как-то косо. Но Тэк умеет понимать такие вещи.

Небо придвинулось к нам мятым свинцом. В нем еле виднелась первая опора моста — как единственное крыло некой смутной птицы, что вот-вот улетит куда угодно.

Тэк выдернул пробку из уже распечатанной бутылки.

— Ну, давайте. Вздрогнем. — Он сел на корточки под стенку. Мы сели рядом. Денни глотнул, вздрогнул всем лицом и потом лишь передавал бутылку от меня Ланье и обратно.

— Тэк, — сказал я, — вот объясни. — И я спросил его про пузыри в стаканах. — Я думал, это из-за давления в городском водопроводе. Например, оно падает, и поэтому пузыри начинаются выше?

— Я *думаю*, — отвечал Тэк бутылочному горлышку зеленого стекла, — скорее зависит от того, кто у вас моет посуду. Вот ты моешь стакан, да? Провозишь пальцем внутри, грязь стираешь, и остается такая тоненькая пленка. Но до дна палец не достает. Потом наливаешь в стакан воду, из нее выходит воздух, получаются пузыри. Но пузырям надо к чему-то лепиться. К неровностям стекла и к грязи прилепиться легче; выходит такая четкая линия…

— То есть что, — спросил я, — посудомой с каждым днем все меньше сует палец в стакан?

здесь больше.

Меня привело любопытство; одного.

Опрокинутая кровать с грохотом отпала, когда я толкнул дверь. На окна первого этажа приварили решетки, но стекла в основном побиты, а в одном уцелевшем я нашел три дырочки с ореолами – от пуль такие получаются. Еще осталась пара спальников. По стенам висели всякие симпатичные штуки, которыми они тут все украшали; и стоял большой, почти в натуральную величину, лев, сваренный из негодных автозапчастей и металлолома. В углу прислонена ацетиленовая горелка с наконечником. («Интересно, что стало с женщиной, которая его сделала. Она была наполовину азиатка, – сказала Ланья потом, когда я ей рассказал. – Довольно необычайный человек; то есть даже помимо этой штуковины».) В двух комнатах стены обуглились до черноты. Я разглядел, где сгорел плакат. И где плакат уцелел на четверть: Джордж в ночной

глуши. Наверху, я так понял, в комнатах почти нигде и не было дверей. Там руины. Со стен содрали громадные куски штукатурки. Один раз мне вроде почудился стон, но я бросился в разгромленную комнату – на полу валялись инструменты, отвертки, гвозди, плоскогубцы, гаечные ключи, – и ни ставня не скрипела, ничего. Не знаю, что это было. К стене прикручена доска, где они вырезали свои инициалы, имена, фразы какие-то, что-то писали хитрыми сочетаниями разноцветных маркеров, что-то выцарапывали ручкой. Внизу явно вырезано ножичком: Джун Р. Ланья говорит, теперь в ближайшие три месяца придется ей искать заброшенную аптеку, что ли, где добывать противозачаточные таблетки. Денни переживает из-за своей подружки. Говорит, в последний раз, когда приходил, она болела, «…с температурой, слышь. И все такое. Лежала под одеялами, не шевелилась почти». Ни в коммуне, ни в баре, ни в церкви – ни Джордж, ни пастор Эми – не знают, куда все подевались или что хоть случилось-то. Но если кто-то учинил такое в Доме,

насчет гнезда я даже и не знаю. Говорили про какую-то блондинку – Джун? Я, пожалуй, надеюсь.

Тэк засмеялся и кивнул:

— Ты рад, что у тебя есть хоть один технически подкованный знакомец? Повышение уровня грунтовых вод, понижение давления. Если не разбираться, параноиком можно стать.

— Это точно. — И я взял бутылку и глотнул.

И за пятнадцать секунд послеполуденное небо, тусклое, как дно алюминиевой кастрюли, потемнело до глубокой ночи.

Тьма уже сгущалась пять секунд, и тут Денни сказал:

— Господи боже, что?.. — и встал.

Что-то ревело, будто налетал самолет. Все ближе и ближе, а я смотрел, как черты Денни окрасились ночной синевой.

Ланья вцепилась в мой локоть; я обернулся и увидел, как ее синее лицо и все вокруг чернеет.

Если это самолет, он сейчас грохнется на нас.

Я задергал головой влево и вправо, вверх (хренак затылком об стену) и вниз; разглядеть бы что-нибудь.

Другой звук, сквозь рев, подле меня: это Тэк

встал?

На рубероиде что-то намочило мне руку. Это, наверно, Тэк опрокинул бренди.

На горизонте вдруг потек белый свет, прорезанный силуэтом водонапорной башни.

Я не боялся, но сердце билось так медленно и сильно, что от каждого удара вздрагивал подбородок.

Свет скрутил небо.

Тэка рядом я еле различал. На рубероидной стене заострилась его тень.

Рев… скис!

Свет раскололся. Оба щупальца заметались зигзагами, иззубренные и ослепительно-магниевые. Правое тоже раскололось. Левое вытянулось почти прямо над нами.

И у Тэка вовсе не было никакой тени. Я встал, помог встать Ланье…

Свет замигал и отчасти погас. Вспыхнуло еще. И еще.

— Но что?.. — прошептала она мне в ухо и показала. Над горизонтом по небу размоталась новая драная лента света.

— Это что… молния? — заорал Денни.

— Похоже на молнию! — заорал в ответ Тэк.

Кто-то еще сказал:

— Потому что Джордж так светить не умеет!

Выбеленное лицо Тэка кривилось, точно под ударами дождя. Воздух был сух. Потом я заметил, до чего холодно.

Узлы вспышек такие яркие, что больно глазам. Облака — черные, свинцовые, стальные — громоздились по небу каньонами, утесами, оврагами; слишком медленно, слишком широко, слишком огромно — не бывает таких молний!

Это что, гром? Он взревывал, как реактивная эскадрилья, гудел над городом, и порой оттуда падало, что ли, и всякий раз лицо у Ланьи

Здесь не хватает страницы – возможно, двух.

Не помню, кого посетила идея, но в ходе препирательств я твердил:

– А как же мадам Браун? И вообще, мне нравится здесь. А что мы будем делать, пока ты в школе? На одну ночь твоя постель сойдет, но *столько* мы там не проспим.

Ланья поначалу отвечала здраво, а потом сказала:

– Слушай, ну ты попробуй. Денни хочет. Гнездо несколько дней перебьется без тебя. Может, это пойдет на пользу твоей

работе. – А потом она подобрала газету, завалившуюся за «харлей», перелезла через него, вышла из-под антресолей на цыпочках, задрав голову, и поцеловала меня. И сунула газету в карман блузки – когда наклонилась, блузка вся выбилась из джинсов.

Я сдвинулся к краю антресолей, сбросил ноги и спрыгнул.

– Ладно.

Так что мы с Денни прогостили у нее, по моей версии, три дня, а по ее – один («Вы пришли вечером, провели у меня ночь и следующий день, а наутро ушли! Это *один* целый день с хвостиками». «Это должно засчитываться минимум за два, – сказал я. – Мне показалось, это долго было…»), и получилось не так уж плохо, но… не знаю.

В первый вечер мадам Браун приготовила ужин из консервов, а Денни без умолку твердил:

– Давайте я что-нибудь поделаю?.. Я точно ничем не могу помочь?.. Давайте я… – и в итоге все-таки помыл какие-то кастрюльки и тарелки.

Я спросил:

– А что это вы готовите? – но они не расслышали, так что я сел на стул у стола и стал стучать то спинкой стула в стену, то передними ножками в пол, и выпил два бокала вина.

Вошла Ланья и спросила, чего это я притих.

Я сказал:

– Размышляю.

– Над стихотворением? – спросила мадам Браун.

Поели. После ужина посидели и еще выпили, и я выпил чуть больше остальных, но мы с мадам Браун даже поговорили: о ее работе, о том, что творится в скорпионьем набеге («Вы так благостно изображаете, прямо школьная экскурсия – мне и не мило уже. Пока вы не рассказали, я думала, это захватывающе»), о проблемах врачей в городе, о Джордже. Она мне нравится. Умная – жуть.

У Ланьи в комнате я сел за стол в эркере и стал смотреть в тетрадь. Ланья с Денни легли в постель («Нет, свет нам не мешает»), и минут пятнадцать спустя я пошел

к ним, и мы тесно, томно занимались любовью, и вышло как-то чудно́, типа, все по очереди; но кайфово. Я четыре раза чуть не опрокинул громадный цветочный горшок у постели.

Проснулся, когда за окном еще не посветлело, встал и пошел шататься по дому. В кухне подумал, не напиться ли. Вместо этого сделал себе растворимого кофе, выпил полчашки и еще пошатался. Снова заглянул к Ланье; Денни спал у стены. Ланья лежала на спине, с открытыми глазами. Улыбнулась мне.

Я был голый.

– Не спится?

– Ага.

Я подошел, присел, обнял ее.

– Валяй. Погуляй еще. Мне бы пару часов поспать.

И перевернулась на бок. Я унес старую тетрадь сюда, сел по-турецки на пол, думал записать, что успело случиться.

Или стих.

Ничего не написал.

Заглянул в верхний ящик стола – древесина такая, будто ее сначала всю об-

клеили бумагой, а потом постарались все ободрать. Ланья говорила, какие-то ее друзья притащили этот стол с выгоревшего автостекольного склада ниже по холму.

Я достал стихи, которые она собрала, разложил по шершавому дереву – на всевозможных бумажках, сложенных так и эдак (приветственно закачались красные хохлы на стеблях бегонии), – и попытался прочесть.

Не смог.

Всерьез думал порвать.

Не порвал.

Но многое понял о тех, кто да.

Оглянулся на Ланью: голые плечи, загривок, из-под подушки торчит кулак.

Еще пошатался.

Опять залез в постель.

Денни, моргая, вздернул голову. Не понял, где он. Я погладил его по шее и прошептал:

– Все нормально, пацан…

Он опять лег, ткнулся носом Ланье в подмышку. Она отвернулась от него ко мне.

Я проснулся один.

Надо мной свисали листья. Я посмотрел сквозь них. Разок на них дунул – хотел посмотреть, шевельнутся ли, – но они были слишком далеко. Закрыл глаза.

– Эй, – сказал Денни. – Спишь?

Я открыл глаза:

– Если б спал, иди нахуй.

– Я Ланью в школу провожал. – Он привалился к дверному косяку, взявшись за свои цепи. – Приятно тут, да?

Я сел на краю постели.

– Только заняться особо нечем… приятно, что она позвала нас, ну, пожить, да?

Я кивнул.

Часа два спустя он сказал, что пойдет погуляет. Остаток утра я таращился на пустой лист бумаги – или шатался.

Один раз мадам Браун засекла меня, выходя из кабинета, и сказала:

– Вы какой-то странный. Что-то не так?

– Нет.

– Просто скучно?

– Нет, – сказал я. – Мне совсем не скучно. Я много думаю.

– Можете отвлечься на обед?

– Не вопрос. – Я и не завтракал.

Салат с тунцом.

Горошек из банки.

Мы оба выпили по паре бокалов вина. Она спрашивала, что я думаю о: Тэке, Ланье, Денни, одном ее пациенте, с которым я раз встречался в баре; я ей рассказал, и она сочла, что это интересно; рассказала, что думает сама, и я счел, что это тоже интересно, ее впечатления изменили мои; и я рассказал ей, что изменилось. Потом пришел следующий пациент, а я опять стал таращиться на бумагу; шататься; таращиться.

Чем и занимался, когда пришли Ланья и Денни. Он вернулся в школу, помогал с занятиями.

– Денни посоветовал сходить на экскурсию, посмотреть город. Мы сходили. Отличная оказалась идея. Вдвоем мы с ними прекрасно справились. Ты очень удачно придумал, Денни. Правда. – Потом она спросила, написал ли я что-нибудь.

– Не-а.

– Ты какой-то странный, – сообщила она мне.

Денни сказал:

– Ничего он не странный. Он такой бывает.

Ланья сказала: *ммм*. Она, пожалуй, знает меня получше, чем он.

Денни все порывался принести пользу – свойство, которого, хоть он и славный человек, я за ним прежде не замечал. Я помог ему кое-что поделать для мадам Браун: осмотреть подвал; снести вниз кресло, поднять по лестнице комод, который она нашла на улице и умудрилась доволочь до задней двери.

Приятный вышел вечер.

Гадая, не порчу ли его, я предложил:

– Может, пойдем сегодня в гнездо?

Ланья сказала:

– Нет. Тебе скучная тишина и покой на пользу – напиши что-нибудь.

– Мне не скучно, – сказал я. И решил, что минимум час просижу над листом бумаги. Просидел; ничего не написал. Но мозг бурлил, и булькал, и крутился в черепе, как яйцо в кастрюле.

Когда наконец лег, отрубился, как женатый старик.

Один из них среди ночи встал отлить, вернулся в постель, раздвигая растения, и мы потрахались – жестко и, по-моему, шумновато.

Утром встали все одновременно.

Я заметил, что Ланья замечает, что я притих. Она заметила, что я заметил, и засмеялась.

После кофе вместе дошли до школы. Денни попросился остаться на занятиях. Тут я заметил, что она уже сомневается, не перебор ли это – два дня подряд. Но она сказала:

– Да пожалуйста, – и я их оставил, и вернулся в дом, и разок спросил себя, не лучше ли вернуться в гнездо.

Мы с мадам Браун опять пообедали.

– Как вам у нас в гостях?

– По-прежнему много думаю, – сказал я ей. – И еще думаю, что эти раздумья меня доконают.

– А стихи?

– Не написал ни слова. Мне, наверно, просто трудно здесь писать.

– Ланья говорит, вы и у себя пишете редко. Она считает, там слишком людно.

– По-моему, дело не в этом.

Еще поговорили.

А потом я принял решение:

– Я возвращаюсь в гнездо. Передайте Ланье и Денни, когда вернутся, ладно?

– Хорошо. – Она с сомнением воззрилась на меня поверх суповой ложки с лужицей вишисуаза «Кросс и Блэкуэлл». – Не хотите их дождаться и сказать?

Я налил себе еще вина:

– Нет.

Когда в дверь позвонил очередной пациент, я взял тетрадь и побрел (пять занятных минут на полпути думал, что заблудился) обратно в гнездо.

Тарзан с обезьянами, обсевшие крыльцо, более или менее мне обрадовались. Дальше по коридору меня изо всех сил похлопали по спине Жрец, Калифорния и Собор. Флинт кивнул, дружелюбно, но откровенно уклончиво. И я очень ясно подумал: если б я ушел, главарем стал бы Флинт, а не Саламандр.

Я забрался на антресоли, велел другу Откровения Майку подвинуться к хуям.

– Ой да, Шкет. Конечно, прости. Я сле-

зу…

– Можешь остаться, – сказал я. – Только подвинься. – А потом растянулся, плечом на тетради, и уснул – плюх!

Проснулся отупелый, но нащупывая авторучку. Ушел на крыльцо веранды, прихватив сколько-то голубых листов, положил на колени сосновую доску и все писал, писал и писал.

Зашел в кухню попить воды.

А там Ланья с Денни.

– Привет.

– Ой, привет.

Вернулся на веранду и давай писать дальше. В конце концов стало

во все горло:

— Ланья! Денни!

Если и отозвались, я не услышал; и от крика я уже охрип. Уличная вывеска грохотала в раме — вот до чего окреп ветер.

Я сделал еще шагов шесть — босая нога на бордюре, сапог в водостоке. В лицо плескало пылью. Моя тень ковыляла вокруг меня по мостовой — заострялась, размывалась, утраивалась.

По улице шли люди, а за ними сверкала тьма.

Под небом распускалась эта медленная чокнутая молния.

Стайка людей повернула ко мне; кое-кто сманеврировал в первые ряды.

Впереди одна фигура поддерживала другую — кажется, раненую. С какого-то перепугу я забрал себе в голову, что это коммуна: Джон и Милдред ведут остальных, и с Джоном что-то приключилось. Сполох в облаках…

Они на тридцать футов ближе, чем я думал:

Джордж озирал небо — блестят зубы во влажной пещере толстых губ, зрачки снизу обведены белым, на мокрых, исчерченных венами висках хлопья отблесков — и поддерживал пастора Тейлор, а та клонилась вперед (плача? смеясь? прячась от света? что-то ища на земле?) — волосы жесткие, как сланец, костяшки и ногти понизу чернее, чем кожа между ними.

Позади них в толпе совсем темных лиц шла веснушчатая негритянка с кирпичными волосами; и слепонемой; и белокурый мексиканец.

Кто-то кричал, перекрикивая крики остальных:

— Слышите самолеты? Вы слышите, сколько самолетов? — (Да откуда здесь самолеты?) — Низко-то как летят! Они ж разобьются! Слышите… —

И вот тут фасад дома через дорогу треснул сверху донизу и раздулся очень медленно, я даже не понял как. Поперек улицы полетели свесы, карнизные камни, оконные рамы, стекло и кирпич.

Они завопили — я расслышал, несмотря на взрыв, потому что кое-кто был совсем рядом, — и кинулись к ближайшей стене, увлекая меня за собой, и я врезался в тех, кто впереди, а те, кто позади, вышибли дух из меня и всё вопили; кто-то, падая, потянулся мне через плечо, мимо уха прямо, и чуть его не оторвал. В тех, кто позади, со всего маху врезались другие люди (или что?).

Кашляя и цепляясь за что попало, я развернулся и отпихнул того, кто позади. На той стороне улицы балки в коросте кирпича и штукатурки выложили мозаикой сияющую пыль. Я заковылял прочь от стены в ковыляющей толпе и споткнулся о крупную тетку, которая стояла на четвереньках и трясла головой.

Я попытался ее поднять, но она опять упала на колени.

Тут до меня дошло, что она сгребает в опрокинутую сумку раскатившиеся банки томатного и ананасового сока и упаковки печенья. Черное пальто разметалось по кирпичной крошке.

Одна банка подкатилась к моей ноге. Пустая.

Тетка еще ниже припала к земле, щекой прижалась к мостовой, потянула руку меж гремящих банок. Я наклонился, чтоб снова ее поднять. Тут кто-то дернул ее с другой стороны и заорал:

— Шевелись! — (*Швёлйс!* — гласные, долгая и краткая, кричали по-ослиному; «ш» мягкая, как «в», «с» невнятная, как «ш».) Не отпуская тетку, я поднял голову.

А там Джордж.

Она встала между нами, вереща:

— Аааа*аааа*аааа… *Ыннннн!* Не трожь мя! *Аааааааааа* — не *трожь* мя, ниггер! — Пошатнулась и чуть не упала у нас в руках. По-моему, на нас обоих она так и не посмотрела. — Аааааа… я видела, чё ты сделал! — бедная белая девонька, она ж против тя ничё не могла! Мы всё *видели!* Мы *все* видели! Она приходила тя искать, вечно всех спрашивала, где ты, а ты ее взял, вот так просто взял, вот так вот просто! И глянь, что вышло! Ты глянь! Ох господи, ох батюшки, не трожь мя, ох господи!

— Ай, да *шевелись* ты! — снова закричал Джордж, потому что она снова стала падать.

Он опять потянул; из моей хватки она вырвалась. Пальто ссадило мне руки. Я увернулся, а она все визжала:

— Эти вон белые тя прикончат, ниггер! Ты с беленькой девонькой чё сделал — мужики эти белые нас теперь всех порешат! Все витрины везде побил, все фонари поломал, залез и с часов сорвал стрелки! Насильничал, и грабил, чё только не делал. Ох господи, теперь стрельба выйдет, и пожары, и кровь везде польется! На Джексоне теперь всё постреляют. Ох господи, ох *господи*, не трожь мя!

— Слышь, тетя, завали свою пасть и подбери свою фигню, — сказал Джордж.

Чем, когда спустя несколько секунд я оглянулся, она и занялась.

В десяти футах от нее Джордж присел, приподнимая рухнувший шмат бетонной плиты, с двух сторон сыплющий штукатуркой, а какая-то женщина потянула на себя фигуру, которая билась под плитой. Мне в плечо откуда-то сыпануло горстью камней, и я нырнул вперед.

Чуть дальше, без остановки кружась в посеребренных руинах, пастор Эми щурилась в небо, поднеся кулаки к ушам, потом рывком растопырила пальцы; запрокинутое лицо горело — мне почудилось, яростью; но вот оно обернулось снова, и я разглядел, что гримаса, натужно наползавшая на ее черты, больше напоминает экстаз.

Я взобрался на кучу битого кирпича. По животу каталась и колотила орхидея.

На бордюре у гидранта сидел слепонемой. По бокам примостились белокурый мексиканец и негритянка с кирпичными волосами. Она держала слепонемого за руку, кулаком вжималась ему в ладонь, снова и снова переставляя пальцы.

Я пошарил в цепях, нащупал шар проектора и пальцем сдвинул нижний рычажок.

Круг синего света скользнул на усеянную камнями обочину, когда я шагнул к тротуару.

Они задрали головы — у двоих глаза алы, как кровавые пузыри.

Глазницы немого (он завертел головой) — как пустые чашки с опивками теней.

Горло резко обожгло дымом; дым сдуло. Я закричал:

— Вы что тут делаете?

Мексиканец подволок сапоги к бордюру. Женщина положила свободную руку немому на плечо.

Я посмотрел на их удивленную моторику. Она транслировалась их рукам, лежавшим на плечах слепонемого, и лишь из нее он черпал знание обо мне. Его лицо наклонилось; его рука сомкнулась на руке женщины — это мое знание о том, что знал

он. А в мыслях: информации нужно так мало… Я объят светом, их глаза подернуты пластмассой, но, возможно, в сверхдетерминированной матрице его знание обо мне, транслируемое снова и снова, — даже полнее.

Меня пугали их красные глаза?

А чем видится мой синий зверь сквозь алые наглазники!

Закричали люди.

Я закричал громче:

— Что происходит? Что это такое? Вы *знаете*? — и раскашлялся в сгустившемся дыму.

Кирпичноволосая негритянка покачала головой, поднеся ладонь ко рту, колеблясь — поджать губы, перебить меня или оттолкнуть прочь.

— Кто-то подложил бомбу в… Да? Так ведь сказали? Кто-то подложил.

— Нет! — громко возразил мексиканец. Он потянул слепонемого за плечи. — Не было никакой… ничего такого… — И поднял слепонемого на ноги.

Я обернулся и в светящемся мареве увидел, что ко мне шатко приближаются мужчины и женщины. А за этим маревом что-то замигало. Я рванул на мостовую.

— Не было никакой бомбы! — заверещал позади

меня голос, то ли мужской, то ли женский. — *Застрелили* его! С крыши. Какой-то полоумный белый мальчишка! Застрелил до смерти, прямо на улице! Ох батюшки мои…

На лодыжку плеснуло теплым.

Меж горбатых булыжников текла вода, блестела ртутью под вспышками в просевшем черном небе. Улица — как серебряная сеть, и я помчался по ней, задел плечом какую-то женщину, которая повернула — с криком — исцарапанное лицо мне вслед, чуть не протаранил какого-то мужчину, но оттолкнулся от него обеими руками; внезапный порыв жара сверху обжег мне глазницы. Стиснув веки, я пробрался и сквозь этот жар, и сквозь очередную пыльную бурю, носком сапога запнулся обо что-то и едва не упал. Я кашлял и ковылял дальше, тылом ладони зажимая рот.

Загривок что-то погладило — очень холодное, я подумал, что вода. Но нет, просто воздух. Истекая слезами, с перехваченным горлом, отхаркивая застрявшую в нем пыль, я осилил еще шагов десять, а потом кто-то меня схватил, и я вынырнул, таращась в черное лицо.

— Тут Шкет! — закричала кому-то Леди Дракон и обхватила меня рукой, чтоб я не упал.

В паре шагов позади нее Флинт развернулся и

увидел меня:

— А?

А позади него, против задника медленно копошащихся облаков, медленно осыпался со своей стальной паутины фасад двадцатиэтажного дома. Но до него было, наверно, кварталов пять.

— Боже правый!.. — сказал Б-г и оглянулся на меня. — Шкет, ты как, ты?.. — И тут звук настиг нас, затопив все вокруг, как вулкан по соседству.

Когда худшее миновало, я услышал, как у меня за спиной по-прежнему кричат люди: три разных голоса ревели распоряжения в толпе еще пятидесяти, которым было пофиг.

— Да блин! — сказал Б-г. — *Пошли!*

Кто-то разбросал по всему тротуару кольца кабеля — похоже, от лифта. И они все были в масле: десять шагов по ним — и мы сошли на мостовую.

И крик позади нас разрешился одиноким, далеким, упрямым голосом:

— Да подождите, с-сука! Слышьте, мудачье, *подождите* меня! — Всё ближе. — Подождите, с-сука. Стой!..

Я обернулся.

Болид, работая кулаками, перегнувшись пополам и запрокинув голову, на всем ходу врезался во Флинта, и тот поймал его за локоть. Болид

отшатнулся, задыхаясь и плача:

— Меня, сука, подождите! Ниггеры, с-сука, — он всосал вдох, громкий, как рвота, — чего вы не *подождали*! — Он был бос, без рубашки; штук шесть цепей закачались и зазвякали у него на шее, когда он нагнулся, глотая воздух и держась за живот. Во вспышке я увидел ссадину у него поперек скулы и дальше, по лопатке, будто на него что-то упало, пока он бежал. Лицо исполосовано слезами, которые он оттирал кулаком. — Ебаный в рот, ниггеры, сука, *подождите* меня!

— Ну хватит, — сказал Б-г. — Все хорошо уже.

Мне показалось, Болид, переводя дух, вот-вот рухнет.

Кто-то еще вылетел из дыма на улицу. Паук. Очень юный, очень высокий, очень черный и очень напуганный. Тяжело дыша, спросил:

— Болид цел? Я думал, на него стена, сука, упала.

— Он цел, — сказал Б-г. — А теперь *пошли*!

Болид кивнул и качнулся вперед.

Флинт отпустил его и пристроился ко мне. Его виниловый жилет припорошило штукатурной пылью.

— Эй, — сказал я. — Мне надо найти Ланью и Денни. Они собирались обратно в гнездо…

— Да ёпта, ниггер! — Болид вывернул голову и уставился на меня. Лицо изгвазданное, в том числе кровью. — К хуям этих белых мудил, а? Ты хоть *о чем-нибудь* думаешь, кроме хера своего?

— А ну взял себя в *руки*! — Леди Дракон основанием ладони резко пихнула Болида в плечо; а когда он рывком развернулся, взяла его под руку, точно они прогуляться вышли. — Давай-ка без этих «ниггеров», ну? Ты *сам-то* кто, по-твоему, — индеец рыжий?

Флинт сказал:

— У нас нет гнезда; гнездо — всё.

— Они, если мозги есть, — сказал Б-г, — тоже будут выбираться. Может, встретимся с ними на мосту.

— А остальные что? — спросил я. — Ворон, Тарзан, Собор? Сеньора Испанья… А Малыш с Адамом?

Леди Дракон даже не оглянулась.

— Ты вышел последним, — сказал Б-г Пауку. — Видел их?

Паук перевел взгляд с Б-г на меня и обратно.

— Нет. — Он опустил глаза, посмотрел на свои худющие черные пальцы, что держали, покручивали конец ремня.

— Может быть, — сказала Леди Дракон, отпу-

стив Болида, но все равно не обернувшись, — мы встретимся. — (Я слышал, как она хмурится.) — На мосту. Может, он правильно говорит. — Или еще что.

Я сделал пять шагов, глядя на мокрый тротуар, чувствуя, как меня когтями дерет онемение. Пальцы покалывало. И обе подошвы тоже. Потом я поднял голову и сказал:

— Ну так, мост, сука, *вон там*!

И тут слева что-то до невозможности оглушительно затрещало.

Мы все подняли головы, обернулись, отступили все вместе. Паук стартанул, пробежал десять шагов, заметил, что мы не бежим, и тоже посмотрел.

Из окна четвертого этажа внезапно полыхнуло. Языки огня захлопали, как желтая тряпка под мехами; с кирпичной стены посыпались искры и стекло.

Взорвалось еще два окна. (Я отбил босую пятку о бордюр на другой стороне.) Затем еще одно — в ритме тиканья часов.

Мы кинулись бежать.

Не туда, куда я сказал, — там улица вскипела мерцающим дымом. В конце очередного квартала мы свернули и побежали вниз по наклонному

тротуару. Впереди его сплошь заливала вода.

Мы с Б-г заплескали по ней, глядя, как у нас под ногами раскалываются высокие кирпичные стены и облачные валы между ними.

Десять ярдов этой лужи — и воды по колено, особо не побегаешь. Мы хлюпали дальше. Флинт, широко размахивая руками в дикой качке, шагал передо мной, волоча веера ряби позади промокших штанин. Затем улица пошла вверх. Я доплюхал до края.

Ощущение было такое, будто в квартале от нас на улицу грохнулось что-то гигантское. Все сотряслось. Я оглянулся на остальных — Болид и Леди Дракон еще плескались, — и тут посреди лужи что-то вздулось — похоже на пузыри детергента. В воздух ударил столб пара. Край воды отступил от промокших штанин Болида, и мокрые ноги зашлепали по блестящему асфальту.

Флинт вернулся и схватил Леди Дракон за руку, словно боялся, что она (или он) упадет.

Гейзер плевался и шипел, и в него утекала вода.

Мы вместе обогнули следующий угол.

Мост было видно до самой второй опоры. Тут и там от черного неба отрывались облака. Между домами на набережной что-то горело. Мы бегом

одолели пятьдесят футов мостовой. Перед самым мостом кто-то, кажется, подорвал дорогу гранатой. Там футов на пятнадцать вверх торчал кусок асфальта. В глубине виднелись мокрые трубы, а ниже мерцала вода. В вышине, в облачных каньонах плела свои жгучие узлы эта дивная зычная зарница.

— Пошли, — сказал я. — Нам сюда!

На пешеходные мостки вела железная лесенка. Первые полдюжины ступеней усыпаны битым камнем. Флинт и Леди Дракон мигом взлетели наверх. В прорехи между стойками зафыркало штукатурной пылью. Болид осторожно ставил ноги на первые три ступеньки, а потом обеими руками ухватился за перила и скачком одолел еще три. Ноги у него были облеплены какой-то дрянью, на лодыжке кровь.

— Скорее! — подталкивал сзади Б-г. — Скорее!

Мы с Пауком поднялись по узкой лесенке почти бок о бок.

На вершине Паук вырвался вперед, мы пробежали по грохочущим плитам ярдов пятьдесят, и тут что-то… *ударило* по мосту!

Нас раскачало футов на десять! Старый металл скрежетал о металл. Во тьме плясали тросы.

Я цеплялся за перила, глядя на асфальт в пят-

надцати футах под нами, ожидая, что он вот-вот разломится и полетит в воду еще сотней футов ниже.

Болид подле меня просто упал на колени и прижимался к перилам щекой. Паук обнимал погасший фонарь, пригибал голову и говорил:

– *Аааааааааа*… — будто плакал с открытым ртом, и пятью секундами позже, когда тряска и скрежет утихли, других звуков не осталось; Леди Дракон сглотнула, отпустила перила и судорожно втянула воздух.

В ушах звенело.

Было тихо.

— Господи всемогущий, — прошептал Б-г, — давайте сматываться с… — И вот тогда все, включая Б-г, заметили, *до чего* тихо.

Крепко держась за перила, я посмотрел на город.

На набережной в дыму мерцало пламя. Прилетел ветерок, погладил меня по лбу. Тут и там дым уползал со взъерошенной ветром воды. И на мосту не было больше ни души.

– *Пошли*… — Я обошел Болида, миновал Леди Дракон.

Через несколько секунд я услышал, как Флинт повторяет:

— Ну что, пошли! — И застучали шаги.

Меня нагнала Леди Дракон.

— Господи… — тихонько сказала она совсем рядом. Но на этом всё.

Мы шли и шли.

По обе стороны от нас проплывали балки. Футах в двадцати за первой опорой я снова оглянулся.

Над бледным перевернутым отражением своих пожаров скорчился горящий город.

В конце концов Б-г коснулся моего плеча и слегка шевельнул головой. Тогда я пошел дальше.

Двойные подвесные тросы с бедро толщиной опускались ниже наших мостков; спустя несколько ярдов они начинали карабкаться на вершину следующей опоры.

— Это кто?.. — тихонько спросил Флинт.

Она медленно приближалась к нам по асфальту.

Ведя рукой по перилам, я посмотрел. Потом окликнул:

— Эй, ты!

Позади меня вспыхнуло; и еще; и еще. Остальные включили огни — то есть я стал силуэтом в авангарде стаи драконов, ястребов и богомолов.

Она сощурилась на нас — темнокожая азиатка, волосы спускаются спереди на рубашку (двумя

перевернутыми языками черного пламени); под лямками рюкзака красные платки, чтоб помягче. Полы рубашки навыпуск над джинсами.

— Чего?.. — Она старалась выдавить улыбку.

— В Беллону идешь?

— Ну да. — Она сощурилась сильнее, вгляделась в меня. — А вы уходите?

— Ага, — сказал я. — Там, знаешь ли, *опасно*!

Она кивнула:

— Я слыхала, понаставили всякую национальную гвардию и солдат. Но я доехала стопом и никого не увидела.

— И как улов?

— Мне попался только пикап и универсал «уиллиз». Пикап подвез.

— А отсюда?

Она пожала плечами:

— Если кто проедет, наверняка вас подберет. Дальнобойщики иногда подбирают парней, чтоб за рулем их подменили. В смысле, парням-то несложно будет. Куда направляетесь?

Флинт ответил мне через плечо:

— Я хочу в Торонто. А двое едут в Алабаму.

— Мне хоть куда-нибудь! — сказал Болид. — Что-то мне нехорошо, знаете? *Вообще-то,* мне уже два дня нехорошо!..

— Путь неблизкий, в обе стороны, — сказала она.

Интересно, чем ей виделись эти ослепительные силуэты, что подпирали меня с флангов и отбрасывали пастельные тени на армированный асфальт позади нее.

Флинт спросил:

— Канада-то еще на месте?..

— …А Алабама? — спросил Паук.

— Абсолютно. Во всей стране полный порядок. А тут еще что-то происходит?

Никто не ответил, и она сказала:

— А то чем ближе сюда, тем чуднее… все себя ведут. А в городе как?

Б-г ответил:

— Довольно сурово.

Остальные рассмеялись.

И она тоже.

— Но ты права, — сказала Леди Дракон, — парням легче. — И этого, я думаю, азиатка не поняла, потому что, если не вслушиваться, голос у Леди Дракон прямо как мужской.

— Расскажете что-нибудь? В смысле — что-нибудь полезное? Раз уж я туда иду?

— Ага, — сказал я. — Иногда приходят какие-то мужики и разносят дом, где ты живешь. Иногда

люди палят по тебе с крыши — если то есть крыша не решит рухнуть тебе на голову. И если это не ты с крыши палишь…

— Он вот стихов понаписал, — из-за другого моего плеча сообщил Болид. — Понаписал стихов, и их издали в книжке, прям по чесноку! По всему городу книжка была. Но потом он еще написал, а они пришли и всё сожгли… — Голос его дрожал на лихорадочной грани истерии.

— Оружие, — спросил я, — с собой хочешь?

— Ни фига себе! — сказала она. — Вот так, значит, дела обстоят?

Флинт испустил краткий, резкий смешок.

— Да уж, — сказал я. — Нам легко.

Паук сказал:

— Расскажешь ей про… отца настоятеля? А про Джун расскажешь?

— Сама узнает.

Флинт снова рассмеялся.

Б-г прибавил:

— Да и что тут скажешь?

Она большими пальцами провела по лямкам рюкзака и перенесла вес на одну ногу. На ней были тяжелые трекинговые ботинки, один гораздо грязнее другого.

— А мне надо оружие?

— Ты ей отдашь? — спросила Леди Дракон, когда я снял орхидею с цепи.

— Мы с этой фиговиной, — сказал я, — достаточно уже влипали. Я ее больше не хочу.

— Как угодно, — сказала Леди Дракон. — Она ж твоя.

— Ты откуда? — спросил между тем Флинт.

— Из Канады.

— Не похожа на канадку.

— Я и не канадка. Я в гостях была.

— Знаешь Олбрайт?

— Нет. Знаешь Перн?

— Нет. Знаешь южный Онтарио — городки там всякие?

— Нет. Я жила в Ванкувере и вообще в Британской Колумбии.

— А, — сказал Флинт.

— Держи оружие. — Я швырнул орхидею. Она лязгнула на асфальте, рывками перекатилась и замерла.

— А это?.. — Мы все обернулись на гул двигателя в устье моста; но на каком-то съезде гул смолк. — Это *что*?

— Как это называется? — спросил Болид.

— Орхидея, — сказал я.

— Да, точно, — сказал Болид. — Вот это что.

Она нагнулась в чашечке своих многочисленных теней. Один большой палец остался под лямкой; другим она подцепила орхидею.

— Надевай, — сказал я.

— Ты правша или левша? — спросил Флинт.

— Левша. — Она постояла, рассматривая цветок. — По крайней мере, пишу левой.

— А, — снова сказал Флинт.

— Жуткое дело. — Она приладила орхидею на запястье; там что-то блеснуло. — Самое оно для нью-йоркского метро в час пик. — Она изогнула шею, посмотрела, как застегивается. Волосы качнулись вперед, и что-то ярко блеснуло под воротником. — Уродина. Надеюсь, ты мне не пригодишься.

Я сказал:

— Я тоже надеюсь.

Она запрокинула голову.

Паук и Б-г выключили огни и нервно поглядывали за вторую опору, на темные холмы того берега, где безопаснее.

— Может, — сказал я ей, — отдашь кому-нибудь, когда будешь не прочь оказаться средь хрустких сухих ветвей, припомнить, записать, а в мыслях: перед уходом было не так! Не так. Это неправда. Не может такого быть. Если правда, значит я псих.

Усталость невыносима — бродить этими улицами, где пожары, пожары, где листвой напоследок листается все, что разбито и рушится. Кирпич, нет моста, потому что это так долго — уходить, я не уходя. Здесь я шагаю по темным кровавым пятнам, что на ходу оставила на асфальте ее блестящая пятка. Они вползли в клин двух моих косых теней, от Луны и Джорджа, зажженных вместе, а я шагаю столбом, и все. Ухожу. Прутики, листики, кора вгрызлась в плечо, хохочут холмы и дым, долгая страна, иссеченная летом, и не с чего начать. В сторону, значит, Бродвея и железнодорожных путей, хромаешь по этим по этим темным пятнам до самых скал, сочащихся ржавью, мимо рассохшейся грязи, что поблескивает на краю водостока, где деревья так нависают так что я вхожу под них и думаю, я могу подождать, пока она не придет, нагишом или, к примеру, знает то, чего я не могу, помнит, что, может, хотя бы кто-то из них. Он. В или на, я не совсем куда иду и что надо идти но я заберусь на эти и вот интересно про Мексику ли она, приди, жду.

Эта ладонь полна мятой листвы.

Так было бы лучше, чем здесь. Прямо в этой вот так, если больше не помнишь это ли. Я хочу знать, только мне снизу не видно, ты там. Я слабею. Небо ободрано догола. Слабость такая, что почти ничего написать не могу. Но я все еще слышу их под деревьями; бродят, не говорят ни слова. Я жду здесь, вдали от леденящего душу оружия, вне чертогов пара и света, за холстом и в холмах, я иду овладев собой

Сан-Франциско, Абикью, Торонто, Клэрион, Милфорд, Новый Орлеан, Сиэтл, Ванкувер, Миддлтаун, Ист-Лэнсинг, Нью-Йорк, Лондон
Январь 1969 / Сентябрь 1973